

Журнал русской словесности и мысли
«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

Санкт-Петербург

N16

Март 2025

№16:**Б о л ь ш а я п р о з а****Сергей Юдин****ДЕМОНЫ АМАСТРИАНА**Притчевый манускрипт исихаста
о спасении и гибели
души и цивилизации

3 стр.

Виктор Зайков**СТРЕЛЯЙТЕСЬ САМИ, МАЗЕПА**

Роман из подполья

Часть V. КВИТЫ

28 стр.

Николай Полотнянко**СЧАСТЛИВ ПОСМЕРТНО**

Современный русский роман

Главы 3-4

56 стр.

Алексей Григоренко**ЛЕШЕК МАРШАЛОК**Сказ о том, как воссоединилась с Россией
Украина козацкая и как сгинула
Речь Посполитая панская**Роман-размышление****Главы 15-21**

104 стр.

Вячеслав НескоромныхДве сибирские повести
в панораму Гражданской войны**КАЗАЧИЙ ИСХОД +
ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ
ПОРУЧИКА НИКОЛАЕВА**

186 стр.

Владимир Василенко**КОМУ НА РУСИ УЛИЦА ТЕСНА**

Русская антитеза: Пугачев и Суворов

Урочно-историческая повесть 229 стр.

М а л а я п р о з а**Осип Фуфачев****В ДОНЕЦКЕ КОНЧИЛАСЬ ЗИМА**

Записки волонтера

265 стр.

Александр Муленко**ОНИ ОСТАНУТСЯ ЛЮДЬМИ**

Альпинистская повесть

277 стр.

Александр Балтин**МОЙ АМАРКОРД**

Онтологическая повесть

298 стр.

Сергей Криворотов**ЗАПИСКИ ИСЧЕЗНУВШЕГО**

Головоломная небывальщина

319 стр.

Сергей Кириллов**МАЛЬЧИК**

Педагогическая быль

327 стр.

Ольга Александрова**ЗАГАДКА УЛИТКИ**

Лирическая проза

333 стр.

Лариса Кеффель-Наумова**НА ИЗЛЕТЕ ЛЕТА**

Кинематографическая проза

338 стр.

Александр Юдин**ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ**

История относительности

349 стр.

Дмитрий Игнатов**ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ**

Психологическая история

353 стр.

Яков Шафран**НОВАЯ ЗВЕЗДА**

Маленькая утопия

357 стр.

Д о к у м е н т а л и с т и к а**Рустам Мавлиханов****РУССКОЕ ЦУНАМИ**Революционно-исторический
очерк

362 стр.

Сергей Вараксин**БОМБА**Революционно-исторический
фрагмент

383 стр.

С а т и р а**Дмитрий Воронин****ЛАУРЕАТЫ + КРОХОБОР + МЕСТЬ ПОЭТА**

«Писательские» рассказы

385 стр.

Дмитрий Стрешнев**ПОСЛЕДНИЕ СКАЗКИ СОВЕТСКОЙ ПОРЫ**

Ирония ностальгии

394 стр.

Михаил Востриков**КАК СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ОТХОДОВ**Ленинградская экологическая
симфония

409 стр.

Ф и л о с о ф и я**Алексей Николаев****ДУХ. Философия духа****§4. Теоремы души**

Логические теоремы 34-40

429 стр.

Откуда авторы:

Сергей Юдин — Москва, Виктор Зайков — Ярославль, Николай Полотнянко — Ульяновск, Алексей Григоренко — Москва, Вячеслав Нескоромных — Красноярск, Владимир Василенко — Хабаровск, Осип Фуфачев — Нижний Новгород, Александр Муленко — Новотроицк (Оренбургская обл.), Александр Балтин — Москва, Сергей Криворотов — Астрахань, Сергей Кириллов — Советск (Калининградская обл.), Ольга Александрова — Москва, Лариса Кеффель-Наумова — Майни (Германия), Александр Юдин — Москва, Дмитрий Игнатов — Воронеж, Яков Шафран — Тула, Рустам Мавлиханов — Салават, Сергей Вараксин — Петрозаводск, Дмитрий Воронин — Тишино (Калининградская обл.), Дмитрий Стрешнев — Москва, Михаил Востриков — Санкт-Петербург, Алексей Николаев — Санкт-Петербург

Сергей ЮДИН

ДЕМОНЫ АМАСТРИАНА

*Нет больше той любви, как если кто
положит гушу свою за грузей своих.*

Иоанн. XV. 13

Введение

Судьба повести, перевод которой мы предлагаем вниманию читателя, является в некотором роде уникальной.

Прежде всего, она дошла до нас в единственном списке, и, более того, в известной нам средневековой византийской литературе отсутствуют даже упоминания об этом сочинении, хотя имя его предполагаемого автора нельзя назвать вовсе безызвестным. Во-вторых, отсутствуют достоверные сведения о нынешнем местонахождении самого оригинального списка. В-третьих, до настоящего времени остается открытым вопрос, имеем ли мы дело с художественным произведением или перед нами нечто вроде автобиографических записок, своего рода исповеди.

Однако расскажем все по порядку.

Рукопись, содержащая сочинение под условным названием «Повесть Феофила Мелиссина», была куплена в 1808 году на Афоне в одном из скитов русского Пантелеимонова монастыря (вместе с несколькими другими, до нас не дошедшими) по поручению богатого костромского купца Федора Ивановича Юдина; в том же году привезена в г. Чухлому и передана в качестве вклада в Авраамиев Городецкий монастырь, ктитором коего Ф.И. Юдин на тот момент являлся. До пятидесятых годов XIX века рукопись хранилась в ризнице храма Покрова Пресвятой Богородицы (о чем свидетельствуют датированные пометы на верхнем поле л. 118). В ходе значительных перестроек, которым монастырь подвергся в 1843-1857 годах, рукопись, судя по всему, изымается из частично разобранного Покровского собора и передается на временное хранение в городскую управу, после чего следы ее на долгое время теряются. Только в 1901 г. она обнаруживается в книжном собрании красноярского золотопромышленника, виноторговца и библиофила Геннадия Васильевича Юдина (прямого потомка первоначального ее владельца — Ф.И. Юдина).

После революционных волнений 1905-1906 гг. коммерческие дела Г.В. Юдина серьезно расстраиваются, и состарившийся, совершенно одинокий библиофил вынужден распродавать свое имущество: за бесценок уходят Ачинский винокуренный завод, золотые прииски, доходит очередь и до главного сокровища — огромной библиотеки, насчитывавшей около восьмидесяти тысяч томов и ста тысяч редчайших рукописей.

Вначале он предлагает приобрести уникальное собрание российскому правительству. Но, получив решительный отказ, идет на непатриотический шаг и продает книги и рукописи американскому президенту. Так, в 1907 году, представитель Теодора Рузвельта по дешевке, всего за сорок тысяч рублей, купил библиотеку, которой

не было цены. Ныне это собрание, к сожалению, составляет костяк Славянского отдела Библиотеки Конгресса США.

Не подлежит сомнению, что рукопись «Повести Феофила Мелиссина» и по сей день находится там. Во всяком случае, именно в Библиотеке Конгресса с ней имел случай ознакомиться профессор Висконсинского университета А.А. Васильев, о чем свидетельствует его статья, появившаяся в *Dumbarton Oaks Papers* в 1944 г.

К несчастью, попытка заказать копию хранящегося в США манускрипта окончилась неудачей (был получен стандартный ответ: «вне библиотеки не выдается»). Когда же автор сих строк, будучи лет пятнадцать назад в Вашингтоне, попробовал получить оригинал рукописи непосредственно в Библиотеке Конгресса, то и здесь его по ряду причин (о которых вряд ли стоит распространяться в рамках настоящего издания) постигло досадное фиаско. Так что, как уже было упомянуто, точное местонахождение оригинального текста до сей поры вызывает вопросы.

Наше знакомство с «Повестью» стало возможным благодаря случайности: в 1901 г. работавший в библиотеке Юдина (а последняя была открыта владельцем для посетителей) видный русский византолог Афанасий Иванович Пападопуло-Керамевс обратил внимание на греческий фолиант и сделал его фототипические оттиски. Выполненный им перевод, снимки и сами стеклянные клише хранились первоначально в Императорском Казанском университете, где ученый в 1903 г. читал доклад, посвященный обнаруженной им рукописи, а в 1922 г. оказались в распоряжении Русско-Византийской комиссии, возглавляемой академиком П.Г. Виноградовым. Запланированная на 1927 г. публикация памятника в «Византийском временнике» не состоялась, ввиду ликвидации в том же году самого издания. Все материалы, относящиеся к открытой А.И. Пападопуло-Керамевсом «Повести», были переданы в Рукописный отдел Государственного исторического музея, где, в конце концов, нам и удалось с ними ознакомиться.

Выше уже было отмечено, что «Повесть Феофила Мелиссина» дошла до нас в единственном списке. Это не является, впрочем, чем-то исключительным для сохранившихся до наших дней произведений византийских авторов: так, в единственном списке известен труд Константина Багрянородного «Об управлении империей», сочинение Кекавмена и ряд других. Характерен тот факт, что большинство из этих произведений носило прикладной характер и не предназначалось для широкой публики, адресатом их было обыкновенно какой-то конкретный человек (наследник престола Роман — в примере с Константином VII) или узкий круг доверенных лиц. Казалось бы, это с определенной долей уверенности можно отнести и к случаю с повестью Феофила. В то же время, против подобного предположения свидетельствуют характер и само содержание повествования, явно сближающие оное с произведениями чисто художественного жанра.

Судя по сделанному приват-доцентом Пападопуло-Керамевсом описанию, рукопись представляла собой конволют, состоящий из двух частей, переплетенных в одном фолианте. Сам фолиант заключен в кожаный переплет XIX в., которым монахи Авраамиевой обители заменили прежний, пришедший, по-видимому, в негодность. Помещение под одной обложкой нескольких, зачастую не связанных между собой произведений, опять-таки не такая уж редкость для византийского книжного наследия. Примечательно иное: в нашем случае манускрипт, вероятнее всего, был *намеренно* спрятан в недрах другой рукописи. Не характерным для известных рукописных сводов является уже само расположение текстов: первая часть конволюта (лл. 1-59) содержала начало довольно широко распространенного в византийской агиографии VIII-IX вв. «Жития Давида Солунского»; окончание «Жития» приходится на лл. 103-118 конволюта, а на лл. 60-102 (т.е. в середине фолианта) помещено собственно сочинение Феофила. Кроме того, в рукописи (насколько можно судить по фототипическим оттискам) прослеживается рука не менее трех писцов. Бесспорно, что двое из них (перу которых принадлежит список «Жития Давида Солунского») работали одновременно и в согласии, так как в ряде случаев продолжают друг друга с середины страницы. Весь же текст «Повести Феофила» выполнен одним почерком, характерным для монастырских рукописей первой половины IX века. Принадлежит ли разбивка текста на главы-параграфы самому автору или является результатом позднейшей работы писцов — неизвестно. Заголовок придуман Пападопуло-Керамевсом, ибо в рукописи отсутствует.

Время действия повести (как следует из ее содержания) — конец VIII — первая половина IX веков. Основные же описанные в ней события (гл. I-V) приходятся на период правления последних представителей Исаурийской династии — не в меру властолюбивой императрицы Ирины и несчастного сына ее, Константина VI.

Что касается автора повествования, то можно лишь гадать, является ли таковым сам исторический Феофил Мелиссин, преемник знаменитого Феодора Студита на

посту настоятеля одного из известнейших столичных монастырей, или неведомый сочинитель IX века.

При этом мы полностью отдаем себе отчет в том, что, не имея в распоряжении оригинала манускрипта, не можем делать окончательных выводов ни о его действительном происхождении, ни о степени достоверности изложенных в нем событий и вынуждены ограничиваться предположениями. «Повесть Феофила Мелиссина» продолжает хранить множество загадок, тайн и еще ждет своего кропотливого исследователя.

Мы же ставим перед собой иную задачу: цель настоящей публикации состоит, прежде всего, в привлечении внимания научного сообщества к этому поистине уникальному и незаслуженно забытому памятнику византийской письменности и культуры, а равно в удовлетворении любознательности всех, интересующихся историей Византии.

И последнее, что следует сообщить: предлагаемый перевод выполнен А.И. Пападопуло-Керамевсом и лишь слегка исправлен нами в части написания некоторых личных имен, географических названий, этнических и специальных терминов. Принимая во внимание, что русский язык отнюдь не являлся для уважаемого приват-доцента родным, просим читателя со всем возможным снисхождением отнестись к нижеследующему тексту.

ПОВЕСТЬ ФЕОФИЛА МЕЛИССИНА, игумена Студийской обители во граде Константина

I

Жажду я изложить перед вами, о возлюбленные, жизнь весьма не богоугодную и деяния совсем не безупречные отнюдь не достойного мужа. Прошу вас, внемлите тому, что я буду говорить, ибо, хотя предмет сей и не источает мед, благоухание и дивную радость, но, напротив, — серу, смрад и горечь едкую, однако же послужит он на пользу всякому, кто желает утвердиться на стезе добродетели.

Посему приготовьтесь, о великодушные, выслушать этот рассказ о жалкой жизни и чудесном преображении раба Божьего Феофила, дабы и я сумел преодолеть немощь телесную и душевную и с большим желанием приступил к труду своему.

Родился я в царствование блаженнейшей и христолюбивой августы Ирины, истинной последовательницы Христа, что правила совместно с сыном своим, императором Константином.

Появиться на свет мне посчастливилось в семействе благородного звания: отец мой, Георгий из рода Мелиссинов, был почтен еще императором Львом Хазаром саном протоспафария, а затем назначен друнгарием двенадцати островов; мать же, именем Евдокия, происходила из славного града Амастрида, что в феме Пафлагония.

Едва выйдя из отроческого возраста и закончив изучать грамматику и поэмы Гомера, я был отдан в школу к ипату Панкратию, известному в Константинополе ритору и философу. Увы! Учение не пошло мне впрок, ибо, хотя и был я весьма смышлен и к наукам пригоден, само же обучение мне было не только легко, но и сладостно, и занятия я предпочитал всем играм, однако уже в те юные годы стали проявляться мои пагубные пристрастия.

Чрезмерно увлекшись эллинской премудростью, я совершенно не интересовался изучением Слова и Закона Божьего, пренебрегая спасением своей души ради пагубных домыслов языческой философии.

Первоначально обратившись к Аристотелю, Платону и их комментаторам, вскоре я уже штудировал Плотина, Порфирия, Ямвлиха и казавшегося мне бесподобным Прокла. Дионисий Галикарнасский, Гермоген и Олимпиодор всецело занимали мои мысли днем, а по ночам я не менее рьяно набрасывался на какого-нибудь Парменида, Анагаскура или Фалеса.

Увы мне! Не понимая скудным разумом своим, что невозможно смертному постичь величавые замыслы Творца, тщился я в книгах отыскать тайны мироздания.

Все дальше и дальше, напрямик к гибели влекла меня излишняя любознательность. Предметы недоступные для понимания человека чрезвычайно волновали меня: круговое движение земного шара не позволяло мне успокоиться, но заставляло изыскивать, что такое движение, откуда началось, какова природа одного шара, каковы круги, как они наложены, как разделены, что такое углы, равенство, эклиптики, произошла ли Вселенная из огня или чего-нибудь другого.

Привлекала меня также логика, и я исследовал, как из ума исходят мнения, из мнений непосредственно предложения, что такое аналогия и вероятность, соизмеримое и несоизмеримое. Особенно не давала мне покоя первая и невещественная сущность Вселенной; я удивлялся её отношению ко всем вещам и всех вещей к ней, предельного к беспредельному, каким образом из этих двух элементов вышло остальное, каким образом идея, душа и естество сводятся к числам.

Наконец, в греховной гордыне не избежал я и опасных таинств магов и халдеев. Движение светил, их скрытый смысл и влияние на судьбы людей стали занимать меня, а еще больше познание вещей сокрытых: что такое Провидение и Судьба, что есть неподвижное, что само себя двигающее, имеется ли у человека психея-душа, а коли имеется, то каковы ее свойства, обладает ли она разумом и бессмертной сущностью или столь же бrenна, как и само тело, какова ее связь с этим телом и где она блуждает во время сна, который Гомер и Гесиод называли братом Смерти.

Ночи я проводил не в молитвенном бдении и не в чтении Псалтыри, но склонившись над трудами Артемидора Эфесского, изучая его зловещий *Oneirokritikon* и сиюсь отыскать смысл в бессмысленном, а священное в кощунственном.

Немало времени потратил я и на составление гороскопов, устанавливая точку эклиптики над горизонтом, деля небесную сферу на двенадцать домов, фиксируя положение главных планет по отношению к ним и промеж собой.

Так-то бежали годы моей учебы и ни о чем ином, кроме означенных предметов, я не помышлял, как вдруг все в одночасье изменилось и рухнуло.

В то время государь наш император Константин затеял большой военный поход в Болгарию, намереваясь отомстить тамошнему хану Телеригу за разбойные набеги, которые он постоянно творил, далеко вторгаясь в пределы Ромейской державы.

Подступив к Маркеллам, где уже ожидал его Телериг, император решился принять бой, несмотря на предостережения моего учителя ипата Панкратия, бывшего с ним для совета.

И вот случилось неизбежное: войско ромеев было разбито, а сам автократ как беглец возвратился в город, потеряв многих не только из простых воинов, но и из людей правительственных.

Мало того, что от мечей варваров погиб знаменитый стратиг Михаил Лаханодракон — надежда Ромейской империи, злосчастной судьбе было угодно, чтобы в том же сражении пали и мой отец — Георгий Мелиссин, и престарелый философ Панкратий.

Так, в одночасье лишился я и любезного родителя своего, и мудрого наставника.

Спустя короткое время, не вынеся постигшей ее утраты, скончалась и моя бедная мать.

Оставшись в свои неполных двадцать лет один на этом свете, стал я думать, на что направить собственные жизненные устремления и где употребить приобретенные знания.

Желая принести пользу отечеству и престолу, я подал прошение на высочайшее имя о назначении меня мистиком при императоре, но все секретарские должности были заняты людьми сановными, за меня же некому было походатайствовать и замолвить слово ни пред августой, ни пред ее державным сыном.

Пытался я служить и писцом-асикритом в императорской канцелярии, но должность эта, хотя и могла способствовать моему восхождению по сановой лестнице, и я даже мог через несколько лет, по своей учености, ожидать назначения на пост фемного судьи, однако оказалась для меня чересчур кропотлива, скучна и утомительна, так что в скором времени я уже старался сколь можно чаще избегать своих обязанностей, а после и совсем поручил исполнение их нанятому мною для такого случая за половинную плату бродячему грамматнику и каллиграфу из Пергама.

Разочаровавшись таковым образом в государственной службе, имел я несчастье познакомиться и сдружиться с несколькими молодыми бездельниками, что весьма укрепило меня на стезе порока и послужило для дальнейшего растреления моей бессмертной сущности.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

В те годы среди лучших и знатнейших людей города было заведено устраивать у себя некие литературные собрания, называемые феатрами, где обыкновенно сходились любители тонкой игры ума и совершенства словесного образа. Под сводами домов, собиравших таковые феатры, нередко кипели ученые диспуты, участники коих касались вопросов философии, риторики и устройства самого мироздания, звучали музыка и пение, сопровождавшие тексты зачитываемых речей и отрывков наиболее эффектных писем. Один из подобных домов был дом патрикия Феодора Камулиана — моего близкого родственника. Я, конечно же, не преминул проникнуть в этот избранный кружок и был счастлив состязаться в учености и красноречии со многими прославленными мужами.

Сам патрикий находился в то время у двора в немилости, ибо имел несчастье несколько лет тому назад чем-то навлечь на себя гнев августы, подвергся изгнанию, был возвращен по ходатайству ее сына императора, но с той поры пребывал как бы в добровольном затворничестве в своем большом и великолепном доме близ монастыря Перивлепта в квартале Сигма. Так что ежевечерние ученые собрания являлись единственной его отрадой и утешением.

Сын Камулиана по имени Григорий — молодой человек прекрасной наружности (он был высок, как Саул, обладал волосами Авессалома и прелестью Иосифа), но без всяких способностей, редко участвовал в этих вечерах, да и нечасто вообще бывал под отцовским кровом, растрачивая цвет своей юности на Ипподроме или в злочных местах города с такими же, как и он сам, состоятельными невеждами. Тем не менее, столкнувшись с ним в доме патрикия, был я по незрелым летам своим совершенно очарован внешним блеском этого пустоцвета и, не имея никакой опытности в плавании по волнам житейского моря, стал буквально смотреть в рот сему юноше, почитая его за своего кормчего и чуть ли не наварха.

Оный Григорий, заметив, что я с удовольствием и жадностью внимаю его речам о всевозможных соблазнах царственного града, предложил познакомить меня со своими друзьями, затем уговорил как-то вместе скоротать вечер-другой, так что не прошло и пары седмиц, как я стал более времени проводить в компании сих новых знакомцев, нежели в феатре патрикия.

С этой поры совсем иначе стали протекать мои дни и ночи, которые ранее я посвящал научным занятиям и досугам. Мои новые друзья — Николай Воила, Петр Трифилий, Никифор Мусулакий, Арсафий Мономах и молодой Камулиан — были сыновьями видных сановников, людьми обеспеченными, и хотя некоторые из них и числились по тому или иному гражданскому ведомству, а иные, как проексим Воила, состояли в гвардейских тагмах, но на деле все свои обязанности перепоручили заместителям, сами же вели вполне праздный образ жизни.

Так, когда не было конных ристалищ, день до самого вечера они обыкновенно делили между посещением терм Зевксиппа или Ксенона (тех, что расположены возле дворца Девтерон), где умащали свои тела ароматными маслами и изысканными благовониями, нежились в горячих и теплых водах, и отдохновением в кабаках-фускариях, великое множество которых занимает портики в Антифоре, вокруг Форума Константина, ночью же уничтожали красоту душ своих в притонах продажных женщин.

В давнее время приснопамятный и мудрейший император Юстиниан Великий много сил отдавал богоугодному делу исправления нравов царственного града. Среди его замыслов был и такой, предназначенный для спасения загубленных душ: город в то время наводняли сонмы шлюх, словно мухи на мед слетающих сюда из всех пределов Ромейской державы. Император не пытался направить их на истинный путь словом — это племя глухо к спасительным увещаниям — и не пробовал действовать грубой силой, дабы не вызвать обвинения в насилии, но, соорудив в самой столице, напротив Анапле монастырь величины несказанной и красоты неопишуемой, объявил указом всем женщинам, торгующим своими прелестями, следующее: если кто из них последует туда и, сменив одежды разврата на монашеское платье, изменит также и нрав свой в пользу добродетели, тем не придется страшиться нищеты и скудости. Обитель эту император Юстиниан основал совместно с супругой своей — августой Феодорой (в делах благочестия они всегда действовали сообща) и наименовал «монастырем Раскаяния» — Метаноей. Говорят, что огромное число обитательниц чердаков откликнулось на призыв державной четы и чудесным образом обратилось из сосудов похоти в юное Христово воинство.

Что же мы видим ныне? К чему привели все благие начинания? По-прежнему богохранимый наш город, осененный омофором самой Пречистой Богородицы, служит столицей и для демона блуда. Продажных женщин не только не стало менее, но словно и прибавилось: и если ранее притоны этих распутниц ютились в темных переулках и подворотнях, то теперь самый Форум Константина осквернен сими домами разврата, для жительства гетер отданы целые кварталы, главнейший из которых украшен бронзовым истуканом Афродиты! Уже не только чердаки, но и великолепные портики вокруг Анемодулия и половина жилищ в Кифи стали прибежищем блудниц.

Как бы то ни было, в то время я был совершенно пленен Григорием Камулианом и его друзьями и вполне отдался новому для меня образу жизни, почти весь свой досуг без остатка посвящая служению тем же кумирам.

Однако пора мне, закончив с необходимым вступлением, приступить непосредственно к рассказу о том, что произошло со мной сорок лет назад и как безбожная эллинская философия и губительные пороки едва не увлекли меня туда, где тернии, и ехидны, и василиски, и гады ползучие.

II

Случилось раз мне вместе с Трифилием, Мономахом, Николаем Воилой и сыном патрикия Феодора завтракать в портике Мардуфа на прекрасной беломраморной террасе, полого спускающейся к гавани Феодосия. Справа нам открывался чудесный вид на любимый Елевферский дворец августы Ирины, весь утопающий в изумрудной зелени огромных платанов и лиственниц; по левую руку от нас раскинулись обширные, расположенные уступами сады, поросшие пиниями, кедрами и гигантскими кипарисами, испещренные лужайками с подстриженными кустами акации и квадратными цветниками, с дорожками, выложенными разноцветной мозаикой, и небольшими прудами со множеством водоплавающих птиц. Сам портик располагался в густой тени древней смоковницы, надежно защищающей его от беспощадных солнечных лучей. Прямо позади портика находилась усадьба Мономахов, откуда нам и доставляли все необходимое для трапезы.

Мы заказали слугителю принести пару кувшинов розового кипрского вина, пятимесячного ягненка и вымя молодой свиньи, как можно более жирное и сочное, а Арсафий Мономах велел еще отдельно приготовить для себя упитанную трехгодовалую курицу, какими торгуют в птичьих рядах на Форуме Быка и у которых корм, благодаря искусству людей, задававших его, толстым слоем откладывается на ножках.

Разлив вино по кубкам, Мономах, как и полагается хозяину, первый пригубил его. Отпив глоток, он со вкусом почмокал губами и, подъяв перст, заговорил так:

— Прекрасное розовое вино! Не чета тому отвратительному, больше напоминающему уксус пойлу, коим потчуют в придорожных тавернах или каким нас пытаются отравить разносчики на Месе. Это вино настаивается на смеси горных роз, аниса, шафрана и сладчайшего аттического меда. Оно и сейчас, спустя пятнадцать дней после приготовления, чудесно на вкус, но когда еще более состарится, то станет вне всякого сравнения. Кроме того, оно незаменимо для страдающих желудком или легкими.

Осушив свои кубки, мы все согласно закивали головами, а Мономах продолжал:

— Однако вам необходимо попробовать и мое фасосское вино. Оно, конечно, не такое сладкое, но ароматом и крепостью ничуть не уступит розовому. Рецепт его приготовления я нашел в «Георгиках» у Флорентина. Он не так прост, но результат того стоит. Для этого вина годится только спелый красный и черный виноград с Фасоса. Каждую гроздь его нужно отдельно сушить на солнце пять, а лучше — шесть дней; затем в полночь еще горячими бросить их в муст, вскипяченный пополам с морской водой. С восходом солнца виноград следует отправить в давилню еще на одну ночь и на день. Выжатый сок разлить по пифосам, врытым наполовину в землю, и, подождя должное время, покуда он полностью перебродит, влить в него двадцать пятую часть сапы. После же весеннего равноденствия, очистив, перелить в небольшие амфоры...

— Полно врать-то! — неожиданно прервал его Петр Трифилий. — Неужто, не посадив за всю жизнь ни одной лозы, ты, Арсафий, хочешь уверить нас, будто разбираешься в винах так же хорошо, как твой дед-виноградарь!

— А как ты следишь за тем, чтобы слуги не разбавляли вино водой? — живо поинтересовался Камулиан, желая сгладить грубость приятеля.

— О! Для этого существует множество способов, — важно отвечал Арсафий, совершенно игнорируя привычные для него насмешки Трифилия. — Некоторые бросают в сосуд яблоко, а еще лучше — дикую грушу; некоторые — кузнечиков, другие — стрекозу: если они всплывут, значит, в вине примеси нет; когда же потонут, считай поймал злодея за руку — непременно долили водицы. Слышал я, что есть такие, которые наловчились определять воровство с помощью тростника, папируса, травинки или вообще какого-нибудь прутика. Смазав оный предмет оливковым маслом и обтерев, вставляют его в вино, вытащив же, осматривают: коли вино содержит воду, то на масле она капельками и соберется. Еще говорят, будто негашеная известь, политая разбавленным вином, становится жидкой, качественный же напиток превращает ее в сплошной ком. Но признаюсь, сам я ничего из этого не пробовал и утверждать действительность сих приемов не берусь. На мой взгляд, простейший и безотказный способ, коим я сам пользуюсь, да и вам настоятельно рекомендую — это, зачерпнув вина из пифоса, налить его в небольшую амфору, заткнуть отверстие губкой (непременно — новой и как следует пропитанной оливковым маслом) и перевернуть. Вода-то обязательно просочится, тут и готовь каштановые прутья для дворни! А тебе, Трифилий, могу ответить, что вовсе не обязательно всю жизнь работать заступом, чтобы разбираться в свойствах вина.

— Каюсь, друг мой, каюсь! — замахал тот руками. — Велики твои познания! Видишь, как у меня от них, словно у беременной женщины, вздулся живот?

— Живот у тебя вздулся не от Мономаховой мудрости, — со смехом заметил

проексим Воила, — а от потакания собственному пагубному влечению к противным природе удовольствиям. Смотри, чтобы тебе и впрямь не оказаться в тягости!

— Побойся бога, несчастный! — вскричал Петр Трифиллий. — С какой стати ты на меня наговариваешь? Вот уж скоро будет год, как я прогнал всех своих любимчиков. С той поры жизнь моя являет сугубый пример праведности, ибо я только тем и озабочен, чтобы укрощать свою плоть постом и молитвой, сохраняя все телесные ощущения чистыми и незапятнанными.

— Умолкни, распутник с редькою в задку! — не унимался Николай Воила. — Всем ведомо, какими воистину темными путями достиг ты сана мандатора и должности анаграфевса геникона, ведь о пристрастиях начальника твоего — логофета Никифора судачат даже на городских рынках.

— И в узком кругу не стоит столь опрометчиво высказываться о лицах, облеченных властью, — наставительно произнес Арсафий Мономах.

— Истинная правда. Особенно когда у кормила этой власти стоят такие люди, как евнух Ставракий и патрикий Аэций, — согласился Трифиллий.

Мы все на него зашикали, ибо в этот момент из-за колонны портика неожиданно появился и стал приближаться к нам некий человек, облеченный в рваное вретиче из козьей шерсти. По дикому взгляду, множеству язв, покрывающих его полунагое тело, всклокоченным седым волосам и бороде и особенной распространяемой им селедочной вони я тотчас узнал известного в городе юрода, прозванного Тельхином за зверообразный облик. Незадолго перед тем выпущенный из приюта для умалишенных при храме святой мученицы Анастасии, он подвизался тогда в рыбных рядах Большого эмвола и в Артополионе, занимаясь попрошайничеством и забавляя прохожих дикими гримасами и полоумными плясками.

Подойдя к нашей кампании почти вплотную, сей гниющий старикашка сначала задрожал, точно в припадке трясучей болезни, потом принялся беззвучно открывать рот, тщетно сясь нечто сказать, затем стал тихонько покашливать и понемногу отхаркивать (а нутро у него было чернее смерти и в носу всегда словно что-то варилось), и, наконец, замогильным голосом заговорил:

— Подайте несколько оболов несчастному бедняку, о бесстыжие сыны порока! Или хотя бы вон ту отлично подрумяненную на вертеле курицу, начиненную, как я полагаю, миндаем. Довольно вам насыщать свои бездонные чрева, довольно набивать их сочной бараниной и вон теми спелыми и столь привлекательными на вид фигами. Но, видит Бог, недолго вам поглощать холмы хлебов, леса зверей, проливы рыбы и моря вин! Ибо истинно говорю вам: скоро уже сатана наполнит ваши желудки не медом и вином с миррой, но серой и испражнениями с пеплом смешанными!

— Сгинь, вонючий селеед! — тотчас закричал в ответ юродивому Арсафий, кидая ему под ноги горсть медных нуммий. — Возьми, что причитается, и ступай прочь, а то у меня от твоего гнусного смрада совсем пропал аппетит.

Я же, заметив, что волосы на голове и в бороде Тельхина шевелятся от обилия насекомых, доброжелательно посоветовал ему сходить на эти деньги в баню и тщательно вымыться. При этом я из милосердия также бросил попрошайке кусок тушеной в молоке ягнятины, но так неудачно, что попал ему прямо в лоб, и это заставило юродивого упасть на каменные плиты портика и заверещать дурным голосом, кашляя и разбрызгивая вокруг черную мокроту:

— Ах ты погибшее создание! Ах ты скудель греха и средоточие всех земных мерзостей! Почто губишь ты цвет своей юности в гнусности разврата? Почто сходишь с ума, несчастный, по источенной червями женской плоти? Пока не поздно, пади смиренным перед стопами Спасителя, отрекись от гордыни, самонадеянности, тщеславия, распутства и, паче всего, безбожия! Помни, о греховодник, что демоны, в обилии населяющие град сей, жаждут сделать тебя рабом порочности и тем обречь геенне огненной. Остерегись, заблудший, ибо вижу я — не далее как нынешней ночью совершишь ты нечто ужасное перед Господом!

С этими словами юродивый развернулся и быстро бросился прочь, подпрыгивая, прихрамывая и издавая на ходу душераздирающие звериные вопли.

Несколько опешив от такого обильного потока ругани, исторгнутого этим безумцем, я посмотрел на своих друзей и увидел, что они, глядя на мое растерянное лицо, давятся от смеха.

— Ишь, раскаркался, бесноватый болтун, — сказал вслед убегающему бродяге Николай Воила. — Пускай идет к воронам! Там ему как раз самое место.

— А ты все же поостерегись, дражайший Феофил, — продолжая смеяться, обратился ко мне Трифиллий, — подобные речи губительны, как укусы бешеной собаки. И вообще, я удивляюсь, как он не отгрыз тебе нос, когда ты залепил ему в лоб бараньей костью?

— Прекрати пугать нашего друга, Петр, — отозвался Григорий Камулиан. —

Видишь, на нем лица нет, так его взволновали слова этого одержимого. Ты же, Феофил, не обращай внимания на чокнутого бродягу. Разве ты не знаешь, что человек этот воистину одержим бесами и даже питается нечистотами?

Так успокоив меня, сын патрикия вновь принялся за еду, его же примеру последовали и все прочие.

Когда мы отведали хваленого фасосского вина Арсафия Мономаху, которое, действительно, оказалось отменным — терпким и ароматным, закусили молочным поросенком, приготовленным с нардом, дикой мятой, гвоздикой и корицей, осетром, искусно обжаренным в виноградном соке вместе с грибами, сельдереем, укропом, миндаем и индийскими благовониями, и чудесными отборными финиками в белом меду, то душевное спокойствие вновь вернулось ко мне, и я напрочь забыл ужасного юродивого.

Вечный насмешник Трифиллий, один выпивший не менее кувшина вина, не мог не признать его несомненных достоинств, тем не менее, он все-таки заявил, обращаясь к Мономаху:

— Между прочим, ведомо ли тебе, любезный Арсафий, что во Влахернах есть одна таверна (которую, к слову сказать, содержит мой хороший приятель), где фасосское подают ничуть не хуже, чем это, а может, и лучше?

— Не думаю, что ты сумеешь отличить хорошее вино от помоев, — обиженно отвечал Мономах, — ибо тебе воистину все равно, что заливать себе в глотку.

— Я вовсе не смею над тобой, Арсафий, — продолжал Трифиллий. — Напротив, я готов признать, что твое вино достойно благородного чрева самого логофета дрома — превосходительного Ставракия, но спорю на десять золотых солидов, что, попробовав то, о котором я тебе толкую, и ты сам, и все здесь сидящие с готовностью подтвердите мою правоту.

— Ну что же, будьте вы все свидетелями, друзья мои! — вскричал Мономах. — Пусть, только этот хвастун сведет нас в свою таверну, и, клянусь серпом Кроноса, если хотя бы двое из вас признают его слова за истину — я выложу не десять, а все пятнадцать солидов!

Предложение всем пришлось по душе, и мы его немедленно поддержали, решив, что тем же вечером отправимся с Петром Трифиллием, и поклялись Мономаху, что суд наш будет беспристрастным, а приговор — справедливым. Встречу назначили в первую стражу около базилики Покрова Пресвятой Богородицы во Влахернах.

Оставшуюся часть дня до вечера решено было воздержаться от употребления пряной пищи и, тем более, любого вина, дабы не испортить себе вкус перед столь серьезным испытанием.

III

В условленный час мы все пятеро стояли перед воротами храма Пречистой Матери Божьей, в коем с давних времен благоговейно хранится священный мафорий Госпожи и Владычицы мира.

Ныне я с невыразимой горечью и поздним раскаянием вспоминаю тот вечер, ибо стоило мне послушаться тогда голоса сердца — и я оставил бы негодных друзей своих ради всеобщего бдения в сем храме, но — увы! — вместо этого, увлекаемый личным демоном, последовал я вместе с ними в сторону Морских стен, туда, где, по уверениям Петра Трифиллия, должна была находиться искомая таверна.

Здесь, во Влахернах, было просторнее, нежели в центре города: дома не жались друг к другу, словно озябшие нищие на паперти, и не нависали верхними этажами над мостовой, заставляя меркнуть солнечный свет, как в переулках Месомфала — средостения столицы. Меньше попадалось лавок-эмволов и мастерских-эргастий, зато жилища утопали в зелени садов и виноградников. Самые крыши домов этого богатого предместья являли собой как бы висячие сады, ибо в обилии были уставлены большими глиняными и свинцовыми сосудами, в которых выращивались разнообразные деревья и цветущие кустарники.

По дороге Трифиллий без умолку болтал, рассказывая нам о своем знакомом-трактирщике, к которому мы направлялись. Мы узнали, что звать его Домн и происхождением он иллириец и поэтому человек во всех отношениях прекрасный (сам Трифиллий был также родом из Диррахия, который вослед за Валерием Катуллом именовал не иначе как «кабак Адриатики»). Нам стало известно, что харчевня-фускария Домна пристроена почти вплотную к крепостным стенам, при этом Петр не преминул уколоть своей насмешкой нас, уроженцев Византия:

— А ведомо ли вам, мои друзья, откуда взялся этот несуразный обычай размещать кабаки рядом с казармами и крепостными башнями?

— Нет, о достойный поклонник Диониса, — отвечал ему Григорий Камулиан. —

Так что не медли и поспеши рассеять мрак нашего невежества.

— Знайте же, что если верить старику Филарху (а я ему верю, хоть он и жил во времена незапамятные), византийцы издревле были сластолюбивы и пьяницы, они жили по корчмам, а свои собственные жилища совокупно с женами отдавали внаем инородцам...

— Постой-постой! — не удержался и прервал его Мономах. — Как это — «совокупно с женами»? Не хочешь ли ты сказать, распутник, что они и жен своих отдавали внаем?

— Признаюсь, это место в трудах почтенного ученого несколько темно для понимания... Но продолжу: характера они были самого не воинственного, им и во сне не хотелось слышать звук боевых труб. Так вот, в его, Филарха, шестой книге я прочел, что в свое время, когда один из сирийских Антиохов осаждал Византий, сплошь обложив его с суши многочисленным войском, то, по нехватке наемников, пришлось и жителей обязать защищать собственный город. Однако разгульным гражданам Византия утомительная сторожевая служба на стенах была вовсе не по нутру, и, следуя старой привычке, они то и дело убегали в питейные заведения. Вот по этой-то причине стратеги их Леониду поневоле пришлось открыть шинки тут же — за амбразурами, лишь бы стены не обнажились окончательно.

Николай Воила, как человек военный, поинтересовался, удалось ли отстоять тогда город, и, узнав от Трифилия, что удалось, поспешил признать меры Леонида безусловно полезными и достойными всяческих похвал.

Беседуя таким образом, мы добрались до крепостных ворот Полация, впритык к которым действительно стояла какая-то харчевня. Выстроена она была в два этажа, частью — из камня, частью — из обожженного кирпича, покрытого снаружи штукатуркой, и несколько крикливо расписана по фасаду замысловатыми узорами, изображениями смеющихся упитанных эротов, пляшущих козлоногих сатиров и тяжелых нимф с фигурами ипподромных кулачных бойцов. На вывеске перед входом привзвонно сияли золотой краской кувшин и телец.

Верхний этаж служил, вероятно, жильем хозяину и его семейству, а внизу находилась сама харчевня. Когда я зашел вслед за друзьями в помещение, обоняние мое было приятно поражено отсутствием обычных для подобных заведений запахов прокисшего вина и прогорклого масла. Конечно, оно не благоухало амброй и киннамоном, однако ароматы подрумянивающегося на вертеле над большим очагом барашка, свежеспеченного хлеба и козьего сыра не менее приятно щекотали мне ноздри.

Посреди харчевни стояли расположенные буквой «тау» два длинных стола из толстых и отлично выскобленных дубовых досок; рядом со столами, несмотря на теплую погоду и пылающий в дальнем углу очаг, курилась жаровня. Посетителей было немного: всего три человека сидели перед большим блюдом с кусками дымящегося мяса, что-то прихлебывали из глиняных чаш и жевали ячменные лепешки, макая их в острый соус. Обслуживала их молодая рабыня, по внешнему виду — явная склавинка из Фессалии, одетая в чистую льняную тунику.

Как только мы уселись, к нам подошел и сам хозяин — Домн Иллириец — крепкий человек с черными волосами, темными глазами и такой густой и обильной бородой, что казалось, будто она растет у него от самых бровей. Приняв заказ и выслушав подробные объяснения Петра Трифилия относительно цели нашего прихода, он ухмыльнулся и сообщил, что в его заведении имеется целых пять сортов фасосского вина, которые нам все придется последовательно испробовать.

Уже через мгновение рабыня ставила перед нами первый кувшин и блюдо с нарезанным небольшими ломтиками ароматным пафлагонским сыром, которому копчение над дымом придавало особенную остроту и твердость. Пока мы смаковали вино, Арсафий Мономах с некоторой тревогой всматривался в наши лица, а затем, не дожидаясь каких-либо оценок напитка, заговорил обращаясь к трактирщику Домну:

— А приходилось ли тебе, любезный, пробовать то вино, что по великим праздникам можно отведать в дворцовых палатах Магнавра? — узнав, что Домн никогда не бывал при дворе и ему не случалось даже проникать за стены Большого императорского дворца, Арсафий продолжил: — В таком случае, тебе не безынтересно будет услышать мой рассказ: перед Магнаврой имеется небольшая площадь, на севере примыкающая к одному из внутренних дворов Великой церкви. В самом центре этой площади находится глубокая мраморная чаша диаметром десять локтей, напоминающая по виду фиалу или нимфей, но вознесенный на вершину порфирной колонны высотой в четыре локтя. Над сей чашей сооружен свинцовый купол, а поверх него — еще один, но уже серебряный, и эти купола поддерживаются двенадцатью витыми колоннами из лучшей коринфской бронзы. Капители каждой из тех колонн увенчаны сотворенными с неведомым в наши дни искусством изваяниями тварей земных и небесных: одну украшает золоченая статуя льва, другую — быка, третью — сокола, четвертую

— волчицы, есть среди них слон и павлин и даже ангел Божий с распростертыми крылами. К этому вознесенному на колонну нимфею, а точнее — к каждому из его изваяний, подведена вода из расположенной на той же площади закрытой цистерны-базилики, наподобие той, что стоит в Халкопратии, но, конечно, меньшего размера. В дни же больших торжеств цистерну эту наполняют не водой, но вином и белым медом. А чтобы наполнить ее, нужно не менее десяти тысяч амфор вина и тысяча амфор меда! Вино это благоуханными струями истекает из пастей, клювов и иных естественных отверстий всех тех тварей, до краев наполняет мраморный нимфей, из него скрытыми путями возвращается обратно в цистерну и так кругообразно циркулирует, пока не бывает полностью выпито гостями и служителями дворца. Мне доподлинно не известен драгоценный рецепт изготовления сего вина, знаю лишь, что при этом используют самый лучший сорт винограда — дымчатый мерсит. Это тот самый сорт, из которого в Вифинии делается знаменитое деңдрогаленое вино, в других местах (например, в Пафлагонской Ти и в Гераклее на Понте) называемое тиарин. Гвоздика, корица, смирна и душистый нард также явно в нем присутствуют. Но верь мне: никогда в жизни ты не пробовал напитка более совершенного! Отведав его однажды, все прочие вина ты станешь почитать пресными. По вкусу подобен он божественному нектару олимпийцев, ибо также может сделать человека бессмертным! Душа стремится покинуть брненное тело и воистину растворяется в Божестве от одного лишь глотка сей густой и ароматной субстанции! Мне самому довелось пить его лишь однажды: в тот самый день, когда богохранимый наш автократор вручал мне золотой хрисовул на сан апозпарха, совокупно с приличествующим сему званию шелковым скарамангием, и этот день хранится в моей памяти, подобно бесценному зерну жемчуга.

Как только Мономах закончил свою вдохновенную речь, трактирщик, не говоря ни слова, забрал у нас пустой кувшин и принес другой — полный. Миловидная светловолосая рабыня-склавинка вновь поставила перед нами блюдо с ломтями сыра, на этот раз — белого, сохраняемого обыкновенно в морской воде, и соленую свинину с фригийской капустой, плавающие в жиру, а Трифиллий, наполняя чаши, сказал:

— В тебе, Арсафий, гибнет дар синклитика и государственного мужа, ибо ты воистину способен любого уболтать до бесчувственности! А когда бы похвале вину прилично было звучать под сводами храмов, красноречие твое достигло бы заоблачной высоты речений самого Иоанна Златоуста или, по меньшей мере, могло сравниться с гремещими словесами нынешнего настоятеля Саккудианской обители преподобного Платона. Вы же, друзья, не слушайте сего оракула виноградной лозы и обратите лучше внимание на вполне приличное фасосское, что плещется сейчас в ваших чашах.

— Истину глаголешь, друг Петр, — поддержал его Григорий Камулиан. — Воздадим должное сему напитку, ибо какой иной город может похвалиться подобным разнообразием вин, доставляемых сюда и с Эвбеи, и с Хиоса, и с Родоса, и мало ли откуда еще! Вам ведомо, что в прошлом году мне довелось довольно долго прожить в Афинах, наводя порядок в отцовских имениях. Так вот, вся Эллада, весь Пелопоннес, которые ныне сплошь заселены варварами-склавинами, пренебрегая божественной виноградной влагой, употребляют некое отвратительное, хотя и весьма крепкое, пойло из хлебного зерна и ячменя, а иные — даже из полбы, проса или овса. Хорошего вина достать там совершенно невозможно, а которое и имеется, непригодно для желудка образованного человека, ибо все смешано со смолой! Сам я никогда не притрагивался к этой отраве и лишь с невольной завистью вспоминал о вас, имеющих возможность вкушать пряное аминийское, душистое косское и несравненное белое керкирийское вино.

К тому времени, как мы расправились со вторым кувшином и приступили к третьему, я, как менее привычный к обильным возлияниям, уже перестал ощущать вкус поглощаемого напитка и недоумевал, каким образом Камулиан и Воила намереваются вынести свое решение о сравнительных достоинствах этого и Мономахова вина. Однако те пока и не помышляли выражать свое мнение или произносить вслух какие-либо суждения, будучи всецело заняты самим процессом дегустации.

После третьего кувшина я решительно заявил, что более не в состоянии здраво судить о качестве винных запасов фускарии Домна и попытался уклониться от дальнейшего участия в споре, однако все четверо моих друзей восстали против этого и договорили-таки меня занять вместе с ними и следующим сортом фасосского.

— Если верить Африкану, — заявил Арсафий Мономах, — от опьянения весьма помогает сырая капуста, которую, однако, необходимо потреблять перед застольем. Известно ведь, что капуста извечный антагонист вину, и даже если посадить ее рядом с виноградной лозой, то последняя примется расти в противоположную сторону, в силу своей природной антипатии к сему овощу. Тебе же, Феофил, я рекомендую воспользоваться старым и многократно проверенным способом: испив очередную чашу, немедля произнеси следующий гомеровский стих: «Трижды с Идейского

Гаргара грозно гремел Промыслитель...» — и вновь обретишь всю трезвость ума.

Все это время Трифиллий развлекал нас рассказами о необыкновенной и всегда, по его словам, сопутствующей ему удаче при известной игре в кости, называемой «тавли». Неожиданно один из трех упомянутых мною ранее и сидевших далеко в стороне от нас посетителей таверны поднялся со своего места, приблизился и обратился к нашей компании со следующими словами:

— Я вижу, благородные игемоны, что вы заняты весьма важным делом, и я бы не осмелился отвлекать ваше драгоценное внимание на вещи нестоящие, но краем уха я вынужденно услышал, как было упомянуто об известной забаве, называемой «тавли», и решил узнать, не соизволит ли кто-либо из честной компании сразиться со мной, недостойным, в эту издревле славную игру?

Незнакомец по виду явно походил на странствующего купца-аравитянина: был облачен в длинный и широкий черный плащ и кирпичного цвета сандалии; на смуглом, почти как у эфиопа, лице его подобно двум ярким карбункулам сверкали большие глаза, крючковатый нос сильно выдавался и нависал над верхней губой, козлиная бородака заплетена в две аккуратные косички, а унизывающие его пальцы дорогие перстни и кольца свидетельствовали о достатке, если не о богатстве.

Петр Трифиллий немедленно высыпал на стол все имевшееся у него с собой серебро и, лукаво ухмыляясь, предложил аравитянину ставить на кон за раз по семь милиарисиев, чтобы победитель получал стоимость целого золотого. В ответ надменный сын Агари лишь невозмутимо кивнул головой.

Мы не успели еще допить четвертый кувшин вина, как все деньги Трифиллия до последнего кератия перекочевали в поясной кошель его противника.

— Непостижимо! — вскричал наш товарищ, растерянно разводя руками. — Впервые удача полностью изменила мне. Ни одного счастливого броска! Не иначе, этому чужеземцу ворожит сам сатана!

— Просто ты спугнул свою удачу неумеренным хвастовством, — с улыбкой заметил проексим Воила.

— Не желаешь ли сам испытать эту капризную богиню? — поинтересовался в ответ Трифиллий. — Говорят, к гвардейцам она особенно благосклонна.

Николай Воила не замедлил принять вызов и также бросил на стол перед сарацином свой кошель. В срок еще более короткий, чем тот, который был отпущен Трифиллию, и он лишился всех денег. Агарянин насмешливо поклонился ему, с показательным почтением касаясь правой рукой поочередно лба и груди, а затем выжидающе уставился своими сверкающими, как уголья, глазами на тех из нас, кто еще не принимал участия в игре.

Григорий Камулиан немедленно заявил, что прихватил с собой одну медь, которую благородному человеку стыдно ставить на кон, поэтому не может принять участия в игре. Тогда Мономах, не говоря ни слова, подозвал к себе взмахом руки трактирщика, расплатился за все пять заказанных нами кувшинов вина, а оставшиеся деньги — что-то около двух солидов — положил перед собой.

На сей раз игра длилась несколько долее: Арсафий то проигрывал большую часть золота, то отыгрывался, но — увы! — в конце концов и он остался без обола.

Зная, что я никогда раньше не играл в кости, друзья и не думали предлагать мне попытать удачу. Однако я не мог равнодушно смотреть на их опечаленные лица и видеть насмешливую улыбку сарацина — мне казалось, что я не имею права оставаться в стороне и даже не попробовать отомстить за поражение своих товарищей. Кроме того, глядя в горящие, как раскаленные головешки, глаза этого неверного, я чувствовал, что меня обуревают страстное и неодолимое желание испытать свое счастье и сбить с него спесь. Уверенность в победе непрощеной гостьей поселилась в моем сердце!

По случайности у меня при себе имелось целых сто пятьдесят новых полновесных золотых номисм с изображением священной особы благочестивой августы: дело в том, что незадолго перед тем я довольно удачно продал свой крошечный и полуразрушенный эмвол в Иеросе и как раз этим вечером намеревался зайти к патрикию Феодору и отдать ему полученные от сделки деньги в рост — проценты с сего капитала должны были на ближайшее время обеспечить мне вполне безбедное существование.

С таким количеством золота я чувствовал себя воистину непобедимым. Сняв пояс, я вытряс из него часть монет и заявил о своем желании также попытать счастье. Григорий Камулиан постарался остановить меня, указывая на участь остальных, но я остался непреклонен и первый взялся за кости.

Игра продолжалась бесконечно долго. Первоначально случай во всем благоволил ко мне: я отыграл почти все деньги, спущенные моими друзьями и, когда бы остановился на этом, смог бы выйти из-за стола с честью, но гордость и азарт заставили меня продолжить партию, дабы вернуть все до единого медяка. Тут капризная богиня слепой судьбы — Тиха повернулась ко мне задом, и я стал проигрывать номисму за номисмой. Это лишь подогрело мое самолюбие, и я принялся швырять на стол золото,

словно негодные нуммии!

Товарищи мои молча и напряженно наблюдали за игрой; агарянин также не произносил ни слова, лишь продолжал насмешливо ухмыляться и таращить на меня свои завораживающе мерцающие буркалы; даже трактирщик Домн и его молодая рабыня подошли к нам и склонились над столом, чтобы удобнее следить за игрой с такими небывалыми ставками.

Увы! Я даже не успел заметить мгновения, когда пояс мой опустел окончательно, лишь захотев в очередной раз вытрясти из него монеты, я обнаружил, что совершенно проигрался. В ярости бросил я его на пол и, не помня себя, воскликнул:

— Свидетель мне князь мира сего! Клянусь всеми тварями Тартара и готов обречь душу демонам в том, что здесь дело нечисто: тут явно замешано колдовство и кости у этого мошенника закланы каким-нибудь особенным способом!

Дело в том, что в ходе игры я не раз обращал внимание на подозрительные манеры чужеземца: мне показалось странным, что перед каждым броском тот плевал на кости, потирал их в ладонях и нашептывал над ними некие похожие на заклинания слова на неизвестном варварском наречии. Вот это и заставило меня высказаться столь опрометчиво.

В ответ агарянин злобно рассмеялся и, поманив к себе трактирщика, что-то негромко тому приказал. Домн Иллириец немедленно удалился, но через мгновение вернулся обратно и высыпал на стол передо мной целую дюжину игровых костей.

— Если молодой игемон сомневается в честности моей игры, — прошипел нечестивый сын пустыни, — он должен доказать это. Прошу тебя, выбери любые из этих костей и испытай свое счастье еще раз.

Я с раздражением принялся объяснять ему, что не смогу этого сделать, ибо лишился уже всех денег, но аравитянин грозно насупил брови и, схватившись за рукоять заткнутого за пояс большого кинжала, прервал меня:

— Оскорбление было брошено, и клевета должна быть рассеяна! Если у тебя нет больше золота, так я готов принять в качестве ставки произнесенную тобой клятву.

— Что ты сумеешь под клятвой, чужеземец? — поинтересовался Николай Воила, осторожно проверяя перевязь своего меча. — Ты готов вместо денег удовольствоваться честным словом нашего друга?

— О нет! — отвечал тот, вновь ощерив в злобой усмешке зубы. — Я готов удовольствоваться его душой, которую он пообещал обречь демонам.

Некий внезапный холод объял меня от этих слов, и ледяной озноб на мгновение охватил все мои члены, но — видит Бог, сколь омрачен был разум раба Твоего! — внутренне я даже подивился невежеству сего варвара, готового рисковать таким количеством золота за пустые и ничего не значащие, как мне казалось тогда, слова.

— Смотри же, — повторил он, обращаясь ко мне, — твоя клятва против всех денег, что я выиграл у тебя и твоих друзей нынче ночью! Чем не прекрасная ставка?

Товарищи мои безмолвствовали, даже Трифиллий не стал отпускать свои обычные шутки и лишь пожал плечами. Я выбрал наугад две кости из принесенных хозяином фускарии и предложил агарянину первым начать игру. Тот взял их и, не производя уже никаких подозрительных манипуляций и не раскрывая рта, небрежно кинул на стол. Все мы, исключая самого чужеземца, радостно вскрикнули: выпали «гамма» и «дельта». Бросок был явно не самый удачный!

Невольное зажмурившись, бросил я: выпали «бета» и «эпсилон» — тот же результат! Агарянин вновь легким движением выбросил перед собой кости. И опять — «гамма» и «дельта»! Дрожащей рукой сгреб я со стола обе вестницы судьбы и, перемешав, с размаху швырнул на дубовые доски... Излишне говорить, что шестигранники легли неудачно — «альфа» и «бета» — за всю игру у меня не выходило столь несчастливого сочетания!

Я все еще как замороженный смотрел на стол, не в силах постигнуть подобного невезения, когда послышался глухой стук, и, оглянувшись, я увидел, что молодая рабыня без чувств лежит на полу. Мы все вскочили и бросились к ней; первым подбежал трактирщик, но едва он до нее дотронулся, как девушка забилась в страшных конвульсиях, изгибаясь всем телом и испуская изо рта пену. Через несколько мгновений она столь же неожиданно успокоилась и замерла в каком-то подобии столбняка, словно бы обратившись в безгласный камень. Ступор этот длился также недолго, ибо, как только я наклонился к ней, желая пощупать пульс, губы ее разжались, и она заговорила, не открывая глаз, голосом хриплым и глухим, неотличимым от зловещего карканья юродивого Тельхина:

— *День за днем будет угасать сей несчастный! И стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и разрушатся и распадутся все его сочленения, и кости его осыплются в преисподнюю!*

В ужасе отпрянув от склавинки, я осенил себя крестным знаменем, она же сразу

успокоилась и через короткое время совершенно пришла в себя, очевидно не помня, что с ней произошло и отчего она лежит на полу.

— И эта припадочная! — вскричал, устало вздевая руки, Петр Трифиллий. — Право, Феофил, ты притягиваешь безумных, словно патока насекомых. Трое за день — по мне, это чересчур! Сначала — бесноватый Тельхин, потом — свихнувшийся последователь Магомета... Кстати, куда делся наш обугленный друг?

Осмотревшись, я увидел, что аравитянин, действительно, исчез: видимо, поспешил скрыться от греха подальше с выигранным золотом, покуда мы были заняты рабыней. Пропали и двое его молчаливых спутников. Уход их никого особенно не расстроил, кроме трактирщика Домна, который заявил, что негодяи сбежали, не заплатив за выпивку. Мы все подивились подобной скарעדности, ибо, обобрав нас до нитки, могли бы они, по крайней мере, рассчитаться с хозяином фускарии.

— Однако мы до сей поры так и не решили наш спор! — внезапно вспомнил Трифиллий. — Вино выпито, деньги проиграны, так что и я, и сиятельный Арсафий с нетерпением ждем вашего приговора.

Видя, что я и Камулиан с Воилой в нерешительности чешем затылки, Арсафий, хлопнув в ладоши, подозвал к себе трактирщика и спросил:

— А что, любезный хозяин, издалека ли доставляют тебе виноград для того чудесного напитка, которым ты нас нынче потчевал?

Иллириец не замедлил уверить нас, что каждая гроздь выращена здесь же, во Влахернах, в собственных его виноградниках.

— Вот тебе и решение нашего спора, Трифиллий, — с улыбкой сказал Мономах. — О вине я, действительно, не могу сказать худого слова. Но какое же это фасосское?

IV

— Эх, обидно, что мы лишились всех денег, — с сожалением сказал Григорий Камулиан, выходя вслед за остальными из дверей фускарии в ночную тьму, — ибо теперь придется нам волей-неволей разойтись по домам, не осчастливив своим посещением и любовью ни одну из гетер в Кифи.

— Ну, ты-то не потерял ни единого медяка, — успокоил его проексим Воила, — так, может, наскребешь несколько милиарисиев для себя и друзей?

— Опомнитесь, несчастные! — в притворном ужасе вскричал Арсафий Мономах. — Разве вы не видите, что улицы пустынные, а огни в тавернах погашены? Продолжая бродить по городу в столь неурочный час, мы нарушим установления городского Эпарха! Что если заметит нас ночная стража?

— Друзья мои, утешьтесь, — вступил в разговор неугомонный Трифиллий, — я отведу вас в заведение, в котором у меня открыт неограниченный кредит и где, клянусь мужественностью Приапа, все удовольствия нам доставят в долг. И помните, что с нами проексим Петр Воила — кто осмелится задержать адъютанта доместика гвардейской тагмы экскувитов?

— Не только осмелятся, но и почтут за счастье, — мрачно проговорил Воила. — Ни денег, чтобы откупиться, ни подписанного Никтэпархом пропуска у меня при себе нет, а мой командир — доместик Иоанн Пикридий — пребывает в постоянной вражде с главою тагмы арифм и начальником ночной стражи — друнгарием виглы Алексеем Мусулемом, ибо первый держит руку августы, а второй — императора. Так что задержат экскувитора для стражников будет просто делом чести.

— В таком случае и для нас дело чести — надуть копыеносцев виглы! — воскликнул Петр Трифиллий. — А что скажешь на это ты, Феофил? Ведь ты — единственный из нас не почтен никаким саном и потому рискуешь больше всех, ибо стражники могут не только упечь тебя до утра в узилище Халки, но и примерно выдрать плетью.

Я несколько рассеяно ответил, что предпочел бы уединиться в своем доме и поспать.

— Э! Да я вижу, ты никак не забудешь чертова агарянина, — заметил Трифиллий. — Успокойся, любезный Мелиссин — душа твоя явно осталась при тебе и не попала в лапы демонов. Если, конечно, за таковых не почитать Камулиана, меня и всех остальных. Однако для поднятия духа тебе явно необходима женская ласка. Потому, друзья, решено: следуйте за мной в известную только вашему Трифиллию потаенную обитель Афродиты. Я буду вашим вожатым этой ночью, и да уподоблюсь я покровителю путников Гермесу или благой вестнице богов Ириде, но не мрачному старику Харону!

С этими словами он подхватил под руки меня и Камулиана и живо повлек куда-то в ему одному известном направлении. Мономах и Воила последовали за нами.

Пройдя кривыми и порядочно грязными переулками где-то между базиликой святого Иоанна и цистерной Бона, мы выбрались, наконец, на широкую, вымощенную каменными плитами Месу. Однако едва мы миновали руины крепостных ворот старой стены Константина и подошли к мраморным лвам, охраняющим пятиглавую

громаду храма Святых Апостолов, как услышали тяжелые шаги и лязг железа. К нам приближались ночные стражники виглы!

— Разбегаемся в разные стороны, друзья! — прошептал Арсафий Мономах. — Пусть каждый скроется в темноте какого-нибудь переулка, тогда проклятым копыеносцам (да выест им глаза проказа и поразит их члены гангрена!) нас не достать.

— Верно! — также шепотом поддержал его Петр Трифиллий. — А позже встретимся на Мавриановой улице, у Каменных Ворот — именно там и стоит нужный нам притон. До встречи!

И не дожидаясь, пока стража нас увидит, мы все бросились бежать кто куда. Я нырнул под каменное перекрытие ближайшего ко мне портика, затем, стараясь поднимать как можно меньше шума, прокрался вдоль стены какого-то дома и стремглав понесся по открывшейся за ней узкой улице. Направлялся я на юг, в сторону Ликоса — туда, где находился мой дом, ибо у меня и в мыслях не было являться на встречу к Каменным Воротам — на сегодня приключений с меня было вполне достаточно!

Не помню, сколько времени я плутал по кривым проулкам квартала Константианы, но только очень нескоро я очутился на небольшой площади, у подножия мраморной Маркиановой колонны, и понял, что каким-то образом пропустил нужную мне Воловью улицу и оказался значительно восточнее, чем следовало. Повернув назад, я взял левее и побежал, как мне казалось, в верном направлении. Миновав некую неузнаваемую в ночной тьме, немощеную и изрытую зловонными ямами улицу, застроенную тесно лепившимися друг к другу высокими, порой в восемь-десять этажей, деревянными и кирпичными строениями, чьи забранные железными решетками окна не оживлялись ни одним огоньком, я вышел к нимфею с безголовой статуей Посейдона. Почувствовав сильную жажду, я напился из нимфея холодной, несколько отдающей затхлостью водой и огляделся. Место, где я оказался, было мне совершенно незнакомо: вокруг теснились узкие фасады доходных домов с высоко поднятыми над землей и значительно выступающими вперед террасами; несколько в стороне виднелась церквушка — на ее куполе тускло серебрился в лунном свете большой, чуть покосившийся крест.

Куда же я забрел? Подойдя ближе к церкви и взглядевшись, я с удивлением узнал часовню святейшей Богородицы Мирелеон, где хранится ее мироточивый образ, писанный еще Лукой-евангелистом. Это значило, что я вновь сбился с пути.

Свернув в одну из южных арок между зданиями, я опять окунулся в паутину маленьких улочек, переулков и тупикиков, стараясь держаться нужного мне направления. То и дело наткаясь в темноте на кучи нечистот и гниющих отходов, пытаюсь не обращать внимания на крадущиеся следом за мной по стенам домов тени и горящие в ночи красным огнем глаза бродячих псов, я — на этот раз медленно и осторожно — пробирался по хитросплетению мостовых Великого города.

Ни единой живой души не попадалось мне по пути. Улицы были пустынные и мертвы; кое-где в подворотнях виднелся мерцающий и колеблющийся свет редких фонарей, да изредка ночную тишину нарушал резкий лай собак, звук падающей с ветхих крыш черепицы и какие-то далекие и глухие вскрики.

Я спустился по довольно широкой каменной лестнице, завершающей очередную улицу, и попал в кривой, как сабля сарацина, проем между зданиями, который мне был слишком хорошо известен — это был крытый переулок Вона — место, куда даже днем не проникал ни единый луч солнца, место, где я не раз вкушал радости продажной любви. В тесных каморках его домов, почерневших от копоти постоянно горящих светильников, ютились только жиры порока и профессиональные нищие.

Однако переулок этот был еще дальше от моего дома, нежели площадь Маркиана и часовня Мирелеон, ибо, разветвляясь надвое, подобно букве «юпсилон», он одним своим рукавом выходил на Филадельфий близ форума Тавра, а вторым — на зловещий Амастрианский форум, место публичных казней.

Устав кружить в ночи, я вошел под его мрачные, озаренные красноватыми бликами висящих почти у каждой двери фонарей своды и побрел в сторону Месы. Вокруг меня беспорядочно металась причудливые, дрожащие тени, воздух был напитан зловонными испарениями, а слух оскорбляли доносящиеся из распахнутых окон звуки: чей-то хриплый смех, стоны поддельной страсти и пьяная брань. Впервые попав сюда ночью, я решил, что именно так и должен выглядеть Таргар.

Выйдя наконец на гранитные плиты Филадельфия, я невольно остановился, с особенным удовольствием после смрадной духоты переулка Вона вдыхая набегавший со стороны Золотого Рога легкий свежий ветерок и разглядывая залитый неверным лунным светом город.

Справа от меня мерцали купола храмов монастыря Христа Непостижимого и смутно чернел силуэт триумфальных ворот, знаменующих былую военную славу империи ромеев. Дальше, за воротами, простирался сейчас для меня невидимый, величественный и самый большой в городе форум Тавра, украшенный конными ста-

туями императора Феодосия Великого и сыновей его — Аркадия и Гонория, некогда поделивших между собой восточную и западную части Ромейской державы. Прямо передо мной высились сумрачные профили огромных арок главнейшего из акведуков Константинополя — водопровода императора Валента, забирающего прохладную живительную влагу с предгорий Фракии, чтобы доставить ее в мраморный нимфей форум Тавра. Все это был Месомфал — средостение Великого города.

Слева, где на Филадельфии теснились многочисленные эргастии мироваров, лавки парфюмеров и дрогистов, а ночной воздух был напоен густой смесью ароматов амбры, мускуса, алоэ, нарда, киннамона, бальзама и ладана, виднелся вход на Амастрианский форум. После некоторого раздумья, я повернул именно туда.

Когда бы я направился к Тавру, то с площади мог бы попасть как раз на Маврианову улицу и, пройдя мимо усыпальницы великомученика Фирса, выйти к Каменным Воротам, где уговорились встретиться мои друзья. Однако я уже решил не являться на эту встречу и желал только одного — поскорее добраться домой. Я помнил, что где-то в левой части Амастриана начинается та самая Волыня улица, которая должна была вывести меня к долине Ликоса, поэтому решительно зашагал к форуму.

V

Пройдя через темный проем арки императора Ираклия, я ступил на мощенную цветным мрамором прямоугольную площадь. Она была совершенно безлюдна и вся облита бледно-голубыми, словно расплавленное серебро, лучами ночного светила. Пока я шел к центру форума, гулкое эхо моих шагов, отразившись от его мраморной оправы, вспугнуло целую стаю нетопырей, которые вылетели из-под высоких каменных сводов и бесшумными черными молниями заметались над головами статуй и между причудливыми капителями колонн и пилястр, заставив меня невольно вскрикнуть от страха и неожиданности.

Форум по всему периметру был обрамлен сплошной стеной беломраморных портиков, колоннад и галерей, украшенных по верху бесчисленными языческими изваяниями, которые многие поколения автократов и василевсов ромеев усердно собирали со всех пределов империи: из городов и храмов Италии, Азии, Элады и Африки. Множество самых разных идолов теснилось и на самой площади, крупнейшей из которых — всевидящий Гелиос в сверкающем венце — управлял квадратной вздыбивших копыта коней. На золотой колеснице, запряженной львами, с зубчатой, подобно башне, короной на голове, в окружении безумствующих корибантов и куретов мчалась мраморная Рея-Кибела — Великая Идейская мать богов или двуплая Агдитис, требующая от неопитов принесения ей в жертву собственной мужественности. Тут же рядом высились постаменты странных божеств Египта: посолового Анубиса, вставшего на задние лапы, внушающего ужас крокодила-Себека, таинственного Сераписа Птолемея и двурогой Исиды с младенцем Гором на руках, оплакивающей своего мужа и брата, вечно умирающего и воскресающего Осириса. Распростертый на земле агонизирующий Геракл соседствовал с целым выводком злобных крылатых гарпий, чьи имена — Аэлла, Подагра, Аэллопа, Окипета и Келайно — указывали на происхождение их от стихий Мрака и Хаоса; Минотавр Астерий — ужасный плод противоестественной связи Пасифайи и быка — горделиво являл свой нечеловеческие стати, а по углам форума, на усеченных пирамидах из черного обсидиана свивали кольца четыре бронзовых дракона с раскрытыми в беззвучном рыке пастьями. Это были: чудовищный Дельфиний — страж древнего прорицалища Фемиды, многоглавый Тифон — исчадие Геи и Тартара, обвинившийся вкруг древа с золотыми яблоками Ладон и, наконец, порождение Ехидны и сестра Сфинкса — устрашающая крылатая Химера с головами льва, змея и козла.

Я остановился в центре площади около фиалы, сотворенной неизвестным мастером в виде гигантского мраморного змея Урабороса, кусающего собственный хвост, и стал высматривать проход на Волыню улицу, но не мог заметить ни малейшего просвета среди зданий. Решив, что во всем виновата ночь, скрадывающая привычные очертания предметов, я принялся вглядываться внимательнее. Тщетно! Необходимо было покинуть освещенный лунной участок форума и обследовать расположенные слева портики, однако что-то препятствовало мне двинуться с места и заняться поисками. Некий внутренний голос настойчиво предостерегал меня от этого шага: всей душой я внезапно ощутил неясную, но от этого не менее реальную опасность, таящуюся в недрах ступившейся под мраморными сводами темноты... Между тем в это самое мгновение странный шелестящий звук коснулся моего слуха. Казалось, тысячи каких-то маленьких существ шуршат там, в этих сумрачных обителях древних божеств! И хотя я совершенно никого не видел, но страх, подобно скользкой гадюке, уже заполз и поселился в моем сердце.

Боже! Боже! Как передать словами охватившие меня тогда чувства? Словно чья-то ледяная рука вдруг сжала мне горло — дыхание мое стало прерываться, члены отказывались слушаться, а воля — повиноваться разуму.

Странный шедест усиливался и становился похож на тихий глухой ропот морских волн, набегающих на пологий берег. Одновременно мне стало казаться, что тьма, клубящаяся под аркадами, массивными перекрытиями сводов и архитравами порталов, в глубине колоннад и галерей, покидает свои убежища и медленно, но неотвратимо вытекает на цветистый мрамор форума, подобно невиданному черному туману пожирая бледное серебро лунного света.

Обливаясь холодным потом, я замечал, как кольцо мрака, ползущего из своих прежних укрывищ, все более сужается, захватывая новые и новые оргии Амастриана. Позы окружающих меня идолов неуловимо менялись: головы божеств, демонов и чудовищ поворачивались ко мне, я чувствовал давящий взгляд их пустых глазниц! Крылья грифонов, гарпий и пышногрудых сирен слегка трепетали, драконы и василиски извивали свои змеиные тулова, и угольно-черные языки тьмы струились у их подножий!

Стремясь избавиться от ужасного наваждения, я плеснул себе в лицо водой из фиалы, но и прохладная влага не доставила мне облегчения и не рассеяла обступающих меня призраков. Прежний шелестящий звук стал походить на злобный шепот тысячи невидимых уст, мне чудились тихие зловещие голоса, повторяющие: *«Он наш! Он проклят! Стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и неприкаянный дух его будет вечно бродить по сумрачным стогнам Auga!»*

Вот словно глухой жалобный стон или вздох родился где-то в самой глубине ночи и пронесся над площадью, и тотчас следом — протяжный собачий вой, тихий безумный смех и горький безутешный плач послышались со всех сторон, потрясая остатки моего рассудка.

Не смея шевельнуть ни одним членом, я стоял в полнейшем оцепенении и наблюдал, как некая внушающая безотчетный ужас высокая женская фигура в ниспадающих до самой земли и, словно бы струящихся, длинных траурных одеждах выступила из тени и стала медленно приближаться ко мне. В высоко поднятой правой руке темным огнем пылал смоляной факел, и змеи с мерзким шипением дыбились над головою ее, подобно гигантским могильным червям клубясь и извиваясь в распущенных седых волосах. Как не узнать было сего морока: богиня мрака, призрачных видений и злобного кародейства — порождение Хтоноса, ночная охотница Геката, которую латиняне именовали Тривией — демоном трех дорог, поклоняясь ее кумирам на распутьях, перекрестках и среди могил, явилась моему взору в окружении своры черных псов с горящими кровавым огнем глазами! Две ее неизменные спутницы — Ата и Мания, божества помраченного разума и дикого безумия — с тихим смехом следовали за ней по пятам, и бесчисленный рой похищенных ими заблудших душ, похожих на нетопырей и ночных мотыльков, с жалобным писком и пугающим шелестом мириад крыльев кружил над их головами, образуя подобие уходящего в беспредельную вышину черного вихря.

Я ощущал, как душа моя вместе с дыханием стремится покинуть тело и слиться с этим бесконечным вихрем, как все мое существо жаждет сладостного забвения и покоя, даруемого безумием! Воля к жизни истекала из меня подобно живительной влаге из усыхающего источника Гиппокрены, рвались невидимые нити, связующие мою бессметную сущность с брэнной плотью, а в голове неумолчно звучал тихий вкрадчивый голос коварной Гекаты:

— Рагуйся, смертный! Час твой пришел, и ныне тебя повежу я в глубины Эреба! Путь наш лежит мимо смрадных устьев Аверна, через глубокие воды Эвнои и Леты, в коих утонет несчастная память грехов и скорбей, что гнетут тебя долу. И мирское, и тварное — все без следа расточится в хладе Коцита и пламени жгучем Пирифлегетона. Там, в царстве бесплотных теней, в пустынной обители Дита, где недвижимы мутные омуты и Ахеронта, и Стикса, ждет нас начало пути во владения мудрого Орка и дальше, мимо Стигийских болот, где навсегда ты оставишь и скорбь, и грызущие сердце заботы, прямо к лугам Асфоделя, к блаженным полям Елисейским! Рагуйся, смертный! Ибо навек позабудешь ты страх, нищету, и позор, и невзгоды. Муки и тягостный труд не будут страшить тебя боле. Голод, болезнь и унылая старость уже до тебя не коснутся! Танатос-Смерть и брат его Сон на том обитают пороге, станут они навевать на тебя сонм сновидений приятных, коли ты верно будешь служить владыке Гадеса — Плутону!

Жалобный щебет мириад исторгнутых душ и радостный смех безумных божеств вторили словам Ночной охотницы. Черные псы, с кровавыми угольями вместо глаз, дыбили шерсть на горбатых загривках, щерили хищные пасти, истекая тягучей ядовитой слюною. Словно заворуженный, недвижимо стоял я, не умея отвести

взгляд от зловещей хтонии. Лик ее был темен, и только глаза, в которых плескалось ненасытное пламя Аида, подобно двум ярким светильникам, пылали в лунном сумраке, впиваясь в мой разум, гася сознание...

Неожиданно страшное видение задрожало и стало меркнуть — шумные радостные возгласы «*Вах! Эвое!*» раздались с противоположной стороны форума! Стягивающие меня пути мгновенно исчезли, и, обернувшись, узрел я прекрасного обнаженного юношу, высокое чело которого было увито листьями винограда, а в руках сиял серебряный кратер.

Веселая толпа менад и бассарид, одетых в шкуры пятнистых оленей, подпоясанных задушенными гадами, с длинными спутанными волосами, потрясая увитыми плющом тирсами, в оргиастическом восторге следовала за ним. Это они столь шумно славили свое божество — плодоносящего и любвеобильного Диониса-Загрея, а непристойно льнувшие к ним козлоногие сатиры и безобразно возбужденные рогатые силены подвывали своим подружкам хриплыми пьяными голосами, потягивая вино из кожаных мехов.

И вновь услышал я обращенные ко мне слова, и лились они подобно елею и меду:

— *Сын человеческий, не слушай коварной Гекаты! Счастья себе не добудешь, спустившись в безвидный ты Тартар. Медной стеной огорожена мрачная пропасть Аида, трижды ее окружила своим покрывалом из тьмы порождение Хаоса — Никта. Нет, не покой и забвенья найдешь там, но горе и муки! Мерзкий Харон и ужасные дочери Стикса — Зависть, и Ревность, и Ненависть в той глубине обитают. Цербер трехглавый и боль приносящие Керы рвать станут тонкий эфир твоей стонущей в трепете тени. Страшная видом Мегера и орудье Гекаты — Эмпуза высосут кровь твоих жил и обглаживать примутся кости. Прочие твари Эреба — несытая Ламия, Граи — выедят чрево твое и пожрут твои сердце и печень! Сын человеческий, не слушай коварной Гекаты! Знай, что скорей обретишь ты забвенья, забудешь земные заботы, коли ко мне ты пристанешь, к моей вечно радостной свите. Чествуй меня возлияньями влаги пьянящей: соком лозы виноградной и семенем, данным богами, мой окропляй ты алтарь, ведь иной я не требую жертвы! Мигом умчатся тревоги, рассеются мрачные мысли — все сокрушает оковы дарованный мною напиток!*

Радостным смехом и возгласами веселя приветствовали слова Диониса его козлоногие и рогатые спутники, а полуобнаженные менады и бассарида в едином восторженном порыве взметнули высь увитые плющом тирсы и вновь вскричали в блаженном экстазе: «*Эван! Эвое!*»

Живительное тепло разлилось по моим жилам, и возбуждение распространилось по всем членам, в некоем забытии протянул я руки к пленительным призракам... Но что это? Образ юного прекрасного бога стал неожиданно таять, черты его как-то расплылись и обрюзгли, прекрасные волосы поредели, стройные члены искривились — и вот предо мной уже не юноша, но грузный старик с огромным выпирающим чревом, покрасневшим носом и слезящимися глазками, который едва стоит на дрожащих и заплетающихся ногах! Верная свита, издавая горестные вопли, подхватила под руки своего поблекшего кумира и повлекла его назад, в спасительную тень забвения. Но мрак еще не успел окончательно скрыть эту ужасную метаморфозу, как уже иное видение предстало моему взору.

Одинокая величавая фигура появилась в круге лунного света, и когда она приблизилась, я увидел, что это молодой муж. Был он безбород и светел ликом, сияние же очей его казалось подобным сиянию вечерней звезды. Гордо простерши ко мне руку, он заговорил:

— *Оставь позабытых богов! Их храмы давно опустели, и не дымятся кровию жертв алтари в них, не слышится пение мудрых фламинов и юных весталок, салии в плясках не славят Квирина и мощного Марса, авгуры уж не следят за полетами птиц, все кануло в Лету! Знай, благочестье не в том, что, в смиреннии ниц повергаясь, молишь униженно в храмах Творца ты иль нижешь обет на обеты. Но в созерцанье всего при полном спокойствии духа. Если как следует это поймешь, то природа иною сразу предстанет тебе, лишенной хозяев надменных. Руку лишь мне протяни и весь мир обретишь во владенье: дам тебе то я, что боле никто дать не в силах — власть и свободу! Собственной воле ты будешь обязан за все и, конечно же, дружбе со мною. Что же касается платы... это мы после обсудим...*

Отступив в страхе и недоумении, но исполненный сладкой отравой соблазна, я мысленно спросил сего духа, как имя его? И услышал в ответ:

— *Много имен у меня: Саммаэль, и Решев, и Нергал, и Хелен бен-шахар, и Пазузу... Греки когда-то Геспером меня величали, римляне — чтили меня как звезду, что сияет всех ярче... Я — Люцифер! Я — Князь мира сего и владыка Шеола! Руку скорей протяни, и заключим союз наш с тобою...*

И ум мой пришел в смятение, ибо был я всего лишь человек и не чувствовал

достаточной силы в сердце ответить, подобно Ему: «Отойди от меня!» — и велико было искушение, и взалкала гордыня моя земного величия, и зрил я уже все царства мира и всю славу их у своих ног, и мнил я себя подобным барсу, медведю и льву, и на голове моей уже сверкали десять диадем...

Вдруг гулкой удар потряс эфир, и низкий протяжный звук повис над городом — это проснулось медное било-симандра Святой Софии! И тотчас симандры сотен прочих храмов, базилик и часовен богохранимой столицы откликнулись и стали вторить ему радостным перезвоном, призывая православных и приветствуя первые лучи солнца, блеснувшие на востоке. Сливаясь в единый торжествующий хор, неслись звоны из церквей святой Анны и мученицы Зои в Девтероне, храмов во имя святых Иоанна, Николая и Георгия в Кикловии, мучеников Платона, Мокия, Агафоника, Фирса и Феклы — из разных концов города, дворцовых базилик Петра и Павла, Сергия и Вакха, часовен святого Лазаря и святого Марка и многих-многих других. А следом, немедля, с пронзительным криком, вспыхнув как пук соломы, в дыму и пламени исчез Люцифер, сгинул древний змий, называемый Дьяволом и Сатаной и обольщающий всю Вселенную!

Я же, осенив себя крестным знаменем, без сил опустился на мраморные плиты проклятого Амастрианского форума.

VI

Сорок долгих лет минуло с той поры, но ни одной живой душе не смел поведать я об этих достойных удивления событиях. Ни один смертный не знает всей правды о том, что видел я ночной порой, стоя возле фиалы зловещего Амастриана, и, думаю, никогда не узнает при моей жизни. Ибо чувствую я, как с каждым мгновением стремительно сокращается срок моего земного бытия, как разрушается моя плоть и слабеет разум, так что навряд удастся мне окончить сию повесть до того, как Ангел Господень восхитит душу раба Божьего Феофила, навеки покинувшую тварную оболочку, и, уж конечно, читателей ее смогу я лицезреть лишь с горних высот и из-под сладостной сени кущ небесных.

И хотя дрожит уже стило в руке моей, а смертная пелена застилает глаза, заставляя строки на пергаменте расплываться, постараюсь я, сколь смогу, продлить повествование и рассказать вам, что стало со мной и другими после той исполненной соблазнительных видений ночи.

Итак, остановлюсь вначале на судьбе товарищей моих, ибо каждому из них была уготована своя, отличная от прочих доля.

Петр Трифиллий, счастливейший из них, продолжая подвизаться в финансовом ведомстве, в скором времени был почтен саном спафария, а спустя девять лет, когда начальник и покровитель его — логофет геникона Никифор попущением Божиим и неисповедимыми судьбами, по множеству грехов наших, сверг с престола благочестивейшую августу Ирину и был венчан в святой Софии патриархом Тарасием на царство, достиг званий логофета стратиотской казны и хартулария сакеллы, стал патрикием и главой-парадинастевонтом императорского Синклита. После смерти Никифора Геника — бессменно служил в той же должности императорам Михаилу Рангаве, Льву Армянину и Михаилу Травлу, покуда не помер из-за внезапного прилива крови к голове, опрометчиво помывшись в бане сразу вслед за обильной трапезой.

Григорий Камулиан, сын патрикия Феодора, также недолго пребывал в безвестности, ибо, приглянувшись своей красотой государю Никифору Генику, был приближен им к себе, удостоен сана дисипата и положения личного секретаря-мистика при особе императора, однако вскоре после гибели сего монарха оказался в опале, подвергся ослеплению, урезанию языка и окончил свои дни в заточении.

Проексим Николай Воила храбро и успешно воевал в Венецианском дукате, когда правитель онго попытался отложиться от Ромейской империи и предаться архонту Италии Пипину, дослужился до звания стратига Сицилии и спустя несколько лет погиб в сражении с франками за Далмацию и Истрию.

Кто о них помнит ныне, кроме меня?

Арсафий Мономах единственный из них жив и здравствует по сию пору, но пути и дела его скрыты от нас, простых смертных, ибо, то пребывая в качестве посла-василика при дворах различных европейских властителей, то выполняя иные тайные поручения венценосцев в отдаленных частях нашей империи, он постоянно окутан некоей тайной — неизменной спутницей большой политики и стремится держаться в тени.

Увы! Так проходит слава земная! Что остается от человека в этом мире после неизбежного физического распада? Только щепотка праха и недолговечная память немногих знавших его. Стоит ли такая малость тех воистину титанических усилий, кои мы прилагаем в своем неумном стремлении к власти, известности и почестям?

Сказано: нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

В юности, во времена моей прежней увлеченности халдейской премудростью и астрологией, я свято верил в учение древних о том, что ежели, к примеру, луна находится в период восхождения Пса в знаке Льва, то будет большой урожай хлеба, оливкового масла, вина, все будет дешево. Случатся смуты и убийства, воцарение нового императора, мягкая погода, набегі племен друг на друга, землетрясения и наводнения. Когда же луна в это время в знаке Девы, то выпадет много дождей, будет веселье, смерть рожениц, дешевизна рабов и скота. Если же Пес взойдет, когда луна в знаке Козерога или, хуже того, Скорпиона, то жди передвижения войск, смуты среди священства, множества казней, мора на пчел, нашествия саранчи, засухи, голода и чумы.

Я не подвергал ни малейшему сомнению слова Зороастра, рекомендующего тщательно наблюдать, в каком доме Зодиака находится луна, когда гремит первый в году гром, ибо если оный ударит во время ее нахождения в знаке Овна, то это предвещает, что в сей местности люди будут сходиться с ума, но придет погибель на арабов, в царском дворце случится радость, в восточных же областях — насилия и голод. Случись же ему прогреметь, когда она пребывает в знаке Девы, то неминуемы заговоры властителей против императора, обрушится на него хула и непристойное пустословие, с востока появится другой император, который завладеет всей Вселенной, будет изобилие плодов, смерть прославленных мужей и прибыль овец.

Ныне же, с высоты прожитых лет, я полагаю, что звездам мало дела до нас и наших скорбей и радостей. Что Плеядам или Ориону до урожая маслин в Ливии или Киликии? Как их могут трогать судьбы свинопаса или препозита священной спальни? Мириады людей успели родиться и умереть, а вечные светила по-прежнему на своих местах, движение их подчинено лишь воле и закону Создателя и никак не соотносено с нашими жалкими делами и помыслами. Сказано: что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и ничего нет нового под солнцем.

Но вернусь к своей повести. Сразу после той памятной ночи решил я отрясти мирской прах с ног своих и всецело посвятить остаток жизни деятельному раскаянию, сиречь служению Господу нашему Иисусу Христу. Распродав имения и обратив все имущество в звонкую монету, принялся я подыскивать монастырь или киновию, где бы возможно было поселиться и предаться умерщвлению плоти и молитвам о спасении души.

Первоначально, исполнившись смирения, вступил я под гостеприимный кров монастыря Пиги — Живоносного источника, в особенности прельстившего меня уединенностью своего местоположения, ибо находится он за стеной Феодосия, то есть вне городской суеты. Все здесь вполне соответствовало, на мой взгляд, святости места: густая кипарисовая роща, луг с мягкой землей, покрытый яркими цветами, сад, в изобилии приносящий плоды всякого времени года, и сам источник, спокойно бьющий из глубины земли чистой и вкусной водою.

Приняв после трехмесячного послушничества постриг, я прожил здесь семь лет.

Принужден, однако, сказать, что бытие сей обители оказалось на поверку весьма далеким от того идеала, который рисовался мне в воображении и к которому стремилось мое сердце. Населявшие его иноки (числом до семидесяти) более уделяли внимания ежедневным телесным трудам в саду и поле, чем посту и молитве, и сильнее озабочены были удовлетворением нужд физических, нежели нравственным совершенствованием собственных душ.

В монастыре имелись скрипторий и довольно обширная библиотека. Но что за книги хранились в этой библиотеке и переписывались братьями в скриптории! Все те сочинения, которые Феодор Присциан рекомендовал в свое время в качестве подбадривающего и возбуждающего средства страдающим любовной немощью, теснились на полках доступного всякому хранилища: сладостно написанные повести Филиппа из Амфиполиса, Геродиана, Ямвлиха и сравнительно невинных Харитона, Ахилла Тагия, Гелиодора и Ксенофонта Эфесского соседствовали с нескромными «Милетскими сказаниями» Аристида и непристойными измышлениями Апулея и Петрония. Мог ли подобный подбор книг содействовать заботам об укрощении плоти?

Усугублению соблазна способствовало и проживание в обители большого числа безбородых отроков и евнухов, как принятых туда для исполнения различного рода подсобных работ, так и находящихся в услужении у отдельных иноков. Кроме того, значительное количество мальчиков постоянно пребывало при начальнике скриптории для обучения грамоте, Псалтыри и литургической премудрости. Удивительно ли после сего то распространение скоромного зла, проявлениям коего я не однажды сам был невольным очевидцем во время еженедельных посещений монастырских терм?

Все это весьма тяготило и смущало меня до того, что иной раз на целые месяцы

затворялся я в своей келии, пытаюсь уподобиться тем анахоретам и святым подвижникам, которые искали спасения в уединении и помощи в борьбе с плотью и греховными страстями в отшельничестве. Однако и такие меры не вполне уберегали меня от соблазнительных мук плотского искушения, ибо, сколь ни старался, никак не мог я достичь святости тех прославленных мужей, что и среди обнаженных блудниц и блудодеев имели силу ощущать себя словно бесчувственное полено среди поленьев.

Потому-то, едва прослышав о духовных подвигах и похвальном религиозном рвении славного игумена Феодора, который как раз в то время покинул Саккудион и, обособившись в столичном Студийском монастыре, занялся преобразованием одного в образцовую общежительную киновию, я тотчас поспешил перейти в эту обитель, где и пребываю по сию пору и надеюсь окончить свои земные дни.

VII

Порядок строгой и воздержанной жизни, установленный игуменом Феодором Студитом, был особенно суров по сравнению с тем, к которому я привык в монастыре Пиги. Достаточно сказать, что употребления мяса всем инокам было совершенно запрещено, кроме дней, на которые приходились великие праздники. Также во весь период от Пасхи до Пятидесятницы служители подавали нам лишь хлеб, вареные овощи, тушеные с оливковым маслом бобы, густой суп из трески, сыр и яйца. Запивать все это позволялось тремя чашами настоящего на травах вина. То же полагалось и к вечерней трапезе. Во время поста воздержание бывало еще строже, ибо пищу мы вкушали только раз в день и то самую скудную: чечевичную похлебку, соленую рыбу без масла, измельченные орехи и, изредка, сушеные фиги, запивая трапезу несколькими чашами анисового вина, с добавлением тмина и перца.

Игумен ревностно заботился о безусловном соблюдении отеческих преданий и древних уставов святых Пахомия и Василия Великих. И это выражалось не только в том, что самим монахам не позволялось без особой нужды выходить в мир, но также и в том, что проход за ограду обители был строжайше запрещен не одним лишь особам женского пола, но и всякому безбородому: будь то отрок или евнух. Даже спать нам было предписано настоятелем в одной общей спальне, дабы при постоянном общении менее совершенные из нас могли подражать более совершенным и все были явны всем.

Занимаясь большей частью молитвой и чтением божественных писаний, часы которых бывали правильно и точно распределены, все мы не пренебрегали и физическими трудами. Но и во время работ по хозяйству или занятий какими-либо ремеслами никто из братьев не прекращал молитвы, ибо она — самый благоуханный и приятный для Господа фимиам. Когда же кто-то из иноков принужден был с дозволения игумена выйти из монастыря, так должен был соблюдать приличествующую ему скромность, не говорить лишнего, не поднимать глаз, особенно при встрече с женщинами, но идти с молитвой и с опущенными долу взорами.

Прочтя это, вы поймете, сколь тяжек крест, который я добровольно взвалил себе на плечи ради очищения духовного. И если, став спустя двадцать шесть лет сам настоятелем сей знаменитой киновии, я предоставил братьям некоторое небольшое послабление в потреблении вина и мяса, так это объясняется лишь явной чрезмерностью подобной строгости для большинства из них, ибо недостаток сих продуктов пагубно действует на здоровье и разум, необходимые для еженощных молитвенных бдений и подвигов благочестия.

Между тем демон похоти ни на миг не оставлял меня и в Студийской обители, отравляя не только мои ночные часы, но и являясь с присущей ему наглостью даже во время молитвы в храме. Чаще всего он принимал облик нагой женщины соблазнительно распутного вида, которая призывными знаками и недвусмысленными движениями тела (в особенности, бедер) старалась уловить мою душу в сети греха. Впрочем, иногда он предстал в ином образе. Так, раз я встретил его в трапезной под личиной некоего гермафродита, безобразно сочетавшего в себе признаки женского и мужского естества (и только прочитав «Трисвятое» и приглядевшись, я узнал в сем чуде нашего смиренного отца-эконома). Не однажды блудливо подмигивал он мне из пламени горящих лампад и светильников, многократно похотливо ухмылялся со святых ликов, а как-то на Троицу пробрался на мое непорочное ложе и всю ночь терзал меня отвратительными ласками, так что спавший со мною рядом инок Пафнутий, разбуженный моими стонами, решил было, что в соседа его вселился дьявол!

Не умолчу и об ином, едва ли не страшнейшем, искушении, постигшем меня на девятом году пребывания в сей киновии. Случилось это осенью, аккурат в канун дня святого Димитрия Фессалоникийского, когда вся братия с большим усердием готовилась к предстоящей всенощной, стремясь очистить душу и помыслы своей от малейшей

скверны и наималейшего нечестия. Перед самой службой уединился я с той же целью в малой келии и предался благодатной молитве, простершись ниц пред пречистым образом Пантократора, умиленно прося Господа ниспослать мне покой и избавление от злобных искусов отца лжи и обмана. И вот, едва я воззвал к Творцу всего и вперил очи свои в Неисповедимое, как постигла меня странная немочь и расслабление необыкновенное, так что я даже пал ниц и забылся в странном беспамятстве, самую смерть напоминаящем: члены мои одеревенели, язык онемел, и сознание, казалось, едва продолжало теплиться в сем убогом подобии образа Божия. Однако же я знал, что жив, ибо чувства мои, напротив, чрезвычайно обострились, а самый дух словно бы воспарил в некие сияющие горные высоты!

Казалось мне, что, словно поднятый невидимыми крылами, вознесся я над лазурными волнами Пропонтиды, и потоки ветров повлекли меня на север. Бесчисленные острова Мраморного моря промелькнули подо мной в предрассветных сумерках и исчезли, и вот наконец сам дивный город — величественный Константинополь — явился моему взору как бы с высоты полета птицы.

Сумеет ли язык мой описать все великолепие представшего передо мной царственного града — богохранимой и богоохраняемой царицы городов, солнца всей империи, сияющего богатством и славою!

Ибо один только и есть на свете такой горделивый град, око Земного круга, блистательная звезда и украшение Вселенной, светильник мира и общая пристань веры. Город, выдающийся преславным синклитом и множеством мудрых мужей, где процветают состязания наук и образцы всех добродетелей, величие и красота храмов, драгоценных облачений и утвари, торжественность божественных служб.

Где еще, в каких частях Востока и Запада возможно сыскать подобный ему? Какой из городов сравнится с сим Новым Римом — высшей опорой и средоточием православия, столицей Ромейской державы, о которой возносит ежедневные моления Церковь!

О счастливейшая из митрополий Земли! О Новый Иерусалим, из которого исходит все прекраснейшее, все спасительное и все благое, в коем василевсы самовластно царствуют и скипетры самодержавной власти самодержавно содержат! Ты единый осенен спасительным омофором Пресвятой Богородицы и храним Ею от всех недругов, ибо никогда еще не были поруганы неприятелем твои великолепные церкви и мраморные дворцы, и не раз полчища разноплеменных варваров в ужасе отступали вспять, едва завидев три ряда стен и полтысячи башен Константинова града.

Подобно сказочной жемчужине, блистаешь ты в оправе голубого моря и изумрудных рощ, окаймляющих береговые бухты. И не единожды я слышал из уст варваров, что, не увидев собственными глазами, едва ли возможно поверить, будто может существовать на свете столь богатый город — верховный над всеми!

Пять больших и пять малых ворот ведут со стороны суши внутрь столицы. Каждые из этих ворот сами представляют собой неприступную крепость: защищенные мощными восьмиугольными башнями, глубокими, обложенными камнем и наполненными водой рвами... Да впрочем, возможна ли самая мысль о взятии Вечного города?

Но что это? Отчего видение вдруг совершенно и столь страшно изменилось? Царственный город от Влахерн до Кикловия, от Золотых ворот до врат Ксилопорта обложен бесчисленной неприятельской ратью, Золотой рог, подобно рыбному садку, кишит вражескими дромонами, и вся Фракия содрогается от тяжелой поступи иноплеменных полчищ, от грохота и скрипа влекомых быками повозок! Да и самый город являет собой разительную картину опустошения: некогда неприступные стены со стороны суши проломлены во многих местах, четыре башни в долине Ликоса разрушены совершенно и наспех заделаны мешками с песком и бревнами, ворота святого Романа лежат в руинах...

Рассвет еще не занялся, и первые лучи солнца еще не позолотили крест на святой Софии, но было заметно, что стоит самое начало весны: я чувствовал, что Босфор едва успел утихнуть после неистовых зимних штормов, а из городских садов уже доносился сладкий аромат зацветших фруктовых деревьев. Из темнеющих кущ слышались соловьиные трели, и в небе тянулись караваны перелетных птиц, направляющиеся к летним гнездовьям на далеком севере... Близилось раннее, туманное утро... В этот самый момент пение петухов раздалось из дворов, пронеслось из улицы в улицу и достигло неприятельского стана. Вдруг ужасный грохот потряс воздух и пробудил эхо на далеком пространстве. С замирающим грохотом смешались воинственные крики, исторгнутые мириадами уст, черные толпы всколыхнулись и под оглушающий бой барабанов, звон цимбал и вой боевых рогов ринулись на приступ!

Трепет объял меня, когда я увидел, как первые ряды варваров проворно соскользнули в ров и принялись поспешно ставить тысячи лестниц к стенам и с воплями бросаться в многочисленные бреши. Ужасно было наблюдать при бледном

предутреннем свете луны эти густые колонны, которые подобно яростным волнам разбивались о стены, подавались назад и, гонимые нещадными ударами плетей и дубин, опять, с новой силой еще выше взлетали по лестницам. Малочисленные защитники с мужеством отчаяния бились в проломах, метали со стен в густые толпы осаждающих град камней, стрел и широкие струи убийственного греческого огня, но враги вновь и вновь, не считаясь с огромными потерями, под дикую призывную музыку труб и грохот барабанов бросались на стены и заграждения, карабкались на плечи друг друга, тщась зацепиться лестницами за верхние зубцы протейхизмы и взобраться по ним наверх. В мечущихся отблесках факелов, в клубах дыма, то и дело заволакивавших все вокруг, трудно было разобратить, что происходит. Но вот некое неподдающееся описанию, огромное и сверкающее бронзой чудовище, что высилось посреди неприятельского стана, издало громopodobный звериный рык, извергло из пасти устрашающую струю огня и дыма, и тотчас несколько стадий наружной стены близ ворот святого Романа обратились в прах, а в воздух поднялась целая туча камней и пыли! Густые толпы варваров тут же ринулись в этот новый пролом и с победными криками ворвались в пределы города.

Я мнил уже, что все кончено, как вдруг навстречу им устремилась горстка ромеев под предводительством воина, в коем по накинутому поверх лат пурпурному сагиону можно было узнать императора. И вновь враги были отброшены в ров, а христиане, подбадривая друг друга радостными возгласами и сплотившись вокруг императора, принялись в спешке восстанавливать разрушенные укрепления. Однако прежде чем они успели хоть что-то поправить, град камней, стрел и прочих метательных снарядов обрушился на них, а следом показали и, сопровождаемые дикими завываниями боевой музыки, немедленно двинулись на штурм новые, еще более многочисленные колонны варваров...

Тут зрение мое чудесным образом как будто раздвоилось и в то время, как перед глазами у меня по-прежнему продолжался этот неравный бой, я неожиданно увидел, как в самом углу Влахернской стены, там, где она соединяется с двойной стеной Феодосия, открывается маленькая потайная дверца, расположенная почти на одном уровне со дном рва, и в нее один за другим проникают варварские воины. И вот уже, перебив немногочисленную стражу, подобно пчелиному рою облепляют они ближайшую башню и выставляют на ней копьё с конским хвостом. Неистовыми воплями восторга тотчас огласился весь неприятельский стан, и вскоре уже целые толпы супостатов хлынули в город через роковые ворота и, устилая свой путь трупами, подобно реке в половодье, принялись растекаться по улицам!

Картины, одна страшней другой, замелькали у меня перед глазами с быстротой необыкновенной: вот император, вскочив на коня, бросается с мечом в руке в гущу варваров и исчезает в массах захлестнувших его орд! Вот тысячи полуодетых женщин и детей бегут по улицам, как будто случилось вдруг землетрясение, лишило их крова и свело с ума от страха. Крики ужаса и вопли отчаяния несчастных христиан несутся к небу, мешаясь с восторженными криками нечестивых победителей, которые, не насытившись еще боем и не утолив жажду убийства, ровно скот режут всех подряд, так что вскоре уже целые потоки крови струятся по крутым улицам Константинополя и широкими ручьями низвергаются с холмов Петры в Золотой Рог! Черными столбами возносятся ввысь густой дым от сжигаемых монастырских библиотек и храмовых святиль...

Внезапно я оказался около Харисийских ворот, и взору моему явилось очередное видение: варварский стратиг на белом сарацинском скакуне, в сопровождении надменных архонтов и рослых телохранителей торжественно вступал в завоеванный город. Медленно, в полном молчании проехал он по залитым кровью улицам поверженного Константинова града, остановил коня на Августеоне и, спешившись пред самыми воротами святой Софии, неторопливо ступил в поруванный храм.

Невидимый для окружающих следовал я за ним, пытливо вглядываясь в облик сего воителя, ибо казался он мне смутно знакомым: голова его была покрыта большим тюрбаном, закрывающим лоб до высоких дуг бровей, под которыми выделялись глаза с пронзительным взором и тонкий, крючковатый нос, нависающий над полными, яркими губами сластолюбца. Черты лица его напомнили мне почему-то попугая, приготовившегося клевать спелую вишню.

С трепетом и отвращением к творимому святотатству наблюдал я, как взошел он на амвон Великой Церкви и, схватившись за раздвоенную бороду свою, принялся что-то бормотать на незнакомом мне варварском наречии, несомненно, вознося великую хулу на Господа! И в сей же миг, будто пораженный отравленной стрелой, в великом страхе отшатнулся я прочь, ибо вдруг узнал в оном святотатце того самого нечестивого сына пустыни из недоброй памяти фускарии Домна!

Да, несомненно, это был тот самый агарянин: все те же сверкающие нестерпимым

алым огнем глаза, тот же похожий на клюв хищной птицы нос... Нет, вовсе не на попугая походил он, но на стервятника, лакомящегося мертвечиной!

Неожиданно пылающий адовым пламенем взор его обратился прямо на меня, кровавые губы раздвинулись, острые зубы хищника ощерились в жуткой ухмылке, и, простерши ко мне руку с унизанными дорогими перстнями пальцами, он заговорил. Голос же его был подобен рычанию зверя, шипению змеи и карканью ворона:

— Смотри, монах! Смотри на сей Вавилон, одетый некогда в виссон, порфиру и багряницу, украшенный золотом, камнями драгоценными и жемчугом. Видишь дым от пожаров? Слышишь сей плач и стоны, эти вопли и стенания? Знай же, пройдет еще шестьсот и пятьдесят лет и переполнится мера терпения твоего Господа! И исполнится все виденное тобою ныне, и падет великий град, царствующий над земными царями, падет и навеки соделается жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу! Так возрыдай же, монах, с плачем ударяя себя по бедрам, ибо наострен уже меч Востока на заклятие ромеев и вычищен для истребления христиан!

В безмолвном ужасе внимал я словам сего беззаконного создания, ибо язык мой словно прилип к гортани. Все так же усмехаясь, глядел он на меня, а затем заговорил вновь, но голос его был теперь как будто полон жалости и сострадания:

— А сейчас скажи, монах, готов ли ты ныне за спасение сего града отдать мне нечто уже некогда обещанное тобой? Дабы не наступило время его и не был бы он отдан на посмеяние народам и на поругание всем землям, а голова последнего василевса не красовалась бы на вершине порфирной колонны форума Августеон? Знай, в моих силах продлить славу империи до конца времен! Или мнишь ты, что все оное недостойно твоего спасения? Такова ли гордыня твоя? Ответь мне, монах!

Вострепетав в сметном страхе, с отвращением отпрянул я от коварного искусителя, троекратно осенив себя крестным знамением, он же засмеялся злобно и произнес нечто загадочное:

— Да будет так! И пусть паук плетет свои тенета в палатах кесарей и сова несет дозор под сводами Афрасиаба!

И едва отзвучали эти таинственные слова, как образ демонического воителя стал меркнуть, само видение затуманилось, будто подернувшись кисейной пеленой, а затем и исчезло вовсе, я же вновь оказался пред образом Пантократора в малой келии нашего монастыря.

Неудивительно, что разум мой был смятен до крайности сим мороком. Сомнения тяжким грузом легли мне на сердце и смугили дух. Однако, поразмыслив, я понял, что отнюдь не божественное вдохновение посетило меня, но, напротив, диавол вновь пытается уловить меня в свои сети, добываясь заполучить мою бессмертную душу, насылая подобные искусы и помрачения рассудка.

Означенные напасти побудили меня умножить усилия, направленные на спасение души, и перво-наперво обратился я за духовной помощью и поддержкой к игумену Феодору, без утайки поведав ему на исповеди, как своему наставнику, о терзающих меня бесовских искушениях. Преподобный внимательно выслушал меня и сказал следующее:

— Мужайся, сын мой! Полагаю, велики прегрешения, совершенные тобой в мирской жизни, что столь яростно нападает на тебя враг рода человеческого. Потому беги всех суетных удовольствий и самих помыслов об оных. Помни, что распевающих песни Господь считает визжащими свиньями, а кифаредов — инструментами сатаны, на беспутных флейтисток и пляшущих женщин смотрит, как на Иродиаду, на блудниц — как на коз смердящих, а на юнцов, которые погрязли в игрищах, насмешках, кривлянии и пьянстве, — как на нечистых земных пресмыкающихся, зверей и порождений Ехидны. Чуждаясь всего этого, ты прославляешь Господа, потакая сим порокам или даже просто, будучи безучастным, наблюдая за оными — кадишь Велиалу!

— Как же мне избавиться от пагубных искусов, — спросила почтенного настоятеля, — когда ни пост, ни молитва не могут вовсе изгнать наваждений, насылаемых на меня отцом лжи и обмана?

— Что ж, — отвечал Феодор Студит, — есть и иные пути, ведущие к просветлению души и приближающие к Божеству. Испытай их. Многие из известных мне иноков и подвижников Божьих совершали и совершают дело своего спасения самыми разнообразными подвигами. Есть среди них такие, что называют себя *нагими* и вместе с одеждой отвергают всякую заботу о теле; есть *не заботящиеся о волосах*, ибо полагают это мирской роскошью и изнеженностью; имеются *спящие на голой земле*, о которых один из мудрецов сказал, что хотя они спят весьма низменно, но стремятся к самому возвышенному; *босые*, не носящие обувь в продолжении целого года; *грязные*, внешне покрытые грязью, однако чистые сердцем; *не моющиеся* или *не моющиеся* — славные не молчанием, но прославлением; *безмолвники* или *исихасты*, стремящиеся

к успокоению от всех забот и сует мирских и посвятившие себя самому строгому уединению; *пещерники*, которые, ютясь в горах и расщелинах земли, обнаруживают всю глубину духовного созерцания; *налагающие на себя железные вериги* и называющиеся вооруженными воинами Божьими; *погребенные в аскетизме*, из которых одни совершенно зарывают себя в землю, приближаясь тем самым к настоящему погребению, другие заключаются в весьма тесные келии и именуются *затворниками*, третьи подвизаются на столпах и потому называются *столпниками* — орлами, парящими в превыспренных сферах, для коих столп есть маяк спасения, арена борьбы для непобедимого атлета, лестница духовная и жилище для тех, пищей которым служит небесный эфир, а наслаждением — лучи божественного света и пребывание в постоянном общении с Богом. Иные из монахов прославляются подвигом *стояния*. Так, знаком я с одной инокиней из монастыря Хрисоволанта, что, простерши руки к небу и тихо творя молитву, иногда *простаивала* в этом положении недвижимо целую неделю, так что после не могла уже собственными усилиями опустить вниз руки и нуждалась в помощи сестер. Когда же те делали это, то явственно слышно было, как члены сей подвижницы издают страшный треск. Избери же, чадо мое, духовное упражнение себе по сердцу и по силам и дерзай на спасительных путях, ведущих к Свету Истинному! Но, прежде всего, стань смиренным пред стопами Спасителя, чтобы и Он сам, борясь за тебя, победил воинственного плотского демона и чтобы тебе была присуждена победа: ведь Господь противодействует высокомерным, смиренным же дает благодать.

Долго еще продолжалась эта душеполезная беседа с отцом настоятелем. Преподобный поведал мне о монахах, чье благочестие выражается в сидении на деревьях и о тех, которые поселяются близ жилищ блудниц или даже в самих домах разврата, дабы, претерпевая побои и всяческие унижения, ежечасно обличать и оных дочерей погибели, и несчастных, что ходят к ним. Рассказал он мне и о тех, которые именуются странниками и всю жизнь свою, по примеру святителя Арсения, проводят в беспрестанных переходах от одного места к другому, нигде не задерживаясь и не останавливаясь. Упомянул об истовом в деле веры иноке Акакии, который, специально обучившись скорняжному делу, поселился в Пере, близ жидовского квартала и, стараясь всячески досадить врагам Сына Человеческого — ненавистным иудеям, спускал к их домам вонючую жидкость и грязные отбросы своего ремесла. Наконец не умолчал почтенный отец Феодор и об юродивых Христа ради, чей подвиг почитается среди подвижников одним из труднейших, ибо оные юроды не только отказываются от всех удобств земной жизни и ее дозволенных благ, но совершенно отрекаются от обычного пользования разумом, осуждая себя на добровольное и совершенное безумие, почему кажутся всем окружающим людьми жалкими в умственном отношении и достойными сожаления за душевное уродство и болезнь их. Между тем, в действительности под маской безумия служат они Богу, стремясь своей жизнью оправдать слова апостола Павла: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» и «немудрое Божие премудрее человеков».

Сии наставления духовного отца моего преподобного Феодора Студита отнюдь не оставили меня безучастным, но, напротив, заставили задуматься, какой же путь спасения из названных им более мне подходит и должен быть мною избран. После длительных колебаний обратился я наконец к учению исихастов, привлекающему меня одновременно строгим аскетизмом и тем, что для следования ему не нужно было ни покидать стены монастыря и отдаляться от пастырского речения его настоятеля, ни следовать некоторым нечистоплотным, по моему разумению, обычаям.

С этого времени, вполне отдалившись от мира, затворился я в строгом уединении тесной келии, где божественная медитация, внутренняя молитва и ненарушимое молчание стали моим уделом.

Спустя три года, проведенные мною в таковых духовных упражнениях, я с превеликой радостью возблагодарил Господа, ибо почувствовал, что бесовское наваждение почти вовсе оставило меня и всеразличные демоны прекратили то и дело являться на мои глаза, разжигая низменную чувственность, пагубные вожеления и неуместную для инока гордыню. Воистину нет предела милосердию Божьему к покорным воле Его и послушным велениям Его!

Тебе же, читающему сию повесть, коли ты страдаешь от подобных напастей или желаешь совершенства духовного, могу посоветовать следующий чудесный способ, которому я научился за годы своего уединенного безмолвничества: заперев двери, сядь в углу келии твоей и отвлеки мысль твою от всего земного, тленного и скоропреходящего. Потом положи подбородок на грудь свою и устреми чувственное и душевное око на собственный пупок. Далее, сожми обе ноздри так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами приблизительно то место сердца, где сосредоточены все душевные способности. Сначала ты ничего не увидишь сквозь свое тело, но

когда ты проведешь в таком положении день и ночь, а затем еще два дня и две ночи, то — о, чудо! — ты увидишь весьма ясно, что вокруг твоего сердца распространяется божественный свет!

Это — начало пути, который должно совершать в страхе и истине, непрестанно укрощая свое тело с помощью поста, облачась, как в далматику, в смирение и сияя от радости в молитвах. При этом будь незлобивым, незаносчивым, не суди, не порицай и не злословь!

Крепка моя надежда на то, что спасение — в благочестии, а его же можно достичь, став сострадательным, возлюбя бедность, отшельничество, поощряя молчание, стойкость в воздержании, постоянство в уничижении, и тогда возвеличит тебя щедрый Господь пред ликом всех своих святых.

Верую я, что, как и возвестил нам в своем откровении святой Афанасий, каждый благочестивый инок после смерти будет восхищен к Господу и Престолу Его, где даруются ему шесть белоснежных крыл, покрытых очами, и станет он в облике светозарного серафима, стоя одесную Владыки среди неисчислимого небесного воинства ангелов, начал, сил, властей, престолов и господств Его, вечно воздавать хвалу единому Творцу всего сущего!

Благочестивым же, говоря правду, вполне могу именоваться, ибо ныне я воистину нищ духом, сокрушен сердцем и вот уже сорок лет, как печалюсь и скорбя о бывших грехах своих, чуждаюсь вражды, гнева, зависти, тщеславия, самонадеянности, чревоугодия, гордыни, распутства, содомии, скотоложства, рукоблудия и, наипаче, всепоглощающего пьянства (за что в особенности приходит гнев Божий на сынов противления)!

Знаю я — расточится, как снег под солнцем, предсказание ужасного Тельхина, ибо нет уже над рабом Божиим Феофилом власти тех демонов, что явились ему ночной порой сорок лет назад на проклятом Амастрианском форуме...

Ведомо мне... Но слабеет рука моя, меркнет разум, как огонь в светильнике, в коем закончилось масло... Странные тени бродят по стенам моей кельи... то, верно, зрение подводит меня...

Близок конец... гордой радостью и предвкушением грядущего блаженства наполняется мое сердце... Гряди, Господи! Се раб Твой! Вот он — я — пред лицом Твоим!

Уже скоро... Чувствую, как разрушается тленная плоть моя, как замирает ток крови по жилам, путаются мысли... медленно угасает сознание... Постой, Господи! Дай увидеть все своими глазами... Позволь воочию узреть Ангела Твоего, коего пошлешь за мной!

Вон там... в самом углу келии, под образом Пречистой... Ей, Господи! То — Твой горный посланник! Вижу, вижу, как появляется он в дрожащем свете лампы... Но отчего он черен, будто эфиоп?... Почему глаза его горят подобно угольям, из ноздрей валит дым, а рот изрыгает пламя?... Зачем в ушах моих звучит этот дьявольский хохот... и словно могильные черви заживо гложут мое тело!.. И снова эти ужасные слова: *«И стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и разрушатся и распадутся все его сочленения, и кости его осыплются в преисподнюю!»*

...крылья его подобны крыльям нетопыря... и эти рога... Боже! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?..

* * *

*На этом обрывается рукопись преп. Феофила Мелиссина,
игумена Студийской обители.*

Виктор ЗАЙКОВ

СТРЕЛЯЙТЕСЬ САМИ, МАЗЕПА

Роман из подполья¹

Часть V. КВИТЫ

Глава 1. TEMPORA MUTANTUR...

Из рапорта капитана Н.Н. Казагранди уполномоченному Сибирского правительства с правами генерал-губернатора по насаждению государственного и общественного аппаратов управления освобождённых районов Западной Сибири генерал-майору Г.А. Вержбицкому:

«Достаточно фронту отойти вперёд от захваченного пункта на несколько десятков вёрст, как жители этой местности, и в особенности так называемый торгово-промышленный класс, и, к сожалению, большая часть нашей интеллигенции, предаются спекуляции, разгулу и тому подобное. Совершенно забывают, что существует фронт, на обслуживание которого нужно отдать все силы».

«А с какого такого, простите, нервического удара мне надо встать во фронт и обслуживать кого-то или что-то? — скорее всего, желчно ответил бы честному офицеру не носитель высокого чина, которому адресовано донесение, а какой-нибудь держатель меховой лавки Тюлькин, скажем, Емельян Спиридонович. — Вон известный господин Вяткин, сидящий или состоящий при штабе Колчака, пишет во вчерашней газете — задорно, утверждающе пишет, что «...возрождение России стало делом близким, доступным». Как такому деятелю не верить? Ведь явно намекает на захваченный у советов в Казани расейский золотой запас. Поговаривают, будто целых два эшелона под охраной бронепоезда в Омск пригнали. Но, скорее всего, врут, подлецы, — гораздо больше их было, вагонов-то с сокровищами. Да имея такие деньжищи, не то что армию вооружить и купить всем генералам по аэроплану можно, но ещё и каждому жителю Сибири сапоги и тулупчик справить, а баб ихних в душегреи на волчьем меху обрядить. Ай-я-яй, и как не совестно осыпать упрёками тех, кого большевики и так обездолили? Ценности реквизируют, дома опустошили, души бесовской верой испоганили. Куда измученному промышленному классу головушку свою прислонить? К стойке кабацкой, вестимо. На фронте-то чего ему делать? Ни стрелять-наступать, ни лошадь чтоб запрячь — не приспособлен он. Да и кашу в обозе для мужика варить — слыханное ли дело! Стало быть, стезя ему произначертана другая. Тем более, по уверениям Вяткина, воевать-то, в сущности, и не с кем: коммунары все сплошь недоумки и эти, как их там, скоморохи с преступными ушами — вдарим по ним раз, а второго и не надо будет, допрежь отвалятся. Вот же, читайте, читайте в последнем номере, господа, как, подпирая свои наблюдения не догадками, но фактами, рыцарь пера призывает нас, обывателей, убедиться в редкой и неизлечимой болезни, побившей ряды революционных босяков, именуемой в просторечье вывихом головного мозга. Иначе как объ-

¹ «Невский проспект» завершает публикацию историко-документально-художественного романа Виктора Зайкова «Стреляйтесь сами, Мазепа» с сюжетом на документальной основе и с историческими прототипами. Часть I «Казнь», часть II «Провал», часть III «Засада» и часть IV «Стихия» опубликованы в №1, №2, №13 и №15 НП, соответственно.

яснить, например, недавнюю тяжкую суровость их расправы над безвинными простолюдными Тарского уезда, слезинками божьими — Гринбергом хлебопашцем и Михайловым коневодом? Постановили «чумазые» вышеупомянутых мучеников лишить жизни. Как сказано уже было, ни за понюх табака. Уже сам по себе акт жестокий. Так нет, порешили ещё (видимо, для того, чтоб не убежали после казни ненароком) применить к ним антигуманную штуку — разрывные пули! Люди, будучи в здравом уме, разве на такое бы сподобились? А ещё летописец эпохи приводит «любопытный случай, происшедший в селе Тевриз». Там, оказывается, имелся памятник Александру Второму. Стоял себе император и стоял. Глядел вдаль державно, мёрз, никому не нужный, под дождями да метелями. Никто его не трогал. А тут саранча красная налетела. Комиссар походил вокруг то ли зодчества, то ли ваяния и распорядился сооружеенье... арестовать. Раз приказано, надо исполнять. Бюст сняли, свезли на каталажку под замок и часового приставили. Представляете, с какими пещерными ископаемыми дело имеем? Срамота одна босомыжная да и только».

Кстати, Казаранди, порицающий царящие в тылу нравы, был далеко не одинок. Министры верховного правителя получали (обсуждали или нет — неведомо), многие «сигналы», ну, например, письмо начальника Уральского края инженера Постникова. Чувствительное для чьих-то нервов письмо с негодующими нотками: «...военные власти от самых старших до самых младших распоряжаются в гражданских делах. Незаконномерность действий, расправа без суда, порка даже женщин, смерть арестованных «при побеге», аресты по доносам, преследование по клевам. Мне неизвестно ещё ни одного случая привлечения к ответственности военного, виновного в перечисленном. Транспорт исключительно в руках военных, ни во что не считающих надобности населения...»

Интересно, а читал ли сие откровение наш маститый журналист? Скорее всего, вряд ли. Такое от прессы обычно прячут в тёмное чрево сейфов или используют для растопки каминов. Уж больно не красят подобные «мелочи» мужей государственных. А им ведь надо постоянно появляться на публике в белоснежных манишках и безупречных фраках, за атласными бортами которых прятать до времени другие убийственные перлы вроде «Закона о третьем снопе»¹.

Обошёл гражданский губернатор, из каких соображений — гадательно, ещё одну, весьма болезненную, тему мобилизации. А именно она порождала особо яростное недовольство поселян и вызывала зубную боль у той же контрразведки. От набора в победоносные полки, движимые Колчаком, бежали толпами. Скрывались в чащобах, бросая имущество и семьи. Сбивались в шайки и отряды. Поскольку хотели кушать, грабили обозы и нападали на малочисленные гарнизоны. И достать разбойников в тех болотинах не было никакой возможности.

Мазепа показал как-то Киселёву секретный документ — утверждённое военным министерством штатное расписание своего контрразведывательного отдела. В нём значились: начальник, его помощник, штаб-офицер для поручений, обер-офицер для поручений, делопроизводитель, архивариус, две машинистки, писарь. Всё!

Язвительно сморщил губы:

— Гурий Николаевич, возможно ли с таким войском противостоять сотням обзлённых мужиков, не желающих служить адмиралу?²

¹ Земельная революция, то есть повсеместный переход земли в крестьянское единоличное пользование, к 1919-му году являлась фактом свершившимся. Но землевладельцы с этим ну просто варварским, подлым, коварным и прочим ограблением себя, любимых, мириться не собирались. В самый разгар наступления белых армий на Москву, сельская буржуазия протащила в Особом совещании при главкоме так называемый закон «О третьем снопе», обязывающий крестьян отдавать бывшим помещикам в качестве компенсации за «передел» треть выращенного урожая. Антон Деникин — главнокомандующий вооружёнными силами юга России — впоследствии признал, что этот юридический акт и погубил (вкуче с другими ошибками) белое движение. Судите сами. Войска освободителей урются к «златоглавой», гремят победные фанфары. Однако, опережая их, черным бородатым козлом скачет по весям худая молва о новом законе, согласно которому помещику снова дали право драть с мужика товарную повинность. Как после такого можно было рассчитывать на помощь и радушие многомиллионной армии простолюдинов? Да никак! «Большевики-то землю без всяких выкупов отдают, а эти что делают»? Итог бездумного законотворчества хорошо известен — сначала отступление добровольцев, потом их полное поражение и драматический исход за русские пределы.

² Для сравнения — выдержка из «Дневников» генерал-лейтенанта барона Алексея Будберга, занимавшего в 1918-1919 годах пост управляющего военным министерством в администрации верховного правителя всея Руси: «Здесь контрразведка — это крупнейшее учреждение, пригревающее целые толпы шкурников, авантюристов и отбросов покойной охранки, ничтожное по производительной работе, но насквозь пропитанное худшими традициями прежних сыщиков, жандармов. Все это прикрывается самыми высокими лозунгами борьбы за спасение Родины, а под этим всем царят разврат, насилие, растраты казенных сумм и самый дикий произвол».

Комендант недовольно поправил:

— Не адмиралу, а России. Вы, батенька, иронизируйте, но знайте меру. Оскорбление верховного «на словах» объявлено тяжелейшим преступлением и влечёт за собой тюремное заключение абсолютно для всех, кто был в этом уличён. Что касается уклонистов и дезертиров, то мы не меньше вашего озабочены этим мерзким явлением. Так называемые партизаны начинают представлять для нас всё более растущую угрозу. Мы вынуждены снимать с позиций некоторые части, формировать из них специальные команды для установления и поимки беглецов. Немало усилий потребовалось и для того, чтобы направить в окружающие селенья агитаторов с целью формирования у населения должного представления о политике нашего народного правительства. Люди обязаны понимать, что, отдавая своих братьев, сыновей, отцов в Сибирскую армию, они тем самым строят своё будущее.

Иринарх Гаврилович растерянно посмотрел на коллегу:

— Оскорбления Александра Васильевича я в своих словах не усматриваю. В остальном же полностью с вами согласен. Особенно одобряю пропагандистское предприятие, которое весьма и весьма своевременно, ибо в головах людей сегодня такой чертополох разросся, боюсь, что уже не вырвать, — и достал из портфеля бумагу. — Вот, изъяли на днях у одного мещанина в торговых рядах. Очень прелюбопытная прокламация. Не знаю, уж как, но дошла до нас аж из Енисейской губернии. В ней некий полный Георгиевский кавалер из крестьян, но выслуживший офицерский патент Щетинкин, по убеждениям явно не большевик, объявил, что «на Дальнем Востоке уже выступил великий князь Михаил Александрович, который назначил Ленина и Троцкого своими министрами, и атаман Семёнов к ним присоединился. Осталось только разбить Колчака».

Киселёв мрачно процедил:

— А что, учитывая местные особенности, очень даже грамотно составлено. Я бы сказал, определённо грамотно. Трепетную лань впрягли в повозку с ослом и мулом и нарядили эту чудо-тройку скакать воевать против тигры. Н-да-с. Вы оставьте мне эту шедевр, я покажу её генералу Редько. Пусть он узнает, какие университеты по обучению политграмоте работают в тылах его дивизии.

...Дни шли, и обстоятельства стали складываться для апологетов «единой и неделимой» очень и очень не в их пользу. Лавины фронтов покатались по былинным просторам России всё дальше от Москвы к окраинам бывшей империи. Боевые порядки освободителей редели. И причин тому было множество. Утомлять читателя их препарированием не будем. Отметим лишь одно — красные, увы, имели тотальное превосходство в людских резервах.

Земли за Уралом, как известно, хоть и необъятны в богатстве своём, да вот людшек на них прижилось... ой, маловато. Даже недавние и, надо сказать, дюжие старанья убиенного реформатора, избирательной памяти Петра Аркадьевича Столыпина мало чем помогли. Ну, теснятся ещё кой-какие городишки вдоль Великой магистрали, а отступишь от неё вёрст эдак на пятьдесят хоть вправо, хоть влево, и что? Кругом дебри непролазные, пузыри болотные едкую вонь источают, да рысьи глаза смертью глядят. А набредёшь если случайно на деревню какую, с виду вроде богатую, так из неё кормильцев-то мужеска полу вместе с лошадушками ещё в германскую повыдёргивали. А молодёжь подросшая больше девками интересуется, не Колчаком. И умирать за него — откель и взялся такой? — не желает.

Фронт требовал солдат. Крепких, с царём в голове. Победа была невозможна без полнокровных свежих дивизий. «Разверстать план дополнительных мобилизационных мероприятий и неукоснительно и повсеместно приступить к их исполнению!» — повелело начальство.

И поднялся бабий вой над хуторами и деревнями.

...Вломилась команда рекрутёров в один из дней и в дом Калетина. Оглядевшись и поцокав языком, неказистый, в летах уже немалых поручик скомандовал:

— Обойди-ка, Осташкин, этот клоповник и, кого найдёшь, сюда тащи.

Унтер пинком распахнул первую дверь. А за ней — фонарь «летучая мышь» под потолком освещает следы вселенского кутежа: стол, уставленный бутылками, рыбки хвосты с блюд мельхиоровых свисают, и офицер при ордене и жгутом аксельбантов на груди, покачиваясь, достаёт из кобуры револьвер. Сейчас пальнёт. Служивый попятился. Сунулся в другую комнату. И там тоже офицер сидит, только уже с барышней. Хохочут и обнимаются. На вошедшего даже не глянули. Осташкин дальше по коридору. Навстречу ему из-за угла вывернул высокий капитан со шрамом на лице.

— Ты кого здесь потерял, любезный? — спросил строго.

— Так мы при исполнении, ваше высокоблагородие. Разрешите продолжать?

— Что ты тут продолжать задумал? Род человеческий? Девоч свободных нет. При-

ходи завтра.

Унтер к начальнику команды бегом. Так, мол, и так, доложил, у господ здесь вроде дома свиданий, извольте сами убедиться. Поручик удивился, но для личного успокоения приоткрыл одну из дверей. Это было замечено. Из глубины «алькова» тут же донёсся голос:

— Тебе чего, унтерок, непременно по зубам получить желается? Так заходи, по случаю хорошего настроения, твоё испорчу с удовольствием.

Рекрутёр поспешно отшагнул. И вовремя. Послышался глухой удар о двери и звон битого стекла. Оскорблённый таким приёмом, незваный гость молча двинулся к выходу. Команда, оглядываясь, за ним.

Однако о «доме терпимости» в Чёрной слободе поручик с обидой доложил коменданту. Киселёв сначала отмахнулся:

— Фронтовики гарь окопную из лёгких водкой изгоняют. Ничего не имею против. Хотя, — полез в ящик стола и достал оттуда папку, раскрыл её, — заведенья подобного рода должны быть официально зарегистрированы, а я такового в нашем списке не наблюдаю. Штабс-капитан! — крикнул адъютанту, — Пригласите ко мне кого-нибудь из отдела военного контроля.

Вошёл ротмистр Стрельников.

— Олег Парамонович, тут такое дело, — сунул ему папку полковник. — Шалман один, хотя и не наша это епархия, проверить надо. Поручик вас туда проводит. Только попрошу деликатно всё устроить, без молодецкого наскока и ненужной пальбы. Людей понапрасну злить не надо. Для начала пустите пару своих ищеек разведки для. Если ничего подозрительного не обнаружится, что ж, пусть веселятся господа офицеры. А владельца мы просто обяжем поставить свою лавочку на учёт и выплачивать в казну положенную часть дохода. При выявлении же чего-то из ряда вон — действуйте по инструкции.

Ротмистр разыскал Мазепу, передал приказ.

— Людей нет, — отрезал полковник. — И вообще, надзирать за подобными «жеребчыми стойлами» обязанность полиции, не наша. Меня сейчас обстановка на пристанях больше беспокоит. Водные товарищи — по мордам видно — затевают что-то. Как бы не вспыхнул бунт, подобный тюремному.

— Но Киселёв, и вы его знаете, проверит исполнение.

— А вы, ротмистр, сами посетите означенный объект. В городе вас никто не знает. Проявите смекалку. Думаю, что одного вечера вам хватит разобратся, что там да как. Только мундир свой не забудьте снять. Мне, поверьте, совершенно не хочется слышать треск ружейных залпов над вашей могилой.

Болдырь, повесив офицерский китель на спинку стула, оглядел соратников:

— Ну что, господа комедианты, поздравляю. Ожидаемая нами встреча с властями состоялась. Правда, результат её неочевиден. Но будем надеяться, что какую-то передышку мы себе обеспечили.

— Уходить отсюда надо, Григорий Платонович, — оттянул и резко отпустил на себе подтяжки Палестин. — Сегодня же и на Леонтьевский ручей. Помните, я рассказывал вам о доме ветеринара Акулова? Добротная крепость с подкопом и овраг сразу за ней. Сейчас там никто не проживает. Место удалённое. Для чужого глаза неприметное.

— И долго вы собираетесь там просидеть? — зло спросил его Иннокентий Павлович. — Ветер, увы, подул в паруса красных. И ничего хорошего, как старорежимному офицеру, мне от этого ожидать не приходится, так же как, наверное, и отцам командирам, обороняющим город. Мне предельно понятны меры, к коим прибег верховный правитель, и, поверьте, они будут только ужесточаться. Никакие фортеции с башнями и подъёмными мостами вас от них не укроют. А как сегодня поступают с дезертирами, вам известно не хуже меня. Советую совершенно удалиться из города.

— Куда? — усмехнулся Калетин. — И потом, почему вы нарочито говорите «вас», а не «нас»? Вы уже исключили себя из нашего дружества? Или намерены с нами расстаться?

— Пока окончательно не решил, но подумываю обратиться к генералу Редько — начальнику Тобольской группы первой армии. Мы с Михаилом Ефимовичем приютились в юности и какое-то время даже вместе зачищали харбинские трущобы от японских агентов. Думаю, что он не откажет нам в помощи добраться до третьей столицы. Омск, конечно же, имею в виду. К нему пролетарии если и подступятся, то очень нескоро. И главное: там есть возможность манёвра, а Тобольск — это тупик. Если большевики отрежут южные коммуникации, куда прикажете бежать, где спастись?

— То есть вы предлагаете мне, отдавшему лучшие годы жизни борьбе с такими, как Редько, упасть ему сейчас в ноги: благодетельствуй, барин, спаси за Христа ради,

изнемог я в страданиях. Нет уж. Мы с Людмилой останемся дожидаться большевиков здесь. Они хоть и зло, но всё-таки меньшее, — резко поднялся Палестин.

— А я, собственно, зная ваши политические предпочтения, обращаюсь не к вам. Меня интересует мнение Григория Платоновича.

Калетин покачал головой.

— Рано или поздно, но это должно было случиться. Успокойтесь, дорогие, и сядьте, — заговорил, ни на кого не глядя. Горечь слышалась в его словах и тревога. — Мы все устали за годы смуты. Не понимаем, я во всяком случае точно, куда несут нас события. Не одобряю, господин капитан, но и не осуждаю, что намереваетесь связать свою дальнейшую судьбу с близким вам по духу армейским офицерством. Каждому своё. Я хорошо помню, что мы уговаривались когда-то быть честными меж собой и уважать свободный выбор каждого. Поэтому откровенность за откровенность: мужик уже хватанул свободы и снова натянуть на свою шею ярмо не позволит. Обстановка на фронтах говорит сама за себя. Неужели вы не видите, что кумирня ваших «богов», похоже, скоро развалится, а вы, встав под крыло разноидейных политиканов, болтунов и чревоушителей, с ними же и погибнете?

...Забегая вперёд, скажем, что так оно и случилось. Через пару лет бывший Генерального штаба капитан сгинул где-то в холодной и чуждой каждому русскому сердцу Маньчжурии, пройдя до этого с остатками войск Тобольской группы Великий Ледяной Сибирский путь сначала до Читы, а там и далее к китайскому порубежью, бесславию, забвению...

— Благодарю за обнадеживающее напутствие, экселенц. Не ожидал. Жизнь — материя тонкая: где порвётся, нам неизвестно. Прощайте, милостивые государи, и вы, Людмила Борисовна. Спасибо вам за всё, — вытянувшись, щёлкнул каблуками Иннокентий Павлович. — Поскольку я ещё не покойник, то и провожать меня со слезами не надо. Честь имею.

Он вышел — прямой и гордый.

«А в это время, в это время гусар поставил ногу в стремя...»

— Прапорщик, — обратился ротмистр Стрельников к перелистывающему за письменным столом какой-то журнал Райхенбаху, — перестаньте зевать. Не желаете ли пофланировать сегодня по вечернему городу с обязательным посещением одного пикантного местечка?

Барон встрепенулся:

— Мы увидим там сон упоительный? Ах, Олег Парамонович, я поражаюсь вашему божественному промыслу угадывать чужие мысли.

— Значит, договорились. Только переоденьтесь, пожалуйста, и на ноги что-нибудь этакое подберите. Там, куда мы отправимся, настилы для гулянья не уложены. Встретимся у «Народной аудитории», скажем, без четверти семь. Туда же подойдёт поручик из мобилизационного отдела, который укажет нам конечный пункт прогулки. Прошу не опаздывать и прихватить с собой оружие.

Первым у «салона» Толстомясихи щегольскую тройцу заметил Кукиш.

— Михайло Ксенофонтыч, — позвал прохаживающегося неподалёку дружка, — поди-ка сюда, глянь вон на тех фрайеров. Клянусь последним зубом, что офицерики или «фараоны» к нам притащились. Ищут, падлы, кого-то. Чево им тады, гусакам обтерханым, здесь делать? Ты снаряди-ка для порядку кого-нибудь к Григорию Платоновичу с опасением. А потом попробуем на понт взять ряженных. Наденем на морду «ваньку», повеселимся.

Рыжий зашептал:

— Погодь-погодь, одного из них я, кажется, видел недавно в Затоне с командой. Вон того, что при бороде. Из домов мужиков уводили, говорят, в солдаты. И к Калетину он вроде заявлялся на днях. Издали не разглядеть точно, ближе подойти надо. Сейчас шепну Толстомясихе о шухере и двинем к ним, попридержим. Сегодня я вроде как контуженый буду, а ты ещё с самой германской газом травленный. Прости нам, господи, и помоги.

Райхенбах выдал себя сразу.

— Господин ротмистр! — испуганно вскрикнул он, когда сзади его нагнал какой-то жлоб и, мыча, положил ему на плечо пудовую ладонь.

Стрельников обернулся и выхватил браунинг:

— Тебе чего, обезьяна? А ну два шага назад и руки по швам!

— Ой-ой-ой, как страшно! — Кукиш, свернув голову набок и гримасничая, ухватил прапорщика за полу сюртука и потянул к себе.

Барон услышал треск рвущейся материи и ощутил, как от страха у него стали подкашиваться ноги и руки онемели, будто параличом их разбило. И тут неожиданно к ним подскочил невесть откуда взявшийся стражник-полицейский. Ловко выхватив

шашку, он выверенным фухтелем¹ по шее повалил громилу на землю. Офицеры обступили его. Стрельников склонился и уткнул дуло револьвера в щеку лежащего.

— Достойный экземпляр, — процедил брезгливо. Потом одобритительно посмотрел на урядника. — Мы из контрразведки. А ты молодец! Из казаков, что ли? Не узнаёшь, случаем, образину? — указал на Кукиша.

Полицейский равнодушно ответил:

— Да заметный он здесь, тот ещё лихоимец. Мелькает иногда среди гноищи тутюшней. Грабят ротозеев и доверчивых. Вот и вашего друга, видать, за такого приняли. Я околоточного спросил как-то, а чего таких разбойников не стреляют на месте или на войну не гонят? Так он сказал, что по документам они больные все, кто умом порченный, кто телесами. А я бы их всех для леченья в окопы загнал. Вошь да дисциплина выели б у них, душегубов, всякую страсть людей обстёгивать.

— Отправляй его, урядник, пока на гауптвахту. Но сам где-нибудь поблизости от нас будь. Можешь понадобиться.

А Михаил, увидев быструю расправу над заединщиком, метнулся в толпу зевак и застал от бессилья:

— Во попали мы с тобой, приятель, на самую что ни на есть парашу. И тебя бы надо из дерьма вытащить, и гостей не упустить. Что делать? Шпалеры-то в схроне остались, а с одним ножичком на четыре ствола не попрёшь.

Повертел головой: из знакомых вокруг — никого. Возле дружка, что так и лежал безжизненно, появился солдатик с «винтарём», встал навтыжку. Похоже, новобранец. А урядник, должно быть, за извозчиком отправился или помощь себе искать. Бородатого и с ним тех двоих где-то уже не видно. «Рыжий» решился. Одет он был, по обыкновению, «под барина»: серый пиджак в синюю полоску, из кармашка атласной жилетки свисает на диагональные штаны серебряная цепочка, ну и канотье, как положено, чуть прикрывает хамоватые глаза.

— Что тут случилось? — подошёл, оглядываясь, к служивому и сунул ему под нос сложенный лист бумаги. — Грамоте обучен? Ах, не сподобился. Тогда слушай, что здесь написано. Сей ордер выдан фракцией Тобольской губернской думы гласному Резван-Желудько Михаилу Ксенофонтовичу, то есть вот он я перед тобою, для исполнения им полномочий в городском околотке под номером семнадцать. Всякие службы и прочая полиция обязаны оказывать ему разное содействие. Печать имеется, подпись предводителя дворянства тоже. Разглядел? Тогда подыми-ка молодца с земли и доложи по форме, кто уложил свободного гражданина на бульжник, который есть оружие пролетариата?

Солдатик стушевался:

— Да сам он уже встаёт. Стало быть, всё и расскажет, а я для порядку к нему приставлен, потому как буйный он. Сейчас усмирять его повезём. На тюрьму.

Пришедший в себя Кукиш отряхнулся, огляделся и картинно — на все четыре стороны — поклонился зевакам, сбившимся в кучки у ларьков и лавок. В ответ увидел ободряющие улыбки — верный признак сочувствия и поддержки: «давай, дескать, посадский, круши им зубы, мы тебя не выдадим». Михаил за спиной стражника пальцами «проскакал лошадкой» — показал дружку, закругляться, мол, пора и делать ноги. Громила повёл плечами — надо, значит, надо — и неожиданно опустил свой кулак на голову новобранца. Под свист и хохот толпы губернский фракционер (придумал же такое!) и гопник скрылись в ближайшей щели меж постройками. Когда урядник вскоре подогнал телегу для транспортировки уголовника, базарная площадь была пуста. Ни единой души. Солдатик только ушибленный сидел и глядел отупело на вечернее небо. Рядом валялась винтовка с откинутым пустым затвором.

Калетин усадил прибежавшего от Толстомясихи мальчонку рядом с собой в кресло, велел успокоиться и рассказать, что же так испугало его хозяйку.

— Так дядьки ненашенские в торговых рядах какой уж час толкуются. Ничего не покупают, только зыркают вокруг, — деловито выложил посыльный. — Михаил Ксенофонтович говорит, что офицеры то переодетые, а один из них, с бородой который и старый на вид, был у вас третьего дня с солдатами. Надо бы вам дверь в дом запереть или отъехать на чуть-чуть времени.

— Далеко они и точно ли сюда идут? Понятно. В нашу сторону, говоришь? А с бородатым кто ещё?

— Второй при нём — рыжий такой, молодой, с версту коломенскую, а третий дёрганый, важный, будто петух среди куриц. Хозяйка велела передать ещё, что Михаил Ксенофонтович с Кукишем городским на пятки сели.

— А ты сам знаешь Ксенофонтыча?

¹ Фухтель — удар шашкой, саблей плашмя.

— Знаю.

— Беги к нему и скажи, чтоб сюда не совались, а наняли экипаж и ждали за забором у дальнего сада. На глаза тем людям не попадайся.

Мальчишка, понятливо кивнув, скрылся.

Хозяин дома зашёл в комнату Палестина. Сказал, не скрывая досады:

— Любопытству человеческому нет предела. Собирайтесь, молодой человек. Кажется, мистерия, что мы тут недавно разыграли, показалась нашим случайным зрителям слишком сомнительной, и её захотели посмотреть ещё раз. Они, скорее всего, догадались, что герои и реквизит пьесы насквозь фальшивы, поэтому дёргать чёрта за хвост не будем. Поторопитесь передать Людмиле мою просьбу немедленно собирать вещи. И на прощанье устройте в «номере» такой бардак, чтоб видно было, какие страсти там бушевали. И — главное — не оставьте в гардеробе ценные сценические костюмы. Про мундиры говорю, пошитые из добротного штиглицевского сукна. Через пятнадцать минут жду вас с вещами в шалаше у северных ворот.

— Да... погуляли здесь знатно, — обойдя пустые комнаты, выругался Стрельников. Пнул лежащую на полу бутылку. — Посмотрите, сколько выпито шампанского. А папиросы какие курились! Я табаком «от Дюгена» последний раз, кажется, в семнадцатом наслаждался. Шутя кому-то живётся, не так ли, барон?

Прапорщик продекламировал:

— «Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!» — и разочарованно добавил: — Кажется, опоздали мы на праздник буквально на несколько минут. В дальнем апартамента на столе самовар совершенно горячий стоит, и в чашки уже сливки разлиты для чаепития.

— Их кто-то предупредил, господин ротмистр, — уверенно заявил поручик.

— Тонко подмечено, поздравляю, — едко отозвался тот и принялся излишне велелично рассуждать: — Поспешность, с какой был покинут дом, удивляет и, конечно же, рождает некоторые вопросы. Но весь этот бедлам, согласитесь, больше похож на тайный воровской притон. В борделе всё-таки стараются соблюдать хоть какие-то приличия. Не станете же вы утверждать, что в этом курятнике тешили свою плоть большевики-подпольщики из интеллигенции. Я к ним отношусь с должным презрением, но в столь низкое падение их поверить всё-таки не могу. А застигнутые вами здесь недавно вояки, поручик, у которых вы обязаны были потребовать документы, — это, скорее всего, жертвы ускоренной офицерской выпечки из черни, болтающейся ещё вчера в нижних чинах. Этим новоявленным «благородиям» жрать водку и говорить сальности девкам действительно лишь бы где. Словом, тут всё ясно, передаём дело полиции. Прапорщик, составьте протокол осмотра помещений. Занесите в него всё, что обнаружено на месте грехопадения — бутылки, интимные аксессуары, если есть, и прочее. А вы, поручик, помогите ему, иначе барон не выберется отсюда неделю.

Иринарх Гаврилович захохотал, когда Стрельников рассказал ему о визите в Чёрную слободу:

— Боже, как мне это знакомо, как знакомо. Вспомнились былые годы, мадам Дюшон, её тайные поклонники. Страсти роковые, мирная тёплая жизнь. И среди её течения, как пустячок, бесследные исчезновения и убийства некоторых добропорядочных людей. Причём именно в месте, откуда вы только что вернулись. Отмечу с радостью — живыми, — полковник посерьёзней. — Вы правильно оценили ситуацию, ротмистр: поиски тех, кто — умышленно или нет — поиздевался над нами, ни к чему не приведут. Зря потратим силы и время. Пусть подчинённые полицмейстера копытят. Но вот этого мальчика, которому голову повредили, расспросите лично. Может, хотя бы приметы нагнецов опишет. Впрочем, — Мазепа снова захохотал, — он и сам себя вряд ли помнит.

Опытный ищейка, конечно, понимал, что ничего под луной случайно не происходит. Всякое действие есть чья-то воплощённая мысль. Кто-то светлый град на холме построить мечтает и строит. А кто-то единственной думой живёт — как бы соседскую девку Груньку на сеновал к себе залучить. И блузой из коверкота для того её одаривает и раздевающими взорами испепеляет. «Надо всё-таки поручить Дедюхину, чтоб нарядил одного из прикормленных «штучников» узнать об этом, чёрт бы его побрал, подозрительном домишке, — подумал устало. — Стрельникову, видимо, не приходится работать со скопищем голодных негодяев, живущих по законам улицы, потому он и выбрал негожую тактику. Кто же для посещения нищей окраины вызывающе наряжается, а потом ещё и наганом размахивает. Ведь убить могли за здорово живёшь».

Дедюхин, выслушав начальника, обрадовал его:

— А я, кажется, знаю, о каком особнячке речь идёт. Сейчас не скажу, но до переворота там проживал некто, эх, фамилию запамятовал, делец богатый. Чем занимался точно — никто не знал, но то, что деньги у него водились, замечали многие. И старались

дружить с ним. Винный купец Босоногов, слышал, самолично доставлял к нему лучшие сорта «игристого». И гласные из губернского собрания вечерами запросто угощались у него кофею. Я, с вашего разрешения, пошлю туда Тришку Оловянного. Ну, того, что в Соколовской сельхозшколе организацию комиссарскую выследил. Пронырливый малый и рукастый, обстригает всё как надо. Но есть опасение, что может отказаться. И по мне, так правильно сделает. Мы же вновь нанятую агентуру уже два месяца как без жалованья держим. Обещанные-то казной средства до нас так и не дошли.

— Почему раньше не доложил? Понадеялся на милость наших вороватых чиновников? Смешно. Ты же битый человек, Дедюхин! Ладно, давай определимся пока с Трифоном. Сколько ему задолжали?

— Уже шестьсот целковых. Это без учёта обещанных «чаевых» за успех отдельно-го дела.

— Сволочи! — выругался по известному чьему адресу полковник. — Напрочь забыли библейскую заповедь, что расплатиться с работником надо тогда, когда на нём рубаха ещё не высохла, — сердитый, прошёл к сейфу, открыл дверцу. — Вот, — бросил на стол несколько царских червонцев. — Всё, что есть. Пусть начинает поиски ваша оловянная морда. Подстрахуйте его кем-то и прикажите сообщаться по этому делу только с собой, ни с кем более другим. И вот ещё что. Один из моих осведомителей слышал как-то в той слободке шепотки меж каторжными мордами о каком-то там болдыре. В твоих, Тихон Макарыч, сводках не мелькало случайно лицо с таким бубенчиком? Впервые слышишь? Ну-ну. И в полиции, я узнавал, уголовного с подобным погонялом тоже не припомнят. Нехорошо получается: многим базарным торговкам он известен, а в сыскных ведомствах знать о таком не слыхивали! Надо ситуацию прояснить. Понятно выражаюсь?

...Трифон (агентурное имя — Полба) в одну из ближайших ночей бесшумно выставил форточку в окне указанного ему пустого дома и тщательно его обшарил. Покинул объект под утро, отягощённый мешком. Подельник, подвозя Оловянного до хибары, где тот обитал, то и дело оглядывался по дороге на молчащего спутника: на ухабах коляску трясло, и тогда мешок в руках тайного хищника позвякивал бутылочным стеклом, шуршал фольгой и поскрипывал жестью. «Не иначе, поживился-таки Тришка объедками с барского стола. У, глот ненасытный», — усмехался в усы. И не ошибался. Понятия брезгливость и прочее чистоплюйство Полбе, как прапорщику Райхенбаху, например, не были знакомы. Он не погнушался собрать бутылки, в которых осталось спиртное, перелил их до должного уровня в пустые полуштофы, запечатал валяющимися на полу пробками. В хрустящие пакеты побросал оставленные (даже надкусанные) яблоки, помидоры, сыр, кружочки колбасы. Отдельно завернул в полотенце несколько вилок и ножей. А металлические коробки с монпансье безжалостно вытряхнул на пол и набил их пахучими пахитосками и табачным листом. Разумеется, неожиданными «дарами божьими» — «хоть засмотришь на меня, рожа завистливая», — он делиться с возницей не собирался. Единственную вещь, с которой ему завтра придёт расстаться, и, пожалуй, самую ценную из добытого (ибо за неё полагалась дополнительная деньга), дома засунул вместе с револьвером под подушку. Остальное аккуратно определил под кровать, разложил в неказистом шкафчике у окна, подвесил на торчащий из стены гвоздь.

Дедюхин утром, повертев в руках кожаную кепку с жестяной, крашенной охрой звездой недоверчиво поинтересовался:

— Точно в доме нашёл? Или как торгош ушлый залежалую требуху мне втюхиваешь?

Агент побожился, что вертеться ему на сковородке в преисподней, если он господин начальника фуфлом потчует.

Тихон Макарович щёлкнул в уме костяшками на счётах и добавил суровости в голосе:

— Для получения вознаграждения сей улики мало. Таким доказательством нынче никого к стенке не припрёшь. Побожатся людишки матерью родной, что на торжище выменяли кепчонку за кусок сала. А то, что звезда на ней до сих пор красуется, так скрутить её, окаянную, забыли. Чего-то посущественнее надо бы представить. Раз вещь эта в доме хранилась, значит, и другое что-то может обнаружиться. Иди ищи. Дам тебе двух помощников. Один снаружи наблюдать будет, второй с тобой внутри управляться. И наш разговор про болдыря не забывай. Погодь, — неохотно перебрал пальцами в кармане монеты, выданные Мазепой, уцепил одну из них, протянул, — на вот возьми за прошлую работёнку. Николаевский. И помни доброту мою.

...Но червонец этот злосчастный недолго грел душу бандита-provокатора. Вскоре он перекочевал в карман «Боярина», которому Калетин поручил присматривать за покинутым домом. Прошлой ночью стеречь особняк Северьян не пошёл по причине вёской — любовной. Толстомясиха днём ещё пригласила его на свои именины, ну, а там

— знакомое дело: рюмочки-стаканчики, женские чудо-формы под креп-жоржетом волнуются, кружевные простынки на постели ромашкой пахнут. Сегодня же вчерашнюю подлость по отношению к хозяину решил не повторять и за компанию с Жоржкой Огудаловым да Люсьеном Кривым отправился дежурить на пост. Расположились они в бывшей кладовой, не имевшей окон, зажгли свечи, выпили по стаканчику мадеры и карты достали, чтобы в штос перекинуться. И шум вдруг подозрительный в соседней комнате услышали. Свечи разом задули, ножички из-за голенищ вытянули. «Боярин», пригнувшись, скользнул вдоль стены в коридор. Дружки за ним. А Полба — сухой, что камыш осенний, уже привычно одолел узкую горловину форточки и неслышно раскрыв створку окна, чтоб товарищ его, телесами поукладистой, мог без матюгов и неизбежных ссадин легко перевалиться в дом. Когда второй гость соскочил с подоконника на пол, в проёме появилась ещё одна голова, но тут же скрылась.

— Трое их, — шепнул «Боярин» Огудалову. — Одного оставим для допросу... остальных, — провёл ребром ладони по горлу.

Трифон тем временем, осторожно ступая, двинулся к выходу. Однако не понравилось ему, видно, лунное свечение, широкой полосой растекающееся по стенам комнаты. Он вернулся, тщательно сдвинул занавески да ещё придавил их, чтоб не разъехались, цветочным горшком. Потом, помедлив, осторожно шагнул в коридор. И тут же, придушенный, обмяк в руках Люсьена. А в грудь его подельника тотчас полетел нож. Третьего Жоржка высмотрел в кустах у парадного входа. Урка сидел на земле, и ладонь его, словно белая бабочка-капустница, перхала сначала вверх от кармана тужурки к лицу, потом вниз — от лица к карману. «Семечками разговляется, петушок. Щас я тебя кашкой вечности накормлю». Хрустнула ветка. Парень вскочил, что и нужно было. Через секунду-другую он рухнул на землю. А Огудалов, вытерев лезвие о штаны жертвы, тенью метнулся в дом.

...День прошёл, и второй. Полба с дружками не появлялись. Дедюхин, отведя глаза в сторону, доложил Мазепе:

— Как с такими работниками победу добывать, не знаю. Зря я выложил Оловянному три червонца, нет до сих пор подлецов.

— Пропьются, приползут, — недовольно заметил Иринарх Гаврилович. — Не до них сейчас. Ты вот что. Поступил, наконец, приказ по политическим. Отправляйся на пристань. Найди капитана парохода «Походяшин» и вместе с ним обеспечь порядок погрузки арестантов на баржу, которую тот отбуксирует из города. Куда — не наше дело. А я здесь, в тюрьме, проконтролирую, чтоб наиболее опасные большевики не попрятались где-нибудь под нарами. Лично убедись в наличии среди заключённых председателя ревтрибунала Шананина, продкомиссара Баженова, дерзкой девки Поляковой и других. Вот тебе список. Как исполните, сразу ко мне с докладом.

...Той ночью унижать Тришку побоями «Боярин» не разрешил. Вежливо попросил рассказать форточника: какая-такая корысть привела его в дом уважаемого человека. А когда тот заежил словами, запузрыл слюной от страха, велел Люсьену принести из каморки под лестницей лопату. Объяснять, для чего она понадобилась, нужды не было. Полба упал на колени. Его подняли, провели к оконечности сада, где под обросшим крапивой и мхом глухим забором заставили копать яму. Ну, а пока он углублялся в землю, слушали его последние в этой жизни признания.

...На Леонтьевском ручье многие дома стояли заколоченными. И Калетин про себя отметил: «Значит, народец здесь поредед, и каждое появление на улице незнакомца кем-то да будет примечено. Что ж, ночами придётся передвигаться, не впервой». Договорились, что Михаил с Кукишем тоже переберутся в избу ветеринара. Все понимали, что после представления в Чёрной слободе и ликвидации мазепинских посланцев оставаться там крайне опасно. За несколько дней рядом с сараем они выкопали себе землянку — могилу. Сверху, вровень с землёй, чтоб незаметно было, соорудили накат из брёвен. Уложили его дёрном. Вход прорубили со стороны леса на укосине оврага. Ну и сапу туда подвели.

Заканчивалось лето. Ночами над близким заболоченным оврагом нависал туман, кое-где на берёзах, черёмухе и осинах появились жёлтые прожилки увяданья. Но созрела лесная малина, кровавыми капельками рассыпалась по мшаникам ягода костяника, грузди пошли, боровички с подосиновиками. А ещё полетели по всем пятидесяти улочкам и переулкам городишки, будто одревесневшие плоды чёрной ольхи, слухи — один другого правдивей и краше. На Архангельской шептались, что жуткие бои идут уже в междуречье Тобола и Ишима. И красные якобы дружно теснят беляков на север. Обыватели же с Рождественской клятвенно уверяли в обратном: «Дух казаков конной группы атамана Иванова-Ринова настолько высок, сколько крепка наша вера в победу. Две дивизии «лапотников» разгромлены, скоро и остатние порубят в капусту».

А меж торговых рядов у Курдюмки обсуждали последнюю — из ряда вон — сообщенью: «Слыхали, поди, православные, давешней-то ночью ребятишки наши у беля-

ков пароход «Иртыш» отбили. Заарестовали офицёрё и в трюм сунули, а сами со своим капитаном за линию фронта ушли. И бомбомётё три штуки, винтовки да пулемёт вроде на себе утащили. Полиция хватает щас подряд кого попало, а толку что: долбанёт скоро то оружие по ним — узнают, как над народом измываться».

То, что скоро «долбанёт», не понимал, наверное, лишь всероссийский правитель. На вопрос одного газетчика-писателя, как он представляет себе будущее, адмирал, жонглируя словами, сказал, что «настроение армии и народа — это сплошная тоска по старой России, тоска и стыд за то, что с ней сделали... Все слои русского народа, начиная с крестьян, думают только о восстановлении монархии...» Александру Васильевичу было невдомёк, что кто-то в его огромной, послушной воле вождя вотчине может мыслить по-другому. Он упорно верил только своим предначертаньям и потому гнал генералов развивать успех на тобольском направлении с целью одной: удержать большевиков в подбрюшье Сибири, а там, глядишь, к концу октября казачки Мамаптова или Кутепова уже Кремль от ненавистного Совнаркома очистят.

Доклады контрразведки об участвовавших в переходах нижних чинов в лагерь противника, разброде, пьянстве и шатаниях среди офицеров не принимались во внимание. На сообщения же снабженцев, пугающих осенним непогодьем и острой нехваткой тёплой одежды в передовых частях, ложились жирные резолюции, которые никто не читал и, соответственно, не исполнял. А полковые финансисты сетовали промеж себя, что, имея огромные золотые резервы, власти не находят денег для закупок всего необходимого у того же населения. Поэтому повсюду и видятся неприглядные картины грабежей и насилия. Как же так?

Относительно выработки стратегических планов всё обстояло ещё хуже. Некоторые генералы не питали иллюзий по поводу временного успеха на Тоболе, считали, что наступать далее — значит обречь армию на гибель. И как выход из тяжелого положения предлагали отойти вглубь Сибири для создания там независимого территориального образования из Забайкальской, Амурской и Приморской областей. Аргументов «за» было предостаточно: там — судоходный Амур, там — железные дороги Транссиб и КВЖД, природные кладовые Якутии, Даурии и Сихотэ-Алиня, наличие какого-никакого торгового морского флота. А изобилие рыбы и пушного зверя на Камчатке! А Сахалин с его залежами нефти! Да можно жить припеваючи! Ну и сохранённый пока золотой запас, наконец. Его, распорядившись умело, можно использовать для развития торговли с Японией, закупки новейших видов оружия в Америке, что значительно увеличит оборонную мощь государства. Перспективы — дух захватывает!

Колчак колебался. Но не дающий ему покоя навязчивый фантом скорого падения первопрестольной погнал его в начале октября в инспекционную (а скорее, воодушевляющую войска) поездку по частям Сибирской армии Дитерихса. На мачте самого большого парохода иртышского речного товарищества «Товарпар» взвился брейд-вымпел адмирала. В каютах первого класса разместились сам верховный, морской министр Смирнов, высшие чины походного штаба. Осенний Иртыш был свинцов и пустынен. Зато настроение на палубах приподнятое. Отчалили.

Стояли погожие деньки. Встречали дорогого гостя везде улыбками да хлебушком с солью. На пристанях выстраивались почётные караулы, ряды бравых кавалеров из бывших фронтовиков. Правитель, оценивая вглядываясь в лица, привычно обходил шеренги ветеранов, поздравлял самых достойных с производством в первый офицерский чин. Прикреплял «Георгии» на вылинявшие гимнастёрки. Шутил. Раздавал подарки: табак, мёд, перчатки. Благодарные подданные кричали «ура». После чего Колчак произносил речи. Затем удалялся в свой салон, где встречал делегации местных самоуправлений. Внимательно слушал, принимал к сведению пожелания, морщился от жалоб. Особенно умилил его Тарский городской голова, поднёсший высокому гостю двести тысяч рублей пожертвований на нужды армии. «Капиталисты-то наши все отъехали давно, так крохи эти мелким да средним людом собраны», — поклонился старик. «Верны мои слова о неборимости духа русского, — читалось в глазах верховного. — Последнее отдаёт мужик, значит, верит в нашу победу».

Уже в прифронтовой полосе за Тарой «Товарпар» — как бы чего не случилось — вышло сопровождать блиндированное судно «Алтай» с радиотелеграфом и пушками. В Усть-Ишиме снова смотр войск и неприятный доклад о разбойном и, прямо скажем, недопустимом поведении партизан. Они дерзкими вылазками из болот наносят огромный урон хозяйствам волости: третьего дня угнали около тысячи лошадей, много подвод, ограбили волостную кассу на сотню тысяч рублей, уничтожили списки мобилизованных в освободительную армию, увезли четыре тысячи пудов хлеба. «Омский сиделец» обещал возместить убытки и примерно покарать зарвавшуюся чернь. Но заметно помрачнел. Он ведь отправлялся в поездку, надеясь присутствовать при глубоком прорыве боевой Обь-Иртышской флотилии и войск ударной группы в тылы красных с последующим их разгромом. А тут такое творится!

Через день его приветствовал Тобольск. Верховный осмотрел город, встретился в кафедральном соборе с епископом Иринархом, почтил вниманием могилу убиенного Гермогена. Похвалил гражданского губернатора Гондатти за исправно работающие водопровод и электростанцию. Улыбнулся сообщению о сохранности винных складов, где ждали своего часа до ста тысяч ведер водки и спирта. Вечером тет-а-тет долго беседовал с генералом Редько. А на следующий день приказал отменить запланированный ранее спуск по Тоболу на юг. Окружение адмирала вздохнуло с облегчением: пускаться в рискованное предприятие, когда разъезды комиссаров замечены уже в сорока верстах от города, представлялось по меньшей мере глупой бравадой. Не хватало ещё в плен угодить. Ну и настоящим ударом по и без того расшатанной психике Александра Васильевича стало сообщение его начальника штаба о том, что развивать успешно начатое наступление нечем, ибо обещанья атамана Иванова-Ринова¹ мобилизовать дополнительно восемнадцать тысяч казаков, исполнены только наполовину. Разъярённый правитель смахнул графин со стола и указал должным образом разобрататься с нерадивым начальником. Возвращалась инспекция в Омск уже без остановок, встреч и полковых оркестров на берегу.

...Накануне визита Колчака Мазепа глубокой ночью приехал в тюрьму и пригласил на чашку чая Дедюхина.

— Всё равно не спишь, Тихон Макарыч, садись, поговорим. Предчувствия меня томят нехорошие, вот решил поделиться ими с тобой. Не с кем более. Можешь курить, но желательно у окна.

Начальствующий над филёрами молча опустил на стул. Приготовился слушать.

— Скажи мне, наперсник игрищ и забав, — без лишних условностей начал Иринарх Гаврилович, — известно ли тебе, что красные вот-вот опрокинут Дитерихса? Я ежедневно получаю тревожные доклады агентов о неумолимом продвижении отрядов Блюхера на север. Пока об этом, из государственных соображений, советуют не распространяться. Но оборона наша трещит по швам, настроение в частях — хуже некуда.

— Но ведь адмирал обещал разбить этого крестьянского самородка.

— А его и разбили... на бумаге. Только выясняется теперь, что этот скользкий красный германец, или кто он там на самом деле, раненный, но вполне живой, улизнул в болота, продрался через них и навис своими боеспособными батальонами над тылами Редько. Как ты думаешь, найдётся ли у наших наполеонов мудрость и силы вместе с ней спасти ситуацию?

Дедюхин посмотрел непонимающе:

— Вы на что намекаете, ваше высокоблагородие?

— К тому и клоню, Тихон Макарыч, к тому и погибаю, что пора нам с тобой подумать о завтрашнем дне. Я чувствую: нашей с тобой эвакуацией при внезапном прорыве красных никто заниматься не будет. Спасаться придётся самостоятельно. Поэтому готовым надо быть уже сегодня.

— Прошу прощенья, Иринарх Гаврилович, но мне как-то не нравятся ваши настроения. Зачем мне, к примеру, спасаться отсюда?

¹ Человек, достойный отдельной книги. Отменный стрелок и любитель постоять у края бездны, играя в «русскую рулетку». В память об одной такой прокрутке револьверного барабана до самой своей смерти носил в груди не извлекаемую пулю. Был героем омского белого подполья. Сменив на посту военного министра Сибирского правительства Гришина-Алмазова, призвал забыть революционную трескотню «кувырк-коллегии» Керенского и незамедлительно вернуть чины, титулование, погоны и другие атрибуты, бытовавшие в императорской армии. А следом издал приказ, согласно которому все офицеры, служившие большевикам, объявлялись предателями. Однако скоро сам попал в их число. За бездействие, повлекшее за собой провал Тобольской операции, был отстранен от командования Отдельным Сибирским казачьим корпусом и вскоре арестован по обвинению в измене. Освобожден генералом Каппелем, однако от службы в его армии уклонился, подавшись в занятый красными Красноярск, где несколько месяцев пребывал на нелегальном положении. В 1920-м пробрался в Харбин. Но уже на следующий год — после казни Колчака — новый главверх атаман Семенов пригласил Иванова на Дальний Восток, доверив ему пост начальника штаба своих войск. После «штурмовых ночей Спасска и Волочевских дней» с остатками «дружины Святого Креста» генерала Дитерихса вместо обещанного последним триумфального въезда в Москву на белой лошадке оказался в жаком корейском Гензане. И вот там этот видный представитель белого движения, один из кандидатов (наряду с Колчаком и некоторыми другими) на пост военного диктатора, изменил свои политические взгляды и вошел в контакт с советской разведкой! По некоторым сведениям, формировал части из белоэмигрантов для «красного маршала» Фэн Юйсяна. Осенью 1925 года был разоблачен, но сумел скрыться. На заседании Войскового правительства в Зарубежье (ноябрь 1925) заклеен как предатель и лишен звания войскового атамана. При налете на группу советских военных советников мятежных китайцев был ранен и эвакуирован в СССР. Где и как закончил свои дни — неизвестно.

Мазепа подцепил щипцами кусочек сахара, раздражённо бросил его в чашку. Налил из самовара кипяток.

— Так-так, — произнёс растерянно. — Значит, решил под большевиками остаться? А душонка от страха не трепещет? Они ведь вспомнят твоё прошлое и не пощадят.

— Пусть и так, только бежать мне всё едино некуда. Кто и где меня ждёт? Вы вон в чине. Пристроитесь где-нибудь, пока Колчак у власти, а я? Дотяну уж свои годы при тюрьме. Она любой власти нужна, пустовать не будет. Придут комиссары, освободят своих, а камеры нашенским братом набьют. Осторожный надзиратель, как говорит тут один большевик, есть фигура надклассовая. Присматривает себе в глазок что за убийцей из дворян, что за воругой пролетарием. И имеет себе кусок хлеба удостоверенно.

— Жаль. Хотя, может, ты и прав. Уцелеть под личиной цепного пса, действительно, легче. Не буду тебя разубеждать. Делай, как решил. Но помочь напоследок ты мне должен. И считай наш разговор руководством к действию. Прежде чем навсегда убраться отсюда, я хочу поставить точку в одном затянувшемся деле. Скажи, Тихон Макарыч, узнал ли ты фамилию хозяина того дома в Чёрной слободе, где офицеры шабаш устраивали?

— А как же, господин полковник. Поспрашивал своих гренадёров. Уведомили они: Калетин то, Григорий Платонович. Со всех сторон очень светлая личность. Сявки слободские его промеж себя болдырем зовут, но боятся многожды больше, чем нас с вами. Когда появился здесь, никто не припомнит. Но быстро подмял под себя всю слободскую торговлю, обложил данью многих барыг и купчиков. Говорят, что оружием при-торговывал и при надобности отряд человек в пятьдесят может запросто выставить.

Мазепа нервно поднялся из-за стола.

— Эх, Россия матушка, сторона ты моя разбойная. Неужели полиция не знала о волке, что задира баранов у неё под носом?

— Да знала, конечно. Однако отказываться от подношений у нас не принято. Засмеют.

— Надо разыскать его, — не сдержавшись, выкрикнул полковник. — Есть у меня подозрение, что именно этот тип все прошедшие годы вёл охоту на меня, скрадывал, как зверя, держал в унижительном напряжении. Многие ниточки ведут к нему, очень многие.

— Я думаю, что сейчас схватить означенного вами дельца будет затруднительно. С кем ловить-то его и где? С профосами¹ вроде Полбы мы опять сядем на задницу.

— Затруднительно — это когда дух последний выпускаешь. А мы пока далеки от подобного состояния. Появился тут один, пусть и не великий, но шанс покончить с оборотнем. И пособником нам неожиданно может выступить знаешь кто? Вовек не угадаешь. Сегодня вечером получена шифрованная депеша о скором прибытии в Тобольск самого верховного. Событие для города, согласись, редкое и важное. Встречи торжественные будут, парады, молебны и прочее. Как думаешь, любопытный обыватель упустит случай поглазеть хотя бы издали на освободителя земли русской? Нет, конечно. Валом повалит на улицы. И мне почему-то видится, что среди ликующей публики окажется и наш знакомый. Надо только угадать, где он может появиться. Мест таких в городе, по моему разумению, всего два-три: пристань, губернаторский особняк на горе и площадь у кафедрального собора. Но резиденция Гондатти и собор напрочь отсекутся войсками и полицией, подойти к ним будет невозможно. Значит, остаётся берег Иртыша. Вот туда и пошлём людей. Есть у тебя такие, кто признает Калетина при встрече?

Дедюхин сморщил лоб:

— Да тот же Босоногов. Лавка же его процветает, сам он опять в чести, и народ к нему исправно жалуется. Прикажете, скрутим, пискнуть не успеет. Ещё Латкин знаком с этим барином и Щапов тоже — бывшие наши филёры. Посулим им денежку, пособят.

Мазепа протестующе покрутил головой:

— Босоногова отставим. Может всё испортить. Знак, например, дружку подаст или ещё чего придумает. Лучше привлечём того поручика из мобилизационного отдела. Он, кажется, говорил, что хорошо запомнил всех персонажей попойки. Переоденем его, бороду сбреем. И пусть ещё унтера с собой прихватит, что в доме с ним был. А в усиление к ним Стрельникова и Райхенбаха пристегнём. Сами тоже средь зевак погуляем.

— Ну, положим, установим мы того, кто нам нужен, а дальше как? — вполне резонно спросил Дедюхин. — Он же явно не один будет, да и сам вооружён. А если стрельба начнётся, да во время такой церемонии? Кончится всё плохо для нас. Не окажемся ли мы с вами потом, вслед за Калетиним, в соседнем тюремном блоке?

¹ Профос (со временем трансформировался в «прохвост») — служитель, убирающий нечистоты.

— Ты, Тихон Макарыч, гляжу, подзабыл ведомственные инструкции. А они предписывают в таких ситуациях полагаться на свою голову и никак не на другие части тела. Чем обычно заканчиваются все подобные мероприятия тебе известно? Именно! Разочарованием! Поглазет публика на явившегося пред нею кумира, слёзы счастья утрёт и станет уныло распознаться по своим норам. Если в такой толчее пустить за субъектом сразу нескольких топтунов, он вряд ли обнаружит слежку. А если даже и обнаружит, то уйти от трёх-пяти человек будет не так-то просто. И не надо обязательно провожать его до дома. Достаточно довести до мест менее людных и там немедленно спеленать. Мне ли тебя учить, Тихон Макарыч? Всё надо предусмотреть, вплоть до отдельного спального «номера» для барина в твоей замечательной крепостной гостинице.

— Обойдётся, — буркнул Дедюхин. — Может, ему ещё свежие простынки подать и колыбельную перед сном посюсюкать? Честно скажу, господин полковник, затея ваша какая-то запоздалая. Нынче, как вы справедливо заметили, думать о себе надо. Я бы по-другому поступил.

Мазепа, недовольный поворотом разговора, всё же предложил собеседнику довести мысль до конца.

— Иринарх Гаврилович, дорогой вы наш, а вот нет у вас убеждения, что через Калетина можно поймать выгоды? И причём уже скоро. Что мы о нём знаем? Да ни черта! А вдруг окажется, что он... главный большевицкий подпольщик? Я бы не стал такое напрочь отрицать. Коммунисты, вы сами не раз говорили, люди далеко не глупые и вполне могли оставить его здесь резидентом. А почему нет? У него и связи есть в городе, и оружие, и вроде как вне политики он, раз открыто с ворьём якшается. Кто на него худое подумает? Вспомните бунт в тюрьме. Я не верю, что такое могли организовать молокососы из сельхозшколы. Тут чья-то более крепкая рука усматривается.

Полковник жестом попросил внимания:

— То есть ты предлагаешь оставить Калетину жизнь для торгов с советами? Допустим, я с тобой соглашусь. Но предлагая товар покупателю, надо сначала хотя бы показать его ему, не так ли?

Дедюхин нехотя кивнул:

— Ну да, ну да.

— Договоримся так: поймаем рыбку, а потом решим, поджарить её или назад в реку отпустить.

...Лесом-парусом из Омска совершенно секретная информация о скором приезде Колчака в считанные часы долетела до Тобольска. Город, как будто дремлющий пёс, которого неожиданно огрели по загривку, подскочил вдруг и принялся ошалело выказывать верность хозяину. На пристань и прилегающие к ней улицы согнали солдат и дворников. В воздух поднялась пыль вперемешку с ругательствами. Началась суматошная подготовка визита: скребли, подметали, что-то ломали, приколачивали, красили. Полицейстер с городским головой самолично объезжали дома, мимо которых предполагался проезд кортежа, и грозя жильцам всяческими карами, призывали их немедленно очистить балконы от разноцветного непотребного белья, а вместо него тащить и размещать во множестве герани и разные там фикусы.

«Боярин», вернувшись ночью из города, сообщил новость Калетину и ненавязчиво предложил присоединиться к верноподданническому порыву:

— Представляете, сколько глупых богатых фрайеров с дамочками соберётся в одном месте поглазеть на чуду-юду. Шеи вытянут, глаза вытаращат, а про карманы свои и сумочки напрочь забудут. Как такое можно пропустить?

Григорий Платонович к известию отнёсся равнодушно:

— Спасибо. Доводилось нам уже как-то любоваться здесь одной особой, правда, Людмила? Впечатления, скажу тебе, подметали унылые.

Калетин, по привычке похаживая по комнате, стал вспоминать, как в начале августа семнадцатого года они стояли с племянницей на пристани и поочередно в бинокль разглядывали пароход «Русь», тяжёлой тушей разлёгшийся на воде недалеко от берега. По палубе речного красавца, то один, то в окружении семейства и челяди, прогуливался сам модернеец российский. Лицо низложенного монарха ничего не выражало, держался он просто и уверенно. Дочери — великие княжны — улыбались беззаботно, играли в волан и тут же на воздухе садились пить чай. Люди, стоящие за оцеплением, кто вздыхал, кто утирал глаза платочком. Всех интересовал вопрос: зачем царя привезли сюда и что с ним будет дальше? Судьбу «хозяина земли русской» мы-то с вами знаем. А тогда... тогда плескалась иртышская вода о борт парохода, шептался народ.

Городская верхушка, как всегда, не готовая к подобным сюрпризам, спешно подыскивала пристанище для нежданных гостей. Но стоящие на дворе времена к альтруизму не располагали. Местные богатые домовладельцы не желали уступать свои

«терема» какому-то там неизвестно кому. Пришлось довольствоваться бывшей резиденцией губернатора, именуемой нынче «Домом свободы», каковая, по словам князя Долгорукова, представляла собой «...грязный, вонючий дом в тринадцать комнат... с ужасными уборными и ваннами...» (Как за несколько месяцев народовластия некогда шикарные апартаменты превратились в конюшню — историческая загадка). Для ремонта и обустройства особняка требовались значительные средства. Их, где — призывами, где — давя на совесть толстосумов, всё же изыскали. Калетин припоминал, как его, да, наверное, и многих обывателей, удивило такое — поистине трогательное — внимание городских властей к нуждам царственных особ. Впоследствии, правда, оказалось — не совсем бескорыстное. Так, бывший вице-губернатор Гаврилов охотно согласился продать (!) в новое «жилище» господина Романова кабинетный рояль фабрики Шредера, ломберный и письменный столы, несколько кресел и стульев. Подумав, присовокупил к ним обеденный столик под самовар с мраморной крышкой. Попросил за всё четыре тысячи рублей. Заплатили. Куда деваться? Откликнулся и председатель Тобольского военно-промышленного комитета Шокальский: тоже за скромную сумму купили три ламбрекена на окна, диван и две дверные портьеры. Какую-то мебель ещё купили в торговом доме «Наследники Н.А. Ершова». Но всего этого оказалось мало. Комиссар Временного правительства П.М. Марков, доставивший Николая в Тобольск, отстучал телеграмму в Петербург, чтобы слали часы, посуду, скатерти, коньки, лыжи, санки. Ну и про граммофон и балалайку чтоб не забыли...

Чудны дела твои, Господи. У храмов — во многом по вине венценосного арестанта — десятки нищих и калек о «пропитании днесь» слёзно гузынят, а «эти» к забавам зимним готовятся, и «галлипольское масло», поставляемое магазинами товарищества «Преёмники А.В. Янушкевича», на белый хлеб из булочной Гусева намазывают да молочком монастырским Иоанно-Введенской обители запивают...

Калетин, словно предчувствуя что-то, пялиться на Колчака не пошёл. И Людмиле с Палестином запретил. Отправились они втроем за овраг на тихую, что называется, охоту. Побродили изрядно, наполнили корзины грибами, вышли на опушку и решили сесть перекусить. Примяли травку духмяную, разложили скромную снедь. Квас из бутылки по кружкам разлили. Чокнулись, пряча улыбки. И тут заметили: из дальних зарослей орешника на широкую заболоченную низинку вышли трое: длиннополые шинели на них расхристаны, тощие вещмешки с загорбок свисают, винтовки вниз дулами покачиваются. Заметили обедающих, замерли. Постояли, видимо, совещаясь, а потом взяли оружие на изготовку и, отшагивая друг от друга в разные стороны, охватом пошли по гудящей шмелями луговине. Григорий Платонович побледнел и грубовато велел Людмиле отползти в кусты и далее бежать домой. Повернулся к Палестину:

— Где ваш наган, Палестин Георгиевич? Доставайте. Кажется, вы уверяли, что во всей округе, кроме охотничьих кордонов, никого и ничего нет. Откуда же здесь солдаты? А я вам скажу: освободившие себя от службы герои сюда пожаловали. Добра от них не дождёшься. Может, мне на шагов тридцать левее отползти, оттуда фланг сподручней контролировать, как считаете?

— Оставайтесь на месте. Стрелять они не станут, — спокойно ответил Азабиди. — Если беглые, шуметь им не с руки. Увидели, что народ цивилизный отдыхает, поэтому на испуг взять попытаются. Но посмотрим сейчас, как мужички криворотые воевать умеют.

Он взвёл курок, быстро прицелился. Неожиданное эхо выстрела сорвало с деревьев множество птиц. И фигуры, серыми пятнами скользящие по залитому солнцем разнотравью, пропали.

Палестин, пряча наган, удовлетворённо усмехнулся:

— Вот видите, Григорий Платонович, я думаю, что ползут сейчас добры молодцы совсем не в нашу сторону.

Быстро собрали остатки обеда и пошагали в чащу. Но дойти до знакомого оврага не успели. Где-то позади отчётливо послышалась пальба.

— Из винтовок бьют, — остановился Калетин.

— А вот вроде нагана хлопок, — вслушался Палестин. — Неужели «Боярин» пособить нам решил? Давайте к нему, а то уложат дурака ненароком, трое их всё-таки.

Повернули назад. Спешили. Рвали одежду о кустарник. Забирая правее, обходили место, где недавно останавливались. Рассчитали верно. Скоро услышали:

— Здесь я, раненный маленько, помогите.

В неглубокой лощинке увидели «Боярина»: сидел под деревом посеревший и рвал на себе рубаху. С подбородка капала на штаны кровь.

— Одного я, кажется, к богу отослал, — тихо, но с явной гордостью сообщил он. — Да самого-то, вишь ты, зацепило. Больно.

— Где двое других? — спросил Григорий Платонович.

— Подались вдоль ручья вниз к реке. Бежать за ними —дохлое дело. Испугались они — не догоните.

Наскоро перевязали раненого. Палестин, охнув от неожиданной тяжести, взвалил его себе на плечи. Часто передыхая, дотащились до родимой «крепости».

— А тут пока вас не было, к нашему дому колясочка подъезжала, — испуганно встретила их Людмила.

— Какая колясочка? — с тревогой посмотрел Калетин.

— Обыкновенная. Два человека в ней, по виду чиновники. Стояли минут десять, оглядывались, кричали что-то. Я не вышла.

— Правильно сделала, — одобрил Болдырь и уже в комнатной прохладе твёрдо изрёк: — Вот что, дорогие мои. Сегодня же отправляйтесь на Царскую засеку к Угрюмову. Не по нраву мне эти последние случайные случайности. Не верю я в них. Вчера — обыски в моём доме, нынче — дезертиры и визит неизвестных. Не много ли совпадений? Ночью схожу тут кое к кому, договорюсь насчёт повозки. Кукиш одну неприметную дорогу к усадьбе знает, доставит вас в сохранности. И доктора разыскать бы надо. Ты, Палестин Георгиевич, говорил, что он где-то у Казённого аптечного склада проживает. Значит, там и поищем.

— Тебе нельзя, дядюшка, — запротестовала Людмила. — Склад сейчас фуражом конским забит, охрана стоит. Сам Жухов там не бывает. Мне Мария, помощница его, при недавней встрече говорила. Он из госпиталя сутками не вылезает. Операции днём и ночью идут. Я сама пойду к нему.

— Не надо никакого живодёра, — поднялся с дивана Северьян. — Из-за моей оцарапанной головёнки неча своими рисковать. И Кукиша с Зейдуллою вам без меня всё равно не найти. А я, — потрогал повязку на лбу, — чем теперь не солдатик, раненный за великое дело? С таким документом куда хошь можно пролезть. И вот насчёт извозчика ещё. Знакомец мой Подошва здесь недалеко толчётся, первый лихач в Тобольске. И кони у него — ветер, а не кони. Если, конечно, он их не пропил.

— Ну, смотри, Северьян Мокеич. На тебя вся надежда. Деньги для дружка твоего у меня имеются, — согласился Калетин. — Только сделать всё надо до утра. Подошву прямо сюда проси подъехать. А Кукишу скажи, чтобы не только револьверы приготовил, но и гранаты тоже. На себе сегодня прочувствовал, чем прогулки по лесу могут закончиться.

«Боярин» напялил на себя гимнастёрку с погонами вахмистра, в мешок уложил штоф самогона, краюху хлеба, несколько картофелин, огурцы, обёрнутый в пергамент фунт сала.

— Ну, пошёл я, — покрыл голову фуражкой. — Ждите.

Подошву он застал в состоянии ужасном. Лихой извозчик лежал на соломе в закуте постоялого двора и прощался с жизнью.

— Охти, мама моя, роди меня обратно, горит всё в грудях, — прошептал, с трудом признав слободского приятеля. — Упились надьсь до такого стыда, что в кулачную на затонских попёрли. А они нас кастетами да кистенями отпотчевали. Ох! Как и дополз-то сюды, один бог ведает.

Северьян ухватил стонущего лихача подмышки, подтянул к стене и с трудом усадил. Развязал свой мешок.

— На-ка, — набулькал в чеплашку «лекарство» и протянул огурец. — Ты мне живой нужен, глотай траву. Блюй и снова глотай.

С третьей или четвёртой попытки «первач» провалился в горло бедняги. Через несколько минут он заметно оживился.

— А ты, я гляжу, в колчаки записался? — повёл глазами на погоны «вахмистра». — Неужто, брат, совсем дела твои сплошали? Плесни-ка ещё. Вроде прижилась, родимая. Главное-то, голову поправить, а то, что сломано, и так срastётся.

Часа через два они на бричке прикатили в Чёрную слободу. Кукиша отыскиали в кабаке Демитрэску. Бывший конокрад, послушав «Боярина», посоветовал всем облачиться в военную форму:

— Вокруг городу одни заставы и разъезды, кто не по службе куда движется, всех трясут и каждого. Ездил я тут недавно за мясом в деревеньку одну, так страху натерпелся — мокрый домой вернулся. Солдатня-то, когда телегу обшаривают, всё норовят мясца себе отрезать, а унтера — те деньги вымогают или водку. Один вот кольцо с пальца моего содрал, гутнявец. Спускайтесь в подвал, там у меня барахло разное хранится, даже медальки вроде какие-то есть. Цепляйте их, обряжайтесь, и пусть хранит вас Господь.

Проводив Людмилу с Палестином, Калетин долго стоял у калитки, вглядываясь в предрасветное низкое небо. Тревогой оно давило, предчувствием беды. «Не рассуждай, не хлопочи! Безумство ищет, глупость судит...» — пытался успокоить себя

словами известного поэта, но, как тягостное наваждение, выплывало вдруг из-за туч скорбное лицо погибшего брата Бориса. Дробились черты его, расплывались до неясности, но глаза... глаза смотрели неотрывно — с укором каким-то испепеляющим, провидческим. Григорий Платонович ёжился, отгонял сумрачные мысли.

Оракулом он не был, как, впрочем, и большинство человек. И потому не мог представить, что уже скоро, промозглым октябрьским днём на усадьбу Угрюмовых за Царской засекой наткнётся отряд лиходеев, озверевших после скитания по уже стылой сумрачной тайге. Сторожевые псы, охраняющие хутор, выполнили свой долг — упредили хозяев о появлении чужаков, но слишком много их было — бандитов оголодавших. Они перестреляли собак и пошли на приступ. Ждать помощи было неоткуда. Палестин, высадив стекло в одном из окон, прицельно бил из «императорской тулки¹», кричал Кукишу, чтоб брал гранаты и пробивался на конюшню, готовил упряжку:

— Женщин и детей надо спасать, сами как-нибудь... А ты, Стива, — указывал мужу Ольги, — продырявь башку вон тому, что с факелом к гумну ползёт. Как управишься, забирай Людмилу, жену с дочерьми, и к лошадям бегите, я вас с чердака из «льюиса» прикрою. Не мешкайте, сразу отъезжайте. В Аремзяны пробирайтесь, там помогут.

Кукиш (не зря школу прошёл каторжанскую) знал, чем «купить» лежащих в пожухшей траве варнаков. Он бесстрашно сбежал с крыльца дома и заорал, махая рукой:

— Будя стрелять! Хилый сюда, уркаганы, я вам погреб барский взломаю. Винища там и жратвы, захлебнётесь от счастья!

Несколько мужиков недоверчиво подняли головы над сухостоем. Кто-то из них прогорланил:

— А ты кто таков будешь?

— Из холопов барских, на хозяина здесь батрачу.

Переглянулись бандюки, но, видя перед собой безоружного, уже без опаски поднялись и пошли к нему. Тот выждал какое-то время и с секундной заминкой бросил навстречу им две гранаты. Сам — плашмя на землю. Когда осколки просвистели, бросился к конюшне.

А Палестин на чердаке похвалил себя:

— Молодец, Азабиди, пулемётик ты не зря наготове держал.

Распахнул чердачную фрамугу, прижал приклад к плечу, и покатались над округой звуки, чем-то схожие с вороньим карканьем. Несколько бандитов сразу вскочили и, крича, побежали к оставленным недалеко лошадям, но некоторые продолжали стрелять. «Сколько же вас всего, мерзавцы? — пытался определить Палестин. — Бомбами человек семь разнесло. Я сейчас троих положил. Пятеро бегут к лесу. Судя по вспышкам, человек десять ещё за деревьями прячется. Береги патроны, Азабиди, и меняй позицию».

«Батрак хозяйский», пользуясь тем, что каретный сарай стоял несколько на отшибе, стеснённый другими постройками, без лишней в таких случаях суеты, впряг лошадей в повозку и подогнал её к неприметной лесной дороге. Затем привёл туда ещё двух коней под седлами и, пригибаясь, побежал к дому. Палестин тем временем переместился на второй этаж. Скакал от окна к окну, перебежал из комнаты в комнату, стрелял и кричал на цепенеющих от ужаса женщин, чтоб уходили, уходили быстрее. Стива не выдержал, подхватил в охапку плачущих девочек, прыжками понёсся к лесу. А Кукиш, надавав пощёчин Ольге, чтоб очнулась и бросила набивать тряпьем баулы, за руки потащил её и Людмилу из дома. Стиве он приказал, никуда не сворачивая, ехать по означенной колее и всё время быть настороже. Попытки Людмилы Борисовны соскочить с повозки пресекать.

— На вот парочку бомбочек про запас, а револьвер у тебя имеется. В Аремзянах старика Тягая найдёшь. Мы с ним в Нерчинске горе одной ложкой хлебали. Приютит он вас пока, а дальше, может, и поутихнет всё. Н-но, пошли, саврасые, — перекинул поводья хозяину.

Когда пулемёт выплюнул из себя последние патроны, Азабиди спросил измотанно-го, всклокоченного, тяжело дышащего товарища:

— Как звать-то тебя по-настоящему, дорогой человек? Столько дней уже вместе, а всё Кукиш да Кукиш. Имя при рождении какое тебе генитори дали? Ну, родители твои. Иван, значит? Хорошо. А по изотчеству? Иванович. Ещё лучше. Так вот скажи мне, Иван Иванович, сколько мы ещё продержимся с нашими-то пистолетиками?

— Долго не выстоим, господин живописец, у них винтари, издаля нас постреляют. И ночь уже скоро. Подберутся сивки в темноте, не заметим. Надо до коней подаваться, я их приготовил к дороге. Последнюю гранату рванём прям с порога и кубарем в траву. Докатимся колобками.

— Так и сделаем. Пошли.

¹ «Императорская тулка» — охотничье ружье тульского завода.

Граната не понадобилась. Разбойные людишки где-то попрятались и ничем себя не выдавали. А может, глядя на трупы лежащих вокруг дружков и жалея свои головушки, просто решили не мешать обороняющимся уйти. Палестин с Иваном благополучно добрались до коней, попрыгали в сёдла и с места наместом пустились по просеке.

...Окаянцы усадьбу сожгли. Дождались вечера, убедились, что защитники её исчезли, и сожгли. Перед этим злобно порубали шашками гордость покойного Викентия Угрюмова — коллекцию чучел обитателей здешних лесов и озёр. Сгорели и другие охотничьи трофеи, книги, поделки из ценных пород дерева, иконы, дорогая утварь. Кончилась жизнь на этом клочке земли русской. Отпелись песни, отшелестели разговоры.

...В Юртах Аремзянских у коновязи близ дома сельского старосты, чем-то явно раздосадованные, переговаривались ротмистр Стрельников и прапорщик Райхенбах. Несколько часов назад они прибыли сюда по конфиденциальной просьбе Мазепы подготовить здесь запасную базу, на случай — ну мало ли какой. Нужны были лошади, провизия, проводники. Начальник местного гарнизона — седоусый штабс-капитан, к которому они обратились, посмотрел у приезжих документы и развёл руками:

— Помочь ничем не могу. У меня двадцать нижних чинов уже вторую неделю на рыбе сидят, которую сами и ловят в реке. Обрыдло всё. Ни соли, ни хлеба, ни табака. Не угостите, кстати, хорошей папиросой? А то я, стыдно признаться, уже на мужицкий самосад перешёл. Про нас совершенно забыли. Вы не поможете мне уяснить, почему?

Ротмистр неубедительно наплёл что-то про растянутость коммуникаций, о редком умении интендантов подвозить кому-то лишнее и оставлять без необходимого действительно нуждающихся и посоветовал отцу-командиру самому утрясти вопрос со снабжением, посетив тыловые службы в Тобольске. Комендант вежливо выслушал и сумрачно предложил:

— Тогда и я вам посоветую в том же духе: попробуйте пострадать здешнюю власть, авось она изыщет для вас что-нибудь. Но предупреждаю: это маловероятно.

Властью оказался прижимистый и хитрый старик из староверов с труднопроизносимым именем Квитнилон.

— Какие лошади? Об чём разговор? Не слыхал я ни о какой контрразведке. Кто такая? — сразу запричитал он. — Гляньте на меня. Я весь больной, нездоровый ногами, и то собственную кобылку есаулу казацкому отдал. Денег с него не взял, ибо патриот отечеству! Как на духу выкладываю, господра разведка: во всём селе или три клычи всего и осталось, а годных для строю коней доктора лошадные из ваших же давно реке визовали.

Чтобы приглушить всплеск своего недовольства, староста предложил гостям испробовать смородиновый чай с грибным пирогом. И совсем не огорчился, когда те отказались.

— Ну что же, дело хозяйское, — свернул губы в ухмылочку. — А по мне, так с пустым брюхом много не наработаешь. Езжайте снова к коменданту. Ён вас небось за царский стол усадит. Хотя погодьте. Забыл я с волнения, а щас вот вспомнил. Видно, везенье по вашей стороне ходит. Тут такое дело. Вчера, как только засмеркалось, повозка о двух упряжных к каторжному Тягаю, что под склоном у реки живёт, подкатила. А сёдня утречком пара верховых к нему же направилась. Вам бы по службе в самый раз навестить разбойника да распознать, что за личности у него собираются. Ну и о лошадаках заодне переговорите.

Стрельников поинтересовался:

— А каторгу ваш селянин за какие грехи отбывал?

— Убивец он. А может, наговаривают. Не скажу точно. Так-то, сколь живёт среди нас, ни в блуде, ни разбое не замечен. Но солдатиков всё же с собой для порядку нарядите.

Штабс-капитан сам вызвался сопроводить приезжих. Пошли: три офицера впереди, два унтера сзади. Спустились откосом к избе Тягая, затянутой вкруг частоколом. Долго стучали в воротину. И собака вроде лаем исходила, но никто не открывал.

— Чего потеряли тут? — послышался голос от реки.

Оглянулись. Идёт низкорослый кряжистый мужик, смотрит исподлобья.

— Ты хозяин? — шагнул к нему ротмистр и прикрикнул: — Немедленно допустить нас во двор! К тебе, говорят, поутру несколько человек заехало. Большевиков прячешь? Открывай, иначе силу применим.

Унтеры для убедительности передёрнули затворы винтовок.

— Не пужайте медведя рогаткой, — зло обронил Тягай. Подошёл к горотье, просунул руку в специальную сработанную щель, отодвинул внутренний засов. — Проходьте, — толкнул воротное полотенце и с ехидцей спросил Райхенбаха: — Можя, для вас за биноклем сходить? Без него-то как супостатов разглядывать будете? Уж больно они

у меня неприметные с виду. Ольга, — постучал в окно, — выводь на смотрины невест комиссарских, женихи пожаловали.

Скоро на крыльцо выскочили две девчушки-пострелицы: в одинаковых платьицах, банты в косичках, глаза от любопытства ширятся. Держа друг дружку за руки, замерли. Следом вышла Ольга. Представилась:

— Я дочь подполковника Викентия Угрюмова, а это моя дочь и племянница. Что вам угодно, господа?

Комендант в некоторой растерянности взял под козырёк:

— Начальник здешнего гарнизона Зыков Николай Андреевич. Простите, сударыня, но мы бы хотели задать вам всего два вопроса. Первый: где сейчас находятся мужчины, что вас сюда доставили? И второй: почему вы предпочли остановиться именно здесь, а не у более порядочных людей?

Угрюмова ответила с вызовом:

— Наши мужчины вернулись в отцовскую усадьбу за Царской засекой. Вам что-нибудь известно о такой? Я так и предполагала, что впервые слышите. Но это не снимает с вас ответственности за её вчерашнее разграбление, — (она ещё не знала, что их хутор уже пепелище), — учинённое явно дезертирами и мародёрами. Мы еле вырвались оттуда живыми. Поскольку ваша команда находится ближе других к имению, вы обязаны были помочь нам. Вместо этого вы сейчас выказываете недоверие нашим истинным спасителям. Я буду писать сослуживцу отца генералу Редько.

— Пишите сразу верховному правителю, — в сердцах махнул перчаткой Стрельников и настойчиво потребовал: — Проводите нас в дом. Нам некогда слушать о делах, нас не касающихся.

— Погодите, Олег Парамонович, — остановил его штабс-капитан. — Сюда кто-то скачет.

Во двор на взмыленном жеребце заскочил казак. Оглядел офицеров, вытянул из-за голенища и протянул ротмистру пакет. Сдвинул нагайкой фуражку на затылок:

— Срочно от полковника Григоровича. Ещё на словах велено передать, чтобы здешний гарнизон отходил к деревне Панушковой и ждал там следующих распоряжений.

Стрельников поймал на себе тревожные взгляды офицеров, принял конверт, хрустнул печатями, развернул лист тонкой бумаги. Начальник Тобольского управления госохраны сообщал, что правый фланг красного Восточного фронта пришёл в движение. И одновременно с ним от устья Тавды в составе третьей армии большевиков по левому берегу Тобола начала наступление дивизия Блюхера. Обороняющие этот участок фронта части генерала Дитерихса отступают. Ввиду серьёзности положения, командование вынуждено отвести к Омску дивизион Обь-Иртышской флотилии. Далее следовало указание: «Вам надлежит немедленно вернуться в город и заняться сбором, охраной и отправкой по указанным уже на месте адресам наиболее ценных активов Тобольска»¹.

Стрельников спрятал пакет в карман кителя и коротко бросил барону:

— Нам приказано срочно возвращаться. Но на час-другой задержимся, — он демонстративно расстегнул кобуру и с наигранным сожаленьем объявил: — Прежде чем расстаться с нашими гостеприимными хозяевами, я намерен всё же завершить дело. Пока прапорщик будет осматривать конюшню, мы с вами, гражданин, — полуобер-

¹ Сколько ценностей собрали в Тобольске колчаковцы и куда их переместили, доподлинно неизвестно. Существовало якобы решение об отправке их в Томск. Для чего (опять же по слухам) были снаряжены два парохода, которым надлежало спуститься вниз по Иртышу до Оби, а по ней мимо Сургуты и Нарымского острога (где отбывали, кстати, еще недавно ссылку вожди пролетарского государства — Свердлов, Сталин, Куйбышев) пробиваться далее на юг. Однако — а вот это уже установленный факт — в пункт назначения суда не прибыли. Что случилось? Обратитесь с этим вопросом к бабушке-истории. Она на трухлявой завалинке устами очевидцев, не очень-то, впрочем, уверенно, поведаст вам, что видели их (пароходы те) попавшими в ледяной капкан: студеные-то поры по обским низовьям рано начинают разгуливаться. Ну и пришло, значит, время сопровождающим ящики с золотишком спасать: в тайгу их уволокли и схоронили где-то. А другая старуха, давно слепая, припомнит вдруг, что сама видала в том году, как еще до морозов, углядев корабли на реке, высыпали на берег из лесу многие люди, поуседались по лодкам и пустились в погоню. Догнали самотопы. Кричали да стреляли радостно, а потом по воде — да быстро так, быстро — рассеялись кто куда. Тобольские же кладовскатели (не знаю, как сейчас) все больше копытчили землю вокруг Иоанно-Введенского монастыря. Нашептал им кто-то, что в середине октября девятнадцатого останавливался около обители большой армейский обоз. Обычное вроде дело. Кого тут груженными телегами тогда можно было удивить? Но в этот раз монашек почему-то загнали в кельи. И охрану везде выставили. А раз так, то тайну какую-то сохранить имелась необходимость. Да и видели якобы с колокольни, как служивые долго носили куда-то в темень тяжелые ящики. На рассвете ушли телеги от монастыря порожними. Ночка та тихо скончалась, родив не дающую теперь многим спать легенду о золотом обозе. Что тут сказать? Пусть ищут, кому это в радость. Может, кто и обрящет.

нулся к Тягаю, — пройдемся по дому. Мне, если честно, ещё не доводилось бывать в жилище каторжанина. Извольте убрать руки за спину и пожалуйте вперёд, Николай Андреевич, — окликнул штабс-капитана, — присоединяйтесь к нам.

Никого они в доме не обнаружили, кроме Людмилы. Она, чуть бледная, с припухшими глазами, сидела за массивным, надёжно сбитым, как хозяин, столом и прихлёбывала из блюдечка травяной чай. Ротмистр глянул на неё оценивающе, но не стал задавать ей вопросы. Прошёл за печь, рассекающую избу почти пополам, заглянул в закут. Приподнявшись на цыпочки, осмотрел лежанку.

— А где у тебя, варнак, лаз в подземелье находится? — спросил неожиданно.

— Где ж ему быть, — прогудел хозяин. — Вона в углу три дощечки из пола изымаются, а тамо ступеньки вниз. Полезайте, коли надо.

— Давай, любезный, — приказал ротмистр унтеру, — отставь винтовку, свечу в руку и осмотри волчью нору. Да хорошенько... Ну что там? — спросил, когда через несколько минут голова унтера показалась из проёма.

— Бочки одни пустые, ваше высокоблагородие, да железяки какие-то, огурцы ещё и помидоры в кадках киснут.

— А чего у тебя, рожа, капуста на усах висит и руки дрожат, испугал кто-то?

— Так крысы из хлябых посудин полезли. Много их. Вот душа и оробела.

Служивый утёр ладонью лицо и скрутил незаметно из пальцев «шишку»¹, подумал злорадно: «Не рассказывать же мне тебе, фертик расфуфыренный, что как только учуял я съестные запахи, так и позабыл всё на свете. А пока жевал капусту да грибами давился, всё глядел на сапоги за дальним чаном, по которым скакали рыже-бурые плюгавки. Сапоги те двигались заметно, отрывались поочередно от земли, видать, не вмоготу было стоять человеку среди такого крысиного шабаша. Кто там прячется — не моя забота. Мне до дому целёхоньким надоть добраться, а вы пропадите здесь все пропадом!»

Вошёл прапорщик, доложил, что лошадей и повозок не обнаружено, поэтому можно бы и отправляться. Стрельников нервно натянул перчатки. Щёлкнул каблуками:

— Что ж, уважаемые дамы, извините за причинённые неудобства. Служба. А ты старайся на глаза мне больше не попадаться. — замахнулся на Тягая.

Так же, как и пришли — офицеры впереди, унтеры на почтительном расстоянии сзади, — пошагала команда по откосу к дому старосты. Палестин и Стива выбрались из погребя. Муж Ольги, зажимая рукою рот, тут же побежал на улицу, где его и вырвало.

— Он жрёт и давится, а у меня по ногам крысы танцуют, — виновато оправдывался он потом перед женою, представляя склонившегося над кадушкой урядника. — Вот что голод с людьми делает. Абсолютное онемение всех человеческих чувств.

Тягай, послушав, полез в яму, проверил на бочках крышки, придавил их печными чугунными колосниками.

— Пойду я, однако, проучу нашу власть, — объявил вдруг, уложив половые дощечки на место. — Ён это, паскудник, насрал энту свору на нас. Давно пора ему морду в кулич распластать. Вы сидите тихо, а я ещё до лагеря воинского наведуясь, новости поспрошаю, да вот хоть морковки туес казённым людям снесу.

Квитнилона дома не оказалось. Спрятался, наверно, у соседей. А солдаты, благодаря за бесценную для них морковь, выдали старику военную тайну: приказ будто пришёл об отступленьи, только куда их погонят далее без еды и тёплой одежды, они не знают. Под вечер появился Кукиш. Попросил женщин крепить себя, ибо то, что он скажет, слушать без слёз нельзя. Рассказал, как осторожно пробрался к хутору, а увидел вместо него дымящееся кострище:

— Всё прахом пущено. Придётся нам пока здесь чего-нибудь ожидать.

Через два дня, поднимая пыль, к дому старосты проскакал отряд.

— Из лесу, партизаны, — определил Тягай. — Теперь другая жизнь пойдёт.

¹ «Шишка» (простореч.) — фигура из трех пальцев, дуля, фига.

Глава 2. ...ET NOS MUTAMUR...

Дедюхин снял с пояса связку ключей. Открыл камеру. Распахнув дверь, пригласил стоящего у коридорной стены арестанта:

— Прошу пожаловать, господин меценат, в новый для вас апартамент. Нужду какую испытывать будете, постучите в окошко, я постараюсь вам помочь.

Человек, которого называли меценатом, молча прошёл в узилище и опустился на узкую «шконку». Огляделся. Накрытая крышкой лохань «параши» в углу. Сочащаяся влагой штукатурка. Серость и сырость. Высоко под потолком зарешеченное оконце. «Давненько я не был в такой обстановочке, — отметил Калетин (а это был именно он). — Прекрасное место для сочинения отдохновенных мемуаров и философских стихов». Но долго побыть ему в одиночестве не дали. Лязгнув засов, вошёл надзиратель, поставил у входа табуретку. Пропустив человека в армейской шинели, вышел и прикрыл дверь. Вошедший присел, широко раздвинул колени. Тоже осмотрелся и беззлобно проговорил:

— Вы, Григорий Платонович, человек вроде бывалый, должны бы знать, что вставать надо при появлении тюремного начальства. Плохо начинаете нашу беседу.

— Голос мне ваш знаком, простите, с кем имею честь? — не шелохнулся Калетин.

— Вашему нахальству при ваших-то обстоятельствах можно позавидовать. Я полковник Мазепа. Вам — подпольному дельцу с дореволюционным стажем — должна быть известна моя скромная персона.

— Так вы из начальника тобольской охранки в тюремщики подались? Ну и ну себе новость! — картинно ахнув, встал Болдырь. — Я склоняю перед вами голову. Но сразу предупреждаю: на вопросы, касающиеся некоторых моментов моей жизни, отвечать не намерен, ибо то, что ведомо только мне, да не коснётся ушей чужих.

— А вы не торопитесь с декларациями и садитесь, — позволил Иринарх Гаврилович. — Из вас, собственно, никто и ничего вытягивать не собирается. В этом нет необходимости. Для чьего-либо расстреливания сегодня не обязательны твёрдые основания, собственное признание преступника и прочая юридическая проволочка, достаточно приказа: моего, например.

Калетин опустился на нары. Спросил озабоченно:

— Тогда я не понимаю, для чего вы притащили меня сюда? Могли бы сразу при аресте точку поставить.

— Tempora mutantur, et nos mutamur in illis¹, — усмехнулся Мазепа. — Древние ещё на заре человечества подметили способность нашего вида соответствовать веянию времени. Иначе было просто не выжить. Вы человек наверняка осведомлённый и потому обстановку на фронте знаете не хуже меня. Дни Тобольска сочтены. Кампания, задуманная Колчаком, провалилась. Скажите откровенно: ждёте большевиков?

Калетин посмотрел с удивлением:

— Вы, полковник, шутник. Признаться в подобном представителю карательной конторы было бы не просто глупостью с моей стороны, но чёрт знает чем.

— А я вот жду, — неожиданно объявил Мазепа. — И по многим причинам. Во-первых, не люблю проигрывающих. Уступающий всегда жалок. Он, по мере отодвигания его с главноначальствующих позиций, начинает теряться, искать виновных, озлобляться и делать ещё более роковые ошибки. Что сейчас и демонстрирует наш сухопутный адмирал. А во-вторых, я люблю порядок. Пожар народного гнева запылал не на шутку. И как его погасить, знают, похоже, только Ленин со товарищи. Я ведь когда-то по долгу службы изучал сочинения социал-демократов, в том числе многие работы господ Ульянова, Плеханова и прочих. И, помнится, неприятно поражался их политическим нахальством и воинственной убеждённости в скором падении царизма. Осуществить такое дерзкое предприятие, как революция, думал я, в силу многих российских особенностей, нельзя. Ан нет. Оказалось, можно. И всего-то с помощью одного-двух простеньких лозунгов: «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим». Народ уверовал в них и не оставил шансов на победу ни Деникину, ни Колчаку.

— С последним согласен, — отозвался Калетин. — Всё остальное для меня — загадка.

— Вот и попробуйте поломать голову над её смыслом, — поднялся Мазепа. — Хотя у меня есть подозрения, что всё вышесказанное мною вами давно поддерживается. Я приказал кормить вас по рациону служителей тюрьмы и никого сюда не подсаживать. Думаю, что завтра мы продолжим разговор.

— Пойдите, полковник. Раз уж вы столь любезны, может, выполните мою последнюю просьбу?

¹ Tempora mutantur, et nos mutamur in illis (лат.) — времена меняются, и мы меняемся с ними.

— Излагайте, — разрешил Иринарх Гаврилович.

— Я прошу вас разыскать небезызвестного местной публике присяжного поверенного Гравиатова. Мне доподлинно известно, что он, амнистированный правительством, находится в городе и ведёт юридическую практику. Я хотел бы составить завещание. Имею право.

— Гравиатов? — переспросил Мазепа. — Тени прошлого встают передо мною. Значит, жив златоуст? Что ж, мне тоже будет любопытно поведаться с ним, поэтому просьбу вашу прикажу исполнить.

Полковник запахнул шинель и, холодно кивнув, шагнул в коридор. На следующий день он не появился, не дождался его и через неделю. Всё это время крепость гудела. Тюремный телеграф отстукивал лишь одну новость: в городе большевики, власть поменялась.

...Когда на Руси хотят напомнить кому-то о призрачном устройстве нашего мира или предупредить о капризном и туманном будущем всякого, кто гостит на этой земле, вспоминают обычно прямое, как оглобля, речение: «от тюрьмы да сумы не зарекайся». То есть живи себе в радости, надейся на бога, но знай, что даже привязанную кобылу могут украсть. Поэтому появление через несколько дней в камере избитого, грязного человека, оказавшегося полковником Мазепой, Калетина не особо удивило.

Иринарх Гаврилович с трудом забрался на нары и тихо попросил, чтобы позвали старшего надзирателя Дедюхина.

Тихон Макарович появился только ночью. Занёс ведро с тёплой водой. Достал из кармана полотенце. Смыл с лица патрона кровь и, оглядываясь на Болдыря, зашептал:

— Как же вас угораздило попасться, а? Мы же всё как будто точно рассчитали. Что случилось?

— Стрельников, подлец, лодки увёл, — прохрипел контрразведчик. — Из-под самого нашего носа. Мы подъехали к условленному месту, а он, сучье племя, с мальчишской бараном и ещё кем-то отгребли уже на стремнину. Я приказал верхом по берегу следовать за ними. Но они заметили и стали намеренно стрелять. Ну, разъезды красных и переполошились. Окружили нас. Вышибли из сёдел.

— И Райхенбах с ним? Мерзавец! Но откуда им стало известно о месте сбора?

— Не знаю. Дай попить. Спасибо. Наверно, следили за нами. Вообще ротмистр в последнее время вёл себя странно, нервничал, суетился излишне. Я намеренно отказал ему в просьбе эвакуироваться с чинами штаба и приказал до последнего оставаться в городе для пресечения грабежей и других эксцессов. Он тогда нагрубил мне и сказал, что не понимает меня, после чего исчез. И вот видишь, где объявился. Я подозреваю, что напоследок они погуляли по городу широко и не с пустыми руками в побег подались.

В дверь камеры постучали. Дедюхин ногой задвинул ведро под нары и выскочил в коридор. На следующий день во время раздачи утренней баланды в камеру влетел и покатился по полу бумажный шарик. Мазепа попросил Калетина:

— Мне трудно встать, прочтите.

Болдырь осторожно раскатал «ксиву», передал полковнику:

— Записка адресована вам, читать чужие послания я не приучен.

Мазепа поднёс цидулку к глазам. Тихон Макарович сообщал, что комиссары пока персонал «пересылки» не трогают и заключёнными серьёзно не занимаются. Видимо, не было приказа. Камеры забиты разным сбродом. Кто из них кто, определить трудно. При этом каждый день поступают всё новые лица. В такой неразберихе покинуть тюрьму представляется вполне возможным. Для начала в карточке учёта арестантов он зарегистрировал Мазепу под фамилией Сергеев Петр Иванович и просит запомнить это имя. А ещё затвердить, как «отче наш», что попал Сергеев в тюрьму неделю назад после пьяного дебоша со стрельбой и поношением верховного правителя в ресторане гостиницы «Ямская». Сей казус оформлен протоколом, составленным околоточным надзирателем Мануйловым, который сейчас тоже оказался среди «жильцов» крепости. Дедюхин уверен, что при обещании определённых гарантий полицейскому тот на возможной очной ставке подтвердит личность господина Сергеева. И это послужит основанием для освобождения хулителя Колчака.

А днём в камеру вошёл тюремный лекарь. Отлично знавший полковника, он сделал вид, что перед ним обычный обитатель окраинных трущоб.

— Оголите живот и лягте на спину, — грубо приказал он. Полез в саквояж, достал какие-то баночки-скляночки. Принялся смазывать многие иссиня-багровые следы побоев. И между делом незаметно сунул в руку «болезного» стеклянную трубочку. Закончив процедуру, обратился к Калетину: — Приподнимитесь, милейший, вас велено тоже осмотреть. Покажите язык. Теперь расстегните рубаху, я послушаю, что там у вас за грудной происходит. Дышите глубже. Так. Теперь задержите дыхание. Доста-

точно. Всё понятно — шумы, хрипы. И сердце напуганным зайцем скачет. Надо вас, плесень человеческую, лечить.

Вечером их обоих перевели в тюремный лазарет. Дедюхин, чтобы не возбуждать ничьих подозрений, заходил сюда только по служебной необходимости. Для разговора с Мазепой использовал кабинет врача. Там — при первых встречах — он наливал больному половину стакана спирта, угощал салом и докладывал о ходе подготовки известного мероприятия. Но после одного и, скажем так, опасного прецедента, когда полковник — то ли от общей слабости организма (пища даже в лазарете была скудной), то ли от гнёта дум окоянных — тяжело захмелел и начал биться в падучей, выкрикивая при этом проклятья комиссарам, спирт на стол больше не подавался.

Через неделю Тихон Макарович сообщил, что его назначили временно исполняющим обязанности начальника тюрьмы.

— Куда же старого подевали? — обрадованно спросил Иринарх Гаврилович.

— Расстреляли. А мою персону предложили, потому как некого больше ставить. Ждут комиссара из Тюмени. Главного по тюремным делам. Приехать он должен в середине ноября. Вам же к этому времени желательно отсюда исчезнуть.

— Торопитесь, Тихон Макарович, я ещё не решил, как поступить с моим соседом. Мы с ним за эти дни много чего друг другу наговорили. Он считает меня виновником гибели его друга Алымова, помните такого? И прощать мне это не собирается. Ну и собственный арест в родном доме тоже связывает со мной. И в сущности — прав. Именно я распорядился держать круглосуточное наблюдение за странным «публичным заведением». И чутьё не подвело меня: Калетин не выдержал, плюнул на проходную истину, что возвращаться в места, где когда-то был счастлив, не следует.

— Резон, конечно, ваш, господин полковник, убедительный, но дела давно минувшие — они прошли, поэтому позвольте спросить: экие расстояния по диким местам, морозы, народишко кругом разбойный. Неужели один хотите в дорогу отправиться?

— Я не раз бывал в Сургуте. Путь знакомый. Но, пожалуй, ты прав. Те поездки были вроде прогулок, а нынче... Но кого пригласить в провожатые? Выбор у нас невелик. Положиться решительно не на кого. Изменники кругом и трусы. Если ты предлагаешь отдаться в руки Калетину, то сам я ему ничего предлагать не хочу. Есть, знаешь ли, между нами черта, за которую я ступить не готов. Поговори с ним ты. Припугни неминуемым расстрелом, если откажется сопроводить меня до глухого остяцкого стойбища, где мы сможем спокойно перезимовать, а потом разъехаться каждый в свою сторону. И для общего успокоения возьми с него честное дворянское слово, что он не зарежет меня где-нибудь спящего.

— Ну, на такое господин коммерсант, как мне кажется, не способен, — усомнился Дедюхин. — Он хоть и недруг, но нож в спину не воткнёт. Честь имеет, не то что шваль высокородная Стрельников и барон его розовый. Вспомните, какие речи произносили! Как перед вами расшаркивались! На деле же сволочь на сволочи оказались! Вот тебе и воспитание с благородством.

Иринарх Гаврилович успокаивающе похлопал соратника по плечу:

— Разделяю твоё возмущение. И верю тебе. Ты передай ещё Болдырю, хотя это будет, наверное, ударом для него, что просьбу устроить ему встречу с адвокатом Гравиатовым я выполнить не смог. Убили присяжного накануне. И знаешь кто? Бывшие наши с тобой подопечные Донник с Раскольниковым. Да-да. Шла как-то вечером дамочка одна мимо адвокатского присутствия и услышала крики, позвала полицейского. Тот прислушался: действительно, кто-то о помощи взывает. Кликнул себе подмогу. Сообща вышибли дверь, а из комнат по ним стрельбу открыли. Рядом казарма гарнизонная — так солдаты на выручку кинулись. Двоих, что из окон выпрыгнули, застрелили. Самого Гравиатова нашли в кабинете сплошь изрезанным. Его, видимо, истязали. В участке личности убитых налётчиков установили. А вот с какой целью они пытали несчастного, никто, наверное, уже не узнает.

Мазепа потеревил усы. Невесело вздохнул:

— Зря я тогда упёк успешного ратора на каторгу. Сломал ему жизнь. А ведь вина его представлялась не столь очевидной. Ну, составил он карту, могущую помочь налётчикам. Ну, использовал своё служебное положение. Но доказать-то его ведущую роль в предполагаемом ограблении кассы не удалось. Не клеивались факты. Вполне можно было ограничиться высылкой преступника в то же Демьянское под надзор полиции или лишить прав состояния, наконец. Но я же карьеру делал, как же! Ухватился за столь громкое имя. Орденок возжелал очередной на грудь! Словом, скажи Калетину: пусть с завещанием своим повременит.

Дедюхин не стал тянуть.

— У меня есть намерение избавить вас от мучительного ожидания скорой смерти в этом жутком замке, — сказал он приглашённому в кабинет врача Григорию Платоновичу.

— Не скрою, я удивлён. Думаю, вы сделали сие заявление не от большой любви ко мне? — усмехнулся арестант.

— Разумеется. Чувства здесь ни при чём. Вы же не кисейная барышня, которую строгие родители позвали выслушать сообщение о её скорой помолвке с уланом Ястребовым. Давайте поговорим без иронии — по-мужски.

Поговорили. Выпили по мензурке спирта. Калетин, собираясь уходить, заметил:

— Причудливая штука — жизнь. Многие годы я горел отмищением, заряжал им многих людей, тратил на это деньги, но вышло так, что теперь сам должен спасать своего обидчика. Не лучше ли застрелиться, а, господин начальник новой и свободной тюрьмы? Или поступить, как рассказывал мне хороший приятель, по японскому обычаю: совершить акт искупления — харакири?

— А кому лучше-то от этого станет? Пускают себе пулю в лоб, вешаются, сигают с камнем на шее в омут люди исключительно слабые. Да и церковь наша такое не одобряет. Вам ли о подобном думать? Скоро всё уляжется, вражда забудется, и вы ещё спасибо скажете Мазепе, что протянул вам когда-то руку примирения. Идите к себе и готовьтесь к побегу — больше спите, меньше думайте, копите силы.

...В начале ноября ударили морозы. Дедюхин каждый день под разного рода предлогами ездил к Иртышу, подолгу стоял на берегу, наблюдал. Нервничал, оттого что лёд сковывает реку не так быстро, как хотелось бы. По его задумке выбираться из города предстояло именно рекой, для чего он уже купил крупного послушного молодого жеребца и добротный крытый возок на полозьях. Оружие, провизия, шубы и валенки давно собраны. Лёд. Он задерживает. «А вдруг комиссар тюменский раньше обещанного припожалует и начнёт здесь косою махать? Мы же не знаем, какие приказы он с собой привезёт. Чтобы не вышло чего худого, надо всё-таки полковника сначала из крепости вывести, спрятать и дожидаться прочного ледостава. Далее видно будет».

Так он и сделал. В одну из ночей вызвал к себе своего помощника, ценнейшего когда-то тайного агента Трусова, и приказал ему изъять из лазарета арестантов такого-то и такого-то, после чего в тюремной карете доставить их к Завальному кладбищу. Там лично — под расписку — сдать начальнику конвоя красной комендантской роты Филянчикову. И строго предупредить причастных к сугубо секретному мероприятию: те, кто позволит себе распускать язык, будут сурово наказаны.

Исполнили указание смотрителя тюрьмы в точности. Преступников грубо сдёрнули с лежачков, тут же показательно скрутили им руки, накинули на головы мешки и поволокли во двор, где запихнули в крытый рыдван. Скоро красный конвоир Филянчиков (он же писарь крепостной канцелярии Маркин) поставил закорючку в сопроводительной бумаге. И повёл заключённых в кладбищенскую темноту. Было тихо. Удивительно тихо. Недолго попетляв по заснеженным, но натоптанным уже дорожкам погоста, остановились у одной из могил. Кто-то из конвоиров направил на неё луч фонаря. Гранитный крест заиндевел от мороза, и фотографическая карточка в накладной рамочке покрылась хрусталиками льда, однако под ней легко прочитывалась фамилия погребённого, и Мазепа вздрогнул, прошелестев губами:

— Цезарь Алымов.

Растерянно глянул на Калетина. Тот, уловив движение полковника, жёстко произнёс:

— Это было моим единственным и непреложным условием при заключении сделки с Дедюхиным — позволить мне напоследок посетить покойного друга и показать ему человека, который лишил его жизни.

...Отправиться в путь беглецы смогли лишь под вечер дня Филишова заговенья. Православный народ праздновал — несмотря ни на что — начало Рождественского поста. Прежде этого затворники несколько ночей подряд, дождавшись со службы начальника тюрьмы, обсуждали частности предстоящего исхода из города. Каждый стоял на своём. Мазепа предлагал короткими прогонами — от деревни к деревне — двигаться до Сургута, откуда следующим летом спуститься к Томску. Григорий Платонович был категорически против:

— Я, господин жандарм, в отличие от вас, далеко отъезжать не собираюсь, так как намерен скоро сюда вернуться. И потом. Откуда у вас такая мальчишеская самонадеянность — покрыть на несменяемой лошадке семьсот вёрст, да в такие шальные погоды? Вы самоубийца, полковник. И какие селенья по Иртышу вы постоянно поминаете? Мне никогда не доводилось слышать, что они есть звено единого и налаженного почтового яма. Кто нас там будет встречать? Станционные смотрители, которые накормят, обогреют, спать уложат? А ещё выделяют из своих скудных запасов по несколько мер сена для нашего Гнедко или вообще заменяют его свежей лошадьёю? Ей-богу, розы какие-то и грёзы, — Калетин вытер платком лоб и с нажимом добавил: — Ротмистр

Стрельников нас там ждёт, дожидается, и подобные ему отщепенцы. Не смотрите на меня, как на идиота. Именно они сейчас в деревнях затаились. Санная дорога устоит, тогда и время их настанет — примутся за разбой. Это я вам со знанием дела говорю. Терять им нечего, да и силы, могущей их здесь сломать, пока не существует.

— Сила складывается, — перебил его Дедюхин. — Красные организуют специальные летучие отряды для поимки колчаков. Вчера был на допросе одного из офицеров. Он рассказывал и плакал. Хватают их, брошенных на погибель, по всей округе. А кто сопротивляется — бьют беспощадно. Попросили его определить, каким числом отступающие по тайге распознались. «Не знаю, — сказал, — один только мой отряд из двухсот штыков состоял. Есть и другие побольше».

— Что вы предлагаете, в таком случае? — не хотел верить услышанному Мазепа.

— Искать надёжное убежище в пределах одного, максимум двух, переходов, — отчеканил Калетин. — На большее у нас ни сил, ни запасов не хватит. Лошадь, как вы знаете, не олень, травку из-под снега добывать не способна. А юрты татарские, ещё раз повторяю, я из соображений своей и вашей сохранности посещать отказываюсь.

— Я, пожалуй, знаю такое место, — снял напряжение Дедюхин и придвинул к себе карту. — Вёрст пятьдесят отсюда будет. Мы там с Щекутьевым не единожды на охоте бывали. Летом, правда. Смотрите, — повёл пальцем по карте и остановил его на развилке чёрных линий. — Вот речка. Название у неё мудрёное, не вспомню сейчас. Неприметная такая, петлистая. Справа в Иртыш впадает. А вдоль неё вёрст десять если пройти по тайге, то на остьёе стойбище выйдешь. В нём шаман Ойка верховодит. Поднесёте ему подарочки от меня — табак, водку, ну, ещё что-нибудь, он вас словно родных встретит. А голодно у них не бывает. Ас хоят¹ и рыбу, и мясо на зиму в ямах запасают. Кровь оленью научат вас пить. Перезимуете.

— По схеме всё как будто понятно, — не сдавался полковник. — Но как нам ту речушку не перепутать с другими, вон их сколько по правую руку обозначено. Не хватало ещё напрямик попасть на какую-нибудь волчью свадьбу.

— Не заблудитесь. Место слиянья там приметное. Как к нему приближаться будете, заметите, что обрывы речные всё более сплошными и крутыми становятся. Только в нужном устье провал между ними имеется, и слева на высоком берегу церквушка плохонькая — вроде маяка — стоит. Мимо неё в чащобу и свернёте. Ойка рассказывал, что пришлые на их пастбищах не селятся и появляются редко: боятся шибко злых духов. Они, мол, скотину и людей забирают куда-то, болотные болезни насылают. Но шаман братьев своих оберегает. Кто ему подарки делает, того Ойка любит.

Иринарх Гаврилович, кивая головой, всё-таки сомневался. Попросил, пока есть время, разыскать знакомого ему лесного смотрителя Борейко — знатока окрестностей, угрюмого неразговорчивого человека. Дедюхин лесничего нашёл. Отвёз к себе домой. За стаканом мадеры стал осторожно расспрашивать. Старик отвечал неохотно и уклончиво. Боялся, видимо, собеседника. Но зимовьем своим всё-таки предложил воспользоваться:

— В этом году, правда, запасу там сделать не удалось. Жена вдруг померла. Обмер и я на месяц-другой. Пока собирался, лето и пролетело. Но ежели завести туда провиант, спички да порох, заготовить соль и другую амуницию, вполне до весны протянуть можно. Изба крепкая, печь в прошлом году ставлена. Однако скажу тебе, Тихон Макарыч, так. Боюсь, что набредёт на укромину какая-нибудь шайка. Тогда плохо будет. Сын мой из тайги недавно пришёл. Видел многих людей при оружии. У костров греются, конину жарят. Стрельба то там, то тут слышна. Царскую засеку вон недавно спалили. Пусть уходят твои люди куда подальше.

Вердикт лесного смотрителя окончательно добил Мазепу. Он вяло махнул рукой:

— Поступайте, как считаете нужным.

Сделав последние приготовления, на заговенье тронулись. Дедюхин, прощаясь, сунул Калетину завернутые в носовой платок документы и шепнул, чтобы тот нашёл его после возвращения. Если, конечно, жив останется.

...Гнедко по присыпанному снежком льду бежал резво, не оскальзывался. Река петляла, отчего месяц над горизонтом то слева дымился, то мертвенно освещал спину кучера. Седоки часто менялись местами. Пока один дремал под медвежьей полостью, другой правил повозкой. Так благополучно миновали несколько темнеющих на берегу селений. Но под утро Григорий Платонович, жалея коня, решил всё-таки завернуть в Нижние Аремзяны к знакомому коммерсанту, чтобы самим отогреться, жеребца напоить-накормить, ну и обстановку узнать.

— Красных здесь быть ещё не должно, — уверил он Мазепу, — а от белого воинства нас защитит ваш полковничий мундир.

¹ Ас хоят («обские люди») — самоназвание хантов.

Хозяин избы, куда они постучали, испуганно обомлел:

— Григорий? Как ты сумел проехать ко мне? Кругом же заставы! Ещё вчера на каждой дорожке солдаты топтались. Спят, что ли? А ну быстро сани во двор, — в горнице усадил гостей на лавку, велел растянуть тулупы, но совсем их не снимать. — Быть надо настороже, — пояснил, — а ну как придётся с места в карьер срываться. Водки для согрева предлагать не буду, она плохой помощник в мороз. Сомлеете ещё да помёрзнете. Угощайтесь лучше молочком парным и выкладывайте, каким бесом вас сюда занесло.

Болдырь коротко рассказал.

— Дрянь ваше дело, — откинул волосы со лба торговец и откровенно посмотрел в сторону Мазепы. — Шамана Ойку я знаю, возил к нему не раз товары. Глушь там действительно волчья. Но к нему чтоб добраться, селенье Панушкову надо проскочить. А там сейчас, говорят, какой-то ротмистр из бывшей контрразведки лютует. Всех следующих мимо задерживают, допрашивают. Во всяком человеке партизанских курьеров усматривают или грабителей, которые из города добро вывозят. Товарища твоего, Гриша, может, и не тронут, но вот тебя потрошить будут — не возрадуешься. Я, пожалуй, вас до следующей ночи не отпущу. Поймите, если вы даже сей момент тронетесь, то к Панушковой аккурат с рассветом придёте. А на снегу повозка за версту видна. Понятно излагаю?

Мазепа придвинулся к Калетину, спросил растерянно:

— В нашей контрразведке числился только один ротмистр — Красильников. Неужели он?

— Очень неприятный для нас сюрприз. Но похоже, что он. Вам, Иринарх Гаврилович, есть прямое основание его бояться. После грязной истории с лодками он постарается избавиться от вас, ну и от меня, конечно. Но ждать следующей ночи?

— Подождём. Мне кажется, ваш коллега прав. Днём ехать очень опасно.

За окном послышался лай собаки.

— Сидите как сидели, — тихо приказал хозяин. — Пойду гляну, кого принесло. Будем поступать согласно случаю.

— Николай, — окликнул его Болдырь, — возьми револьвер. Мало ли что.

— Оставь. Стрелять не будем. Дети в соседней комнате спят.

В бекеше, перетянутой ремнями, скоро вместе с морозным паром в избу шагнул румяный молодец — три лычки на погонах. Пошарил глазами вокруг, крикнул и нагло вато улынулся:

— Докладай, хозяин, кого встречаешь. Их благородие барон интересуются.

— Какой барон? — резко поднялся Мазепа.

— Ты, дядя, сядь. Не то покатишься репкой под стол, — подвздрнул из ножен шашку вошедший.

Иринарх Гаврилович в ярости скинул с себя тулуп — блеснули ордена. Заметив замешательство на лице унтера, прошипел:

— Да я тебя сейчас выпороть прикажу! Ступай назад, наглец, и тащи своего аристократа сюда. Скажи ему, что я лично желаю побеседовать с ним. Исполнять и живо!

...Райхенбах в мундире нараспашку сидел, прислонясь спиной к тёплому боку печи, и золотая его голова свесилась в кручине. Он пел:

О, неверная, где же вы, где же вы?

И какой карнавал вас кружит?

Вспоминаю вас в платьице бежевом,

Вспоминаю, и сердце грозит...

На лавках вдоль стен спали солдаты. Пахло овчиной и дешёвым табаком.

— Полковник, говоришь? — рассеянно переспросил перевалившегося через порог старшего урядника. — Какой ещё такой полковник?

— Так точно! Ждут вас для доклада.

Прапорщик, плохо соображая, застегнулся, накинул на себя полушубок.

— Веди, — приказал недовольно.

Николай пропустил барона в горницу и встал у него за спиной.

— Вам плохо, Владимир Карлович? — участливо спросив, вышел из-за стола Мазепа и протянул руку: — Сдайте оружие.

Остаток ночи прошёл в «непринуждённой дружеской обстановке». Напуганного до смерти Райхенбаха вынудили рассказать не только о своих последних похождениях, но и совместных со Стрельниковым планах. Когда закончили допрос, стали гадать, что же дальше делать с юным дарованием? Как нарушившего присягу и просто мародёра его бы полагалось расстрелять, но по настоянию Иринарха Гавриловича реши-

ли взять мальчишку с собой. Вроде охранной грамоты — как-никак в помощниках у главного бандита ходит. К тому же пароли знает, и многие казачки на заставах ему известны. Проводит за село, а там видно будет. А Николай в это время, подумав, вырезал и скроил в нижней части задней стенки санного кузова что-то вроде бойницы-щели, чтобы при необходимости можно было стрелять лёжа, не высовываясь из саней. Перед дорогой все собрались в избе, посидели, помолчали. Хозяин протянул Мазепе свёрток:

— Ойку гостинцем порадуйте, скажите, что я весной обязательно навещу его.

Усадили барона в возок, рядом примостился полковник, Калетин — за кучера. Покатили.

Под медвежьей полостью, куда мороз почти не проникал, где было относительно тепло и покойно, скоро состоялся разговор. Прапорщик долго собирался с мыслями, подыскивал нужные слова. Замирая от страшных догадок, он не в силах был начать. Язык не шевелился, губы немели. Наконец, еле слышно выдавил из себя:

— Господин полковник, могу ли я рассчитывать на ваше милосердие?

Мазепа мгновенно откликнулся:

— Стыдитесь, барон. Приговор себе вы подписали, когда доверились сладким посулам Стрельникова. Он ведь обещал вам блестящее будущее, достойное вашего титула. Не так ли? Чего же теперь слезами обливаться. Мы оба — офицеры и знаем: долг и честь превыше всего. Нарушившие эту пропись прощению не подлежат.

— Ваше высокоблагородие, я ... мне...

— Прекратите ныть, прапорщик, иначе я пристрелю вас тут же. Выполните то, что мы вас попросили, может, и получите отсрочку от призыва в отряд небожителей.

Дальше ехали молча. С Калетиным, скоро сменившим Мазепу, Райхенбах заговаривать просто боялся.

Подъехали к первому посту так называемого боевого охранения. Костёр пылает — за версту видно. Вокруг него приплясывает несколько человек. Чуть поодаль лошади, укрытые попонами, с мешками на мордах. За ними длинные плети заготовленных впрок лесин. Треск сгораемого дерева, искры снопами поднимаются в непроглядную темнотищу.

— Из саней ни шагу, — предупредил барона Мазепа. — Сами пусть подойдут. Или прикажите им, чтоб пропустили.

— Здесь помощник ротмистра Стрельникова, — закричал прапорщик. — Старшой, давай сюда.

Подбежал солдат с винтовкой, заглянул в возок.

— Не узнал, что ли, Бессонов?

— Признал, ваше благородие, езжайте.

Следующий пост миновали тоже без задержки. А вот у самого села случилась заминка. Кто такой Райхенбах, на заставе припомнить не могли и потому попросили седоков для начала представиться. Иринарх Гаврилович ступил на снег, протянул документы фельдфебелю. Покрутив их, служивый вскинул руку к казачьей шапке, но разрешения на проезд не дал:

— Велено всех, даже высших чинов, доставлять к ротмистру. Он здесь один решает, кого согнуть, кого разогнуть.

— Нас в Демьянском ждёт генерал Вержбицкий. Вы ответите за своё самоуправство.

— А меня жена обждалась в Саратове.

Мазепа растерянно посмотрел на Калетина. Тот незаметно сплюнул в ладонь и потёр несколько раз большой палец об указательный. «Мзду надо предложить», — догадался полковник и ухватил фельдфебеля под руку:

— Давай-ка отойдём, родимый.

Прошли за возок.

— Водка у вас есть? — первым и неожиданно задал вопрос начальник поста. — Мы полечимся, а вы не обеднеете.

— Коньяк имеется, шустовский. Две бутылки хватит?

— И табаку к нему, — добавил обирала.

На этом разошлись. Фельдфебель радостно засеменял к своим. Обернулся у коистра, захохотал:

— На северной окраине заставы уже на другой бок похмелились, езжайте спокойно к своему герру енералу.

Когда Панушкова осталась позади, Калетин остановил жеребца. Сказал Мазепе, что пора бы и попрощаться с временным попутчиком. Гнедко устал тащить этот аристократический студень. Райхенбаха попросили покинуть возок. Выпростался он на снег. Бледный стоял, глядел затравленно, бормотал что-то. Жалок был — лучше не смотреть! Но сани неожиданно для него стали вдруг удаляться, и барон... ожил. Под-

няв валяющийся в снегу треух и застегнув полушубок, он побежал. Двигал энергично руками, падал. Поднимался и бежал. И домишки — с седыми дымами над ними — становились всё ближе и ближе. «Поторопились вы меня высадить, господа, — радовался он. — Ей-богу, поторопились. Думали, околею на морозе. А вот и нет!»

Ворвавшись в хату, где в тепле постели обнимал молодую хозяйку Стрельников, барон бурно зарыдал:

— Они везли меня на казнь, но трусили, трусили и отпустили. Догоните их, ротмистр. Это ещё возможно! Мазепа там, сам Мазепа! На Демьянское они нацелились к генералу Вержбицкому.

Через полчаса на лёд реки вылетели две парные упряжки. В первой Стрельников со своими дюжими адъютантами, во второй — штабс-капитан Зыков, который Николай Андреевич, в компании отчаянных добровольцев. Свежие, хорошо накормленные лошади легко несли сани, и у сидящих в них не было никакого сомнения, что через какой-нибудь час беглецы будут достигнуты.

— На одной коняге им от нас не скрыться, — злорадно басил, заглядывая в глаза ротмистру известный на селе дебошир Куца. — Спымам их, лично отрежу обоим уши.

А прапорщик в это время, пересыпая речь жандармскими жаргонизмами, надоедал штабс-капитану своими тонкими и безошибочными, как ему казалось, наблюдениями, удостоверяющими его в коварстве и порочности Мазепы:

— Он, Николай Андреевич, имеет явные наклонности переметнуться к большевикам. Упустить такого злодея никак нельзя.

...Калетин заметил погоню совершенно случайно. Лёжа на шкурах, он в полудрёме вспомнил вдруг о задумке Николая. Решил проверить её практическую пользу. Перевернулся на живот, отстегнул кусок материи с щели-бойницы, просунул в неё руку с револьвером, прицелился... и поймал на мушку две движущиеся точки. Долго наблюдал и скоро убедился, что — да, появились эти мишени на реке неспроста. Крикнул о своей догадке полковнику. Тот остановил Гнедко. Достали карту. Всмотрелись. Иртыш отсюда, где они сейчас находились, начинал заворачиваться в протяжённую петлю, образуя таким образом несколько участков, которые давали возможность подолгу быть вне поля зрения того, кто ехал на значительном расстоянии сзади.

— Надо рискнуть, — предложил Болдырь. — Свернём вот сюда, на дорогу, спрямляющую путь. Пока они нас не видят, успеем много отмахать. Авось и оторвёмся.

Но Куца, хорошо знающий здешние места, о проходе хитром помнил, поэтому, разглядев его, сразу указал Стрельникову:

— Сворочайте сюда, ваше благородие, тут ездочная полоса налажена. Пушай генерал по реке елозит, а мы ему наперерез выскочим.

Мазепа, озирающий через щель округу, выругался, заметив, что преследователи снова появились на горизонте. «Теперь от них не уйти», — заключил тоскливо. Развязка неумолимо приближалась.

Калетин погонял жеребца и часто оглядывался, пытаясь не пропустить момент, когда равнинное пространство между ними и догоняющими сузится до пределов досягаемости винтовочной пули и бандиты начнут бить прицельно. Ещё пять минут гонки, десять, пятнадцать... «Н-но, вывози, родимый!» Григорий Платонович ощущал холод дульных зрачков, глядящих ему в спину, и невольно пригибался, показывая полковнику, чтобы тот не высовывался.

Впереди показалась горушка. Что за ней — неизвестно. Справа вроде зачернело что-то у горизонта. Похоже на лес.

«До него добраться всё равно не дадут. Настигнут, — подумал Мазепа и обратился к себе: — Решайся, Иринарх, чёрт бы тебя побрал, Гаврилович, не тяни. С возвышенности оно, да если ещё перекачаться поближе к дороге, пострелять можно отменно. В маузере четырнадцать патронов. Всех «зипунов» из саней, конечно, не вышибить, но это и ни к чему. Лошадок нужно на снег уложить. Без них им сильно не до нас станет. Ночь надвигается, морозец крепчает. От деревни, наверное, уже вёрст пятнадцать отмахали. Околеют они здесь без лошадей, разбойники».

Откинув полость, дотянулся рукой до плеча возницы:

— На горе попридержите сани, я сойду.

Григорий Платонович огрел кнутом Гнедко, повернул голову:

— Всё вижу. Вместе сойдём, полковник.

...Конь, мотая головой от напряжения, одолел измоину откоса. А сразу за ним обозначился обрыв оврага. Где он начинается, где заканчивается — не разобрать. Калетин натянул вожжи:

— Тп-р-р... приехали. Вот он, наш последний рубеж. Тащите вон туда медвежью подстилку и прикидайте себя снегом. Я здесь за повозкой укроюсь. Только давайте поменяемся оружием. Вы мне одолжите на время свой шпалер, из которого можно

всаживать пули в яблочко даже за сто шагов, а вы получите пару излюбленных эсерами адских машинок, несколько, правда, усовершенствованных. Вам, пусть и запоздало, но представится возможность побывать в шкуре своих недавних контра, когда они ради достижения нужного результата сближались с жертвами на опасное для себя расстояние.

— Согласен. Давайте сюда ваши бомбы.

— Но прошу не спешить. Я начну стрелять, отвлеку их на себя. Рассчитайте по возможности точно и момент, и расстояние, тогда и метайте.

...Стрельников самонадеянно пренебрёг обязательным в военном деле правилом: не зная точно, где затаился противник, воздержись от наступления.

— С ходу заскакиваем на гору и открываем огонь, — приказал он своим бородатым адъютантам. — Полковника брать живым. Вперёд, молодцы!

Что было дальше — не очень интересно, но рассказать всё-таки надо. Как только лошади бандитов полностью показали над укосом, Калетин двумя выстрелами прервал их бег, а Мазепа с метров, наверное, двадцати, не выдержав внутреннего напряжения, швырнул одну за другой две начинённые картечью гранаты. Одна взорвалась близко у повозки, а вот другая пролетела дальше, и осколки её достигли саней, за которыми прятался Болдырь. Левая его рука повисла плетью. Полковник меж тем заметил уползающего вниз панушковского головореза Куща. Тот стонал и оставлял за собой кровавый след. Иринарх Гаврилович для удобства положил револьвер на локоть и послал в грозившегося отрезать ему уши бандита две пули. Побежал затем к Калетину. Тут и услышал, как эхо разнесло над снеговым безмолвьем заполошный крик барона: «На-з-ад-ад-ад!» Оглянулся: взвихривая снег, внизу — к Панушковой, к чёртовой матери подалее от стрельбы и крови — неслись сани, на днище которых вжались в солому штабс-капитан Зыков и несостоявшийся лирический тенор Райхенбах.

Полковник перевязал Калетина, уложил в возок, накрыл шубами. Подумав, пошёл к опрокинутым взрывом саням. В одном из лежащих подле них узнал Стрельникова — спутанные, уже примёрзшие ко льду волосы, вытекший глаз. Прикрыл папахой лицо убиенного и опустился рядом на снег.

«Эх, Олег Парамонович, — подумал мрачно, — душонка твоя подлая. Прислали тебя сюда искать убийц святителя Гермогена, а ты, копыто дьявола, вместо этого неугодным Богу промыслом занялся — грабежом и разбоем. Нет тебе прощенья».

Пошёл, тяжело волоча ноги, к своему возку. Заглянул под полость, послушал дыхание раненого и стегнул Гнедко:

— Напрягись, родимый, немного осталось...

Снова потянулись ледяные вёрсты. Одна, вторая, десятая. Скрип полозьев, заиндевелая метёлка хвоста мечется перед глазами. В сон клонит — не уснуть бы. Но вот, наконец, церковь на горушке показалась. Мазепа обрадованно остановил коня, огляделся.

«Не соврал Дедюхин, — вспомнил соратника. — Теперь уж точно живыми останемся».

Николай ПОЛОТНЯНКО

СЧАСТЛИВ ПОСМЕРТНО

Современный русский роман

Глава третья¹

– 1 –

От райцентра, где после самоликвидации райкома партии стал единолично властвовать Кидяев, до Москвы было едва ли меньше тысячи вёрст, но, благодаря телевидению, обыватели нашей глухомани уже несколько лет, как стали свидетелями приготовления для всего Союза перестроечного варева, поварами самого высшего цэкашного и цэрэушного разбора. Их толкотня и грызня возле начинавшего взбухать, пузыриться и расплескиваться пошла для замордованного великой ложью народа внезапно закончилась тем, что котёл с кипящими демократическими помоями был опрокинут, и его содержимое стало растекаться по городам и весям одной шестой земной суши, распространяя зловоние распада и человеческих душ, и тысячелетней державы.

Тимофей Максимович узнал эту новость сразу же, как заговорило проводное радио, которое всегда вместо будильника оставалось включенным на ночь. Он покосился на телефон: в стране начался великий перетряс, создано какое-то ГКЧП, а что на областном, на районном уровне? Или Москву страна, народ, мнение руководящей номенклатуры не интересуют? Кидяев заторопился, в летней кухне побрился электробритвой, съел маленькую тарелочку творога со сметаной и устремился на улицу, где его ожидала машина.

Проезжая мимо особняка первого секретаря райкома партии, Тимофей Максимович был вынужден задержаться: его явно поджидал Иван Сергеевич, в спортивном костюме, на лысине парусиновая панама:

– Я полагал, что ты в Москве, – сказал Кидяев, цепко оглядывая беглого партийца.

– Приехал вчера, кое-какие, что остались, шобоны распродать. Ты слышал?

– Не глухой, – буркнул Кидяев. – У тебя, Иван, связи на Старой площади, так что, этот бардак тоже был там задуман?

– Нет у меня никого, – вздохнул Иван Сергеевич. – Я сейчас пенсионер мытищинского значения. А что Фрол Гордеевич?

– С ним, наверно, перед тем как кашу заваривать, тоже не посоветовались. Вот приеду к себе, может, что и прояснится. А ты не надумал в свой кабинет вернуться? Печать цела, ключи тоже, я в райкоме милицейский пост учредил, чтобы сторожили имущество от антибюрократов. Думай, Иван, как бы не промахнуться.

– Поздно думать! – мрачно произнёс Иван Сергеевич. – Всё уже решено и под-
писано – Союзу не быть!

Кидяев молча сел в машину и буркнул Паулкину:

– Гони!

На бывшего первого секретаря райкома партии он даже не посмотрел, тот просто перестал для него существовать, уже окончательно и бесповоротно. «Редиска! – язвительно подумал Тимофей Максимович. – Быстренько с него всю партийность сдуло, а каких только клятв не давал, проходимец!»

Между партийными и советскими работниками, начиная с первых дней советской власти, всегда существовала тщательно скрываемая вражда. Работники исполкомов и напрямую подчиненных им управлений, от милиции до похоронных служб, выполняли

¹ Главы 1-2 опубликованы в №15 «Невского проспекта».

действительную работу, а партноменклатура обременяла себя общим руководством, которое заключалось в раздаче наград и взысканий, от выговора до исключения из рядов КПСС, что означало для любого начальника его умерщвление как личности.

Кидяев относительно быстро достиг своего сегодняшнего положения и в силу этого чаще грозил другим, чем получал втык сверху, но он видел и знал, что именно исполком тянет всю работу и в районе, и в области, а в Москве этот воз тянет совмин, а партноменклатура околачивает груши. Эта лафа для них, кажется, подошла к концу, но Тимофея Максимовича беспокоила не судьба всей этой шоблы, а то, каким боком выйдут для него события в Москве.

Шофер, притормаживая возле райисполкома машину, напомнил:

— В питомник сегодня не поедём?

— Куда? — тряхнул головой Кидяев. — Сегодня Яблочный Спас? Ты сгоняй, Владимир Иванович, один. Мне нужно быть у себя, — сегодня, по всем правилам, можно было отведать свежих яблок, и Тимофей Максимович обычно ездил для этого в Хмельёвку, где был известный на всю округу фруктовый сад. — Прямо сейчас и сгоняй туда! — решил Кидяев — Привези моих любимых яблок и не забудь прихватить Романова, он мне нужен.

Было около семи часов утра, на крыльце предрика встретил комендант и отрапортовал, что происшествий не случилось, чем позабавил своего шефа.

— Так и не случилось? — строго спросил он старого армейского отставника. — А что в Москве творится? Или не знаешь?

— За порядок в столице отвечает начальник Московского гарнизона, — сказал комендант. — А в здании полный порядок. Уборка произведена вечером, ваш кабинет я проветрил лично.

— Спасибо, Захарыч! — улыбнулся Кидяев. — Как внук? Поступил?

— Куда ему деваться — отец у него подполковник, надо марку держать.

Кидяев поднялся на второй этаж, прошёл в свой кабинет и включил телевизор. Сначала послышались звуки музыки, затем в мутной пелене экрана появились и музыканты, перед которыми плавно помахивал руками дирижёр симфонического оркестра. Подобное представление на всю страну давали в день смерти Брежнева. «А кто сейчас умер? — невольно спросил себя Кидяев. — КПСС? Советский Союз? Или оба разом?..»

Он покосился на пульт телефонной связи с левой стороны своего письменного стола. Зелёная лампочка-неонка светилась, значит, все аппараты были включены, и Тимофей Максимович снял трубку телефона прямой связи с облисполкомом. Ему тотчас же ответил помощник Фрола Гордеевича:

— Приёмная облисполкома.

— Привет, Петрович, это Кидяев. Сам не у себя?

— Пока не подъехал. А у тебя что за вопрос?

— Как понимать концерт симфонического оркестра? — волнуясь, сказал Кидяев.

— Что за номер после симфонии будет? Танец с саблями или ария Кончака?

— Программа концерта мне неизвестна, — осторожно произнёс помощник. — А из центра на этот счёт никаких разъяснений не поступало.

— Но мнение-то хоть какое-нибудь есть?

— Есть, но неофициальное, — помедлив, сказал помощник. — Не высовываться и ждать.

Дальше продолжать разговор не имело смысла, и Кидяев, положив трубку, остро глянул на появившегося в кабинете начальника райотдела милиции.

— Последние два дня ты меня, Валерий Кузьмич, не огорчал, а как сегодня? Чем порадуешь?

— Новость есть, — негромко произнёс Буряк. — Наш чекист только что драпанул.

— Может, его в управление вызвали в связи с концертом симфонической музыки?

— Вряд ли, — майор сел в кресло и положил на стол несколько ещё влажных фотографий. — Вот фоторепортаж с места событий.

Межрайонное отделение областного управления КГБ находилось неподалёку от райисполкома в новом двухэтажном доме, и Кидяев с первого взгляда сразу определил, что информация у Буряка точная: на слегка мутноватых снимках явственно смотрелся и капитан — гэбист и его супруга возле громадного грузовика, вокруг которого находились солдаты, занятые погрузкой домашних вещей.

— Расцениваю этот факт, — сказал Кидяев, — как весьма убедительный знак того, что КГБ этот симфонический концерт не поддерживает. А что твой министр Пуго? Или милиция тоже в стороне?

— Пока всё глухо, как в танке, — сказал Буряк, пряча фотографии в карман. — Ночь прошла спокойно, только возле видеосалона случилась небольшая драка. Опять пригородные с центровыми сцепились. Обычно они обходят друг друга стороной, но

вот потянуло всех в видеогадюшник, который райком комсомола открыл на вокзале.

— Драки нам не нужны, — забеспокоился Кидяев. — Но как запретить видеосалон? Может, организовать общественность, тех же антибюрократов?

— Они уже на порнуху купились, — осклабился Буряк. — Их пригласили как почётных гостей, бесплатно, на открытие этого видеогадюшника.

— Ну и что? — заинтересовался Кидяев. — Никто там дуба от избытка впечатлений не дал?

— Вышли, как из бани, потные и красные, и разбежались по домам, наверно, своих баб мять по-заграничному, — хохотнул майор. — Но меня Сухов одолел жалобами на Смирнова: тот норовит сместить редактора и занять его место.

— Ты отслеживай действия антибюрократов в этом направлении, но крайностей, Валерий Кузьмич, не допускай, — сказал Кидяев. — Газета нам самим нужна, но без Сухова. Сейчас пресса заимела большую силу, и надо взять её под себя.

Внезапно музыка, звучавшая из телевизора, прервалась, он несколько раз мигнул и выдал физиономии известного на всю страну диктора, который пошелестел лежавшими перед ним бумажками и, оглянувшись на кого-то невидимого зрителям, повернул к ним своё встревоженное лицо, и вновь зазвучала музыка.

Дверь кабинета приоткрылась, и в щель слегка всунулся Сухов, нервно поблёскивая припухшими глазками.

— Тимофей Максимович, можно?

— А ты лёгок на помине, — весело произнёс Кидяев. — У тебя газета сегодня выходит?

— Номер выходит завтра, но что давать на первую полосу? В Москве не разбери поймёшь, что творится, телетайп молчит или гонит всякую чепуху.

— А что это у тебя в руке, заявление?

— Передовица в завтрашний номер. Ввиду отсутствия райкома партии и лично Ивана Сергеевича, прошу прочитать статью и завизировать согласование.

— Экий ты буквоед, Сухов! — удивился Кидяев. — О чём статья?

— О вертепе разврата, который открыли комсомольцы под видом видеосалона.

Предрика протянул руководящую длань, и Сухов вложил в неё два листа бумаги. Тимофей Максимович пробежал глазами одну страницу, другую, хмыкнул и произнёс:

— Круто! Особенно насчет калёного железа, чтобы выжечь заразу. А что, действительно противно смотреть на голых баб и всякие штучки-дрючки? Я представляю, Сухов, как тяжело тебе было видеть всё это! Или ты не был в этом греховодном заведении?

— Разве я мог туда пойти? — прошептал, покрываясь красными пятнами, редактор. — Но я, Тимофей Максимович, стоял за дверью. Это вертеп!

Буряк, воспользовавшись паузой, приподнялся из кресла:

— Мне нужно в отдел на разбор полётов.

— Ступай, майор, и держи руку на пульсе. Нельзя допустить в эти дни какую-нибудь оплошку. И если твой министр Пуго проснётся, то дай об этом знать.

Сухов был так озабочен судьбой своей статьи, что на это раз не воззвал к Буряку с мольбой о помощи против распоясавшихся антибюрократов, а только жалобно на него посмотрел и жалко, со стоном вздохнул.

— Забери свои бумажки, Сухов, — поморщился Кидяев. — Сейчас насчёт частной инициативы закон ясный и понятный всякому дубаку: разрешено всё, что не запрещено. Ты ведь сам в газетке об этом пишешь. А теперь решил наводить порядки.

— Но мораль, нравственность никто не отменял, — вякнул редактор.

— Иди, Сухов, у меня и без твоих заморочек голова болит. Сейчас свобода слова, печатай что хочешь, пока ты редактор, но оглядывайся: оступишься, и райисполком тебя призовет к ответу.

Редактор взял со стола статью и, неслышно ступая по кремлёвской дорожке, вышел, а Кидяев направился в «бокоушку», комнату отдыха, где достал из холодильника початую бутылку армянского коньяка, плеснул в стакан, опрокинул в рот и закусил долькой засахаренного лимона. Уже через минуту Тимофей Максимович почувствовал себя гораздо лучше, напиток пятигодичной выдержки провентилировал затуманенную голову, разошёлся приятной теплотой по всему телу. Кидяев помахал руками, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и, перед тем как спрятать бутылку в холодильник, повторил упражнение со стаканом, поскольку считал, что всему, даже глотку коньяка, должна быть пара. Утерев перед зеркалом рот полотенцем, он сбрызнул себя из пульверизатора «Шипром», вернулся на своё рабочее место и нажал кнопку переговорного устройства:

— Поспелов? Люди на заготовку соломы в Казахстан отправлены?

— Только что получил сообщение от начальника станции, что им запретили отправлять вагоны за пределы РСФСР.

— И почему?

— Республики не отправляют вагоны в нашу сторону, чтобы не распылять подвижной состав на случай своего выхода из Союза.

Кидяев отклонился от переговорного устройства и задумался. Он был готов, когда начиналась перестройка, ко многому, но только не к распаду страны. Однако после некоторого размышления Тимофей Максимович окреп духом. Здоровый инстинкт самосохранения ему подсказывал, что нужно идти вместе со всеми, только не в первых рядах, чтобы успеть отпрыгнуть от пропасти, когда в неё повалятся самые ретивые, но и не опаздывать: на райисполкоме он надеялся просидеть ещё долго, сколько позволит здоровье.

— Не дрейфь, Тимоха! — подбодрил он себя свистящим шепотом. — Прорвёмся!

— 2 —

Перед въездом в Хмелёвку Паулкина обогнала, обдав его пылью, «Волга». Чертыхнувшись, Владимир Иванович поглядел ей вслед. Он хорошо знал шофёра Гошку Кирдяшкина, который считал, что личному водителю первого секретаря райкома партии позволено делать на дороге всё, что запрещено другим, и широко пользовался своей безнаказанностью. «За яблоками торопится, — догадался Паулкин. — Как бы его не угостили, дурачка, чем-нибудь кислым».

Народ был в поле и на фермах, и, проехав по пустынной улице к сельсовету, Владимир Иванович остановился и, не покидая машину, спросил женщину, которая поливала из лейки цветы:

— Ваш президент на месте, Валентина?

— Он, Владимир Иванович, в питомник поехал с утра.

— Кто-нибудь ещё Романова спрашивал?

— Директор детдома приехал за яблоками для своих ребят, а больше пока никто.

— А куда памятник Ленину спрятали? — спросил Паулкин.

— Романов велел положить его пока в дровяной сарай. Будем составлять годовой отчёт и спишем.

Проезжая мимо обезглавленного постамент, сиротливо торчащего среди жидких кустиков акации, Паулкин подумал, что свято место пусто не бывает и через какое-то время перед окнами сельсовета появится изваяние того, кто сумеет, пользуясь сумятицей перестройки, выше других влезть на дерево власти и, раскочиваясь на нём, проорать, что ему с ветки отчётливо видно счастливое будущее страны и он знает к нему верную дорогу.

Столь дерзкие мысли возникли у Владимира Ивановича не случайно: за двадцать лет работы с Кидяевым он повидал немало внезапных взлётов и сокрушительных падений с высот районного и даже областного масштаба многих начальников, и это давало ему право предположить, что та же грызня и возня имеет место быть и возле державного кормила власти, особенно сейчас, когда в Москве началось то ли массовое умопомешательство, то ли гражданская война.

Израйцентрамосковская заваруха смотрелась потелевизору какой-то ненастоящей, игрушечной, но Паулкин на всякий случай оглянулся на себя и, вырвав на дорогу к питомнику, с удовлетворением подытожил, что не зря столько лет крутил баранку номенклатурной «волжанки». За это время он выстроил кирпичный на шесть комнат особняк, приобрел «уазик», держал на подворье корову, обязательно с нетелью и телёнком, десяток овец, пару кабанчиков, ораву гусей и хохлаток. Конечно, достаток зарабатывался горбом, но Паулкину повезло с детьми: дочь после фармучилища вышла замуж за спокойного и работающего парня, а сын собирался жениться и жить вместе с родителями. С такими тылами и зажитками Паулкин легко мог пережить не одну перестройку, но он был советским человеком, ему за покачнувшуюся державу было обидно, и Владимир Иванович надеялся только на одно, что явится новый Сталин и наведёт в стране железный порядок.

В саду было шумно. Кирдяшкин на высоких тонах разговаривал с бригадиром питомника, и Романов, явно не желая быть свидетелем ругани, поспешил к Паулкину.

— Кому яблоки? — язвительно вопрошала бригадир, коренастая, с загорелым лицом женщина.

— Как кому? Первому! — нагло заявил Кирдяшкин.

— Где он, твой первый? — всплеснула руками бригадир. — Всему району известно, что твой первый сбежал. Он сейчас, наверно, в Москве бананы ошкуривает, ему теперь хмелёвские яблоки на дух не нужны. А ты у него врать научился? Мне яблок не жалко, но за то, что ты, Гошка, врёшь, не дам!

Кирдяшкин беспомощно оглянулся по сторонам, зло сплюнул и, сев в машину, ударил по газам. Ни Паулкин, ни Романов даже вида не подали, что они что-то видят или слышат, для них бегство Ивана Сергеевича не было тайной, для них он уже пере-

стал существовать, а о покойниках не принято говорить с осуждением — или хорошо, или ничего.

— Геннадий Иванович, — сказал Паулкин, — я ведь не только на пробу яблок явился, но и за вами.

— Кому я понадобился? — остро глянул Романов. — И зачем?

— Сам хочет с тобой потолковать.

Тем временем багажник «Волги» был распахнут, и Паулкин, попробовав из разных мест яблоки, выбрал три ящичка и по-хозяйски расположил их между запасными колёсами, ведром и лопатой.

— Хорошо здесь, — улыбаясь, произнёс он. — Сейчас бы костерок возжечь, шашлычки организовать... Как, Геннадий Иванович?

— Я с удовольствием! — весело сказал Романов. — Только третьего надо. Может, стогнешь за Тимофеем Максимовичем? А я тем временем всё приготовлю.

— Лучше вы сами как хозяин его пригласите, — сказал, садясь в машину Паулкин. — Заодно и узнаете, о чём он хочет с вами поговорить.

Не прошло и получаса, как они приехали в райцентр, Паулкин высадил председельского возле райисполкома и отправился на автозаправку, а Романов достал из заднего кармана тонкую коробочку, вынул из неё бархотку, протёр запыленные полуботинки, отряхнул брюки и вошёл в госучреждение.

— Тимофей Максимович уже о вас спрашивал, — сказала стриженная под овечку молодая секретарша. — Проходите.

Романов мельком оглядел себя в зеркало, поправил галстук и открыл обшитую тускло отсвечивающей кожей дверь председательского кабинета, в котором сразу встретился взглядами с районным прокурором Звягиным, отчего почувствовал себя неуютно. «Он точно пронюхал о памятнике Ленину, — ожгла Романова торопливая догадка. — Но об этом должен был доложить участковый».

— Что остолбенел? — проворчал Кидяев и посмотрел на прокурора. — Сегодня все ходят как опущенные в воду из-за этого не разбери поймёшь, что творится в Москве. Проходи, Романов, садись напротив прокурора и докладывай, что там у тебя в Хмельёвке творится.

Председатель сельсовета присел на краешек кресла, сглотнул сухой комок в горле и виновато произнёс:

— Я, конечно, виноват, что не доложил о покушении на памятник Ленину, но с этим разбирался участковый.

— Что ещё за покушение? — вскинул брови Кидяев. — Тебе, Виктор Николаевич, что-нибудь об этом известно?

— Первый раз слышу, — пожал плечами прокурор. — Но я не усматриваю в этом ничего удивительного. Телевидение и газеты превратились в подстрекателей к мятежу, и в этом случае какой-то слабый на голову человек свихнулся и стал ломать памятник.

— Так оно и есть! — обрадовался прокурорской поддержке Романов. — Наш деревенский дурачок Федька Кукуев набросился на Ленина с топором, отрубил ему руку, нос...

— Он у вас теперь и стоит в таком виде? — строго сказал Кидяев.

— Я его в дровяной сарай положил, — виновато произнес Романов. — Кстати, этому происшествию есть свидетель — ваш райисполкомовский — Зуев, он как раз приехал посмотреть, кто там в церкви копошится. Тимофей Максимович, что делать с Лениным?

— Этот вопрос надо адресовать туда, — указал предрика на телевизор, показывающий «Лебединое озеро». — Балет закончится, и сразу станет ясно, что делать с вождем — оставить в дровяном сарае или срочно заказывать бронзовый памятник. Кстати, что там у тебя вокруг церкви творится?

Он нацепил на нос очки, взял ежедневник и стал его перелистывать.

— Шевыряется городской мужик. А как запретишь? От храма-то остались одни стены да кое-какая крыша. Доисторические руины.

— Руины? Но об этом потом. Ввожу в курс дела: вчера мне позвонил уполномоченный по религии, спрашивал, интересовался. К нему, понимаешь, обратились из епархии, что за самовольщички вокруг хмельёвской церкви шныряют. Чего они замыслили?

— Вроде мужик порядочный, — сказал Романов. — Всегда трезвый. А что у него на уме, как узнаешь?

— Ты хоть фамилию его знаешь?

— Слышал. Как его... Забыл, тут столько делов! Уборка, молоко, дрова учителям, в Доме культуры отопление не работает.

— Эх, Романов! Этот мужик — сын того Размахова, который закрывал хмельёвскую церковь.

— Вот оно как! — поразился председатель сельсовета. — И что он хочет?
— Не знаю, только это самовольство или, может, что другое, пусть скажет прокурор.

— Есть признаки самоуправства.

— Да, пока самоуправства, — вздохнул Кидяев. — А может, он сектант какой-нибудь? Может, он пакость наострился сделать, а мы ушами хлопаем? Надо бы этого Размахова привлечь к ответственности, как считаешь, Виктор Николаевич?

— Не только можно, но даже нужно, — сказал прокурор и достал из своего портфеля бланк.

— Что это у тебя? — спросил Кидяев.

— Повестка. Сейчас выпишу и отдам Романову.

— Интересно, — усмехнулся Тимофей Максимович. — Значит, ты с повестками ходишь.

— А что здесь удивительного? У меня здесь и бланки протоколов допроса.

— Значит, ты, Виктор Николаевич, вооружён и очень опасен! — рассмеялся Кидяев. — Но это я так, шутка! Но опасный вы народ, прокуроры. Ох, и опасный!

Звягину шутка председателя райисполкома пришлась не по вкусу. Он достал авторучку и спросил, строго блеснув стёклами очков:

— Продиктуйте установочные данные подозреваемого лица.

Кидяев заглянул в еженедельник:

— Размахов Сергей Матвеевич, больше ничего нет.

— Этого достаточно, — сказал прокурор. — А вы, товарищ Романов, до отъезда зайдите в прокуратуру. Вам нужно дать свидетельские показания следователю по этому делу.

Романов подрастерялся: следователь, показания, уголовное дело — неприятности.

— Может, надавить на него. То есть я скажу участковому...

Звягин вопросительно посмотрел на Кидяева. Тот на секунду задумался:

— Нет, этим его не напугаешь. Что твой участковый? Пусть прокурор занимается.

Звягин повестку Романову не отдал, сунул бланк в портфель и взял его в руку.

— Жду вас в прокуратуре. Можете подойти через часок, я за это время оформлю постановление о возбуждении дела, определимся, кто будет следователем. Я вам больше не нужен, Тимофей Максимович?

— Нет, а ты, Романов, останься, — Кидяев встал из-за стола, пожал прокурорскую ладонь и подошёл к окну, которое выходило на площадь. Рядом со зданием райисполкома находился райком партии, а напротив — памятник вождю. — Иди сюда, — позвал Романова. — Видишь, до чего дело дошло? Сначала в Москве, затем в городе, теперь и у нас. Дожили до светлого будущего, мать твою за ногу! — Кидяев открыл створку окна, и с улицы донеслось:

— Долой партийных бюрократов! Долой зажавшихся чиновников!

Напротив райкома партии суетилась кучка людей, они орали, размахивали руками, подступая всё ближе и ближе к крыльцу здания.

— Это что же творится, Тимофей Максимович? — сокрушённо спросил Романов.

— То, что партия приказала долго жить! — жёстко сказал Кидяев и захлопнул створку окна. — Нет больше руководящей и направляющей силы нашей эпохи!

— А как же мы? Советская власть?..

— И до нас дойдёт очередь, не всё сразу!.. Ты вот что... Уполномоченный по религии не один звонил. Кое-кому из КГБ хочется молодому Размахову соли на хвост насыпать. А это такие псы, что от них не отбиться. Они и при новой власти останутся.

— Ясно. А я что могу? — развёл руками Романов.

— У следователя похотел оценкой поступки Размахова. Ты имеешь право выражать мнение населения. Вот и вырази.

Уголовное дело прокурор поручил вести следователю Глазкову, цепкому молодому человеку с университетским значком на пиджаке. Кабинет был мал, на подоконнике и на стульях лежали папки с бумагами, Глазков усадил Романова так близко к себе, что тот сразу почувствовал терпкий запах одеколона, которым следователь щедро смочил свою хилую шевелюру.

— Начнём, пожалуй! — Глазков положил на стол чистый лист бумаги. — Напишите заявление на имя прокурора с изложением сути дела, — Романов вздохнул, поморщился и написал заявление. Глазков схватил его, прочитал и положил в папочку. — Так-с. Теперь мы вас допросим. Вот здесь распишитесь, что предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний...

Романов вышел из прокуратуры под вечер. Глазков до отупения измаял вопросами, просьбами вспомнить то, это, он уже начал подозревать, что не Размахов его интересует, а он сам — вспомнить в кармане у него лежала повестка. «Вот из меня уже посылного сделали, — подумал он. — И всё этот чудило виноват, далась ему эта церковь!»

По дороге домой Романов заехал в магазин, купил бутылку водки. Дома выставил её перед ужином на стол.

— Ты что это, отец, — удивилась жена, — праздник какой у тебя или нечаянная радость?

— Не всё же на радостях пить, — сказал Романов и налил себе и жене по полной рюмке. — После разговора со следователем в баню идти надо. Однако сегодня не банный день, посему давай, мать, остограммимся.

— 3 —

«Вот и хорошо, что я уехал из города, — подумал Размахов, выслушав по радио очередное невнятное сообщение о московских событиях. — Какое мне дело до тех, кто сходит с ума? И народу нет до этого дела: он пашет, сеет, жнёт и на перестройку глядит как на очередную кампанию по перетряхиванию страны, коих она за тысячу лет вынесла предостаточно».

Сергей выключил радио и, закурив, стал поглядывать по сторонам. Он уже ехал мимо полей хмелёвского колхоза. Уборка шла к концу, по стерне бродило стадо коров, пастух на понурой лошади узнал Размахова и помахал ему рукой. На последнем взгорке, поросшем молодым ельником, перед ним открывалась деревня, пересекавшая её узкая лента реки, просвечивающей между разросшихся тополей, школа и рядом с ней храм.

«А ведь там кто-то работает, — обрадовался Размахов. — Вон поднимают лист железа на крышу». На паперти стоял мальчишка и, придерживая рукой кепку, смотрел вверх.

— Давай тяни! — кричал он кому-то.

— Это кто тут без нас распоряжается?

Мальчишка оглянулся, и Размахов узнал в нём одного из добровольных помощников, что крутились возле него после уроков.

— Там дедушка Колпаков.

— Эй, Пётр Васильевич! — крикнул Размахов. — Встречай, пополнение прибыло!

С некоторым волнением он вошёл в храм и, остановившись, огляделся по сторонам. За несколько дней его отсутствия в храме ничего не изменилось, но в нём явно чувствовался живой дух, и, присмотревшись, Сергей увидел прикрепленные к стене три иконы, под ними находилась скамья, застланная вышитым полотенцем, и два подсвечника с огарками. «Стало быть, бывали тут без меня люди, — подумал Размахов. — Но работы ещё здесь невпроворот». Из двери, за которой начиналась лестница, показался бледный, но улыбающийся Колпаков.

— Что же вы делаете, Пётр Васильевич! — сокрушенно выговорил Размахов старику. — Разве можно в вашем возрасте работать на высоте!

— Я сегодня себя крепко чувствую, — оправдывался Колпаков. — Сын приехал, давление измерил, всё в норме.

Сергей махнул рукой:

— В норме. Вы точно неугомонный. Новости есть?

— Наш председатель сельсовета приходил, тебя спрашивал. Со стройки парень был. Они сегодня уезжают.

— Тогда я сразу к ним. У меня просьба: больше на крышу ни ногой!

— Хорошо, — пообещал старик. — Вот сяду здесь и возьмусь читать сынов пода-рок.

— Что это у вас?

— «Молитвослов».

— Любопытная книга, наверное, сборник молитв, — сказал Размахов. — Я скоро вернусь.

Строители действительно собрались уезжать. Они сидели вокруг стола возле вагончика и резались в карты. Рядом стояли мешки с вещами и инструментами.

— Это ты, Сергей? — удивился бригадир. — Я думал, какой-нибудь начальник катит на новом «уазике», чтобы мне втык сделать на прощание. Пойдём на склад. Кстати, вагончик заberi, он наш, — бригадир открыл дверь дощатого сарая и щёлкнул выключателем. — Бери всё!

В сарае были десяток мешков с цементом, ящик стекла, полупустой ящик с гвоздями, несколько лопат, мотки проволоки.

— Сколько возьмёшь?

— С тебя, Сергей, я бы ничего не взял, но ребят угостить надо. Давай на пять бутылок водяры и закусь! Учти, что кирпичи можешь тоже забирать!

Размахов достал деньги и отдал бригадиру.

— На следующий год опять сюда?

— Наверно, нет. На следующий год объект будет другой.

— Какой же?

— Ты что — не видишь? Кооператоры буром прут. Деньги хапают, особняки себе строят. Это и есть шабашка. Ты присмотришь, Серёга! Конечно, ты молодец, что божий храм старикам восстанавливаешь, но и вокруг поглядывай. Народ наживаться спешит.

Бригадир закрыл дверь сарая на большой висячий замок и ключ отдал Размахову. Мужики отложили в сторону карты и масляными глазами поглядывали на своего бугра, предчувствуя, что смогут сегодня не за свои деньги оттянуться по полной.

Размахов сел в «уазик» и завёл мотор.

— Вывози всё сегодня и вагончик заberi, — крикнул бригадир. — А то стырят!

Сергей проехал через мост и остановился в центре села, где вокруг большой заросшей полынным бурьяном площади находились несколько магазинов, здания правления колхоза и сельского совета. Имелась и столовая, рядом с ней стояли две грузовые машины и трактор-колёсник с тележкой, возле которого, сидя на корточках, курил тракторист.

— Бог в помощь, — сказал Сергей для завязки разговора.

— И тебя тем же самым по тому же месту, — ухмыльнулся мужик, и Размахов сразу угадал в нём бывалого шабашника.

— Подсоби кое-что перебросить от строителей к храму. Мешки с цементом, доски, кирпич — всё это можно перевезти в вагончике, и твоя тележка не понадобится.

— Ты часом не грабануть решил строителей? — лениво поинтересовался тракторист. — А ну как поймают они нас да ноги повыдёргивают?

— Я сейчас только срядился с бригадиром и рассчитался.

Сигаретный окурок уже начал жечь трактористу потрескавшиеся губы, он его сплюнул, утёр грязной пятерней подбородок и выдохнул:

— Двапузыря, — Размахов полез в карман заденьгами, но тракторист запротестовал:

— Расплачиваться потом, а то я не дождусь вечера. Мне сейчас надо за силосом ехать.

— Тебя ждать можно? — засомневался Размахов.

— Буду как штык через час возле вагончика.

Сергей посмотрел в сторону сельсовета, поколебался, но решил, что неприятное дело не стоит откладывать на потом, чтобы не мучить себя догадками. До властного крыльца было не больше ста шагов, но он уже сжился с машиной и подъехал к нему с большим шумом.

— Я в райисполкоме был, — сказал Романов с лёгкой усмешкой. — Там только о тебе и говорят. Зуев за тебя горой, до скандала дошло, дверью у Кидяева так хлопнул, что потолок осыпался. Ты мне скажи, тебе это надо?

— Я не пойму, кому я мешаю? Ничего не прошу, не требую. Всё делаю своими средствами и силами.

— Вот чудак! — Романов заскрипел креслом. — Ты здесь разбудил стариков, да и молодые в затылках чешут, раздумывают над твоими делами. Вот ты разворочил народ, а завтра — тебя Митькой звали! Уедешь в город, а мне и Кидяеву расхлёбывать то, что ты заварил.

— Никуда я не уеду!

— Не уедешь? — Романов раскрыл кожаную папку и достал из неё листок бумаги. — Вот держи!

— Что это?

— Повестка. И не куда-нибудь, а в прокуратуру! — Романов многозначительно поднял указательный палец. — Так что неприятности у тебя уже начались, — Размахов взял повестку, свернул пополам и сунул в карман. — Меня, между прочим, по твоему делу допросили, — скривился Романов. — У меня передовой в масштабе области по всем показателям сельсовет, я пятнадцать лет на этом месте, но не посмотрели, заставили исповедаться, пока как свидетеля. А у тебя что в повестке написано?

— Свидетель.

— Вот-вот, пока свидетель. Затем так это плавно — подозреваемый, потом — обвиняемый, потом — арестант!

— В чём же меня можно обвинить! — возмущённо сказал Размахов. — Я ремонтирую здание разрушенной церкви, по сути дела, руины! В чём же здесь преступление?

— Ты вроде взрослый и образованный мужик, а не знаешь своей вины? — ядовито произнёс Романов. — Чьи это, как ты говоришь, руины, кому принадлежат? Государству! Вот, к примеру, набрёл бы ты в поле на сломанный трактор, стал без спросу его ремонтировать, а кто тебя об этом просил? Запорол бы движок, ты же не тракторист и не слесарь, тогда держи ответ за умышленную порчу госимущества. Ты говоришь — руины. А ты прораб? Может, архитектор? Завтра после твоего ремонта церковь рухнет, школа рядом, чувствуешь, на сколько это потянет? Ты занялся самоуправством и захватом государственности, это тебе в прокуратуре объяснят!

Размахова такой поворот событий неприятно поразил. Он, начиная ремонт церкви, совсем не думал о последствиях, ему казалось, что всё будет просто и понятно, он не искал и не хотел сложностей, но они вывернулись вроде ниоткуда, и похоже, это только начало.

— Это всё?

— Разве мало? Ехал бы ты, Размахов, туда, откуда приехал, прямо сегодня. Завтра может быть поздно. И заметь, я говорю это тебе от чистого сердца. Если я тебя не убедил, то спорь со следователем. Повестку я тебе вручил, и нам больше калякать не о чём.

Колпаков продолжал сидеть на бревне и перелистывал, шевеля губами, «Молитвослов». Завидев Размахова, поднялся и поспешил навстречу.

— Зачем Романов вызывал?

— Повестку вручил к следователю в прокуратуру. Кажется, меня хотят привлечь по статье за самоуправство.

— Тоже мне, нашли преступника! — возмутился Колпаков. — Сейчас по Москве не меньше миллиона преступников разгуливают, для них закон не писан, как же — демократы! Выходит, Сергей Матвеевич, ты много опаснее тех, кто хочет разрушить Союз.

— Утро вечера мудренее: завтра разберусь, в чём меня обвиняют, — сказал Размахов. — Но нам, Пётр Васильевич, повезло со стройматериалами, строители даже вагончик оставили. Вечером перевезу всё это к храму.

— У тебя, парень, на доброе дело лёгкая рука, но против власти, даже такой трухлявой, как нынешняя, тебе одному не выстоять.

— Что же мне делать? — задумчиво произнёс Размахов. — И так нехорошо, и этак негоже. Впрочем, сам я решать ничего не буду, завтра узнаю мнение прокуратуры.

— Разве у прокурора есть мнение? — усмехнулся Колпаков. — У него одно для таких, как мы, припасено — статья.

Они замолчали, задумавшись каждый о своем. До Размахова начинало понемногу доходить, что его затея вернуть храм людям, пострадавшим от отца, может закончиться, не успев начаться. Колпаков безмерно удивлялся тому, что люди не учатся на своих ошибках: казалось бы, совсем недавно, всего шестьдесят лет назад, народ преобильно обжёгся о колхозное счастье с его казарменной уравниловкой и безбожием, но, поди ж ты, опять восхотел осчастливиться и забурлил на улицах столицы, не догадываясь, что его не освобождают, а запрягают в перестроечные сани, в которых развалился пьяный, как зюзя, всенародно избранный президент Ельцин.

По дороге, подняв клубы пыли, проехала грузовая машина с будкой, и Колпаков посмотрел ей вслед.

— Кажись, продуктовая? Это сколько же сейчас времени? — спохватился старик. — Я свои часы уже лет пятьдесят как на рояле забыл, — часы были в «уазике», и Размахов, открыв дверцу, посмотрел, сколько времени, и сообщил Колпакову. — Надо идти, пока продавщица конфеты кому другому не продала. Правнук выиграл у меня кило шоколадных конфет в шашки, и пришлось просить Верку, чтобы привезла с базы посвежее. А ты, парень, о прокуратуре не беспокойся. Я сегодня же пойду собирать подписи в твою защиту.

Проводив взглядом старика, бойко засеменившего через сад по тропке к продуктовому магазину, Размахов вошёл в храм, собрал со своего лежбища подстилки и вынес их на просушку. Прошлая ночь была дождливой, всё отсырело и попахивало плесенью.

— Сергей! — окликнул его из остановившейся на дороге машины бригадир строителей. — Мы уезжаем. А ты за своим добром присматривай, а то там, возле сарая, какой-то дядька прохаживается. Я его предупредил, но ты и сам поглядывай.

Предупреждение бригадира было своевременным, и когда Размахов подъехал к сараю, то возле его двери застал мужика, а рядом стояла двухколёсная тачка с вместительным коробом.

— Хватит в замке ковыряться, а то испортишь, — сказал, выходя из машины, Размахов. — Я строителям заплатил за всё, что находится в сарае, и за вагончик.

— Докажи, что это твоё! — ощерился мужик. — Я тоже им заплатил за всё.

— Нет, дядя, ты жулик, — спокойно сказал Сергей. — У меня есть ключ от замка, а ты в нём ржавым гвоздём ковыряешься.

Мужик смерил Сергея взглядом, понял, что с приездом ему не совладать, и выругался. Затем подхватил тачку и, продолжая разбрызгивать матерки, потащил её прочь. Возле дороги он остановился и погрозил кулаком: «Я тебе это попомню!»

Сергей похвалил себя за то, что приехал вовремя, и, открыв дверь сарая, стал переносить всё, что в нём находилось, в вагончик, который оказался изнутри вполне пригодным для жилья — с железной печкой и лежаком для ночного отдыха. Размахов

работал не спеша и закончил погрузку, когда уже к нему, подпрыгивая на кочковатой дороге, подъезжал трактор.

— Готов? — высунувшись из кабины, крикнул тракторист и стал сдавать задом к вагончику.

— Ты не гони, — попросил Размахов. — Мне вагончик нужен целым.

— Будь спок! — заявил водила. — Доставлю в лучшем виде.

К вечеру возле магазинов сталолюднее, перевозка вагончика вызвала у всех интерес, и когда Размахов подъехал к храму, его встретил целившийся в трактор палкой Федька Кукуев.

— Бах! Бах! — завопил дурак. — Долой танки! Дорогу демократии!

Сергей глядел на калеку с тягостным чувством: он всегда впадал в растерянность и не знал, что делать, когда видел перед собой сумасшедших, потому что ощущал исходящую от них душевную темноту, в которой эти несчастные были вынуждены пребывать без надежды на просветление. Размахова выручила пожилая женщина, которая подбежала к Федьке, вырвала из рук палку и зашвырнула её за вагончик.

— Пойдём, Феденька, я корову подоила, ты ведь парное молочко любишь? Пойдём, сынок...

— Беда с нашим придурком, — сказал тракторист. — Что по телику увидит, то тотчас изображать возьмётся. В Москву танки ввели, вот и он в Хмелёвке их увидел. Беда — жить с таким! — Сергей рассчитался за перевозку вагончика, и тракторист поинтересовался: — Сам-то будешь? А то я мигом пузырь организую.

— Спасибо, но мне некогда, — отказался Сергей. — А ты расслабляйся, только трактор не потеряй.

— За это будь спок! — крикнул тракторист и так прибавил газу, что колесник не покатился, а запрыгал прочь от вагончика.

Сергей убедился, что мешки с цементом не рассыпались, подобрал с пола лопаты и поставил их в угол, вынес из вагончика доски и сложил их пирамидкой, чтобы сохли на ветру. Затем вошёл в храм и поднялся на крышу, чтобы прикинуть, много ли осталось на ней прорех, которые следует залатать в первую очередь.

Вечером небо очистилось от облаков и стало ближе к земле от напозавшей на него блёклой синевы — предвестницы близких сумерек. Нежаркое солнце реяло над горизонтом, то соприкасаясь с ним, то чуть отстраняясь, и от этого пульсирования оно выглядело не круглым, а слегка растянутым, и от него в разные стороны по краю земли растекались зыбкие багрово-сизые полосы.

Молодой сытый голубь, посвёркивая вспыхивающим при каждом его шаге горловым опереньем, заворковал возле Сергея и стал к нему бесстрашно тесниться и топорщить правое крыло, совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Размахов протянул к нему раскрытую ладонь, и тот не отпрянул в сторону, а, взмахнув крыльями, взлетел и опустился на запястье.

— Да ты ручной! — удивился Сергей. — От дома отбился, что ли? Ну, лети!

Однако подброшенный голубь не улетел и оставался рядом с Размаховым, пока тот не спустился с крыши. На паперти Сергея поджидала Анна Степановна.

— Не побрезгуй, милый, угостись свежей картошкой с грибами, — сказала старуха. — Всё готово, а дом ты мой знаешь, он совсем рядом.

Отказываться было бессмысленно, и Сергей, закрыв вагончик и заперев машину, пошёл следом за Анной Степановной к бревенчатой избе, которая стояла на углу проулка и проезжей улицы.

— Я слышала, ты отца похоронил. Конечно, большое горе, но все там будем.

Старый пёс обнюхал ноги гостя и упал в пыль возле крыльца.

— Он такой дряхлый, — хихикнула старуха, — что я его считаю своим ровесником.

Изба была в три окна, в ней треть места занимала русская печь, остальное пространство делилось на горницу и спальню. Анна Степановна посадила гостя в передний угол под божницу, Размахов огляделся и удивился, увидев на противоположной стене в раме под стеклом портрет Сталина, где он был изображен раскуривающим трубку. Анна Степановна наполнила две гранёные рюмки водкой, наложила в тарелки картошки, выставила грибы и отстранённо вымолвила:

— Ты Сталину удивился? А он у меня после бога на первом месте. Если бы не он, то ни я, ни мои дети не дожили бы до сего дня, — Размахов предпочёл промолчать и потянулся к рюмке. — Давай, милый, выпьем за Иосифа Виссарионовича. Пора бы ему встать из гроба и навести в стране порядок.

— Каким образом? — не сдержался Размахов. — С тем, что сегодня в Москве творится, и десять Сталиных не совладают.

— И одного хватит, — сказала Анна Степановна, — только чтобы настоящий был. Он знал, как наводить порядок. Сейчас все, кому не лень, смешивают его с грязью. Мокроштаный Ельцин и плевка сталинского не стоит, а народ будто сдурел и ничего

не видит.

— Почему же он мокроштаный? — усмехнулся Размахов.

— В какой-то ручей пьяный с моста сверзился, по радио говорили. Разве Сталин так страной правил?

— 4 —

За несколько лет до начала Отечественной войны Анна Степановна окончила учительский институт, активничала в комсомоле, и когда её направили в сельскую школу, подходящего для себя жениха она увидела в шофёре единственной на всю МТС полуторке Косте Желтухине. В те времена шофёр был видной фигурой в селе, а запах бензина воспринимался как один из признаков культурного и образованного человека.

Костя носил хромовые сапоги, кожаные галифе, крепко пахнул бензином и кожей, красиво щёлкал портсигаром и имел на одном верхнем зубе вспыхивавшую при улыбке стальную фиксу. Он привык брать девок по-ястребиному — с налёта, но Анна Степановна была образованной городской штучкой, и шофёру пришлось подруливаться на своей полуторке к сельсовету, где председатель крепко пожал молодым руки и, дохнув на чернильную резинку, шлёпнул на документ гербовую печать.

За пять предвоенных лет Анна Степановна принесла пятерых детей: четырёх девочек и последыша — Валентина. Жила с мужем, не бедовала, но во второй год войны его призвали. Летом сорок второго ещё кое-как перебивалась, а зимой стала доходить: ни дров дома, ни хлеба — ни мучинки. Соседи, кто попровористей, всё картошкой засадили, а она пронадеялась на своего Костю, а того вместе с полуторкой угнали на фронт; и через три месяца — похоронка.

Отплакалась, оглянулась по сторонам — никого! Только русское вьюжное поле да утонувшее под самые крыши село. Пошла в дом, где на берёзовой палке вылинявший кумач посвистывал под порывами ветра. Председатель колхоза — злой, одноногий, только что из фронтowego госпиталя, вместо костыля дрючок под мышкой, на лице мгилая бледность — что-то орал в телефонную трубку.

— Чего тебе, учителька?

Анна Степановна попросила дров для школы, хлеба семье, дров.

— Чо, у тебя нет и картохи?

— Нет, — потупилась она.

— И в колхозе нет. Ничего нет. Даже мыши из амбаров разбежались. Вот такая обстановка на ближайший год. Картохи я тебе своей мешок дам, да только надолго ли хватит? — председатель сел за стол и обхватил голову руками. — Как пить дать — скапутишься ты! Есть, конечно, выход, но я тебя не учу, а так, просто случай рассказываю. Бабу одну, вроде как тебя, голодуха припёрла, она и отбила телеграмму самому. Кумекаешь, кому?.. А теперь топай, мне с районом покалякать надо.

Подсказку председателя Анна Степановна усвоила сразу, но решила не вдруг. «Конечно, он добрый, он поможет, но у него столько дел!» — думала она, глядя на картинку в учебнике, где Сталин сидел на садовой скамейке рядом с Лениным — такой доступный и родной, что её прошибал волнующий озноб.

Пометавшись в сомнениях два дня, Анна Степановна пошла на железнодорожную станцию. Все восемь километров удерживала себя от желания повернуться и идти обратно. Но домой идти было нельзя. Картошка из председателяева мешка ополовинилась, новой ждать было неоткуда. Так и дошла до самой станции, докатилась, как перекасти-поле, пока не уткнулась в длинное бревенчатое здание, вокруг которого сновали люди, всё больше военные, звенели котелками, шумели и спали вповалку на вокзальном полу, обхватив для сохранности вещмешки и сидоры руками.

Взяла Анна Степановна телеграфный бланк в почтовом окошке и протиснулась к подоконнику, где стояла чернильница с ручкой. Задумалась, что писать. С другой стороны окна все зашумели, кинулись на приступ прибывшего поезда. К окну напротив неё прилип чумазый беспризорник, выпучил глаза и побежал дальше, подбрасывая пятки к ягодицам. Толпа штурмовала поезд по всем правилам: вещи толкали впереди себя, наиболее прыткие лезли в окна.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! — вздохнув, выскребла Анна Степановна на жёлтой бумаге. — Я, красноармейка, мать пятерых малолетних детей, не имею средств к существованию. Помогите, дорогой товарищ Сталин!»

Расплатившись за телеграмму, Анна Степановна вышла на привокзальную площадь, где кипела небольшая, но горластая толкучка. У неё за пазухой лежал кашемировый платок, полученный в подарок от райобраза в сороковом году.

— Погрейся, тётка! — крикнул безногий инвалид с магнето, прикрученным к табуретке. — Вали червонец — хватай за оба провода, как крутану — весь день будешь горячей!

— Васильев, ты? — изумлённо вскрикнула Анна Степановна, с трудом узнавая в рыночном старожиле своего однокурсника. — Боже мой!

— Что, Анечка? Видишь, как ополовинило? В школу не пойдёшь. Вот и зарабатываю на знаниях электротехники. А ты как?

— Костю убили. Одна теперь.

— У тебя сколько ребятишек?

— Пятеро.

— А ты чего хотела?

— Да вот платок продать.

— Понятно. Посторожи технику.

Васильев засунул платок за пазуху и, упираясь деревяшками в снег, укатил за ларьки. Вернулся он быстро с большим караваем домашнего хлеба.

— Ну, бывай! Вот возьми пацанам, — Васильев сыпанул ей пригоршню колотого сахара. — Приходи, если прижмёт, что-нибудь придумаем.

Домой Анна Степановна почти всю дорогу бежала. Ей почему-то показалось, что она забыла приоткрыть печную задвижку, и теперь думала, что дети угорели. Открыла дверь и задохнулась от радости — все живы. Старшая Шуручка читает по складам сказку, а остальные лежат на кровати и слушают.

Всю ночь она не спала, прислушивалась к вою ветра в печной трубе, скрипам старой берёзы под окном и думала о том, как дойдёт её телеграмма до Москвы, попадёт к нему. Был ещё и страх, что её накажут, но она отметала его, поглядывая на сопящую во сне детвору. Она и так наказана, большим её наказать нельзя. Ребятишки спали, сегодня они поели досыта, умяли полкаравая и чугунок картошки.

Эхо от её телеграммы в Москву добежало до села быстро — к обеду следующего дня. В школу прибежала местная почтарка и принесла Желтухиной телеграмму. Дрожащими руками она вскрыла её и прочитала: «Уважаемая Анна Степановна! Местным властям отданы указания обеспечить вас и ваших детей всем необходимым. Сталин».

Она разрыдалась. Прочитал телеграмму и другой учитель, он же директор, Рыбаков. Покрутил головой и ушёл в класс. Желтухина перечитывала и перечитывала строчки телеграммы и никак не могла прийти в себя, у неё защемило в груди, и первый раз в своей жизни она почувствовала, с какой стороны находится сердце.

Вечером возле её дома остановился зелёный военный грузовик. Приехавших было двое. Шофёр сносил в избу продукты: ящик тушёнки, половинку бараньей тушки, два мешка муки, сахар, соль, спички, мыло, отрез на платье, валенки детского размера, платьица и костюмчик для Валентина. Второй приезжий был одет в бекешу, из-под которой выглядывал полувоенного покроя китель. Он тяжёлым взглядом оглядел избу, пересчитал вещи, продукты и протянул хозяйке карандаш:

— Распишись! — сложив бумагу в планшетку, твёрдым немигающим взглядом посмотрел на смиренно стоящую перед ним учительницу и сквозь зубы проговорил: — Чтоб такие штучки в последний раз! Я тебе покажу, как разлагать тыл. Рот — на замок! Никому ни слова! Ещё что-нибудь выкинешь — пойдёшь под трибунал! Ясно?

Анна Степановна судорожно пожала плечами. Человек в бекеше понял её подавленное состояние, он слишком часто окунал людей в горе, чтобы не понимать их, поднялся с табуретки и сказал с ухмылкой:

— Пользуйся! А слова мои не забывай.

Спрятала она телеграмму на дно сундука и никому о ней не говорила.

До председателя колхоза дошёл, конечно, шум вокруг учительницы, он оценил её молчание и на следующую весну дал ей семян и лошадь с сохой, чтобы она посадила картошку. Он же определил к ней на постой и эвакуированную женщину с зингеровской швейной машинкой. Мало-помалу Анна Степановна научилась шить платье-шестиклинка, кофточки, кое-какие ребячьи штаны, тем и жила после войны, когда постоялица уехала и оставила ей машинку.

В день смерти Сталина она рыдала, как малое дитя, чуть ли не в истерике билась, ей казалось, что само небо над ней дрогнуло, земля покачнулась, и весь мир поехал в тартарары. Достала телеграмму из укладки, целовала её, обливая слезами, а на следующий день выступила на траурном митинге в школе, потом на сельском сходе. Её повезли в район, она и там говорила о том, как великий вождь помог ей, забитой деревенской учительнице, выжить.

После траурного митинга в райцентре к ней подошёл человек в бекеше и сказал, протянув мягкую пухлую руку:

— Молодец, Желтухина! Ты — человек правильных советских кровей!

Анна Степановна взглянула на бекешу, вспомнила зимний декабрьский вечер сорок второго года и поёжилась. Ей отчего-то стало зябко в натопленном здании районного клуба и захотелось в деревню, к ребятишкам.

В райцентре её заметили. Вскоре Желтухину выдвинули депутатом райсовета, а в школе — ребятни после войны попёрло — назначили завучем. Шить она бросила, много заседала, выступала на всех уровнях, разоблачая Берию и прочих деятелей, кто охмурил великого, но простодушного вождя.

В этой колготне пролетели два года, и в пятьдесят шестом Анну Степановну обдуло двумя сквозняками, от которых она как-то внутренне пожухла и сникла. Первым был двадцатый съезд. То, что она читала в газетах, слышала в разговорах, казалось ей сумасшедшим бредом, но никто не одёргивал болтунов, не хватал их за руки. Не в силах спорить с ниспровергателями Сталина, Желтухина замкнулась в себе, телеграмму спрятала подальше и перестала читать газеты.

Дочери не затрагивали больной для матери вопрос, они уже вовсю невестились, ходили на вечерки, собирались в город и переписывали друг у друга в тетрадки всякие афоризмы: «Любовь — это костёр. Если не подбрасывать в него палки, то он потухнет».

Валюшка был понастырнее. Ему мать рассказала всю историю с телеграммой без утайки. После этого сын сколотил рамочку и повесил портрет Сталина в горнице. Усатый добродушного вида человек с весёлой искрой в глазах смотрел на каждого, кто бы ни входил в дом. Валюшку особенно удивляло, что эти глаза находили его всюду, где бы он ни был в горнице. Он и в угол к печке вставал, и к другому углу подходил, и всюду на него был обращён взгляд вождя. Валюшка спросил об этом дядю Кузьму, соседа. Тот был серьёзного мыслительного склада мужик, то есть был себе на уме и постоянно нёс какую-нибудь околесицу, чтобы сбить собеседника с толку. И в этом случае Кузьма был верен себе.

— Ты подумай, Валюшка, — вождь! Этому нужно видеть там, там, там! А кому доверишься? Только сам. Поэтому и учатся они гипнозу, чтобы насквозь видеть, и смотрят даже на портретах, что куда ни беги, а он тебя всего видит — и наружность, и внутренность.

— А ты видел, дядь Кузьма, гипнотизёра?

— Брехать не буду, видел. Был у нас в полку такой. Потом его шлепнули. Так он такой гипноз показывал! Выкуривал целую пачку папирос, и дыма не было, а потом скидывал штаны, поворачивался к публике и весь папиросный дым выпускал одним залпом. А вот пулю не загипнотизировал, шлёпнули его, перед всем полком. На гастроли самовольно поехал, неделю не было, его прямо со сцены взяли. Трибунал и прочее.

Весной пятьдесят шестого Анна Степановна получила письмо. Адресовано ей, а откуда — не понять, какие-то буквы, цифры. Писал муж. Осторожно спрашивал, не забыла ли его, что он жив, пишет с крайнего и дальнего севера, просил не отвечать и обещал скоро быть.

Волнение, которое Анна Степановна испытала по прочтении письма, её подкосило, она заболела нервной горячкой, бредила, кричала, кидалась на стены, беспрестанно плакала. В больнице от неё отказались, но старухи помогли, травами отпоили свою учительку, которая истаяла, ровно свеча.

Почему Костя не писал больше тринадцати лет, Желтухина не знала, но догадалась, что письмо это из лагеря. Сходила к соседке, попросила раскинуть карты. Под сердцем бубнового короля выпала любовь, торопливость к дому, а по бокам всё казённые дома да неприятности.

Желтухин приехал поздно осенью, уже картошку выкопали, иней легли на отаву, в лужицах мороз выпил всю воду. Как раз под первый снег на Покров приехал — худущий, кожа да кости, но в хромовом пальто, полный рот золотых зубов, на голове кепочка-восьмиклинка с малюсеньким козырьком, что пальцами трудно уцепить.

Собака его в дом не пустила, не знала хозяина, без него уже брали. Вышла хозяйка на улицу, глядит, а у прясла Костя. Ноги подкосились, не помнит, как на шею бросилась, девчонки, Валюшка забегали вокруг, чемодан отцовский требушат с подарками.

Праздничный обед Анна Степановна накрыла в горнице. Муж вымыл руки, ополоснул, постучав зубами, рот и, склонившись, прошёл к столу. Было полутемно. Зажгли керосиновую лампу над столом. Костя огляделся по сторонам, и вдруг его взгляд упал на портрет.

— А этот гад что тут делает? — силно выдохнул он.

Все молчали, с испугом глядя на впавшего в бешенство отца. Желтухин сорвал портрет со стены, хрястнул им о подоконник и швырнул на пол. Валюшка очумело смотрел на отца, а тот сел на венский стул, заскрипевший под его тяжестью, налил себе полстакана водки, выпил залпом и сказал, глядя в стол:

— Для всеобщей ясности — я из-за этого гада десять лет на Колыме отмотал. Выброси его, Валька, в помойное ведро!

Желтухин пошёл в колхоз шоферить, но пить стал крепко, иногда вываливался, как куль, из «ЗИСа» возле дома. По пьянке он много говорил, всё о том, как в плен влетел на своей полуторке, как в концлагере загибался, как у бауэра вместе со свиньями

спал. Доходя в рассказе до того часа, как его освободили наши войска, он деревенел и наливался тоскливой злобой.

— Я-то, дурак, думал, что меня домой отправят, а меня перед тройкой поставили. Четвертак впяли — и ни одного вопроса. Просто уточнили фамилию — и четвертак. А я что? Армией командовал, фронтом? Я под Харьковым десять армий сдал да две под Керчью? Моё дело — баранку крутить! Такими, как я, путь танкам мостили. Мне хана, Валюшка! Дорогой товарищ Сталин — на кого ты нас оставил!

Он засыпал, где сидел, и Валюшка тащил его на кровать, снимал сапоги, раздевал, укрывал одеялом.

Трезвый Костя был молчалив, только раз вырвалось у него:

— Обокрали меня, сын, обокрали...

— Кто? — не понял Валюшка.

— Они у меня жизнь украли, испоганили её, — и мотнул головой по направлению к потолку.

На телеграмму Желтухин глянул с интересом, как на диковинку, плюнул под ноги и растёр плевков подошвой кирзового сапога.

— Ну прямо «Сказание о земле Сибирской»...

— 5 —

— Уже поздно, — сказал Зуев. — А потом, что мы у тебя будем делать?

— Как что? Пить чай. У меня есть новые записи.

Зуев облизал враз пересохшие губы, полез в карман за сигаретами и, отвернувшись от ветра, закурил. Галя тихо засмеялась и потянула его за рукав.

— Ты, наверно, думаешь, вот прилипла. А я давно к тебе, Родя, прилипла, только ты этого не знал. Ведь не знал?

— Не знал. Это так неожиданно.

— Тогда я правильно поступила, правильно?

— Не знаю, — растерянно произнёс Родион. — Это так неожиданно.

— Значит, Варвара Ильинична правду мне говорила: ребёнок ты, Родя, большой ребенок!

— Какой я ребёнок, — смутился Зуев. — У меня невеста была. Собирались пожениться. А тут такое со мной случилось.

— Неправда всё это. Она ещё до твоего ранения перестала тебе писать. Я всё знаю. Зуев бросил окурок и обиженно произнёс:

— Всё-то ты знаешь. Ну, я пойду?

Галя обхватила Зуева руками за шею и всем телом потянулась к нему. И Зуев обмяк, позволил себя поцеловать, а потом не отпустил её от себя сам. Они целовались долго и безостановочно. Проехавшая мимо машина окатила их светом фар, из неё раздался громкий смех, но они его не слышали, как и лая собачонки, которую оттащил от них хозяин. Зуев опамятовался первым.

— Что же теперь нам делать?

— Не надо ничего делать, — сказала Галя. — Я тебя не тороплю жениться на мне. Переезжай в город, поживём вместе, а там всё как-то решится.

— Я не против, только вот с работой как? Образования у меня гражданского нет, разве что в школу пойти, если возьмут.

— Не думай об этом, — Галя ласково погладила его по щеке. — У меня есть для тебя, вернее, для нас работа. Ты слышал о кооперативах?

— Читал в газете.

— Вот и мы создадим кооператив, — в её голосе зазвучали деловые нотки. — Ателье по пошиву модной одежды. Я уже кое-что сделала. Купила пять электрических швейных машинок, дефицит страшный! Присмотрела помещение в центре города, надо взять его в аренду. Клиентура у меня есть, пойдут и заказчики с улицы. Знаешь, как мне надоело прятаться? До последнего времени всё боялась, что придут и оштрафуют за незаконное индивидуальное предпринимательство.

— А я что буду делать?

— Как что? — засмеялась Галя. — Будешь директором, хозяином. Работы хватит. Не люблю я по чиновничьим инстанциям ходить, куда ни зайдёшь, обшарят всю взглядами... Вот ты и будешь ходить.

Зуев был так сильно ошарашен бурным натиском, что чуть не забыл спросить о самом главном.

— Послушай, Галя, мы говорим о таких серьёзных вещах, а как твой сын, что он скажет, увидев в доме чужого дядю?

— Он ещё мал, всего три года. А что, тебя он смущает?

— Если сказать честно, то да, — помедлив, ответил Зуев. — Мне нужно время, чтобы привыкнуть.

На глазах у Гали блеснули слёзы, вызвавшие у Зуева прилив нежности и жалости к молодой и по-своему несчастной женщине. Эти два чувства, соединённые вместе, способны обезволить любого мужчину, и Зуев, не замечая, что с ним происходит, обнял Галю и горячо прошептал:

— Не переживай, всё будет хорошо!

Пригородный поезд в райцентр уходил рано утром. Распростившись с Варварой Ильиничной, Зуев первым автобусом приехал на вокзал и успел вскочить в электричку, когда она уже тронулась с перрона. За ночь вагон выстыл, по оконному стеклу сочилась влага, в открытые двери из тамбура тянуло запахом креозота, которым были пропитаны шпалы. Вскоре вокзал остался позади. Зуев, откинувшись на спинку лавки, запахнул поплотнее куртку и закрыл глаза.

От бессонной ночи побаливала голова. Вчера, простившись с Галей, он вернулся в квартиру тети потрясённый случившимся и долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, а в голове калейдоскопом мелькало одно и то же: её лицо, освещенное светом уличного фонаря, подрагивающие губы и слезинки на щеках. И Зуев опять шептал ей на ухо: «Не переживай, всё будет хорошо!» И в электричке продолжалось то же самое, только он закрывал глаза, намереваясь если не заснуть, то хотя бы подремать.

Зуев за свою недолгую жизнь влюблялся, как ему казалось, дважды, и каждый раз ему не везло. В девятом классе он вдруг совсем неожиданно обнаружил, что его одноклассница Люба Кулишкина не такая, как остальные девчонки, потому что в её присутствии Родиона стало бросать то в жар, то в холод, а если Люба заговаривала с ним, то он начинал краснеть и бледнеть и в ответ сконфуженно мямлил. Люба быстро почувствовала равнодушное отношение к себе, и это ей нравилось. Она поделилась своим открытием с подружками, те стали над ним посмеиваться, он вспыхивал и говорил грубости. Люба между тем отдала предпочтение другому мальчику, у неё с ним, как тогда говорили, началась любовь, и Зуев перенёс такое сильное потрясение и разочарование, что несколько лет и не помышлял о знакомстве с какой-нибудь девушкой.

Учёба в военном училище почти не оставляла курсантам времени для личной жизни. Всё было подчинено уставу и внутреннему распорядку. Изредка по большим праздникам курсантов приглашали на танцевальные вечера в пединститут и медицинское училище. Они были желанными гостями — студентки часто находили среди курсантов своих будущих мужей, и спрос на военных был большой. На одном из таких вечеров обычно простаивавшего всё время у стены Зуева пригласила на белый танец стройная большеглазая студентка пединститута и не отошла от него, когда вальс закончился.

— Ты на пятом курсе? — спросила она.

— Да. А как ты узнала?

— Все девчонки в городе умеют считать курсантские нашивки. Между прочим, меня зовут Надя.

— Родион, — представился он и довольно ловко щёлкнул каблуками сапог, которыми очень гордился. Рота Зуева участвовала на параде в военном округе, и там все курсанты научились гладить утюгом голенища сапог, отчего они лаково блестели и были абсолютно гладкими.

Они станцевали несколько раз, увлеклись разговорами, и тут, как всегда неожиданно, раздалась команда: «Вторая рота на выход!» В зале всё сразу смешалось: курсанты ринулись в гардероб, девушки поспешили за ними. Зуев, схватив шинель, поискал Надю глазами, но вокруг была такая толчея, что найти её он не смог. По дороге в училище Родион пожалел, что не спросил у девушки адрес.

Надя не исчезла, через несколько дней один из сослуживцев передал Зуеву от неё привет, сказав, что она подружка его невесты. Вместе с приветом он получил адрес и номер телефона.

Зуев позвонил, Надя обрадовалась его звонку, и в ближайшее воскресенье они пошли в кино. Ни в эту, ни в следующие встречи он не сделал ни одной попытки приблизиться к девушке на расстояние дыхания, и это ей нравилось. Надя, и это обнаружилось сразу, имела на Зуева серьёзные виды. Пригласила его домой, познакомила с родителями, которым будущий офицер понравился своей сдержанностью и предупредительным отношением к их дочери.

Надя училась на третьем курсе филологического факультета, а Родион должен был в этом году уехать, получив офицерское звание, к месту службы. Когда выяснилось, что ему предстоит ехать в Монголию, брезжившая невдалеке свадьба была отложена, хотя взаимные чувства у молодых людей были нешуточными.

Через год Зуев из Монголии был переведён в Афганистан, причём так спешно, что успел заехать к невесте всего на несколько дней. Вроде бы ничего в их отношениях не изменилось, расстались они в надежде, что через год состоится их свадьба, но

длившаяся уже второй год любовь по переписке начала давать сбои. Зуев отвечал на каждое письмо Нади, а та стала отвечать ему реже, её письма становились суше, у будущего преподавателя русского языка исчезли из лексикона ласкательные прилагательные. Последнее письмо от Нади Зуев получил незадолго до ранения.

Он болезненно переживал случившееся, но довольно скоро успокоился, потому что в отношениях между ними главное место занимали не поступки, а слова, которые от частого употребления стираются, как подметки. К счастью, между ними не было интимной близости, которая, будучи недолгой, всегда оставляет чувство неудовлетворённости у мужчины и может заставить его выдумать любовь из ничего и нагромоздить столько глупостей, что ему придётся расплачиваться за это всю свою жизнь. Между Родионом и Надей были отношения, которые могли закончиться счастливым браком, но этого не случилось.

Галя разобралась в характере Зуева очень быстро и поняла, что привязать его к себе она может только тем, чем наградила её природа. Зуев, пожалуй, в первый раз в жизни по-настоящему целовался с женщиной, чувствуя, как вибрирует её молодое горячее тело, и сам вибрировал, будто на него упал оголённый электрический провод. Галины слёзы его потрясли, он решил, что должен спасти эту восхитительную в своём несчастье молодую женщину и, совсем не думая о последствиях, горячо прошептал жалкие слова: «Не переживай, всё будет хорошо!» И это были не просто слова, неизвестно, поверила ли им Галя, но сам Зуев верил сказанному без всяких сомнений и отступить от своего решения не собирался.

Электричка с частыми остановками довезла его до райцентра через четыре часа. Родион через здание вокзала вышел на привокзальную площадь, самое бойкое и людное место городка. Окинув её взглядом, он обратил внимание, что возле редакции собралась небольшая толпа, и к ней с крыльца обращается с речью местный антибюрократ и гроза райкома партии Смирнов, примечательная зигзагами своей судьбы личность, получивший в последнее время в райцентре громкую известность организацией сходок, митингов и выступлений в поддержку перестройки.

Смирнов был коренным местным жителем. В середине пятидесятых годов, после окончания школы, он пошёл по комсомольской линии, затем закончил областную партшколу и стал инструктором в райкоме партии, где отличался бескомпромиссностью в проведении партийной линии, но она в те годы колебалась от восторга перед Сталиным до его осуждения, от обострения классовой борьбы до упомощительного лозунга, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

После свержения Хрущёва пострадали очень многие чересчур рьяные его сторонники, и Смирнов был одним из них. Разделённые райкомы и обкомы партии объединили, и многих партаппаратчиков вывели из номенклатуры, отправив добывать себе пропитание общественно полезным трудом. Почти все они неплохо устроились, но только не Смирнов. Он проявил редкостную верность свергнутому Хрущёву, везде его славословил и превозносил, поэтому хлебного места ему не дали. Ему удалось устроиться егерем в военном охотничьем хозяйстве, но проработал там недолго: сцепился, по своей привычке влезать во всё, с пьяными полковниками, которые начали стрелять друг в друга. Среди них оказались раненые, но обвинили во всём Смирнова, который, разнимая буянов, выстрелил несколько раз из своего ружья вверх, за что получил два года заключения. Выйдя на свободу, Смирнов ничем себя не проявлял, жил тихо, но первая волна гласности вынесла его из уединения на поверхность, и он принялся уязвлять райцентровских бюрократов всех мастей и оттенков.

— Спокойно, граждане! Спокойно! — громко возвещал Смирнов, стоя на крыльце в окружении своих сподвижников. — Вчера на митинге была единогласно принята резолюция снять с работы редактора районной газеты Сухова за лживые статьи против нас, антибюрократов, и саботаж перестройки! Но редактор забаррикадировался, вот смотрите! — Смирнов несколько раз дёрнул дверь на себя и ударил её ногой. — Заперся! — закричал Смирнов. — Теперь давайте все дружно: долой бюрократов!

Кричалку во весь голос повторили антибюрократы, затем начали кричать из толпы, каждый своё, и поднялся несусветный ор и свист. В редакции газеты услышали шум на улице и запаниковали.

— Немедленно все уходите через заднюю дверь! — скомандовал Сухов. — Таисия Алексеевна. Заберите с собой печать редакции, книгу приказов и партвзносы!

— А вы? — спросил заведомом партийной жизни Серков. — Неужели останетесь?

— Я буду вызванивать кого-нибудь из руководителей. Немедленно уходите! Это же гангстеры!

Редактор принялся судорожными движениями крутить телефонный диск, затем долго слушал длинные гудки. Райком партии не отвечал, все были непонятно где. Сухов позвонил Кидяеву. Председатель райисполкома был на месте. Выслушав при-

читания редактора, он почему-то весёлым голосом посоветовал:

— А ты, Сухов, Буряку позвони. У него милиционеры, пусть подошлёт пару ребят. И вообще — держись!

Редактор тотчас набрал ноль два, вызовы шли долго, наконец, послышалось покашливание:

— Дежурный по райотделу лейтенант ...

— Где майор Буряк? Это член бюро райкома партии, редактор газеты Сухов. Немедленно вышлите к редакции наряд милиции! Слышите грохот?.. Это дверь в редакцию антибюрократы ломают!

— Людей нет, все на выездах.

— Что же мне делать?

— А зачем вы от людей запираетесь? Откройте, поговорите с этими антибюрократами, узнайте, что им надо.

«Надо ж такому случиться: милиция и та уже не власть, а чёрт знает что!» — подумал он и продолжил:

— Но здание редакции, документы, наконец, я — в опасности. Могут изломать, поджечь, избить.

— Пока я не вижу, — сказал дежурный лейтенант, — состава преступления.

— Я что — вам из морга должен следующий раз позвонить?! — возмутился редактор, но милиционер его не слышал. Он положил трубку и уставился в телевизор.

Зуева события возле редакции заинтересовали. Многих из тех, кто толпился перед крыльцом и на крыльце, он знал. Все они были мирными и тихими людьми, никогда не высывались, а вот, поди ж ты, раскричались, растопорщились, как куры, на которых иногда нападает блажь стать перелётными птицами.

Смирнов опять стал колотить дверь редакции ногами.

— Ты ж все ноги отбил! — крикнул кто-то из толпы. — Лезь в окно!

Этот возглас услышал чутко прислушивающийся ко всему, что происходило на улице, редактор газеты и побледнел. Схватил трубку телефона и набрал номер райотдела милиции.

— Сейчас полезут в окно! — закричал он. — Высылайте наряд!

— Но ведь ещё не лезут, — резонно возразил дежурный. — Факта преступления нет, а митинговать можно, сейчас гласность. Вы поговорите с этими, как их, антибюрократами, что им нужно?

Сухов бросил трубку и схватился руками за голову. Бросил взгляд на шкаф, где за стеклом стояли тома полного собрания сочинений Ленина. «А ведь он, — мелькнула в голове редактора мысль, — тоже боролся с бюрократами. Но я-то какой бюрократ? Я — партийный журналист, что им от меня надо?»

Он подошёл к окну, раздвинул шторы. Его увидели, стали кричать, некоторые, а Сухов приметил несколько знакомых лиц, приветственно помахали ему рукой. Редактор ободрился, настезь распахнул окно, и к нему тотчас подбежал Смирнов.

— Ты что из окна на народ смотришь, как святой угодник с божницы? Открывай дверь, народ с тобой говорить хочет!

Сухов знал Смирнова как облупленного ещё с комсомола, вместе на танцы ходили, за одними девчонками ухлёстывали. Затем, правда, их пути разошлись, но ведь встречались на улице, здоровались.

— Что ты ко мне привязался? — истерично крикнул Сухов. — Что тебе надо?

— Что мне надо? Это не мне надо, а народу. Вот резолюция митинга. Ты уволен! Сдавай ключи, печать и так далее по описи!

Сухов опешил, наглость Смирнова переходила все границы разумного.

— Кто же назначен редактором газеты? — спросил он, тщетно высматривая наряд милиции. Толпа притихла, дело разворачивалось на всём серьёзе.

— Решением митинга редактором назначен я! — отчеканил Смирнов и сунул в лицо Сухова резолюцию.

Зуеву происходящее решительно не понравилось. Он знал редактора газеты с детства, учился в школе, где тот несколько лет был директором. В его памяти он остался добрым и стеснительным человеком, смотревшим сквозь пальцы на проказы учеников.

— Я могу прочитать эту резолюцию? — спросил редактор.

— Читай, — разрешил Смирнов.

Сухов взял листок бумаги, на мгновение исчез, появился в очках, прочитал резолюцию, разорвал её на мелкие клочки и швырнул их в лицо Смирнова. Тот сначала замер, а потом взъярился и полез в окно. Перестроечный энтузиазм райцентровских масс достиг апогея. Раздался хохот, гогот, свист, к Смирнову подскочили антибюрократы и стали помогать ему влезать в редакционное окно. Всеобщий гвалт

усилился, из гостиницы, райисполкома на этот бедлам смотрели хохочущие люди, и только здание райкома партии было безмолвно, за его зашторенными окнами не было видно ни одного лица, не замечалось ни одного движения.

Оставшись один против антибюрократов, Сухов не дрогнул и проявил неожиданную стойкость: он стал отбиваться от захватчика, швыряя в него тем, что попало под руку — тяжёлыми томами полного собрания сочинений Ленина. Окно было достаточно широким, книги пролетали мимо Смирнова или задевали его вскользь, наконец один книжный кирпич ударил ведущего антибюрократа райцентра точно в лоб, и он рухнул с подоконника на землю. Редактор издал победный клич, швырнул в поверженного врага ещё один увесистый том и захлопнул створки окна.

Это происшествие вызвало у зевак неудержимый хохот, мальчишки засвистели, заулюкали, и некому было вмешаться в явное нарушение общественного порядка, хотя неподалёку остановился милицейский «уазик», но из него никто не вышел.

— 6 —

Колпакову нездоровилось, но он пересилил хворь и, поднявшись с кровати, приблизился к божнице, прочёл «Отче наш» и сразу почувствовал себя легче, но на всякий случай смерил кровяное давление. Оно зашкаливало: вместо ста шестидесяти было двести, и, чтобы привести его в норму, Пётр Васильевич проглотил с водой таблетку адефана и прилёг на кровать.

«Пора собираться в дорогу, — спокойно подумал он, прислушиваясь к постукиванию ходиков. — Вот и часы хрипят от старости, поскольку истерлись зубчики колесиков, а я уже сколько пережил ходиков этих? Железо изнашивается, пора и мне износиться».

В печном углу избы потрескивал, проседая, сруб, который сработал Колпаков своими руками из ядрёных сосновых брёвен. Он всё в избе сделал сам, только печь сложил печник. Она, родимая, тяжёлая, как танк, давила избу на одну сторону, пора было её заменить на голландку, а еду готовить на привозном газе, но Пётр Васильевич тревожить печь не стал и, хотя жил один, зимой топил дровами и спал на печи, согревая мороженые-перемороженные в нарымской ссылке и фронтowych окопах старые кости.

Сын и правнук до рассвета ушли на заболоченное озеро ловить в тине карасей, а Колпаков ещё вечером вырвал из ученической тетрадки несколько чистых листов и довольно скоро, хотя давно уже не писал, сотворил послание райпрокурору с требованием оставить Размахова в покое.

Незаметно для себя Пётр Васильевич задремал и опаматовался от стука в окно. Он открыл глаза, повернулся на бок и увидел, что в стекло постукивает клювом синичка. «Какая умница! — умилился старик. — Видно, знает, что мне залёживаться нельзя. Надо обежать кое-кого с письмом, пока коров в стадо выгоняют».

Он, не присаживаясь к столу, выпил кружку простокваши и поспешил выйти из дома на улицу, где сразу же сошёл с со своими соседками. Старушки, узнав, что за Размахова взялись власти, расписались в письме, и Колпаков направился на громкое похлопывание пастушьего кнута посреди проезжей улицы, где каждое утро сходились хозяйки бурёнок и какое-то время кучковались, делясь друг с другом свежими новостями. Колпаков со своим письмом прокурору стал не просто свежей, но даже горячий новостью. Желающих поддержать Размахова нашлось до половины из тех, кто был на этой сходке, но старик ни перед кем не распиался, собрал два десятка каракулей и побежал уже по тем подворьям, где жили люди, в чьей поддержке он не сомневался.

Подворный обход замедлил сбор подписей, каждому подписанту надо было объяснить суть дела со всеми подробностями, некоторые норовили устроить чаепитие и проговорить на деревенскую злобу дня хоть всё утро. Поэтому обойдя с десяток домов, Колпаков изрядно измаялся и решил на время сделать перерыв и заодно проведать Размахова.

На новом месте, в вагончике, Сергей проспал всю ночь без просыпу, однако на заре стал зябнуть и ворочаться, потом вразнобой, но слышно стали взмыкивать коровы, захолопал кнутом и запокрикивал пастух, где-то совсем рядом врубил музыку какой-то хмельёвский меломан, пофыркивая и постреливая выхлопом, по проезжей улице пробежал трактор-колёсник, и Сергей с неохотой выпростался из одеяла, в которое был завернут с головой, опустил ноги в тапочки и, откинув на двери крючок, вышел из вагончика, прихватив с собой полотенце.

Утро было росным, зябко поеживаясь, он поспешил к родничку и, пока добежал до него, омылся росой сверху и снизу: с кустов и деревьев она сыпалась крупным дождём, а ноги скоро стали мокрыми от влажной травы. Плеснув в лицо несколько пригоршней холодной воды, Сергей утёрся полотенцем и пошёл, весело поглядывая по сторонам, к храму. День обещал быть просторным и тёплым, небо мягко отсвечивало

слабой голубиной, веял тёплый ветерок, доносивший из школьного сада запах спелых яблок и начинавших уже кое-где наливаться желтизной листьев.

Подойдя к вагончику, Сергей обрадованно вздрогнул, по жестяному карнизу разгуливал вчерашний знакомец — голубь, который, увидев хозяина, скорее спрыгнул на распахнутую дверь и стал встопорщивать крылья.

— Заходи, гостем будешь, — сказал Сергей и, пройдя в вагончик, отломил от булки кусок и, размельчив его пальцами, бросил крошки на землю. Голубь на корм даже не посмотрел и, взмахивая крыльями, пошёл на взлёт, скоро он был уже на уровне купола храма, затем поднялся ещё выше и начал кувыряться, вспыхивая белоснежной изнанкой крыльев.

Размахов засмотрелся на голубя и не заметил, как рядом с ним появился Колпаков, слегка покрасневшийся и вспотевший от хлопот, которые он взвалил на себя по своей воле.

— Зря вы это затеяли, — сказал Сергей, глянув на листы бумаги. — Прокурор теперь с меня не слезет, и вряд ли мне дадут здесь работать.

— Скорее всего, ты прав, — вздохнул Пётр Васильевич. — Но сидеть сложа руки тоже негоже. Конечно, наш голос слабее мышиного писка, но его господь слышит и внимает скорее ему, чем тому, о чём орут сейчас на Москве.

— А там что? — вяло поинтересовался Размахов, едва ли до конца понимавший, что в этот час на кон поставлена судьба страны, но из Хмельёвки вся эта столичная заваруха виделась не трагедией тысячелетней державы, а банальной грызнёй за власть двух чокнутых партбояков, посмотреть на которую, пользуясь хорошей погодой, вывалила на улицу миллионноголовая, в любой момент готовая устроить бузу массовка.

— Что там? — переспросил Колпаков и продолжил: — Там — то же самое, что и во всей России. Вот, к примеру, в Ярославле приехавший американский сектант крестил в Волге разом несколько тысяч человек. Куда до него равноапостольному князю Владимиру, тот, наверно, во всём Киеве едва ли с тысячу человек наловил и силком побросал в Днепр. А ярославцы сами пошли креститься, скопом, а ведь среди них явно были такие, кто был крещён в младенчестве по нашему обычаю. Они кто теперь — православные или сектанты? Как им теперь быть?

— Конечно, это дураки, — сказал Размахов. — Но их оправдывает то, что дурость эта от прекраснодушия и безоглядного стремления к счастью. Они ведь побежали в Волгу не бога обрести, а занять счастье, которое им насулил американец в своей проповеди.

Они помолчали.

— Тебе когда надо явиться к следователю?

— Сразу после обеда, — Размахов наклонился и разжёл сложенный между кирпичей костерок. — Скоро чайку заварим, позавтракаем.

— Чаёвничай без меня, — сказал Колпаков. — А я пойду гляну, сколько мои рыбки карасей наловили.

Сергей присел возле костра на корточки, пошевелил куском проволоки щепки, и они сначала густо задымили, затем их охватило пламя и стало грызть дерево, обращая его в золу и пепел. На жарко запылавшую растопку он положил несколько толстых и сухих веток и уже скоро должен был попятиться: таким жаром пахло от костра, что стало больно глазам, и они налились мутной влагой.

«Какая беда, — подумал Размахов, — что люди лишены возможности вернуться в своё детство. Покидая его, мы уносим с собой не только доброе и хорошее, но и всё накопленное предками зло. И это определяет направление, в котором движется человечество. И у людей, кажется, уже нет возможности сойти с этого гибельного пути, зло неуничтожимо, даже если оно совершено одним человеком. Я вознамерился возместить зло, которое причинил мой отец здешним людям, покаяться перед ними восстановлением храма, но он нужен только немногим старухам и одному старику, а остальным всё до лампочки».

Сергей взял закопчённый чайник, оставленный ему строителями, сходил к роднику, набрал воды и, добавив в костёр дров, поставил его на кирпичи. Он решил сегодня не приступать к работе, а сначала выяснить, что хочет от него прокуратура.

Чтобы как-то скоротать время, Сергей принял обихаживать свой «уазик»: вытащил из него коврики, смёл с пола пыль, вымыл стёкла, затем капот, крылья, дверцы, для чего пять раз ходил к роднику за водой. Между делом заварил чай и, оставив чайник в сторону, в угли костра бросил банку говяжьей тушёнки, чтобы позавтракать, а голубю, который почему-то не хотел его покидать, насыпал из бумажного кулёка случайно найденные в вагончике семечки.

Едва он позавтракал, как к храму подъехал старенький «уазик», из которого вышел священник и некто в шляпе и при портфеле. Размахов решил не обозначать своё присутствие и спрятался за вагончик, но устроился там таким образом, что ему было

всё слышно и видно.

— Вот, это и есть хмельёвская церковь, — сказал человек в шляпе. — Как видите, отец Николай, тут смотреть особо нечего. Признаться, я сам был удивлён, когда узнал, что какой-то энтузиаст взялся восстанавливать эти руины.

— Да, храм находится в удручающем состоянии, — согласился священник. — Но пройдёмте внутрь и поглядим, как там.

Сергей, услышав, о чём толкуют незваные гости, приуныл: выходило, что его обложили со всех сторон и надо отбиваться не только от милиции и прокуратуры, но и от архитектора и попа. Появление священника смутило его особенно глубоко. «С ментами и следователями ещё можно спорить, — подумал он, — но что скажешь попу, если тот спросит, что я подеываю на его территории, в его угодах?»

Архитектор, пользуясь возможностью покрасоваться своими познаниями перед столь диковинным собеседником, вслух вспоминал всё, что ему говорили о храмовом зодчестве профессора института, в котором студенты мечтали стать творцами выдающихся архитектурных ансамблей, а получали вместе с дипломом направления в райисполкомы, чтобы томиться в кабинете, подписывать бумажки, глупеть, спиваться и стариться.

Отец Николай слушал его вполуха, он имел неплохой приход в пригороде областного центра с нескупыми прихожанами и был послан епископом в Хмельёвку как первый подвернувшийся под руку иерей, дабы узнать, что за человек покушается на церковь, которая в числе других храмов недавно отошла от государства местной епархии. Совершенно неожиданно для отца Николая поездка оказалась нескупной. Его принял Кидяев, обворожил признанием, что он был всегда верующим человеком, и продемонстрировал городскому попу стоявшее на полке в книжном шкафу, рядом с тридцатитомником Ленина, Священное писание, которое всучил Тимофею Максимовичу приезжавший в райцентр баптистский проповедник.

Егозливое поведение главы района было для отца Николая не в диковинку, многие махровые атеисты вдруг воспылали любовью к попам, его удивило другое — человек, который по своему почину взялся восстанавливать храм, сие было неожиданно и странно, поскольку благотворитель был человеком городским и никак не связанным с Хмельёвкой. Священник высказал своё недоумение, но Тимофей Максимович не стал размазывать перед приезжим попом — человеком молодым и непредсказуемым — историю с закрытием церкви и то, что самовольщик Размахов является сыном ярого атеиста, бывшего уполномоченного облизполкома по делам религий.

— Вы его шутните, святой отец, — сказал Кидяев. — Да так шутните, чтобы дорогу сюда забыл. Храм ваш, и вы в нём хозяева, а не этот прощельяга.

Отец Николай смутился, и Кидяев его срочно перепоручил райархитектору, который сразу же повёз попа в Хмельёвку, чтобы осмотреть то, что осталось от храма.

— Конечно, — сказал архитектор, выходя вслед за священником на паперть, — эта церквушка не имеет даже районного значения как памятник зодчества, но для меня важно, что это — памятник культуры. И вы представляете, отец Николай, ко мне год назад явился кооператор за разрешением организовать в этом храме лесопилку. Я, конечно, не разрешил, но пылкий кавказец накатал на меня жалобу в газету «Известия», и началось! До сих пор эта газета числит меня в зажимщиках перестройки.

— Вы поступили как честный человек, а брань на ворота не виснет.

— Всё так, но меня вызывали на бюро райкома партии и объявили выговор. Это сейчас они куда-то подевались, а ещё месяц назад райком партии командовал всем и всеми.

— Надо бы встретиться с этим человеком, — сказал отец Николай. — Вот стоит вагончик, машина, это всё, наверное, его.

— Ваш приезд не остался незамеченным, — сказал архитектор. — Видите старушек? Они ведь идут сюда и, стало быть, ответят на все вопросы.

Приезд священника, и в самом деле, был замечен глазастыми хмельёвскими старухами, они мигом собрались у дома Анны Степановны и пошли к храму. Размахов их пока не видел, но рядом с ним кто-то жарко задышал и негромко произнёс:

— Я гляжу, вы сели в засаду. Что случилось?

Размахов повернул голову. Рядом с ним на корточках сидел Зуев.

— А вы зачем сюда явились?

— Как зачем? — прошептал Зуев. — Буду помогать вам. Не прогоните?

— Меня самого сегодня отсюда турнут.

— Это по какому же праву?

— Тише, — сказал Размахов. — Послушайте, может, поймёте, что меня ждёт.

За десяток метров от паперти старухи остановились и, сбившись друг к другу, потупились. Отец Николай благодетельно на них поглядывал и оживал, когда они осмелеют и подойдут, но архитектор их поторопил:

— Не стесняйтесь, гражданки, подходите, есть тема для разговора.

Анна Степановна первой подошла к священнику:

— Благословите, батюшка.

— Бог благословит, — кротко сказал отец Николай и осенил старую крестным знаменем.

Через мгновение к нему выстроилась очередь. Получив благословение, старухи отходили в сторону и скоро выстроились полукругом перед приезжими. Отец Николай вопросительно глянул на архитектора, тот его понял и строго спросил:

— Нам надо встретиться с гражданином, который самовольно вторгся на территорию объекта, принадлежащего православной церкви. Где нам его найти?

Старухи засмутились и запереглядывались, им явно не хотелось вступать в общение с представителем власти. Отец Николай это почувствовал и мягко произнёс:

— Я хотел с ним побеседовать и понять мотивы, подвигнувшие взяться за непосильный для одного человека труд.

— Он скоро явится, — сказала Анна Степановна. — А человек он хороший и смиренный.

— Да-да... — зашумели старухи. — Смиранный и уважительный...

Размахов резко поднялся с земли и стал охлопывать со штанин травяные соринки. Зуев встал следом за ним и сказал:

— Вот оно как начинает поворачиваться. Вы пойдёте к ним?

— Нет, — буркнул Сергей. — Меня вызывает прокуратура, и я еду в райцентр.

— Прокуратура, — удивился Зуев. — Да вы попали в спецрозсыск!

— Не знаю, куда я попал, — скривился Размахов. — Но чувствую себя глупо.

— Я поеду с вами, — решил Зуев. — В прокуратуру надо идти вдвоём, чтобы был свидетель.

— Они могут и вас замести, не бойтесь?

— Я своё отбоюсь. Итак, вперёд и с песней!

Они вышли из-за вагончика, шагая в ногу, и, сев в машину, покинули молчаливо глядевших на них старух, архитектора и священника, прежде чем те успели прийти в себя.

— Куда это они заторопились? — удивился отец Николай.

— Сергея Матвеевича в прокуратуру вызвали, повесткой, — объяснила Анна Степановна. — Пётр Васильевич как раз сегодня обходил нас с письмом, чтобы нашего строителя не судили, — она показала на спешащего к ним Колпакова, который сразу обратился к священнику:

— Вы, батюшка, Сергея Матвеевича строго не судите. Он явился к нам от чистого сердца и много успел сделать.

— Я что-то не заметил следов его работы, — скептически сказал архитектор.

— Это ты зазря так, молодой человек, говоришь! — обиделся Пётр Васильевич. — Здесь в человеческий рост мусору было, и он всё своими руками вывез вон на той тачке.

— Хорошо, не будем об этом, — сказал архитектор. — Довожу до вашего сведения, что храм в числе многих других решением облисполкома передан епархии.

— Слава тебе, господи! — перекрестился Колпаков. — Не чаял и дожить до этого дня. Только беда у нас, батюшка...

— Что такое? — живо откликнулся отец Николай.

— Размахова седни в прокуратуру вызвали. Он, наверно, сейчас туда умотал. Надо его выручать.

— Действительно надо, — сказал священник. — У вас как районного архитектора претензии к Размахову есть?

— Нет. Претензии к нему у прокурора как к самовольщику.

— Что ж, тогда надо ехать к нему, — решил отец Николай и пошёл к райисполкомовскому «уазику». Старухи двинулись за ним следом и так жалобно глядели на священника, что тот взял на себя смелость успокоить их обещанием, которое хотя и не было одобрено архиереем, но неизбежно должно было исполниться в недалёком будущем. — Через самое малое время на ваш приход будет поставлен священник...

Совершенно неожиданно к отцу Николаю кинулся Пётр Васильевич, потрясая листками бумаги.

— Вот старый дурень! Я же про заявление и подписи забыл! Ведь его следователь мигом опутает, Сергей — парень простой, не битый, не мятый. Здесь на церкви от чистого сердца всё делал, наши старухи готовы были его на руках носить...

— Что за заявление? — спросил отец Николай. — В чём же его обвиняют? — ещё пуще заинтересовался священник. — Из-за церкви?

— Не имел, дескать, права здесь шевыряться, тут, мол, государственное имущество. Но сам видишь, батюшка, сколько здесь осталось государственной собственно-

сти. Стены да дыры. Я с вами.

— Садитесь, — недовольно буркнул архитектор. — Но обратно я вас не повезу.

Во время пути отец Николай решал непростую задачу. Размахов с первого взгляда показался ему порядочным человеком, его желание восстановить церковь заслуживало одобрения, но священника смущало другое: он опасался выйти за рамки той задачи, которую ему было поручено решить. Во всяком случае, епископ не поручал ему вмешиваться в мирские дела.

Глава четвёртая

— 1 —

Обычно уравновешенный и рассудительный Размахов, сев за руль, повёл себя по-мальчишески и так газанул, что из-под колёс «уазика» брызнули песок и камешки. Машина на полной скорости вырвалась на проезжую улицу и, распугивая кур и редких прохожих, промчалась мимо сельсовета, на крыльце которого стоял и покурился первую после сытного обеда сигарету Романов. Председатель узнал в водителе Размахова и удовлетворённо хмыкнул: скандал вокруг храма вот-вот должен завершиться самым поучительным для всяких приезжих проходимцев образом. Пусть Москва и потеряла голову, но в глубинке советская власть ещё достаточно прочна, чтобы образумить любого, кто вздумает ей перечить и своевольничать. Романов сам был советской властью много лет, знал её изнутри и свято верил, что ей никогда не будет износу, как бы ни шумела и ни пенилась перестроечная шарашка — это всего лишь лёгкое взморщивание на поверхности огромного русского моря, которое испокон веков тяготеет к покою, черпая в нём долголетие и силу. Но стоит ему покачнуться и тем паче взыграть и накрениться, то не дай бог выплеснуться ему из своих берегов. Цельное в своём покое, оно, подобно ртуту, может распасться на многие десятки миллионов шариков и разбежаться по лику земли, чтобы уже больше никогда не собраться воедино.

За околицей деревни Размахов наконец успокоился и повёл машину без спешки и ровно. Он чувствовал себя неловко перед Зуевым, который стал невольным свидетелем его нервного срыва, виновато на него глянул и включил радио. Послышалось звучание симфонического оркестра, в которое то и дело вторгалось фортепиано, то бурными и взрывными, то умиротворяющими и медленными пассажами.

— Я вас видел в городе, на встрече антибюрократов с межрегионалом Треплинским.

— Был такой грех, — усмехнулся Зуев. — Захотел глянуть своим одним глазом на московского писателя и демократа.

— Ну и как он вам показался? — сказал Размахов. — Я тоже был на этой встрече и, признаюсь, ничего не понял из того, что он говорил. А вот фронтовик, видимо, понял и стал душить писателя, как курёнка. Если бы не вы, то вряд ли бы москвич остался живым.

— Я не его пожалел, а ветерана, — Зуев полез в карман и достал удостоверение, вручённое ему главным антибюрократам области Отступниковым. — Вы видели, как я получал это?

— Видел, — усмехнулся Размахов. — Быстро же вы разочаровались в демократах.

— В гробу я их видел, как, впрочем, и таких коммунистов, как Кидяев и наш беглый первый секретарь райкома.

Зуев швырнул удостоверение в окно и озорно улыбнулся Размахову. Тот ему подмигнул и сказал:

— Мне нравится ваше жизнелюбие. Как её ни клянут, ничего лучше жизни у человека нет и быть не может.

— Я сегодня приехал в Хмелёвку, чтобы спрятаться от необходимости принимать решение, — признался Зуев. — Вчера пообещал хорошей женщине, что на ней женюсь, а сегодня замандражил. Дай, думаю, поеду в Хмелёвку, поработаю на храме, может, и определюсь. А у вас такая заваруха!

Размахов по-доброму позавидовал Зуеву, тот стоял перед выбором, исход которого предугадать было совсем несложно. Сам Сергей тоже ещё не потерял надежды устроить свою жизнь, но ему это сделать было неизмеримо труднее, мешал возраст, грустный опыт прошлого, да и лень, он уже привык к одиночеству и почти захолостяковал.

— Женись, Зуев, — почувствовав симпатию к парню, он перешёл на ты. — Это каждому мужику на роду написано. И ты — не будь дезертиром — женись.

В машине стало душновато, Размахов опустил со своей стороны стекло, пахнуло тёплым ветром, принёсшим с собой запах придорожной пыли и пыли. «Уазик» въехал в предместье райцентра со стороны деревозавода, и по обе стороны дороги пошли штабеля берёзовых брёвен одной толщины, из них делали шпон, который отправляли

в Финляндию для производства мебели.

— Где тут прокуратура? — притормозив на перекрёстке, поинтересовался Размахов.

— Езжай всё время прямо, вон к тому дому с зелёной крышей.

Размахов заглушил мотор чуть в стороне от казённого дома, поднял в дверце стекло и повернулся к Зуеву.

— Жди меня, если хочешь, но идти со мной тебе не стоит.

— Я побуду в коридоре, возле двери.

— Как хочешь, но тебя моё дело не касается.

Дверь следовательского кабинета была выкрашена светло-серой краской и захватана грязными руками. Сергей прислушался и уловил шёпот радио, передающего очередное постановление ГКЧП. Неподальёку хлопнула дверь, и, постучавшись, он перешагнул порог кабинета. Следователь Глазков на приветствие не ответил, посмотрел на часы и сухо произнёс:

— Опоздываете, гражданин Размахов. Вот здесь в протоколе допроса распишитесь, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Подписываясь, Размахов краем глаза успел заметить, что следователь намеревается допрашивать его как подозреваемого. Председатель сельсовета Романов как в воду глядел, предупреждая его об этом.

— Я, кажется, вызван сюда свидетелем, — сказал Сергей, ощутив всю зыбкость своего положения.

— На моей памяти, — холодно произнёс Глазков, — было несколько случаев, когда человек приходил в этот кабинет уверенным в своей невиновности, а отсюда его выводили в наручниках.

— Вы и мне приготовили такой же сюрприз? — спросил Размахов, успокаиваясь.

«Чего, собственно, мне бояться, — подумалось ему. — Ну, повыведывается следователь и отпустит».

— Я бы на вашем месте так не шутил, — сказал Глазков. — Вы, пока, привлекаетесь по двум статьям Уголовного кодекса, за самоуправство и за незаконное производство работ. По этим статьям предусматривается наказание в виде лишения свободы. Прошу вас иметь это в виду. Но вернёмся к протоколу. Ваши фамилия, имя, отчество?

Допрос длился около часа. За это время Размахов рассказал о том, как он появился в Хмельёвке, что успел сделать в церкви.

— Я вас не понимаю, Размахов, — с нотками сочувствия в голосе произнёс Глазков. — Серьёзный человек с высшим образованием, уже далеко не юноша, и вдруг такое мальчишество. Это надо же! Приехать к нам и заняться таким безобразием. Откуда это у вас?

— Нет ничего странного, — решил наполовину открыться Сергей. — Я прочитал в газете, при каких обстоятельствах был закрыт этот храм, приехал в Хмельёвку, посмотрел, затем взял отпуск и принялся за работу.

Глазков погрузился в задумчивость, затем неожиданно ткнул в сторону Размахова пальцем.

— Вы православный?

— Как вам сказать, — смешался Сергей. — Скорее всего, православный.

— Может, вы сектант? — наел Глазков. — Баптист или адвентист?

— Нет, что вы! — изумился Сергей. — Даже рядом с такой публикой не стоял. Но я русский, стало быть, православный.

Следователь кисло глянул на подозреваемого и откинулся на спинку кресла.

— Вас предупреждали о недопустимости проведения работ на объекте?

Не заметив подвоха, Размахов признался, что к нему приходил участковый и грозил штрафом.

— Вот мы и установили самое главное, — довольно сказал следователь и застрочил ручкой по бумаге. — Теперь в ваших действиях просматривается главное — умысел. То есть вы действовали не по незнанию, а умышленно. Так-то вот!

— Интересно девки пляшут! — невольно вырвалось у Размахова. — Вы что, намерены меня в тюрьму посадить?

— Это не я решаю, а суд, — самодовольно осклабился Глазков. — Да-да, суд! А пока подпишите протокол, на каждой странице. С моих слов записано верно и подпись.

— Прочитать можно?

— Прошу! Читайте внимательно, не спеша.

«Неужели всё, чем я жил последний месяц, уместилось в три странички? — подумал Размахов, перелистывая протокол. — Ведь здесь совсем не обо мне написано, это не я, а кто-то другой занял церковь и начал там самоуправничать. Нет, это не я».

— Я этого не подпишу, — сказал он. — Повторяю, я протокол подписывать не буду!

— Ошибаетесь, голубчик, подпишете, у меня отказчиков не бывает, — зловеще

прошипел следователь. — Ведь мне недолго вас задержать, и эту ночь вы прокукуете в КПЗ. Вас такая перспектива устраивает?

Зуев стоял возле кабинета Глазкова и прислушивался к доносящимся оттуда голосам. В коридоре слышались шаги, и Родион отпрянул от двери.

— Что, допрашивает? — сказал Колпаков. — Видите, батюшка, допрашивают парня!

— Если вы не подпишете протокол, то я укажу, что вы от подписи отказались, — послышался из-за двери голос следователя. — Не осложняйте своего положения!

— Вы на меня наручники собираетесь надеть? — насмешливо спросил Размахов.

— Учитывая ваше поведение, такое может произойти уже через полчаса.

Мимо них по коридору провели мужика под конвоем двух милиционеров.

— Надо что-то делать! — воскликнул Зуев. — Вы, батюшка, за Размахова?

— Я скажу своё слово, — ответил священник.

— Тогда идём к прокурору! — решил Колпаков.

Прокурор Звягин был удивлен появлением в своём кабинете не на шутку взволнованных граждан, из которых он сразу выделил священника и догадался, что они явились по делу Размахова. Посетители застали его в тот момент, когда он переговаривал по телефону с заместителем прокурора области и, выяснив, что в дело о хмельвской церкви не следует вмешиваться, раздумывал, как лучше его похерить. «Власть предержажие начали ухаживать за попами, — сказал зампрокурора, — а твой Кидяев еле держится. Лучше быть от этой бодяги в стороне».

На видавшего виды Колпакова кабинет и его хозяин не произвели особого впечатления, он подошёл к столу и положил на него свои бумаги.

— Что это? — опасно спросил Звягин.

— Заявление и подписи от граждан Хмельёвки в защиту вашего подследственного Размахова.

— Размахова, — задумчиво произнёс прокурор. — Да, что-то припоминаю. А где он сам?

— В кабинете у следователя Глазкова.

Звягин, водрузив на нос очки, прочитал заявление, просмотрел подписи и сказал:

— Что-то вас много собралось. Пожалуйста, выйдите в приёмную, кроме гражданина священника.

— Можно мне остаться? — спросил Зуев. — Вы ведь меня знаете.

Звягин поморщился: в этой компании, кроме попа, ещё и «афганец», он здесь с какого боку?

— Я вас не приглашал, интервью не будет. Вы свободны.

Когда Зуев, покраснев от возмущения, вышел из кабинета вслед за Колпаковым. Звягин позвонил по телефону и сказал:

— Зайди ко мне, — в кабинете с протоколом допроса в руке вошёл Глазков. Прокурор быстро просмотрел его и хмыкнул: — Вина Размахова несомненна, он признался во всём. Почему протокол не подписан?

— Отказался.

— Ну, это не имеет значения. Вот такова коллизия, — обратился к священнику Звягин. — Конечно, Размахов не причинил вреда, но сам факт самоуправства налицо.

— Если мне будет дозволено, — сказал отец Николай, — то я выскажу свою личную точку зрения. Мне кажется, что Размахов действовал под влиянием внезапно возникшего в нём благородного порыва. И это извиняет его проступок.

— А ты что скажешь, Глазков? — спросил Звягин и посмотрел на подчинённого тем особым взглядом, который был понятен следователю, потому что они, Глазков и Звягин, давно притёрлись друг к другу.

— Дело практически доказанное, но будет ли оно иметь судебную перспективу?

— Жители Хмельёвки выступили в защиту Размахова, — сказал священник. — Судебный процесс может вызвать толки, станут говорить о трениях между властью и церковью, а это нежелательно.

— Ситуация понятна, — сказал Звягин. — Решай, Глазков.

Следователь изобразил мучительное раздумье, вздохнул и произнёс:

— Что ж, ввиду открывшихся обстоятельств, я подготовлю постановление о прекращении дела. Остальное от меня не зависит.

Прокурор задумчиво перелистал материалы по Размахову, отложил их в сторону и, обращаясь к отцу Николаю, сказал:

— Дело мы закрываем, но где гарантия, что он опять не полезет в церковь?

— Уверен, что этого не случится, — сказал священник. — Храм передан епархии. И в нашей власти решать, кого допускать туда, а кому — запрещать.

Зуев не стал топтаться возле прокурорского кабинета, прислушиваясь к тому, что

происходит за оббитыми кожей дверями, а пошёл разыскивать Размахова. В коридоре его не было, на улице тоже, и Родион заглянул в кабинет следователя. Сергей сидел к нему спиной и на дверной скрип даже не шелохнулся.

— Ты как, в порядке?

— Пока жив, — сказал, вставая со стула, Размахов. — А вот что будет, не ведаю.

— Из Хмелёвки приехали тебе на выручку старик и поп, сейчас он толкует с прокурором. Ты можешь выйти на улицу?

— Я не на привязи, — усмехнулся Сергей. — И прокурорского решения могу дожидаться и на свежем воздухе.

Вместе с ними на улицу вышел Колпаков и сунул на ходу под язык таблетку валидола. Его состояние не укрылось от Размахова.

— Присядьте, Пётр Васильевич, на лавку, отдышитесь. Я же просил, чтобы вы не хлопотали за меня, а вы не послушались.

— Ерунда, — сказал старик. — Такое со мной за день раз пять случается. Слушать врачей и таких доброхотов, как ты, так мне надо в гроб ложиться и вести себя в нём так тихо, что даже не вздрагивать.

На крыльце показалась сердитая крашенная тётка и строго спросила:

— Кто здесь Размахов?

— Ну я, — чуть побледнев, сказал Сергей.

— Вас требует прокурор!

Звягин был сух, подчёркнуто вежлив и, объявляя своё резюме по делу, хмуро поглядывал на Размахова и постукивал концом карандаша по столу.

— На этот раз я ограничусь предостережением. При всякой попытке проникнуть на территорию храма, принадлежащего епархиальному управлению, вы будете немедленно привлечены к уголовной ответственности, без всякой скидки на любые смягчающие обстоятельства. Пока же следователь возьмёт с вас подписку, что вы предупреждены об ответственности, которая неотвратимо последует, если вы забудете, что вам сказано в этом кабинете.

Подписка у Глазкова была уже готова, Сергей, не читая, расписался на бумажке и, не прощаясь, вышел. Он чувствовал, что за время, проведённое здесь, его успели и оглядеть со всех сторон, и вывернуть наизнанку. И теперь ему не терпелось поскорее остаться одному, чтобы успокоиться и подумать о будущем. Он сбежал с крыльца, но его окликнул священник. Сергей остановился и настороженно на него глянул.

— Зря вы так поспешили и не услышали, что я сказал прокурору.

— Здесь любые слова бесполезны.

— Почему же? Слово — это тоже дело. А сказал я, что епархия не будет возражать, если вы окажете помощь в восстановлении храма.

Размахов задумался, но ненадолго, ему показалось, что он догадался, что имел в виду священник.

— Теперь я понимаю, что, схватившись сгоряча за неподъёмное для одного человека дело, поступил глупо и самонадеянно. Но у меня есть возможность исправить свою ошибку прямо здесь, в сию минуту, — Сергей достал из машины потёртый кожаный портфель, расстегнул его и вынул запечатанные банковской упаковкой две пачки десятков. — Примите, батюшка, эти деньги на восстановление хмелёвского храма. Здесь две тысячи рублей, считайте их моим первым взносом.

Отец Николай был молод, и шекотливая ситуация, в которую он попал, его смутила и ввергла в соблазн протянуть за деньгами руку, но он быстро нашёлся:

— Благодарю вас за щедрость, но принять деньги я не могу.

Теперь настала очередь смутиться Размахову, и он робко произнёс:

— Но кому отдать деньги?

— На хмелёвский приход скоро будет назначен священник, ему и передадите своё пожертвование. Если не остынете, то можете стать ему деятельным помощником. Но для этого вам нужно переосмыслить очень многое. Стать христианином не так просто, как это может показаться.

Размахов никак не ответил на назидательные слова священника, сунул деньги в портфель и повернулся к Колпакову:

— Садитесь, Пётр Васильевич, или у вас есть здесь дела?

— Век бы их не видеть. До свиданья, батюшка. Вы уж там поторопите кого нужно, чтобы нам доброго попа прислали. Мы ему помогать будем, пока живы, как господь поволит.

Зуев проявлял явное нетерпение и, воспользовавшись тем, что Размахов открыл капот и стал проверять уровень масла, приблизился к нему и сказал:

— Надеюсь, увидимся в городе, — сказал Зуев. — На мою свадьбу придёшь?

— Что, решил? — улыбнулся Сергей. — Конечно, приду. Между прочим, я завтра возвращаюсь домой, могу и тебя прихватить в город.

— Было бы здорово! — обрадовался Родион. — Тогда я сейчас тоже поеду и покажу, где живу.

— 2 —

Расставшись с Зуевым возле его дома, Сергей выехал на выездную дорогу, где повёл «уазик» как можно бережнее, чтобы не беспокоить Петра Васильевича, который, закрыв глаза, казалось, крепко задремал на сидении. Спокойная езда не мешала Размахову вернуться к недавним событиям, он прокручивал их в памяти, но не мог в полной мере оценить. Нужно было время, чтобы успокоиться и всё осмыслить, а пока лезло на ум лишь то, что у Глазкова он вёл себя явно не лучшим образом, и сейчас ему было стыдно за свою глупость и излишнюю податливость.

«А ведь я трус, — с горечью подытожил Сергей. — Едва-едва устоял, а ведь чуть не подписал протокол. Если бы Глазкова не вызвал прокурор, то он меня дожал бы, ведь я уже потёк страхом перед арестом. Так вот и проверяет человек самого себя, и надо радоваться, что об этом знаю только я».

Здоровый человек не может долго мучить себя стыдом, и Размахов скоро нашёл себе оправдание, что поддался слабости лишь потому, что слишком горячо воспринял вызов к прокурору. Следовательно, едва Сергей вошёл в кабинет, насел на него коршуном и заклевал вопросами, которые забивал в голову подозреваемого, как ржавые гвозди, и добился своего, подмял под себя Размахова, почти превратил его в ничто. Знать об этом было противно, и Размахов, заскрипев зубами, нечаянно газанул и потревожил Колпакова, который уже оклемался и ткнул пальцем в радиоприёмник.

— Включи свою гавотьку! Узнаем, как там в Москве.

Сергей покрутил ручку громкости, послышалась музыка, вполне серьёзная и даже патетическая, которая, не успев наскучить слушателям, внезапно оборвалась, радио задребезжало, и сухой голос диктора сообщил последние новости. Затем опять зазвучала музыка, Колпаков выключил приёмник и матюгнулся.

— До танков дело дошло, мать их за ногу! Не думал, что доживу до такого. Я, парень, советский человек, хотя советская власть меня дважды до кровавых соплей приласкала сначала ссылкой в Нарым, а потом, уже после войны, лагерем. Но я не в обиде: лес рубят — щепки летят. По-другому с нашим народом нельзя, а в Москве и народа нет, там одни едоки.

— Как это нет — все восемь миллионов? — удивился Размахов. — И они, кажется, требуют счастливой жизни не только для себя, а для всей страны.

— Счастья для всех? — скривился Колпаков. — Этот миллион, что сейчас вышел на улицы, не народ, а обслуга столичного начальства, начиная от шофёров и кончая профессорами и академиками.

— Но зачем начальству бунтовать? — сказал Сергей. — У него всё есть.

— Всё есть у того, кто ворует, а попадётся, то получит срок. Надоело так начальству жить, и оно бьётся сейчас за полную для себя волю, чтобы жить вполне по-барски, и никто не смог бы на него пальцем указать, что он вор и мироед.

Размахов хотел было возразить старику, что тот сгущает краски, и если говорить, кто кому обслуга, то учителя и врачи скорее обслуга народа, чем начальства. Но его остановило то, что он сам лет десять тому в кругу художников, писателей и другой весьма продвинутой в западном направлении публики тоже калякал о преимуществах демократии и иногда даже подумывал, что неплохо перенести шведское устройство жизни в страну «развитого социализма». Сейчас Сергей об этом уже не мечтал, но в словах Колпакова была та правда, что советскую интеллигенцию власть образовала, а накормить забыла. Сам Размахов после института получал всего сто двадцать рубликов, а дядя Вася с четырьмя классами — в два раза больше и таких, как Сергей, считал «вшивой интеллигенцией».

— Что же теперь будет? — уже который раз за последние два дня неизвестно кого спросил Сергей.

— Что будет? — сказал, вздохнув, Колпаков. — А то же, что и всегда. Самые наглые и бездушные дадут народишку пошуметь, а потом загонят в стойла с телевизорами и кинутся грабить и растаскивать народное добро: кто машину прихватит, кто — трактор, кто — весь колхоз-совхоз, а кому-то автозавода покажется мало, прикарманит республику, у нас ведь их много...

Размахову такая перспектива казалась невероятной, он верил, что есть ещё сила и справедливость, которые не допустят, чтобы в стране началось безурядье и грабёж, и все в конце концов образумятся, устыдятся того, что натворили, и возьмутся склеивать разбитые в суматохе перестройки отеческие горшки. Народ винить в том, что он в демократическом кураже выхлестал в своей избе окошки и разложил посреди пола костёр — затруднительно, ведь он был не в себе от спешащего к нему со всех ног счастья, которое якобы избавит его от постылой жизни с её беспросветным трудом,

болезнями и ужасом исчезновения в любое мгновение во тьме, у коей нет ни дна, ни покрышки.

— А ты, парень, что теперь надумал делать?

— Я вам, Пётр Васильевич, оставлю свой адрес. Как только сюда попа пришлют, вы мне сообщите, и я привезу деньги — гораздо больше, чем у меня с собой.

— Хороший ты человек, — после некоторого молчания сказал Колпаков. — Я ведь с твоим отцом сталкивался, когда он приезжал церковь закрывать. И после из виду не выпускал. Когда услышал твою фамилию, то сразу всё понял. Ты совсем другой, чем твой батя. Тот был волчара, а те дам! Молчу, молчу... И ты не обижайся ни на меня, ни на своего отца. Твой вот недавно помер, а я ещё телепаюсь, но мы оба из прошлого, и тебе должно быть равно — живые мы или мёртвые.

— Порой я и сам не пойму, как погляжу на то, что творится, жив я или нет меня, — сказал Размахов. — Похоже, и всех, кто сейчас, ополоумев, бегают по Москве, можно вычеркнуть из живых: так рьяно проклинать своё прошлое может лишь тот, у кого нет будущего.

Они выехали на взгорок, и перед ними открылся согревающий душу вид на просторное ещё недавно покрытое спелой пшеницей поле, которое сейчас было пустым, но не безжизненным: на одном его краю два «Кировца», двигаясь бок о бок, оставляли за собой широкую чёрную полосу вспаханной земли, на другом краю, ближнем к Хмелёвке, бродило стадо пёстрых коров. Смешанный лес, с одной стороны отгораживающий поле от оврага, во многих местах, где были осины, проржавел и поредел, и это напомнило Размахову, что прошмыгнуло мимо ещё одно лето его жизни, в которое он вступил с надеждой совершить, может быть, своё самое главное дело, и вынужден теперь признать, что этому не суждено сбыться.

В том, что случилось, кроме себя самого, Сергей никого не винил, ещё несколько дней назад он начал подозревать, что взялся за неподъёмное для одного человека дело, и за ним никого не было, кроме его тени, одного немощного старика и нескольких старух. Все хмелёвские на него поглядывали как на приезжего дурачка, городского придурка, который свалился им на голову и затеял невесть что, непонятно с какой целью. Суэта Размахова вокруг руин храма казалась им, занятым крестьянским трудом, блажью и придурью городского чужака и вызывала у местных жителей опасения, что здесь не всё так чисто и просто и приезжий ищет для себя какую-то выгоду, от которой пострадает вся Хмелёвка.

— Ты когда уезжать собрался? — сказал Пётр Васильевич, когда они уже въехали в деревню.

— Наверно, завтра.

— Слушай, сделай милость, захвати моих, сына и правнука, в город. Заодно я им и тебе картохи по мешку снаряжу, луку, ещё кое-чего. Договорились?

— Без проблем, — сказал Сергей. Колпаков вышел из машины и, прищурясь, глянул на Сергея, мол, что не выходишь? — Я забыл дверь на вагончике запереть, — сказал Размахов. — Подъеду попозже.

Выехав из переуллка, он повернул к храму, но ему преградил дорогу Федька Кукуев, который выскочил из кустов и стал кричать и размахивать руками.

— Что случилось? — Сергей высунулся из машины. — Опять танки?

Дурак в ответ понёс околесицу, несколько раз подпрыгнул на месте и побежал по тропке к храму. «Вот оно что! — понял Сергей. — Что-то случилось там».

Виновником беспокойства оказался уже знакомый Размахову мужик. Он выволол из вагончика уже не первый мешок цемента и приноравливался уложить его на свою двухколёсную тачку. Сергей быстро подошёл к ней и увидел, что гвозди, два топора, лопаты уже находятся там.

— Неси мешок назад, — строго, но спокойно сказал Сергей. — Я ведь тебе сказал, что я всё купил у строителей.

— А они где взяли? — огрызнулся мужик. — В колхозе стащили. Так что — заткнись, пока до председателя не дошло.

— Отнеси мешок в вагончик! — вспыхнул Сергей. — А то!..

— Да пошёл ты! — завёлся мужик и, приподняв нагруженную тачку, попытался стронуть её с места, но Сергей крепко схватил его за ворот рубахи и отшвырнул в сторону, затем опрокинул тачку, вывалил всё, что в ней было, и столкнул её вниз в овраг. Мужик попытался пойти на обидчика с кулаками, но Сергей одним толчком отправил его вдогонку за тачкой.

Свидетелем потасовки стал Федька, она его развеселила, и он, похохатывая, помчался по деревне, оповещать всех встречных о случившемся. Федьку давно никто не слушал, и стычка возле храма осталась незамеченной, но Размахов почувствовал себя скверно. «Нашёл, об кого руки марать! — корил он себя, сидя на брёвнышке возле вагончика. — Всё равно ведь растащат. Надо бы уехать домой, да обещал Колпакову

довезти до города его родню».

Сергей вспомнил о голубе и заоглядывался по сторонам. Его крылатый приятель, словно догадался, что его высматривают, и, слетев с крыши храма, сел рядом с ним и забормотал, расхаживая взад-вперёд по брёвнышку. На ласковое гульканье голубь откликнулся и, взмахнув крыльями, сел Сергею на плечо, и тот умилился этой голубиной лаской. «Если до утра не улетит, то возьму домой, — решил он. — Найду ему пару и поселю на балконе».

Он снял голубя с плеча, легонько подбросил вверх, посмотрел вслед и принялся за работу. Вываленные из тачки мешки с цементом сложил под вагончиком, чтобы их не промочило дождём, лопаты, ящик с гвоздями и топоры унёс в храм и спрятал за лестничной дверью, авось, тут останутся целыми, ведь после отъезда Размахова сегодняшний вор кинется ломать двери вагончика, а сюда заглянуть не догадается.

В день своего первого приезда Размахов, бродя среди куч мусора, поднял кирпич, на одной стороне которого была выдавлена фамилия владельца завода. Находка ему понравилась, и он о ней не забыл: принёс из машины целлофановый пакет, положил в него кирпич и подумал, что этот раритет можно будет использовать как подставку под горячую посуду, получится простенько и со вкусом.

Водой из ведра Сергей сполоснул руки, охлопал со штанов и рубахи пыль и медленно прошёлся по погосту. «Обихожённые могилы, — подумалось ему, — укажут тем, кто станет восстанавливать храм, на погребения, которые необходимо будет привести в порядок... Надо будет и мне на девять дней съездить на могилу к отцу, заеду туда завтра, по пути домой».

Колпаков ждал Сергея, сидя на лавочке возле ворот своего дома, который был ещё крепок и построен хозяином с расчётом не на одно поколение наследников. Двор был от крыльца наполовину заасфальтирован, а на другую половину до коровника, птичника и свинарника покрыт плотно утрамбованным слоем песка и мелкой гальки, над которым был сооружён навес, как и над переходами от крыльца к бане, белому амбару, погребу и дровянику.

— В избе душно и от мух спасу нет, — сказал Пётр Васильевич. — Посидим под яблонями, в этом году они уродились чудо как хороши, особенно папирка!

За домом находилось дощатое сооружение, которое можно было назвать летней кухней, где имелись небольшая газовая плита, старенький холодильник и кухонная утварь. Колпаков был большим любителем устраивать навесы, то же он сделал и здесь, над большим столом и двумя почерневшими от времени скамейками.

Николай Петрович, сын хозяина, выглядел молодо, хотя ему было уже за пятьдесят, носил шкиперскую бороду, золотые очки, и Размахов не ошибся, посчитав его за интеллигента, что тот сразу и подтвердил, умело раскурив пенковую трубку. На Сергея он глянул мельком и без всякого интереса. Тот это заметил и слегка осерчал, потому что недолюбливал тех, кто корчит из себя невесть что, а сам пуст как барабан.

— Это мой старший, — сказал Колпаков. — Учёный, я те дам! Кандидатскую написал, что бога нет.

— Моя диссертация не об этом, — снисходительно сообщил Николай Петрович. — Она против того, чтобы сравнивать веру с научным знанием как способом постижения бытия. Современная техника, создание новейших технологий и многое другое — всем этим мы обязаны научному знанию, религия толкует о каком-то непостижимом человеческому разуму существе, от которого современному человечеству нет никакой видимой пользы.

— Как, Алёшка, готовы караси? — крикнул Колпаков мальчику лет десяти, который приглядывал за шкварчавшей на плите огромной сковородкой. — Ты, Сергей Матвеевич, понял, что сказал мой учёный сын?

— Как же, понял и ничуть не удивлён, — сказал Размахов, усаживаясь на указанное ему за столом место. — Он верит в демократию, многопартийность и гласность. Я не ошибся?

— Нисколько, — остро глянул на гостя Николай Петрович. — Сегодня Россия получила беспроигрышный шанс стать свободной.

Пётр Васильевич уже позванивал вилкой о бутылку, привлекая к себе внимание.

— Сейчас, где только двое соберутся, так сразу разговор о политике. А между тем караси стынут и сохнут.

— Что-то мне второй день везёт на выпивку, — сказал, поднимая стаканчик, Сергей. — Вчера Анна Степановна потчевала, сегодня у вас в гостях.

Сметана отбила от карасей неприятный привкус обитателей донной тины, они были безупречно вкусны с лучком и укропом, которым была присыпана и разваристая картошка. Сергей проголодался и усердно приналёг на закуску, особенно на карасей, и скоро перед ним образовалась значительная горка рыбных костей. Он виновато глянул на Колпакова.

— Сгреб их в чашку, — улыбнулся Пётр Васильевич. — Человек стоит твёрдо на двух ногах, прими и вторую стопочку.

Поколебавшись, Размахов последовал этому совету, но закусил не рыбой, а салом и картошкой. Николай Петрович съел всего лишь одного карасика и сидел, покуривая свою трубку и иногда поглядывая на Сергея, который от водки расхорохорился и отвечал ему тем же, но помалкивал и угощался крупным и сладким крыжовником.

— А что, Анна Степановна тебе телеграмму показывала? — сказал Колпаков.

— Честно говоря, я был ею поражен. Сорок второй год, немцы на Волге и такое получить от самого Сталина. Невероятно!

— Я эту телеграмму видел, когда в школе учился, — оживился Николай Петрович.

— Пропаганда, типичная пропаганда!

— А вот в этом, Николай, хотя ты и учёный, я с тобой не соглашусь, — возразил Пётр Васильевич. — Пропаганда — это голимое враньё, а Анне продукты привезли, обувку и одёвку для ребятишек. Она о своей телеграмме Сталину молчала до его смерти, уже после народ узнал обо всём.

— Всё равно, это пропаганда, — покраснев, заявил Николай Петрович. — Ну, выжили её ребятишки, а кем стали? Валюшка раз пять в тюрьме сидел, да так в ней и умер. Дочери мать бросили...

— Это уже другой сказ, — перебил сына Колпаков. — Я от Сталина претерпел по полной. Не скрою, желал ему худа. Но сейчас я на него совсем по-другому смотрю и понимаю, что кроме того пути, каким он шёл, другой дороги не было. После него генсеки пошли — один плюгавей другого, им ли править Россией? Мишутка Меченый со своей бабой совладать не может, она вместо него всем рулит, а это даже в доме беда, а что говорить, если такое в государстве?

Николай Петрович, выслушав отца с усмешкой, которую умело прятал в бороде и прикрывал трубкой, утвердительно произнёс:

— Вы, Сергей Матвеевич, конечно, согласны с моим родителем.

— Дался всем на язык этот Сталин! — почти рассердился Размахов. — Почти полвека, как он умер, а его всё грызут и грызут. Зачем? Так называемые разоблачения диктатора стали ядом, которым отравлено уже не одно поколение. Я в своё время тоже переболел этим и понял, что страна, где люди идут в будущее с головой, обращённой в прошлое, обречена на самоистребление. Народ чувствует эту угрозу, и поэтому, чем громче и лживее разоблачают Сталина, тем крепче он за него держится и возвеличивает и тем спасает себя самого.

Николай Петрович был опытным спорщиком и знал, что отца и Размахова он не переспорит, потому что они имеют о Сталине своё собственное, а не вычитанное в перестроечных изданиях мнение, но Сергей его заинтересовал как редкий экземпляр самородного консерватора.

— Стало быть, вы противник перемен? Разве вас не убеждает даже то, что сейчас происходит в Москве?

— Очень даже убеждает, но только не в том, что вам хочется, — с горечью вымолвил Размахов. — Мне всю жизнь вдалбливали в башку, что существует некий коллективный разум масс, но последние события демонстрируют коллективную дурь советского народа. Вы, Николай Петрович, член партии?

Прямой вопрос учёному не понравился, он заёрзал на скамейке и нервно пробормотал:

— В общем, да. Я — коммунист, но какое отношение это имеет к предмету нашей дискуссии?

— Самое непосредственное. Я, конечно, неправ: народ может быть ослабевшим, обманутым, но только не дураком. Он руководствуется не разумом, а инстинктами, которые посильнее марксизма-ленинизма. Народ — это живой организм, вроде дождевых червей, которые, когда им тепло и сыро, бесщётно плодятся, когда же студёно, впадают в спячку, а то и гибнут. Но кроме этих двух крайних состояний существуют болезни, и любой народ порой заболевает как телесно, так и духовно. Так вот сейчас в стране около двадцати миллионов коммунистов, они ведь тоже народ, даже самая его, как утверждал Ленин, передовая часть, увы, давно насквозь прогнившая, готовая отречься от идеалов коммунизма и переступить через присягу, которую давал каждый, вступающий в партию. Двадцать миллионов предателей, двадцать миллионов повреждённых изменой души — это такая уйма заразы, гнили, такая бездна безнравственности, что в неё может ухнуть вся Россия... На днях я слушал демократический бред известного межрегионала Треплинского, который призывал всех, в первую очередь русских, покаяться за семьдесят четыре года советской власти. Я не против, пусть, кто хочет, тот кается, но если говорить серьёзно, то грех предательства покаянием не снимается...

— Крепко он тебя уел, Николай! — воскликнул Пётр Васильевич. — В самую точку. Я помню, как ты возмущался, что тебя мурыжат и не принимают в партию, потому что

райком недобрал работяг. Нет, ты должен помнить, — продолжал напирать отец, — как я тебе говорил: не наступай в это дерьмо, так ты не послушал, влез-таки в партию. А нынче где она? Наш первый секретарь дёру дал, Горбачёв, слышно, тоже сбежал. Слава богу, тебе, сын, есть где голову прислонить. Дом ещё крепкий, на твою жизнь хватит, — Николай Петрович вскинулся, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, взяв со стола нож, подошёл к подсолнуху и срезал ему голову. — Вот это правильно, — одобрил Пётр Васильевич. — Тебе, Николай, только и остаётся, как сидеть на завалянке и плеваться семечками. Может, и поймёшь, в чём твоя беда.

— И в чём же она? — вспыхнул Николай Петрович.

— Ты, Николай, и подобные тебе умники отбились от своего народа, как овцы от стада, и рады всякому встречному, даже волку.

— Извини, папа, но в тебе говорит пренебрежение мужика к высшему образованию.

— Это у тебя — высшее образование? — насмешливо глянул на сына Колпаков. — И в чём оно выше моего — крестьянского, ссыльного и фронтового?.. Ты много книжек прочитал, не спору. Но нашёл ли ты в них правду?.. Вижу, не нашёл и никто не найдёт, пусть он будет хоть сам Ленин.

— А как же так называемая ленинская правда? — счёл возможным заметить Размахов.

— Вот-вот! — обрадовался поддержке гостя Николай Петрович. — Значит, и ленинской правды не было?

— Сказать такое — значит признать, что нет правды у народа, — нахмурился Пётр Васильевич. — В семнадцатом она наружу и выперла, но никто, кроме Ленина, на неё не откликнулся.

— И что же это за правда? — усмехнулся Николай Петрович. — Земля, мир?..

— Божеская справедливость. Она для народа главнее всего.

Николай Петрович стал, посвистывая, снаряжать табаком свою трубочку.

— Ленин и божеская справедливость? Это какое-то недоразумение. Послушать, папа, тебя, так Ленин выше самого бога.

— Для мужика они наравне до сей поры были. Скоро многие от Ильича отрекутся. Однако его правда никуда не денется, потому что Россия уже вторую тысячу лет на ней стоит.

— Опять правда! — горячо воскликнул Николай Петрович. — Была одна божеская правда, теперь о какой правде ты говоришь?

— Как о какой? — спокойно сказал отец. — О своей правде, о мужицкой, крестьянской. Она одинаковая и с божеской, и с ленинской. Тебе, Николай, я вижу, это непонятно и чуждо. Но, кажись, у тебя будет возможность во всём этом разобраться и очень скоро.

— Мне и сейчас всё понятно, — буркнул Николай Петрович.

— Станет понятно, когда поживёшь с народом. Новой власти твой марксизм-атеизм не нужен. На пенсию в городе не прожить, вот и переезжай ко мне. Припащем к огороду ещё соток десять и будем картошкой заниматься, можно и кролей держать. И поймёшь, что жить в деревне проще и легче, чем бултыхаться в городе.

— 3 —

Размахов покинул дом Колпакова поздно вечером, когда уже вокруг лампы, включённой над столом, толпился качающийся столб слетевшихся на свет мотыльков, а вокруг стало непроглядно темно, и от огорода потянуло росной сыростью. После третьей стопки водки, которую хозяин обязал выпить гостя на дорожку, чтобы не спотыкаться, старик разоткровенничался и ударился в воспоминания, которые подкреплял показом жёлтых фотографий. Сергей слушал его и удивлялся жизнестойкости этого человека, выжившего и в нарымской ссылке, и на фронте, и в каторжном лагере, но не утратившего способности радоваться жизни и сохранившего, несмотря ни на что, вполне лояльное отношение к советской власти.

— Как я могу её обгавкивать, когда за неё воевал? — удивился Пётр Васильевич, когда сын напомнил ему о репрессиях. — Я при ней родился, стал жить, женился, тебя и твоих сестёр родил, до правнуков при ней дожил, и что же — теперь должен от неё отказать? Может, я, сын, и поглупел от ветхости, но сердца ещё не лишился. Понимай как хочешь: твоя правда, что власть меня гнала и гнобила, но тем и запала мне в душу, с ней и уйду отсель, а там — как господь рассудит.

Николай Петрович вспыхнул, но с отцом спорить не стал, взял своего внука за руку и ушёл спать. Размахов почувствовал себя неловко и поднялся из-за стола.

— Я машину у вас оставлю, а утром приду.

— Вот и хорошо, — согласился хозяин. — За неё не беспокойся, я цепь удлиню, и кобель к ней никого не подпустит.

Выйдя с освещенного электричеством двора заворота, Сергей попал в непроглядную темь и, сделав несколько шагов, остановился, немного постоял, зажмурившись, и, открыв глаза, ощутил, что над ним колеблется свет. Он запрокинул голову и восхитился: свободное от облаков тёмно-серое небо пульсировало множеством звёзд, которые то сгущались до белесого тумана Млечного пути, то соединялись друг с другом в загадочные узоры. Сергей уже давно не оказывался один на один с величайшим из чудес природы и ощутил, как вдруг вострепетала его душа, оживлённая своим родством со всей звёздной Вселенной, в которой ей предстоит пребывать после окончания земного пути бесконечную вечность. Вглядываясь в небо, он чувствовал, что оно — вовсе не безжизненная огненно-ледяная пустыня, а нечто живое и внимающее биению его сердца и восторженно-трепетным всплескам души. И чем пристальнее Сергей вглядывался в скопления звёзд, тем явственнее ощущал на себе ответный взгляд, от которого в сердце вспыхивало зовущее неведь куда беспокойство. Он безотчётно сделал шаг вперёд и попал ногой во что-то мягкое и ещё тёплое. Размахов понял, что это такое, и расхохотался, и рядом с ним зашевелилось и стало подниматься с земли нечто тяжело вздыхающее и громоздкое. «Корова!» — понял он. Бурёнка, задев его жёстким боком, прошла мимо, ударив по руке грязным хвостом.

Похохатывая, он забрёл в мокрую от росы траву на обочине, очистил полуботинки от коровьего шевяка и направился по тропинке через кусты к храму, чей тёмный силуэт был хорошо виден на фоне звёздного неба. Вокруг было тихо и пусто, и Сергей слышал только свои шаги, он уже был в десяти шагах от вагончика, как что-то упало на землю, затем послышался топот убегающего человека. Размахов озорно засвистел ему вслед, но кто это был, не заметил и выбросил этот случай из головы. У вагончика мог шастать кто угодно, скорее всего, тот, кому было любопытно в нём пошариться и разжиться мешком цемента, топором или лопатой.

Встав на приступку, Размахов оглядел замок и убедился, что он цел, отомкнул и распахнул дверь, чтобы проветрить вагончик. Знакомое ему брёвнышко лежало на месте, Сергей присел на него и прислушался к звукам позднего вечера. Где-то неподалёку раздавался шум от движка грузовой машины, который становился всё слышнее, внезапно сначала по стене храма, а потом и по вагончику полоснули ярким белым светом автомобильные фары. Тяжелогружённый «газон» медленно протащился мимо, завернул в проулок, надрывно подвывая, стал подниматься на взгорок, его фары качнулись кверху и двумя снопами света скользнули по крышам домов, вершинам деревьев и погасли.

Вино никогда не веселило Сергея, и от трёх стопок он впал в задумчивость, а потом и загрустил. Несколько последних дней были для него нелёгкими, и, хотя он по характеру был спокойным и уравновешенным, неудача с храмом и особенно смерть отца отложились на сердце двумя болезненными зарубками. «Как-то не так я живу, — думал Сергей, — совсем не так, как все нормальные люди. Сколько себя помню, всё что-то ищущу, надеюсь, что кто-то явится и объяснит мне, в чём смысл моей жизни, в чём моё счастье. Но никто не явился, и может быть, нет на свете у человека ни смысла жизни, ни счастья, а так — унылая колготня и пустяшное беспокойство духа».

Мимо него, прошумев крыльями, пролетела ночная птица, и Сергей, вспомнив о голубе, подумал, что завтра нужно будет о нём не забыть и, если дастся в руки, то взять его с собой в город. Внезапно неподалёку раздался голоса и смех, это закончился в колхозном доме культуры киносеанс и зрители, выйдя на улицу, делились впечатлениями о фильме и прощались друг с другом до утра. Их появление Размахов воспринял как укор себе: эти люди были довольны всем, что ни давала им жизнь, они просто жили, как живёт всё живое, подчиняясь здравому смыслу, который народом почитается как четвёртая ипостась православного бога. К несчастью для себя, Размахов был склонен усложнять жизнь и по всякому, порой даже ничтожному, поводу заглядывал себе в душу, тормошил её, не ведая, что она сама, в случае необходимости, очнётся от дрёмы и нашепчет ему верные слова.

Сергей посмотрел на наручные часы, которые уже начали отмеривать новые сутки, поднялся и, зайдя в вагончик, закрыл за собой на задвижку оббитую железом дверь. Наощупь нашёл лежак, сел на него, снял обувь, ослабил ремень на поясе и прилёг, вытянувшись во весь рост, на жёсткую подстилку, примостившись головой на скомканную куртку. В вагончике чувствовалось лёгкое движение горячего воздуха, днём солнце крепко нагрело железную крышу, и сейчас она источала приятное тепло, которое убаюкивало Сергея и навевало обволакивающую усталое тело истому, постепенно переходящую в дремоту.

Незаметно для себя он провалился, как в яму, в беспокойный и мутный сон, который был схож с приступом горячки. Сергей ворочался с боку на бок, иногда поднимал голову и вновь ронял её на скомканную куртку, ему было жарко и душно в закрытом наглухо вагончике, где не было ни одного продуха, но проснуться и открыть дверь он

не мог, потому что не имел сил перебороть тяжкий морок сонного беспамьяства, пока его не встряхнул крепкий удар в железную крышу обрушившейся от сильного порыва ветра толстой ветки осокоря.

Размахов вскинулся с лежака, наощупь, по стенке, подошёл к двери, распахнул её настежь и жадно задышал, остужая нутро холодным сырым воздухом. Ветер дул сильными порывами, и, откликаясь на них, деревья возле храма и в школьном саду начинали шуметь, роняя пожухшую листву и ослабевшие ветви. Сергей переступил порог вагончика и сбросил с крыши обломок осокоря, почувствовав, что его приятно освежило дождевой пылью, которая вскоре перешла в мелкий и частый дождик. Не закрыв дверь, он вернулся в вагончик, лёг на подстилку и скоро уснул под перестук капель на железной крыше.

Дождь длился недолго. Порывы ветра, который к утру ещё более усилился, разметали дождевые тучи, небо очистилось и начало мало-помалу светлеть. Однако на земле было ещё темно, хотя уже приближалось время первых петухов, и пустынно, пока где-то не взбреднула спронея собака, учуявшая человека, который осторожной воровской поступью, прячась за деревьями и кустами, пересёк сквер возле сельсовета, перебежал дорогу и направился к храму. «Погоди! — зло нашёптывал он. — Я тебе сделаю козью морду!»

Возле вагончика человек остановился, прислушался, огляделся и, подобрав доску, подпёр ей дверь, за которой находился Размахов. «Погоди! — прошипел злодей. — Я тебе дам прикурить». И он стал поливать дверь и стенку вагончика бензином из трёхлитровой банки, которой так размахался, что она выскользнула из рук и вдребезги разбилась о верхнюю приступку лестницы. Неудача ошеломила поджигателя, он заторопился, сунул руку в куртку за спичками, но коробок запутался в мешковине кармана, наконец, злоумышленник вырвал его наружу, выхватил несколько спичек, зажгёт их и швырнул к двери. Через мгновение более половины вагончика охватило пламенем, которое затрепетало, поднялось огненным столбом и отразилось в окнах изб, обращённых в сторону храма.

Чутко спавшая Анна Степановна увидела пожар и, не одеваясь, в одной ночной рубашке, простоволосая, кинулась через улицу к Колпакову.

— Горим! Храм горит! — завопила она, стуча в окошко. Старик распахнул створки.

— Чему там гореть? Кирпичам? — старик на мгновенье задумался и переполошился. — Это вагончик горит! Николай! С Сергеем беда! А ты, Степановна, беги к фершалке, пусть поторопится на пожар. Господи! Какая беда!

Кое-как одевшись, отец и сын Колпаковы выскочили из дома и поспешили к храму, на мгновенье задержавшись возле пожарного щита близ сельсовета. Николай снял с него багор, Пётр Васильевич — топор, но поспеть за сыном не смог, тот оказался раньше всех возле обгоревшего вагончика, отбил от двери обугленную доску, заглянул внутрь и увидел лежавшего на полу возле выхода Размахова. Николай Петрович отшвырнул в сторону багор, подхватил Сергея на руки, отнёс его в сторону, положил на землю и беспомощно оглянулся по сторонам. Где-то невдалеке слышался хрип и кашель задохнувшегося от спешной ходьбы отца, а возле паперти стоял Федька Кукуев с ведром воды в руке.

— Пить, — разомкнул покрытые волдырями ожогов губы Сергей.

Николай Петрович вскочил на ноги, в несколько шагов достиг Федьку, вырвал у него из рук ведро и вернулся к Размахову. Кружки под рукой не было, и доцент стал тонкой струйкой лить воду в разомкнутые губы пострадавшего.

— Как он? Дышит? — задыхаясь, прохрипел Пётр Васильевич. — Осторожнее, чтобы не захлебнулся.

Николай Петрович отстранил ведро, и Размахов тотчас захрипел и задёргался, затем простёр руки вверх и, едва шевеля обгоревшими до мяса пальцами, выдохнул:

— Пить...

— Дай ему воды, только немного, — сказал Пётр Васильевич. — А я побегу к Романову, пора и власти на ноги подымать. Знать бы только, кто это сотворил!

— Может, Федька? — предположил Николай Петрович.

— Он на такое не способен. Но подсказать может. Он, хоть и дурак, но глазастый, — Пётр Васильевич поспешил к дому председателя сельсовета и по пути встретил Анну Степановну. — Худо, шабёрка, — махнул рукой старик. — Обгорел Сергей крепко. А где фершалка?

— Мужа поднимает, чтобы завёл и подогнал к храму «санитарку».

— Что же она к пострадавшему не торопится? — возмущился Колпаков.

— Как не торопится, вон она!

Колпаков недовольно буркнул и прошёл мимо фельдшерицы, не ответив на её приветствие. Уже заметно развиднелось, и деревня была занята утренними хлопотами. Романов в глубоких галошах на босу ногу выгнал с подворья корову с нетелью и

закрывал за ними ворота.

— Беда, председатель! — кинулся к нему старик. — Городского в вагончике кто-то поджёг, и он обгорел почти до смерти.

— Калистратовна! — сказал Романов проходившей мимо соседке. — Прихвати и моих коровёнок в стадо.

— Надо участкового звать, — вздохнул Пётр Васильевич. — Костька Хоботов хоть и глуп, но, глядишь, что-нибудь раскопает.

Совет был дельным, и Романову он понравился тем, что ответственность за «ЧП» можно было переложить на милицию, собственно, это и было её прямым делом — расследовать преступление.

— Куда участкового слать? — спросил Романов.

— К храму, рядом с ним всё и случилось.

— Так я и знал, что добром эта затея с церковью не кончится, — сказал председатель. — Теперь точно корреспонденты, как мухи на падаль, налетят. Свои-то ещё ладно, но могут из Москвы явиться, как же — несознательные колхозники устроили теракт против демократии.

— А ты часом ничего не напутал, Романов? — засомневался Пётр Васильевич. — Какой теракт? Против какой демократии?

— Той самой, которая из Москвы попёрла по всему Союзу, — скривился председатель. — Пойду звонить. Только бы этот Хоботов был дома.

О пожаре возле храма вскоре стало известно многим жителям Хмельовки, и, когда Колпаков подошёл к обгоревшему вагончику, вокруг него толпились люди, Размахов лежал на простыне, фельдшерица срезала с него обгоревшие лохмотья рубахи и брюк, и выглядел он ужасно: особенно сильно пострадали от огня руки, плечи, шея и грудь. Кожа на этих местах была красно-чёрной от ожогов, и фельдшерица там, где было можно, накладывала сухие повязки, а большие участки повреждений закрывала кусками белой ткани.

— Как он? — спросил Колпаков у сына.

— Пока жив, ему сделали какой-то укол.

К храму подъехал «уазик» с красным крестом на боку, из него вышли шофёр и участковый. Хоботов был одет по всей форме, с пистолетом и сумкой через плечо и смотрелся очень серьёзно. Явный поджог с покушением на жизнь человека, которое вполне могло закончиться смертью потерпевшего, было преступлением такого рода, с коим участковый столкнулся впервые, но он не растерялся и приступил к осмотру того, что осталось от вагончика, и сразу же наткнулся на осколки стеклянной банки, которые захрустели под его яловыми сапогами. Хоботов нагнулся, взял осколок, обнюхал его со всех сторон и радостно произнёс:

— Это же бензин!

Это сообщение было встречено молчанием, и только Фёдка Кукуев что-то залопотал и дёрнулся из рук матери, но та не дала ему двинуться с места. Тем временем фельдшерица оказала пострадавшему первую помощь и велела мужу принести носилки. Николай Петрович, Хоботов и шофёр взяли за края простыни, на которой лежал Размахов, и положили его на носилки. Это потревожило Сергея, и он очнулся.

— Пить.

Фельдшерица поднесла к его губам бутылку с водой.

— Несите в машину.

Шофёр и Николай Петрович подняли носилки и направились к «уазу», а впереди их пролетел соскользнувший с вершины храма голубь, который сел на ветку осокоря и встопорщил крылья. Из всех, кто был свидетелем этого происшествия, только старик Колпаков воспринял его как знак свыше и истолковал близко к истине:

— Не своя беда парню досталась. На этом месте должен быть его отец. Но кто знает: может, господь спас его погубленную грехами родителя душу через огненное крещение?

Никто не обратил внимания на бормотание старика, все во все глаза глядели, как носилки с пострадавшим грузят в машину, и только участковый не выпускал из виду Фёдку Кукуева. Мать тянула дурака за руку домой, а он упирался и не хотел уходить. Отмахнувшись рукой от ядовитого выхлопа отъехавшей «санитарки», участковый поспешил к Фёдке.

— Говори, что видел?

— Ничего он не знает! — запротестовала мать. — А если и видел, кто поджёг вагончик, то какая ему вера, он ведь убогий. Ищи, Костя, свидетелей в другом месте.

— Пусть он намекает только, кого видел, — не унимался участковый. — А показания с него я снимать не стану.

— Никого он не видел! — отрезала мать и потащила упирающегося сына прочь.

Хоботов удалению свидетеля не воспрепятствовал, он озабочился по другому поводу:

трупа на месте преступления не имелось, и случившееся было делом не следственной бригады, а участкового, и нужно было произвести необходимые розыскные действия — осмотр места преступления, сбор вещественных доказательств, допрос свидетелей.

— Пойдём, Николай, пока нас не записали в очевидцы, — сказал Пётр Васильевич.

— Костя ведь дурак, но при нагане и, стало быть, имеет власть.

Доцент послушно последовал за отцом, он был до глубины души потрясён тем, что случилось с Размаховым. Не прошло и восьми часов, как тот ушёл из их дома, здоровый и весёлый, не ведая, что судьба уже приготовила для него страшную беду. «Он ведь ужасно мучился, — ощутив, как его пробрал озноб, подумал Николай Петрович.

— О чём он в этот момент думал? Или человек ничего не чувствует, кроме ужаса, когда начинает гореть заживо?»

И доцента осенила очень простая, но обидная мысль, что философия, которой он посвятил всю свою жизнь, добился успехов в научной карьере, написал несколько монографий, не даёт ответа на вопрос — за что человеку, явно ни в чём не виновному, без всякой на то причины приходится испытывать адскую боль и смертельный ужас?

— 4 —

Зуев, приняв какое-нибудь решение, сразу же загорался желанием выполнить его как можно скорее. Так было и с женитьбой. После недолгого разговора с Размаховым все его сомнения враз улетучились, и Родион скоропалительно уверовал, что без памяти влюблён в молодую соседку своей тётки и был готов жениться на ней немедленно, поэтому в свой дом он влетел как на крыльях, расцеловал мать, отдал ей городские подарки, вытащил из-под кровати чемодан и принялся укладывать в него брюки, рубашки и прочие мелочи, чтобы было во что переодеться в первое время на новом месте жительства.

— Ты куда это, Родя, засобирался? — всполошилась мать. — Только приехал и опять куда-то наладился.

Эти слова несколько остудили Зуева. Он бросил галстук на кровать и задумался, как сообщить матери, что женится, чтобы это не стало для неё болезненным потрясением. Она, конечно, иногда заговаривала с ним о женитьбе, но это были беспредметные и нравоучительные беседы, в глубине души мать страшилась, что сын женится, ведь это в первую очередь означало для неё невосполнимую утрату, потому что невеста откуда являлась посторонняя женщина и предьявляла на её дитя права собственности.

— Что же ты молчком собираешься? — сказала мать, и в её голосе послышалась слёзная обида.

— Пока говорить нечего, — Зуев обнял её за плечи. — Тётя Варя приглашает переехать к ней жить. Ты ведь понимаешь, что здесь мне работу не найти.

— Всё равно ты всего не договариваешь, — сказала мать. — И с чего это Варвара так раздобрилась? Берёт тебя к себе, а раньше об этом не заговаривала.

— Наверно, хочет мне помочь, — стараясь не глядеть в глаза матери, сказал Родион. — Она всегда меня привечала.

Ложь во имя душевного спокойствия матери далась ему без особых затруднений, хотя он не способен был даже на малейшую неправду. Но сейчас вот соврал и не поперхнулся, чтобы уехать завтра без материнских слёз и обиды, что сын покидает её из-за вступившей привязанности к малознакомой женщине.

Вечер Зуев провёл за сборами в дорогу, но мыслями был уже в городе и понемногу уже начинал трепетать от одного только воспоминания о том, что было минувшей ночью. Завтра ему предстояло пойти в отношениях с Галей до крайней точки, и это пугало, потому что у Зуева не было никакого опыта интимной близости с женщиной.

Чтобы успокоиться, Родион принялся колоть дрова и махал колуном до темноты, пока не стемнело, а потом включил во дворе свет и переносил все поленья в сарай, крепко устал, но добился главного — уснул, как только головой прикоснулся к подушке, спал без сновидений и встретил утро в радостном настроении.

По привычке он включил радио: заваруха в Москве ещё не закончилась, но успех уже был на стороне Ельцина, из столицы начали выводить войска, и москвичи бурно ликовали по случаю уже близкой победы демократии.

— Какой день уже бакуши бьют, — сказала мать, подавая сыну стопку выглаженных рубах и нижнего белья. — Если всем по среднему заработок закрывать, так никаких денег не хватит. Деревня хлеб убирает, чтобы кормить этих дармоедов, а они всё ходят да кричат, а что им надо, я никак в толк не возьму.

— Что тут непонятно? — Родион выключил радио. — Требуют каждый для себя счастья и свободы.

— Как этого можно требовать? — удивилась мать. — Разве свобода и счастье тоже дефицит, который можно занять только по благу из-под прилавка? Я думаю, это начальство воду мутит. Как бы войны не было.

Зуев воткнул в розетку вилку электробритвы. «Войны, конечно, не будет, — мысленно ответил он матери, — но резня вполне может случиться, и как бы из Союза не получился Афганистан».

Он попрыскал на себя из пульверизатора одеколоном, растёр ладонями щёки, подбородок и шею и только после этого почувствовал, что окончательно проснулся. Сборы были недолгими, и, выпив кружку молока с хлебом, Родион подхватил чемодан, торопливо поцеловал мать и вышел на улицу. Его беспокоило, что Размахов до сих пор не приехал, и он решил пойти на автостанцию, чтобы отправиться в город на рейсовом автобусе.

Пройдя по переулку, он вышел на проезжую улицу и увидел «уазик», который притормаживал, чтобы свернуть в сторону его дома. Зуев поднял руку, машина остановилась, и из неё высунулся Колпаков.

— Беда, начальник! Сергея Матвеевича подожгли в вагончике, и он сильно обгорел. Садись в машину, и поедем в больницу.

— Как же такое случилось? Кто поджигатель? — взволнованно воскликнул Родион.

— Участковый копает, но и без него ясно, кто, — сказал Колпаков. — Федька Кукуев указал на одного, но как докажешь? Дурака в свидетели суд не примет.

— А вы, стало быть, на его машине? — сказал Зуев, открывая дверцу.

— На его. Вечер оставил у моего дома. Сейчас не знаю, как от неё избавиться.

Использовать размаховский «уазик», чтобы съездить в больницу, предложил Николай Петрович. Отец с ним согласился, ему не хотелось держать на своём дворе чужое имущество, и было решено, что сын отгонит машину в город и поставит на стоянке до выздоровления хозяина. Теперь, когда они встретили Зуева, часть забот можно было переложить на него, но Родион был Колпаковым недоволен и счёл нужным заметить:

— Командиром взвода я был, а вот в начальники попасть не сподобился.

— Не обижайся, — сказал Колпаков. — Я ведь по привычке: как в своё время научили недобрые люди, так иногда и сорвётся с языка, когда не знаешь, как обратиться к человеку.

— Меня зовут Родион. А что, Сергей сильно обгорел?

— Вроде что так, — вздохнул Пётр Васильевич. — Но врачи скажут.

Больница находилась на краю райцентра и состояла из нескольких зданий, огороженных забором из бетонных плит, между больничными корпусами имелись асфальтированные дорожки, достаточно широкие, чтобы по ним могла проехать машина.

— Это не наша «санитарка»? — указал Николай Петрович на «уазик» возле кирпичного здания.

— Она, — подтвердил Колпаков. — Я думаю, что Сергея здесь не оставят, а повезут в город, в ожоговый центр.

Они приехали как раз вовремя: из широких дверей показалась каталка, на которой лежал Размахов, накрытый простынёю, рядом с ним шёл врач и хмельёвская медсестра.

— Как он? — сказал Зуев. — Сильно обгорел?

Врач, не ответив, осмотрел кабину «санитарки» и помог шофёру погрузить пострадавшего в машину.

— Его не осматривали, чтобы не травмировать, — сказала медсестра. — Сделали уколы, чтобы не случилось шока до приезда в ожоговый.

— И ты, Катя, его повезешь? — спросил Колпаков.

— Пока он мой больной. Хорошо ещё, что врач с нами будет, ему надо в облздрав.

Зуев напряжённо вглядывался в тряпичный кокон, внутри которого находился Размахов, и, может быть, лучше других понимал, в каком ужасном состоянии находится Сергей. В кабульском госпитале он видел обожжённых напалмом, горевших в подбитых бронетранспортёрах и танках людей и был свидетелем их смертных мук, зачастую переходивших в агонию, почти неизбежно заканчивающуюся смертью, которая являлась как спасение от невыносимых страданий.

— Мы должны проводить его до областной больницы, — сказал он, обращаясь к Николаю Петровичу.

— Согласен, но куда я потом дену машину. У неё на дверцах нет ни одного замка.

— Во двор моей тётушки, — сказал Зуев. — У неё есть гараж, а свой «Москвич» она отдала сыну.

— Вот и хорошо! — обрадовался Пётр Васильевич. — Поезжайте, а меня посадите возле автостанции.

Пока они разговаривали, «санитарка» выехала за больничную ограду, но Николай настиг её сразу за райцентром и поехал следом.

— Будем вести себя смиренно, — сказал он. — Надеюсь, гаишники не будут останав-

ливать машину, которая сопровождает санитарку.

— Вы рискуете правами, — сказал, поняв опасения доцента, Зуев. — Но в угоне вас вряд ли заподозрят.

До города, а затем и до областной больницы они доехали без происшествий. В приёмном покое Размахова оформили после небольшой заминки. При нём не оказалось документов, но Зуев быстро обшарил машину и в бардачке нашёл деньги и паспорт, который, записав все необходимые данные, ему вернули.

— Вот и решилась проблема с гаражом, — сказал он. — Поедем по его адресу.

— Это совсем недалеко, — заглянув в паспорт, сказал Николай Петрович. — Почти в центре. Я этот дом знаю.

Доцент давно не водил машину, и дорога его утомила. В квартиру Размахова он подниматься не стал, и Родион, взойдя по широкой лестнице некогда элитного дома, преодолел смущение и нажал кнопку дверного замка.

— Вам кого? — сказал парень, в котором Зуев тотчас углядел размаховские черты.

— Это квартира Размахова?

— Да, его, — сказал парень и, повернувшись, крикнул: — Вера Петровна! Тут папу спрашивают.

— Он в отъезде, — сказала, выходя в прихожую, седовласая статная женщина. — Вы с его работы?

— Нет, — смутился Зуев. — Я из Хмельовки, где Сергей Матвеевич восстанавливал церковь.

— Какую церковь? — удивлённо всплеснула руками Вера Петровна. — Да вы входите, вот сюда, на кухню. Не разувайтесь, здесь не прибрано. Каждый день новости. Позавчера Олег приехал, удивил меня, теперь вот вы. Значит, Серёжа — какой молодец — восстанавливает церковь? Или что-то не так? Почему вы на меня так странно смотрите?

Приносить в чужой дом чёрную весть всегда трудно, Родион собрался с силами и тихо вымолвил:

— Сегодня ночью загорелся вагончик, где он жил. И Сергей Матвеевич сильно пострадал. Сейчас он находится в ожоговом центре областной больницы.

Вера Петровна опустила на стул и безутешно разрыдалась.

— Какое несчастье! Только отца схоронил, и с ним такая беда!

Со двора донёсся автомобильный сигнал.

— Мы приехали на его машине. У него гараж есть?

— Во дворе, — сказала Вера Петровна и указала на ключ, висевший на гвоздике возле двери. — Его гараж справа. Олежек, проводи и сразу возвращайтесь. А я пока позвоню в больницу.

Николай Петрович загнал «уазик» в гараж и, простившись, удалился. Зуев ещё раз осмотрел салон машины и в кармане за сиденьем обнаружил ещё одну пачку десятирублёвок. Олег за ним не подглядывал, он уселся за руль и примерялся к педалям и рычагу коробки скоростей.

— Пойдём, парень, — сказал Зуев. — Бабушка из окна нас выглядывает.

— Это соседка, — сказал Олег. — Но с ней можно дружить.

Зуев пристально взглянул на него. «Странный парень, — подумал он. — Отец при смерти, а его это вроде и не колышет».

Зайдя на кухню, Родион повесил на гвоздик ключ от гаража, выложил на стол паспорт Размахова и все, какие нашёл, деньги.

— Наверно, хотел потратить на церковь, — сказал он. — Но теперь они ему самому нужны. Да и парню на что-то жить надо.

— Сергей мне деньги оставил, — сказала Вера Петровна. — А эти я запроу в комод. Может такое случиться, что ему придётся к московским докторам ехать, а те денежки любят, — она поставила на стол чайные чашки, варенье в блюде и печенье. — А вы сами как знаете Серёжу? — спросила Вера Петровна, когда Зуев основательно приложился к чаю. — У вас в городе есть где остановиться?

— У меня здесь живёт родная тётя, — и он посмотрел на Олега. — В этой квартире, кроме хозяина, кто-нибудь прописан?

— Я поняла, что вы хотели сказать, — оживилась Вера Петровна. — Завтра же займусь его пропиской.

— Моя тётя долгое время была начальником паспортного стола, — сказал Зуев. — Если надо помочь, то я оставляю её номер телефона.

— Большое спасибо, — она взялась рукой за чайник. — Налить ещё?

— Не надо, — отказался Родион. — Мне надо идти. Завтра я с утра пойду в больницу, а после позвоню вам.

— Ах ты, господи! — спохватилась Вера Петровна. — Совсем дырявою стала память. Мне сказали, что врач освободится через пятнадцать минут, а я и забыла, — она

вышла в коридор к телефону и скоро вернулась, явно огорчённая тем, что узнала. — Состояние стабильно тяжёлое. Пока никаких посещений и продуктовых передач.

На этот раз серьёзность положения, в котором находился отец, стала доходить и до сына.

— Что с ним? Он выздоровеет?

— Будем надеяться на лучшее, — тихо промолвила Вера Петровна. — А я завтра в церковь пойду, кроме как там, искать помощи простому человеку сейчас нигде.

— 5 —

Во время пожара Размахов испытал и перенёс ни с чем не сравнимые боль и ужас. Их не облегчило даже временное беспамятство, он всё видел и всё чувствовал. Однако его мучения только начались. Видимый огонь на нём затушили, но ему всё казалось, что он продолжает гореть — это пылало нестерпимой болью повреждённое пламенем тело, гортань перехватила неодолимая сухость, язык одеревенел, глаза невозможно было даже приоткрыть, поскольку кожа на верхней части лица пострадала особенно сильно и веки прикипели к глазницам.

Невыносимая боль временами полностью затмевала его сознание, и когда доцент вытащил его из вагончика, он провалился в кромешную тьму, за которой начинается человеческое небытие, но организм изо всех сил сопротивлялся уничтожению. К счастью, на помощь успела медсестра и сделала несколько спасительных уколов, после чего ощущение огненной боли притупилось, и она на какое-то время стала восприниматься как болезненный жар, у него почти до сорока градусов поднялась температура, и неповреждённые части тела покрылись потом. В полубессознательном состоянии его привезли в районную больницу, где укрепили уколами и, не осматривая, срочно отправили в областной ожоговый центр.

Под влиянием обезболивающих лекарств Размахов впал в сумеречное состояние, в котором пробыл до тех пор, пока не очнулся в операционной, где начали снимать повязки. И Сергей опять погрузился в пучину невыносимой боли, потому что каждую повязку, хотя их и смачивали тёплой водой, приходилось снимать вместе с кожей и мясом, и он несколько раз терял сознание, но за ним приглядывали и поддерживали жизненный тонус своевременно введёнными лекарственными препаратами. Сняв повязки, переменили простыню и стали протирать обширные, а кое-где и глубокие, ожоги салфетками, смоченными раствором аммиака. Потом всё осушили свежими салфетками, обработали и наложили марлевые повязки. Ему стало чуть легче, но он не догадывался, что эти болезненные процедуры ему предстоит терпеть каждый день.

К концу первой недели чувствовать себя лучше Размахов не стал. Он лишь кое-как притерпелся к страданиям, которые скоро отяготились часто повторяющимися кошмарными сновидениями о том, что ему пришлось пережить в ту страшную огненную ночь. В них он видел себя рядом с вагончиком, снова явственно слышал, как мимо храма проезжает тяжело нагруженный «газон», который поднялся по переулку на взгорок, осветил вокруг фарами и пропал из виду. Скоро раздались голоса возле клуба, из которого выходили после киносеанса люди, он услышал над собой шум крыльев и понял, что это пролетел его голубь, затем почувствовал духоту вагончика и особенно остро то, как железная крыша источает накопленный за день жар. Размахов открыл дверь и освежил своё нутро прохладным сырым воздухом. Шёл мелкий и частый дождик, Сергей лёг на лежак и скоро окунулся в сон, который действительно ему привиделся в ту огненную ночь.

Ему снилось, что он идёт к своему храму, который сияет белоснежной отделкой стен, голубыми рамами окон, зеленью крыши и золотом возглавного креста, поднимается на паперть, и дедушка Колпаков отворяет перед ним двери. И Сергей, неуверенно осенив себя крестным знамением, переступает порог и видит, что внутри храм совсем не обустроен и находится в запустении и разрухе. И только остатки росписи на стене и сохранившийся купол напоминают о том, что когда-то здесь люди славили господу и чаяли от него вечной жизни. Сергей делает несколько шагов по каменному полу, и его вниманием завладевает столп света, который падает из окна в сторону алтаря на то место, где когда-то находился престол, и над самым святым в храме местом кружит и кувырывается, вспыхивая радужным оперением, голубь. Размахова охватывает восторг, он простирает руки, ожидая, что голубь подлетит к нему, присядет на плечо и заворкует. Но неожиданно голубь взрывается как световая граната и превращается в огненный шар, который обрушивается на Размахова обжигающей темнотой и беспамятством.

Через два дня, очнувшись от кошмарного сна, Сергей вдруг вспомнил, что горел не в храме, а в вагончике. Сомнения всё-таки оставались, и он через медсестру вызвал лечащего врача.

— Что тут у нас? Я вижу, что вы совсем молодцом.

— Где я обгорел? — задыхаясь, прохрипел Размахов.

— Разве это имеет какое-нибудь значение?..

— Имеет...

— В истории болезни об этом не сказано. Постарайтесь забыть то, что с вами случилось. Вам предстоит непростое и длительное лечение, поэтому сосредоточьтесь всю свою волю на своём выздоровлении.

Через неделю Размахов несколько окреп, даже начал разговаривать, и врач разрешил допускать к нему посетителей. Вера Петровна и Олег пришли к нему первыми.

— Лежи, Серёжа, и помалкивай! — встревожилась соседка, когда он дёрнулся, чтобы обнять сына. — Нам врач строго-настрого наказал, чтобы ты говорил как можно меньше, поэтому помолчи.

— Как вы там? — медленно произнёс Сергей, и у него на глаза навернулись слёзы.

— У нас всё нормально, — сказала соседка, выкладывая на тумбочку свёртки с продуктами. — Я вычитала, что пострадавшие от огня должны усиленно питаться, поэтому принесла тебе то, что посытнее: грудинку, курочку в духовке приготовила, сметану. Сейчас я тебя покормлю.

От мясного Сергей отказался, попросил сметану, съел в охотку почти стакан и запил соком.

— Худо, Олежка, что отец у тебя стал калекой. А тебя ведь ещё учить надо. В школу записался? Иди в ту, где английский язык.

— Я прописался, — сказал сын, доставая из кармана паспорт. — А в школу пойду завтра.

— Как там, в милиции, — не тормозили пропуску?

— У нас город не режимный, — сказала Вера Петровна. — Прописка свободная, была бы жилплощадь.

— Вот и хорошо, что прописался, — помолчав, вымолвил Сергей. — Если со мной вконец станет худо, то будешь с квартирой.

— Не думай о плохом...

— Погоди, Вера Петровна. Дай успеть сыну сказать... Слушай, Олег, надейся во всём только на себя и никогда не совершай того, что противно твоей совести... К счастью, деньги у тебя на какое-то время есть, должно хватить года на два.

— Твою машину и деньги вернул твой знакомый, Родион. Он сегодня хотел к тебе прийти, но врач сказал, что хватит одного посетителя в день. Юра Уваров звонил, он тоже скоро у тебя будет.

Последних слов Размахов уже не слышал, он опять погрузился в свой огненный сон, которых в действительности было два, и они переплетались друг с другом, и от этого ещё больше запутывали Сергея. Но когда ему одно и то же приснилось несколько раз подряд, он уверовал, что горел именно в церкви. И произошло это не случайно.

«Я уснул в вагончике, — думал Размахов. — Помню, проснулся от духоты, открыл дверь и снова уснул. И тут произошло необъяснимое: каким-то образом, может, даже в лунатическом состоянии я пришёл в храм, и там всё это и произошло. Скорее всего, во время грозы в церковь влетела шаровая молния, в ней-то, пока она не взорвалась, я и узрел своего голубя».

После сна ему стало чуть-чуть легче, и, слегка повернув голову то в одну сторону, то в другую, он увидел только стену и широкое окно, в котором раскачивались ветки тополя. Его шевеление заметил сосед по койке и спросил:

— Что, к тебе вчера сын приходил?

— Он. А ты ходячий?

— Не только ходячий, но и, страсть какой, побегучий, — рассмеялся сосед. — Я здесь уже в седьмой раз лежу, сейчас вот к пластической операции готовлюсь.

— Если здесь есть зеркало, то дай мне в него поглядеться.

— Зеркала здесь нет, но я своё прихватил, — сказал сосед. — А что смотреть, ты же весь упакован в бинты и простыню.

После небольшой паузы скрипнули кроватные пружины, послышалось шарканье, и в глаза Размахова брызнул отражённый луч солнца.

— Поднеси поближе, — попросил он.

В зеркале отразились забинтованное лицо, руки и глаза, которые Сергей не признал за свои и, лишь моргнув, понял, что они принадлежат ему, но в них не было искорки жизни. «Я выгляжу как смертный приговор, — определил без всякой жалости к самому себе, Размахов. — Собственно, я сейчас нахожусь на грани между живым и неживым».

— Как, красавчик, нагладелся? — Сергей не ответил, и сосед, шаркнув тапочками по полу, заскрипел кроватными пружинами. — Ты, мужик, не стесняйся, если что надо, то говори. Я ведь в твоём положении полгода отвалился. И ты не мякни. Даст бог,

поправишься.

Сергей не ответил, ему невыносимо, до горячих слёз, стало жаль себя, поскольку на пороге смерти любой человек, в силу инстинкта самосохранения, больше всего страшится расставания с собой, ведь, умирая, он, в первую очередь, теряет самого себя, а уже затем — родных и близких. Уходящему из круга живых в его последние минуты ни до кого нет дела, всё его внимание обращено на самого себя, потому что ему предстоит совершить самый главный поступок своей жизни — принять таинство смертного преображения, пройти к будущей жизни через полосу огненной тьмы, которая очищает душу от всего земного.

Всем людям не избежать этого испытания, но у каждого оно случается по-своему. Для Размахова очищение огнём началось в полном сознании, он понимал всё, что с ним происходит, но до конца ещё не догадался, кто погрузил его в огненную купель, чтобы очистить душу от скверны, после чего он станет достоин посмертного счастья единения с Богом.

Слёзы затмили Сергею глаза, он шевельнулся, хотел поднять руку к лицу, но смог только сбить со стула возле кровати пустую кружечку. Сосед поднял её, глянул на Размахова и вздохнул:

— Зря казнишь себя. То, что должно было случиться, уже случилось. Радуйся тому, что жив. Погоди, я сейчас промокну тебе глаза салфеткой.

Слова участия приободрила Размахова, и он попытался пошутить:

— Вот, не было счастья, так несчастье помогло: промыл глаза плачем и стал нормально видеть.

— Слёз стесняться не надо, я тоже плакал, даже выл, когда меня привезли сюда.

— Где тебе не повезло.

Сосед поморщился и громким шёпотом сообщил:

— Пошёл в кладовку со свечкой за спиртом и уронил огонь в полную трёхлитровую банку. Хотел свояка попотчевать, а ему пришлось спасать хозяина и тушить пожар.

Даже короткий разговор утомил Размахова, и он погрузился в полудрёму, в которой слышал всё, что происходит вокруг. Скоро к соседу пришла жена и забрала его на прогулку в больничный сад. Санитарка распахнула окна палаты и, шлёпая мокрой тряпкой, протирала пол и ворчала на больных, которые были для неё неряхами и грубиянами. Возле тумбочки санитарка обнаружила пустую баночку из-под сметаны и прочитала Сергею нотацию, на что он отреагировал лёгкой улыбкой и замечанием, что у неё очень приятный голос. Санитарка опешила и, не зная, как отреагировать на сомнительную похвалу, шлёпнула мокрую тряпку на пол и принялась протирать проход, задевая своей внушительной кормой койку.

Вечером дежурная санитарка торопливо покормила Сергея рисовой кашей, но он не насытился и удивился своему аппетиту. Обычно больные едят мало и неохотно, а на него напал жор, и он окликнул соседа:

— Помоги, брат, поесть.

— Не проблема. Сейчас организуем застолье. Моя Люба помидоры принесла, а у тебя что? Так, курочка, как раз к помидорам. Не худо бы к такой закуси соточку, но это не про нас. Я как хлебнул горящего спирта, так и зарёкся.

Курица и помидоры пришлись Размахову по вкусу. Он, не торопясь, съел грудку, большой мясистый помидор, подождал, когда сосед дожует куриную ногу, и поинтересовался:

— Стало быть, ты с пьянкой завязал?

— Не было счастья, так несчастье помогло. Ведь до этой беды меня жена и грызла, и ласкала, чтобы я пить бросил, всё без толку. Нашему брату, чтобы избавиться от дурной привычки, надо обязательно получить чем-нибудь тяжёлым по бестолковке, чтобы в ней колесики завертелись в правильном направлении. А ты крепко бухал?

Но Размахова в палате не было, насытившись, он опять погрузился в свои огненные сновидения, скрипя зубами и вздрагивая, переживал всё, что с ним случилось, и очнулся уже вечером, когда в палате включили свет и она наполнялась торопливым лиственным шумом, который волна за волной накатывался из полукрытого окна. Где-то совсем рядом была жизнь, и выпавший из неё почти целиком Сергей остро затосковал о том, что вряд ли удастся дожить до первого снега, погрузиться в его молодящую тело и душу свежесть, попробовать на вкус, в конце концов, слепить голыми руками снежок и запустить им в дверь гаража во дворе своего дома.

Постоянно пребывающее в огне сердце Размахова заподрагивало. Он заскрипел зубами и беззвучно заплакал, и скоро его глазницы наполнились слезами, которые он кое-как сумел промокнуть полотенцем, но не досуха, и свет уличного фонаря дробился в его глазах, рассыпаясь на множество искр, которые можно было принять за снег, и это видение Сергея заворожило и успокоило.

– 6 –

Расставшись с Верой Петровной, Зуев сел на трамвай и всю дорогу до тётушкиного дома размышлял, куда ему идти — к ней или к Галине. Выйдя на остановке, он, не торопясь, дошёл до знакомого подъезда, постоял и скорым шагом двинулся туда, где его ждало угощение «горячими пирожками», а их, судя по её нетерпеливому нраву, у молодой женщины было приготовлено для Родиона в избытке.

Побывавшему не раз в опасных переделках боевому офицеру оказалось непросто преодолеть шесть лестничных маршей до нужной квартиры. Перед Галиным этажом поставил чемодан на площадку, поднялся на несколько ступенек, выглянул на лестничный марш и тотчас поспешил обратно, потому что где-то наверху хлопнула дверь, и кто-то дробно застучал каблуками по бетонным ступенькам. Это была школьница, которая, потряхивая большими белыми бантами, пробежала, на ходу поздоровавшись, мимо Зуева, а он, поняв, что глупо торчать перед дверью, взялся за ручку чемодана.

Смотрового глазка на двери не было, но Галя распахнула дверь без задержки, и по её радостно засиявшему лицу он понял, что она счастлива его видеть.

— Вот, приехал...

— Заходи, Родя, — защebetала Галя. — Я тебя сегодня с утра в окно выглядываю, но занялась стряпнёй и проглядела.

— Может, я потом найду, — нерешительно произнёс Зуев. — Где сынишка?

— Я одна-одинёшенька! — засмеялась Галя и потянула его за рукав. — Сын в садике.

В прихожей, когда за ним захлопнулась входная дверь, Родион почувствовал себя увереннее и, поставив чемодан на пол, шагнул вперёд, они обнялись, и Галя, отступая шаг за шагом, повлекла его в спальню, где Зуев, торопливо раздевшись, испробовал впервые в жизни «пирожок» с начинкой сладчайшего восторга, который только дан человеку природой.

— Ты, Родя, сегодня пришёл ко мне сам не свой, — сказала Галя. — Может, что случилось?

— Хороший человек в беду попал, — и Зуев рассказал ей про Размахова. — Почему так жизнь несправедливо устроена: хорошие люди мучаются, а негодяи живут припеваючи?

— Ах, Родя! В жизни всё рядом — и хорошее, и плохое. Я смотрю только на её светлую сторону, а что там, в тени, меня ни капельки не интересует. Конечно, жаль твоего друга, но своей тоской ты ему не поможешь. Может, ему лекарства будут нужны, так у меня блат в аптечном управлении.

— Он сильно обгорел, — мрачно сказал Зуев. — Я видел таких в Афгане, долго они не живут, но мучаются, не приведи господи!

Галя была не склонна говорить об этом и увлекла Родиона приготовлением к праздничному обеду, которым решила отметить его вселение в квартиру. Зуев вызвался сходить в магазин и получил в руки список всего, что нужно купить, и вместе с ним увесистый кошелек.

— У меня деньги есть.

— Вот и хорошо, что есть, — сказала Галя. — Они тебе пригодятся, а это расходные на прожитие. Там же талоны на масло и колбасу, — она придирчиво его оглядела и подвела к зеркалу. — Пиджак никуда не годится, а брюки пока сойдут за первый сорт.

— Что ты затеяла? — удивился Зуев.

— Погоди, — она достала из шкафа пиджак яркого малинового цвета. — Это тебе.

— Мне? — поразился Зуев. — Но он, как это сказать, не мужской расцветки.

— А вот и неправда, очень даже мужской пиджак, как сейчас стали говорить — для крутых ребят.

— Ты где его взяла?

— Как где? Ты что, забыл, что я модистка? Я первый такой пиджак сшила для Подростка.

— Для какого ещё подростка? — не понял Зуев.

— Один из самых крутых в городе. Сейчас, Родя, время пришло для таких, как они. А чем ты их хуже? Офицер, афганец. В этом пиджаке тебе всюду будет дорога, так что обнови его немедленно.

Зуев облачился в малиновый пиджак, глянул в зеркало и остался доволен: Галя на глазок угадала его размер, и пиджак сидел на нём, как влитой, и его цвет уже не показался ему таким крикливо-вызывающим, как с первого взгляда.

Прихватив пару пустых авосек, Родион спустился вниз, вышел на улицу и направился в магазин путём, сторонним от тётушкиных окон. Ему не хотелось попадаться ей на глаза, чтобы не отвечать на прямые вопросы, которые бывший

начальник паспортного стола умела ставить так остро, что они Родиона вгоняли в краску своей откровенностью. Но это у неё получалось не от испорченности милицейской службой, а от привычки говорить всегда правду.

Продуктовый магазин был Зуеву знаком, будучи в гостях у тётушки, он здесь неоднократно бывал, и обычно в нём имелись товары и покупатели. Но, войдя в торговый зал, он поразился пустым прилавкам и малолюдству. Не было даже водки, одни ряды консервов, овощных и рыбных, молочные пакеты и бутылки, макаронные изделия, грязная бочка с постным маслом, дешёвые сигареты и хлебобулочные изделия — всё это Родион охватил одним взглядом и, вздохнув, развернул записку с Галиным заказом. В нём значился один продукт, который можно купить свободно — поваренная соль в серых килограммовых пачках.

В молочном отделе по талонам он приобрёл восемьсот граммов масла, в мясном — кило двести «Докторской» и отправился в овощной павильон. За картошкой была очередь, и Зуев встал за мужиком, который явно страдал с похмелья: краснел и потел, источая вокруг себя такое похмельное амбре, что все от него отворачивались.

— Мне десять килограммов и, будьте добры, помельче, — продавщица сыпанула в грязный лоток из ящика картошку, бухнула её на весы. — Девушка, я просил, чтобы помельче, — недовольно пробрюзжал мужик.

— Не хотите — не берите! — озлилась баба. — Кто следующий?

— Вот же у вас мелочь стоит, полный ящик.

— Это отбраковка.

— Вот и взвесьте её мне.

Очередники возмущённо зашумели, раздалось несколько негодующих возгласов.

— Обратно не приму! — заявила продавщица и насыпала мужику картофельной мелочи большую продуктовую сумку. В ответ он победно огляделся по сторонам и радостно выпалил, глядя на Зуева:

— Учись, парень, жить! Теперь моя, когда очистит эту мелочь, хренушки отправит меня в другой раз за картошкой. Замучается чистить!

В очереди зашумели, кто-то обозвал мужика жестокой скотиной, но он, всё так же победно поглядывая по сторонам, подмигнул Сергею и понёс картошку домой.

— Тебе тоже мелкой? — спросила продавщица.

— Нет, мне покрупнее, — сказал Зуев. — Я сам чищу.

За час, который он отсутствовал, Галя успела накрыть стол, переодеться, позвать на торжество гостью, и когда Зуев появился в квартире, тётушка его обняла и расцеловала.

— Надо же, решился! А мы с Галей думали, если ты сегодня не явишься, составить группу захвата и взять тебя в твоём райцентре штурмом. Что это ты купил? Картошку? Молодец, Родя, не слушай тех дураков, которые палец о палец не ударят, чтобы помочь жене по дому.

— В продуктовом — шаром покати, — сообщил Зуев. — Но талоны я отоварил.

— Я их не всегда использую, — сказала Галя. — Меня пока клиенты уважают.

Зуев посмотрел на стол и сглотнул слюну: такого угощения ему не то чтобы пробовать, видеть не приходилось.

— Любовь да совет! — провозгласила Варвара Ильинична, чокаясь с молодыми.

— Живите и не слушайте тех, кто стонет, что жить плохо. А когда в России было всем хорошо? Мы не Голландия, где людей поштучно, как гладиолусы, выращивают. У нас в народе сорняков полно, им то это не по нраву, то другое. А вы живите для себя и, бог даст, для своих детей. Горько!

Тётушка долго засиживаться не стала, попробовала всего помаленьку из того, что было на столе, и покинула молодых, прихватив после Галиных уговоров ассорти из тех блюд, за которые особенно усердно хвалила хозяйку. Зуев проводил её до дверей подъезда, вернулся в квартиру и, выпив рюмку водки и закусив, выразительно глянул в сторону спальни. Галя в ответ улыбнулась так призывно и многообещающе, что Зуев, без лишних слов, подхватил её на руки и, жадно целуя, устремился к кровати.

Следующий день они начали с того, чем закончили вечер, затем позавтракали, и Зуев, помявшись, сказал:

— Как бы я от такой жизни не разбаловался. Пойду в отдел по трудоустройству.

— Что они тебе предложат — сто рэ. Берись за кооператив.

— Я в этом деле господин дерево.

— Можно подумать, что все кооператоры умники! Надо арендовать помещение. Лучше в центре. Сходи к своим афганцам, они и чернобыльцы сейчас в городе многим крутят. Где-то у афганцев есть своя организация, вот туда и сходи. Под лежачий камень вода не потечёт.

Галя отвела сына в детсад, вернулась и показала Зуеву все документы, которые собрала, чтобы создать кооператив: вырезки из газет и журналов с правовыми актами, всякие справки, образцы заявлений в надзирающие органы. Родион за пару часов со

всем познакомился и понял, что одному с этим не справиться, нужна помощь. Галя вновь напомнила ему про афганское братство. О нём мог знать танкист Нечаев, с которым Зуев познакомился в госпитале. Поколебавшись, он нашёл в записной книжке номер телефона соратника по «Антибюрократическому центру». Нечаев был дома, и они быстро столковались, где и во сколько им встретиться.

Галя не выпустила Родиона из квартиры без придирчивого осмотра. К малиновому пиджаку она подобрала фиолетовую рубашку, а на шею Зуева, весьма его этим смутив, возложила золотую цепочку с золотым, с финифтью, крестом. Он хотел запротестовать, но, взглянув на себя в зеркало, промолчал: что-то в новом облике ему пришлось по душе. Родион, несмотря на боевое прошлое, ещё не избавился от мальчишества, и, когда ему представилась возможность вообразить себя киношным героем, он за неё ухватился.

К башне с городскими часами Зуев подкатил на такси. Нечаев уже был на месте встречи и, увидев Родиона, удивился:

— Тебя и не узнать! Прикидывался тихоней, а теперь возьми тебя за рупь двадцать, с золотой цепью и в крутом прикиде.

— Ерунда! — отмахнулся Зуев. — Потолковать бы надо. Где тут можно приземлиться?

— Это запросто, — сказал Нечаев. — Мой комбат — хозяин кафе, оно за углом, — в заведении его хорошо знали и обслужили без задержки. На столике появились небольшие рюмки для коньяка, лимон, кофе. — Мы с тобой не виделись всего ничего, — сказал Нечаев. — Но что случилось? Ты сейчас совсем не похож на бывшего старлея, которого я затащил на лекции московского демократа.

— Честно говоря, я антибюрократов выбросил из головы. А ты всё с ними тусуешься?

— Что же тебя заставило сменить убеждения? — не отступал Нечаев. — Сейчас, после подавления путча, антибюрократы могут в области и городе сделать почти всё. Отступников открывает в облизполкоме двери ногой. Мудосарова раскрутила свою газету.

— Пусть тешатся, — Зуев понизил голос. — Я сменил не убеждения, а образ жизни.

— Не понял, это как?

— Женился! — провозгласил Зуев и подозвал официантку. — Подайте бутылку шампанского.

— Погоди, я позову комбата.

Свидание с афганцами слегка затянулось. Но выпито было совсем немного. Зуев не забыл, зачем сюда явился, и, приглядевшись к комбату, выложил свою просьбу насчёт аренды помещения. Майор тут же провёл Родиона в свой кабинет, вызволил чиновника горисполкома, который занимался нежилыми помещениями, и быстро с ним столковался о приёме на следующий день Зуева по вопросу аренды. Родион поинтересовался, сколько это будет стоить? Оказалось, что полкуса, то есть пятьсот целковых, цена, по уверению бывшего комбата, вполне божеская, потому что с нового года всё будет многократно дороже.

Зуев никогда не давал взяток и вошёл в горисполком с большой опаской, как шпион на встречу с представителем центра. Нужный ему кабинет находился на втором этаже, он взглянул на часы: до встречи с чиновником осталось две минуты, и заторопился. Других просителей у кабинета не было, Зуев уже хотел постучать в дверь, но она отворилась, и хозяин кабинета протянул руку:

— Если вы ко мне, то давайте паспорт. Другие документы потом, — внимательно рассмотрев фотографию на документе и сличив её со слегка растерянной физиономией Зуева, чиновник пригласил его в кабинет. — Вы знакомы с условиями получения аренды?

— Так точно, — по-военному чётко ответил Зуев.

— Давайте их сюда, — чиновник заглянул в конверт с деньгами и сунул в ящик стола. — А теперь, Родион Игнатьевич, порешаем ваши вопросы...

Из трёх предложенных вариантов Зуев, вместе с Галей, выбрал помещение, которое находилось практически в центре. На согласование всех вопросов ушло ещё две недели, и каждый день был заполнен суетой с оформлением бумаг, поездками то к пожарникам, то в горгаз, то в электросети, то в санэпидстанцию, без своих колес Родион вряд ли управился бы, но «жигулёнок» шестой модели был на отличном ходу и обеспечил первопроходцу капитализма необходимую мобильность.

Зуев был крепко занят своими делами, даже поездку к матери с молодой женой отложил на неопределённый срок, пока не уладит все дела с открытием кооператива. Он и Вере Петровне позвонил лишь потому, что Галя вдруг поинтересовалась здоровьем Размахова.

— Ему стало полегче, но всё ещё очень плох, — сказала соседка. — Его готовят к

операции.

— Он обо мне не вспоминал? — спросил Зуев. — Может, какие лекарства надо достать.

— Серёжа мало чем интересуется. Но посетителей к нему уже пускают. А про лекарства надо узнать у лечащего врача, мне он ничего не говорил.

Зуев положил трубку на телефон и посмотрел на Галю.

— Завтра поедем на пару дней к моей маме, — сказал он. — А после возвращения съездим к Сергею.

— Я чувствую, что тебя в больницу не тянет.

— Ты права, — помедлив, сказал Зуев. — Я в Афгане всяких «двухсотых» посмотрелся, а Размахов, если и ждёт кого-нибудь, то, конечно, не меня.

На следующее утро Зуев проснулся в дурном настроении, осторожно, чтобы не потревожить жену, поднялся с кровати и прошёл на кухню. Кофе его взбудрил, но душевное спокойствие не вернул, и он, подойдя к окну, посмотрел на свою «шестёрку», припаркованную возле подъезда, взял авоську, положил в неё кусок колбасы, лимон, шоколадку, стараясь не шуметь, открыл входную дверь и покинул квартиру.

Новый аккумулятор помог завестись движку сразу, Родион дал ему поработать вхолостую и стал протирать запотевшие стёкла. Хлопнула входная дверь, он обернулся и увидел жену, которая, прикрыв наготу плащом, выскочила из квартиры следом за ним.

— Ты куда?

— В больницу к Размахову. А ты что подумала? — сказал Зуев. — Испугалась, что убегу?

— Мне стало страшно. Проснулась, а тебя нет, — жалко улыбнулась Галя.

«Она меня любит», — самодовольно подумал Зуев, наблюдая в зеркало заднего вида, как жена машет рукой ему вслед. Две недели семейной жизни пролетели для него одним махом, и Галя ни в чём не обманула его в своих обещаниях. Она всегда и во всём, особенно перед незнакомыми людьми, подчёркивала, что её муж — голова затейного кооперативного предприятия, а она — всего лишь помощница и советчица, и такой семейный расклад Зуева вполне устраивал.

Было раннее утро, но Родион, ставший за несколько дней пробивным и настойчивым, не сомневался, что в палату пройдёт без всяких затруднений. Его малиновый пиджак и поблескивающее на шее золото ослепили больничную службу, и только на этаже, где размещался ожоговый центр, дежурная медсестра слабо вякнула: «Вы куда?» Но тотчас сникла в своей наполовину стеклянной будке.

После подъёма прошло уже около часа, и в палате санитарка помогала беспомощным больным промыть глаза и облегчиться.

Зуев наклонился к Размахову.

— Сергей...

— Не ожидал меня увидеть таким?

Зуев пододвинул стул к койке и присел.

— Что врачи говорят?

— Ничего хорошего не обещают, — слабым голосом произнёс Размахов. — К операции готовят.

— Когда операция?

— Завтра. Ты возьми в тумбочке виноград и дай мне. Что-то сушит горло... А ты изменился, хотя, может, этот пиджак тебя переменял.

— Я женился, — сказал Зуев. — Помнишь, я об этом говорил.

— Нет, не помню, но поздравляю. Свадьба была?

— Через месяца три, ближе к Новому году гульнём. И ты к этому времени поправишься. Были бы кости, а мясо нарастёт.

— Вряд ли, — прошептал Размахов. — Впрочем, всё на волоске.

— Может, тебе лекарство какое нужно? — заговорил Зуев, чтобы ободрить Размахова. — У моей Гали связи в аптекоуправлении. В конце концов, пусть тебя отправят в Москву. Сейчас медицина добилась многого — сердце пересаживают, недавно кому-то кисть руки пришили. Сейчас наука уже близка к тому, чтобы удлинить жизнь человека вдвое, до ста пятидесяти лет...

Зуева остановили хлюпающие звуки, которые стал издавать Размахов. Родион наклонился к нему и по глазам понял, что тот смеётся.

— Это здорово, что человек будет жить вдвое дольше, только как жить? — Сергей глянул на Зуева. — Заменят ему сердце, почки, даже голову, но кто ему другую душу даст, кроме бога?.. Над душой доктора не властны, они даже уверены, что её нет вовсе.

Размахов заворочался на скрипучей кровати, издавая звуки, которые можно было принять и за смехи, и за всхлипывания. Родион поднялся со стула и озабоченно наклонился над ним.

— Тебе что-нибудь надо?

— Мне уже ничего не надо, — сказал Сергей. — Этой ночью я понял, что со мной происходит и через что мне предстоит пройти.

— Может, не будем о грустном? — весело сказал Зуев. — Я на все сто уверен в твоём выздоровлении.

Из-под марлевой повязки, покрывающей почти всё лицо Размахова, опять послышались булькающие звуки.

— Этой ночью я понял, что нахожусь за порогом жизни, в том самом промежутке, который отделяет её от смерти. Ты знаешь, что такое смерть?

— Я о ней никогда не думал и не хочу думать, — пробормотал Зуев. — Даже в Афгане не думал о ней.

— Я знаю, что моё преобразование началось не так, как у других людей это происходит — после смерти, — хрипло выдохнул Размахов. — Ведь я не просто обгорел, а наполовину освободился от кожаных одежд; врачи возле меня хлопчут, но они не в силах возродить мою плоть, которая мешает высвободиться из неё душе. Ты бы им сказал, чтобы они не мучили меня, оставили в покое...

— Я этого не слышал, Сергей, — сказал Зуев. — А ты этого не говорил. Ты просто обязан выздороветь.

Размахов часто задышал и закрыл глаза. Родион подвинулся к нему и поднёс к растрескавшимся губам винограднику.

— В человеке с часа его рождения что-то да умирает, — сказал Размахов. — Но он живёт до тех пор, пока его душа не покинет тело. А её на привязь не посадишь, придёт срок, и улетучится.

Закончить разговор им не дала старшая медсестра, которая властно скомандовала, чтобы посторонние покинули помещение. Начинался утренний обход больных лечащими врачами, и Зуев, облегчённо вздохнув, простился с Размаховым и торопливо покинул больничную палату. Слова, сказанные Сергеем, разбредили его собственную душу, и она откликнулась на чужое горе слёзным постыдыванием о своей неизбежной участи — пострадать за грехи, которые человек совершает, не думая о последствиях. Но думал об этом недолго, до первого перекрёстка, где чихало, пыхтело и тарыхтело скопище машин, готовых ринуться на главную улицу города.

— 7 —

С приездом Олега жизнь Веры Петровны приобрела осмысленную полноту. Она приняла его как родного внука и стала относиться к нему со всей теплотой и заботливостью, чего тому всегда не хватало в своей семье, где мать уделяла всё внимание детям от второго мужа и к первенцу относилась с прохладцей, которую тот не мог не заметить. Во всяком случае, она его не избаловала, и, приехав к отцу, Олег вёл себя скромно, не паялся в телевизор, а принялся изучать устройство автомобиля, надеясь со временем оседлать отцовский «уазик». Сегодня, после школы, он опять засел в гараже, и Вере Петровне пришлось, открыв окно, звать его к столу.

— Олежек! — громко зывала она. — Пора в больницу, а ты ещё не обедал!

На первый зов он не откликнулся и лишь после третьего захлопнул книжку с описанием устройства автомобиля и показался на глаза хлопотливой соседке, которая, призывно махнув ему рукой, принялась накрывать на стол: поставила тарелку куриного супа с лапшой, гречневую кашу с котлетой, кружку компота и сдобную булочку. Вере Петровне нравилось глядеть, с каким аппетитом Олег поглощает приготовленные ею кушанья, в этом она видела одобрение своей работе, и другой похвалы ей было не надо.

— Завтра отца будут оперировать, — сказала она. — Я с утра уже в церкви побывала. А ты, Олежек, не молчи возле него. Сейчас ему твоё тёплое слово нужнее лекарства.

— Я хочу сказать, но как посмотрю на него, на ожоги и раны — и молчу, чтобы не заплакать.

— Плакать не надо, — сказала Вера Петровна. — Твои слёзы его напугают, он может подумать, что тебе плохо живётся.

— Мне здесь хорошо, — вздохнул Олег. — И в школе понравилось, только с английским беда.

— Вот об этом не говори, — испуганно произнесла Вера Петровна. — Однако нам пора, пока на трамвае доедем до больницы, и тихий час кончится.

Поднявшись на этаж, где размещался ожоговый центр, Вера Петровна отправила Олега в палату к отцу, а сама робко вошла во врачебный кабинет. Ставший хорошо знакомым лечащий врач оторвал взгляд от лежавших перед ним бумаг и приветливо улыбнулся.

— Как там с операцией? Не опасно?

— Палец занозить — и то опасно, — сказал врач. — Конечно, ваш больной — тя-

жёлый, но это обычная плановая операция. Постарайтесь его не беспокоить и не утомляйте, ему нужно набраться сил.

— Вы уж, доктор, постарайтесь, — промямлила Вера Петровна, неловко пытаясь засунуть в выдвинутый наполовину ящик стола завёрнутую в газету бутылку коньяка.

— Не надо, зачем вы так, — слабо запротестовал врач.

— Примите как благодарность, — прошептала Вера Петровна и торопливо покинула кабинет.

Она была женщиной слабонервной, и вручение подарка вызвало у неё усиленное сердцебиение, от которого удалось избавиться не сразу, и в палату Вера Петровна вошла побледневшей.

— Как себя чувствуешь? — прикоснувшись губами к щеке Сергея, сказала она. — Завтра похолодает, а это тебе облегчение. Этим летом жара измучила всех: и здоровых, и хворых.

Сергея напоминание о погоде обеспокоило, и он спросил:

— Как у тебя, Олежек, с верхней одеждой и зимней обувью?

— Зимнего у него ничего нет, — сказала Вера Петровна. — Но он парень рослый, и ему подойдут твои новые сапоги, дублёнка, свитера, куртка, а костюм для школы, рубашки, туфли мы с ним купим.

— Как в школе?

— Нормально, — сказал Олег. — Я, папа, хочу «уазик» освоить. Ты не против?

— Осваивай, только не разбериай. Я лет в десять, пока отец был в командировке, пытался отремонтировать будильник. Разобрал, а собрать его и часовой мастер не смог. Ты, Олежка, вряд ли сам в машине разберёшься, но её ещё и водить надо уметь. В автошколе время от времени объявляют набор на курсы шофёров. Туда принимают только после восемнадцати лет, но машину можешь считать своей.

Размахов к увлечению сына отнёсся благожелательно, каждый приход Олега в больницу действовал на него благотворно, он выходил из полубреда, в котором находился почти всегда, и мог вести разговор. Сын чувствовал себя рядом с изувеченным отцом неуютно, смущался, отвечал на его вопросы словно нехотя, и было заметно, что он тяготится пребыванием в больничной палате. Размахов хорошо понимал, что это происходит не от душевной чёрствости Олега, а не что иное, как защитная реакция молодого и здорового организма на присутствие рядом больного и страдающего человека.

— На следующее лето, Вера Петровна, у тебя для поездок на дачу, к сожалению, не будет своего персонального водителя, — сказал Размахов. — А если серьёзно, то ты, Олег, решай, куда пойдёшь учиться. Бог отправил человека трудиться не в наказание, а чтобы он совершенствовал свою душу, и это происходит только через работу.

— Я в политехнический пойду, — сказал Олег. — Там учат на программистов.

Сергею решение сына понравилось тем, что тот не просто бесцельно взирал вокруг, но примеривается к жизни, пытается нащупать тот шесток, на который ему определено взлететь его судьбой. Одновременно он жалостливо подумал о себе, и у него были когда-то мечты, но пока готовился взлететь, топорщил крылья, время безвозвратно утекло, а тут ещё так некстати на него обрушилось несчастье. Сергей замолчал, его опять повлекло в сумеречное состояние, в глазах запыльхали багровосизые языки пламени, и он погрузился в беспокойный лихорадочный сон, который нёс его по отсвечивающей жаркими всполохами близкого пожара бескрайней реке памяти, из глубины которой вставали видения как прошлой, так и будущей жизни.

Вера Петровна и Олег покинули палату, Сергей этого не заметил и пришёл в себя только вечером, когда к нему пришёл Уваров, который посещал его каждые два дня. Обычно весёлый, на этот раз он явился хмурый и озабоченным какой-то ведомой только ему одному думой.

— Ну, как там? — сказал Размахов. — Судя по твоему похоронному виду, великого борца с привилегиями Ельцина наконец-то короновали?

— До этого дело ещё не дошло, но он уже где-то рядом с тронном верховного правителя России, или того обломка, который останется от развала Советского Союза, — Размахов тяжело вздохнул, заворочался и попросил воды. — Хочешь квасу? — предложил Уваров. — Мама только что сцедила.

Сергей согласно хмыкнул и облизал сухие губы.

— Ядрёный квасок, — сказал он, отстраняясь от опустошённой кружки. — Настоящий. Сейчас мало в жизни того, что можно назвать настоящим, то есть природным и коренным. Пожалуй, человек сейчас в состоянии подделывать всё, кроме смерти.

— Но жизнь ведь самая настоящая, — не согласился Уваров. — Человек обладает свободой воли, имеет право выбирать, как ему жить — во грехе или праведности.

— Ты, Уваров, так и не освободился от либеральных заморочек, — после некоторого молчания скептически произнёс Размахов. — Какая может быть свобода выбора

там, где всё фальшь и враньё, начиная от выроodka Горбачёва, заканчивая моим лечащим врачом, который, в общем-то, нормальный мужик, но врёт, что я вот-вот оденусь в новую кожу и доживу до пенсионного возраста.

Уваров встал со стула, прошёлся несколько раз возле кровати, затем огляделся по сторонам и достал из кармана стограммовую бутылочку коньяка.

— Ты не против?

— Должен же я хоть раз нарушить режим, — сказал Размахов. — Сядь спиной к двери, чтобы вовремя ликвидировать следы преступления.

Уваров опорожнил бутылочку в кружку, наклонился над Сергеем и помог ему выпить. От шоколада Размахов отказался.

— Не надо портить сладостью ощущение жизни, которое присутствует в настоящем коньяке.

— Вот видишь, — улыбнулся Уваров, — в жизни не всё фальшь, есть и настоящие вещи.

— Этой ночью со мной всё будет по-настоящему... Может, помнишь у Твардовского: «Я погиб и не знаю: наш ли Ржев, наконец?..» Вот и у меня та же боль: я уйду и не узнаю, что будет с Россией?

— Этого никто не знает, — сказал Уваров. — Советская власть, судя по всему, приказала долго жить, государство вот-вот рухнет в тартарары вместе с идеями всемирного братства и мирового коммунизма. А взамен ничего нет. И не будет. Вот смотри: в семнадцатом году были царь, дворянство, интеллигенция, буржуазия, служители культа, пролетарии и крестьянство. Сейчас ничего этого нет в помине, а есть нечто усреднённое — советский человек, завтра это будет уже бывший советский человек, у которого на уме только одно: удовлетворить свой аппетит как можно быстрее. Миллион москвичей во время путча на демонстрациях — это рабы аппетита, и нет такой идеи, которая могла бы их образумить и очеловечить.

— Зря ты так на москвичей, — сказал Размахов. — Или ты на народ в обиде?

— Ах, Серёжа! Если бы ты знал, как я любил, как боготворил наш народ, а он — баран, да, баран! Так называемый путч показал это во всей полноте.

— Стало быть, вчера ты любил народ, а сегодня — нет, — попытался поднять голову с подушки Размахов. — В своё время меня тоже мучили эти вопросы. А ведь на них ответили до нас: «У кого нет народа, у того нет и Бога!» Это и про большевиков сказано, и про тех выроdkов, что сегодня раскалывают державу на части, и про нас с тобой, Юра.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что все мы, кто с высшим образованием, способны скорее полюбить чужое, чем своё, да ещё этим бахвалимся... — Размахов часто задышал, покрылся крупными каплями пота, и Уваров, взяв полотенце, начал им размахивать, затем утёр лицо друга. — Одышка, — прошептал Размахов. — Знобит что-то.

— Может, позвать врача? — предложил Уваров. — У тебя же завтра операция, надо его предупредить, что ты простудился.

— Операции не будет. Времени у меня для неё нет. Да не тарасься на меня, я в своём уме. Всему своё время...

Размахов проснулся далеко за полночь. Больница жила своей жизнью: кого-то везли на срочную операцию, кого-то — с операцией, в коридоре ставили раскладушки и укладывали тех, кому не хватало места в палатах, кто-то стонал и метался в бреду, возле медпоста сестрички обсуждали новые модели обуви, а над кирпичным пристроен к больнице из трубы вился дымок. В котельной возле открытой топки стоял кочегар и бросал в неё отходы операционного производства. За эту работу ему не платили, он выполнял её за кружку спирта, которым скрашивал свою скучную кочегарскую жизнь. Опьянев, он выползал из дымного подвала на улицу и начинал петь: «Выйду на улицу, гляну на село: девки смеются, и мне весело!..» Пенье кочегара было похоже на вой, больные жаловались, что их беспокоят, и главный врач неоднократно предупреждал ночного солиста, но уволить его не мог, потому что на эту работу никто не шёл.

До сегодняшней ночи Размахов воспринимал соло кочегара с раздражением, но сейчас им не возмутился и понял, что тот не озорует, но изливает тоску своей закопчённой пьянством души по богу в разудалой песне, потому что не ведаёт ни одной молитвы. Где-то хлопнула рама, и чей-то строгий голос велел полуночнику заткнуть глотку, и за окном воцарилась тишина.

Прекратилась беготня в коридоре, но Размахов больше не пытался уснуть, он вдруг почувствовал, что на него, не мигая, кто-то смотрит в упор. Сергей осторожно повернул голову к окну, и ему сразу бросился в глаза тонкий ослепительно белый месяц, который плыл сквозь гонимые ветром тучи, как утлый чёлн по бурному морю. «Он ведь спешит за мной, — подумал Сергей, зачарованно глядя на его торопливое движение. — И я должен радоваться, что отправлюсь в бесконечность много раньше

других, коим ещё предстоит дожидаться очереди на своё посмертное счастье».

– 8 –

Кончина Размахова произошла для окружающих его больных и медперсонала незаметно. Утром санитарка подошла к его кровати, поставила на тумбочку чашку с тёплой водой, обмакнула в неё тампон, чтобы протереть глаза больному, и, вскрикнув, кинулась из палаты. Сначала прибежал один врач, затем другой...

– Отмучился! – сказал сосед по койке. – Ушёл и никого не потревожил.

Старшая медсестра известила Веру Петровну о смерти Сергея. Соседка от потрясения потеряла дар речи, и пока на кухню не пришёл Олег, привлечённый запахом сгоревшего лука, так и стояла возле газовой плиты с вытаращенными глазами. Он снял с конфорки сковородку, отставил в сторону и открыл форточку.

– Что с вами? Почему вы плачете? Что случилось?

– Беда к нам пришла, – прошептала, глотая слёзы, Вера Петровна. – Нет больше твоего отца и моего Серёженьки... Позвонили из больницы... Скончался. Что теперь делать будем? – и она безутешно зарыдала.

Олег слишком мало знал отца, ещё не сжился с ним, и известие о его смерти воспринял, не утратив рассудка. Он нашёл в записной книжке телефонный номер Уварова и сообщил ему о несчастье.

Вера Петровна проплакалась и с жалостью поглядывала на Олега.

– Что же теперь с тобой делать, сиротиночка ты моя? Так и не удалось тебе пожить с отцом, придётся обратно ехать к матери.

– Нечего мне там делать! – твёрдо сказал Олег. – Я для матери почти чужой и всегда лишний. А мне с вами хорошо. Будем жить, как до этого жили.

Веру Петровну слова юноши растрогали до слёз, на этот раз радостных. Она тоже не хотела расставаться с Олегом, потому что не представляла себе жизнь в одиночестве без того, чтобы не заботиться о ком-нибудь и не хлопотать вокруг него с утра до ночи.

Скоро приехал Уваров, он был бледен, но внутренне собран и сразу взялся за телефон: позвонил на авиазавод, чтобы профсоюз оказал помощь деньгами, затем озадачил Зуева похоронными заботами. Надо было кому-то на следующий день забирать покойника из морга. Уваров взял это тягостное дело на себя, и когда гроб был доставлен в квартиру, приглашённые из церкви старушки начали отчитывать умершего. Двери в квартире не закрывали, проститься с Сергеем пришли соседи, приехала с авиазавода женщина, профорг цеха, где он работал, и отдала Вере Петровне конверт с деньгами.

– Сергея надо похоронить в отцовской могиле, – предложил Уваров.

– Так и сделаем, – согласилась с ним Вера Петровна. – Мне и Олегу удобнее будет к ним ходить.

Катафалк прибыл вовремя, несколько парней взяли гроб на полотенца и вынесли во двор. На кладбище поехали всего несколько человек. Возле могилы Зуев посмотрел на Уварова:

– Может, скажешь несколько слов? Прекрасный был человек...

– О чём говорить? Что для него наши слова?

Гроб опустили в могилу, засыпали песчаной землей, поправили дубовый крест и отправились домой, на поминальный обед. Отойдя от могилы на несколько шагов, Олег обернулся и разрыдался до истерики. Уваров и Зуев взяли его под руки и кое-как усадили в автобус. Бывалый шофёр, смекнув, что парня можно вывести из припадка только мужским способом, сунул ему в руку почти полный стакан водки:

– Помяни, легче станет!

Олег, морщась и стуча зубами о край стакана, опорожнил его досуха, стёр с лица чистым платком слёзы и попросил сигарету. Уваров подал ему пачку и щёлкнул зажигалкой.

Поминальный обед делали в кафе рядом с домом. Зуев и Уваров не засиделись за столом, помянули друга, вышли в сквер, где присели на скамейку. За два дня они успели приглядеться друг к другу и почти подружиться.

– Я почти ничего не знаю о том, чем Сергей занимался в деревне, – сказал Уваров. – Вроде восстанавливал храм, потом эта трагедия...

– У него непременно всё бы получилось, если бы не эта беда. И вот что скажу: мне заниматься этим делом некогда, а ты мужик пробивной, – Зуев пристально посмотрел на Уварова. – Давай хоть чем-нибудь поможем восстановить храм в Хмельёвке. Это же его дело, пусть оно станет нашим.

На Руси много раздаётся прекраснодушных обещаний, но этот разговор не остался без последствий. Прошло несколько месяцев, и после Нового года жизнь Уварова круто переменялась. Он наконец-то понял правоту Размахова, что русское общество, как, впрочем, и все другие объединения по национальному признаку, бестолково по

своей сути. Его прозрению способствовало и то, что «Гамаюн» стал местом склок и разборок на темы, далёкие от тех, которые были заявлены при его создании. Но Уваров был от природы деятельным человеком и не мог долго пребывать в одиночестве. Поразмыслив, он повернулся к православию, стал посещать церковные службы, сблизился со священнослужителями и, получив благословение епископа, создал фонд возрождения храма во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Хмелёвка.

Зуев был в курсе уваровского проекта, он даже стал одним из соучредителей фонда, вовлёк в него зажиточных кооператоров из «афганцев», и уже к маю фонд располагал суммой, достаточной, чтобы приступить к капитальному ремонту храма. Уваров и Зуев поехали в Хмелёвку, где их весьма благожелательно встретил отец Владимир, успевший за короткое время обосноваться в своём приходе. Он жил у Колпакова и сумел себя поставить в отношениях с председателем колхоза и председателем сельсовета как новая пришедшая всерьёз и надолго духовная власть, чему два закоренелых атеиста безропотно подчинились, и возле храма и внутри его копошилась бригада колхозных строителей-ремонтников.

Дела шли ни шатко ни валко, мужики не торопились утром начать работу, а после обеда спешили её закончить. Уварова и Зуева они приняли за какое-то областное начальство и сначала помалкивали, но быстро разобрались, что к чему, и стали требовать улучшения условий труда, спецодежду, но в основном жаловались на низкий заработок.

— Креста на вас нет, а стыда — и подавно! — прикрикнул на них Колпаков, который, не глядя на свою неизлечимую хворь, потащился сопровождать приезжих. — Разбаловал вас батюшка, привыкли на повременке баклуши бить, но не всё коту масленица. Теперь будете вкалывать сдельно: как поработаете, так и полопаете!

Мнение бывалого старика получило поддержку не только у Зуева, Уварова и священника, но и у строителей. Составили договор, где определили объём работы и сумму оплаты, и дело стало спориться. Зуев уехал в город, а Уваров и отец Владимир в четыре глаза приглядывали за строителями, чтобы те исправно выполняли свою работу.

На ремонт помещения храма, по прикидке Уварова, тех денег, что имелись в фонде, было достаточно, но предстояли значительные траты на внутреннее убранство и на колокола. Второй раз идти по кооператорам Уваров не решился и, собравшись с духом, явился к самому председателю облисполкома Фролу Гордеевичу, благо, что охраны вокруг него пока ещё не было, секретарша куда-то из приёмной выбежала, и Уваров, осмелев, сунулся в самый высокий кабинет области.

— Ну и чего ты застрял в дверях? — проворчал хозяин, отставляя в сторону стакан чая в подстаканнике. — Заходи, раз явился, только излагай дело ясно и коротко.

Уваров с некоторой дрожью в голосе изложил свою просьбу, присовокупив к ней пожелание:

— Хорошо бы всё сделать к восьмому октября, ко дню совершения памяти по преподобному и богоносному Сергию Радонежскому.

— Денег у меня нет, — помолчав, сказал Фрол Гордеевич. — Да они тебе и ни к чему: пока довезёшь их до завода, наполовину обесценятся. Получишь «уазик» с завода и обменяешь его на колокольный звон. Может, он поможет нам пережить это безвременье, раз другого ничего не осталось.

Через два дня Уваров получил новёхонький, с конвейера, «уазик», оформил на него документы, оставил машину в гараже Размахова и уехал на Урал. Назад он вернулся с утверждённым и подписанным директором завода договором на совершение сделки, а через два месяца в Хмелёвку прибыла машина с одним большим и тремя маленькими колоколами. К этому времени ремонт храма в основном был завершён, стены внутри и снаружи побелены, крыша где залатана, где перекрыта и покрашена краской-серебрянкой, окна застеклены, и со стороны храм смотрелся весело и призывно, приглашая каждого, кто только на него ни взглянет, войти в него и очистить свою душу искренним покаянием.

Колокола поднимали за неделю до дня памяти преподобного и богоносного Сергия Радонежского. Поглядеть на это событие собралась вся деревня, из города приехали Зуев, Олег, Вера Петровна. Уваров прибыл отдельно со звонарем соборной церкви, тот и распоряжался подъёмом колоколов. Работа заняла несколько часов, но люди не расходились. Наконец были подняты все колокола, из храма вышли рабочие, помогавшие звонарю, ещё несколько минут продолжалось молчание. Потом раздался мягкий, но мощный голос большого колокола, который подхватили малые колокола, и люди обнажили головы, и многие стали осенять себя спасительным крестным знамением.

Алексей ГРИГОРЕНКО

ЛЕШЕК МАРШАЛОК

**Сказ о том,
как воссоединилась с Россией Украина козацкая
и как сгинула Речь Посполитая панская¹**

Глава 15. В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ¹

Утром, едва рассвело, плотный туман опустился на Киев. Сырость и запах весенней реки, казалось, проникали даже сквозь закрытые окна.

Такой сумрачный март. Впрочем, как и всегда.

И все-таки — нет. Этот март 2020 года оказался особенным и ни на что виденное и известное прежде не похожий: 18 числа границы всех государств закрылись и началась новая эпоха нашей жизни: некий коронавирус, подлая болезнь сродни чернобыльской радиации, которую глазом вовсе не увидеть, показал вживе всем нам, сколь призрачна и зыбка наша жизнь... Но это уже другая не-история, к сожалению...

Снег сошел и на газонах уже робко зеленела трава, но до лета, щедрого, полного жизни, движения и надежд, было еще далеко. Стоя возле окна, я расслышал, как на склонах киевских гор, в улицах и на проспектах просыпающегося города тихо и сокровенно, почти что неразличимо перезваниваются друг с другом церковные колокола, — ну как же об этом забыть: первое воскресенье Великого поста, называемое от века Торжеством православия. И даже неважно, что отсюда, из моего обиталища, нельзя различить, какие звоны «канонические», а какие «неканонические», — вот ведь какая гримаса приключилась с нами на независимой ни от кого Украине, — целые три деноминации, называющие себя по имени православными, имеем мы на любой цвет и вкус, взаимно же друг друга с негодованием отрицающие, — все, как говорится, для человека, — только приди к нам и отдай свою душу. Ну и денег немного, по силам... Московский патриархат в лице УПЦ, Киевский патриархат под водительством бессменного, бессмертного и непотопляемого, анафемствованного, ко всему прочему, Филарета Денисенка и Украинская автокефальная церковь, так называемая «липовская» или «самосвятная», извода бурного для былой имперской церкви 1921 года... Здесь же — и униаты, греко-католики, со скромностью примостились под православной личиной, приросшей к ним за 400 лет мимикрии, и тоже призывно звонят в колокола, давным-давно крепкой стопой ступили в Киев они из галицких подвалов и схронов... Сегодня они уже требуют от Рима статуса «патриархата», а от здешних временщиков-президентов — статуса чуть ли не единственной по-настоящему патриотичной религиозной деноминации, имеющей, по их мнению, все основания считаться — ни много, ни мало — «верой отцов»... Поднять бы из забытых могил козаков Сагайдачного — ужаснулись бы и не поверили увиденному и услышанному, сами зарылись бы поскорее в землю обратно, да и поглубже. А строки украинского гимна:

¹ Главы 1-14 опубликованы в №15 «Невского проспекта».

*«Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду...»*

— стоит прокомментировать особо из-за их терминологической и вероисповедной, скажу мягко, неточности. Уже автор этого текста 1862 года, Павел Чубинский, происходивший из обедневшего рода польских дворян, похоже, не различал неподобающей двусмысленности этого помянутого «козацького роду» — козаки, как я уже говорил, были ревностными православными, угрожавшими даже своему митрополиту Иову Борецкому, а последователей церковной унии они вообще предавали смерти без колебаний. Но Чубинский об этом, вполне вероятно, если и знал, но просто забыл, то о нынешних греко-католиках, распевających этот гимн от всего сердца и во всю мощь молодецкой груди в Раде и на майданах украинских городов, сказать совсем нечего. Все — от первого до последнего, от праведного и до неправедного — звонят в колокола, проповедают всеобщую милость, любовь и добро, приглашают на праздник и торжество...

Что тут есть истина? — так и хочется спросить, перефразируя слова Пилата, обращенные к Иисусу Христу.

Христос промолчал. Так и сегодня простой обыватель не сможет внятно ответить на этот вопрос. Прокуратор в древней мятущейся Иудее задавался этим вопросом, но сегодня — это вам не две тысячи лет тому прочь, и не Иудея к тому же — славный град Киев празднует Международный женский день и чтит своих тружениц, матерей, жен, возлюбленных и дочерей. Так что какое тут Торжество православия, если как раз и выпал день этот на пресловутую «Клару Цеткин», как мы в юности называли с моим сгинувшим дружбаном Сероштаном день праздника 8 марта, и народ, само собой разумеется, вместо того чтобы отправиться в храм и свидетельствовать о своей вере, за которую всего 200-300 лет тому назад отдавали жизнь их предки и которую в войнах боронили, отстаивали и провозглашали как непреложную истину запорожские и городовые козаки Южной Руси, бежит к смуглолицым улыбчивым торговцам цветами и покупает тюльпаны-мимозы для своих «половинок». Все бурно радуются и отправляются выпивать.

Тут можно было бы сокрушиться духом и посетовать, если бы время приостановило свой бег, а уж тем более если бы возможно было повернуть время вспять, отменить то или это, пережить заново все, но уже по-другому, вразумить горячие головы в прошлом, стать кем-то вроде пророка и открыть неразумному люду те бездны несчастий, падений и ужасов, ожидающих народ за преступление заповедей и законов, за нарушение как духа, так и буквы — ради мнимой свободы, ради миражей и обмана с «землей», «заводами», «миром во всем мире»...

Однако подошло время выходить в храм. Моя Лика давно уже отправилась в Лавру на раннюю литургию. Не может по состоянию нынешнего своего девичьего здоровья причащаться на поздней, не вкушать и не пить до полудня. Я же по лености собирался в Ильинскую, она совсем рядом, через пару кварталов от нас, на Почайнинской. Мы живем на Подоле и издавна являемся прихожанами этого храма. По примеру средневекового епископа Григория Турского, составившего в 6-м веке драгоценную «Историю франков», который предварил свой замечательный труд полным исповеданием Никейского символа веры, ввиду буйствовавшего вокруг него арианства (что и сегодня насущно — да и всегда — но сегодня в особенности), следует и мне, ввиду общей нашей конфессиональной неразберихи, отметить, что наш храм принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Ну, а как несостоявшемуся историку, мне остается добавить еще весьма существенную деталь о том, что, по мнению ряда исследователей, Ильинский храм является чуть ли не старейшим церковным объектом в Киеве. Ну, само собой разумеется, не сегодняшний храм, куда я отправился, — он поздний и построен в конце 17-го столетия семьей киевского мещанина Петра Гудымы, а тот, что стоял на его месте в домонгольскую пору. В 2015 году исполнилось — ни много, ни мало — 1070 со дня упоминания о нем самим преподобным Нестором Летописцем в «Повести временных лет». Не обошлось и без легенд, которые за давностью лет невозможно проверить: согласно преданию, его построили киевские князья Аскольд и Дир. В Византии, которую они воевали, по заведенному в ту пору обычаю, князья стали свидетелями некоего чуда, под впечатлением от которого крестились, а по возвращении в Киев построили этот храм. Существует также мнение о том, что крещение киевлян в 988 году произошло как раз именно здесь, благодаря удобному расположению храма на берегу Днепра и Почайны, притока его. Так ли это или иначе — по сути, ведь и неважно. Но, признаюсь, эти легенды греют мне душу. Такой вот слабый я человек...

Сладкий, наркотический яд лжеименного исторического знания, о котором я уже рассказывал прежде, принес мне по жизни не только радость открытий, но гораздо больше горьких утрат и поздних прозрений. Я уже шагал по Почайнинской, а в памяти

пузырились старые дрожжи, и я думал о том, как же все изменилось, измельчало, свелось на нет, — и даже в строе сегодняшнего богослужения, в частности, в этом Чине Торжества, в котором по определению мало что должно было измениться, все равно все уже не то и не так.

Торжество этого дня оскудело даже словесно, о духовном же умолчу, и если ты не присутствуешь на архиерейском богослужении в кафедральном соборе крупного епархиального центра, то можешь и не услышать ничего, кроме разве что нарочитого возглашения символа веры. Но, может быть, и этого сегодня достаточно. Сознание нынешнего человека весьма отлично даже от того детерминированного, задавленного беспросветностью существования и физического выживания посполитого крестьянина, мещанина, хуторянина-козака минувшей польской поры, затем уж имперской петербургской поры, которые, вполне вероятно, не сильны были в грамоте и в каких-то специальных познаниях, но, приходя в храм в Неделю Торжества православия, слышали важные вещи, определявшие строй их жизни. В частности, слышали имена бунтовщиков, преданных проклятию церковью, слышали наименования ересей, о которых сегодня практически ничего неизвестно. В этом смысле примечателен собор 1690 года под председательством Московского патриарха Иоакима, который анафематствовал «хлебопоклонническую ересь», осудил на сожжение сочинения Сеньки (Сильвестра) Медведева и запретил читать многие книги южнорусских ученых, «имеющих единомыслие с папою и западным костелом», среди которых не только сочинение Медведева было, но и писания Симеона Полоцкого, Галатовского, Радивиловского, Барановича, Транквилиона, Петра Могилы и другие. О «Требнике» Петра Могилы прямо сказано, что эта книга преисполнена латинского зломудренного учения, и вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, «что их книги новотворенные и сами с собою не согласуются, и хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского зломудрия и новшества»... Это — слева, а справа, с другой стороны, Иоаким яростно громил старообрядцев... И не только словесно, надо сказать. Такие вот парадоксы эпохи...

Так что мало никому не показывалось в ту пору.

Но как тут мне и не ухмыльнуться все-таки было: Могила с Полоцким не нравились москвитам? Да вот уж не за горами шагал к ним из самого Рима просвещеннейший и распрекрасный Феофан Прокопович — и кто мог остановить наступающий век петровских преобразований?.. Через триста лет в виде фарса все повторилось: обер-прокурор Священного синода К.П. Победоносцев в отчаянии от тотального духовного и нравственного разложения предлагал правительству немного «подморозить» Российскую империю, чтобы гангрена близкой революции замедлила с распространением, но державный локомотив, теряя по пути колеса, уже летел в пропасть, и местной анестезией дела было никак не исправить.

— Это вместо интернета и телевизора было тогда, — подытожила моя Лика, когда я накануне на кухне за чашкой козацкого чая провел с ней очередную политинформацию и помянул о московском соборе 1690 года. — Ну а откуда еще народ мог узнать о тех бедах, которые валились на него отовсюду? Только с приходского амвона...

В 1708 году в «черные списки» проклятий, возглашавшихся во время чтения Чина Торжества православия, добавилось имя изменника-гетмана Ивана Мазепы, ходившего прежде в Петровых любимчиках. Когда учрежден был царем главный орден империи во имя апостола Андрея Первозванного, вторым, кого монарх удостоил им, был именно гетман Мазепа. Тем подтверждалась не только самоотверженная верность Мазепы Петру, но и первостепенная важность пребывания юго-западных малороссийских земель в общеимперском составе. Должно быть, странно звучало анафематствование орденоносца «Ивашки» под сводами киевских и других малороссийских храмов, построенных в свое время его тщанием и на его деньги:

«Новый изменник нарицаемый Ивашка Мазепа, бывый гетман Украинский, или паче антихристов предтеча, лютый волк овчею покрытый кожей, и потаенный вор, сосуд змиин, вне златом блестящийся, честию и благолепием красящийся, внутрь же всякия нечистоты, коварства, злобы диавольския, хитрости, неправды, вражды, ненависти, мучительства, кровопролития и убийства исполненный. Ехиднино порождение, иже аки змий вселукавый, яг свой злог умышления на православное государство чрез долгое время начальства своего потаенный, изблева прошлого 1708 года в месяце декемврии, презрев толикая благодеяния Божия, и крайнюю неизреченную к себе государеву милость и любовь, ковалерством превысоким от него почтенный.

Сломал веру и верность, на крестном целовании обещанную и утвержденную. И аки второй Иуда предатель, отвержеса Христа Господня и благочестивыя державы благочестивейшаго государя царя и великаго князя Петра Алексиевича, всяя великия и малыя и белыя России самодержца. И привержеса (врагу Божию и святых Его, проклятому еретику) королю шведцкому Карлу второму надежеть, впровадил его

в малороссийскую землю иже церкви Божия и места святая осквернил и разорил. И бысть ему шведскому королю помощник и поборник в брани, и на благодетеля своего и государя, разбойническую воздвиге руку, хотя малороссийскую землю, аки прегордый люцифер, хоботом своим изменническим и разбойническим от благочестивой и великороссийской державы отторгнути. Но не поможе ему Господь сил тое свое диавольское умышление и злобу совершити; ибо силою Божию, мужеством же и храбростию непреодоленного монарха нашего: благочестивейшаго государя нашего царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея великия и малыя и белыя России самодержца; и его победоноснаго воинства побеждены суть вся полки неприятельския, под городом Полтавою, в прошлом в 1709 году, месяца юния в 27 день, тако преславно, яко едва сам король свейския и оный изменник Мазепа убеже к Турскому порту под зашитие. И тамо окаянный по немногих днех злобу свою и житие сконча, и хотя взыйти на небо, и бытии подобен вышнему, до ада низведеса.

Тем же яко сын погибели за таковую свою измену отступничество от благочестивой державы, предательство же и поднесение рук разбойнических и брани на Христа Господня, своего благодетеля и государя, со всеми своим единомысленики, скопники и изменники, да будет проклят!»

До 1869 года в день Торжества православия имя гетмана Мазепы ежегодно упоминалось в чине анафематствования. Имя это стало ругательством, синонимом помянутого новозаветного Иуды Искарота: гетман называется «вторым Иудой», «сыном гибельным» и «диаволом норовом». В этом списке самых страшных государственных преступников уже присутствовал «аспид, испущающий яд свой, уязвляющий телеса невинных», как назвал патриарх Иоасаф Стеньку Разина, и самозванец Гришка Отрепьев, затем поочередно добавлялись Емельян Пугачев (анафема была снята с него перед казнью, ввиду покаяния) и другие, будущие любимцы социалистического искусства и литературы, сложившие свои буйные головы ради свержения проклятого царизма. Но вот Мазепа при советах, в отличие от великорусских разбойников и бунтовщиков, не превратился из антигероя в героя книг и голубого экрана — не повезло ему как-то. Соцреалисты из печерских писательских домов-крепостей, неустанно воспевавшие Сталина, Ленина и Кармелюка, так и не дерзнули потревожить тень опального гетмана высоким художественным словом. Хотя, как я уже сказал, с 1869 года эти списки перестали грозно зачитываться под церковными сводами в день Торжества православия, — трудно сказать, что стало причиной того. Но, думаю, общее оскудение самого духа Синодальной российской церкви, задыхающейся в смертельных любовных объятиях имперского государства. Да и подзабылись уже исходные обстоятельства, пылью припали. И уже позже гораздо, во времена окончательной гибели Российской империи, украинские самостийники, которых неслучайно именовали «мазепинцами», настойчиво потребовали от патриарха Тихона снятия церковного проклятия с мятежного гетмана, и вроде как митрополит Антоний Храповицкий в 1918 году даже отправил такой запрос патриарху, но в московских церковных архивах так ничего и не нашли до сих пор. Вопрос завис на целое столетие, не решен он и до сей поры. Хотя Иван Мазепа со времени распада СССР в 1991 году считается и почитается патриотом Украины и борцом за ее независимость. Впрочем, как и Степан Бандера. Векторы поменялись, и воспитание «безмолвствующего народа» развернулось в обратную сторону.

Так что — явочным порядком — ни во что ставится ныне «анафема», произнесенная петровскими епископами поры Полтавской виктории:

«9 ноября 1708 года в Троицком соборе Глухова в присутствии Петра I митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России Иоасаф (Кроковский), родом из Львова, в сослужении гругих архиереев, по происхождению украинцев: святого архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Иоанна (Максимовича) и епископа Переяславского Захарии (Корниловича) совершил литургию и молебен, после чего «предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев».

Так писал Д.Н. Бантыш-Каменский в «Истории Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства».

На книжных полках сегодня уже красуется целая библиотека, посвященная личности и судьбе украинского гетмана, где, кроме детских книг вроде какой-то Анны Ручей «Иван Мазепа и я», есть также и солидные тома уважаемых авторов вроде Валерия Шевчука — «Просвещенный властитель: Иван Мазепа как строитель козацкой державы и как литературный герой», и множество других книг, исследований и монографий.

При этом как-то так естественно опускается длительная история неприязненных отношений Мазепы с запорожцами, замалчивается целая летописная библиотека его беспрестанных жалоб на них Петру I и едва ли не требование ликвидировать непослушное войско царскими словом и властью... А ведь все это подробно описано,

тексты посланий и просьб обнародованы, в частности, во многотомной «Истории запорожских козаков» Дмитрия Яворницкого, — да только никто этого не читает, вот в чем беда. Поэтому и проходит гетман под почетным званием «строителя козацкой державы»... Парадоксально и удивительно то, что когда любимый гетман-орденоносец изменил своему венценосному сюзерену, его поддержали... одни только запорожцы, которых он так ненавидел и от которых чаял избавиться при помощи преданного им императора!..

Как сказал бы на это отсутствующий Сероштан:

— И в этом тоже — особенность и противоречивость национального характера украинцев...

Доходит до анекдота уже: анафемствованный за церковный раскол в начале 1990-х годов митрополит Киевский Филарет Денисенко — тоже, как и Мазепа у Петра, баловень советского истеблишмента и коммунистической номенклатуры, кавалер всех орденов, наград и премий, по всей видимости, высокопоставленный кадровый офицер Пятого — идеологического — отдела КГБ СССР, присвоивший не только церковную кассу вкупе с Владимирским собором, но и «золото партии» Украины, которое все никак не могут сыскать, и учинивший раскол из-за личной обиды. Его не «выбрали» патриархом Московским и всея Руси, хотя он и был «председателем похоронной комиссии», когда скончался престарелый и больной патриарх Пимен Извеков, что подразумевало несомненное занятие вакантной должности, как в партии и в правительстве, так и в отделенной от государства церкви, — ныне Филарет, он же по агентурной кличке «Антонов», сравнивается с Мазепой как равнозначный по подвигу в деле обретения Украиной независимости... Ну что же: по Сеньке и шапка, как говорят на Руси...

Если независимость и суверенность — благо, то может ли благо это достигаться посредством, скажем так мягко, негодных средств — предательства и двурушничества? И не становится ли благо собственным антиподом?

И патриотический спор продолжается. Но есть ли конец у него?..

— А чего ты хотел — чтобы, как встарь, зачитывался весь список анафемствованных со времен Ария и до сварливого криминального старикашки лжепатриарха Денисенки? — спросила меня моя многомудрая Лика. — Да кто мог бы вынести это?.. Наоборот: поскорее забыть о них навсегда...

За всеми этими размышлениями и припоминаниями моими служба в Ильинском храме и пролетела — я и не заметил того. Протоиерей Захария Ковальчук прогромычал чеканными словами символ веры, и все завершилось.

Ну, я не удержался, чтобы не подтрунить тихонько над о. Виталием Косовским, настоятелем храма, когда подошел в числе других прихожан прикладываться к кресту:

— Батюшка, а что же не анафемствовали героя Украины Мазепу?.. Забыли?..

— Лешек, — сказал мне отец-настоятель, — попридержал бы ты свой язычок... Мы и так здесь, как исповедники, поминаем имя патриарха Кирилла...

Ну да, а что нам еще остается, как не подшучивать друг над другом с известной долей горести, — кто мог представить тогда, в середине 1970-80-х годов, когда Украина была практически раздавлена железобетонной плитой местного оголтелого коммунизма, и казалась на веки вечные погребенной в этом склепе, что в чистом поле поставят таможенные терминалы, оснащенные по последнему слову техники, перекроют дороги и вековые шляхи, что новая разделительная граница порой пройдет прямо по центральной улице многих сел, и сельчане будут жить в различных государствах; произойдет разделение и в семьях, и в душах; начнется война, которая продолжается уже дольше, чем Отечественная... Что еще нам остается, если не пожинать плоды нашего собственного неразумия, нашей слепоты, нашей самоуверенности и самообмана? Что остается еще — если не плакать, то хотя бы найти в себе силы для горестной шутки.

Я думал о роковом значении в контексте новой истории самой Украины, гражданином которой я являюсь, несмотря на то что несколько лет назад мы с Ликой оформили для себя так называемые «паспорта поляков». Украина стала камнем преткновения в 17 веке для Речи Посполитой и началом заката великой державы, собиравшейся на протяжении тысячелетия. Но если на сегодняшней Украине и в пугинской России мало кто способен прочесть и верно истолковать уроки недавней истории, то специалисты-кремлеведы из заокеанских аналитических центров сделали свои верные выводы. Результаты здесь налицо, и, конечно, не мне о них тут рассказывать и живописать события зимы 2014 года на киевском Майдане Незалежности.

Все это до чрезвычайности грустно, и в чем, если не в воспоминаниях хотя бы о днях своей молодости и надежд, можно отчасти утешиться? Вспомнить мирный Киев тех лет (хотя уже не за горами был Афганистан и будущие «воины-интернационалы», по возрасту чуть младше меня, уже получали воинские повестки о призыве на «срочную» службу — для многих из них она оказалась бессрочной), вспомнить роскошный Крещатик, осенние дни, в которых будто прозрачным стеклом застыл солнечный, при-

глушенный свет; вспомнить Галюню Белик, которой давно уже нет, приехавшую покорять Киев из села Белики, которое вроде бы осталось только лишь именем, но и его уже практически нет, как нет больше знаменитого комбината по сгущению молока, нет мясо-молочных ферм в беликовско-кобелякской округе, из пяти тамошних школ осталась только одна, ибо ничего этого уже сегодня не нужно; вспомнить нашу некую обоюдную чистоту, наше неопасенье, предсказанное каждому из нас Боратынским, вспомнить себя молодых, неразумных и верящих в чудо. А если разобраться по сути, что ждало нас, кроме бездны, отчаяния, ненужности и старения, — даже несмотря на кажущуюся молодость нашу? Да, все как-то очень быстро прошло, и мы с Галюней во мгновение ока встретили нежданную взрослость, в которой неотвратимо маячили новые вызовы, отметающие неважным сором наши иллюзии.

Я отнюдь не утверждаю, что наше поколение было несчастнее и обделеннее, чем поколение наших родителей. Тут просто не с чем и сравнивать. Вот уж совсем не понять, как они выжили — и выжили не просто на Воляни, в Доминополе и в других местах, опустошенных до последнего человека партизанами из Украинской повстанческой армии в 1940-х годах минувшего века, — нет, как они вообще жили и выжили — от первого своего дня в этом мире в 1920-х годах — через коллективизацию, голод и индустриализацию здесь и польские чистки там, до 1939 года, во Второй Речи Посполитой, восстановленной из исторического небытия Юзефом Пилсудским и затем снова разорванной в лохмотья закадычными корефанами Адиком Шикельгрубером и Сосо Джугашвили, в раскаленном, смертоносном жерле войны, в послевоенной разрухе, в бесконечной, никогда не прекращающейся кропотливой и часто бессмысленной работе за сущие крохи, за кусок серого хлеба и хвост ржавой селедки «по благу»...

Нет, мы были, можно сказать, почти счастливы. Молитвы наших родителей о том, что готовы они все претерпеть, — все и больше того, лишь бы не было только войны, где бы они ни возносили их к Господу, были услышаны Им. И дарован был всем нам некий призрачный покой, названный позже «застоем». И ныне кое-кто проговаривается: ладно, не надо нам коммунизма, не надо и капитализма с «безвизом» и членством в гребаном НАТО, но газводу из автомата за копейку — верните!.. А можно — и пломбира еще попросить?..

Наступающие за мягкой осенью дни ноября-декабря 1977 года окукливались, деревенели, становились жесткими, гремящими, словно листы кровельной жести, приобретали черно-белый оттенок, и дело было даже не в том, что на бульварах и в парках опадала листва, и небеса, прежде высокие и прозрачные, опускались практически на крыши домов, насыщенные тяжелой влагой непрекращающегося обложного дождя — мы, мы сами с Галюней, становились другими, чужими и незнакомыми. И так быстро, словно неслись на санях с вершины ледовой горы — только посвист ветра резал барабанные перепонки.

Назвать ли это любовью?..

Даже не знаю. Ведь ничего не было, кроме неумной моей болтовни в поезде от Полтавы до Киева, затем нескольких долгих прогулок по киевским улицам, где я снова и снова разливал свои соловьиные трели невесте о чем. Минувшим летом Галюне исполнилось 18, мне же было уже целых 20, но женщины по-другому устроены не только физиологически, но, главным образом, психологически. Да, может быть, что-то не поддается их разумению, чего-то не понимают они, в отличие от нас, но это неважно совсем, — они заточены на другое, ведомы могучим инстинктом продолжения рода. Отсюда — их преходящая яркая красота, глубинное знание, врожденная мудрость, некая метафизическая и даже физическая слепота, нечувствительность к страшным ударам судьбы и даже к потерям детей, отсюда их завидное долгожительство — сама природа ради продолжения рода создала их таковыми, укрепила, надежно встроила в этот мир, вбила в плодородную землю если и не по пояс, то точно уж по колени. «Юноше, обдумывающему житье», нужны годы и годы для того, чтобы понять себя самого, понять цель и смысл чуда своего появления в этом мире, свою сокровенную и единственную в своем роде роль на трещащих, качающихся подмостках мирового вертепа, созданного неизвестно кем и неизвестно для каких целей, — это в идеале, само собой разумеется, — а ведь есть еще нескончаемые войны, конфликты, завоевания, эпидемии, локальные концы света, и все это требует топлива — человеческого материала, пушечного мяса — солдат и подвижников, окрыленных запредельной целью-мечтой или жестко регламентированным суровым приказом. Все это требует мальчишек, мужчин. Потому их и рождается больше — природа восполняет расходные материалы.

Может быть, в этом и таился наш с Галюней подспудный конфликт интересов — я видел в ней практически идеальную женскую красоту, нарушить и осквернить которую даже в мыслях я почитал кощунственным и греховным, но при этом — я оставался мужчиной со всеми присущими нашему роду особенностями и желаниями. Да, я Галюню любил, можно сказать, — но не мог совладать, что естественно, со своей плотью,

и потому с сокрушениями душевными и последующим раскаянием время от времени я впадал в бред с каждой девушкой, отзывавшейся на мои голодные зовы, — и это все не отменяло моего восторга и восхищения ею, но обостряло любовь мою послевкусием горькой вины. Но я не мог с собой справиться — это во-первых, а во-вторых, мне хотелось предстать перед Галюней таким интеллектуалом-неоплатоником, поборником «чистого искусства», в моем случае — эксклюзивного исторического знания, таким рыцарем Прекрасной дамы, которой, разумеется, была сама Галюня, и рыцарю свойственны были одни только подвиги во имя ее и грустные песнопения под задумчивый, медитативный перезвон струн лиры о недостижимой ее красоте. Тронуть это светлое чудо похотливой лапой?.. Та хай меня ранят! — как говаривал покойный наш одноклассник из Кобеляков двоечник, алконавт и курилка Витька Лебедченко-Чана.

Галюня со своими баклажками с козырной беликовской сгущенкой пребывала в хрустальном лесу строгих пифагоровских чисел и отлитых из серебра формул и математических аксиом, я же, выныривая из барханов архивной пыли и обретая на очередной прогулке по Киеву Галюню, начинал свою бесконечную повесть весьма «временных лет», где мелькали имена польских Пястов и литовских Гедиминовичей, бомбил ее всеми этими своими Сигизмундами Ягеллонами и Ягеллончиками вперемежку с Вазами, пытался рассказать ей, черноволосой и волоокой красавице из сердца полтавских степей, что-то об особенностях первого Литовского статута 1529 года, — Господи Боже мой!.. Но разве того ожидала от меня неведомая до поры девичья душа?..

Но все это понял я позже гораздо, когда от Галюни Белик не осталось ничего, кроме воспоминания о ее исчезающей красоте и тающего послевкусия последней ложки беликовской сгущенки.

А ведь время от времени Галюня останавливала меня странными такими вопросами:

- Лешек, а хочешь, я расскажу тебе о бинарном отношении равенства?
- Шо-шо?..

Я, естественно, не хотел. Хрен ли мне эти бинарные отношения? То ли дело Сигизмунд I Старый и его знаменитая женушка королева Бона Сфорца!..

— Галюня, давай расскажу тебе лучше, как она травила невесток своих, жен сыночка своего Сигизмунда-Августа?.. Вот где захватывающие сюжеты!..

Но в этом-то и крылись деликатные намеки Галюни на неуместность моих инвектив рядом с ней и при ней. Но все это уразумелось мной после, когда Галюни не стало, когда я ее потерял. Хотя, как это «потерял»? Я ведь вовсе и не обладал ею. Девушка, женщина — это ведь общественное достояние. Мы же не саудиты какие-нибудь. Мне просто что-то казалось, мерещилось на панцирной койке на Борщаговке. Уродливое мое чувство, которое я почитал за незамутненную ничем плотским и низменным любовью, диктовало мне какие-то дикие вещи, применяемые к Галюне как объекту усовершенствования, — так мне втемяшилось в голову, что столь прекрасной и совершенной внешности, по всей вероятности (так думал я), недостает еще внутренней рафинированности и утонченности, — ну в самом деле, Господь или щедрая природа Украины даровали ей эту несравненную красоту, но чему она могла научиться там, в убогих Беликах, где отец ее был заурядным инженеришкой по сгущению молока на комбинате, мать — оператором механизированной дойки на ферме, а по усадебному двору бродили с хрюканьем свиньи, кудахтали куры, гоготали гуси, а пес Шарко хлебал вчерашний борщ из ржавой немецкой каски с орлом Третьего рейха, — что она знала, да и что могла, в сущности, знать, кроме своей математики-алгебры-геометрии, да и то по случайному расположению звезд, — и я, горделивый кобелякский хлопец, со всей серьезностью считал, что могу что-то исправить в ней, как-то духовно-душевно ее просветить — ну хотя бы рассказывая ей о первом короле Польши Мешко Пясте или же о Радзивилловом роде и племени... Наивному, мне казалось тогда, что для настоящего девичьего развития все-таки недостаточно читать ежемесячную поэтическую страничку в «Комсомольце Полтавщины», которую вел Михайло Шевченко, уважаемый неплохой областной журналист, но знание особенностей Литовского статута или чего-то подобного — вот что могло оторвать мою прекраснوليкую Галюню от хозяйственных хуторских забот в деле откармливания хряка к Рождеству, консервирования щедрых плодов земных лета 1975 года в трехлитровые банки и местечковых обсуждений соседских обновок, надыбанных в набегах на полтавские крамницы, мало чем отличающиеся от беликовского сельпо... Ведь что таилось до срока в ней за этой вот совершенностью лика, в этих темных бездонных глазах, в замедленных жестах, в копне жгучих половецких волос, — о, милая моя, дорогая, не открывай своего дивного рта, созданного для одних только пьянящих поцелуев и наслаждения, не выпускай в белый свет заурядных колхозных суждений-оценок, не дай «г» фрикативному и проклятому суржику отравить благолепие храма твоего тела и мира, что окружает его розовым флером!..

«Я люблю даже не тебя, а мое, подаренное мне через тебя, бытие» — так сказал Кафка.

Да, вот здесь и таилась разгадка, ответ на вопрос: чем же все это было — с Галюней — любовью ли? Нет, — ответил я себе самому, возвращаясь домой по Почайнинской, — но крошечным моим эгоизмом: не Галюню любил я тогда, осенью и зимой 1977 года, когда моя Лика еще играла в куклы здесь, на Подоле, но себя самого, свое бытие, по слову писателя, свою новую жизнь в новом сложении, — это было подобно тому, как в живительном растворе вокруг какого-то незначительного бугорка нарастают и причудливо множатся в ответвлениях кристаллы, превращающиеся в кораллы, наполняющиеся изнутри цветом и невиданными оттенками, — мое я — вот что было здесь определяющим, главным и основным, — Галюня, ее красота, запах ее половецких волос, свежесть ее дивной кожи, тепло ее рук — все это шло в метафизическую топку локомотива, разгоняющего мою жизнь, мое будущее, до срока неведомое...

«Я люблю даже не тебя...»

Не тебя — но себя...

И позже гораздо, через десятилетия, примерно о том же прочел я в стихотворных строках Фридриха Гёльдерлина, пророчески предвосхитившего мой неуместный, дурацкий, тщательно пестуемый неоплатонизм по отношению Галюне:

*Свободный от страданий чистый дух
Материей гнушался, ни в чем не отдавая ей отчета,
Нет мира для него ведь, кроме духа,
Нет больше ничего.*

*Мы чувствуем границы собственного существа,
И сдерживаемая сила восстает нетерпеливо
Против цепей своих, и дух летит назад, домой,
Ведь никаким сопротивлением не одолеть в нас
Голос тот божественный.*

Мы чувствуем себя, не чувствуя других.

Может быть, Кафка отсюда, из последней строки, и почерпнул это свое «подаренное мне через тебя, бытие», — кто знает? Или это глубинное сокровенное чувство стало в столетиях неким общим местом, тропом, ныне крепко забытым, глубоко погребенным в подсознании, в метельшении дней, в сумятице разнообразных мелких забот, когда само понятие любви обескровилось до пустоты и свелось разве что к душевному расположению, или того паче, к сексуальному действию.

И это «подаренное тобой мое бытие», как стало понятно мне уже значительно позже, спустя целую жизнь, стало уделом великих женских имен, от которых не дошло до наших времен совсем ничего, кроме стихотворных строк, или, в лучшем случае, ренессансных портретов — Лаура Петрарки, маркиза Витториа Колонна Микеланджело, Беатриче Портинари Данте, — не осталось вроде бы ничего от этих имен, кроме затаившего вдалеке звучания, но по сути — осталось все и даже больше того, немислимое по красоте, по совершенству, по значению в контексте мировой культуры — ангелы, музы, оставившие опосредствованный, великий свой след в бессмертных строках тех мужчин, которые их — для нас — любили. Как тут удержаться и не повторить в тысячный раз строк 86 сонета Микеланджело?

*Ужели, донна, впрямь (хоть утверждает
То долгий опыт) оживленный лик,
Который в косном мраморе возник,
Прах своего творца переживает?
Так! Следствию причина уступает,
Удел искусства более велик,
Чем естества! В ваяньи мир постиг,
Что смерть, что время здесь не побеждает.
Вот почему могу бессмертье дать
Я нам обоим в краске или в камне,
Запечатлев твой облик и себя;
Спустя столетья люди будут знать,
Как ты прекрасна, и как жизнь тяжка мне,
И как я мудр, что полюбил тебя.*

Но это сегодня, на сыром и сером Подоле, на Почайнинской, в 2020 году, задним умом и задним числом я все это так понимаю, а тогда же все с Галюней складывалось по-другому.

Галюня, мой ангел, тихо бесилась, когда самонадеянно и высокомерно я начинал высмеивать крошечную убогость быта, окружавшую ее в Беликах:

— Вы там кроме «Четырех танкистов и собаки» ничего не видали... А, ну еще «Операцию «Б!» с Шуриком или как там его...

И все в таком духе, — будто бы в нашенских Кобеляках слагалось что-то иначе и в ДК имени Клим Ворошилова показывали фильмы Антониони... Но так уж глупо устроен был я, — и если даже до приезда в Киев мне казалось, что я постиг последние истины, то уж в Киеве, в библиотеках, я совсем с катушек слетел... Так и носился по улицам со своими Пястами и с Ягеллонами, часами простаивал у остатков фундамента Десятинной церкви, медитируя и представляя невесть что из времен равноапостольного князя Владимира, или же на Андреевском умопомрачительном косогоре пытался воскресить, как тут с крестом стоял апостол Андрей, глядя на величественную панораму Борисфена-Славути-Днепра, прозревая в веках драматические будущие судьбы этого края, а уж если попадалась мне Галюня моя-не-моя, то пощадки ей не было никакой... Самонадеянность и всезнатьство молодости... При этом — кем был я для Галюни? Отцом, братом или авторитетным старшим товарищем? Да никем! Пристал случайно к красивой девчонке, присосался к банке с козырной сгущенкой, откусил от пирога с вишнями — и вроде получил какое-то право вещать ей и улучшать внутренний ее мир, каким он мне мнился, рассказами об истории Речи Посполитой.

Ну а что еще, если разобраться, я мог дать Галюне? Денег у меня не было никаких, впереди у меня, как, впрочем, и у нее, были годы и годы учебы, затем — совершенно туманное будущее, — 1982 год был пограничным во всем, а до того я мог невозбранно пользоваться своим местом в общаге на Борщаговке, — а после 1982 — путь лежал в сельскую глухомань, в сравнении с которой наши Кобеляки и Белики даже покажутся венцом творения. Что мог дать я Галюне, кроме своей болтовни, исторических анекдотов в духе Валишевского или всемирной скорби по тому, что история — хотя бы нашей земли и страны — не сложилась так, как она заслуживала того.

Но Галюне все это было фиолетово.

Ангел из сердца степей, незамутненный душой и телом, цветок редкий и удивительный, на столичных улицах ожестел стеблем-листвой, лепестки, прежде нежные и бархатистые, огрубели, подсохли на неоновом солнце Крещатика, — больше уж не сидела она в хуторянской светлице и не глядела мечтательно в затягивающуюся густой темнотой синеву вечерней степи и не ожидала, когда оттуда, из надвигающейся на Белики ночи, явится блистательный летучий гусар (ну, это я, разумеется) в среброкованой кирасе, с шелестом заплочных жестяных крыльев, на сером коне, прискакавший на ее молчаливый девичий зов из Кобеляков, — детство-отрочество кончилось в одночасье, как только вышли мы с нею из раздолбанного пригородного вагона на киевскую брусчатку, и я не успел ответить на ее вопрос о том, что такое любовь. Умозрительный гусар без коняшки ни на что не был годен, кроме поедания сгущенки в количествах и пирогов с зеленым луком и яйцами без счету, но отнюдь отчего-то не дерзал покуситься на изнывающую в томлении девичью плоть. Довольно скоро Галюня со всеми этими делами разобралась, да и понятно: такой товар, каковым обладала она, не залеживался и мгновения на столичной ярмарке тщеславия, но весьма был востребован. Потому я до срока, положенного мне природой, не мог и понять ничего о той редкостной милости, которой Галюня, на самом деле, одарила меня, кобелякского голодранца Лешака Маршалка, запутавшегося в разнонаправленных информационных потоках древнерусских летописей, польских хроник, сеймовых пересудов и серой газетной брехни той советской поры, на которую и пришлось наша молодость, и пропустившего мимо себя главное, самое ценное и основное — ее. Общение с ней, драгоценное, как появилось это позже гораздо, каждой каплей, подобно столетнему шотландскому молту, я расплескал в досужем, неважном, придуманном, диком, — да не воспитывать-просвещать следовало мне Галюню мою-не-мою, а благодарить Бога и ее за каждое мгновение сладкого сна, которым она с царственного плеча одаривала меня до известной поры. Скоро она осмотрелась, да и киевляне оценили ее, причем первыми оценили ее даже не парни с Крещатика в американской джинсе, не зрелые и состоявшиеся подпольные цеховики-бизнесмены, любители юной и свежей девичьей плоти, которые, по причине свойственной нашему брату медлительности, все размышляли, каким образом подкатить к ней и чем заинтересовать, а именно женщины особого свойства: Галюня со смехом поделилась со мной, что ей две дамочки настойчиво предложили тусоваться на выбор либо под гостиницей «Днипро» на площади Ленинского комсомола, либо над Бессарабой в «Киевской Руси», или же под гостиницей «Лыбидь», что на площади Победы, где «все схвачено и согласовано» с какими-то непонятными личностями, и зарабатывать невиданные никогда доллары, фунты стерлингов и западногерманские марки, а то даже японские иены за услуги по оказанию интернациональной сестринской помощи изнывающим под гнетом капитала залетным губошлепистым иностранцам, приехавшим поглазеть на невиданную поступь социализма. Галюня понимала, о чем шел разговор, и когда она для формальной слабой отмазки указала на меня как на своего парня, засланные «ответственными товарищами» интуитивские телки просто подняли ее на смех и спросили: из какого же леса она прибыла в Киев и,

собственно, зачем же? Ходить со мной по Борщаговке и, развесив уши, слушать о том, как козаки Богдана Хмельницкого разрушили Речь Посполитую? Ну, не дурочка?..

Глава 16. УТЕРЯННЫЙ «РАЙ»

Я же тем временем мало что замечал, — оборотившись назад, я превратился в безмозглый соляной столп, подобно жене ветхозаветного Лота, которая, в простительном женском любопытстве и в силу прежнего душевного расположения, оглянулась на погибающий в огне город Содом, который они навсегда оставляли по непреложному Божьему слову: как там подружки мои и товарки переносят такой катаклизм? И разве осудишь ее? Ведь с ними годами она трепалась на углах улиц и переулков, ходила в гости, обсуждала соседей, цены на рынке, достоинства и недостатки мужей, и вот теперь пришлось ей плестись за Лотом в веренице дочерей и ослос, навьюченных скарбом и утварью, — а задушевные подружки-соседки так и остались в Содоме... Как тут не оглянуться прощально?

И я, подобно этой неразумной жене, оказался, «неблагонадежным» — по крайней мере для Галюни моей-не-моей. (Как сказано уже в Новом завете в Евангелии от Луки: «возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия»... Сказано — обо мне). Но что поделать — а чем еще мог я утешиться или же оправдаться? — я исполнял предписанное мне по призванию, или по долгу, или даже по любви — будто бы в перевернутый бинокль я пытался что-то там различить в микроскопическом метельшении призрачных теней минувших веков, расслышать шепоты, крики, неистовства исчезнувших в бесславии и нечестии поколений единого по крови народа, разделенного только лишь верой, — даже не верой в догматическом и каноническом смыслах, а *образом* веры. И эти различные *образы* — католичество и православие, со втершейся между ними злокозненной и профанной унией, оказались гибельными для великого и могучего государства.

Но что тут, собственно, остается от самой веры, от той великой *Sola fide* апостола Павла: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28), — и в этой губительной борьбе «дел закона», в которые окостенела прежняя *вера*, превратившаяся всего лишь в *образы* католичества и православия? Ничего. Может быть, в этом и крылась та глубинная метафизическая причина, результатом и искуплением которой стало разрушение великой и славной Речи Посполитой? И уже не за торжество *веры* множество людей принимали мученичество и смерть, как когда-то во времена императорского Древнего Рима, но за *образ*, то есть за, собственно, одну только *видимость* — сколько пальцев соединить в щепоть, дабы перекреститься, справа налево или слева направо налагать на себя крестное знамение, добавлять или не добавлять в символе веры злосчастное «филиокве»; а рядом, в Московской Руси, староверы сжигали в срубах себя, только бы не предать заветное двоеперстие, не ходить в крестном ходу *противосолонь*, а исключительно *посолонь* (против солнца и по солнцу), а тем более не говорить еретически «во веки веков», но исключительно «во веки веком», как их деды и прадеды...

Что же остается здесь от веры? Разве не искаженный *образ* ее, затмевающий сокровенную суть?.. Буква превозмогала здесь дух, — и, может быть, только так и слагалась земная история государств тогдашнего мира.

Различные же в *образах* исповедования неминуемо было чревато религиозной войной, в которую и погружалась, как в дымную огнедышащую трясиину, моя Речь Посполитая.

У Гоголя в повести «Вий» один из козаков, сведав о запредельном кошмаре, произошедшем в ту ночь, когда Хома Брут пытался читать Псалтирь над Панночкой, просто и смиренно вербализировал то, что произошло с незадачливым бурсаком: «Значит, такая судьба у него...»

Да, то же самое можно сказать и о закате счастливой судьбы «державы без вогнищ»: *такая судьба была у Речи Посполитой*. Такая судьба...

Вокруг меня шумел, веселился, пел и страдал наш замечательный и прекрасный Киев, рядом со мной, может быть, уже в последний раз, шла по киевским мостовым и бульварам самая прекрасная девушка на земле, Галюня Белик из Беликов, я о чем-то самозабвенно вещал, — кажется, о козацких мятежах против горделивых заднепровских панов, случившихся еще до Хмельниччины после смерти гетмана Сагайдачного — несколько битв прогремели совсем рядом с нашим временным земным обиталищем — под Кременчугом, на Крюковском озере на правом берегу Днепра, где я однажды купался со Сероштаном и Шоней; под Лубнами, где еще не затянулись землей окопы войскового табора Павла Наливайка и где еще не умерли люди, которые помнили ту осаду, разгром и резню, устроенную гднерами польного гетмана Станислава Жолкевского в сдавшемся таборе... В Миргороде, в Голтве, в Чи-

гирине... Кажется, на нашей Полтавщине совсем не было клочка земли, не обгаренно-го кровью... Галюня вроде бы слушала вполуха меня. Но понимала ли? Впрочем, не к чему задаваться такими вопросами.

Мы шли уже по Крещатику от Бессарабки, и вот совсем рядом с метро, пройдя парадную, отстроенную после войны улицу до середины, мы прежде услышали звуки гитары, а затем и увидели густую толпу слушателей: прямо на бордюре, практически на асфальте, сидел поэт и философ Максим Добровольский с гитарой и один в один исполнял «Spanish Caravan» из третьего альбома «Waiting for the Sun» группы «The Doors», — со всеми испанскими златострунными прибабасами, — и пел эту пронзительную песню на... прекрасном украинском языке, что было столь ярко и неожиданно, что я на какое-то время выпал из своего перевернутого бинокля, отвлекся от той крошечной тьмы, которая надвигалась на мою Речь Посполитую к 1648 году, забыв на мгновение даже о Галюне.

С завсегдатаем андеграундной тусовки на Крещатике Максимом Добровольским, прозванным по жизни Мака симом, перелагателем популярных западных тогдашних хитов на украинскую мову, вскоре я познакомился и сошелся в приятельстве. А тогда, в первый раз, под перезвон фламенко, искусно воспроизводимого Максимом на златострунной гитаре, когда Галюня изумленно стиснула мою руку и замедлила шаг возле этой хищной толпы, я словно очнулся — словно распахнулась душа, и молодая кровь прихлынула к сердцу, — я вспомнил о Сероштане и пожалел, что его нет сейчас рядом, чтобы все это услышать и запомнить. И такой никчемностью показались мне эти мои злосчастные архивные бдения, эти страдания из-за того, что в истории нет сослагательного наклонения, — разве не единожды дарована человеку в этом мире молодость, и эта прекрасная черноволосая статная дивчина рядом, и этот дивный город с его бульварами, проспектами, древними храмами, с... опять же! — ну куда мне деться от этого! — его 1500-летней историей, с бескрайним синим плесом Днепра, — и разве не должен я жить — жить и любить — пока не загустела кровь в жилах, пока не присыпано все живое и молодое во мне серой пылью равнодушия и не подернулось тусклой пленкой усталости?..

Жить, — но как с этим жить было мне?

Ведь и Крещатик тех лет, мыслимый недвижно-прекрасным, давно провалился в небытие, как и все прочее в этом мире, рассеялся по белому свету люди, стаптывавшие здесь годами «платформы» негритянских «шувов», сабо, сандалики, кеды, кроссовки своей странной подсоветской юности, поглотились метафизическим пространством те дивные музыкальные переложения Максима, которым мы с Галюней стали случайными свидетелями, а «Шисгара» — «Venus» («She's got it») голландской группы «Shocking Blue» с шутовым текстом Максима на мове еще с архаичного 1971 года считалась вполне «народной», сочиненной сельскими хлопцами на вечернице под Конотопом, и распевалась со смехом по всей Украине едва ли не хором, и только те, кто остался, помнят, кто автор этой пародии; исчезли без видимого следа, сохранившись разве что в пожелтевших машинописных копиях у такого «оддскульного» типа, как я, и гениальные строки стихов Игоря Винова, давным-давно променявшего лиру поэта на тогу эзотерика-мудреца.

Где Люська Ушакова, Юрко Крошка, нарезавший круги по Крещатику в поисках денег на «бормотуху», где Лена Шварцзоид с Сережей, Кассандра — Лидка Винграновская, Летающий Вареник, Юрко-Письменник, Костюм Пиджакыч — Валентино, Милка Скороход-Вржесневская, Боб Чепурной, Коля Враг народа и Наташа-Батарейка, Кристина Гайдамака, Дима Битломан и добрая сотня-другая тех, чьих имена и прозвища я просто забыл; где тусовка с Львовской площади — Красивозадая Наташа, Петя Гитлер, Вася Хендрикс, Харкающая Жаба, Бабушка-Кондор, и снова — десятки исчезнувших и забытых, из которых на слуху остался один только Подя, ныне писатель-авангардист Лесь Подеревянский, переживший и коммунизм, и 30-летнюю уже президентскую независимость...

Галюне захотелось остаться здесь, стать своей в этой разноцветной толпе первых киевских хищарей, нонконформистов, подпольных поэтов, непризнанных музыкантов, пить портвейн из горла, слушать бесконечные разговоры Бог знает о чем, анекдоты про Брежнева, эзотерическую муть — жалкое подобие платоновских диалогов, приколы, иностранные песни, слушать психоделическую музыку из переносных магнитофонов «Весна-3», танцевать босиком на теплом асфальте под темным киевским небом, подсвеченным желтым светом фонарей, курить свою первую анашу, или «план», — и ей хотелось, наверно, все же любви, или того, что в те времена подразумевалось под этим: скамейки в тенистых парках, жаркий шепот слов непонятно о чем, от которых тает душа...

Я же помимо своей воли темнел лицом, и угрюмость моя отчего-то только усиливалась прямо пропорционально разгорающемуся веселью и дураковалению

— ведь мало того, что я чувствовал себя совершенно чужим на этом лихорадочном и бесшабашном «празднике жизни», но я еще не по возрасту своему откуда-то знал, что все это пройдет, все рассеется паром, и после того, как праздник закончится, закончится следом и молодость, а может, даже и жизнь у кого-то оборвется в самом начале — кто знает? — и пришедшие следом годы и десятилетия продиктуют новые железные правила: семьи, жены, мужья, стабильная работа, вступление в сплоченные ряды партии, никому не нужная карьера в никому не нужном НИИ, походы на демонстрации в поддержку решений очередных съездов, крики «ура», аплодисменты, переходящие в овации, тайные мечтания о заграничной командировке в Болгарию, куда не выпускает бдительный украинский КГБ, из-за того что твой отец подростком был отправлен на работы в Германию во время войны и тем самым перечеркнул не только свою жизнь, но заодно и твою... За всем этим шумом и гамом я видел одно только неизбежное одиночество, печальное и неотвратимое.

Галюню сразу же приняли в компанию — Люська Ушакова обняла ее, поцеловала, надела на голову венок из каких-то пожухлых цветов:

— Отныне и навсегда!.. — сказала торжественно.

Боже, да что ты, Люська, знаешь о том, что есть «навсегда»?

Максим Добровольский протянул мне початую «бомбу» «Биомицина» за 1 р.72 коп.:

— Угощайся, дружище!..

Как тут к слову не вспомнить его слова в нежнейшей песне Джима Моррисона «The crystal ship»: «...Казав же я що ЛСД такого понту видає — не гірше за «Біле Міцне» і в ноги й в голову шибе...» Не передать мне словом той дивной мелодии, которая вкупе с текстом Максима становилась чем-то вроде химической кислоты, прожигающей твою душу и разум не только за пределами эстетическим совершенством музыки, но и химерным украинским абсурдом.

Остаться здесь, все прошлое, призрачное и гибельное просто забыть и пребывать в этой нескончаемой киевской осени, на Крещатике, с этими замечательными ребятами, с этой музыкой, пить азербайджанский портвейн и ни о чем не печалиться и не думать... «Жить быстро и умереть молодым» — таков, кажется, был слоган тогда у нас, — до «секса, наркотиков и рок-н-ролла» мы, понятное дело, весьма недотягивали в связи с отсутствием наркотических препаратов, если не считать вполне безобидной «травы» — нашего тогдашнего веселящего «газа». Но и при отсутствии тяжелых наркотиков «бормотуха» с «чернилами» косили юные жизни, выжигали химической дрянью как мозги, так и внутренности. До сорока лет, кажется мне, не дожила и половина народа как с Крещатика, так и со Львовской площади. А кто дожил — тот стал другим.

О, мгновение той теплой киевской осени 1977 года, остановись же! Время жизни, замедли свою мерную поступь в то светлое будущее, недостижимое, как хрущевский коммунизм, где ты вроде бы встретишь еще и любовь, и друзей, где прочтешь ты недоступные книги или книги, отложенные сегодня на завтра, к той поре, наконец-то, водворится покой как в окружающей тебя жизни, так и в душе, канут куда-то чудесным образом проблемы и житейская маета, неустроенность, и вот тогда... тогда-то и начнется настоящая жизнь, а то, что ныне теперь, это так — преддверие жизни, приходящая настоящего, все случайно вполне и завтра забудется, можно без сожаления потерять, можно без особенной радости обрести и найти, но вовсе не дорожить — ведь все будет завтра.

Все будет завтра...

И больше не с кем было мне поделиться тем маревом, багровым мраком, наплывающим на меня из прошлого Южной Руси-Украины — снова перед моим воспаленным и больным внутренним взором разворачивалась и разгоралась драматическая или все же трагическая картина того, что позже получит наименование истории, ну а пока — до поры — не было таковым: где-то под Киевом собирались козаки, и вверх по Днепру, преодолев бесчисленные гряды и заборы черных скальных порогов, поднимались легкие суденышки-чайки, набитые неистовыми сорвиголовами из Запорожского коша; польные варшавские гетманы снова оглашали посполитое рушение всех охочих людей государства отсекальщупальца гидре из Запорожья, снова и снова сотрясаемого судорогами религиозных распрей и нестроений, усугубляемых невнятицей войскового устройства Речи Посполитой...

Я выпил вина, предложенного Максимом, послушал еще пару песен его, уже из репертуара «The Beatles» и тронул за локоть Галюню: ну, что, пойдём дальше?... Багровая опара былого набухла во мне, и нужен был выход какой-то — написать ли статью или книгу, сложить песню о том под гитарные переборы или — самое доступное — просто о том рассказать внимательному слушателю-собеседнику, другу, любимой... Может быть, потому и нужна была мне Галюня.

Но она сказала:

— Лешек, я остаюсь здесь...

Вот и весь разговор... Собственно, а на что я надеялся? Чего я хотел от Галюни, кроме того, чтобы она снова смиренно слушала о том, что было предысторией сокрушительной войны Богдана Хмельницкого, что произошло с русским и польским народами после того, как гетман Сагайдачный, гроза турок, ляхов и московитов, умер от боевых ран и отправился на суд Божий держать ответ за Хотин, за Москву, за Синоп, Кафу, Очаков и Трапезунд и еще за десятки разоренных им крепостей, городов и местечек, за груды трупов разного рода и племени, разной веры, даже и православных, как в Московской кампании 1618 года, которые оставались после козацких военных походов во все стороны света, им возглавляемых, в достижении эфемерных и забытых за давностью целей; как тлел и постепенно разгорался с разных концов этот громадный пожар, в котором к середине 17-го столетия практически погибла Речь Посполитая — Хмельниччина с неисчислимыми жертвами — с обеих сторон, с невероятными жестокостями — с обеих сторон, с неистовой резней супротивных — с обеих сторон; потеря всей Южной Руси, — потеря, которая ничему так и не научила варшавских коронных панов, — и потеря одной трети державы никого даже особенно не потрясла, кроме землевладельцев: ладно, это вынужденное тактическое отступление, вот немного передохнем, залечим раны и отберем назад у Москвы польскую Украину — после ошеломления, оглушения событиями 1648-54 годов, когда восстал практически весь русский народ, смертельно уставший от всяческих притеснений. Но мне не пристало пересказывать здесь общеизвестные истины о земельных магнатах, практически поработивших Южную Русь-Украину по обоим берегам Днепра. Уместно для краткости просто процитировать всезнающую Википедию, безэмоциональную и сухую:

«Усиление политического влияния «шляхетской олигархии» и феодальная эксплуатация со стороны польских магнатов особенно проявились на территории Юго-Западной Руси. Путём насильственных захватов земель были созданы огромные латифундии таких магнатов, как Конецпольские, Потоцкие, Калиновские, Замойские и другие. Так, Станиславу Конецпольскому на одной Брацлавщине принадлежало 170 городов и местечек, 740 сёл. Он же владел обширными землями на левобережье Днепра. Одновременно росло и крупное землевладение русского дворянства, которое к этому времени принимает католическое вероисповедание и ополячивается. К их числу принадлежали Вишневецкие, Кисели, Острожские и др. Князьям Вишневецким, предки и родственники которых (Дмитро Вишневецкий, Глинские, Ружинские, Дашкевичи) были среди основателей и первых атаманов Войска Запорожского Низового, например, принадлежала почти вся Полтавщина с 40 тысячами крестьянских и городских дворов, Агаму Киселю — огромные поместья на Правобережье...» и все в таком духе.

И разве мыслимо исчислить или хотя бы просто наименовать все те беды, несчастья, обиды и притеснения, которые выпали на долю тех подвластных магнатам людей, посполитых крестьян, рядовых козаков, ремесленников? Ведь это было целой вселенной, немой Атлантидой, где гасли неслышимые крики, стоны, проклятия, где кровь лилась как вода, где царили только несправедливость, беззаконие и неправда, — и Атлантида медленно и неотвратно погружалась в кровавый хаос невиданного и неслыханного насилия... И долго ли могло продолжаться терпение подъяремного люда? Даже, казалось бы, в верхоглядной еврейской хронике 17-го столетия «Пучина бездонная» Натана Ганновера, изданной в Венеции в 1653 году, засвидетельствованы эти вопиющие факты. Хотя, казалось бы, что за дело было еврейскому бытописателю до страданий и мучений, выпавших на долю презренных украинских «гоев». Но если даже такой посторонний сквозь зубы о том говорит, то разве можно представить себе, что происходило на деле?

«Я тот муж, глаза которого узрели жезл гнева, каким разил Господь народ израильский своего первородного сына, как Он низверг с небес страну Своего великолепия, вожделенную Польшу, прелестнейшее украшение вселенной, поглотил и не сжалился над пристанищем Якова, своим заповедным убежищем, и не вспомнил про землю, подножье ног Своих, в день гнева и возмездия. <...> Так было до воцарения короля Сигизмунда. Вышеупомянутый король стал возвышать магнатов и панов папской веры и унижать магнатов и панов греческой веры, так что почти все православные магнаты и паны изменили своей вере и перешли в папскую, а православный народ стал все больше нищать, сделался презираемым и низким и обратился в крепостных и слуг поляков и даже, особо скажем, у евреев. Только наиболее отважных среди них взял себе король в войско — всего около 30000 воинов, по призыванию козаков, и они были свободны от платы погателей королю и панам и были обязаны только жить на границе Руси вблизи страны, где живут татары, чтобы охранять государство от них, бывших от века камнем преткновения для Польши. И всегда была великая ненависть между татарами и православными. Татары воевали с православными, а православные

с татарами. Вот почему казаки были освобождены от погостей и пользовались вольностями наравне со шляхтой, но остальная беднота православного народа была порабощена магнатами и панами, они омрачали их жизнь тяжкими работами и всякими трудами дома и в поле. И наложили на них паны большие погаты, а некоторые паны подвергали их тяжким и горьким мучениям, побуждая их перейти в папскую веру. И так они были унижены, что почти все народы и даже тот народ, что стоит ниже всех, владычествовали над ними...»

Под тем народом, который «стоит ниже всех», хронист, естественно, подразумевает евреев. Хотя это весьма странно: если православные оказывались в подчинении и в зависимости от евреев, то логично было бы отметить, что именно они и «стояли ниже всех» в государственной и социальной иерархии Речи Посполитой. Со времен 16-го столетия в Польше все больше и больше распространялась практика отдачи владетельными панами городов, местечек и латифундий в аренду предприимчивым детям Израиля. Стали уже достоянием прошлого отважные польские и литовские рыцари, расширявшие ценой собственной крови границы как Королевства Польского, так и Великого княжества Литовского, их имена, их деяния остались в летописях, в легендах и отчасти в высокой поэзии Яна Кохановского. Их внукам и правнукам, нынешним ясновельможным сятельным господам, приятнее было заниматься охотами, балами, гостеванием друг у друга, заседаниями в поветовых сеймах и сеймиках, да и войной, если на то уж пошло, куда они отправлялись как на праздник — с великолепной утварью, драгоценным оружием, с шатрами из златотканной парчи, с бочонками тонких вин и душистых наливков и водок... Хроники войны Богдана Хмельницкого просто пестрят описанием удивительных драгоценных трофеев, захваченных козаками при разгроме польских таборов. Тут и золотые кубки, золотые тарелки, серебряные подносы... Ну, о целых гардеробах кафтанов, драгоценных кунтушей, кармазинов, собольих шуб вообще не приходится говорить. Уже даже по этим трофеям можно понять, как богата, сильна и обильна была та Речь Посполитая, вскоре бесславно канувшая в небытие. Отсюда и строки Тараса Шевченка в поэме «Гайдамаки»:

*Хвалилися гайдамаки,
на Умань ігучи:
«Будем брати, пане-брате,
З китаїки онучі»...*

Арендаторы, или «орендари», как их называли русины, или «эффективные менеджеры» той эпохи, как их называли бы нынче, так умело-безжалостно знали свое дело — сбор налогов, управление землями и фольварками праздных польских панов, торговля водкой в шинках, часто с принуждением и карой, если холоп отказывался ее покупать, пренебрежение чужой верой, — что скоро снискали всеобщую ненависть обиравемых до нитки простолюдинов. Вероятно, даже большую, чем поляки. И когда дело дошло до настоящей войны, многие из них стали жертвами этой сокрушительной ненависти. Еврейский хронист, обладавший среди прочего ярким литературным талантом и богатым воображением, не скупится в художественных средствах, когда описывает бедствия и страдания своих соплеменников:

«...Таковы слова сочинителя Натана Ноты, сына мученика р. Моисея Ганновера (га благословенна будет память праведника) Ашкенази, который жительствовавал в св. общине Заслав, вблизи св. общины столичного града Острог, что в округе Вольтынь, в славной стране Русь. <...> И много святых общин, расположенных невдалеке от мест сражения и не могших спастись бегством, как то св. община Переяслав, св. община Борисовка, св. община Пирятин, св. община Борисполь, св. община Лубны, св. община Лохвица с прилегающими, погибли смертью мучеников от различнейших жесточайших и тяжких способов убиения: у некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, а некоторых, после того как у них отрубали руки и ноги, бросали на дороге и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми, а некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали, чтобы они долго мучились в смертных муках, до того как испустят дух; многих закапывали живьем, младенцев резали в лоне их матерей, многих детей рубили на куски, как рыбу; у беременных женщин вспарывали живот и плод швыряли им в лицо, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали им руки, чтобы они не могли извлечь кошку; некоторых детей вешали на грудь матерей; а других, насадив на вертел, жарили на огне и принуждали матерей есть это мясо; а иногда из еврейских детей сооружали мост и проезжали по нему. Не существует на свете способа мучительного убийства, которого они бы не применили; использовали все четыре вида казни: побивание камнями; сжигание; убиение и удушение. А многих татары увели в плен; женщин и девушек насиловали; овладевали женщинами на глазах их мужей, девушек и красивых женщин брали в служанки и поварихи, а иных в жены и наложницы. Так они поступали во всех местах, куда приходили; и то же самое делали с поляками, в особенности с

ксендзами. И было убито в Заднепровье много тысяч евреев, а несколько сот их было принуждено изменить вере. Библейские свитки рвали на клочки и делали из них мешки и обувь; а ремнями для тефилин подвязывали сапоги, покрышки же их выбрасывали на улицу; священными книгами мостили улицы или изготовляли из них пыжи для ружей. «У каждого, услышавшего об этом, зазвонит в ушах... — так описывает беды своего народа Натан Ганновер, и продолжает: — Соблюдая строго тайну, он (Хмельницкий) разослал по всей стране, во все места, где живут православные, послания, в которых призывал подготовиться, чтобы в установленный час объединиться, постоять за себя и уничтожить, стереть и убить всех евреев и все враждебное им войско польское вместе с детьми и женщинами, а имущество их разграбить. И стало это известно евреям от православных — их соседей либо грузей. Во всех православных поселениях у евреев были также свои шпионы, и евреи сообщали панам, своим господам, все собранные сведения. Из одной общины в другую с верховыми гонцами посылались ежедневно письма, в которых сообщались новости, интересующие евреев и панов. Поэтому паны очень сблизились с евреями, и они — паны и евреи — стали словно один союз, одна душа, ибо Господь посылает лекарство перед болезнью, если бы не это, был бы конец — от чего да хранит Господь — и остатков Израиля. И по всей стране, во всех местностях, куда достигало послание злодея, была великая радость среди православных и большая скорь среди панов и евреев. Посты и стенания, облачения в рубища и посыпание главы пеплом, покаяние и молитвы — все это не смогло отвлечь гнева небес. «И все же гнев Его не отвратился, и рука Его простерта». Да смилости-гнется над ними небеса!»

Я шел куда глаза глядят уже в одиночестве, оставив Галюню в яркой и развеселой толпе на Крещатике, и каждый шаг отдавался гулко в глубине тела, толкал нечто в утробе, — если бы я умел молиться тогда, я бы, вероятно, молился — о загубленных душах, о затравленных русинах, о слепых и хромых на обе ноги вождях Речи Посполитой, которые не различали и не понимали тех огненных знаков в текущем времени их жизни. Разве что несостоявшийся царь на Москве, а ныне польский король Владислав отчасти нечто провидел, почему и дал православным некоторое послабление в отправлении обрядов своих и легализовал их иерархию. Но и столь скромные послабления были сочтены властью предрержащими панам короны, латинским духовенством и униатской иерархией неслыханной дерзостью и оскорблением польского патриотизма и верности папским догматам. Проклятия прекраснородному и мягкотелому отступнику королю Владиславу неслись и из далекого папского Рима. Да как он посмел нарушить давние благословения?!.. Униаты же наотрез отказались освободить захваченные прежде монастыри и парафии, кафедральные соборы и епископские дома, однозначно оговорившись, что уступят лишь силе.

Сила же имелась в достатке.

И тут было весьма опасное преткновение для внутреннего устройства государства. И если многолетние издевательства над православием и всяческие козни при отправлении богослужения еще можно было кое-как претерпеть, скрипя зубами и только лишь угрожая адекватным ответом, принося символические ритуальные жертвы вроде утопления в Днепре рьяного киевского войта или убийства в Витебске «омерзевшего» всем Иосафата Кунцевича, то когда материальные притеснения касались каждого русского воина, вооруженного самопалом, пикой и саблей, терпение, понятное дело, заканчивалось. А притеснение вероисповедания придавало еще остроты, терпкости и некоей необъяснимой безоглядности тому, что копилось и зрело в народной соборной душе.

Здесь следует сказать несколько слов в пояснение к сложившейся к началу Хмельниччины военной ситуации противостоящих сторон, поляков и русских, или католиков и православных.

Речь Посполитая для защиты своих рубежей от каких бы то ни было неприятелей издавна полагалась на высокую самоогранизованность и патриотизм правящего сословия польской и русской шляхты. При военной угрозе король с сеймом объявляли *посполитое рушение*: в определенных местах собиралась вооруженная шляхта со своими отрядами, кто мог себе это позволить, или с парой вооруженных вассалов, совместно с отрядами *обороны поточной*, или, говоря по-другому, наемниками, и они совместными усилиями осуществляли войсковые задачи, поставленные польным (полевым, иначе же — походным) гетманом. Само собой разумеется, такая военная организация дела была весьма неповоротлива и неэффективна. Пока паны соберутся с духом и с силами, пока решат, кому отправляться в посполитое рушение, а кому оставаться в фольварках, пока господа экипируются и вооружают своих гайдуков, пока доберутся до места сбора, а затем до места, где предстояло сражаться, — драгоценное время проходит, теряется. Главными врагами Речи Посполитой были крымчаки, которые несколько раз в год вторгались из-за Перекопа в пределы Польши и Южной Руси

за добычей, которая состояла преимущественно из *ясыря*, т.е. живого товара, который успешно и прибыльно продавался в Кафе и других прибрежных городах полуострова до времен Екатерины II, когда Крым в результате нескольких русско-турецких войн стал российским. По самым приблизительным данным через крымские невольничьи рынки с середины 14-го столетия и до покорения полуострова Российской империей было продано от трех до пяти миллионов славянских рабов. Захват ясыря был вполне традиционным вековым промыслом у татар, и без ясыря Крым просто не способен был экономически существовать. Работоторговля в Крыму весьма поощрялась просвещенной Европой, и это вполне объяснимо: современные исследователи вопроса подсчитали, что прибыль с каждого купленного в Кафе раба и перепроданного затем в Геную или в Венецию, достигала до 500 процентов. Отразился этот печальный и трагический промысел крымцев даже в национальных языках якобы просвещенной Европы. Так «раб» по-английски — «slave», славянин же — «slav». То есть, говоря другими словами, никаких других рабов, кроме славян, не было в сопредельных землях Речи Посполитой и Московской Руси.

Как можно было отказаться от такой «золотой жилы» и чем-то мирным и внятным ее заменить? Конечно, никак и ничем. Летучие и мобильные отряды крымчаков вторгались на пограничные земли Польши, Литвы, Московского царства, Кубани, Кавказа, хватали людей, детей, молодых женщин, подростков, сбивали их в отары, как скот, и гнали через Дикое поле и солончаки к Перекопу. Понятно, что когда посполитое рушенье и оборона поточная были наконец-то готовы выступить против татар, те уже свой ясырь не только переправляли к пограничной крепости Перекопу, но и прогоняли до самого южного побережья, до Кафы.

Османский путешественник Эвлия Челеби писал о крымском невольничьем рынке в Карасубазаре:

«Человек, который не видел этого рынка, ничего не видел в этом мире. Мать отделяется там от сына и дочери, сын — от отца и брата, и они продаются среди плача, криков о помощи, стенаний и печали».

И только при очень счастливом стечении обстоятельств, как в далеком 1575 году, братья Ежи-Юрась и Щастный-Якуб Струси, находясь в авангарде с горстью тяжело-вооруженных улан, не дожидаясь подхода основных сил посполитого рушенья, разгромили большое татарское войско под Сенявой, когда те возвращались с добычей. Когда подоспела подмога, то жолнерам пришлось только лишь потрудиться в сборе трофеев и оружия да ловить по степи татарских коней. 12000 человек ясыря отбили под Сенявой братья Струси у крымчаков!.. И 20 лет спустя люди помнили этот подвиг. По числу же отбитых пленников можно представить масштабы промысла крымчаков в Речи Посполитой. Последний набег крымчаков имел место в 1768 году, в котором, по осторожным оценкам историков, татары захватили около 100 тысяч невольников, — а ведь на дворе стоял уже век Екатерины Великой, и до окончательного решения «крымского вопроса» оставалось три года...

Польские короли, конечно же, пытались бороться с такой чехардой и каким-либо образом упорядочить войсковое устройство внутри государства. Ведь при наличии таких опасных соседей, как Крым, Московское царство и Османская империя, не говоря уж о германских и волошских княжествах, а затем и Швеции, откуда, собственно, происходила династия польских королей Ваза и которая сыграла роковую роль в так называемом Потопе во время русско-польской и польско-шведской войн, уже после потери Южной Руси, у Речи Посполитой фактически отсутствовала регулярная армия, и полагаться на своевольную шляхту в деле защиты границ было весьма неразумно и легкомысленно из-за совершенной непредсказуемости дворян. Ведь знатный пан или богатый магнат, имевший даже зачастую свою личную армию, мог просто не захотеть при определенном раскладе принимать участие в посполитом рушенье: хочу воевать — воюю, не хочу — сижу в своем замке и пирую с вассалами и друзьями, а война — она где-то там далеко, справитесь без меня. Конечно, когда война и опасность угрожала непосредственным образом владениям, землям и местечкам самого шляхтича, он без раздумья выступал со своими вооруженными клевретами на войну, вливался в посполитое рушенье и отважно воевал, не щадя здоровья и живота, но когда военные дела проходили где-то там, на южных рубежах, в Диком поле или же под Смоленском, умозрительный шляхтич вовсе не горел желанием подставлять грудь под пули и голову под острый клинок крымчака, запорожца или секиру стрельца. Он — оставался дома... Исключением стала разве только московская Смута с чередой Лжедмитриев и тотальным предательством московских бояр, — тут уж вся знать Речи Посполитой ринулась на бесхозные территории — наживаться и грабить. И то, в конце концов, не смогла ладу дать левашей в руинах московской земле... Один лишь Смоленск да несколько городков выторговали у очнувшихся от смертного мора лукавых московских бояр. Да и то — до известной поры... Внутренняя демократия и губительная

свобода в Речи Посполитой просто не знала ничего даже отдаленно подобного в современной Европе: ведь в конституции государства было прописано даже право шляхты на *рокош*, т.е. восстание, бунт и мятеж не только против тех или иных действий короля, но даже и против постановлений сейма. Причем каждый король, начиная с Генриха Валуа, вынужденно подписывал такой документ, предусматривавший право шляхты на этот самый рокош, и происходило оно от средневекового, еще рыцарского, права не повиноваться в особых случаях королевской власти. Юридической основой права шляхты на рокош было право на отказ в послушании королю (*non praestanda oboedientia*), зафиксированное в так называемых «Мельниковском привилее» (23 октября 1501 года), «Генриховых артикулах» 1573 года и *Pacta conventa* (которые и подписывал при избрании каждый король, начиная с помянутого Генриха Валуа). Одними из наиболее крупных рокошей были «петушиная война» (1537 года) и рокош под руководством Миколая Зебжидовского против Сигизмунда III Вазы в 1606-1607 годах (иначе же «Сандомирский рокош»), в результате которого власть короля была существенно ограничена, а привилегии шляхты упрочены и расширены. В этом рокоше Зебжидовского, помимо всего прочего, было и настоятельное требование шляхты удалить из Речи Посполитой иезуитов, которые весьма надоели даже ревностным и твердым католикам. Но Сигизмунду удалось отстоять своих иезуитов от разгневанных высокопоставленных бунтовщиков.

Сигизмунд II Август, отчаявшись совладать со своеволием шляхты, решил пожертвовать собственными капиталами и за свой счет нанять, обучить и содержать новое регулярное войско. В 1562 года в городке Петрикове сейм утвердил предложение Сигизмунда II относительно этой военной реформы. Из-за нерегулярных выплат жалования дисциплина в наемных войсках обороны поточной оставляла желать лучшего, поэтому на содержание постоянной наемной армии было принято решение выделять четвертую часть доходов (или кварту) с королевских имений (отсюда и название войска: кварцаное — то есть четвертное). В 1569 году после Люблинской унии кварцаное войско появилось и на территории Великого княжества Литовского. Немного раньше, в 1555 году, регулярная военная сила из русинов, или же козаков, появилась за днепровскими порогами на острове Малая Хортица, дабы охранять от крымцев водный путь вглубь Великого княжества Литовского, в состав которого до Люблинской унии входили земли Южной Руси-Украины. Эта войсковая залога была названа по своему географическому расположению. Основатель ее, князь Дмитрий (Байда) Вишневецкий, был старостой Черкасским и Каневским. В 1554 году Сигизмунд II Август официально назначил Дмитрия Вишневецкого «стражником» на днепровском острове Хортица. Козаки Вишневецкого возвели земляные укрепления и деревянный детинец и начали речные и морские походы в обратном уже направлении — к морю и к крымскому побережью, разоряя татарские аулы в отмщение за вторжения и промысел ясыря. Таковым было начало реестрового козацкого войска, которое во времена Вишневецкого насчитывало всего-то 300 человек. Наш отдаленный предок (как я втайне надеюсь, хотя надежда моя чрезвычайно зыбка) Юрий Язловецкий, будучи в те времена коронным гетманом Речи Посполитой, тоже к созданию Запорожья приложил свою владетельную руку, основав между делом и войсковыми заботами и крепостицу Кременчуг у первых, чуть ниже по течению уже страшных и непреодолимых, днепровских порогов. Вот как поминается о том в Википедии:

«Грамота Сигизмунда II Августа от 5 июня 1572 года, переданная на Запорожье, предлагала запорожцам поступать на королевскую службу, для несения охранной службы и полицейских обязанностей. Король подтвердил распоряжение коронного гетмана Ежи Язловецкого о наборе 300 казаков на государственную службу».

Затем количество реестровых колебалось и порой весьма значительно, в зависимости от нужды и военных предприятий Речи Посполитой. Реестровым козаком хотел стать каждый добрый молодец, родившийся в Южной Руси, — можно сказать, это было мечтой каждого, кто хотел выбиться в те времена в люди. Козак, чье имя было вписано в войсковой реестр, один раз в год получал неплохое денежное и вещевое довольствие от короны, освобождался от податей, становился в каком-то смысле неприкасаемым; со временем реестровая козацкая старшина богатели, покрывалась подкожным жирком, даже получала «безгербовое» дворянство... Реестровые козаки были выделены в особое сословие. Начав свое существование с 300 человек, сословие возросло при короле Стефане Батории до 800, хотя Баторий в первые годы свои и вовсе упразднил козацкий реестр: он, как и прочие властители Речи Посполитой, весьма опасался этой мало контролируемой буйной силы. Но государственные интересы все-таки превозмогли личное нерасположение короля: содержание реестровых козаков для королевской казны было выгоднее, чем содержание наемных войск. Так, расходы на 6000 козаков оказывались меньше, чем на 600 наемных пехотинцев. В 1577 году Стефан Баторий так писал о козаках крымскому хану:

«Мы их не любим и не собираемся беречь, да же наоборот, собираемся ликвидировать, но в то же время не можем держать там (за порогами) постоянно войско, чтобы им противодействовать».

Реестр медленно, но неуклонно увеличивался: 300 человек во времена князя Вишневецкого, 600 и 800 при Батории, затем 3000, 5000 и 6000 при Сигизмунде III... Во время похода на Москву в 1618 году в реестр правительство было вынуждено зачислить все 20000 человек, выступивших под командованием Петра Сагайдачного. На других условиях казаки не соглашались воевать с москвитями за водворение на царском престоле королевича Владислава Вазы. При осаде Смоленска в 1609 году в реестре числилось уже 50000. В 1621 году, во время войны с Османской Портой — 40000 человек. Тогда под Хотинском гетман Петр Сагайдачный получил смертельную рану отравленной татарской стрелой. Но это — исключительные случаи, ввиду военной необходимости. Когда война заканчивалась и казаки возвращались на свои хутора и займки, королевские власти непременно сокращали число реестровых, которых снова становилось от 5000 до 6000. Но добрые боевые молодцы, попавшие по военной государственной нужде в число 20, а то и 40 тысяч, мечтали только лишь об одном: остаться в этом реестре до конца жизни. И когда начиналось жесткое сокращение числа легальных, так сказать, козаков, остающихся на государственном довольствии, вместе с тем начинались и недовольства, а то и вооруженные бунты. Численность реестровых козаков во время Хмельниччины 1648–56 годов говорит сама за себя — польское правительство, будучи в отчаянном положении, разрешило реестр в 40000 человек (по Зборовскому договору 1649 года), правда, сейм не утвердил такого количества. А в 1651 году — 20000 человек, уже по Белоцерковскому договору... Из самих этих невероятных цифр можно понять, что Речь Посполитая просто погружалась в пучину хаоса и гибели, и что там было уже мелочиться?.. Да хоть 100000, да хоть миллион козаков пусть записываются в реестр — все равно платить уже никому из них было неоткуда и нечем... Со времен Наливайка в подобные социальные кризисы бывала у поляков уверенность, что «Вся Украина покочкалась...» Политической и дипломатической уловкой в 1654 году было и обещание московского царя Алексея Михайловича о невиданном от века козацком реестре в 60000 человек — когда Южная Русь уходила из Речи Посполитой под высокую руку Москвы... Другое дело, что обещать можно что угодно, а вот выполнять обещания не всегда получается.

Но я все же не об этом сейчас.

В 1650 году население Речи Посполитой насчитывало около 11 миллионов человек. Королевское регулярное (то самое кварцянское) войско — 5000 человек, реестровое козачество, без учета низовых, или же «диких», козаков насчитывало 6000 человек. Низовых козаков посчитать было весьма затруднительно. При всем этом русское, или православное, население по мере составяло, думаю, если не половину, то точно не менее трети подданных короля. Я не учитываю здесь литвинов, этнических предков сегодняшних белорусов. Большая часть их тоже была православной, и так же, как русины на юге, они испытали все «прелести» насаждаемой силой после 1596 года церковной унии.

Исходя из всего этого нетрудно понять, какая мина замедленного действия была заложена в государственное устройство Речи Посполитой. Если не считать дворянского посполитого рушения, собиравшегося время от времени по военной нужде, то пяти тысячам регулярной армии противостояло одних реестровых козаков на тысячу больше. Конечно, правительство, поощряя и подкупая различными льготами реестровых, изо всех сил старалось противопоставить их не только беспорядочному бесчисленному русскому холопству, но и вольным козакам, сидевшим в куренях за днепровскими порогами. При всяческих неприятностях и мелких заварушках на землях Южной Руси реестровые казаки по приказу из Варшавы исполняли и полицейские функции, подавляя волнения своего же простого народа. Нередки были вооруженные стычки реестровых козаков и с запорожцами, — и все это играло на руку польскому уряду, т.к. не давало сплотиться и консолидироваться русинам в нечто целое, заявить о своих правах во весь голос, смести в конце концов ненавистную церковную унию, не говоря уж о том, чтобы помыслить о собственной государственной автономии, которую снова-таки пообещали не скупко московские бояре с царем Алексеем Михайловичем... Ну а экономический, политический и духовный гнет, совершеннейшее непонимание государственным чинами и умами того, в какую западню загоняют они безмолвную до времени массу народа, не поддается никакому оправданию. Польские паны своими руками пилили тот сук, на котором сидели. Для восстаний не нужно было искать даже какого-то повода: со времени гибели гетмана Сагайдачного, когда вроде бы сам Сигизмунд III прислал к умирающему собственному королевскому лекаря, чем выразил Сагайдачному свое уважение и признательность за все войсковые свершения и победы, сразу же хрупкий мир, если таковой еще и имелся, был нарушен: Сагайдачный умер

в 1622 году, а в 1625, ввиду попытки правительства после Хотинской войны сократить количество реестра, вспыхнуло восстание под руководством Марка Жмайла. В 1631 — восстание Тараса Трясила. В 1635 — разрушение королевской Коцацкой крепости на Днестре гетманом Иваном Сулимой. В 1637 — восстание Павлюка. В 1638 — восстание Якова Острянина и Гуни...

И это все — в эпоху так называемого «золотого века» короля Владислава...

Общие задачи всех этих восстаний, подавляемых с большой жестокостью, граничащей со свирепостью, были практически одними и теми же: уничтожение церковной унии, послабление посполитому люду с повинностями и налогами, увеличение численности и неприкосновенность реестрового войска... Согласно «Летописи Величка», в марте 1638 года накануне похода Яков Острянин, избранный гетманом, обратился с универсалом к народу, в котором извещал, что выступит «с войском на Украину для освобождения православного народа от ярма порабощения и мучительства тиранского ляховского и для отмщения починенных обид, разорений и мучительных ругательств... всему посольству рога русского, по обеим сторонам Днепра мешкающего». Читая о казнях, которыми заканчивались эти спорадические и обреченные восстания, удивляешься тому, что через десяток-другой лет сами поляки вспоминали годы царствования короля Владислава Вазы как «золотое время», как «утерянный рай», как «последние спокойные годы». Может быть, этому способствовали эти кровавые победы — Николая Потоцкого, Станислава Конецпольского, банды Самуила Лаща, «героев» полузабытых восстаний времен короля Владислава — победы, которых так уже не хватало в скорых уже временах Хмельниччины, когда восстала против Речи Посполитой окончательно вся Южная Русь-Украина.

Николай Потоцкий, уставивший десятки верст — от Днестра до Нежина — колями с насаженными на них козаками и посполитыми в устрашение оставшимся жить до поры, писал так о повстанцах: *«Мужики выражали такую заклятость и упорство, что все отказывались от мира. Те, у кого не было оружия, били солдат оглоблями и гишлами...»*

Спасаящиеся от лютой и ненасытности в казнях этого магната, в Хмельниччину уже коронного гетмана и победителя козаков в битве под Берестечком, повстанцы 1638 года гетманов Гуни и Павлюка массово переходили рубеж между Речью Посполитой и Московским царством, где заселяли нынешнюю Слободскую Украину — Харьковскую и Белгородскую области, жители которых и по сей день носят вполне себе украинские фамилии, перекроенные на российский лад. Так Зозуля, к примеру, со своей ярко выраженной малороссийской фамилией, в переводе означающей «кукушку», со времен восстания Павлюка стал ныне Зозулевым, и все в таком духе. Яков же Острянин в своих универсалах, подобно выше цитированному мной еврейскому дееписателю Натану Ганноверу, тоже повествует о так называемом «золотом веке» при короле Владиславе, но уже на свой лад: Войско Запорожское, говорит Острянин, не в силах уже видеть *«отцов и матерей своих всегда опозоренных, а также братьев, сестер и жен, тирански замученных, в проруби ледяные в морозы зануряемых и обливаемых, в плуги, как скот (чего под солнцем неслыханно), запрягаемых... битых кнутом и поганяемых... чтобы хорошо тянули... на едино посмешище и поругание»*.

Вторит Острянину и белгородский воевода — со слов беглецов из Речи Посполитой — в своих донесениях в Москву о происходящем: *«Польские и литовские люди, их (козаков) христианскую веру пренебрегают и церкви Божию разрушают, а их убивают и жен их и детей, собирая вместе, сжигают, курят и порох, насыпавши им в пазуху, и грудь у жен их резали, и двор их и дома грабили и уничтожали»*.

Одновременно с Николаем Потоцким в Южной Руси орудовала и банда — иначе ее не назвать — стражника великого коронного Самуила Лаща, начавшего свою карьеру еще во времена московской Смуты, во время похода поляков для водворения на московский престол королевича Владислава в 1617-18 годах, непременною участника не только всех тогдашних военных предприятий Речи Посполитой, внутренних домовых войн, но и беспощадного карателя всех, без исключения, козацких восстаний «золотого века», захватившего краем своей жизни и Хмельниччину. Лащевцы просто вырезали население целых городов, таких, например, как Лисянка и Дымер, несмотря ни на пол, ни на возраст, находя эту тактику наиболее эффективной в подавлении козацких восстаний.

«Господин Лащ, в Киев уходя, — писал львовский летописец, — Лисянку-городок на самый день Пасхи, всех наказал как мужей, так и жен, так и детей, в церкви бующих, и попа с ними, по дороге людей невинных, чтобы только русин был, забивали».

К Лащу присоединилась кучка реестровых козаков, отработывающих верой и правдой свои реестровые сребреники. Вслед за Лащом на Киевщину отправился Станислав Конецпольский, гетман коронный. Выступлению войска короны государственные мужи пытались придать вид крестового похода на козаков. В городок Бар на проводы

гетмана собралась вся местная польская шляхта. Во время торжественного богослужения доминиканцы обнесли вокруг костела и потом освятили меч Конецпольского, благословляя его «Русь искоренить»...

Вероятно, стоит добавить, что Самуил Лащ зверствовал не только в подавлении козацких мятежей и восстаний, но и в мирных, так сказать, временах, наезжая на соседей, сжигая и разоряя замки шляхты, присваивая села и городки. Такова уж натура была у него. Возросши посредством захватов и отчуждений до магнатского уровня, получив за верную службу от короля крупные земельные владения на Киевщине, залитой кровью его бандой, Самуил Лащ сформировал собственный отряд из тысячи всадников, готовых на все, и продолжил активную «мирную» деятельность. Он продолжал нападать на соседних шляхтичей, грабил имения, присваивал луга, леса и поля, захваченных женщин отдавал на поругание и растерзание своим людям, а случайным жертвам, попавшимся под горячую руку, приказывал отрезать носы и уши для устрашения. Соседние землевладельцы могли только постоянно жаловаться в суд. Суд же принимал решения в их пользу, но не мог воплотить приговоры на деле. За двадцать лет накопилось 236 решений суда о банниции (лишении прав и изгнании из государства) и 47 решений об инфамии (лишении чести). Но Лащ был непотопляемым. Согласно легенде, из всех этих приговоров Лащ велел шить себе плащ, в котором имел наглость явиться при королевском дворе. За отвагу на поле боя от выполнения наказаний его защищал гетман великий коронный Станислав Конецпольский, выдавая охранные письма на отсрочку их выполнения, под чьим командованием он находился с 1623 года. В начале освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого, в 1648 году, Самуил Лащ принял участие в ряде первых сражений с восставшими. Сражался с козаками под Пилявцами (сентябрь 1648), под командованием князя Иеремии Вишневецкого в битве под Староконстантиновом (июль 1648), не считая мелких стычек. Коронационный сейм 1649 года, учитывая верность короне, вернул Самуилу Лащу прежние права, отменив все банниции и инфамии, наложенные ранее на него судами. А 15 февраля 1649 года Самуил Лащ мирно скончался в Варшаве. Общество ему составлял только цыган-скрипач, которому умирающий приказывал громко играть, если приходили кредиторы... Вечный покой Лащ обрел в краковском костеле св. Стефана.

Остается только добавить, что сам Владислав Ваза с детства весьма любил всяческие искусства и, став королем, заказывал картины Рубенсу и его ученикам, переписывался с Галилеем, способствовал зарождению оперы в Польше...

Таков был «золотой век» короля Владислава IV, сравнительно, как оказывается, мирный по сравнению с той кровавой баней, которая началась вскоре после его смерти в Речи Посполитой.

Глава 17. ПОТОП И РУИНА

Что-то я напророчил тогда, полгода назад, в сылом и сыром киевском марте 2020 года, когда поминал об «утраченном рае», сошедшем с подмостков истории с кончиной короля Владислава IV Вазы. Наша государственная самостийная телега худо-бедно, теряя колеса и различные причандалы, кое-как тарахтела по кочковатому шляху по направлению к вождельной Европе, даже несмотря на бесконечное военное противостояние на Донбассе, как вдруг ко всем искушениям и негарздам обрушилась на весь мир какая-то пандемия коронавируса, который, презрев все государственные границы и международные договора, накрыл всех нас смертным, липким и непроглядным туманом, в котором даже миражи, из которых, по сути, и состоит наша жизнь, исчезли, не говоря уж о призрачных целях, обманчивых смыслах, сторонах света и прочем. Мы будто бы оказались в новой реальности, неведомой, невразумительной, потусторонней, и ныне за каждой кочкой под ногой путника таилась опасность смертельной болезни. Даже предшествующие времена, за исключением разве что 2014 года, который стал неким Рубиконом, можно ныне расценивать как «райские». Не ведали своего счастья, как водится.

Успею ли я дописать свою летопись? Хватит ли времени моей жизни на то, чтобы беглыми словами и неким пунктиром обозначить значимые события драматического и страшного массива и месива истекших веков нашей истории, исполненной трагических ошибок, обоюдного ослепления, гнева и ненависти? Лечит ли время?.. Вопрос риторический. Конечно же, нет. Но системные ошибки только накапливаются, чтобы погрести под сущим Монбланом последние остатки, крохи, ошметки каких бы то ни было внятных смыслов. Русин-украинец и поляк навсегда становятся кровавыми врагами, и в середине 20-го века, на Волыни, когда война развязала руки и отменила последние моральные ограничения, в который раз продолжилось беспощадное взаимоистребление двух народов, некогда живших в одном государстве. Это к

вопросу о времени, — его попросту нет, но длится безысходное настоящее. И в этом вот «навсегда» отнюдь не зерно воскресения или переход на другой, более высокий, уровень отношений, — ведь даже социализм в Польше во второй половине 20-го века с декларируемой изо всех сил пропагандистской «дружбой народов», с намеренными знаковыми глобальными событиями вроде учреждения «Варшавского военного блока», — оказался паллиативом, подменой, закапыванием головы в песок по-страусиному, — потому что соборная душа народов в своем генетическом коде, в неведомых глубинах подсознания все накопленное сохраняет и бережет. Может быть, к сожалению... Тут никак не приложить евангельских высоких заветов о «левой щеке», о «прощении врагов», о самопожертвовании. Пророк Исаия, духом святым провидя воплощение сына Божия, так описывал наступающие времена в 11 главе пророчества своего:

«Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море».

Но где таковой мир?.. Где?.. И разве наша земля «наполнена ведением Господа»? Не язычники ли мы? Наша плоть, наша кровь, наши вековые обиды, наша вера, в конце концов, освященная благословением самого папы римского на уничтожение польской Руси-Украины, — все это никакого отношения не имеет к словам и делам спасителя мира. Наши предки, наши отцы и мы сами продолжаем жить в контексте Ветхого завета: око за око, зуб за зуб... Знатная шляхта Речи Посполитой середины 17-го столетия, все эти Конецпольские, Потоцкие, Вишневецкие, Ходкевичи, Радзивиллы и прочие — разве были они избранными сосудами духа святого или же воинами христовыми? Нет же, но, раздувшись от гордыни обладания несметными богатствами, бескрайними землями, неисчислимыми подневольными посполитыми, разве что по воскресеньям осеняли небрежно в костеле себя крестным знаменем, но при этом мнили себя защитниками Святого престола и латинского богослужебного обряда, с презрением относясь даже к церковной унии 1596 года, не говоря вовсе о православии с его тогдашней дикостью и темнотой, олицетворением которых были горе-епископы вроде Терлецкого и Борзобогатого, о которых я уже говорил. Это еще удивительно даже, что Православная церковь еще раньше не была продана в Рим за какой-нибудь замок где-нибудь в Корце или даже за званый обед. Поместную церковь пропить и проесть?.. А что такого? После меня — хоть потоп! — так, должно быть, рассуждали епископы «добрестской» поры. Да и потом — эти слова из евангелия от Иоанна «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе», — ведь они без должного глубокого понимания и разумения стали через полторы тысячи лет просто бессмысленной мантрой, поводом для принуждения и насилия самозванными «апостолами единения», от которых было бы меньше вреда и ущерба для государства, если бы они проводили дни своей жизни с кубком мальвазии в пухлой руке, или в охотах в мазовецких болотах, или в балах с прекрасными ликом панянками из соседних имений. Когда же православный народ очнулся от болотного морока сладких словес о мнимом порядке в церковных делах и о первенстве папы и взялся за дубину, оглоблю, самопал и козацкую саблю, державцы и гетманы Речи Посполитой ничего другого не придумали, как ломать русский хребет грубой силой или, по слову апостола Павла, «невежду страхом спасти». После мятежей и восстаний Трясила, Павлюка, Острияницы и Гуни шляхи Южной Руси уставлены были бесчисленными крестами с распятыми и колами, на которых по полгода сидели иссохшие под солнцем мумии запорожцев, разворачиваемые силой ветров в разные стороны, будто флюгеры... Но семена устрашения невероятными казнями падали на каменистую землю, страх смерти, опасности и обреченности вовсе не укоренялся в русском народе, как ожидалось расправщиками, но, напротив, души людей застывали, словно в расплавленном стекле, в каком-то невероятном и необъяснимом никакой логикой отчаянии, которое саму смерть побеждало своей безмерностью, становящейся метафизической силой. И польская грубая сила, не знающая пощады и милости, вызвала ответное противодействие русских. В умозрительном государственном котле Речи Посполитой к середине 17-го века создалось столь невероятное внутреннее напряжение, что взрыв был неминуем. Но кто из власть имущих тогдашней державы понимал это? Слабые голоса людей, подобных Льву Сапеге, когда он тщетно пытался вразумить ревностного в казнях православных в Литве Иосафата Кунцевича, терялись в грохоте победных реляций, в звоне литавр, в торжественных мессах и освящениях сабель, которым вскоре предстояло снимать головы с непокорных русинов, в литых латинских словах папских булл, укоряющих короля Владислава IV за то, что тот легализовал православную иерархию, дал выйти ей из подполья и даже

обещал вернуть некоторые храмы и монастыри в Киеве...

Но не успел собеседник Галилея и почитатель Рубенса в относительном мире и весьма призрачном покое отойти к праотцам, как началась полномасштабная гражданская война 1648-1654 годов, в результате которой Речь Посполитая лишилась Южной Руси.

— О, если бы только ее, — заметила моя жена Лика, когда я самозабвенно об этом вещал.

Назвать ли рассказ мой беспристрастным, спокойным, размеренным? Даже не знаю. Ведь ни о чем благополучном и мирном я не пишу, и на этих страницах вполне зашкаливает градус политической, социальной и человеческой неправды, череда всяческих нравственных, политических и социальных преступлений не имеет начала, не имеет конца. Но теперь, когда я приблизился к роковым 1648-1654 годам, которые стали точкой невозврата для Речи Посполитой, отделившей славное прошлое от позорного будущего, у меня просто опускались руки и каменела душа.

Я все прислушивался к метафизическим токам в себе, пытаюсь уловить что-то генетически польское, родное и трепетное, но советские времена, кажется, намертво закатали под толстый панцирь коммунистического интернационального асфальта те едва живые, немощные ростки, которые, может быть, еще теплились в моих дедах, Маршалках-Язловецких, и в дяде Нектонаполеоне, сгинувшем искупительной жертвой за былые неправды народа. И только теперь, приблизившись не к осмыслению даже событий Хмельниччины, а просто к безэмоциональному и вполне себе равнодушному исчислению стычек, сражений, сеймовых препираний, договоров, разновекторных переговоров Хмельницкого с современными ему государями, умозрительному построению козацким гетманом и вождем различных, вполне химерных, планов о создании некоей государственной федерации с Семиградьем, Волощиной, Молдавией под протекторатом Османской империи, а затем уже и с Москвой, нечто во мне дрогнуло, сдвинулось, и я почувствовал едва ли не физически, как смертная скорбь медленно и неотвратимо начинает подниматься в душе: я был бессильным свидетелем гибели великого государства, принесенного на алтарь безумной тысячелетней идеи о... первенстве римского первосвященника...

И что я мог сделать? Что я мог изменить? Кого и как мог я остановить, когда от творцов тех дел и событий остались лишь имена, зыбкие и неверные тени, исчезнувшие после того, как киносеанс в ДК им. Ворошилова в Кобеляках закончился и контролер тетя Мотя включила свет в зале?..

Скорее на выход, в солнце и зелень далекого дня нашего детства, в благословенные запахи, растворенные тихим ласковым ветром из-за Ворсклы, — и забыть обо всем поскорее...

Да и что, в принципе, нового я могу рассказать о Хмельниччине, или — по советской терминологии — «освободительной войне украинского народа за воссоединение с Россией». Что мне добавить к историческим летописям, тщательным розыскам поколений ученых историков, не в пример мне талантливых и даровитых, и даже к целой библиотеке художественных романов, посвященных этой катастрофической по последствиям войне, когда, по одной версии, «*вековые чаяния русского и украинского народов наконец-то сбылись*», а по другой версии, «*Россия использовала польскую смуту для того, чтобы преступно аннексировать Украину*». (Что-то чрезвычайно похоже с Крымом в 2014 году мы наблюдали. Разве что без пускания крови и без борьбы. Но это уже сродни высшему политическому пилотажу, о котором здесь не место вести разговор).

— А ты, Лешек, ничего не пишешь, — сказала на мои кухонные вопрошания и терзания моя многомудрая Лика, — все ведь написано о Хмельницком. Не множь досужие слова. Кому надо — пусть припадают к источникам.

— Но источники — они тоже ведь разные, — ответил ей я. — Польские хулят Хмеля и поносят почем зря, козацкие и российские хвалят, а советские — так те просто превозносят Богдана до небес за пророческую дальнорзоркость. Поляки же не просто вываляли Хмеля в словесной грязи и дегтем облили, но когда жолнеры Стефана Чарнецкого в 1664 году захватили Правобережье, когда добрались они до Чигирина, то первым делом разорили могилу его и прах уничтожили. Какая уж тут беспристрастность источников?..

— Да уж, — сказала мне Лика, — история — опасная штука. Лучше бы ты бизнесменил, мой друг, возил бы из Турции электротовары и кожу... Пропустил ты, Лешек, благоприятный момент...

Эта война стала беспримерной по степени жестокости с обеих сторон. Особенно отличился Иеремия Вишневецкий, магнат русского происхождения, племянник митрополита Петра Могилы. Его мать, Раина Могиланка, вошла в историю Южной Руси как щедрая церковная благотворительница, основательница трех славных крупных

монастырей — Густынского, Ладанского и Лубенского. Примечательна во всем фигура ее — дочь молдавского господаря Иеремии Могилы, сестра митрополита Киевского Петра, супруга крупного литовско-русского князя-магната, старосты овруцкого Михаила Вишневецкого, мать палача и расправщика над козаками Хмельницкого Иеремии, бабушка будущего короля Польши Михаила Корибута Вишневецкого... Все вместилось в одну женскую судьбу длиною всего-то в 30 лет... Просто космические скорости жизни минувшей эпохи...

— А ты говоришь: выключатели и розетки, — посетовал я Лике. — Ну что с тебя, курицы, взять?..

— Да, с Раиной Могилянкой мне не сравниться, — обиделась Лика и занялась приготовлением борща.

Сын Раины Иеремия, или, на малороссийский лад, Ярема, как его прозывали козаки, тоже недолго прожил и умер в 39 лет в военном лагере под Паволочью, в самом разгаре Хмельниччины. Воинское свое мастерство он начал оттачивать еще в Смоленской войне с Московской Русью, и прославился тем, что сжигал деревни и города, приказывая «ни огня, ни железа врагу не жалеть». В этой войне, осаждая Путивль, Курск и Севск, он получил страшную славу и такое же страшное прозвище Поджигателя. Восстания Острияницы и Гуни не могли пройти мимо него, да и было бы странно ему уклониться от подавления их: Иеремия был полновластным хозяином громадных пространств на Левобережье Днепра, называвшихся в ту пору попросту Вишневецчиной. В 1641 году, после смерти дяди Константина, Иеремия становится старшим в роду и наследует все владения Вишневецких. Князь начинает запланированную и очень успешную акцию по колонизации Заднепровья. К 1645 году количество населения в его владениях выросло в семь раз (до 38000 домов и 230000 подданных). Сюда сбегали правобережные крестьяне, привлечённые обилием земли и двадцатилетними налоговыми льготами. В его столицу Лубны собиралась мелкая беспоместная польская шляхта, которая занимала административные должности на княжеских землях. Князь имел одну из крупнейших магнатских армий Речи Посполитой. Она насчитывала от 4 до 6 тысяч воинов, а в случае необходимости князь мог выставить, по различным сведениям, от 12 до 20 тысяч вооружённых людей. «Он принёс на эти земли закон и порядок», — с удовлетворением сообщают польские историки. Мог ли такой рачительный хозяин, владелец 230 тысяч подданных, попустить мятежи, или же ворохобню, по-малороссийски, близ своих латифундий? Конечно же, нет. Потомок крепкого православного рода в 1631 году стал католиком и таким, какого еще стоило искать в коренных польских пределах, и на своих землях активно способствовал распространению католицизма. Правда, существует легенда, что Раина Могилянка благословила сына до последнего часа хранить веру отцов, православие, но Иеремия, по ряду причин, нарушил материнское благословение. Прямых преследований православных, как таковых, в Вишневецчине вроде как не было, но давление, подспудное и явное, все же наличествовало, разумеется. Первоначально использовались экономические методы, позднее — военные. Опорой для князя в проведении этой политики прозелитизма были иезуиты. Ну, это тогдашняя классика, без них ни одно дело не делалось... При подавлении мятежей Павлюка, Гуни и Острияницы князь Иеремия отличился крайней жестокостью и любовью к пыткам, за что прослыл «грозою казаков». Как писал Николай Костомаров, Вишневецкий «сделался жестоком ненавистником и гонителем всего русского», в качестве казней для мятежников Вишневецкий «придумывал самые изощрённые способы и наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, приговаривая: «Мучьте их так, чтобы чувствовали, что умирают». Тут все-таки надо заметить, что ожесточение было обоюдным: козаки, с боя беря городки, тоже никого не щадили, даже русских единоверцев. Носишь польский кунтуш, разговариваешь по-польски — этого было достаточно для того, чтобы с жизнью проститься. Таковых козаки называли «недоляшками». Вместе с ляхами и недоляшками уничтожались и евреи, верные слуги и арендаторы знатных семейств, густо заселившие как Польшу, так и Южную Русь. Живописания казней и ужасов в эмоциональной передаче Натана Ганновера, еврейского хрониста 17-го столетия, я уже приводил. А вот вполне равнодушное описание одного из многих фрагментов войны из польской хроники, взятое практически наугад:

«Однако вскоре под Пинск прибыли войска Януша Рагзивилла во главе с Мирским. Атаковав город с двух направлений, они захватили улицы, но восставшие заперлись в домах и стали отстреливаться. Поляки подожгли дома. Так был взят Пинск. Далее князь Григорий Друцкий-Горский взял Чериков и вырезал горожан. Отряды Филона Гаркуши и Степана Пободайло осадили Быхов, но у них в тылу появились отряды Григория Друцкого-Горского, и они сняли осаду и отступили. В деревне Смолевичи вспыхнул бунт, но его подавили отряды Иоганна Доновая. Далее армия Януша Рагзивилла перешла в контрнаступление. Отбила у восставших Брест, далее без боя заняла Туров, вырезала там все население и пошла на Мозырь. Город был окружён, вылазка повстан-

цев отбита. Далее город пережил несколько штурмов, а после пал. Затем был взят Бобруйск...» — и все в таком духе. Сегодня, ввиду новых общественно-политических реалий, все-таки дико читать о поголовном уничтожении населения. А ведь за каждым деянием таковым молчаливой стеной стояли сотни, тысячи, десятки тысяч людей, попавших в жернова той страшной эпохи... Кровавый фарш из человеческого мяса... Но ради чего, ради каких целей? По истекшему 20-му веку нам известно, как большевики «железной рукой загоняли человечество в счастье» или немецкие национал-социалисты строили свой Третий рейх ради благополучия и верховенства собственного народа: «Deutschland über alles!»: — «Германия превыше всего!» Что-то подобное просматривается и в 17-м столетии в Речи Посполитой: принудить к миру огнем и мечем, удержать любой ценой в повиновении целый народ, не жалея ни старого, ни малого, попытавшись сперва лишить отцовского образа веры, посеяв унией раздор и разделив на две части единый народ. И, естественно, поляк — господин над русским, над литвином и над евреем...

Тут можно еще понять господство магнатов и шляхты над замордованным посполитым-трудягой, — приоритет денег, власти, гордыни, но и среди равных по имущественному положению представителей польской и русской народности поляк ощущал свое превосходство, а русин — ущербность и подчиненность. Причем эта странная подчиненность была практически встроена в малороссийский генетический код на века: и через 200 лет украинские крестьяне ощущали и считали себя ниже поляков, таких же крестьян, как и они, и современные исследователи, основываясь на исторических материалах, воспоминаниях и различных записках о нравах, свидетельствуют о том:

«Раболепие воспитывалось у «хлопов», которые отличались от панов и религией, и национальностью. Когда Тарас Шевченко впервые пришел в гости к Ивану Сошенко, тот протянул ему для знакомства руку. Шевченко «бросился к руке и хотел поцеловать». Видимо, это был результат долгого «воспитания» в доме Энгельгардов, где господствовали именно польские порядки. В глазах крепостного Шевченко Сошенко, бедный вольнослушатель Академии художеств, тоже был паном» (С. Беляков. «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя»).

И сегодня, ввиду того что некий исследователь Конрад Т. Найлор поместил нашего князя Иеремию Вишневецкого на 45 место в своем списке людей, которые больше всего сделали для Польши добра, разгорелась нешуточная дискуссия прямо на страницах Википедии: «Да кто такой этот Найлор? Где ссылки? По какому праву он составляет подобные списки?»

И еще: *«Прямо святой! Заслужил ненависть всего украинского народа. Отличался звериной жестокостью. По его приказу замучены десятки тысяч мирных жителей (пса крѣв, хлопов православных). Изобретал невероятные по жестокости казни, «чтобы они чувствовали, что умирают». Вырезал целые городки поголовно. Основные методы казни — сажание на кол и поджигание рук облитых смолой голых людей. Некоторым его жолнерам становилось плохо. Поэтому такая не статья, а полная апологетика — скоро его святым провозгласят, ведь он пѣсю кровь, православных схизматиков искоренял?...»*

Надо думать, что сокрушительное поражение войска Богдана Хмельницкого под Берестечком летом 1651 года, в которой погибло от 30 до 40 тысяч козаков, а со стороны поляков пало всего около одной тысячи человек, было звездным часом князя Иеремии. Но ему не суждено было радоваться долго этой победе — спустя месяц он скончался в военном лагере под Паволочью при невыясненных обстоятельствах. Конечно, сразу же заподозрили, что он был отравлен, но публичное вскрытие, при котором присутствовали сотни людей, ничего внятного не выявило. Конечно, надо учитывать и уровень тогдашнего медицинского знания. «Поел соленых огурцов, — как сказали свидетели, — и запил медом...» Ну, не будем обращать внимания на странности гастрономических вкусов князя Иеремии. С другой стороны, если бы отравление Вишневецкого было бы делом рук козаков Хмельницкого, то в какой-нибудь хронике это бы просквозило, — ну как тут не похвалиться ловкостью операции? Тем более сразу же после сокрушительного поражения под Берестечком... Но козацкие летописи молчат... Остается лишь погрузиться в мистическую составляющую события: дела Иеремии переполнили чашу терпения Господа, и он прибрал его с лика истекающей кровью, раздираемой гражданской смутой земли Южной Руси. Тут еще надобно на одну существенную деталь указать: к 1650 году государственная казна Речи Посполитой настолько истощилась, что дальнейшую войну с козаками Хмельницкого вести было уже попросту не на что. Наемники из немецких княжеств, да и отечественные жолнеры с реестровыми козаками бесплатно не воевали. Но война была все же продолжена... волей и тщанием одного нашего князя: его личной армией и на его деньги. Воистину он был злым гением для народа Южной Руси-Украины. Потому тут каждый может

рассудить, чем была его смерть: трагическим совпадением обстоятельств, умелой кулинарной диверсией козака-одиночки, пробравшегося к княжеским огурцам, или Божиим промыслом о князе Иеремии. Останься князь жив, вполне вероятно, что история государства сложилась бы несколько по-другому.

Дела и победы Иеремии Вишневецкого после его смерти были настолько славны и значительны, что отзвуки его подвигов в отчаянных обстоятельствах Речи Посполитой отразились даже на карьере его воспитанника — князя Дмитрия Ежи Вишневецкого, который, несмотря на то что совсем не был удачливым полководцем, стал тем не менее великим коронным гетманом, и сына Иеремии — Михаила Томаша, избранного в 1669 году королем Польским и великим князем Литовским. Но все же некое родовое проклятие довлело над княжеским родом — Михаил Корибут Вишневецкий провел на польском троне всего несколько лет, проиграл войну с Османской империей, в результате которой Речь Посполитая лишилась Подолья и неприступного города-крепости Каменца-Подольского. Тщетой обернулись и попытки вступить в одну реку дважды — вернуть под королевскую руку Правобережье Днепра. До избрания королем Михаил в ноябре 1663 года принимал участие в военной кампании короля Яна Казимира на Украине против московских войск, командовал собственным пехотным полком численностью в 600 человек. Михаил Корибут Вишневецкий умер во Львове по пути на войну с турками в возрасте 33 лет. Наследников после него не осталось. Со смертью его тоже не все понятно. Врачи утверждали, что он умер от переедания, австрийские дипломаты, более квалифицированные в подковерных интригах тех лет, выявили, что Михаил был отравлен, принимая причастие во время мессы в соборе. Кому и для каких целей это понадобилось, осталось неизвестным.

Как бы там дело ни обстояло, но «королевская» ветвь Вишневецких на Михаиле Корибуге пресеклась, а в начале 18-го столетия пресеклась и ветвь «княжеская».

Что стало причиной? Нарушение материнского благословения оставаться в вере отцов? Или соборное, тысячеустое проклятие на века кровавого палача русинов, Поджигателя и мучителя князя Яремы? И куда тут приткнуть «45 место в списке благодетелей Польши»?..

В 1654 году через разоренную войной Южную Русь в Москву за подаванием направлялось посольство во главе с Антиохийским патриархом Макарием. В свите патриарха был и его сын, приметливый, литературно одаренный архидакон Павел Алеппский, оставивший о путешествии этом удивительные записки. Видели путешественники и один из величественных замков князя Иеремии, разоренный повстанцами. Антиохийцы передвигались неспешной процессией по выжженной земле, видели разоренные города, оставленные усадьбы и замки, ставшие прибежищем для диких зверей, заросшие сорняком нивы, но при этом, сообщает архидакон, не это их удивляло, но люди, пережившие только что ужасы и обоюдные зверства противостоящих сторон. Ко времени путешествия ближневосточных церковных гостей, во время которого направо-налево значному русскому люду — козацким старшинам, полковникам и сотникам с семьями продавались «православные индульгенции» о прощении грехов за подписью и печатью патриарха, война уже завершилась, и край лежал в руинах и в дымящихся пепелищах, но Павел Алеппский не устает удивляться:

«Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов, которые сыпались как песок. Мы заметили в этом благословенном народе набожность, богобоязненность и благочестие, приводящий ум в изумление. <...> Как мы заметили, в этой стране, то есть у казаков, есть бесчисленное множество вдов и сирот, ибо со времени появления гетмана Хмеля и до настоящей поры не прекращались страшные войны... Число грамотных особенно увеличилось со времени появления Хмеля (дай Бог ему долго жить!), который освободил эти страны и избавил эти миллионы бесчисленных православных от ига врагов веры, проклятых ляхов. А почему я называю их проклятыми? — вопрошает антиохийский путешественник. — Потому, что они выказали себя гнуснее и злее, чем лживые идолопоклонники, мучая своих христиан, думая этим уничтожить самое имя православных. <...> Ты увидишь, читатель, в доме каждого человека по десяти и более детей с белыми волосами на голове, за большую белизну мы называли их старцами. Они погодки и идут лесенкой один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались: ты увидел бы, что большой стоит с краю, подле него пониже на пядень, и так все ниже и ниже до самого маленького с другого края. Да будет благословен их творец! Что нам сказать об этом благословенном народе? Из них убиты в эти годы во время походов сотни тысяч, и татары забрали их в плен тысячами; моровой язвы они прежде не ведали, но в эти годы она появилась у них, унеся из них сотни тысяч в сады блаженства. При всем том они многочисленны, как муравьи, и бессчетнее звезд. Подумаешь, что женщина у них бывает беременна и родит три, четыре раза в год и всякий раз по три, по четыре [младенца] вместе. Но вернее то,

как нам говорили, что в этой стране нет ни одной женщины бесплодной. Это дело очевидное, для всякого несомненное и испытанное».

Я задумался надолго над этими словами человека, который воочию лицезрел тех малых детей, которые к этому дню стали нашими далекими предками и чуть ли не библейскими праотцами. Они родились в отчаянных обстоятельствах, когда земля Южной Русидо черноты напитывалась кровью братских народов, русского и польского, разделенного сатанинскими силами и образом веры, историческое единство которых общая, славная победами, недавняя история принесены были на ненасытный алтарь человеческой гордыни, — как тут мне снова не вспомнить слова «апостола единения» Иосафата Кунцевича: «Дай ми, Господи, достойному быти за унию святую и за послушенства столицы апостольское кровь мою пролити...» (цитирую это по рукописи: Processus in causa Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Iozaphat Koncewicz, Archiepiscopi Polocensis, expeclitus An. 1637). Дети, будущее этой земли, смотрели чистыми, доверчивыми глазенками на любопытствующего антиохийца, и он передавал через века и века свое изумление нам, сегодняшним. Ни от былой Руси-Украины, ни от архидиакона Павла Алеппского, ни от Антиохийского патриарха Макария, ни от тех детишек, встретившихся им по пути за подаянием в московскую землю, не осталось следа. Кроме как здесь, на этих страницах архидиаконского рукописания. Я будто бы стоял рядом с ним и видел этих детей, будущее Руси-Украины, частью которого я и сам стал по воле судьбы. Я ощущал дыхание времени, вдыхал в себя горький дым отдаленных пожаров и сырой запах крови — эти дети уже лишились отцов, сложивших головы за прозрачные и так никогда не достигнутые вольности и свободы, им предстояло жить долгие десятилетия во времени, которое здесь назовут Руиной, а в Польше Потопом, — кто и как переживет это нынешнее сиротство и будущие тяжелые времена?.. Но ныне это мгновение тщанием архидиакона Павла Алеппского замерло в истлевшем ворохе дней, месяцев, лет и застыло в памятном слове, как в капле доисторической смолы застывало на тысячелетие малое насекомое... Помолитесь же, давние дети, и о нас, грешных и недостойных наследниках ваших, и о нынешней смуте, переживаемой нашим отечеством, Украиной!..

Южная Русь навсегда уплыла из-под власти польских правителей. Но принесло ли это глобальное геополитическое событие мир, покой и стабильность как в осиротевшую, ополовиненную Речь Посполитую, так и в Южную Русь, отправившуюся в новое, до срока неизвестное политическое путешествие? Фантомные боли по утраченным территориям, кажется, до сих пор терзают Польшу, а что было тогда, невозможно даже представить.

К слову надо заметить, что Москва несколько лет колебалась в окончательном решении о протекторате над польской окраиной — Украиной. Если отказы на подобные просьбы в 1620-х годах, исходившие от гетмана Сагайдачного и митрополита Иова Борецкого, можно было еще объяснить неустойчивым материальным и политическим положением московитов после недавней Смуты, а также молодостью и неопытностью царя Михаила Романова, то к 1650-м годам Московское царство окрепло и закалилось в sporadicеских войнах, государство после смерти отца возглавил молодой и решительный царь Алексей Михайлович с незаменимым советником своим великим патриархом Никоном, — но Богдана Хмельницкого при всем этом томили неопределенностью не день и не два, а целых шесть лет. Еще 8 июня 1648 года Хмельницкий отправил московскому царю письмо с просьбой о покровительстве и изъявил готовность отложиться от Речи Посполитой со всем народом и землями. Однако о желании запорожцев перейти в московское подданство было объявлено только на Земском соборе 1651 года. Находясь в совершенно критических обстоятельствах, осенью 1653 года Хмельницкий снова обратился к Русскому царству за протекторатом. И 1 октября 1653 года в Москве специально по этому поводу был собран Земский собор, оказавшийся последним в истории России, на котором было окончательно решено: быть по сему. Защита единоверцев и Божьих церквей — вот лейтмотив постановления Земского собора и истинная причина «воссоединения Украины с Россией»:

«А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и святых Божиих церквей, потому что пань, рада и вся Речь Посполитая на православную христианскую веру и на святые Божию церкви восстали и хотят их искоренить...»

В тексте постановления православное вероисповедание и храмы поминаются семь раз, из чего можно сделать вывод о насущном приоритете целостности и чистоты веры, столь для Москвы важной, угрожаемой вот уже на протяжении 60 лет после Брестского собора 1596 года. И заключительные слова документа звучат приговором:

«...Ион, Ян Казимер, твое своей присяги не здержал, и на православную христианскую веру греческого закона восстал, и церкви Божии многие разорил, а в ьных унию учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турецкому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди. И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять...»

Может быть, и были какие-то экономические обоснования этого беспрецедентного по масштабам геополитического акта, на века изменившего карту тогдашнего мира, может быть, угроза неминуемого затяжного военного конфликта с Речью Посполитой из-за положительного ответа на вопрошания и просьбы гетмана Богдана Хмельницкого удерживало столько лет Боярскую думу в Москве от безотлагательной помощи уничтожаемому нещадно в соседней державе единоверному и единокровному народу, — ведь сделав такой шаг Московская Русь обрекла себя на многолетнюю войну, принесшую вовсе не прибыль, но значительные военные издержки и трату собственного народа.

Южная Русь во всех смыслах была сомнительным приобретением: от правого берега Днепра до Днестра лежала сущая пустыня, где на протяжении полувека после всех этих событий по международным договорам между Россией, Польшей и Турцией запрещено было жить кому бы то ни было, т.е. земли эти признавались нейтральными, не принадлежащими никому; на левом берегу, сразу за Кременчугом, вниз по течению Днепра начиналась другая пустыня, Дикое поле, где хозяйничали крымчаки, добывая ясиря для невольничьих рынков; разве что на укрепленных днепровских островах за порогами жил воинственный вооруженный народ, простирая владельческую руку на земли и реки от Кременчуга на севере и до Перекопа на юге, но запорожцы известны были московским царям своим непостоянством, буйством нрава, переменчивостью суждений и настроений. Да и только что закончившаяся в Речи Посполитой гражданская война еще более закалила и ожесточила характеры тех, кто в ней участвовал. Властители Речи Посполитой веками пытались козаков усмирить, превратить если не в простых посполитых, то хотя бы придать им вид регулярного наемного войска — мудрили с реестрами, с привилегиями, угощали пряниками и стегали кнутом, рубили непокорные головы, запирали Кодацкой крепостью свободный проход в Сечь с коренных малороссийских земель и всячески ограничивали договорами, военным принуждением, уничтожением маломерного флота, показательными жестокими казнями... Дабы не провоцировать очередную войну с турецким султаном, короли и коронные гетманы строго-настрога запрещали военные набеги на Крым и другие вассальные княжества — Трансильванию, Валахию и Молдавию, но запорожцы поступали так, как считали нужным: разрушили крепость Кодак, изрубив гарнизон, и ходили на «чайках» жечь прибрежные аулы и отбивать славянских невольников. Подвиги их иногда попросту были беспримечными: турецкие султаны выходили из себя, видя под окнами своих сералей на Босфоре черные суденышки с козаками, выкрикивающими оскорбления в их адрес... А ведь суденышки запорожцев предназначались вовсе не для пересечения моря, но для рек...

Теперь все эти проблемы становились проблемами москвитов. Тут еще надобно принять во внимание и существенную разницу как бытового, так и государственного укладов двух государств. Если Речь Посполитая, по сути, была основана на своеобразно понимаемой демократии: выборность короля, неотъемлемое право шляхты на *рокош*, т.е. на законное восстание против тех или иных королевских постановлений и решений, сеймовая борьба и знаменитое право *Liberum veto* — основной принцип парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против, то в Московской Руси все это попросту было невымыслимо из-за жесткой централизации власти и беспрекословного, по крайней мере внешнего, подчинения самодержцу. Царево слово — закон. В общем, можно сказать, что тогдашняя «шляхетская демократия» и общее шатание польских дворян и магнатов в конце концов и погубили Речь Посполитую как государство: каждый пан тянул в свою сторону. Московская же Русь, имея непоколебимый центр тяжести, только укреплялась и расширялась во все стороны света, со временем окончательно — по крайней мере почти на полтора века — проглотив ту часть Польши, которая досталась ей в 1795 году в результате третьего раздела между Россией, Австрией и Пруссией. Демократия, подобная сеймовой, но своеобразно заточенная, была и на Запорожье: неугодные гетманы и кошевые атаманы смещались с легкостью необыкновенной, иногда принимая даже «казнь на горло» или будучи «посажены в воду», т.е. просто утоплены в Днепре. Вероятно, в ту пору еще оставались в Москве живые свидетели жарких боев козаков Сагайдачного с московскими ратниками близ Арбатских ворот в 1618 году, да и в засечных городах, разоренных в тот памятный год запорожцами, их

не забыли, но города отстроились снова, заселились новой человеческой порослью, затянулось дымкой забвения недавнее-давнее прошлое, — и вот когдатошние врагизорители ныне становились согражданами...

Но за все это еще предстояло Москве воевать. Так и началась очередная по счету русско-польская война, продлившаяся 13 лет, с 1654 года по 1667, результатом которой снова стали неисчислимые людские потери обеих сторон, утрата Речью Посполитой не только Южной Руси, но и других территорий со множеством городов, включая стратегически важный Смоленск, вековое яблоко раздора между государствами, и практически всех завоеваний времен Смутного времени и «золотого века» польской державы. Чтобы не говорить долго о человеческих жертвах, тут можно упомянуть для показательного примера одну только Вильну, столицу Великого княжества Литовского. Вот что было при падении города 31 июля 1655 года: «Разграбление и пожары в городе продолжались несколько дней, по разным оценкам исследователей погибло до 25 тысяч человек», — довольно бесстрастно сообщает статья в Википедии.

И подобными данными просто пестрят страницы как старых летописей и хроник, так и новых исследований. Так современный белорусский историк Геннадий Саганович, ссылаясь на работы Юзефа Моржи и Василя Мелешки, в своей книге «Невядомая вайна: 1654-1667» с некоей осторожностью делает вывод, что в результате войны население современной Белоруссии уменьшилось вдвое по сравнению с ситуацией на 1648 год... Но эти выводы все же довольно сомнительны, в силу своей идеологической составляющей: вроде как дикие московские орды вторглись в мирное Великое княжество Литовское и порубили в капусту ни в чем неповинный народ?.. Эти выводы, понятное дело, оспорили российские специалисты, а сам Геннадий Саганович, якобы преследуемый диктатором Лукашенко, еще в 2005 году перебрался в Вильнюс и угнезвился там преподавать историю в частном Европейском гуманитарном университете, существующем на гранты Сороса. Впрочем, историк нынче и сам сомневается в собственных подсчетах убыли населения, даже просит официально не ссылаться на его «Невядомую вайну: 1654-1667».

— Что ты и делаешь? — как заметила моя неутомная Лика. Но она все-таки не понимает, что поминаю я Сагановича ради полноты картины, не более.

Так что московский царь Алексей Михайлович получил не только полномасштабную и долгую по времени войну с Речью Посполитой, истощившую к Андрусовскому перемирию 30 января (9 февраля) 1667 государственную казну и человеческие ресурсы, но и получил горькие и многочисленные уроки от свободолюбивой малороссийской старшины. Переяславскими договоренностями 1654 года отнюдь ничего не заканчивалось, но только лишь начиналось. Южнорусское общество опять разделилось: одни безоговорочно поддержали переход под державную руку Московского царства, другие все еще питали иллюзии по поводу того, что с панами можно будет все-таки договориться о тех же войсковых реестрах, послаблении в отправлении богослужебных обрядов, уравнивании в правах, привилегиях и всем таком прочем. Да и вековая привычка пребывать под сенью белого орла, думаю, все еще никуда не девалась. Тут надо также отметить, что даже в Переяславле на исторической раде не было такого монолитного единодушия, как нам то преподносили советские историографы: часть мещан Переяславля, Киева и Чернобыля были насильно принуждены к присяге козаками. Против присяги Москве были отдельные паланки Брацлавского, Уманского, Полтавского и Кропивнянского полков. До сих пор неизвестно, присягала ли Запорожская Сечь, — и это совсем удивительно. Как такое судьбоносное событие могло пройти мимо воли и соборного разума запорожцев?.. Как это ни странно, но и высшее православное духовенство в Киеве отказалось присягать Москве и переходить под омофор патриарха Московского Никона, — а ведь одной из главных причин принятия Южной Руси со всем православным народом и городами на Земском соборе 1653 года как раз была забота оградить церкви Божии и православных русинов от притеснений католиков и униатов. Как же так?.. Может быть, иерархи, будучи более образованными и культурными, нежели основная масса «черного люда» и козаков, вкусившие если и не сполна, то хотя бы отчасти, прелестей и особицы знаменитого образования иезуитов в школах, коллегиумах и университетах, проникательно понимали и чувствовали сложности и опасности предстоявшей интеграции малороссиан и своей церкви в совершенно другое сообщество разных народов, о которых они и слыхом не слыхивали, населявших Московское царство, устроенное в минувших обстоятельствах и испытаниях совсем на других принципах, а может быть, до Киева доходили смутные слухи о волевом, крепком духом и силою патриархе Никоне, который на равных с царем управлял государством. И потому предпочтительнее был для епископов, вероятно, далекий Константинопольский патриарх, имевший над Южной Русью номинальную, символическую власть, запертый османами в крошечном стамбульском квартале, живущем на подаяния из Киева и из той же Москвы. Или, может быть,

врожденная южнорусская недоверчивость к каким бы то ни было переменам, изменениям, инициативам присуща была иерархам? Сегодня уже этого не понять и на вопросы эти вразумительно не ответить. Но довольно скоро московские воеводы и самодержец столкнулись с реальными проявлениями этого подспудного разделения общества и, шире скажу, малороссийского менталитета: едва Хмельницкий ушел в мир иной, как тут же Иван Выговский, избранный гетманом Войска Запорожского, пытался переписать историю заново и войти в одну реку дважды. В 1658 году война, казалось, уже закончилась и в Вильне проходили переговоры между Россией и Речью Посполитой, целью которых было подписание мирного соглашения и межевание границ между государствами. Но Выговский, в тайне от переговоров-москвитов, заключил с поляками Гадячский договор, согласно которому Гетманщина, в которую уже была преобразована Русь-Украина, возвращалась в состав Речи Посполитой в качестве федеративной единицы. Это знаменательное событие перечеркнуло все наметившиеся договоренности и позволило Речи Посполитой возобновить войну за «собственные территории». Московские войска были вынуждены отступить за Днепр, а русские гарнизоны в литовских городах были осаждены или блокированы литовскими отрядами. Выговский со своим братом трижды осаждал Киев, но город устоял, значительно уступая по количеству защитников. Впечатляет и численность войска Выговского под Киевом во второй раз — 50 тысяч козаков и 6 тысяч татар. У Выговского все же была победа над москвитами, прежде старательно замалчиваемая, а сегодня, в независимой Украине, добытая из пыльных схронов архивного знания и широко отмечаемая в виду недавнего 350-летия с даты события. В несчастливой битве под Конотопом московское войско и крупный отряд запорожцев были наголову разбиты козаками Выговского и крымчаками:

«Всего на конотопском на большом бою и на отводе: полку боярина и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкого с товарищи московского чину, городовых дворян и детей боярских, и новокрещенов мурз и татар, и казаков, и рейтарского строю начальных людей и рейтар, драгунов, солдатов и стрельцов побито и в полон поймано 4761 человек».

Без изощренных жестокостей с дальним прицелом дело тоже не обошлось: по словам Наима Челеби, первоначально русских пленных хотели отпустить за выкуп, по обычной практике того времени, что было отвергнуто «дальновидными и опытными татарами»: мы «...должны употребить все старания, чтобы укрепить вражду между русскими и козаками и совершенно преградить им путь к примирению; мы должны, не мечтая о богатстве, решиться перерезать их всех... Перед палатой ханскою отрубили головы всем значительным пленникам, после чего и каждый воин порознь предал мечу доставшихся на его долю пленников».

В 1999 году Почтой Украины выпущена памятная марка, посвященная Выговскому и Конотопской победе.

Иван Выговский, по сути, возобновил на Руси-Украине гражданскую войну, но если прежде, в событиях 1648-54 годов, война была между господами-поляками и угнетенным русским народом (обобщая, конечно же, не вдаваясь в существенные подробности), то теперь, используя разделившиеся чувства и мнения относительно Переяславских договоренностей с Москвой, война становилась гражданской. Религиозная составляющая отступила на второй план, хотя все-таки и прозвучало обычное требование о ликвидации Брестской унии, но главным в Гадячских статьях было все-таки четкое обозначение политических целей Выговского: равноправная федерация в триедином государстве Речи Посполитой — Великого княжества Русского, Великого княжества Литовского и Польского королевства. Себе же Выговский усваивал титул «великого гетмана княжества Русского». При всем этом польской шляхте и католической церкви возвращалось отнятое козаками имущество, а изгнанным в годы Хмельниччины полякам разрешалось вернуться на свои земли. Девятый пункт выглядел особенно знаменательно: «Случившееся при Хмельницком предастса вечному забвению». «За что же мы воевали и проливали кровь?!..» — впору было воскликнуть старым сподвижникам и ветеранам почившего гетмана. По сути дела, Выговским предлагалась новая политическая реальность, которая могла бы при известном раскладе даже гальванизировать «живого мертвеца», Речь Посполитую, раздираемую с двух сторон Швецией и Москвой, — недаром же та эпоха получила красноречивое наименование Потопа — в Польше и Руины — в Южной Руси-Украине, — и дело оставалось за малым — решить, одобрить, принять, хотя бы попытаться что-то сделать реальное... Но нет... И спустя 200, и 300 лет поляки будут только мечтать о подобном геополитическом реванше, но тогда... Тогда сейм попросту отклонил Гадячский договор: гордыня и раздутое самомнение о самих себе, любимых и незаменимых, ослепило панов, — война Хмельницкого, и потеря южнорусских земель, и военные потери как людей, так и имущества ничему их не научили: хлоп

должен работать на нас, а не заседать равночестно с нами на сеймовой лавице! *nie rozwolę!* Таковым убогим и недальновидным было тогдашнее понимание шляхетской демократии. Да и папский престол был категорически против каких бы то ни было послаблений православному люду и его церкви. Это в середине 19 века, когда от польской государственности останется одно только воспоминание, польские поэты будут лить крокодиловы слезы о минувшем «золотом веке», когда они вместе с запорожскими «рыцарями» укрепляли и расширяли во все концы света возлюбленную отчизну, Речь Посполитую:

*«Бог — мир — славянство — Польша — Украина —
В пять струн моих гуслей пятиструнные звуки»*
(Юзеф Богдан Залесский)

Вторил ему и украинский кобзарь, потомок гайдамаков, беспощадных палачей и убийц ксендзов, панов и евреев времен Колиивщины:

*«Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами...»*

«Великое княжество Русское» — неслышанное и немислимое даже названием, не говоря уж о том, чтобы воплотить эту идею в жизнь, провести какие-то законодательные и политические реформы. Нет! Еще раз — нет: *nie rozwolę!* Не дадим никакой автономии, никаких прав! Быдло! Черная кость! На кол! На шибенницу!.. — и все в таком духе кричали на сейме паны. Ну, конечно, — честь, понятая таким образом, — превыше всего, кто же спорит. Кажется, они даже не понимали, что в Вильне и в Ковно, главных городах-крепостях Великого княжества Литовского, давно стоят московские войска, что Смоленск потерян, что вся Белая Русь взята под контроль стрелецкими полками Алексея Михайловича, и только что, всего три года назад Южная Русь, все Поднепровье с селами и городами откололись от Речи Посполитой, а вся Польша еще в 1655 году оккупирована шведами, польский же король позорно бежал в Силезию, шляхта разделилась между верными королю Яну Казимиру Вазе и теми, кто принес присягу шведскому королю Карлу X Густаву... О помрачении рассудка значных польских панов свидетельствуют вот такие сообщения, выхваченные мною наугад из военных хроник Потопа:

«2 сентября в битве под Соботой шведская армия под предводительством короля Карла X Густава, Г. Стенбока и Магнуса Делагарди нанесла поражение польско-шляхетскому войску. В сражении отличилась польская кавалерия великого коронного хорунжего Александра Конецпольского, действовавшая на стороне шведов...»

Добавить тут нечего. Но при всем этом — категорическое отрицание самой идеи о триединой Речи Посполитой... А ведь царь обещал и широкую автономию, и самоуправление, и невероятный по численности войсковой реестр... Было о чем козакам и посполитым задуматься. И вот к сентябрю 1659 года, всего через два месяца после, казалось бы, славной победы под Конотопом, против гетмана начинаются восстания козаков. Выговский отвечает казнями. Переяславский полковник Тимофей Цецюра, принесший в числе других присягу царю после битвы под Конотопом, рассказывал, что полковники и козаки боялись «изменника Ивашки Выговского, что он многих полковников, которые не похотели послушать, велел посечь, а иных рострелял и вешал, а многих казаков з женами и з детьми отдал в Крым татаром». Священник Василий сообщал, что «многих гетман казнит, кто помыслит на государеву сторону и (тех) розстреливает». Бежавшие из Нежина из войск Выговского козаки Воценок и Семенов рассказывали, что, «видя де Выговского неправду, отобралось их пять корогвей, и хотели они от него отстать и служить великому государю... и сведав де то, Выговский велел тех людей порубить, а ушло де их толко 50 человек».

Неприятие Выговского и его политических прожектов выразилось в том, что не только польский сейм, но козацкая масса и малороссийское посольство совершенно не поддержали его начинаний, — и Речь Посполитая практически была обречена на уничтожение. То, что обломки ее со слабыми признаками государственности после Потопа кое-как просуществовали еще чуть более века, можно объяснить только чудом, промыслом Божиим и невнятной политикой русских царей и цариц эпохи дворцовых переворотов. Польша в начале следующего за Потопом столетия справедливо называлась «проходным двором Европы», и когда во время военных конфликтов той поры враждующим сторонам требовалось перебросить для тактических нужд крупные войсковые контингенты через польские земли, правительство в Варшаве даже не спрашивало о разрешении, и войска проходили там и так, как было удобно военачальникам, по пути фуражировались и кормились, а паны сидели в своих имениях и молились Матке Бозке Ченстоховской, чтобы чужестранцы поскорее оставили край. Такими плачевными были итоги Потопа и шляхетского гонора... Но потребовалось

еще три поколения, чтобы очнуться от летаргического сна и хотя бы затеять безуспешное и обреченное на поражение восстание Тадеуша Костюшко против Российской империи, а до того пережить два раздела и окончательную ликвидацию иллюзорного государства. Но все это было еще впереди.

Тогда же, всего через два месяца после победы под Конотопом авторитетные войсковые полковники и атаманы — кошевой Запорожского войска Иван Сирко, полковники нежинский Василий Золотаренко, киевский Иван Якимович, переяславский Тимофей Цецюра, черниговский Аникей Силич на раде в местечке Гармановцы под Киевом выдвинули кандидатуру нового гетмана, сына Богдана Юрия Хмельницкого, в надежде что славное имя и генетическое родство сделает текущую политику Гетманщины более вменяемой и внятной, без этих шатаний и невнятицы прежнего уряда. «И знамя, и булаву, и печать, и всякие дела войсковые у Выговского взяли и отдали Юрию». Знаменательно так же и то, что послы и сподвижники Выговского, подписавшие только недавно Гадячский договор, Сулима и Верещака, были просто зарублены... Таковым, по сути, и было отношение козаков к отступничеству, переменчивости и политическим инициативам бывшего гетмана. Выговский бежал в Польшу, но ни политики, ни войны не оставил, да и немисливо было в те времена смириться, засесть на хуторе в сердце степей и разводить пчел — не для того рождались и жили здесь люди, подобные Выговскому: пожар Руины и противостояние как межгосударственное, так и гражданское, не давало никаких поводов на тихую и безоблачную жизнь. Ну, и неутоленные честолюбивые амбиции, конечно же, тоже. Вскоре мы находим Выговского в отряде Анджея Потоцкого, где он воюет против Московского царства.

Но не прошло и года, как его примеру последовал и новоизбранный гетман... Славное имя отца и родство по крови отнюдь не стали для Юрия залогом верности Переяславским договоренностям. Тяжелое поражение войска боярина Шереметева под Чудновым осенью 1660 года и обусловлено было предательством Юрия Хмельницкого, который просто не оказал помощи осажденным, прежде замедлив с приходом. Выговский же, в свою очередь, попытался вновь отстранить от власти его и вернуть себе гетманство, но безуспешно. Поляки весьма недоверчиво относились как к его инициативам, так и к нему лично, и 16 марта 1664, заподозрив в очередной южнорусской интриге, — на этот раз против правобережного гетмана Павла Тетери, нещадно расправившегося с подвластным ему народом, тяготевшим к Москве, — Выговского без суда и следствия расстреляли. Каким-то образом нити восстания против Тетери тянулись к нему. Утраченное гетманство все бередило душу его, не давало покоя. Не спасли его и почетные должности — титул воеводы Киевского, пожалованный ему Речью Посполитой пожизненно, и звание сенатора.

Измена молодого Хмельницкого вызвала новый виток междуусобной войны и на какое-то время изменила военный расклад противостоящих сторон...

Руина, разруха, тотальная неразбериха, война всех со всеми, слом прежнего государственного устройства и туманные, непонятные перспективы вхождения в новые государственные и политические реалии, инерция прошлого и иллюзорные надежды на будущее — множество разнонаправленных причин и интенций колебали души и помрачали сознание тогдашних людей. Я тут не говорю о поляках, закостеневших в своих устрашающих предрассудках, покрытых коростой гордыни и самоневия о мнимом нерушимом величии Речи Посполитой, которая погибала теперь по их же грехам и по их роковой слепоте. Я говорю о русинах, о козаках, о нарождающемся малороссийском войсковом дворянстве. Как словом единым определить соборную, скажем так, и основную черту их умонастроений?

Непостоянство и переменчивость? — мягко сказано. Предательство и измена? — не знаю, не слишком ли сильно и грубо. Да и как стричь весь южнорусский православный народ под одну гребенку? Ведь наряду с предательством и переменчивостью рассуждения о сиюминутных выгодах козацкой властной верхушки мы знаем и примеры твердости, верности слову присяги. В конце концов и в самых общих чертах русский народ остался верен духу и букве Переяславля, о чем свидетельствует и многовековая последующая история пребывания Руси-Украины в едином державном пространстве с Россией.

Ну, вот следует ради показательного примера неверности и ненадежности тогдашних войсковых предводителей рассмотреть пристальнее фигуру переяславского полковника Тимофея Цецюры. Неизвестно, приносил ли он в 1654 году присягу московскому царю на Переяславской раде, — скорее всего, приносил в числе прочих собравшихся там. Но в 1658 году при заключении известного Гадячского договора, по которому Выговский со всем войском и ошметками Гетманщины перешел обратно к полякам, Цецюра уже числился полковником переяславским и был рьяным сторонником гетмана. Так, к примеру, 29 декабря 1658 года он начальствовал вместе

с наказным гетманом Скоробогатенком и поляком Грушей над верными Выговскому татарами и козацкими полками — Каневским, Черкасским, Чигиринским и Корсунским в бою у Лохвицы с князем Ромодановским, — выговцы были отбиты. При всем этом Цецюра прекрасно был осведомлен о настроениях козаков Переяславля и об их категорическом неприятии не только идеи о возвращении всей Руси-Украины под омофор Речи Посполитой, но даже предложений о триединой державе и прочем, о чем я уже поминал. И вот уже вскоре после Конотопской виктории, ныне радостно отмечаемой в киевских средствах массовой информации, находим его уже сторонником Алексея Михайловича и отнюдь не пассивным — он казнил тех из старшин, которые противились его предложениям перейти снова к Москве. Полковник после этих расправ отправил гонца в пограничный Путивль к начальствовавшему тогда над московским войском князю Трубецкому с известием, что враги царя перебиты, и с просьбой как можно скорее прибыть в Переяславль. При этом въезд Трубецкого в город был обставлен с невероятной пышностью, стрельбой из всех пушек, колокольным звоном и прочими знаками внимания и почета. Во всех этих действиях, впрочем, Цецюра руководила не столько декларируемая преданность Москве, сколько желание самому достичь гетманства — так, по крайней мере, предполагает летопись Самовидца. В начале 1660 года он ездил в посольстве в Москву, вероятно, для заявления своей преданности царю и 1 марта удостоился даже невероятной чести — приглашения к «столу государеву».

Тем временем царь затеял грандиозный план по поводу окончательного решения «польского вопроса», в результате осуществления которого должны были пасть Львов, Варшава и Краков, конечной же целью похода объявлялось пленение короля Яна II Казимира Вазы и доставка его в Москву. Многотысячная армия князя Василия Борисовича Шереметева двинулась вскоре осуществлять этот дерзновенный проект. Предполагалось, что по пути к Шереметеву присоединится войско гетмана Юрия Хмельницкого. Переяславские козаки числом 2000 человек уже были в деле. Над ними наказным гетманом начальствовал Тимофей Цецюра. Он же, стремясь польстить славному и выдающемуся воеводе, говорил, что столь сильному русскому войску и с таким опытным командиром стоит только двинуться вперед — и поляки в страхе разбегутся. «Мы всю Польшу завоюем и короля с королевой в полон возьмем!» — самонадеянно обещал он. Обсуждался вопрос, каким образом начинать эту — Шереметевскую, как ее называют в Польше, — войну: дожидаться ли Юрия Хмельницкого или же уже отправляться в поход и наступать. Мнения тут разделились. Николай Костомаров в труде «Преемники Богдана Хмельницкого» сообщает, что воевода князь Козловский, находившийся в Умани и лучше других знающий обстановку, предлагал стать гарнизонами в укрепленных городах и ждать не только подхода Хмельницкого, но и поляков, чтобы измотать их в бесполезных штурмах, заставить голодать, а потом и разбить. Кроме того, он подчеркивал еще одну причину, по которой не стоит рисковать с выдвижением вглубь Речи Посполитой:

«Верность козацкая не крепка и тверда; она вертится в разные стороны. К какому государю не обращались козаки? Кому не подавались и не изменяли! Турку кланялись, татары ими недовольны, Ракочи через их измену в Польше потерпел, да и шведу не очень-то корыстно отозвалась гружба с ними. И наш великий государь... узнал уже, что значит их гибкая верность»...

Но нет, до конца еще не узнал...

Поляки тем временем напрягли все свои силы, ведь речь уже шла о воистину последней для Польши войне, и в посполитое рушенье защищать родину отправилась практически вся шляхта как из ближних, так и из дальних воеводств, с челядью, с надворными козацкими отрядами. И удача в этот раз сопутствовала им. Шереметев был сперва остановлен вооруженной рукой, а затем начал отступление к предполагаемому месту соединения с козаками Хмельницкого, без воспомоществования которых обойтись уже было нельзя. В конце концов под Чудновым войска его были окончательно окружены неприятелем, и, как писал епископ Николай Свирский, «в течение почти 60 дней 200 тысяч людей четырех наций (поляки, татары, московиты и козаки) сражались почти каждый день, каждый час». Московские люди показали невероятные боевые качества: по свидетельству польских историков, «день 4 (14) октября, был самый ужасный, самый кровопролитный из всех доселе бывших. Подобного ему уже не было и не будет... Московиты сражались с крайним отчаянием. Старые польские солдаты, участники многих кровопролитных битв, говорили, что в таком адском огне они еще не бывали. Они сравнивали поле битвы с огненной кипящей рекой». Но отвага в крайних обстоятельствах не изменила хода кампании. Армией Яна Собеского отсечена была подмога из Киева, которую пытался оказать Шереметеву князь Юрий Барятинский с подгребтысячным отрядом. Юрий Хмельницкий же по непонятным причинам замедлил продвижение своего войска к Чуднову. Попав в Слободищах,

неподалеку от Чуднова, в свой первый бой, молодой гетман совсем потерялся: метался по лагерю, схватившись за голову, и кричал, что готов отказаться от гетманства и постричься в чернецы... В конце концов он вместе со всем своим войском, которого, как воздуха, не хватало Шереметеву, перешел на сторону поляков и заключил соглашение, подобное Гадячскому, но уже без притязания на козацкую автономию. Прослышав об этом, наказной гетман Цецюра с двумя тысячами козаков оставил Шереметева окончательно погибать и бежал. «Що, — по замечанию летописца, — не без шкоды казаков было, бо иных татаре пошарпали, а иных и в неволю побрали». Вот так и бывает обычно — весной козак пирует за царским столом в Московском кремле и провозглашает здравицы за царя, царицу и царских детей, клянется в верности и решительными словами угрожает лютым недругам-ворогам, а спустя полгода предаст своего сюзерена, обрекая на гибель тысячи недавних сподвижников, оставшихся верными слову присяги. Эта-то измена и была, по всей вероятности, поставлена ему в вину и послужила причиной ссылки в Сибирь, когда Цецюра снова оказался в достижении длинной «руки Москвы». Удивительна и мягкость наказания для него за измену, в результате которой только погибло 2000 московских стрельцов, а 8000 во главе с воеводами Шереметевым и Козловским на долгие годы оказались в Крыму. Так князь Шереметев провел в неволе 21 год, и татары даже за щедрое вознаграждение в 25 тысяч рублей не соглашались отдавать воеводу. Сохранилась челобитная Цецюры к государю из Томска от 20 августа 1667 года, в которой он говорит о том, что служил государям «верою и правдою» 13 лет, «изменника Ивашку Выговского из Малыя России выгнал и, всю Малую Россию очистивши, с войском Запороским под государеву царскую высокую руку подвел». Тут же он откровенно сознается и в своем «грехе» под Чудновым и просит простить его и перевести его на жительство в Москву. Решения по этой челобитной не сохранилось, и стал ли он «москвичом», не знает никто. Дальнейшая судьба полковника Цецюры неведома.

Шереметева выкупили из Крыма за огромные деньги, и он с почетом вернулся в Москву, где вскоре умер. Отпевал его патриарх Иоаким.

В 2001 году память Юрия Хмельницкого тоже почтили почтовой маркой.

Если постараться, то можно собрать неплохую коллекцию под общим названием «Вера и правда украинских гетманов». Надо только классер для марок купить.

Глава 18. «JESUS CHRIST SUPERSTAR» И ЖИЗНЬ БЕЗ ГАЛЮНИ

Так и мелькали наши дни в Киеве — пестрые, веселые, горькие, шумные и одинокие, исполненные лекциями в университете, просиживанием штанов в библиотеках, пристальными размышлениями о непреложных уроках минувшего, как советской поры с разлитым коммунизмом, так и давней, вроде бы славной эпохи козацких войн против когдатошних моих предков, граждан сгнувшей в веках Речи Посполитой, — прогулками по киевским бульварам и улицам, — прежде с Галюней, а то и с Бовой, позже с Максимом Добровольским, с Люськой Ушаковой — в нескончаемых разговорах, в неконтролируемом потреблении дешевого алкоголя, со спорадическими ночевками в полуподвальных мастерских знакомых художников и фотографов, с таким же спорадическими встречами со случайными девчонками, искательницами судьбы и успеха в этой рулетке жизни блистательного столичного города. Мы верили, что все еще нас ждет впереди, и потому начинавшийся и заканчивавшийся невдалеке день не казался мне чем-то значительным или важным, — о, рассеявшееся паром упование молодости!.. До поры гибельные провалы минувшего были погребены под толстыми наслоениями забвения и беспамятства, — да и в самом деле: зачем было париться над хрониками и летописями или медитировать над археологическими раскопками фундаментов Десятиной церкви?.. Жить, надо жить — зудел над ухом на Борщаговке парубок Бова из славных надднепровских Недогарок, раб своего тайного уда и покоритель доверчивых к доброму слову девичьих сердец на Крещатике. Да и без его настырных увещеваний поднималась во мне какая-то мутная взвесь, и невесть чего мне хотелось, невесть что мнилось и чудилось, о чем-то несказанном сожалелось, — но о чем? Ничего ведь и не было еще со мной, — даже Галюня из Беликов, — разве любил я ее? Или она любила меня? Разве что-то было между нами, кроме взаимного дружеского расположения и привычки бродить вместе по городу, где мы были и остались всего лишь гостями? Я даже тогда затруднялся как-то определить природу глубинной неудовлетворенности собственной жизнью, природу своей неприкаянности, которые время от времени снедали меня, мою душу. Мое тело безотносительно к ней пребывало в относительной беспечности молодости и безоглядности — ничего не болело, не на чем было пристальное внимание заострить или от чего-то там поберечься; я мог бесконечно пьянствовать в подвалах художников или в общаге со старшекурсниками, потребляя сущее пойло, которое под видом вина продавалось в тогдашних киевских

гастрономах, курить анашу, сутками напролет расписывать «пулю», дилетантствовать об искусстве, разглядывая то, что рисовали наши нонконформисты-художники вроде Шерстюка и Гетона, или разбирая эзотерические тексты доморощенных философов вроде Игоря Винова, мог рассуждать о джаз-роке «Weather Report» или о музыкальных открытиях виртуозов «Mahavishnu Orchestra», памятью околмузыкальные разговоры с Сероштаном на берегу нашей Ворсклы, я мог бесконечно слушать удивительные гитарные и смысловые переложения Максима Добровольского и наслаждаться удивительной украинской прозой Володи Дибровы, — мог делать, читать, понимать еще тысячи микроскопических дел и движений, из которых по видимости и слагалась наша текущая жизнь, наше образование, наше становление, жизненная позиция и все прочее, зыбкое и иллюзорное, что, по слову Писания, подобно утренней росе, и вот солнце восходит, и роса высыхает... Но даже недавнее прошлое, только что зарывшееся оскаленной и окровавленной мордой в обманчивое забытие, было так близко — только протяни руку и тут же наткнешься на не застывшую еще кровь. Взять хотя бы того же Максима, — он ведь родился на Колыме через 9 месяцев после того, как Сталин нежданно-негаданно для всего советского подневольного люда отправился на суд Божий, — и отца его, Аркадия Добровольского, писателя и сценариста знаменитых «Трактористов», кинофильма 1936 года, близкого друга Варлама Шаламова, выпустили из лагерей, где он пребывал с 1937. Парадоксы эпохи: фильм получил Сталинскую премию, вошел в «золотой фонд» кинематографических достижений социализма, а создатель его, чье имя было вымарано как из титров, так и из жизни, сквозь слепое окошко столыпинского вагона, в котором его везли на далекую Колыму, видел на полуканках афиши своего триумфального фильма... Там же, в единственной на всю Магаданскую область больнице для заключенных, в Ягодном, санитаркой-лаборанткой трудилась и мама Максима, только что выпущенная из узилища лагерница, где оказалась по доносу одноклассницы и односельчанки «за коллаборационизм» в 1945 году. В чем там уж ее коллаборационизм заключался, остается только догадываться. Подала ковш воды немецкому пехотинцу? Или зашила порванные штаны?... Когда забальзамированную мумию великого кормчего положили рядом с Лениным, на Колыме, на поселении у бывших «врагов народа» и родился друг наш Максим, пронесший сквозь все десятилетия своей жизни тот незабываемый опыт и призрачный свет из первого детства. Это потом, в южном, щедром природой и климатом Киеве, он перелгал все эти замечательные музыкальные хиты нашей юности на украинский язык, веселился душой и телом в оживленном интеллектуальном общении, но вместе с тем крепко молчал о том сокровенном и тайном, что неизгладимой печатью, с рождения, существовало в душе у него. И только недавно раскрылся в глубоком и важном тексте, написанном им для сборника о Варламе Шаламове, а в пору нашего бродяжничества по киевским горам и долам, близ затворенных храмов, по туристической Лавре, в веселье Крещатика и постижении метафизических тайн музыкальных созвучий Стефана Микуса, Максим, сын колымских многолетних страдальцев-сидельцев, выживших чудом на севере и вернувшихся в коммунистический Киев, мог говорить о чем угодно и сколько угодно, но о Колыме, откуда его увезли в возрасте пяти лет, умел крепко молчать. Как? Почему? Каким образом? Будто сокровенное это — то, о чем лучше вовсе не поминать — он впитал в себя с молоком матери-зэчки или просто родился со всем этим жутким, потусторонним, невыразимым никаким словом в мирных, сонных, расслабленных временах поздней брежневщины. Уже позже я понял, что таковой же была и природа молчания моих родителей в Кобеляках и тети Каси в Кременчуге: ни слова о прошлом, ни слова о войне и о том, что произошло в Доминополе в отдаленном пространстве Вольни в 1945 году, — о дяде Нектонаполеоне Язловецком и о его подвиге — это пожалуйста, но более — ни о чем. Отец Максима умер в конце шестидесятых годов, отчасти, насколько это было возможно, возобновив свои литературные штудии: переводил Джона Апдайка, Голсуорси и других писателей с нескольких европейских языков на украинский, совместно с Линой Костенко, нашей замечательной поэтессой, написал сценарий для кинофильма, который так никогда и не сняли, но времени жизни уже не хватило ему...

Если бы кто-то и меня научил не трепать языком...

К чему я веду? Со временем, через несколько лет, отчасти прочлись по косвенным признакам, отчасти дошел я догадкой умишком своим, что за всеми нами — что в универе, что на Крещатике — был крепкий пригляд компетентных, так сказать, организаций. Ну, с Крещатиком как бы понятно: несознательная, асоциальная молодежь, во главу своей бестолковой жизни ставящая разноцветное фирменное барахло, иностранные песни и музыку с сопутствующим бесконтрольным потреблением пива с вином, — а с универом-то что? Как же — идеологический вуз, будущие преподаватели истории и обеих литератур — украинской и русской... Та шо такое, дороге товарищи?... А то, что — по слову Экклезиаста — «во многой мудрости много печали; и кто умножает

познания, умножает скорбь». Погружение в украинскую литературу, более глубокое и разветвленное, чем в школьной программе, некоторых наших студентов-филологов делало, так сказать, просвещенными, «свидомыми», или национально мыслящими, украинцами. Левобережье Днепра и правобережный Киев в целом разговаривали на русском, как считалось, языке, который, по сути своей, был суржилом, то есть некоей приграничной помесью русского и украинского языков с вкраплением одесского идиша или того, что там от него осталось со времени распада векового кагала и Второй мировой войны. Со «свидомостью», с обретением утраченной, задавленной, казалось бы, насмерть идеологическим прессом национальности молодой человек уже не удовлетворялся пением народных песен в застолье и гопаком после оно, но начинал думать и разговаривать по-украински, причем не на убогом суконном суржике Заднепровья, а на настоящем литературном, красивом языке полтавского извода, — погружение в филологию приносило плоды. Кто-то начинал и пробы пера по-украински, и все бы ничего, так сказать, если бы на том дело и заканчивалось, — но неумность молодости зачастую двигалась дальше: и вот уже извлекались из самиздата стихи Василя Стуса, умершего в заключении в глубинах ГУЛАГа совсем ведь недавно, рукописи и тонкие серые книжечки деятелей «расстрелянного возрождения» 1920-х годов, долетала до киевских улиц и эмигрантская литература «пражской школы», и литераторов «ди-пи», застрявших на Западе после военного лихолетья... Ну, и до политики там было рукой подать: рано или поздно вставали вопросы — как, почему и зачем?..

Какая польза стране советов была в расстреле только 3 ноября 1937 года Леся Курбаса, Николая Кулиша, Матвея Яворского, Владимира Чеховского, Валерьяна Подмогильного и других — числом свыше ста представителей украинской интеллигенции?.. Подарок любимому вождю к 20-летию революции? Может, оценит по достоинству наше местечковое НКВД?.. Кинет лишнюю «шпалу» в петлицу, а то, глядишь, орден на молодецкую грудь?..

Вот во всем этом ненужном и жутком знании, в этих безгласных вопросах, которые некому было даже адресовать, и заключался зародыш нашей будущей неблагонадежности, которую, по мнению надзорных органов, да и по существу, следовало контролировать до известной поры, ну а потом уже по ситуации поступать.

Как тут не помянуть мне старлея Логунова, командира нашей роты под Николаевом:

— Ты что, Маршалок, против советской власти? Все за, а ты один — против? Отправлю в дурдом, хай тебя там вылечат серой!..

А я ничего и не помню — что уж такого сказал, или сделал, или косо посмотрел на комсорга, или невпопад пошутил в Ленинской комнате... Но бдительный Логунов все засек и просек.

Или вот еще наткнулся недавно в сети. Некто Юрий Мальцев, попавший в больницу имени Кащенко в 1969 году за желание уехать в Италию, описывает тамошние невинные, но такие советские развлечения психов:

«Телевизор <...> находился в ремонте. Его заменяло другое развлечение: санитары извлекали из шкафа допотопный патефон и стопку старых заезженных пластинок. Одна пластинка была особенно интересна: воронежский хор исполнял браваурно патриотическую песню сороковых годов, и удивительным было то, что иголку всякий раз заедало на слове Сталин. Если мембрану не подтолкнуть рукой, то пластинка продолжала до бесконечности крутиться на одном месте, и хор гремел: «Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин...» Эта пластинка служила источником своеобразного развлечения. Больные приглашали кого-нибудь из санитаров «послушать музыку» и заводили эту пластинку. Санитарка, послушав некоторое время это угручающе монотонное славословие мертвого вождя, наконец, не выдерживала и просила передвинуть иголку. «А-а-а! Нервы не выдержали! — ликовали больные. — Ее тоже лечить надо. В палату ее, к больным. Снимайте с нее халат!»

Так что всюду, куда ни падал досужий мой взор, куда ни простиралось мое в меру робкое размышление, всюду была засада, опасность и то самое досужее знание, которое дегтем отравляло нашу общую коммунистическую бочку с медом «созидательного труда», с пятилетками за три года, с социалистическим соревнованием и прочими нашими тогдашними радостями. Да если бы только умозрительную бочку с идеологическими помоями — это разлагало душу и ум. Потому что трудно было удержаться на этом гребне неведения и оптимизма и не свалиться либо вправо, в оголтелый национализм и ненависть ко всем народам, кроме своего, либо влево, в запредельный цинизм и одобрение всех решений партии и правительства, как прежнего, так и нынешнего: расстреляли? — правильно сделали! Никто не знает, что бы там они понаписали! Посадили? — одобряем, поддерживаем! Значит, рыло в пушку! Ведь ведомо каждому: нет дыма без огня... И вообще: чем хуже, тем лучше, а то, ич, как разболтался народ после 20-го съезда! Сталина на вас нет! Навел бы порядок! И смыслом текущего дня станови-

лось вот это, из песни Максима:

*Агов, Колюня, не будь козлом
За чемпіона в той лохотрон.
Хапай загашник — і в гастроном
Тут за рогом, оце й бігом.*

Или, если отвлечься от этой сугубой малороссийской химерности, можно напомнить слова Олдоса Хаксли практически о том же, о чем пел нам Максим Добровольский на Крещатике, сказанные еще в 1932 году в романе-антиутопии «О дивный новый мир»:

«Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастливым и добродетелем, не обобщай, а держись узких частных; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамок составляют становой хребет общества».

Про «гастроном», который стал неким символом пассивного сопротивления трудового народа многообразным партийным начинаниям и инициативам, — это тогда, в застойные времена было актуально, — а ныне другой уж слоган: «Обогащайтесь! И вам за это ничего не будет!» Правда, сами органы и бросились наперегонки первыми воплощать его в свою личную жизнь, наплевав на «право-и-лево»; теперь «право» весьма даже было желательно: на востоке от Киева ворочался и рычал страшный российский медведь, сидевший на нефти и газе, — его-то и объявили по телевизору виновником всех наших бед, неурядиц и нестроений, начиная с церковных проблем и заканчивая тем, что почти все заводы и речной флот — мы сами, а точнее, наши «эффективные собственники» — порезали на металлолом, продали в Турцию и Китай, но обвинили в том все того же гипотетического медведя. Ну а теперь, после «революции достоинства» и всего, что с нею было сопряжено, — так и совсем бурый неповоротливый «Миша» с северо-востока — оккупант и враг на будущие века. И легко, и приятно теперь все свалить на географического соседа, а некогда брата: это *они* — Стуса замутили! Это *они* — расстреляли украинское возрождение! Это *они* и цвет польской нации порешили в Катюши!.. Очень удобно, — а мы хорошие, белые и пушистые, мы ни в чем не виноваты: «он сам пришел!», как в кино про «бриллиантовую руку» кричала обнаженная до трусов красотка Светличная.

Но все это с нами произошло позже гораздо, и не о том я вел разговор.

Как писал архидиакон Павел Алеппский в 17 веке: «Возвращаюсь... Так и я. Возвращаюсь туда, чего давно больше нет.

За суетой дней и забот как-то подзабыл я о Галюне, дивной моей собеседнице и прекрасной землячке из Беликов, а когда спохватился, то вдруг понял, что не видел ее уже больше месяца. Виной тому польский Потоп и Руина Руси-Украины. Хмельницкие, отец и сын, с примкнувшим к ним Выговским забили мне баки конкретно. Позвонил на вахту в общагу, мне невразумительно что-то ответили, что вроде как и там ее давненько не видели. Я не поленился и съездил туда, разыскал Раю Налеву, о которой как о соседке своей по комнате Галюня иногда поминала при встречах. Рая тоже была нашей землячкой, из Козельщины, славной полуразрушенным монастырем с громадным собором и знаменитой чудотворной иконой Козельщанской Божией матери. Петр Паламарчук, московский друг Сероштана, внук маршала Кошевого, который вводил танки в бунтующую Чехословакию в конце 1960-х годов, написал небольшую книжку об этой знаменитой иконе. Фамильное прозвище Раи нравилось мне, уж я на нем от души оттоптался, когда бродили с Галюней по Киеву. Рая Налеву ныне радовалась бытовому своему одиночеству: Галюня несколько недель назад съехала жить на квартиру, но место за собой сохранила, потому к Рае комендантша и не подселала другую соседку.

— Может, Галюня вернется еще, — так предположила Рая, — может, ничего у нее не получится...

— А что же должно у нее получиться? — недоумевал я. — Может быть, замуж она собирается?

Рая многозначительно улыбнулась и ничего не ответила.

Через несколько дней я случайно встретил Галюню на Крещатике — просто увидел сквозь витринное большое стекло магазина «Женская мода». Какую-то тряпку она примеряла и собиралась купить.

— Подожди, Лешек, — сказала Галюня возле кассы, когда я коршуном на нее налетел, и вытащила из сумочки деньги, — я расплачусь, а потом кофе с тобой попьем здесь за углом. Мне надо тебе сказать кое-что.

Краем глаза я заметил тугую пачку красных десятков в сумочке у нее, перехваченную медицинской резинкой. Ну, разве мог я промолчать и сделать вид, что ничего не заметил? Нет же!..

— Ого! — сказал я. — Вижу, разбогатела?..

Галюня была все-таки умнее, чем я. Может быть, сказала ее математика, которая ведь сродни метафизическому созерцанию звездного неба, о чем еще Платон в диалоге «Тимей» писал так: «Мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели звезд, ни солнца, ни неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией».

Или же, если не усложнять чрезмерно и не приплетать сюда Платона с «Тимеем», а просто из-за общей неудобоваримости и сомнительной все-таки приложимости к феномену современной образованной киевской женщины рекомого выше числа, по-простому сказать о глубине тайны присущего женщине деторождения, близкого, будущего, сокровенного замыкает уста, — ну и приумноженного многократно все тем же числом, из чего и слагалась природная женская мудрость Галюни из Беликов, моей ненаглядной, почти что любимой, — и она только пристально на меня посмотрела и ничего не ответила. Поделом же тебе, Маршалок!

После, в кафешке, глядя на ее удивительное и прекрасное лицо, я просто переживал эстетическое, а затем и едва ли не экзотическое наслаждение:

— Как давно я не видел тебя, Галюня... — я взял ее за руку. — Куда ты пропала...

Но спустя какое-то время заметил что-то новое в лице у нее, чего не было раньше, — подростковая нежность черт его, метафизическая дымка юности, свежести и неопасения, которая будто прозрачное покрывало было наброшено на него, и, казалось, останется с Галюней навсегда и навечно, была словно снята некоей всевластной рукой, — и Галюня прямо на глазах взрослела, преображалась из прекрасной девочки в красивую молодую женщину. Я еще успел удивиться: неужели для такого превращения достаточно какого-то жалкого месяца, проведенного в некоем отдалении от нее, чтобы затем новым, отвыкшим взглядом все это отметить, принять и смириться? Но промельк этот был кратким, летучим, — придет когда-нибудь время, — подумалось мне, — и я вовсе не признаю при встрече Галюню, она станет незнакомой во всем и чужой, — но разве сейчас, в эту минуту, она знакома тебе? Ты видишь лицо ее, серые большие глазища, видишь абрис соразмерного женского тела, под струящейся юбкой длинные стройные ноги, ты догадываешься о достоинствах ее глубокого и спокойного ума, предполагаешь трепетную и ранимую душу в сокровенном и несказанном, таящемся в ней, — но что ты, по сути, знаешь о ней, о Галюне, об этом роскошном цветке, выпестованном в сердце полтавских степей, и о том, что ей предстоит, о ее женской судьбе, о ее будущем, — и каким будет оно?.. Но разве ты имеешь ко всему этому — к ней и к ее будущему — какое-то отношение?..

Все это, может быть, весьма коряво ныне изложенное, единым вздохом возникло во мне и через мгновение рассеялось паром.

— Лешек, — сказала Галюня, — помнишь, я тебе как-то рассказывала про двух девушек в одуренных заграничных прикидах, купленных за чеки Внешпосылторга в «Березке» на Пушкинской, и что они мне предложили? Ну так вот, я решила попробовать...

— Галюня!.. — воскликнул я было, но она знаком остановила меня.

Да я и сам было подумал: а может, речь о чеках идет, — и ей предложили купить просто их? Что это я дергаюсь?

— Лешек, мне вовсе не о том надо с тобой поговорить, — свои эмоции, домыслы и предположения оставь при себе. Скажу даже больше: они мне неинтересны и не волнуют меня. Ты мне не брат, не отец, ты не герой моего романа, но мы дружили с тобой, бродили и разговаривали обо всем, и я, быть может, даже испытывала к тебе какое-то чувство, — назовем это просто симпатией. Ты же хороший человек, Маршалок, хороший! Вот по этой причине, без лишних подробностей, я и хочу предупредить тебя вот о чем. Прежде чем меня... ну, приняли, так сказать, в это сообщество, некий мужчина, ну, куратор, что ли, моих новых подруг, провел со мной установочную, так скажем, беседу, — о предмете ее я распространяться не стану... Представь, мне пришлось даже подписку особую дать — о неразглашении государственной тайны, — она улыбнулась, и мне даже полегчало от улыбки ее, — но ради наших с тобой добрых отношений, ради нашего прошлого, которого, может быть, даже и не было вовсе, но всякое могло бы все же произойти...

— Но — что? — спросил я. — Что я сделал не так? Что — пропустил?..

— Все, Лешек, все ты пропустил...

Во мне что-то затрепетало, затем оборвалось, — и я, кажется, начал туго и медленно понимать, чего я лишился за этими дурацкими разговорами прошедшей осени, проведенной рядом с Галюней в бесцельном кружении по холмам и бульварам Киева. Я ведь отнюдь не Петрарка, не Данте, а Галюня — отнюдь не Лаура и не Беатриче. С той поры все весьма упростилось, обесцветилось, и вовсе не нужны больше сонеты о воз-

вышенной, неземной любви, но нужна сама любовь, в ее самом жестком и жизненном воплощении. Как тут не согласиться мне с недогарским Бовой? Наверное, следовало мне покуситься на Галюнину красоту... А я, дурачина, толковал ей о Пястах и Сигизмундах... Нашел о чем с красивой девушкой говорить...

— Снова ты не о том, — не о том, Маршалок! — сказала с нажимом Галюня. — И я не для того пригласила тебя выпить кофе...

— А для чего? — спросил я. — Разве не попенять мне за мою слепоту, за мою недогадливость?..

Она улыбнулась.

— Нет. Надо было раньше задавать эти вопросы. Так вот, — она возвращалась к тому, с чего начала, — тот чувак с площади Ленинского комсомола, среди всего прочего, так сказать, установочного, спрашивал о тебе...

— Погоди, Галюня, что значит «установочного»? Что вы с ним «устанавливали»? И для чего?

— Вот о том я рассказывать и не буду тебе: это и есть... — она помялась мгновение и продолжила, — государственная тайна...

— А ты-то к этой тайне какое имеешь касательство?

— Лешек, дашь ли ты мне закончить? Я хочу рассказать тебе о тебе же...

— Я снова ничего не понимаю. Я-то к твоим секретам какое отношение имею?

— Никакого. Как и ко мне. Так я и сказала тому «комсомольцу»... Но ты пошевели все же мозгами и подумай: откуда они о тебе что-то знают?

— Да что они знают, — тут я уже разозлился, — если я сам о себе ничего не знаю?..

— Ну, вот имя твое и фамилию знают, откуда и зачем ты в Киев приехал, что изучаешь и чем особенно интересуешься.

— А чем таким запретным, по их мнению, я интересуюсь?

— Лешек, ты меня раздражаешь! — сказала Галюня. — Что, мне еще и об этом тебе рассказать?

— Ну ладно, — вяло я согласился, — ну, вот историей Руси-Украины я занимаюсь, Польшей, чем там еще... Никого не убил, ничего не украл... Ну и что из того?..

— Думай сам, Маршалок. Или ты считаешь, что они просто так спрашивали? Ладно. Я предупредила тебя. Мне пора уходить. Прощай же.

Она улыбнулась мне какой-то странной, новой улыбкой, отодвинула кофейную чашку, встала, — такая легкая, в светлом длинном плаще, высокая, статная... Терял ли ее я? Обладал ли я ею вообще? Вот это, а отнюдь не то, что она мне сообщила, волновало меня. Ну, спрашивал какой-то хмырь обо мне, — да и хрен с ним, — разве это имеет какое-то значение по сравнению с тем, что Галюня уходит, — а мы ведь и не начали еще разговаривать... Мне так много надо ей рассказать и даже сказать: и о Хмельницких, и о том, что я начинал понимать в мутном токе минувших событий, в этой куче малой наломанных дров, в этом неугасимом пожаре, огне, который слепо, безжалостно уничтожал нашу общую родину, Речь Посполитую... О том — рассказать. А — сказать?.. Разве что я больше не могу без нее, — и каким же я был идиотом, что все пропустил. Нет, ничего не исправить, не изменить — ни с Речью Посполитой, ни с Галюней...

— Ну, мы же увидимся еще с тобой, — сказал я, — погуляем, как прежде... Вот Максим сочинил новую песню из альбома «Kinks» — «Face to Face», 1966 года, давай как-нибудь послушаем его в мастерской у Гетона, зайдем туда, посидим, выпьем «биомицина»... Я узнаю, когда он там будет с гитарой...

Она стояла уже на пороге, но будто бы колебалась.

— «Биомицина»... — раздумчиво повторила она и вздохнула.

— А еще, знаешь, меня потрясло его переложение из рок-оперы «Jesus Christ Superstar», арии Пилата, — и я даже тихонько запел, подражая Максиму:

Я снів, що стрітив в Василькові одного чудака:

Він лежав просто неба і мовчав, і навіть не мигав.

Тож, звісно, спитав я, що сталося, чи лихо стряслось.

Подумавши, він трохи помигав й не мовив ні фіга.

Й тут добрі люди в штатським від імені мас

Взяли цого за таз та й пов'язали враз

Й кинули в УАЗ.

Й тут вгледів я в кожнім обличчі отого чудака,

Й так ясно те угледів, аж здригнувся

Й немедленно проснувсь.

Я еще доборматывал про милицейский «УАЗ», а за Галюней уже закрылась зеркальная дверь, словно утянувшая ее в омут Крещатика, блестяще-бездушного, пожирающего нас с нашими жизнями без остатка.

Осталась от нее салфетка с какими-то непонятными буквами. Я так и не понял, что там было написано.

Сегодня, когда я ставлю в проигрыватель переизданный несколько лет назад и хорошо ремастированный компакт-диск «Jesus Christ Superstar» 1970 года и слушаю арию Пилата в исполнении Барри Деннена, я вспоминаю то давно прошедшее время смутных надежд нашей молодости, упований невесты на что — наверное, все же на чудо, — вспоминаю Галюню из Беликов и ту нашу последнюю странную посиделку в угловом кафетерии на Крещатику средней весны 1978 года — и понимаю, отмечая то, что произошло со мной, предсказанным ею, что чудо со мной уже совершилось, а я... я просто его не заметил.

Глава 19. ГЕТМАНЫ МАЛОРОССИЙСКОЙ РУИНЫ И КОЛЛЕКЦИЯ МАРОК

Мир не обрушился, не разлетелся огненными камнями в черноте и непроглядности мироздания, пространство, окружавшее меня, не раскроилось антрацитовыми кусками, не опало слепыми плоскостями разбитого зеркала, — все осталось, как прежде, недвижным и неизменяемым, или, напротив, текучим, бессмысленным и бездушным — за зеркальной дверью, за которой скрылась Галюня, жизнь продолжалась: шли прохожие, неслись автомобили, степенно и неторопливо проезжали троллейбусы, набитые сотрудниками всяческих научно-исследовательских институтов и работягами с «Арсенала», студентами, симпатичными девушками; мужики среднего возраста, любители домино, голубей и футбола, горячо обсуждали предстоящие игры любимой команды «Динамо»; алкаши считали мятые желтые рублевки, звенели медью и серебром и решали головоломку с покупкой какой-то закуски к портвейну; партийные бонзы составляли отчеты в краснознаменную Москву по посевной, по озимым, по неустанной борьбе с буржуазным украинским национализмом, пресечению происков поджигателей войны и достижению очередных целей в деле строительства коммунизма. До горбачевского «социализма с человеческим лицом» было еще «как до Киева рачки», — и пока что — до времени великих свершений — мы с завидным усилием строили коммунизм.

Только уже без Галюни...

Странно, думал я, дожевывая уже практически про себя последние строки арии Пилата в химерном драматическом переложении Максима Добровольского, вроде бы никаким боком не могло произошедшее касаться меня: ну, дала понять мне красивая дивчина, что больше не бродить нам по улицам, не общаться друг с другом, — хотя «общаться» — сказано громко, общение предполагает все-таки диалог, я же ей практически не давал говорить, она просто слушала меня, распинаящегося со своим обретаемым суетным знанием, натасканным без всякого разумения и системы в Исторической библиотеке, — дар был у нее такой редкий — слушать, внимать и, может быть, даже понимать то, что слышала; не бродить, не гулять, не смотреть в молчаливом восхищении на ее прекрасное лицо, не созерцать ее соразмерную девичью фигуру, не рассматривать украдкой ее совсем не крестьянские руки с длинными изящными пальцами, с продолговатыми полупрозрачными ногтями, вовсе не требовавшими какого-то маникюра, ухода и полировки; не смотреть в ее серо-голубые глазища, — не созерцать ее всю, целиком, — ну и что? Что с того? Будут еще у меня... Куда они денутся... Будут и лучше... Ведь все впереди у меня, разве не так?.. Но откуда взялась тогда эта тяжесть в душе у меня, растворенная горечью и жалостью к себе самому? Чем это было? Моим уязвленным самолюбием? Эгоизмом? А может, даже любовью? Но что за зверь эта любовь?.. Я ведь не знал.

Просто Галюня ушла.

А к чему тогда были все эти мои разговоры, монологи, копание во лжеименном архивном знании? Но, с другой стороны, разве ради Галюни я раскапывал все эти судовые тяжбы на староукраинском языке, или козацкие летописи, или польские хроники? Разве ради нее старался я что-то понять в слежавшихся, слипшихся в некую биомассу временах — днях, битвах, веках, — я слышал беззвучные крики, видел мумии козаков, сидящие на колах вдоль дорог, видел кровь, напиткивающую черноты Сходних кресов Речи Посполитой — разве ради Галюни я пытался уловить и вычленил некие алгоритмы прошедшего, чтобы что-то понять? А что же понять — даже и не высказать словом простым. Галюня тут — кто и зачем? Разве она — не случайна совсем? Ну, приехали в конце лета мы с ней из Полтавы на раздолбанном поезде Южной железной дороги, — что с того? Ну, прошлись пару раз по Подолу, полюбовались панорамой Днепра с Андреевского спуска, ну, взял я однажды ее за руку и, кажется, слегка приобнял... Вот уж свершение! Так к чему и откуда это странное сожаление о Галюне и такое острое чувство утраты?..

Я просто терялся во всем этом. Я шел уже по Крещатику, машинально заглянул в гастроном, купил бутылку новомодного молдавского «Белого аиста» и зашел по пути в подвал к Шерстюку. Я знал немного его через Максима Добровольского, они

были большими друзьями. Тот занят был делом — тщательно выписывал что-то вроде гиперреалистичного комикса большого размера: сексапильные полуголые барышни с торжеством сочной плоти, лезущей из-под лоскутков одежды, вороненные стволы пистолетов, какие-то разбросанные карты... Но я не особо приглядывался — до поры был оглушен этим безжалостным, неожиданным ударом по голове, — я даже не предполагал, что уход Галюни окажется столь болезненным для меня.

Сергей завел какой-то незначительный разговор. Звучал Джон Колтрейн *Meditations* 1965 года. Пахло краской, растворителями и чем-то еще специфическим. Я откупорил бутылку, и мы выпили.

Боль притушилась, затем я отвлекся незначительным разговором, музыкой и разглядыванием его «комикса», — боль постепенно из меня уходила, спиртное даже слегка веселило, и я снова понемногу возвращался к себе. И первое, о чем я забыл, — вернее, я забыл об этом сразу же, едва Галюня сказала об этом, — о чуваке с площади Ленинского комсомола, который спрашивал у нее обо мне.

И совершенно напрасно.

Пришел затем и Максим, зазвенели гитарные струны, кто-то притарил пару бутылок портвейна — дым, смех, музыка, химерные вопли Максима, его отчаянный спор о «Поцелуе» Густава Климта и, одновременно с этой высоколобостью, даже диковатое пение акапелла, — пришли девчонки какие-то, кто-то из хипповой тусовки с Крещатики, разговоры обо всем и ни о чем, притащили вермута, захожане восторгались недописанным «комиксом» и сетовали, что такое творчество обречено в Киеве на непонимание и забвение в таком вот подвале, то ли дело в Москве, — слышали, там в каком-то «горкоме графиков» недалеко от зоопарка открылась подпольная выставка авангардистов? — вот туда бы, Сережа, тебе с твоим гиперреализмом податься!.. А шо — ночь на поезде, и ты в «дамках», Сережа! Вы бы с Гетоном показали москалям, шо такое киевская школа живописания! (Спустя совсем малое время все эти пожелания доточно сбылись: Шерстюк и Гетон отправились покорять ледяную Москву и, кажется, даже ее покорили, если вообще мыслимо ее покорить). Какая же это подпольная выставка, спрашивается, если даже отут, на Крещатике, мы знаем о ней и разговариваем? А кто-то даже на ней побывал... Подпольщики — они тихо в схроне сидят, и никто о них не слыхал, что делают — неизвестно, когда ловят — расстреливают или ссылают на Колыму, а мы тут толкуем о них невозбранно... Та то все дешевый пиар, чуваки: гонимые, не пускают, дышать не дают, а потом гонимый объезжает, как Евтушенко, весь мир со своим словесным поносом, — и снова, видишь, гонимый... Вот кто тут гонимый, так это Исаич, которого выкинули за кордон, или наш Стус, политзаключенный где-то во глубине сибирских руд за стихи, кто там еще... Звенели стаканы, дверь открывалась и закрывалась, пустые бутылки заменялись другими из ближайшего гастронома, — обрывки, ошметки, разноголосица, — я сидел в углу мастерской Шерстюка, среди сломанных золоченых рам, выброшенных за ненадобностью из Дворца пионеров и притащенных Сергеем в подвал для новой жизни, среди подрамников, среди трубок холстов, банок, склянок, кистей, каких-то запыленных бутылок с засохшей олифой, и в голове у меня будто бы копилась какая-то серая вата, пропитанная разнообразным алкоголем, которая глушила проблески какого бы то ни было разумения или понимания — в этом тумане, в бессвязной атональной симфонии разговоров о фотографическом реализме, о проекторах и переносе удачного снимка на лист вагмана, о тщательной прорисовке свиновым карандашом и последующей раскраске акрилом, — Галюня отдалялась от меня и погружалась в серую толщу забвения, будто бы малая человеческая Атлантида, данная на краткое время мне, человеку, то ли судьбой, то ли случайностью.

Нетвердой походкой, на подгибающихся ногах — то ли от пьянства, то ли от пережитого только что, то ли просто от усталости этого долгого трудного дня — я вернулся в общагу и рухнул в кровать. Поутру, когда призрачный и обманчивый флер потребленных накануне напитков улетучился, всюду виделся мне разброд и шатание, зияющие пустоты: во мне, в универе, в будущих моих разысканиях, — пчела, собирающая нектар, должна куда-то его принести и что-то с ним сделать, но почему-то теперь вдруг открылось, что присутствие Галюни в моей жизни было весьма определяющим, важным, значительным, чего прежде я даже не предполагал, весьма легковесно к ней относясь. Когда и как успела она так глубоко проникнуть в меня? Откуда-то из тьмы, клубящейся во мне, вставали неразрешимые, ужасающие по своей сути вопросы: зачем я живу? К чему это все? Как осознать начала и принципы существования этого мира? Что такое время, когда оно началось, кто запустил его безостановочный ход? И зачем, в конце концов, это все?.. Каковы конечные, настоящие цели человеческой жизни, шире — народа, глубже — всего человечества? Чему учит история — даже недолго-советская, в которой суждено нам было родиться, жить и, может быть, умирать?

— Бова, — сказал я недогарскому соседу, пьющему утренний чай и смотрящему в окно на просыпающуюся Борщаговку, — не кажется ли тебе, что мы, проживающие свою жизнь без особых забот и приключений вроде настоящего голода и настоящей войны, подобны прудовым карасям, которым даже неведомо, что наверху кипит разнообразная и неисповедимая жизнь: растут травы, деревья, леса простираются за горизонт, наполненные разнообразной живностью, живут разные люди в неисчислимом количестве, каждый со своей тайной и неисповедимой судьбой, — и все прочее без числа. Но карасям неведомо ничего из того. Жизнь их вполне самодостаточна, закончена и полна...

— Тю, — прервал меня Бова, — шо то с тобой, Маршалок? Накрыл отходняк, шо ты ото философствуешь? Скородой быть захотел, мандрованным дьяком-философом? Выпей пива ото та пошли на занятия. Нас ждуть большие дела на педагогической ниве! А то Гацура поставит пропуск тебе, и останешься без стипендии, на фиг...

С тем Бова и вышел из комнаты. Я завидовал его счастью, его незамутненности познания, его простоте. Я сам хотел быть таким — но почему-то не мог. Что мне мешало? Польское жало в плоти и отсутствие украинской простодушности и приземленности? Или многое знание, что сопряжено с известной печалью, о чем еще говорил ветхозаветный Соломон? Но знание не может быть полным и всеохватывающим, и великий мудрец Сократ в простоте говорил: «Я знаю, что ничего не знаю», — а что знаю я? Череду разрозненных фактов, наваленных буреломом в нашей истории, где все смешалось и перепуталось в сущий Гордиев узел, который в пору лишь разрубить?.. Как тут снова не помянуть странствующего нашего философа Григория Скороду:

«Что жизнь? То сон турка, упоенного опиумом, — сон страшный: и голова болит от него, сердце стенает. Что жизнь? То странствие. Прокладываю и себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти. И всегда блуждаю между песчаными степями, колючими кустарниками, горными утесами, — а буря над головою, и негде укрыться от нее. Но бодрствуй...»

«Бодрствуй» — ключевое здесь слово. Но я — бодрствую ли? Или упиваюсь своими снами о былом, давно прошедшем «золотом веке» нашей родины?

А что я хотел Бове сказать? Что — от Бовы услышать? Вроде бы утро было обычным, бессчетным в общем истекшем ряду и, по всей вероятности, близнецом будущих пробуждений моих, но при этом что-то во мне изменялось, я становился другим, — было ли это как-то сопряжено с иллюзорной потерей Галюни, или просто совпало с неким внутренним ростом моим, или, напротив, провалом в ничтожество и никчемность, — здесь-то как рассудить? — но отныне и довеку приходилось мне привыкать к этому своему новому состоянию одиночества, или оставленности, ненужности, или никчемности... Галюня и ее вчерашний уход — стали вроде спускового крючка или символа-знака, разделившего мою жизнь на *до* и на *после*, и трудно было как-то трезво и правильно расценить, стало ли хуже, стало ли лучше, — ни то, ни другое, — но стало все по-другому.

Исподволь, медленно и со скрипом, словно заржавевшая гайка, я возвращался туда и к тому, что оставил своим размышлением прежде розыска Галюни в общаге у Раи Налево и случайной с ней встречи. Или, перефразируя 26 притчу, я возвращался, подобно псу, на блевотину свою, то есть в украинскую Руину и в польский кровавый Потоп второй половины 17-го столетия, — хотя в какую такую «блевотину»? — скорее в сущее горе, несчастье и путаницу, когда смешались небо с землей, восток с западом, когда власть имущие или власть временно предержавшие снова и снова наступали на одни и те же грабли, блуждали в трех соснах, не зная, не ведая, где преклонить буйную чубатую козацкую голову: к московскому ли самодержцу Алексею Михайловичу, к польскому ли королю Яну II Казимиру, к крымскому ли хану Гераю, или же вообще к турецкому султану Мехмеду IV — и все вроде с повинной, с покорностью внешней, питая надежды невесть на что...

Но все же — на что?..

Деяния и решения Переяславской поры, претворенные в жизнь усопшим Богданом Хмельницким стали для его сына Юрия отдаленным уже, полузабытым и незначительным делом, некоей политической уловкой, дабы очередной раз обмануть варшавских панов, издали угрожать им новым сильным союзником на востоке и выторговать у польского короля очередные уступки вроде поблажек утесняемым православным, увеличить реестр Запорожского войска, повысить денежное довольствие козаков и подтвердить вольности их, — но это и все...

Этот Юрий, сын Богдана, оказался тем еще деятелем, если таковым можно его вообще посчитать. Запорожцы, очарованные многолетними заслугами и подвигами его великого и прославленного отца, имели крепкую надежду, что яблоко от яблони недалеко укатилось и что сын, пусть даже не полностью, но хотя бы половиной, станет наследником и продолжателем тектонического государственного сдвига,

который осуществил Хмельницкий, продолжит дело освобождения русского народа от вековых бед и несправедливостей, снежным комом накапливавшихся в Речи Посполитой. Пусть геополитический сдвиг этот произошел, можно сказать, даже случайно — так получилось неожиданно-негаданно, старый гетман и сам не чаял того: он звал-позывал, обещал-завлекал будущими общими благами — московский медведь только ворочался, думал тугую и неисповедимую думу свою и не предпринимал ничего существенного, отговариваясь невесть чем и только рыча при новых вестях о преследовании и утеснении православных, — но пробил час роковой, и медведь восстал во весь свой гигантский рост, махнул страшной лапой с крюками-когтями и с ревом попер на польскую Украину, круша крепостицы, сжигая селения, рассеивая отряды посполитого рушения и коронного войска, сметая все на своем пути. В сравнении с тем, что наконец-то произошло, тактические, близкие цели Хмельницкого оказались просто ничтожными и никакими, они без следа растворились в неудержимой, неостановимой стратегии молодого Московского царства, воспрявшего наконец после Смутного времени и расправившего могучие плечи, — так растворяется без следа кусок сахара в лохани воды, — что там из Переяславских договоренностей и угод осталось в силе и в неизменности не то что даже через сто лет, а к концу 17-го века, ко времени гетманства Мазепы?.. Практически ничего: Москва, даже не поперхнувшись, поглотила Южную Русь.

Но и тому были свои причины, о которых я уже кратко упоминал: непостоянство и шатость козацкой старшины и общая разделенность народа — правобережные тянули всё к привычной им Польше, левобережные смотрели в московскую сторону — умозрительный маятник колебался, как с полковником Цецурой, — от званной трапезы за царским столом и безмерно расточаемой лести, до предательства в роковую минуту, как в тяжелом поражении войска Шереметева под Чудновым в один и тот же 1660 несчастливый год.

Но полковник Цецюра был все же частностью, «винтиком» в сложносочиненном механизме предательства, — и он, вполне вероятно, сохранил бы верность присяге и воинскому долгу тогда, под Чудновым, несмотря на свои сомнительные прошлые дела и подвиги под Конотопом, когда он сражался против московских войск под началом гетмана Ивана Выговского, если бы не грандиозная измена Юрия Хмельницкого, на чью помощь, обусловленную задолго до начала Шереметевской войны, рассчитывал в крепкой осаде знаменитый московский воевода-боярин.

«Яблоко» укутилось довольно-таки далеко... Еще при жизни отца Юрия соборно объявили отцовым преемником на гетманстве. Дело, ранее просто немыслимое, памятуя о своеобразной демократии козаков, когда гетманский чин, звание, должность вовсе не служили гарантией даже личной безопасности носителя их. В этой же великой, невиданной прежде освободительной войне козаков имя вождя их бронзовело от подвигов и заслуг, застывало памятником, и в пору гетману было уже учреждать даже династию. Так малолетний Юраско стал гетманом. Забегая вперед, надо сказать, что за свои 44 года, которые пришлось ему прожить на этой земле, гетманом он становился целых четыре раза, — таковым удельным весом обладало его фамильное прозвище и заслуги отца. Когда Богдан умер, Юрия на гетманстве утвердили уже официально, но ненадолго: ему исполнилось всего 16 лет, а вокруг бушевала война, горела земля, лилась кровь, Речь Посполитая как государство висела на сущем волоске, теснимая одновременно Швецией и Москвой, и Южная Русь-Украина находилась в самой середине этого кровавого, дымного варева. Жалкие ошметки Речи Посполитой сохранились одним только чудом, — похоже, что всеблагой Бог давал когдатойней «державе без вогнищ» последний шанс: так Москва, опасаясь усиления Швеции после захвата польских земель, на время приостановила свои военные действия против Речи Посполитой, заключив Виленский мир, и даже объявила войну Швеции, став, по сути, союзницей недавней соперницы. Поляки ради последней надежды посулили Алексею Михайловичу даже польский королевский престол. Как тут не вспомнить события Смутного времени — королевича Владислава, избранного русскими боярами московским царем, и отца его Сигизмунда III, тоже претендовавшего на Московское царство и даже соперничавшего с сыном, — такой вот симметричный ответ получили поляки через полвека... Но Алексею Михайловичу так и не довелось сесть на польский престол. Богдана же при заключении Виленского перемирия с козацкой делегацией даже не пригласили на эти переговоры, по сути, нарушив тем самым Переяславские договоренности, — просто отстранили от дела, к которому козаки имели непосредственное касательство и самый жгучий интерес. Ведь ради чего и велась эта война — ради территориального, политического и психологического закрепления Переяславских договоренностей и скорейшей интеграции Южной Руси и народа ее в нарождающуюся Российской империю — польско-русская война конечной целью своей имела если и не полное уничтожение Речи Посполитой, то по меньшей мере достаточное

ее обескровливание, чтобы уже не оставалось у панов сил ни на что. И вот — такое досадное отступление вспять... Преднамеренно ли, случайно ли, но спустя всего два года после Переяслава московиты дали понять козакам, кто в доме хозяин. Конечно, Хмельницкий все понял и испил горькую чашу разочарования и обиды. Еще бы!.. Но и поляки здесь подсыпали перца: гетманские послы, не имея достоверных данных о результатах переговоров от московских людей, получили «информацию из достоверных источников» (от польских же дипломатов) о том, что, мол, Гетманщина вновь передается под власть Польши, и, в случае неповиновения козаков, московские войска выступают против них сообща с польскими. То есть все по видимости возвращалось на круги свои!.. Но здесь вина, несомненно, лежала на московских боярах и воеводах — ничто, по сути, не мешало им интегрировать в переговорный процесс козаков или по крайней мере ввести их в курс дела, доступно и внятно объяснить свою тактику, на пальцах растолковать, что, к чему и зачем... Но нет... Была ли во всем этом тонкая и злокозненная интрига или просто так все несчастливо сложилось, сегодня уже не понять. Русь-Украина оказалась на грани взрыва: на созданной в Чигирине раде все полковники, есаулы и сотники поклялись Богдану, что будут совместно бороться за Гетманщину: «присягали себе, а не чужим монархам»... Старый гетман, жить которому оставалось не более полугода, нашел в себе силы и решимость помимо Москвы заключить в конце 1656 года так называемый Радотский договор со шведским королем Карлом X и семиградским князем Дьердем Ракоци. Говоря другими словами, он просто не подчинился Алексею Михайловичу с его высококолыми воеводами и выступил против московских политических раскладов — по Виленскому договору Москва ведь против Швеции уже воевала в союзе с партизанскими отрядами разбитой в прах Речи Посполитой... Согласно договору Хмельницкого с Карлом X и Ракоци, Речь Посполитая должна была исчезнуть с политической карты Европы, чего так хотел сам Богдан, и подвергнуться разделу между союзниками. Предполагалось, что Ракоци получит титул короля Речи Посполитой, а также значительную часть польских владений. Карл X удерживал за собой уже завоеванные польские земли в Прибалтике и Литве, Хмельницкий становился неким «дидачным князем» — трудно сказать, что подразумевалось под этим титулом и какая дальнейшая судьба предполагалась для Южной Руси и для народа ее, но, похоже, это его вполне на данном этапе устраивало, лишь бы только Польша исчезла с земли. Он отправил на помощь своим новым союзникам 12 тысяч козаков. В то же время гетман пытался по возможности сохранить отношения и с Москвой, т.е. он хотел создать такую политическую комбинацию, которая дала бы ему возможность покончить с ненавистной державой, стереть с лица земли Речь Посполитую либо так, либо этак. Гетману важен был результат, а про способы его достижения — после Виленского договора — нечего уже было и заморачиваться. Москва только что и смогла, как выразить свое крайнее неудовольствие самостоятельной политикой гетмана. Тем временем новые союзники начали вполне успешно войсковую кампанию в Польше: были захвачены знаковые, столичные города — Варшава и Краков, и все предвещало скорую победу, но тут снова вмешался Божественный промысел, не дававший Речи Посполитой провалиться в политическое небытие: целых три государства, помимо Речи Посполитой и России, объявили войну Швеции — Дания, Австрия и Священная Римская империя, и Карлу X Густаву поневоле пришлось вывести большую часть своих войск из Польши и двинуть их на новых противников, при этом ничего не сообщив союзникам о своих изменившихся планах. Как Москва, так и Швеция выступили в этой войне в роли так называемых «старших братьев», ни перед кем не отчитываясь, не раскрывая своих планов союзникам, единолично и только в своих интересах заключая договоренности с противниками, как прежде произошло с Виленским договором, обрушившим козацкую веру в Москву, так и теперь: шведы просто ушли по своей шведской нужде. Да и кто такой этот трансильванский князь Ракоци? Разве можно поставить его на одну доску с великим завоевателем Карлом X Густавом, который в воинской славе своей уступил спустя полвека разве что Карлу XII, сопернику Петра I?.. Общий военный фронт без шведов развалился, захваченные города Ракоци оставил и двинулся назад в Трансильванию, по пути теряя большие количества своего воинства в налетах крымских татар. Запорожцы, отправленные Хмельницким в коалицию, взбунтовались — цели вооруженной борьбы стали неясны, если не были утрачены вовсе, — и вернулись домой на днепровские земли. Речь Посполитая в который раз была спасена...

Военные поражения стали тяжелым психологическим ударом для Хмельницкого и способствовали его преждевременной смерти, но перед тем ему еще раз пришлось испить горькую чашу от московских послов, окольного Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова, которые, невзирая на последнюю, смертную болезнь старого гетмана, приехали в Чигирин, добились свидания с ним и набросились с упреками за самовольный союз с Карлом X и Дьердем Ракоци... Стоит упомянуть здесь и о том,

что и поляки тоже вовсе не спали, и в Чигирин с льстивыми увещеваниями и иезуитскими, ничего не значащими обещаниями прибыл опытный дипломат пан Станислав Беневский, в будущем едва ли не духовный отец и главный советник Юраска Хмельницкого, сыгравший роковую роль в измене того делу отца. Николай Костомаров в работе «Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий» так рассказывает о состоявшемся разговоре:

«Что мешает вам, гетман, — говорил Хмельницкому польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными». — «Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневаю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!»

Следует немного прояснить этот примечательный разговор: Беневский прямо здесь говорит, что Алексей Михайлович никогда не займет польский престол, как было обещано ему панами в стесненных обстоятельствах только что, ибо «обещать — не значит жениться», а гетман, в свою очередь, призывает Беневского и в его лице всех поляков хранить верность данному слову и обещанию: «вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!» Можно только представить, сколь смехотворными были эти слова для Беневского, — какую там верность хранить, Господи, — ведь все это простецкая и понятная тактика, и умирающий гетман, при всем его значительном опыте, так ничего в жизни и не понял. Плохо же его иезуиты учили... А Речи Посполитой требовалось всего лишь одно: некая передышка для консолидации своих разрозненных и деморализованных сил, чтобы восстановить порушенные Потопом границы и затем вернуть Южную Русь. Что хочешь тут и кому хочешь пообещаешь...

Вообще Станислав Беневский весьма поднаторел в искусстве «предсказания будущего», или, говоря по-простому, дезинформации, на которую весьма велись простодушные малороссы. Как тут не вспомнить раду из козацких старшин, полковников, сотников и значных, уважаемых козаков, произошедшую 8 сентября 1658 при гетмане Иване Выговском. Читаем снова у Костомарова:

«Явились польские комиссары: Беневский и Евлашевский. Беневский говорил козакам речь, бранил Москву, уверял, что у москалей другая вера, чем у козаков, что москали не дозволят им свободно готовить водку, мед и пиво, прикажут надевать московские зипуны и лапти, запретят носить сапоги и впоследствии станут переселять козаков за Белоозеро, а с другой стороны обещал им часть в союзе с Польшей. Теперь, — говорил он, — не будет более рабства; строгий закон не допустит панам своевольствовать над подданными...» («Преемники Богдана Хмельницкого»).

После такой зажигательной речи Беневского и был составлен примечательный в деталях Гадячский договор, о котором я уже рассказывал.

Удивительна совершенно непоколебимая уверенность Беневского в этих вот его утверждениях: он хулит «московскую веру» — но разве он богослов и понимает что-то в различиях богослужения и догматики? Он пугает козаков московскими зипунами с лаптями — но разве он пророк и провидец? То же — о переселении за Белоозеро, хотя частично это сбылось через полвека, когда козаков обязали принимать участие в постройке новой столицы на невских берегах и болотах. Но это было общероссийское дело и государственная повинность, и не только козаки там трудились и бедовали от непривычного климата. О водке и пиве — о налогообложении этого промысла ходатайствовал через несколько лет перед царем другой гетман, Иван Брюховецкий, по сугубо личным причинам в надежде на собственное обогащение. Ну а о том, что «не будет более рабства» — это просто смешно: какими особыми полномочиями обладал Станислав Беневский, что раздавал подобные обещания? Никакими. И ни за что произнесенное не нес никакой моральной ответственности. Задача его была в другом: во что бы то ни стало оттолкнуть и отвратить от Москвы козаков, их властную верхушку во главе с гетманом, — «ум, совесть и разум» народа. И это отчасти удалось: Гадячский договор вполне себе имел место быть. Но только вот заковыка: сейм в Варшаве его, конечно же, не утвердил, не одобрил, но это уже другая история, как говорится... Так же примерно разлагали русские войска на фронте Великой войны в 1917 году засланные пропагандисты-большевики: дома делят помещичьи земли, а вы тут в окопах невесть зачем сидите, кормите вшей, отдаете жизнь за неизвестные цели, — «бери шинель, иди домой!» Итог пропаганды известен.

Таковым был контекст времени, в котором суждено было стать гетманом 16-летнему

подростку, сыну Богдана.

Что он мог сделать реально, как было ему разобраться во всех этих сложносочиненных политических узлах и интригах? Ничего и никак. Потому он с облегчением передал свое наследное гетманство Ивану Выговскому, генеральному писарю при покойном отце, ближайшему и верному сподвижнику Богдана с 1648 года, посвященному во все тайны гетманской канцелярии. К слову, Выговский перед Переяславскими договоренностями 1654 года был одним из самых ярых приверженцев нового политического курса и вхождения Южной Руси в орбиту Москвы. Но в самой этой неоднозначной фигуре скрывался и зародыш, или формула, будущих нестроений как Гетманщины, так и в целом южнорусского люда. Так проезжавший по Украине в декабре 1657 года греческий митрополит Колоссийский Михаил рассказывал, что «гетмана Ивана Выговского заднепровские черкасы любят. А которые по сю сторону Днепра, и те де черкасы и вся чернь его не любят, а опасаются того, что он поляк и чтоб де у него с поляки какова совету не было».

Что и как произошло с Иваном Выговским, я уже рассказал.

Во второй раз Юрий получил гетманскую булаву после низложения Выговского, имея от роду уже 18 лет. В 1660 году произошла военная катастрофа под Чудновым, когда Юрий не оказал помощи осажденной армии боярина-воеводы Шереметева, а затем под давлением правобережных козацких старшин вовсе сдался полякам и перешел на их сторону. Об условиях прежнего Гадячского договора, об автономии и самостоятельности уже вовсе не шел разговор. Юрий принес присягу на верность королю перед польским комиссаром Станиславом Беневским, влиянию которого он с этой поры и подчинился. В осажденном Чуднове, прослышав о том, полковник Цецюра со своими козаками оставил Шереметева на растерзание панам и татарам. «Этому гетманишке, — сказал о Юраске суровый Шереметев, — идет лучше гусей пасти, чем гетмановать».

Южная Русь, и прежде расколота на части, получила новые испытания гражданской войной: против Юрия выступил его дядя по матери Яким Сомко, поднявший против изменника Левобережье. Борьба между ним и Юрием продолжалась с переменным успехом в течение всего 1661 года. Осенью 1661 года и летом 1662 года Юрий безрезультатно осаждал Сомка в Переяславле. Во время этих событий козаки Хмельницкого и их союзники крымские татары отличались на Левобережье чрезвычайной жестокостью, — так, к примеру, было полностью вырезано или угнано в татарское рабство население древнего города Лукомль, после чего он навсегда пришел в запустение. На помощь Сомку пришли царские полки из Слободской Украины под командованием князя Григория Ромодановского. Юрий стал отступать за Днепр, и 16 июня в битве под Каневом потерпел разгромное поражение от войск Сомка и Ромодановского. Остановить продвижение царских и левобережных козацких полков на Правобережье Юрию удалось лишь с помощью крымчаков в битве под Бужиним. Но дело его уже было проиграно. В конце 1662 года Юрий отказался от гетманства и решил постричься в монахи: «Бог не дал мне отцовского счастья»... Новым гетманом Правобережья был избран Павел Тетеря.

Отныне Юрия звали иноком Гедеоном и жил он в Корсунском монастыре, но покой юному иноку только снился. Новый правобережный гетман Павел Тетеря оказался весьма недоверчивым человеком и подозревал, что новоиспеченный Гедеон под монашеской мантией лелеет надежду вернуть себе гетманскую булаву, а вовсе не озабочен молитвами о спасении души. В том же Тетеря подозревал и низложенного Ивана Выговского. В 1664 году правобережный гетман расправился с обоими: Выговского 16 марта без суда и следствия расстреляли, а Гедеона вытащили из монастырской кельи и отвезли во Львов, посадили в крепость, где он в крепком затворе и заточении дожидался 1667 года, когда Павел Тетеря отошел на суд Божий. Заодно с ними на всякий случай был репрессирован и митрополит Киевский Иосиф Тукальский, проведенный в заключении в Мариенбургской крепости в глубине Польши два года.

Тетеря увековечен, как водится, на почтовой марке Украины в 2002 году.

Тем временем Османская Турция довольно неуклюже начала разыгрывать южнорусскую карту: султан оторвался от своих гаремных утех и решил, что богатые и обширные земли, невозбранно разрываемые в клочья соседними государствами, ставшие, по сути, бесхозными, могут сделаться довольно легкой добычей. Для того следовало использовать как надо южнорусскую смуту и гражданское разделение, как географическое — по Днепру, так и психологическое — привычное отношение к Речи Посполитой и к ее институтам, и новое, до срока неведомое — к Московской Руси. После кончины Павла Тетери гетманом Правобережья выбрали Петра Дорошенка, который с 1663 года был генеральным есаулом в войсках почившего гетмана, а еще раньше подавлял восстание козаков промосковской ориентации против Выговского в

пору его перехода к полякам.

Естественным образом я задавался вопросом: а кому, собственно, после Переяслава принадлежало Правобережье, за исключением Киева, который располагается там и который по ряду позднейших договоренностей остался навсегда в орбите Москвы как «мать городов русских»? Ответ прост до чрезвычайности: никому. И если в Заднепровье московские воеводы, несмотря на брожение умов, еще могли поддерживать какой-то видимый и хрупкий порядок, то Правобережье было совершенно свободно от какой-либо государственной власти, Польше было уже не до того, самой было сохраниться как-то, земли были разворочены недавней войной, социальные, политические и экономические связи ослаблены, если не вовсе разорваны, — емкое слово «Руина» подходит здесь больше всего: тут бесконечно тлела гражданская война и ширилось нестроение, множество народа переправлялось через Днепр в Московскую Украину и уходило житьствовать как можно дальше от абсурда правобережной анархии и своеволия. Конечными целями массового переселения стала Слободская Украина — от Харькова и до Воронежа. И чем дальше забирался на северо-восток малоросс-посполитый с семьей, тем целее были его жизнь и имущество. Потому вовсе неудивительно, что Петр Дорошенко, вполне разделяя Гадяцкие мечтания Выговского об автономии козацкого края, стремился, в свою очередь, каким-то образом объединить Южную Русь и распространить свою власть на Заднепровье. Дабы привлечь к своим начинаниям Запорожье, без которого никакое объединение было просто невыполнимым, на одной из рад решено было изгнать всех католиков (читай же, поляков и униатов) из Южной Руси; кроме того, он попытался и продемонстрировать свою недюжинную военную силу: предпринял поход на Левобережье и осаждал Кременчуг. Попытка эта окончилась неудачей, но Дорошенко не оставлял своих планов, найдя для них даже моральную поддержку у киевского митрополита Иосифа Тукальского, жившего после освобождения из Мариенбурга в Чигирине. Его целенаправленной пропаганде объединения Южной Руси в единое целое поддались и левобережный гетман Иван Брюховецкий (с 1663 года), некогда ближайший слуга Богдана Хмельницкого и воспитатель его сына Юраска.

В июне 1663 года на Черной раде в Нежине Иван Брюховецкий был избран гетманом. Соперники Брюховецкого — переяславский полковник Яким Сомко и нежинский полковник Василий Золотаренко, были немедленно казнены под надуманным предлогом измены, — так зеркально и подсознательно претворялся в жизнь турецкий обычай умерщвления многочисленных братьев нового султана во избежание предполагаемой смуты, мятежа и двоевластия. По свидетельствам современников, палач-татарин так был поражён внушительностью фигуры и красотой Сомка, что приступил к совершению казни с сожалением и выразил упрек козакам, заметив: «Сего человека Бог сотворил на удивление свету, а вы убиваете».

Князь Василий Волконский, будучи в это время переяславским воеводой, узнав о гибели своего сотоварища, обидевшись, заявил прибывшим к нему с этим известием посланцам нового гетмана: «Худые де вы люди, свиньи учинились в начальстве и обрали в гетманы такую же свинью, худого человека, а лутших людей, Самка с таварищи, от начальства отлучили».

Иван Брюховецкий стал первым малороссиянином, кто получил от московского самодержца боярское достоинство за верную службу: в январе 1664 года за оборону Глухова от польско-татарских войск, которая предопределила провал похода короля Яна II Казимира на Левобережье, и за участие в победе над польской армией при ее отступлении (Пироговская битва, в которой погибла одна тысяча поляков и едва не был захвачен сам король Ян Казимир), Брюховецкий был пожалован в Москве боярским титулом и даже женился на княжне Дарье Исканской из рода Долгоруких, то есть был принят в высший свет Московской Руси. В ответ на такую милость и щедрость Брюховецкий подписал с царским правительством в 1665 году Московские статьи, существенно ограничившие автономию Гетманщины. При этом Брюховецкий письменно даже назвался «холопом Ивашкой», что прежде невыполнимо было для человека подобного ранга.

Следует несколько слов сказать и об этом. Брюховецкий в безудержном ласкательстве и искательстве к царской администрации, преследуя свои выгоды, обнаружил самые постыдные черты малороссийского национального характера — приспособленчество, во главу которого ставилась исключительно личная выгода, и ненасытное приобретение. Следует все же озвучить, чем свежеиспеченный боярин расплачивался с хозяином. Замечу же, что с Переяславских договоренностей не прошло и десяти лет, а люди уже стали другими.

Костомаров пишет об этом:

«Желая угодить Москве, Брюховецкий сам изъявляя желание уничтожить местные привилегии края: так, например, он подал совет уничтожить привилегии

малороссийских городов, уверяя, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвог, а купцы и богатые на счет бедных наживаются; предложил умножить великорусских воевод, ввести кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, ustanovить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы, вместо выборного вольными голосами».

Такого угодника, как Брюховецкий, стоило еще поискать Алексею Михайловичу. «Он сам пришел!» — ну как еще раз не вспомнить Светлану Светличную из кинофильма «Бриллиантовая рука»?..

И при всем этом записного московского боярина и «холопа» Брюховецкого многоопытный Дорошенко легко искусил обещанием сделать гетманом всей Южной Руси, — и Брюховецкий... невольничьи отложил от Москвы, изгнал из левобережных городов московских воевод и ступил на проторенную другими гетманами Руины скользкую дорожку предательства. Не остановили его ни боярский кафтан, ни соболья высокая шапка, ни высококордная московская княжна Долгорукова, ни вышеупомянутое низкопоклонство перед Алексеем Михайловичем...

Измена Брюховецкого поразила Москву, как говорится, в самое сердце. Так же через полвека и Петр I будет поражен изменой любимца своего Ивана Мазепы, одного из двух первых кавалеров драгоценного ордена апостола Андрея Первозванного, — ибо все повторяется. Только что прибывшие по Московским статьям в малороссийские города воеводы были частью изгнаны, частью вырезаны и забыты дреколем бунтующего народа. Здесь тоже всякое лыко было в строку: своим универсалом Брюховецкий оповестил весь народ, что московские послы вместе с поляками постановили разорить всю Украину и истребить всех ее жителей от мала до велика. Когда прослышали обо всем этом в Польше, весьма возрадовались, но московским посланникам там давали известный иезуитский совет: «Надобно вашим государям послать войска — выжечь и перебить этих изменников-козаков, чтобы места их были пусты, потому что они вам и нам изменяют, и добра от них не будет!»

Но Дорошенко, опытный плут-дипломат, обманул Брюховецкого: он писал в Варшаву, озвучивая свои настоящие цели, что «сделает так, что обе стороны Днепра будут за королем». Впрочем, настоящие ли? Получается, что и Мехмета IV Дорошенко за нос водил?... Да и с Москвой он не однажды сообщался, умоляя о подданстве и о подмоге, но с известными, весьма существенными оговорками, на которые Москва — особенно после Московских статей с Брюховецким — ни в какую не соглашалась. Так чего же, по сути, хотел Дорошенко? Какие цели преследовал?... Трудно сказать. Вероятнее всего, он жаждал личной власти над всей Южной Русью, — и чтобы никто не мешал — ни поляки, ни турки, ни московские люди. Была ли это своеобразная «самостийность» 17-го столетия, или просто «княжество Русское», как мечталось еще Ивану Выговскому в Гадячских статьях, — трудно ответить. Но гетман, как и предшественники его, уперся со своими предполагаемыми идеями государственного устройства в крошечное, мягко сказать, непонимание общества. Да и странно было бы ожидать «понимания» от Мехмета IV, от короля Яна II Казимира и Алексея Михайловича, — невозможно даже представить себе ситуацию, что кто-то из этих государственных мужей скажет мило-стиво: «Да, Петро Дорофеевич, я все понимаю! Да будет Южная Русь свободна, как днепро-вая чайка!» — а тем более все трое сговорятся полюбовно в пользу свободы и всеобщего русского благоденствия... Только лишь народная соборная русская воля, могучий метафизический порыв могли поддержать правобережного гетмана в его дерзновенной мечте, — но народ не только не «безмолствовал» здесь, по слову Пушкина, но был весьма решительно против его начинаний. Не против, естественно, иллюзорного объединения разделенных Днепром и исторической судьбой частей Южной Руси, но против султана и турок, против татар, — каждый ребенок Южной Руси знал о том, что верить этим ребятам, все равно что пламя засыпать порохом, — беды, страхи и опасения от иноверных южных соседей встроились здесь за века вынужденного соседства в генетический код. С 14-го по 18-й век около пяти миллионов человек было захвачено крымчаками в Южной Руси и продано на невольничьих рынках Стамбула и Кафы... Конечно, там были не только русские с земель польской Украины и Сходних Кресов Речи Посполитой, были там и поляки, и москвиты, и насельники Слобожанщины, и кавказские обитатели, но в основном это были все-таки русские подданные Речи Посполитой... Да и для воинственного Запорожья не было врага злее и памятнее, чем татарин и турок.

Весной 1668 года Алексей Михайлович двинул в Южную Русь на усмирение разгорающегося бунта войско князя Ромодановского, которое осадило Котельву. На помощь Брюховецкому пришли татары, а из-за Днепра шел Дорошенко. Брюховецкий двинулся из Гадяча на соединение с ним. Дорошенко при встрече вдруг неожиданно потребовал, чтобы Брюховецкий отдал свою булаву, знамя и пушки и присягнул

лично ему. Нельзя все же сказать, что это произошло неожиданно для Брюховецкого: еще из Гадяча он пытался напрямую договориться с султаном и спастись под турецким расписным багдахином. Султан согласился на это: лишний карманный гетман ему бы не помешал в геополитической игре с Варшавой и Русью, — и Брюховецкий присягнул на верность Турции. Но такой конкурент вовсе не нужен был Дорошенку, он ведь хотел гетманствовать единолично, и он под предлогом помощи против князя Ромодановского двинулся на самом деле покарать «Ивашку», горе-боярина. 7 июня 1668 года оба гетмана встретились на Сербовом поле близ Диканьки. Брюховецкого преступно схватили свои же казаки и передали в руки Дорошенка. Победитель, такой же турецкоподданный, как и Брюховецкий, приказал приковать того к пушке в ожидании какого-то «справедливого суда», но своевольная толпа набросилась на Брюховецкого и забила до смерти «ружьями, рогатинами и дубьем». Изуродованный труп отвезли в Гадяч и там похоронили со всеми гетманскими почестями.

Тут следует сказать еще несколько слов и о Московских статьях 1665 года, подписанных Брюховецким. Цитирую для краткости Википедию:

«По договору, политические права Войска Запорожского существенно ограничивались, увеличивалась его финансовая и военно-административная зависимость от России. Малороссийские города и земли провозглашались прямыми владениями царя. Гетману запрещалось вступать в дипломатические сношения с иностранными государствами, а выборы гетмана должны были проходить только с разрешения царя и в присутствии русских послов. Для получения клейматов, новоизбранный гетман был обязан ехать в Москву. Увеличивалось количество царских войск на Украине, которые должны были содержаться за счет местного населения. За сбор налогов перенимали ответственность русские воеводы. Одновременно Киевская митрополия переходила в подчинение к Московскому патриархату...»

Такой договор был подобен смертному приговору для человека, его подписавшего. Чем все это, выше исчисленное, отличалось от того, прежнего, собственно польского, от чего уходил Богдан Хмельницкий всего-то десять лет назад, порывая навсегда с Речью Посполитой и польскими королями? Да ничем совершенно. И вот, всего через два года после этой полной политической капитуляции, Брюховецкий «выбирает свободу»... Ну не странно ли?.. Разве не собственными руками южнорусские гетманы выкапывали ту глубокую смертную яму, о которой спустя 150-200 лет лили слезы украинские патриоты вроде Тараса Шевченка и его нынешние эпигоны?..

*Це чому ти, шельмо пруська, Січ нам зруйнувала
Катерино, вража дівка, що ж ти наробила,
Ти Січ нашу, Запорізьку, ти святиню вбила.
Встань, Боггане, із могили, спам'ятай царицю,
Козаків всіх розігнала, кошових — в в'язницю
Розійшлися козаченьки по Дону й Кубані,
Кінець вольниці козацькій, не буде гетьманів...*

Марка... Как же без марки... Да, и Брюховецкого Почта Украины запечатлела на памятной марке в 2002 году. Память о нем сохранилась в названии станицы Брюховецкой на Кубани, куда в самом конце 18-го столетия переселились казаки Черноморского войска.

Тем временем Петр Дорошенко продолжал свою игру, или борьбу, как он ее понимал, за объединение южнорусских земель в единое целое. Он поднял мятеж против короны и открыто объявил себя подданным турецкого султана, что ознаменовало начало польско-козацко-татарской войны 1666-1671 годов. Напрасно писал в Чигирин митрополиту Иосифу Туптальскому, разделяющему политику Дорошенка, местоблюститель Киевского престола архиепископ Лазарь Баранович в надежде предотвратить катастрофу: «Под басурманскою рукою стонет Греция и по настоящее время, и самих патриархов вешают: о, невольная вольность! И для чего под такое ярмо класть шею? Греки рады бы освободиться от него, Русь сама лезет».

Крупное крымско-козацкое войско в битве под Браиловом нанесло поражение польскому отряду Себастьяна Маховского и опустошило окрестности Львова, Люблина и Каменца, захватив 40000 пленных, которые, естественно, были проданы на невольничьих рынках Крыма. Чуть ранее крымские татары разорили часть Левобережья. Москва, наученная горьким опытом с прежними гетманами Левобережья, весьма опасалась контактов козацкой старшины с турецкими и татарскими эмиссарами и ее перехода под протекцию Стамбула по сценарию Дорошенка и Брюховецкого. К тому же обе стороны были крайне истощены 13-летней изнурительной и довольно бесплодной войной. Киевский историк Наталья Яковенко весьма точно и образно говорит, что война закончилась по очень простой причине — просто некого было уже убивать... На долгие десятилетия земли между Днепром и Днестром превратились в пустыню, усеянную бесчисленными человеческими костями. И дабы не было ни у кого

искушений, позже была достигнута дипломатическая договоренность между Речью Посполитой, Турцией и Россией, что эти земли навсегда останутся незаселенными.

Общая угроза крымских набегов и турецкой экспансии заставили Речь Посполитую и Московскую Русь возобновить переговоры о мире. Андрусовское перемирие 1667 года, закрепившее уже на века фактическое разделение Южной Руси, — козацкую делегацию снова устранили от участия в этих переговорах, — вызвало крайне негативную оценку тех, кого оно непосредственно касалось, а именно козацкой старшины обоих днепровских берегов, еще помнившей статьи Переяславского договора, и Запорожского войска, утратившего последние надежды на объединение края под властью царя. Часть запорожцев, чаявших объединения Малороссии в единое целое, встала под хоругви гетмана Дорошенко, тем более что обнаруженные Москвой попытки централизации (Московские статьи 1665 года, подписанные «холопом Ивашкой» и пренебрежение козаками в Андрусове) весьма напрягали и настораживали запорожцев. В народе ширилось всеобщее недовольство, усугубляемое целой армией воевод и стрельцов, прибывших из Москвы и разместившихся по всем войсковым городам и местечкам Левобережья по настоятельным просьбам все того же Брюховецкого. Сам Дорошенко не иначе оценивал перемирие, как «государи на части разорвали Украину». Но при этом его протурецкие настроения и политика отвращали от него народ. В декабре 1671 года, когда войско Речи Посполитой стало отвоевывать у Дорошенка города, в Варшаву была прислана султанская грамота, требовавшая, чтобы Речь Посполитая отказалась от претензий на правобережные русские земли. Весной 1672 года султан Мехмед IV с громадной армией, подкрепленной крымскими ордами и козацкими отрядами Дорошенко, вторгся в Подольское воеводство и Галичину, принудил к сдаче Каменец-Подольский, жители которого были частью уничтожены, частью захвачены в рабство, и осадил Львов. Речь Посполитая была вынуждена заключить с султаном Бучацкий договор, по которому отказывалась от Правобережной Руси-Украины. Между тем население, нещадно разоряемое крымскими татарами и турками, массово переселялось в Слобожанщину, и край, подчиненный Дорошенку, день ото дня пустел. Дорошенко пытался не только уговорами и обещаниями, но и грубой силой приостановить нескончаемый миграционный поток в Слобожанщину. Вот что пишет об этом Михаил Грушевский в «Истории украинского народа»:

«Дорошенку это запустение Украины наносило последний удар; напрасно он прибежал к крайним мерам террора — громил ватаги переселенцев, отдавал их в неволю татарам — эмиграция шла со стихийной силой, и уже в 1675 году Самойлович (гетман Левобережной Украины) доносил в Москву, что за Днестром осталось очень мало населения».

А вот еще одно печальное свидетельство о том же 1675 годе:

«Сам Чигирин, по свидетельствам очевидцев, превратился в какой-то страшный невольничий рынок: татары публично перепродавали захваченный на левом берегу христианский полон, в чем им, как рассказывают, помогли сами чигиринцы. Город страдал от недостатка хлеба, не сеяли уже два года, а окрестности терроризировали голодные отряды татар. Все проклинали гетмана...» — так пишет историк Наталья Яковенко.

Или вот еще ужасающие подробности захвата Умани, поведенные одним из ранних малороссийских историков 19-го столетия:

«Турки старались преклонить уманцев к добровольной сдаче, но убеждения были тщетны. Подкопы и пальба разрушили укрепления, враги овладели городом, началась резня в улицах, стрельба из окон и дверей; сражающиеся, но непривычные к оружию жители, женщины, дети были без пощады избиты, трупы валялись кучами; в местах, где стычки были упорнее и сражающиеся многолюднее, кровь текла ручьями по отлогостям гористых уманских улиц... Чтобы не оскверняли стоп султана усопшие христиане — могилы были разрыты, гробы вынуты из земли и увезены далеко за город. Улицы были грязны; из всех церквей, кроме Екатерининской и Армянской, взяты были образа и устроена из них мостовая. Потом все храмы обращены были в мечети. На соборной церкви, известной под названием Фара, турки выстроили из резного камня минарет выше самой церкви; оттуда мулла призывал правоверных к молению Богу единому и Магомету — пророку его... Султан вошел в Чигирин торжественно, и все пред ним падало и ползало по-азиатски. Церковные колокола замолкли, самые церкви были заперты и запечатаны; не смел никто шевелиться ни по богослужению, ни по жительству, не считая себя ни живым, ни мертвым. Турки же делали с мужчинами и женщинами, что только вздумали... (В Умани) с живых городских и козацких старшин были содраны кожи: Дорошенко велел их набить соломой и отправил к султану, где эти чучелы были разставлены в знак победы. Несколько тысяч мальчиков были повержены Дорошенком к стопам Магомета IV-го, который немедленно велел обратить их в исламизм» (Маркевич Н. «История Малой России». М., 1842).

С территории Каменецкого вилайета только в 1673 году было вывезено 800 мальчиков — в гаремы и в янычарские полки.

Также следует упомянуть и о странной, мягко говоря, ситуации, сложившейся между 1669 и 1674 годами, когда на разделенных землях Руси-Украины начальствовали сразу три гетмана: на Левобережье — после гибели Брюховецкого — Демьян Многогрешный, которого в свою очередь сменил Иван Самойлович, а на Правобережье — одновременно — Петр Дорошенко и Михаил Ханенко, которого даже признало правительство Речи Посполитой, питавшее иллюзорные надежды, что он выработает приемлемые условия, на которых Русь-Украина снова станет неотъемлемой частью польского федеративного государства. Понятно, что оба правобережных гетмана затеяли друг против друга войну. Ханенко потерпел в ней поражение и едва спасся на Запорожье. В его разгромленном под местечком Стебловым войске был захвачен в плен Юраско Хмельницкий, сбросивший к тому времени монашеский куколь, — Юрия отправили в Константинополь, где он содержался в Семибашенном замке, Едикуле. Сам Ханенко в 1674 году явился к гетману Самойловичу, сдал ему знаки гетманского достоинства и принял московское подданство. Взамен имений на правом берегу Днепра Ханенко получил значительные поместья на Левобережье. После этого он жил частным человеком в Козельце, Лохвице и Киеве. Время и место его смерти неизвестны по некоей незначительности как власти, так и деяний, но Почта Украины и его почтила памятной маркой в 2001 году.

Следует сказать несколько слов и о гетмане Войска Запорожского на Левобережье Демьяне Игнатовиче Многогрешном, преемнике гетмана Ивана Брюховецкого. Он правил всего три года, с 1669 по 1672 год. Воевал, оборонял, был послушен Москве, как и предшественники его. Но при всем том будучи человеком горячим, запальчивым и невоздержанным на язык, особенно во хмелю, он быстро нажил врагов себе среди старшины, был оговорен, схвачен и доставлен в Москву, где приговорен к смертной казни. Когда он стоял вместе с братом в ожидании казни на смертном помосте, было зачитано пространное обвинение, которое я привожу в изложении Николая Костомарова:

«В этом приговоре, обращенном к лицу «изменника и клятвопреступника Демка Игнатовича», говорилось, что Демьян Игнатович забыл Господа Бога и прежнее государево к себе жалованье и умыслил отдаться турецкому султану, чтоб невинных христиан отдать в вечную и нестерпимую бусурманскую неволю, ссылаясь об этом с гетманом той стороны Днепра Дорошенко и на том учинил с ним присягу. Ему ставили в осуждение еще и то, что он хотел поссорить великого государя с братом его, польским королем, овладел неправильно некоторыми местами в поветах Мозырском и Речицком и ложно сообщал царю, будто это сделано по приговору старшин. Сверх того, говорил он в Батурине московским присланным людем — подьячему Михаилу Савину, стрелецкому полуголове Александру Танееву и подьячему Щоголеву непристойные речи о царском величестве, будто царь хочет Киев и всех малороссийских жителей отдавать польскому королю, грозил после Пасхи идти войною на Московское государство в соединении с турками и татарами... Старшины, не допуская до конечной измены, поймали его и доставили в Москву, а он под пыткой «во всех своих изменных словах винился». По желанию старшин, полковников, всего Войска Запорожского сей стороны Днепра со всем народом малороссийским, великий государь указал ему учинить смертную казнь...»

Головы братьев Многогрешных уже лежали на плахе и топор палача был уже занесен для удара, но тут царский вестник принес на Болотную площадь приказ о помиловании. Бывшего гетмана сослали под Кяхту, в Бурятию, где он прожил до смерти в 1703 году, воюя с монголами и неся различные войсковые заботы.

Надо ли помянуть здесь о том, что Демьян Многогрешный увековечен и на марке Почты Украины в 2002 году?..

Новый гетман Левобережной Руси-Украины, Иван Самойлович, пользуясь тем, что Бучацкий договор освободил московское правительство от обязательств, налагавшихся на него Андрусовским трактатом, вместе с воеводой Ромодановским переправился в том же 1674 году через Днепр; правобережные полки почти все перешли на его сторону; на раде в Переяславле Самойловича провозгласили гетманом обеих сторон Днепра. Когда же Самойлович и Ромодановский опять перешли через Днепр, Дорошенко заперся в Чигирине и позвал на помощь турок, перед которыми московско-козацкое войско поспешно отступило. Передавшиеся было Самойловичу города и местечки подверглись страшному разорению.

Вот несколько цитат из костомаровской «Руины», выхваченных едва ли не наугад, характеризующих «внутреннюю политику» Петра Дорошенка:

«...между тем к нему пришло 4000 татар, и он, отобрав часть этой орды, поручил брату своему Андрею подчинять отпавшие от него города. Местечки Балаклея и

Орловка сдалась без боя, поверивши обещаниям помилования, но гетман Дорошенко всех жителей этих местечек приказал отдавать в неволю татарам. Говорили даже, что после занятия этих местечек тамошним старшинам буравили глаза...»

И перед самой сдачей на московскую милость Дорошенко не унимался:

«[Московские] предводители решили, что небезопасно дожидаться хана, 10 августа приказали зажечь свой табор и снялись, а 12-го дошли до Черкасс. Крымский хан через день по отступлении русского войска был встречен Дорошенком за десять верст от Чигирина и на первых порах, в виде приветственного дара, получил от гетмана человек до двухсот невольников из левобережных козаков, а для всех своих татар — дозволение брать сколько угодно людей в неволю из окрестностей Чигирина за то, что жители с приходом русских войск отпали от Дорошенка. Вслед за тем хан погнался за отступившими от Чигирина русскими, Дорошенко стал в Корсуне; ему оставлено было татар, как говорят, тысяч до десяти. Тут услышал Дорошенко, что тысяч более десяти прочан [переселенцев] едут из Побужья и Поднестрья обозом, направляясь за Днепр. Дорошенко с татарами перегородил им путь под Смелюю; прочане стали было сопротивляться. Дорошенко приказал их всех рубить, не разбирая ни пола, ни возраста, а тех, которые не сопротивлялись и сразу покорились, отдал татарам в неволю... Вдобавок турецкий султан приказал Дорошенку послать в Турцию 500 мальчиков и девочек до пятнадцатилетнего возраста, и это возмутило против Дорошенка самых близких людей, даже тестя его Яненка, так что Дорошенко вышел из Чигирина и скрывался три дня в лесу с своими верными серденьятами, пока не улеглось волнение в городе. Память об этой кровавой эпохе народного бедствия, когда сами туземные власти отдавали в бусурманскую неволю малороссиян сотнями и тысячами, отразилась в народной поэзии в форме аллегорических песен...»

Власть Дорошенко становилась все более ненавистной народу; лишь путем насилий, доходивших до зверства, удерживал он ее за собой. Ввиду неминуемого падения, Дорошенко решил наконец-то подчиниться Москве, но хотел сохранить за собой каким-то образом гетманское достоинство. При этом он весьма опасался попасть в руки Самойловича. С целью посредничества и заступничества перед Москвой он обратился к знаменитому запорожскому кошевому Ивану Сирку. Но Сирко уже был бессилён помочь. Конец его горького гетманства был предрешен.

«Деятельность Дорошенко не только не привела к осуществлению им плана, но сделала его еще более недостижимым. Разорение западной Малороссии надолго лишило ее всякого политического значения, приведя ее в состояние, близкое к пустыне», — такой вывод сделал В. Мякотин, автор статьи о Петре Дорошенко в «Биографическом словаре» Брокгауза и Эфрона.

В 1676 году, осенью, Чигирин снова осадили войска Самойловича и Ромодановского — и Дорошенко наконец сдался. Но его отнюдь не казнили, как следовало бы того ожидать либо от Самойловича, либо от московских царей, пришедших на смену умершему к этому времени Алексею Михайловичу. Более того, и читаю я о том с удивлением:

«Дорошенко не противился и не роптал, переехал на левую сторону с женою и с братом Андреем 1 ноября 1676 года и прежде всего прибыл в Батурин. Самойлович встретил его чрезвычайно радушно и по поводу приезда его три дня пировал. Прежние враги, казалось, стали грузьями. Дорошенко просил дозволить ему жить как возможно поближе к гетману, и Самойлович назначил ему жить в Соснице. Там приготовляли Дорошенку двор, куда привезли из Чигирина 30 двуконных возов с его пожитками, а при дворе назначено было 15 душ челяди. Гетман дал Дорошенковой матери на прокормление доходы с чигиринских мельниц. Кроме матери, остались на прежних местах жительства тесть Дорошенка Яненко и двоюродный брат Кондрат Тарасенко с некоторыми бывшими старшинами... С приездом жены переведен во двор Григория Никитина; однако жаловался, что в этом новом помещении его беспокоит дым и течь. Тогда Дорошенку купили двор за 700 рублей и назначали построить новый дом о девяти покоях...» (Н.Костомаров, «Руина»).

Но не успел пленный гетман насладиться заслуженным отдыхом и покоем от своих ратных трудов, как царь Федор III Алексеевич, унаследовавший престол после смерти отца, призвал его приехать в Москву и предстать пред ясны очи свои. Самойлович весьма сопротивлялся отъезду прежнего недруга, но царское слово было крепко. И Дорошенко уже навсегда простился с родными пределами. Спустя полгода, проведенные в Москве, он написал челобитную с недоуменным вопросом: отпустят ли его назад в Украину или суждено ему остаться в Москве? И если ему суждено последнее, то он просил о пожаловании его деревней. Ему назначили с семейством и со всею прислугою в числе 24 человек поденный корм, что составляло в год 936 рублей 16 алтын, и обещали деревню.

Но уже в следующем 1679 году он был отправлен воеводой в глубинный россий-

ский город Хлынов, который мы знаем сегодня под именем Вятки, или Кирова, уже по советской терминологии, где былой грозный враг Московской Руси прослужил верой и правдой до кончины Федора III в 1682 году. После возвращения из Хлынова, в 1684 году, он получил в дар за безусловную службу подмосковное село Ярополец с приселками и деревнями по Указу царевны-регентши Софьи Алексеевны от имени царей, государей и великих князей Ивана V и Петра I «вместо денежного жалования, что ему давано по 1000 рублей». Дорошенко прожил здесь на покое 13 лет, здесь же и умер 19 ноября 1697 года.

Надпись на памятнике над могилой в центре села на старинном погосте гласит: «Лета 7206, ноября в 9 день преставился раб Божий, Гетман Войска Запорожского Петр Дорофеев сын Дорошенко, а поживе от рождества своего 71 год, а положен бысть на сем месте». Над его могилой по распоряжению святителя Димитрия Туптало, архиепископа Ростовского, отец которого служил вместе с Дорошенко, воздвигли часовню, стараниями же Ростовского святителя, составителя знаменитого свода православных святых, здесь в дни его памяти служились панихиды об упокоении души раба Божьего Петра... Ярополец сей унаследовала внучка Дорошенка, Екатерина Александровна, которая вышла замуж за генерала Александра Загряжского, и Ярополец стал ее приданным. Через Загряжских прапраправнучками гетмана стали Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина, и Идалия Полетика, знаменитая светская львица 19-го столетия.

Вот такая непростая история...

Ну и марка, конечно же, выпущенная в 1998 году...

Тут стоило бы, вероятно, порассуждать о такой мягкости, если не милости, московских царей по отношению к своему злейшему врагу, которым, без всякого сомнения, являлся Петр Дорошенко. Нам, прошедшим со страшными потерями через кровавый и бессмысленный 20 век, когда просто за неосторожное слово можно было расстаться с жизнью, да и без слова всякого вовсе, удивительно знать и читать отнюдь не о лютых казни с четвертованием и отсечением головы, как того ожидалось по естественной логике, и даже не о ссылке в Сибирь, как в случае с полковником переяславским Цецурой и гетманом Демьяном Многогрешным, закончившим свои дни на границе с Китаем в городке Селенгинске, а просто о некоей милости, даже чести, оказанной царевной-регентшей Софьей и малолетними царями правобережному гетману, руки которого были обогреты кровью невинных тысяч и тысяч его же сограждан и братьев, православных русинов и козаков, а также и московских стрельцов, гражданских и военных преступлений которого невозможно даже исчислить, не то что понять, а тем более оправдать. Дорошенко никак не наказан, напротив — даже наделен первоклассной и прибыльной должностью воеводы крупного торгового города; затем живет на покое в пожалованном ему за верную службу вотчине под Волоколамском, с немалой «тысячей дворов», где и умирает в «елее мастите» и в «долготе дней»... Как это понять?

Конечно, следует отбросить нашу нынешнюю примитивную логику рабства и подчинения слепой государственной машине и как-то умозрительно возвыситься над сложившейся ситуацией. Да, Петр Дорошенко не был подданным Москвы по Переяславским договоренностям, он даже родился на правом, Русском берегу Днепра, в Чигирине, на самой границе рокового разделения Южной Руси. Правда, и понятие «подданства» в те времена было довольно размытым. Отважно воевал во время Хмельниччины, но Переяславских договоренностей не принял. Следовательно, в отличие от Цецеры, Выговского, молодого Хмельницкого и Брюховецкого, которые находились под протекторатом Москвы, или, скажем по-простому, на службе ее, он *не предавал* Москву и *не изменял* московской присяге, — ни к первой, ни ко второй он не имел отношения. И потом, измены Цецеры, Выговского, Хмельницкого и Брюховецкого принесли невероятные и роковые потери как для Москвы, так и в целом для Гетманщины, — Выговский же просто ввергнул в гражданскую войну всю Южную Русь на десятилетия. (Демьян Многогрешный пострадал только лишь за «слова», до дел не дошло). Дорошенко проводил какую-то свою, довольно невнятную политику, используя подручные средства — поляков, султана, татар, бесконечные переговоры с Москвой с намерением принять подданство... Да, может быть, он косвенно способствовал измене «боярина» Брюховецкого, завлекая того пустыми честолюбивыми обещаниями и иллюзорными надеждами, — впрочем, мог бы «боярин» и поумнее все-таки быть... Прямой вины нет вроде бы никакой... Хотя при Сталине и при Брежневеве того было бы более, чем достаточно. Но снова — это наша такая вот убогая, выморочная логика, мой историко-политический крен и занос. Не вытравить из нас горький опыт 20 века... В 1676 году Дорошенко стал военнопленным, взятым в бою и с немалыми сложностями, — по рыцарским понятиям того времени, свою честь он сохранил. Еще в конце 19-го столетия русские офицеры следовали таким вот традициям — у плененных вражеских офицеров даже сабли не отбирали, принимали их в своем офицерском кругу, со всеми

регалиями, мило беседовали по-французски, угощали вином... Все эти благородные традиции были погребены невиданной бесчеловечностью Великой войны 1914-1918 годов, задавшей тон всему последующему веку. К тому же в плену Дорошенко принес наконец-то присягу на верность Москве и ее не нарушил до смерти. Его отправили, само собой разумеется, подальше от южнорусских искушений и бед, в далекую даль, в дремучие леса над Вяткой-рекой. Но при всем этом достоинства бывшего гетмана перевесили многие его прегрешения, и царская администрация вполне оценила военные дарования, таланты и его несгибаемую стойкость в противостоянии ударам судьбы. Нарождающаяся империя нуждалась в подобных людях — сильных духом, отчаянных, профессиональных воинов, закаленных во множестве битв. Неуклонно разрастающаяся и укрепляющаяся империя интегрировала своих прошлых, побежденных врагов, используя их потенциал. Примерно так же обстояло дело и в середине 19 столетия после подавления череды польских восстаний — побежденные наводнили русскую армию, министерства, университеты и школы, успешно делали карьеры и достигали известных высот, при этом во всем оставаясь, в сокровенной своей глубине, по сути, врагами империи. Ну, о том мне еще предстоит рассказать.

Когда Петр Дорошенко предавался под власть Мехмета IV, некоторые знаковые события произошли и с Юрием Хмельницким. Султану показалось маловато иметь у себя в подданстве и подчинении двух гетманов, Дорошенка и Брюховецкого, и он запасся еще одним кандидатом, — носитель славной фамилии, озаренный воинской славой отца, да и к тому времени уже «дважды гетман» Руси-Украины, как промосковской, так и пропольской, стал некоей разменной монетой и знатным заложником в Стамбуле. Юрий, как считалось, вполне разделял текущую политику Петра Дорошенка, хотя и был взят в бою против последнего в разгромленном войске ставленника Варшавы гетмана Ханенка. Но взгляды его на предполагаемую будущность родины все же были вполне созерцательными, в отличие от активной жизненной позиции Дорошенка, если почитать за таковую те многочисленные кровавые жертвы, принесенные им на алтарь своей заветной мечты. Пленного Юрия захватили татары белгородской орды, находившейся под властью силистрийского паши, и отправили ценным подарком в Стамбул, где он прожил несколько лет — по одним данным, в Семибашенном замке Едикале, по другим — в одном из греческих монастырей, пока не пробил опять его час — в третий уже раз — стать правобережным гетманом, сменив раскаявшегося будущего хлыновского воеводу и подмосковного барина. В 1677 году султан Мехмет IV двинул на разоренную Русь-Украину несметное войско. В нем находился и наш Юраско Хмельницкий, некогда монах Гедеон, — константинопольский патриарх по требованию султана снял с него монашеские обеты, — тогда-то он в третий раз принял в руки гетманскую булаву. Но власть его была чисто номинативной и расценивалась султаном по-своему — властителем настоящим считался, разумеется, сам Мехмет IV, Юрий же только номинально числился гетманом Запорожским, будучи вассалом султана. В утешение к иллюзорному званию гетмана султан пристегнул еще и титул князя Сарматского, совершенно ничего не означающий и ни к чему не обязывающий. Роль Юрия была преддetermined и однозначна. К этому времени, по условиям Бучачского мира 1672 года, Речь Посполитая уступила Османской империи практически одну треть своей территории, в частности всю Подолию, преобразованную турками в вилайет. Кроме того, новый польский король Михаил Корибут Вишневецкий обязался выплачивать Стамбулу ежегодную дань в размере 22000 талеров. Турецкое владычество продолжалось здесь до 1699 года. К слову сказать, наши родовые — как я весьма самонадеянно предполагаю — места были преобразованы в Язловецкий санджак, один из четырех тамошних санджаков Подольского, прости Господи, пашалыка. Поход турок в 1677 году был неудачен. Сам Юрий вроде бы даже помышлял о побеге к христианам, — польским ли, русским ли, но подальше от этой позорной опеки магометан, — все-таки он был хоть и худым, но православным человеком, можно сказать, даже монахом несмотря ни на что. В гетманство Выговского он даже закончил Киево-Могилянскую академию, просветился весьма в контексте того громокипящего времени. Был сыном великого южнорусского деятеля и воина, заложившего на Руси-Украине новые принципы государственности, какой бы она ни была. Разве могла душа Юрия-Гедеона смириться с подобным жизненным переплетом, в котором он очутился по воле судьбы? Предав однажды Москву, все-таки единоверную и благословленную некогда великим отцом, разве мог он сохранить верность Мехмету IV? Но и турки знали о том и не питали особых иллюзий по его поводу, потому за Юрием был весьма крепкий пригляд. В 1678 году турки снова двинулись на Правобережье. Родной Чигирин, столица правобережных гетманов, защищаемый русскими войсками и левобережными козаками гетмана Самойловича, был крепко обложен, а затем и взят турками с боем. На глазах у Юрия город подвергся тотальному разрушению, а жители истреблению. Как тут не вспомнить было ему, как в 1664 году герой Речи Посполитой, воспетый в польской ли-

тературе и в кинофильмах 20 века, Стефан Чарнецкий сжег и разграбил их родовой хутор Суботов. Польский герой в последний год своей собственной жизни в бессильной ярости мстил даже усопшим Хмельницким: разрушил гробницы Богдана и Тимоша, старшего брата Юрия-Гедеона, и останки их приказал выбросить на рыночную площадь собакам. Сам Чарнецкий погиб спустя год от огнестрельной раны при осаде Ставища, и сегодня почитается в Польше национальным героем, спасшим Речь Посполитую в кровавом Шведском Потопе. Его имя упоминается даже в государственном гимне страны:

*Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
(Как Чарнецкий в Познань,
После шведской оккупации,
Для спасения родины
Вернёмся через море).*

«Был известен особой жестокостью при подавлении антипольских восстаний на Украине» — так по-простому непритязательно рассказывает о Стефане Чарнецком Википедия.

Тогда же, в 1678 году, московские войска и козаки Самойловича отступили от Чигирина за Днепр. Картины расправ и разорения его родного города, по всей вероятности, потрясли впечатлительную натуру Юраска — ведь все здесь было близким, знакомым, все напоминало о детстве и юности, о брате и об отце, да и о разорении родных могил, которых не было больше, — теперь же здесь зверствовали турки с татарами, хозяева этой земли и союзники... Кем же был ныне сам Юрий? Их помощником и сотоварищем? Было над чем задуматься и что осознать. Вряд ли эти бесконечные страдания, которые он опять воочию видел, оставили его безучастным. Вряд ли он только и пекся, что о своей никакой гетманской власти и об игрушечной, позолоченной булаве, и ничего не замечал в бывшей гетманской столице, лежащей в дымящихся руинах. Сознание его явно раздваивалось и рассудок, по всей видимости, помутился. Хотя и прежде еще, во времена Чуднова и перехода на польскую сторону, он уже заламывал в отчаянии руки, хотел сложить с себя гетманские полномочия и постричься в монахи, — все это свидетельствовало как о его человеческой незрелости, так и об обостренной, болезненной впечатлительности. С течением времени, наполненным до краев тяжкими испытаниями, потерями, многолетними заточениями в темницах, всяческими унижениями и пребыванием в монашеской келье, эти особенности характера развели как разум его, так и душу. Затаенные до времени страсти, вовсе не усмиренные монастырскими службами и послушаниями, подобно языкам подземного пламени, вырывались наружу, обжигали душу его. Нежданная, дарованная султаном власть была смертельно опасна, как бритва в руках сумасшедшего для окружающих.

После разорения Чигирина новой столицей Правобережья и Подольского пашалыка стал город Немиров, где вместе с гетманом-горемыкой пребывал и турецкий паша. Юрий подписывал свои универсалы и распоряжения весьма затейливо — Гедеон Георгий-Венжик Хмельницкий, князь Сарматский и гетман Запорожский, — народ же прозывал его по-прежнему просто Юраском...

Конечно, в этих своих изысканиях я пытаюсь буквально вслепую нащупать причины и поводы, которые прояснили бы последовавшие вскоре жестокости, казни и зверства, превзошедшие по неистовству даже весьма безжалостный 17 век, и эти догадки мои про помутнение разума Юрия во время очередного разорения Чигирина вполне произвольны и, конечно же, спорны. Но как объяснить то, что происходило в Немирове? Груз ли отцовского имени и ущемленное самолюбие слабого человека? Полнота и неподсудность власти, которую он опять получил над безмолвствующими русинами, его безнаказанность, его отчаяние в спасении собственной души после всего того, что он натворил? Ведь все-таки — даже при легковесном к тому отношении — он принял монашеский постриг, принес вольные обеты Богу, — и как бы ни снимал турецкий испуганный патриарх по приказу Мехмета IV их с несчастного Гедеона, монашеский венец все же оставался у него на челе, как оставалось и монашеское имя. Но нет никаких внятных объяснений. Источники недостоверны, зыбки, слухи порой просто невероятны, но при всей фантастичности их, при всех преувеличениях, злокозненности и недоброй памяти, оставленной Юраском в веках, суть остается все той же: все исчисленное произошло, и все это, к сожалению, было.

Пять лет начальствования Юраска в Немирове над «турецкой Русью-Украиной» омрачались нескончаемыми бессудными казнями, отчуждением имущества у состоятельных граждан и прочими нравственными и уголовными преступлениями.

Что же он сделал или хотя бы попытался сделать для водворения мира и спокойствия развороченного края, своей родины Украины-Руси, за которую под освободительными хоругвями его отца сотни тысяч козаков, посполитых и мещан отдавали свои драгоценные жизни, не считаясь ни с чем, ради будущего этой земли и потомков своих?.. Ровным счетом ничего.

Петр Дорошенко, сдавшийся Самойловичу, предупредил гетмана, «что султан держит Юраска Хмельниченка не для чего иного, как для того, чтобы его провозгласить козацким гетманом под турецкою верховною властью, и теперь сделает это, когда Дорошенко от него отпал; уже назначена сумма 15000 червонцев на подкуп, чтобы склонить запорожцев на сторону Хмельниченка... Затеявая поход на левую сторону Днепра, Юраска послал немировского сотника Берендея к крымскому хану просить присылки орды. Юраска в особенности злился на запорожцев: «Кабы мне, — говорил он, — хоть бы их 1000 человек из Коша удалось выманить, тотчас бы заслал их к турецкому султану на каторги».

Это ли — государственный ум?.. Это ли — монашеское духовное и душевное устроение? А ведь, просвещенный в свое время в Киево-Могилянской академии, он вполне знал и понимал, что такое грех, что такое преступление заповедей Божиих, что подразумевается под спасением души и в чем состоит цель жизни христианина... Характерны увещевания против Юрия Ивана Самойловича в весьма сильных выражениях, который в своих универсалах призывал «не верить обманчивым прельщениям расстриги, который попрал христианский закон, предания церкви и угождает бусурманам». Костомаров сообщает, что в конце его бесславного гетманства в Немирове *«при Юраске оставалось только 80 малороссиян козаков; кроме них, было у него татар 800, волохов 200 и 28 сербов. Татары и турки, надеясь на потачку со стороны Хмельницкого, бесчинствовали, хватили и били жителей; одним словом, — говорил один современник-немировец, — у нас такая неволя, что и в турецкой земле горше быть не может. Гетману Самойловичу сообщали, что немировцы только того и желают, чтоб козаки и московские войска пришли освободить их...»*

Продолжу весьма выборочно цитировать костомаровскую «Руину»:

«Один живший в Молдавии афонский архимандрит через письмо советовал Самойловичу исходатайствовать у московского царя обещание милости Хмельницкому, если он поддастся великому государю. «Подайте ему хлеб, — писал архимандрит, — и уверьте его царским именем, что ему обиды не будет. Он, бедный, всякий день и час жалеет о христианстве. Я сам с ним беседовал. Отче, говорил он мне, я беду терплю, а с турком в войске иду! Что мне делать, невольнику? Что велят, то и приходится делать! Хочется Хмельницкому к вам, только боится Сибири. Выпроси у государя обещание милости и увидишь, какая срамота постигнет турок и как они сердце потеряют». Самойлович сообщил об этом совете в Москву, последовала царская грамота, где было сказано, что Самойлович в этом деле может поступать по-своему...» — но дело ничем не закончилось.

«Хмельницкий и прежде держался единственно турецким страхом, а добровольно малороссияне к нему не шли. Теперь же, владея незначительным населением в Подолии, он окончательно вооружил против себя всех своею алчностью и жестокостью. Во дворе у него выкопана была яма сажень 20 глубиною, и в такой яме перебивали почти все зажиточные подданные, особенно бывшие орандари, державшие откупы при польском владении и успевшие зашибить себе деньги; с кого захочет сорвать, того прикажет схватить, бросить в яму и держать, пока тот для своего избавления не отдаст всего, что у него есть; других приказывал бить палками, и немировскому сотнику Берендею, верно служившему Юраске, дано было 300 ударов по подошвам, отчего тот чуть не умер»...

Прибавить ко всему этому спорадические смертные казни, на которые в неистовстве обрекал гетман случайно попавших под руку людей, бессмысленные кровавые рейды на Левобережье, — что же от монашеского делания или от государственного разума здесь остается? По-видимому, и турки разочаровались в Хмельницком как в человеке, неспособном укрепить в должной мере «турецкую Украину» в целом и Подольский пашалык в частности. Последней каплей, переполнившей чашу надежды и терпения турок, стала страшная казнь жены некоего богатого и хорошо известного в крае еврея Оруна, которую Юраско, по свидетельству летописи Величка, обвинил в неправомерной женитьбе сына и за то «облупил», т.е. содрал с нее кожу, в припадке неистовства. Орун принес жалобу в Каменец туркам, султан отстранил Юраска от гетманства, его арестовали и в сопровождении крепкого караула доставили то ли в Каменец, то ли в Константинополь, где он не смог оправдаться ни в этом преступлении, ни в других, которые вменялись ему в вину. Это произошло в 1681 году. Костомаров, на основании летописи Величка, утверждает, что «трое пашей вывезли Юраска из Каменца к Дунаю, у конца моста дунайского произнесли ему смертный приговор, а янычары, по данному

приказанию, накинули ему на шею снурок и удавили».

В Википедии представлена насколько другая картина:

«Постоянные поборы, взыскания, казни в припадках умопомешательства заставили турецкое правительство отстранить в 1681 году Юрия Хмельницкого от гетманства. На его место был назначен молдавский господарь Дука, но в конце 1683 года он был захвачен в плен поляками, а на его место снова был назначен Юрий Хмельницкий. Постоянные бесцельные казни и угнетения народа заставили турецкого пашу арестовать Юрия. В конце 1685 года он был привезен в Каменец-Подольский, приговорен к смертной казни и задушен, а труп его брошен в воду».

Говоря другими словами, про четвертое по счету гетманство Юрия Костомаров просто не знал. Но зато он приводит весьма интересную и показательную легенду, как образ сына Богдана Хмельницкого трансформировался в соборной народной памяти:

«Но, вероятно, расправа над Хмельницким произошла не на Дунае, а в Константинополе, — говорит Костомаров, — потому что посланный в Турцию от польского короля Гольчевский, в октябре 1681 года, встретил Юраску на дороге в Константинополь; его вели 50 турок, а с ним было несколько козаков; он казался очень хворым, и говорили, что обещал он принять ислам. В народе сложилась о Юраске такая легенда. Когда турки проводили Юраску к Чигирину, то, подступивши к Суботову, ви-зирь приказал ему выстрелить из пушки в верх церкви, построенной Богданом Хмельницким, и тем доказать, что он искренно побасурманился. Юраска сделал угодное мусульманам и услышал над собою такой Божий приговор: проклят ты, и земля тебя не примет, и будешь ты скитаться по земле ни живым, ни мертвым многие века! С тех пор ходит он по Украине ни жив, ни мертв, и чумаки где-то видели его».

Косвенные подтверждения тому есть и в каких-то слухах о том, что в Константинополе его отнюдь не казнили, а он принял ислам и через несколько лет умер там от болезни. В «Истории русов» также весьма отличное сказано о конце Юрия:

«Судьба Юрия Хмельницкого есть странна, удивительна и превосходяща все случайности: два раза избран был он гетманом целою нацією и признанным ею того достойным; но два же раза лишился сего достоинства по интересам той же нации. Наконец, еще два раза возведен был в то же достоинство двумя монархами; но никаким их могуществом утвержден и удержан в нем не был. И так жизнь его была не что иное, как только игралище фортуны, самой коловратной. <...> Хмельницкий, угождая народу, не щадя самого себя, склонился и на сии его желания; но наказный гетман, Дорошенко, искавший, как и многие другие, настоящего себе гетманства, схватя Хмельницкого, отдал хану Крымскому, который сослал его в город Белгород, и оттоль взят он в Царьград и посажен в Едикул, или Семибашенный замок, где содержан четырнадцать лет в заключении и, наконец, сослан в один греческий остров и тамо скончался пономарем в одном греческом монастыре».

Марка, посвященная Юрию, выпущена в 2001 году...

Забирает меня некая глубокая печаль от всего этого.

Глава 20. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Я закрыл книгу и погрузился будто бы в какую-то созерцательную полудрему. Во мне не было ровным счетом ничего осязательного или словесного, и если попытаться что-то в себе самом все-таки разглядеть, в том кисельно-багровом, что колыхалось во мне какой-то субстанцией, и обозначить словом единым, то близким будет разве что слово «печаль», или же «скорбное изумление», что ли, и мое сердце все не могло смириться с этой вот непреложностью, роковой обреченностью нашей родины, Украины, на эту злую судьбину: быть разменной монетой в крупных геополитических играх соседних держав, восходящих в зрелость и силу или, напротив, иссякающих этой былой исторической мощью, разрушающихся, загнивающих на корню, теряющих перезрелые зерна свои, ибо некому собрать урожай, дать ему лад и сохранить для близкого и отдаленного будущего. Слепление, преступное и глупое, завело прежде Речь Посполитую, а затем и Русь-Украину, в совершенный тупик, — и как было обозначить роковые ошибки, обозначить диагноз, если ко всему примешано было человеческое, усугубленное словом Ницше: «человеческое, слишком человеческое»?

Выйдя из Исторички на лаврский двор и вдохнув свежего воздуха, я вдруг в который раз осознал, что вот уже и весна началась, набухли почки у зелени, пробилась на днепровских склонах трава, еще пройдет горстка одинаково неприметных деньков, исполненных всегдашней суетой и бытовой требухой, и черно-белое, графически-ломкое и угловатое пространство стольного Киева покроется прежде нежной, а после буйной листвой, затуманится облаком молодой зелени, — днепровские склоны уже зеленели, и теплый ветер с реки ласкал лицо, ворошил волосы. Эта обыденность дня, обыденное чудо пробуждения земли и природы, с завидным постоянством про-

исходившее из года в год, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие — несмотря ни на что привходящее, привнесенное человеком, который приходил в этот мир, на эти древние днепровские склоны на сущее краткое мгновение, а ему казалось, что жизнь его не закончится никогда, а она внезапно все же заканчивалась, — была какой-то удивительно полной и непостижимой божественной формулой, сообщавшей душе что-то невероятно важное и единственное, дававшей некий ключ к постижению смысла человеческой жизни, смысла истории, то есть дней и времен, уже прошедших, полузабытых, забытых, искаженных сказочной мифологизацией и просто без остатка погрузившихся в сущую тьму того, чего вроде и не было никогда. Но откуда-то, из этой воистину вневременной мглы, тянулись слабые генетические ворсинки моего рода, родов, народа, народов, вынужденных жить бок о бок в этом вот данном нам времени, расцветенном разнообразными делами, заботами, целеположениями, нашей верой, нашей любовью, ошибками, преступлениями, нашим общим неистовством в достижении каких-то ложных или же настоящих целей, в выживании, в страданиях, в дикости казней, в жалких, ничего не стоящих оправданиях, в домыслах и во лжи, усугубляемой толщей времен, вроде бы очищающих суету, осаждающих, опровергающих слухи и мифы, но так и не проясняющих ничего толком. «Будущие поколения разберутся...» — вот утешение неудачников, задвинутых в пыльный угол забвения, или же «история рассудит» — еще одна иллюзия, помогающая просто прожить этот день и не заморачиваться понапрасну. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, — что это? — я, как представитель «будущего поколения», пытаюсь разобраться в том, что происходило в польском Потопе и русской Руине? И что «рассудит история» в этом кровавом потоке, усугубляющем и без того весьма непростые взаимоотношения славянских народов — русских, бывших и настоящих подданных погибающей Речи Посполитой, суровых и несгибаемых московитов, простодушных литвяков Белой Руси и Великого княжества Литовского и самих горделивых поляков, первенствующих по праву господ, кичащихся высоким происхождением, дворянскими гербами и славными завоеваниями воинственных предков, которые они успешно проматывали и теряли в 17 и 18 столетиях. Уже, кажется, мало кто помнил, что война, начавшаяся в конце 16 столетия и продолжавшаяся на вылет весь 17 век, была, по сути своей религиозной, инспирированной папским Римом и Обществом Иисуса, чьим послушным оружием стал польский король Сигизмунд III Ваза, попытавшийся, на общую беду, ввести в государстве унифицированное вероисповедание. Но он забыл, вероятно, о первых христианских мучениках, с радостью шедших на мучительства и на казни, хотя, если разобраться, что там было особого в том, чтобы бросить в жертвенное пламя щепоть ладана и вознести молитву за римского императора... И вот — древнее исповедничество и бесстрашие возродилось. В этой бесконечной войне законом стал ветхозаветный принцип «око за око» и «зуб за зуб», и противостоящие народы только разжигались в сокрушительной ненависти, уничтожая друг друга с прилежанием и зверством, достойными лучшего применения.

— Лешек, — спросил как-то меня Максим Добровольский, — а разве тогда, в 17 веке, сложились уже сами генотипы народов, в том виде, в котором мы их имеем сегодня? И различие не осуществлялось ли по вероисповедальному принципу? Если католик — значит, поляк, православный — русин, кальвинист-лютеранин — скажем общо — житель Великого княжества Литовского, какого бы он происхождения ни был, или эмигрант из Чехии и прочих мелких княжеств германоязычной Священной Римской империи...

— Тут надо бы провести некую параллель с еврейским народом, идентичность и целостность которого сохранялась на протяжении тысячелетий только лишь благодаря — говоря грубо и весьма в общих словах — исключительно становому хребту ветхозаветной религии. Говоря о православии, унии и католичестве, я отнюдь не дерзаю сопоставить древний народ Израиля с нашими нарождающимися этносами в религиозной борьбе, — удельный вес у нас слишком уж разный. Но надо отметить, что русская шляхта, магнаты и лучшие люди народа, принимая католицизм по разным причинам — ради науки, ради приобщения к более высокой культуре, ради карьеры, военной ли, политической ли, — через одно или два поколения становились просто поляками, — вот какой мощной религиозной интенцией обладал католицизм той поры. Помнишь, я рассказывал как-то тебе о русском этнархе, князе Константине Острожском, магнате и культуртрегере? Он до самой смерти слыл главным защитником православия после Бреста, был рупором громогласным противостояния католикам на сеймах и на церковных соборах, но еще при жизни сын его Януш перешел под омофор Ватикана, и род Острожских буквально в одно поколение ополячился. То же произошло с Вишневецкими: Дмитрий-Байда Вишневецкий, основатель Запорожской Сечи — в народной думе — до смерти исповедует свое православие, будучи подвешенным на крюке на крепостной стене в Царьграде, а его совсем недалеким потомком Иеремия — уже главный палач русских людей во времена Хмельниччины,

карающий меч папского Рима и спаситель короны...

Хотелось мне еще добавить кое-что о внучке этнарха и столпа православия, княжне Элеоноре Острожской, дочери Януша, но я удержал свой язык: «Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» — по точному слову Шекспира — довольно Максиму моей архивной тщеты. А ведь Элеонора стала женой четвертого сына, именем Иеронима, гетмана великого коронного и воеводы подольского Ежи (Юрия) Язловецкого нашего, основателя как Кременчуга, так и Язловецкого замка. Иероним прославился отвагой в древних битвах с татарами, и о нем даже писали что-то вроде того, что битвы для него игрушка, лагерь является домом, конь — сиденьем, панцирь — одеждой, танцы с татарами — забавой. Он продолжил строительство Язловецкого замка, начатое его отцом. Скончался же в начале 1607 года и был похоронен в костеле доминиканцев в Язловце.

Но я тогда промолчал. И вот теперь я брел по Печерску, будто бы по дну моря, в затопленном городе, вечером, в сокрушительной внешней тишине, хотя откуда бы и взяться ей было бы, — я был подобен глухому, потому что внешние звуки — шум автомобилей, человеческая разноголосица, окружавшие меня, будто бы блокировались прозрачной стеной, — я был оглоушен только что прочитанным в Историчке. Конечно, я и прежде читал о Руине и о всех этих гетманах, позорной чередой проковылявших по нашей скудной исторической ниве, заросшей репейником, но только теперь мне довелось достаточно сфокусировать свое зрение на каждом из них, а не просто пробежаться по разрозненным фактам: родился, жил, воевал, предал и умер в почете... Или, напротив, «удавили снурком» или «без суда расстреляли»... А в нынешних временах вот и маркой память почтили... Ну а как еще напомнить равнодушному, измученному бесконечным раздраем народу, препровождающему единственное время жизни своей на этой благословенной и несчастливой земле в непрестанной заботе о хлебе насущном, о том, кто жил здесь раньше? Хотя бы почтовую марку тиснуть — глядишь, будет на почте письмо гражданин отправлять, лизнет языком марку оплаты, наклеит на конверт да и заметит козака в красном жупане, с саблею на боку: гетман какой-то на фоне условного замка крутит свой ус... Может быть, кто-то и задумается на мгновение, а может, даже для чего-то запомнит... Но что по этим маркам можно понять о русской Руине? Парад кособоких сувернитетов, политические и человеческие метания, бессмысленность казней и напрасность бесчисленных жертв... Конечно, никто не требовал и не ждал в тех громокипящих и невероятных во всем временах какой-то нежности, уступчивости и глубокого понимания своей миссии, своей державной задачи, кроме разве что Богдана Хмельницкого, указавшего булавой путь на восток и на север, как мы можем видеть на памятнике на Софийской площади в Киеве. К слову, первый проект памятника, созданного скульптором Михаилом Микешиним, был весьма говорящим — конь Богдана сталкивал польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита со скалы, перед которой малоросс, червоноросс, белорус и великоросс слушали песню слепого кобзаря о прежних подвигах козаков... Жаль, что не собрали на тот проект в середине 19-го века достаточно денег, пришлось упрощать, удешевлять, умалывать, уплощать. С другой стороны, все что ни делается — к лучшему. Иначе в 2014 году, во время «революции Гидности (годности?)» на Майдане разгневанные на Януковича «правосеки» разрушили бы фигуру москаля, а иезуита, напротив, увенчали бы венком исторического победителя, чем нарушили бы микешинский авторский замысел. Да и не только микешинский — ведь идея памятника принадлежала еще Николаю Костомарову, а внешность знаменитого гетмана и особенности одежды Хмельницкого были воспроизведены с помощью консультации другого замечательного киевского историка Владимира Антоновича. А так — уцелел литой Богдан перед Софией, только имперские надписи «Волим под царя восточного, православного» и «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия» сбили большевики подальше от греха. Хрен вам — «царя православного!» Хрен вам — «единая и неделимая!» Разделяй, проклятьем заклеянный, властвуй и веселись, ибо завтра умрешь! Но это так, к до-сужему слову своему прилагаю. А тогда, вечером, на дне моря, в затопленном тишиной городе я двигался, как сомнамбула, отравленный моим новым суетным знанием, вынесенным после чтения костомаровской «Руины», «Летописи Величка» и прочих невестребованных десятилетиями книжных лаврских сокровищ, пылящихся втуне в хранилищах нашей Исторической библиотеки.

О чем думал я тогда, ранней весной 1979 года? Да и думал ли я вообще? Внутреннее мое естество было изодрано в клочья, в ошметки, я был ошарашен и повержен в прах, — ведь я был, как и все, вполне себе советским таким чуваком, любителем чтения, музыки, светлооких дивчин из Беликов, Козельщины и Кременчуга, любителем местечкового пива «Желтый аэроплан» и кременчугской днепровской тараньки к нему, я вполне верил и разделял постулаты тогдашней нашей исторической науки, узко заидеологизированной, закованной в догмы марксизма и однозначной, словно амеба,

аксиомой которой, пересмотру не подлежащей, было вековечное тяготение украинского народа из-под польского ярма и горького рабства к конечному воссоединению с Россией и совместному победоносному шествию в сияющий мир всеобщего счастья, трудовых свершений и подвигов вроде строительства ДнепроГЭСа, металлургических комбинатов в Днепропетровске и Днепродзержинске, могучих заводов, стахановских рекордсменских угледобыч и партизанских подвигов Вали Котика, — а тут вдруг такая открылась бездна, что впору было либо рехнуться, либо заняться серьезным анализом, либо все вменить ни во что и продолжать свою бездумную студенческую житуху: ездить на троллейбусе в универ, играть в преферанс, бродить по городу (уже, увы, без Галюни), слушать музыку, рассусоливать эзотерическую муть с Максимом Добровольским или с Игорем Виновым, продираться через слепую машинопись Карлоса Кастанеды, потреблять «жигулевское» пиво вперемежку с портвейном «777» и не задавать никому лишних вопросов. И главное — не задавать этих вопросов себе самому. Но... сказать легко, да трудно вот сделать. И, конечно, вопросы эти вставали, — впрочем, даже не вставали, а просто колом торчали во мне непрестанно, не оставляя меня даже ночью. Я, конечно, пытался справиться со всем этим, последним козырем из рукава доставая все ту же замызганную карту, и говорил сам себе, как некогда Сероштан в Кобеляках:

— Лешек, твою мать, ты же поляк!.. Что тебе до этих ряженных гетманов Малой Руси, думавших только о том, чтобы потуже натискать золотыми червонцами карман да набить московскими роскошными соболями сундуки в своих столицах — Батурине, Глухове, Чигирине — они ведь готовились жить вечно и вовсе не умирать, — и думал ли кто-то из них о народе или о том, что от народа тогда оставалось?.. Ты же — поляк, и те гетманы, как и сгинувшие в веках козаки-запорожцы, были врагами твоих предков, и раздор, раскол и война только ширились и углублялись тогда, несмотря на все эти Андрусовские перемирия и на «Вечный мир» 1686 года!.. Пекся бы ты лучше о несчастной судьбе природных твоих соотечественников, о польском Потопе, когда Речь Посполитая уже одной ногой стояла в могиле своей, воспел бы героя Стефана Чарнецкого, как некогда Генрик Сенкевич воспел мифологического пана Володыевского в своей исторической саге... Что ты паришься?

Но при всем этом, весьма разнообразном и спорном, сугубо, может быть, даже теоретическом, я почему-то довольно ровно, если не сказать, безразлично и отстраненно, воспринимал роль Польши во всех этих малороссийских разборках и нестроениях, — и стояло, вероятно, задуматься и над этим: в чем же здесь дело? Что со мною не так? Почему я нахожу в себе острую боль, сострадание и печаль, читая об этих всех добровольных и потом принудительных переселениях и сгонах тогдашних русских людей прежде с Правобережья в Слобожанщину, затем, наоборот, насильственное переселение на Правобережье под угрозой казней-расправ? Эти татары и их промысел «живого товара»... Эти невероятные первенствующие гетманы Южной Руси, расплачивавшиеся с союзниками своими же людьми и согражданами... Эти дипломатические ухищрения пана Беневского, сочинившего вместе с Выговским статьи Гадячского договора, и знавшего точно, что никогда сейм в Варшаве не утвердит никакого «Русского княжества», — но стратегической целью здесь было оторвать Запорожское войско и в целом Русь-Украину от Москвы, повернуть время вспять, не пересмотреть даже, а попросту отменить совершенно Переяславские договоренности 1654 года, вменить их ни во что, считать их простижной и неважной для будущего ошибкой Хмельницкого... Конечно, что говорить, Станислав Беневский был польским героем не меньшего масштаба, чем Стефан Чарнецкий, но если тот отважно сражался, не щадя жизни, в сабельных схватках, то Беневский, на мой взгляд, гораздо больше сделал для спасения Речи Посполитой, разлагая ласковым словом и обещаниями мятежных, но по-детски доверчивых гетманов Южной Руси-Украины. О том свидетельствует даже краткая его биография: в 1641 году он был писарем гродским луцким. В это время в его канцелярии подвизался Павел Тетеря, — стало быть, к будущей гетманской карьере его и ко всему прочему Станислав Казимир руку свою приложил. В 1650 году Станислав Казимир уже стал королевским секретарем. С 1648 года выполнял различные дипломатические миссии. В 1654 году был депутатом в Радомском казначейском трибунале. В 1655 году был избран депутатом сейма для выработки условий для «успокоения Украины», — но с избранием его на эту должность верховные паны припозднились, а жаль. Но в 1657 году еще уговаривал смертельно больного Богдана отступить от Москвы, однако же безуспешно. Может быть, в этом только он и потерпел поражение, но затем свое сторицею отыграл. В 1658 году был комиссаром на переговорах с гетманом Иваном Выговским, пугал козацкую старшину ну московскими лаптями, зипунами и переселением за далекое Белоозеро, «блеснул» сравнительной вероуверительной экзегезой — результатом этих усилий стал Гадячский договор и отпадение Выговского от Москвы. В 1660 году распропагандировал

Юраска Хмельницкого под Чудновым, и тот со всеми своими козаками перешел на польскую сторону, в результате чего московское войско боярина Шереметева было разгромлено, а сам боярин на долгие годы оказался в плену у татар. Беневский стал своеобразным духовным отцом и наставником Юрия, что, как известно, не принесло тому счастья и успокоения. Интересно, какие советы давал Станислав Казимир иноксу Гедеону, что жизнь того оказалась настолько запутанной и драматичной? В 1667 году Станислав Казимир ездил в Москву для утверждения Андрусовского договора, кое-что выторговал существенное для Польши, — в частности, Россия отказывалась от завоеваний в Великом княжестве Литовском и возвращала удерживаемые ею Полоцк, Витебск и Динабург, но много вообще-то и потерял, а вот до «Вечного мира» с Москвой Станислав Казимир не дожил десяти лет, умер в 1676... Каштелян волынский (1655-1660) и воевода черниговский (1660-1676). Староста богуславский (с 1658), носовский (с 1664) и луцкий (с 1673)...

Как тут, к досужему слову, не помянуть еще раз о конце жизни гетманов, поверивших посулам и обещаниям удачливого дипломата и комиссара: Выговского без суда и следствия расстреляли по приказу Павла Тетери в 1664 году, а Юраска Хмельницкого прикончили турки в 1685 году и тело его выбросили в реку...

Таковой, по сути своей, оказалась плата за предательство дела Богдана Хмельницкого. А итог дипломатических ухищрений Беневского еще более горек — бесконечно тлеющая гражданская война на обоих берегах Днепра, десятки, если не сотни, тысяч погибших русских людей, пленники без числа, уведенные в крымских полонях, разоренные, запустевшие земли, где десятилетиями белели непогребенные человеческие останки... Но, быть может, того и хотел Станислав Казимир? Тогда цели достигнуты: Речь Посполитая все-таки выстояла, выжила в польском Потопе и в Московской войне 1654-1667 годов, потеряв полностью Левобережье Днепра, потеряв Киев, Смоленск и Стародубщину... Но тут ничего не поделать: сняв голову, по волосам не плачут... Конечно, не пан Беневский был кругом виноват в этих бедах и несчастьях Руси-Украины, но тут мы имеем драматическое противостояние мировоззренческих и геополитических позиций: то, что для Руси-Украины было злом и бедой, для Речи Посполитой оказывалось тактическим успехом, победой в непрестанной борьбе за выживание. Да, Речь Посполитая весьма сократилась в территориях, но все-таки, пусть даже в ослабленном виде, она осталась на политической карте тогдашней Европы: витийствовал сейм, шляхта все надрывалась в гордом своем *liberum veto*, не давая ходу тому, что ей не нравилось в данный момент, короли избирались — после Яна II Казимира, который был внуком Сигизмунда III и сыном Владислава IV и которому суждено было пережить губительный и злосчастный Потоп 1655-1657 годов, королем стал Михаил-Корибут Вишневецкий (1669-1673), сын Иеремии, героя или же антигероя — на выбор — Хмельниччины, затем Ян III Собеский (1674-1696) и, наконец, Август Сильный (1696-1733), саксонский курфюрст, при котором Речи Посполитой снова было суждено пережить очередную шведскую оккупацию очередного же Карла, по счету XII...

Что же со мною не так, — думал я в тот памятный вечер, возвращаясь из Исторички, почему не нахожу я в себе практически ничего, кроме слабого, невнятного отголоска, затухающего, едва различимого эха, — может быть, даже следа некоего сожаления, что ли, что все, о чем я только что прочитал, могло ведь сложиться иначе, — ведь совершенно утеряны первоначальные смыслы раздора, все забыто и бытием поросло. Спроси сегодня на улице кого из прохожих, не получишь никакого ответа, но только лишь удивление, — да что о случайных тут говорить? — задай вопрос даже в университетской аудитории нашим студиям горе-историкам о причинах извечного к этому времени противостояния украинцев и поляков, ответом будет разве что невнятное бляение о вековой мечте соединения с единокровным русским народом, — все сглажено, нивелировано, загнано в прокрустово ложе советского ложного историзма.

«Сегодня никакого противостояния нет, — сказал бы в 1974 году наполитинформации о международном положении в николаевских солончаках мелкий старлей Логунов, мой командир-воспитатель, — Польша, как и СССР, член Варшавского военного договора. Мы плечом к плечу противостояем империалистическим посягательствам на социалистический лагерь и блок! Враг не пройдет! Шо ты ото, Маршалок, — в дурдом захотел?»

А во мне все тлеет некое метафизическое сожаление о том, чему так и не суждено было в веках воплотиться: о единой и неделимой славянской державе. (Тут я был последовательным фантазером в духе Николая Яковлевича Данилевского, креста над Святой Софией, панславизма и прочих сладких грез 19-го столетия). Приукрашенной памятью о ней, как об утерянном рае, утешали себя польские поэты-романтики вроде Юзефа Богдана Залеского, Северина Гоцинского, Тадеуша Кремпенецкого, который предводителей антипольских восстаний Наливайка и Павлука называл «новыми

спартанцами» и признавал историческую вину польской шляхты перед украинским народом. Сергей Беляков в своей замечательной книге «Тень Мазепы» пишет об одном из таковых мечтателей 19-го столетия:

«Польский эмигрант Якуб Яворский в Париже будет с тоской вспоминать песни чумаков, настоящих украинских чумаков — бритоголовых, с глинными чубами, которые они закручивали за уши. Чумацкие песни были этому поляку милее парижской оперы. Украина для него — родная страна. Он призывает шляхтичей оставить свою спесь и наконец увидеть в украинском крестьянине брата. Разумеется, Украина для пана Яворского — часть будущей Польши».

Такого же рода и исторический романтизм Тараса Шевченко, воспевшего в своих «Гайдамаках» кровавую и беспощадную Колиивщину 1768 года, в которой погибло более 20000 мирных жителей, по преимуществу поляков и евреев, когда даже за польский кафтан можно было лишиться жизни, и довольно трезво, скептически относившегося к Польше вообще. Но при этом в стихотворении «К полякам» он тоже выстраивает идеализированный утерянный рай:

*Ще як були ми козаками,
А унії не чужо було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Україна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Доголу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Те деум! алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
(1850, Оренбург)*

Но надо здесь все же отдать должное историческому чутью кобзаря: как роковой, губительный водораздел, раскrojивший на века и напополам великое единое государство, как «кость раздора» он понимает Брестскую унию 1596 года: «Аж поки іменем Христа \ Прийшли ксьондзи і запалили \ Наш тихий рай...» Но вот чудеса какие случаются в нашей теперешней жизни. В 1996 году у нас на Украине широко праздновали 400-летний юбилей Брестской унии, а греко-католическая церковь, золотушное дитя Брестского собора 1596 года, с момента легализации в конце 1980-х годов позиционирует себя ни много, ни мало «национальной церковью украинского народа». Я понимаю, что никто не знает собственной истории, никому не интересно знать, против чего выступали истинные, настоящие герои Украины Сагайдачный, князь Константин Острожский, предводители козацких мятежей и восстаний при короле Владиславе, какой основной побудительной причиной было составление и принятие Переяславских статей Богданом Хмельницким (ах, ну да, большевики же сбили, безпамятства нашего ради, знаменательную надпись на памятнике Богдану: «Волим под царя восточного, православного»), но хотя бы стихотворение «К полякам» Тараса Шевченка внимательно читали бы... Но — нет... Так и приходится на пальцах объяснять нашим нынешним «неразумных хазарам», мечтающим о визите очередного

римского первосвященника в Киев, историческую «таблицу умножения» на пальцах... Но куда там: разве кто-то услышит? Разве кто-то поймет?..

Так и живем в мире подмен, подделок и злонамеренной лжи, в мире, где белое выдается за черное, и наоборот.

Но разве кому-то в сегодняшнем Киеве до исторической истины есть реальное дело?..

«Лешек, ты же поляк!» — так и слышу я голос друга своего Сероштана из дальней дали середины 1970-х годов, — и в этом напоминании нет, впрочем, никакой укоризны, нет обиды, которой стоило бы вообще ожидать, тем более после наших тяжелых, изнурительных споров о Волынской резне 1943-45 годов — от украинских националистов, и об адекватном ответе Армии Крайовой и Обороне поточной былых Сходних кресов тогда же, с такими же крайностями и жестокостями. Нет, речь здесь все же идет о некоем стереоскопическом зрении: ведь можно видеть одним глазом, а можно двумя, и не о чем спорить здесь, какое зрение предпочтительнее.

Моя, признаю, довольно распрошенная в поколениях польскость (назовем это таким вот корявым термином), весьма теплохладная и никакая, за несколько поколений пребывания в советском идеологическом бульоне вываренная до пустой скорлупы, все же придавала моему зрению, моим ощущениям некую видимость объективности (так, по крайней мере, мне хотелось думать), и мои чувства в таких вот разговорах, как со Сероштаном, отнюдь не захлестывала пена беспричинного польского национализма и польского же мессианизма, который был весьма сроден известной «богоизбранности» еврейского народа. Но если богоизбранность евреев целиком принадлежала ветхозаветному миру, то мнимая богоизбранность Польши, ее утраченное величие и сегодняшние бесконечные страдания, были знаком и символом нового времени и некоего грядущего искупления, как казалось патриотам на протяжении всего 19-го столетия. Как и в каком обличье все это должно было воплотиться, а тем более в чем было искомое искупление, я, конечно, не знаю. Думаю, не знали и патриоты, со слезами певшие строки польского гимна «Jeszcze Polska nie zginęła» («Еще Польша не погибла»). После третьего раздела Польши в 1795 году и исчезновения государства наши предки будущую судьбу и будущее восстановление справедливости видели исключительно в возобновлении нашей утраченной государственности. Но никто не хотел, оглянувшись назад, кроме блистательных побед и свершений былого, разглядеть и понять роковые причины и обстоятельства гибели Речи Посполитой. Почему, по какой причине Речь Посполитая прекратила существование? Кроме разве что поэтов-романтиков вроде Гошчинского, о которых я уже поминал. Но они все же были поэтами, и дальше стенаний и жалоб дело не шло. Трата польского этноса в бесплодных восстаниях, казни в Варшаве в 1830 году, казни 1863-1864 годов, массовые высылки рядовых польских повстанцев в глубины Сибири и на побережье Тихого океана ослабляли народ, обескровливали его, — и кто мы сегодня, потомки тех отважных и бескомпромиссных повстанцев 19-го рокового столетия, — утратившие вероисповедание не только в форме римского католицизма, но и вообще веру в Бога, утратившие язык — основы основ национального бытия, — что в нас осталось, кроме фамилий и, может быть, полонизированных имен, как у нас, кобелякско-кременчугских Маршалков-Язловецких-Яницких, выходцев со Сходних волынских кресов?

Но надо отметить и положительное во всем этом, имеющем быть поневоле: шампанское давным-давно выдохлось, несколько испарилось, и, в частности, я во многом утратил польскую идентичность, но и зрение мое очистилось естественным образом от наносного, свойственного оголтелому национализму, и если мои дальние предки без всякой жалости рубили на плахах козацкие головы, почитая себя в полном праве поступать так, то в себе самом ныне, даже в невольном воспоминании этого, я ничего не нахожу, кроме ужаса и содрогания от подобного.

И, думаю, в этом я прав.

Потому и размышляя сейчас о малороссийской Руине и о ее гетманах, я пытался отыскать в их действиях, в их устремлениях и в текущей политике то, чему можно было бы дать определение хотя бы зачаточного национального чувства, — ведь не случайно начальствующему дан Богом меч, как сказано апостолом Павлом, — и он должен бы понимать шире и глубже, чем рядовой запорожец или посполитый крестьянин, — куда и зачем двинется подвластный народ. Но тут-то и закавыка была: все гетманы оказались политически и духовно незрелыми, неготовыми не только к государственному строительству, но даже к адекватному сотрудничеству с Москвой и в результате оказались неверными. Я все-таки избегаю слова «предательство» — для меня оно весьма неприятно, и мне, скажу честно, хотелось бы найти для каждого из гетманов украинской Руины какие-то оправдания, но с оправданиями-то как раз и проблема. Ведь даже великий Богдан, решительно преломивший естественный, скажем так, ток

южнорусской общественной и политической жизни в составе Речи Посполитой, в конце жизни все-таки нарушил свои союзные обязательства с московскими воеводами, заключив сепаратный союз со шведами и трансильванцами, в то время как москвиты заключили перемирие с поляками и выступили против шведов. Понятны цели Богдана: он хотел совершенного разгрома польско-литовского государства, а Москва тому воспрепятствовала, по известным мотивам, — Речь Посполитая уже лежала в руинах, а усиление Швеции в данный момент казалось опасным Алексею Михайловичу, — вот здесь и был скорый конфликт новых союзников. К тому же примешалась сюда и глубокая обида Богдана: договор о перемирии с Речью Посполитой и совместной войне против шведов москвиты заключили, даже не поставив в известность Запорожское войско, не говоря уже о совместном решении и совете.

Тут стоило бы, вероятно, обозначить разницу в национальных характерах московских и малороссийских людей. Как я уже говорил, бывший подданный Речи Посполитой имел в себе генетически некоторый демократизм, назовем это так, в отсутствие более точного и подходящего термина, — присущий в целом всему строю польского образа жизни: король Речи Посполитой избирался, имея при этом весьма номинальную власть, сейм мог блокировать любой проект постановления всего одним несогласным голосом («не позволяю!», или *liberum veto*), козацкий гетман в Южной Руси, не говоря о кошевых Запорожских и полковниках городов, также избирался свободным волеизъявлением Черной рады, или старшины, и мог теоретически, а зачастую и практически, лишиться булавы по коллективному приговору. Русские подданные Речи Посполитой веками жили в подобных условиях, и первые же попытки польских магнатов закрепить как-то крестьян на земле, которую они обрабатывали на правах аренды, вместе с церковным проектом унии с Римом, вызвали восстания, мятежи и нестроения, со временем переросшие в полномасштабную религиозную войну.

Не то было в Московской Руси.

Я не буду здесь рассказывать о династии Рюриковичей, правивших Киевской и затем Московской Русью с незапамятных времен. Но пресечение потомков варяжского князя-конунга в Москве в конце 16 столетия породило невероятный по масштабам и опасностям кризис — Смуту, последствия которой хватило расхлебывать даже Алексею Михайловичу, не говоря о его отце Михаиле, которого избрал московским царем Земский собор в 1613 году. Конечно, московские соборы в корне отличались от польских сеймов. О том говорил и В.О. Ключевский, который определял их как «особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний». Такой собор собирался только в исключительных случаях — последний исторический собор (по крайней мере в полном составе) произошел как раз в 1653 году по вопросу о принятии Запорожского войска и Руси-Украины в состав Московского государства. Последним же по хронологии принято считать Земский собор 1684 года, на котором были утверждены статьи Вечного мира с Польшей. После этого соборы больше не собирались, а Петр I и вовсе отменил их и сдал в архив, как давно изжитый политический анахронизм: Россия стояла на пороге имперского абсолютизма. Впрочем, и во время своеобразного расцвета Земских соборов в 17 веке они имели разве что совещательное, номинативное значение, но никак не решающее. Последнее слово всегда оставалось за самодержцем. Ведь даже в этом термине — *самодержец* — прозрачно-понятно читается главный принцип государственного устройства России.

Польские же сеймы в мирное время проводились с завидной регулярностью: не реже одного раза в два года, при насущной нужде, как то война, заключение мира, коронация новоизбранного короля, важные переговоры и прочее, сейм собирался по мере необходимости и длился столько времени, сколько требовалось для выработки нужных решений.

Историческая судьба московских соборов и польских сеймов тоже весьма различна: первый Земский собор, известный нам, имел место только при царе Иване IV Грозном в 1549 году, первый же сейм польской шляхты — в 1180 году в Ленчице, а в 15 веке *важные сеймы* польской шляхты стали проводиться с завидным постоянством. После заключения Люблинской унии в 1569 году, когда с королевством Польским объединилось Великое княжество Литовское, роль сеймов в управлении государством весьма возросла. *«И наконец, — констатирует Википедия, — в 1589 году был принят принцип единогласия, который в корне изменил законодательную процедуру Речи Посполитой. Депутаты сейма приняли принцип liberum veto, то есть права любого депутата остановить обсуждение любого вопроса и приостановить сессию вообще. С этого момента закон мог вступить в силу только по единодушному принятию всеми представителями в сейме. Этот принцип стал одной из причин ослабления и последующей гибели Речи Посполитой».*

Говоря другими словами, своеобразная демократия в Речи Посполитой создавала лишь видимость, иллюзию некоей свободы. Каждый магнат имел личные военные

соединения, по численности зачастую превосходящие *кварцаное коронное войско*, подчиняющиеся только ему, потому неизбежны и довольно регулярны были самостоятельные *домовые войны* за обладание землями, угодьями и городами, и не только между воинственными панями, — во главе вооруженных пушками и самопалами многолюдных, конных и пеших оршаков зачастую стояли высокопреосвященные русские епископы, не без крови добывающие с бою богатые монастыри и церковные замки. Гродские книги Луцка и Каменца пестрят жалобами и судовыми исками против таких вот епископов, некоторые из которых спустя совсем недолгое время стали устроителями унии с Римом и, в терминологии текущего дня, даже «героями Украины», развернувшими темный русский народ к «просвещенному Западу». Вспору задаться вопросом, насколько эффективной была такая система государственного устройства в ту сложную пору, когда по Европе рыскали, так сказать, голодные волки несъятых и весьма воинственных держав вроде германских княжеств — на западе, Тевтонского ордена и Шведского королевства — на севере, Московского царства — на северо-востоке, Крыма и блистательной Порты — на юге? Какие шансы были у Речи Посполитой выстоять в таком окружении, если самую сердцевину ее подтачивали все эти проблемы и неурядицы? Падение, распад и исчезновение государства, совершенно неспособного преобразовать обветшавшие вечевые принципы, на которых некогда базировалась древняя Польша времен первых Пястов, королей Мешко и Болеслава Храброго, поглощение его воинственными соседями было всего лишь делом времени.

Как тут не вспомнить евангельское «ему должно расти, а мне умаляться» (Иоанн, 3-30), эту пророческую точность, приложимую к нашей истории? Пока древнерусские удельные княжества воевали друг с другом, Польша разрослась до невероятных размеров, — восточная граница с Москвой проходила под Тулой, — и это еще — в 17 веке! Да что там граница какая-то? — поляки вообще сидели в Кремле, а королевича Владислава московские бояре избрали на царский престол! Но когда Московское царство окрепло, Речь Посполитая весьма «умалилась», и границей стал Днепр, и тоже все в том же роковом 17 веке... А еще спустя столетие, или всего-то через четыре поколения, государство и вовсе исчезло...

В Москве же естественным образом исторически выстраивалась жесткая вертикаль власти — единодержавие, или же самодержавие, превратившееся к 18-му веку в абсолютизм, — это оказалось единственно верным путем выживания, укрепления и расширения во все стороны государства, вплоть до берега Тихого океана, куда московиты вышли уже при первом Романове, Михаиле.

В Речи Посполитой же в это время «разливалось море широко» шляхетской вольности, гордости былыми победами предков, нынешнего самоуправства и тотального эгоизма магнатов. Власть короля была номинативной, решения, даже принятые единогласно на сеймах, зачастую не выполнялись, — а чего только стоило право *рокоша*, т.е. *законного* вооруженного выступления против короля и правительства?... Да в Московской Руси и за меньшее слетали головы с плеч на Лобном месте перед Спасскими воротами Кремля и на Болотной площади за рекой! Рокош, как в Речи Посполитой, здесь просто был бы немислимым бунтом, подавляемым без всякой пощады. Петр I лично рубил головы мятежным стрельцам под кремлевскими стенами. Можно ли представить в подобной роли, в красной рубахе палача и с мясником топором кого-нибудь из королей Речи Посполитой? К примеру, допустим, того же Владислава IV, поклонника Рубенса и устроителя первой Варшавской оперы, постановщика первых балетов, коллекционера живописи и мецената многих искусств? Можно ли сравнивать московского царя и польского короля? Или сравнивать эти соседствующие, но так отличные друг от друга государства?

Все-таки можно и нужно.

Потому что исторически скоро Речь Посполитая распалась на части, по известным причинам, о которых я уже не раз говорил, и православные русины польской Украины присягнули Москве, спасаясь от воинственного католицизма, стали подданными державы иной формации, исповедовавшей не только православие, но и неизвестные, непривычные принципы государственного устройства, неведомые до времени новым подданным Алексея Михайловича. Запорожцы, тщательно оговаривавшие в 1654 году в Переяславле сохранение своих «вольностей», довольно быстро столкнулись с тотальным их нарушением прибывшими в Южную Русь — но опять-таки! — по настоятельной просьбе гетмана Брюховецкого — московскими воеводами. Воеводы прибыли сюда еще при Хмельницком, но «боярин Ивашка» смиренно умолял государя увеличить количество их и посадить чуть ли не в каждом городе Руси-Украины. Но воевод, людей государевых, излишне строго винить: они, как и их предки, родились, воспитывались и жили в совершенно другом мире «вертикального подчинения» и дисциплины, потому запорожцы расценивались ими как беспорядочная и самочинная орда, подверженная

изменчивым настроениями и некритичная к влияниям и пропаганде польских комиссаров вроде Беневского. Да и дела, измены гетманов украинской Руины только поддвигали масла в огонь. Ну вот как мог относиться к козакам главнокомандующий московского войска боярин Василий Шереметев, попавший в многолетний плен к крымчакам после измены Юраска Хмельницкого под Чудновым в 1660 году? Он и до битвы считал Юрия «гетманишкой, которому впору только гусей пасти», о боевых качествах козаков наказного гетмана Тимофея Цецюры еще до перехода Цецюры к полякам тоже был крайне низкого мнения. Поражение под Чудновым, даже несмотря на невиданную отвагу московских стрельцов и героизм, поражавшие закаленных польских жолнеров, было предрешено.

Брюховецкий, автор позорных, унижительных Московских статей, только что зазывавший московских воевод в украинные города, только что умолявший Алексея Михайловича налогами «упорядочить» традиционное малороссийское винокурение, вскоре призывает универсалом вырезать воевод и изгонять их из городов... Да что же тут за загадка такая?..

Думаю, Москва не раз пожалела, что приняла под свое покровительство польскую Украину, этот, образно говоря, чемодан без ручки, который тащить неудобно и тяжело, а бросить жалко. Какие выгоды она приобрела? Тринадцатилетнюю изнурительную войну, истощившую людские ресурсы и казну? Психологический горький опыт, что малороссиянам верить нельзя и полагаться на них весьма опасно и себе дороже выйдет? Как тут еще раз не помянуть товарищеский совет, данный московским посланникам в Варшаве после измены гетмана Брюховецкого:

«Надобно вашим государям послать войска — выжечь и перебить этих изменников-козаков, чтобы места их были пусты, потому что они вам и нам изменяют, и добра от них не будет!»

К сожалению, история умалчивает об имени автора этого пожелания. А я думаю, уж не сам ли многоопытный комиссар Станислав Казимир Беневский подал эту свежую идею москочитам? А что? — это вполне в его духе звучало.

О ментальной разнице характеров козаков и москочитов свидетельствует и антиохийский приметливый диакон Павел Алеппский, который в свите отца, патриарха Антиохийского Макария, проходил по выжженной после Хмельниччины земле Южной Руси-Украины. Его, восточного жителя, в частности, весьма удивляли великорусские рынки, где никто из торговцев ни при каких уговорах и торге не уступал в цене и полушки. Но дело тут не в жадности вовсе, но в человеческом принципе, суть которого совсем не мог разгадать и вместить диакон-бытописатель. На востоке все вовсе не так: отказ торговаться и сбивать продажную цену оскорбляет, как ни странно, самого продавца. Кремневые, непоколебимые характеры московских воинов отмечали и участники кровавой битвы под Чудновым в 1660 году: обреченное сражение, совершенно потерявшее смысл, не прекращалось многие дни; изрубленные, безрукие и безногие воины, истекающие кровью, продолжали сражаться и оказывать невероятное сопротивление, — заматеревшим в войнах жолнерам казалось, что они попали в ад на земле... Русские военные историки середины 19-го века отмечали: сейчас таких солдат уже нет.

Потому в этом контексте понятной становится взаимная неприязнь малороссов и великороссов: прежде, встречаясь друг с другом в сражениях, как во время Смуты или как во время Смоленской войны и в других вооруженных конфликтах, им некогда было познакомиться и друг друга лучше узнать, теперь же малороссы столкнулись в своих собственных полковых городах с суровостью и бескомпромиссностью воевод, с их безапелляционностью, великодержавной грубостью, с их насмешками над южнорусскими бытовыми особенностями, над «хохлацким» языком, а москочиты — в свою очередь — познали ненадежность козаков в совместных боевых операциях, их сугубую неорганизованность, слабую военную выучку и — главное — политическую неверность и шатость. С другой стороны, если бы козаки исповедовали по жизни беспрекословную верность своим гетманам и неукоснительное следование приказам, что было присуще московским пришельцам, то Южная Русь уже через несколько лет после смерти Богдана снова оказалась бы в составе Речи Посполитой, — а так какая-то, весьма числом незначительная, часть козаков следовала в фарватере пропольской или же протурецкой политики гетманов Руины, но основная часть все-таки «волила под царя православного», — об этом свидетельствуют единогласно все историки, как русские, так и иностранные. Судорожные, спорадические порывы всех гетманов Руины гасились инертной человеческой массой народа, ни при каких обстоятельствах не желавших возвращения в Речь Посполитую, — и гетманы, с легкостью переступавшие через Переяславские договоренности, ничего не могли реально сделать с народом. Потому, вероятно, без сожаления отдавали единокровных своих посполитых татарам, казнили на площадях городов, уничтожали огнем многолюдные села, разгоняли по

степям переселенческие караваны, утюжили, уничтожали эту несчастную землю, засевая человеческими костями... Таковой была роковая судьба Руси-Украины, и с этим ничего нельзя было поделать.

Возвращаясь из Исторички, уже на подходе к борщаговской общаге, я все пытался понять, что же могло тех гетманов остановить или же образумить? Право? Закон? Благодать? Остановить от преступлений против своего же народа, русинов, благо которых якобы подразумевалось под всеми этими геополитическими изменениями? Народ вроде бы уводился из-под польского ярма и религиозных притеснений, но в результате к чему народ приходил? Из сыновей и внуков сотников, по сути, всенародного войска Богдана нарождалась своя, отечественного разлива, сине-жупанная аристократия, в начале 18-го столетия уже требовавшая от российских императоров даровать ей дворянство и закрепить захваченные дедами в собственность во время войн и бедлама Руины села, городки, хутора и грунты. Но я все-таки размышлял не о том, что имело место в наступающем 18 веке, и все еще не мог отрешиться от горького своего изумления гетманами украинской Руины. Что могло хотя бы приостановить эту бесконечную, безжалостную трагу народа — от их начальственной воли, не ведавшей целей, блуждавшей в трех умозрительных соснах между Польшей, Россией и Турцией? Образование? Но Юрий Хмельницкий закончил Киево-Могилянскую академию, кроме того, с детских лет прошел отцовскую выучку, был свидетелем знаменитых сражений, славных побед и горестных поражений Богдана. Закон и главенство права? Но в этом взвихренном мире, сдвинувшемся с привычной геополитической оси, закона как такового не было вовсе. Речь Посполитая осталась в ненавидимом прошлом, новые московские порядки пробуксовывали и вызывали зачастую понятный протест. Старши на писала в Москву доносы друг на друга, без устали льстила царям, выпрашивала имения и высокие должности и тут же, не моргнув глазом, предавала новых хозяев, как только что старых, — причем без всяких угрызений совести и моральных мучений. Я поражался мягкости царской администрации, когда изменники вроде полковника Цецюры снова попадали в руки Москвы, — ведь их отнюдь не казнили, как того стоило бы ожидать, а отправляли подальше от Руси-Украины — служить и нести привычные им войсковые обязанности. Про Петра Дорошенка я уже говорил и повторяться не стану. Так что могло образумить этих злосчастных гетманов, что могло остановить эти безумные страшные казни, что могло помешать преступлениям Дорошенка, расплачивавшегося с татарами и турками живыми людьми своего рода и племени, как разменной, мелкой монетой?

«...Дорошенко мимо разоренной и залитой кровью Умани направился к султанскому стану, находившемуся где-то недалеко от Лодыжина. Когда гетман въезжал в турецкий обоз, ему загородила путь густая толпа украинских невольников, кланявшихся в землю и моливших о заступлении перед султаном...»

Но разве помог Дорошенко своим соплеменникам? Замолвил ли слово перед султаном?

«5 сентября гетман представился падишаху, получил бархатный колпак, отороченный собольим мехом, золотую булаву, коня с богатым убором и халат — обычный дар султанского благоволения подручникам», — рассказывает Н. Костомаров в «Руине».

Что за дело было Дорошенку до «густой толпы украинских невольников», если речь шла о вожденных «бархатном колпаке» и «золотой булаве»!..

Конечно, я чего-то не понимаю. Согласен, что напрочь лишен государственного, стратегического мышления и что союз с султаном, который заключил Дорошенко, сулил великое будущее малороссийскому славянскому этносу, независимость, европейские ценности и всеобщее благосостояние. Вопросы вероисповедания вообще не рассматривались в этом контексте, ибо были, по всей видимости, совсем для гетмана неважны.

Но вовсе не так к этому отнесся знаменитый запорожский кошевой Иван Сирко, когда осенью 1675 года в совместной операции с донцами атамана Фрола Минаева и стрельцами под командованием царского окольного Ивана Леонтьева они совершили рейд по крымским городам и аулам и освободили семь тысяч русских рабов. Но вот незадача какая: три тысячи человек приняли решение остаться в Крыму... Привыкли, женились, да и климат здесь получше, чем в украинских степях. Кошевой уважил их вольный выбор и отпустил восвояси. Это были уже дети и внуки русских полонянников, так называемые «тумы», родившиеся в Крыму, принявшие магометанство, ничего не ведавшие о своей исторической родине. Но решение их отпустить вовсе не было таким уж простым для Ивана Сирка. Конечно, невозможно восстановить гамму внутренних сомнений и, вполне вероятно, даже терзаний славного атамана, но вскоре следом за «тумами» Сирко отправил молодых козаков с приказом догнать и всех до единого изрубить. Затем подъехал к месту расправы и произнес над

бездыханными телами:

«Простите нас, братья, а сами спите тут до Страшного суда Господня, вместо того чтобы размножаться вам в Крыму между бусурманами на наши христианские молодецкие головы и на свою вечную без прощения погибель».

В этих удивительных, глубоких словах, сказанных знаменитым в веках кошевым атаманом Запорожской Сечи, чью могилу и до сей поры сохранили потомки на берегах Днепра возле села Капулилки, можно если не понять во всей полноте, но хотя бы приблизиться к трагической тайне, роковой противоречивости малороссийской исторической судьбы. Здесь, если хотите, можно расслышать и особый, специфически козацкий символ вероисповедания, — да, страшный символ, да, невероятный по сегодняшней нашей теплохладности и расслабленности, когда Крым давно стал для нас какой-то «всесоюзной здравницей», где мы бездумно, не помышляя о том, что здесь было когда-то, да хотя бы во время гражданской войны 20-го века, просто греемся на ласковом солнышке да потягиваем вино из Массандры. А впору отдыхающим почитать хотя бы «Солнце мертвых» Ивана Шмелева... Не говоря о летописных источниках и научных исследованиях. А зачем?.. Будем же отдыхать!

Впрочем, я снова отвлекся.

А вот как сами старшины расценивали своих гетманов. Генеральный обозный Петр Забила, основатель большого и разветвленного малороссийского рода — его далекой правнучкой была советская украинская писательница Наталья Забила, — так говорил московскому стольнику Танееву, делая, по сути, донос на своего патрона, гетмана Демьяна Многогрешного:

«Вся беда от гетманов, а не от старшин. Только им, изменникам, Господь Бог не терпит за царскую хлеб-соль: все один за другим пропадают; жаль только, что невинных людей с собою губят! Если этого злохищника Господь Бог предаст в руки наши, пусть бы великий государь пожаловал нас: велел быть у нас гетманом боярину из великороссийских людей; тогда у нас постоянно будет, а пока гетман будет у нас из малороссийских людей, никогда добра не будет».

Вряд ли стоит здесь усматривать глубокий и провидческий дар генерального обозного Забилы, прожившего целых 109 лет и пережившего почти всех своих прославленных современников, — разгадка, как водится, простая весьма: все — плохие, я же — хороший, видите мою верность Москве? Так сделайте меня гетманом! Такие же мечты были присущи и полковникам, и Тимофею Цецуре, и Якиму Сомку, и Василию Золотаренку, и еще многим искателям гетманской булавы. Но не всем повезло.

Что же могло остановить этих людей от соскальзывания в трясину предательства, в бессмысленные казни, в террор против своего же народа, в вековое позорище в глазах отдаленных потомков, которое не искупить этими сегодняшними памятными марками Почты Украины? Причем претензии к этим гетманам можно предъявить с какой угодно стороны: что справа, что слева — внутри сегодняшней независимой Украины и со стороны внешней — что от Польши, что от России. Всех предали, всех пытались обмануть, а обманули — по сути — сами себя. Разве не гетманы Руины копали изо всех сил могилу своей призрачной «самостийности»? Разве не Брюховецкий униженно упрасивал Алексея Михайловича увеличить количество присланных воевод в Гетманщине? А Забила прямо высказывался о назначении гетмана из московских бояр. Вероятно, и такой вопрос рассматривался в далекой Москве, — и как это было знакомо до тошноты уже в советскую пору — «по многочисленным просьбам трудящихся» можно было на любом государственном уровне делать все, что душа пожелает: от массовых приговоров к высшей мере наказания «бешеных псов империализма» до повышения цен на товары первой необходимости...

Что могло их остановить или же образумить? Ничто, — кроме «нравственного закона», о котором говорил Кант: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Ведь не на что было более уповать — ни на образование, ни на военную доблесть, ни на происхождение, ни на своеобразное русское обрядоверие, отнюдь не сопряженное с пониманием, а тем более соблюдением заповедей Божиих, — каждый из гетманов готовился жить вечно и вовсе не умирать, и для того набивалась кубышка золотыми червонцами и наталкивались сундуки сибирскими соболями. А для пушечного результата и нужна была верховная власть над народом и войсковая — над козаками. Ради нее не грех было и прогнуться пониже перед московским царем или бархатный турецкий колпак на голову нахлобучить. А затем — исходя из необходимости — предать и искать новую «кормящую руку»... Вот и вся простецкая логика незадачливых гетманов. Да: только нравственный закон мог если и не остановить падение в пропасть каждого из этих людей, то хотя бы замедлить это падение или на микрон изменить

вектор движения чаемого квазигосударства, — но такое предположение, судя по всему, было попросту невероятным. Здесь также не приходится говорить о каком-либо государственном мышлении гетманов. Другими словами — чего они вообще хотели от новых политических реалий, в которых оказалась Русь-Украина? Каким они вообще видели будущее Гетманщины в контексте Московского царства? Какие цели, кроме самых понятных и лежащих под ногами вроде денег, мехов и грунтов, они ставили перед собой?

Да, нам известен примечательный проект Выговского, составленный при непосредственном участии Станислава Бенековского, о выделении русских земель в автономное Русское княжество в составе Речи Посполитой, — но верховные пань в сейме возмутились и заупрямились... И это при том, что Южная Русь была уже потеряна Польшей, — но «понты» тут, как говорится, были для гонорового нашего панства «дороже денег». Тем же путем, и тоже не без влияния Бенековского, в государственном строительстве, если можно применить к этим действиям такой сложный термин, пытался отправиться и Юрий Хмельницкий, но время «Русского княжества» уже прошло безвозвратно. Да и было ли таковое вообще?.. Возможно, дальше всех в своих политических (точнее сказать, полемических) требованиях пошел правобережный гетман Петр Дорошенко, будущий хлыновский воевода и барин в подмосковном имении Ярополче. В 1670 году в переговорах с верховными панями он выдвинул совершенно невероятные требования, исполнение которых гарантировало бы его будущую лояльность: свобода православной веры и совершенное уничтожение унии; во всех мечах короны и Великого княжества Литовского ни шляхте, ни мещанам православная вера не должна быть препятствием к получению должностей; Киевская академия должна иметь такие же права, какие имеет Краковская, и в Киеве не допускается заводить иезуитских училищ, зато свободно допускается заводить повсюду школы и типографии; объявление полной амнистии участникам бывших междоусобий и уничтожение всех документов, составленных во вред кому бы то ни было за участие в восстании против Польши вместе с козаками; отмена в Руси-Украине сборов и каких бы то ни было налогов; коронного войска отнюдь не размещать на козацких землях, и если оно приглашается на Русь-Украину по требованию гетмана для помощи против неприятеля, то должно находиться под его началом...

Справедливо, что все эти требования Дорошенка были сочтены сущим бредом, и невозможно было бы даже представить себе, чтобы на сейме все это обсуждалось бы на полном серьезе властью предрешающими. Я вообще предполагаю, что Дорошенко просто так специфически подшутил над панями. *«Козацкие требования от Польши равнялись требованию духовного самоубийства. Угождая козакам, Польша должна была отречься от своей исторической миссии, которую создавали за собою поляки как самое высокое призвание, миссии — дать торжество западному католичествому над восточным православием, считаемым, по учению западной церкви, ересью, которую уничтожить есть богоугодное дело», —* отмечает по этому поводу Николай Костомаров.

Надобно еще раз отметить, что накануне этих всех благих пожеланий, в 1669 году, Дорошенко уже принес присягу султану и стал подданным Османской империи, так что мог от Варшавы потребовать и луну с неба достать. Но и Мехмеда IV сумел он обвести вокруг пальца:

«Если верить тому списку условий, который был доставлен в Москву («Акты Южной и Западной России», VIII, №73), Гетманщина сохраняла за собой не только полную автономию, но и свободу от всяких податей и взносов в султанскую казну, обязываясь только поставлять козацкое войско по требованию султана» (Википедия).

Так что отказ от налогов и сборов был прямо-таки главной чертой его «государственного строительства».

Чем все это закончилось, известно.

Глава 21. «ГЕТМАН-ПОПОВИЧ» ИВАН САМОЙЛОВИЧ

При гетмане Иване Самойловиче, по всей видимости, малороссийская Руина и общий разброд начали истощаться, сходиться на нет. Да и сама длительность нахождения на высокой должности «гетмана-поповича», как его прозывали козаки с легкой руки Петра Дорошенка, свидетельствовала о том, что ситуация постепенно выправляется. 15 лет, плохо ли, хорошо ли, но Самойлович правил южнорусским беспокойным народом, преодолевая различные трудности, умело лавируя между разнонаправленными политическими и идеологическими потоками той сложной эпохи. С большими трудами и далеко не сразу он устранил Петра Дорошенка, был избран гетманом и на Правобережье, — подобное избрание долгие годы было просто немыслимым и невозможным. Понятно, что эту роль примеривал на себя сам Дорошенко и, вполне вероятно, справился бы с ней гораздо успешнее, но тут он просто переиграл себя

самого. Вот как рассказывает о том Николай Костомаров:

«Серапион заметил ему, что Самойлович уже избран на раде козаками гетманом и утвержден царем. Дорошенко сказал: «Пусть Самойлович не хвалится, чтоб он был такой козак, как я — от прадегов козак! Разве он видал запорожские речки и море? Где он бывал? К чему присмотрелся? С какими государями о войне и о мире добрым обычаем переговаривал? Сумеет ли он что нужно для царского величества начать? Пусть укажет: коли все знает и может доброе дело вести, я ему уступлю и низко поклонюсь за то, что снимет с меня тягосты гетманского чина. Но знает то Бог и люди: не давний он козак. Разве переходил он все войсковые чины, от малого до большого? Я так многожды был полковником и все старшинские чины прошел! Пусть царское величество сам рассудит, что это будет, когда под царскою рукою будет состоять разом нас два гетмана. Я его не люблю, и он меня не любит, — и станет у нас делаться в Украине то же, что делается в Польше, где два гетмана и вечно между собою ссорятся. Ты говоришь: Самойлович избран вольными голосами; знаем мы, какое это вольное избрание: иной бы не хотел подать за него голос, да принужден был подавать, — оттого что за него держал руку боярин! <...> Я желаю за веру христианскую и за целостность державы его царского величества в поганских землях умирать, а он пусть себе спокойно жительствоует без хлопот. Всегда я желал — и теперь желаю — добра его царскому величеству и земле московской, только одной стороною Украины нельзя нам от турок и татар оборониться; затем-то мы и принуждены были поддаться турецкому государю: если я это сделал, то сделал для веры христианской...»

Конечно, новоизбранный гетман, как плоть от плоти Руины, нес на себе все родовые изъязны эпохи: когда Брюховецкий, «гетман-боярин», перешел в турецкое подданство и отложился от Москвы, Самойлович был активным сторонником Брюховецкого, сражался под его хоругвями, выказывая по видимости большую вражду к москвитам. После падения Брюховецкого и удаления Петра Дорошенка на правый берег Днепра, Самойлович «пристал» к Демьяну Многогрешному, которого вместо себя оставил на время местоблюстителем Левобережья Дорошенко, — но ситуация сложилась так, что Дорошенко уже не вернулся сюда, и дело его, — с упорными военными операциями против московских ратных людей, немалыми жертвами и трудами выстроенное на Левобережье, — естественным образом развалилось. Вскоре Многогрешный осмотрелся, поменял мировоззрение и присягнул на верность царю, получил прощение из Москвы, затем утвердился на кратком своем, длиною в три года, гетманстве, лишившись которого «за слова», приговорен был к смертной казни и едва не погиб в Москве под топором палача. Такая вот переменчивая эпоха... Вместе с Многогрешным принес покаяние за мнимую измену и Иван Самойлович и тоже был великодушно прощен. После отстранения Многогрешного, после следствия, суда и ссылки его по приговору в Бурятию, Самойловича выбрали гетманом Левобережья. Историки подозревают, что к падению Многогрешного приложил руку и сам будущий гетман. Как, впрочем, через 15 лет и он попал в такой же ситуационный капкан, устроенный уже Иваном Мазепой, наследником гетманской должности и любимцем Петра I. К слову, есть какой-то сложный символ и в том, что Самойловича избрали гетманом в самый день рождения царевича Петра, будущего грозного всероссийского императора, в бытность которого произойдет судьбоносная и грандиозная измена Мазепы — предсмертная судорога малороссейской Руины, уже последняя в ряду этой весьма печальной хронологии, после чего Гетманщина будет намертво впечатана в жесткую кристаллическую решетку имперского строительства и бытия.

Надо сказать, что судьба Самойловича была все-таки необычной. В отличие от других вождей Запорожского войска и Руси-Украины, он происходил из духовного сословия, был сыном священника с Киевщины, получившим прекрасное образование в Киево-Могилянской академии. Он стал единственным «гражданским» гетманом, чем его весьма справедливо попрекал Дорошенко. Но так уж затейливо сложилась судьба Самойловича: начав с писарской должности — при могучей протекции «сильных века сего» и при удачном стечении обстоятельств — он к 1673 году добрался до высшего войскового поста в иерархии Гетманщины. Оказал множество услуг московским царям, участвовал во всех битвах и войнах, которыми ознаменовалась Руина тех лет, в 1676 году взял в плен Петра Дорошенка, самого неумного и неукротимого противника Московской Руси — сам Дорошенко не без оснований опасался разделить судьбу Сомка и Золотаренка, но обошлось: Самойлович не мог просто так казнить столь знатного пленника-конкурента без санкции из Москвы, но и отпустил он от себя Дорошенка, скрепя сердце, много противясь и возражая приказу. Он вел изнурительные, часто проигрышные битвы как с турками, так и с войсками Юрия Хмельницкого, своего однокашника по Могилянке. В 1679 году ради чаемого замирения на спорных территориях в Москве решено было переселить с правого днепровского берега на Левобережье 20000 семей посполитых, — эта грандиозная операция получила наименование

«великого сгона», после чего Правобережье окончательно запустело. «Великий сгон» осуществлял и обеспечивал Иван Самойлович.

Трудно, конечно же, адекватно оценить необходимость и уместность этого «великого переселения», весьма умножившего народ Слободской Украины, — за Белгородской засечной чертой центральное правительство наделяло переселенцев значительными налоговыми и другими льготами, и из-за этого пустела и «сегобочная Украина», а «тогочная» обезлюдела вовсе. Но при этом переселенцы, или *прочане*, как их называли в то время, выводились из-под гетманской власти, что создавало для Самойловича известные затруднения. Заднепровье же на долгие десятилетия превратилось в пустыню, о чем Самойлович как о хорошо выполненном поручении извещал Москву. Самойло Величко, оставивший потомкам интереснейшую летопись, одно из крайне редких письменных свидетельств о той воистину безгласной, некнижной поре, в начале 18-го века проходил через этот край, находясь в козацком отряде, отправленном Петром I на содействие полякам Августа II Сильного во время Северной войны.

«Видел я, — пишет он, — многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутые к земле, покрытые плесенью, обросшие бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутые впусе привольные украино-малороссийские поля, раскидистые долины, прекрасные роци и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом, тростником и сорною травой; видел на разных местах и множество костей человеческих, которым было покровом одно небо, видел и спрашивал в уме своем: кто были эти? Вот она — эта Украина, которую поляки нарекли раем света польского, эта Украина, которая перед войнами Хмельницкого была второю обетованною землею, прекрасная, всякими благами изобиловавшая наша отчизна, Украина малороссийская, обращенная Богом в пустыню, лишенная безвестно своих прежних обитателей, предков наших».

Николай Костомаров в «Руине» приводит свидетельство о подобном же путешествии другого современника: великорусский священник Лукьянов, *«проходивши через Украину в то время, когда уже северную часть ее начал заселять полковник Палий, рассказывает, что когда он выступил из Павлочи, последнего жилого места, недавно возникшего Палиева владения, то в течение пути до Немирова пришлось ему идти совершенно пустынею: где прежде были красивые города и большие села, там теперь нельзя было встретить ни человеческого жилья, ни человеческого лица; только дикие козы, волки, лоси, медведи скитались по краю, в котором порою виднелись остатки былого человеческого доволства, одичалые сады с яблонями, сливами, грушами, волоскими орехами. Земля эта показалась такова путешественнику, что он назвал ее золотою, но татары не давали там никому поселиться. Город Немиров стоял один посреди пустыни; он принадлежал полякам и недавно перед тем был разорен татарами; жителей в нем было мало, и те — преимущественно евреи. Там жить было и неудобно, и дорого. По ту сторону реки Буга опять шла пустыня, но уже не ровная, а холмистая, на четыре дня пути вплоть до города Сороки на молдавской границе...»*

Здесь не место подробно описывать все дела гетмана Самойловича до его низложения в 1687 году. Единое, что можно вспомнить и применить к Самойловичу, так это слова Федора Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Впрочем, были ли вообще в истории Южной Руси-Украины и в целом России не роковые и не судьбоносные времена? Самойлович довольно достойно нес «тяготы и зной» многообразных государственных дел, активно участвовал во внутренней и внешней политике государства Российского, с учетом ошибок и грехов предшествующих ему гетманов вел как свои дела, так и общественные, что и позволило ему пробыть на этом высоком посту столь длительный срок. Осмотрительность гетмана отмечает и Костомаров:

«Эти слова показывали, какое взаимное недоверие господствовало в малороссийском обществе: один другого хотел подвести, один другого остерегался. Самойлович, наученный опытами прежних лет, осматривался на все стороны, чтоб его не провели и не вооружили против него в Москве правительством».

«Гетман-попович» заручился добрым расположением влиятельного князя-боярина и военачальника Григория Ромодановского, с которым провел ряд совместных войсковых операций как против правобережного властителя Дорошенка, так и против татар, поляков и турок, но в конце его гетманства дружба и связь с Ромодановским сыграла в судьбе Самойловича роковую роль в его отрешении от гетманской власти. Фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын с Григорием Ромодановским враждовал, косвенно недолюбливал потому и гетмана Самойловича, как ставленника и особо приближенного человека Ромодановского, хотя до поры искусно свою неприязнь скрывал. Когда затея большого похода на Крым летом 1687 года провалилась по несчастливому стечению обстоятельств, сам ли Голицын умыслил

виновника отыскать или заботливые наушники из малороссийской старшины ему то подсказали, но Самойловича отстранили, арестовали, обвинили, как водится, в измене, — в мнимую или настоящую измену вполне легко могли поверить начальные люди в Москве: ведь все гетманы, предворявшие Самойловича, рано или поздно предавали Москву, переметывались в стан врагов... А чем — в глазах власть предержащих — был лучше «гетман-попович»? Рано ли, поздно ли — рассуждали бояре, причастные к малороссийским делам, — возобладает типичное украинское двурушничество, как и всегда, и гетман изменит, предаст. Роковая, генетическая неизбежность — оставалось только дожидаться времени X и — по возможности — предварить... Нужно ли мне говорить о том, что порочным путем после Самойловича пошел и Мазепа, то есть, говоря коротко, предательство и измена не стали даже, а попросту были роковым правилом малороссийского исторического бытия, каким-то совершенно необъяснимым проклятьем и обреченностью...

Предыстория же тянулась довольно долго: к 1686 году враждовавшие весь 17 век государства — Россия и Речь Посполитая — наконец-то созрели для заключения так называемого «Вечного мира». Понятно, что «вечным» мир этот так и не стал, и довольно скоро — в 1699 году — химерное сооружение это развалилось. Но некие общие цели все-таки ставились, как то союз европейских государств, состоявший из Священной Римской империи, Венецианской республики и Речи Посполитой, для военного противостояния надоевшей всем Османской империи. Польские дипломаты приложили много усилий для того, чтобы вовлечь в этот союз и Россию, но прежде того требовалось утрясти все спорные межгосударственные вопросы, накопившиеся за время этой бесконечной войны за обладание Малой Россией. «Гетман-попович» был рьяным противником конечного замирения с Польшей и неоднократно изо всех сил пытался убедить московских царей в том, что поляки снова обманут, обведут вокруг пальца и прочее, — да это и понятно: ненависть к бывшим согражданам по Речи Посполитой к этому времени на Руси-Украине стала практически inferнальной.

Уместно здесь снова процитировать «Руину» Николая Костомарова, проясняющую не только истоки, но и насущные причины энергичного противодействия как Самойловича, так и части малороссийской старшины, — хотя, как по мне, Костомаров все же приписывает не присущую Самойловичу глубину государственного размышления о будущности Малой Руси:

«К следующему, новому 1686 году возбудился опять вопрос, заключать ли мир с Польшею и союз с нею против неверных. Как ни старались малороссияне не допустить Москву до примирения с поляками, но виды московской политики не сходились с заветными желаниями малороссиян, тем более, что если бы возобновилась война с Польшею и велась даже с полным успехом для русских, то и тогда выиграли бы от нее более малороссияне, чем Московское государство: освобожденная совершенно от польского владычества, южная Русь, хотя и признала бы над собою власть единовластного московского государя, но всеми силами старалась бы удержать свою национальную самобытность, а по присоединении к ней прочих русских земель, оставшихся у Польши, настолько была бы велика, что Москва нашла бы неудобным противиться ее стремлениям. Но Москва всегда хотела быть централизованною державою, а не федеративною, не такою державою, в которой бы связывалось только единством верховной власти несколько национальностей; такова была, так сказать, исконная традиция Московского государства, и с самого присоединения Малороссии московские государственные люди домогались теснейшего слития присоединенного края, покровительствуя тем малороссиянам, которые, из угодливости властям, отзывались с такими видами. Москва со времени Андрусовского перемирия колебалась, когда являлся вопрос об окончательном мире с Польшею. Противодействия со стороны малороссиян долго мешали успеху в Москве польских предложений, которые стали чаще после неудач, испытанных Польшею в борьбе с Турциею. Теперь могучий любимец царевны Софии Голицын совершенно склонился к мысли о вечном мире с Польшею и о героическом союзе христианства против мусульманства».

Костомаров продолжает:

«Понятно, что малороссияне не могли быть довольны таким исходом многолетней кровавой борьбы, возникшей за свободу их родины. Весть об окончательном соглашении с польскими послами о составлении мирного договора привез к Самойловичу все тот же Леонтий Романович Неплюев. С грустью выслушал гетман царскую грамоту и не утерпел, чтоб не высказать того, что у него было на душе. «Вот увидите, — сказал он, — не всяк из ваших московских чинов будет вас благодарить за то, что поддались польским хитростям и по наущению ляхов хотите мир разорвать с Турциею и Крымом и начать с бусурманами войну!» Смелее выразался гетман по отъезде Неплюева в кругу своих старшин: «Купила Москва себе лиха за свои гроши, данные ляхам. Осъ увидите, что они в том миру, с ляхами учиненном, себе зищут и что против хана

учинят. Жалели малой гачи татарам давать, будут большую казну им давать, сколько татары похотят!» Так говорил гетман, не сообразивши, что слушавшие речи его записывали их втайне, чтоб потом употребить их ко вреду ему. Он не дал повеления молобствовать в церквах по случаю мира...»

И это тоже было замечено и сообщено куда надо.

Итак, Вечный мир с Речью был все же подписан, и этому не смог помешать никакой Самойлович, собственным противодействием лишь вооруживший против себя как московских властителей и фаворитов вроде Василия Голицына, так и неосмотрительно указавший тайные пути для дальнейшей работы против себя таких талантливых царедворцев, как генеральный есаул Иван Мазепа, будущий гетман и будущий же знаменитый изменник. Удивления достойно то, что поляки и королевские дипломаты при заключении этого «Вечного мира» превзошли сами себя: условия «Вечного» мира вступали в силу сразу же после подписания договора, и российская сторона по этому договору дважды — в 1687 и в 1689 годах — отправляла к Перекопу свои громадные, неповоротливые армии. Оба крымских похода закончились неудачами и огромными человеческими потерями, — о масштабах первого похода, в результате которого Самойлович потерял гетманство, я еще буду говорить. Сейм же Речи Посполитой, как ни странно и ни дико это звучит, ратифицировал сей пресловутый «Вечный мир» только... в 1764 году, то есть спустя 70 лет!.. До первого раздела Польши во время этой запоздалой ратификации оставалось всего восемь лет, а еще через двадцать Речь Посполитая и вовсе перестала существовать! Как тут не изумиться невероятной «последовательности» и удивительной «стойкости» польского национального характера?!.. Стоя на краю пропасти, ответственные государственные люди в Варшаве все не могли решить вопрос о ратификации древнего договора, сила и смысл которого давным-давно испарилась... Семьдесят лет!.. Это примерно, как если бы СССР признал и ратифицировал наконец-то условия Брестского мира 1918 года — в 1988 «горбачевском» году — и передал ФРГ все, что «законно» по этому договору было аннексировано кайзеровской Германией еще при славном «дедушке» Ленине!..

Весной 1687 года вооруженные соединения России, предназначенные для окончательного решения вопроса, «чей же все-таки Крым», представляли такую картину: 112000 человек, из которых 9100 человек сотенной службы, 17300 казаков и нижней конницы, 10500 московских стрельцов, 26000 кавалерии «нового строя» и 49200 солдат. Кроме того, с армией должны были выступить в поход около 50000 малороссийских козаков Самойловича. Перевозить военные запасы и продовольствие снаряжены были многочисленные обозы, насчитывавшие не менее 100-120 тысяч телег и возов и более 200 тысяч лошадей... Шотландец Патрик Гордон, получивший после этого похода генеральское звание, в своих записках сообщает, что обоз великороссийского войска состоял из 20000 повозок и простирался в ширину на 557, а в длину на 1000 сажен. Правую сторону прикрывал генерал Аггей Шепелев; левую — сам Гордон; в центре находилось пять стрелецких полков... Конечно, такая армада должна была Крым просто утопить в Черном море! Персидская армия царя Ксеркса в 490 году до нашей эры, двинувшаяся утожить непокорные греческие полисы-города, насчитывала меньше народу. Но не все так просто обстояло с этим роковым полуостровом, и потребовался еще целый век, прежде чем разбойничье турецко-татарское гнездо было окончательно разорено тщанием Екатерины II и князя Г.А. Потемкина в 1783 году. Как зимой 1941 года Москву, помимо беспрецедентного героизма защитников, спас русский бог в виде трескучих невероятных морозов, так и Крымское ханство спасло засушливое жаркое лето: 200000 лошадей и почти столько же военных людей надо ведь было чем-то кормить и поить... Московские стратеги, планировавшие эту кампанию, предполагали, что воду и конский корм можно будет брать в многочисленных речках и на лугах по мере продвижения армии. Но мало того, что Дикое поле накрыли невероятные жары и беспримерная засуха, иссушившая как траву, так и речки с ручьями, так еще и татары засыпали и частью отравили все колодцы на пути движения войск. Начались пыльные бури, но самое страшное было еще впереди: татары подожгли степь, и к невыносимому летнему жару добавился еще и огонь... Вот как живописует эту тяжелую ситуацию Костомаров:

«Нестерпим был зной; во все это лето с весны не было ни разу дождя, по ночам не падали росы, травы посохли, духота и пыль томили ратных людей, у многих разболелись глаза, и более всех терпел гетман, уже прежде страдавший глазною болезнью; он ворчал, говоря окружавшим: «Нерассудная эта война московская совсем лишила меня здоровья! Чертовскую тягость взяла на себя Москва! Восславились по всему свету, что повоюют Крымское царство, а они себя-то не умеют поборонить. Сидеть бы им у себя дома при нашем промысле да своих рубежей сторожить».

Незадолго перед тем в Молдавии тактику «выжженной земли» татары применили против войска Речи Посполитой. Она показала себя весьма эффективной: поляки

отступили ни с чем. Самойлович при известии о неудаче поляков только порадовался. Не ведал он о том, что подобная ситуация станет для него роковой. Теперь поджог сохлой степной травы татары опробовали на Диком поле против армии князя Голицына. Но гордый боярин не хотел так просто сдаваться:

«Двинулись по выжженной степи. Ратные чуть могли тащиться. Пепельная пыль, взбиваемая ветром и движением войска, разъедала им глаза. Заболевали и люди, и лошади. Но не встречали они ни гонца своего, ни татар; встречали только диких свиней, которые, спасаясь от степного пожара, металась из стороны в сторону».

Голицын в конце концов понял, что до Крыма ему в таких условиях не дойти, но и поворачивать обратно было ему как-то весьма не с руки, требовалось внятное и достоверное обоснование отступления. Иначе как было ответить держать перед малолетними государями и царевной Софьей? Тебе дали прорву денег, снарядили столь многочисленное войско — и ты ничего не достиг?..

По итогам этого злосчастного похода русские войска потеряли погибшими от жажды, голода и болезней, а также и ранеными, ни много ни мало 20000 человек! И это при всем том, что никаких боестолкновений с татарами практически не случилось, о чем сообщал царям сам Василий Голицын:

«Хан с татары на себя... ратных людей наступления пришли в боязнь и ужас, и отложа обыкшую свою дерзость, нигде сам не явился, и юртов его татаровья... нигде не показались и бою не дали...»

Говоря другими словами, войско просто брело по степи неведь куда, теряя ратников и лошадей. Затем повернуло обратно и снова брело по степи... Такой вот бесславный крымский поход. Подобным ему стал и второй крымский поход; вышли, шли, никуда не дошли, повернули назад, снова теряя людей, лошадей, амуницию, пушки...

Победная реляция Голицына, если таковой ее вообще можно назвать, относилась не к первому походу на Крым, жертвой которого стал Иван Самойлович, а ко второму, 1689 года, когда вместо отрешенного от власти «поповича» малороссийских козаков возглавил новоизбранный гетман Мазепа. И снова — необъяснимые, непростительные потери... В 1689 году против крымцев приволокли не без дополнительного труда из Москвы и 70 пушек, но и тут ничего опять не достиг князь Голицын: 50000 человек из общего количества в 112000 были потеряны убитыми и ранеными, а все пушки — до единой — брошены под Перекопом за ненадобностью... И это при том, что кроме мелких стычек с татарами ничего существенного и не было вовсе. Но уже Мазепу, как перед тем Самойловича, Голицын не стал обвинять. Напротив, и второй бесплодный и вполне бездарный поход он представил как удачную «демонстрацию силы», после чего уже крымчаки не посмеют-де тревожить Московское государство. После первого же похода многие военачальники были даже награждены. Так, полковника Патрика Гордона произвели в генералы. Другой военачальник Аггей Шепелев за степные подвиги и лишения был пожалован в окольничие, получил за службу кафтан на соболях, золотой кубок и 60 рублей придачи к окладу... Не остался, соответственно, внакладе и сам Василий Голицын. Ну, что же — не откажешь многомудрому, «сыну века сего», князю Василию Васильевичу в сообразительности... Но прежде всех этих заслуг и достижений следовало найти внятную причину или же виновника степной неудачи.

«Это не татары зажгли степь, а сами козаки, — говорили некоторые, — гетман дал им тайный приказ».

«Зачем же это козакам могло понадобиться?» — спрашивали другие.

«Затем, — отвечали им, — что козаки и татары между собою в дружбе и согласии. Козаки не хотят, чтоб царское войско завоевало Крым».

Те, которые чувствовали срам отступления, не выдавши в глаза неприятеля, ухватились за такие толки как за первое средство свалить с себя вину на других. Более всех казалось это полезным самому главнокомандующему, и приближенные к нему особы стали оговаривать Самойловича и объясняли предлагаемую измену гетмана так: *«Ведь козаки без помощи московских войск, но с помощью татар отбились против поляков и освободились из польской неволи. У московского царя выпросили они протекцию уже после и ни за что не хотели зваться царскими холопами, а звали себя царскими подданными. Теперь, когда московские цари окончательно помирились с Польшею и поляки уже уступили Москве свое гедичное право над ними, козаки опасаются: не стала бы Москва держать их так же, как держит своих прочих подвластных, и не укоротила бы их прав и вольностей, добытых кровью, а за свои права и вольности козаки крепко стоят. Есть между козаками такие, что попрозорливее прочих, и гетман их именно из таких: те смекнули, что выйдет, когда Москва Крым завоюет! И крымские татары, как и козаки, почитают себя людьми вольными; царь их, крымский хан, управляет своими подвластными, насколько те ему позволяют; и татары и козаки служат на войне без жалованья; оба народа одинаково дорожат своими привилегиями. Вот они между собой и поразумели, что им надобно груг за гру-*

га стоять, потому что конечное покорение одного народа отзовется вредно на другом. Козаки разочли, что государи поопасаются нарушать их права и вольности, если оба народа, козаки и татары, живучи между собою в дружбе и союзе, будут готовы поднятьсь огни за других».

Как это ни странно, но здоровое зерно все-таки было в таком рассуждении. Мне, конечно, неведомо насколько эта обширная цитата из Костомарова документально подтверждена самим уважаемым историком, откуда он почерпнул подобное умозаключение — ведь в 19 веке наши историки зачастую сочиняли беллетристику вроде Казимира Валишевского или, скажем, современного Валентина Пикуля, баловня советской окологисторической прозы, не утруждая себя строгим следованием источникам. Я вполне допускаю, что такая мысль была вложена в уста безымянных героев первого похода Голицына в Крым самим Костомаровым, которому уже было известно, как эта политическая умозрительная схема воплотилась в недавней русской истории: в связи с завершившейся русско-турецкой войной 1768-1774 годов и дальнейшей «ползучей» интеграцией Крыма в состав Российской империи, о чем я, конечно, не буду рассказывать. Запорожская Сечь по распоряжению Екатерины II была ликвидирована, а исконные запорожские вольности — Великий Луг и притоки Днепра — были заселены теснимыми в Османской империи сербами, волохами и болгарями, — им было, так сказать, оказано покровительство конфессиональное, но и для немецких колонистов, земляков Екатерины II, тоже место нашлось на бывшей земле козаков, о чем сокрушался в «Кобзаре» Тарас Шевченко:

*І на Січі мудрий німець
Картопельку садить, а ви її купуєте,
Їсте на здоров'я. Та славите Запорожжя.
А чисю кров'ю ота земля напоєна,
Що картопля родить, — вам байдуже. Аби добра
Була для городу! А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!.. Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила...*

Положение еще более осложнилось, когда громадное войско подошло к реке Самаре, — оказалось, что мосты для переправы, наведенные перед тем воеводой Неплюевым, сгорели: в этом тоже усмотрели зловерные козни гетмана Самойловича, сваливая на него упорное нежелание идти в фарватере московской политики в деле покорения Крыма и борьбы с Османской империей в составе Священной лиги европейских государств, ради чего, собственно, и заключался «Вечный мир» с Польшей. Обвинить Самойловича было очень легко: козаки успели переправиться через реку, а когда пришел черед для переправы стрелецких полков, мосты чудесным образом... загорелись.

«Козацкие старшины нашли удобным из этого случая сделать новый пункт обвинения на Самойловича в своем доносе: как будто гетман умышленно приказал это сделать, чтоб оставить великороссиян отрезанными. Потрачено было немало времени и трудов на построение вновь этих мостов... — сообщает нам Костомаров, и продолжает: — Двигаясь далее, войска 7 июля остановились у речки Кильчени. Здесь генеральные старшины, обозный Борковский, судья Воехович и писарь Прокопович, полковники Солонина, Лизогуб, Гамалея, Дмитрашко Райча и Степан Забела, да Кучубей подали донос боярину князю В.В. Голицыну. Подозревают, что главным правщиком здесь был Мазепа, и подозрение это основательно, потому что впоследствии старшины спрашивали частным образом у Голицына, кого бы он желал видеть гетманом, и Голицын указал им на Мазепу...»

Как научила нас недавняя подсоветская жизнь, имя главного зачинщика доноса утаивается в анналах политического сыска и называются лишь второстепенные герои затеи. Так и здесь: Солонина, Лизогуб, Гамалея и прочие, но только — не Иван Степанович, будущий гетман. Он — невиновен в подкопе под гетмана Самойловича... Имя Мазепы — светло, непорочно и чисто...

Анекдотично здесь и поминание имени Григория Гамалеи, значного товарища, прославленного со времен Хмельниччины козака, будущего Лубенского полковника, в числе подписантов доноса. Ивану Самойловичу позже, как одну из вин, ставили на вид то, что однажды на общем пиру военачальников Гамалея в пылу спора сказал резкое слово московским боярам, что, мол, Малую Русь Москва «не саблей взяла», а мы, мол, по доброй воле под ваш покров подались. Самойлович же, вместо того чтобы осадить зарвавшегося хмельного товарища перед высокими сотрапезниками, ничего не сказал, да еще и усмехнулся в усы... Гамалея — среди авторов-подписантов доноса в Москву, а в том, что он говорил, виноват Самойлович... Вот нечего было ему усмехаться!..

Генеральный есаул Запорожского войска Иван Мазепа — фигура во всем

примечательная. Он обладал редкостным даром *нравиться* кому бы то ни было, — и это совершенно удивительное свойство его характера сделало его человеческую и политическую судьбу невероятно удачной, плодотворной и славной. Только под конец жизни, со шведами, он несколько просчитался, «прославившись», как известно, уже несколько по-другому. Хотя присутствие портрета гетмана на украинской купюре достоинством 10 гривен свидетельствует о том, что я далеко не все понимаю в устройстве как этого мира, так и в целом жизни Ивана Степановича. Денежная купюра — это вам не какая-то там жалкая марка Почты Украины. На червонцах и других деньгах высокого достоинства советской поры с середины 1950 годов, кроме профиля Ленина, никого не изображали.

Прежде чем закончить повествование о злосчастной судьбе «гетмана-поповича», надобно сказать несколько слов о нашем новом герое, вкрадчивой стопой входящем в мою летопись, о Мазепе. Едва ли не сразу мы находим его уже при дворе короля Яна Казимира в числе «покоевых дворян». При этом не совсем все же понятно, каким образом он попал в королевское окружение. Благодаря такой близости к королю Иван Степанович получил якобы блестящее образование: сообщается, что он «учился в Киево-Могилянской академии, в Иезуитском коллегиуме в Варшаве, в Голландии, Италии, Германии и Франции, свободно владел украинским, русским, польским, татарским, латынью. Знал он также итальянский, немецкий и французский языки». Имел прекрасную библиотеку на иностранных языках и много читал и был, по всей видимости, самым образованным и просвещенным из череды малороссийских гетманов. Любимой книгой Ивана Степановича был политический трактат Никколо Макиавелли «Государь». Так это или же иначе, мне трудно судить. Бесконечная война с Москвой, которую вела Речь Посполитая, придворная жизнь и некоторые обязанности, которые ему приходилось выполнять, по всей видимости, как-то не мешали 26-летнему русскому шляхтичу ездить по европейским столицам, просвещаться в тамошних университетах и учить языки. И все же я повторю, что не совсем понятным остается то, каким образом Мазепа попал в королевское окружение. По одним источникам, он унаследовал от своего отца в 1665 году должность королевского подчашего в Чернигове, которую польский король пожаловал накануне отцу, — хотя и тут закавыка великая: Чернигов уже с 1654 года не находился во власти Речи Посполитой, — разве что в ноябре 1663 года король Ян II Казимир, правобережный гетман Павел Тетеря и крымские татары 50-тысячным войском прошли здесь военным походом на Глухов, пытаясь овладеть городом, но вскоре, зимой 1664 года, польская армия откатилась назад.

«Отступление это длилось две недели, — сообщает в своих записках французский посланник и офицер польского короля герцог Антуан де Грамон, — и мы глумились, что погибнем все. Сам король спасся с большим трудом. Наступил такой большой голод, что в течение двух дней я видел, как не было хлеба на столе у короля. Было потеряно 40 тысяч коней, вся кавалерия и весь обоз и, без преувеличения, три четверти армии. В истории истекших веков нет ничего, что можно было бы сравнить с состоянием такого разгрома».

В этой связи очень сомнительно, что Яну Казимиру в этой неразберихе нечем было больше заняться, как жаловать Мазепу-старшего должностью подчашего Черниговского, которую после его смерти в 1665 году вроде бы унаследовал Иван Степанович, который тут же каким-то чудесным образом, как в сказке, оказался уже даже придворным доброго польского короля. При этом следует все-таки еще раз отметить, что Ян Казимир считается самым неудачливым и невнятным королем Речи Посполитой из всей вереницы предшествовавших ему и следовавших за ним королей. На его королевскую пору выпала страшная по последствиям гражданская война Богдана Хмельницкого и потеря Южной Руси-Украины; знаменитый Шведский Потоп, во время которого Речь Посполитая едва не пошла ко дну, а сам злосчастный король бежал в Саксонию, бросив на произвол судьбы погибающее государство, теснимое отовсюду; 13-летняя изнурительная война с Москвой за обладание Украиной; потеря значительной части Великого княжества Литовского; Андрусовское перемирие, упрочившее на последующие века все те территориальные утраты, которые стали роковой неизбежностью для Речи Посполитой с 1648 года... Политическая же судьба короля закончилась тем, что он в 1668 году отрекся от престола и с этой горящей, окровавленной, несчастной земли убыл доживать в мире и в довольстве оставшиеся годы во Франции, став таким образом последним королем из шведской династии Ваза. Что сказать на это? Подвели Вазы Речь Посполитую к пропасти со своей унией и с римским приветом от Общества Иисуса, да и спихнули в нее...

Что за дело было несчастному Яну Казимиру до каких-то там деревенских «черниговских подчаших», а тем более до их сыновей и до образования их в европейских коллегиумах?

Не проясняет ситуацию и уважаемый историк Николай Костомаров, причем

появление Мазепы на Украине сдвигается хронологически: из его монографии следует, что Иван Степанович как раз прибыл сюда во время польского похода на Глухов в 1663 году, затем отстал от поляков, другими словами говоря, дезертировал из армии (ясен пень, по патриотическим побуждениям, ну не хотел будущий прославленный гетман с купюры достоинством в 10 гривен участвовать в осаде славного города Глухова как будущей столицы Гетманщины) и вернулся к отцу, а потом примкнул к правобережному гетману Петру Дорошенку. Костомаров подробно пересказывает смачные легенды, которыми обросла придворная жизнь Ивана Степановича, наполненные захватывающими подробностями его амурных походов, побед над впечатлительными панянками, с преследованием обманутыми мужьями, тайными переписками, захватами и издевательствами над ним. Так некий ничтожный шляхтич Фальбовский, не ведая о том, с каким великим в будущем человеком он дело имеет, раздел пойманного в прелюбодеянии Ивана Степановича догола, вымазал детем, изваял в пуху, посадил, опутав веревками, задом наперед на необъезженную лошадь, связав под брюхом у нее ноги будущего героя Украины и кавалера ордена Андрея Первозванного, и пустил сквозь заросли диких груш и терновника, после чего Мазепа чуть Богу душу свою не отдал. И все в таком духе... Но все же эти анекдотичные истории никак не проясняют ни образования, чудесным образом полученного Мазепой в перерывах между альковными приключениями, ни самого факта попадания в близкий круг польского короля, ни последующего возвращения в кипящий исторический бульон малороссийской Руины. Мифологизация этой фигуры явно просматривается в статье о Мазепе в Википедии:

«Отец, Агам-Степан Мазепа, был одним из соратников Богдана Хмельницкого. Принимал участие в Переяславских переговорах с русскими боярами. Не поддержал Переяславский договор и в дальнейшем принимал участие вместе с гетманом Выговским в создании Великого княжества Русского в составе Речи Посполитой, однако результатов не добился. В 1662 году польским королем был назначен на должность подчасшего черниговского и эту должность занимал вплоть до своей смерти в 1665 году...» Современный российский исследователь Т.Г. Таирова-Яковлева в своей монографии «Мазепа» утверждает, что отец и брат Марины, матери Ивана Степановича, были старшинами у Хмельницкого и погибли в боях с поляками — отец под Чортковом (1655), а брат на Дрожи-поле (1655).

То есть, расшифровывая эту загадочную клинопись, получаем следующее: Мазепа через отца вроде бы генетически связан с Хмельничщиной, но вместе с тем — отец не поддержал Переяславских статей; затем старший Мазепа — сторонник гетмана Выговского и мертворожденного проекта Русского княжества, пожалован высокой милостью из рук польского короля; при этом дед и дядя тоже национальные герои, погибшие в битвах с поляками... Мало что известно о делах Мазепы в орбите Петра Дорошенка, правобережного гетмана. Учитывая воинственность Дорошенка и его противостояние всем окрестным государям, учитывая также и то, что Мазепа был в его войске при очень ответственной должности, можно только предположить о том, сколько скелетов осталось в шкафу у него. «И нашим, и вашим» — всем хорош, всем любезен был наш Иван Степанович.

Я вполне допускаю, что эта двусмысленность энциклопедического образа Ивана Мазепы несет на себе также и печать десятилетий государственной независимости Украины, переосмысления исторической роли Мазепы, когда из записного и самого ужасного на века предателя, даже анафемствованного церковью, каковым его почитала прежде имперская, а затем советская историография и пропаганда, он, по мановению Беловежских соглашений 1991 года и всего, что за ними последовало, превратился в горячего патриота Украины, «вышедшего в поле до света», пытавшегося привести свой народ к государственной самостоятельности, но был все же не понят темной массой козачества и посольства Южной Руси-Украины. Как прежде были не поняты Выговский, Брюховецкий, Дорошенко, Юраско Хмельницкий, а после Мазепы — Филипп Орлик и прочие «самостийники»...

Мифологизация и призрачная зыбкость образа Ивана Степановича заканчивается тогда, когда начинается его реальная карьера. Вернувшись на Украину и осмотревшись, он женился на богатой вдове белоцерковского полковника Анне Фридрикевич и через своего тестя, генерального обозного Семена Половца, выдвинулся в ближайшее окружение Петра Дорошенка, стал прежде ротмистром гетманской надворной гвардии, а затем — генеральным писарем. Целых пять лет Иван Степанович был верным и исполнительным сподвижником Петра Дорошенка, самого серьезного противника Москвы.

Одно из порученных ему дел — конвоирование в Крым в подарок султану 15 левобережных козаков — весьма симптоматично и показательно для понимания как нравов эпохи, так и национальной, так сказать, «свидомости» Ивана Степановича, да

и гетмана Дорошенка тоже, конечно. «Живой товар» из своих же сородичей, козаков и крестьян, был всегдашней разменной монетой для начальствующих в народе. Никто не переживал и не парился моральной стороной дела. Так и теперь, в июне 1674 года, Мазепа гнал к Перекопу 15 русских людей, подарок союзникам от доброго, щедрого сердца Петра Дорошенка. Вез также и некие тайные письма с разбором союзнических ролей и договоренностей, как и когда удобнее туркам совместно с татарами приходиться разорять Русь-Украину, набирать здесь очередные «живые полоны» и жечь города. В отряде, кроме 15 человек подарочного «ясыря», было и 9 татар охранения. Но в этот раз вмешалось всевидящее провидение, — видно, не до конца еще испила Русь-Украина чашу гнева Господня: на отряд случайно вышли запорожские козаки, шедшие в поход от Сечи к Южному Бугу.

«Запорожские товарищи Алексей Борода и два брата Темниченки остановили Мазепу, побили татар, бывших с ним, освободили христианских невольников, а самого Мазепу доставили своему атаману с перехваченными письмами. Запорожцы пришли в сильное негодование, как увидели, что дорошенков посланец вел христианских невольников в дар бусурманам, и хотели убить Мазепу, но его отстоял Сирко. «Не убивайте, братцы, этого человека, — говорил он, — быть может, он на что-нибудь отчизне и пригодится!» И запорожцы ограничились тем, что только заковали Мазепу, а Сирко известил о том гетмана Самойловича», — так повествует о выходе Мазепы на общерусскую политическую арену Николай Костомаров.

В этом эпизоде уже отчетливо просматривается невероятный по силе дар Ивана Степановича нравиться кому бы то ни было. Прежде им было очарован правобережный гетман Петр Дорошенко, вознесший его к самым вершинам старшинства, теперь его рьяным защитником и приверженцем становится многомудрый кошевой атаман Запорожья Сирко, опытный воин, горячий и бескомпромиссный патриот Украины, — но и его бескомпромиссность и патриотизм с легкостью побеждены Иваном Степановичем: несмотря на явное преступление перед человечностью и союзнические письма к злейшим врагам Запорожья, Мазепу не только оставляют в живых, но еще и не хотят выдавать Самойловичу для разбирательства, выдвигая стародавний обычай, что с Сечи, мол, выдачи нет. Чтобы заполучить знатного пленника, Самойловичу с Ромодановским пришлось арестовать жену и зятя Сирка, которые жили где-то под Харьковом, и те слезно умоляли из своего заточения неспясаемого легендарного атамана все-таки выдать для разбирательства начальству ценного пленника, и только после долгих увещаний родных того передали с рук на руки Самойловичу. С ним Мазепа провел всего-то два дня, но успел за это краткое время так расположить к себе «гетмана-поповича», что уже теперь и сам Самойлович с нескрываемой неохотой отпустил Мазепу в Москву для обязательных и понятных расспросов в Малороссийском приказе.

«Повторяю тебе то, о чем говорил с тобою при свидании и в чем дал тебе слово. Ты останешься в целостности при всех своих пожитках со всем своим домом. Пошлю с тобою Павла Михаленка, полкового писаря нежинского, он тебя и в Москву, и назад из Москвы будет провожать. Только ты в Малороссийском приказе откровенно расскажи все, что нам здесь говорил о дорошенковых замыслах и о хане, и о Сирке, и об ином обо всем, никакого дела, хоть и малого, не утай! Желаю тебе счастливого пути и скорого к нам возврата», — так напутствовал Мазепу перед отправкой в Москву Самойлович. Иван Степанович расположил к себе не только гетмана и всемогущего воеводу Ромодановского, но «сразу понравился он, кому нужно было, и в Москве», — говорит Костомаров.

С той поры Иван Степанович ежегодно ездил в Москву, стал там вполне своим человеком, Дорошенко был быстро и крепко забыт, да и оставалось ему гетманствовать на Правобережье всего два года — дни его были уже сочтены. Все секреты Дорошенка были выложены без утайки в Малороссийском приказе в неложной надежде на блестящее будущее. Здесь тоже просматривается определенное свойство характера Ивана Степановича: перемена патрона и благодетеля тогда, когда это выгодно самому пристальному читателю и почитателю «Государя» Макиавелли — в 1674 году он с легкостью предал Петра Дорошенка, в 1687 году — Ивана Самойловича, в 1708 году — Петра I... Ничего личного, как говорится, это просто «бизнес»... Но свою горькую чашу запоздалого прозрения малороссийскому гетману еще предстояло испить. Самойлович, по возвращении Мазепы из Москвы, поручил ему — ни много ни мало — воспитание и учительство собственных детей, затем присвоил Ивану Степановичу звание войскового товарища, а через несколько лет пожаловал его чином генерального есаула, — то есть Иван Степанович, пленник Ивана Сирка, прикованный цепью к пушке и едва избежавший смерти, совершил головокружительный кульбит и стал вторым по значимости — после самого гетмана — человеком в войсковой иерархии. Редкий талант, что тут скажешь еще...

Неудача первого похода на Крым и происки — условно говоря — старшины, не буду голословно чернить светлого облика Ивана Степановича, стали счастливым случаем к вождленному гетманству самого генерального есаула. Князь Голицын, который к Мазепе тоже был весьма расположен, дал ход доносу старшины, присовокупив и свои подозрения относительно Самойловича. Да и нечего было особо искать огрехов «поповича». Должно быть, десятки и сотни раз на пирах и в узком кругу он не очень лицеприятно выражался о московской политике, о текущих каких-то делах, особенно же не нравился ему «Вечный мир» с Речью Посполитой и предстоящая борьба с Крымским ханством. Относительно этого, по всей видимости, он обладал какой-то своей, «инсайдерской», информацией и так говорил:

«Не послушала таки мене дурная Москва, замирились з ляхами! приходит, однако, время: станут скоро меня просить, чтоб я стал посредником к примирению между Москвою и Крымским государством. Только я буду знать, как их примирить. Будут они меня памятовать; будут ведать москали, как нас почитать!»

Но время подобной свободы уже безвозвратно прошло.

Конечно, хотя Почта независимой Украины почтила память Ивана Самойловича филателистической маркой, не стоит лепить из него какого-то ангела-прозорливца. Расхожее мнение, что власть развращает и губит людей, во всем спектре приложимо к «гетману-поповичу». За 15 лет начальствования над подвластным ему малороссийским народом он много чего неприглядного и постыдного наворотил, и многое ставится ему в вину: невероятная гордыня, чванство, высокомерие, алчность и самоуправство... Кроме того, многие экономические начинания, которые московская верховная власть вводила в Гетманщине, ввиду новой войны с турками, и о которых сообщают источники, что Самойлович «согласно постановлению старшин, утвержденному московскими властями, завел оранды (отдачу на откуп) на винную, дегтяную и тютюнную (табачную) продажу сроком на один год и стал чеканить в Путивле особую монету под названием «чехи», — приписывались народной молвой самому Самойловичу, что, мол, он для себя самого и для личного обогащения ввел эти «оранды», которые скоро стали ненавистны всем жителям Гетманщины.

«Малороссиян Самойлович восстановил против себя высокомерием, алчностью и самоуправством. Не только с народом, но и с знатными людьми «гетман-попович» держал себя как самодержавный геспот. Самойлович окружил себя людьми мелкими, которых сам возвысил; раболепствуя перед ним, они от его имени дозволяли себе всякие бесчинства. Во всей Гетманщине в управление Самойловича не было ни суда, ни расправы без взяток. Масса народа стонала под игом оранд и налога за помол. Поборы эти взимались с разрешения московского правительства и шли на содержание войска, но народ приписывал их алчности и произволу Самойловича», — так сообщает нам беспристрастная Википедия. Костомаров в неоднократно цитированной мною «Руине» добавляет красок погуще к нравственному портрету гетмана:

«Даже к духовному сану не оказывал он уважения, забывая, что сам по происхождению был попович. Когда случалось ему быть в церкви, он не ходил с прочими богомольцами получать антидор из рук священника, а священник должен был сам подносить его гетману, что соблазняло тогдашнее малороссийское общество; а если, куда-нибудь едучи, например, хоть бы на охоту, встречал гетман священника, то считал это для себя дурным предзнаменованием и гневался на священника. По выражению поганной на него старшинами похвальной, старшины от его похвальных слов и гнева бывали «как мертвы» и каждый час могли ожидать себе всего дурного. Малороссиян соблазняло даже и то, что этот разбогатевший и расчванившийся гетман-попович ездил не иначе как в карете, и сыновья его, полковники, усвоили такой же панский обычай, противный для малороссиян, так как он напоминал им польских панов. Алчность гетмана и сыновей его, казалось, не имела пределов: за получение урядов брались посулы, а получившие эти уряды старались вознаграждать себя всякими утеснениями над подчиненными; без взяток не было приступа к гетману, а кто ничего не даст, тот ничего и не добьется».

Но алчность, чванливость, взяточничество и непомерная гордыня ничего не значили в контексте общерусской многообразной жизни что в ту давнюю пору, да и потом, впрочем, тоже. Кого удивишь мздоимством что тогда, что теперь? Великорусские вельможи, да тот же Василий Васильевич Голицын, нажили богатства гораздо более значительные, чем Самойлович, будучи приближены к великодержавной «кормушке». Недовольство Москвы Самойловичем накапливалось все 15 лет его гетманства: то он самовольно сносился с польским королем и ратовал за Правобережье Днепра, доказывая полякам исконную принадлежность козакам этих запустелых спорных земель — поляки сперва удивлялись ражему напору гетмана через голову московских властей, а потом о том доносили в Москву, Самойлович тут же сдувался и слезно просил простить его за политическое самоуправство, то снова и снова противодействовал

«Вечному миру» с Речью Посполитой: так в начале 1685 года отправил в Москву Кочубея с инструкцией, в которой подробно описывались коварные поступки поляков и излагались желания малороссиян — отнять у поляков русские исконные земли (Подолье, Волынь, Подляшье, Подгорье и всю Червоную Русь) и заступиться за православную веру, терпящую гонения и поругания в польских областях, — но все эти самочинные инициативы Самойловича шли вразрез с планами Василия Голицына вступить в Священный союз европейских держав, главным условием которого как раз и было конечное замирение с Речью Посполитой. Помимо того, «попович» не держал язык за зубами, непотребно комментировал внешнеполитические события, неверно трактовал намерения и послылы европейской высокой политики, которой весьма стремился достойно соответствовать князь Василий Голицын. Так, к примеру, *«разразился веселым смехом, когда ему сказали, что поляки ушли со срамом из Молдавии, а татары, ворвавшись на Волынь, наделали там опустошений. Беседа с генеральным бунчужным Полуботком, гетман говорил: «Ах, как бы я был рад, когда бы яхы в Волоской земле, утесненные татарами, помирились! Чай бы Москва и нас тогда узнала и не почитала бы нас легко за то, что мы хотим соблюсть приобещанную и надежную дружбу с Крымским государством»; Полуботок, хотя и преданный Самойловичу, проговаривался о его отзывах перед теми, которым они пригодились ко вреду гетмана»*. Об этом и о многом другом рассказывает Костомаров. Ну, и ментальная память о прежних изменниках-гетманах подспудно тлела в Москве, и, по правде сказать, кто из них со времен Богдана Хмельницкого остался до конца верен власти московских царей? Никто и ни разу. Колебался даже Богдан, — не зря же его честили почем зря даже на смертном одре московские послы окольных Федор Бутурлин и дьяк Василий Михайлов за автономные действия старого гетмана в 1657 году против Речи Посполитой, которые шли вразрез с текущей политикой Москвы и с тактическим замирением ради совместного противодействия Швеции. И ведь тоже, — какая ирония, — Богдан тогда, как и Самойлович теперь, был решительным противником перемирия с Польшей!.. Хотя и прославился «гетман-попович» верностью и неукоснительностью исполнения приказов и распоряжений московских стратегов, особенно в деле непростого и долгого укрощения Петра Дорошенка, хотя и снискал он благодарности и богатые дары от царей за различные военные кампании во взаимодействии с великорусскими воеводами, но под спудом победных реляций не угасал все-таки уголек недоверия, и кое-кому в Москве мнилось, что малороссийский гетман только ждет удобного случая для измены. Ну что же тут скажешь? — тенденция эта стала печальной традицией на земле Гетманщины.

Вот и теперь, в первом крымском походе, неудачном во всех отношениях, но объявленном Голицыным все же удачным и даже, как ни странно, победным, виновника поджога степи и сожжения мостов через Самару быстро нашли. Приносимую жертву воевода согласовал с козацкой верхушкой, и старшины с радостью отдали на заклание своего гетмана. Впрочем, вероятно, так бывает всегда... Сыграла определенную роль и корыстность великорусских воевод, поспешивших к предполагаемой богатой и легкой добыче. Воевода Леонтий Романович Неплюев близ Кодака нейтрализовал полк сына Самойловича Григория, куда тот удался по приказу о разделении войска при отступлении от Перекопа, чтобы сын-полковник не отправился отбивать отца, узнав о его низложении. Неплюев приказал заковать Григория в кандалы, и, как скромно говорит о том летописец, все имущество арестованного Неплюев взял «до своей ласки и протекции», то есть присвоил. Именно за утраченное добро младший сын Самойловича, черниговский полковник Григорий, поплатился жизнью, а вовсе не за то, что было прописано в скором приговоре его на казнь. Неплюев писал об этом в Москву:

«...и по вашему, великих государей, указу Гришке Самойлову у казни его воровские, затейные и непристойные слова и измена сказана и казнен смертью, отсечена голова, ноября в 11 числе нынешнего 1687, а у казни был солдатского строя полковник Тимофей Фандервидин».

Причем, видимо, по сугубо личным причинам и крайнему нерасположению самого Неплюева, казнь Григория еще была и ужесточена, чтобы помучился: Григорию отрубили голову не сразу, а в три приема.

Историки и бытописатели усматривают в этой расправе Неплюева с младшим сыном гетмана Самойловича известную бандитскую практику: боярин просто уничтожил опасного свидетеля, которого перед тем обобрал, и замел следы, — по всей видимости, имущество, которое ему удалось захватить под Кодаком, было весьма значительным и весомым. По итогам же похода Леонтий Романович, как «победитель» татар, которых даже на окоме никто не видал, и активный пособник в раскрытии «заговора» Самойловича, получил в награду от малолетних царей золоченый кубок с кровлею, кафтан золотный на соболях, 150 рублей денежной придачи и 4 ефимка на вотчину. Но это были уже сущие мелочи по сравнению с тем, что досталось ему

трофеем от младшего Самойловича.

И все-таки надо еще сказать буквально несколько слов о том, как Леонтий Неплюев закончил свою многотрудную жизнь. Ведь все в конце концов заканчивается. Неправедное имущество не сделало его счастливей, хотя после второго похода на Крым цари пожаловали его званием боярина и очередной денежной дачей, но недолго он тешился новой честью: в сентябре 1689 года молодой царь Петр отстранил от власти свою сестру Софью и приказал арестовать главу Стрелецкого приказа Федора Шакловитого (ему отрубили голову у стен Троице-Сергиевой лавры), а также князя Василия Голицына, его сына Алексея и Леонтия Неплюева. За неудачу второго похода на Крым — формально, а на деле за то, что он принял активное участие в противостоянии Петра и его старшей сестры, сделав ставку не на ту партию, Неплюева осудили на лишение чести, звания и всего имущества и сослали сначала в Пустозерск, где когда-то он, в недавние счастливые времена, был воеводой и ведал земляной тюрьмой, в которой 14 лет томился неугомонный протопоп Аввакум, а в 1690 году его отправили в Кольский острог. Из Колы опальный военачальник посылал челобитные с жалобами на тяжелое положение «в таком дальнем и бескормном месте». Но затем бывший боярин осмотрелся и купил в Коле дом, где разместил то, что ему оставил в утешение молодой царь, — библиотеку для чтения и размышления о бренности и суетности бытия и о непечности, непостоянности счастья, на жалкие остатки денег, невесть как сохраненные, приобрел он промысловые станы на Аникиевом острове и рыболовецкие суда, и стал рыбу ловить, чем благополучно занимался восемь лет до своей смерти в 1698 году. Несметные сокровища его, добытые неправедно под Кодаком, за что младший Самойлович заплатил своей головой, были конфискованы в государственную казну. Примерно такая же участь постигла и Василия Васильевича Голицына, всемогущего временщика и любимца царевны Софьи Алексеевны: Петр и его лишил всех званий, поместий и капиталов, оставив, правда, княжеское пустое достоинство, и сослал со всем семейством в северные дебри, где в 1690 году, во время зимовки на Мезени в Кузнецкой слободе, Голицыны встретили семью протопопа Аввакума Петрова. Последним местом бессрочной ссылки Голицыных стал Пинежский Волок, где Василий Васильевич умер в 1714 году, пережив всех своих прежних товарищей и соратников — и царевну Софью, и Ивана Самойловича, и Леонтия Неплюева, и гетмана Ивана Мазепу... Мне вот весьма интересно, что чувствовал и что ощущал князь Василий Васильевич в 1709 году, когда до Пинежского волока дошла весть об измене Мазепы делу Петра? Ведь это он, тогда всемогущий, помог Мазепе возвыситься прежде до генерального есаула, а затем и до гетмана Руси-Украины, это он Мазепе во всем покровительствовал и во всем потакал, а после падения всемогущего временщика Мазепа еще и притопил бывшего благодетеля, а заодно и Неплюева: с документами и точными цифрами на руках уличил низвергнутых в прах воевод в постыдных мздоимстве и алчности, причем сам же еще выступил в роли жертвы, само собой разумеется. Вот как рассказывает о том Костомаров:

«Через два года после описываемых событий Мазепа представил роспись деньгам и вещам, данным от него Голицыну в виде взятки, всего на 17390 рублей, из которых 11000 было дано наличною монетою, а прочее серебряными и золотыми вещами и дорогими тканями. Это, как показывал тогда Мазепа, дано было более поневоле, чем добровольно, с погущения и беспрестанных угроз Леонтия Романовича Неплюева, которому особо дано было 2000 червонцев и на две тысячи разных драгоценностей: все это поступило из конфискованного тогда домашнего имущества Самойловича. Из этого известия видно, что при отрешении Самойловича действовали взятки, данные или обещанные Мазепой сильному временщику».

Кто же в сухом остатке остался при делах и в фаворе? Да-да, именно Иван Степанович Мазепа, гетман малороссийский! Голицын с Неплюевым пошли ко дну и безвозвратно убыли доживать свои дни на подзолах и в дебрях Русского Севера, а Иван Степанович очаровал и влюбил в себя свою новую жертву, юного Петра, восходящего в силу, чтобы со временем предать и его. Хитрый хохол перехитрил всех и даже будущего российского императора, а заодно — так уж у него получилось — и себя самого... Через 280 лет — всего ничего — эти мазепинские дела будут истолкованы как бескомпромиссная борьба за независимость Украины...

Но это — уже другая история и другой разговор.

Но вернусь к первому походу на Крым и к падению гетмана Ивана Самойловича.

12 июля того злосчастливого для Самойловича лета 1687 года из Москвы прибыл думный дьяк Шакловитый. Князю Голицыну от царей объявлена была высочайшая благодарность за понесенные войсковые труды, а Самойловичу был задан вопрос: зачем он зажег степь?.. Что бы ни ответил на это странное обвинение гетман, все менялось ему в злонамеренную и преступную ложь. Соединенное войско тем временем продолжало отступать. 21 июля на стоянке на реке Коломак гетманскую палатку передали на

охрану московским стрельцам, — козацкий летописец сообщает по этому поводу, что Самойлович якобы сам попросил для себя охрану из великороссов, потому что уже не доверял своим козакам, — ночь он провел во вполне объяснимой тревоге, поутру отправился в походную церковь к заутрене. Во время чтения Шестопсалмия в церковь вошла вся козацкая старшина, но богослужение отнюдь не было прервано. После отпуска Самойловича грубо вытолкали из церкви.

«Тогда на него посыпались упреки и ругательства, а киевский полковник замахнулся на него обухом, но товарищи удержали его, ограничиваясь только тем, что по малороссийскому обычаю обзывали «скурвым сыном» своего гетмана, перед которым еще накануне не смели стоять в шапке...»

Так и проходит слава земная...

Гетмана в простой тележке доставили в ставку Голицына, сына его Якова, стародубского полковника, посадили на клячу без седла. Хорошо еще, не как прежде молодого Мазепу, лицом к хвосту... Голицын спросил у старшин:

«Не затеяно ли все это вами из досады и ненависти к гетману по каким-нибудь частным оскорблениям, которые могли бы вознаграждаться иным путем?»

На этот вопрос последовал такой ответ:

«Хотя много досад и оскорблений делалось от него многим из нас и всему народу малороссийскому, но мы бы не посмели поднять на него рук, если б он не был изменник; теперь же, по долгу присяги, нам умолчать невозможно. Он так ожесточил против себя всех, что нам стоило немало труда удержать народную злобу, а то его растерзали бы козаки».

Тут полковник Дмитрашка Райча замахнулся на Самойловича саблей, но его остановил князь Голицын:

«Он приведен сюда для того, чтоб судить его, а не для того, чтоб его убивать без суда незаконно!»

Каково же было самому Самойловичу переносить эти надругательства и поношения от его ближайших сподвижников? Только что обухом на него замахивался киевский полковник Константин Солонина, а теперь саблю занес на него Дмитрашка Райча, — а ведь 15 лет назад, в 1672 году под Конотопом, именно эти двое и возводили его в гетманское достоинство... Искупали ошибку? Были такими уж праведниками?

«Переяславский полковник Дмитрашко Райча и киевский полковник Константин Солонина подхватили его под руки и поставили на стол. Генеральный обозный Петр Забла преподнес Самойловичу булаву, другие полковники покрыли его флагом и окутали бунчуком...»

И вот что теперь...

Конечно, были у Дмитрашки Райчи свои счеты с поверженным гетманом: в августе 1674 года за что-то Самойлович сместил его с полковничьей должности, и мстительный Дмитрашко дважды принимал участие в заговорах против гетмана (1676-1682 гг.), и во второй раз, подозреваемый даже в сношениях с поляками, был приговорен к смертной казни, которая была назначена на 5 февраля 1683 года. Но он как-то избегнул ее, был прощен и вот теперь, приняв участие в этом неудачном походе на Крым, мстительно содействовал падению своего врага-гетмана.

Когда весть об аресте и отрешении от уряда гетмана Самойловича разнеслась по всему войску, тотчас среди козаков начались беспорядки, но отнюдь не в защиту Самойловича, а, напротив, из-за всеобщей ненависти к нему и к его управлению, как рассказывает о том Костомаров. В беспорядках и мятеже особенно отличились козаки Гадяцкого полка — они убили своего полкового обозного Кияшку и с ним несколько человек товарищей. В войске Григория Самойловича тоже без бунта не обошлось:

«В Когаке стояли с своими полками высланные в отряд козацкие полковники. Козаки Прилуцкого полка, услышавши, что нелюбимого Самойловича уже нет в гетманстве, пришли в ярость против своих полковых старшин, схватили своего полковника, старого Лазаря Горленка, и живого сожгли в горящей печи; других побили. И в иных полках, стоявших там, происходило волнение, но убийств было меньше: переяславского полковника Полуботка и наказного нежинского Ярему только арестовали... Боярин Голицын, услышавши о таких беспорядках, послал великорусских ратных людей для усмирения мятежных гадячан. Но своеволие быстро распространилось в других полках; козаки стали уходить компаниями, с тем чтобы волновать посполство и подущать мужиков бить орендарей и жечь владельческие усадьбы. Это побудило Голицына ускорить выбор нового гетмана, чтоб скорее восстановить в крае власть и порядок. Он назначил избирательную раду на 25 июля», на которой и был избран гетманом Иван Степанович Мазепа.

Богатство «гетмана-поповича» было конфисковано подчистую: села, хозяйственные имения, промыслы, скот, кони, столовая серебряная посуда, золотые и серебряные украшения с ценными камнями, украшенное оружие, дорогие меха, большое

количество мужской и женской одежды, доспехи, экипажи и тому подобное, а также большое количество денег в наличной монете: 4916 золотых червонцев, 47432 серебряных талеров (на Украине они назывались еще ефимками), 2286 серебряных левков (турецкая монета), 3814 серебряных копеек, 3000 серебряных чехов (русских полторагрошовиков). Половина этих богатств передавалась в казну государства, а другая половина перешла в распоряжение новоизбранного гетмана Ивана Мазепы, который в свою очередь щедро вознаграждал московских бояр за возведение его на вожделенное гетманство.

В сентябре царским указом определен был для жительства Самойловича Нижний Новгород, а затем, дождавшись зимнего пути, велено было отправить его в Тобольск. Сына Якова, стародубского полковника, вместе с женой сослали в Енисейск, а после смерти отца в 1690 году младших Самойловичей перевели все в тот же Тобольск. Яков прожил здесь до смерти в 1695 году.

Козацкий летописец Величко замечает по этому поводу, подводя печальный итог жизни некогда всеильного гетмана:

«Так Бог карает тех, кто по гордости считает ни за что других: вместо маетностей и сокровищ — великое убожество, вместо дорогих карет — московская тележка с подводчиком, вместо парадных слуг — караул из стрельцов, вместо музыкальных инструментов — ежедневный плач и сожаление о своей глупой гордости, вместо роскоши — бедственная неволя...»

Жену низложенного гетмана сослали в Седнево подо Ржевым, и «ей в виде милостыни дали из бывшего собственного состояния часть платья, выбравши для нее такое, какое было попроще, все белье и 200 рублей денег. Там осуждена была она жить с дочерьми в крайней бедности...» Так повествует в «Руине» Николай Костомаров.

Таким безотрадным стал конец жизни гетмана Самойловича: старших детей своих он лишился еще прежде — сын Семен был отравлен в Стародубе, а дочь Параскева умерла от болезни; среднему сыну Григорию боярин Неплюев в Севске в три приема отрубил голову; оставшиеся члены семьи оказались в Сибири...

Воистину, сбывалось буквально на всех участниках этой человеческой драмы слово из Покаянного канона: «Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на несправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставиши»...

Но на этом и завершилась малороссийская Руина, вконец разорившая некогда благодатный рай Речи Посполитой, Южную Русь-Украину, — за новую государственную принадлежность и за право беспрепятственно исповедовать православную веру за полвека были пролиты реки крови, пеплом сожженных городов и сел, бесчисленными трупами и костями удобрена эта земля...

Русь-Украина — вместе с Речью Посполитой, практически сломленной и разгромленной, — вступали в 18 век.

Продолжение следует

Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ

КАЗАЧИЙ ИСХОД

I

В середине февраля 1920 года по еще крепкому льду Иркутка со стороны Иркутска в деревню Шаманка нагрянул под вечер отряд верховых числом в четверть эскадрона. Это были опытные казаки из охраны адмирала Колчака, что маялись который год, не выбравшись окончательно из одной войны с германцем, как попали на другую, и казалось теперь, бесконечную по срокам.

Казаки, укутанные по глаза в башлыки, в длинных заснеженных шинелях с карабинами за спиной и большими мешками с провиантом, теплыми вещами и оружием, притороченными к седлу позади всадника, молча и сосредоточенно вошли в деревню на усталых заиндевелых на морозе конях. Кони фыркали, пытаясь сбить намерзающий на морде и ноздрях лед, и устало брели, переступая, семена, понуриив головы, прикрывая усталые глаза ресницами с бахромой измороси.

Впереди отряда суегился на резвом мерине сотник Кондратий Хватов. Сотник вел себя нервно, покрикивал на казаков и вертелся на своем коне, выбивая копытами снег. На Хватове ладно сидела серая папаха с бело-сине-красной кокардой и овчинная армейская куртка-бекеша. Из-под папахи выбился длинный, свалывшийся в долгих скитаниях русский казачий чуб. На руке Хватова на петле висела нагайка, сбоку на поясе шашка. Потертый боевой карабин был ловко приторочен к седлу.

Хватов был из местных. Крепкий, коренастый молодой мужик, с круглым обветренным и обмороженным лицом, на котором красовались рыжеватые усы и гуляла улыбка, которая в сочетании с недобрым прищуром светло-голубых глаз, создавала образ симпатичный, но несколько настораживающий. И то правда. Стоило вступить в разговор с сотником, сразу слышался в голосе скрежет металла. Губы кривила усмешка, в которой читалась ирония и недоверие к собеседнику.

Такая манера общения у Хватова сложилась за годы войны, когда приходилось самому быть в числе рядовых и вынести многие тяготы окопной жизни. Продвинувшись по службе, став командиром над казаками, сотник усвоил, что для влияния на подчиненных следует всегда быть придиричивым, жестким и непредсказуемым в своих действиях. Жизнь научила — надеяться можно только на себя, а рассчитывать на реальную поддержку служивых и также многому наученных казаков — дело пустое. Особенно понятно это стало теперь, когда погнали красные войска белые отряды, и нужно было думать и искать тот вариант, что позволял бы сохранить жизнь и обрести какую-никакую перспективу в этой самой жизни.

Таких, как Хватов, опасались за резкость и непредсказуемость рациональных и жестких действий, а значит, уважали — точнее, боялись, а потому слушались и спешили исполнить сказанное даже спокойно в полголоса как просьбу, потому что, если послушаться, в другой раз тебе это припомнят и обязательно накажут.

Повоевав с крепким германцем и хлипким австрийцем, Хватов вернулся в деревню после службы вахмистром, серьезно продвинувшись по службе. А когда грянула революция, вскоре снова отправился на фронт по призыву уже в Белую армию и при отсутствии достойных и опытных командиров вырос до сотника. В белую гвардию Хватов отправился по убеждению: как-то ему сразу было понятно, что все эти лозунги про свободу, землю и волю — просто козыри в руках шулеров, взявшихся перекраивать вековой уклад. Не верил Хватов, что кто-то кому-то отдаст хоть толику по доброй воле. Чтобы хоть что-то, хотя бы самую малость дать, это что-то нужно было отнять у другого. А в чем тогда смысл? И как только в деревне возникли первые советы

с голытьбой во главе, Хватов не стал испытывать судьбу — собрался наспех и в ночь ушел из деревни в войска.

Теперь, оказавшись во главе отряда, Хватов направил казаков в знакомые места, намереваясь выйти из западни, что устроили красные и чехословацкие легионеры, перекрыв основные пути отступления на восток. Путь этот — узкое горлышко вдоль отвесных берегов Ангары и Байкала по знаменитой Кругобайкальской железной дороге, что протянулась на сотню верст по вырубленному в скале карнизу вдоль обрывистого крутого берега к стылым водам великого озера. Дорога изобиловала делянками протяженных и коротких тоннелей, множеством арочных мостов, подпорных и водоотводных стенок и даже в обычном своем состоянии и хорошую погоду представляла для поездов непустячное испытание: скорость движения была строго регламентирована, а машинисты напряженно смотрели вперед, опасаясь камнепадов с отвесных скал.

Путь казакам предстоял неблизкий, и первый его этап включал выход по льду реки и таежным тропам к южной оконечности Байкала в обход Кругобайкальской дороги, а далее на восток вдоль отрогов Хамар-Дабана и берега Байкала. Предполагалось, что там, на этом участке железной дороги, еще сохранилась власть белой гвардии и казаков атамана Семенова.

Как только вошли в деревню, Хватов сразу отрядил деревенского старосту развести казаков по избам, а сам направился в родной дом к родителям и молоденькой еще совсем сестренке, которых не видел уже почти два года. Сотника ждали у ворот. Маманя кинулась к нему и плача с ходу взялась рассказывать семейные новости да напасти. Отец подошел степенно и крепко обнял сына, явно гордясь им. Сестренка подскочила последней, повисла на шее брата, вела себя шумно, и было видно, как она рада и ждет гостинца. Кондратий не стал медлить и, только вошли в дом, достал припасенные подарки: маме теплую шаль, сестре платочек шелковый китайский и брошь с малахитом, а отцу кисет расписной, туго набитый отменным табаком, и тут же тихонечко подсунул наган, давая понять: бери, батя, времена нынче лихие — пусть будет. Отец несколько отпрянул при виде столь нежданного дара, но взял оружие и, укутав его в тряпицу, убрал в нишу за печкой.

Среди казаков выделялись добротной формой и осанкой три офицера и упряжь из двух лошадей, управляемые верховым солдатами, которые несли подвязанный между лошадьми груз. Сотник за ними присматривал особо, по поручению штабс-капитана Соколовского, зная, что это офицеры со специальным поручением штаба, о сути которого они не скажут никому.

Штабс-капитан Соколовский был личным порученцем Колчака и отвечал за груз в поезде, в том числе и за золото. Внешность Соколовского сразу выдавала в нем старого служаку: подтянутый, сосредоточенный, всегда в свежей сорочке, краешек которой выглядывал из-под ворота мундира, в выглаженных галифе и тщательно вычищенных сапогах. Лицо штабс-капитана, ухоженное, в пенсне, с небольшой бородкой клинышком и щеточкой усов указывало на хороший вкус, образование и принадлежность к представителям потомственных дворян Российской империи.

Перед арестом адмирала в Иркутске Соколовский едва успел снять с поезда часть вещей и архив адмирала и с несколькими офицерами из окружения верховного примкнуть к Иркутскому гарнизону в ожидании того, как решится судьба Колчака. После известия о гибели Колчака пришлось покинуть город тем, кто до последнего был с адмиралом. Самый короткий путь по железной дороге на восток был перекрыт, а соединиться с войсками генерала Каппеля, стремительным броском обошедшими город и, смятая заслоны красных, ускользнувшими за Байкал, не удалось.

Эскадрон, вымотанный зимней дорогой, был в пути уже вторую неделю, рыская в поисках выхода из окружения. Отставшие от основных отрядов казаки решили идти к станции Култук по льду Иркуты, с тем чтобы уже за станцией выйти на тракт и железную дорогу в обход Байкала. Если же дорога будет захвачена врагом, оставалась возможность спуститься на лед Байкала и идти вдоль берега на восток. В эту пору лед на озере был еще крепок.

Вот в таком состоянии полного разочарования, раздумий и неуверенности передвигались по льду реки казаки и офицеры, чтобы спасти себя, ведомые знатоком мест сотником Кондратием Хватовым.

В деревне, переполошив собак, изводящихся в лае, казаки разместились во дворах, на которые указал Хватов. Казаков распределили по соседним избам, организовав постели прямо на полу, на которых и разместились вповалку. Время было позднее, и вымотанные дорогой люди, едва перекусив, уснули. В избах с прибывшими новыми постояльцами сразу распространился резкий мужицкий дух пота, табака, кожи и машинного масла. Господ офицеров с секретным грузом и охраной принял у себя староста в просторном своем доме.

II

При вхождении в Шаманку отряда колчаковцев деревня насторожилась, затаилась и ощетинилась. До глубокой ночи не спали мужики, все ждали — не пойдут ли по дворам шkodить прибывшие. Но поначалу обошлось: ночь прошла спокойно, и наступил морозный, в инее на избах и деревьях, в густом тумане рассвет.

Утром, едва рассвело и дымы из труб выстроились, устремившись ввысь, чем оживили зимний пейзаж, выпавшиеся и отогревшиеся казаки взялись навестывать упущенное: потребовали накрыть стол и подать непременно самогона да затопить баньку. На столе появился мороженный розоватый на срезе увесистый шмат сала с кристаллами крупной соли, аккуратно завернутый в белую ткань, пара хлебных караваев, десяток золотистых луковиц. В тазике торчала айсбергом и таяла большущая белая шайба замороженного молока. К столу хозяйка подала и чугунок свежесваренной, парящей и источающей аромат картошки.

Усевшись за стол, казаки вопросительно посмотрели на хозяйку — вдову, уже немолодую, и та, быстро сообразив, извлекла из подпола бутылку с самогоном. Казаки дружно рассмеялись и, судача, отметили, что приятно остановиться у столь сообразительной хозяйки. Женщина в ответ зарделась и, смутившись, быстренько ушла с глаз долой разгулявшихся мужчин.

Под одобрительные и сальные шуточки казаков хозяйка скрылась за печкой, где и сидела теперь в основном с притаившейся там девкой лет пятнадцати, которой было и любопытно происходящее в их избе, и в то же время одолевал страх: мамка наговорила строгостей и предостережений, требовала ни в какую не вступать в общение с пришлыми, опасаясь, что снасильничают малолетку. Девчонка, тем не менее, храбрилась и порывалась все выскочить, показаться лишней раз пришлым людям, но мамка одергивала девку и заставляла сидеть тихо.

— Не нарывайся, Ксюха, — цыкала на дочь мамка, а молодая, ощутив одобрение казаками ее показной решимости, все более вела себя так, как не подобает, по мнению матери, себя вести скромной девушке среди чужих мужиков.

К обеду нежданно прибывшие гости уже были изрядно пьяны и разбрелись по избам, в которых остановились для общения и долгих разговоров. Теперь, сидя по домам деревенских, казаки сокрушенно размышляли о том, что их ждет впереди. Ситуация складывалась так, что исхода их службе видно не было. Заговорили было о том, что пришла пора кинуть эту службу и отправиться по своим домам, а то, не ровен час, господа офицеры заведут их в такую переделку, что и ног не смогут унести.

Но возникли сомнения. Сомневающиеся заявили о том, что здесь среди тайги будет сложно найти нужную дорогу, и следует довериться знающему сотнику Хватову, чтобы вывел он казаков к железной дороге. Рассчитывали, что за Байкалом атаман Семенов со своими казаками сдерживает красных, и они смогут или примкнуть к ним, или двигаться дальше самостоятельно.

— А язык, как известно, и до Киева доведет, — завершил разговор урядник Запашный.

— И не только до Киева доведет, и до могилы проводит, — продлил мысль урядника, как выдохнул, сидящий у печи угрюмый с обвисшими усами казак Родион Хопров, который маялся который день желудком и от того имел крайне болезненный вид. Казаки в ответ на остроту Хопрова невесело рассмеялись.

Сокрушаясь, старый казак Селезнев, тем не менее, балагурил, понуро склонившись над столом:

— Раскудрит твою канитель — расплескали мы купель, прогневили небеса — нет нам веры, нет креста!

Сидор Крайнев, молчаливый уралец, вдруг тяжело вздохнул и изрек как бы для себя:

— И Господь нас покинул. Не чую я нынче поддержки Святой Троицы — молись, не молись. Может, и нет ее вовсе?

— Святая Троица? — оживился Хопров, — Нет, брат Сидор, в этом что-то есть. Как только возьмусь выпивать да третью стопку пропущу — всё, как будто отрезало — более не хочется. Но вот как только на четвертую-чертовку совращусь — всё, считай, очухаюсь только дня через три! Чуешь, Сидор, — через три!

Казаки дружно рассмеялись.

— Да, брат Селезнев, тут ты прав, что-то в последний год у нас все пошло не в лады. Красные потрепали за загривок да погнали нас, как белок по тайге гоняет добрая лайка, — понуро продолжил разговор урядник Запашный, штопая порванную гимнастерку и прилаживая погон с широкой полосой.

— Раскудрит твою коромысло, как ни гляди — все криво вышло, — продолжал свою унылую линию шуток-прибауток Селезнев в ответ на реплику урядника.

— Вот что мы тут сидим? И куда нас завтра поведет сотник? Бегём от самого Омска. А далее куда? Гуторят, в Китай. А что там я среди этой нелюди смогу найти? Дома уж заждались. Тебе вот хорошо, ты забайкальский, чем дальше идем, тем ближе к твоему дому. А я-то куда бегу, коли моя хата на Енисей-реке.

— Эх, браток ты мой Селезень! И то правда — ходим мы по тайге энтовой, как воши по складкам и швам одежи. Нет нам исхода, нет надежи, — высказался Запашный и продолжил: — Вот чую я, что скоренько надоест мне эта канитель лесная в скитаниях без цели и смысла да подамся я к дому. Так уж хочется прижаться к некоторым местам бабьим, что сил уже нет ожидать, и чтобы своя баба была, а не чужая приبلуда привокзальная, — закончил Запашный, мечтательно прикрыв глаза и разудыбавшись видению.

— Энто к каким таким местам прижаться желаешь? — спросил с хитрой ухмылкой Никифор Скорцов, забайкальский казак, разглаживая порыжевшие от дыма папирос кончики усов.

— Да ясно к каким — заповедным, — ответил, блаженно растягивая слова и прикрыв глаза, Запашный.

Дружный смех казаков стал тесен для горницы деревенского дома. В другой комнате, за печкой заплакал младенец. Кто-то из пришлых, перебрав самогону, прикорнул у стола, уронив отяжелевшую голову на руки. Кто-то засмолил самокрутку. Хата наполнилась сизым дымом. Из угла, где сидел на полу, на расстеленной с вечера кошке казак Федор Крюков, потянулись тягучие, тяжелые нотки пения и зазвучало гуровато, с надломом в голосе:

*— Жизнь-Матушка, ты моя погружка,
Ты моя награда, радость, да отрада-а-а-а.
Жизнь-Матушка — злая колотушка,
Ты моя невзгода, стужа-непогода-а-а.
Жизнь-Матушка — горечь и утрата —
За судьбу уплата-а-а-а, — уже навзрыд тянул Федор.*

Казак прислушивались, приуныли, а Федор продолжал тянуть жилы и выворачивать души загрубевших в боевых скитаниях солдат:

*— Как по жизни — жалкой укоризне,
Следуя невзгоде, я брежу оди-ин.
Потерял судьбину, я свою былину,
Потерял я нитку радостей свои-и-их.
Жизнь-Матушка — злая побирушка,
Ты моя потеря, злая канителя горестей мои-и-их.
Жизнь-Матушка, ты моя погружка,
Ты моя невзгода — жизни непогода... ты-ы-ы моя любо-овь...*

Казак примолкли. Каждый из них переживал свою историю, свою личную мелодраму, в которой были и оставленная станица или деревня, и родители-старики, жены, полюбовницы и детишки, плетень округ усадьбы да вековой тополь на въезде из деревни. Дети выросли уже за годы отлучки отцов, но каждый из них, вспоминая своих ребятишек, представлял тех такими, какими он их оставил, понимая, между тем, что дети у него выросли без отцовского пригляда и какие они теперь, трудно было представить. Кто-то, вздохнув глубоко, плеснул в кружку самогона и молча выпивал морщась, то ли от горького напитка, то ли от тяжелых и горестных мыслей.

— Умеешь ты, Федя, душу разбередить, — ответил на песню казак Селезнев и продолжил, надорвав газетку и скручивая из самосада сигарку: — И то правда, сломалась жизнь прежняя. А новая все как-то не народится. Сколько еще будем скитаться? А ведь так хочется хозяйством своим заняться. Мне так и снится, как я вернулся и взялся вдруг поправлять забор вокруг усадьбы. Это та работа, что всегда откладывал на потом, а взялся уже совсем перед призывом в войска, как будто чуял — уйду надолго и завалится ограда. Да так и кинул, не доделав до конца — не успел.

А в доме деревенского старосты Кубаенкова в обширном дворе, обнесенном добротным забором, разместились господа офицеры. Среди троих офицеров, выделяющихся среди мешковатых казаков выправкой, старшим по званию был полковник Александр Лаврецкий. Но, тем не менее, сохраняя субординацию, всем распорядился штабс-капитан Николай Соколовский, получивший распоряжение от самого Колчака сопроводить груз до ставки белых войск и передать все вывезенное в штаб. Выправкой среди их высокоблагородий выделялся подполковник Иннокентий Ракитский, штабной офицер, который без объяснения причин вместе с Александром Лаврецким по приказу верховного встал в строй и отправился вместе с эскадромом казаков искать удачу на таежных тропах. Теперь тщательно выбритый, в чистой натальной рубахе Лаврецкий сидел, накинув одну ногу на другую в начищенных до зеркала сапогах, и курил, с наслаждением потягивая ароматную папиросу «Салье».

Штабс-капитан Соколовский знал, что господа офицеры связаны с контрразведкой армии Колчака, и не доверяет высокому их положению и назначению у него не было оснований. Ему было только сказано, что и Лаврецкий, и Ракитский имеют особое поручение от главнокомандующего, а ему поручается за ними присмотреть да подсобить на марше.

В доме под охраной постовых офицеры отдыхали достаточно комфортно и сытно. С ночи едва перекусив, офицеры уснули, утопая в огромных пуховых перинах на кроватях в горнице. А утром, очнувшись от глубокого, близкого к обмороку сна, тщательно помывшись в протопленной утром бане, побрились и, облачась в свежие сорочки, наслаждались покоем и теплом.

Староста быстро оценил уровень и значимость постояльцев, тут же распорядился готовить еду поизысканнее. На стол были выставлены соленья, моченая брусника, сало, свежий хлеб и чудом сохранившаяся с давних времен бутылка коньяка. Коньяку офицеры были особенно рады. Прекрасный ароматный напиток благотворно повлиял на укрепление духа уставших от перехода и холода офицеров. Долгая дорога в седлах давала о себе знать: офицеры простыли, и особенно одолевал кашель Лаврецкого. Но за ночь пропотев, полковник с утра выглядел сносно здоровым, а после коньяка раскраснелся и даже собрался пойти прогуляться по морозцу.

Сотник Хватов, понимая, что времени на отдых иркутские комитетчики им, видимо, не дадут и отправят вслед отряду свою боевую группу, решил, что суток им хватит, чтобы отдохнуть, а потом обязательно нужно уходить. Свои соображения он донес штабс-капитану Соколовскому, и, посоветовавшись, они решили, что завтра с утра надо выступать.

— Согласен, сотник. Незамеченными нам пройти не удалось. Пришлось пострелять у поста на выходе из города, а значит, в курсе наши оппоненты, куда мы направились. Думаю, и про груз наш они осведомлены, — ответил на слова Хватова штабс-капитан.

— Да, тихо пройти было нельзя. Там у них пост был скрытно поставлен — замети-ли, — отвечал, потупившись, Хватов, вспомнив отчаянную перестрелку, когда ранним утром, еще в полутьме рассвета наткнулись они на пост, укрытый крутым обрывом на изгибе реки и густым лесом.

Тогда пришлось прорываться в отчаянной скачке, подавляя огонь с поста из ручного пулемета. Пулемет был американский крупнокалиберный, скорострельный, и его удалось выкупить с несколькими ящиками патронов за золотой брусок у чехословацких легионеров. Бил он так, что молодые березы и тонкие лиственницы срезал невероятно плотный огонь. А при попадании в тело солдата шансы на выживание были минимальны: отрывало конечности и такие оставляло раны на теле, что свободно мог пройти кулак на выходе пули из тела.

Между тем казаки, отдохнув и разомлев от самогона, повели себя развязно. Из хат стали слышны крики, и уже из одной избы с высокого крылечка выскочили, размахивая кулаками, хозяин двора и пьяный казак. На крыльце рядом с пьяным казаком стоял с белым как снег лицом молодой совсем еще мужик и рвался кинуться на обидчика. На нем висла молодуха в разорванной сорочке и широкой юбке, растрепанная, с искаженным плачем лицом и не давала вязаться мужику в драку, с криком и причитаниями:

— Паша! Не встречай, родненький! Порешат казаки тебя! Пусть батя поразговаривает с ними!

Хозяин хаты оттолкнул жену и взялся лупить кулачищами умело-размеренно и размашисто едва державшегося на ногах пьяного казака. Казак нескладно отбивался и, плохо ориентируясь спяну, едва стоял на ногах. Мужик схватил его, практически оглушенного, за шиворот, протасил по двору и выбросил за ворота в снег улицы. Размазывая кровь по разбитому лицу и истошно вопя:

— Бьют, служивые! — казак кинулся, спотыкаясь, к коновязи и, разглядев, что коня его тут нет, бросился во двор большого дома, где собралось до десятка колчаковцев.

Тут же из двора на улицу вывалились несколько вооруженных казаков, один в исподнем, но в папахе и уже сидя на коне, размахивал шашкой. Казаки кинулись во двор к обидчику. Хлопнул выстрел, потом ответный, явно глуше — видимо, из нагана. Вслед тут же в ближних дворах заголосили женщины, залаяли собаки.

Во дворе завязалась потасовка. Прибежавшие казаки свирепо избивали вступившихся за своего родственника мужчин: старого, уже седого хозяина подворья тут же ударом по голове опрокинули в снег. Молодого сельчанина, что только что гвоздил казака кулаками, свалили на землю и взялись избивать нагайками, добавляя в запале тугие тяжелые удары коваными сапогами, и в ответ на отчаянное сопротивление, стали забивать мужика прикладами карабинов, до тех пор пока тот не потерял сознание.

Из избы вышел на крыльцо совсем старый дед с берданой и пальнул над головами

собравшихся во дворе казаков. Те настороженно остановились, но, не дав перезарядить ружье, сшибли старика с ног и скинули с крыльца. На снегу появились пятна крови, и унылая атмосфера насилия и страха повисла вокруг.

Хватов, услышав хлопки выстрелов, на неоседланном своем мерине примчался к месту событий и едва успел пресечь расправу над несговорчивым мужиком и его семьей. Несчастных под дулами карабинов уже поставили к стогу сена на заднем дворе и теперь измывались, демонстрируя силу. Когда Хватов подъехал, у стога стояли деревенские: согнувшись, весь в кровоподтеках знакомый ему Платон Сердюков, его старший сын Павел, бледный как полотно, и старик — отец Платона. Платон Сердюков держал беспомощно обвисшую руку и, скривившись беззубым ртом, пузыря кровь на губах, слал проклятия и стыдил казаков:

— Што? Справились, вояки вшивые! Со стариками и бабами только воевать можете!

— Заткнись, старый! Мало кровушки хлебнул, — выдавил с угрозой в голосе казак Никонов и потянул шашку из ножен.

— Ироды, как вас только земля наша носит! — негромко, но внятно произнес старик и плюнул в сторону сгрудившихся казаков кровью из разбитого рта.

Казак Никонов, ощерившись, едва сдерживаясь, с шашкой в руке шагнул к Платону.

— Хватит бугагозить! Что вытворяете! Мы сюда не насильничать зашли! Прекратить! — завопил подскочивший к казакам Хватов, крутясь на своем мерине. Конь уловил волнение хозяина и теперь сопел, раздувал ноздри, пучил глаза и все норовил кинуться вскачь, но удерживаемый жестко натянутыми поводьями и удилами, что рвали губы, только вертелся, перебирал ногами и кидал копытами снег округ себя, выгнув шею, и был в этот момент необыкновенно красив. — Отпустить! Мужиков отпустить и всем по дворам разойтись! Собираться всем! Выходим из деревни уже нынче! — в сердцах, плохо соображая, кричал Хватов и для убедительности, не сдержавшись, огрел сгоряча ближнего казака нагайкой так, что у того от удара лопнула рубаха на плече и сразу окрасилась алым.

Казак охнул, пригнулся, присел и выронил карабин. Хватов, понимая, что не к месту разозлил казака, тем не менее отметил, что его решительность против суда над деревенскими на собравшихся казаков подействовала.

— Кондратий, да ты че?! Мы только хотели их пугануть! Успокойся! — включился в конфликт старый авторитетный казак урядник Михей Новоконов, которому всегда по-отечески обращался к сотнику как старший и более опытный служака, давно пребывающий под его командой.

— Хотите проблем? Нам ругаться с местными не с руки! — пытался донести до казаков важную мысль Хватов.

Все понемногу начало успокаиваться. Казаки стали расходиться, переговариваясь между собой и бросая косые, полные укоризны взгляды на Хватова.

Хватов соскочил с коня, проводил Сердюковых к дому.

— Что случилось-то? — обратился к Платону сотник.

— Так в доме ночевали двое из ваших, а седня пришел после бани один из них, страмина, совсем пьяной и давай Дашку, жену сына, лапать да тащить из хаты. «Идем в баню с казаком, спинку мне потрешь», — говорит и давай, зараза, жене Павла чуть ли не при всех подол задирать. Та ему по морде да в крик — вот и пришлось вмешаться.

— Я его выпроводил из хаты, так он в драку полез и привел своих дружков, — переживая произошедшее, трясущимися разбитыми губами затягиваясь самокруткой, вступил в разговор Павел.

— Понятно. Обычная история. Как выпьют — не люди, а сброд дикарей. Но понять их можно — считай, на холоде, без нормальной еды всю зиму, без бабьего участия, — оправдывал неуверенно своих казаков Кондратий.

Успокоив казаков и проверив караул на въезде в деревню, Хватов направился к дому своего соседа Ивана Зимина.

III

Еще на въезде в деревню хотелось Хватову зайти и показаться Матрене, которую он знал с малых лет и хотел взять в жены, как девушка подросла. Но война спутала все планы на жизнь, и, вернувшись после германца в деревню, увидел Кондратий уже замужнюю Матрену с мальцом у подола. Малец терся возле мамки и, стесняясь чужого дядю, прятал лицо, утыкаясь в подол и несмело выглядывал на него, а словив ответный взгляд, снова утыкался мамке в юбку.

Выходило так, что не дождалась Матрена его, хотя если быть справедливым, то, в общем-то, и не обещала она ему этого. Он ходил за ней, приставал, давал знать, что

люба она ему, но, по малости лет, девка все отшучивалась и серьезности в ее девичьем положении не показывала. Он собрался и ушел в войска, и вот на тебе — та, что должна, как ему казалось, рожать сыновей и дочек ему, Кондратию Хватову, вышла замуж и родила сынишку сморчку малолетнему — сыну Ивана Карцева. Сказывали, сын Ивана до сей поры не вернулся из войск, куда угодил уже позже Кондратия. Говорили, что как будто сгинул — ни весточки, ни памяти в письмеце хотя бы так и не было получено от солдата.

Но сердце — оно, неутомное, все хлопочет и хлопочет и порой, похлопотав, казалось, попусту, требует настойчиво того, что кажется безнадежным. Уже как бы и понятно, что Матрена жена другого, и довесок в лице сынка уже образовался, но тянуло Кондратия к ней. В прошлый свой приезд заходил, подарки дарил, но все впустую. Матрена его обсмеяла — залиvisto, весело, запрокинув задорно голову с тяжелой русой косой, платок цветастый, что подарил, правда, взяла, но большего не позволила.

И вот решил Кондратий зайти, еще попытать счастье. Тянуло его к Матрене, казалось, и сил не было стерпеть. Правда, не знал, что он ей скажет, что может предложить взрослой замужней женщине. Было понятно, что его война еще не закончилась и придется уходить на восток, но хотелось сказать о своих чувствах, что тлеи — не угасали, а от этого только сильнее бередили душу.

Нынче по приезде Кондратий было сразу пошел к Матрене, но удвора засомневался, а когда сама Матрена вышла из двора, затаился и только с восхищением смотрел на нее, отмечая ладную фигурку в полушубке, стройные ноги в аккуратных валенках и любясь знакомым лицом, укутанным в нарядный пуховый платок. Все в ней было и знакомо, красиво, и совершенно сейчас недосыгаемо.

Теперь, понимая, что времени на ухаживания-уговоры нет вовсе, отметив с горечью, как поднимается волна негодования деревенских против пришлых, Кондратий решительно вошел во двор и, едва обозначив свой приход, шагнул в избу, где сразу столкнулся с Матреной. В доме не было более никого. Матрена, увидев Кондратия, не удивилась, видимо, знала о его прибытии и понимала — придет непременно. Она ему в прошлый раз — более двух лет минуло — ничего не обещала, но чувствовала его жгучий мужской интерес к себе. Побаивалась его теперь Матрена, хотя знала с детства, с побегушек вдоль реки, когда счастливые кидались в воду, не стеснялись своих изманных лиц и простой легкой одежды, что едва прикрывала тело. Были они тогда бесечно веселы, и не было причин выяснять отношения.

Теперь женщина растила сынишку и ждала, еще надеялась дожидаться мужа, который в ее жизни появился нежданно в один из душных летних вечеров. Появился нежданно суженый, но стал вдруг быстро понятным и желанным: хотелось узнавать его больше и жить с ним одной общей жизнью. Но вместе побыть у молодых долго не вышло: отбыл на войну муженек, а теперь и отец ее сына. Мальчонка родился уже без отца, так и рос под присмотром мамы и старших — крепкого еще деда и бабушки.

Кондратий шагнул навстречу Матрене, но ощутил холодок в ее серых глазах и оттого сразу закипел, взялся горячо убеждать в том, что он для нее на все готов и ждет только, что она решится и будет с ним.

— Матрена, мы нынче уходим к Култуку, а потом через Верхнеудинск и Читу в Китай, в Манчжурию. Деньги есть — разжился у Колчака на службе. Я все сделаю для тебя. Прошу настоятельно — поедом со мной, — деланно, меняя голос, стараясь придать большей значимости словам, начал свою речь Кондратий.

— Я тебе уже все, Кондратий, объяснила. Это не детская игра или забава какая. Я жена, и у меня сын растет. Зачем я поеду с тобой? Не люблю я тебя, и я тебе это не раз сказывала. Ступай уже с миром, езжай в свой Китай, мне он даром не нужен, — прямо глядя ему в глаза, ответила Матрена.

Кондратий шагнул было к женщине, пытаясь быть ближе и объяснить ей то, как он к ней относится и какую она делает ошибку, отказываясь от него, от его предложения поехать с ним. В сенцах стукнула входная дверь, раздались шаги, и сразу отворилась дверь в дом. Кондратий отступил от Матрены, продолжая смотреть на нее. На пороге вырос отец Матрены Иван. Войдя в дом и увидев Кондратия, Иван нахмурился и, твердо ступая, так что под его грузным телом заголосили половицы, встал напротив Кондратия лицом к лицу.

— Ну, привет, служивый! Как это тебя занесло к дому родному в это лихолетье? — спросил односельчанин, прямо глядя в глаза сотника.

— Дела службы. Вот мимо проезжали, встали передохнуть, — смешавшись под взглядом Ивана, который по-соседски не раз угощал его в бытность мальцом конфетами и наказывал за шкодность, было такое — и таскал за ухо, когда, разгулявшись, шумели и дрались пацанами между собой.

— Дела службы, говоришь? Народ насильничать — это ваши дела службы? Злыдни!

Лоскуты вы от шубы драной! Народ мордовать — вся ваша правда! — прищурился глаза и насупившись, высказал сотнику Иван свою горечь.

— Ладно. Я пойду. Рад был свидеться с земляком, — смутился сначала, но тут же разозлился Кондратий, потянулся было к шашке, но сдержался, набычился и только отвесил едва заметный поклон, крутанулся по-армейски и вышел из дома вон, крайне раздосадованный встречей.

По дороге вспомнил Кондратий, как из девчонки с длинными, нескладными, как у новорожденной телочки, ногами превратилась в ладную девицу Матрена. Так было это стремительно. Было ей четырнадцать — сидели, бывало, на бревне, что лежал у забора вдоль улицы под сиренью и лужгали семечки, говорили, много смеялись, а потом бежали к реке наперегонки, где на берегу над обрывом к толстой ветке тополя были подвязаны качели. Кондратий поддавался в беге, и Матрена успевала первая усесться на дощечку, и он раскачивал ее. Матрена звонко смеялась и парила над рекой в ритме раскачиваний, взмахивала своими длинными ногами в такт с качелями. Через год, едва к весне ей пришел пятнадцатый годок, Матрена вся соблазнительно округлилась да налилась. И теперь уже не просто было уговорить Матрену допоздна сидеть на бревнышке и качаться на качелях. С оформлением внешним, проявились и черты характера, повлиявшие на поведение. Из подружки Матрена для пацанов стала вдруг барышней, и такая красота и свежесть были в ней, что не налюбуешься.

Так вот Матрена изменилась за короткий срок и хотя избегала теперь встреч наедине, оказались они, тем не менее, одни на задворках в тихий июньский вечер. Случайно или нет, но случившееся было по согласию, в едином редкостном порыве, и было заметно, что Матрена ждала его, волнуясь. Обнял Кондратий Матрену. Был он постарше и знал уже, что с бабой в такой момент следует сделать, но каким-то невероятным усилием сдержался, а когда наваждение прошло, ощутил неловкость. Вдруг представил Кондратий отца Матрены. Суровый и мощный был этот человек. Охотник-медвежатник, грудь сундуком выпирала из-под рубахи, а ноги коротки и кривоваты, видимо, оттого, что с трудом несли по непростой жизни могучий торс. И вправду, через день, когда Кондратий шел мимо по-соседски, прихватил его за ворот баты Матрены и увлек за сарайку, где без предисловий прорычал:

— Матрену тронешь — приблю!

Кондратий смолчал. А что тут скажешь? Доложили, видать, деревенские наблюдатели, что лапал он Матрену за огородами. На деревне даже заборы и ставни имеют глаза.

Все видели, в какую красавицу выросла дочка Ивана. А юная дочь-красавица для отца — гарантированное беспокойство до самой свадьбы. Как бы не сбилась с пути.

Не тронул тогда Кондратий Матрену и не знал теперь — хорошо или плохо это для него обернулось. Тогда был шанс привязать девицу к себе, а теперь он безнадежно отстал и напрочь отвергнут.

После того памятного разговора с отцом Матрены вовсе отшибло всякие мысли думать о своем чувстве-страсти, что он испытывал к красавице-соседке. Но то, что горело когда-то в груди, никогда не прогорает без следа. В далеких окопах войны в Галиции Кондратий часто вспоминал мгновения того безмолвного откровения, что испытал он с Матреной. И, сидя в окопе, тихонько подпевал солдатам:

*Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
То каждый гумал о своей
Любимой или о жене...*

И хотелось думать ему о Матрене так, как будто была она суженой, что обещала и ждала его. Были у Кондратия женщины — за время службы разных он встречал. Все в основном местные, безмужние-замужние женщины-солдатки, что порой сами искали навязчиво утешения с мужчинами. Но все эти женщины воспринимались только как собеседницы, с которыми можно, потолкавшись плотью, говорить о жизни, но не хотелось эту чужую жизнь переживать рядом.

IV

На краю деревни хлопнул выстрел, потом второй, и дружно в ответ залаяли собаки. Хватов выскочил из дома, едва накинув бекешу. Ему теперь больше всего не хотелось проблем и стычек с односельчанами. Навстречу Хватову бежали два казака из караула и, увидев сотника, выдохнули разом:

— Там нашего кончили деревенские. Кто убил, не знаем — убег. Слышали крик и стон, подошли, а там в проулке казак лежит в кровище. Похоже, вилами его, сердешного, в живот и грудь саданули. В темноте кто-то сиганул в сторону леса. Мы пальнули вслед, но как в белый свет — ушел, паскуда.

К Хватову и казакам из караула подошли другие казаки и, узнав о происшествии, тут же решили, что виноват муж той деревенской, к которой приставал убитый накануне.

— Сердюков Павел, — назвал имя Хватов, хорошо знавший мальчика Пашку в ту пору, когда уходил на фронт.

— А с чего решили, что он? Видели али как? — спросил один из казаков.

— А кому это еще треба? Обиделся, видать, что бабу его снасильничать то ли хотели, то ли снасильничали, — ответил неохотно один из караульных. — По всему видать, молодой был с вилами, тикал быстро и петлял, как заяц по тропе.

Разбушевавшиеся казаки, сдерживаемые Хватовым, вломались в дом и выволокли во двор Платона Сердюкова и его невестку. Сына Платона, как и ожидалось, в доме не нашли. Несмотря на вмешательство Хватова, старые казаки требовали наказать виновных, а коли сам виновный убежал, наказать его близких. Когда Хватов попробовал накричать на служивых, убеждая, что лучше тихонько завтра уйти, получив в деревне продукты и свежих лошадей, урядник Михей Никонов, мужик, в общем, спокойный, дыхнул в ухо Хватову горячим:

— Ты охолопись, сотник, а не то пулю словишь невзначай на переходе, как палить начнут. Мужики уже за столом обменивались, что нужно тебя наказать за то, что нагайкой огрел Степку вчерась так, что рука у мужика отнялась, — помолчав, Михей уже более мирно повторил: — Охолопись. Боюсь, дело до стрельбы дойдет. Пусть пар-то выпустят казачки, успокоят душу.

Пришлось Хватову дело пустить так, как оно развивалось. Он молча, сцепив зубы, смотрел теперь, как накинули вожжи на перекладину у сеновала. Отбивающегося и кричащего оскорбления Платона подтащили и, набросив петлю на его шею, дружно потянули конец и вздернули бьющегося в истерике тело сельчанина.

Бабы, невестка и жена Платона, в отчаянии кидались на казаков, прорвались к повешенному и теперь стонали в отчаянии у его ног, упав на колени. Казаки расступились и молча смотрели на причитающих в отчаянии женщин, и только некоторые из них, матерясь, несколько раз оттянули плетью по головам и спинам голосащих и ушли, озлобленные, неудовлетворенные наказанием, по своим дворам.

Деревня затаилась, спряталась, напряглась — даже дворовые псы примолкли. Хватов знал своих сельчан. Он подумал, что хорошо, что он не ввязался в акцию наказания, так как здесь в деревне оставались его престарелые родители и сестра. Он надеялся на благоразумие односельчан, но понимал, что для них все, что случилось теперь, еще обернется долгими въедливыми попреками и отольется горькими слезами.

К утру, когда было приказано собираться в дорогу, Хватов с группой казаков направился по богатым дворам, чтобы взять хлеб, сало, овес для лошадей. Такая договоренность предварительно была сделана и даже внесена оплата, правда, деньги нынче ценились плохо, и деревенский староста, скривившись, взял их с неохотой. Но общал, что переговорит с мужиками, и соберут они все, что просили служивые.

Теперь же ворота вдоль всей улицы были закрыты наглухо, а во многих домах с утра ставни вовсе не открывали: деревня заняла оборону. Хватов колотил рукоятью нагайки в ворота, но никто не открыл. Пришлось идти дворами и лезть через забор из жердей. Оказалось, хозяин был дома, насупленный сидел за огромным столом и на вопрос Хватова ответил, что деревенские плохо отнеслись к просьбе и почти ничего не дали.

— Так отдай, что привезли, — потребовал сотник, теряя терпение.

— Там у бани под навесом мешки с овсом. Сало возьми у меня — есть в запасе немного, к зиме кабанчика забил. Хлеб вчерась напекли — забирайте да уходите скорей, сказывают, мужики из деревни, те, кто с оружием пришел с войны, да охотники подались на займку. Сказывали — готовят вам на проводины всыпать, если не уйдете подобру-поздорову.

— Пугать взялись? — тут же взъялся урядник Никонов, вынимая шашку.

Староста ответил максимально миролюбиво:

— Зла множить не хочю. Лучше быстрее уйдите, меньше будет крови. По реке если начнут вас преследовать, далеко не сможете убежать, там только по льду реки идти можно, а с берега все простреливается, особенно со скал. Наши-то эти тропки все знают наперечет, поснимают вас, как глухарей, опомниться не успеете.

Собрав запасы, Хватов отправился в сторону дома, в котором жили офицеры из колчаковского руководства. Офицеры держались аккуратно, в сторонке от казаков, и теперь нужно было организовать их благородия для дальнейшей поездки.

Штабс-капитан Соколовский, подполковник Ракитский и полковник Лаврецкий, встретили Хватова молчаливо, насупившись. Первым раздраженно заговорил Ракитский, сухой, средних лет господин офицер из штабных холеных чиновников:

— Что там за переполох, сотник? Почему возникли трения с местными? Ты пони-

маешь, что нам теперь не дадут спокойно уйти до станции?

— Виноват, ваше благородие. Казаки выпили, распоясались малость. Но опять же — убили нашего казака зверски на краю деревни. Никак сдержать было нельзя казаков, — сцепив зубы, оправдывался Хватов, думая о том, что легко господам рассуждать и отчитывать его, просидев все время безвылазно в доме старосты. А каково ему было сдерживать пьяных и озлобившихся казаков.

— Когда выходим? — сгладил возникшее напряжение штаб-капитан Соколовский.

— Все взяли из продуктов, что смогли — на несколько дней хватит. Да и тащить большой груз с собой будет тяжело. Коней, которых требовалось перековать — перековали, трех коней поменяли. Тут пришлось заплатить хозяевам — выдали кое-какие монеты старого чекана. Бумажные кредитные билеты брать отказались наотрез — ученые, мать их ети! Понимают, что ничего эти бумажки уже не стоят. Выдвигаемся вскоре — собирайтесь, господа офицеры. Сейчас пришло казаков погрузить ящик с документами, и в путь.

V

Казаки, ощущая сгущающиеся над их головами тучи гнева деревенских, по приказу торопливо выстроились в колонну по два и ходко пошли к реке. Спустившись на лед, тронулись рысью вдоль берега по наезженной дороге. Но вскоре за деревянной дорогой закончилась, и пришлось передвигаться по снегу, которого было не более полуметра, а местами, где русло продувало ветром, был виден лед. Скакать стали помедленнее — лошадям было тяжело. Животные захрипели, закрутили головами, морды лошадиные покрылись изморосью, воздух из ноздрей выходил в виде клубящегося пара, пахло конским потом, а в воздухе висело тягостное напряжение. Все в основном помалкивали, слышались только возгласы, направляющие коней.

После деревни река тянулась, петляя вдоль скалистого высокого левого берега, правый же был плоским, заросший густым лесом. После двух часов пути, когда, казалось, можно немного облегченно вздохнуть и накал от ожидания нападения со стороны деревенских несколько спал, над головами громыхнуло нестройно. По льду, припорошенному снегом, хлестанула, словно плетью, картечь — утробно загудел лед, ему ответило эхо. Свинцовый заряд обрушился на скакавшего поодаль от сотника Хватова казака, и у коня сразу подломились ноги, он присел задком на лед и еще несколько проскользил по инерции, а потом запрокинулся набок и захрипел. Казак, что сидел на коне, схватился за развороченное зарядом лицо и свалился замертво.

Картечь и крупные заряды рикошетила ото льда, поднимая снежные всполохи. Одна из пуль, судя по звуку при полете — крупный жакан, ударила в лед возле мерина Хватова и рикошетом угодила в конское подбрюшье. Животное рванулось, закричало от боли и, сделав скачок в сторону, пошло боком, заваливаясь на снег, покрывавший лед реки, тяжело с хрипами дыша, но все еще пытаясь взбрыкнуть и встать.

Хватов едва успел выбраться из-под упавшей лошади и теперь лежал за ней, отстегивал от седла карабин и, невольно косясь на вытянутую на льду конскую шею с бьющейся жилой и запрокинутую голову, отметил с болью, как страдает, истекая кровью, распластавшись на льду, его верный конь.

Стреляли с вершины скалистого крутого берега, на который прямым без веревки забраться было невозможно. Освободив карабин, Хватов стал бить, выцеливая мелькавшие между деревьев и камней на вершине скалы фигуры. Он понимал, нужно попасть хотя бы в одного из них, чтобы унять пыл нападавших.

Следовало уходить, но кто-то должен был прикрывать отход. Опытные воины, что собрались в отряде, и сами это понимали. Двое спешили и, прикрывшись уложенными по команде на лед своими лошадьми, стали бить бегло из карабинов в направлении вершины скалы, где то и дело мелькали головы стрелков. Вскоре на подмогу к спешившимся казакам подъехал казак с ручным пулеметом и, устроившись на льду, сыпанул смертоносным горохом по вершине скалы. Острые края скалистой вершины затянуло пылью от ударившего по ним свинцового града. На скале сразу притихли, попрятались, и наступила краткая тишина. Сотник вскочил на ноги и, выстрелив в очередной раз в направлении скалы, запоздало скомандовал:

— Прикрываете нас и отходите следом! Мы вас прикроем на отходе!

Хватов кинулся вслед отряду, и один из казаков, крутнувшись на своем скакуне, вернулся за сотником, и тот, уцепившись за седло, побежал за конем. Казак придержал коня, помог уставшему бежать следом сотнику забраться на круп и, с гиканьем нахлестывая коня, послал его вдогонку за основной группой всадников.

Теперь Хватов огляделся. Отряд тянулся нестройной колонной впереди, благополучно уходя из-под огня. Казаки погоняли коней, припад к гривам. Позади отряда последним скакал раненный казак. Он то заваливался на шею коня, то

отклонялся назад и уже почти вываливался из седла, но, борясь за жизнь, вновь наваливался на шею лошади, и было видно, что его серьезно достала пуля. Сзади Хватов насчитал двоих лежащих на снегу казаков, а их лошади кружились поодаль. Те двое, что остались прикрывать отход основной группы, постреливали, сдерживали активность нападающих, и было самое время их заменить.

Спешившись, Хватов стал стрелять в сторону скалы, где еще были видны суetyающиеся фигурки нападавших. То же самое делал и казак, что его подобрал, но, не сходя с лошади, а лихо, положив карабин на левую, согнутую в локте руку, бил, держа оружие одной правой. Оставленные для прикрытия казаки, поняв, что им дают возможность отойти, вскочили залихватски в седла и теперь ходко скакали вслед за отрядом. Один из казаков держал в поводе лошадь убитого в бою и, подъехав к Хватову, передал ему поводья.

— Как будто оторвались, но двоих потеряли, — констатировал один из подъехавших казаков, и все четверо кинулись вслед уходящему отряду, нахлестывая коней.

Повернув за выступ скалы на повороте реки, отряд окончательно вышел из-под обстрела. Повисшего на коне, истекающего кровью и уже умирающего казака сняли и положили на берегу. Пуля ударила его сверху в спину, пробила легкое, разворотила грудь, и солдат умирал, заливая седло и шею лошади кровью. Хоронить бойца не было ни возможности, ни времени.

— Сколько было нападавших, заметили? — спросил Хватов одного из казаков, что вели перестрелку с деревенскими.

— Три винта били и пара ружей. Одного я, кажись, завалил. Получается, то ли пять, то ли четверо осталось, — ответил опытный казак.

— Да. Видимо, так. Возможно, впереди нас еще ждут неприятности, — закончил подведение итогов скоротечного боя Хватов, понимая, что часть деревенских могла уйти вперед и готовит им новую засаду в самом неудобном месте. Возникал вопрос — в каком таком месте? Таких мест на реке было не счесть.

Двигаясь по руслу реки между скал, отряд казаков вышел на открытое место. Слева открывалось снежное пространство — очевидно, приток реки, укрытый льдом. Русло речки, петляя, раздвигало тесные прибрежные заросли и углублялось в гущу тайги. Вокруг притока стояли густо сосны и ели, и лесная таежная чаща выглядела неприступной стеной, тая черноту глубины лесных необъятных пространств. У слияния водных потоков, упрятанных ныне под лед, на берегу разместились несколько строений и приземистая бревенчатая изба за оградой. По всему было видно, что место обжитое: к строениям вдоль русла реки вела наезженная санная колея.

Казачий эскадрон, возглавляемый сотником Хватовым, двинулся к дому, рассчитывая что-то разведать и несколько передохнуть после скоротечного боя и перехода. Когда до изгороди осталось не более двух сотен шагов, из-за лесного массива у изгиба притока к Иркуту показалась совершенно неожиданно группа всадников числом в два-три десятка. Встречный отряд, очевидно, тоже не ожидал встречи и по команде встал. Было видно, как напряженно вооруженные люди вглядываются в движущихся по льду реки казаков, растянувшихся по узкой набитой копытами коней тропе.

Впереди отряда был сразу заметен человек в черном массивном одеянии — кавалерийской бурке, с черной окладистой бородой и в башлыке. Было видно, как он отдает команды, энергично размахивая рукой, как что-то говорит своему ординарцу, склонившись над ним, словно черный ворон над добычей, и тот, резко на месте развернув коня, помчался назад к лесу. Конь посыльного ходко затараторил по мерзлой дороге металлом подков, выбрасывая из-под копыт снег, и вскоре скрылся за поворотом. Затем бородатый поднес к лицу бинокль, внимательно высматривая движущихся по реке всадников, и снова стал походить на грозную птицу с сияющими глазами-окулярами, что оглядывает окрестности, готовясь кинуться камнем вниз и захватить добычу. Временами командир убирал бинокль от глаз и говорил, поглядывая на обступивших его всадников, и энергично жестикулировал рукой, в чем-то убеждая подчиненных и отдавая распоряжения.

Казаки решили ретироваться, не зная численность отряда и его боевого настроения. Было ясно, что это только авангард, а основные боевые силы на подходе. Хватов приказал казакам, приставленным к охране груза, и штабных офицеров во главе со штабс-капитаном Соколовским уходить по реке, не останавливаясь, не мешкая и не вступая в стычку. Эта группа успешно прошла открытый участок и скрылась за поворотом Иркуты. Оставшихся казаков Хватов развернул в сторону атакующих и отдал команду приготовить оружие.

Между тем замеченный отряд развернулся боевым порядком и поскакал навстречу. Можно было отметить, как энергично и властно направил своих подчиненных взмахом руки их предводитель в черном одеянии. Теперь он скакал впереди отряда на

белом красивом скакуне, а над его головой яростно и грозно засверкал клинок шашки. Башлык на скаку соскользнул с головы командира, и теперь с непокрытой косматой головой он летел без страха навстречу схватке. В повадках всадника чувствовался умелый наездник — так уверенно, играючи он правил конем и властно звал за собой подчиненных. Вокруг всадника в черном одеянии скакали другие, не менее экзотично одетые наездники. Были тут персонажи в татарских малахаях, остроконечных меховых шапках, в кавказских папахах, полушубках разного фасона, с развевающимися башлыками и все с искаженными криком лицами. Над несущейся плотной массой конников нестройным лесом колыхались лезвия шашек.

Хлопнули первые выстрелы со стороны наступающих. Казаки, вскинув карабины, дружно ответили. Среди атакующих казаков всадников появились первые жертвы: один из коней на скаку споткнулся и завалился, на другом коне всадник вывалился из седла и, нелепо вскинув ноги, рухнул на снег.

«А-а-а-а!» — неслось нестройно навстречу казакам. Внимание привлекал и произвел на казаков тягостное впечатление стяг над головами атакующих. Флаг был черным с тяжелой бахромой, словно от театрального занавеса, и на развевающемся полотнище был виден начертанный серебром череп и скрещенные под ним кости.

— Анархисты, — отметил Хватов и вспомнил разговор с местными под Иркутском, что есть такой эскадрон у красных, состоящий из анархистов Нестора Каландаришвили, сплошь состоящий из уголовных отморозков самых разных национальностей, прибывших к его отряду в долгих рейдах по Забайкалью и Приангарью. Об отряде «красных анархистов» много говорили в войсках, отмечая отчаянность и жестокость «раскосой» банды.

Атака стремительно развивалась, и казаки ничего не нашли лучше, как пуститься прочь от наступающих их всадников, на ходу отстреливаясь. Хватов понимал, что его эскадрон могут просто вырубить стремительным наскоком во фланг, и приказал строиться в боевой порядок. Но атакующие настигли уже казаков на развороте при перестроении и врубились в гущу. Послышались глухие удары сшибленных конских тел, звон скрещенных клинков, тяжелое сопение, ржание и топот коней и, по своей сути, нечеловеческий вой, визг и грубый мат на разных наречиях. Под сбившимися в смертельный клубок конями и всадниками загудел утробно лед реки.

Хватов крутился на своем коне, отдавая команды, когда к нему подлетел с искаженным от крика лицом косматый азиатской внешности всадник в причудливом малахае с занесенной шашкой. Нападавший отчаянно визжал, широко раскрытыми глазами буравя противника. Сотнику удалось пришпорить коня, отклониться и уйти от прямого столкновения. Конь нападавшего ударил лошадь Хватова грудью в круп и едва не опрокинул. Получив удар, конь присел на задние ноги, устоял, но его развернуло так, что сотник совсем рядом увидел нападавшего на него то ли киргиза, то ли китайца. Даже пахло табаком, чесночным угаром и прокисшим запахом немытого тела. На одно мгновение противник Хватова оказался не защищен, и этого краткого времени хватило: занесенная над головой шашка, сверкнув при свете угасающего дня, обрушилась на косматую голову анархиста сзади. Удар вышел неловким и неточным, голова азиата уцелела, но наконечник лезвия рассек ворот халата и шею несчастного. Тело нападавшего обмякло, и он завалился, хрипя, набок, раскинув руки, пытаясь на прощание обнять весь мир. Кровь из раны хлестанула струей, заливая тело всадника и шею коня.

«Зацепил-таки», — пронеслось в голове Хватова. Клинок выпал из сжимавшей его еще мгновение назад мертвой хваткой руки атакующего анархиста и ткнулся беспомощно в снег. Конь, почуяв кровь и то, что наездник уже не правит им крепкой рукой, теребя и натягивая поводья, рванулся в сторону, неся на себе беспомощного седока, у которого безвольно болталась голова на подрубленной шее.

Всадник-атаман в черной бурке, с огромной смоляно-черной окладистой бородой, смело ввалился в схватку, опрокинув на лед реки первого попавшегося на его стремительном пути казака мощным косым ударом, и теперь, не теряя темпа, рубился с другим, умело отбиваясь и нападая. Кони крутились, вытаптывая снег, кося на выкате глаза, скаля зубы и тяжело выдыхая раздутыми ноздрями горячий воздух. Белый жеребец под черным всадником вытянул шею, оскалился и стал кусать коня противника, демонстрируя свое полное боевое единение с хозяином. Вдруг хлопнул непонятно откуда дымный на морозе выстрел, пахло серой, и было видно, что пуля зацепила всадника в черном. Он дернул плечом, лицо его перекошилось от боли, и атаман завалился на шею коня. Верный выученный конь тут же вывалился из гущи бьющихся между собой казаков и красных кавалеристов на открытое поле и, перебирая ногами по снегу, пошел в сторону от места схватки.

Всадник, который только что вел схватку с атаманом и вывел его из боя, воодушевленный победой, кинулся к бьющимся рядом. Это один из казаков отбивался

от наседавшего на него мужика в папахе и серой бекеше. В нападавшем сразу угадывался кадровый военный, так все на нем было ровно подогнано и выглядело уместным и удобным для боя. Бился всадник в папахе очень умело и даже мастерски и вот-вот должен был вынести из седла казака. Но ему это сделать не удалось. Подскочив сзади, казак, одолевший атамана скрытым выстрелом из маузера, рубанул шашкой по спине наседавшего на его товарища наездника. Натянутая на спине бекеша лопнула, и страшная рана вдоль тела наискосок мгновенно наполнилась кровью и надломил всадника, и он, дернувшись, выгнулся и завалился назад. Папаха свалилась с русой стриженной головы, и в суматохе боя могло показаться, что это сама голова отделилась от безжизненного тела.

Такие отдельные стычки случились повсеместно. Казаки крутились на взмыленных переходом конях, отбиваясь от наседавших анархистов. Снег обильно окрасился кровью. Над полем боя клубился пар. То тут, то там лежали зарубленные всадники, а кони, оставшиеся без седоков, вконец ошалевши от запаха крови и тесной сутолоки, уносились от места боя, взбрыкивая и оглашая ржанием долину реки, протестуя против непонятной и не принятой ими жестокости и убийств.

Казаки, потеряв несколько человек, тем не менее, устояли и отразили первый наскок и сразу, не мешкая, потянулись, отстреливаясь вдоль берега по руслу реки вслед ушедшим ранее вверх по реке казакам с грузом и офицерам. Нападавшие прекратили натиск, отметив, что их атаман покинул место рубки, навалившись на шею коня. По свесившейся слабой руке в снег стекала кровь. К Нестору подъехали его подчиненные с обеих сторон и стали поддерживать, направляя коней в сторону строений на берегу реки. Посутившись на месте рубки и подобрав раненых, всадники потянулись следом за командиром и его сопровождающими всадниками.

Нестор получил пулю в левое плечо и направился в сопровождении сослуживцев к дому, что стоял у реки. За ним следом подъехали его верный ординарец лезгин Кура и помощник китаец Наньфу. Оба были обеспокоены ранением Нестора и, соскочив с лошадей, помогли раненому спуститься на землю. В доме, в котором ютилась семья местного отшельника и пасечника Гурьяна, Нестора уложили на кровать, и хозяин дома, человек с навыками травника, промыл рану, приложил распаренный травяной сбор и туго перевязал пробитое плечо. Нестору сразу полегчало.

Гурьян был из староверов, но, разругавшись с единоверцами, перебрался от них через реку и поселился в выстроенном на слиянии рек доме и выживал теперь с семьей среди тайги, изредка наведываясь в обитель и Шаманку.

Пуля прошла навывлет, повредив плечо, но кости остались целыми. Было понятно, если не будет воспаления, рана затянется, и все в основном наладится достаточно скоро. Пасечник обнадежил, что промывание раны настоем чистотела с набором трав не даст развиваться воспалению и уже завтра боль отступит, а через пару недель и вовсе все будет почти как прежде. Нестор приободрился и дал указания своему помощнику — неистовому Наньфу преследовать казаков.

— Больно шибко огрызаются, надо бы подождать подмогу на тачанке, — картавя и коверкая слова, посетовал китаец.

— Упустим, пока ждать будем, нужно идти за ними след в след и выщелкивать по одному. С реки они в тайгу не сунутся, там снега еще по пояс. А на реке они как на ладошке. Давай, Наньфу, не тяни, отправляй людей за ними. Отправь группу с пулями в обход, чтобы встретили казачков выше по реке, — жестко возразил и дал наставления Нестор, пристально пресуя взглядом своего помощника черными на выкате глазами с ослепительно белыми белками.

— Хорошо, Нестор, — смиренно ответил Наньфу, зная уже, что если Нестор принял решение и дал указания, спорить с ним не стоит. Наньфу низко кивнул и вышел из дома пятясь, оставив Нестора на попечение хозяина. Гурьян, отметив, что атаман разобрался с делами, взялся потчевать его медом.

— Тут у меня улья стоят на косогоре. Самый солнцепек — в июле просто редкостная русь — поляна все лето полна солнца и разнотравья. Травы цветут невероятно обильно и самые редкостные виды — в июле до того тепло, ароматно от цветов. Я медок с этой поляны не могу сравнить ни с одним другим. Просто целебный медок получается. Свежим, сразу после сбора, подышишь только и уже здоровеешь на глазах. А то, как напластаешься за день по хозяйству — чайку с иван-чаем и медком попьешь с вечеру — спишь без ног, а утром сил — закрома ломаются. Вот похлебайте отвар с медком и завтра уже сможете скакать, — делился с Нестором пасечник.

— Чай давай — я это с удовольствием. Давненько я медком не баловался. Повезло мне угодить под пулю у твоего дома, — уже веселее отвечал пасечнику Нестор, скаля в улыбке белые, совсем еще молодые зубы.

Отряд Нестора тем временем, определив в дом еще двоих раненых, отправился по следам уходивших от них казаков по реке. Казаки неспешно отступали, растянувшись

вдоль берега нестройной группой. Один их последних, боевой казак Сотников, замыкал строй и, изрядно поотстав, вертелся на своем сером жеребце, постреливая в сторону красных анархистов навскидку из карабина. При стрельбе конь под Сотниковым приседал и замирал — выученная боевая лошадь давала возможность стрелять более прицельно. Пальба не давала быстрого результата из-за большого расстояния, но одна из пуль все же догнала всадника из отряда красных анархистов, и тот вскинул руки и завалился на круп своей лошади. Отметив попадание вскинутой рукой с карабином, Сотников кинулся вдогонку за своими, что уже скрывались на скалистый мысок, поросший кустами и подступающими к реке елками.

Раздраженные стрельбой и смертью товарища, красные анархисты вдруг дружно остановили отход и, развернувшись в сторону казаков, открыли шквальный огонь. Пули засвистели густо, но показалось, что вся эта затея красных анархистов — просто пустое бешенство, как одна из пуль достала-таки лошадь Сотникова, и она повалилась, виновато кося глаз на своего наездника, а затем и вовсе откинулась в снег, суча ногами, скаля зубы и выгибая шею. Сотников, скатившись умело с падающей лошади, чтобы не придавило ноги, все же крепко ударился о лед головой и на несколько десятков секунд потерял сознание. От анархистов тут же отделился всадник в черном одеянии, в огромной косматой папахе и лихо понесся по заснеженному льду к упавшему.

Когда Сотников сумел, очнувшись, привстать на колени, выискивая еще блуждающим, нечетким после удара о лед взглядом потерявшийся в снегу карабин, всадник в мохнатой кавказской шапке был уже рядом и скалил, держа в руке занесенную для броска кавалерийскую пику. Казак только и успел, что осознать гибельность своего положения, как брошенная на всем скаку пика пронзила его насквозь, ударила о лед острым наконечником, высекая окровавленные куски льда. Сотников завалился набок, несколько раз дернулся всем телом, засучил в конвульсиях ногами и замер, прикинув к заснеженному льду горячим своим лицом.

Кавказец с диким криком атакующего добычу коршуна лихо соскочил с коня и подбежал к сраженному врагу и взялся вытаскивать увязшее в теле копые. Пика подавалась плохо, и кавказец скалил в напряжении зубы, упирался в тело казака ногами и свирепо выговаривал что-то бессвязное, злое на своем наречии, глядя в бледнеющее лицо поверженного, но еще, вероятно, живого казака.

В это время друг сгинувшего на глазах боевых товарищей Сотникова Степан Крикун резко развернул коня и спешился. Отстегнув притороченную к седлу трехлинейку с оптикой, Степан присел у камня и, уперев ложе винтовки, стал выцеливать торжествующего над убитым другом кавказца. Тот вырвал из убитого свою пику, лихо вскочил на коня и теперь скакал назад, торжествуя и потрясая смертельным оружием. Оставалось ему уже совсем немного, каких-то несколько десятков шагов до группы анархистов, как грянул раскатисто одинокий выстрел, и кавказец резко кивнул и рухнул на шею своего разгоряченного скачкой коня. Пуля вошла в шею сзади под самой надвинутой на затылок папахой и вышла впереди, разорвав шею убийцы Сотникова. Смерть была скорой, практически мгновенной. Кавказец захрипел на вдохе, выронил пику и упал следом за ней на снег, отпустив поводья и раскинув руки.

Стоящие анархисты были обескуражены увиденным, но быстро придя в себя, открыли беспорядочную, истерическую стрельбу в направлении казаков, не видя сидящего за камнем Степана. Казаки нестройно ответили, остановив отступление и сгрудившись на своих конях поодаль, прикрывшись редким леском на мысу и сгущающимися сумерками.

Пока шла перестрелка, к убитому кавказцу подъехал китаец Лиу, соскочил с коня, преклонил колени над телом своего недавнего товарища и ловко отстегнул шашку в серебряном уборе ножен — трофеей, добытый при набеге на поезд, в котором оказались несколько офицеров. У одного из захваченных была богато украшенная серебряной шашка. Кадровых военных тут же поставили лицом к железнодорожной насыпи и спешно расстреляли, обобрав тела убитых и разжившись дорогим оружием. Овладев трофейной шашкой в серебряном обкладе, совершенно счастливый китаец влез на коня и умчался под укоризненными взглядами товарищей, то ли осуждающих поступок Лиу, то ли жалеющих, что дорогое оружие досталось не им.

Степан, отомстив задруга, окинул взглядом место боя, тело своего убитого товарища и, дождавшись окончания разгоревшейся перестрелки, привязал к седлу успешную свою трехлинейку. Еще раз глянув в сторону убитого друга, тяжело взгромоздился усталым телом на коня и поскакал рысцей вслед удаляющемуся эскадрону.

Потрепанный в схватке с анархистами Нестора отряд казаков спешно, как это было возможно, уходил вверх по реке. Иркут в этом своем русле спускался с предгорий и то телесил между скал, то протекал между обширных распадков. В таких местах тайга в плотную подступала к воде. Ускакавших вперед штабс-капитана Соколовского с группой казаков охранения и господ офицеров из штаба Колчака с сопровождающими

их казаками вступившая в схватку часть казаков догнала через пару часов скачки, и отряд теперь двигался плотной группой. Численность его после перестрелки и схватки поубавилась, и настроение у казаков было тревожное. Многие наводило на мысль, что впереди еще ждут новые испытания, непредвиденные потери, и только сгущающиеся сумерки давали надежду на некоторую передышку.

Что же, такова казачья доля — пуля да неволя, а неволя хуже смерти лютой.

В надвигающейся темени казаки вышли к наледи. Река в этом месте делала поворот, а резкий перепад высоты вдоль русла сформировал перекат. Летом в этом месте русла река грозно шумела, множа тугие струи меж валунов, а теперь подо льдом вода бесновалась, прижатая сверху наледью. Поток во всю ширину русла дыбилась ледяными ухабами и сверкающими при свете вывалившейся из-за отвесной скалы луны глыбами, под которыми порой просматривались иссиня-черные камни, а через промоины во льду была видна смоляная, казалось, тягучая в темноте, гремящая по камням вода. Зимой из-за быстрого течения стремнина на перекаате не замерзала окончательно и в лютые морозы. Шел непрерывный процесс намораживания корки на камнях, создавалась ледяная преграда причудливых форм. Вода, встретив препятствие своему свободному бегу меж камней, шумно неслась по верху ледового полотна, прорываясь под напором, и промывала лед, формируя, конструируя и непрерывно меняя форму наледи. Место это было опасным: припорошенное снегом скрывало промоины — в них можно было угодить, что и случалось порой и сулило неудобье и даже погибель.

У другого берега реки скалы у переката плотно прижимались к воде. Стремительный поток у скалистого берега метался между скалой и льдом, промывая полупрозрачную толщу льда, и здесь отчетливо слышался рев несущейся воды. В результате пройти по льду и руслу реки через перекаат было невозможно, и требовалось сделать дальний обход вокруг наледи по берегу среди огромных валунов и редкого кустарника.

Авангард отряда, не разобравшись в сгущающихся сумерках, попытался с наскоку пройти наледь и тут же поплатился: кони заскользили и стали падать, калеча себя и седоков. Пришлось уходить с твердого льда в сторону полого берега и пробивать дорогу через глубокий снег, порой до пояса, двигаясь в обход возникшего переката. Коней вели в поводе, нащупывая дорогу среди камней и поваленных стволов упавших деревьев. И люди, и кони выбивались из сил. Когда до окончания гиблого места оставалось совсем немного и уже был виден в надвигающихся сумерках гладкий ровный заснеженный лед реки, позади на подступах к порогу были замечены преследующие казаков кавалеристы Нестора Каландаришвили.

Разгоряченный погоней, разношерстный отряд анархистов подскочил к перекаату, и все они, кружась на своих конях, взялись беспорядочно и нестройно стрелять в сторону отходящих за речную наледь казаков. Укрыться было негде, и казаки тут же понесли новые потери: завалился в снег со смертельным ранением казак Хопров, осел у своего коня, охнув, урядник Запашный. Замыкающие строй казаки заняли оборону и стали выцеливать мечущихся на конях перед порогами анархистов, бегло отвечая на нестройные залпы. Те несколько сбавили натиск, но было замечено — группа всадников пошла в обход по окраине леса, чтобы ударить сбоку по отступающим казакам, используя изгиб реки, а те, что остались на льду, наседали решительно с нахрапом. И могло уже показаться, что вот-вот выскочат из глубины заснеженной тайги настырные воины Нестора, как невеста откуда налетел резкий ветер и плотный снежный заряд. Окрут боевой стычки затянуло так, что не было видно и в нескольких шагах. Колючий снег хлестал в глаза, слепил, не давал прицельно бить из оружия. Воспользовавшись разыгравшейся на несколько минут пургой казачий арьергард, уложив раненого Запашного на коня, споро, разгребая снег, ушел из-под огня.

Потолкавшись, вытаптывая и разбрасывая снег, галдя на разных наречиях, следом сунуться в потемках по узкой натопанной среди редколесья, уже полузанесенной снегом тропе анархисты более не решались, и на том противостояние беспокойного дня как будто стало угасать. Как вдруг впереди с фланга от леса застучал частой дробью пулемет, ударили винтовки и карабины. Это обошедшие по берегу анархисты встретили отходящих белоказачков и за несколько минут в упор, укрываясь в лесу, покосили почти всех. Когда Хватов и группа отставших казаков выбрались на ровный лед, перед ними предстала ужасная картина поражения. На льду лежали мертвые тела, и несколько лошадей без всадников кружились в сторонке. Назад отступить было нельзя, и оставалось только прорываться вперед. С фланга пока молчали, и Хватов, отдав команду двигаться вперед из последних сил, прищпорил коня.

Хватов припал к шее коня и, опустив вниз руку с обнаженной шашкой, резво шел наметом. Конь, что достался ему после обстрела с берега реки, оказался выносливым и даже к концу утомительного дня еще был резв. На скаку Хватов видел страшные последствия разгрома: на снегу лежали его товарищи и упавшие на скаку кони,

сраженные огнем из чащи леса. Хватов отметил, что некоторые еще были живы и пытались ползти в укрытия от пронзающего все живое, вызывая всполохи снега, кинжального огня пулеметов. Остановиться и даже оглянуться и увидеть тех, кто скакал за ним, не было возможности — требовалось как можно быстрее проскочить простреливаемый участок русла реки и смотреть внимательно под ноги коня, направляя его между торчащих изредка камней и возможных промоин. Когда уже река сделала поворот и пули перестали свистеть над головой, Хватов увидел сидящего на снегу подполковника Ракитского. Офицер был ранен, и его бледное лицо выражало боль и страдание. Подполковник сидел, опираясь на огромный валун, вмерзший в лед реки, а рядом еще сучил ногами и истекал кровью его конь.

Хватов резко сдержал коня, и тот, останавливая бег, заскользил подковами о лед, слегка присев на задние ноги. Хватов соскочил на лед и склонился над Ракитским. Подполковник был перепачкан кровью, выбитое при падении плечо офицера было вывернуто, и рука, вероятно сломанная, висела плетью.

«Повредился, падая с подстреленным конем на лед», — подумал Хватов и, обхватив Ракитского, потащил его к своему коню и помог взобраться в седло. Сам Хватов, понукая коня, побежал рядом, держась за стремя, а когда уже отошли от погибельного места, Хватов с камня с трудом взобрался на круп коня, и полные отчаяния Хватов и бессильно повисший на шее коня Ракитский тихонько направились к скалистому левому берегу, в расщелинах которого можно было найти путь к спасению. Навалившаяся темень давала им шанс скрыться незамеченными.

Между скал они нашли распадок, заросший кустами. По узкой щели между скал к реке спускался ручей, теперь совсем занесенный снегом, и только высоко над головами можно было видеть активность падающей с высоты воды: наледь отсвечивала бледным светом луны, и едва слышался шум падающей подо льдом воды.

Коня пришлось отпустить. Шепнув слова благодарности, еще мгновение удерживая шею боевого товарища, спасшего его в смертельной схватке, Хватов слегка ладонью толкнул его в шею. Конь не понял еще команды и стоял, устало понунив голову, а затем отошел, выискивая что-то съестное и обнаружив засохшую траву, торчащую у скалы из-под снега, взялся рвать ее, подергивая головой и пережевывая.

Хватов и поддерживаемый им Ракитский двинулись вверх по распадку, скользя и обходя камни и кустарник.

VI

На вершине скалы свирепствовал резкий пронизывающий ветер. Хватов с Ракитским укрылись между огромных валунов и отдыхали после тяжелого подъема. Воодушевление от того, что удалось вырваться, казалось, из безвыходного положения — уцелеть в схватке, что устроили красные за изгибом реки, прошло, но холод давал о себе знать.

Ракитский сидел, прислонившись к валуну и прикрыв глаза, — его колотила дрожь. Добротная шинель не спасала от холода, а тяжелейшая травма не давала себя забыть, откликаясь на каждое движение болью. Хватов подвязал сломанную руку подполковника и предложил идти в лес, где ветер должен быть потише, а главное, нужно двигаться, иначе можно просто замерзнуть.

Сотник хорошо знал местность и помнил, что здесь недалеко от излучины реки должна быть дорога к поселению староверов, которые поселились в этих местах, гонимые властью. Эта малоприметная дорога вела от Шаманки к поселению староверов через тайгу, а обогнув скалы вдоль берега, через двадцать верст дорога приходила именно к излучине реки, несколько выше по течению притока Иркуты. Теперь им нужно было пройти через лес и выйти к этой дороге, тогда путь к поселению староверов будет короче и гораздо более легким. Прибыли староверы в эти места давно и периодически появлялись в Шаманке, когда была нужда прикупить припасы для охоты, продукты, ткани для шитья. Приходили, неохотно общались, но к себе в поселок мало кого допускали, — так и жили уединенной жизнью затворников.

Ракитский на призыв Хватова с трудом поднялся и неуверенно зашагал за ним, стараясь ступать след в след, демонстрируя животное желание спастись в сложнейшей для него ситуации. Казалось, что сил идти и терпеть боль уже не осталось вовсе, но другого пути выжить не осталось. Полагал подполковник, что, если он не сможет идти, Хватов, вероятно, его оставит и уйдет один.

В лесу было совсем тихо, но глубокий покров снега не позволял идти быстро. Пробивались, увязнув в снегу порой по пояс: Хватов топтал тропу, волоча набитый тяжелый вещевой мешок, а Ракитский тяжело ступал следом. На душе стало полетчи, ушли на задний план беспоконные мысли о случившемся накануне в пещере и тревоги о том, что ждет их впереди. Взамен отчаянию появилась робкая пока еще надежда на

спасение.

Вскоре вышли на дорогу. Присыпанный снегом путь через лес использовался нечасто, но было видно, что недавно по нему проехали на санях. Идти стало намного легче, и, делая остановки, Хватов и Ракитский уже в темноте вышли к разбросанным среди деревьев крепким избам. Над крышами домов струились дымы, где-то на другом краю поселения подвывал дворовый пес.

Хватов постучал в калитку в глухом заборе из широких струганых потемневших от времени досок, и в глубине двора забрехала собака, ей в отдалении ответила другая. Вскоре стукнула дверь, снег заскрипел под чьими-то ногами, и калитка отворилась. Во входном проеме стоял подросток с фонарем, а сзади него бородатый мужик в накинутом полушубке с наведенной на пришельцев берданой.

— Чьи будете? — мужик буровил Хватова взглядом своих, казалось, черных в темноте глаз, упрятанных под кустистыми бровями и натянутой на глаза меховой шапкой.

— Помогите, со мной раненый. На нас напали. Нам нужна помощь, — проговорил, уже теряя остатки сил, Хватов.

Мужик молчал и продолжал смотреть пристально на Хватова. По всему было видно — думает и решает, как поступить верно в данной ситуации.

— Ладно, Мишутка, впускай гостей, там разберемся, — наконец среагировал мужик и отошел в сторону, пропуская во двор офицеров.

В избе было две женщины: одна хозяйка средних лет, спокойная и рассудительная с пристальным взглядом светлых совсем глаз, в теплой опрятной кофте, а вторая молодая еще совсем, похожая на хозяйку, по всему видно, незамужняя ее дочь.

Хватов ввел в дом под руки совсем обессиленного, постанывающего Ракитского и усадил его на лавку у печи. Сотник с порога оглядел избу, в сумраке помещения отметил образа господни в углу, нехитрую деревянную мебель и беленую печь, от которой веяло теплом. Рядком у большого обеденного стола стояли женщины и испуганно глядели на пришельцев. С печи выглядывали любопытные глаза двух ребятишек. Дети во все глаза рассматривали гостей, а получив от взрослых выговор, спрятались за занавеской. Оглядев прибывших и отметив, что один ранен, а второй едва стоит на ногах от усталости, женщины помогли раздеться и усадили на лавку отогреваться, прислонив спиной к горячей стенке печи. Вскоре собрали на стол наскоро еды, что осталась от ужина, и предложили покушать, не забыв налить по полстакана самогона.

Девушка по имени Лиза взялась делать перевязку Ракитскому. Подполковник, отогревшись у печи, после выпитого самогона совсем раскис и теперь только стонал, когда отдирали прилипшую ткань к открытой ране на руке. Лизавета с помощью матери справилась с перевязкой, и, обтерев мокрой тряпицей лицо, грудь подполковника, уложили его высокоблагородие спать тут же на расстеленном у самой печи полушубке. Теперь Ракитский был перебинтован свежей тканью, а хозяин сладил две легкие дощечки, отципнув ловко от полена, для фиксации перелома. Подполковник сразу уснул — забылся тяжким беспмятством, согревшись и расслабившись впервые за последние сутки.

Хватов объяснил хозяину, кто они и куда держат путь, не вдаваясь в детали. Заговорили о раненом. Хватов сразу стал объяснять, что Ракитскому с ним не дойти, а оставаться он сам не может, и попросил приютить офицера российской армии, до тех пор пока тот не придет в себя. Хозяин дома Корней на просьбу скривился:

— А как красные придут? Что я им расскажу про раненого? У него на лице ясно прописано, каких он кровей.

— Ну помоги! Видишь — выхода совсем нет. Куда я с ним, — стал просить Хватов, понимая, что только уговором, без нажима, поддавливая на жалость и сострадание, можно решить вопрос. Хозяин стал было снова отказываться, ссылаясь на то, что сами едва сводят концы и потом, если красные придут и найдут офицера, их наверняка накажут. А времена нынче суровые — выведут за двор и пристрелят у канавы.

— Ладно, Корней, что-то ты раньше времени дрожать начал за свою шкуру. Живы будем — не помрем, помрем — воскреснем, и каждому воздастся по делам его! Забыл? Переодень его, спрячь. Скажешь, родственник больной пришел в мороз — не гнать же его со двора, вот и все дела. А своих сельчан попроси, чтобы прикрыли. Вас тут немного, я думаю, не сдадут. Слыхивал я, народ вы дружный, — не сдавался сотник.

— Надобно посоветоваться с нашими. У нас тут такие дела не делаются поодиночке, ведь если что — подведу всех под гнев и немилость, — стал поддаваться на уговоры Корней.

— А вот и поговори. Поможешь собраться? Какое-никакое пропитание дашь? Я малость отдохну и уйду.

— С этим поможем. Все же христиане мы, а не лешие какие бусурмане али немчуря — сострадание имеем.

– Вот и спасибо тебе, Корней.

– А куда пойдешь-то по зиме, по тайге? Снегу нынче не так много, но в тайге бывает и по пояс. Иль по реке пойдешь?

– Думаю к Байкалу я выйти. Знаю, тракт здесь есть напрямки. Теперь-то по нему ездят или как? – стал выпрашивать Корнея Хватов.

– Тракт есть. До Байкала верст шестьдесят будет напрямком, однако. А по тракту ездят теперь редко: забросили, как построили железную дорогу на Байкале. Зарос, поди, так что возьми лыжи у меня. По дороге, по глубокому снегу добежишь ходко. На лыжах-то умеешь ходить? Вижу, ты как бы из простых, не из господ? Многое, поди, умеешь? Охотник никак?

– Да, я местный. Из Шаманки. Наверное, слышал – Хватовы мы. Там у меня и батька с мамой еще живут.

– Эко, братец! – уже бодро среагировал на известие Корней и улыбнулся. – Конечно, знаю. Так лавка у вас в Шаманке. Справный хозяин твой батька. Не раз у него закупал припасы. Бывало, договаривались и подешевле взять. А ты, выходит, с войны как бы воротился, а пристать к дому-то не выходит?

– Не выходит, Корней. Не дают мне пристать к родному двору.

– Я те че скажу-то. У меня на станции Маритуй, что на железной дороге на берегу Байкала, знакомый обходчиком работает. Свояк, считай. Добротный мужик – мы с ним с детства знакомы. Ты к нему зайди, как придешь на берег. Отдохнешь у него, и он подскажет. Может, на поезд сядешь, а может, и через Байкал на ту сторону пешком уйдешь. Зовут его Игнат Банщиков. Он там давно живет, его все знают. Спросишь – покажут. Только вот если там уже красные, очень опасно будет. По льду далеко не убежешь – это тебе не тайга – на пять верст видно округ на льду.

– Ладно, Корней, спасибо. Мне кажется, мы с тобой столковались?

– Да как не сговориться, коли ты наш. Вот поеду в Шаманку, так бате твоему расскажу о тебе. Глядь, и он мне чем поможет.

– Вот спасибо, Корней, выручил. А батя, он, конечно, поможет. Свидишься – обо мне скажи – он все сделает.

Переночевали, а с утра Кондратий взялся за сборы, чтобы идти в сторону Байкала, понимая, что следует спешить, ведь красные могут нагрянуть к староверам в поисках оставшихся в живых казаков. Попрошавшись с Ракитским, Кондратий обратился к Корнею:

– Я тебя прошу, приглядите за подполковником. Он человек заслуженный, важный. А я непременно за ним вернусь или кого отправлю, как в этот край возвратимся с войсками – смотри не подведи. Вот немного денег тебе оставляю, если что, пригодятся.

– Будь спокоен, Кондратий, мы все сделаем, как просишь, – на строгие слова Хватова спокойно ответил Корней. – В сенцах лыжи я приготовил, возьми их. На лыжах по лесу сподручнее. Лыжи старые охотничьи, мехом подбитые. Ты на них легко пойдешь. Да помни – друган мой, что обходчиком на станции Маритуй работает, живет у дороги в домике, что у моста и речки. Там сразу разглядишь и напрямком иди к нему, по дворам не шастай. Вот тебе собрали в дорогу припасы, – уже совсем потечески напутствовал Хватова Корней и протянул поднесенные женой, уложенные в полотно хлеб, сало, несколько луковиц и головку чеснока. А это я пишу своему свояку отписал, чтобы он не сомневался, что свой человек, важный, стоящий к нему зашел. Отдашь и привет мой с собой принесешь ему. Ну, с богом, казак. Впереди у тебя много еще испытаний. Счастье – оно бесечно, а в горести мы все труженики и подвижники. Сил тебе и божьей помощи.

– Спасибо тебе, Корней. Душевный ты человек. Такие теперь редко встречаются. Народ шибко огрубел и даже чуток озверел, – растрогавшись от заботы, ответил Хватов и, приняв угощение, быстро собрался.

Стоя уже в дверях, Кондратий кивнул в последний раз спящему у печи Ракитскому, перекрестил его и вышел во двор. Корней провожал молча и, только когда Кондратий открыл калитку, перекрестил его в дорогу и склонил голову в поклоне. Хватов этого не видел, прикрыл за собой калитку, ловко приладил лыжи и тяжело, поначалу принаравливаясь, заскользил по дороге к лесу.

VII

Хватов хорошо помнил тракт, что был пробит в тайге в пору строительства Кругобайкальской железной дороги. По расчищенной просеке возили в основном лес для строительства: бревна да доски, которых требовалось много для сооружения опалубки, постройки домов на станциях и хозяйственных помещений.

Добравшись до реки, прочертив лыжный след по льду попереk русла, Хватов вышел вскоре в то место, где начинался тракт через тайгу к Байкалу. Тракт был завален

снегом. Старая дорога, как закончили стройку и началась война, мало использовалась и изрядно заросла молодым ельничком да кустарником. Идти же по проторенной в тайге дороге было не в пример сподручнее, и, принаоровившись, Хватов лихо скользил по снегу, вспомнив навыки, приобретенные в долгих походах по тайге на охоте.

Путь был неблизким, и пришлось к ночи остановиться и заночевать. Несколько тонких лиственниц, сухих до звона, удалось уронить без топора и, привалив их к упавшему когда-то дереву, развести хороший костер. Навалив лапника у огня, соорудив навес из веток ели, Хватов забылся в тяжелом сне, вдыхая аромат разогретой у огня хвои, и поутру, перекусив поджаренным на костре салом, попив кипятку с еловым отваром, отправился дальше.

К вечеру следующего дня, уже в сумерках сотник вышел к высоченному обрыву — к берегу Байкала. В этом месте берег озера очень крут — скала высилась над уровнем озера на двести, а то и триста метров. Берег Байкала ниже уровня воды также уходил резко вниз, сохраняя линию обрыва скал, следуя начертанному природой краю тектонического разлома.

Стоя теперь на вершине скалы, Хватов мог видеть внизу станцию: несколько десятков домов, склады и мастерские и саму железную дорогу, протянувшуюся вдоль берега озера. Справа был виден каркас железнодорожного моста и дом обходчика у реки. А от станции раскинулась снежная в эту пору гладь озера. В сумерках уходила и терялась озерная простыня в сгущающейся дымке, и противоположный берег растворялся в дали, и ни одного огонька не было видно.

Несмотря на общее разорение — дорога жила. Со скалы было видно, как со стороны порта Байкал на восток шел поезд, нещадно дымя белесым, стелющимся над вагонами дымом. Впереди паровоза бежал по рельсам размытый расстоянием свет от прожектора, а поезд угадывался по красным фонарям, что были развешаны на вагонах.

Паровоз и луч прожектора вдруг пропали — нырнули в тоннель на подходе к Маритую. Паровоз исчез, подобно зверьку в норке, утягивая за собой свое длинное тело и хвост. Но вскоре из-под скалы — на выходе из тоннеля — вновь полыхнуло светом прожектора, а следом наружу выскочил и потерянный паровоз, окутанный клубами пара и дыма, а хвост поезда в этот момент только еще вползал в тоннель с противоположного его конца, маячил одиноким красным огоньком. Выскочив из тоннеля, паровоз затрубил, оглашая берега, и оттого еще более стал походить на живое, радующееся успешному нырку через скалу существо.

«Пока там поезд — спускаться не следует», — подумал Хватов, наблюдая, как поезд, степенно пыхтя паром, подошел к станции, причалил к перрону из досок и остановился. На перроне появилось несколько человек. Потолкавшись у открытой двери, они зашли в головной вагон. Из вагонов никто не вышел. Постояв несколько минут, поезд окутался клубами дыма и пара и, вновь протяжно заголасив, отправился дальше.

Совсем уже стемнело. На небе полыхали звезды и катилась безучастная к людским страданиям луна. За полотном белого подо льдом Байкала, на противоположной его стороне, дыбился хребет Хамар-Дабан, отпечатавшись на черном фоне звездного неба белой в дымке стеной с резным краем скалистых вершин.

Хватов стал спускаться по расщелине вниз. Расщелина скоро превратилась в ложбину и широкий скат и вывела к огородам поселка на самой его окраине. Хватов огляделся и отметил справа дугу арки железнодорожного моста, который он приметил, еще будучи наверху. В окне домика тускло светилось: знать, хозяин еще не спал. Хватов подошел к дому обходчика и приткнулся, озираясь вокруг, к забору. Во дворе забеспокоилась собака, несколько лениво твякнув. Сотник стукнул в стекло окна стволом нагана, подождал, постучал снова и услышал, как открылась дверь:

— Кто тут? Кого несет? — прозвучал настороженный недовольный голос и раздался звук передергиваемого затвора.

— Я от Корнея, твоего свояка, что из старовойской обители на Иркуте. У меня от него тебе письмецо есть, — ответил Хватов, заругав себя за то, что так и не спросил фамилию приютившего их с Ракитским старообрядца.

— Да иди уж сюда. Щас калитку отопру, — раздалось уже за жидкой оградой вполне миролюбиво.

Лязнул металлом засов? и калитка приоткрылась. Хватов придерживая лыжи, шагнул внутрь двора и увидел хозяина в накинутом полушубке, в шапке с форменной кокардой и с винтовкой в руках наизготовку. Рядом крутился и поскуливал совсем молодой кобель, демонстрируя высшую радость от встречи с хозяином.

— Ну, шальной-неугомонный, — отпихивал от себя пса хозяин.

Оглядев Хватова, обходчик кивнул головой в сторону входа в домишко, приглашая пройти, и пошел следом за сотником. В доме Хватов скинул с себя два увесистых мешка и шинель, которую поменял на изодранную в пещере бекешу, и присел по

приглашению хозяина к столу. В избе при свете керосиновой лампы Хватов разглядел хозяина. Мужик с вислыми усами и изрядной лысиной смотрел усталыми глазами на Хватова.

Сотник взялся искать записку, долго не мог найти и уже забеспокоился, что потерял писулю, но тут сразу и нашел скомканный листок во внутреннем кармане. Обходчик взял осторожно протянутую записку и, натянув на нос очки в металлической оправе с лопнувшим стеклом, стал читать, шевеля губами, поднеся мятый листок к лампе, и сразу заулыбался: видимо, признал весточку от свояка и вспомнил что-то для себя приятное. Прочитав записку, хозяин поинтересовался, куда же сотник держит путь:

— Куда наострился-то? Погнали благородия нынче: день и ночь идут и идут, то группами, кто поодиночке, как ты. И офицеры, и солдаты, и бабы с детьми.

— За Байкал пойду. Я так понял, тут уже все побережье красные захватили. Аль нет еще? — осторожно спросил обходчика сотник.

— Да вот только поезд прошел с чехами. А с ними сопровождающие из Иркутского ревкома. Дела чудные: красные сопровождают чешских легионеров, которые еще недавно помогали бить большевиков. Ничего не поймешь — бедлам округ. А на станции у нас пока тихо. Есть сочувствующие, но комитета еще нет, — ответил обстоятельно обходчик и продолжил: — Но ехать тебе на поезде не стоит. В Култук и Слюдянке уже крепко большевики закрепились. Поезда шмонают так, что не проскочишь. Сказывают, каждый день расстреливают за станцией в мраморном карьере снятых с поезда и других, кто по дороге пытается уйти от красных. А в Иркутск, говорят, пришла Красная армия с запада числа не мерянного: на сытых лошадаках, с пушками, все мордатые, сами ржут как кони. Город заполонили, все тюрьмы забили арестантами и также стреляют каждый день несговорчивых. Сказывают, и Колчака со всем начальством под лед на Ангаре скинули. Тебе, браток, нужно по Байкалу уходить. Слыхивал я, в Танхое, что как раз напротив на том берегу, если взять чуток влево, казачьи разъезды атамана Семенова, — обходчик для убедительности указал пальцем в направлении южного берега. — До Танхоя верст сорок-пятьдесят, и по ровному льду за ночь можно дойти. Это если идти ходко, без остановок. Правда, на берегу со стороны Слюдянки и Утулика дорогу стерегут красные посты, и как только они приметят днем путников на льду, отправляют навстречу конный разъезд для проверки. Поэтому следует идти ночью, а если наткнешься на красный разъезд — чтобы укрыться, нужно взять белую рогожку, простынку и схорониться в торосах и переждать, иначе изловят и убьют или отправят в Слюдянку в тюрьму, где замучают. В темноте разобрать будет сложно, если спрятаться под рогожкой. Сказывали, так многие спаслись. Нынче ночи бывают такие ясные при полной луне и так видно далеко на снегу, что пройти незаметно никак нельзя: следы выдают, но коли свезет — уйдешь с богом, — обходчик тяжело вздохнул и, окинув взглядом сотника, добавил: — А теперь давай спать. Сегодня тебе идти уже поздно, не успеешь затемно дойти до Танхоя, а вот завтра отоспишься и, как завечереет чуток — пойдешь.

С этим и легли спать, а проспав полдня, к вечеру Хватов, отдохнувший, полный сил, поджарый, как гончий пес перед охотой, вышел на лед озера и ходко тронулся в путь. В дорогу ему выдали серую, потрепанную рогожку и распоротую старую драную холщовую рубаху, чтобы при надобности мог укрыться ими в торосах — схоронится от красного разъезда в озерных снегах и льдах.

— Уж извиняй, нового да белого ничего нет — поизносились мы, — виновато проговорил приютивший его обходчик, выдавая тряпье.

VIII

Снег на льду Байкала выдувает ветром, и лед частично был открыт, а местами укрыт плотно — там, где есть за что зацепиться: у торосов, у вздыбленного ломанного беспокойным Байкалом льда, вдоль трещин снег собирался в глубокие сугробы.

В эту ночь на Байкале было тихо. Надо льдом тянуло поземкой, и колючий снег стегал по лицу. Звездная ночь и луна освещали путь, и если бы не трещины да упрятанные под снегом нерпичьи норы, идти можно было легко и быстро.

Отойдя изрядно от станции и энергично двигаясь в направлении южного берега уже пятый час, Хватов заметил, как с правой стороны от берега в его сторону как будто двигаются черные фигуры. Припав ко льду ухом, Хватов услышал далекий стук подков о лед — всадники шли наметом. Сомнения пропали — это был отряд верховых.

«Может, просто кто-то едет в Лиственичное или Маритуй? Но скорее всего, это разъезд красных — кто попрется ночью по Байкалу», — размышлял Хватов, присев у гряды ледяных торосов, вздыбившихся вдоль когда-то существовавшей трещины изломанным гребнем. Торосы тянулись длинной строкой, конец которой терялся в сумерках.

Хватов вспомнил рассказ обходчика о том, что красные посты поставили на противоположном берегу — стерегут всех, кто пересекает Байкал. Как дали войска Колчака слабину под Омском и Красноярском, побежали на восток сомневающиеся группами, потом колоннами, а кто и поодиночке, тут местные и спохватились. Сказывали, что частенько под видом красного разъезда промышляют грабежами бандиты из ближних поселков. А изловив беглецов, тут же прямо на льду кончают, а тела в трещины спускают. Дело паскудное, но выгодное: бегут-то все с деньгами, золотишком, каким-никаким имуществом. В общем, есть что взять, есть чем прибарахлиться. Вот и стерегут, как стережет свою мышку кошка, затаившись у норки.

«Да лучше спрятаться заранее, — решил Хватов, — как говорится: береженого господь хранит». Оглядел спасительные для него торосы и, протиснувшись между двух торчащих практически вертикально льдин, пристроил свой мешок, присел и укрылся припасенными тряпками. Оказалось, что на белом снегу поношенная ткань хорошо заметна. Хватов приподнялся и извлял ткань в снегу и снова укрылся, но это мало добавило белоснежности, и он был замечен. «Что делать? Авось пронесет», — подумал сотник и затаился.

Раздался стук копыт по льду совсем рядом. Вскоре послышались и голоса:

— Как будто видел кого — чернела фигура на снегу. Шел кто-то от дороги с того берега.

— Че? Пovýлазило?

— Дак, товарищ командир, всю ночь пýлились, может, что и привиделось.

— Ищите, ироды, видать в торосах схоронился.

— Да где ж его теперь сыщешь? Он теперь ни живой, ни мертвый, схоронился, сердешный, знать, жить-то охота.

— Ищите, сказал. Следы гляньте. Может, оставил свежие следы где.

— По дороге и тропе шел. Тут снег пovýдувало — не разобрать.

— Пошарьте, пошарьте! Думаю, здесь он где-то заховался. Дальше пройди — у торосов глянь.

Потянулись тягостно минуты. Хватов сидел между торосов под полотном и держал наготове взведенный наган. Кто-то из всадников спешил и стал обходить торосы: снег закрипел под ногами совсем рядом, потом звук шагов по снегу стал удаляться.

— Нету, товарищ командир! Показалось, видать.

— Эх! Ладно, ну его к лешему, поехали назад. Замерз тут с вами.

Скрип снега под ногами стал как будто удаляться.

— Ой! Глянь, следы свежие к льдинам ведут, — вдруг раздалось совсем рядом звонко, по-молодому. — Гляну сейчас.

Хватов напрягся, все его тело налилось, готовое к решительному отпору.

— Эй, выходи, лешак! — раздалось уже совсем рядом.

Хватов понимал, что тот, кто ищет, пока его не видит, но догадался по следу на снегу, что человек таится где-то поблизости. Снова закрипел снег под ногами, и стало слышно, как дышит тяжело совсем рядом напряженно тот, кто пришел забрать его жизнь.

Вдруг засквозил воздух среди торосов, дохнуло свежестью, загулял плотный ветерок, и помело густо поземку. Снег закружил вихрем и вмиг запорошил Хватова под его рогожкой так, что даже стало ощущаться, как потяжелела накинута ткань. «Как кстати», — подумал сотник.

— Всё, потерял следы, замело, и не видно, — раздалось совсем рядом. — Некстати ветер поднялся — откуда он, такой резвый?

Звук шагов стал затихать.

— Ну, че там? — снова раздалось вдали.

— Как будто потерял следы. Были вроде, а тут замело — утерьял.

— Экий ты растяпа, Кабан!

— Зайди в торосы глубже — он там! Не дрейфь, не ушибет. Давай проверь!

Снова рядом раздалась шаги, и уверенно нарастал скрип снега уже совсем близко и казался уже оглушительным. Ждать Хватов более не стал: откинув полотно, приподнялся и увидел совсем рядом растерянные округлившиеся глаза мужика в кургузом полушубке и бараньей шапке с красной лентой наискось и с винтовкой, зажатой в руке. Рот в обрамлении кустистой бороды и усов мужика скривился судорогой от страха. Дядька явно не ожидал появления противника столь неожиданно и не смог изготóвиться, а только раскрыл рот от страха, но крикнуть не успел, как пуля, выпущенная из нагана, вонзилась в его грудь. Незадачливый дружинник упал навзничь, раскинув руки.

Выстрел прогремел, казалось, подобно грому в морозном воздухе. Сразу пахнуло остро серой, но порыв ветра тут же унес резкий запах. Всадник, которого Хватов тоже теперь увидел, крутанулся на коне, натянул поводья, и раздалось:

– Гей, хлопцы! Он здесь! Берем! Обходи, Курсак!

И из глубины ночи, слева из-за торосов загредел отдающийся эхом и утробным стоном льда конский топот. «Еще двое», – пронеслось в голове Хватова, и он по дуновению ветра даже уловил столь знакомый запах конского пота в морозном воздухе. Скачущим нужно было обогнуть торосы, за которыми спрятался Хватов, и они скакали в сторону своего командира. А тот, видимо надеясь на их скорую поддержку, уже ринулся в атаку, обнажив шашку.

Хватов сидел за льдиной в торосах и ждал. Сотник видел голову всадника и коня и блеснувшую при луне шашку. Всадник подлетел к самому торосу, не видя противника, и Хватов, уклонившись от возможного удара шашкой, пальнул почти наугад в надвигающийся силуэт в полущубке и с накинутым башлыком. Хватов попал. Конь, оглушенный выстрелом нагана у самой морды, захрапел и рванул в сторону, а всадник повис в стремях, завалившись набок, бессильно мотаясь в такт с движениями скачущего коня и волоча по льду бесполезную уже свою шашку.

Те двое, что спешили к своему командиру, в этот момент только выскочили из-за торосов и, оценив обстановку, придержали коней.

– Вот ешкин-трешкин! Завалил Кабана и Григория!

Беспорядочная стрельба из двух стволов накрыла торосы. Но Хватов по-прежнему лежал между льдин, пули летели плотно, но безадресно, высекая лед из торосов, с воем рикошета ото льда в сторонке от него.

В какое-то мгновение все резко стихло. Потом стало слышно, что спешившиеся всадники тихонько советуются. Среди обрывочных, доносимых порывами ветра слов вдруг явно прозвучало: «Тикать... не к добру, мать-ети... ну его, к лешему...» Заскрипел снег под ногами, и вскоре раздались столь знакомые Хватову звуки: скрип седла при посадке на коня и топот конских подков о лед. Ровная дробь скачущих по льду всадников стала удаляться. Хватов немного расслабился, облегченно вздохнул и решил подождать, понимая, что красные могут и обмануть: затаятся невдалеке и будут наблюдать, не вылезет ли из своего укрытия схоронившийся человек.

Прошло около получаса. Все было тихо, лед молчал, Хватов приподнялся и осмотрелся. Вокруг не было никого. На небе так же сияла Полярная звезда, несколько сместившись на небосклоне. Хватов, не выпуская из руки наган, уложил полотно в мешок и, нагрузившись поклажей, выбрался из торосов на тропу, перешагнув убитого им накануне человека и огляделся вокруг. Поверхность льда округ него, пока хватало глаз, была пустынной.

Пройдя полдуги и изрядно обход гряды торчащих, словно клыки чудища озерного, ледяных торосов, Хватов вдруг увидел стоящего за ледяной грядой коня с убитым совсем недавно всадником. Тот неловко свесился с коня, но не падал, зацепившись прочно левой ногой за стремя. Нога эта теперь торчала вверх, а сам убитый, подогнув другую, свисал вниз головой с другого боку, уронив руку до самого снега. На руке висела на петле добротная офицерская шашка. Голова убитого, не покрытая теперь, также свисала беспомощно; пряди волос, усыпанные снегом, колыхались на ветру, рот был открыт, словно в крике. Было понятно, что коню невозможно будет освободиться от своего погибшего седока. Хватову стало жаль животное, и, не глядя в бледное уже лицо убитого, он подошел и ножом срезал ремень со стремянем. Тело командира красных дружинников мешком свалилось вниз и неловкой кучей распласталось на льду. Конь, ощутив свободу, тут же пошел, косясь на Хватова, но, когда он попытался его ухватить за узду, захрипел и с ходу кинулся наметом, взбрыкивая, в сторону темнеющего берега.

Хватов потерял свою шашку где-то в лесу, занимаясь раненым Ракитским, а теперь кстати решил взять трофей, и скоро в руках у него была в ножнах боевая шашка с добротным открытым эфесом. Шашку, чтобы не мешалась при ходьбе, Хватов подвязал к мешку и подумал, что для службы стодится добрый клинок и будет до поры напоминать ему о байкальском бое.

Хватов был теперь один на один с убитым, и, глядя в его усатое, как оказалось, лицо с распахнутыми удивленными глазами, он вдруг мысленно спросил его: «Что, брат-земляк? Как нас стравили-то неведомые демоны? Чего вдруг кинулись, полные ненависти, мы друг на друга? Ты жил на берегу Байкала, богатого рыбой, а я жил на берегу сноровистой реки, а вокруг таежные уголья, и чего нам не хватало? Могли повстречаться на ярмарке в Иркутске, выпить за здоровье, а теперь и за упокой выпить не выходит. Чего взялись делить то, что нам не принадлежит, да так сошлись, что места для жизни нам на этой почти пустой, с редким человеком на версту пути земле не хватило? Отчего так? Отчего ты кинулся на меня, а мне пришлось убить тебя?»

Ответа не было. Хватов подумал, что и при живом дружиннике ответа он не получил бы, а скорее, сцепились бы, давась от злобы. Но теперь, когда он остался один, смог сам себе задать мучающие его уже давно вопросы. «Эх», – махнул рукой и,

отвернувшись, зашагал по льду к спасительному берегу.

К утру, хоронясь за торосами, удалось дойти до Танхоя уже в утренних сумерках.

— Гей! Кто идет?! Стоять! — раздалось из-за бугра на берегу грубым сердитым голосом, и Хватов, спрятавшись за нагромождения льда у берега, увидел бородатых верховых в серых шинелях и косматых папахах на заиндевелых конях.

— Свой! Из Иркутска отступаю, — ответил Хватов, хоронясь за кучей льдин, абсолютно не уверенный, что перед ним не красные, а казачий разъезд.

Но все обошлось. Казаки приказали подойти и повели к поселку, где в доме при станции сдали Хватова заспанному дежурному. Тот определил его в комнату под охрану, и уже днем комендант, изучив войсковые документы, которые, к счастью, Хватов сохранил, отпустил его, пожелав доброго пути.

Через два дня на бронепоезде, что ходил на данном отрезке железной дороги, доставляя припасы и людей, Хватов прибыл в Верхнеудинск.

IX

В Верхнеудинске, пристроившись в эскадрон казачьего полка к своему сослуживцу Миرونу Зотову, Кондратий Хватов понимал, что здесь он ненадолго.

Накопилась дикая, не проходящая за ночь усталость и растущее день ото дня разочарование. Последние события показали всю бесперспективность борьбы, которая все более приобретала формы бандитского промысла. Хотелось уйти, снять шинель, тяжелые сапоги, поставить в угол избы карабин и шашку и заняться, наконец, такими понятными мирскими делами.

Красные бестолково, не системно, но напирали. Очаги возмущения и сопротивления возникали в уездах повсеместно, и отправляясь в рейд, можно было нарваться в любом селе на обстрелы из засады.

Многие из отряда планировали отступление в Монголию и Китай. Хватову эта позиция казалась гибельной и малопривлекательной.

После Верхнеудинска войска отошли к Чите, где задержались на несколько месяцев, теснимые Красной армией. Помыкавшись среди отступающих в полном беспорядке войск, которые испытывали теперь активное противостояние со стороны населения, Кондратий Хватов, понимая гибельность положения Белой армии в Забайкалье, отправился на восток. Сотник понимал уже твердо, что наступает час, когда придется покинуть страну, которую вовсю корежила революционная конвульсия, способная убить или возродить бывшую империю к новой жизни. Казалось, что страна, когда-то огромная крепкая держава, в предсмертном стоне закатывает глаза, делая последний, глубокий, но совершенно не способный вернуть ее к жизни вздох.

В любом случае, оставаться здесь не было уже никакого смысла. Биться за потерявшую привлекательность идею возрождения империи было поздно, а служить японцам, пытавшимся охватить свой кусок от российского Приморья, было совершенно неприемлемо. После очередного переформирования части Хватов прикупил справку у полкового писаря о командировании для службы в другом воинском подразделении и подался искать удачи самостоятельно. Добытые золотые монеты помогали решать любые возникающие на пути проблемы.

Так Хватов оказался во Владивостоке и затесался в охрану гарнизонных складов на самой окраине города, чтобы присмотреться и в то же время не лезть под пули. В пригороде Владивостока у угольных шахт он направлялся на мерине в гарнизонный отдел снабжения, размышляя, что пора уже решать что-то с отъездом за границу. Подъезжая к станции, сотник заметил группу истерзанных, едва бредущих пленных, которых вел казачий конвой верхами по пыльной улице. У станции людей под конвоем подвели к забору и приказали сидеть в ожидании распоряжений, приставив охранение. Хватов остановился и, обратившись к казаку из охраны, поинтересовался:

— Эй, браток, это че за люди? Откуда вы их ведете?

Казак лениво оглядел сотника и, не обращая должного внимания на его офицерский чин, ответил, продолжая лузгать семечки:

— Побили нынче под Залесьем краснюков. Эти в лесу хоронились.

— А это кто? Побитый весь, смотреть страшно. Командир?

— Лазо — ихний командир.

— И куда его?

— Куда? Известно куда — в расход.... Шомполами запорют до крови и бросят в холодную кутузку помирать, чтобы коростом покрывлся и мухи на нем кормились... А это, смотри — девка, совсем еще не целованная... По круту казацкому пойдет... Запользуют девицу до полного отвращения, а потом прибьют, как шелудивую собаку под забором...

— Жалко, совсем молоденькая. А кто тут у вас за главного?

— Да вон — вахмистр Строев. Паскуда та еще: ни своих, ни чужих не милует, а своего не упустит.

Хватов, уверенно шагая, направился к вахмистру и, коротко козырнув, спросил:

— Твоя девка, господин вахмистр?

— Ну, моя. А тебе, ваш благородь, какая надобность? — насупившись при виде незнакомого казака-офицера, ответил Строев.

— Слушай, есть идея, — не стал рядиться из-за небрежного обращения нижнего чина к офицеру Хватов, — отдай ее мне. Нам нужна баба в помощь в санитарном вагоне. Будет бинты стирать да помой выносить.

— Да ты че, сотник, с меня спрос будет — куда комиссаршу дел? Она у них идейный предводитель, помощница самого Лазо.

— Скажешь, сбегла, а я отвалою за нее вам денежку, — вкрадчиво стал убеждать вахмистра Хватов. Я ж все же офицер, а не какой случайный прохожий — под присмотром будет, если че — накажем строго.

— Че ты там отвалишь? Нынче все гольтьба! Гол, поди, как тесанный кол, — Строев хохотнул, — а туда же — отвалою денежку! Керенками, бумажками, желаешь дело замутить? Фанты эти уже на дух не нужны. Рассмешил ты сотник дядю, — охамевший вахмистр скривился в усмешке.

— Золотишко у меня есть. Золотые царской чеканки монеты. Возьмешь? — ответил Хватов, не обращая внимания на хамство нижнего чина, и тут же, отметив хищный интерес во взгляде вахмистра, достал из кармана заранее приготовленный золотой червонец. — Вот, глянь.

— О как! И много у вас этого добра? — уже спокойно и крайне заинтересованно выдохнул вахмистр и даже как-то подобрался перед сотником.

— Да есть толика... Не обижу.

— Да за эту красотку полудохлую десятка три червонцев давай. Сам понимаешь, нужно всех как-то убедить, что девку следует передать сотнику заезжему, — вдрут засмеялся вахмистр, обнажив щербатый рот.

Хватов понял, что завышает цену вахмистр, умело выманивая у него золотые монеты, и поначалу было даже вспылить:

— Ты че, вахмистр, хамишь?! Это же золотые монеты — целое состояние! — вахмистр, скривив деланно равнодушное лицо, развел руками, давая понять, что предложение не требует торга. — Ладно, согласен. Сейчас поднесу денюжку, — махнул рукой Хватов и отошел.

Отойдя от вахмистра, он видел, как Строев подозвал чернявого бородатого урядника и что-то ему стал нашептывать на ухо. Тот стоял, нахохлившись подле крупного Строева, и кивал, поглядывая исподлобья в сторону Хватова. «Вот суки — стговорились проследить и отнять все золото», — пронеслась шальная догадка в голове Хватова.

Сразу где-то между лопаток привычно заглодело, и учащенно забилося сердце. Но сотник решил все же завершить начатое и полез в походную сумку, притороченную к седлу. Мерин, перебирал ногами и, чуя, что хозяин полез в поклажу, напомнил о себе, о своем желании подкормиться: потянулся мордой к Хватову и прихватил зубами за рукав. Хватов отвел морду коня, отсчитал нужную сумму и забрал из сумки мешок с золотыми монетами, переложив в свой вещевой мешок. Мешок забросил за плечи и вернулся к вахмистру.

— Вот твои тридцать золотых, — обратился к вахмистру Хватов, внимательно и настороженно контролируя ситуацию. — Забираю девку? — глядя в бегающие глаза вахмистра, спросил сотник.

— Дык бери, коли стговорились, — ответил нехотя, с задержкой Строев, перебирая монеты и косясь в сторону своего подчиненного, который явно ждал команды от вахмистра с тремя стоящими рядом казаками.

Хватов, чувствуя, что становится горячо, положил руку на кобуру и отстегнул ее, нащупывая рукоять нагана. Тут из-за угла вышеляпонский патруль. Японцы вышагивали по пыльной дороге, сверкая зеркального блеска клинками на винтовках и старательно топоча ботинками в обмотках по пыльной дороге. При виде японцев вахмистр не стал отдавать команду на захват Хватова, а взялся заинтересованно рассматривать монеты, завернутые в тряпицу, косясь на марширующих японцев. Хватов пошел за пленницей. Та стояла у забора рядом с еще двумя избитыми партизанами, которые стоять не могли и сидели на корточках, босые, тяжело привалившись к доскам ограды и свесив понуро в кровоподтеках и кровавых коростах головы.

Навстречу Хватову шагнул конвойный, преграждая путь. Хватов глянул в сторону вахмистра, и тот махнул рукой, давая понять — пусть, мол, подойдет и забирает девицу. Хватов без предисловий ухватил пленную за руку и потащил за собой. Та упиралась и взялась колотить его по спине и плечу своей легкой ладошкой. Казаки заржали, видя

такое представление.

— Цыть, дура. Спасая тебя от позора и гибели. Прекрати ерепениться, — прошипел на девицу Хватов.

Девушка как будто поняла сказанное, колотить его перестала, но шла за ним упираясь. Хватов отвязал коня, не выпуская девушку одной рукой, потом влез в седло, по-прежнему одной рукой держа ее, а оказавшись на коне, наклонился и ухватив пленницу под руки, легко вскинул и усадил на коня перед собой. Та и охнуть не успела, как конь, перебирая ногами, кинулся рысью, пыля по улице. Хватов приударил мерина и, стараясь быстрее скрыться от возможного преследования, стал плутать по улицам и закоулкам, а выбравшись на окраину поселка, остановился под высоченным тополем, спешился и отвел коня с девушкой за высокий забор крайнего дома, а сам стал из-за поворота выглядывать преследователей, хоронясь и оглядываясь. Те скоро появились. Трое казаков, что стояли поодаль, когда Хватов забирал девушку, теперь рысью степенно скакали по улице и крутили головами в поисках сотника.

«Вот страмина! Сколько волка ни корми, он все равно смотрит на тебя», — вспомнилась Хватову усвоенная им за годы службы истина. Кондратий снял карабин и из-за укрытия прицельно пальнул в сторону казаков так, чтобы и не зацепить, но и показать, что они на верной мушке. Казаки закружились на конях на месте, по-прежнему не видя Хватова. Хватов не дал времени им опомниться и снова пальнул так, что выбил пулей у ног коней на дороге пыль. Этого хватило: казаки развернулись и, нахлестывая коней нагайками, сразу перешли на галоп и понеслись по улице, всполошив собак в подворьях. Отметив, что теперь его не преследуют, Хватов снова вскочил в седло и, крепко обхватив девушку, направился к дому, в котором остановился.

Привел девушку в дом. Та вела себя, как совсем чумная. Выглядела нескладной, как лосиха-олениха, но маленькая да тощая, косилась на Кондратия раскосыми, слегка темными глазами.

— Не бойсь — не обижу, — сказал тихонько Хватов.

Девушка вдруг как заревет, как загомосит. Прилипла вдруг к Хватову, не оторвать, слезами всего его измочила...

— Как зовут-то тебя? Так и не познакомились.

— Ольга я.

— Ольга. Вот так — будто всю жизнь знал, что жена у меня Ольгой будет зваться, — усмехнулся Хватов и вспомнил Матрену, ее равнодушную к нему плоть и обиду, которую он унес с собой без всякого права что-то изменить.

Стали коротать время вдвоем с Ольгой и думать, как жить дальше. По всему выходило, что нужно уезжать из этой полыхающей и источающей из каждой подворотни зло и насилие страны.

Хватов уезжал на службу, дом запирали и наказывали Ольге не выходить во двор. Вскоре подвернулся случай — сопровождали груз с парохода на склад, и удалось договориться с комендантом порта о том, что посадит он его и спутницу на американский теплоход, что отправлялся в Калифорнию. Пришлось коменданту изрядно заплатить, но тот оказался честным малым, и в ночь, оставив своего мерина на причале и наказав коменданту позаботиться о коне, на подрагивающем на волне буксире Хватова и Ольгу доставили к теплоходу, что стоял уже под парами на рейде. Устроившись в каюте на нижней палубе, где нещадно пахло прокисшим и трудно дышалось, Хватов с тревогой думал о далекой стране, которая их не ждет. Как-то сложится там.

Пароход выходил из бухты Золотой Рог. Хватов с Ольгой вышли на верхнюю палубу, прошли на корму, дышали полной грудью океанским воздухом и смотрели на огни удаляющегося порта и города, и хотелось им верить, что самое страшное в их жизни все-таки позади.

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ПОРУЧИКА НИКОЛАЕВА

Повесть посвящена событиям и людям великого перелома в жизни России сто лет назад. Тогда на окраинах павшей империи, в Якутии, гремели еще боевые столкновения бывших и в то же время новых граждан огромной страны. В марте 1922 года случился памятный бой на протоке у реки Лена, в котором погиб боевой отряд Красной армии под командованием яркого человека, красного анархиста Нестора Каландаришвили. Эти события стали прологом борьбы последних белогвардейцев и местных националистов с большевиками за власть на окраине страны под конец братоубийственной войны.

I

Вдоль поймы реки Лена строкой-гусеницей двигался обоз-эшелон, включавший более ста саней. Катились санки друг за дружкой по узкой натоптанной дороге среди бескрайнего снежного поля с редкими перелесками.

Снег в эту мартовскую пору еще сиял по-зимнему, выдавая с утра свечение всех мыслимых и невероятных отблесков утреннего солнца, но воздух днем уже был полон грядущего тепла, которое как бы парило в воздухе. Если смотреть на ставшее над горизонтом солнце, пушистые зайцы-бесята искрились цветами радуги на снежном поле и от яркости набирающего весеннюю мощь солнечного света рябило в глазах.

Как бы подкрепляя иллюзию, на пригорке среди кустов и правда появился ушастый совершенно белоснежный обитатель здешних перелесков. Зверек внимательно оглядел идущий в низинке обоз, постриг ушами и, отметив, чутко просканировав запахи, что лучше схорониться, сиганул в сторону, путая следы.

Лошади, трудясь в упряжи, фыркали, очищая ноздри от инея и льда, трясли головами с проседью заиндевельх грив. В десятках саней, укрывшись овчиной, в косматых шапках сидели вооруженные люди, стояли укрытые пулеметы, чьи замороженные рыльца выглядывали из-под рогожки и предупреждали о несносно-смертельном своем характере. Позади обоза тащились и пушки, установленные также на сани. Шел обоз неспешно, голоса седоков слышались изредка: а о чем говорить, коли в пути уже второй месяц — переговаривали о многом и не раз.

Порой раздавалось деланно басовито:

— Гой, пошла, пошла! — в адрес заскучавшей лошадки, и было понятно, что это сам возница задремал в пыльном тепле тулупа, поводья провисли, ослаб в удилах натяг, вот лошадка-то и встала.

Путь боевого подразделения Красной армии лежал от Иркутска в направлении Якутска: ожидали прибытия в столицу края к середине дня.

Яшка Астахов сидел на сани, укрывши ноги кошмой. Был солдат в старом тулупе, с большим серым с желтизной от старости воротом и смотрел назад — против направления движения, оперевшись спиной в ящик со скарбом. Перед ним маячила уже третий час дороги рябая морда коня, запряженного в санки позади Яшкиных саней. Рябой тряс головой, избавляясь от нарастающей на морде измороси и льда, и его заиндевельная морда была живописна и трогательна: белые от инея ресницы хлопали, словно крылья зимней бабочки, а укрытая заиндевельным мехом-инеем плоская проплешина под сбруей, широко дышащие ноздри создавали забавное зрелище неведомого природе сказочного зверя. Рябой же, четко уловив, что под кошмой на скользящих перед ним саних лежит сено, все норвил подойти поближе и, задрав мордой накидку, выхватить сенца и похрустеть на ходу, труся неаккуратно сухой травой на дорогу.

Яшка был новобранцем. Его призвали под осень из деревеньки Тальцы близ Иркутска, едва ему стукнуло восемнадцать. Потолкавшись на сборном пункте и послужив месяц в учебном центре, парень научился маршировать в строю, стрелять из выданной ему трехлинейки, колоть чучело из соломы приставленным к винтовке штыком. Научили молодого солдата отрыть окопчик и занимать по приказу оборону. Других премудростей строевой военной жизни Якову не досталось за короткий срок обучения, и была надежда, что они и не потребуются в дальнейшем.

На полигоне учил молодых солдат опытный служака Игнат Каменев, бывший унтер-офицер, прошедший германскую и послуживший в Красной армии, а теперь прикомандированный к губернскому сборному пункту. Игнат, щуплый, перепоясанный тугим ремнем в офицерской фуражке с наколотой поверх следа от кокарды звездой с лемехом на алом, выхаживал степенно вдоль строя новобранцев в видавших виды сапогах и излагал свое видение тактики штыкового боя:

— Колоть сынки в бою нужно резко! Вот так! Чтобы не увернулся супостат! И обязательно с придыханием! Вот так! — Игнат вдруг пучил глаза, надувал щеки так, что его вислые усы начинали топорщиться, как у таракана. Надувшись, словно собрался затушить свечу, покрасневший Игнат решительно делал шаг вперед с приседом и руками, в которых, вероятно, должна была быть винтовка, показывал резкое движение вперед и тут же выдыхал с громким: — А-ах!

Отдавался делу подготовки молодых Игнат без остатка, и скоро уже над полигоном неслись вздохи и ахи на все лады, а чучела из прутьев к окончанию дня были размочалены и разбиты наголову.

Выглядел молодой солдат юнцом: на круглом лице со смысленными голубыми и, казалось, всегда удивленными глазами еще вовсе не росла борода, и только над детской оттопыренной верхней губой едва-едва пробивался пушок. Открытый взгляд и то и дело расплывающиеся в улыбке губы тут же располагали к пареньку всякого, кто с ним заводил общение.

Теперь, в обозе, Яшка частенько вспоминал свою деревню на берегу реки и среди тайги. Вспоминал дом, родителей, брата Мишку, то, как жили раньше и как все повернулось с революцией и сменой власти.

Прежняя власть с ее строгостями поминалась Якову по отступающему в феврале 1920 года через деревню по льду Ангары потоку солдат, беженцев и белоказачков на усталых конях. Лица бежавших мало что выражали от усталости и истощения — столько им пришлось уже пережить. На каждом можно было отметить печать глубокой горечи и безысходности: снялись еще по осени в спешке под артиллерийскую канонаду с насиженных родных мест и теперь безуспешно искали пристанища.

Путь держали, гонимые новой властью, бежали в испуге побитые и смертельно усталые люди: направлялись на восток, через лед Байкала в Бурятию, в Забайкалье и далее в Китай и Монголию.

Рядышком с Астаховым сопел в обнимку с винтовкой, забравшись весь под кошму, его сотоварищ Колька Радичев. Лицо Кольки, укрытое солдатской папахой до глаз, едва виднелось, и было заметно, как блаженен его утренний сон: розовые губы сложились бесформенным вареником и нет-нет расплывались в улыбке. «Вот спит, зараза, всю дорогу, и ночью его не добудишься», — подумал добродушно Яшка и поправил ровнее папаху на голове приятеля.

На Яшкиной голове топорщилась бесформенная старая шапка-треух, а вокруг шеи, за отсутствием шарфа, был намотан выцветший, когда-то фиолетовый кусок бархата, раздобытый в деревушке, когда ходили по дворам, искали провиант и нашли за дорогой ломкую, непросушенную до конца на морозе то ли скатерть, то ли покрывало. Тряпка стояла домиком, припорошенная уже снегом. «Удуло ветром, видать, с бельевого веревки али забора», — сообразил Колька Радичев и тут же прибрал находку, а когда та оттаяла в избе, распространяя дух свежестиранной вещи и подсохла, щедрой рукой разделил пополам и отдал кусок Яшке со словами:

— Добрая тряпица, мягкая, бери на портянку или на шею намотай — все же по утрам холодно.

Намотал Яшка, поначалу смеясь, себе на шею тряпицу вместо шарфа — сроду не носил такую он вещь, но потом оценил удобство и стал таскать, не обращая внимания на смешки сослуживцев.

За спиной Яшки на облучке восседал ездовой Ерема — мужик из Качуга с берега Лены, где начался долгий путь вдоль реки. Ерема, нанятый с конем, чтобы сопроводить боевой отряд Красной армии в Якутск по призыву Иркутского ревкома, был человек не армейский. Служил когда-то, контуженный еще на войне с германцем, хотел было отсидеться от очередного призыва, но из сельского совета затребовали коня, и чтобы сохранить живность и вернуться с ним назад до наступления ледохода, Ерема сам вызвался ехать. Так было вернее: и конь сохранится, не пропадет в чужих руках, и есть гарантия, что вернутся вместе домой.

Ехать было уже и привычно, и тошно. Дорога от Иркутска по тракту до Качуга и уже по зимней дороге вдоль Лены-реки занимала скоро два месяца, и если бы не дни отдыха в придорожных поселках, то можно было сойти с ума от однообразия таежно-речного пейзажа, открытых снегом полей, от беспоконья и суеты дороги и бесконечного холода, от которого, как ни кутайся, спрятаться не удавалось, и промерзали насквозь,

до нервного озноба, колотуна и стуча зубами.

Из Техтюра — старинного ямщицкого села на берегу Лены с вековой историей — вышли раненко, еще в полной темноте, чтобы до окончания дня войти в столицу края. Скорое завершение долгого перехода с несколькими днями отдыха оживило отряд, заиграло настроение, чаще стали слышны шутки и смешки: народ повеселел. Утром, еще в сумерках вышли дружно, ожидая наконец окончания дороги, обещанной баньки с веничком. Говаривали мужики, что командир обещал и водки поставить.

Оптимизма, правда, не добавляло то, что последнее время часто говорили о возможной впереди засаде. Поговаривали, что активизировались банды, то там, то в другом месте выбывая и вешая активистов и сельсоветчиков. Об этом сообщали в поселках и станциях, через которые проходил обоз. Но теперь в конце перехода все было тихо, и показалось, что обернется дело без боевого столкновения, к которому мысленно готовился всякий боец отряда по приказу воинского начальства.

На пути в ложбине подо льдом и снегом отметилась протока могучей реки Лены, что раскинулась бесконечным заснеженным полем справа. Протока едва выделялась на фоне снежной равнины, и только деревья, тесно сбившиеся на противоположном более возвышенном берегу, да чернеющие кусты вокруг подчеркивали рельеф.

Впереди обоза метрах в трехстах от основной группы шло двое санок с вооруженными людьми. В косматых папахах и тулупах, полулежа, приготовив пулемет и винтовки, бородатые солдаты всматривались в даль и кратко переговаривались гортанно, не по-русски. Это был авангард из отчаянных черкесов боевого отряда командующего войсками Якутской области и Северного края Нестора Каландаришвили.

Где этот Северный край заканчивался, было не совсем ясно, и все посмеивались:

— Ты, Нестор Александрович, командир всего «от моря и до моря».

В авангарде командовал бедовый Мезхан Бенжанов по прозвищу Лис, и с ним в санках несли службу трое молодых черкесов, преданных Нестору и прослуживших с ним с того самого дня, когда бедовым наскоком захватили Александровский централ. В тот рейд, удачный и почти бескровный, освободили из заключения и черкесов, и многих других из отряда. Все трое из авангарда попались на грабежах и отбывали уже третий год в тюрьмах и на пересылках, дважды попадались при побегах. А тут в одночасье оказались на свободе и попали в боевой интернациональный отряд анархистов Нестора. С тех пор держались за атамана, перековавшись из бандитов в красных анархистов, а теперь уже бойцов Красной армии.

Сформированный отряд выдвигался в Якутск для укрепления большевистской власти в столице Северного края и активных действий против поднявших голову контрреволюционных сил.

Разбитые под Иркутском и отошедшие по всему Прибайкалью части армии Колчака ушли в Забайкалье и были вытеснены за пределы России в Китай, в Монголию. Немногочисленные отряды, часто из местных, ушли на север, где до поры затаились, а когда начались волнения в ответ на притеснения новой власти, включились в борьбу: как могли огрызались, лелея надежду скинуть ненавистную власть большевиков. Повсеместно происходили акты неповиновения, боевые стычки, убийства тех, кто проводил поборы продрозверстки, учрежденной большевиками. Прибытие командующего с интернациональным отрядом в центр борьбы с контрреволюцией должно было привести к укреплению большевистской власти и ее политики.

Сам Дед, как называли Нестора его сподвижники-подчиненные, занимал санки с оборудованной кибиткой, где с ним делила ложе, усталое шкурой медведя и ковром, жена витимского еврея-подрядчика, у которого умыкнули даму за сутки пребывания в городке.

Проезжая Витим, по пути из Иркутска через Качут, Нестор отметил молодую грузинку среди прислуги трактира для заезжих путников. Такой случай Нестор не мог пропустить — землячка среди дальних сибирских снегов была для него дорогой редкостью. Нестор отвел в сторонку молодую горбоносую особу с глазами-оливами и легко без предисловий взялся расспрашивать, степенно по-грузински, разглядывая в упор свежее лицо и грудь, что вздымалась от волнения. Заканчивая тихое в полголоса соблазнение, перешел на русский и позвал за собой, давая понять, что интересна ему красота землячки. Та уже польхала огнем, щеки разругались, а в глазах забегали искорки-бесята. Намаявшись в навязанном замужестве и теперь среди кавказцев, которых в окружении Деда было достаточно, вдруг зацвела. Ощувив в себе женские ресурсы, ни слова не говоря опостылевшему супругу, вышла утром с котомкой и, не мешкая, уселась в санки к вожаку. Тот ждал женщину по уговору и, как только все устроилось, закрыл кибитку от любопытных глаз накидкой. Софью — Софико, как тут же назвал новую знакомую Нестор, — он забрал с собой, пообещав пристроить к штабу на время службы в Якутске. Иметь рядом красивую женщину и соотечественницу показалось Нестору вполне удобным и приятным делом.

Нестор, еще недавно осужденный по ряду статей «Уложения о наказаниях» Российской империи, колоритный, весь в кожаном одеянии, перетянутый ремнями, с неизменным ножом горца на поясе, атаман банды анархистов, ныне значился коммунистом и красным командиром. Отмечен был Дед за боевые заслуги встречей в Москве с Лениным и Троцким, но не растерял еще повадок хулиганистых и без сомнений увез даму, наобещав многое. Это для него было делом простым — сыграть новую роль, вскружить голову даме, наобещать горы златые. И теперь в кибитке, в тепле под мехом и мерное покачивание санок тешил самолюбие Нестор, в который раз удивляясь невероятным размерам Сибирского края и нежданно свалившейся пригнотности.

Нестор подремывал в своем возке, рядом уютилась, уткнувшись в плечо красного командира, Софико. Поначалу испуганная, неуверенная, после первых ночевок в отдельном, выделенном Каландаришвили доме, на широкой кровати, утопая в жаркой пуховой перине и в объятиях вожака, раскрепостилась и проявила себя как сноровистая дама, способная облажить мужчину. Смотрела Софико на Нестора с любовью и думала уже о том, как обустроит их жильё по приезду в Якутск. Словно кошка, подобранная на улице в мороз, ластилась к новому хозяину, и в глазах с обворожительной поволокою гулял шальной огонек. На второй уже день забыла Софико своего мужа так быстро, как забывается оставленная второпях малозначимая безделушка из гардероба.

В возке, во время пути, Софико дремала, прикинув к Нестору, а он, всегда решительный, думающий наперед, несколько размяк и сидел тихонько, порой за день из возка выходил только по нужде. Вспоминал Нестор свою насыщенную событиями жизнь, размышлял о том, как она поворачивалась теперь для него и что можно было ждать в дальнейшем.

Перед протокой Нестора побеспокоили: к возку подскочил помощник, начштаба Зураб Асатиани, и пришлось остановиться. Зураб глянул мельком в возок, отметил, как уютно устроился командир с землячкой, и высказал сомнения по поводу узкой ложбины, в которую втягивался эшелон обоза. Накануне в Тюнгуре, когда обсуждали последний оставшийся переход до Якутска, от местных звучали предостережения о дурно складывающейся обстановке. Сообщали с мест, что отряд поручика Николаева проявил на днях нешуточную активность и был замечен разъездом на подступах к окрестным поселкам, где он, вероятно, и прятался на ночь. Тогда решили идти осторожнее, пустить вперед надежный авангард.

Нестор выскочил из возка без шапки, пряди смоляных волос ложились густо на плечи. Одет командир был легко в кожаной куртке-безрукавке с расстегнутым воротом черной гимнастерки. Окладистая борода, аккуратно постриженная накануне Софико, дополняла колоритный образ Деда. На лице атамана гуляла улыбка, и по всему было заметно, как он доволен собой и всей этой историей с походом, встречей с женщиной.

— Чего бурагозишь, Зураб? Осталось-то верст тридцать до города — добежим, я думаю, без проблем. Боятся нас — все же мы сила: такой здесь не сыскать.

— Надо бы поостеречься, Нестор Александрович. Место, прям скажу, опасное: зажмут нас если в этой лощине — постреляют, как телят на водопое. Тревожно что-то мне.

— Ты же отправил ребят вперед. Лис — опытный воин — справится. Ты наказал Мезхану и его ребятам, чтобы смотрели, истоптан ли снег вокруг? По воздуху люди и кони не летают. Если подойдут какие-то значимые силы, они сразу оставят следы. Пусть глядят в оба. Отправь к ним посыльного, чтобы напомнил — надо бы оглядывать окрестности повнимательнее.

II

Авангард тем временем успешно преодолел протоку в низине и уже взобрался на пологий берег у леса, а основная колонна только подошла и ступила на лед реки.

Сани с черкесами авангарда остановились. Лис встал во весь рост и стал разглядывать открывшуюся долину в бинокль. Снежная равнина вокруг не предвещала ничего тревожного: дорога, извиваясь, уходила вперед, а других следов на снегу, кроме пробитой к леску заячьей тропы, Лис не разглядел.

Успокоившись, Мезхан залег в сани, и авангард тронулся в путь, не заметив, как за леском за возвышенностью сгрудилась человеческая масса с винтовками и двумя пулеметами на санях. Обойдя дорогу через протоку по дальнему пути через низины и за прикрывающими их кустами, отряд поручика Николаева уже с раннего утра поджидал красный обоз, чтобы нанести смертельный удар. Было приказано вести себя тихо, не галдеть, не курить, а присесть пониже — схорониться, будто и нет тут никого.

Николаев долго готовил засаду. Наблюдал за обозом красного отряда, высчитывал и прикидывал, когда и какими силами атаковать красных. Выбирал место, чтобы удар

был скорый, как клинком — молнией вдоль незащищенной шеи. Лакомый был объект — три сотни бойцов, уставших от долгой дороги на открытой местности. Следовало только выбрать место, чтобы подойти затемно, не наследив на заснеженных полях и перелесках, и ударить скрытно разом из всех стволов, чтобы сбить спесь и сломать желание дать отпор на корню.

Как только авангард прошел протоку, а обоз втянулся в ложбину и стал подниматься вверх по склону, из чащи с верхнего яруса берегового откоса косым ударом в правый фланг резанул упрятанный на косогоре пулемет, к нему присоединился второй, и загремели-застрекотали нестройно выстрелы из винтовок. Обоз оказался зажат в ложбине, лошади стали кидаться, вставать на дыбки и, сраженные огнем, падали на повозки, голосили, бились в построюшках и давили людей, ломали санки.

Нестор сразу ощутил гибельность положения — его боевой опыт подсказал, что ситуация сложилась страшная для отряда — уж очень в неудобном, гибельном положении они оказались: как на ладони перед атакующими — осталось только прихлопнуть сверху губительным огнем.

Нестор выскочил из саней с маузером в руке: вид его в отчаянии был страшен. Косматый, черный, Дед отдавал команды криком, гортанно, энергично размахивая руками, словно изловленный в силки и пытающийся вырваться и взлететь ворон, и был четко виден на фоне белого снежного поля. Метался неистово Нестор и был тут же настигнут прицельными выстрелами из засады: так с раскинутыми руками и рухнул в снег замертво.

Зураб Асатиани находился рядом, отстреливался навскидку в сторону нестройно бегущих по снежной целине напавших. Увидев, как упал, словно подрубленный, Дед, кинулся и приник к командиру, но был тут же сражен в спину и голову. Зураб свалился рядом с Нестором, орошая обильно, плавя белый снег горячей кровью.

Разгром наступил после несколько минут боя.

Несколько передних саней, что были полегче, успели прорваться через протоку по целине и ушли в бешеной скачке, отстреливаясь, а огонь из засады косил бойцов сбившегося на узкой натоптанной дороге обоза. Солдаты, оставшись без командиров, беспомощно суетились, пытались занять оборону и даже развернуть пушку в сторону леса, но губительный огонь почти в упор был страшен.

Скоро все было кончено. Снег был устлан убитыми и ранеными, кровь, словно пробивающиеся через сугробы маки, аела празднично.

Где-то за опрокинутыми возками еще прятались живые — ездовые и несколько женщин. Испуганные, бледные, они ждали смерти.

Оставшись без командиров и потеряв основную часть бойцов, от обоза перестали отвечать. И тогда из засады высыпали, гаддя, нападавшие. Бежали по снежной целине люди не в парадных одеждах, падали, вставали, горланя угрозы, проваливались в снег по пояс, а добежав, взялись добивать еще живых солдат штыками, одинокими выстрелами. Убивали зло, жестоко, не скупясь на оскорбления.

Один из нападавших, в грязном полушубке и огромных валенках, одичавший от крови, добив красноармейца, с хохотом взялся справлять малую нужду на убитого.

Санки, в которых сидел Яшка, находились в самой середине обоза. Когда ударила очередь пулемета, показалось — пустяк, трещотка, но пули густо легли вдоль дороги, прямо по спинам лошадей и саням, Яков тянулся с подобранным с дороги сеном к морде рябого коня. Тот заинтересовался, вытянул шею, умильно хлопая ресницами в инее. Вот тут его и накрыла свинцовая плеть: прибитый сверху, словно тяжким кнутом, конь подломился на своих усталых ногах, выдохнул шумно и рухнул на дорогу с вытянутой шеей.

Яшка соскочил с санок на дорогу и вскинул винтовку, ища мишень. Парнишка видел, как завалился, хрипя, прошитый очередью, Ерема, как засучил ногами под кошмой Колька, прибитый той же бесконечной по длине очередью из пулемета. Лицо Кольки, теперь бледное, в муках боли, едва виднелось из-под кошмы, а папаха свалилась совсем, и русые волосы раскинулись, спутавшись с соломой, забрызганной кровью убитых.

Яков вскинул винтовку и крутил головой. Откуда били, было непонятно. Команд никто не отдавал. Вокруг метались люди в панике. Слышались крики и стоны.

— Пулемет! Разворачивай пулемет! — прокричал в отдалении командир пулеметчиков Рудый и тут же свалился сраженный. Ухватив себя за грудь, словно пытался разорвать плоть, раскрыть грудную свою клетку и выпустить страшную боль, что поселилась неожиданно в сердце, Рудый выронил наган и опустился на колени. В его лице застыло удивление. Качнувшись и еще раз окинув взглядом мечущихся вокруг людей, он рухнул лицом в снег.

Удивительно, но Якову в это момент не было страшно. Он был так отвлечен и

поражен увиденным, засуетился и просто забыл, что стреляют и в него и, конечно, хотят убить. События вокруг развивались стремительно, разнообразно, и увлеченный их круговертью, он только крутил головой и не сразу сообразил, что потерял где-то шапку. И когда увидел упавший треух и нагнулся, чтобы поднять, в ногу повыше колена сзади рубанул такой силы удар, что тут же помутилось в глазах от боли, и он свалился, сразу потеряв опору. Еще какое-то время он лежал и приходил в себя, потом стал соображать, что шапку он не поднял и что будет делать без нее, ведь замерзнет, отморозит уши, — как, ослабев от потери крови и болевого шока, забылся.

Очнулся Яков, лежа на дороге лицом вниз. Щеку, что плавила лед, а теперь уже остыла и примерзала к снегу, сводила судорога. Ног он не чувствовал, и только там внизу где-то в области колена пульсировала, разрасталась и раздирала ногу изнутри боль.

Выстрелы еще звучали, но негусто — губительного огня уже не было. Яков услышал голоса и, глядя через частокол санок, полозьев, мимо лежащих на дороге людей и лошадей, увидел, как в его сторону идут люди в унтах, валенках. Он сразу понял по обуви и обрывкам фраз, что это чужие, не солдаты его красного отряда. Яков слышал, как отдают команды и звучат выстрелы уже совсем рядом:

— Добей вон того! Шевелится — знать, живой! — раздалось снова, и Яков увидел невысокого в серой офицерской шинели человека в папахе, с шашкой на боку и с наганом в руке, обтянутой черной кожей перчатки. Он шагал в оленьих унтах вдоль растерзанного обоза и крутил головой. Определив цель, стрелял в упор в лежащих, раненных, но, видимо, еще живых красноармейцев.

В этом человеке сразу угадывался начальник и офицер. Якову стало дико страшно, и он зажмурился, ожидая уже выстрела в голову. Выстрела не последовало, но хруст снега под оленьими унтами раздавался, показалось, все ближе, и было понятно, что скоро подойдут и к нему.

— Слушайте, господин поручик, — послышалось впереди, и Яков снова открыл глаза и увидел, как к офицеру подошел мужик в коротком полушубке, собачьих унтах и шапке-папахе, сделанной из оленьей шкуры. Шапка торчала, словно пирамида, а прямой олений мех топорщился нескладно во все стороны.

— Чего тебе, Петровский? — откликнулся офицер.

— Слушай, Николаев, — подойдя ближе, перешел на более близкую по форме манеру разговора мужик, — надо бы ездовых побережь, а то кто с лошадьми, взятыми в обозе, управляться будет. Скажи, чтобы твои не так сильно лютовали. Дай команду обозным отойти в сторонку.

— Спихватился ты! Их уже почти всех покروшили, — отозвался поручик Николаев и глянул в сторону Якова через сани, что загораживали его от командира атаковавшего обоз отряда.

— Тут вот еще бабу прихватили. Сказывают, женщина самого Нестора. Куда ее?

— Баба Нестора? Интересно. Заберем с собой. В хозяйстве сгодится. Красивая, небось? Говорят, любит Нестор красивых баб.

— Грузинка она. Черная, как ворона, но такая справная на лицо, в теле бабенка. Есть за что подержаться, — заржал мужик в нелепой шапке-папахе.

Якову до дури стало страшно, и, уже не чувствуя тела, истекая кровью, он замер, приник к снежному полотну дороги. Николаев шагнул в сторону лежащего Астахова, и скрип шагов по снегу был уже оглушительным, раздирающим перепонки. Казалось, что каждый его шаг — это шаг неотвратимой смерти. Яков подтянул ноги, преодолевая боль, сжался в комок и стал ждать смертельного выстрела.

И тут вновь ударил пулемет. Голосок у этого изрыгающего погибель агрегата был несколько иным, и стало вскоре понятно, что бьют уже по тем, кто только что разгромил обоз. Могло показаться, что подошла поддержка со стороны Якутска, но атаки не последовало.

Вокруг засуетились, забегали, а Николаев побежал, на ходу отдавая команды:

— Все отходим! Уводите коней с санками! Петровский, займи оборону, сдержи красных на подходе! — раздался голос над Астаховым, и мимо него, за убитым и теперь лежащим на дороге Еремой, прошагали ноги в знакомых унтах.

Заскрипели санки, и напавшие из засады стали уходить из-под огня по целине. Яков понял, что угроза как будто миновала и теперь только нужно дожидаться тех, кто придет спасти оставшихся в живых, и снова потерял сознание.

III

Поручик Николаев мог быть доволен. Подготовленная, продуманная до мелочей засада дала результат — основные, наиболее активные бойцы отряда Нестора Каландаришвили были повержены. Среди нападавших потерь практически не было.

Только двоих зацепило, когда бежали по целине к обозу.

Достался поручику и главный желанный приз — сам Нестор. Шутка ли? Знатный в Сибири лидер анархистов, а ныне большой воинский большевистский начальник, назначенный Москвой вершить террор в дальнем заснеженном углу нарождающейся новой, теперь уже большевистской империи.

Поручик Николаев имел с Нестором давние счеты, еще с той, только что угмонившейся в основном гражданской войны. Теперь, когда после смертельной атаки поручик оказался рядом с возком атамана, он мог насладиться моментом, отметив, что враг мертв.

Нестор лежал на белоснежном покрывале, раскинув руки. Его маузер был зажат побелевшими пальцами — не разжать, но тело, лишенное жизни совсем недавно, уже не могло оказать сопротивления: пятна крови расплылись на груди и окрасили белый, как саван, снег. Лицо вожака, теперь бледное, с синевой до черноты под глазами, с гримасой отчаяния, было в обрамлении черных длинных волос, а глаза, большие, на выкате, смотрели ввысь, словно промеряли для себя неземной путь в мир иной. Снежинки, поднятые налетевшим вихрем, ложились на лицо вожака и уже не таяли.

После гибели красного командира и анархиста Каландаришвили в Якутии резко возросло противостояние, и с яростью закипела вооруженная борьба за власть. Воспрянули духом белогвардейцы, примкнувшие к ним повстанцы из числа ущемленных в правах местных, недовольных жесткостью новой власти. Расшевелилась интеллигенция среди инородцев, увлеченных стремлением к первенству национальных интересов — к некоторой независимости от центральной власти.

Успех отряда поручика Николаева, его рейд вдоль трассы на Якутск и разгром большого военного обоза, в котором удалось захватить оружие, боеприпасы и даже пушки, произвели впечатление на многих не только в Сибири, но и в столице и на Дальнем Востоке.

Поводом для активного сопротивления и организации отпора большевикам стала ситуация, когда вся власть в регионе перешла к назначенцам из Иркутска. Триумvirат партийной, гражданской власти и чрезвычайной комиссии в Якутске развернул красный террор. Стали обычными карательные рейды по улусам, уже неоднократно обобранной продразверсткой до нищеты. В тот год, дабы взять под жесткий контроль бурлящую окраину, к Иркутской губернии присоединили всю северную территорию, заселенную инородцами. Местным, часто скрывавшим свои национальные предпочтения большевистскими лозунгами, доверяли с оглядкой, и было это неспроста.

Глава партийного комитета Якутии Лебедев, сам в прошлом эсер, полный презрения к инородцам, развернул травлю местной интеллигенции, выступавшей за то, чтобы Якутия была самостоятельной республикой в составе Советской России. А результат в Якутии как грибы после дождя росли ряды готовых к мятежу, к борьбе за власть, и часто в качестве лидеров сопротивления выступали офицеры Сибирской армии Колчака.

Корнет Василий Коробейников, амбициозный, харизматичный молодой человек встал во главе Якутской народной армии. Скоро в состав армии влился и отряд националиста Павла Ксенофонтова — главного идейного вдохновителя якутского «духа». После оформления идейных принципов движения и одобрения местных лидеров к «армии» корнета стали подтягиваться и другие, порой совсем малочисленные отряды из местных.

Корнет объявился в Якутии после разгрома Сибирской армии Колчака в составе отряда растерянных и загнанных в угол служаков — как на подбор циников и алкоголиков, для которых служба, суতোлка армейских штабов и бесконечное движение вооруженных людских масс было привычной средой обитания. Другого они не знали в своей взрослой жизни и, испытав первый ужас, когда отряды безусых юнкеров безжалостно разгонялись рабочими дружинами, изо всех сил старались сбиваться в стаю. Именно тогда в тех первых уличных кровавых стычках молодые юнкера, корнеты и поручики потеряли нравственные ориентиры, и только туманные воспоминания о балах и «хрусте французской булки», рождественских светлых днях двигали их в стремлении все вернуть в состояние «все как прежде». По сути, какой-либо идеи или, тем более, идеологии они предложить не могли, а просто жили поборами населения, в суতোлке борьбы и насилия, с надеждой вернуть ту среду, что их взрастила, и, сбившись в стаю, добывали день за днем свое право существовать.

В Якутии, в этих просторных пределах, существовать можно было, затерявшись и затаившись на дальних заимках и приисках, что часто и случалось после вылазок для пополнения запасов.

Напившись и со слезами на глазах в сотый раз вспоминали бои семнадцатого, во-

семнадцатого года, когда впервые пролилась кровь россиян в междоусобице, и, казалось, свои, такие покладистые всегда работяги-мастеровые, надежные матросики и солдаты вспарывали животы и проламывали черепа безусым защитникам царской власти, кромсали боевых офицеров без разбору. Рыдали теперь те в ответ, и казалось всем так ясно то, что следует делать — мстить, колоть и вешать и принудить «скотинку» встать в стойло. Но «скотинка» не желала в упряжь, отбивалась и уже казалась неодолимой.

В марте, сразу после разгрома отряда Нестора Каландаришвили, в Чурапче было создано Временное Якутское народное управление. Поручик Николаев также привел в Чурапчу свой отряд, значительно усилившийся после удачной атаки на протоке, с намерением включиться в борьбу в последней надежде на успех в захвате власти.

Коробейников встречал прибывших на крылечке деревянного, ладно сложенного дома на таежной заимке из нескольких дворов с рублеными крепкими домами и летними домиками в пяти верстах от Чурапчи.

Командующий — высокий человек лет тридцати в бекеше из овчины с меховыми отворотами, в папахе и длинных оленьих унтах до колен — выделялся среди подчиненных не только ростом, но и неким уровнем культуры во внешности, что давало ответ на источники происхождения человека. Лицо корнета — узкое, худощавое, гладко выбритое, с лихо подкрученными усами — придавало ему вид несколько залихватский, что совершенно не вязалось с унылым выражением глаз. В облике корнета уже просматривались следы алкоголизма, обычного для молодых офицеров, которые пришли на смену изрядно полинявшей «косточке» царской армии старой закалки. Для лица командующего были характерны мешки под глазами, вызревающая одутловатость лица — результат долгих скитаний по фронтам войны, тайге, неустроенности быта и той безнадеги, которая нарастала с каждым новым витком противостояния и лечилась в окончании очередного дня просто — изрядной порцией водки или самогона. За несколько лет войны боевой задор, без значительных побед, лихих реляций, практически иссяк, а молодые люди, посвятившие себя службе Отечеству, превращались неуклонно в унылых циников, которые только алкоголем еще поддерживали свой боевой дух.

На поясе корнета висела шашка с рукоятью и ножнами, отделанные серебром, а руки в толстых меховых рукавицах заложены за спину. Корнет внимательно рассматривал проходящих мимо него пеших и конных бойцов отряда поручика Николаева.

Рядом с корнетом стояли помощники, одетые разнообразно, в основном в овчинные полушубки, подпоясанные ремнями, в унтах и папахах. Были здесь и представители местного народа — якуты, и лица с европейской внешностью. Все, как на подбор, усатые с небритыми лицами, в основном низкорослые крепыши, непрерывно крутили папироски, делясь табачком, дымили самосадам, словно исполняли некий ритуал мужского общения.

Поручик Николаев в некотором размышлении о том, что корнет по чину ниже его официального звания, совсем не по-армейски вразвалочку подошел к крыльцу с встречающими его отряд командирами народной армии и коротко, козырнув, отработал:

— Поручик Николаев со своим отрядом числом сто семь бойцов прибыл для соединения с народной армией для борьбы с большевиками!

— Bravo, господин поручик! Вы и ваше боевое подразделение добились большого успеха. Потрепали краснючков за бороду, пощипали супостата, — шуточно ответил, картавя, Коробейников, и в его глазах, холодных, настороженных, появился огонь азарта и тут же, впрочем, пропал. Корнет оглядел своих подчиненных, которые в ответ улыбнулись шутке командующего и стали приветствовать вновь прибывших, здороваясь за руку с поручиком. — Милостью Божией прошу вас и воинов земли русской присоединиться к нам, — далее несколько пафосно продолжил корнет и жестом пригласил Николаева пройти в дом.

В этот момент мимо крылечка с офицерами и командирами народной армии проезжали последние в обозе санки. В последних санях, выстеленных сеном, сидели, прижавшись друг к дружке, три захваченные в обозе Нестора дамы. Это были санитарки и Софико, мечтавшая обрести женское счастье с Нестором. Женщины были укутаны в шубы, и только глаза были видны из-под платков в инее.

Корнет, уже было направившийся внутрь дома, обратил внимание на женщин, заинтересовался, сразу взбодрился и повеселел:

— Это что за куклы у вас в отряде — милый такой народец, господин поручик?

— О, это наши трофеи! Дамы из обоза Нестора! Две медсестры и его любовница, грузинка. Ладная, кстати, дама, как говорится, «все при ней» и хороша собой.

— Как расчудесно! И что же думаете с ними делать?

— А что с ними сделаешь? Медицинские сестры и нам сгодятся по прямому, так сказать, назначению. А любовницу пристроим, дело ей найдем в том же санитарном

обозе, — рассмеялся в ответ поручик.

— Али в спаленке, — пошутил, хохотнув, состроив гримасу, один из командиров, плюгавый мужик в огромной шапке из овчины на манер кавказской лохматой папахи.

Корнет глянул с усмешкой на подчиненного, давая понять, что не его это дело определять положение пленницы.

— А нельзя ли на них взглянуть поближе, господин поручик? Сестры милосердия и нам нужны, конечно, но ведь никто не отменял того, что это дамы, — усмехнулся Коробейников, и лицо его расплылось в довольной улыбке в предвкушении любопытного общения.

Николаев подозвал бойца своего отряда и попросил привести женщин. Перед Коробейниковым, Николаевым и членами штаба отряда предстали укутанные до глаз в платки молодые женщины. Санитарки и вовсе были совсем молоденькими и выглядели затравленными — испуганно оглядывали незнакомых взрослых, заросших щетиной или неопрятно бородатых дядек, утрюмых, насупленных, одетых в теплые, но малопривлекательные одежды. Выглядели женщины до крайности усталыми, замерзшими, с посиневшими губами и бледными лицами. Медсестры были одеты в шинели не по росту, в огромные старые валенки. Грузинка София выглядела еще более испуганной, с опухшим лицом, что случается после и долгих слез, и пребывания на морозе. На ногах у грузинки были надеты также валенки, а на плечах тонкий дамский полушубок, подаренный Нестором. Теперь София стояла, опустив голову, теребила в руке концы своей шали, а длинные черные волосы выбились из-под платка и падали на плечи и спину в беспорядке. Отметив, как внимательно с улыбкой и доброжелательно рассматривают женщин незнакомые мужчины, Софья несколько воспрянула, подняла голову и стала смотреть более уверенно.

— А что? Хороша! — с усмешкой оценил увиденное корнет и, даже не взглянув на медицинских сестер, каждая из которых явно уступала в привлекательности грузинке, подошел к ней вплотную. — А скажи милая, будешь ли у меня служить? — задал вопрос Коробейников, разглядывая пристально женщину, вкладывая в вопрос несколько больше чувственности, чем требовала деловая беседа.

— Покормил бы сначала, отогрел, а потом уж вопросы задавал, ваше благородие, — вдруг дерзко высказалась София, уловив игривые интонации в голосе корнета, вздернула голову и взглянула на корнета снизу вверх с вызовом. На мгновение показавшись, что женщина стала как бы выше росточком, по впечатлению практически сравнявшись с высоченным Коробейниковым, проявив волю и выдержку.

Тот рассмеялся от такой, явно понравившейся ему решимости и, оглянувшись на своих подчиненных, заметил:

— А ведь дама права! Давай, Семен, сходи, пусть накрывают на стол — будем принимать гостей.

Скоро собрались ограниченным кругом за столом в тесной горнице рубленого дома. На столе высилась бутылка самогона и простые деревенские угощения: холодец, рубленное грубо сало, капуста в тарелке, яркая брусника, вареная картошка, сваренная по случаю похлебка.

Женщин посадили тут же за стол среди мужчин, и было заметно, насколько растеряны медицинские сестры, совсем еще девчонки, и как более уверенно держит себя среди незнакомых, грубых, увешанных оружием мужчин София. Очевидно, покинутый муж и убитый накануне соблазвивший ее любовник остались для женщины в прошлом. А вот то, что теперь происходило здесь, среди заснеженного леса на далекой глухой заимке, было для нее жизненно важным. Изворотливость и способность быть востребованной, выжить в сложившейся ситуации — важное свойство женской натуры. София этим качеством владела, вероятно, в совершенстве и скоро уже сидела рядом с Коробейниковым и оказывала ему малозаметные, но примечательные знаки внимания: то коснется кисти руки и проведет по ней аккуратно пальчиком, то прижмет плечом до предплечья корнета.

После первого тоста за победу над красными супостатами, насилующими народ, выпивать стали без церемоний, и скоро корнет уже держал Софью крепкой рукой за талию.

Гуляли шумно и жадно — напились быстро: загадели, стало шумно, комнатку задымили самосадом, кто-то устало приник к столу уставшей от выпитого головой.

Скоро два помощника и товарища корнета уже таскали друг друга за грудки, не поделив одну из санитарок по имени Серафима. Та ужасно стеснялась, от выпивки отказывалась и теперь смотрела с неумением и страхом, как ее делят два пьяных бородатых мужчины. А те сцепились не на шутку, а потолкавшись в избе, выскочили на мороз и уже скоро один из них полетел с крылечка в снег, сбитый с ног. Второй пылкий претендент на женщину, спотыкаясь, взялся догонять, а настигнув, уронил в снег и принялся мутузить сапожищем сослуживца.

Дерущихся растащили со смехом. Каждому на голову насыпали снега и заставили мириться. Теперь, когда вернулись в избу к столу, оба мужика рядом сидели на лавке мокрые, с бордовыми от гнева лицами, и один прикладывал лед ко лбу, на котором вылезла и посинела шишка, а второй, морщась, вытирал кровь тряпицей, обильно выступившую из разбитого носа и лопнувшей от удара губы.

А Серафима сидела в сторонке, ежилась и продолжала с испугом смотреть на мужчин, одному из которых она должна нынче принадлежать.

Вторая сестричка по имени Маша, которой повезло больше, сидела пока невостребованная. Внешность ее и правда подкачала: худоба, совершенно, казалось, плоская грудь и конопатое лицо с короткой стрижкой, вздернутый носик и небольшие испуганные глаза пока никого из мужчин не очаровали. Она сидела, словно обомлела, и было не сразу понятно, радуется она своей невостребованности или несколько огорчена.

Корнет Коробейников скоро был пьян, охмелел и от самогона, и от внимания красивой грузинки. Наскоро — в три полных граненых стопки удовлетворив потребность расстроенного алкоголизмом организма, окончательно раскрепостившись и «осмелев», потащил без церемоний Софью за собой. Та, немного выпив и раздурявшись, смело взялась играть роль увлеченной корнетом дамы, и, обнявшись, под усмешки собравшихся, молодые, довольные друг другом, ушли в соседнюю комнату и плотно закрыли дверь.

Николаев, отметив, что праздник пора сворачивать, на правах старшего воинского начальника приказал всем завершать застолье и попросил определить его на постой, а уже на выходе, накинув полушубок и папаху, остановился и глянул на рыженькую Машу, что сидела и ждала терпеливо исхода застолья и нечаянно возникших смотрин. Николаев жестом подозвал девушку к себе и, наклонившись к ней, шепнул на ушко, чтобы она шла за ним. Маша вспыхнула лицом, запыхало и ушко под горячим дыханием поручика, и, даже не смея поднять глаз, подчинилась и, надев наспех шинельку, намотав на голову платок, подпоясала себя ремешком и вышла за Николаевым. Сопровождающий — местный, из отряда — привел Николаева и медсестру к небольшому дому, над которым вился дымок из трубы.

— Вот здесь, ваше благородие, располагайтесь — там есть отдельная комната с кроватью, рядом печка — тепло будет.

Николаев уверенно, а медицинская сестра в полном смирении, ни жива, ни мертва, вошли в дом.

IV

После боя из засады с отрядом Нестора поручик Николаев, поначалу необычайно воодушевившись победой, оказался скоро в состоянии полного отчаяния. Огромные просторы края растворяли все усилия, и этот закованный холодом континент был недвижим, казалось, не было силы, способной его всколыхнуть и подтолкнуть к активной борьбе, значительным переменам.

Самостоятельно вести боевые действия он не мог. Сил было ничтожно мало, и таяли эти силы, как масло на сковороде над огнем. Местные ерепенились и, если что не так, поднимались и уходили. Командовать ими жестко, давать приказы не получалось. Свои, — те, кто, отступая из Прибайкалья, попал в эту якутскую западню, — также не горели отдавать жизнь за спасибо. Большинство увлекло образ существования, ибо другого они не могли придумать и создать, мысля просто — сегодня живой, добыл кусок к ужину какой-либо ценой, и ладно. Они все вместе, со своими желаниями и амбициями, были никому уже не нужны, не справившись на фронтах гражданской войны с большевизмом. Теперь же только насилие, ломка того, что попадалось на пути, еще как-то встраивало обветшавшее белое движение в матрицу жизни. Лозунги, звучащие громко, никого не увлекали. За годы борьбы все призывы были использованы, от употребления утратили смыслы, большинство из них показали свою несостоятельность.

Все сомнения выплеснул Николаев при встрече с Коробейниковым, приняв с мороза пару стопок крепкого, как спирт, самогона.

— Всё, подмяли, корнет, большевики Россию под себя. Наши трепыхания — дерготня лягушки на столе исследователя живой жизни. Большевики нас препарируют, как хирурги, отделяя сердце от желудочка. А Россия-матушка только лежит распятая и попискивает, то ли от боли, то ли от удовольствия. Как же! Сбылась давняя мечта Емелек и Степок по задрючиванию родины. Сбылась мечта угнетенных — угнетать угнетателей. Как ни ставь слова и определения — подташнивает. Вышло то, что сами угнетенные и воспрянувшие попали под пресс насилие, от которого кишки лезут через рот.

– Что же делать, поручик?

– Два варианта: сдохнуть или уползти в уголок дальний и сидеть тихо-тихо, чтобы не заметили. За кордон отбывать противно. Побитым псам не место на чужой ярмарке жизни.

Послепьяных посиделок по прибытии, когда как-то ясной стала бесперспективность всей этой возни по опрокидыванию советов, которые отравили мозг народа своими простецкими правилами: подчинить, отнять и поделить, если не согласен – прибить или мучить так, чтобы другие ежились от ужаса, и править, навязывая придуманный воспаленным мозгом вождей порядок.

Утром, едва продрав глаза, Николаев огляделся. Печь прогорела, и в доме стало прохладно. Окна, задраенные куржаком и белесым льдом по краю оконного переплета, тускло пропускали свет. Рядом под шинелькой ютилась Маша. Была она по-прежнему мала, тоща, личико с коноплей российских полей, со спутанными волосиками, стриженными коротко, как хвосты коней Красной армии, – была, тем не менее, сейчас иной. Она была теплой и родной, ее хотелось обнять, и Николаев подивился тому, как легко сложилось и хочется быть рядом с ней, касаться ее, любить и любоваться. Было желание с ней что-то обсуждать и делать простые житейские дела. Стало неловко.

Она спала или притворялась, едва прикрыв глаза, не зная, как себя вести с офицером, который устроил погром на протоке, поубивал со своими дикими солдатами всех, с кем довелось два месяца пути общаться и вести знакомство. Но теперь он был ей не ненавистен или противен, а наоборот, мил. Она хотела быть рядом с ним, с этим ладным, молчаливым человеком, с прищуром светлых настороженных глаз, который старше ее чуть ли не вдвое.

Стукнуло в сенцах, раздались громкие шаги за дверью, открылась дверь, и грубый голос постового, явно замерзшего за время службы, отрезвили парочку.

– Ваше благородье! Подтопить, может, печку-то?

– Давай, брат, подтопи, а то скоро околеем мы тут! – ответил весело уже совсем Николаев и глянул, смеясь глазами, на Машу.

Та улыбалась, и было заметно, как с трудом сдерживает порыв рассмеяться, но в ответ просто приникла к Николаеву. Он обнял ее.

Пока казак громыхал у печи дровами, матерясь вполголоса, разжигал печь, изрядно надымив в доме, поручик и Мария лежали смирно.

Казак ушел, напоследок налетев в сенцах на ведро в полутьме, опять матюгнувшись, и пустое ведро громыхало долго, перекатываясь, как заведенное. Мария и поручик рассмеялись, ощутив то, как здорово, что неуклюжий казак ушел, и они снова одни и между ними нет ничего, чтобы мешало увидеть мир не снаружи, а изнутри, со стороны его чувственной сути.

Мария встала и взялась, уже по-хозяйски, хлопотать по дому, Николаев лежал, смолит папиросу, по-прежнему глядя в потолок, и думал о том, что этот мир еще не удавалось переиграть никому. Вчера он, усталый и в самом скверном расположении духа, прибыл на заимку. С ним в обозе ехал совсем крошечный человечек – Маша, которую он не замечал совершенно, и ее мог обидеть любой из его отряда, а теперь вдруг она главный человек в его жизни. Он был один, а теперь рядом она и, что-то напевая малоросское, уже хлопочет, чтобы его накормить и угостить. А все решил случай, а все решилось так, что совершенно непонятно как – быстро и просто. Вспомнилось из детства: «По щучьему велению, по моему хотению...» И то верно – давно очень он хотел рядом иметь родственную душу.

– Вставай, лежебока, – Мария подошла к кровати и забрала у Николаева чадящую папиросу. Забрала окурочек, бросила его к печи смущенные от нахлынувших чувств, они сидели на кровати, и каждый понимал, что как бы там ни было дальше, эта ночь и утро дня самые памятные у них в жизни, а может быть, и самые счастливые.

V

Наутро на площадке перед домом, в котором разместился командующий и его штаб, толпились прибывшие с ночевки в соседнем селе посыльные и командиры отрядов. Собравшиеся делились новостями и ждали распоряжений. На крыльцо вышел корнет Коробейников со своим помощником, а с ним рядом устроилась Софья, в ладном, пригнанном полушубке и лихо заломленной папахе. По улыбке на лице молодой грузинки было понятно, что в новых условиях, после страшного боя на протоке, который случился всего несколько дней назад, женщина вновь нашла себя и чувствует себя вполне уверенно.

Оглядев подчиненных и довольный ситуацией, корнет громогласно и вдохновенно объявил, что отряд из-за активизации красных должен затаиться, заняться боевой подготовкой и перейти на партизанские методы ведения борьбы. К весне, укрепив-

шись и уже под покровом летнего леса, мол, будем атаковать большевиков, их отряды и обозы, уполномоченных и перейдем к масштабному наступлению, цель которого захват Якутска. А главное, нужно, не теряя времени, объединиться всем силам, которые недовольны властью, вести агитацию среди местных жителей, чтобы привлечь тунгусов, эвенков и якутское коренное население, которое большевиками притесняется и обирается.

После митинга, когда собрались в доме командиры, Николаев, глядя с иронией на подбоченившегося корнета Коробейникова, у которого на кителе появились неожиданно три Георгиевских креста, отметил:

— Замах-то на Якутск широк! А это действительно реальный план? За последнее время красные подтянули большие силы. Осилим ли?

— А ты не бойся, поручик. Главное, боевой дух войска сохранить. А высокие цели очень помогают в этом деле. Скопим силы, Бог даст, и на Якутск пойдем. Недоволен местный люд большевиками, а это значительный резерв наших сил и устремлений. Главное теперь — собрать недовольных. Соберем всех — тунгусов, эвенков, якутов, объясним что к чему и пойдем бить красных. А там, как выйдет. Надеюсь, что с нами Бог и победа будет также с нами.

Отметив, что его слова дошли до слушателей, корнет приобнял стоявшую рядом Софью, и они, довольные друг другом, уединились в соседнюю комнату.

— А что это у корнета — три Георгия имеется? Так он герой? И когда он их успел получить? — поинтересовался Николаев у сидевшего рядом начальника штаба якута Петра Андреева.

— Сказывал, что в мировую два отхватил, а третий крест сам адмирал Колчак ему за рейд по тылам красных вручил еще в Омске.

Николаев попытался вспомнить, о каком таком рейде шла речь и мог ли он не знать о корнете после столь славных побед и наград. Выходило, что он, служивший в Омске при штабе командиром специального отряда охраны из белоказаков, знать был должен удачливого и лихого корнета. И относительно награды за мировую войну вышло также нескладно: тогда корнет еще и училища юнкеров не мог закончить. «Да, привирает корнет, добавляет себе авторитета», — подвел итог немудреного анализа Николаев.

Теперь Николаев и Мария были неразлучны. Они жили одним, и Мария всегда была рядом. Унылость зимней «спячки», выжидание не стали столь утомительными, и когда польхнуло по весне солнце и заиграла кровь, Николаев, понимая, что податься им с Марией пока некуда, тянул лямку привычного своего дела, раздумывая о том, как ускользнуть и оказаться рядом с женщиной, которая изменила мир вокруг. Уйти и просто, не таясь и не боясь показаться слабым, уткнуться в колени и молчать, с наслаждением воспринимая то, как Маша легкой рукой ворошит волосы на голове и что-то снова напевает близкое на украинском наречии.

С наступлением весны и лета, когда сама природа дарит скрытность под кроной лесов, активность отрядов Коробейникова возросла. В один из дней из Чурапчи пришел человек и доложил, что отряд красных под командою Яна Строда ушел из села и весь улус практически открыт для захвата.

Сомнения были, но решились быстро, и уже на следующий день резво пошли вперед, устав от зимнего безделья. И то правда — путь на Чурапчи был открыт, и отряд легко вошел в село по проселочной дороге, затем, несколько таясь, добрались до центра, опрокинули по ходу пару красных знамен на сельском совете и прибили подвернувшегося под руку председателя. Но к вечеру, когда солнце забагрилось, уходя за лес, вдруг нестройно застучали выстрелы на окраине села, и красная конница влетела, словно чума — нежданная, злая, необузданная.

Разговорившиеся бойцы, только-только выбравшиеся из леса, побежали. Побежали, и вырубали их красные кавалеристы, густо устилая землю телами отвыкших за зиму воевать бойцов.

Николаев только собрался отдохнуть, проверить караулы своего эскадрона, в котором было от силы половина состава, как загромыхало, и побежала армия корнета Коробейникова из села, словно по команде, даже не пытаясь строить оборону.

Николаев с Марией оседлали еще не отдохнувших коней и кинулись собирать своих казаков и попали под пулемет, что бил из-за реки плотно, зло, умело. Вышибло Николаева из седла, и уже в пыли почувал он, как отнимаются ноги, как нет сил встать и бежать — зацепило спину, прошило навывлет бок, ослабела, повисла рука. Мария была рядом, здорова и, бросив коня, взялась тягать Николаева на себе, стараясь уволочь с дороги на обочину, к болоту и лесу. И когда уже, перебираясь по жиже, мокроте болота, добрались они до рядком стоящих берез, Николаев услышал крик Марии. Крик ее был не громок, но полон такого отчаяния, такой тоски, что сердце зашло в поручика. Он все понял и приник к ней.

Она лежала рядом, и надежда, что все будет хорошо, была совсем мала. Кровь хлестала из шеи, заливала плечо и грудь; ее мгновенно побледневшее лицо, словно маска, было полно страдания и бессилия, глаза уже закатывались. Николаев сумел приподняться и зажал как мог рану на шее, и ощутив его рядом, бледная лицом Мария выдохнула:

— Как жаль, ведь у нас должен был родиться малыш, — и виновато улыбнулась, едва-едва растянув синие уже губы, затихла.

Мария выдохнула и потянулась в судороге, но стала отчего-то как бы меньше телом и совсем недвижима, как бывает с человеком, чей земной путь определен и окончен.

Теряя кровь, Николаев забылся и лежал, приходя в сознание на короткий отрезок, и снова проваливался в пучину бессознательности. Уже стемнело, и это спасло его от гибели. Уже в полной темноте Николаев услышал, как кто-то копошится рядом, и в бреду вдруг подумал, что гибель Марии — это ошибка, и она рядом и поможет ему.

Очнулся поручик уже под крышей бани, что пряталась у протоки реки, укрытая редким леском, выросшим на болоте.

Николаев очнулся, осмотрелся, отметил, что раны его перевязаны туго свежими тряпками, глянул в оконце, что было на уровне его головы, и увидел, как по дощечкам настила к бане бежит вприпрыжку молодая женщина, показалось, совсем девчушка, в широком темном платье, с косицами с вплетенными красными лентами на туго обтянутой смоляными волосами голове. Была она мала, круглое лицо девушки, когда она улыбалась на бегу, ее белые крупные зубы сияли, и игривое выражение на лице азиатки было смешливым и привлекательным.

Стукнула дверь, и девушка вошла неслышно в баню. А отметив, что раненый очнулся, смутилась, покраснела и стояла, потупившись, ожидая, что же скажет большой белый мужчина в ответ на ее стремление помочь.

Николаев был очень слаб, потеря крови была значительной, и единственное, что он успел спросить, — где он и кто она, его спасительница.

— Я Аяна, а это наша баня. Ты в Чурапчи, и я с помощью отца спрячу тебя на нашей лесной заимке, где у нас покос. Отец одобрил.

Говорила девушка по-русски неспешно, подбирая слова, глядя пристально раскрытыми глазами на раненого. Говорила правильно, но осторожно, и легкий акцент был едва заметен.

Николаев откинулся на спину, расслабился.

— А девушка, которая меня тащила из боя, что с ней?

— Умерла она. Мы ходили уже после боя к ней. Остыла уже. Страшная у нее рана получилась — умерла быстро, не мучилась. Похоронили там же.

К вечеру в баню пришел и отец Аяны. Это был человек средних лет, невысокий, крепкий с крупной головой и туго уложенными в косицу черными волосами с проседью. Лицо его было напряженным и чувств не выражало. Мужчина в основном молчал и только изредка что-то бросал коротко на якутском языке дочери. Та отвечала быстро и тут же смотрела на поручика, иногда улыбаясь, как бы уточняя, что все сказанное его впрямую не касается и что все хорошо. Глаза якута смотрели исподлобья. С помощью отца и дочери Николаева погрузили в телегу, запряженную быком, и прямоком по хлопющему болотцу повезли без дороги через лес. Бык медленно, но уверенно тянул повозку с наездником и двумя пассажирами по топкому грунту, и скоро они выбрались на лесную дорогу, по которой покатали, громыхая колесами, дальше. Николаев забылся и очнулся, уже когда его переносили в домик среди леса — полевою заимку, в которой жили летом, занимаясь заготовкой сена и изредка охотой.

Скоро отец, сгрузив два мешка с продуктами и вещами, уехал, а Саяна осталась и, проводив отца, вернулась в дом и пояснила, что отцу нужно вернуться до рассвета, чтобы не узнали, что он уезжал из села. Красные лютуют после боя, шарят по дворам — выискивают затаившихся из отряда повстанцев.

Началось долгое лечение травами и покоем среди леса в домике, в котором дышалось легко. Раны затягивались плохо, загноились, поднялась температура, и только примочки из настоянных трав снимали медленно воспаление. Только через месяц, уже осенью, когда подморозило и снег улегся, спрятав ярким чистым покрывалом осеннюю разруху в природе, удалось подняться и выйти на улицу.

Укрытые снегом поляны и деревья, свежий воздух бодрили дух и тело, и только теперь, после мучительного выздоровления Николаев понял, что спасся и на этот раз, но потерял свою любовь, и оттого это его спасение было не в радость. Силы возвращались неспешно. Скоро уже серьезно стало подмораживать. Стало известно, что вновь Чурапчи оказалось в центре боевых столкновений. Бои прокатились по окрестностям и с наступлением холодов как-то угомонились, а вскоре пришла весть, что отловили весь штаб повстанцев и все сопротивление сошло на нет. Все эти события прошли мимо поручика Николаева. Раны не давали покоя и достатка сил, но и дух борьбы стал

униматься в душе боевого офицера. Он не видел перспективы этой долгой борьбы, понимая, что партизанить смешно, а вести бои не было уже ни сил, ни желания.

Аяна теперь наведывалась на заимку изредка из-за холодов, но Николаев был уверен, она его не оставит.

Уже к весне, когда наконец удалось выйти из домика и пройти под весенним солнцем по лесу, порубить дров и самому занести их в дом к печи, Николаев понял, что практически здоров. Тут и Аяна нагрянула верхом на коне с грузом.

Аяна ловко соскочила с коня и взялась отвязывать притороченный к седлу мешок с продуктами. Николаев подошел и стал помогать. Руки их встретились, и побежала искра, как бежит весенний ручей, образованный растаявшим после стужи снежком и льдом. Николаев, полный благодарности к девушке, обнял ее за плечи, она повернулась к нему, и в ее раскосых, широко открытых глазах было удивление, искорки счастья и тревоги одновременно.

Так в жизни поручика Николаева появилась новая любовь, а скоро он понял, и жена. Аяна была покорна и внимательна к нему и, несмотря на непохожесть с Марией, как внешнею, так и характером, вдруг стала ее продолжением, взвалив на свои плечи свою долю ответственности за человека, который рядом.

Отец Аяны, распознав перемены в дочери, покряхтел, посопел и выдал наконец, что нужно как-то перебираться в село, а для этого следует выправить документы, которых, нужно сказать, у Николаева давно уже не было вовсе.

Дело стоило коровы, и уже через месяц Николаеву выправили в Якутске удостоверение личности РСФСР на имя Игнатова Степана.

Так в Чурапчи объявился приезжий из России грамотный мужчина под сорок, который поселился в доме местного старожилы, снимая жилье внаем, и скоро стал мужем дочери Аяны. Все выглядело ладно, но местные, те, что были близки семье, знали, кто этот Игнатов на самом деле и как он оказался в доме якутской семьи.

По этому поводу посудачили, а в сельском совете взяли на заметку гражданина, а отметив его грамотность, определили на службу в этот самый сельский совет.

Через год, как и положено в добрых семьях, родилась дочь у Степана и Аяны. Крохотная Анна явила миру свой новый взгляд и облик восточной красавицы. И все в семье было хорошо, и жизнь как-то выстроилась спокойная и добрая. Следом за Анной через несколько годков родился сыночек, которого решили назвать в честь мамы — Саяном.

И жизнь катила по наезженному, и жили, как все, принаравливаясь к новой власти и строю. Но только в один душный вечер сломалась и эта тонкая жердочка на жизненном пути, не выдержав тягот времени.

Возвращался Степан Игнатов со службы домой. У дороги стоял автомобиль не местный, из Якутска.

— Стой, товарищ! — раздалось за спиной, и сразу стало как-то ясно, что по его душу пришли, и исхода иного нет, как подчиниться.

Игнатов остановился, постоял пару мгновений, как бы задумавшись, и решительно повернулся на оклик. Перед ним стоял человек в кожаной куртке и фуражке сотрудника ГПУ НКВД, в галифе и хромовых сапогах, запыленных на дорогах сельской глубинки. Взгляд его не предвещал доброго разговора, а буровил Николаева, выискивая в облике что-то приметное.

— Николаев? Вот так встреча, — выдохнул энкавэдэшник, и рука в кармане куртки напряглась, и стало ясно, что наган взведен и готов пальнуть.

— Игнатов я, товарищ комиссар. Местный, тружусь в колхозе в правлении счетоводом, — ответил Степан и стал вспоминать, где он мог видаться с оперативником ранее. Вспомнить не удалось, и поручик затосковал, подумав с сожалением о том, как все отразится на его семье — Аяне и детях.

VI

Яков Астахов, сухой, невзрачный простоватым лицом с прилизанной челкой русых волос, прихрамывающий после ранения чекист, как он сам себя называл с гордостью, был из числа тех, кто попал под огонь отряда поручика Николаева у протоки.

Прошли годы, Яков после тех кровавых событий превратился в крепкого мужчину, служаку органа преследования врагов народа. Чудом выжил тогда, будучи мальчишкой еще безусым, недобитый спешно отступившими повстанцами, но подволакивал плохо гнущуюся ногу, простреленную в памятной губительной схватке. На лице также осталась памятная отметина — некрасивый шрам на щеке, отмороженной в тот роковой день, когда пришлось лежать обездвиженному без памяти в мороз на дороге, истекая кровью.

Якова после того памятного избиения красного отряда на протоке подобрали

только к вечеру подоспевшие из Якутска войска. Собрали трупы в санки, сложив стопкой окоченевшие тела. Раненых, которых было всего несколько человек, уложили в санки аккуратнее, укрыли кошмой и брезентом и повезли долгой дорогой в городской госпиталь.

Только чудо молодого организма и невероятная природная выносливость сохранили жизнь Якова. Над ногой долго колдовали хирурги и готовились уже ампутировать, чуть ли не по бедро, но помаленьку покалеченная конечность ожила, зарозовела сначала у колена, а затем и ниже сустава, и ногу оставили. Только отказывалась нога работать, и лишь через год удалось научиться ходить с палочкой. А еще через год, после долгого лечения, вернулась к Астахову способность ходить и без палки, но нога предательски волочилась.

Яков горел желанием служить и непременно в карающем органе, дающем возможность мстить злобой, таящейся по темным углам, испоганившей его жизнь контре. После того боя у протоки он твердо решил вернуться в Якутск и быть при штабе войск или попроситься на службу в ГПУ наркомата внутренних дел. Рапорт Якова Астахова рассмотрели и поначалу отказали — не особо нужен был малограмотный, да еще покалеченный молодой человек для органов. Яков, однако, был настойчив: взялся заниматься гимнастикой и скоро сносно уже даже бегал, слегка прихрамывая. Настойчивость молодого человека отметили, а тут пришел приказ о направлении молодых сотрудников для подготовки с целью повышения навыков и квалификации. Яков вовремя подвернулся, и поскольку набрать группу проверенных сотрудников было непросто, направили учиться человека с увечьем в город, только что поименованный как Свердловск.

Здесь на Урале ковали новых чекистов для огромной страны и службы по чрезвычайным делам. И хотя ВЧК уже упразднили, сами сотрудники гордо именовали себя чекистами. Яков Астахов быстро перенял навыки жесткой борьбы: главное, действовать максимально жестко на опережение, не считаться со своими слабостями и не давать пощады врагу.

В июле, в очередную годовщину казни императора Николая и его семьи, когда обучение на курсах подошло к концу, у дома Ипатьева собрали курсантов, и в сумерках уходящего жаркого дня каждый выпускник произнес клятву о верности в борьбе с врагами советской власти во благо большевизма и мировой революции. Укрепляя долг перед революцией, выпускники курсов выслушали долгий эмоционально-восторженный рассказ участника убийства семьи императора заслуженного чекиста Юровского. Дьявольского свечения глаз Юровского при тусклом свете запыленной люстры многие не заметили, но Астахова это видение поразило, и он подумал: «А как иначе? Враг должен быть непременно уничтожен!»

По завершении курсов НКВД Астахова направили по его просьбе в Якутск. На обратном маршруте в родные края прибыл Яков в Иркутск ранним поездом и ощутил такой знакомый ядреной свежестью на рассвете, навеянный Байкалом воздух. От полноты чувств распирало грудь, хотелось дышать глубоко этим воздухом байкальской вольности. Площадь перед железнодорожным вокзалом с утра была пуста, и только несколько повозок с сонными мужиками и понуро опустившими головы лошадьми поджидали прибывших пассажиров, чтобы развести нуждающихся и немного заработать.

Яков решил тут же ехать в свою деревню, до которой было верст шестьдесят. Найти возницу, который на такое бы решился было непросто, и тогда, действуя вероломно, Астахов наметил самого молодого из них и сунул в лицо новенькое удостоверение уполномоченного ГПУ. Удостоверение, упрятанное в нагрудный карман новенькой гимнастерки сотрудника органов, возымело действие, и мужик стал суетиться, соглашаясь доставить клиента по требованию куда угодно чуть ли не даром, «просто так», тут же предлагая и устроиться поудобнее на мешок, набитый сеном и укрытый поношенным китайским ковром, на котором огнедышащая голова зверюги была напрочь вышаркана до основы, и только хвост замысловатым крючком еще был ярок.

Дорога через понтонный мост, мимо молчаливых нынче иркутских храмов вывела за город и повела вдоль Ангары через прибрежную тайгу в сторону Байкала. Ангара простиралась водной сияющей лентой справа, и когда дорога пролегла у берега, посылала порцию дополнительной прохлады к свежести раннего утра.

Деревня мало переменилась, быть может, несколько обветшала. Церковь, что встречала торжественно путников сразу при въезде в деревню, была теперь неприметна, сиротливо высилась на косогоре, уже не претендуя на победное величие. Помнил Яков, как в дни праздников с колокольным боем охватывал восторг и учащенно билось сердце, а теперь без сияющего купола и креста на обветшавшей маковке церква выглядела упреком небес сложившемуся после всех потрясений мирскому порядку. Новых строений, возведенных в деревне, видно не было, некоторые дома стояли с

забитыми досками окнами, сельчане, которых довелось повстречать на спуске к дому, шли вдоль улицы, стараясь быть малозаметными при виде человека в военной форме.

Вернувшись в родные места Яков удивился тому, как воспринимается теперь деревня. Казалась она теперь совсем небольшой, неказисто-кривенькой, дома и дворы виделись совсем измельчавшими, и только тайга вокруг деревни, на склоне к реке и сама Ангара сохранили свое величие, запечатленное в памяти. За Ангарой, на другом берегу, высился заросший скалистый берег, вдоль которого тянулась насыпь железной дороги и был виден поезд во главе с паровозом. Стука колес было не слышно, и только отдаленный истошный паровозный «крик» донесся по воде.

Якова дома не ждали, а скоро выяснилось, что письмо, отправленное неделю назад, еще не добралось до адресата. Однако встреча вышла шумной: мама, как обычно, толкалась во дворе, а отец правил просевшую дверь в бане, и когда сын шагнул во двор, старики растерялись, засуетились, бросились обнимать и привечать сына. Скоро уже сидели за столом и делились шумно, сумбурно, повторяясь, часто невпопад новостями, которых накопилось за несколько лет столько, что более ранние уже и подзабылись, наслоились, как чешуя, и стали мало актуальны. Говорили о том, кто помер в деревне из родных и близких, а кто съехал навсегда, покинул родные места, кто женился и кого родил, и о том, как новая жизнь устраивается на байкальской земле. Отец с опаской поглядывал на краповые нашивки на рукаве кителя и на вороте сыновьей гимнастерки, одобритительно кивал, рассмотрев добротную португую и наган в кожаной кобуре.

Мама, конечно, обратила внимание на легкую хромоту, шрам на лице и, помня о длительном лечении сына, все пыталась узнать, как налаживается его личная жизнь, скоро ли ждать внуков. Астахов поначалу тихонько отмахивался, а выпив самогона, на вопросы мамы и заинтересованный взгляд отца отвечать стал резко. Заговорил о том, что возвращается в Якутск в звании старшего сержанта ГПУ НКВД и будет при должности в управлении, и еще отольются слезы тех, кто его так покалечил, заставил страдать.

Мама сидела рядом с сыном молча и только гладила сочувственно его руку, уловив тот предельный уровень озлобления и желания отомстить обидчикам. Мария Ивановна помнила, каким был Яков до армии. А был ее сын веселым фантазером, увлеченный заботой о домашних животных, с которыми у него были самые теплые отношения. Даже корова, которую обхаживала в основном она сама, когда Яшка забегал в сарай во время дойки, чтобы хлебнуть горячего парного молочка с утра, оборачивалась на него и утробно мычала, приветствуя мальца. Тот любил кормилицу и не забывал угостить корочкой хлеба, припасенной с вечера.

Добрая когда-то душа была у сына, но злым обликом обернулась она нынче при встрече.

— Ты бы сынок не злобился. Нужно уметь прощать и забывать плохое. Господь так нас вразумляет, берегает от напасти. Порой неумоги, но следует простить того, кто тебе сделал больно, и не брать груз злобы на душу, — сказала, как выдохнула, мама, глядя руку сына и глянув пристально в сторону мужа Мартына.

— Прощать? Ну уж нет! Этим злыдням, убивавших нас в то мартовское утро, я ничего не прошу! Найду всех и накажу! — в пьяном запале выкрикнул Яков и выскочил в сени и во двор, задымил папиросой.

— Ох, беда, а Яшей-то! — покачала головой Марья Ивановна и, оборотившись к образам в горнице, поклонилась, крестясь. — Был бы жив батюшка наш при церквико, сходили бы, помолились, сняли камень-грех с души. Но нет теперь такого места, где можно очистить себя от напасти.

Уехал из родной деревни Астахов, не пробыв и трех дней. Брат Мишка, простой до прямолинейности байкальский мужик, уловив червоточину в брате, не согласный с его злобными суждениями о мести, на прощание обронил скупое и словно надсмехаясь:

— Ну, что, братан? Уезжаешь? В родном доме не уют? Ну, давай — тока от злюкости своей не заболей. Не захлебнись желчью своей, — и отвернулся, даже и руки не подал.

Тоскливо все же порой вернуться, подумал тогда Яков, и увидеть, что твои когда-то такие близкие места и родные люди остались в прошлом, из которого ты вырос, а нить родства истончилась и вот-вот готова и вовсе оборваться.

Уехал чекист Яков Астахов из родной деревни и словно излечился от душевного надрыва, как ему показалось, — забылось все, что взялось терзать душу смутными сомнениями о правильности выбранного пути. Забылось быстро с началом службы, новых событий, и, погрузившись в дела, захотел забыть Яков волнующие впечатления о родной деревне на берегу без устали спешащей мимо студеной реки.

Теперь каждое утро, собираясь на службу, перед зеркалом, перед собственным отражением, Яков, разглядывая потемневший, уродливый шрам, снова и снова вспоминал тот бой, то унижение, пережитый ужас и готовился каждый раз отплатить за все.

Был еще изъян у Астахова. Изъян оскорбительный, фатальный для мужика. Пролежал тогда Яков весь день на морозе, страху натерпелся такого, что мальчишке и представить было ранее нельзя. Вымерзнув, потерял Астахов в свои неполные девятнадцать способность быть активным с женским сословием, хотя огонь в душе горел при виде той или иной жеманной красотки с выразительными формами, но выхода этот пламень сердца не имел, а тлел уныло, тлел без пользы, выжигая душу изнутри.

Проблемы урологии, мучительные боли стали привычны. Внутренний мужской изъян выстроил порядок жизни и едкий характер Астахова, и долгими ночами без сна думал Астахов о том, что есть человек, виновный в его тяжких недугах и сломанной жизни.

Тот памятный бой на заснеженной протоке стал рубежом в жизни Астахова. Едва выжив от потери крови и обморожения, страстно желал он отомстить поручику. Знал чекист, что где-то поблизости затаился Николаев, а рядом и его пособники прикинулись мирными гражданами, вступили в колхозы, завели семьи и ждали момента, чтобы выступить и ударить с тылу.

Случай помог чекисту Астахову.

Летом по приказу выезжали с группой товарищей в окрестные улусы с инспекцией. Когда, закончив основные мероприятия собирались уже выезжать в Якутск из Чурапчи, вдруг наметанным взглядом отметил Яков сухощавого мужика лет так сорока пяти, что вышагивал по улице и чем-то неуловимо отличался от местных жителей. В походе прохожего явно просматривалась военная выправка, а левая рука, прижатая к телу при ходьбе, словно придерживала отсутствующую в данный момент на поясе шашку.

— Стой, товарищ! — приказал Астахов и выбрался из автомобиля, нащупав в кармане наган.

Мужик остановился, постоял пару мгновений, как бы задумавшись, и решительно повернулся на оклик. Астахов тут же узнал поручика Николаева, которого запомнил на всю жизнь, хоронясь за санями раненный, истекающий кровью и ожидая обреченно, когда добьют его бандиты.

Николаев метался тогда с наганом среди убитых и раненных красноармейцев и подгонял подчиненных, и вот-вот должен был наткнуться и на него. Но повезло: вовремя ударил пулемет ушедшего вперед авангарда, и Николаев тут же приказал уходить. Помнил Астахов прищур серых глаз, складки у плотно сжатого рта, ямочку на подбородке, овал небритого несколько дней лица. Приметным был мужчиной его благородие.

Теперь, конечно, Николаев выглядел иначе: стоптанные запыленные сапоги, сюртук и картуз с мятым козырьком, но чистая, ярко выделяющаяся среди поношенной одежды, сорочка. Лицо мужика, чисто выбритое, было напряжено, но серые глаза смотрели также строго с тревогой. Приметил Астахов, как правая рука мужика крепко сжимала отлог ворота сюртука, костяшки побелели, а на лбу выступили капли пота.

— Николаев? Вот так встреча, — выдохнул Астахов, и рука сжала крепче рукоять нагана в кармане куртки.

— Игнатов я, товарищ комиссар. Местный, тружусь в колхозе в правлении счетоводом.

Астахов усмехнулся. Он уже уловил вибрации напряженной испуганной чужой плоти и чуял, что это тот, кто не успел добить его в ясное морозное мартовское утро на протоке.

После проверки и обыска в доме, где проживал задержанный, доказать, что он и есть поручик Николаев, не удалось. Николаев спокойно отнекивался: в армии не служил, приехал из Новгорода, рассчитывая попасть на золотой прииск, но не сложилось, осел в Чурапчи, завел семью. Документы были верными, подтверждая слова подозрительного субъекта.

Жена Николаева, худенькая испуганная якутка в поношенном халатике с малышом на руках, и дочка, красивая, с восточным обликом светло-русская девочка-подросток, упорно твердили, что это муж и отец и давно — полтора десятка лет проживает с ними в семье.

Девочка в коротком — выросла, видать — платьице выделялась уже нестандартной красотой, в которой правильные черты лица, длинная шея и лебединая осанка подчеркивались восточной загадочностью внешности. Форма глаз в сочетании с разрезом пухлых губ и некоторая скуластость и оттого непропорциональность овала лица придавали явный восточный шарм загадочности.

Астахов мельком глянул на девочку и, полный злости, как гончий пес, тут же забыл о ней, увлеченный следом главной жертвы — Николаевым. Астахова, конечно, не убедили слова жены бывшего поручика, и он решил везти задержанного в республиканское управление НКВД — в Якутск, чтобы допросить и выдавить из него

по капле признание.

По тряской пыльной дороге, когда уже в сумерках, освещая придорожные кусты унылым светом фар, подъезжали к городу и ехали неспешно вдоль обрыва реки, решил Астахов не тянуть — так ему хотелось скорой мести, нестерпимым было желание испить заветную чашу и осуществить давнюю свою мечту — увидеть смертельный страх в глазах ненавистного поручика. Яков понимал, что не уйдет от него бывший белый офицер — элита армии Колчака, но там в управлении нужно будет соблюдать формальности, строчить протокол, ждать решения руководства. А самое ожидаемое проскользнет мимо. А главное — испить чашу мести, увидеть смятение, услышать мольбы врага не удастся.

«А то еще как повернется? Вдруг ускользнет? А то отправят в Москву — чин-то важный», — пронеслось в голове, и от этой мысли рука сама потянулась к нагану.

Испытав боль и страх в том бою на протоке и ожидая в ужасе, как всадят пулю в голову, закрыв глаза, Астахов до дрожи боялся пережить то свое состояние заново, и лютая злость, помноженная на страх, заставили его принять скорое решение.

Астахов сухо приказал шоферу:

— Останови машину, — и приказал задержанному: — Выходи!

Николаев глянул на Астахова и, вероятно, все понял, оценив прямой, полный злобы взгляд опера ГПУ.

Задержанный вышел из машины, потянулся, невольно разминая затекшее тело, и, напряженный, ждал команды.

Астахов вывел задержанного к реке, к самому обрыву, достал наган и взвел курок. Он готовился к убийству медленно, разглядывая Николаева, желая увидеть приметы страха, смакуя каждое мгновение своей мести, как сладость. Задержанный был спокоен. Лицо его бледное было словно маска, а взгляд обращен в себя, — думал человек, видимо, о тех, кто ему дорог, о том, чем он жил последние годы.

Когда револьвер оказался на уровне головы задержанного, тот с вызовом усмехнулся:

— Узнал-таки. Ну что же, это должно было случиться. Стреляй, сволота. Только не помню я тебя ... Где схлестнулись-то?

Астахов не ответил, а только скривился в усмешке, вымещая зло по полной, не давая врагу того, чего он ждал, не давая ясности и прозрения в последние мгновения жизни.

Выстрел прозвучал гулко, раскатисто над рекой, и тут же его звук растворился, а поручик мгновенно побелел лицом и, раскинув руки, упал навзничь на самый край обрыва и, задержавшись на мгновение, улетел с кручи вниз. Когда Астахов подошел к краю, чтобы посмотреть на убитого, внизу в темени ничего уже не было видно, и только река отражала в потоке лунный свет.

Вернувшись в машину и усевшись на еще не успевшее остыть в его отсутствие место в кабине, выдохнул, явно с облегчением:

— Уйти хотел, контра. Пришлось пристрелить.

Любая судьба истончается, изживая себя, и остается в прошлом, в памяти близких, если таковые сохранились и имеются.

Всякая жизнь может закончиться в одночасье, оборваться, словно мелодия на самой высокой ноте, в порыве свершения.

Мечется, мучается порой человек вопросом: «Зачем живу, что должен свершить я в этой жизни?» — и уходит в мир иной, так и не найдя ответа. Спроси снова его, скажет: «Делал то и то, стремился к тому и тому». И сам поймет, как это звучит коротко, по сути, ничтожно, а умирая на постели или прикрыв землю своим телом на поле брани, вспомнит человек в последний свой миг земного пути, возможно, не то, о чем он заботился и чем себя озадачивал всю свою жизнь, готовил достойный ответ, собирался, может быть, мстить, ответить обидчику, а бабочку, которая, как-то перепутав с веткою ли, цветком ли, села на лицо, поначалу легонько своими крылышками защекотав по коже. А еще вспомнит, как бежал летом под ярким солнцем по мелководью вдоль берега реки, и брызги летели во все стороны прозрачными горошинами, и смеялось так легко...

Владимир ВАСИЛИНЕНКО

КОМУ НА РУСИ УЛИЦА ТЕСНА

Русская антитеза: Пугачев и Суворов

Урочно-историческая повесть

1

Молодцевато выпрыгнув из тележки, маленький генерал слегка размял ноги, пройдясь туда-сюда по небольшому, тихому дворику. Капитан-поручик Маврин подошёл и представился. Генерал улыбнулся:

— Слышал-слышал о вас, батюшка мой! Каково дело-то продвигается?

И не успел капитан открыть рот, как денщик генерала, подойдя и чуть поклонившись, спросил нетерпеливо:

— Одним глазком хоша бы глянуть, барин! Страх, как хочется...

Суворов снисходительно вздохнул и пожал плечами:

— Ступай! Только живой ногой, — и добавил, повернувшись к капитану: — Вот так, господин капитан, земля-то слухами полнится.

Денщик, стуча сапогами, взбежал на крыльцо арестантской избы и пропал за тяжёлой дверью. Офицеры посмотрели друг на друга. После короткого знакомства возникла естественная пауза, прервать которую мог только старший по званию.

— До меня донеслись слухи, что злодей сношался с моими старыми знакомцами. Вам это ведомо, господин, капитан?

— Это с кем же, позвольте узнать?

— С братьями Пулавскими, — Маврин выдержал паузу, явно не торопясь с ответом и кое-что припоминая, но Александра Васильевича это молчание не насторожило и не обескуражило. Он отдался во власть воспоминаний: — Да, в Польше они нам досадили крепко. Вот уж воистину чертовы ляхи! Появлялись, как из-под земли, — худое, подвижное лицо Суворова осветилось озорной, плутовской усмешкой. — Налетят, пехоту нашу порубят саблями в капусту и исчезают, аки призраки в ночи! — и генерал мелко, бисерно расхохотался.

Маврин из вежливости скупно улыбнулся. Ему, носящему воинское звание, но почти не бывавшему на театре военных действий и редко-редко слышавшему свист пуль, была чужда эта неожиданная весёлость.

— Насколько мне известно, господин генерал, — начал он с довольно постной физиономией, — с ним был некоторое время один из братьев.

— Который?

— Младший. Но очень недолго.

В лице Александра Васильевича мелькнуло искреннее недоумение:

— Сие весьма странно. Нашу матушку Россию они не жаловали никоим образом. А этот вор и самозванец — для них прямо-таки царский подарок! Лже-то Дмитрия они, чай, до сих пор не забыли?

Капитан принуждённо вздохнул и развёл руками:

— И, тем не менее, это так.

Суворов хитровато усмехнулся:

— Тут, батенька мой, суровая жизненная диспозиция — гусь свинье не товарищ. Пулавские-то шляхта, а наш злодей — беглый казак.

— Но и Гришка Отрепьев, господин генерал, не был аристократом, а ведь Марина Мнишек не погнушалась за простого смерда замуж пойти, — авторитетно возразил Маврин. Александр Васильевич пожал худенькими острыми плечами:

— Стало быть, времена меняются. И люди, с Божьей помощью, умнеют.

Над Яицким городком стоял серенький осенний денек. За крепостными стенами метался безудержный, осатанелый «степняк» — шальной сентябрьский ветер, пригибая долу клоchyя иссохшей травы и гоняя тёмные, устрашающие шары перекасти-поля. Иногда его порывы достигали узких городских улочек, чтобы окончательно запутаться среди неказистых деревянных домишек, швыряя песком и пылью в подслеповатые окошки, вороша солому двускатных крыш.

— На Дунае, ваше превосходительство, я чаю, ещё лето стоит? — желая сменить тему и немного польстить генералу, негромко сказал Маврин, чуть поёжившись и запахивая мундир. Суворов охотно откликнулся:

— Сейчас там самое золотое времечко. Жара спала. Ночи тёплые, ясные. Даже костров разводить не надобно. Подстелил шинель либо бурку и спи себе сном праведника, — морщины на лице генерала расправились, и в его голосе появилась романтическая мечтательность.

— А сколько дней вы изволили сюда добираться?

— От Царицына девять дён, — мгновенно ответил генерал, безо всякого усилия переходя от одной темы к другой, — вёрст по шестьдесят приходилось в сутки отхватывать.

— Те-те-те! — прицелкнул языком Маврин.

— А бравый Михельсон-таки упредил меня. В пух разгромил злодея! — и Суворов обескураженно развёл руками. Капитан, с заметным удовольствием наблюдая этот спектакль, тем не менее, ввернул:

— Скрутили его, между прочим, свои же подручные.

Но генерал и тут не уронил себя:

— А это, батюшка мой, немудрено. Откуда же у этих мерзавцев должны быть понятия о чести, верности, самопожертвовании? Им собственная шкура всего дороже, — Маврин согласно кивнул головой, поскольку возразить было нечего, но в голосе Александра Васильевича мелькнул неутолимый интерес: — А сам злодей-то вину отрицал? От всего отрекся — я, мол, не я и шуба не моя! На это дело они мастаки, — генерал сморщил худое подвижное лицо.

— Представьте себе — нет! — капитан помедлил и добавил негромко: — Сие удивительно, но признал вину сразу. Причём сказал весьма примечательные слова.

— Какие, ежели не секрет?

Маврин ответил через минуту:

— «Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство!» — голос капитана прозвучал чересчур серьёзно и даже торжественно, так что генерал не решился прервать невольную паузу, однако его живая импульсивная натура не могла долго пребывать в бездействии.

— Да неужто? — Александр Васильевич чуть отступил. — Так-таки и сказал?!

— Слово в слово.

Суворов зачем-то потянул за эфес небольшую шпажонку, болтавшуюся у левого бедра, вытащил на треть и опять со стуком вогнал в ножны. Маврин безотчетно следил за ним, словно бы ожидая от знаменитого полководца какой-то неожиданной выходки.

— Ну, что, господин капитан, пора и нам повидать знаменитого злодея. А он, как на грех, ещё и «философ»! — и Александр Васильевич, быстро перебирая маленькими короткими ножками и заметно прихрамывая, со стуком избежал на крыльцо. Капитан-порукич Маврин с готовностью поспешил ему вослед.

2

В просторной, низкой избе было сумрачно. Войдя и привычно поискав икону, Суворов троекратно перекрестился, снявши шляпу и чуть склоняя седеющую голову, потом быстро посмотрел налево: деревянная клетка занимала дальний угол за печью, заполняя его целиком. Ещё не успев освоиться с обстановкой, генерал, вопреки всему, нутром почуял на себе пристальный, ощупывающий взгляд.

Не надевая шляпу и потряхивая жидкой косицей, он бодро шагнул в тёмный угол на осторожный, вкрадчивый перезвон цепей. Его остановили глаза преступника. Нет, не испугали, а именно остановили, будто в ноги боевому генералу упала бомба, бешено крутясь и шипя горящим фитилем. И он заколебался — то ли отшвырнуть её ногой, то ли, закрыв руками голову, прыгнуть в ближайший окоп? Сопровождавший Суворова капитан успел заметить, как маленькая фигура полководца напряглась и выпрямилась, почти вытянулась «во фронт», будто на императорском плац-параде. Прославленный генерал и знаменитый разбойник молча осматривали друг друга.

Пугачёв сидел, раскорячив ноги, на грязном бараньем тулупе, его запястья и лодыжки охватывали широкие железные «браслеты», от которых опускались на пол клетки длинные тяжёлые цепи, гремящие при каждом движении. Но сейчас преступник сидел, не шевелясь, не отводя взгляда от лица генерала.

Глаза у него были странные — это отмечали все, видевшие грозного бунтовщика. Довольно большие, чёрные, но вокруг зрачков — зеленоватые, словно фосфорические окружия. Такие глаза бывают у людей, отмеченных печатью провидения — пророков, юродивых, великих праведников и грешников.

Слегка оплывшее, одуловатое лицо окаймляла густая, чёрная, с серебряными прожилками борода, в которой запуталось несколько жёлтых соломинок. Космы слипшихся, давно не стриженных и не мытых волос закрывали довольно высокий лоб почти до самых бровей.

— Родом ты, братец, откуда? — совершенно неожиданно спросил генерал.

— С Дону. Станица Зимовейская, — очень охотно ответил Пугачёв спокойным, отнюдь не устрашающим голосом.

— На государевой службе состоял?

— Вестимо. В Пруссии случилось воевать. Было дело.

Суворов заметно оживился:

— С Фридрихом? В семилетнюю войну?

Пугачёв шевельнулся, гремя цепями:

— С ним. В Померани, кажись.

Александр Васильевич заблестел просветлевшими голубыми глазами:

— Да неужто, братец? Мы с тобой, Божьей милостью, во славу Отечества на одной земле сражались. Генерала Берга помнишь?

— Енарала? А как же! — не очень твёрдо ответил Пугачев.

Капитан Маврин, стоявший за спиной Суворова, с заметным интересом следил за разговором двух знаменитостей. По роду службы, приучившись наблюдать и анализировать, он не мог не отметить разительное несходство собеседников и, как ни странно, нечто, объединяющее того и другого. Характер Пугачёва — неустойчивый, тревожный, увлекающийся, с постоянными перепадами настроения — от буйного веселья до полнейшей апатии — был ему в общих чертах известен. А вот прославленного полководца капитан видел впервые, правда, будучи о нём достаточно наслышан.

О чудачествах Суворова ходили легенды. Слушая увлечённый разговор генерала, Маврин нет-нет да и пугался неожиданной мысли: «А вдруг тот откроет дверцу клетки и выпустит злодея или войдет туда сам?..» Между прочим, и Пугачев был не чужд разного рода головокружительных выходов. Сколько раз его могли убить или взять в плен, когда он пьяным появлялся в первых рядах бунтовщиков под стенами осаждённых крепостей!

— Как же, братец ты мой, угораздило тебя противу закона и порядка пойти? Смуту в государстве посеять и Божий промысел нарушить? — укоризненно и даже сердито спросил Александр Васильевич, вдруг перейдя от приятных воспоминаний о своих первых воинских подвигах к событиям настоящим.

— Бес попутал, — почти искренне, но с крохотной долей притворства ответил Пугачёв и широко перекрестился. Суворов внимательно посмотрел на его пальцы и быстро сказал:

— Тут не бесом, а целым сатаной пахнет. Крест-то, братец, кладёшь двумя перстами! В раскол давно ли ударился?

— Старой мы веры, — твёрдо ответил преступник.

— Кто это мы? — мгновенно переспросил генерал.

— Казаки донские, стало быть.

Прославленный полководец несколько минут молча созерцал собеседника, словно некое диковинное создание, и тот, ощущая на себе этот внимательный, испытующий взгляд, смиренно опустил густые ресницы, прикрыв свои странные глаза. Маврин терялся в догадках — осознаёт ли скованный преступник — кто стоит перед ним?

То, что сам Пугачев и его окружение были достаточно осведомлены о жизни верхов российского государства — говорили любопытные и курьёзные детали: ближайšie подручные злодея назывались именами виднейших вельмож — графов Чернышова, Воронцова, Орлова, Панина, то есть самым тесным кружком императрицы. Капитан даже посмеивался втайне — самозванец, разыгрывая этот наивный маскарад, не давал себе труда задуматься над его комической стороной: если царствующая императрица вероломно захватила трон (как утверждала народная молва), то каковы же её помощники? Сам злодей, именуясь низложенный императором Петром III, зачем-то упорно держит вблизи себя фаворитов свергнувшей его супруги...

— А имя покойного государя кто тебя надоумил принять? — словно подслушав мысли капитана, без обиняков спросил Суворов.

— Кабы знать, что он умер! — двусмысленно ответил Пугачев, искоса посмотрев на генерала. — В народе-то бают по-другому.

Глаза Александра Васильевича гневно сверкнули:

— Не бают, братец ты мой, а брешут! Аки псы шелудивые и смрадные! — генерал

махнул рукой с зажатой в кулаке шляпой. — Император Пётр Феодорович почил в Бозе. И батюшка мой — Василий Иванович — видел его на смертном одре своими собственными очами.

Преступник недоверчиво смигнул странными фосфоресцирующими зрачками. Сейчас у него был вид обычного юродивого, сидящего в железных веригах где-нибудь на церковной паперти. Суворов упрямо качнул головою:

— Что в Писании-то сказано? Богу — богово, а кесарю — кесарево. Дозволено ли простому смертному таковые поступки совершать? Приводить в смятение умы и потрясать основы государства, что может быть страшнее и преступнее?! Гришке Отрепьеву да Стеньке Разину доселе анафему с амвонов возглашают — и подолом. Ибо сие есть грех великий! — и Александр Васильевич истово перекрестился.

Пугачёв не поднимал головы, но по его позе явно ощущалось, что страстные слова полководца вызывают у него внутренний протест. Маврин невольно подумал о тщете и бесполезности гневной тирады генерала, «мечущего бисер перед свиньёй». Хотя два дня назад Пугачёв покаялся перед ним и охотно признал вину — истинного раскаяния от злодея так и не довелось услышать. Да и возможно ли это вообще? Капитан весьма и весьма сомневался.

Александр Васильевич ещё раз пристально окинул согбенную фигуру преступника, который с показным смирением не поднимал век, осторожно позванивая увесистыми оковами, и сказал укоризненно:

— Покайся, братец! Проси милости у Господа за грехи свои тяжкие. Да сокрушит он твоё жестокосердное сердце! — и генерал широко, троекратно перекрестил злодея. Тот неуклюже втянул склонённую голову в широкие плечи.

3

После ухода генерала и сопровождающего его капитана Пугачёв некоторое время неловко возился в своей тесной клетке, взбивая солому и стеля поверх неё бараний тулуп. В избе сгущались сумерки, и один из четвёрки солдат, карауливших преступника, зажёл сальную свечу. Гремя кандалами, Емельян улёгся навзничь и смежил веки.

В те минуты, когда он говорил со своими неожиданными посетителями и потом устраивал себе постель, его охранники не издавали ни звука — знаменитый преступник внушал им суеверный страх. Пугачёв лежал на боку, вытянув руки и подогнув ноги, чтобы кандалы не давили его своей тяжестью. Кожа под железными браслетами чесалась и саднила.

В избе установилась такая гулкая, настороженная тишина, что стало слышно, как беспечно шебуршат в щелях тараканы и самозабвенно воюют под полом мыши.

— Чё-то зябко стало, — осторожно подал голос один из солдат, полагая, что их подопечный уснул. — Може, печку затопить?

— Давай, топи, — тоном приказа ответил капрал и поправил фитилёк свечи.

Пугачёв шевельнулся.

— Эй, служивые! — раздался из тёмного угла сильный сорванный голос. — Это кто ж тут давеча был?

Солдаты вздрогнули и переглянулись. Им не запрещалось разговаривать с преступником, однако общая молва и тот неодолимый ужас, который следовал за ним по пятам, невольно заставляли их сдерживаться. Капрал, помня, что он здесь старший, нехотя выдал:

— Генерал Суворов, — он будто бы выдал некую военную тайну.

— Да неуж?! Сам Суворов? — Пугачёв непроизвольно дернулся, и железные цепи глухобрякнули.

Солдаты подавленно молчали. Странные глаза злодея загорелись жаркими, самозабвенными огоньками, а фосфорические окружая зрачков ярко высветились и устрашающе мерцали в полутьме.

— Семён! — неуверенно позвал капрал. — Печка-то, чай, сама не загорится.

Один из солдат нехотя стал и пошёл вон из избы.

— Надо жеть, сам Суворов! — негромко, словно самому себе, но так, чтобы явно слышали окружающие, воскликнул Пугачёв. — Он же ж с туркой воюет! Да неуж она... — это слово он намеренно выделит голосом, произнес его с интимно-короткой интонацией, будто речь шла о законной жене, дабы караульные поняли, что разговор касался царствующей императрицы, — удумала турку пожалеть?

В избе опять повисло тягучее, напряжённое молчание. Двусмысленные слова преступника размагничивающе действовали на солдат, на что и рассчитывал колодник. Будучи простыми русскими людьми, они безо всяких колебаний, безоглядно верили слухам, а упорная молва о том, что этот странный человек — чудом спасшийся царь Пётр Фёдорович — подспудно делала своё дело. И даже присутствуя при раскаянии злодея, и слыша разговор его со знаменитым полководцем, они, вопреки всему, не

могли верить собственным глазам и продолжали верить легендам.

Пугачёв, слыша это тревожное, сосредоточенное безмолвие и зная ему цену, искренне наслаждался. Он знал, что частенько умеет внушать простым людям необъяснимый суеверный трепет. Но тут ему подумалось, что присутствие самого Суворова тоже говорит о многом. Уже который год шла русско-турецкая война, и для России не существовало дел и забот превыше этого. И вдруг самый удачливый генерал, снискавший себе славу блистательного и непобедимого полководца именно в битвах с турками, неожиданно отзывается вглубь России. И для чего? Чтобы подавить бунтовские подвиги простого донского казака Емельки Пугачёва!

Солдат Семён притащил охапку дров и с шумом вывалил её у печки. Со стуком распахнув чугунную дверку, напихал в пустое чрево толстую ломкую солому, потом уложил поверх её тёмные корявые поленья. Узник из своего угла довольно хорошо различал лицо солдата — его сурово сведённые брови, скупое сжатый рот, наморщенный лоб. И ещё он замечал, что Семён упорно избегает его взгляда.

— Какой он всё ж таки тощой да махонький... Этот Суворов, — всё так же негромко рассуждал преступник. — Аршин, поди-тка, с вершком. Я-то думал, Суворов — о-го-го! — вполне искренне продолжал бывший казак, воочию видевший известных генералов Румянцева и Потёмкина — мужчин саженного роста и завидной дородности.

— Мал, да удал! — коротко обрезал капрал на правах старшего, нутром почуяв, что разговор переходит допустимые границы. В глазах Семёна, сидевшего на корточках перед разгоравшейся печкой, мелькнула какая-то тень. Узник, не отводивший от него пристального взгляда, заметил её и присовокупил:

— Оно, конечно, так. Только мы не таких орлов видали, — по привычке двусмысленно ответил Пугачёв, зная, как обезоруживающе действуют такие речи на души простых людей.

— Ты говори, да не заговаривайся! — вспыхнул капрал. — Мало те шелепов-то железных высыпали!

— Да ладно тебе, Пахомыч! Уймись, — урезонил начальника самый пожилой из солдат, — Оне и так наказаны, — и осторожно кивнул в сторону преступника.

Тот удовлетворенно прикрыл веками свои необычные глаза. Уважительная интонация, прозвучавшая в голосе солдата, и грубый окрик капрала, за которым скрывались нервозность и страх, даже обрадовали его. На какую-то долю секунды самозванец почувствовал, что он снова внушает людям необъяснимый трепет и желание подчиняться. В него опять была готова вселиться непонятная, неукротимая сила, стремящаяся повелевать всем. Та сила, все признаки которой проявлялись и в облике маленького генерала, с той лишь разницей, что она не внушала опасения.

Солома в печи жарко затрещала, оранжевые сполохи пламени ярко осветили круглое лицо белобрысого солдата. Из-под опущенных век Пугачёв явственно различал, что оно обрело покорное, почти сонное выражение. (Узник, разумеется, не знал, что это состояние на языке психологов называется «сомнамбулизмом», то есть определённой фазой гипноза, когда человек, впадая в некий транс, с готовностью выполняет все требования и команды медиума). Дерзкая мысль шевельнулась в голове самозванца, но тут раздался зычный голос капрала:

— Семён, ты вьюшку-то открыл?

— А-а-а?.. — повернул тот сонное, непонимающее лицо.

— Вьюшку, говорю, открыл? Что-то чадно больно.

Солдат, сбросив оцепенение, медленно встал и потянул на себя печную заслонку. Пугачев не спеша повернулся на другой бок, гремя докучливыми цепями.

4

В гарнизонной офицерской избе было жарко натоплено, горели ярким, ровным светом стройные восковые свечи. Суворов, сбросив мундир, остался в белой полотняной рубахе. Маврин и ещё пятеро офицеров, из уважения к персоне генерала, только расстегнули верхние пуговицы мундирных сюртуков и поставили в угол шпаги.

Александр Васильевич, сидя на лавке под образами, ссутулив и без того узкие плечи, покачивал кончиками сапог, на палец не достававшими до полу. Господа офицеры сидели поодаль, соблюдая должную в подобных случаях дистанцию, дабы не оскорбить генерала и не унижить себя. Они только что пообедали постными щами, закусив их рыбным пирогом и пропустив по рюмочке анисовой — всё с ведома Александра Васильевича, свято соблюдавшего все предписания церковного календаря. В желудках офицеров, мало в чём утеснявших себя, было пусто и неудобно.

Во время обеда и после одного разговор, по русскому обычаю шёл, конечно же, о внешней политике. Этому способствовало в немалой степени присутствие Суворова, спешно прибывшего с театра военных действий. Русско-турецкая война тогда была самым главным и увлекательным событием.

— А что, ваше превосходительство, — деловито вопрошал солидный майор-интендант, — артиллерия-то у турков какова?

— Изрядная, — быстро отвечал Александр Васильевич. — Пушки, мортиры, единороги. Гостинцы сыпят ядрами, бомбами, картечью. Всем, чем изволите, подставляй головушку только!

— Однако! — брови у майора поползли кверху. Худое, подвижное лицо Суворова сморщилось в озорной, снисходительной усмешке:

— А вы, батенька мой, полагаете, будто турки только своими кривыми ножами воюют?

Офицеры сдержанно улыбнулись. Комендант Яицкого городка полковник Симонов сокрушенно тряхнул седеющей головой:

— Научили, значит, басурман на свою голову.

— Да кабы они только у нас учились, помилуй Бог! — тут же откликнулся генерал.

— Наставников у них, слава Аллаху, хватает. Одни французы чего стоят!

Капитан Маврин, будучи самым младшим по чину, скромно сидел на краю скамьи и не вмешивался в разговор, хотя все присутствующие относились к нему с должным уважением, помня, какую миссию он осуществляет. И Суворов тоже понимал, что неприметный капитан-поручик является здесь главной фигурой, и потому выражался несколько велеречиво и туманно, вопреки своим всегдашним привычкам.

Маврин вспомнил, что, говоря о французах, знаменитый генерал имел в виду, скорее всего, барона де Тотта, помогавшего туркам отливать пушки. Этот де Тотт вызывал особую нелюбовь императрицы.

— Ну, ничего! Мы им всем покажем! — храбро воскликнул майор-интендант, слышавший свист пуль только за стенами крепости. Все присутствующие засмеялись.

— Это, как пить дать, помилуй Бог! — охотно подхватил Суворов. — Достанется всем на орехи! — он широко махнул рукой, и офицеры невольно посерьезнели. — Наша матушка Россия всему миру покажет свою силу и стать. И буйным туркам, и хитрым французам, и мешкотным немцам, и надменным англичанам. С Божьей помощью всех врагов одолеем! — и полководец привычно, размашисто перекрестился.

Офицеры, как по команде, подтянулись и сотворили приличествующие случаю физиономии. Маврин усмехнулся про себя. Он был наслышан о редкостном и курьёзном лицедействе знаменитого военачальника и теперь мог наблюдать его воочию.

К слову сказать, все выглядело достаточно правдиво и убедительно. А окажись на месте офицеров команда солдат — вслед за словами генерала грянуло бы дружное, оглушительное «ура!» Но теперь, после внушительной паузы, разговор опять вернулся к войне. Она занимала тогда все просвещенные и непросвещенные умы.

Россия, под яростный гром пушек и холодный блеск штыков, упорно проламывалась в тесные ряды европейских держав, демонстрируя свою мощь избиением одряхлевшей Оттоманской Порты. И самоуверенная, блистательная Европа с недоумением и тревогой взирала на бесцеремонного «азиатского дикаря», нещадно колотящего себе подобных почти в самой её приходеж! Не потому ли наиболее проникательные из её питомцев вроде пронырливого француза де Тотта помогали туркам отливать пушки?

А венценосная властительница полудикой Московии — захудалая немецкая принцесса София-Фридерика, умело устранившая своего незадачливого мужа — однажды захватила трон и обратилась в русскую царицу Екатерину II. И, обратившись, тут же забыла свою крохотную, уютную, добропорядочную родину, находящуюся в самом центре Европы. Можно только искренне подивиться масштабу её преобразования: как маленькая, послушная, безропотная приживалка мигом обернулась опытной, расчётливой интриганкой, проникательной, искусной, умелой правительницей, ловко руководящей тьмою своих подданных!

Маврин, конечно, кое-что знал об отношениях императрицы к знаменитому полководцу: к его чудачествам, неожиданным выходкам и даже шутловству, в котором, кстати говоря, Александр Васильевич был не столь уж блистателен и оригинален. Шутловством тогда пробавлялись многие, вплоть до всемогущего Потёмкина. Только не знал капитан-поручик другого, вернее, не успел узнать — скоропалительное появление в Яицком городке Суворова объяснялось не верноподданныческими чувствами генерала и отнюдь не стремлением навсегда покончить с главным злодеем, потрясающим основы государства, а желанием загладить собственную вину и, возможно, обезопасить себя.

Дело в том, что победоносный военачальник некоторым образом позволил себе самоуправство, то есть попросту сменил поля сражений. А причиной тому была сильнейшая неприязнь к удачливому и более молодому генералу Каменскому, стремительно обошедшему его в чинах и наградах. Надо полагать, что будь Александр Васильевич званием поменьше и славой поскромнее — ещё неизвестно, чем бы закончилась его

самовольная отлучка. Одержав стремительную победу при Козлуджи и разделив (к большой досаде) её лавры с тридцатишестилетним Каменским, сорокачетырёхлетний Суворов, стремительно оставив своё воинство, уехал в Москву к молодой жене, отношения с которой у него не сложились с самых первых дней супружества.

Фельдмаршал Румянцев — прямой начальник Александра Васильевича был крайне раздосадован его своеволием. Однако неожиданное вмешательство матушки-государыни, повелевшей отправить Суворова на окончательный разгром и поимку Пугачёва — отвели от своенравного генерала начавшие сгущаться тучи. И Александр Васильевич, услышав первые раскаты грома и почуяв запах грозы, не стал дожидаться слепящих, испепеляющих ударов молний, а тут же ринулся во мрак и неизвестность.

5

После продолжительного, но бессодержательного разговора, в котором хозяева — порою неуклюже и грубовато — стремились польстить гостю, было решено отправиться на покой. Под конец беседы даже энергичный и подвижный Александр Васильевич несколько обмяк и лишь продолжал улыбаться сухими, морщинистыми щеками в ответ на потоки лести, щедро заливавшие его со всех сторон.

Впрочем, лесть эта казалась вполне искренней, поскольку исходила она из уст неродовитых, небогатых армейских офицеров, до глубины души завидующих удачливому, преуспевающему генералу, воюющему за пределами Отечества. В то время когда они — в грязь, распутицу и холод — таскаются по заволжским степям, разгоняют отряды бунтовщиков, состоящие из разной сволочи. А награда за всё это — глухая ненависть собственных крепостных, или подлый удар суковатой дубины в кромешной темноте, либо поджог родовой усадьбы.

Александр Васильевич встал, зевнул, мелко перекрестил рот.

— Я, ваше превосходительство, приказал баньку истопить, — радушно сообщил комендант крепости Симонов, — чай, уже послела.

— Премного благодарен, любезный, — устало улыбнулся Суворов, — но нам недосуг, да и умаялся я крепко, — офицеры сочувственно вздохнули. — Злодея бы попарить не мешало, а то вши да блохи по нему эскадронами скачут! — неожиданно прибавил бравый генерал.

Симонов недоумённо поглядел на майора-интенданта, потом перевёл взгляд на капитана Маврина. Тот пожал плечами:

— Относительно мытья преступника в бане — на то высочайшего распоряжения не имеется.

Александр Васильевич усмехнулся:

— На нет, вестимо, и суда нет. Кабы только они его до смерти на заели — и казнить тогда некого будет.

Офицеры, искоса переглядываясь, прятали улыбки — шутки прославленного генерала имели успех, будоража рутинную скуку армейской жизни. Маврин же сотворил непроницаемое лицо, памятуя, что сейчас он как бы представляет собой некое воплощение государева ока.

— Ну что, ваше превосходительство, — скрывая в усах улыбку, склонил голову Симонов, — тогда позвольте откланяться. Спокойной ночи!

— Благодарю покорно. И вам всем того же желаю! — генерал тряхнул облачком лёгких тонких волос, с трудом прикрывавших намечающуюся плешь.

Все офицеры, кроме Маврина, застегнули мундиры и разобрали шпаги. За толстыми бревенчатыми стенами уже вовсю хозяйничала глухая, тёмная сентябрьская ночь. К немалому удивлению капитана-поручика, генерал перекрестился на образа и тут же приказал денщику подать бараний тулупчик. Вопросительно взглянул на Маврина:

— А вы, батюшка, мой, почивать-то ещё не собираетесь?

— Нет, отчего же? Я бы охотно...

— Тогда пошли.

— Позвольте, а куда? — оторопело взглянул Маврин. Генерал подмигнул:

— К нашему крестнику, куда же ещё? — и тут же посерьёзnel. — Бережёного, как водится, и Господь бережёт, — Суворов поплотнее запахнул полушубок.

Капитан, в душе кляня чрезмерную исполнительность и педантизм генерала, пристегнул шпагу и накинул плащ, кутая лицо в воротник. На дворе буйствовал сырой осенний ветер, гулко завывая в трубах и срывая солому с крыш. Генерал, твёрдо идущий впереди с денщиком, к немалому удивлению Маврина, очень уверенно разбирал дорогу, хотя шагал по ней только вдругорядь, причём заметно прихрамывая. Настроение у капитана портилось прямо на глазах — мало того, что они тащились в кромешной темноте — им ещё предстояло провести целую ночь в вонючей, грязной избе, бок о бок с солдатами и закоренелым преступником. И всё благодаря прихоти честолюбивого генерала, желавшего, неизвестно перед кем, показать старание и прыть!

В арестантской избе было тихо, душно и сумрачно.

— Кто идёт?! — напряженным, тревожным голосом окликнул капрал, когда запахнулась тяжёлая дверь и внутрь втиснулись три согбенные фигуры, щуря глаза на пламень свечи.

— Свои, служивый, — миролюбиво ответил генерал, сбрасывая с худых плеч полушубок. Узник демонстративно загремел увесистыми цепями.

— Кормили? — кивая в сторону Пугачёва, деловито осведомился Александр Васильевич, сунув шубу в руки денщика.

— Точно так, вашество! — стоя навытяжку, отчеканил капрал. Суворов, взяв со стола свечу, благодушно кивнул замершей охране:

— Сидите, братцы, вольно! — и осветил неярким, колеблющимся светом клетку с преступником.

Из темноты на него воззрились странные глаза злодея. Маврин, стоявший за спиной генерала, мигом забыл все свои тревожения и мысленно перекрестился — этот неподвижный, всепроникающий взгляд вызывал у него лёгкий озноб.

— Ужином, я чаю, доволен? — участливо и приветливо спросил генерал.

— Какое доволен! — пробурчал, привставая, Пугачёв. — Рази это ужин!

Суворов с интересом подошёл и, опустив свечу, осветил ею пол тесной клетки. Там, на соломе, стояло длинное деревянное блюдо с наполовину съеденным варёным судачком и куском ржаного хлеба.

— Э-э, любезный! Ты как та коза-дереза! — прищёлкнул языком Александр Васильевич.

— Кака-така дереза? — удивленно смигнул Пугачёв, и Маврин почувствовал, как страх отпускает его.

Суворов опустился на корточки перед клеткой и, поставив на пол свечу, весёлой скороговоркой стал рассказывать преступнику простонародную сказку про хитрую, привередливую козу, из-за которой излишне доверчивый дед, её хозяин, вначале прогнал бабу, потом внучку и, наконец, решил испытать животину сам:

— Выпасал её целый день по лугам и долам, поил из ручьев и речек, а потом погнал домой, а у околицы отвязал верёвку, побежал к дому, сел на завалинку, дождался козы и спрашивает, — Александр Васильевич заговорил стариковским фальцетом, — сыта ль ты, козочка? Сыта ль, матушка? Каково пила да ела?.. — в избе воцарилось сосредоточенное, выжидательное молчание. Солдаты, слышавшие эту сказку ещё во младенчестве, тем не менее, внимали ей с открытыми ртами. А генерал загнул дребезжащим тенорком: — Не пила я, батюшка, и не ела. А бежала через мосточек — ухватила кленовый листочек! Бежала через гребельку — ухватила водицы капельку! — охрана, в том числе и Маврин, сдержанно засмеялась. Суворов вытянул худой, гибкий палец и погрозил им воображаемой козе, а точнее — скованному преступнику: — Взял тогда дед хворостину и ну стегать подлую козу по бокам да по спине, за её изветы да ложь. И поделом!

Солдаты уже смеялись вовсю. Хохотал и капитан, заразившись общим весельем. Не смеялся только Пугачёв, прекрасно понявший и смысл, и адрес незатейливой сказки, но упорно делавший вид, что она не имеет к нему ни малейшего касательства.

— Дед-то, знать, не шибко умный был, — внушительно бросил он, когда в избе установилась относительная тишина. — Кабы умный был — сразу бы понял.

Тишина из относительной превратилась в зловещую — солдаты мгновенно сообразили, в кого метит узник. Он бросал вызов самому Суворову!

— Так то — дед! — генерал хитро усмехнулся. — А нам перста в рот не клади — голу потеряешь! — он погрозил преступнику тонким подвижным пальцем. Тут охрана с облегчением загрохотала.

Явное посрамление знаменитого лиходея, несколько лет повергавшего российскую державу в смятение и страх, несказанно обрадовало всех. Капитан Маврин, тоже смеявшийся от души, почувствовал мгновенный прилив симпатии к маленькому непоседливому генералу, так внезапно и ловко разрядившему гнетущую атмосферу арестантской избы.

— Прохор, — обратился Суворов к денщику, когда неожиданное веселье немного утихло, — ты мне на лавке постели. К двери поближе. А вы, батюшка, где лечь изволите? — повернулся он к Маврину. Капитан пожал плечами:

— Да мне, собственно, всё едино.

Даже после довольно удачной развязки ему очень не хотелось коротать ночь в неудобстве и смраде. Он поспешно достал из кармана табакерку и, захватив щепотку душистого Rare, поднес её к брезгливо кривящемуся носу. Суворов, между тем, привычно распорядился:

— Стели, Прошка, господину капитану в красном углу. А вы, служивые, будете нести караул попарно. Двое спят, двое в дозоре. Через два часа — перемена. Ясно?

— Точно так, — не очень уверенно ответил капрал.

Александр Васильевич быстро взглянул на него, и не успел капрал объяснить причину своей неуверенности, как генерал вынул из кармана блестящий швейцарский брегет и нажал на кнопку — откинулась круглая крышка, и раздался приятный мелодичный перезвон. Лица у солдат осветились широкими, восхищёнными улыбками, словно у детей, увидевших диковинную игрушку. Александр Васильевич наслаждался их безмерным восторгом и спрятал часы в карман.

— Я вас менять буду самолично через каждую пару часов. А во дворе караулы расставлены? — обратился он уже к Маврину.

— Всенепременно, — поспешно ответил тот, опасаясь, что генерал отправит его проверять посты.

Пугачёв пристально наблюдал за всем из своего угла через деревянные прутья клетки. За печью тихо стрекотал сверчок.

6

Маленький, заштатный Яицкий городок медленно отходил ко сну. Отсюда два года назад начинался великий бунт, потрясший до основания Российское государство. Здесь впервые объявился беглый донской казак Емельян Иванов Пугачёв, нанимаясь к местным старожилам в работники: кому-то тачал сапоги и шил конскую сбрую, косил сено, по случаю копал огороды.

Однако отменным работником беглец не слыл и потому в услужении долго не держивался. Казаки, хоть и не шибко любили гнуть спину — чужую сноровку и мастерство ценить умели, тем паче, что пришелец с Дона иногда выкидывал поступки вовсе несообразные — одному казаку, например, выкопал в огороде четыре могилы. И на недоумённые вопросы и брань хозяина только неуклюже отшучивался. Тому пришлось прогнать его взашей.

Но бродяга не унывал и отправлялся по другим дворам и заимкам, где принимали его весьма охотно, поскольку видом был он довольно привлекателен. Росту среднего, широк в плечах и тонок в поясе, бороду имел небольшую, с проседью. Густые чёрные волосы, по обычаю, остригал в кружок. Только глаза у скитальца были странные, и некоторые казачки, опасаясь сглазу, упорно отговаривали мужей нанимать его в работники.

К тому же держался Пугачёв весьма независимо и даже заносчиво — при всяком удобном случае начинал поносить местных начальников и — упаси Боже! — царских вельмож. А у жителей Яицкого городка были свежи в памяти, и ещё побаливали раны, полученные совсем недавно, когда генерал-майор Фрейман, присланный из Москвы для усмирения очередного мятежа, картечью прокладывал себе дорогу. Подавив мятеж, генерал упразднил остатки казачьего самоуправления, обратив бывшую вольницу в регулярное войско.

Жители Яицкого городка наружно смирились, но в душе затаили обиду, злость и желание отомстить. Они не привыкли стеснять себя ни в чём. Собственно, и мятеж возник из-за того, что указами царей, начиная с Петра I, все бывшие вольности постепенно и неуклонно урезались, и казачье войско превращалось в обычных стрельцов или солдат. Казаки многократно и дерзко бунтовали, но каждый бунт подавлялся решительно и бесповоротно. А в последний раз особенно быстро, безжалостно и круто...

Кстати, Емельян стал свидетелем недавнего народного возмущения, косвенно участвовал в нём, но, с приходом генерала Фреймана, успел сбежать к староверам-раскольникам в Иргизские скиты. Зачинщики бунта были биты кнутом, около полутора сотен человек сосланы в Сибирь, многие отданы в солдаты. Остальные приведены к присяге и великодушно прощены. Но казачья своевольная натура не могла смириться с подобным унижением и требовала отмщения...

Все предыдущие бунты вспыхивали стихийно — приезжал чиновник из Москвы или Петербурга, зачитывал очередной царский указ, в котором предписывалось упразднить ещё одну или несколько местных привилегий — жители городка молча выслушивали, расходились по домам, потом опять собирались на тайные стоворы. Распался друг друга упрёками, похвальбой, дерзкими, несбыточными мечтами — и глядь — тут же находился самый ярый зачинщик бунта. Обрадованные этим обстоятельством смельчаки хватались за оружие — и начиналась кутерьма...

Но власти тоже не дремали — от мятежа к мятежу они всё удачней совершенствовали способы и сроки его подавления. И бунтовщики, таким образом, неуклонно обкрадывали сами себя, поскольку с пресечением очередного возмущения ещё более урезались бывшие свободы. Слово на шее дикого жеребца затягивался крепкий ремённый аркан. И тут объявился Пугачёв...

Яицкий городок, разорённый, иссечённый кнутом, но не сломленный до конца, мстительно затаился. Жалкие его домишки, стоящие на берегу шумной, быстрой реки

с тёмными, мутными водами (такими же тёмными, как души его обитателей), словно застыли в ожидании...

Людская память коротка, но, в сказках и преданиях, старожилы передавали полузабытую молву о былой славе яицких казаков. Они вели свою родословную с Дона, от знаменитых ватажников и ушкуйников, бесстрашно плававших по Хвалынскому (Каспийскому) морю и лихо грабивших города по его побережью. А на зиму разбойники перебирались на Яик, и здесь основали свое первое поселение...

В сожительницы брали женщин из ближайших татарских и киргизских улусов. Только, по тогдашнему обычаю, связывать себя браком не полагалось, а детей прижизненно — тем более — и потому ватажники своих сожительниц регулярно бросали — детей же приходилось убивать(!).

Естественно, что со временем отношения с ближайшими соседями — татарами и киргизами — вконец испортились. Они не только перестали получать желанную утеху и забаву, но и сами стали жертвами лихих набегов и расправ. Хочешь — не хочешь — пришлось остепениться...

А чтобы окончательно придать себе вид и положение оседлых, семейных людей — яицкие головорезы отправили депутацию в Москву, к тогдашнему царю Михаилу Феодоровичу — деду Петра I, с нижайшей просьбой принять их под высокую государеву руку.

Царь милостиво простил им все вины и дал грамоту на полное владение рекой Яик — от истока до устья. (С подобным же успехом он мог отдать в их распоряжение Нигер или Амазонку, как, впрочем, и Луну). Но этим роскошным и бездумным жестом царь поселил в разбойничьи головы безмерную, бесшабашную гордыню. И разрешил «набираться на житьё вольными людьми», то есть, в большинстве случаев — всяким случайным сбродом...

За полтора столетия городок, возникший в урочище Коловратном, перебрался на крутой берег Яика, ощутило разросся и стал походить на десятки подобных же поселений по берегам Волги и Дона. И правители, начиная с Петра I, мало-помалу перестали заигрывать с его буйным, своенравным населением, стремясь обратить его в законопослушных и безгласных подданных Российской империи. Но не тут-то было!..

7

Ночёвка в вонючей, грязной, полной тараканами, клопами и мышами избе, превратилась для капитана Маврина в сущую пытку. С клопами он ещё готов был смириться, поскольку ими кишели не только бедные лачуги, но и богатые, роскошные дворцы. Тараканы же, которые так громко и бесцеремонно шуршали своими быстрыми лапками, ловко пробегая по ногам, рукам и лицу — повергали его в оторопь...

Он лежал на лавке, под образами, укрывшись с головой своим шерстяным плащом, обливался потом и дрожал. Сон никак не шёл к нему. На полу, подстелив овчинные полушубки, храпели двое солдат, время от времени, шумно оскверняя и без того спёртый, загаженный воздух. Ещё пара сидела у стола, тараша осоловелые глаза на жёлтое пламя сальной свечи...

Знаменитый генерал спал на лавке у двери, раздевшись до исподнего, укрывшись бараньим тулупчиком и сладко посапывая во сне — многодневная изматывающая усталость давала о себе знать...

Маврин, кое-как утешив себя тем, что, спустя несколько дней, он оставит всё и уедет в столицу, стал усиленно призывать сон, но почти безуспешно. В дальнем углу брякали цепи прославленного разбойника — тому тоже не спалось. Под полом бесновались мыши...

— Эй, служивый! — послышался тихий голос Пугачева, — Водичи дай испить, ради Христа...

— Чаво? — ответил ему протестующе-неприятный шёпот солдата.

— Водичу, говорю, дай! Глотку, чегой-то, завалило...

Солдат нехотя поднялся, заплескал ковшиком в деревянном, громоздком ведре, затем, бухая тяжёлыми сапогами, направился к тесной клетке. Злодей, неуклюже гремя скользкими цепями, кряхтя, уселся поудобней, и протянул руки. Солдат попытался просунуть ковшик сквозь деревянную решётку — не получилось — промежуток между толстыми прутьями оказался слишком узок. Тогда он, не раздумывая, накренил ковш, плеснув на пол струйку воды.

— Сапоги, гляди, не замочи!.. — добродушно проворчал узник, и Маврину показалось, что на лице Пугачёва появилась улыбка.

Солдат смущённо засопел, а капитан-поручик придержал дыхание, предчувствуя — с минуты на минуту должно произойти что-то противозаконное.

— Бог тебя наградит... — опорожнив ковш, заговорщицки прошептал преступник, — И Великий князь тоже...

— Кто? — растерянным голосом переспросил солдат.

— Сынок мой. Великий князь Пал Петрович... — слова злодея прозвучали так убедительно и завораживающе-ласково, что Маврин был готов дёрнуть себя за ухо — не снится ли это ему?..

— А вы рази не... — встревоженным шепотом начал солдат и осёкся. Преступник усмехнулся:

— Беглый казак Емелька Пугачёв? Брешут они все...

Маврин почувствовал, что далее терпеть просто не в силах — крамольные речи арестанта переходили границы дозволенного. Он убрал с лица плащ, сбросив на пол два десятка тараканов, и спустил с лавки ноги. Но тут прозвонил швейцарский брегет генерала, и Александр Васильевич откинул бараний тулупчик.

— Всё, братцы, подъём! Смена караула...

Солдат, сидевший за столом и, видимо, дремавший — сразу подозрительно выпрямился, а другой, стоявший рядом с клеткой преступника, виновато заморгал белёсыми ресницами.

— Ты чего там?.. — сердито покосился Суворов, и солдат, отойдя от решётки, неловко мотнул ковшом:

— Пить оне просили...

Бравый военачальник испытующе оглядел его, потом перевёл взгляд на узника. Пугачёв вытер ладонью усы, бороду, шумно вздохнул, медленно опускаясь на пол клетки. Одутловатое, болезненно-бледное лицо его почти ничего не выражало.

— Ты смотри у меня! — погрозил ему Александр Васильевич худеньким нервным пальцем. Веки преступника дрогнули, открыв лихорадочные, мерцающие глаза.

— А што? Мы ничего... Водичицы только испили... Нельзя, што ля?.. — косноязычно забормотал он голосом юродивого.

Маврин наблюдал за всем из своего красного угла и удивлялся про себя. Лицедейство отпетого злодея было просто поразительным — он, шутя, переходил от немыслимой наглости к полному унижению, не испытывая при этом ни малейших затруднений. Так быстро и естественно, что трудно было поверить, будто перед тобою один и тот же человек!

Но и Суворову капитан поразился не менее того — вскочить, едва-едва пробудившись ото сна и, даже не протерев глаз, мгновенно оценить происходящее — это тоже чего-то стоило!

Пока капитан размышлял — произошла смена караула. Белобрысый солдат Семён и его напарник улеглись спать, а вместо них за столом разместились капрал и пожилой солдат. Суворов, строго отчитав узника, заразительно зевнул, почесался, перекрестил рот и забрался на лавку под тулупчик. В избе опять установилась тишина...

Капитан достал из кармана табакерку с душистым, мягким Rare, начал табакерку обе ноздри, аппетитно чихнул несколько раз подряд и, почувствовав лёгкость и просветление в голове, откинулся на лавку.

Пугачёв внимательно наблюдал за ним из своего тесного заключения. Маврин, ощущая на себе этот взгляд, не спеша, укрылся плащом и смежил веки. Дерзость преступника поражала капитана — будучи пойманным и преданным своими же собственными людьми, сидя в тесной клетке с кандалами на руках и ногах — он ещё питал какие-то несбыточные надежды!

Маврин вспомнил растерянный, угождающе-покорный голос белобрысого солдата и отметил, что останься тот наедине со злодеем — могло случиться самое невероятное. Тут капитан воскресил в памяти первые минуты допроса, когда связанного Пугачёва привели к нему казачий сотник Харчев и комендант яицкой крепости Симонов...

Самозванец был одет в роскошный тафтяной полушубок, зелёную шёлковую рубаху, синие порты и мягкие хромовые сапоги. Но, несмотря на броскость и щегольство наряда — вид у знаменитого лиходея был весьма униженный и растерянный. Маврин, тщательно скрывая сильнейшее волнение — ещё бы — он впервые снимал допрос с того, кто дерзко потрясал самые основы государства — задал преступнику первые вопросы: кто он и откуда?

— Емельян Иванов Пугачёв. Казак станицы Зимовейской... — с готовностью ответил связанный самозванец. В его голосе, взглядах, позе, капитану-поручику виделось полное и глубочайшее раскаяние.

Пойманный и посрамлённый злодей словно бы ужаснулся всего, содеянного им, и готов был повиниться. Вот тогда-то он и сказал, что «Богу было угодно наказать Россию через его окаянство». Но день спустя в настроении преступника наметились перемены...

Тут Маврин, неожиданно для самого себя, уснул...

Спал он беспокойно, неустанно тревожась пугающими, беспорядочными видениями: вдруг ему явственно показалось, что Пугачёв небрежно сбросил цепи и, легко

переломив прутья клетки, беспрепятственно вышел вон... Потом его, капитана-поручика Маврина, насильно одели в рубище, заковав в ручные и ножные кандалы, отвели и посадили в низкое, мрачное подземелье. А там по полу бегали крысы и тараканы...

Каждое ужасающее сновидение прерывалось тогда, когда мелодично звонил брегет Суворова, и Александр Васильевич бодро соскакивал с лавки, меняя караул. Но через несколько минут Маврина вновь одолевали томительные, устрашающие грёзы, заставлявшие его беспокойно ворочаться и постанывать во сне...

8

— Да, батенька мой, храповицкого вы придавили крепко! — свежий, раскрасневшийся Александр Васильевич озорно поблескивал светло-голубыми глазами.

Маврин, чувствую головную боль и ломоту в теле, тяжело поднялся с лавки — казалось, что всю ночь его нещадно дубасили палками. И нынешнее пробуждение представлялось ему продолжением одного из кошмарных ночных видений — та же низкая грязная изба, душливый смрад и тесная клетка с грозным разбойником. Только маленький, бодрый и улыбочивый генерал был словно бы не совсем ко двору, как бы выпадая из общего разряда.

— Прощка, подай капитану умыться! — приказал Суворов своему денщику и добавил радушно: — Самовар уже поспел. Чайку попьём и за дело примемся.

Маврин накиннул сюртук, натянул, легонько покряхтывая, сапоги — мешал мягкий пухлый живот — и отправился во двор. А когда возвратился назад, то у крыльца его встретил генерал. На Александре Васильевиче висел полушубок внакидку, худые руки он засунул далеко подмышки, отставив чуть в сторону хромую ногу в высоком начищенном сапоге.

— Что-то вид у вас, батенька, не слишком свежий? — участливо спросил он у хмурого капитана. Тот пожал плечами:

— Угорел, должно быть, ваше превосходительство. Спать было душно, — он полез в карман за табакеркой. Достал её, широко раскрыл и протянул генералу: — Могу ли просить об одолжении?

— Нет-нет, голубчик! Я этого баловства себе не позволяю, помилуй Бог! — Маврин, заколебавшись, хотел сунуть табакерку на место, но Суворов снисходительно усмехнулся: — Пользуйтесь-пользуйтесь, господин капитан! Привычка ведь вторая натура. Приобретёшь её, говорят, легко, а избавиться — куда как тяжельно, — и под это добродушное, почти отеческое ворчание, капитан быстренько зарядил обе ноздри щепотками своего любимого табака и чихнул, деликатно отвернувшись в сторону. — Вот и славно. На доброе здоровье, батенька! — кивнул генерал своей рано плешивевшей головой.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство! — искренне ответил Маврин, заблестев посветлевшими глазами.

Солдаты вокруг не отводили от них взглядов. Точнее, от маленькой фигурки Суворова, напоминая детей, впервые увидевших нечто поразительное и необъяснимое.

— Преступник-то ночью о чём-то с караульным солдатом сговаривался, — понизив голос, сообщил генералу Маврин. Светлые глаза Александра Васильевича чуть потемнели, он плотно прижал к телу острые локти:

— С которым?

— С тем, белобрысым.

Худое, подвижное лицо полководца напряглось и посуровело:

— А-а, тот молодой. Семёном его кличут, кажется?

— Вот-вот.

Александр Васильевич бросил по сторонам быстрый оценивающий взгляд, нервно сжал маленький узкогубый рот. Но через минуту хитровато усмехнулся:

— Злодей, надо полагать, дерзок и нахрапист, и пальца ему в рот не клади! Но загвоздка, мне, грешному, думается — не в нём, — и открытые, по-ребячески наивные глаза знаменитого военачальника сделались стариковски мудрыми и пронизательными. Маврин насторожился. — Вы сами-то, батенька, верите в натуральную кончину покойного императора? — почти шёпотом спросил Суворов. Капитан ответил кратко:

— Без сомнения, — но было в его голосе нечто такое, что заставило генерала иронически подвигать бровями:

— Вот-вот! Коли мы сами обо всём этом не слишком подробно осведомлены, то чего требовать от них? — Александр Васильевич осторожно мотнул головой в сторону солдат и присовокупил: — Матушка Россия всегда жила слухами. Тут ничего не попишешь. И мы с вами, голубчик, с этим никак не совладаем. Помилуй Бог! — он выпростал руку из-под полушубка и тронул капитана за плечо. — Пойдемте-ка лучше чай пить!

Маврин подавил вздох. Идти в нечистую, вонючую избу не слишком ему хотелось.

Но теперь фактическим хозяином положения был известный военачальник — у него на руках находился «открытый лист», давший ему право командовать военными и гражданскими чинами любого звания и ранга.

На крыльцо вышел с ковшиком в руке и полотенцем на плече Прохор — денщик Александра Васильевича.

— Давайте, барин, я вам полью, — с добродушной готовностью обратился он к капитану.

Маврин закатал по локоть рукава мундира, распахнул ворот и, широко расставив ноги, стал у нижней ступеньки крыльца, сложив горстью ладони. Прохор умело и ловко наклонил ковш, так что вода полилась умеренной, ровной струйкой. За спиной денщика появился Суворов — в мундире, шляпе и со шпагой у бедра.

— Ну что, батенька мой, вы готовы? Самовар, я чаю, простынет.

Маврин, вытиравший лицо и руки суровым, жёстким полотенцем, успел скрыть невольное удивление — ему упорно думалось, что генерал намерен завтракать в нечистой избе рядом с преступником.

— Да-да! Я мигом! — он суетливо стал поправлять заметно растрёпанный мундир. Суворов снисходительно улыбнулся:

— Ничего-ничего, голубчик! Дело ведь походное, не вахтпарад, поди-ка.

И через несколько минут они дружно отправились в казённую избу, где их ждало в полном сборе гарнизонное начальство.

Несмотря на погожий, ласковый денек — в низеньких, приземистых домишках, в казаках, казачках и казачатах, праздно сновавших по улицам, но упрямо делавших вид, будто они заняты важными заботами — и даже в самом воздухе — было разлито напряжение. Томительное, тщетное ожидание чего-то необъяснимого и страшного. Маврин, шагавший вслед за прихрамывающим генералом, почти физически ощущал на себе пронизывающие, вопрошающие взгляды, словно незримые пути, набрасываемые со всех сторон. Он несколько раз споткнулся на ровном месте, а юркий полководец шагал уверенно и бойко, несмотря на свою увечную ногу.

Когда они вошли в гарнизонную избу и Александр Васильевич, сняв шляпу, привычно перекрестился на иконы, местные чины во главе с полковником Симоновым застыли вдоль стены.

— Доброго здоровья, господа офицеры! Покорнейше прошу садиться, — мягко командовал, вернее, попросил Суворов. Офицеры, сдержанно поздоровавшись, расселись по лавкам. На столе, покрытом свежей крахмальной скатертью, сверкал пузатый самовар, вокруг громоздились бублики, баранки, свежий хлеб, туюсочки с вареньем и мёдом. — Э-э, вот это люблю! — потирая худые нервные руки, бодро воскликнул Александр Васильевич. — Давненько медку российского не едал. Придвигайтесь поближе, господа, — радушно пригласил он почтительно замерших офицеров. Те стали вежливо отказываться. Суворов насупил брови: — Господа! Я вам приказываю! Начальник я вам или нет? Извольте слушаться! — и, не сдержавшись, хитровато улыбнулся.

Полковник Симонов, подавая пример остальным, приблизился к столу. Капитан Маврин, у которого давно сосало под ложечкой, сразу откликнулся на приглашение генерала.

— А что, ваше превосходительство, турки мёду не едят? — подсаживаясь к столу, искательно спросил майор-интендант. Прославленный военачальник охотно повернулся к нему:

— И-и-и, голубчик! Больших сладён вы нигде в мире не найдёте! Всякие там рыхат-лукумы, шербетты, халва... Это всё они придумали. А вот медку такого душистого у них нет, — и Александр Васильевич полез ложечкой в берестяной туюсок.

Офицеры облегченно рассмеялись, а полковник Симонов, по праву хозяина, стал разливать по стаканам горячий чай. Маврин опять подивился простоте и умению знаменитого генерала разрядить самую напряжённую атмосферу и создать вокруг себя привычную, почти домашнюю обстановку.

— Прошу, ваше превосходительство! — полковник Симонов протянул генералу стакан с чаем. — Угощайтесь!

— Благодарю покорно! — Александр Васильевич распахнул мундир и уселся поудобней, доброжелательно оглядывая собравшихся.

— Как вам спалось, ваше превосходительство, по соседству с таким-то злодеем? — сочувственно поинтересовался майор-интендант.

Офицеры с нескрываемым любопытством ждали ответа знаменитого военачальника, поскольку эта неожиданная и странная ночёвка в избе, где находились нижние чины и содержался главный преступник, казалась всем курьёзной и даже сумасбродной выходкой.

— Прекрасно, голубчик! — генерал повернулся к Маврину. — Вы не разделяете, господин капитан?

Жуя бублик и запивая его горячим чаем, капитан-поручик от неожиданности едва не поперхнулся.

— Нет, отчего же! — он героическим усилием протолкнул в горло кусок. — Если бы только не мыши да тараканы...

Офицеры дружно рассмеялись.

— Ну, тараканов да мышей у нас здесь везде хватает, — махнул рукою Симонов. Майор-интендант тут же подхватил:

— Всю муку да крупу изгадили, ваше превосходительство. Чистая напасть!

Суворов только добродушно посмеивался, с аппетитом прикусывая баранки и шумно прихлёбывая чай.

— Злодею-то завтрак послали? — не сгоняя с лица улыбки, как бы между прочим, спросил он у коменданта. Полковник Симонов хмуро кивнул в ответ:

— Куда же тут денешься? Пришлось.

Александр Васильевич с минуту смотрел на него ясными голубыми глазами, потом прибавил, тая улыбку:

— Жаловаться он изволил, господин полковник. Кормят-де его неважно.

Симонов покраснел:

— Неважно? Да что он — в самом деле?!

Майор-интендант в испуге отвел глаза. Генерал выпрямился:

— Уж коли мы его взяли в плен — придётся с ним повозиться. Как ни крути — он нынче важная персона, — и Александр Васильевич иронически развёл руками.

— У меня эта персона вот где сидит! — полковник Симонов, не сдержавшись, хлопнул себя по шее. Офицеры сочувственно вздохнули. Суворов с интересом глянул на негодующего коменданта, а тот, немного смягчившись, пояснил с усмешкой: — Год назад он сулился с меня, ваше превосходительство, голову снять! С меня, — тут полковник показал на одного из офицеров, — и с майора Крылова...

За столом повисло гнетущее, напряжённое молчание. Каждый из присутствующих вспомнил, что ещё несколько недель назад все они жили в непреходящем волнении и страхе за собственную судьбу и судьбу своих близких. Бунт, начавшийся в Яицком городке, мгновенно перекинулся в башкирские и калмыцкие степи, захватив Заволжье, маленькие крепости и крупные города. Остервенелый самозванец, набирая силу и хмелея от успехов, метался по городам и весям, как мечется буйное, всепожирающее пламя, безо всякого смысла и цели, а польхая только там, где тлеет порох и гуляет ветер. И комендант Симонов был в числе первых усмирителей этого бунта. Вот потому с беглым казаком Емельяном Пугачёвым у него велись особые счёты.

Сейчас, по происшествии достаточно долгого времени, можно было кое-что иначе оценить и переосмыслить, тем паче, что каждый русский человек крепок задним умом. А единожды пережитый страх уже не кажется таковым при воспоминании о нём. Но одного полковник Симонов не мог взять в толк, считая это просто промыслом божьим — почему безрассудный самозванец не взял сразу Яицкий городок, а кинулся к Оренбургу? Вот и знаменитый военачальник задал ему тот же вопрос:

— А при начале возмущения, господин полковник, у злодея было достаточно сил?

— Я полагаю, ваше превосходительство, — осторожно ответил комендант. Суворов пожал худенькими плечами:

— Так чего же он не решился взять вас штурмом? Поелику не очень разумно оставлять у себя в тылу вооруженного противника. Так и до беды недалеко.

Симонов кивнул:

— Я тоже так считаю.

Но тут вмешался майор Крылов:

— Я прошу прощения, ваше превосходительство. Но первый бой мы приняли за стенами крепости. По приказу господина полковника мы с майором Наумовым встретили мятежников в степи.

— То есть вы не сидели на месте, ожидая незнамо чего, — оживился Суворов, — А вышли навстречу злодею? Похвально!

Маврин переводил взгляд с генерала на офицеров. Александр Васильевич очутился в своей любимой стихии сражений, сразу заметно взбодрившись и повеселев. Комендант и его окружение охотно, но не слишком подробно стали отвечать на его пристрастные вопросы, поскольку даже при самом начале военных действий они наделали массу ошибок и промахов.

Майор Крылов, тогда будучи капитаном, выехав за стены крепости, не сделал ни единого выстрела — к ним навстречу прискакал казак, размахивая подмётным письмом самозванца. Крылов приказал арестовать его, но казаки, бывшие у него в подчинении, сразу воспротивились. Письмо было прочтено — и половина отряда мигом перешла на сторону мятежников. С остальными Крылов кое-как вернулся в крепость. А комендант Симонов в это самое время находился там же, опасаясь только одного —

как бы не возмутилось и не восстало население городка.

9

Позавтракав варёною полбой и выпив две кружки морковного чая, Пугачев полулежал на полу клетки. В наиболее удобной и необременительной позе — ни стоять, ни сидеть в обычном положении не представлялось возможным — мешала теснота и тяжесть оков. Узник спокойными, но цепкими и пронизывающими глазами наблюдал за своими стражами. По распоряжению генерала его охраняла другая четвёрка солдат. Преступник сразу отметил это и теперь терялся в догадках — случайно сие или преднамеренно?

После нескольких дней полного упадка духа и совершенного бессилия в нём опять затеплилась надежда. Нет, он не мечтал снова возродиться в облике свергнутого царя и закончить, наконец-таки, победоносную войну, утихомирив народ и щедро наградив своих сподвижников. Ему хотелось просто бежать и скрыться. Куда-нибудь за пределы родимого отечества — в Персию или Турцию.

Пугачёв вдруг вспомнил, что в самом начале возмущения он предлагал яицким казакам бежать в Турцию и даже божился, что на границе у него зарыто двести тысяч рублей, а по прибытии в Турцию один паша обязательно выдаст беглецам пять миллионов. Денег, разумеется, не было и в помине. Но Емельян так горячо и красноречиво убеждал казаков, что те едва не поддались на уговоры. Возможно, так оно бы и случилось, если бы не затяжная попойка на хуторе отставного казака Данилы Шелудякова, когда в хмельном угаре кто-то неожиданно прохрипел:

— Станичники! А може, стоит кинуться в Расею?

— На кой? Сказился! За каким бесом? Чтоб те повывлазило! — посыпались возмущённые выкрики. Однако слова были произнесены — дерзкие, ошеломляющие — и не так-то просто оказалось выбить их из сумасбродных, своевольных, хмельных голов.

Пугачёв множество раз пытался вспомнить эти роковые минуты, так круто изменившие его судьбу, и не мог сказать наверняка — кто и когда предложил разжечь бунт и объявить его чудом спасшимся царём?

Когда утихли негодующие вопли и была почата очередная четверть самогона, размягчённые и слегка остывшие казацкие головы решили, что в «Расею» отправиться, конечно, можно, только с чем и как? По слухам они знали, что в стране неспокойно — по центральному губерниям прошлась чума — кругом и всюду торчали военные заставы, так называемые «карантины», препятствовавшие свободе передвижения и волновавшие народ, не понимавший и не принимавший этих мер. Волновались башкиры и калмыки. Последние даже пытались покинуть пределы Российской империи и уйти в Китай.

Зачинщики бунта понимали: если они просто затеют очередной мятеж и, собрав достаточное количество сочувствующих, выставят правительству ряд требований, то даже при самом благоприятном стечении обстоятельств — затея обязательно провалится. Как провалились все предыдущие. А что будет потом — каждый это прочувствовал на собственной спине. И потому не хотел рисковать.

— Как-то, намедни, я слышал, — неуверенно сказал Данила, — што царь-то покойный живёхонек.

— И чаво? — спросил один из гостей. Хозяин хутора поскрёб в затылке:

— Сюды бы его. К намэ

Пугачёв, долго и красноречиво убеждавший казаков бежать за границу, выжидательно молчал. Мысль о том, что следует отправиться вглубь России и поднимать там бунт, не слишком вдохновляла его. Но слова о благополучно здравствующем царе зацепили заговорщиков. Им в этом виделся добрый знак.

— Кабы он был с нами — тоды бы вся Расея поднялась! — убеждённо воскликнул Иван Зарубин. Все собравшиеся согласно загудели.

Каждый из смутьянов был непоколебимо убеждён, что устранённый интригами придворных император Пётр Фёдорович, разумеется, жив-здоров и скрывается где-то у «верных людей». А вероломная царица-немка творит всяческую неправду и беззакония.

— С им бы мы поначалу с тутошних начальников шкуры спустили, — мечтательно предположил Тимоха Мясников, — а там бы и до Оренбургу с Москвой добрались!

Казаки оживлённо задвигались. У всех было свежо в памяти недавнее пришествие генерала Фреймана, от которого у многих ещё чесались бока. Вожделенные мечты о неминуемом, многократном отмщении жарко загорелись в душах у мужиков — сплошь полыхающие усадьбы, разграбленное добро, обесчещенные жёны и дочери. Жажда разрушения, крови, насилия ударяла им в головы и заволакивала глаза багровым туманом. Распаляя, подзадоривая один другого, они уже замыслили походы на Москву и Петербург, безжалостные расправы над сановниками и вельможами, вплоть

до самой царицы.

— А энту немку толстомясную, дрянь паскудную — на кол посадим — пушай издыхает в корчах! — неслись издевательские выкрики.

Крамола созрела вполне. Даже за эти подстрекательские, озлобленные речи всем, собравшимся на хуторе, грозили плети и каторга — и каждый понимал это. Емельян, дотоле злобно, остервенело ругавший царских приспешников и российские порядки, теперь угрюмо молчал. Ему не слишком хотелось оставлять мысль о побеге за границу. Возможный бунт его страшил.

— И на кой хрен нам сдалась твоя Турция? — будто подслушав его мрачные мысли, повернулся к Пугачёву Тимоха. — Кто нас тама ждёт?

— Мы же с имя воюем, — поддержал его Зарубин. — Обзовут нас лазутчиками — и башка долой!

— Верно! Правильно! — загомонили остальные. — В Русь надо кидаться! Её поды-мать! Эх, и погуляем, братцы!

Емельян не нашёлся с ответом, а заговорщики уже всю обсуждали детали грядущего всенародного возмущения. И всё у них выходило гладко, споро и удачно. Не хватало только самой малости — воскресшего царя Петра Фёдоровича.

— А може, тебя поставим, Иван? — обратились заговорщики к Зарубину. Тот отмахнулся:

— Да вы чего, мужики, в самом деле? Меня же тут кажная собака знает! С самого малолетства.

Взоры казаков сошлись на Мясникове, но Тимоха показал на упорно молчавшего Пугачёва.

— Вон Емелю ставьте. Он тута пришлый, — это прозвучало не слишком всерьёз, скорее, как поспешная отговорка, но смутьяны цепко ухватились за неё.

— А и вправду, Емеля, може, спыташь? — нетвердо подхватил Шелудяков. — Бог не выдаст, свинья не съест.

— А мы тобя поддержим! — с готовностью подхватил Зарубин, в душе радуясь тому, что ускользнул-таки от опасного предложения.

— И к туркам бежать тоды незачем! — обрадовался Денис Пьянов, один из самых давних знакомцев Пугачёва. — На Москве царём станешь! Не бойсь!

Емельян оторопело смотрел на всех собравшихся, хотя мгновение назад он уже почувствовал, куда клонится разговор.

— Да вы что, станичники, белены объелись? Меня — царём?! Крепко, видать, вам брага-то в головы шибанула...

— Ты говори — да не заговаривайся! — вспылil Мясников. — Мы про себя и про тебя как надо понимаем.

Пугачёв, смерив его с головы до ног своими странными глазами, ткнул себя в грудь твёрдым заскорузлым пальцем:

— Ну, погляди ты на меня — какой я царь? Горох, што ля?

И все заговорщики, как по команде, воззрились на своего собутыльника. В распоясанной, измятой рубахе, заношенных портах, в чувяках на босу ногу, с колтуном в волосах, а главное — с опухшим от пьянства лицом и выбитым в драке верхним зубом — пришелец с Дона менее всего походил на венценосную особу.

— Да мы, того, — осторожно развёл руками Мясников, — одежонку тебе какую надо справим. Ты не сумлевайся. Это мы зараз!

— Знамо дело! — загомонили остальные, — И кафтан, и шапку, и сапоги, в самом лучшем виде, добудем! И шашку с конём. Не тужи, Емеля!

Но Пугачёв не поддавался:

— Остыньте, запивохи! Рази дело-то в одеже? — он криво усмехнулся щербатым ртом, — Куды же мне с такой-то рожей?

В избе на минуту воцарилось обескураженное молчание. Заговорщики отводили друг от друга разочарованные, недовольные взгляды. Самый старший из казаков, Данило Шелудяков, сказал с укоризной:

— Ты, Емеля, это понапрасну. Зачем же так-то? Мужчина ты видный!

— Твоя правда! — обрадованно подхватил Мясников. — А ежели в баню сходишь да башку с бородой причешешь...

— Да рубаху атласную и кафтан из бархату!.. — мгновенно навалились все остальные, не дав Пугачёву открыть рта.

И опять пошли в ход щедрые обещания раздобыть самого резвого коня, дорогой кафтан, самую острую шашку. И даже ружьё заграничной работы. Но Пугачёв был неумолим.

— Шабаш! — хлопнул он по лавке крепкой ладонью. — Будя меня нахваливать и подарки разные сулить! Я вам не баба!

— Ах, не баба?! — взорвался Зарубин. — Ну тоды, Емеля, держись! — он облизал

пересохшие губы, буравя строптивца злыми, мстительными глазами. — Коли вдругорядь тебя станичное начальство схватит — вызволять не станем! Пушай тебе из спины ремни режут!

— Верно! Правильно! — в сердцах загудели заговорщики. Пугачёв опустил голову — это было уже кое-что.

Два месяца назад Иван Зарубин вместе с двумя казаками помог ему бежать из каменной тюрьмы в городе Казани, где Емельян содержался почти полгода. И схватили его здесь, близи Яицкого городка.

— Ты думаешь, Даниле-то дюже сладко тут тебя держать? — настырно вмешался Мясников. — На хрена ему знта канитель?

— И то правда, — негромко вздохнул Шелудяков. Пугачёв просипел с натугой:

— Чего я делать-то должен?

Заговорщики неуверенно переглянулись:

— Ты это... — начал Пьянов и осёкся. Данило Шелудяков подхватил, не торопясь:

— Покуда одежонку тебе сгношим. Да баньку затопим.

Емельян зло глянул на него:

— Заладила сорока Якова — банька да одежонка! А опосля? Ступай, мол, рвань, на дыбу?

Тут вмешался Зарубин:

— Ты погодь — не гони! Гляди-ка, прыткий какой! Тебе тут не блох ловить! Это дело крепко обмозговать надо. А как же?!

— Во-во! — обрадованно поддержал Тимоха Мясников. — Мы же не робята, чать, малые. Давай, мол, Емеля, — быть тебе царём! А дале — поступай как хошь. Куды это годится?

Эти, на первый взгляд, разумные и осторожные доводы слегка утихомирили Пугачёва. И — странное дело — сделали его заметно сговорчивей. Он уже более благожелательно смотрел на своих сообщников. А те облегчённо вздыхали.

— Царь-то с бородой был, али как? — критически глядя на всклокоченную физиономию Пугачёва, спросил Пьянов. Данило, как самый пожилой и уважаемый, ответил авторитетно:

— Ноне не токмо цари, все бары рыло скоблят. Так у них заведено.

— А он? — кивнул на Емельяна Пьянов. И не успел новоиспечённый помазанник божий перевести дух, вездесущий Зарубин опередил его:

— Пушай остаётся как есть... — и, заметив недоумённые взгляды сообщников, добавил, хитровато сощурясь: — Это он, мол, нарком бороду быдто бы отпустил, чтоб супостаты разные его не признали. Да не извели, в случае чего.

Данило Шелудяков восхищённо мотнул сивой головой:

— Ай, да Ванька! Вот это хват! Ишь, чего удумал!

Всем заговорщикам понравилась идея Зарубина, а ошеломлённый Емельян даже не успел собраться с силами, как вся эта шальная, вздорная, полупьяная карусель закрутила его. Остатки здравого смысла, естественного человеческого ощущения возможной опасности были без следа утоплены в разливанном море мутного, одуряющего самогона. А когда заговорщики опорожнили бутылку до дна — судьба беглого казака с Дона ни у кого не вызвала сомнений — теперь он именовался российским императором Петром Фёдоровичем, чудом спасшимся от козней продажных царских вельмож и распутной, бесстыжей жены. А Емельян всё почему-то колебался.

10

Чай был выпит и баранки съедены, но офицеры, во главе с Суворовым, всё ещё сидели за столом вокруг остывшего самовара. Александр Васильевич, пользуясь случаем, выспрашивал присутствующих о подробностях недавно усмирённого бунта и особенно о главном его герое.

— Когда он тут объявился? — обратился он к Симонову. Комендант ответил с некоторой заминкой:

— Года три тому. Убежал с Дону во время станичного сбора. Был в розыске — лошадь у кого-то украл, а вскоре к нам пожаловал.

— И сразу давай здешних казаков бунтовать, — поддержал начальника майор Крылов. Генерал быстро взглянул на него:

— Дерзок, однако! Или на что-то рассчитывал? Любопытно!

Полковник Симонов, не вдаваясь в подробности, продолжал докладывать:

— Мы его быстренько изловили и в тюрьму отправили. А через полгода он бежал и опять здесь появился.

— Ловок, бестия! — беззлобно рассмеялся Суворов и покачал головой, всколыхнув облачко редких, лёгких волос. — А покойным императором когда он назвался? И по какому случаю? Что это за блажь?

— О-о, ваше превосходительство, — угодливо улыбаясь, вклинился майор-интендант, — тут этих покойных императоров — пруд пруди! Вы верно изволили выразиться — прямая блажь!

Все присутствующие согласно закивали головами. Александр Васильевич взглянул на Маврина. Капитан сокрушённо вздохнул:

— Это правда. К сожалению — он четвёртый или пятый негодяй, назвавший себя именем покойного царя.

Суворов высоко поднял худенькие плечи, широко разведя выразительные, гибкие руки:

— Ай да матушка Россия! Или я, старый дурак, совсем от жизни отстал, воюя с этой проклятой Турцией, или здесь все с ума посходили?! — он криво усмехнулся. — Пятый, вы говорите?

Маврин скупо подтвердил:

— К сожалению.

Александр Васильевич шумно выдохнул и качнул головой. Выждав паузу, комендант Симонов сдержанно добавил:

— И, тем не менее, ваше превосходительство, ему поверили — и заварилась каша.

Сидящие за столом подавленно молчали. Суворов будто бы хотел возразить, но взглянул на поникшие головы офицеров и почти против воли сдержался.

— Даже сейчас, ваше превосходительство, многие верят, что этот беглый разбойник — покойный император, — желая смягчить тягостную обстановку, осторожно пояснил майор Крылов. Генерал пристально посмотрел на него. Крылов кашлянул и смолк. Но Симонов поддержал его:

— Вчера ко мне доставили лазутчика, ваше превосходительство. Мы его, конечно, — комендант усмехнулся, — взяли в оборот, и вот что выяснилось: башкиры с киргизами по степи кружат, шайки собирают. Говорят — царя надо выручать!

Генерал, едва-едва выслушав коменданта, оживлённо подхватил:

— Это, батенька, мне знакомо! — его узкое, сухое лицо собралось в мелкие, бесчисленные морщины. — Грех признаться, но что делать?!.. — Суворов размахисто перекрестился. — И мне пришлось именем злодея спастись... Ей-богу!

— Как так? — не утерпел майор-интендант.

Александр Васильевич обвёл присутствующих смешливыми голубыми глазами и прищёлкнул языком:

— А вот так! Едучи сюда, под Саратовом, окружает меня шайка бунтовщиков вместе с этими чёртовыми киргизами. Наставляют на меня ружья, вилы да копья — кто таков и куда едешь? А я сижу в почтовой тележке, с ямщиком да своим Прохором, — Суворов выразительно примолк. Молчали и офицеры, чувствуя всю драматичность и безысходность положения. Первым не выдержал майор-интендант:

— Под Саратовом?

— Под ним, батенька. И я им говорю: люди императора Петра Фёдоровича! Едем по делу государственной важности! — он демонстративно поднял кверху указательный палец. Собравшиеся заулыбались. А Суворов со вздохом завершил: — Такая вот, господа офицеры, оказия, помилуй Бог! Стыдно сказать, а что поделаешь? Зато — отпустили.

За столом воцарилось молчание. Комендант и его подчинённые, пережившие все ужасы и передраги всенародного возмущения и едва-едва воспрянувшие духом после поимки главного злодея, заметно поскущнели. Генерал это почувствовал.

— Кроме сего злосчастного самозванца, — он обвёл взглядом офицеров и остановился на Маврине, — другие преступники пойманы? Его сообщники главные.

— А как же! — с готовностью ответил тот. — Зарубин, Перфильев, Падуров, Шигаев, Торнов. В арестантской избе содержатся.

— Это ближайшие его подручные, — авторитетно подтвердил Симонов.

Александр Васильевич перевёл на него свои голубые глаза и задумался. Комендант в смущении замигал выгоревшими ресницами. Суворов сжал маленькие крепкие кулаки.

— Вот что, господин полковник! Выведите-ка всех этих мерзавцев на городскую площадь, — у всех присутствующих, включая Маврина, физиономии вытянулись. — И весь народ соберите, — не обращая внимания на настроение офицеров, точнее, вопреки ему, приказал генерал. Повисло тяжёлое, недоумённое молчание. Наконец, комендант решил прервать его:

— Когда? — спросил он траурно.

— Прямо сейчас! — прозвучало в ответ, и маленький прославленный военачальник решительно встал, кивнул сидящим пушком на бойкой голове и, прихрамывая, быстро пошёл вон из избы. Маврин молча двинулся следом. Офицеры обескураженно задвигались, гремя табуретами.

Капитан-поручик осторожно шагал за генералом, соблюдая принятую в подобных случаях дистанцию. И сокрушённо думая о том, что знаменитый полководец выкинул-таки давно ожидаемую курьёзную штуковину. Зачем ему, в самом деле, устраивать подобную демонстрацию? Если в городке есть верные сторонники злодея — а они здесь наверняка остались, и ещё просочились новые — то нелепый приказ генерала только усугубит и без того шаткое положение. Дерзкие сообщники самозванца сделают попытку его отбить. И даже если им это не удастся — результат будет не в пользу власть предержащих. Слухи и разговоры о бесстрашном поступке смельчаков перенесутся за стены крепости и вновь взбудоражат народ. Как знать — не найдутся ли более бесстрашные и удачливые негодяи, которые положат собственные жизни за освобождение самозванного царя?

— Господин капитан, — понизив голос, бросил через плечо генерал. Маврин прибавил шаг, наклоняясь к уху начальника. — Ни солдатам, ни, тем более, злодею — ни слова о том, куда и зачем мы его поведём! Это должно быть, — Суворов искося, снизу вверх посмотрел на капитана, — строго секретно и неожиданно. Вам ясно?

— Разумеется, — буркнул Маврин, хотя из всего сказанного генералом уловил только внушительный тон приказа.

11

Новая команда солдат, охранявшая Пугачёва, решила прибраться в избе, где содержался главный преступник. Сдвинув в углы стол и лавки, двое солдат взяли в руки веники и подняли такую пыль, что Емельян, лежащий на бараньем тулупе, был вынужден привстать, зажимая нос рукой.

— Служивые! Вы хоша бы пол сбрызнули али веники в воде смочили! — беззлобно прокричал он солдатам. Те, исподлобья взглянув на него, продолжали шваркать по некрашеным половицам гибкими берёзовыми ветками. Узник невесело пошутил: — Эх! Энтими бы вениками да вам пониже спины! Може, толк какой ни на есть был...

Через несколько минут, им самим стало нечем дышать, и один из солдат распахнул настежь тяжёлую дверь. Клубы пыли, светясь в лучах осеннего нежаркого солнца, щедро заструились через порог, а в избе запахло утренней свежестью. Пугачёв, гремя цепями, медленно опустился на пол и сквозь толстые прутья клетки с нескрываемым любопытством принялся наблюдать за жизнью во дворе. Там кругом торчали солдаты — чистили ружья и обмундирование, варили на костре кашу, рассказывали друг другу байки и балагурили. Но от пристального взгляда Емельяна не укрылось то, что все они, нет-нет, да и посматривали в сторону распахнутой двери. И в быстрых, мимолётных взглядах ощущалось напряжение и тревожный интерес. Узник удовлетворённо усмехнулся — подобное внимание к собственной особе всегда нравилось ему. С некоторых пор он любил внашарь окружающим непреодолимое волнение и суеверный трепет.

Разные соблазнительные и дерзновенные мысли мигом зашевелились в голове преступника, вплоть до фантастических планов о возможном побеге. Если бы сейчас ему удалось освободиться от оков и выйти во двор — всех собравшихся там охватило бы мгновенное оцепенение и беспредельный ужас. Пугачёв почти воочию увидел, как он неспешно выходит во двор, нарочито потягивается, расправляя плечи, небрежно окидывает замерших в безмерном волнении людей и зычно командует: «Коня мне! Живо!» Тройка солдат тут же бежит за конём. Ему мигом приводят статного, резвого жеребца под роскошным седлом и в дорогой сбруе. Он мельком окидывает свой арестантский, затрапезный наряд и громко усмехается: «Эх, не по седоку одёжа! Но ничего, раздобыли одно — добудем и другое!» И не успевают потрясённые солдаты открыть ртов, как бывший узник соколом взлетает в седло, ударяет пятками коня и вихрем вылетает за ворота...

Один из охранников захопнул глухую, плотную дверь. Пугачёв хотел возмущённо протестовать, вскинул правую руку и ощутил досадную тяжесть цепей. Обескураженно вздохнул, неуклюже опускаясь на слежавшуюся подстилку. Мечты о невероятном, молниеносном побеге развеялись, как облако пыли, поднятое полчаса тому назад. Емельяну сделалось непередаваемо тягостно и, до безразличия, пусто. И вдруг припомнилось, что почти то же самое он пережил несколько дней назад, когда со всех сторон бунтовщиков обложили царские войска, и у него осталась только слабая надежда пробиться к Каспию и бежать за границу...

Последний бой было решено принять под Царицыном. Пугачёвские войска расположились на холме между двумя дорогами, чтобы в случае неудачи ринуться по любой из них. Мятёжники все ещё храбрились, веря в неожиданный, сказочный успех, однако их предводитель нутром чувствовал, что удача отвернулась от него навсегда. С первыми лучам солнца прицельно ударили пушки полковника Михельсона — и нестройные толпы мятёжников сразу рассеялись и позорно бежали. Сам Пугачёв, с тридцатью казаками переплыв Волгу, бросился в степь.

Три недели подряд кружили они по оврагам и бездорожью, чудом ускользя от летучих полевых отрядов, наступавших со всех сторон. Силы бунтовщиков заметно редели, хотя за время бегства они не угодили даже под случайный выстрел, но предчувствие неминуемой, беспощадной расправы за все свои буйные, жестокие, бессмысленные деяния — смертельно пугало беглецов. И при всяком удобном случае они исчезали по одиночке. Вокруг Пугачёва оставалась только горстка самых близких сподвижников. Каждый из них понимал, что в случае добровольной сдачи рассчитывать на милость победителей не приходилось — за любым из них числилось столько безвинно пролитой крови, что уповать на прощение было бессмысленно. Оставалось одно — предательство.

А неутомимый самозванец упорно стремился к спасительному Каспию. И временами казалось, что само провидение упрямо охраняет его, поскольку на пути им не встречалось ни единого серьезного сопротивления. Но казакам, уже успевшим стовориться за спиною предводителя, вовсе не желалось пускаться в рискованное путешествие по чужим, неведомым землям, коль скоро им не повезло на своей собственной. И тут они решились на крайние меры. Тайными тропами беглецы пробрались на Узень — давнее заповедное место, где всегда укрывались беглые каторжники и раскольники. Пугачёв совсем упал духом, чувствуя себя загнанным волком, которого обложили со всех сторон. Да ещё в собственной стае созрела измена.

Подъехав к ветхой заброшенной избушке-скиту, где время от времени селились раскольничьи «старцы», казаки спешились, привязали коней. Самозванец, отворив скрипучую, рассыпшуюся дверь, первым вошёл в низкую тесную избу, поискал глазами икону. Лампада перед тёмным ликом Спаса, видимо, давно погасла. Емельян, перекрестившись, нашёл в углу небольшую бутылку с маслом. Сняв шашку, ружье и пистолет, повесил их на крюк у двери и стал осторожно заливать в лампаду масло. Заполнив почти до краёв невысокий узкогорлый кувшинчик, поправил тоненький обгорелый фитилёк, достал кресало и кремень, чтобы высечь огонь.

За этим занятием и застали его казаки, по одному просочившиеся в избу. Не перекрестив лбов, они застыли у порога, закрывая собою ружье и шашку, висевшие у низкой притолки. Запалив крохотный фитилёк, Емельян поставил лампаду на узкую полочку в углу перед квадратной иконкой. Вокруг головы вседержителя засветился тусклый золотой полукруг. Искоса взглянув на вошедших, Пугачёв, неслышно ступая по мягкому земляному полу, прошёл к оконцу, затянутому толстым бычьим пузырем, похожим на тусклое бельмо, устало присел на широкую, рассыпшуюся лавку. Сообщники не двигались. Несколько минут царил тяжёлый, непреодолимый молчание.

— Ну, чего надумали? — исподлобья глядя на казаков, угрюмо спросил самозванец. — Двинем на Каспий али как?

Заговорщики чуть заметно шевельнулись, и самый смелый и красноречивый из них — Падуров — ответил дерзко:

— Не всё ж нам ездить за тобой — пора и тебе ехать за нами! — и в словах его сквозь бахвальство и нахрап заметно прорезывался страх. Пугачёв опустил веки.

— Давно я чую вашу измену и подлость, — глухим, каким-то замогильным голосом произнёс он и резко встал. Заговорщики вздрогнули, отступив на шаг и хватаясь за сабли и пистолеты. — На государя свою руки подымаете! — устремив на них свои странные глаза, гаркнул Пугачёв. Нападавшие чуть смешались, но Падуров крикнул нервно:

— Да будет тебе, Емеля! Не дури!

По-бычьему наклонив голову, самозванец бросился к двери, пытаясь добраться до висевшего там оружия. Казаки скопом бросились на него, и пошла потеха.

— Живым! Живым берите! — вопил Падуров.

Клубок яростных тел метался по крохотной избе, переворачивая лавки и гулко стучаясь о стены. Замигал и погас огонёк лампы. Пугачёв сумел-таки сбросить всю шайку, навалившуюся на его плечи, словно свора бродячих псов. Минуты две они стояли, тяжело дыша и бросая на своего предводителя злобные, ненавидящие взгляды. Вдруг самозванец поднял обе руки, сложив их ладонями вместе, и протянул их в сторону своего любимца Творогова:

— На! Вяжи!

Творогов схватил его за правую руку, а в левую тут же вцепился Падуров, и оба они попытались согнуть своему главарю «салазки», то есть связать ему руки за спиною. Но Пугачёв невероятным усилием развёл крепкие локти и прохрипел укоризненно:

— Стойте, охальники! Рази я вам разбойник?! — и опять выставил кулаки перед собой.

Стараясь не встречаться с ним взглядами, бывшие сотоварищи скрутили своего понишшего жоака и посадили на лошадь. Емельяну сделалось пусто и безразлично. Круг замкнулся.

12

Войдя в избу, Суворов снял шляпу, привычно перекрестился и бодрым голосом приказал замершим по стойке «смирно» солдатам:

— Вольно, ребята! Злодея кормили?..

— Так точно, вашеество! Кашей! — хором ответили солдаты.

Генерал подошёл к клетке и с нескрываемым интересом уставился на преступника. Тот неохотно поднял от пола спутанную хмурую голову.

— Ты чего? Нешто захворал? — серьёзно, даже участливо спросил Александр Васильевич. Узник невесело усмехнулся:

— Пожалел волк кобылу... — и глухо брякнул оковами.

В голубых глазах Суворова мелькнули холодные огоньки:

— А это ты, любезный, зря! Насчёт волка-то. С больной головы да на здоровую! — генерал повернулся к солдатам, почти окоченевшим от дерзких слов узника. — Вынимайте злодея из клетки! Давайте, служивые!

Подстёгнутые приказом генерала солдаты, с трудом сбросив оцепенение, бросились к тесному деревянному сооружению, где содержался самозванец. Но, наткнувшись на недоумённый, вопрошающий взгляд Пугачёва, смешались, неловко топчась у дверцы и толкая друг дружку. Маврин, как всегда стоявший за спиной генерала и наблюдавший всю эту суетную, бестолковую возню, кривился от неловкости.

— Стой! Не напирай! — властно скомандовал Суворов. — Делай один. Вот ты, чернявый! — показал он на горбоносого черноусого солдата.

Дело пошло на лад. Узника проворно вывели из клетки. Генерал приказал подать тележку.

Пугачёв, всё ещё пребывая в подавленном, угнетённом состоянии, тем не менее, с тревогой размышлял — куда и зачем его ведут? Маврин тоже был невесел — генеральская затея с устройством публичной встречи всех главных преступников казалась ему горше полыни. А более всего его пугало то, что он нарушил приказ, данный ему графом Паниным — держать самозванца только в клетке и ни под каким видом не выпускать наружу.

Прикатила тележка. Пугачёв, гремя цепями, перешагнул порог. Солдаты, заполнившие двор, бросили все свои дела и, разинув рты, во все глаза смотрели на дерзкого бунтовщика, два года подряд потрясавшего основы государства. Следом за ним показался знаменитый полководец, вся слава которого враз померкла в присутствии звенящего оковами преступника. Потрясённые, немые, замороженные лица жадно глазели с таким неизбывным, всепоглощающим вниманием, что казалось — случись в сей момент потоп или землетрясение — никто не двинется с места.

И странное дело — ни одна чёрточка облика самозванца, ни одно, самое ничтожное его движение не ускользнуло от зачарованных взглядов — но день, и два, и месяц спустя — всего лишь немногие помнили его внешность. Так подействовало на них это неожиданное, ошеломляющее явление.

Солдаты из охраны помогли преступнику взобраться на тележку. Он осторожно, бережно подобрал цепи, как знатная дама подбирает подол пышного платья.

— Трогай! — скомандовал Суворов, и повозка с закоренелым лиходеем тряско покатила со двора. Солдаты неотрывно смотрели ей вслед.

— Стройся в колонну и шагом марш! — без промедления отчеканил генерал.

Кругом поднялась суматоха. Александр Васильевич кивнул головой Маврину. Оба они двинулись вслед за охраной, сопровождавшей преступника.

А изо всех дворов уже спешили люди. Вездесущие казачата, оседлав хворостины и мелькая босыми, исцарапанными пятками, понукая сами себя, неслись впереди взрослых. Старики и старухи, по раскольничьему обычаю одетые в чёрное, брели, опираясь на батожки, и, поминутно крестясь, бормотали молитвы. Пожилые казаки в высоких бараньих шапках шли по двое и по трое, степенно разговаривая между собой. Молодняк спешил гурьбою, беспечно лузгая семечки и весело смеясь. Но при виде повозки с арестантом все невольно замолкли и, подталкивая друг друга, как по команде, замедляли шаг.

Маврин шёл рядом с генералом, чувствуя, что от напряжения у него деревенеет шея и покрывается испариной лоб. По роду службы ему нередко приходилось присутствовать при экзекуциях, но сейчас он впервые почувствовал себя в положении человека, которого прогоняют сквозь строй.

— Табакерка у вас, батенька, далеко? — искоса взглянув на капитана, живо спросил Суворов. — Табачком не угостите?

Маврин от неожиданности вздрогнул и без слов полез в карман. Поспешно достал табакерку и на ходу протянул её генералу. Александр Васильевич круто остановился, не торопясь открыл черепаховую крышку, большим и указательным пальцем взял добрую щепоть мягкого, душистого содержимого и поднёс его к небольшому аккумуля

ратному носу. Маврин в удивлении не спускал с него глаз. Вдруг генеральское лицо искажилось — брови поползли вверх, лоб покрылся морщинами, щеки вытянулись, приоткрылся тонкогубый рот.

— Ох, добрый та... — хотел воскликнуть знаменитый полководец и тут же звонко, заразительно чихнул, попытался привести рот в нормальное положение и опять чихнул подряд два раза, безнадежно махнув рукой. Капитан осторожно улыбнулся. — Добрый табак! — удовлетворённо сказал генерал, вытираясь платком и возвращая Маврину табакерку. — Нежинский?

— Нет. Rare, — кратко ответил капитан. Суворов в изумлении поднял брови и решительно зашагал вперед. Его спутник, секунду поколебавшись, сунул табакерку в карман и тоже поспешил следом. Но теперь ему сделалось значительно легче.

А возок с закованным в цепи самозванцем, дребезжа и подпрыгивая, выкатился на майдан — главную городскую площадь. Комендант чётко выполнил приказ — площадь кишела народом. Ближайшие сподвижники Пугачёва, тоже в ручных и ножных кандалах, но пешие, стояли в кольце солдат и угрюмо молчали. Вокруг толпились казаки и казачки, которых пригнали сюда не только приказ начальства и собственное любопытство, а ещё и множество всяких других причин, в большинстве из которых было трудно разобраться.

Увидев воочию всех главных зачинщиков бунта — оборванных, грязных, увешанных оковами, потерянных и угрюмых — жители городка замерли в оцепенении. Даже малые дети, безо всяких окриков и шлепков, дружно закрыли рты, испуганно озираясь по сторонам. Капитан Маврин, увидев эту картину всеобщего, глубочайшего потрясения, вдруг почувствовал, что он перестаёт быть самим собой, превращаясь в какую-то малую, едва ощутимую частицу безмерного ужаса и оцепенения.

Большинство из собравшихся знали преступников не только по именам, но и пили с ними водку, гуляли с девками, ссорились и дрались, считались кумовством и состояли в довольно близком родстве или жили по соседству. А теперь их кумовья, сваты, девери, шурины, братья и шабры стояли, позванивая цепями, ожидая лютой, устрашающей казни.

— Кто сей человек? — в гулкой, звенящей тишине резко прозвучал высокий, чуть напряжённый голос.

Маврин даже не сразу сообразил — из чьих уст он прозвучал? Но глаза его, мимо воли, остановились на Суворове. Александр Васильевич — маленький и худой, в зелёном мундирчике нараспашку и сбитой на затылок шляпе — показывал тонким пальцем на сидящего в телеге самозванца, напоминая всей своей небольшой, сутуловатой фигурой туго взведённый курок. Казалось, ещё одно мгновение — и прозвучит выстрел.

— Емелька Пугачёв, беглый казак с Дону... — раздался сипловатый, невнятный бас из кучки оборванных кандалников, но тишина кругом стояла такая, что слышен был шестест ветра в соломенных крышах.

Самозванец вздрогнул и поднял спутанную голову. В толпе пронёсся тревожный шепоток, многие женщины в страхе осенили себя крестным знамением. Необычные глаза преступника загорелись жгучими, мстительными огоньками:

— Вона чего загутарили! — Емельян едко усмехнулся. — Беглый казак с Дону... Ай да ну!.. — его бывшие сподвижники не поднимали глаз. Пугачёв, гремя цепями, воздел руки к груди, ухватившись сильными пальцами за распахнутый ворот рубахи: — А хто меня уламывал да улещал неделю цельную? — он обвёл укороизненным взглядом своих заединчиков: высокого, рябого Перфильева, коренастого Зарубина, рыжебородого Торнова... — Ништо, Емеля, быть тебе царём! — его улыбка стала горькой и язвительной. — Соглашайся, мол, мы за тебя горой! Ни в жисть не выдадим!

— Ах ты, Господи, царица небесная! — довольно внятно прошептала какая-то старуха, толком не понимавшая, что происходит, но тронутая до глубины души. Пугачёв безвольно уронил руки, и цепи на нём траурно забренчали.

— А не хотел я, видит Бог, не хотел! — в голосе его послышались слёзы. — А всё вы — ироды окаянные! Аспиды ненасытные! Царём будешь на Москве! — он опустил голову на грудь.

Маврин вдруг почувствовал, что в груди у него защемило. Он мельком посмотрел на Суворова и заметил, что у Александра Васильевича дрожит веко. И каждое слово, даже вздох самозванца бередают сердца слушающих его. Это были те редкие, исключительные минуты, когда все собравшиеся в едином месте, без различия пола, звания и возраста, всё одинаково, видели и чувствовали. И у всех было единое ощущение, что на их глаза совершается нечто ужасное, трагическое и безысходное.

— Ах вы, иуды проклятые! — исподлобья взглянув на сообщников, процедил Пугачёв, — Сговорили, уломали, упоили — и опосля скрутили, как последнего голоштанника! Моей головой хотите животы свои выкупить? И всё на мою шею свалить?! —

грудь самозванца высоко поднималась от горького, праведного гнева и едва сдерживаемых рыданий. — А кто меня подстрекал да подталкивал — жги, мол, стреляй да вешай?!

Бывшие сотоварищи — бледные, растерянные, жалкие — старательно отводили взгляды. Каждый из них смертельно боялся, что Пугачёв назовет его имя и тем самым безмерно увеличит и без того тяжкую вину любого.

— А за моей спиной вы чего творили? Душегубы, кровопийцы ненасытные! А опосля всё на меня валили... — в груди его клокотали рыдания.

По щекам женщин катились щедрые слезы. Казаки, многие из которых тоже участвовали в мятеже или явно благоволили к бунтовщикам, понуро склонили головы. Нет, они не сочувствовали самозванцу и не осуждали его, понимая, что тот говорит одну только чистую правду, и эта правда бередит всё у них внутри.

Маврин тоже почувствовал, как у него сделалось мокро внизу подбородка, и, вскользь проведя рукою по щеке, капитан намочил себе пальцы. Он быстро и неловко полез за платком, случайно покосившись на генерала. Суворов, ссутулив узкие плечи и чуть отставив увечную ногу, стоял, уцепившись обеими руками за рукоять шпаги. Седеющая, буйная голова его тихо склонилась, а в уголках глаз искрились пронзительные, светлые точки.

13

Когда всех преступников развели по арестантским избам и городская площадь опустела, Маврин, пользуясь всеобщим расстройством и разбродом, незаметно ускользнул прочь от генерала. Ему почему-то захотелось побыть в одиночестве.

Яицкий городок с его неказистыми, незатейливыми домишками, крытыми прелой, слежавшейся соломой, со скудными огородами, в которых ещё кое-где сиротливо торчали согбенные остовы подсолнухов с тёмными, сбитыми набекрень шляпами, и узкими, грязными улочками — отнюдь не радовал глаз. Казалось, что его обитатели поселились тут ненадолго, без особой радости и старания срубив эти неудобные избёнки, только затем, чтобы кое-как укрыться от непогоды, погреться, если надо — перезимовать и вновь отправиться неведомо куда.

По глинистой, вязкой, не просыхающей земле бесстрашно носились босые ноги шустрой детворы, уже затеявшей вечную игру в «казаки-разбойники», обогащенную только что увиденными и пережитыми событиями. А люди постарше — мужчины и женщины — подавленно разбрелись по домам, чтобы забраться в угол или влезть на печь и, закрыв глаза, думать бог весть о чем.

Капитан, стараясь не испачкать сапог, неспешно прошёлся по нечистым улочкам, ловя себя на мысли, что этот небольшой, заштатный городишко совсем не походил на грозное гнездо зачинщиков беспримерного бунта. И одинокие фигуры, кой-где мелькавшие во дворах, совсем не казались соловьями-разбойниками.

Почти сразу за околицей начинался крутой, обрывистый берег Яика. Маврин пошёл к краю и посмотрел вниз. Быстрые, мутные волны проворно лизали скользкий, глинистый склон. Множество лодок — тёмных, просмолённых — было вытащено наполовину из воды, и в некоторых копошились согбенные фигуры рыбаков. Капитан знал, что ловля рыбы являлась едва ли не главным занятием местных жителей, и все основные, драматические события происходили во время осенних рыбалок. Здесь их называли «плавнями». Вот и Пугачёв впервые появился в обличье покойного царя Петра III в канун «плавни».

Тут мысли капитана-поручика невольно обратились к недавнему эпизоду с преступниками на городской площади. И он не мог не признать себе, что сумасбродная затея Суворова блестяще осуществилась. Теперь ни у кого наверняка не возникнет мысли и желания riskовать собственной жизнью ради освобождения жалкого, раздавленного судьбою самозванца. Он вспомнил его бледное, искажённое судорогой лицо, срывающийся, рыдающий голос, укоризненные, искренние, гневные слова, брошенные в лица сообщников...

Смачное чавканье босых подошв донеслось до его слуха. Маврин повернул голову. Снизу, от самой кромки воды, чуть наклонившись вперед, неспешно поднимался небольшой коренастый человек в старом распахнутом кафтане. На плече он нёс скрученный бредень, а в левой руке держал плетушку с рыбой. Босые, перепачканные глиной ноги уверенно и ловко одолевали косогор.

— Ну что, много рыбы наловил? — встретил его вопросом Маврин, когда голова рыбака показалась из-за бугра.

Пожилой казак, почти старик с седой, разлохмаченной бородой, широкими скулами и серыми, чуть раскосыми глазами зорко взглянул на капитана, ответив уклончиво:

— Трошки есть. Окунишки да ершишки. На ушицу будеть, — он тряхнул плетушкой, и там, в траве, звонко шлёпнулись друг о друга скользкие рыбы тела. Запахло

сыростью и тиной.

— Тесно им там, наверно, — безотчетно спросил капитан. Старик снисходительно усмехнулся:

— Да не вольготней, поди-ка, чем тутошним смутьянам.

Маврин как-то сразу догадался, кого имеет в виду пожилой казак. Он с интересом всмотрелся в него и ответил тоже иносказательно:

— Кто ж им виноват? Назвался груздем — полезай в кузов.

Старик нетерпеливо переступил с ноги на ногу и поправил бредень на плече:

— И-и, барин! Рази энто грузди? Так — одне поганки! Грузди-то давно тю-тю! — он присвистнул шербатым ртом, и свист получился фальшивый, издевательский. Капитан невольно отступил, переспросив изумленно:

— Как это так?

— А вот как хошь, так и понимай, — казак тряхнул кустистой бородой. — Петра-то Фёдоровича опять верные люди скрыли, а энтого дурака да бражника Емельку Пугача выдали властям здешним, — он произнес это настолько убежденно и доверительно, что у Маврина на секунду закралось подозрение.

— А разве не Пугачёв выдавал себя за покойного государя? — с сомнением воскликнул он. Старик посмотрел на него, как на малого ребёнка:

— Побойся Бога, барин! Пётр-то Фёдорович живёхонек и здоровёхонек, — казак хотел перекреститься, да помешал бредень, зажатый в правой руке. — Укрылся опять у верных людей. Живёт себе, не тужит, — старик всё-таки опустил бредень на землю и проворно осенил себя крестом. — Дай Бог ему здоровья!

Маврин спросил как бы между прочим:

— А ты видел его?

— Царя-то? — казак приосанился и стал повыше ростом, преисполнившись уважения к самому себе. — А как же! Даже на свадьбе у его гулял! Када он женился на Усте-то Кузнецовой.

Капитан с трудом удерживал улыбку, задав очередной каверзный вопрос:

— А как же он женился во второй раз при живой государыне? Ведь это грех!

Пожилой казак заметно поскучнел, с минуту размышлял, сощурился и без того узкие глаза, потом ответил недобро:

— Не нашего это, барин, ума дело. Она, вить, тоже сжить его со свету хотела. Немка-то подлая. Чудом, бают, уберётся. Что же ему таперя всю жисть в схимниках ходить? Он, чать, не монах!

Капитан не нашёлся с ответом, и, хотя, речи старого казака дышали явной крамолой, привлечь его к ответу вряд ли имело смысл. Маврин сделал отчаянную попытку:

— Выходит, по твоим словам, что государь Петр Фёдорович и беглый казак Емелька Пугачёв — не одно и то же лицо? Ведь так?

— Вестимо, нет! — твёрдо кивнул старик. Капитан изумленно окинул его с головы до ног, подумал и вздохнул:

— Ну, предположим, у царя ты гулял на свадьбе, а пленного Пугачёва видел?

— А как же! — казак встряхнулся. — Када его комендант с сотником по улицам водили — кажная собака его видала. Вот те крест!

Маврин сразу подхватил:

— А сегодня, когда их всех на площадь вывели — ты там был?

Старик пожал широкими плечами:

— Дак я рыбалил. Вона сколько рыбы-то поймал! — он тряхнул полной плетушкой.

— И на кой мне эти висельники? У нас их тута — пруд пруди. Кажный год воду мутят.

Маврин не сразу собрался с мыслями. Этот короткий разговор с пожилым рыбаком, казалось, смешал все карты. И не успел он приготовить последний вопрос — казак уложил бредень на плечо, сплюнул себе под ноги и бросил хмуро:

— Одначе, барин, надо мне поспешать. Загугарились мы чегой-то с тобой, спаси тя Христос! — он резко отвернул в сторону.

Капитан обескураженно кивнул в ответ, невольно проводив взглядом невысокую, уверенно удаляющуюся фигуру немолодого казака.

В голове его царила полная сумятица. Чего-чего, а подобного, как было принято говорить — кунштюка — он никак не ожидал. При самом безудержном полёте фантазии можно, конечно, предположить всякое, но считать, что пойманный преступник Емельян Пугачёв вовсе не тот дерзкий самозванец — это не лезло ни в какие ворота.

— Эй, станичник! — не выдержав, прокричал Маврин вслед казаку. Тот вздрогнул и остановился, неловко повернув седую голову. — Ты на свадьбе-то, — капитан чуть запнулся, — жениха хорошо разглядел?

— Ещё ба! — старик высоко задрал косматую бороду. — Вот как тебя, барин. Куды уж лучше?!

— Ладно. Ступай, — безнадежно махнул рукою Маврин. Впрочем, иного ответа он

и не ожидал.

Но самым загадочным казалось то, что пожилой казак, видимо, искренне верил или хотел верить в сказочное воскресение покойного императора, в невероятную, почти шутовскую свадьбу, на которой ему довелось быть гостем, и даже в таинственное исчезновение неуловимого царя. Капитан вытащил платок и вытер пот, обильно высыпавший на лбу.

Снизу, от реки, поднималась ещё тройка рыбаков, негромко разговаривая между собой. Маврин круто развернулся, словно испугавшись, что может услышать ещё одну, совсем уж умопомрачительную историю — и быстро зашагал прочь.

14

В гарнизонной избе царили покой и умиротворение. Все бывшие там офицеры во главе с полковником Симоновым расточали похвалы знаменитому генералу, так неожиданно, умело и круто пресекавшему все возможные попытки очередной смуты. Александр Васильевич удовлетворённо улыбался, иногда грубовато отшучиваясь.

Когда Маврин осторожно открыл плотную дверь, стараясь не обращать на себя особого внимания, Суворов тут же задержал на нём свои ясные голубые глаза:

— Ну что, господин капитан, будем готовиться к отъезду?

Маврин вытянул руки по швам:

— Как прикажете, ваше превосходительство!

Генерал перевёл быстрый взгляд на коменданта крепости:

— Итак, господин полковник, мы выступаем завтра рано поутру. С восходом солнца, даст Бог, — Суворов привычно перекрестился. — Готовьте две пушки. Команду солдат. Провиант, разумеется.

На лицах Симонова и его офицеров появилось озабоченное, чересчур строгое выражение, которое, тем не менее, не сумело скрыть долгожданной радости и облегчения. Наконец-то из их городка, а точнее — с глаз долой — убирается этот жуткий бунтовщик-самозванец, столько времени отравлявший всем жизнь!

Внимательно, преданно глядя на генерала, отдававшего продуманные, чёткие распоряжения, все присутствующие не могли не подивиться тому, как глубоко и быстро проник он в суть дела.

— А я вам, ваше превосходительство, медку припас! — искательно улыбаясь, вернулся майор-интендант. — И воблы вяленой. Хороша рыбка — прямо-таки янтарная!

— А про злодея-то не забыли, помилуй Бог? — усмехнулся генерал. — Он ведь у нас привередлив.

И все собравшиеся снисходительно заулыбались, с нетерпением ожидая, что тяжкая ноша вот-вот свалится с их плеч. Только один капитан Маврин стоял с постным, траурным лицом и не принимал участия в общем оживлении. Суворов мельком взглянул на него, однако не стал задавать неожиданных вопросов.

— И остаётся, господа, уповать на промысел Божий, — генерал неспешно перекрестился. — И помолиться великомученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софье. Сегодня их святой день. Да помогут они всем страждущим и обременённым! — офицеры, в подражание генералу, охотно перекрестившись, с готовностью отправились выполнять его приказы. Суворов и Маврин остались наедине. — Садитесь, голубчик! — благосклонно кивнул Александр Васильевич. — Нам тоже многое предстоит обсудить, — капитан медленно опустился на лавку, подавляя невольный вздох. Это не укрылось от быстрых глаз генерала: — Что? Опять какая-нибудь канитель?

Маврин пожал плечами:

— Да как вам сказать, ваше превосходительство.

— А как есть, так и доложите! — эта энергичная, прямая фраза развязала капитану руки и язык:

— Полчаса назад, ваше превосходительство, я имел весьма странный разговор с одним пожилым казаком... — тут Маврин запнулся.

— Ну-ну! — подстегнул генерал.

— Как бы это поточнее выразиться, — капитан сделал героическое усилие над собой, — В общем, кое-кто в здешнем городке считает, что мы взяли в плен вовсе не самозванного государя.

— А кого? — недоумённо спросил Суворов.

— Вора и пьяницу Емельку Пугачёва.

В светлых глазах полководца мелькнуло нечто, позволившее Маврину подумать, что собеседник на секунду усомнился в благополучии его рассудка.

— То есть, я хочу сказать... — капитан замялся, подыскивая нужное объяснение.

— Ну, словом, они считают, что главный бунтовщик был настоящим императором, который снова скрылся. А вместо него нам подсунули какого-то негодяя, — он криво усмехнулся, сокрушённо разведя руками.

Александр Васильевич, вмиг посерьёзнев, опустил голову. С минуту оба сосредоточенно молчали.

— Какой там по счёту государь наш кандальник? — бесстрастно осведомился Суворов.

— Пятый, кажется, — с готовностью бросил Маврин, вспомнив, что уже однажды отвечал на такой же вопрос. И генерал это помнил, продолжая в ироническом раздумье:

— Так чего же вы хотите, голубчик? Чтобы на пятом негодяе всё вдруг остановилось? — в его голосе появились озорные, издевательские нотки. — Нет уж, дудки! Теперь этих царей они станут печь как блины. С пылу, с жару — по пятаку за пару! — и Суворов, лихо переверачивая ладони, стал звонко шлёпать одной о другую. А в голосе его прозвучало что-то ёрническое, скоморошьё. Маврин, принужденно улыбувшись, робко возразил:

— Да неужто они это делают намеренно?

С лица Александра Васильевича сошла шутовская, издевательская усмешка. Он с минуту подумал и сказал убежденно:

— Нет, голубчик. Помилуй Бог! К великому несчастью для нашего отечества, всё это происходит по истинному убеждению, — генерал сокрушённо вздохнул. — Наш народ, по странной прихоти, не различает, где явь, а где — пустые, вздорные фантазии. Больше того — в фантазии он верит с невероятной охотой — дай только повод!

— Вот и казак *так* убеждал меня, что мне подумалось — не сплю ли я? — с готовностью поддержал генерала Маврин. Суворов покачал головой:

— Вот-вот! А посему и осуждать таких авантюристов, вроде нашего злодея, будто бы не за что! Не он, так другой на эту роль отыщется. Токмо было бы желание!

Увлечённый ходом разговора и доверительным, искренним тоном генерала, Маврин задал слишком смелый, почти бестактный вопрос:

— Простите, ваше превосходительство, но мне показалось, что вы его пожалели?

— Кого? Емелю?

Капитан кивнул:

— Да. Там, на площади.

Суворов ответил, не колеблясь:

— Как христианин христианина. Даже убийцу и раскольника. Но всё в руке божьей...

— Мне тоже стало его жаль, — неожиданно для самого себя признался Маврин.

— Но как вспомню все эти жуткие, кровавые злодейства! Полковника Елагина... — Александр Васильевич вопросительно взглянул на собеседника. Капитан сочувственно пояснил: — С него эти мерзавцы живьём сняли кожу и мазали его салом сапоги...

— Суворов брезгливо поморщился. — А случай с астрономом Ловицем? — Маврин перевёл дыхание, нахмурился. — Его Пугачёв настиг в заволжской степи, скрутил и спрашивает: кто таков? Тот отвечает: изучаю ход небесных светил. И тогда злодей приказывает: повесьте его поближе к звёздам. И астронома вздёрнули.

— Однако! — недобро усмехнулся Александр Васильевич. — Он ещё и остроумец!

— Как видите! — горячо подхватил капитан. — И поневоле думаешь — можно ли такому извергу сострадать?!

Генерал искоса посмотрел на собеседника пронзительными, ясными глазами. Потом опустил голову и безотчётно погладил худыми, нервными руками свои острые колени.

— Так уж случилось, — произнёс он негромко, — что несколько лет подряд я воюю с этими чёртовыми турками, а что творится дома, в России, знаю только понаслышке. И сказать по правде — не слишком хорошо во всём этом разбираюсь. А посему, голубчик, не осудите меня за наивный вопрос: чего они хотят?

— Здешные бунтовщики?

Маврин и сам множество раз задавал себе подобный вопрос, и ответ на него выходил крайне сложный, запутанный и неоднозначный. А встретив пытливый, настойчивый взгляд знаменитого полководца, капитан смешался и опустил голову, чувствуя себя нерадивым учеником, плохо подготовившим урок.

— Коли им не нравятся, — пришёл ему на выручку генерал, — все меры правительства по обустройству казачьего войска...

— Вот именно! — с готовностью поддакнул собеседник.

— Так надо полагать, что всё это было возможно уладить тут, на месте. Для чего же всю Россию бунтовать? Вмешивать сюда и башкирцев, и татар, и киргизов?.. — Суворов недоумённо развел руками. Капитан, наконец, собрался с мыслями:

— В том-то и дело, ваше превосходительство, что здешные смутьяны только одним и озабочены — как бы раздуть пожар посильнее да пострашнее... — Суворов укоризненно качнул седеющей головой. — Наш главный злодей, — присовокупил Маврин,

— не однажды горько сокрушался — улица-де моя тесна!..

— То есть — негде молодцу разгуляться? — неожиданно подхватил генерал. — Надо затеять свару и переполох на всю Ивановскую? Чтоб всем чертям тошно стало... — Видимо.

Оба замолчали, мысленно представив последствия возможного исхода событий — случись нечто подобное...

— Ну, предположим... — махнул рукою Суворов, как бы восклицая: «гори всё синим пламенем!» — и сразу спросил: — А что потом? — Маврин пожал плечами. Но Александра Васильевича, как военного человека, не устраивал этот неопределённый жест. И он предпочел поразмыслить вслух: — После любого столкновения, будь то мятеж, либо война — наступает мир и порядок, ведь так? — тут знаменитый полководец, памятуя о том, что сейчас он подталкивает себя и собеседника на заведомо скользкий, крамольный путь, заговорил обиняками: — Ежели попытаться представить себе невероятное — *им* удалось одержать верх — что же будет потом? Каков порядок *они* предложат? И что станет с побеждёнными?

Маврин ответил, почти не раздумывая:

— Этот порядок у *них* уже был. С любым провинившимся они поступали на один манер — в куль да в воду!

— М-да... Весьма приятная участь всех нас бы ожидала, помилуй Бог! — покрутил голову генерал. — Правду ведь говорят: простота — она хуже воровства. А куда как просто эти негодяи хотели всех к одному знаменателю привести! Поражаюсь.

Собеседники на некоторое время замолчали. Каждый из них продолжал мысленно разговор, поскольку тема эта беспокоила обоих одинаково. Только смотрели на неё они по-разному. Маврина, как члена следственной комиссии, больше занимали истоки и последствия страшного мятежа, а также роль главных его зачинщиков. Александра же Васильевича волновал даже не житейский, а скорее философский подтекст всего случившегося.

— Помнится, в Древнем Риме, — первым нарушил паузу Суворов, — однажды восстали земледельцы и рабы. Усмирять их отправился не отряд легионеров, а один-единственный человек, сенатор Марк Катон. Вот приехал он к бунтовщикам, сошёл с повозки и поднял руку, — генерал вскинул худую узкую ладонь. — Крестьяне видят: человек пожилой, солидный. Далеко не трус — коль скоро один явился. Притихли. А Катон им и говорит: «Любое государство и Рим в том числе — похоже на человеческое тело. Сенат — это его голова, армия — его руки, земледельцы — его ноги. Вы согласны?» Те согласились, — тут Суворов хитро сощурился, собрав в складки острое, тонкокожее лицо. — «А теперь представьте себе на минуту, что бы случилось, если бы наши ноги взбунтовались против головы?..»

Капитан Маврин весьма поверхностно знал древнюю историю, и потому рассказ генерала вызвал у него живейший интерес.

— И что же они ему ответили? — прервал он паузу. Суворов озорно заблестел глазами:

— Что сие попросту невозможно. И тогда Катон стал их увещевать: «Я говорю с вами от имени главы римского государства — успокойтесь и мирно разойдитесь по домам!»

— А они?

— Разошлись.

Маврин недоверчиво покосился на него и бросил с грустной улыбкой:

— Едва ли у нас возможно такое.

15

Среди солдат, охранявших главного арестанта, была заметна явная перемена в настроении: они уже не смотрели на своего подопечного с робостью и опаской. В их голосах, движениях и взглядах не сквозила нервозность и безотчётный страх. Пугачёв, лёжа почти без движения на полу тесной клетки, не издавал ни звука. Вниз лицом, спиной к стражам, не желая никого видеть и слышать. Недавняя сцена на площади до дна опустошила его душу. И в ней, кажется, не осталось ничего — ни жажды отмщения, ни боли, ни обиды, ни раскаяния, ни даже отчаяния. Там царила гулкая, беспредельная пустота.

— Караул-то менять скоро будут? — буднично спросил кто-то из солдат.

— Как генерал прикажет, — просто ответили ему.

— Который?

— Да энтот. Суворов, — и в голосе говорившего прозвучала некая торжественность. В избе на минуту повисло значительное, сосредоточенное молчание.

— А правда, братцы, что он самого турецкого салтана в плен взял? — полюбопытствовал молодой, ломкий тенорок.

— Эко, куда хватил! — тут же урезонили его остальные. — Тоды война бы сразу кончилась! А до конца-то ещё ого-го!

И солдаты наперебой принялись рассуждать о перипетиях русско-турецкой войны, подробности которой они, краем уха, слышали из уст своих офицеров, из рассказов увечных инвалидов, вернувшихся с поля сражения, дополняя их собственной, безудержной фантазией, свойственной каждому русскому человеку.

— Слышал я, братцы, — с завлекательными, интригующими нотками начал пожилой солдат, — что у турков есть особые команды. Мужиков туды берут крепких, здоровых. И чтобы ночью всё видеть могли. Как кошки.

— Да ты што?! А на кой? — тревожно переспросил молодой охранник, но на него зашикали.

— Называются — анычары. И ползают они, что твоя ящерка, — тут рассказчик намеренно сделал паузу, чтобы слушатели могли представить себе этих диковинных турецких вояк. — Берут они в зубы такие громадные, кривые ножи... — для наглядности он широко развёл ладони, и опять молодой солдат не выдержал:

— Почто в зубы-то? — в голосе его прозвучал суеверный страх.

— А чтоб рук не занимать, — авторитетно пояснил рассказчик и продолжил с расстановкой: — И вот, стало быть, наступает тёмная ночь. Ни месяца тебе, ни звёзд. А они, с этими самыми ножами, ползут к нашим постам. Тихо ползут. Веточка не хрустнет, камешек не ворохнётся. А наши, сидя подле огня, знай себе греются...

Каждый из слушающих представил себе знакомую картину солдатской жизни: яркое, рыжее пламя бивачного костра, сноп искр, улетающих к чёрному, безлунному небу и согбенные фигуры солдат, протягивающих к огню тёмные, иззябшие руки.

— И чаво? — не выдержал новобранец. Рассказчик охотно подхватил:

— А турки на их кидаются, на солдатиков-то бедных, и ножами по горлу чик! — он шваркнул себя по шее ребром широкой ладони. Молодой солдат побледнел и перекрестился. Остальные сосредоточенно молчали.

Им, бывшим крепостным крестьянам, не слишком, конечно же, нравилось тянуть нелёгкую солдатскую ляжку. Военная служба угнетала их не своей излишней суровостью, тяготами и лишениями — всего этого хватало и в прошлой, крестьянской жизни. Пугали неизвестность и неожиданные перемены. Дома, в деревне, всё было просто, ясно и знакомо от рождения. Семья, соседи, привычный вековой уклад отношений и всего, что окружало любого из них. Если ты чтить старших, упорно и терпеливо трудись на земле, не перечишь своему господину, то жизнь твоя не станет лёгкой, а будет ровной и предсказуемой. Солдатчина же напрочь выбивала всякого из привычной колеи. И теперь, слушая рассказ своего товарища, каждый представлял себя на месте этих безжалостно зарезанных солдат и внутренне содрогался. Утешало одно, что происходило это где-то далеко, на чужой, неведомой земле и с кем-то другим.

— Може, их скоро победят? Турков этих, — как-то неуверенно, даже жалобно предположил молодой солдатик. Один из товарищей поддержал его:

— Надо думать, — и прибавил, чуть понизив голос: — Коли сам Суворов сюды приехал — значит, туркам скоро могила. Значит, тута главней.

И все присутствующие сразу поняли, что имел, точнее — кого имел в виду говоривший. Взгляды всей четверки, как по команде, уткнулись в спину узника. Они вдруг вспомнили то, что происходило внизу, на площади, и в избе воцарилась согласная, тревожная тишина. Гневные, злые, укоряющие слова преступника, его устрашающий облик, пронизывающий взгляд странных глаз и та громкая и грозная слава, которая шла и по пятам, и впереди него — делали своё дело. Они не то чтобы ему не верили, а старались не думать о том, *кто* их молчаливый узник.

Поскольку в России никогда не существовало тайн и секретов, то большинство знало о тёмной и запутанной истории восшествия на престол нынешней матушки-императрицы. И о скоропостижной, туманной кончине её супруга многие тоже были достаточно осведомлены. Верили — и не верили в неё. А если этот странный человек выдаёт себя за чудом спасшегося царя, то почему они должны это напрочь отрицать? Тем паче, что пленить его явился сам Суворов? Со свойственной всем русским людям способностью мыслить кудреватой и непоследовательно — солдаты, охранявшие преступника, в любой момент были готовы породить ещё одну или даже несколько легенд о своём арестанте.

А Пугачёв лежал, не поднимая головы. Уже несколько минут он прислушивался к разговору своих стражей. Безо всякого живого, корыстного интереса, а просто так, помимо воли и желания. Когда пожилой солдат рассказывал о турках-янычарах — у него мелькнула мысль, что и он мог бы участвовать в этой войне и даже наверняка бы участвовал, если бы не украл чужую лошадь и не скрылся во время станичных сборов. А этот самый Суворов теперь командовал бы им. И турки, с их кривыми ножами, уж едва ли перерезали бы ему горло! Глядишь, и дослужился бы до чина урядника либо

хорунжего. И не сидел бы сейчас в этой проклятой клетке!

Он вспомнил бледные, бескровные лица Перфильева, Зарубина, Падурова, Шигаева, и опять гнев и злорадность переполнили его опустошенную душу. Как они уламывали, искушали, улежали и страшили его! Как клялись в дружбе и преданности! Какие сладкие слова говорили! И как потом подло и вероломно предали!

Узник старался не думать о том, что его ждёт впереди, прекрасно понимая, что пощады ему не будет. Сейчас его отправят в столицу, осудят и казнят. А казнь будет такой, какую потребует *она*, то есть царица. За время своего самозванства Емельян привык не только говорить, но, при случае, и думать о правящей государыне как о своей законной жене, называя её *она*, *немка*, а в минуты пьяных застолий ругать царицу стервой, потаскухой и прочими непотребными словами, к вящему удовольствию корыстных сообщников, старательно подыгрывавших ему.

Эта вынужденная, бесконечная игра частенько заставляла и его, и окружающих, совершать необъяснимые, ошеломляющие поступки, словно под влиянием чьей-то злой, неуступчивой воли. Ему вдруг пришли на ум сцены жестоких и бессмысленных казней, когда он безо всякого суда, одним мановением руки приказывал вешать и расстреливать людей.

Почему-то вспомнился майор Харлов — в разодранной одежде, истекающий кровью — вместо левого глаза у него зияла чёрная, ужасающая дыра, а сам глаз висел на щеке. Он один тогда оборонялся против всего пугачёвского войска, штурмом бравшего крохотную крепость Нижне-Озёрную. С запалённым фитилём майор бегал от пушки к пушке и стрелял по осаждавшим. А весь гарнизон предал своего коменданта. Нападавшие жестоко изранили единственного защитника, стреляя в него из ружей и бросая копья. И одержав эту сомнительную, смехотворную победу, бунтовщики наскоро соорудили виселицу. Пугачёв приказал собраться всем, принимавшим участие в схватке. Это была одна из первых его удач, и он очень гордился тем, что противники сдаются ему почти без сопротивления. Из дома коменданта самозванцу принесли высокий стул с резной спинкой. Он чинно уселся на него и приказал привести «пред свои светлые очи» отважного начальника крепости. Израненный майор, с залитым кровью лицом и болтавшимся на щеке студенистым комком выбитого глаза, кусал от боли губы, чудом держась на ногах. Казаки из свиты самозванца цепко держали его за локти.

— Как смел ты поднять руку на своего государя? — громко, но не очень твёрдо воскликнул Пугачёв, ещё не успев как следует войти в роль. Харлов огромным усилием остановил на нём единственный, обезумевший от боли глаз и разжал губы, на которых пузырилась кровавая пена:

— Ты вор и самозванец... — в толпе испуганно охнули и многие суеверно перекрестились. — Будь проклят... — прохрипел майор, желая как можно скорее избавиться от страшных, нестерпимых мучений.

Самозванец ужаснулся — весь облик израненного коменданта был настолько чудовищен, грозен и пугающ, что казалось, будто это и не человек вовсе, а кошмарный выходец с того света, непонятно, каким образом воскресший.

— На виселицу его! — махнул он дрогнувшей рукой, хотя минуту назад колебался — не оставить ли калеку в живых? Впрочем, это только продлило бы его мучения.

А ведь показательная жестокость тоже, поначалу, не входила в планы самозванца. Окажись майор Харлов и другие офицеры уступчивей и послушней — многие бы избежали виселицы. Но мог ли он прощать строптивцев, которые в присутствии толп народа называли его «вором», «самозванцем», «негодяем», «преступником»? Что бы подумали о нём люди? Значит, он и вправду самозванец — раз терпит такое!

А потом, празднуя свою лёгкую и убедительную победу, Емельян жестоко напился и в хмельном угаре твердил:

— Ну, почто он так-то? Я ж не хотел его казнить. Как Бог свят! — и он пытался перекреститься непослушной рукой.

— Не тужи, Емеля! — куражливо утешал предводителя Зарубин. — Дюже ловко ты этого знатного майора срезал. — Как смел ты, мол, супротив государя пойтить! Молодец! Куды как грозен!

И вся дружная шайка заговорщиков весело захохотала. Им доставляло особое удовольствие обходиться запанибрата со своим главарём. Наружно, при народе, они ломали перед ним шапки, а наедине не ставили его и в грош.

— У майора, поди-тка, поджилки затрусилась! Страх! — подмигнув собутыльникам, озорно осклабился Пьянов. Пугачёву вдруг сделалось обидно:

— Вы над кем галитесь, босота?! Глядите! Я вас, как того майора!..

— Ты?! — вызывающе сощурил жёлтые глаза Мясников. — Закрой хайло, покуда мы те холку не намяли! Царь-государь нашёлся, едри твою в дышло!

Самозванец запустил в него ковшом, и пошла потеха. Разбросав столы и табуреты,

побив и вдрызг переломав посуду, собутыльники скрутили своего предводителя, связав ему руки полотенцем, и положили на печь. А сами сели допивать остатки.

— Ишь, как Емеля-то расходился! — утирая разбитый нос, беззлобно ворчал Пьянов. Зарубин усмехнулся в щетинистые усы:

— Ничё! Коли так — стреножим живо! Дюже быстро в цари попёр, побродяжка! Мы таких царей — за бороду да в омут!

Сообщники согласно загудели. А наутро Пугачёв с опухшим лицом и подбитым глазом принимал депутацию от местных крестьян, пришедших с челобитной. Едва самозванец вышел на крыльцо — мужики упали ничком, пачкая в грязи лица и одежду.

— Вставайте, детушки! — приказал Пугачёв осипшим, пропитым голосом и протянул правую руку.

Крестьяне поднялись и по одиночке стали подходить к крыльцу, чтобы поцеловать преступную руку самозванца. Они испуганно и униженно косились на плечистого, чёрнобородого мужчину в высокой шапке и казачьем кафтане, с помятым лицом и подбитым глазом, от которого за версту разило сивухой. Приложившись к жилистой, немытой руке, мужики кланялись в пояс и бормотали:

— Защити нас, царь-батюшка...

Пугачёв, войдя во вкус, вещал напыщенно и снисходительно:

— Не кручиньтесь, ребяташки. В одночасье вас всех рассужу. Дошли до меня ваши печали да жалобы...

Мясников осторожно толкал в бок Зарубина — смотри, мол, каков гусь! Ну, чем тебе не царь-государь? Чика (Зарубина дразнили Чикой) только хмуρο поводил бровями и тихо покашливал.

— Граф Чернышов! — вдруг повернулся к нему самозванец. — Забери-ка у мужиков просьбишки — я опосля почитаю. А таперя недосуг — дале воевать надобно. Пока всех супротивников, которые мне — государю Петру Фёдоровичу — присягать не хотят, не разобьём в прах! Спаси вас Господь, детушки! — и Пугачёв широким троекратным знамением, перекрестил толпу.

Граф Чернышов (Чика) нехотя собрал у мужиков челобитные и поплёлся в избу вслед за предводителем. После нескольких, на диво лёгких побед он уже раскаивался, что в своё время отказался стать царём. А теперь вот — хочешь не хочешь — приходится ломать шапку перед бывшим бродягой! «Опосля почитаю!» — зло повторил про себя Чика, прекрасно помня, что Пугачёв неграмотен.

Солдаты, сторожившие самозванца, проведя четверть часа в нерушимой, гробовой тишине, заговорили негромкими, сдержанными голосами:

— А теперь куды?

— Кто его знает.

— В Питембурх, конечно.

— А може, в Москву?

— Може, и в Москву.

Они опять помолчали, потом пожилой солдат добавил уверенно:

— Куды енерал прикажет.

Но с ним не согласились:

— Да к ему тоже приказали.

— Кто?

— Знамо дело — кто! Царица.

Тут Пугачёв, который уже несколько минут прислушивался к таинственному разговору своих охранников, догадался, что речь шла о нём. И о ней. Его якобы законной жене, вероломно устранившей когда-то своего единственного венценосного супруга. Самозванец вновь окунулся думами в прошлое.

16

До своего невероятного, стремительного возвышения Емельян никогда, даже мимоходом, не задавал себе вопроса — кто и почему правит этой огромной страной, в которой он живёт? В среде казачества, волей судьбы и обстоятельств селившегося по окраинам России, к верховной власти было особое, двоякое отношение. Во-первых — они не считали себя вполне русскими людьми (и действительно не являлись таковыми, перемешавшись с местным, туземным населением), а верховная власть вынужденно заигрывала с ними, желая иметь надёжных стражей своих границ.

Когда Емельян появился на свет в своей родной станице Зимовейской, Россией правила императрица Анна Иоанновна, точнее — правил её бывший кучер и бессменный любовник — ловкий герцог Бирон. Маленький казачонок, естественно, всего не ведал. Это не интересовало его ни в малейшей степени. А потом на престол взошла Елизавета — Петрова дочь. Емельяна сие тоже нимало не тронуло. Но тут ему пришёл срок явиться на станичный сбор и отправиться на войну с Пруссией.

Война растянулась на семь лет, и вот молодой казак, к удивлению, узнал, что он — подданный России, а кроме неё ещё существует некая Пруссия, которой правит король Фридрих. Россией же правит баба — царица Елизавета. Емельяна это не разочаровало и не обрадовало. Он ходил в атаки, участвовал в вылазках и налётах на прусскую пехоту и конницу. Особо удачливым и смелым рубахой Пугачёв не слыл, но и труса не праздновал тоже. Он был таким же, как и большинство казаков, призванных тогда на службу и посланных в чужие, неведомые земли.

Его поразила чистота и опрятность прусских городков и деревень и то, что обитатели говорят на совершенно незнакомом и непонятном ему языке, а петухи кукарекают по-русски. В боях он был несколько раз ранен, но не слишком тяжело, и выучил два десятка немецких слов, которыми щеголял по возвращении в родимую станицу.

В той войне Россия, как известно, победила, и русские войска даже взяли Берлин. Только победа оказалась какой-то суматошной, невнятной и, похоже, малоубедительной. Возможно, потому о ней быстро и прочно забыли. А в одночасье скончавшаяся матушка Елизавета и следом взошедший на престол голштинский принц Петер, ставший российским императором Петром III, окончательно смазали итог семилетней кампании.

Новоиспечённый русский государь — ярый поклонник прусского монарха — тут же униженно извинился за нанесённые тому поражения и незамедлительно вернул все занятые земли. Они были возвращены старому владельцу, а победители, несолоно хлебавши, вернулись в родимые пределы. В их числе и донской казак Емельян Пугачёв, ни сном, ни духом не ведавший, что десять лет спустя он будет именовать себя тем самым голштинским принцем, не давшим ему вкусить сладких плодов победы.

Однако казаки, впрочем, как и солдаты, не слишком горевали по поводу неудачно завершившейся войны — она всем изрядно надоела. А вот офицерам и генералам, для которых это был «театр военных действий», где они играли эффектные и значительные роли и в качестве аплодисментов получали чины, награды и ордена — подобный финал казался гораздо унижительней оглушительного свиста и плевков. И новоявленный российский император, совершивший рыцарский, но рискованный и опрометчивый поступок, не успел даже прочно занять престол, как его смели оттуда мстительные, хваткие руки.

До станицы Зимовейской, куда вернулся наш герой, слухи об этом дошли с некоторым опозданием и, как всегда, в искажённом, малопонятном виде. Скоропостижно-де скончалась матушка Елизавета, и на престол взошел то ли сын её, то ли племянник — Петр Фёдорович — и его тут же свергли какие-то злоумышленники. Царь, вероятно, удушен либо застрелен. А может, и скрылся, от греха подальше. Вместо него теперь царствует его жена — немка Екатерина. Вся эта тёмная, запутанная история странным образом будоражила людей, и казачество в том числе. Тем паче, что царица — немка. А то, что свергнутый монарх был тоже немец — никого не интересовало.

Но первые пять лет правления царицы-немки прошли в мире и покое. Она возводила города, устраивала великолепные приёмы, военные манёвры, парады, в которых участвовала сама, нарядившись в щеголеватый конногвардейский мундир. Череда пиров, балов, маскарадов, единожды начавшись, казалось, не закончится никогда.

В северной столице России — Петербурге и его окрестностях — строились пышные дворцы со всевозможными затеями — множеством голых мраморных фигур, каскадом фонтанов, щедро извергавшихся под диковинную, невидимую музыку. Знать неустанно веселилась. Народ, вначале настороженно внимавший всей этой шумной вакханалии, понемногу успокоился. Он уже был рад тому, что его не слишком сильно тревожат. Но вскоре разразилась война с Польшей, а потом и с Турцией. Впрочем, военные действия в Польше носили довольно узкий и кратковременный характер и не требовали большого количества солдат, а вот Турция...

Емельян, к тому времени уже успевший жениться на казачке Софье Недюжиной и нарожать пятерых детей, заметно отвык от военной службы. К слову сказать — и семейная жизнь на собственном хуторе была не слишком ему по нраву. К своим сорока годам он всё ещё никак не мог остепениться, представляя собой тот вечный тип непоседливого мужика — гуляки и буяна — норовящего сыграть роль выше той, которая ему в жизни предназначена. Он бражничал, ругался, гонял жену и детей, продавал и относил в заклад вещи, подворовывал.

Когда началась турецкая кампания, Емельян украл лошадь и явился с ней на станичный сбор. Хоть и не шибко ему хотелось подставлять свой лоб под турецкие пули — семейная жизнь казалась ещё невыносимей и горше. Но казацкие старшины, знавшие своего земляка, как облупленного, и помнившие, что он давно пропил и строевого коня и того, на котором пахал хуторскую землю, потянули его к ответу. Пугачёв успел скрыться. Станичное начальство, между тем, дозналось, что дерзкий конокрад подговаривал казаков, нарушив присягу, бежать на Кубань. Тогда на него был объяв-

лен розыск. Емельян скрывался неведомо где до начала зимы, а затем тайком вернулся на собственный хутор, пожил дома с неделю и был благополучно схвачен, но опять бежал. Намаявшись с непутёвым супругом, Софья дала себе слово сдать его властям при очередной явке.

Пугачёв появился перед самым Великим постом. Исхудавший, оборванный, грязный — казалось, будто он уже троекратно пережил этот пост. Жадно, наскоро поев, смутьян без сил повалился на печь. Софья, накинув платок и полушубок, побежала к соседям. Емельяна сняли прямо с лежанки и отправили в город Черкасск, а по дороге он бежал уже в третий раз. Только теперь, от греха подальше, аж на самую польскую границу и оттуда, с подложным паспортом, питаясь подаянием, пробрался на Яик, к тамошним бунтовщикам. Те приняли беглеца весьма охотно.

Там, превратившись, волей случая, в чудом воскресшего императора Петра Фёдоровича, Емельян, к немалому удивлению своих подручных, довольно скоро вжился в роль царя. Стал капризен, деспотичен и властолюбив, почище любого наследного монарха. Ежели в захваченных крепостях оставались нетронутыми храмы, то самочинный владыка приказывал обязательно править церковные службы и при этом непременно поминать государя Петра Фёдоровича и его супругу Екатерину Алексеевну, царицу-немку, которая при частом упоминании, кроме бранных кличек, стала невольной приобретать кое-какие осязаемые черты.

Жизнь царского двора и жизнь простого народа, при бесконечной, невероятно отдалённости друг от друга, оставались, тем не менее, своеобразными общающимися сосудами. Только сообщались они какими-то немислимыми, трудноуловимыми путями. А скорее всего — напоминали два зеркала, поставленные одно перед другим и бесконечно повторявшие чужие отражения, с той лишь разницей, что поверхности у обоих были сильно искривлены. Молва о неуёмном сластолюбии матушки Екатерины мгновенно проникла в буйные головы её подданных, порождая там небывалые, ошеломляющие фантазии. И потому Емельян, на правах законного, обесчещенного супруга имел все основания называть её «стервой», «потаскухой», «прорвой» и прочими неблагозвучными кличками.

После лёгкого и бескровного штурма крепости Нижне-Озерной, в которой самозванец повесил её единственного защитника — майора Харлова, пугачёвское войско направилось к крепости Татищевой. Здесь их встретило довольно сильное и организованное сопротивление, во главе которого стоял тесть храброго майора — полковник Елагин. Полдня бунтовщики безуспешно обстреливали крепость, а им отвечали сильным прицельным огнём. Пугачёв сам подъезжал к пушкам и направлял их на осаждённых, но те держались упорно и стойко. Бунтовщикам помог случай — загорелись скирды сена, находившиеся вблизи деревянных стен крепости. Огонь перекинулся на стены, а затем и внутрь. С противоположной стороны, с воплями и проклятиями в город ворвались пугачёвцы, поскольку все защитники старательно тушили пожар.

Победители, привыкшие к лёгким и молниеносным успехам, вконец остервенились и озверели. Офицеры, их жены и многие отважные защитники крепости были тут же задушены, зарезаны и обезглавлены. С полковника Елагина, человека осанистого и полного, негодяи живьём сняли кожу. Самозванец посильно участвовал во всех этих мерзостях, но на правах царственной особы, то есть — только приказывая и распорядясь. Когда безудержный гнев и жажда мести несколько поутихли, Пугачёв, в сопровождении Зарубина, прошёл к дому полковника, который ещё не успели разграбить осаждавшие. В просторной, чистой гостиной, в простенке между двумя высокими окнами, висел портрет темноволосой женщины с тяжёлым венцом на голове и в пышной горностаевой мантии.

— Хорош патрет! — осклабился граф Чернышов (Чика). — Узнаёшь?

Пугачёв, смутно догадывавшийся, чьё изображение он видит перед собой, нехотя кивнул головой. Дородная женщина на портрете явно потрясла его. Доморощенный живописец, старательно выписавший правящую императрицу, видимо, отлично знал вкусы людей низкого происхождения, и потому особенно тщательно изобразил сверкающий алмазами венец и чёрные хвостики дорогой горностаевой мантии.

— Ишь, стерва! Красуется... — ухмылялся Чика, хотя лицо «законной» супруги самозванца было плоским и маловыразительным.

Скорее всего, художник скопировал его со столь же неудачного образца, дополнив собственным робким и скудным воображением. Однако Емельян не находил слов. С его точки зрения — это было невероятно пышно, внушительно и торжественно. Здесь он крепко усомнился в успехе принятой на себя роли. Где ему — простому, сиволанному мужику — тягаться с этой царственной женщиной! Одна алмазная корона на голове чего стоит!

— Погодь! Мы тебе покажем! Подпортим маленько личико-то, — мстительно про бурчал Зарубин, потянув из-за пояса кинжал.

— Не трожь! — властно крикнул самозванец, цепко ухватив его за руку. Ему неожиданно показалось, что сообщник вероломно покушается на его личную собственность. Чика не посмел перечить.

17

После шумного и кровопролитного штурма крепости Татищевой, подобных сражений были десятки. В большинстве из них бунтовщики одерживали верх благодаря робости, неумелости высших офицеров и почти поголовной измене среди казаков. Самозванец воевал, распутствовал и бражничал. В Татищевой ему попалась на глаза дочь истерзанного полковника Елагина, она же вдова погибшего в страшных муках майора Харлова. Самочинный государь, расчувствовавшись, помиловал несчастную дочь и жену, но не потому, что сжалился над судьбою молодой женщины — его поразила её красота.

Бедная вдова представляла собой тот тип русской женщины, перед которой, как правило, не мог устоять ни один мужчина. Статная, белотелая, с высокой лебяжьей грудью, крутыми, неохватными бедрами, толстой — в руку — косой и большими серыми глазами чуть навывкат. Словом, увидел её самозванец — и моментально растаял. Как всякий, неумеренно пьющий человек, он становился совершенно безвольным в присутствии красивой женщины. Его сообщники, по достоинству оценившие выбор своего предводителя, поначалу снисходительно усмехались, судача между собой:

- Гладку бабу наш Емелья-то отхватил!
- Титьки, что у твоей козы!
- И задница справней, чем у кобылы.
- А гляделки — с мой кулак.
- Эхма! Сладка баба — малина прямо!

Нельзя сказать, что самозванный государь совершенно не испытывал никаких угрызений совести при виде красавицы-вдовы. Временами, лёжа с ней в походной кибитке, Емельян сокрушенно вздыхал.

- Ты чего? — блестя в полутьме большими прозрачными глазами, шептала вдова.

С самых первых минут вынужденной близости с этим несчастным и страшным человеком она стала называть его на «ты». Емельян, признав не только красоту свой пленницы, но и благородное её происхождение, не стал попусту чиниться и корчить из себя царственную особу, понимая, что в глазах обездоленной женщины это выглядит кощунственным и смешным.

- Мужики дюже злобятся, — отвечал он уклончиво. Пленница шевельнулась:
- На меня?
- Ага. Говорят — присушила ты меня! — Пугачёв недобро усмехнулся.

Вдова, чуть отстранив от него горячий мягкий бок, сунула под голову белую гладкую руку и задумалась. Конечно, она не испытывала к своему мучителю никаких тёплых, искренних чувств, кроме безмерного страха и полнейшего бессилия, думая близостью с ним хоть немного размягчить его больную, исковерканную душу. Однако плоды всего этого были чересчур малы и ничтожны: самозванец только лишь позволил похоронить тела её отца и матери, а также убитого, по его приказу, мужа. И спас от гибели её семилетнего братишку, за которого она смертельно боялась.

- Так присушила аль нет? — с издёвкой спросил самозванец.

Вдова с испугом посмотрела на него — капризный, неустойчивый характер беглого казака бесконечно пугал молодую женщину. Она по опыту знала, как он жесток, мелочен и беспощаден в минуты обиды и гнева.

— Чем же я тебя присушила? — навалясь на него высокой грудью, натужно улыбнулась несчастная.

Емельян удовлетворенно засопел — робкие ласки вдовы напрочь его обезоруживали. А безутешная пленница, в душе презирая себя за малодушие, молча отдавалась грубому, деспотичному негодяю, с содроганием чувствуя, что в сердце её нет к нему отвращения и ненависти. Лишь только один кошмарный, безграничный страх.

Но как бы там ни было, а близость с обездоленной вдовой слегка облагородила самозванца. Он стал не только временами умываться и, при случае, ходить в баню, но иногда прощать своих вчерашних противников. При взятии крепости Пречистинской Пугачёв принял в свое войско всех солдат и помиловал всех офицеров.

Его ближайшие сподвижники — Зарубин, Овчинников, Шигаев, Лысов, Чумаков — вскоре с тревогой сообразили, что прирученный ими предводитель начинает выходить из повиновения.

— Дюже большую власть, Емелья, над тобой энта баба взяла, — во время очередной пирушки сказал Пугачёву напрямик Чумаков. Емельян не сразу нашёлся с ответом.

— Надо было её вместе с родителем кончать! — жёстко прибавил Лысов. Чумаков мстительно усмехнулся:

— А всё он — царь-государь! Растуды его в печёнки... Увидал бабу и раскис. Как мякиш хлебный в водке, тьфу!

— Ты погоди слюни-то пускать! — собрался, наконец, с духом Пугачёв. — Ишь, раскипятился!

Один из самых давних сотоварищей самозванца — Чика (граф Чернышев) — сказал с затаённой угрозой:

— Гляди, Емеля, кабы не струсилось чего!

Тот быстро обернулся к нему:

— А чего? С ей али со мной?

Зарубин равнодушно пожал плечами:

— С обоимя. Все под Богом ходим.

За столом повисло тяжёлое, гнетущее молчание. У поникшего самозванца под небольшой клиновидной бородою затрясся острый, чёрный кадык.

— Ваша взяла, душегубы... — дрогнувшим голосом произнёс он. — Лейте кровушку безвинную.

— Но-но! — погрозил ему Чумаков, — Ты не шибко-то! Неча тут ангела-хранителя из себя представлять! Ты убивец не хуже нас!

На следующее утро вдову отважного майора и её малолетнего брата вывели на расстрел. Самозванец, мертвецки упившийся накануне, валялся на лавке возле неприбранного стола и, услышав сквозь сон хлёткие, беспорядочные выстрелы и душераздирающие вопли, попытался поднять тяжёлую голову.

— А-а-а? Кто тама? Измена? — забормотал он непослушным, иссушённым языком. — Тимоха, Ванька, де вы?

— Спи, батюшка! Спи, милостивец! — ласково урезонила его пожилая баба-стряпуха, готовившая закуску самозванцу и его свите. — Это полковничью дочь с мальчонкой за измену казнят. Упокой их души, мать Пресвятая Богородица! — прибавила она едва слышно.

В странных, полуслепых глазах мужицкого царя мелькнул дикий испуг и будто бы осознание чего-то непереносимого и страшного. Он сделал попытку встать, но какая-то неодолимая, сверхъестественная сила точно размазала злодея по скамье. Ни рука, ни нога его даже не шевельнулись. А через секунду откинулась назад спутанная голова, из отверстого рта с хрипом вырвались и за клубились хмельные пары.

— Ох, свят-свят! — отгоняя от лица удушающие запахи, бормотала стряпуха. — Что царь, что мужик — всё зелье без памяти хлещут...

Через полчаса в избу ввалились граф Чернышов (Чика), граф Орлов (Чумаков), граф Воронцов (Шигаев), граф Панин (Овчинников).

— Бабка! Вина! — закричал от порога граф Чернышов. Остальные графы молча уселись вокруг стола, не снимая шапок. Они почему-то избегали смотреть друг другу в глаза.

— Ишь, сопит! Ровно младенец! — подмигнув на самозванца, ухмыльнулся граф Панин.

— Ему-то чё? Его дело телячье! — пренебрежительно махнул рукою граф Орлов. Стряпуха, крихтя, поставила на стол бутылку самогона.

Перед мысленным взором каждого ещё стояла картина недавнего расстрела и та молодая, красивая женщина, в смерти которой были повинны они все.

— Наливай! — скомандовал граф Чернышов графу Орлову.

Тот накренил пузатую, внушительную четверть, а собутельники сразу подсунулись с чарками — всякий торопился заглушить что-то беспокойное и тревожное внутри себя. Будто все они пришли сюда, обожжённые крепким, пронизывающим холодом и теперь спешили согреться. У графа Орлова дрожали руки, разливая самогон по стопкам, он щедро плескал его через край, но никто из графов не проронил ни звука. Первую чарку выпили в напряжённом, траурном молчании, сясь не встречаться взглядами. Баба-стряпуха, подававшая на стол, сокрушённо вздыхала и тайком крестилась. Граф Чернышов, мельком окинув собутельников, разлил по второй. Выпили так же угрюмо и молча.

— А грузди- то ничего, ажно на зубах хрустят, — негромко, как бы между прочим, сказал граф Панин.

— Ты, Ванька, свою пистолю выкинь! — покосившись на графа Чернышова, недовольно пробурчал граф Орлов. — Палишь в белый свет, как в копейку.

Граф Панин недобро усмехнулся и добавил:

— А може, он нароком?

— Энто как? — не выдержал Чика. Граф Панин пояснил, исподлобья глянув на него:

— Грех на душу не хотел брать... Али баба, часом, приворожила? Вон как его, — он кивнул на спящего самозванца.

Чика не нашёлся с ответом, хотя понимал, что молчание едва ли пойдет ему на пользу. Но собутыльники были слишком возбуждены случившимся и не придали этому значения.

— Лей, чего застыл! — прикрикнул граф Воронцов, и граф Орлов в третий раз наполнил стопки. Разбойники согласно, без промедления, выпили и чуть расслабились.

— Мальца-то того, — осторожно начал граф Панин, — може, не стоило?

Сиятельные особы нехотя переглянулись.

— Чего после драки-то кулаками сучить? — резонно возразил граф Воронцов и мельком взглянул на руки, будто опасался обнаружить на них пятна чьей-то крови. Его сосед Орлов-Чумаков, недобро усмехнувшись, бросил с издёвкой:

— Царя-батюшку свою благодаритя! Через его забавы катами-душегубцами сделались.

— Кто ж его знал! — желая оправдаться, осторожно возразил Чернышов-Зарубин, Панин и Воронцов промолчали, но Орлов не согласился:

— Рази энто гусударь? — пытался он вразумить остальных сообщников. — Ни форсу, ни вида стоящего. Бродяга — он бродяга и есть! Как его ни обряди — всё едино. А до баб падок — ровно муха до дерьма! Вот таперя и решайте.

— Чего? — не понял Зарубин. Чумаков сказал наотрез:

— А того! Ради энтого побирушки я, вдругорядь, руки кровью марать не стану! Не дожждётся

— А хто тебя об энтом просил? Я, что ли? — прозвучал в тишине осипший, пропитый голос.

Графы вздрогнули. Самозванец, с трудом оторвав от лавки голову, вперился в них воспалёнными, больными, полубезумными глазами. Палачи тревожно шевельнулись. Баба-стряпуха, от греха подальше, мигом убралась в прихожую, словно испарилась.

— Порешили, значит, тварей безвинных. Распотешили души свои злонные! — в словах Пугачёва звучали яд и горечь. Разбойники избегали встречаться с ним взглядом. Государь с трудом уселся на скамье. — Всё. Край! — он поднял и бессильно уронил правую руку. — Достали вы меня, аж до самого нутра! Что хотите со мной, то и делайте. Хошь режьте, хошь стреляйте, хошь топите, хошь вешайте! Нету сил моих...

Чумаков, только что презрительно ругавший самозванного царя, возразил осторожно:

— Ты погодь, Емеля... Охолони. Похмелись лучше.

Пугачёв откинулся к стене, вытянув руки и ноги, напоминая собой мумию, кое-как пристроенную на скамье. Панин-Овчинников проворно плеснул в чарку самогона и подскочил к самозванцу.

— Выпей, Емеля! Легче станет.

— Выпей-выпей! — дружно подхватили графы.

Пугачёв посидел с минуту без движения, никак не отзываясь на просьбы сообщников. Те заметно всполошились — неожиданное и окончательное самоотречение сотворённого ими самодержца вовсе не устраивало лиходеев. Каждый в страхе подумал, что будет, если в народе узнают о его исчезновении? Это станет началом их конца.

— Пей, ирод! — не выдержав, гаркнул Чика. Веки у Пугачёва дрогнули, он медленно открыл свои странные глаза, словно вернулся с того света. Чика смягчился. — Небось, полегчает, — добавил он искательно.

Самозванец нетвёрдой рукой принял чарку и, окропля самогоном бороду и грудь, сделал несколько судорожных глотков. Худая жилистая рука его тряслась, прыгал острый, чёрный кадык. За эти несколько мгновений он будто бы усох и постарел. Сообщники не спускали с него глаз. Бледное, бескровное лицо Пугачёва вдруг болезненно искривилось, собравшись в сырой, морщинистый комок. Он глухо, без слов зарыдал.

— Поплачь, поплачь, Емеля, — невнятно забормотал Овчинников. — Може, так оно лучше...

И Чика подхватил ему вслед:

— Ты шибко-то не горюй! Бабу мы тебе ищо краше найдем. Мало их, што ли?

Но самозванец не слышал этих неуклюжих слов утешения. И напрасно душегубы старались убажить его и отвлечь, полагая, что льёт он слёзы по злодейски убитой кравице-вдове. Нет, ему было её искренне жаль, но больше всего жаль самого себя. А плакал и рыдал он от жуткой, невероятной безысходности всего случившегося, проклиная свою бесталанную, кошмарную, изувеченную судьбу.

Бодрый, уверенный Суворов решительно вошёл в арестантскую избу, махнув рукою на замерших солдат:

— Вольно, ребята! — и тут же бросил пристальный взгляд на преступника. Пугачев

апатично лежал на полу клетки, почти не обращая внимания на окружающих, даже не реагируя на свирепые укусы блох, беспрепятственно скакавших по нему.

- Как он? — обернулся Суворов к капралу. Тот вытянулся по стойке смирно:
- Не вставал, ваше превосходительство.

Генерал хотел задать ещё один вопрос, но мельком окинул избу и, заметив в ней относительный порядок, передумал.

- Можешь садиться, братец, — кивнул он капралу.

Узник резко пошевелился, гремя цепями. Все находившиеся в избе непроизвольно вздрогнули, не исключая знаменитого полководца, который через минуту снисходительно улыбнулся капитану Маврину:

- У страха-то и вправду глаза велики! Грешно и подумать-то...

Пугачёв, перевернувшись на спину, искоса посмотрел на генерала, чуть подрагивая припухлыми веками. Александр Васильевич почувствовал этот взгляд, в свою очередь, тоже вопросительно уставившись на него. Все разом затаили дыхание, понимая, что это не просто бессловесная дуэль.

Ясные, неустрашимые глаза полководца напрямик встретились с затаённым, уклончивым взглядом самозванца. Тот словно бы старался уловить и понять нечто такое, что сделало этого маленького, худого, невзрачного человека таким великим и непобедимым. Искал и не находил. Капитан Маврин, стоявший за спиной генерала, случайно перехватил и разгадал этот напряжённый, взыскующий взгляд и в смущении отвернулся. Александра же Васильевича это, вероятно, нимало не тронуло, поскольку он тут же воскликнул твёрдо:

- После ужина всем непременно отдыхать! Но спать вполглаза, ясно?
- Точно так, вашество! — рявкнул капрал. Суворов повернулся к Маврину:
- А нам, господин капитан, следовало бы проверить посты.
- Я готов, — тот опустил руки по швам, но генерал ласково тронул его за плечо:
- Пойдемте, голубчик, вместе.

Они оба вышли на крыльцо. Двор наполовину опустел, только у небольшого костерка суежилась группа солдат, вероятно, готовя себе ужин. Над тихим, захоластным городишкой стоял погожий сентябрьский вечер, какие случаются в короткий период равноденствия, когда ночь и день полюбовно делят между собою сутки и когда в природе устанавливается мгновенное, зыбкое, но заметно ощутимое спокойствие. Мимолетная, складная, согласная гармония, которую улавливает каждое живое существо. Мягко, неброско розовел дальний небосклон, сизые струйки дыма торчком поднимались от соломенных крыш, будто мирно застывая в густеющем воздухе. Лениво мычали коровы. Гулко щёлкал бич пастуха.

— Будь моя воля, — негромко, словно боясь нарушить этот мир и покой, произнёс Суворов, — я бы его простил, — Маврин удивлённо сверкнул глазами, но промолчал. — И государыня, сдаётся мне, тоже могла бы простить...

(Александр Васильевич оказался весьма близок к истине. Екатерина некоторое время колебалась, желая помиловать злодея. Однако её ближайшее окружение — графы Чернышов, Панин, Воронцов — этому активно воспротивились. И вновь Пугачёва стубили его именитые враги).

Капитан опять не нашёлся с ответом. А прославленный военачальник продолжал с лёгкой усмешкой:

— Вы знаете, голубчик, когда воюешь где-то за тридцать земель, то чувствуешь себя и смельчаком, и патриотом, и русским, вот как Бог свят! — он вздохнул и перекрестился. Маврин не отводил от него взгляда — в густеющих сумерках худое лицо генерала теряло свой привычный, обострённый контур, становилось мягче и круглее. — А вернёшься в родимые пределы и ничегошеньки не понимаешь! Вот такая чертовщина, не к ночи будь помянута... — собеседники согласно помолчали. Александр Васильевич передёрнул узкими прямыми плечами, словно в ознобе: — Пожалуй, одного только хочется непременно — скорее бы улеглась эта смута. Можно воевать с турками, можно с немцами, но не со своим братом-россиянином, помилуй Бог! Страшнее беды не бывает...

Теперь капитан различал только светлые, ярко блестящие глаза генерала и едва пересилил себя, чтобы не спуститься хотя бы на ступеньку ниже. Ему было неловко смотреть на него свысока.

А крохотный, присмиривший городишко уже готовился ко сну, и в далёком, бескрайнем небе над ним робко проклюнулись первые, едва мерцающие звёзды.

Осип ФУФАЧЕВ

В ДОНЕЦКЕ КОНЧИЛАСЬ ЗИМА

Записки волонтера

Для Таси

Когда твое такси скрылось из вида, я еще долго стоял на одном месте, глядя в ту точку, где автомобиль прощально моргнул мне габаритами. Затем поднял глаза, посмотрел в черное небо, посыпавшее город колючей снежной карточью, натянул капюшон, уже не волнуясь, что волосы паклей прилипнут ко лбу, и зашагал прочь без какого-либо вменяемого маршрута.

Зима еще огрызалась последними метелями, но атаки ее захлебнулись, исчерпав боекомплект. Февраль, растеряв все снабжение, сегодня перевалил за свою середину. Несмотря на то что девушки на улицах еще прятали от снега и ветра букетики в этот насквозь коммерческий праздник, мобики в окопах месили уже совсем весеннюю грязь.

Все шло своим чередом. Кто-то сбежал из страны, кто-то мобилизовался и уехал на фронт, кто-то, как я, просто болтался без дела по городу, не зная, куда себя деть. Лента новостей полыхала невиданными сражениями ботов, бурлила проклятьями, зевала докладами и сообщениями о погибших и раненых, которые приходили теперь почти каждый день, одинаковые и скучные. Хорошо, что ты не читала такие новости, порой даже мне становилось от них тошно, я с удовольствием и сам бы их не читал.

Мы встретились пару лет назад, и кроме той, первой, встречи, у нас было еще несколько свиданий. Не знаю, что ты сама думала о них, но я определенно считал эти встречи свиданиями. А поскольку в последнее время мне не с кем стало разговаривать, делиться мыслями и происходящим вокруг, то я начал разговаривать с тобой, избрав для этого достаточно необычный способ. Наши встречи были настолько редкими, что я принялся обо всем рассказывать тебе мысленно, и с тех самых пор ты всегда находилась рядом со мной, пусть даже несколько виртуально.

В конце концов, у людей есть не только внешний, но и внутренний мир, так почему тебе не пожить в моем? Пусть в нем обитают не одни лишь мрачные призраки.

Тем временем война затягивалась. Быть позитивным и видеть вокруг только хорошее решительно не получалось. Но война контрастна, на фоне самых черных теней свет воспринимается ярче. В этом красота войны.

Однажды я обещал тебе доказать, что война бывает красивой. Тогда я не знал, что мое стремление забросит меня в самую ее столицу, в город, имя которого звучит чаще других из любого утюга, телевизора или компьютера. В город, в котором, несмотря на обстрелы, распускаются цветы, а люди делают со мной последнюю банку консервов. А вокруг будет весна, и я буду курить на пустой, словно вымершей, простреленной насквозь улице, и только фонарь составит мне компанию.

В один прекрасный день мне позвонил мой донецкий товарищ по имени Денис и в ходе беседы, шутя, пригласил меня к себе в гости, а я, не придав значения своим словам, неожиданно для себя согласился.

«Серьезно приедешь?» — удивился Денис. «Почему нет?» — не менее удивленно подтвердил в ответ я.

Поразмыслив, я, конечно, пришел к выводу, что затея, мягко говоря, сомнительная, однако заднюю включать было уже поздно. Еще не хватало, чтобы меня посчита-

ли трусом. Я вообще очень легко ведуь на такие предложения, от этого у меня куча проблем. Это называется «взять на понт». И я боюсь, что однажды кто-нибудь вынудит меня, например, прыгнуть с крыши. То же самое касается и моих увлечений, дельтаплана, мотоцикла и сплавов на построенных из всякого хлама лодках, вопреки любым требованиям техники безопасности.

Однажды я отдыхал в Абхазии, и хозяйка домика, где мы с друзьями снимали комнату, настоятельно рекомендовала нам ни в коем случае не лазить по местным развалинам, так как они до сих пор заминированы. Но развалины были столь притягательны и живописны, что, вооружившись фотоаппаратом, я, конечно, туда полез. Тогда обошлось. Обойдется ли в этот раз?

И вот в один мартовский вечер я, стоя на автовокзале нашего города и жуя пирожок, безразлично наблюдал за воробьем, который прыгал вокруг меня и что-то отчаянно чирикал.

Но это было позже. Сейчас же, возле такси, ты обняла меня на прощание и как-то очень наивно положила мне голову на грудь. Мне нестерпимо захотелось смахнуть ладонью колючий снег с твоих волос, но я этого не сделал. А еще я, неизвестно почему, прошептал про себя: «Воробушек». Не знаю, как такое сравнение пришло мне на ум. «Маленький, хрупкий, тебя защищать хочется! Всегда теперь буду тебя так называть». Но я опять ничего тебе не сказал, и ты уехала, а я остался стоять, глядя в черное небо.

* * *

Эта поездка — еще одна из дурацких авантюр, в которые я влезаю с завидным постоянством. Я говорил тебе однажды, раздуваясь от важности, что нарочно ищу сложные жизненные маршруты, для того чтобы жизнь была интересней.

Это не так. Точнее, не совсем так. В действительности, я с детства привык вначале делать, а потом уже думать, что неизменно приводило к самым непредсказуемым последствиям. Меньше всего хотелось бы рассказывать тебе про исключительность и «некаквсейность» своего характера, как это любят делать многие искатели адреналина. Мне одинаково противны как обыватели, так и их оппоненты, эти напыщенные псевдогерои.

Пробираться по колено в ледяной воде болота в непроходимом лесу, а потом месяцами доставать из земли чьи-то чужие кости — профессия археолога, которую я выбирал себе под стать, любимая, но не всегда приятная. Тащить, отдуваясь, в гору неуклюжую на земле конструкцию дельтаплана, чтобы несколько секунд провисеть под ним в воздухе, рискуя затем сломать себе в лучшем случае ногу — игра, не стоящая свеч. А рокот и фырканье мотоцикла — это всего лишь эхо несбывшейся детской мечты, помноженной на банальные условия городского трафика.

В общем и целом, мои «странствия и приключения» — это всего-навсего следствия необдуманных поступков. Но, безусловно, в таком образе жизни имеются и свои плюсы, мне не придется выдавливать из себя сюжеты для будущих книг.

Шофер посигналил, воробей улетел, я доел пирожок и полез в салон микроавтобуса, который должен был доставить меня в столицу, где мне надлежало пересесть на автобус уже до Донецка.

«Почти тридцать часов на заднице, с одной пересадкой и короткими перекурами, — прикинул я в уме, — сомнительное удовольствие».

Я осмотрелся. В салоне, кроме меня, находилось несколько вездесущих узбеков, дремал мужик пролетарского вида, и две девочки-нимфетки громко обсуждали ролики в интернете.

Сейчас дверь микроавтобуса закроется, и время потечет совсем в другом ритме, а все эти люди и многие другие, встретившиеся мне позже в пути, превратятся в декорации. Так будет продолжаться ровно до тех пор, пока подошва моего запыленного ботинка вновь не коснется этой платформы. Если я, конечно, вернусь.

Знаешь, у меня в последнее время появилось странное чувство, что теперь есть то место, куда можно вернуться. Раньше такого места у меня не находилось, и я был волен болтаться где попало с наплевательским отношением как к самому себе, так и ко всему, что меня окружало. Но микроавтобус тронулся, остался за спиной наш с тобой мирный город, а за мной по всем дорогам потянулась теперь звенящая цепь невидимого якоря.

* * *

— Первый раз? — пограничник оторвал взгляд от монитора и внимательно посмотрел на меня.

— Да, — кивнул я в ответ.

Он еще раз взглянул на меня, теперь как на полного кретина, и снова уставился в монитор. Я же раздумывал над тем, не связана ли заминка на КПП с моим сомнительным политическим прошлым, настоящим и, видимо, будущим. Но все обошлось, покопавшись в компьютере, пограничник вернул мне документы, и я вышел на улицу к автобусу и ожидавшим возле него только меня остальным пассажирам.

Еще в Москве на автовокзале, когда покупал билет, я заметил несколько странное к себе отношение. Кассирша, услышав, куда я еду, принялась слишком участливо разъяснять мне подробности отправления автобуса, расписания остановок и прочие детали поездки. Мне даже стало интересно, сколько молодых людей с рюкзаками цвета хаки проходят мимо нее каждый день.

В салоне оказался только один парень, которого я мысленно отделил от остального дорожного люда. На нем были черные тактические брюки, берцы-облегченки, а из-под воротника куртки выглядывала татуировка с трилистником клевера, набитая на шее. С ним мы закурили пару раз на остановках и обменялись незначительными фразами. Остальные же пассажиры были явно гражданскими и занимали примерно одну пятую мест от общего числа в почти пустом двухэтажном донецком автобусе.

Я, расположившись сразу на двух креслах, было решил, что доеду до места с комфортом, но после Воронежа народ стал прибывать, и вскоре на соседнее кресло втиснулась объемистая тетка с авоськой. Прижавшись к окну, я попробовал читать, но голова была тяжелая, и слова «Конармии», которую я брал в дорогу, отказывались складываться в осмысленные предложения. Строчки расплывались и прыгали, и вскоре я задремал, очнувшись уже на КПП.

Пройдя пропускной пункт и глядя в окно, за которым была абсолютная чернота, я немного поразмыслил над тем, что теперь нахожусь на территории воюющей республики, но сделал для себя вывод, что внутренне во мне ничего не изменилось. Сознание безразлично прочертило границу на невидимой карте, только и всего. Не было ни страха, ни боли, не было обстрелов и развалин, я не видел искореженной техники и чужого горя, не было людей. Была только непроницаемая чернота стекла, прыжки автобуса на неровной дороге и условная линия, разделившая нас с тобой.

Покопавшись в телефоне и поняв, что за условной линией исчезли интернет и мобильная связь, я стянул с себя куртку, повозился в кресле, безуспешно пытаюсь придать комфортное положение телу в отведенном мне теткой пространстве, и, с досадой вздохнув, окончательно закрыл глаза.

Снилась почему-то бывшая, с которой мы ругались за столиком в кафе. Она долго выговаривала мне что-то обидное, а затем ушла, прежде чем я успел ей ответить, дверь за ней захлопнулась, а я, с трудом проснувшись, отделался, наконец, от неприятного сна.

Автобус не двигался. По возне в салоне я понял, что это очередная остановка. Куртка, которую я подкладывал под голову, сползла, и физиономия моя частично приклеилась к стеклу. Я разлепил глаза и, не отрывая от стекла головы, уставился в хмуро начавшееся утро.

На фоне однообразного неба то тут, то там торчали ровные зубцы терриконов. «Слишком ровные», — вяло подумал я, вспоминая, что терриконы видел в детстве на Урале, но они были там немного другие и назывались как-то иначе.

Еще за окном находилась пара ларьков и улица в стройный ряд двухэтажных домов. Но линия крыш вдруг оборвалась под моим сонно блуждающим взглядом. Одного из домов на месте не оказалось. То есть он должен был там быть, как, например, зуб в челюсти, но его там не было, и от этого картинка выглядела неправильной и неестественной.

— Господи! — зашептала потеснившая меня в Воронеже тетка.

Когда автобус тронулся, мы проехали мимо и смогли рассмотреть то место, где находился провал. Ни развалин, ни следов пожара я не заметил. Так бывает, когда на целом яблоке появляется первый след от укуса. Словно улицу кто-то укусил.

По разговорам пассажиров я понял, что мы проехали Макеевку.

Многочратно слышимые ранее названия начинали вливаться в мою нынешнюю реальность и обретали в ней форму.

Далеко ли Макеевка от Донецка, я не знал, да и вообще не имел ни малейшего понятия, где нахожусь. Спрашивать у соседей мне не хотелось, а ориентироваться по времени прибытия, указанному в билете, было нельзя. Нас предупредили еще на столичном вокзале, что автобус запросто может опоздать на пару часов. «Если вообще доедет», — добавил тогда я про себя.

Сейчас же где-то неподалеку от нас несколько раз ухнуло и продолжило ухать по-дальше, уже за спиной. «Доберется ли автобус?» — вопрос из области черного юмора сразу переключал в насущную область. Но я отметил, что данный факт несколько меня не встревожил. Автобус вполне может не доехать, но я решил разбираться с про-

блемами по мере их поступления, поэтому полез в карман за влажными салфетками и попытался привести в порядок свою память в дороге рожу.

Влажные салфетки крайне полезная вещь, когда в городе перебои с водой. Эти перебои спустя некоторое время стали волновать меня куда больше постоянных обстрелов. «Умирать надо опрятным», — думал я, недобро поглядывая на выломанные рамы окон, наспех заколоченных листами OSB прямо над моей головой. Без воды опрятным быть тяжело, а умирать грязнулей неудобно перед людьми.

Странные мысли приходили там на ум, но об этом я расскажу тебе немного позже. А сейчас, все же нетронутым добравшийся, автобус тормозил на площади вокзала «Южный» города Донецка.

* * *

— Не пристегивайся, — предупредил меня таксист, когда мы с моим товарищем Денисом забрались в машину, а я, плюхнувшись на переднее сиденье, по привычке потянул на себя ремень, — будет прилет, отстегнуться не успеешь.

«Ох уж мне эти предосторожности, — зло подумал я. — Если прилетит поблизости или же непосредственно в машину, то какая мне будет разница, пристегнут я или нет?»

Меня всегда умиляли некоторые правила безопасности. Например, обязательный шлем вкюпе с дельтапланом. При нужном «везении», если воткнуться носом в землю, свалившись с порядочной высоты, голова твоя, возможно, уцелеет, а вот плечи... плечи, скорее всего, вырвет рамой, и у тебя будет замечательная возможность оценить, что плеч у тебя больше нет. Это как спасательный круг в северных морях — промучаешься чуток подольше. Про такие естественные здесь вещи, как каски и броники, даже заикаться не стоит, тут каждый решает сам.

Я оставил в покое ремень безопасности, чтобы не обижать таксиста, хотя предпочел бы пристегнуться. Большинство местных водителей ездят здесь как попало, а военным на правила дорожного движения вообще плевать. Нет, под танк, конечно, попасть сложно, танков я в городе, по крайней мере, не видел, а вот заехать под какой-нибудь армейский «Урал» проще простого.

Я знаю, что такие детали не слишком тебя заинтересуют, но мне придется упоминать о них и дальше. В этой картинке даже невыразительные для тебя штрихи.

Мы перекусили у подруги товарища и отправились в центр города уже на автобусе. Дождав его на остановке, я разглядывал синеватые пирамиды терриконов вдалеке, когда оттуда отработали «Грады». Залпов слышно не было, но дымные шлейфы их снарядов потянулись куда-то в сторону Авдеевки и некоторое время висели в воздухе, пока не растаяли на легком ветру.

Тут же прилетела ответка. Разрывы снарядов напротив были слышны хорошо, но куда они угодили, видно не было, а канонада продолжилась, уже удаляясь.

К канонаде я привык почти сразу, как приехал. Она постоянна, и привыкнуть к ней довольно легко, как к тиканью часов или, например, к капанью воды из протекающего крана. Лишь первое время я донимал Дениса вопросами о том, «прилетело» это или «улетело». Он мне объяснил, и через какое-то время я решил, что научился разбираться в происхождении различных тревожных звуков. Как позже выяснилось, думал я так зря.

Тем временем потрепанный «пазик» довез нас до центра, и, спугнув стаю нахальных голубей, мы затопали в сторону бульвара Пушкина.

Голубей здесь, кстати, полно, и среди них очень много белых. Никогда не видел столько белых голубей. Ты бы, наверное, тоже удивилась. Эти птицы мира прекрасно приспособились к войне. Они привыкли к обстрелам, их численность на улицах возросла, в отличие от людей, которые сидят по домам. А вот воробьев я почему-то здесь почти не видел.

Тебя, Воробушек, мне тоже тяжело здесь представить. Нет, на улицах много девушек, в процентном соотношении к остальным прохожим. Они ничем не отличаются от девушек в нашем с тобой городе: каблучки, весенние короткие юбки. Многие из них служат, многие специально приехали сюда из других городов, где-то здесь, в волонтерских организациях, есть даже пара моих подруг.

Но тебя представить в этом городе у меня не получится. Да и не хочется мне тебя здесь представлять. Ты настолько чужда происходящему вокруг, что я не уверен, поймешь ли ты все то, что я захочу тебе рассказать.

Ты далеко, и слава Богу, а я здесь, и я буду гулять по бульварам, слушая неумолкающий назойливый гул.

Ты не любишь эту войну, ты вообще войну не любишь. «Зачем это все нужно?» — спросила однажды ты.

Я не знаю. Может быть, только затем, чтобы однажды «здесь» не оказалось около тебя.

Побродив по центру, мы зашли в пиццерию. Я взял себе кружку местного пива, непьющий Денис заказал себе кофе. Мы прошли в пустой зал и уселись за столик у окна.

Здесь не Сталинград, конечно, кафе и бары работают, хотя многие из них закрыты. Работает сеть местных супермаркетов, не столкнувшись еще с натиском «Пятерочек» и «Магнитов». Подобная встреча сулит супермаркетам катастрофу похуже любой стрельбы. Открыт кинотеатр, и на его экранах все те же шедевры отечественного кинематографа. Центральный рынок открыт, несмотря на то что недавно попал под обстрел.

Но людей везде было мало. Я поглядел в окно на пустынную улицу. Если выйти в нашем городе погулять воскресным утром, то будет так же безлюдно, как субботним вечером в Донецке. Позже один ополченец ответил на мой вопрос, почему сидеть в доме безопаснее, чем находиться на улице.

«Чтобы сложить дом, надо его целенаправленно обстреливать, — объяснил он, — одного снаряда недостаточно, а кому придет на ум специально шмалять по зданию с гражданскими и тратить на них боезапас?»

Больших разрушений в центре я действительно не заметил, но это не значило, что их не было совсем. Хвала коммунальщикам, они моментально латали посеченные осколками дома и чинили разбитые тротуары. Времени не хватало только на окна. Оттого многие из них были забиты плитами OSB, и если оглядеться по сторонам, то становилось понятно, куда именно недавно прилетело. Почему именно OSB, осталось для меня загадкой.

После девяти вечера город совсем вымирал. Закрывались кафе и супермаркеты, переставал ходить транспорт, а запоздавшие прохожие спешили по домам. На улицах оставались лишь редкие подвыпившие компании или же бродили небольшими группами военные. Первое и второе легко могло совмещаться.

Касаемо военных — конечно, это были не солдаты регулярных войск, а скорее представители разношерстных добровольческих формирований. Шевронов и других знаков различий они, как правило, не носили, оттого, кто перед тобой, понять было практически невозможно. Естественно, что подобные личности не были, аки Рембо, увешаны с ног до головы всевозможным оружием, но гадать, не припрятал ли за пазухой подвыпивший боец гранату, у меня никакого желания не возникло, поэтому я, если мне случалось совершить вечерний променад, обходил таких персонажей стороной.

Город продолжал жить своей околовоенной жизнью. Люди вставали утром, одевались, завтракали и, пробив в компостере билет, ехали на работу.

Компостер вызвал у меня настоящий восторг. Он, понятное дело, был не таким, похожим на дырокол, приспособлением, как в моем незапамятном детстве, но от него все равно потянуло теплом воспоминаний. На долю секунды меня перебросило из троллейбуса в воюющем городе на десятки лет назад в желтый автобус ЛиАЗ, к инею на его стеклах, в маленький сибирский городок за окном.

Местные жители привыкли к компостерам, к тому, чтобы каждый день пробивать в них свой билет. За девять лет притупятся любые чувства, кроме, пожалуй, усталости. Она будет только копиться. Я видел ее здесь на многих лицах мужчин и женщин, молодых людей и на лицах совсем юных девушек. И не надо мне что-то рассказывать, сыпать бравадами, я скорее поверю своим глазам. Эти люди устали. Устали и от тех, и от этих, устали от пустых надежд и таких же пустых обещаний. И от того, что хлеб дорожает.

Да. Именно тот самый условный хлеб. В таком состоянии тебе становится пофигу на весь театр военных действий вместе с маршалами и генералиссимусами, пофигу на то, что там удумали президенты и их кабинеты министров, наплевать на всю экономику и геополитику, тебя интересует, когда в твоём магазине появится хлеб, а в кране вода. Нужно правильно расставлять приоритеты.

Мне хотелось бы рассказать тебе об этом больше, но я еще обязательно вернусь к этой теме.

Мы поднялись из-за столика пиццерии, попрощались с девушкой за кассой и, оставив ее одну в пустом кафе, вышли на улицу. Нужно было возвращаться на квартиру к Наде, подруге моего товарища, где мы временно разместились, сегодня был день воды.

Воду в Донецке давали один раз в три дня с семи до девяти вечера, но этого могло и не произойти, а значит, необходимо было не только успеть провести различные гигиенические процедуры, но и наполнить водой все резервуары в доме. Пятилитровые пластиковые баклажки были обязательным атрибутом почти любых помещений.

Когда я приехал сюда, отсутствие воды стало для меня серьезной проблемой. Дело

в том, что у меня уже очень давно выработалась одна привычка, которой я потакал. Не знаю, можно ли назвать ее дурной, но заключалась она в том, что я толком не мог проснуться, если прямо из постели не попадал сразу в душ. Это создавало массу неудобств во время экспедиций, политических съездов или литературных семинаров, когда мы делили один номер в гостинице на несколько человек. Обычно я вставал раньше всех, чтобы, никому не мешая, просыпаться под струями воды, а дома даже умудрялся выкуривать первую утреннюю сигарету, стоя под душем. Если же этого не происходило, то мое утро становилось неполноценным, и весь последующий день я чувствовал себя неуверенно. Но что поделать, здесь мне пришлось терпеть.

Сегодня вода была, и мы, заказав какой-то еды, — доставка в Донецке тоже работала, — и, вытащив из холодильника пару запотевших бутылок, расселись в гостиной за маленьким столиком. За окнами были слышны далекие разрывы, в ванной шумел кран, и, ведя неторопливую беседу, мы отвлекались от нее только на то, чтобы поменять баклажки.

Я старался посвятить новоиспеченных россиян в тонкости российского быта, они же делились со мной подробностями будней донецких.

— Да, — вспомнил я, — я хотел в качестве сувенира осколок домой привезти, желательно не в собственном теле. Где мне его взять?

— На балконе посмотри, — улыбнулась Надя. — Там в шкафу кусок от снаряда лежит.

Куском от снаряда оказался блок стабилизатора реактивного снаряда установки «Град», стодвадцатидвухмиллиметровая стальная хреновина, весом килограммов шесть и сантиметров тридцать в длину.

— Мне его друзья на день рождения принесли.

Надя тоже выглянула на балкон, где я вертел в руках ржавую железяку. Железяка была безвредной, но, несмотря на это, выглядела крайне опасно.

— Где они его взяли?

— Да здесь недалеко, в лесопосадке нашли, мы в него цветочки ставили. Если хочешь, забирай, — закурив сигарету, добавила Надя.

— Если его у меня на КПП найдут, то меня посадят. Не исключено, что прямо на него, — мрачно пошутил я и тоже закурил.

* * *

— Когда уже воду нормально дадут?

— Когда Славянск возьмем.

— Пойдем, возьмем?

— Пойдем.

Двое добровольцев лениво шутили, стоя за барной стойкой, когда я спустился в штаб.

Формально я относился к одному из добровольческих движений, а в кармане у меня лежал шеврон с изображенной на нем гранатой. Правда, прилепить мне его было некуда, я сознательно не брал сюда из дома армейских вещей и ходил исключительно в гражданке, инстинктивно чувствуя, что этот городской доспех прикроет меня лучше камуфля. Но шеврон с собой носил, так, на всякий случай.

После выходов моим друзьям нужно было выходить на работу, и оставаться у них мне было неудобно, поэтому я, подхватив рюкзак, отправился селиться в местный штаб организации. Кров и пища для приезжих волонтеров в нем имелись, и посильная помощь требовалась всегда.

Штаб находился в подвале, в бывшем помещении маленького бара, неизвестно какими путями доставшемся движению, и от бара там сохранилась барная стойка и стеклянный холодильник, в котором обычно хранят пиво и газировку. В основном помещении по углам, на сложенных друг на друга поддонах размещались несколько лежаков, на одном из которых я позже и расположился. Там же была небольшая кухня, со всем необходимым, туалет и подсобка, переделанная под склад. Стены были увешаны флагами и плакатами, а свободное место делили между собой различные детали военного обмундирования и вездесущие баклажки с чистой водой.

В штабе вечно толкался разношерстный народ. Волонтеры и журналисты, мобилизованные в увольнении и добровольцы. Кто-то приходил или уходил, приезжал или уезжал. Здесь можно было отдохнуть и переночевать, перекусить или же просто выпить кофе. В штабе всегда бурлила околофронтовая жизнь.

Своего земляка Юру я разыскал в подсобке.

— Пойдем, поможешь мне замок к двери приладить? — с ходу деловито предложил он, доставая из недр стеллажей испачканный маслом замок.

— Пойдем, — пожал я плечами.

— Прилетело тут недавно, — уже на улице буднично бросил Юра, заметив, что я разглядываю разбитые рамы первого этажа прямо над нашими головами, — вон туда, на проезжую часть.

Я оглянулся. Действительно, в окнах первых этажей окружающих домов не было стекол.

— Посвети телефоном, а то я шурупа не вижу...

Внезапно, казалось, совсем неподалеку пять раз что-то сухо хлопнуло, треск прокатился мимо нас по улице и затих за углом дома.

— ПВО, что ли, наше работает? — пробормотал под нос Юра, продолжая ковырять отверткой замок. — Ты к нам надолго?

— Не очень, — перестал озираться я, — так, осмотреться...

— Ты вовремя, вечером девчонки шашлыки обещали. Поедешь завтра к Аркадичу?

— Что за Аркадич?

— Как тебе сказать? — Юра, наконец, закрутил неподатливый шуруп и выпрямился. — Завтра сам увидишь. У него, в общем, надо уголь для шашлыков брать. У Аркадича угла много.

Перепрыгнув через бордюр, за нашими спинами на тротуаре остановился короткий белый микроавтобус «Тойота». Из него выскочил парень в камуфляже и с таким же шевроном на левом рукаве, что лежал и в моем кармане.

— Вы чего на улице делаете? — вместо приветствия выпалил он. — Прилет же был рядом!

— Где?

— Там, — парень неопределенно махнул рукой в ту сторону, где только что раздавались хлопки, — мирняк вроде посеколо. Оглохли вы, что ли?

— Да слышали, — Юра покосился на меня, — замок вот чинили.

— Ну, вы на всю голову... — парень закурил. — Замок они, блин, чинили! Принимай обновку, — обратился он уже к Юре и кивнул на белый микроавтобус.

— Откуда подгон? — Юра пнул по широкому колесу «Тойоты» и заглянул в салон.

— Ну, как обычно, всем миром собирали по копеечке, плюс власти раскошелились. Вещь! — парень, которого звали Леха, обошел вокруг автомобиля. — Дизельный, полный привод. АГС бы еще в него поставить, цены бы ему не было! — мечтательно добавил он, осмотрев заднюю дверь машины.

— На склад генераторы приедут в пять, — оборвал Юра его грезы, — надо ехать разгружать. Вот и обкатаем обновку.

Я тоже решил поехать на склад. Просиживать штаны в штабе становилось скучно, да и бездельничать мне не позволяла совесть. Поэтому, прихватив пару сигарет с барной стойки, там всегда валялись несколько общаковых пачек, а мои деньги постепенно заканчивались, я пятым полез в «Тойоту» вслед за двумя молодыми парнями, волонтерами из Питера.

Мы проехали центр и, минуя обложенную мешками с песком заправку, повернули в промзону. Потянулись притихшие заводы, их огромные пустые здания выстроились вдоль дороги, трубы не дымили, а большие железные ворота проходных давно некому было открывать. Зато то тут, то там к заводским заборам прилепились многочисленные салоны ритуальных услуг, пыльные пластиковые венки висели на стенах, а из дворов, если таковые имелись, маячили серые силуэты надгробных плит.

Но жизнь все-таки продолжалась. Странная, на контрастах жизнь. Когда мы сворачивали к складу, мимо нас с ревом промчался блестящий хромом и глянцевыми бочками мотоцикл. Я с недавних пор стал внимательнее присматриваться к мототехнике, и мне показалось, что это был «Харлей Дэвидсон», совсем неуместный здесь, среди брошенных громадин заводов, но подробно разглядеть мне его не удалось.

— Да че вы их четвером таскаете?! — орал на грузчиков водитель «КамАЗа», когда мы въехали на территорию склада. — Берите вдвоем! Мне их вот такие студенты, — водитель продемонстрировал грузчикам мизинец, желая объяснить физические характеристики студентов, — вдвоем грузили!

— Вот и вез бы сюда своих студентов, а нам здесь еще до темноты пахать, — огрызались в ответ грузчики.

— Да какой дурак сюда поедет? — грустно вздохнул водитель, намереваясь забраться в свою кабину.

— Не кипятясь, земляк, — Юра хлопнул его по плечу, — мы же приехали. Сейчас все разгрузим.

На номере «КамАЗа» стоял код нижегородского региона, и поэтому водила, благодарно крикнув, взялся нам помогать. Но, несмотря на это, дело пошло немногим быстрее. Весившие по сто двадцать килограммов коробки с генераторами выскальзывали из рук, пальцам не за что было уцепиться, и в итоге мы провозились с ними до самого вечера.

Костер уже догорал между сложенных вокруг кирпичей, когда мы вернулись в штаб.

— Осталось что-нибудь? — поинтересовался Юра, подходя к огню.

— Да, мы вас ждали, — поднялась навстречу девушка Ольга, руководитель штаба.

— Чего вы так долго?

— Да... — вместо ответа махнул рукой водитель Леха, отряхивая свою запыленную «горку». — Так где мясо-то?

— Внутрь унесли, — Ольга оглядела потемневший двор. — Надо будет здесь прибраться на днях, мусор, листья, палки всякие валяются, некрасиво, — добавила она и притоптала подошвой тактического ботинка остывающие угли.

К вечеру в штабе осталось совсем мало людей. Кроме нас, там была еще только пара питерских волонтеров. На складном походном столике стояла тарелка с дымящимися кусками мяса, буханка ржаного хлеба, несколько бутылок вина и пара бутылок джина. Дополнял натюрморт армейский нож с зазубренным сверху лезвием.

Не дожидаясь остальных, Леха воткнул нож в ближайший кусок и, обжигаясь, ухватил его зубами.

— Не ешь с ножа, злой будешь, — улыбнулась, глядя на него, Ольга.

— Я и так злой! — промычал Леха в ответ.

— Жестковато получилось, — Ольга принесла с кухни посуду, — надо было шею брать, но ее не было, пришлось купить окорок.

Дневная усталость дала о себе знать, и в основном все ели молча, разместившись на лежаках, время от времени поднимая из своих углов пластиковые стаканы и пронося дежурные тосты. Так и не допив вино и едва попробовав джин, люди начинали раскладывать спальные. Я тоже клевал носом, но все же решил перед сном подняться на улицу и выкурить дежурную сигарету.

Арта громыхала за городом отдаленными грозами, но здесь было тихо и даже спокойно. Совершенно пустые улицы освещали только фонари, и создавалось ощущение глубокой ночи, хотя часы показывали чуть больше двенадцати. Окна в домах не горели. Позже Леха рассказал мне, что высотка напротив штаба полностью пуста, а жильцы уехали оттуда после прилета.

Я докурил, выбросил сигарету и вдруг почувствовал себя единственным человеческим существом во всем городе. А Донецк забылся вокруг меня тяжелым тревожным сном, и неизвестно зачем освещали его безлюдные улицы, площади и проспекты никому не нужные фонари.

* * *

Аркадич, несмотря на свои восемьдесят два года, оказался весьма бойким стариком. Он везде и всюду старался нам подсобрать и не слушал наших протестов. Был, казалось, сразу за каждым углом и в каждой разрушенной комнате.

Я не уточнял, что конкретно прилетело к нему в дом, но, судя по виду, остальные дома в частном секторе оставались целыми, а вот дом Аркадича превратился в руины. Второго этажа не было вовсе, первый же выгорел и частично обвалился. Попадание получилось достаточно точным, с небольшим разлетом; на заборе из профнастила в двух метрах от дома не было ни царапины, также не пострадали и бытовые постройки. В одной из них и ютился теперь Аркадич.

Мы приехали примерно к обеду. Я и два молодых питерских парня, Никита и Дмитрий, те, что помогали вчера разгружать тяжелые генераторы.

Наши волонтеры приезжали сюда уже не в первый раз, когда было время и когда люди не были заняты на других работах. Разгребали завалы, вывозили мусор и старались спасти то немногое уцелевшее, что не уничтожил пожар. Аркадич был благодарен и обычно в конце дня угощал, чем мог, приехавших к нему парней и девчонок. Водилась у него и водка. Поработать у Аркадича считалось делом весьма почетным.

Натянув на себя чьи-то промасленные штаны, спецовку и вздохнув о том, что подходящей обуви в штабе для меня не нашлось, я тоже отправился к нему. Войдя во двор, переступая через куски бетона, я вдруг поймал себя на мысли, что стараюсь обходить обломки только затем, чтобы не поцарапать о них свои «Рейнджеры», не задеть ненароком носком ботинка обугленный кирпич. Мне стало стыдно, я пинком отшвырнул в сторону кирпичный осколок, но все-таки решил раздобыть у Аркадича рабочую обувь.

Я снова вспомнил этот пустяковый случай, когда вернулся в штаб. Случай наглядно продемонстрировал ту самую пирамиду ценностей, в которой находились вода и хлеб и прочие, казалось, мелочи для местных жителей, по сравнению с глобальными событиями, происходящими вокруг. Об этой шкале приоритетов я заикался тебе ранее.

Ты можешь себе представить, что где-то совсем рядом сходятся две армии и люди

рвут друг друга в клочья, совсем близко падают снаряды, постоянно слышен гул канонады, а ты стоишь на горячих еще развалинах, чешешь репу и думаешь: «Грязно тут у вас, как бы мне ботинки не испачкать?»

Человек на войне быстро учится ценить то небольшое, что у него осталось, и то, на что он еще способен повлиять. Предотвратить попадание невозможно, а вот уберечь условные ботинки вполне по плечу.

Войдя во двор, я искренне обрадовался тому, что в огороде у Аркадича стояли две ванны, наполненные чистой водой. Я сильно хотел пить, а еще переживал, чем буду оттирать сажу с лица после работы. Конечно! О чем еще здесь переживать?

Из предложенных инструментов я выбрал почти родной в моей археологической работе «Фискарь». Полностью металлическую лопату марки «Fiskars». Уж не знаю, откуда она оказалась у Аркадича. Я повертел в ладонях привычную железную рукоятку, проверил лезвие, его стоило бы заточить, но, чтобы копать камни, оно, в принципе, подходило.

«Фискарь», лязгнув, зарылся в кучу бетонного крошева. Работа началась. Из-под обломков показались первые артефакты. Оплавленные компьютерные диски. Они все еще переливались тускло потемневшей радугой. Один из них уцелел, на нем виднелась сделанная черным маркером надпись: «Семейный архив», но вряд ли диск читался после такого жара.

Остатки бытовой техники, осколки посуды, словно кусочки керамики, выныривали из-под стального лезвия. Все это безжалостно сыпалось в мусорные мешки, набитые прошлым добродушного старика.

Я вошел в раж. Типичный азарт археолога, которому не терпится узнать, что покажется из-под лопаты в следующий момент. Внезапно «Фискарь» неприятно спружинил назад при ударе. Так бывает, когда под лопату попадает резина, ткань или достаточно плотная бумага. Я пошарил за спиной рукой в поисках совочка, сообразил, наконец, что я не на раскопках, взял какую-то палку и расковырял ею кирпичный балласт. Под ним, среди углей, белел корешок книги, я потянул за него, вытащил и грустно улыбнулся. Книга называлась: «На Западном фронте без перемен». Я отложил ее в сторону и снова загнал лезвие «Фискаря» в обугленную глубину завала, но эффект повторился.

На этот раз я, чуя очередную добычу, поумерил пыл. Кончиком штыка срезал несколько сантиметров угольно-пыльной поверхности и выудил на свет следующую книгу. Ту самую «Конармию», что лежала и у меня, на дне моего рюкзака. Дальше книги шли одна за другой. Чего тут только не было! Научные труды, большие и тяжелые фолианты энциклопедий, разноцветные альбомы известных художников, советская и зарубежная классика.

Теперь уже мы, с моими коллегами-волонтерами, все втроем кинулись руками разгрести мусор, выхватывать из его недр новые находки и в восторге стирать с них копоть грязными ладонями. Библиотека Аркадича действительно впечатляла. Удивительно, но книги практически не пострадали, испачкались, закоптились, но странички их остались целыми. Только чуть суховатыми и ломкими наощупь. Такого не бывает у домашних, благополучных книг. Осторожно мы выносили их во двор, складывали стопками и укрывали брезентом.

Под конец рабочего дня у меня выдалось время отложить «Фискарь» и немного осмотреться.

Начало смеркаться, и руины, окончательно растеряв скупые цвета, почернели и замерли неестественным силуэтом разрушенного дома. Парни ушли ужинать в бытовку к Аркадичу, я же, включив камеру в телефоне, решил еще раз пройтись по комнатам. О назначении их я мог догадываться только по сохранившейся кое-где мебели.

Первая комната была почти не тронута огнем. Небольшой диванчик устроился в углу, простой, еще советский письменный стол, упавшие табуретки, одна из которых беспомощно подняла ножки к потолку. Обои в цветах едва попробовало пламя. Кухня тоже уцелела. Все находилось на своих местах. Газовая печь, раковина, в ней повернутый набок кран, кастрюльки на полках, чайник на плите. Застывший мирный быт, жуткая в своем спокойствии кухня.

Взрывная волна не пожелала сюда заглянуть, огонь побрезговал предложенным угощением. Ни один магнитик не упал с холодильника, ни одна ложка не скатилась со стола. Все осталось на месте, но все почернело, каждая мелочь сделалась угольно-черной. Война порой бывает большим оригиналом.

Я, будучи дизайнером по образованию, по достоинству мог оценить эти ее таланты. Война с легкостью превращала в арт-объекты не то что дома и улицы, но целые города. Мне было чему поучиться у этого маэстро. И, что скрывать, камеру в телефоне я включил в том числе и затем, чтобы запечатлеть дизайнерский проект.

В следующей комнате меня ждала следующая инсталляция. Задумка была не нова, идеальным было исполнение. В одном из отсеков обугленного шкафа помещался телевизор. Благодаря умелым рукам огненного скульптора телевизор показал свое истинное лицо. С полки стекало расплавленное чудовище — олицетворение ужаса и боли.

Пару дней назад в центре города снаряд угодил в тротуар рядом с витриной одного модного магазинчика. К тому времени, когда я проходил мимо, витрину уже залатали вездесущим OSB, но вывеску не тронули. Что было там написано раньше, разобрать не представлялось возможным. Буквы вырвало взрывом, и они повисли на проводах электроподсветки в неправильном порядке. Жутко становилось оттого, что буквы будто бы складывались в короткие и отрывистые слова, похожие на гортанное воронье карканье, а слова, в свою очередь, в предложение из двух строк. В том странном языке доминировали согласные, гласных букв почти не было. Так война изобретала свой собственный язык.

Вечер опустился на импровизированную галерею. Скелет лестницы, упиравшийся рогами в пустоту, причудливые силуэты обвалившихся стен скрывала темнота, и я решил присоединиться к моим трапезничаящим коллегам. Когда я вошел, Аркадич вскрывал банку с паштетом. На столе стояла консервированная сайра, сардина, лежала распакованная пачка галет. Галеты, в данном случае, предполагалось употреблять в качестве хлеба, паштет стоило намазывать именно на них.

— О, писатель вернулся! — усмехнулся Аркадич, обернувшись ко мне. Видимо, кто-то из молодых коллег уже взболтнул ему о роде моих занятий. — Присаживайся к столу, угощайся Баткиными подарками.

— Покорнейше, — улыбнулся я и полез на свободное место.

«Баткиными подарками» Аркадич шутя именовал гуманитарку из Белоруссии. Да и вообще он любил шутить. Много лет Аркадич трудился на научном поприще, о чем поведал нам, разливая водку. Даже изобрел какие-то «магниты». Что это за магниты и зачем они нужны, я, как истинный гуманитарий, конечно, не понял, но было ясно, что открытые крайне полезное.

Его помотало по тогдашней, еще общей стране, в связи с чем у него накопилось множество интересных баек, которыми он с удовольствием делился. Случилось ему жить и работать и в нашем с тобой мирном Горьком городе. Я смотрел на него и поражался тому, сколько тепла осталось в этом пожилом человеке.

Аркадич тем временем пододвинул банку с рыбой ближе к центру стола, кивнул на нее волонтеру Никите и хлопнул того по плечу. Сколько таких банок у него самого? Сколько галет? У него за спиной была долгая и сложная жизнь, и вот на финишной прямой случайный снаряд превратил всю его жизнь в руины, и никуда негодный диск «Семейный архив» торчит там среди обломков кирпичей. А он, Аркадич, улыбается и продолжает угощать галетами и водкой совершенно случайных для него людей, сидя в маленькой бытовке, в прифронтовой зоне, на самом берегу войны.

Мне почему-то вспомнилась история об одном профессоре математики из блокадного Ленинграда. Суть истории была в том, что профессор высчитал процент попадания авиабомбы именно в его квартиру. Процент оказался ничтожным. Профессор просидел в своей квартире до конца блокады, и в бомбоубежище он не ходил.

— Снаряд дважды в одну воронку не попадает, — неуклюже ляпнул я и осекся, когда речь за столом пошла о недавних прилетах.

— А мне и одного хватило, — добродушно заметил Аркадич и разлил остатки водки.

Он подошел ко мне, когда мы уже собирались уезжать.

— Послушай, писатель, ты ведь напишешь о нас? Обо всем этом. Чтобы люди знали...

— Напишу, я обязательно напишу!

Я посмотрел в глаза старика, но опустил свой взгляд на не поцарапанные свои ботинки.

* * *

Ты как-то сказала, что я совсем не знаю тебя, а здесь мне стало казаться, что я знал тебя всегда, просто никак не мог найти.

Но однажды я тебя нашел. Помнишь? Литературный фестиваль, на который я, в общем, не собирался и вдобавок заболел. Но там было назначено несколько важных встреч, и ехать было необходимо. Немного отлежавшись и поскрипев зубами, я с грустью понял, что безнадежно опоздал на наш писательский автобус, а прибыв на вокзал, выяснил, что никаких рейсов в нужное мне место в ближайшие дни не будет.

И вот тогда я совершил тот самый необдуманый поступок, из тех, о которых я тебе уже рассказывал. Хотя меня здорово пошатывало, голова кружилась, а перед глазами

расплывались разноцветные круги, я решил, что доберусь на фестиваль во что бы то ни стало. Не буду считать, сколько километров я прошел пешком, сколько машин сменил, добираясь туда автостопом, но затемно я был на месте. А утром я впервые увидел тебя.

Все эти события я прокручивал в памяти, лежа на поддонах в темноте штаба и дожидаясь утра. Всю ночь я не мог уснуть, у меня такое часто бывает, но сегодняшняя бессонница носила несколько иной характер.

«Может быть, просто весна? — предположил я и сам же себя опроверг. — Весна здесь давно, и я давно акклиматизировался. Зима кончилась и в моем городе, зима кончилась везде...»

Но я чувствовал едва заметную перемену вокруг. Любая вещь, на которую падал мой взгляд, выглядела теперь чуть иначе. Армейские рюкзаки и разгрузки, темной массой сваленные в углу, осколок сто двадцатой мины с хвостовым оперением, что закатился под Лехин лежак и был мне отсюда виден, даже сам Леха, блаженно и глупо улыбающийся во сне. Все стало чуточку другим, поменяло окрас, посветлело.

Я прислушался к себе. Новое чувство не несло той тревоги, которая в последнюю зиму так часто глодала изнутри мои ребра. Не было тупой отрешенностью, когда я молча наблюдал за сигаретой, пока белый пепел не падал на пол. И безнадегой зимних моих ночей оно тоже не было.

И чувство не было новым. Я просто забыл, как его зовут. Зима кончилась, Воробушек. Зима кончилась и во мне.

— Подъем! — ворвалась в комнату Ольга.

Парни заворочались и заворчали. Я же подскочил сразу, радуясь отсрочке для своих навязчивых мыслей, которые упорно толкали меня к единственно верному объяснению всех моих перемен.

— Та-а-ак, — заприметила меня Ольга, — диспозиция такая, берешь вот этих двух гавриков, — Ольга не глядя кивнула в сторону Дмитрия и Никиты, — и еще одного, он вчера из Ростова приехал, сейчас пока на другой хате сидит, и устраиваете во дворе субботник. Ты за главного. Все понятно?

— Товарищ командир, — деланно заканючил я, настроение мое было странно приподнятым, — дык у нас же ж инструменту нема, негоже пятерней, аки граблями, двory убирать.

— Не паясничай, — скривилась Ольга, — на складе есть две лопаты и грабли, у Юры спроси. А остальной инвентарь я скоро вам предоставляю.

Пока я брал у Юры лопаты, парни дожидались меня во дворе, туда же подъехал и новенький и теперь нерешительно мялся в стороне. Я оглядел его, он был совсем еще мальчишкой, в какой-то нелепой кепке, в разбитых берцах и растянутой футболке «Гражданская оборона», впрочем, когда-то и я выглядел точно так же. Я подозревал его к остальным.

— В общем, так, бойцы, делаем следующее: квадратное катаем, круглое... круглое вообще не трогаем, пусть себе лежит. Ну, вы знаете. Погнали?

— А если мы «Лепесток» найдем, его отдельно положить? — вдруг подал голос новенький.

Я уставился на него, сиюсья понять, серьезно он или нет. Наличие в траве противопехотной мины «Лепесток» было вполне возможным, хотя и маловероятным, встречались они в основном на окраинах города. Но сейчас меня интересовало, шутит ли он или серьезно решил производить с «Лепестком» какие-нибудь манипуляции. Все-таки решив, что шутит, я иронично ответил:

— Лично тебе я разрешаю положить его себе в карман, на память... вечную.

Но, подойдя к зевающему Никите, все же предупредил:

— Вы приглядывайте за ним, как бы он тут у нас на собственной зажигалке не подорвался.

Погода была отличная. Конец марта в Донецке напоминал начало мая в нашем городе. Цвели деревья. Что это за деревья, а быть может, и кусты, я не знал, раньше я таких не видел. Пробивалась зеленая трава, скрывая всевозможные неприятности, а над головой было опасное, но такое синее небо, что кружилась голова, если долго на него смотреть.

— Есть у кого курить? — окликнул я парней, которые втроем безуспешно запыхи-вали в черный пластиковый пакет огромную кучу сухих, жухлых листьев.

— Я хотел в штабе взять, — выпрямился Дмитрий, — но на стойке ничего не было.

— Вот жлобы, — процедил я, — отправили в мусоре копать и даже куревом не снабдили.

— У меня есть, — опять удивил новенький, — только я таких раньше не видел. «Погони» называются.

Он покопался в своем рюкзаке, извлек оттуда блок сигарет в целлофановой про-

зрачной упаковке и протянул мне.

— Ты где их взял? — спросил я, разглядывая сквозь целлофан бело-коричневые, мягкие пачки.

— В ларьке купил.

— Не «Погони», а «Родопи», совсем по-русски читать разучились, — назидательно начал я, и задумавшись, добавил: — Не иначе, дедушкин запас. Я таких с детства не видел. Лучшие сигареты Союза, говорят, когда-то были. Болгарские вроде...

Я повертел блок в руках, акцизы на пачках были свежие, но в Донецке случались и не такие чудеса.

— Народ, гляньте сюда, — отвлек нас Никита, ковырявший неподалеку лопатой листву. — Как думаете, они живые?

— Да, живые, вон та рожками шевелит.

Дело было в том, что под прошлогодними прелыми листьями Никита обнаружил колонию улиток, и событие привлекло всеобщее внимание.

— Это, наверное, виноградные, — неуверенно предположил Дмитрий.

— Нет, виноградные больше, — я знал точно, потому что когда-то виноградные улитки были моими питомцами. Однажды они, непонятно какими путями, сбежали из своего аквариума всем выводком, и я, придя домой, принял их за рассыпанную по полу картошку.

Эти же улитки были размером с грецкий орех, да и выглядели они на орехи похожими. Я протянул одной из улиток палец, и она тут же к нему прилепилась.

— Привет, поедешь со мной на Большую землю? — улыбнулся я. — Я тебя Беженцем назову.

Но, сообразив, что улитка, пожалуй, не выдержит дорогу, я опустил «беженца» обратно к его панцирным собратьям.

— Парни, давайте их обратно листьями закидаем, мы им, наверное, всю экосистему испортили, — предложил Никита и, не дожидаясь ответа, высыпал на обнаруженную колонию целый пакет сухих листьев, который набивал последний час. Но его поступок возражений ни у кого не вызвал.

Появилась Ольга.

— Прикиньте! Мне это в местном ЖЭКе дали, — она гордо продемонстрировала вязанку лопат и грабель, компактно уложенных в зеленую тачку, — говорят, что инструмента у них полно, а людей совсем нет. Очень благодарили за помощь.

Я, не особо слушая Ольгу, сорвал с ветки маленький, липкий листочек и растер его в пальцах. Я каждую весну так делаю, есть у меня такой ритуал. Поднес пальцы к лицу и вдохнул исходящий от них аромат, они пахли свежей листвой и жизнью терпко и горьковато.

На ограду двора уселся воробей, посмотрел на меня глазом-бусинкой, прочирикал что-то и улетел. Я не услышал свиста, просто почувствовал колебания воздуха.

«Это прилет», — успел безразлично подумать я и еще раз успел вдохнуть горький аромат листьев.

Мне еще столько нужно тебе рассказать об этом городе, здесь столько для меня нового. Рассказать о его людях, о детях. Особенно о детях. Представляешь, где-то слышен обстрел, а на лужайке спокойно играют дети. Смеются, бегают друг за другом, качаются на качелях, будто и нет никакой войны. Я был поражен, наблюдая такую картину на набережной. Здесь, кстати, прекрасная набережная, я бы очень хотел, чтобы ты тоже увидела ее.

Это чудесный город, и я безоговорочно его полюбил.

Но всего не уместить в один рассказ, я постараюсь исправить эту несправедливость, когда вернусь.

Но я не вернусь.

«Снаряд попал во двор жилого дома в Донецке, есть сведения о погибших и раненых», — промелькнет в новостной ленте.

Возможно, это сообщение останется незамеченным. Может быть, кто-нибудь оставит комментарий, а кто-нибудь поставит сообщению лайк, и останется только гадать, что имел в виду этот человек.

Мне лично все равно. Ты не читаешь такие новости. И это правильно. Если б я мог, я бы и сам их не читал.

Александр МУЛЕНКО

ОНИ ОСТАНУТСЯ ЛЮДЬМИ

*Альпинистская повесть***Рассказ 1. ДЕТСКИЕ ГОЛОСА**

В то душистое, знобкое, дождливое лето я на случайной бортовухе добирался в горно-спортивную обитель «Легенда Саян». В ней, как будто, приютили двоих котят снежного барса. Их мамашка погибла под камнепадом. Пушистых детёнышей подобрали случайные альпинисты, проходившие мимо. В небольшой киношке, показанной миру, перепуганные жалкие зверьки сидели в маленькой клетке и дрожали от страха, прижимаясь друг к дружке. Они шарахались от любопытных человеческих глаз, от фотовспышек, от бесноватой собаки, неугомной на язычок. Помимо лая, было слышно безнадежное бляенье овец, предназначенных на убой. В ролике шла высокопарная болтовня о вымирающих диких животных, которых необходимо любить больше, чем домашних. Водила разговорился:

— То место, куда вы стремитесь, называется Шибэту, — белая высокая горная цепь окружила цветущую долину. — В неё не добраться без вертолёт, — признался шофёр. — Правда, спортсмены спускаются туда на верёвках через горные перевалы.

В пути машина дрожала. Дорога — грунтовая, неровная, скользкая. Я всё время держался за поручень и упирался ногами в стенку кабины. Безвольно моталась лишь одна моя тяжёлая голова. От встряски хрустели шейные позвонки.

— Бродяги решают одну загадку, — я промолчал, предполагая сиюминутную развязку его рассказа. — В этом месте, закрытом горами от внешнего мира, проживают дикие лошади.

— Это — ваша загадка?

— А как же... Это — она! Безопасного прохода в долину нет. Теснины, опасности, суровые ледники. Повсюду глубокие трещины, присыпанные снегом. Есть иные угрозы — оползни да камни.

Я согласился:

— Лошади не пегасы. По небу не пролетят.

— Вот-вот, — оживился водитель. — И я повсюду толкую: «Сломают коняги ноги». На этих лошадок в нашем большом открытом мире была охота. Мы их целыми табунами угоняли на мясокомбинат.

— Я догадался. Теперь за кордоном этих великих белых гор, как в крепости, животные — в безопасности. Это же неплохо. Конягам нужен мир. Из каменного цирка живыми их просто не достанут. А преждевременная убойна не стоит вложенных денег. И вряд ли задорого кто-то купит немногую дохлятину, доставленную на вертолёт. Не та овчинка.

— Вот бы нам найти с вами ту потайную тропу в горах, по которой эти бойкие клячи спасаются от смерти, где заходят они в долину и выходят из неё обратно. Тогда бы просто разбогатели. У самого выхода из дола мы бы соорудили загон и привели бы необходимых собачек... И табунами бы гнали пугливых лошадок на тушёнку, — размышлял водитель.

— Увы, я не охочусь, я не рыбачу, я не ишачу ради денег. По миру я собираю разбросанные ранее камни и ценю живую природу за разнотравье, за шёпот ветра, за щебет птиц.

— Вы непрактичны.

Он остановился у водопада. Поток низвергался тонкими нитями по отвесной скале, разбиваясь внизу о камни в мелкую бисерную пыль. В месте падения воды стояла завеса, похожая на туман. Пена, отброшенная к берегу, дрожала. Полосатая радуга висела мостом.

Дорога, лежавшая за речкой, оказалась размытой дождями.

— Далее вы пойдёте пешком. Моя машина зайдёт, газуя на подъёмах. Отсюда «Легенда Саян» уже неподалёку.

Я отстегнул ему «пятихатку», надел походный рюкзак, взял в руки опорные палки.

— Прощайте, водитель. Желаю вам повсюду добра.

— Вверху за водопадом вы, шагая, придерживайтесь речушки. Будет поворот, и сразу за ним появится первая пиковая гора Шибэту. Правее возникнут три или четыре накатанные избушки, столовка, маленький детский клуб, иные удобства... Это — деревянные туалеты. В лагере есть контора. До вашей конечной цели всего-то — четыре километра.

— Спасибо, дружище... Я как-нибудь дотяну.

Машина умчалась обратно в цивилизацию.

Легко было ответить шофёру: «Я как-нибудь дотяну». Мне уже за пятьдесят. В такие годы сердце у человека колотится на износ.

Повсюду синели васильки, белели ромашки, атели горные маки, но уже за поворотом к снежной горе у меня появилась одышка. Я двигался против ветра, и несмотря на окружение леса и чудесные запахи соцветий, воздух, спускающийся с вершины, был разряжен.

В детстве мне показали родник и сообщили: «Это ключевая вода. Она укрепляет силы. Ты мимо не проходи. Напейся». С тех пор я всякий раз склоняюсь перед непорочностью недр и целую каждый источник. Пресная вода — богатство природы, её разведка ведётся даже сегодня в нестабильное время экспериментов.

Появился ледник. Могучий тяжёлый лёд тихо потрескивал, ломая породу скал. «Здесь начинаются реки», — подумал я. Дрожали ноги. Холодный пот из-под мышек покатился по телу. Истуканами громоздились стены великих гор. Молчаливые исполины из вечности равнодушно глядели на слабого человека, шагающего к ним. Со мною случился приступ горной болезни. Чтобы очухаться, я подошёл к ручью и сделал привал.

Сию минуту меня окликнули детские голоса.

— Дедушка, тут опасно...

Позади стояли подростки. Мальчишка, одетый в синюю пуховую куртку, девочка — в красную. Она была выше его, постарше, но держалась не столь уверенно, хотя не робко.

— Здравствуйте, дети, — ответил я.

— В самом деле, дедушка, тут нужно бояться, — повторила девчонка.

— Но вы же в себе такие уверенные, твёрдые, смелые? Я это вижу...

— Да... Мы знаем, чего бояться, — важно добавил мальчишка.

— И я узнаю... Чего же?

Он выглядел, как начальник. Из-под расстёгнутой куртки виднелся модный пиджак, под ним светились сорочка и, что меня удивило более всего, длинный широкий галстук. Я и доныне не знаю, как его повязать. Значит, ещё не все практические узлы, придуманные на свете, изучены мною...

Под носом дрожали свежие лесные цветы. Порхала капустница. Грузно кружился озабоченный шмель, метаясь то к моему липкому от пота лицу, то к ворсистому татарнику, желая разобраться в нектарах, представленных на сегодня.

— Сюда приходит на водопой одна большая медведица, — признался ребёнок.

— Мы спрятались вон за теми серыми валунами, но вместо медведицы появились вы, — известила подружка. — Тогда мы решили открыться, чтобы вас об этом предупредить.

— Спасибо. Теперь нас — трое. Мы — сильные. Медведица отдыхает от страха перед нами, — закончил я эти светлые мысли.

— Нет, кроме шуток, она опасна, — галдели мальцы.

Никто меня до этого случая дедом не величал.

— А как вас зовут?

— Я — Даша, он — Мирослав.

— Даша — моя сеструха. Вы, дедушка, не подумайте что-то дурное. Даше — пятнадцатый год, а мне ещё — двенадцать, но главным буду я.

— Согласен.

— Я вас узнала, — робко сказала Дашенька.

— Разве мы где-то уже встречались?

— Ваша большая фотография напечатана в «Мире животных».

— В журнале, который с бизонами на обложке? — удивился мальчишка.

— Да, в этом журнале на самой средней странице. Он у Елены Петровны в учебном классе — в столе.

— У воспиталки?.. За мною! К Ленке, не тормозите, — приказал Мирослав.

Словно с неба, я свалился для радости ребятни. Они подхватили мой тяжёлый рюкзак и волоком потащили его в обитель «Легенда Саян».

Рассказ 2. «ТРОЯК»

— Какие котятка? — недовольно переспросил начальник турбазы.

Я открыл ноутбук, сослался на ролик. В киношке мелькнула собачья морда. Точно такая же лайка развалилась на пороге избушки.

— Да вот же она, — я показал на собаку рукой.

— Это — котятка?

— Нет. Это — Ронда, — поправила Дашенька. — А есть Акташ.

Девочка держала литературный журнал, в котором напечатали мой портрет и рассказ «В опасном кулуаре». Мирослав потянул журнал к себе.

— Ты уже прочитала. Отдай его мне... Надо — по справедливости.

— Нет, не отдам. Я взяла его всего на одну минутку и уже должна вернуть обратно в руки хозяйке.

— Где Елена Петровна?.. Люди, найдите Ленку, — крикнул мальчишка. — А то Дашка порвёт её журнал.

Их наставница вышла на детский крик. Я был ошарашен:

— Лена, это ты?

— Да, это я. Саша, я увидела твой повсюду заштопанный рюкзак, он возле порога, но всё равно не верю глазам.

В избушке стихло.

— Ты знаешь этого человека? — удивился начальник турбазы.

— Да... Это — мой бывший ученик и помощник.

Даша захлопала в ладошки.

— Вот как? Я было хотел его прогнать.

— Вы помните, я рассказывала про крысу? — спросила Лена. — Саша её хозяин.

Он — самый известный в мире природовед и крысовод.

Это была неправда, но спасатель повернулся ко мне лицом и ответил на мой вопрос: — Твои котятка уехали в зоопарк. Они в Новосибирске.

Я оплатил своё проживание на турбазе, застраховался. Остался на десять дней. Вечером в одиночку колот дрова. Чурбаки поддавались не сразу. Их древесина была извилистой, твёрдой. В работе я использовал клинья, кувалду, тяжёлый колун. Едва поленья становились пригодными для растопки, их подхватывали зубами собаки и уносили до печек. Акташ метался к бане, а Ронда — на кухню.

Кушали в столовке. Капризные ребятишки ели горячую выпечку да сгущёнку. Я же питался по-настоящему. Под ногами возились собаки. Они боролись за лучшую рыбу. Жрали её сырой. Бывало, Акташ одолеет Ронду, захватит самый большой кусок рыбыны, утащит куда-нибудь в уголок да не доест и воротится за новой долей. Сестрица немного порычит, поартачится, укусит Акташа за нос, но уступит. И смотрит растерянно то на меня, то на Лену, то на Дашеньку не жалости ради, а справедливости. Подрагивает закольцованный хвост. В такие минуты Лена поднималась из-за стола и отбирала у Акташа лишнюю рыбу. Кормила ограбленную Ронду сама. Потом подолгу смывала с рук неприятные рыбные запахи и с опозданием доедала свои остывшие оладушки.

Несколько лет назад в городском хозяйственном магазине я встретился с молодым человеком, который вертел в руках забухтованную верёвку. Флиртуя, он задал продавице вопрос:

— Эта верёвка годится для альпинизма?

— Конечно, — улыбаясь, ответила женщина.

Мечтать о возвращении в горы я уже не смел. В том году у меня случился обширный инфаркт, болело разбитое сердце, ломило ноги. Эта верёвка была предназначена для развешивания на ней постиранного белья — тонка, ненадёжна. Я бы промолчал, да парень обмолвился:

— Я поведу за собою в горы детей.

Человек, готовый купить верёвки для занятий альпинизмом, не видел их никогда. Он имитировал подвиг перед привлекательной дамой и хотел на минутку прославиться в её глазах, как те герои, которые ежедневно вертятся на телеэкранах в голубизне надуманных передач.

— Это плохая верёвка, — буркнул я. — Она порвётся.

— А какая верёвка не порвётся?

— Только не эта... В хозтоварах такие верёвки не продаются, — человек начал выпрашивать, где они могут быть. Я ответил довольно жестко и грубо. — Какой из тебя тренер по альпинизму, если ты никогда не видел настоящих верёвок? Дети до восемнадцати лет ходят в походы только с отписки их родителей и то на самые лёгкие маршруты, где верёвочная страховка не нужна. Кроме этого, чтобы стать инструктором альпинизма, нужно иметь второй спортивный разряд и обязательно сдать экзамены

для работы с молодёжью.

Такой была Лена. Она изменилась, стала тяжеловесней. Я вспомнил бешеную лавину и тайно подумал, что сейчас мы от неё не удрали бы, не спаслись. Стремительно движется снег, прессуя воздух...

— Ты была замечательный инструктор.

— Я на сегодня — простая воспиталка, — призналась Лена. — Свои детишки у бабушки. Они малы для походов.

— Даша и Слава тоже малы.

— Да, это так. Но я должна научить их чему-то важному. Мне платят большие деньги.

Даже в таких бесконтактных видах спорта, как волейбол или шахматы, есть элемент агрессивности. Желание увидеть партнеров поверженными, пожалуй, самое главное в состязаниях. Но в альпинизме другая этика. Все участники походов должны возвращаться здоровыми, целыми. Прежде чем отправиться в дорогу, во время всеобща будущие туристы получают уроки, необходимые для выживания в горах.

— Тема нынешнего занятия: оказание помощи подручными средствами. Ваш товарищ упал. У него — скелетная травма. Спасайте, — распорядился глава турбазы.

— Славик, ты — пострадавший, — велела Лена.

— Я же — самый лёгкий, — грустно ответил мальчик.

Он валялся на травке, ожидая учебных процедур.

— Итак, мы — в горах. У нас веревки да ледорубы. Саша, какие признаки переломов у пострадавшего человека?

Я подыграл.

— Гематома, отечность, перекошенное от боли лицо.

Лена осторожно прикоснулась к мальчишке. Он взялся елозить, смеяться.

— Мне щекотно.

— Лежи и не рыпайся, — приказала училка. — Предположим, что выше твоего возможного перелома находится рваная рана. Из неё вытекает чёрная липкая кровь. Нужна тампонада, — решила Лена. — Если бинтов в наличии нет, то мы используем детали одежды или мягкую игрушку.

Она потянулась к Дашеньке за плюшевым гусем.

— Нет, я его вам для мучений не отдам, он тоже имеет душу.

— Мы же понарошку.

Один знакомый врач перед моим отъездом помог собрать аптечку.

— Возьмите бинты, — предложил я.

Славка ворчал. Вместо проволочных шин к его ноге приладили ледоруб.

— Мне неудобно, — буркнул мальчишка. — Вяжите быстрее.

— Саша, он плачется.

— А ну-ка кайся, — накинуся я на Славика. — Чего тебе не хватает?..

— Вашей расторопности.

Когда спеленатого мальчишку мы отнесли к начальнику лагеря для учебной оценки, он поставил «трояк».

— Вы позабыли про подстопник, — сказал спасатель. — Ногу ему придётся отрезать.

— Ну вот, — рассмеялся Славик. — Подпрыгну, сама отвалится.

После учебных занятий я плющил старые металлические банки. Дети их уносили в контейнер с немногим металлоломом. От работы излишне бойко стучало сердце. Но «горнячка», моя болячка, прошла.

— В твоей походной аптечке много таблеток, — увидела Лена.

— Я — инвалид, я — не спортсмен. Артросы, артриты, грыжи, бывшие переломы. И ко всему — диабетик.

— Это — редкий букет болезней для альпиниста.

— Вторая группа. Хоть шерсти клоч от нашего государства, для которого я себя растратил... Имею бесплатный проезд на электричках.

— А где же твои цветные верёвки?

— Я приехал в Саяны как фотограф. Мне захотелось увидеть воочию и отснять котят снежного барса. В большие горы я больше не хожу...

— Ты их, наверно, отдал в подарок тому молодому человеку из магазина? Ты же — бескорыстный и добрый.

— Что ты, Лена, это совсем не так... Как мне было отдать ему свои верёвки и «железяки»? И позабыть про вершины? Он их действительно долго выпрашивал, но, прощаясь, всё-таки заявил, что альпинизмом заниматься не будет, что на свете есть другие походы для детей. Педали, велосипеды, гонки по автотрассам...

— Он, Саша, не понял твои уроки... Такие люди в плену фантазий.

Рассказ 3. МЁРТВАЯ ВОДА

— Её котятка лежали рядом. Бездыханная мамаша не шевелилась, не грела, не кормила свои пушистые чада. Но так ли это сентиментально? В нашей человеческой жизни намного хуже... Два года тому назад один большой немецкий учёный разбился, штурмуя наши горы. Его ледовый молоток мы закрепили на самой высокой каменной глыбе мемориала, открытого в нашем лагере в память об альпинистах, погибших в Шибэту.

Это поведал Сергей Иванович Макеев. Как горноспасатель, он проводил инструктажи и страховал проживающих туристов от всевозможных увечий. Где-то над нами стрекотал вертолёт. Пилоты фотографировали горы. Они же строчили отчёты про нависающие снежные карнизы; про ледники, имевшие трещины; про новые оползни в моренах.

— Как он погиб? — спросила Лена.

— Свернул себе шею.

Отвечая, Макеев беспечно зевнул.

Спасатели не любят бедолаг. Это тяжёлая работа — искать пропавших альпинистов и ближе к ночи принимать их с экстремальных высот на вертолёт, а также нарочито скорбеть в минуты передачи покойников приехавшим за ними родным. Читая скудные данные о погибших в Шибэту, дети притихли, перепугались. Мне тоже стало не по себе.

— Но есть одна догадка! — важно изрёк горноспасатель.

— Это какая? — осторожно спросила Лена.

— Немец встретился с йети, и йети его убил.

— Такого не может быть. Йети в природе не существуют.

— Я лично видел в тот день цепочку огромных следов, уходивших за Белую гору. Полицай, доставленные поближе к трупам с неба, мне ответили так же, как и ты, Лена: «Такого не может быть». К этому времени следы, оставленные снежным человеком, уже исчезли. Их задуло, покрыло снегом. Я так ничего и не доказал полицаям. Слава Богу, что они не обвинили меня в даче неверных показаний, во лжи...

— Как его звали?

— Йети?

— Да нет, не йети... Этого боша.

— Вот же написано... Доктор Шнайдер. По-ихнему — Макс. По-нашему — Максим. Мёртвого человека отрыли мои собаки. Они нашли дорогу к нему через горы по нетающим снегам, по твёрдому фирну. На месте предполагаемой гибели Шнайдера поставили большой деревянный крест. На собственных спинах его немецкие коллеги, всякой учёбы у каждого по десять и больше лет, как ломовые животные, затащили детали этого креста на злополучный перевал. Крест смонтировали. Он стоит и не шелохнётся. И впечатляет монументальностью. Оттуда, от самого креста, видно все наши горные цепи и сказочную долину, где выживают загадочные лошадки.

Почти неделю Мирослав, как заводной, в библиотеке листал уцелевшие советские журналы «Наука и жизнь» в поиске информации о йети, но не нашел про снежного человека никаких материалов и спросил у меня:

— Ты видел снежного человека?

— Не видел, — ответил я.

— Значит, Макеев врёт.

Настали длинные выходные. Вся страна отмечала свою независимость от соседей, объедавших её во время советской власти. Многие работяги из обители разъехались по домам, когда Макееву сообщили пренеприятнейшее известие. В эти праздничные дни на турбазе объявятся визитёры из Государственной думы. Вокруг поднялся нездоровый ажиотаж. Уже подлетающим гостям была нужна площадка для вертолёта. Желая не облажаться перед знатью, свою спасательную вертушку Сергей Иванович тут же отправил на краевой аэродром. В угоду чинушам он оставил важный горный район без помощи с неба. К тому же его «стрекоза» после этого перелёта осталась без керосина. Скорой заправки не ожидалось.

Сидя около штаба на скамейке, я случайно услышал разговор Макеева и Лены. Их возбуждённые голоса доносились в полуоткрытое окошко.

— Утром наедут важные люди и случится большая пьянка, даже возможна охота с неба. Шиншилла хочет новую шубу. Зимой её приятели катались на горных лыжах, потом гуляли с элитными шмарами, они их прихватили с собою из Москвы. Пили водку — по двадцать тысяч одна бутылка. Я про такую даже и не знавал. И выпили целый ящик.

— А кто такая Шиншилла? — удивлённо спросила Лена.

— Кажется, сенатор из нашего края.

– Галка?

– Своею персоной.

– Ах ты, боже мой... Учились когда-то вместе.

– Молодая, красивая дама, начальница, похотливая, как и другие её подруги – желанные для любого кавалера. После их отъезда я за ними мусор повсюду неделю собирал... Была зима, а ныне – лето. Блудное время года. Детям ещё не надобно этого видеть. Так что идите, Лена, отсюда в горы...

– Нельзя, – отрезала женщина.

– Найдёте маленький домик, обтянутый кожей. Он очень похожий на вигвам. В домике есть буржуйка. С собою вы прихватите дровишки, но печку особенно не топите, чтобы не угореть. В лошадиной долине тоже был такой же домик, его неосторожно сожгли.

– Я много дров на себе не унесу, а дети – тем паче.

– У вас есть дедушка Саня...

– У человека – большое сердце. Был обширный инфаркт.

– Он в лагере мне не нужен. Если случится какой скандал, а дедушка Саня может его поднять, то и тебя, и меня, и даже нашего Славика прогонят отсюда к чёртовой матери. Мы с тобою останемся без работы, а мальчишка без лагеря. Дашенька расплачется.

– Но дедушка Саня много дровишек тоже в гору не унесёт. Я не могу его об этом попросить.

– Попросим... поднимет.

– Не нужно этого делать.

– Там, в домике, куда вы пойдёте с утра, остались ещё какие-то палки да щепки от прошлых визитёров, да ещё – уголёк. Где-то в дальнем углу припрятана солярка – найдёте. К тому же у Мирослава полные карманы сухого горючего да всяких спичек. В том домике на полу валяется старый борцовский мат и много-много всяких одеялок. Их нужно просушить.

Макеев открыл топографическую карту района, потом пошелестел последними распечатанными картинками горных склонов, стоящих около дороги, ведущей в нашу «командировку».

– А если дети не согласятся? – с последней надеждой спросила Лена.

– Ты только свистни. Они помчатся быстрее ветра.

Через час неуверенно, робко, виновато, не поднимая глаза на меня, на Славика, на Дашеньку, тётя Лена оговорила задачу.

– Завтра мы отправимся в горы с ночёвкой.

– Ура-а! – закричали дети.

– Подъём в четыре утра. Ровно в пять мы собираемся в самых тёплых одежках около немецкого ледоруба, обутые в трековые ботинки на шерстяные носки. Заночуем в маленьком домике, похожем на вигвам. Уберёмся в нём заранее, натопим внутри него железную печку, лишний мусор сожжём или зароем в яму. Из домика вынесем на улицу и просушим на солнышке все одеяла. Будет погожий ясный день.

В столовке получили сухие пайки. Ребятишки хватили самое вкусное: орехи, гсущёнку, чипсы, конфеты и прятали по карманам.

Когда настало утро, Лена решила, глядя на детишек:

– Вы понесёте по две полешки, вы – маленькие, а мы с дедушкой Саней – взрослые люди, мы – по шесть, – она хозяйски взвесила свою поклажу и, немного подумав, облегчила её – перекинула мне ещё одно поленце. – Ты будешь не против?

– Если оно поместится в рюкзаке, то, конечно, я его возьму.

– Постарайся. Ты же у нас – самый взрослый, самый надёжный. У меня остаётся пять дровишек, у тебя их будет семь.

– Это по справедливости, – поддакнула Дашенька.

«Когда мне станет особенно тяжело, я потеряю это поленце», – наметил я.

Оно торчало наружу, притянутое верёвкой.

Мы вышли в путь.

– Дедушка Саня, не отставай! – кричали дети.

Ребятня веселилась, мне было тяжело. Я шёл, не глядя под ноги, шатался и зачастую стоял, опираясь на трости. Лес уже остался внизу. Под ногами стелилась худосочная трава, прижатая ветрами.

– Ты топчешь цветы, занесенные в Красную книгу, – строго сказала Лена.

Мне показали на здельвейсы. Их бутоны были озябшие, слабые.

– Они распускаются?

– Конечно... Но на тебя в обиде.

– Эти несчастные цветочки боятся неуклюжего деда, – трунили дети...

– Он же не знал, что они такая редкость.

Я понял, что буду частенько вспоминать про это в цивилизации, в душном мире автомобилей, в больницах, дожидаясь приёма врачей, и грустить о днях, проведённых в кругу детей на турбазе «Легенда Саян».

Примятая мною трава и жалкие эдельвейсы остались далеко позади. Мы вступили в настоящие горы. Тысячи ручейков бороздили поверхность старого ледника. Он был огромным, но не опасным. Как пистоны, под ним потрескивали камни. Я шагал по щербатому льду, не спотыкаясь, но все же отстал от компании и в одиночестве изучал корявые очертания кручи, за которой Лена исчезла вместе с детьми. Поднявшись, увидел домик. Это была конечная цель сегодняшнего похода. В предчувствии отдыха я споткнулся и упал на широкий плоский камень. Неудачно лежавший в мешке чурбак выпал из рюкзака и ударил по голове.

Около нашей стоянки лежало озеро, образованное после схода лавин. У дальнего берега плавали льдины. Высокие, отвесные скалы за озером сходились наподобие арки, открытой к новой вершине. На пике виднелся крест, установленный в память о Максе, упавшем в пропасть. Пространство, расположенное за аркой, казалось заповедным, как монастырская территория.

Было за полдень. С неба струилось солнечное тепло. От ледника тянуло прохладой. Я сбросил на камни мокрую от пота рубашку.

— Что ты надумал? — спросила Лена. — От тебя пар идёт столбом.

— Пойду окунусь, очухаться надобно.

— А если утонешь?

— Под этим крестом — святое место. Здесь я сегодня не утону.

— Видно, здорово его по башке поленом огрело, — усмехнулся Мирослав.

Доныне я вспоминаю лому в теле от ледниковой воды. Её называют «мёртвой».

Рассказ 4. СУДЕБНАЯ БАЙКА

Тесно было в убогом жилище для путников, идущих в большие горы... Ночью мы отдыхали, не раздеваясь, на единственном кожаном мате, брошенном на полу. Мигала буржуйка, потрескивали поленья. Дети болтали всякие несуразности. Я мирно похрапывал, получая за это толчки то справа, то слева. Болело тело, измотанное днём.

— А кто шиншила на самом деле? — спросила Дашенька.

Информация просочилась. Перед нашим отходом в лагере излишне суетились, обсуждая кремлёвскую элиту, чьи развлечения аморальны. Дети многое понимали из этой пустопорожней болтовни.

— Это такая крыса, — ответил Мирослав.

— Злая, прегрязная крыса?

— Напротив, Дашка... Добрая, чистая, горная крыса, она почти не пахнет и приносит большую пользу.

— Какую пользу?

— Шиншил убивают на шубы для женщин из министерств.

— Это такая польза?.. Галка из Государственной думы тоже имеет шубу из шиншиллы? Да, Елена Петровна?

— Потому она и Шиншила, — подтвердила училка. — Спите, детки, не хулиганьте...

Её настоящая фамилия Петрова. Она сегодня хочет шкуру снежного барса.

— Того одинокого снежного барса, чьи котята в Новосибирске? Его убьют?

— Я думаю, с вертолётки...

— Разве такое возможно, а, Елена Петровна? Ирбисы, кажется, под защитой у государства, — не унималась Дашенька.

— Законы написаны для нас.

— А разве люди в Государственной думе уже не мы?

— Люди из Государственной думы выше, чем мы. У них — оправдание на все поступки.

— Какое?

— Их депутатская неприкосновенность, — отчеканил Мирослав.

Лена растолковала по-своему.

— Барс остался один. Он повсюду ищет свою подругу. Бесится, плачет от несчастной любви, кидается на всяких прохожих. Его любимая кошечка погибла, придавленная камнями.

Я проснулся и подвякнул:

— Старенький, уже никому не нужный ирбиска отныне — социально опасный элемент. Галке надо его убить. Галка — властная женщина.

— Не надо его убить, — тихо промолвила Дашенька, глотая обиду.

Она бы заплакала, да постеснялась излишне бойкого младшего братца.

— Ты только попробуй, Дашка, его убей. Даже если захочешь, то не убьешь. Ты это

ещё увидишь. Ирбис — подвижный и скрытный. Он убежит от всякой погони.

— И тогда его никто, никогда, нигде не поймают, — успокоила Лена.

— Если бы это так... В избушку бы этого барса, к нам бы... Положить его посередине между мною и Саней, — решила девочка. — Я бы его обняла, как плюшевую игрушку, прикрыла бы его ото всех охотников и спасла бы от смерти.

— И согрелась бы с ним в обнимку, — пробормотал Мирослав.

— Ага, — ехидно решила Лена. — Прибудет завтра Шиншилла, достанет из кармана государственный закон «Об ответственном обращении к животным», и нашего барсика повяжут, как беглого зека, и отвезут в Новосибирский зоопарк.

— Выплачивать алименты своим ирбискам, — добавил я.

Дети расхохотались.

— Хотите старую судебную байку про рыжего кота?

— Да, — ответила Дашенька.

— Слушайте и засыпайте, — я начал рассказ: — Была морозная долгая зима. Тротуары, дороги, тропы захолустного городишки сковало цепкими льдами, и не было, пожалуй, такого человека, который бы не шлёпнулся хотя бы раз. Люди сопливили, чихали, осторожно передвигаясь от магазина к магазину. Но хуже было животным. Рыжий ничейный кот ошивался около коллекторного люка. Под его крышкой журчала канализация, теплело. Бывало, в люке ночевали бомжи. Коту приносили «вискас», он кушал. Однажды, желая получше согреться, рыжий кот запрыгнул на капот подъехавшей иномарки. Там было намного теплее, чем на люке. Хозяин машины увидел это животное хулиганство и матюгнулся. Кот испугался, бросился наутёк. Во время побега он поцарапал капот и крыло автомобиля. Водила потратил на перекраску машины много денег и, желая их вернуть, обратился к судьбе. Виновным в порче имущества он предложил человека, который по зову сердца приносил коту свои объедки и покупал ему «вискас». Таких одиноких пенсионеров сегодня очень много. Они ласкают животных, чтобы с ними поговорить.

Дети притихли. Я замолчал. Мне показалось, что моя байка удалась, что все уснули.

— А дальше? — тихо спросила Дашенька.

— Взаправду, что было дальше, дедушка Саня?

— Это был ты? — толкнула Лена.

— Ну, скажем так... В суде меня оправдали. Рыжий кот был бездомным. Я сообщил, что по закону за всех ничейных животных отвечает градоначальник, и поскольку ущерб, нанесённый хозяину иномарки, являлся значительным, то это не гражданское дело, а уголовное. Его расследуют следаки.

— Да, это так, — согласилась Лена.

Когда-то она закончила юрфак, но на работу в суды не подалась. Что-то не получилось, не срослось.

— Я сделал ошибку. Когда открыли настоящее дело против администрации нашего города, то кот исчез навсегда, и это дело закрыли за неимением главного фигуранта. Потерпевшему отписали, что причастность кота к повреждению лакокрасочного покрытия машины доказать не удалось. Методик для проведения такой экспертизы по лапам нет!

— Ты, дедушка Саня, не убивайся, — догадался Мирослав. — Ты ни в чём не виновен. Твой рыжий кот попал в хорошие руки.

Но я-то знаю про эти руки больше. Кота убили, спасая шкуру властелина. Нет рыжего фигуранта, нет и дела про порчу автомобиля... Честь негодного человека была спасена.

Рассказ 5. НЕМЕЦКИЙ КРЕСТ

В горах стояла безоблачная погода. Поутру я раздул остывшую печку и заварганил кипяток. Мои друзья умылись и на скорую руку собрали завтрак. Дети лопали шоколадки да сушёные фрукты, другого кушать они не стали, были капризны. За перевалом грохотал вертолёт. Стреляли с неба...

— Елена Петровна, ты, пожалуйста, выясни у Макеева, кого убили во время охоты, — приказал Мирослав.

— Ты думаешь, барса? — беспокойно спросила Даша.

Рация — важное подспорье в походах.

— Убили барашка, — узнала Лена.

— Это не по закону, — буркнул мальчишка. — За это надобно судить, как за кота.

— Когда они уберутся в свою Госдуму, то мы вернёмся на турбазу, уточним и осудим.

— Я на турбазу, Елена Петровна, не спешу. Может быть, Дашенька? Тогда вы идите вместе с нею. Я отпускаю.

– Нет, Елена Петровна, я хочу так, как все, – обиделась девочка.

– На конфетюшках да на печенюшках вы протянете ноги, – рассердилась училка.

– Мне, Елена Петровна, нужно постоянно следить за младшим братом. Он вон какой непослушный и грозный. Мне приказала мама. Как самой старшей.

Мальчишка загляделся на вершину горы.

– Я хочу поближе увидеть немецкий крест.

– Ладно, – решила Лена. – Мы отправимся к перевалу, но поднимемся в гору не далее вон того огромного валуна. Около него мы сфоткаемся и откроем консервы. На вершину заходить опасно, за нею пропасть.

– Но там находится сказочная долина, – заартачился Мирослав.

Лена ответила туманно:

– Мы вначале отправим к вершине дедушку Саню. Он всё на ней осмотрит и оценит. Ты же не против, Александр Иванович?

Мне не хотелось никуда. Как струны, дрогнули нервы, тут же занули ноги, сдавило сердце, однако отказаться от похода в гору я не посмел. Подъем предстоял затяжной, нудный, но не опасный. Валун, похожий на башню, стоял как будто надёжно. Протоптанная туристами дорожка шла поодаль от его возможного падения вниз.

К тому же Лена развеяла сомнения:

– Ты не волнуйся. Этот камень отмечен на старой совковой карте шестидесятых годов. Он там находится полвека, как врытый.

– Ну, что же. Увидим... Когда выходим?

Около часа мы опустошали свои рюкзаки от лишнего груза, оставляли и набивали в них только то, что считали необходимым.

– Зачем тебе железяки? – спросила Лена у Мирослава.

Тот прикарманил жюмар, инвар с двумя рогами и три муфтованных карабина, забытые в избушке прежними гостями. В его небольшой рюкзачок легла поясная страховочная беседка, тоже чужая.

– На обратном пути верну, – заверил Мирослав, чтобы не выглядеть вором.

– Ты хоть знаешь, на что оно нужно? – спросила Лена.

– Не знаю, но Даша подскажет. В школе она ходила в походы вдоль реки, варила супы и вязала верёвочные узлы. У них в учебном кабинете я видел все эти причиндалы. Ты, Лена, сама-то зачем с собою таскаешь верёвку?

– Это репшнур, а не верёвка. Я его ношу на всякий случай, для того чтобы им что-то поднять или опустить.

– Вот и я на всякий пожарный случай собираю всякие железяки.

Роли распределились. Дашенька отвечала за похлёбки. У неё в мешочках лежали кубики для бульонов и сухари. У Мирослава были котелок, сухое горючее, толстые охотничьи спички. Под конец он накидал в рюкзачок немного угля.

– Зачем? – удивилась Лена.

– А вдруг мы заночуем?

Она улыбнулась.

– Мы же отправляемся ненадолго, но я отмечу вашу победу как восхождение с ночёвкой. Макеев подпишет нужные бумажки, и вы получите первые значки.

В моём рюкзаке лежали мясные консервы, топорик и ножик с набором лезвий. У Лены в поклаже были термоса с горячим кофе

Путешествие началось. Мы осторожно обошли холодное озеро, минули арочный тоннель и, налегая на опорные палки, двинулись в гору. Шаткие камни морены местами были подвижными. Во избежание их сползания мы перемещались осторожно, глядя под ноги. Валун, действительно, оказался достойным для топографии.

– Ты обещала нас сфоткать, – напомнила Дашенька.

Лена открыла рюкзачок, но камеру и рацию в нём не нашла.

– Забыла... Учю чему-то других, а сама – растяпа, – ведущая опечалилась. – Саня, – приказала она, – сидите здесь, – Лена указала нам на плоский скальный выступ на склоне, вне шатких камней. – И ни шагу отсюда... А я обратно. Я быстро. Наша рация осталась на берегу.

Мы попытались Лену отговорить, но безуспешно.

– У меня ведь тоже есть фотоаппарат, я же корреспондент. Я сфоткаю вас у этого огромного камня и на фоне того креста. И на вершине.

– Если рация окажется под водою, то она пиши пропало.

– Нырнёт, как Иванович, – съязвил пацан.

– Ты надо мною не смейся. Ты – мал, – рассердилась Лена. – Такое бывало.

Она оставила на меня свой рюкзак и поспешила обратно в лагерь. Я видел, как Лена исчезла под аркой, как обошла опасное озеро, мелькнула на том берегу. Потом пропала из виду.

И вот случился подземный толчок, за ним – ещё и ещё... Горы посыпались. Валун,

простоявший более века, оторвался от склона и покатился к отверстию, ведущему в лагерь. Он его закупорил, не оставляя надежды на возвращение обратно. Камни морены резко подвинулись. Рыхлые горные верхушки, разбитые грозами, обрушились. Мы увидели, как по фронту соседних белых гор помчались лавины снега, как надломился извилистый ледник. Очертания района стали неузнаваемые, чужие. Но немецкий крест устоял и даже не накренился.

Рассказ 6. ПРЫЖОК ИРБИСА

Камни промчались мимо. Мы лежали, в полной мере не понимая ещё, в какую ловушку угодили.

— Лена дозвонится. За нами прилетит вертолёт, — сказал Мирослав.

— А если не прилетит? А если рация всё-таки утонула? — спросила Даша. — А если в нашем лагере все люди напились до упада водки и не поднимут никакую тревогу?

Это было ясно как божий день, на то и праздник.

— Дети, давайте договоримся, не будем плакать.

— Я не боюсь, — беспечно ответил мальчишка.

В месте, откуда упал валун, осталась яма. В ней мы могли бы укрыться от ветра, но не от снега. Между тем, погода менялась к худшему. Кое-где уже появились настырные тяжёлые облака. Они обволакивали вершины около самых высоких гор и стремились к нашему перевалу. Раньше, бывало, глаза закроешь, спасаясь от солнца, через минуту — уже туман или хуже того — пуржит да воеет. Любое продвижение в пути становится опасным. И никакой вертолёт в такую погоду не подлетит, не опустится, чтобы подобрать попавших в беду. «Если такое случится к ночи, — призадумался я, — то уголь Мирослава не разгорится даже при помощи всех его спиртовых таблеток, и ничто не спасёт нас от холода. Этого угля всего-то четыре жмени. Задует, затушит, накроет нас бураном, даже в обнимку не уцелеем». И тогда меня осенило.

— Мирослав, мы сейчас поднимемся на вершину горы и срубим этот немецкий крест. Потом сволочём его оттуда сюда и будем греться в этой яме, углубляя её, если придётся заночевать.

Даже в эту минуту дети ещё не оценили всю опасность нашего положения, глядя на окружающий мир через розовые очки. Я им казался уверенным, сильным, надёжным, как сама справедливость.

Ближе к вершине стало морозно. Ветер усилился. Около перевала я приказал застегнуться на все возможные пуговицы, подтянуть на теле все ремешки и подвязать уши у шапок.

— Задует, порвёт одежду, как бумагу. Подкинет тело в небо и бросит в пропасть.

— Дедушка, ты сгущаешь краски.

— Такое уже случалось много раз.

— Хорошо, — согласились Даша и Мирослав.

На высоте в три с половиной тысячи метров над уровнем моря мы выживали без подсказок. Цена ошибки была высокой.

И вот увидели загадочную страну. Внизу местами угадывался лес, лежало озеро. Из него вытекала речушка и петляла по зелёному долу. Виднелась скромная избушка, похожая на нашу — прежнюю. Но оценить настоящие размеры этих географических объектов было сложно. Как на ладони, они лежали рядом, небольшие, а между тем, многие километры отделяли нас от этой сказки. Даже по ровной местности напрямки до наступления ночи в долину было не добраться. Я это понимал, а дети ждали моих решений и верили в мою взрослость. И ужас, они смеялись, потирая щёки тонкими рукавичками, бесслётно спасаясь от мороза и ветра.

Дерево, из которого был сделан крест, поддалось не сразу. Около часа я врубался в сушёную стойку своим небольшим топориком, негодным для валки леса. Крест, наконец, упал. Утащить всю эту громадину за раз, не разобравши на части, было сложно. Для лучшей транспортировки я захотел отделить от него перекладину, да зрячая Дашенька вдруг увидела снежного барса.

— Смотрите! Смотрите! — закричала она. — Это — он.

Ирбис передвигался навстречу подсолнечному туману вниз, не глядя на нас. Я торопливо открыл рюкзак, достал оттуда фотокамеру и на вскидку сделал быстрые снимки. Барс подобрался для прыжка, сиганул через пропасть, следом он помчался за чёрную рыхлую от удара молний скалу, пропал из виду.

— Что я вам говорил, — крикнул Славик. — Ты видишь, Дашка, они его не убили на шубу. Ирбис удрал.

Дети забыли про опасности и побежали к месту прыжка. Я за ними. С обрыва Дашенька увидела пещеру. На той стороне расщелины, через которую прыгнул ирбис, были навешены праздничные верёвки — зелёная и красная.

– Откуда они? – спросила девочка.
– Это немецкие верёвки, – ответил я. – Калининградки.
– Почём ты, деда, про это знаешь?
– Немцы любят порядок. Одна навешенная верёвка является основной, это – красная, другая – страховочной.
– И что?
– А то... Чтобы спуститься на полочку, которая находится под ними, и войти в пещеру, никто из наших безалаберных альпинистов по две верёвки бы не навесил и спускался бы, не страшась, на одной – на красной – на русский авось... Нам бы заночевать в пещере, да туда не добраться...
– Дедушка Саня, а ты сумел бы спуститься в пещеру по немецким верёвкам и нас туда доставить?
Для этого было всё, кроме моста через пропасть.
– Нам бы крылья снежного барса. Прыг – и там. А спуститься по готовым верёвкам в пещеру, я, пожалуй, смогу.
Дашенька предложила:
– Давайте построим мост через эту пропасть из подручных материалов.
– Дашка, какие-такие материалы? – рассердился Мирослав. – Кругом одни разбитые камни да снег. Лучше вернёмся в яму.
В такие минуты не до улыбок, но я усмехнулся.
– Много ты понимаешь, Мирославка, – ответила Даша. – Немецкий крест – это наш подручный материал.
Планы поменялись. Я отказался от ямы в пользу пещеры. Крест к обрыву мы волокли, упираясь телами в его поперечину, я пыхтел с правой стороны, Даша и Мирослав сопели слева. Никто не отлынивал, не хлюздил, не роптал. Около пропасти топориком я-таки отделил перекладину от стойки.
– Ты, Мирослав, говорил, будто Лена с собою повсюду носит какую-то верёвку. Давай-ка откроем её рюкзак.
На дне лежал репшнур – лёгкий, мобильный, но непригодный для страховки тяжёлого человека. Такую верёвку используют для перемещения разного груза из пропастей и в пропасти. Мы перегнули репшнур пополам, его серединой обвязали дальний конец будущего моста, я поднял на попа тяжёлую стойку. Растягивая в разные стороны верёвочные усы, вытравливая их помалу, втроем мы смонтировали тяжёлый брус как мост и по нему прошли через пропасть.
Верёвки великого немца действительно были надёжно закреплены на каменных зубьях перевала. Около часа я занимался с детьми, объясняя им, как правильно применять страховочную систему, как закрепить на ней инвар, как им пользоваться при спуске. Даша раньше два раза каталась по верёвкам с крыши двухэтажки, там было много ротозеев, рядом висел инструктор, и бездна за спиной не ощущалась – просто не было бездны. Отправляя её в настоящую пропасть, я слукавил.
– Мужчины боятся высоты намного больше, чем женщины. Поэтому женщины всегда работают крановщицами на башенных кранах.
– Я справлюсь, – уверила Даша, глотая слёзы.
– Войди осторожно в пещеру и выясни, насколько она большая. Если в ней возможно остановиться для отдыха, то отправь страховочную систему к нам наверх, привязав её к верёвке. Вторым к тебе опустится Мирослав. Прими его на площадку. Потом я опущу детали креста, сниму одну немецкую верёвку и с этим добром прибуду сам.
Девчонка нырнула в пропасть и скоро доложила, что пещера удобная для ночлега.

Рассказ 7. ЛЕНА, АКТАШ И РОНДА

Лена осталась одна. Домик, где мы ночевали, разрушился. Ледниковое озеро вышло из берегов. Рация утонула. Дорога в гору для встречи с нами оказалась закрыта дважды – водою и валунами. Непрístupны, отвесны, вечны стояли окрестные горы. Лена кричала. Но из-за каменного кордона нам было её не слышно. Что она могла донести в такую минуту? О том, что ещё жива? Это, конечно, важное. Мы бы ответили, что живы сами – и всё. И Лена отправилась в обитель за подмогой, да льды, по которым успешно поднимались вчера, сегодня сторбатились и стали непроходимыми. Наша наставница нашла боковую дорогу по крутизне нависающих рядом скал и двинулась по ней без всякой страховки, цепляясь руками за опасные камни, огибая стороною коварный ледник и дикую реку, берущую начало из-под его языка.
Через несколько часов путница добралась до поляны эдельвейсов. За сутки цветы окрепли, приподнялись, развернулись в сторону солнца. Лена спускалась к ним по липкому склону, лёжа на животе, хватаясь голыми пальцами едва ли не за каждую

редкую здесь травинку, ломая ногти о твёрдую землю. Последние метры крутого склона она одолела неудачно, поторопилась и подвернула голеностопы. Ещё какое-то время инертно женщина передвигалась к тропе, ведущей в лагерь. Но ноги отекали, и силы иссякли. Бедолага позвала на помощь у пустоты. Рядом урлила предательская река, глушила голос. Из людей калеку никто не услышал и слышать не желал — великий праздник освобождения России от нахлебников продолжался. Горы уже располовинили солнце. Из рыжего оно становилось красным, росло в размерах, чтобы исчезнуть за окоёмом до утра. Ползти по тропинке стало трудно.

Акташ и Ронда делили рыбу, рычали, кусались, как вдруг Ронда перестала драться и развернулась в сторону заходящего солнца, приюхаясь к холодному ветру, бегущему от сумасшедшей реки. За Рондой насторожился Акташ. Потом собаки дружно заголосили на дверь, за ней резвились праздные люди. На лай никто не вышел, и псы помчались навстречу ветру одни. Стемнело, когда они отыскивали Лену, обнюхали, облизали её лицо и, ухватив зубами за полы одежды, поволокли в обитель «Легенда Саян». Пройдет ещё какое-то время, год, или два, или даже три, эту турбазу переименуют: «Акташ и Ронда».

В самое блудное время суток, около полночи, полупьяная ведьма Галка Шиншилла курила на крыльчке штабной парадной избушки, остывая после горячих лобызаний мужчин, отдавших свою энергию в порыве любовной страсти ей одной — депутату из Государственной думы, сенатору, примадонне. Жизнь состоялась. Не ложкой, а жбаном, даже, пожалуй, целым ушатом Галина Анатольевна Петрова черпала счастье, как и все её коллеги по управлению страной. Вертолётчики отдыхали рядом с нею почти в обнимку, когда в ночи послышался призывающий лай собак. Три раза они прекращали транспортировку покалеченной Лены и звали к себе на помощь здоровых мужчин. Шиншилла приказала пилоту:

— Пойди, Андрюшка, узнай, откуда этот шум.

Через несколько минут посланец доложил:

— Какая-то полудохлая, грязная бабёнка-бомжиха ползёт и твердит о детях.

— Кто же о них сегодня не твердит, не печётся? — рассмеялся второй кавалер. — А нам она нужна — бомжиха?

— Похоже допрыгалась, сама уже не ходит. Её собаки тащат.

— Надо помочь, — приказала Шиншилла. Андрюшка мирно ответил:

— Макеев с утра напился и спит.

— А ты на что?

— Я, ваша милость, пилот, а не спасатель.

— Иди и занимайся бомжихой, а то уволю.

Галина Андреевна свысока оглядела Лену. После окончания учёбы на юрфаке они увиделись в первый раз. Шиншилла не сразу узнала свою студенческую подругу. Но Лена напомнила о себе, и Галка переменилась. Она снизошла до воспиталки чужих детей. Второй пилот принёс из вертолёта аптечку. Большую ногу Лене забинтовали. Достали таблетки. Налили горячий чай.

— Пожалуйста, полетайте немного на вертолёте, — просила Лена пилотов. Они зевали:

— Куда?

— До креста в горах и обратно.

Те на это не согласились. Тучи уже всюду ходили по перевалам. Было темно.

— Опасно, — сказал Андрюшка. — Даже при свете дня такие полёты рискованны. Заденешь винтом какую-нибудь скалу, и наших костей повсюду не соберут. Здесь ну-жен Макеев. Это — его работа.

— Будите наших, — приказала Шиншилла. Когда Макеев очухался, Петрова задала ему вопрос: — Здесь бывают землетрясения?

— А что? — испугался спасатель.

— Вчера на кухне в шкафу звенела посуда. Вы были пьяны, вы спали.

— Это — землетрясение, — согласился Макеев. Увидев пострадавшую Лену в бинтах, он догадался обо всём. — Кто приказал посылать детей за перевалы?

— Это моя ошибка, — признался спасатель.

— Тогда вызывайте из области свой вертолёт и звоните ихним родным. Если дети погибли, то я не хочу огласки нашей гулянки. Мы улетаем отсюда в этот час. Лена поедет с нами.

— Я никуда не полечу.

— Так надо, Леночка, лети в больничку, — велел Макеев. — С родными я встречусь первым. И первым приму удары их отца.

— Я буду вторая.

— Может быть, дети ещё живые, — ухмыльнулся Андрюшка.

— В горах-то, ночью?

— Ронда, Акташ, мои собачки, — заплакала Лена, — ищите Дашу, ищите Славу.

Она прикрепила ремнями к Ронде плюшевую Дашенькину игрушку — гуська — и привязала к Акташу аптечку. Прикрикнула на них, прихлопнула в ладоши, лайки помчались в ночь.

Скоро они добежали до места, где Лена упала в лог. Поднимаясь на задние лапы, Ронда скребла ими по отвесному склону, скулила, но забраться наверх не удалось. Тогда псы помчались в сторону ледника. Но и там их дорога оборвалась около пропасти, возникшей после обрушения льдов. Как люди, как птицы, животные имеют цепкую память. Акташ укусил зубами горюющую Ронду за шею. Собаки встряхнулись, переглянулись и помчались в обход большого горного цирка иною троюю, на иной перевал. Три года назад Акташ учуял оттуда далёкий запах погибшего человека. В той спасательной операции брошенные в долину собаки нашли-таки обезображенное тело немецкого учёного-альпиниста. Но тогда они спустились вместе с людьми вниз при помощи верёвок. И только потом прилетел вертолёт. И было утро.

Сегодня ветер дул из-за спины. Стояла ночь, и не было верхолазов. Бегая вдоль обрыва, собаки лаяли в пустоту и, когда слышали слабые ответные крики детей, то бросились с каменной кручи в неизвестность без всякого страха. Внизу оказался разбитый землетрясением снег. Лапы в крови, Акташ и Ронда проложили дорогу в долину бездомных лошадей и лишь оттуда учуяли пещеру, где мы спасались от холода.

Рассказ 8. НЕ ЛЮДИ, НЕ ЖИВОТНЫЕ

Страшили тёмные силуэты. Чернели остроконечные очертания далёких вершин. Как зубы, в пещере нависали сосульки, и казалось, что мы ночуем в пасти чудовища. Сквозило.

Мигая фонариком, Мирослав нашёл небольшую безветренную нишу. Около часа я щепил бывшую перекладину от порушенного креста на мелкие дранки и укладывал их шалашиком в лунку, откопанную руками. Мальчишка подложил спиртовые таблетки. Дашенька подсунула в шалашик бумагу. Мы развели костёр. Когда подкинули уголь, в нашей нише стало теплее. Забывши о конфетах, о чипсах, этой ночью дети уминали тушёнку и чёрные сухари, тянули остывший кофе. Мне тоже хотелось пить. Из камней я построил маленькую жаровню. Подгрёб в неё разгоревшийся уголёк, отбил большую сосульку, висевшую у входа, и положил её в котелок. Когда вода закипела, запарил горький зелёный чай.

— Как это пьют? — удивился мальчишка. — Нужны конфеты.

Я сослался на диабет.

— Лена нам рассказала, как ты поднимался в большие горы.

— Да... Это было когда-то в Ала-Арче и на Тянь-Шане.

— А есть ли в мире ещё такие спортсмены?

— Какие такие?

— Сахарные больные.

— Конечно есть. Самый лучший из них — Пеле.

— Я про это не слышал.

— Мы мазаны спортом. Я ломаю ноги в горах, а он — на футбольном поле.

— Ему ломают ноги его товарищи по футболу, а ты ломаешь ноги по доброй воле, спасая нас.

Даша включила фонарик и удалилась. Вернулась испуганная.

— Деда, у нас — медведи.

Мы с Мирославом расхохотались.

— Тебе от страха, Дашка, повсюду мерещится всякая дикость. Это иллюзия, — ответил братец.

— Медведи, — упрямо твердила Даша. — Они лохматые и вонючие.

— Брехня, — не унимался мальчишка.

— Вы только вспомните барса. Его, между прочем, первой увидела я и не ошиблась.

— Это правда.

— А вы не верите мне. Медведи...

— Верим, — ответил я.

В ночи раздался далёкий лай.

— Это тоже иллюзия? — спросила Даша у Мирослава.

— Это наши собаки.

— Значит, ищут? — обрадовался мальчишка.

— Кричите дружно... Три, четыре.

— Ронда, Акташ, — заголосили ребята. — Лена, Макеев, живые люди... Эй!.. Мы живы.

Я длинно присвистнул, и стихло. Как ветром сдуло собачьи кличи.

- Зачем ты, дедушка, это сделал? — расстроилась Дашенька.
- Ты, Иваныч, не прав, — отчитал меня Мирослав.
- Я же не знал, что собаки так быстро замолкнут.

Детишки подняли капюшоны и скоро задремали, отвалившись на мягкие рюкзаки. Я дежурил, щепил дрова, поддерживал огонь. Время от времени выходил из пещеры на ветер и продолжительно свистел в сторону долины в надежде на слух и обоняние лаек. Первой в пещеру ворвалась Ронда, за нею Акташ. Для блезира они по разу лизнули моё лицо и бросились к детям. Скулили, визжали, катались, играючи, около очага, перевернули котелок. Дашенька увидела мягкую игрушку, примотанную Леной, и отвязала её от Ронды.

Как вдруг собаки агрессивно кинулись в темноту, в самый угол пещеры. Оттуда в них посыпались камни, раздался хриплый сердитый рёв. Я приказал лайкам утомониться. Они отступили неохотно и, уткнувшись в лапы носы, насторожённо лежали до утра, сердито поглядывая в далёкий пещерный угол, готовые к новому броску.

- Я же говорила, что это — пещерные медведи.
- Или что-то похуже, — насторожился мальчишка.
- Убежать мы с вами отсюда не сможем, — ответил я. — Снаружи повсюду пропасти. Но всяким лохматым тварям нас сегодня не одолеть. Они боятся огня. Спите, детки, завтра тяжёлый день.

Их-то я успокоил, а сам с перележку заточил деревянную стойку под кол и отключился, обнимая её, как стражник своё копьё.

При утреннем свете мы увидели тропинку, пролежавшую у нависающих скал. Она была заужена, но частые выступы в горных стенах стали подспорьем для страховки. Вначале побежали собаки. За ними двинулся Мирослав. Его сестрица отшагивала за братом, касаясь его рукой, а я волочился последним, опираясь на тросточки. Только один участок тропинки был немного опасным. Перед ним мы ввязались и проползли его на коленках. Когда великие скалы остались позади, дорога расширилась. В седловине, куда мы вышли, покинув страшную зону, около первой цветущей травинки я оглянулся. Из пещеры появились снежные люди. Неровной цепочкой они отправились в гору. Первым шагал мужчина, за ним его жена. С нею бежал детёныш. В руках ребёнок держал плюшевую игрушку — белого гусика, забытого Дашей в нише, где мы ютились прошедшей ночью.

- Пускай забавляется, — печально вздохнула девочка. — Я его специально оставила им в благодарность за ночёвку.
- Ты же думала, что это медведи? — спросил Мирослав.
- Я уже передумала... Медведи в наши игрушки не играют.

Последними плелись старики. Они опирались друг на друга.

В мире ходит поверье, что сердитые взгляды снежного человека приносят неизлечимые болезни или смерть на скорую руку. От хриплого рева йети все путники каменеют. Но случилось наоборот. Это мы вторглись в чужое жилище и нарушили длительный мир у этих людей, это мы отняли кусочек их земли. А когда развели в пещере огонь, то посеяли в душах у йети страх.

Как беженцы от войны, лишённые крова снежные люди уходили в холодную неизвестность. Найдут ли они другое пристанище или умрут, задутые ветром? Или какой-нибудь вертолётчик увидит их с неба и убьёт ради желчного пузыря или иной здоровой пища? Или ради тёплой богатой шубы для любимой подружки из Государственной думы. И его не осудят. Йети — не люди. Права человека написаны не для них, а для нас. В Красной книге снежного человека тоже нет.

Рассказ 9. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОБИТЕЛЬ

В долине было спокойно. Но домик около озера оказался наполовину разрушенным. В нём когда-то случился пожар. Печка-буржуйка лежала отброшенная к воде. Тут же валялось помятое ведро и большая алюминиевая кастрюля, пригодная для приготовления в ней пищи. В несгоревшей части домика всё оказалось перепачкано сажей.

— Лучше назад в пещеру к снежному человеку на каменные полы, чем в такую квартиру, — высказался мальчишка.

Уже умудрённые опытом, мы построили очаг. Дашенькины бульонные кубики оказались очень кстати. Для смеха я положил в кастрюлю топорик. Похлёбка вышла ужасная. Даша сверлила глазами землю.

— А что я могла состряпать из топора? Я знаю, что это — невкусно. И кушать не буду.

Новая вершина, куда предстояло нам взойти, была покрыта снегом. Топографической карты я не имел, но догадался, что наша турбаза находится именно

за этой длинной пологой горой, похожей на купол. Нужно было набраться сил.

— Это случилось в Париже, Даша...

Мне никогда не давали трибуну для болтовни, и за пятьдесят с лишним лет жизни я не нашёл свою аудиторию. Дебаты мои велись только за право выживания в государстве, где справедливость расписана на бумагах. Но в окружающей обстановке она нисколько не наблюдалась. При каждом лишнем сказанном мною слове мои прорабы сразу затыкали мне рот. Дашенька подняла глаза. Мальчишка тоже отложил свою ложку и приготовился слушать.

— Ты был Париже? — бегло спросил Мирослав. Я улыбнулся.

— Я не был в Париже ни разу в жизни... Я не Морис Эрцог, я слабак. Мне не под силу такие горы, как Аннапурна. Я неудачник. Я никто. Фиеста, дети, это значит праздник. В Париже жил когда-то знаменитый писатель Хемингуэй. Это недетский писатель. Но его герои хлебали такое же пойло, как и мы, из кубиков дряни. Потом они рисовали, писали рассказы, мечтали о великих победах в искусстве и обивали пороги всяких редакций. И были они...

Я замолчал, разглядывая первые облака, побежавшие над нами. Как и вчера, погода менялась не в нашу пользу. Ноги мои уже ослабли, отекли. Болела шея, слепило.

— Какими были его герои? — толкнула Даша. — Ты чего замолчал-то?

— Ах, да... Его герои... Одну минуту... Ребята, до нашего главного лагеря пищи больше не будет. А ну-ка, взяли свои космические ложки и основательно подкрепились... Его герои были счастливыми в нищете.

Мои подопечные молча доели свои порции супа из топора. Остатки я вылил собакам в старые хозяйские миски, уцелевшие в огне сгоревшего дома. Лайки питались вперегонки.

После обеда мы отправились в гору. Как прежде, собаки бежали, угадывая дорогу, впереди. Их лапы сочились кровью. Следы краснели, как маки. Схода лавины я не опасаясь, но соблюдал известную осторожность. Мы поднимались по гребню, не опускаясь в седловину. Словно изюминки в пломбировке, на снегу повсюду чернели мухи, осы и жучки, занесённые ветром. Даша увидела бабочку. Она неподвижно лежала на снегу, раскинув крылья. «Какие злые силы тебя занесли на высоту в три тысячи метров?» — подумал я. Девочка положила бабочку на ладошку, подышала... Бабочка шевельнулась, взмахнула крыльями. Но попутного ветра не наблюдалось.

— Даша, пошли вперёд... При резкой остановке движения наша кровь под действием гравитации остается в венозных сосудах ног, и обескровленные мозги быстро чумеют. Эта болячка называется гипоксия. Она опасна. Она — смертельна.

— Я ничего не понял.

— Нельзя же быть такою сентиментальной.

Я забрал у Дашеньки бабочку и положил её в свой карман.

С вершины горы виднелась дорога, по которой на бортовухе я две недели назад приехал в горы. Собаки почуяли лагерное тепло, идущее снизу. Стараясь лизнуть меня в лицо, Ронда упёрлась лапами в мою походную куртку, и кровь её донине ещё видна на ней, как памятная награда. Уже на спуске с горы появилась широкая расщелина, и не было моста. Обойти или перепрыгнуть это неожиданное препятствие мы не смогли бы, да за расщелиной находилась старая бетонная площадка. Когда-то в этом самом месте стояла радиомачта. После последних оптимизаций экономики государства от неё осталась только фундамент и жалкая арматура, торчащая из бетона. Саму радиомачту разобрали и увезли залётные лиходеи. Желая быстро обогатиться, они продали её на переплавку в металлургию.

— Ты лассо когда-нибудь кидал? — спросил я у Мирослава.

— А то, — ответил он, улыбаясь. — Мы играли в индейцев.

— Твоя задача заарканить вон ту железку с резьбой. Она держала когда-то радиомачту. Это — анкерный болт.

Я собрал верёвку колечками для броска. Мальчишка критически осмотрел готовое лассо. Не примеряясь, он его метнул, петля затянулась, обхватывая стержень. К другому концу верёвки я привязался сам и отошёл за зубчатый выступ горной породы. Переправа была надёжна. Мирослав отправился первым. Собаки переехали через пропасть в рюкзаках. За ними — Даша.

— А ты? — спросила она, когда оказалась вместе с братом.

— Дальше вы пойдёте одни и пришлёте сюда Сергея.

— Я никуда без тебя не пойду, тащи меня обратно.

— Тогда держите меня крепче.

Я шагнул с обрыва и безвольно повис, ударившись о склон. В глазах закружились огненные шары.

— Быстрёхонько поднимаем дедушку Саню из пропасти, а то он погибнет! — скомандовал Мирослав.

Меня вытаскивали из бездны, как репку. Детишки хватались за верёвку руками, собаки, толкаясь, тянули её зубами и подняли на-гора. Про бабочку я забыл. Когда мы, наконец, вернулись в лагерь живыми, она покинула карман и, хлопая крыльями, уверенно поползла навстречу свободе.

— Ну вот, мы на травке, бабочка. Мы дома...

В суровом мире насекомым труднее, чем человеку. Повсеместные опасности, хищные птицы, непогода в любую минуту могут приблизить час их небытия. А вдруг я стану таким же маленьким и слабым, как ты, бабочка, в следующей жизни? И спасет меня доброе сердце божества от неминуемой смерти... А вдруг и в этой жизни свершится такое чудо?

Рассказ 10. РАЗГАДКА

Утром я покинул обитель. Около ручья, у того поворота, где я впервые увиделся с детьми, Мирослав меня догнал и спросил:

— Ты взял что-нибудь покушать?

Эдак добрые няньки любя пекутся о подопечных, желая им хорошего дня, и не когда-то, а вот-вот. Так же, поди, провожали в дорогу и самого Мирослава. Мальчишка не был оригинальным в разговорах, но был воспитан в доброй семье. Над нами бежали ватные облака. Беспокойные насекомые, пчёлки, жучки, стрекозы летали, порхали, жужжали и трудились, опыляя молодые цветы. Где-то неподалёку в лесу жила медведица. Мы с нею так и не повстречались.

— В буфете, Слава, я ничего не закупил.

— Даже газировку?

— Даже её. Я наберу из этой вот речки ледниковую воду. Она будет получше, нежели газировка.

— Тебе в твоём журнале что-то платят?

— Я работаю забесплатно.

— А гонорары, медали, всякие грамоты?

— В подарок будет всего один журнальчик. Это — авторский экземпляр. Раньше давали по три, бывало.

— Разве это награда для человека, который пишет рассказы о приключениях в горах?

— Когда мои журналы доставляются мне, вместе с ними приходит маленькая радость.

— Как часто это бывает?

— Безрадостно.

Писак да фотохудожников сегодня очень много. Каждому из них хочется увидеть своё творение печатным. Оно им кажется самым важным, вечным. Но это не так. Мои сочинения бездарны.

— А барс, которого ты сфоткал, он получился?

— Не получился. Было морозно. Мой объектив оказался излишне тёплым. Он запотел. Барс на фотоэкране размазанный и мутный.

Чуткое детское сердце хотело принять участие в решении моих проблем. «Если живут на свете люди без газировки, значит, плохо они живут», — задумался Мирослав.

— Ты умеешь водить «Мерседес»?

— Я не вижу дороги. Я слеп от диабета.

— Я возьму тебя к себе на службу шофером... Ты, Иванович, не подумай, что надо будет водить мою машину. В школу я отвезу себя сам. Ты бы только сидел рядом со мною и получал бы деньги.

— Это была вакансия.

— Ты у меня, Иванович, никогда не останешься бедным. Договоримся?

Он поглядел на меня с надеждой.

Скоро многие люди станут работать до самой смерти только ради зарплаты, не покидая годами насиженных мест. Но это — раковая болячка. Наши чинуши вырастают в тело страны. Самые способные из них врут забитым, забытым, обиженным людям, внушая им великие возможности. Ужасно.

Мне предложили работу как дружбу. Возможно, навеки. Но я отказался:

— Мирослав, безработным останется твой прежний водитель.

Мальчишка задумался. Когда мне показалось, что этот разговор себя уже исчерпал, он осторожно спросил у меня про компьютер:

— Ты говорил, что у тебя в интернете есть какой-то сайт?

— Это правда... Я напишу тебе его адрес, ты заглядывай, если захочешь. Читай мои невесёлые рассказы и сказки.

— Значит, ты разбираешься в компьютерах?

— Не то чтобы да, но немного...

— Если тебе будет очень плохо с деньгами, ты поезжай к моему дядьке в Новосибирск и скажи ему, чтобы он взял тебя на работу в рекламу. Вот его адрес... Его визитка.

— Так он меня и принял...

— А ты объясни ему, кто тебя послал...

Я улыбнулся.

— Если мне будет совсем и очень плохо, Слава, я лучше пойду к тебе шофёром...

Спасибо.

Ребёнок решил тяжелый взрослый вопрос о трудоустройстве старого, слабого, никчемного человека. Он принял участие в моей судьбе, разбирая все возможные варианты, потому что вырос в среде деловых людей и не мог поступить иначе... И успокоился на минутку.

К нам прибежала Дашенька.

— Пойдите, — с нею прилетели собаки. — Возьмите вот это, я в столовке узнала, что ты, дедушка Саня, покинул лагерь, — в её пакете лежали кубики масла, нарезанный белый хлеб и банка сгущённого молока. — Нашу Лену положили в больницу с ногами. Макеев готовится к проверке. Он тебя прогнал. Это — правда? — спросила Даша.

— Я же первый свидетель его халатности и никчемности. Да, это правда. Он меня прогнал.

— Саня, надо вернуться. Макеев ещё не самый главный в нашей обители, — приказал Мирослав.

— А кто же самый главный?

— Я, — ответил мальчишка. — Это моя земля. Мне её подарил мой отец. Когда мне исполнится восемнадцать лет, вы увидите, здесь будет сотовая связь. Я построю огромный ретранслятор. Он будет стоять на этой горе, в которой пропасть. Обе встреченные горные будки я отремонтирую и покрашу. Верну на место жюмар, немцу поставлю новый великий крест, побольше, чем прежний, он для меня не немец, а друг. И наведу два настоящих моста, а в нашей пещере я сделаю главную базу для отдыха людей, приехавших в горы. И канатную дорогу построю.

— А если вернутся снежные люди? — тихо спросила Даша. — Им надо где-то жить.

— Они останутся людьми. Мы с ними договоримся.

Я давно не мечтатель, я — прагматик. Я напоследок раскрыл великую тайну.

— Мирослав, в ту минуту, когда вы меня вытаскивали из пропасти с разбитым лицом, я понял, как бездомные лошади попали в эту долину.

— Как? — удивились дети.

— Это — пологая гора. Лошади поднялись по склону и перепрыгнули пропасть.

— Я бы не догадалась.

— А пока до свидания, Дашенька. До встречи, Слава. В лагерь я сегодня не вернусь. Я устал от хождений, хочу к себе домой, а вам пора обратно. Или ещё не нагулялись?

Они ушли, а собаки долго бежали со мною рядом. Уже на тракте меня подобрал автобус. Около дня я добирался до Абакана, и в городе упал, задыхаясь от едкого смога.

PS. Рассказы о первом восхождении:

В ОПАСНОМ КУЛУАРЕ

Рассказ 1. «СОВА»

— Ты сходи, поучись. Это не горы, конечно, но всё же... Дополнительные знания, навыки... Побольше узнаешь о страховке...

Вовка, мой собеседник, в прошлом покоровивший не одну большую вершину, имел спортивный разряд по альпинизму и с пренебрежением относился к пологим холмам, окружающим город. Отроги Уральских гор невысоки, но при желании можно найти стены для навешивания веревок. Мы поочерёдно вертели в руках газету с объявлением о наборе в школу спасателей. В программе обучения говорилось о промышленном альпинизме. Я уже выполнял работы с верёвок, но систематических знаний не имел. Мне было тридцать восемь лет.

Контора, где обучали этому ремеслу, называлась «Сова». Бдела она и днём, и ночью, помогая людям открывать случайно захлопнутые двери. Кроме этого, её дежурные выезжали по вызову к больным. В служебном наряде были врачи. Первое время «Сова» не платила налоги, но её учредители поменяли афишу, едва их льготы закончились. Сегодня они выполняют несложные водолазные работы. Отмывают

какие-то копейки, выделяемые из бюджета на защиту экологии; рисуют карты дна и величают себя «Выдрой», а тогда вечерами мы крепили верёвки на крыши многоэтажек и поднимались по ним, используя жюмары, а также постигали тайны человеческого великодушия за партами, изучая способы оказания первой помощи пострадавшим. Пересчитывали ребра под кожей друг у друга в поиске сердца, делали массажи, уколы, накладывали бинты в местах возможных кровотечений. Эти занятия проходили в классе гражданской обороны. Вёл их патологоанатом. Я задавал ему каверзные вопросы, мешая достойно излагать материал. Он тушевался, поскольку был моложе меня.

— Вот сходим в морг и посмотрим на деле, что такое анатомия человека, — пугал учитель в такие минуты. Но на эту замечательную экскурсию я не попал. В цехе случилась авария, и две недели мы работали без выходных.

— Ну, как вы там? — ехидно расспрашивал я потом товарищей по учёбе. — Резали трупы? Держали скальпель? Нашли второе сужение трахеи?

Они морщились.

— Надышались, нагляделись... Ты лучше не спрашивай.

Врач лукаво посмеивался, прислушиваясь к беседе.

— У меня к вам предложение, — сказал он как-то на переменке. — Дома, я знаю, у многих есть животные, — и попросил принести в класс для опыта какую-нибудь «зверюшку», прежде чем её зарезать.

— Зачем? — удивился кто-то.

— Я помещу её сердце в физиологический раствор, и вы увидите, как оно ещё долго будет биться.

В завершение он поведал историю о том, как однажды во время его учёбы в институте на глазах у группы студентов профессора вернули к жизни мужчину, попавшего под машину.

— Не живут с такою травмой ни минуты! Тяжёлыми шинами поперёк человека... Десять тонн, — захлёбывался рассказчик. Я сочился потом, представляя аварию. — И чудо произошло!.. Врачи собрали этого человека. «Он всё равно умрёт, — заметил самый главный профессор. — Но мы показали вам силу медицинской науки». «Труп» на столе не согласился с великим учёным, очухался и сказал: «Я буду жить», — но тут же скоростно скончался. Это была безнадёжная, учебная операция.

— Я люблю свою кошку, — вздохнула Эльвира, — я не отдам её в злые руки на растерзание вампирам.

Городские люди — мы никогда не выращивали животных на мясо и неправильно поняли предложение врача. Наш учитель спохватился:

— Ну, конечно, не кошку... Может быть, курицу, утку, кролика?

— Крысу, — предложила Эльвира.

— Да-а, крысу!.. Крысу не жалко, — загадели вокруг, — конечно же крысу. Есть ли у кого мышеловка?

Я вспомнил недавний разговор с сестрой (она похвасталась: «Мне один осуждённый крысу подарил. Чёрно-белую, страшную»). — «Где же она живёт?» — «В училище, в клетке, ест всё подряд») и во всеуслышание торжественно объявил собранию:

— Будет вам крыса.

На следующий день она перебирала лапками у меня на груди — доброе, остроносое животное, большаямышь.

— Я их боюсь, — призналась сестра, отдавая подарок, — а зэки носят за пазухой. Во время урока, случается, вылезет такая безобразная тварь на плечо уголовнику, и хочется кричать.

Моя сестра работает в колонии строгого режима. Серьезные у неё ученики. Показывать им свою слабость для смеха ни к чему. Она держится молодцом. Крысу ей подарили в знак особого уважения.

— Правильный зверь, Наталья Ивановна, — в назидание сказал её бывший владелец. — Вы её не бойтесь, не подведёт, не укусит... Воровское животное — честное.

— Как же её зовут?

— Лариска.

Я принёс эту подопытную крысу домой и поставил клетку с ней на подоконник. Была ли дверца открыта (я человек рассеянный) или крыса нашла защёлку самостоятельно — мне неизвестно, только ночью я проснулся оттого, что кто-то робко щекотал по лицу. Неужели Лариска?.. Первая мысль была сбросить её на пол. Но я подавил рефлекс и погладил животное. Она мне ответила лобызанием, а на следующий день я уже сам доставал крысу из клетки и играл с нею, как с котёнком. Однажды моя подопечная испортила кусок кабельной оплётки от телевизора. Торгующие вещами деляги поломали мою антенну, и матовый ящик молчал более года, стоя без дела на полу.

«Хорошо, что меня отключили от их нечестных новостей и реклам, а то бы шарахнуло тебя, Лариска, током», — заметил я крысе.

«Я не плачу за фальшивую пропаганду...»
Мы беседовали на равных. Добрая тварь.
— Где же обещанная крыса? — поторопил меня учитель.
— Пускай кто-нибудь курицу принесёт.

Рассказ 2. ПИК «СОЛНЕЧНЫЙ»

Прошло полгода. По итогам учёбы в школе спасателей меня зачислили в резервисты. Но знания были ничтожны, и я отправился в настоящие горы. Почти на краю земли, где начинаются реки, находился альплагерь «Солнечный». В нём было несколько бревенчатых избушек и палатки. Едва начинался сезон восхождений, альпинисты спешили сюда учиться и работать. Они поклонялись горам и покоряли вершины.

— Я твой инструктор, — представилась мне девица лет двадцати пяти. — Я — Лена, — рядом лежала пушистая лайка и грызла большую кость. — Ты зачем пришёл в наши горы? Кто ты? Я по образованию — юрист, а начальник лагеря — гляциолог. Он изучает ледники и пишет научную работу о запасах пресной воды в природе. Самая чистая вода в мире находится здесь.

Я в свою очередь рассказал о промышленных трубах, ремонтом которых занимался много лет, о горячих печах, где приходилось работать, не снимая суконки, сделал акцент на том, что они никогда не остывают ни на минуту. Показал на пожухшие уши, обожжённые сквозняками, гуляющими внутри этих труб, и пояснил, что устал от жары и ищу прохлады на воле.

— Прохлаждаться ты здесь не будешь, — отрезала Лена. — Это не пансионат.

В это время рюкзак у меня за спиной зашевелился. Лайка насторожилась. Моя умная крыса освободилась из плена и нашла дорогу на волю. Шевеля усами, она осторожно выглянула на свет. Лена пронзительно закричала. Её собака вскочила на все четыре лапы и залаяла, истекая слюной. Крыса стремительно нырнула назад в убежище, в рюкзак, оцарапав меня когтями.

— Что это было? — спросила Лена.

— Крыса, — ответил я, вытирая на шее кровь.

— Такая страшная... Откуда она взялась?..

— Из тюрьмы, — и я поспешно рассказал о том, как учился на спасателя.

— Чтобы я её не видела никогда, — распорядилась девица.

— Она же ручная, добрая...

— Я кому говорю?

Отдыха я действительно не знал. Начались тренировки. Изучение особенностей горного рельефа, увязка страховочной системы, верёвочные узлы и учебные транспортировки больных проходили на новом уровне — на действительном полигоне. Хороший у меня был прежний наставник патологоанатом. В лагере я многое вспомнил и закрепил трудом. Новая учёба и акклиматизация прошли успешно. Было совершено два несложных групповых восхождения, и на завтра меня ожидал ледовый маршрут с настоящей страховкой.

— Я не пойду с ним, — заявила Лена начальнику лагеря и пояснила: — Он очень слабый, быстро задыхается и долго восстанавливает силы.

— Ты с ним пойдёшь, ты инструктор. Это твоя работа, — наказал ей начальник лагеря.

— Он тяжелый... Если что-нибудь с ним случится, я не дотяну его до лагеря.

— Ты дашь сигнал из ракетницы, мы поможем.

— У него старые кошки. Они не держатся на ботинках.

Брезентовые ремешки креплений у моих кошек подгнили и лопнули. Я их взял у Вовки, который не поднимался в горы десять лет. Лена говорила правду.

— Вы возьмёте у меня новые буржуйские кошки и подгоните их.

Начальник лагеря выложил перед нами всё недостающее снаряжение.

— И затем эта ужасная крыса из тюрьмы, — безнадежно вздохнула Лена, поняв, что меня всё-таки придётся тянуть к вершине. — Да и сам он — чёрный, небритый, злой.

— Как я, — улыбнулся начспас, почёсывая пальцами свою косматую бороду, и, повернувшись ко мне, сердито закончил: — Крысу не брать!

Вечером я долго подгонял новые кошки под ботинки. Тряс их, ударяя зубьями об стену — держались. Почти всю ночь не спал, мешая соседям, а утром был разбужен пинками: вставай и — на сбор! Выход в четыре ноль-ноль. Про крысу я забыл. Она прижилась у меня в палатке под боком и по ночам гуляла по лагерю, осваивая мир высокогорья. Каши ей было мало, как-то она обнаружила в соседнем доме подспорье — прошлогодние кедровые шишки. Проживающие там работники оказались покладистыми и добрыми людьми. Они терпимо относились к шороху на полках.

Подойдя к языку ледника, мы с Леной синхронно вздохнули и заглянули друг другу в души. Проверили снаряжение: страховочную систему, «железо», кошки.

— Готов? — спросила она.

— Готов...

Я не спеша развешивал на обвязке ледовые причиндалы, карабины, оттяжки.

— Вяжемся, когда ледник будет круче... Это самая ответственная часть маршрута.

Смотри, не зевай, не суетись.

— Хорошо. Я спокоен.

Лена критически оглядела меня, вернуться в лагерь было ещё не поздно.

— Вперед!.. И опусти очки — ослепнешь. Старайся всеми зубьями кошек одновременно касаться поверхности льда.

У меня был хороший инструктор. Ледовые крючья я заворачивал по самые «уши». Мокрые руки мёрзли. Я менял перчатки. Однажды споткнулся и упал. Моя наставница подстраховала меня верёвкой.

— Я прошу тебя, — задыхалась она от крика, — сгибай колени во время падения кошками вверх, а то зацепишься ими об лёд и разобьёшься ещё сильнее...

Вдруг я догадался, что крыса находится в рюкзаке. Во время очередного падения слышался скрежет её когтей и писк. «Как ей должно быть плохо на этой ухабистой дороге», — подумал я.

Солнце уже стояло высоко, когда мы ушли с ледника и оказались на каменном склоне.

— Теперь ещё немного, — успокоила Лена. — Основная часть маршрута уже позади.

Кошки я аккуратно снял и обмотал их рогожей, чтобы они нечаянно не поранили в рюкзаке мою любимицу — крысу. Немного отдышавшись, передохнув, мы продолжили восхождение. Стоя на промежуточном гребне, я увидел пройденный ледник от языка до вершины. Он показался мне крутым и горбатым.

— Ты видишь, какой ужасный подъём мы прошли? Это ты его сделал, — с уважением отметила Лена.

— Я очень устал на этом подъёме.

— Потерпи немного — впереди кулуар, а где-то здесь на северном склоне есть репер. Вот там и перекусим. Геодезические знаки в горах надёжны и крепки. Их устанавливают в местах, где не бывает лавин и камнепадов, — но она не находила его.

— Странно... Может быть, он дальше?

Мы внимательно осматривали лежавшие перед нами вершины. Снег сверкал и слепил. Я щурился, бегло перебирая глазами склоны, и тоже не видел ничего похожего на геодезический знак. Только чёрная, сырая с виду скала впереди, словно мыс, вгрызалась кинжалом в заснеженное пространство.

— Не такая она крутая, — подумал я и предложил: — Лена, а может быть, вот по этому камню — по его расщелине мы поднимемся наверх? Я когда-то успешно втискивался в такие места в Крыму.

— Нет, Саша, это не Крым. Это рыхлые горы, разбитые грозами. Мы рискуем попасть в беду... Но где же геодезический знак?

Медленно огибали мы по белому полю этот суровый мыс. Заним кулуар поворачивал вправо и уже до конца просматривался маршрут — до самой вершины.

— Нет ничего...

— Мы не туда попали, — сказала Лена. Тяжёлые снежные карнизы висели над нами, как тучи, отбрасывая далёкие тени на нижестоящие камни. — А я-то думаю, почему нет ветра? Он гуляет за гребнем. А тишина-то какая!..

— Как в морге, — добавил я.

— Ты не шути, — рассердилась Лена. В это время крыса у меня за спиной запищала. Я снял рюкзак и освободил её из клетки. Лена вздрогнула. — Ты же обещал мне не брать крысу?

— Она сбесилась!.. — Лариска стремительно выскочила из плена и, вытягиваясь, как ленточка, по снегу помчалась обратно за скалы, откуда мы только что вышли. — Значит, у животных тоже съезжает крыша от недостатка кислорода? — печально отметил я в надежде на снисхождение инструктора.

Вы видели, как спасаются восходители в горах от приближающейся опасности? Как они несутся по скользкому фирну или по шаткой морене в поисках надёжного убежища от стремительно летящих с неба камней? Или от лавины снега. Как они спотыкаются на ходу, падают грудью на острые склоны, поднимаются в спешке и, раненные, опять убегают прочь от смерти, надрывая при этом лёгкие и сердце? Как оно бешено колотится — воздуха мало, из носа кровь...

— Саша!.. Бежим!.. Лавина!

Крыса и нашла среди рыхлых скал ту нишу, тот грот, куда мы с Леной успели

спрятаться, задыхаясь от боли. Спустя мгновение с неба рухнули первые камни, и целый водопад горной пыли засвистел около нашего убежища, далеко разбрызгивая липкую грязь. Толкаемая лавиной ударная волна потревожила сонные скалы. Нарастающий её шум превратился в грохот, когда неуправляемая снежная масса ухнула по месту, где остался лежать мой рюкзак.

Вскоре всё смолкло. Осторожно разгребая завалы горного мусора, я выкарабкался из нашего убежища наружу, выпрямился; колени тряслись. И когда мне показалось, что самое страшное осталось уже позади, один таки камень сорвался невесть откуда и ударил меня по каске.

Я так и не стал замечательным альпинистом. Но мне повезло. Со мною в горы ходил настоящий инструктор. Она хлопала меня по щекам, искала пульс на сонной артерии, рвала на мне одежду, освобождая для дыхания живот.

— Ты цела? — спросил я, очнувшись.

Мои липкие губы еле растягивались в розовой пене.

— Цела, — с облегчением всхлинула Лена.

— Тошнит...

— Твоя крыса умница!.. Она нашлась.

Лариска отыскала у меня в кармане кожаный футляр для очков и грызла его.

— Отдай! — потянулся я к ней. Крыса жалобно запищала.

— А тебе его жалко? — вступилась Лена. — Я думала, что ты умрёшь... Мне стало страшно!.. Ты хватал губами воздух, наслаждался, захлёбываясь от счастья, и вдруг метаморфоза. Упал лицом на камни и не дышишь. Еле-еле тебя я на спину перевернула — тяжёлый, как слон.

— Надо сделать пик Солнечный, — промямлил я, отключаясь вторично.

— Хорошо тебя камнем ударило... Ты — контуженный, — баюкала Лена.

В лагере увидели нашу сигнальную ракету, и спасательный отряд немедленно выступил навстречу. Из палатки меня в ту ночь перевели в домик, где жили инструкторы. Там было тепло и уютно. Я слышал, как Лена уговаривала начальника лагеря зачесть мне это восхождение, мотивируя тем, что основная часть маршрута была нами пройдена, что во всём виновата она одна: не нашла дорогу наверх, просмотрела геодезический знак и поздно сообразила, что мы далеко зашли...

— Если бы не его крыса — мы бы погибли.

Я лежал на спине, голова гудела от боли, бредил.

— Все-таки крепко меня зацепило камнем. Пик Солнечный... А ты, Лариска, умница, ты понравилась всем. Мы ещё с тобой поднимемся в горы...

Рассказ 3. ГДЕ ВАША КРЫСА?

— Удивительную историю вы мне рассказали, мой друг! — врач-патологоанатом медленно ощупывал больное животное. — Я полагаю, что у неё рак и — она скоро подохнет, — так принято говорить о животных. — Поездка в горы не прошла для неё бесследно. Она безнадежно простыла, штурмуя ледники вслед за хозяином, но более точный диагноз ей может поставить только врач-ветеринар, и то если ему приходилось иметь дело с крысами. А кто с ними хочет иметь дело?.. Крысы — они...

В этот момент в комнату зашёл другой человек, не слышавший этой невероятной истории.

— Бегут с тонущего корабля! — торжественно закончил он мысль врача и рассмеялся. — Они предатели!

— Неправда! — ответил я, скрывая обиду. — Крысы указывают нам путь к спасению. Вы же не знаете эту историю?..

Он достал из кармана бутылку водки и согласился:

— Может быть, вы и правы... Пить будете?

Только четыре года спустя я, наконец, нашёл время и силы опять подняться в горы и посетить альплагерь моих друзей.

— Она ждала тебя три сезона и рассказывала ученикам о странном восходителе, который на одном дыхании прошёл самый крутой ледник. «И с ним, — восхищалась она, — была его верная спутница — крыса. Она учуяла неразличимый человеческим ухом треск карниза и бросилась искать спасение, а я догадалась вовремя поглядеть наверх и побежала за ней. Крысе удалось найти убежище от летящих камней и лавины снега. Он обязательно вернётся к нам — мой первый ученик Саша, и с ним его подруга — Лариска». Вы бы видели, как волновались слушатели...

— Но почему она не приехала сейчас?

— Лена вышла замуж... Она нашла своё счастье. У неё маленький ребёнок. А вы?.. Как вы?.. Где ваша крыса?

Я молчал...

Александр БАЛТИН

МОЙ АМАРКОРД

I. БЕСКОНЕЧНОСТЬ ОТЦА

Я напьюсь сегодня, драгоценный па, я напьюсь и умру, присоединюсь к тебе, ушедшему так рано, в 52 всего лишь, и мне, тогда девятнадцатилетнему, ты казался пожившим...

...Мы входим с тобой в таинственный пантеон советского бука: букашки: букинистического магазина, где старенькие, растрёпанные книги мерцают мистически, как глубоководные рыбы из-под стеклянных, чуть отливающих прозрачной зеленью стендов-прилавков; мы входим туда — с неопределённой целью и, не найдя ничего, что хотелось бы приобрести, логично сталкиваемся с личностью, чей портфель — разбухшее счастье тогдашнего книжника.

Он подмигивает. Ты отвечаешь. Бессловесно — выходим в пространство советской Москвы, делаем шаговый финт и оказываемся в подворотне, где, раскрыв бездны портфеля, спекулянт предлагает то, что ты непременно купишь, и, счастливые, мы отправимся домой, предвкушая чтение и обсуждая его...

Возможно, это четырёхтомник Андре Жида, никогда не переиздававшийся в Союзе, или крошечная, предел изящества, книжка из серии СЛП («Сокровища лирической поэзии»), оправленная, будто защищённая, в суперобложку, выполненную в эстетской манере, и — с мелованными страницами, с матерчатой закладкой в серёдке...

Совершенно неважно, кто это: пусть будет Пьер Ронсар, реформировавший громаду французской поэзии, или нежный и трепетный Рубен Дарио, первый из латиноамериканских поэтов взявший жезл всемирного признания...

Мы идём домой, па, мы погружаемся в гудящие недра метро, мы едем, зная, что мама ждёт — с прекрасным, соком смачности истекающим обедом...

Мы едем, па.

Твоя смерть была первой в моей жизни: не предполагалось, думал, ты... сколько-то увидишь из моей: ведь мы столько значили друг для друга.

Тогда, когда ты умер, мама отдыхала в санатории, в Прибалтике, и, отправив тебя ночью, — как маялся ты сердцем, белея в темноте комнаты, но только вторая бригада скорой помощи забрала тебя, — в больницу, я не спал, глядя на разворошённую постель, точно руина жизни, и утром, отправившись туда, узнал, что ты в реанимации.

Речь о 1987 году, па, — ты помнишь: не пускали тогда, и я, выйдя в окрестный мир, ничуть не изменившийся почему-то, отправился в соседний с больницей скверик, сел на скамейку и, черно предчувствуя, зарыдал — под неистовый вороний грай, не сулящий ничего хорошего...

Финал июля тѣк аристократизмом жары...

Па, увидев тебя в гробу, я не вздрогнул, не испугался, я ощутил нелепое, странно ворочающееся в мозгу: он не дышит... Мой такой живой, такой переполненный жизнью па, которому всего-то 52 — не дышит...

Нет, знал, что дыхание невозможно, но это удивление — при столкновении с роскошным царством византийской ночи смерти, которая, возможно, есть свет, — потрясло настолько, что никакими словами не передать. Они — не вмещаются в смыслы: как нельзя вместишь взрослую ногу в детский башмак...

Мне кажется, я помню, па, — ты гуляешь со мной по Миуссам: упоительному московскому скверу; ты везёшь коляску, одновременно читая газету, и я, не могущий воспринимать реальность, вмещённый младенцем в лодку коляски (гротескно напоминающую лодку гроба), тем не менее, чувствую её, действительность трёх измерений — сквозь качающиеся надо мной, благожелательные ветви, полные (как сказал бы онтологический Олеша) листвой, и — вижу твоё благородное, доброе лицо...

Ты ведь добр и мягок...

Ты рассказывал, как рос дворовым мальчишкой — и драки устраивали до первой крови, но мне не представить это, па...

Вот я выхожу на Тургеневской, минуя чёрного, скорбного Грибоедова, понизу, по цоколю, окружённому массой комически-гротескных персонажей, и, насквозь проходя Чистаки, сворачиваю в Хохловский...

Дом, где ты в крошечной квартирке с мамой своей и отцом рос и набирался жизни, цел: его не сносят и не реставрируют: он стар и дыряв: в окнах сквозит онтологическое одиночество, которое я испытываю, обращаясь к тебе, па...

Почему ты никогда не отвечаешь?

Условия тамошнего существования не позволяют, что ли?

Климовский — Иван Иванович — твой коллега-друг с крупными, странными озёрами глаз, физик, как ты, он докторскую защитил, па, утверждавший, что одним из первых в Союзе стал исследовать парапсихологию, говорил мне, что чувствует тебя и что ты доволен моей жизненной дорогой...

Ты ж утверждал, что писателем нельзя стать со школьной скамьи.

Я никогда не учился, па, — ты помнишь, жизнь моя пошла изначально криво, и когда мама, вернувшись раньше ожидаемого с работы, вытащила меня, двенадцатилетнего, из петли, ты, пришедший в обычное вечернее время, сидел рядом со мной, нелепым ребёнком, с головой накрывшимся пледом, и плакал, повторяя, что ничего из того, что было — не было...

Краешками глаз видел я лучи окон соседних домов: прокалывали мозг, как... твои слёзы, единственный раз виданные слёзы.

Теперь, па, сделаем вольт: тот, что позволяет ворошить память, для которой нет линейного движения и в которой всё совмещено совершенно причудливым орнаментом судьбы: сделаем вольт и... уйдём в Москву пятидесятых, где ты, обладая щедрым, бархатным баритоном (почему ты не стал делать певческую карьеру, па?), ходишь учиться безднам бельканто к Матовой, солистке Большого, певшей ещё с Шаляпиным; ходишь учиться, не предполагая, что Александра Константиновна, в честь которой я буду назван, прописала уже у себя маму, приехавшую из Калуги учиться в Москву; ты, молодой и задорный, спортсмен, всегдашний отличник, ходишь учиться к ней, не зная, что Лялька — моя будущая мама и твоя будущая жена...

Я не представляю тех ваших встреч, па: хотя в квартире Матовой, как ты помнишь, тянулись первые десять лет моей жизни...

Самая счастливая сумма сияющих детством лет.

Мама рассказывала, па: гости разошлись, Александра Константиновна — ногу ей уже ампутировали — лежала, гости разошлись, мама возилась с посудой... и вдруг ощутила: свинцовое, страшное, идущее из соседней комнаты; стало жутко, не сразу решилась идти туда...

Когда зашла, увидела — Матову мёртвой...

Был март. Я, па, родился в декабре того же года, и был назван, как ты знаешь, в честь Александров...

Финты воспоминаний — этикие гимнасты памяти: па, мы с тобой на — Набережной Шевченко: одно из немногих мест в СССР, в Москве, где можно купить экзотические марки: сочное место, колоритное, требующие Феллини лица... Спекулянты с раздутыми портфелями сразу вцепляются в любого, очевидно интересующегося: что нужно? Всё!

Па... ты же был природный коллекционер: после твоей смерти, разбирая шкафы и ящики, я нашёл сумму трамвайных билетов со всего Советского Союза: ты их собирал тщательно, видя в них — мелкие листки памяти...

Да, спекулянты обнажали портфели, доставали альбомы, и ты предлагал мне выбирать, и выбирал я, теряясь в цветных этих, марочных прелестях... военные униформы... динозавры... виды островов...

Япония — пишется Ниппон, па. Албания — Шкиперия...

А потом, когда шли к метро, ты говорил, улыбаясь: «Ну вот, Саш, потратил я пятнадцать рублей, а кто-то пойдёт в ресторанчик, чекалдыкнет стаканчик...»

Па, я ж говорил в начале рассказа, что напьюсь?

Алкогольная тема у нас не проявилась — в жизни: я видел тебя два раза поддатым, а во время застолий, организуемых мамой, было столько роскошной, раблезианской еды, что вы все — блеск компании, связанной с пением, с Матовой — выглядели вполне приемлемо...

Я знаю, отец, что ты не ведал, алкогольной меры, но, учитывая наше интеллигентное тепло семьи, не позволяя себе...

А я, бывало, разгуливался: уже после тебя, шлейф тянется, и алкоголь, так сгущая краски, выступает совместным Брейгелем и Ван Гогом, пишушим почему-то маленькую жизнь...

Как мы жили с мамой после тебя?

Представить — через духовное зрение, через кристаллы, не представимые здесь, на земле, в недрах вечного, скорбного вращения юлы юдоли — видел ты всё, видел пристрастно, а?

Как я начал писать, вращая в поэзию, как я, тычась в стенки лабиринта, искал выход к свету, как, одержимый необходимостью печататься, пробивался — долго, целые шесть лет, маленькая жизнь...

Как попал в печать, постепенно стали печатать много, так много, что и не представить...

Это не имеет теперь значения, па.

Литература изгнана из жизни — зачем она, со своей альтернативной явью?

Она ж нужна только для развития души, а эта субстанция совсем непонятна: особенно учитывая неистовое вращение блескуче-пошлых соблазнов последних десятилетий — которых бы ты, романтик, чистый душою — не выдержал: не оттого ли умер, убрали тебя, изъяли в той, ещё советской яви...

...Поминальный зал морга: скромный, маленький; у калужской тёти Вали — единственной практически, кого ты признавал из калужских маминых родственников, а я так их всех любил, пап! — спрашиваю:

— А где очки, Валь? Отец же в очках всегда был...

— В кармашке пиджака, Саш, — отвечает...

И — заходит другая тётя Валя: Мешкова. И, положив цветы в гнездо гроба, говорит:

— Как будто спит...

И я отвечаю резко, молнией слов:

— Нет. Не спит.

Па, встретил ли маму?

Я не могу прижиться, притереться к жизни без неё: сегодня — два с половиной года ровно, как я видел маму живой, и раз — видение просквозило: вы — я не спал, па, нет — словно в цветке золотисто-небесном, таком прозрачном, оба: и мама склонила голову тебе на плечо...

Вы ж ругались в жизни, па...

Зачем вы, разрывая пространство наших маленьких жизней, так ругались, пап?

Я пугался, забивался в угол...

...Я тоже теперь ругаюсь с женой — понимая, насколько не прав, падая в лужи пустых амбиций, взрываясь, измотанный жизнью, в том числе писаниной...

Ветвление рода, па!

Таинственные мерцания потаённой сути...

Ты говоришь, имея в виду своего отца, которого не мог я знать:

— Вот как дед бы тобой доволен был. И чтением твоим, и что пишешь, и всеми интересами твоими...

Бродим по Москве, отец.

Всю её — оттеночно-переулочную, такую неровную, византийски-великолепную, ты знал хорошо, но — брал с собою книжечки-путеводители, и...

Бродим, па, ты говоришь об этих улицах, и впитываю я драгоценную субстанцию твоей речи...

Сегодня ровно два года с половиной года, как нет мамы — пап...

Давай — под финал, которого нет, войдём с тобой в советский клуб нумизматов: ведь коллекционирование — страсть, передавшаяся мне от тебя — физика, путешественника, певца, собирателя, всего-всего, сколько в тебе бесконечности, па...

Клуб этот, таящий конкретную вечность нумизматического культурологического счастья, находился в церкви: атеизм, как вариант религии, сулящий свои букеты ощущений, — есть государственная печать; детей не пускают, но ты потихоньку съешь мягкую зелёную трёшницу — и вот: я — единственный ребёнок здесь. Где — столы, за которыми сидят старейшины, разложив все свои нумизматические варианты.

Клуб постепенно наполняется, становится многолюдно, пластается гладкий шум... Клуб наливается интересом, как виноград соком. И я — двенадцатилетний, с почти раскрытым ртом и восхищёнными глазами — взираю на монетную роскошь, понимая, насколько она связывает с историей, чей код не вывести, сколько ни тщишь, и культурой, позволяющей прикоснуться к своему телу всякому, кто пожелает, мало желающих стало; и мы бродим с тобой, па, бродим до бесконечности, любуясь и разговаривая, и потом ты купишь мне, хотя сам их любишь, скромную и изящную монету, и, счастливые, поедем домой, где ма, наша великолепная, драгоценная ма, ждёт нас с обедом...

II. ТКАНЕВЫЙ УЗОР

Перед вечностью крошишь хлебные крошки воспоминаний — будто на корм голубям... Только голубей никаких нет, а тех, что знаешь по московскому изобилию, не заинтересовать такими...

С каких лет помнишь маму?

Вот ведёт из поликлиники, узкие перешейки внутри дворов и медленное движение к дому, огромному, роскошно-коммунальному — движение, смазанное твоим рёвом: вероятно, в поликлинике делали больно...

Будто снилось всё — два с половиной года без мамы сильно раскурочили психику, превратив тебя в нервный комок: ты — формально пожилой, приближающийся к шестидесяти, внутренне остаёшься ребёнком, забытым в Вавилоне Ашана, но... где же мама?

Вдруг появляющееся ощущение тотального сна: просто снилось всё, но ведь боль конкретна, она свидетельствует о том, что ты жив и не представляешь потустороннего бытия...

Встречают?

Ведь ребёнку на свет помогают родиться, значит — должна быть помощь и при рождении на тот свет; ведь утверждал индийский мудрец, что смерть просто гасит лампу, когда пришёл рассвет...

Попытка убежать из детского сада словно преподносит пёстрый ковер, будто бьющий по лицу, и массу ног, которые, ревя, стремишься обойти, чтобы присоединиться к маме, обещавшей, что не оставит здесь...

Детские воспоминания, залитые кислотами лет, смутным отзываются чем-то, словно коричневые разводы, идущие по живым фото...

...Мы собираем чернику: точки её чернеют под листьями, будет вечером мелькать перед глазами, мы собираем её с дядей и тётей, под Калугой, где часто бывали: мама ведь оттуда... Мы собираем её с мамой, и ощущение, пронзающее маленькое твоё сердца, велико: как же я люблю тебя, ма...

Ребёнок — тогда не соприкасавшийся со смертью: все были живы, и теперь, когда огромное количество любимых родственников переселилось на Пятницкое кладбище в Калуге (но не только), тот же ребёнок в тебе плачет воспоминаниями. Горько и слёзно.

Не получается иначе, отвлекаясь на что-то, разумеется, ведь занят, много дел, постоянно сбиваешься на колею мыслей о смерти...

Онтологическое парение.

Жуть и любопытство: такое испытал когда-то в советском детстве, впервые войдя в церковь; испытал, не забыть.

Идти в церковь? Но не чувствуешь ничего там или — не понимаешь, что чувствуешь, концентрируясь, словно отправляя послание в высоты. С мамой были здесь последний раз за полгода примерно до её смерти, уже тяжело ей было ходить, и вёл её, вёл, потом в церкви помогал...

Мама была чистой необыкновенно: казалось — ощущается сие физически. Называла себя Золушкой: обустроивала дом, хозяйство образцово сияло, всегда всё должно быть по её: мелкие стычки, возникавшие от этого, теперь не имеют значения... Что имеет?

Мамы нет...

Не представить калужское её девчончество: заводилой, вероятно, была, активной, лёгкой, улыбчивой. Мало фото осталось, но они не дарят тебе радости, никогда не любил фотографий, эту попытку обмануть смерть.

Почему мама не проявляется? Боится испугать меня?

...Во время войны была в эвакуации — с бабушкой, сестрой и братом, отец их, мой дед, погиб в первые дни войны: пограничник, пропал без вести, ухнул в огромную общую массу неясности смерти. Вероятно, ей, маленькой, довелось узнать голод — говорила, что самое страшное — он...

Всё представляю её с отцом, дедом своим, в пене пышного платица, и — как покупает ей пирожных: нравилось просто, как тычет пальчиком, выбирая: это... и это... А бабушка, шутя, ворчала, якобы ругалась, зачем столько, и отсмеивался дед Алексей: да уж очень она умильно выбирает. Умильно... Мило...

Наши собаки, ма! Дворняжка Джек: но — принц внешне, такой красавец, избравший меня хозяином, пудель Лавруша потом: он выбрал тебя, мам, ты помнишь? Спал в ногах, подстилала ему что-то...

Где твоя память, ма? Моя, перегруженная, болит, нарушая правила жизни...

Я пойду пройду, ма, на улице становится легче, одиночество квартиры надето на меня бременем, а внучок твой любимый с мамой сейчас на даче: играет там с ребятнёй. Мы оставались с тобой вдвоём, ма, когда уезжали они, а теперь я жарюсь на июльском

солнце одиночества...

Ты приехала в Москву в восемнадцать лет: какой она показалась тебе после Калуги? Тётя Саша, некогда знаменитая солистка Большого Матова прописала тебя в своей квартире, и меня, рождённого через двенадцать лет после приезда твоего в метрополию, в год её смерти, ты назвала в честь неё...

Говорила, что поступила в Пищевой институт... волею случая: в последний момент всё решилось, была уверена, что не попала, и вот... Рука судьбы, вектор её неотменимый, не знаем, кто направляет нас, ма, но направляет, очевидно, кто-то...

Будто каждый имеет миссию — маленькую, но миссию...

Мама ходила в магазины каждый день, оставляла сумки в ящиках, я, раздражаясь, забирал, всё ворчал — зачем так часто. Ей нравилось ходить в магазины. Теперь мне понравилось покупать еду, хоть так выбирать по качеству, как она, проработавшая сорок лет в Торгово-промышленной палате СССР, я не умею...

Ничего я не умею, ма, растерянный в жизни! Нет, занимаюсь аутотренингом, умею многое, многое получается, я не одинок, я живу насыщенно, а внутреннее состояние... Иногда оно бывает ничего, ведь прикидывал, как буду жить без мамы, оставаясь уверенным в том, что бессмертна.

...Малыш наш, внучок твой, года в два-три-четыре всё хватал тебя за халат, тащил как будто, улыбаясь, и ты восклицала шуточно-испуганно, а он требовал, маленький и забавный: «Оля, ку-ку...» И вы играли с ним в прятки, ты становилась в простенок или за дверь, а он в основном забирался под разные поверхности.

Когда гуляли, сказал раз: «Мы все долго будем жить, пап!» — и перечислил нас... Олей называл тебя, с прогулки всегда приносил то цветочки, одуванчики всякие, то листики цветные, дарил тебе...

Вот он в школу идёт: рано проснулся, волнуясь, и ты, ма, не пошла с нами, а год был ковидный, и в переулке происходило маленькое торжество, и вдруг, словно почувствовав, обернулся я — ты стоишь у маленького тополя, принарядилась, накрасилась, и бежит он к тебе, знакомит: «Оля, это Лиза, это Стёпа...» И улыбаешься ты детям, которых так любила, ма... Сказала в пятнадцатом году, когда nelaды пошли со здоровьем: «Мне б дожить, как в школу пойдёт!» Оборвалось во мне что-то, ты, почувствовав, добавила: «У тебя жена есть, сын...» Есть ма. Тебя нет. Но ты же долго, долго прожила...

...Как тогда тебе было, когда только приехала в Москву? Как ты жила у тёти Саши? Не представить мне пятидесятые, нагромождение непривычных форм и норм, знаю, что с отцом познакомилась у тёти Саши, к которой ходил учиться петь, разнообразно одарённый... Бархатный его баритон серебрился...

Я сплетаю ткань из отсутствия. Я плету её, ни на что не надеясь, ввергнутый в жизнь, растворённый в ней, сознание не растворить...

Я сплетаю тканевый узор, зная, насколько всё неповторимо или непоправимо, уходя в прошлое, которое, при определённых поворотах, выглядит как будущее, и зная, что если помогают ребёнку родиться, то должны помочь и умереть — то есть родиться в грядущую жизнь.

III. РВАННАЯ ЛЮБОВЬ

Краски сгущаются, несмотря на былое, и видишь:

...Ты, толстый, нескладный, нелепый в жизни юноша, книжный донельзя, переживший тяжёлый пубертатный криз, сидишь возле библиотечных стеллажей, отстояв выдачу, читая толстый том, и — она: ещё не ведаешь, что и как с ней свяжет, заходящая к подругам на абонемент, на котором работаешь... Мимо идёт, спрашивает, общительна: «Что читаешь?» И краткий разговор с ней слегка оживляет — не вписывающегося пока в компанию эту, которая скоро станет твоей.

Молодёжная компания в конце восьмидесятых: в библиотеке занюханного вуза, где не только замшелые тётки работают, привлекала, и стал меняться на глазах, отказываясь от чтения, меняться двойственно: начал качаться, занимаясь атлетикой, и выпивать одновременно...

Мама говорила годы спустя: «Светка к нам домой, как невестка, ходит». Ну да, возможно...

Краски сгущаются неумолимо, лента рвётся — невыносимо, и, видя себя, едущего на похороны её, 39-летней, а самому 34, не понимаешь, как могут совместиться она и смерть, она и гроб, она — избыточно-живая, легко звеневшая серебристым смехом, так легко двигавшаяся, несмотря на пышную плоть — и потусторонняя лодка гроба, успокаивающая навек, уносящая в неведомость...

Девочки её, дочки десятилетней не было на похоронах; и огромная территория больниц смутила изобилием пространства, шёл наугад, и у тётки, сидевшей на

скамейке, спросил: «Не знаете, где тут морг?» Потёртая тётка со щеками, как два затёртых мыльных бруска, вскочила, чуть не крикнула: «Ещё лет десять не знать бы!» Интересно, жива ли теперь, спустя 22 года?

...На бульваре под золотящимися летними липами пьём пиво — баночное, столь редкое: излом Союза цветёт зигзагами грядущей безвестности; пьём, смеёмся, болтая шут знает о чём, вдруг говорит: «Знаешь, как мне приятно было, когда ты охапку сирени ту притащил!» С дачи — оборвал, сколько мог великолепных ломтей цветения...

Нет, дарил ей сколько-то раз цветы: великолепие роз ювелирно стыло в шуршащем целлофане; а на двадцатипятилетие — было ж когда-то! — договорился с двумя парнями с работы, что подарим французские духи: мама могла достать, но они отказались в последний момент, посчитав — больно дороги. Подарил от себя — за сорок рублей, половина тогдашней зарплаты, вызвав и восхищённый шепоток, и кривотолки...

Эффектна, соблазнительна, пышнотела, легка в общении: с кем угодно заговорит, может материться, хотя получается вполне изящно, пикантно... Добра, любит выпивку, компанию, рестораны... И ты — книжный маменькин сынок, вдруг выгранивший тело своё атлетикой, ярый читатель, сочинитель... Начнут печатать при её жизни: и период от первой публикации будет окрашен...

Ма говорила: «Она смотрит на тебя влюблённо!» Она замужем тогда была за твоим приятелем: но это не значило ничего... почти ничего: всё равно — брак распадётся скоро, уже подарив цветочек дочке Анюты...

Кадры первой твоей молодёжной пьянки: у подруги из той библиотечной компании, получившей однокомнатную квартиру: пустая, только стол и стулья. Магнитофон работает на полу, и Светка целуется с кем-то, и пьяная течёт атмосфера, вспыхивая странными огоньками изнутри, точно напоминающая тебе соблазнительно-парижскую, из книг...

Пошли выносить бутылки — под лестницу ещё необжитого дома, и сказал, пытаюсь обнять: «Ты целовалась с... А со мной?» Засмеялась: «Не бери дурных примеров!» — отстраняясь...

Почему не сложилось, не сплелось, не выкрутилось дальнейшее? Было бы хуже, если б...

Огонь одной из выпивок у тебя дома: женщина скоро выйдет замуж, и, вдруг оторвавшись от нескольких нас, идёт на кухню, пишет письмо и, запечатав его в конверт, протягивает тебе, вернувшись, а потом, после ещё нескольких рюмок, вырывает, рвёт, выбрасывает. Опьянение шло, сложились... И — в таком состоянии — билась на кухне, трепеща язычками огня: «И с тобой не могу, и без тебя... как мне тебя всю жизнь тащить?»

Вне мира — сочинитель. Не приспособлен к нему.

...Складывал обрывки письма: «У меня нет никого лучше тебя... счастлива, что узнала... но... мне пора замуж... я не смогу тянуть себя всю жизнь...» Текли по разорванному листу слова, исполненные её великолепным, щедрым и сильным почерком...

Время сгущается, но обещанная концентрация не представляет ничего, кроме шаровой бездны: которую едва ли сможешь истолковать...

Узнав, что живёт в доме, напротив твоего — о! огромный, целая страна, хребтовый массив пятидесятих, с огромным же, многоярусным каким-то двором внутри, — предложил, преодолевая робость, в самом начале знакомства ходить на работу, когда часы смен совпадали, вместе. Улыбнулась. Согласилась.

На следующий день утром ждал, куря, нервничая сладко, нечто предвкушая как будто... хотя — нечего было предвкушать... И длилось сколько-то краткое это совместное хождение: со смешком, анекдотами, шутками, разговорами о работе даже, которая тебя, ещё не проявившегося сочинителя, не интересовала вовсе, хотя поначалу и не тяготила...

...Сквозь лесопарк: а начинается от горбатого моста, по которому, важно переваливаясь, ходят трамваи, — сквозь лесопарк, насквозь проходя петлистые тени и нежное трепетанье листвы: сквозь него, щедрый, выходили к системе прудов — о! тогда, в финале восьмидесятых, они были чище, мы купались в них; купаться и шли...

Шли, рельефы местности мерцали, иные стволы, замшелые понизу, были альфою древесных гигантов, и пруды — словно врезанные в земельные чаши, открывались, сияя прозрачно-золотистой чернотой...

...Нежные завитки улиток краснели на бетонных бортах...

«Ну, руку ж дай, помоги выбраться...» И не знаешь, скованный, зажатый комплексами своими, словно распятый ими, как сказать — главное... Ждала? Понимала?.. Ведь говорила мама: «Ходит к нам домой, как невестка...»

Лёжа на пёстрой подстилке у берега пруда, болтали о всякой чепухе, и последний анекдот, услышанный где-то и повторённый мной с возможно комической интонацией,

снова затмевал никак и не идущие сокровенные слова...

Ехал на похороны...

Не виделись последний год или полтора, не виделись, ушла из объектива твоей реальности, хотя, узнав о твоём романе с будущей женой, взревновала выплеском, что-то резкое сорвалось с губ, потом... остановилось тотчас; державшая тебя... как вариант запасного аэродрома, понимала, что не вправо, не вправо...

Всё равно. Тридцать девять.

...Идём куда-то, не вспомнить цели, мимо сияющих витрин, вывесок банков, роскошных, по-вавилонски огромных домов, идём, говоря о том, о сём, и вдруг, словно сорвавшись откуда-то, произносит: «А я думала, мне вечно двадцать семь будет. Или двадцать восемь...» И улыбается — солнцу в ответ. Не хотела долго жить?

Гуляли в парке, в том числе в том, где пруды, гуляли, когда дочка у неё появилась, комочек плоти в коляске, гуляли, праздно впитывая роскошь мая или июльскую спелость, и снова слова падали — легко, иногда шампански пьяня, порой — вообще ничего не знача... Потом — с дочкой бывала в гостях, и мама, так любившая детишек, раз пекла с нею пироги: забавно смотрелась девчушка, ныне взрослая, преодолевшая тридцатилетний рубеж, с лапками, перемазанными белым... Забавно.

Много смеха было, когда общались: вспыхивал он в ней в самом сердце души, и лицо трепетало вымпелами, и серебристо звенел в воздухе смех, затухая... Много смеха было — давно-давно: так, словно это всё кино, в котором с ней бывали всего пару раз, да и то — за руки не держались: так давно, что не верится в собственный свой возраст.

Как не мог поверить, глядя в тихую лодку гроба, что это она в нём: сейчас отправится в неизвестные пределы...

Нет, отправилась уже, оставив тот телесный состав, который, лишённый ауры движения и речи, воспринимался отстранённо, страшно и странно.

IV. МАРИНКА

Недалеко от дачной страны, сегментато составленной из шестисоточных участков, их однообразно-разнообразных нарезок с нагромождением похожих домишек, непременными парниками, смородиной-крыжовником, обилием вишен, спутанных ветвями, и гордых яблонь, — стоял почти в чистом поле офицерский дом.

Поле быстро стало не особенно «чистым»: возникли гаражи, постепенно появились маленькие огороды, женщины насадили клумбы... В этом доме жила двоюродная сестра Маринка с мужем-полковником Володей и двумя детьми... Как быстро они вырастают!

...Многие ли хранят память о крошечном их, розовато-белом, чудесном детстве и обо всей этой — с купанием, плачем, прогулками, играми и необыкновенной прелестью чистоты — стране жизни...

Наташка, дочка Маринки, скуластая и красивая, Алексей, высокий, в неё же, курчавый, с ясным, открытым взглядом, скоро разлетелись, обрели свои семьи, Маринка стала обрастать внуками...

Она сама — врач ОФП, работала в пятой горбольнице Калуги; а дом их стоял на Правобережье: район, некогда бывший деревенским, но столь стремительно разрастающийся, что и Калугу уж особо провинцией не назовёшь...

«Как во Владивостоке жилось, Марин?» Долгий период — Володку отправили туда — был связан с далёким, прекрасным городом... «Да хорошо, Саш... Такая красота сопок...»

Они уезжали в тот месяц, когда умер мой отец, и Маринка, любившая всех, всем всегда стремившаяся помочь, плакала, уезжая, плакала, захлёбываясь, словно предчувствуя что-то...

Это — излом Союза, 87 год, воспоминания, залитые кислотами времён, вибрируют во мне слабо, словно отзвуки... прошлых снов.

Всё сны, ребят, вы не заметили?

Вчера мама вела меня за руку в детский сад, а уже два с половиной года, как мамы нету...

Она мне приснилась? Как снюсь я сам себе, запутавшись во снах, точно участвуя в будлаковском «Беге», где нет традиционных картин, только сны... Прозрачно-муравовые, перламутрово-серебряные...

Не правда, что воспоминания — это богатство: когда хороши они, хочется в них вернуться, коли плохи — забыть, поскольку ни то, ни другое невозможно, остаётся страдание, — данного момента, где ты снова онтологически одинок — хуже, чем посторонний Мерсо, выпотрошенный пустотой.

Маринка — дылда, занимавшаяся волейболом когда-то и ещё, кажется, лёгкой атлетикой, теперь не узнать. Дылда, истерическая нравом, очень добрая, кудлатая,

без конца (представлялось) готовившая еду: всех надо накормить! Немедленно и раблезиански; было всего много, пышно, вкусно; как-то пришли с дачи моего двоюродного брата, Алексея, он, я и Володька, с которым дружил, и Маринка тотчас стала накрывать на стол, а они отставили тарелки дружно-демонстративно — и растерялась сестра, мол, как же? «Закормила!» — дружно воскликнули, и тогда я, хоть есть не хотелось, сказал: «Я буду, Марин. Клади всё...» Радостно наваливала смачные пищевые горы...

Она мчалась ко всем — коли требовалась даже минимальная помощь; она была одержима депрессиями, она часто повторяла: «Какая тоска!» И — тут же: «Надо жить». Жить, жить, даже за гробовой чертой, не представить себя в гробу, не вообразить в этой скорбной лодке Маринку: весёлую, переполненную жизнью, хоть и с этой — кудлатой, как она, тоской.

Любила рулить. Какая у неё машина была? Не разбираюсь я в них, увы...

...Володька её — в противовес, молчалив, даже выпив поллитра, что не особенно на него влияло, не становился разговорчив.

Помнится, раз с Алексеем, братом-кавторангом, отправились к нему в часть: просто так... Древние здания, мне казалось — монастырские, КПП, с которого звонил Алексей, и вот — скрипящая лестница, обширный кабинет, и Володька — возлежащий в следующей комнате, под картой страны: отдых... Поднялся тотчас, поприветствовал, не спрашивая открыл сейф, откуда извлёк бутылку, шпроты, овощи, хлеб. Всё закутилось здорово.

«Володь, ну и потолки тут...» — «Метров пять». — «А что раньше в этих зданиях было?» Но я, помня свой вопрос, не помню ответа...

Бытовые ссоры вскипали у них с Маринкой часто: онтологическая банальность, обыденность, не имеющая обаяния; раз, оказавшись внутри такой, я чувствовал себя неудобно, да ладно, что там... Ведь добра была Маринка, ведь столько читала, всё норвила поговорить со мной о литературе, и говорили, конечно...

Ряды книг, плотно стоящие в шкафах квартир: добротные-качественные советские издания, густота собраний сочинений. И дети читали: странность! Впрочем, росли же ещё в Союзе, хотя и застав его край, а тогда многие дети читали.

Виделись-то с Маринкой редко, одно время стали переписываться по электронной почте. А дальше — никто не мог предположить.

Ойкумена взаимно пересекающихся жизней рвётся, как старая ткань...

«Маринка в реанимации, — сказала моя старенькая мама. — Звонила перед этим, сказала: Ляль, мне так плохо никогда не было...» Не придавал значения. Маринка — сгусток воли, командирша, выберется. И — как раз наплывал мой день рождения: упал тяжело, снежно: 29 декабря. Мелькнуло: что-то Маринка не поздравляет.

30-го звонит Алексей и спрашивает, интонация и голос ничего не выдают: «Ты сидишь?» — «Ну», — отвечаю. «Ну, сиди. Маринка умерла». Сила, которую не определить, вжала меня в диван. «Может, маме скажешь, Лёш?» — «Не-а. Сам говори». Мама на кухонном диване сидела, и я, колеблясь, перебирая варианты слов, пошёл на кухню: «Ма...» Я сказал. Она откинулась — старенькая моя мама, бормоча: «Марина... как же так... меня хоронить собиралась». Мама лежала час.

Маринке было 65. Ма пережила её на год...

Вот и всё — правда ль, Марин?

Кудлатая, высокая, порывистая, всем всегда стремившаяся помочь, Сашечкой меня называла.

Вот и всё — но я не могу думать о тебе, как о мёртвой.

V. НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

...Круглый блеск, идущий от монет, пересекается с лаковым блистанием стеклянных витрин, надёжно защищающих таинственные, разной цены, от дорогущих...

— Приветствую, — говорит, заходя так, будто у него избыточно денег в жизни, Александр торговцу: лысому и крепкому, прагматичному, явно спортивного склада Андрею, сидящему за монитором и прихлёбывающему нечто из толстой кружки... Не алкоголь, а я бы выпил с ним.

— О, — встаёт, протягивая руку. — Давненько... Излагайте!

Рукопожатие твёрдо и округло, как орех.

— Сейчас-сейчас...

Хотелось бы многого.

Что все монеты излучают сияние: это нет, конечно, интереснее как раз те, тусклые, старинные, убираемые в сейфы, когда торговая работа заканчивается, но откуда же взять денег на подобные экземпляры.

Александр вытаскивает из кармана бумажку, на которой выписан номер

— порядковый, каталожный номер, ориентируясь на правила лавки, чего-то серебряного... ну, допустим, монеты из австрийской серии тридцатых, с портретом маленького, растерянного в жизни, плохо выглядящего Шуберта, и, озвучив, поясняет, что именно ему нужно.

— Ага. Сейчас, это тут у меня... — Андрей выходит из-за прилавка, маленький ключик лаково поблёскивает в руке, и, отворив дверцу, достаёт экземпляр, вытащив его из планшета: — Она?

— Ага, — крутло падает слово. — Пакетик дадите?

У них такое правило в магазине: к каждой купленной монете — фирменный кармашек. Не то пакетик.

— Андрей, смотрите, — спрашивает Александр, убирая своего Шуберта, — полтинник может три тыщи сейчас тянуть?

— Какой? Это обычный с рабочим, что ли?

...Они, они, вечно служащие расхожим, разменным материалом, первые, советские, но — неплохо исполненные, иногда розовато поблескивающие, в люксовом состоянии, чаще — тёмные, как дебри грядущего.

— Ну да...

— Год? — спрашивает резко.

— Ой, забыл, а что?

— Дело в том, что 24-й год кто-то искусственно поднимает. Сам удивляюсь. Так что могут просить...

— И Гинденбурга пятёрки столько?

— Гинденбурга? Бред. Это даже если б Гитлер воскрес и лично вам принёс эту монету, всё равно — за такую цену надо психиатричку вызывать.

Александр улыбается. Оценив изящество шутки, обменивается рукопожатием с Андреем и, оглянув ещё раз соблазнами текущую витрину, покидает лавку...

Сколько раз покупал у Андрея? Куда уходят корни твоей нищей, иступлённой нумизматики, несчастный, а?

...Резной, старинный, с фронтоном, как на соборе античном, шкаф: и дерево отливает благородно-темновато, а когда шкаф закрыт, то, кажется, стёкла его — очки, через которые глядит строго, отчасти — укоризненно.

Ряды книг: плотно стоят основательные советские издания, и тёмно-зелёные литпамятники так гармонируют с почти фолиантами энциклопедии, и мальчишка лет десяти находит коробочку, стоящую перед книгами.

Жестяная коробочка, из эстонской серии, знакомая подарила, для специй, но внутри — не специи, а монетки. Маленькие они, в основном алюминиевые, соцстран, но мальчишка, замороженно высыпав, перебирает, находит одну, блеснувшую скупой, и, разглядывая, читает надпись — Гельвеция. Латиницей, конечно; и ещё одну — желтоватую, восьмигранную...

Вечером: «Пап, а что это за монеты?» Отец вертит в руках, рассматривает. «Не знаю, сынок. Давай узнавать».

Как и где узнавали? Сейчас бы — кнопки нажал в интернете, а тогда? Но отец выяснил: полфранка Швейцарии и шестипенсовик Георга 5-го... нет, 6-го — они и стали началом интереса. Впрочем, здесь скорее струны страсти, и, исполняя на них музыку ретроспекции, можно погрузиться в атмосферу советскую, когда...

Недалеко от дома в лесопарке собирался чёрный рынок, ориентированный в основном на книги, марки, монеты. Самодельные пластиковые хранилища развинчивались, если кто-то что-то покупал, монеты изымались из ячейки, и Доктор, напоминая херувима, розовощёкий нумизмат, протягивал отцу приобретение. Сын был рядом.

Рынок гоняли: и, ломая кусты, топчя снег, кидалась серо-чёрная толпа врассыпную. Менты смеялись: «Что бежите, как лоси?»

Тогда Доктор рассказал отцу про клуб: собирался раз в неделю, метро Профсоюзная, вход — из арки в подвал, и Сашка ждал отца, ведь детей не пускали, ждал, бродил, мечтая, обследовал соседние дворы.

Отец и сам увлёкся: выбегал, куртка нараспашку, шарф сбился, но из кармана извлекал пригоршню: экзотические страны, и тут же рассматривали, и произносил сынок заворуженно: «Маврикий... Мадагаскар...» Цены им не было!

...Они так дешёвы, мальчик! Но — какую аурой одевались — таинственно сияющей, многонасыщенной, словно парили в неизвестном, но таком соблазнительном пространстве контуры островов, нежно перехваченные разнообразным содержанием, и плавно сияли воды... небесные воды мальчишеской мечты.

Это — уже Александр другого формата: выйдя из метро Киевская, он, ездивший отсюда тысячи раз в почти родную Калугу, где столько дорогих родственников и (заметьте, часы!) все живы, переходит на другую сторону и, двигаясь к реке, не

очень-то вбирая знакомый урбанистический пейзаж, сворачивает, чтобы оказаться у магазина «Филателия».

Филателия-то она филателия, но собираются тут торгующие многим коллекционным материалом: монетами, в том числе. Александр продаёт монеты. В магазин заходить не надо, торгаши собираются во дворике, и все с портфелями — тяжеленными, раздутыми от альбомов и кляссеров, и юноша, подходя к одному, спрашивает:

— Австро-Венгрия нужна?

— Что у тебя? — роняет с высоты роста вальяжный, морщинистый, носатый, пергамент напоминает лицо, и извлекает Александр из сумки несколько упакованных в пластиковые пакетики монет, и вертит равнодушно зубр и ас советской спекуляции.

— Сколько за пятёрку хочешь?

— Тридцать.

— Нет, двадцать пять.

— Я прошу тридцать...

— Ну я же сказал — двадцать пять!

Тон — не возразить. Однако забирает монету с любимым некогда Францем-Иосифом, стариком Прогулкиным, и идёт к другим: своеобразная парочка. Один — изящен, тонок, в речи интеллигентен, второй — низкий и коренастый, с картофельным носом и прилизанными соломенного цвета волосами. Они всегда вместе.

Если мент проходит мимо и Александр дёргается, улыбаются синхронно:

— Не бойсь. Когда ты с нами — не тронут. Что принёс? — спрашивает картофельный нос.

Изящный лениво перебрасывает листы альбома. Потом — смотрит на монеты Александра. В данный момент удаётся договориться, и, получив некоторую сумму, молодой человек идёт к метро, представляя...

...Ну что можно представлять в восемнадцать, на изломе Союза, получив деньги? Как поведёт девушку в кафе, конечно: ведь девушки стали важнее монет, а денег ему, работающему в библиотеке без намёка на перспективы, взять неоткуда. Безнадёга всегда висела дразнящим занавесом: кажется, протяни руку, отдернешь, да не протянуть — коли неизвестно куда.

...Было иначе: клуб нумизматов, переехавший из-под арки, собирался в церкви, давно переоборудованной, и никого, совершенно никого не смущало, что толпятся... в том числе в алтаре, никто не пользовался евангельскими ассоциациями.

...Неизвестный человек в развевающихся одеждах опрокидывает столы, и ошалевшие от такой наглости торговцы открывают поражённо рты и расставляют руки.

Или — и бич свистел в руках неизвестного?

В тот клуб пускали с восемнадцати, но отец потихоньку совал одному из дежурных зелёный, как правило, мятый трёшник, и Саша был единственным подростком среди взрослых.

Единственная дама — из старейшин: им полагалось сидеть за столами, разложив товар; остальные бродили между, останавливались группками, показывая друг другу экземпляры, меняясь, покупая; а у дамы отец рассматривал польскую новинку с Шопеном, но не купил, не купил, денег не хватило.

— А это, простите, талеры? — с отцом подходят к худому и узкому, напоминающему ветку, засунутую в костюм, старику, благожелательно глядящему из-под пушистых бровей.

— Да, да, — понимает: не специалисты.

Подросток заворожённо глядит на чёрно-серебристые бляхи: огромные, как мечта, с рыцарями, колоколами, портретами, мечами; и отец, спросивший цену — просто так, конечно, — выслушивает про сотни стоимости.

Деньги другие, часы! — сотни — это очень много, а в верхнем ряду у деда лежали по 900.

Доктор, некогда рассказавший отцу про клуб, на месте, и рядом с ним — тушистый, важный, как саксонский курфюрст, Аркаша, всегда рядом они, столы их составлены.

Слышатся приглушённые голоса:

— Ну как?

— Да взял один ангальтский талерок...

Переплетаются волокна голосов...

— Посерьёзней что-то... а в золоте?.. Нет, этот тип екатерининского рубля не тянет столько...

Плывут мечты. Отец купит нечто серебряное, юбилейное — допустим, пятимарочник ФРГ с Кантом: невыносимо изящный, с вихрящейся, остро воспроизведённой подписью, и подросток будет счастлив.

...Как-то раз отец, вернувшись с работы, переодевшись, вдруг достал из портфеля-

дипломата каталог: американский Йомен, самый примитивный, и... мальчишка тогда, вцепившись, был счастлив до захлёба, листал мелованные страницы, покрытые кружками, и сказал, что будет сидеть всю ночь, изучая; улыбнувшись, отец возразил: «Не надо. Я ж купил его...»

...Долгие потом были годы без монет: сложно-мучительное движение в потёмках жизни, ранняя смерть отца, остались с мамой вдвоём, хождение на службу в библиотеку, скучное, невозможное, вытягивающее волокна из психики, и сочинительство — упорное, иступлённое, ни к чему не приводящее: страна разлетелась, сломанная о колено истории, литература — в щепы вместе с нею...

Нечто выкружилось постепенно. Семья появилась, да, часы? Вы, смалывающие своими колёсиками все человеческие мечты и надежды, вполне подойдёте в качестве конфиденнта, жаль — читатели из вас никакие.

Мальчишка, поздний сынок, рос. И вдруг — как-то захотелось монет настолько, что не смог терпеть, выкроил денег, пошёл, потёк, мечтая, лесопарком, наполненным зимними, обводными, серебряно-игольчатыми мерцаниями; пошёл к фабрике, расположенной на Богородском валу — красно-кирпичной, с трубами-мачтами, давно ничего не производящей, наполненной торговыми сегментами, и в каждом — столько всего...

Одноклассник как-то раз сводил сюда, показал место, в детстве ведь менялись монетами иступлённо, добывали, как могли, вспыхивают картинки. Там, в недрах счастливого пространства блуждая, нашёл павильон, где были с одноклассником, и казашка, явно жена хозяина, распростёрла перед ним толстое, слоистое тело альбома, и купил — крону Виктории в траурном платке.

...Я прохожу улицами старого Лондона, смог пока ещё не взялся за дело, и кэб, пролетающий мимо, вполне отчётлив.

— Золото? Нет? — к Сашке обратились, как к эксперту.

Были — Женька, тот, кто через несколько десятилетий покажет торжище на фабрике, и ещё один парень, старше года на два, у которого оказалась монета, подозрительно похожая на екатерининский червонец. Сашка крутит, вглядываясь.

— Лёгкая больно, да?

— И я так думаю. Потом — когда кидаешь её, не звенит.

Фонтан во дворе не работает давно, и медведица с медвежатами в центре воспринимается как-то неорганично. Монета падает на пыльный асфальт, и, не издав звона, остаётся на нём, поблескивая тускло.

— Не, подделка, думаю, — решает Сашка. Болтают о чём-то...

...Пенал коридора Женькиной хрущобы: обосновавшись тут, на полу, а Женька вытащил коробку свою, высланную вельветом, меняются: Австралия на Фиджи, половинки, пятидесятицентовики, и утконос, ныряя, разводит круги... детского счастья.

Мелькающие картинки не требуют твоего участия, хотя принадлежат тебе: купившему первую свою крону — во взрослой жизни — у тётки: так и будешь мысленно называть магазин; мелькающие картинки словно живут в пространстве, и мозг, улавливая их, становится каким-то расслабленным, не зимним.

Долгое время, как-то выкраивая деньги, тая увлечение от родных, ходил туда, на фабрику, покупал монеты, потом — неожиданно для себя — переключился на Андрея: с ним интереснее, сам нумизмат; и вот, разматывая ретроспекцию не особенно удачной жизни, вновь и вновь переосмысливая нечто мутное-смутное, воспринимаемая монеты, как каналы истории и культуры, Александр думает, что нет праздника ярче нумизматики, и если бы дано было выбирать, уж непременно выбрал бы её, а не докучное, бессмысленное сочинительство, перемоловшее жизнь — на манер мясорубки.

VI. АШУКА

Она держалась отстранённо сначала, выглядела манерно и напоминала учительницу на пенсии, но, гуляя с Катей, внучкой своей, стала оригинально играть с ней и моим Андрюшкой, года по три им было, и вот, когда накрапывал дождик, подошёл я к ним, протянул ей зонтик, улыбнулась, поблагодарила...

Действительно — несколько манерна, но — отчасти изыскана и легко выдумывает игры, нравящиеся детям; вот Андрюша подбегает к ней, кричит: «Тётя, тётя!» — собираясь что-то спросить, а Катя отвечает: «Это не тётя, это ашучка!»

Так у Андрюши получилось Ашучка...

Стали, встречаясь выходя, вместе гулять, разговаривать: то о детях, то о литературе, хотя не стал рассказывать, чем я занимаюсь, о своих публикациях молчал, как она не говорила о прошлом, кем работала...

Чётко созрело представление: учительница, есть нечто наставительное в том, как

общается с Катей, вместе — многоопытное...

— Это не Катя, — говорит о закапризничавшей девчонке. — Это Фекул, губы надул...

А то так: Катя нашла палку, и Андрюша подобрал другую, Катя мчится со своею к низкому дуслу в дереве, сует туда, палка ломается, и глядит Катя — у Андрюши палка длиннее, и — как заревёт: азартно, забавно... Все ищут ей длинную палку, но тут Андрюша повторяет Катин подвиг с дуплом, и у него становится короче. Он — в рёв... Ищем теперь ему...

О, Господи, верни меня туда! Все бури, все ненастья, все штормовые приступы депрессии отменялись тою игрой, мнившейся бесконечной, с детьми...

— Саша, приходите к нам завтра играть! — предлагает Ашука...

— Посмотрим, — улыбаюсь, ещё не представляя, куда потащит меня дитёнок, любивший разные площадки.

На третьем Катя, мы на шестом, и Ашука живёт одна, сюда приходит: тут сын и невестка, и последняя называет её, Ольгу Сергевну, мамой...

Горки закручиваются круто: Катя, светясь, съезжает, и длинные её, льняные и золотистые волосы сияют крошечным нимбом не страшного электричества...

— Ой, — восклицаю, — горка током бьётся...

— Да, я знаю, осторожно надо. Всё осторожно, — замечает Ашука, и чувствуется, хочет поднять учительственный палец.

Она жила осторожно. Катя не желает так...

...Андрюша втыкал палочки в песочницу, изображая некое строительство, и тут налетала Катя, забавно фырча, и выдувала розоватые шарики звуков: «Ветел... ветел...»

Все палочки, вывороченные из зыбкого песка, разлетались, и Ашука говорила: «Уважаемый товарищ ветер, нельзя ли перенести ваши действия куда-нибудь ещё, а то Андрюша обидится». Андрюша не обижался...

К чему мозаика воспоминаний, если плоть дней не восстановить, не счистить с себя лет сегодняшних, чтобы вернуться к счастливым...

О Боже, проведи меня в кино, где стереоскопичность изображения позволяет вернуться во двор... а из него выйти на улицу и отправиться в лесопарк, где мерцает пруд...

Ашука будет говорить, что не шибко понимает современную литературу: слишком много пустой, кислотами всё разъедающей игры, и склоняется она к классике, и, поохав немного при воспоминании о кристаллах пушкинского языка, посетует, что Катя ничего не читает. «Андрюша тоже!» — сообщишь ты (ты и я путаются в странном калейдоскопе былого). И расскажешь, сколько читал ему вслух, пробуя и литературу, опережавшую очевидно малый возраст, и какими только книгами не стремился заразить. Может, хорошо, что не получилось: литература обладает особенностью, превратившись в мясорубку, перемалывает жизнь...

Трамваи, чьи современные формы напоминают гоночные болиды, проезжают мимо; мост вибрирует под ними. Вступаете в лесопарк, густой, как лес, но и легко прозрачный, слоющийся листвою, просвеченной солнцем. Осенняя листва напоминает Византию, а летняя — рай...

Тропки все знакомы, когда-то почти порхали здесь рыжие белки, полные такого природного обаяния, что дух захватывало, и сколь приятно было нежное покалывание лапок, когда, оторвавшись от слоистого ствола, перепрыгивали на ладонь — за орешками.

Ашука помнит белок. Дети — не могут...

Поворот, спуск к воде, мерцающей бархатно-золотистой чернотой, и не умеющие плавать малыши, разувшись, будут ходить по краю, брызгаясь друг в друга, потом присядут, рассматривая не то гусеницу, не то улитку, и солнце, стекая расплавом с листвы, добавляет медовости в каждый миг.

Где ж она теперь?

...Вольт памяти или шахматный ход (только неизвестно с кем играешь: ведь ни Антония Блока, разорённого душой крестовым походом, ни персонифицированной смерти нет) перебрасывает в зиму: вот протянула она свои нити, опалово серебриющиеся везде, и, ювелирно украсив деревья, играет на свирелях и скрипках; а на коробке дворовой спортивной площадке — сумма людская, и Ашука согбенно пробует тащить Катю, плотно усевшуюся на санки...

У меня Андрей: во мне — сколько-то сорокаградусного счастья, принятого дома перед выходом, я говорю: «Ольга Сергевна, давайте я!» И захватив сонные санные верёвки, лихо влеку детей, закладывая виражи, вычерчивая геометрию веселья, и хочочут они — детюнцы, маленькие и счастливые.

Катя быстро выучилась на коньках: легко кружилась; Андрей глядел и глядел, попросили Катю одолжить на короткое время: попробовать, что получится.

Получилось: Андрюша встал и поехал, довольный, вращаясь, шлепаясь, тут же вставая. Купили скоро. Вместе катались — с Катей, Ашука же повествовала о своих фигурно-коньковых юношеских страстях...

А то — говорю:

— Умудрился мой сменную обувь потерять... Еле нашли!

— Это что! — вспоминает. — У меня раз было: портфель потеряла... Так замечталась, что остановилась, выронила и пошла дальше! Представляете?

Представляю, Ольга Сергевна.

Зима мелькнула хвостом: весна пролетела, лето жарит опять...

— Катя, — вычитывает Ашука, — нельзя под эти кусты лазить. Понимаешь? — Катя энергично кивает. Ашука держит её за лапку. — Не полезешь больше? — снова энергичный кивок. Ашука выпускает внучкову лапку, и тут же Катя, сложившись пополам, раздвигая стержни кустов, лезет под них... — Ну что с ней будешь делать! — к небу обращается Ашука...

Они растут быстро. Катя, когда отправилась в школу, практически переехала к Ашуке — ближе оттуда. Андрюша теперь гуляет один...

У лифта нашего дома встречаемся с Ольгой Сергевной, и она, глянув на меня, чьи глаза растворены слезами, когда не выедены ими, говорит, замирая: «Саша, мне сказали... Саша... держитесь, у вас есть ради чего жить!»

Мама моя умерла. Разорвало меня: не сшиваются внутренние половины, будто единым яблоком жизни были с мамой.

Ашука догадывалась. Она говорила потом, что может помочь найти психолога, рассказывала о себе, и как-то раз, когда я пил водку во дворе, надолго погрузились с ней в размышления-воспоминания, забывшиеся потом...

Но помнится, помнится, помнится, играя и звеня, та бесконечность счастья, связанного с детьми: так быстро завершившаяся бесконечность.

VII. ЖЕНЬКА

Проходя мимо открытой на первом этаже двери хозяйственного помещения, видишь мусорную тележку, закиданный мелочью сора пол, острые грани стен с облезшей штукатуркой: неприглядность нежилого помещения, потайного угла вообще основательного, с хорошими квартирами дома... Сколько раз, вдруг молнией мелькнёт в мозгу, проходили здесь с Женькой — одноклассником, отношения с которым стягиваются в узлы ссор-примирений, забавных довольно, если поглядеть с высоты — когда сумеешь подняться... Оттуда всё кажется пустою муравьиной суетой, и вещь жизни твоей очевидно принадлежит кому-то другому...

Детские кадры: вот в комнате хрущобы его, тесной и странно организованной, рассматриваете черепаху, какая, вытянув старушечью шею, всё норовит убежать, не представляя, что за пределами стола ждёт её гибель...

Увлекались ли тогда монетами? Едва ли — позже пришло, накрыло весь класс, стало определяющей страстью многих...

В коридорчике, столь маленьком, что троим уже на разойтись, на полу рассматриваете содержимое коробки, приспособленной Женькой под монеты, постелил на дно желтоватый поролон, и, наверно, меняетесь чем-то — Барбадос на Уругвай, Ватикан на Сингапур, не зная ещё — какие монеты бывают! Ух...

Тускло мерцает старинное серебро...

Ты уже сочинительствуешь, вписывая в школьные тетрадки рассказы, сопоставляя их с теми, что читаешь в книгах, унывая, а к нему увлечение музыкой придёт позже, к старшим классам ближе, но тогда, в силу слишком серьёзного пубертатного криза, ты не ходил в школу: было индивидуальное посещение...

Мазки отношений сохранялись, Женька увлёкся музыкой всерьёз. Брат закончил музыкальное училище, играл в ресторане, строил планы... пока к тридцати, разочаровавшись во всём и в себе, не заснул своеобразно, застыл в безразличии ко всему... тем не менее, что-то объяснял младшему, давал своеобразные уроки, и тот, заболевши музыкой, брал у меня пластинки с классической, добывал редкие записи, проторив тропу на Горбушку, которой больше нет...

Всегда странноватый был: учился так себе, лёгкий, весь какой-то необязательный, что ли, играл в пинг-понг, гонял в хоккей, школой не интересовался совершенно и, не чая поступить в музыкальное учебное заведение — стал сочинять мелодии...

Хитрый, всегда чем-то спекулировал, вечно искал выгоду — помогло устроиться в постсоветском раздразе, нигде не работая формально, даже трудовой книжки нет.

Да — он какое-то время проучился в Бауманском, брал академки, потом ещё где-то пытался учиться...

Разменялся, разъехался с родителями, всегда мечтал жить один, и, не видевшиеся

с ним десяток или более лет, встретились во дворе, когда я гулял с тогдашней своей собакой — милым моим, золотистым пуделем, которого нет так давно, что будто и не было, приснился, как драгоценные потерянные родные...

— Ты? — воскликнул я, не зная, что живёт теперь в соседнем доме.

— Что — своих не узнаёшь? — хохотнул.

Болтлив и смешлив, смешливость эта раздражает многих, как ленты речи, текущей всегда, ощущение создаётся — сам себя запутывает в словах...

Предложил пройтись... Отведя пёсика, я, не зная, чем занять вечер, пошёл с ним, бродили дворами, и он, рассказав, что издал диск музыки за свой счёт, всё ныл — никому ничего не нужно, никаких новых идей нет... Потом зашёл на полчаса к нему: половину стены однушки занимали стеллажи, забытые дисками: с фильмами, записями...

Стали перезваниваться иногда, встречаться, гулять — то на ВДНХ, которая рядом, то — чередой дворов, всегда столь интересных...

Одинок. Ни с кем отношения не сложились. Занимался риэлтерством вполне успешно, но это — больше эпизоды, чем постоянство работы, впрочем, всегдашняя хитрость и склонность к спекуляции выручала...

Ах да, я печатался тогда уже, довольно много, ходил на службу в библиотеку...

Он как-то сказал, что пишет стихи. Я ужаснулся — никогда ничего не читал и, вызываемый колоритным школьным словесником прочесть стихи вслух, пугался в словах, выдавая иногда такие перлы... Помнится, возгласил из Некрасова: «И нет ли трещи ны где, щели... и нет ли голо й где земли!» — и Земцов, словесник, аж на стуле развернулся: мол, ты на какой язык перешёл?

Ужасны были его стихи: жалкие, неумелые попытки, не владея техникой, втиснуть в кургузые строчки нечто своё, сокровенное... Ни к чему не приводящие попытки.

— А мне моё графоманство нравится! — заявлял, коверкая слово, как мог писать: «фантан», «кинтавр»...

...Рассказывая ему про определённый американский фильм, сказал, что один мой знакомый, давно занимающийся парапсихологией, истолковывает суть его так: неудовлетворённые амбиции приводят к сумасшествию! «Значит, у меня всё впереди!» — воскликнул Женька, разливая на своей маленькой кухоньке сок...

Потом — надолго увлёкся коллекционированием моделей автомобилей...

Как началось? Шли зимним вечером, снежок мёл, играя, дополнительные беломеховые одежды давая кустам, и киоск, медово светившийся в темноте, привлёк внимание: в частности, выставленными моделями. Женька просунулся в него, попросил показать жучок-фольксваген, но тогда не купил. Через неделю прислал по электронке массу ссылок на машины, которые собирался приобретать, потащил меня в торговый центр, где на первом этаже сиял специальный магазин: лаково блестят модели.

Всегда дотошен, всё стремится изучить по избранной теме — всё досконально. Стал коллекционировать. До этого два года скачивал джаз: весь, что находил в интернете.

Я люблю всякие штуки: в этом схожи, и, стремясь показать мне каждую новинку, не зря рассчитывал получить благодарного зрителя...

Всё собирался остановиться, и я, тогда ещё не начав покупать монеты, шутил: «Ага, бросишь ты... Будешь стучать костылём и шамкать — сейчас, мол, триста сорок вторую возьму, и — шабаш!»

Нет, остановился он: стал делать модели сам: сперва автомобилей, потом, вспомнив свою школьную шахматную страсть, даже разряд какой-то был, стал собирать из крантиков всевозможных, пружинок и труб шахматные наборы...

Доски выдумывал: находил слесарей, сварщиков, долго, нудно и подробно рассказывал про свои взаимоотношения с пролетариями, вовлекал в тяготию своеобразной речи.

Параллельно — покупал настольные медали с композиторами, а я стал приобретать монеты: показывали друг другу...

Чувство соперничества досадой прокалывало отношения, и когда он, по телефону болтали, брякнул нечто нелепое (с моей точки зрения), я вспыхнул... Закончилось тем, что Женька ляпнул: «Белкин в сто раз больше тебя руками умеет!»

Как возникло имя одноклассника Белкина? Не вспомнить — но он: человек-сундук, косное воплощение мешанства, нелпохо устроенный в жизни торговец, вовсе лишённый всякого творческого начала, с ним же Женька дружил в школе... «Вот и общайся с Белкиным!» — подумалось мне, когда отвечал на письмо электронное Женьки, где он, натужно пробуя шутить, грозился развивать меня в плане ручных умений.

Мания величия у меня не выветрилась тогда ещё: ведь много печатали, а чем занимался он? Посмеиваясь, отношения прервал, на письма не отвечал, по телефону ляпал: «Я занят...» Я действительно был очень занят: у нас родился сын, и, поскольку

жена большую часть жизни проводила в офисе, был на мне мальшок; я много писал, да и публикации, их организация требовали времени...

Всё сложилось — в том числе нелепостью.

Через какое-то время отношения с Поляковым возникли вновь: даже ходили гулять: я с мальчишкой в коляске, он за компанию... Снова — словесные извержения: долгие и нудные, косвенные жалобы, что никто его не понимает, да и... идей никаких нет! «Какие идеи имеешь в виду, Жень?»

...У меня всё шло, как шло, сын рос, писания мои публиковали, а он заполнял тесную свою однушку бесконечными моделями: всё из металла: сколопендры, сороконожки, паровоз, сооружённый из труб... Задрав нос, говорил: «Я на века делаю!» Мания величия всегда прочитывалась в нём — бесконечно творческом, без конца что-то придумывавшем...

Снова ссорились по пустякам, вновь сходились...

Представлялось иногда: ночью, воплощая кошмар, задвигалась вся его масса железная, зашевелилась, слетела, свалилась с полок и, норовя удушить его, изобразила такое кино, которое и любимому Женькиному Хичкоку не снилось.

Он не стал композитором, хотя и написал сколько-то мелодий. Он издал книжку своих никому не нужных стихов в одном экземпляре и, подходя к шестидесяти, как я, всё говорит об организации выставки своего искусства, всё говорит, говорит: незлобивый, в общем независтливый, одинокий, жизнерадостный, будто жизнь вечная, сооружающий новую бабочку — из листового металла.

Которая никогда не взлетит.

...поскольку в параллельной реальности двое мальчишек — один высокий и патлатый, второй толстый и очкастый, склонившись над коробкой с монетами, обсуждают, пойдёт ли в обмен Фиджи на Нигерию, а на подоконнике фрагментом фантастической красоты белеют лепестки яблони, разросшейся выше убогой, некрасивой хрущобы...

VIII. ВАЛВАС И ГРИПЕТ

Грипет и Валвас... Или — Валвас и Грипет. Они теперь — на одном кладбище, и хоть надгробной плиты Валентины Васильевны я не видел, думаю, она похожа на ту, которая установлена Григорию Петровичу — вполне обеспеченная дочь едва ли бы сделала плохо...

Вот она — рыженькая, тонко-стремительная, узко-деловая — на похоронах матери, в каменном мешке двора морга, разговаривает с похоронным агентом, потом подходит ко мне, спрашивает сигарету, не знал, что курит...

— У меня дешёвые, Лен. Будешь такие?

— Мне всё равно. Хочется просто...

Вспоминается: чахлой росла, болезненной, и Валентина (про себя, конечно, именовал сокращённо) рассказывала: «В магазин, Саш, пошли. Ну, накупили всего, стоим у кассы, и я говорю доченьке: «Гусёнок, ты...» Чувствую, как надувается, как мрачная энергия исходит от неё: «Я не гусёнок!» — «Извини, говорю, Леночка...»

Представил — расколом молнии — как, вернувшись домой после похорон, деловая и денежная Елена, рыдая, уткнувшись в материн халат, вспоминает... этого маленького гусёнка, ничего не знающего о жизни и деньгах.

Валентина Васильевна заведовала читальным залом в библиотеке вуза, в котором работал я долго-долго, бесконечные тридцать лет, маясь от несчастливой судьбы литературной капли, печатаясь постоянно, ничего от этого не получая...

Валентина лучилась безднами оптимизма: и хороший восторг могло вызвать всё — замечательная книга, умное кино, погожий денёк, вечеринка, которую устраивали сослуживцы...

Она не знала депрессий, хоть и шутила: «Смертельных болезней у меня три. А так по мелочи — много чего наберётся...»

Слышал, как говорит сотруднице, попавшей в узел сложной ситуации: «Запомни, ничего непоправимого, кроме смерти, нет».

Я был пессимистом. А Грипет был мужем Валентины Васильевны, последние годы называла его — папеч... Домашнее, тёплое... Смеялась: «Папеч звонит: я тут костей нажарил... Каких, говорю, костей? Да в холодильнике оставались...» И подхватывал я: «Ага: нажарил костей, наварил воды...»

А то вдруг рассказывает: «Саш, готовлю вчера селёдку под шубой. Разложила всё, собралась, всё подготовила так тщательно, раскладываю слоями, неторопливо, думаю, папца с Леночкой порадовать. Всё сделала, майонезом полила, тёртым яйцом посыпала, папцу — а селёдка рядом на тарелке лежит...» Серебрился смех.

Долгое время мы сидели в закутке, у окна, как бы внутри стеллажей: старых,

железных, советских, прогнувшихся под тяжестью книг — по экономике и финансам, скучных, пустых... Стол у окна, два стула по бокам, из окна — виден детский сад, и вываливающая детвора не вызывает у меня радости.

— Опять впал в мрачную задумчивость, старичок? — спрашивает. Киваю.

Выдача книг у меня закончилась, и, достав листок, записываю стишок. Она интересовалась моими «перлами»; литературу обожала, читала всё и, следя за новинками, недоумевала после распада Союза, как можно представлять литературой то, что ею не является.

— Саш, купила, поддалась на рекламу, Сорокина, попробовала читать. Разве это можно читать? Ты пробовал?

— Конечно. Банальность литературного хулиганства. Пустой имитатор чужих голосов. Дрозд-пересмешник.

— Но... как тянут его! Чуть ли не великим писателем представляют!

— Да, бывшее подполье вылезло, с криками: «Нас не печатали в Союзе! Нам надо воздать». А при ближайшем рассмотрении — правильно делали, что не печатали...

А Грипет — Григорий Петрович — был её мужем. Из простых — хотя я не знаю детально его судьбы и не вспомню точно, когда увидел впервые, фон был, конечно, алкогольный; Грипет работал с какой-то техникой, был её наладчиком: я так же далёк от неё, как от экономических трактатов, среди которых просидел 30 лет, и в девяностые Грипет стал зарабатывать хорошо.

Леночка растили. Надо, чтобы всё у неё было...

Валентина приехала из Екатеринбурга, там оставались — сестра, отец, маму рано потеряла. Отец был... по партийной части: тугая спелость жизни подразумевалась; равно и то, что, будучи уже в изрядном возрасте, просто не понимал, как строится нынешняя жизнь, на каких нитях держится.

Валентина, приехав в Москву, легко поступила в институт культуры, закончила с медалью, работала в разных библиотеках, пока не осела в этой. Вуз в конце восьмидесятых, когда я появился здесь, в библиотеке, был захиревшим, но слом Союза, подразумевающий денежный избыток, дал ему возможность подняться, цепляясь за угольно-чёрные выступления всяких рейтингов: ведь учили... деньгам и всем, что с ними связано. Академия. Потом университет. Само начальство не могло определиться с пышностью названия...

Длились дни. Для меня ничего не менялось. А у Валентины Ленка подросла, оказалась студенткой этого вуза, чуть не на втором курсе выскочила замуж, но быстро развелась.

Слоятся картинки, иные мерцают янтарно, другие отливают розовато звенящим снегом.

Едем — за рулём Ленка, а едем в дом, где живёт собачка, но хотят отдать её; маленький пудель, тоже не купленный, а взятый, в силу обстоятельности, у кого-то — не вписался в жизнь с тремя кошками. Едем. Постногодняя метель метёт...

Дом оказался тёплым, шумным, несколько беспорядочным, дети, кошки и толстая, говорливая хозяйка, за массивными ногами которой прячется — маленький, золотистый зверёк...

— Кормить его просто: каши гречневой с мясом намешать, и он ест...

— Ой, — восклицает почти счастливо Валентина, — я сама кошатница, у меня кошки всю жизнь. Сиамские, правда, только.

— У нас разные.

Лаврик, слегка тятнувший меня сначала, потом пошёл охотно на руки, и вёз я его, обнимая; и так согревал он нашу жизнь следующие одиннадцать лет: тёплый, мохеровый, большеглазый, славный, забавный.

Кошки Валентины — отдельная статья: таинственные сиамцы...

— Диночка, Саш, очень любила на окне сидеть. Прямо на подоконнике. И — раз гляжу, нет, ужас охватил, представляешь? И тут соседка в дверь звонит, снизу, спрашивает: «Не ваша кошечка мимо моего окна пролетела?» Я — бежать на улицу, Динка сидит, где приземлилась, глядит удивлённо. Три раза падала — и ничего.

Над гробом матери Лена сказала: «О кошках своих не беспокойся, ма, себе возьми».

Две последние годы жили, а как звали? Забыл... Но рассказывала Валентина, как одна стоит у батареи, тянется к окну, а другая с размаху подшибает её резко и глядит потом победно: мол, каково?

Валентине позвонили: не было мобильных тогда, и, поговорив, телефон в соседней комнате стоял, вернулась, плача: «Папа умер...» Слова утешения? Пустота.

Она собиралась тогда, уходила с работы в сердцеvine дня...

Я пережил смерть отца в раннем возрасте относительно легко, хоть и был он вселенной, а смерть мамы пережить не могу...

Грипет — по сравнению с Валвас — был маленький, очень подвижный, лысоватый и, страстно любивший выпить, как я, увы, знающий гипнотическую силу алкоголя.

На кухне у них всё было так аккуратно, даже прянично, Валентина накрывала стол, и маслилась, истекая слезой сёмга, и селедка, спрятанная под шубой, обещала закусочный смак.

— Папеч мой вчера «Восемь с половиной» впервые посмотрел, — говорит Валентина. — Ну и как, Гриш?

— Заворожён просто, знаешь, Саш. Стыдно, наверно, в моём возрасте не знать...

Я улыбаюсь, киваю, говорю, слегка опьянев, какие-то слова...

...Цветной — чёрно-белый фильм: вы не замечали? Он соткан из различных цветов, в том числе — музыки; он льётся грустным бурлеском человеческой жизни, в том числе — нашей, он переливается пёстрыми перьями огня и дышит мускульной силой мастерства, он собирает такие пёстрые поляны людей, что хочется затеряться среди них.

Одна из кошек прыгает мне на колени, мурчит мило.

— А где вторая? — спрашиваю.

— Под диваном сидит. Гостей боится, — разводит руками Грипет.

От них шло тепло — от Валентины и Григория Петровича: классические советские интеллигенты: лучшее, может быть, чем полнилось когдатощнее время.

Потом Грипет заболел: проблемы с сердцем. Валентина дневала и ночевала в больнице. Ему делали операцию — коронарное шунтирование уже на уровне названия прокалывает сознание резкой болью; но тогда — всё обошлось; разумеется, об «выпить» уже речь не шла...

Валентина вернулась на работу: осуществлять общее руководство, как говорила, наигранной патетикой представляя шутку.

...Меня раздражала эта мелочь службы: мелочь, так издевательски наслаивающаяся на мечты о писательской карьере. Валентина говорила:

— Ничего, Саш, у всех настоящих писателей судьбы при жизни не слишком лакированные...

— Да не у всех, — отвечал я, монотонно глядя в окно.

Шутили над смертью. Валентина много шутила: на разных уровнях.

— Так, — могла сказать. — Я издала царский рескрипт: завтра закрывает зал Анька...

И Анька шумно протестует — никому неохота выходить в вечернюю смену...

...Мы встречаемся с Анькой в метро: и витражи «Новослободской» сияют замечательно, паря красотой. У меня букет, но Анька почему-то не купила цветы; мы выходим, и бессмысленно говорю о детских своих местах, мельком оглядываясь на огромный, как средневековая крепость, дом, некогда набитый коммуналками, где прожил я первые десять лет — с молодыми мамой и папой, где над кроватью моей висела пёстрая карта мира, и мне казалось, что страны должны ночью осыпаться, как пёстрые листья осени.

Там дышало счастье.

Зачем-то рассказываю Аньке, что из морга ближней больницы хоронил отца, потом замолкаю. Мы идём хоронить Валвас; Грипет умер двумя годами раньше.

...Ольга — весёлая такая сотрудница, дружившая с Валентиной с юности, позвонила полгода назад, сказала:

— Саш, у Валентины рак...

Ошалел. Такая жизнерадостность и онтология оптимизма исключали, казалось бы, чёрный поворот. Позвонил Валентине:

— Как вы?

— Ещё жива, старичок. Но нездорова — у меня рак.

Что тут скажешь? Говорил нечто, вытаскивая слова из груды возможных, и все они были бессмысленны.

Мы идём с Анькой переулками, огибаем огромную звезду Театра армии; вот и Оля — с заплаканными глазами, вся скорбно-чёрная. Мало людей. Каменный мешок двора: напоминающий тюремный, куда выводят гулять заключённых.

Помните, Валентина Васильевна, как обсуждали любимого Ван Гога?

Мало людей, жара, лето; долгий путь на подмосковное кладбище, где сосны стремительно рвутся в лепную, сияющую синь, где пути между могил узкие, и уже похоронен Грипет. Портрет на надгробии точно передаёт внешность: так и выглядел...

А в лодку гроба с восковой куклой не хочется смотреть.

На поминки не пошёл. Дома помянули с мамой моей, никогда не видевшей Валентины, столько слышавшей о ней, купившей мне тот букет, с которым и отправился провожать её...

...Надеюсь, что встретишься с Грипетом.

Она ушла на пенсию за десять лет до смерти: и счастливо их прожила, изрядно зарабатывающая дочь помогала деньгами, могли путешествовать...

Книги. Фильмы. Избыточная радость бытия: таковая и должна быть вектором.

Но — так хочется надеяться на посмертные встречи: не то совсем затянет мёртвая бессмыслица...

...Вот я, книжный мальчишка, маменькин сынок, переживший тяжелейший пубертатный криз, из которого вытаскивали психиатры, с криво с той точки пошедшей жизнью — я: устроенный на работу в библиотеку вуза...

Идёт 1986 год: грядущего слома с последующим разносом всего никто не представляет. И я не вписываюсь в молодёжную компанию, работающую тут: не поступают на дневной, идут на вечерний, год работают, переводятся потом.

Мне тошно и одиноко, сижу я ещё на абонементе, и, скучая на выдаче, читаю Диккенса. Проходит Валентина, чуть трогает книгу, смотрит, что читаю. «Надо ж! — удивляется. — Кто же теперь Диккенсом интересуется?..» Ещё не забрала меня к себе в читальный зал, властная и мягкая одновременно, ещё не подружилась с нею...

Миг мелькнул — жизнь прошла: кто так устроил? Кого благодарить за миг?

...Но хочется вообразить мне — сияющий, почти бесконечный, переливающийся многими красками небесный цветок, которого нет на земле: и в ласковой сердцевине его — Грипет и Валвас: сияющие, преображённые смертью, встретившиеся: классические советские интеллигенты, от которых исходило драгоценное тепло, несущее в себе частичку Божественного сияния.

IX. КЛИМОВСКИЙ

Тогда — на дне его рождения, впервые у него дома — не представлял, что видишь его в последний раз... Впрочем, оборот отчасти нелепый — про большинство людей, с кем сводила жизнь, как и про родных, которые порою были важнее себя самого, не знаешь, что этот раз — последний...

Климовский был коллегой отца, физиком, они писали работы вместе — там давно, в недрах Советского Союза; и Климовский утверждал, что был одним из первых, кто занялся изучением экстрасенсорики: полуподпольно, конечно.

...Как это?

Вдруг внутри тебя открываются, зажигаются пластами огней неведомые поля, и, поражённый сначала, беспокоясь о состоянии собственного рассудка, постепенно втягиваешься, понимая, что жизнь бесконечна, протянута во все стороны, и знания о ней очень условны.

Помню Климовского над гробом отца, умершего рано, как рана прорезала мою душу серьёзно; Климовского, высокого и лобастого, успокаивающего бесплодно плачущую маму: «Все перед ушедшими виноваты...»

Метафизическая вина переливается золотистой жидкостью в неразбитом сосуде тела.

На дне рождения его был — 15 лет спустя после смерти папы, общались до того несколько раз у нас дома; мама, конечно, накрывала стол — щедро и хлебосольно, и хоть чувствовал, что общение идёт странно, причудливо, непонятно, порвать его нити совсем не решался ещё...

И вот — позвонил, пригласил на шестидесятилетие. Он жил один: дочь взрослая, с женой разошёлся. Ехать было долго, и район я не знал; январский снег пушил за окнами автобуса, и пёстрой чернотой мелькали незнакомые московские фрагменты; а когда вышел — погрузился в мир сияющих огнями многоэтажек, люди в которых кажутся такими безликими: не оправдано кажутся, вероятно...

Шёл, топчя хрусткий снег; потом понял — сам не ориентируюсь, стал спрашивать встречных...

Из-за двери нёсся лай. Климовский открыл, одновременно говоря:

— Мотя, тихо... — толстая, старая такса, замолчав, посмотрела на меня вопросительно. — Мотя, Саш. Матильда — по паспорту...

На кухне вытаскивал из сумки мамины дары: банку квашеной капусты, самодельный куриный рулет, варенье... В единственной комнате, одну из стен которой занимал плотно заставленный стеллаж, стол был накрыт вполне аппетитно: и шпроты, и колбаса, и селедка, и соленья подразумевали расчёт на достаточное время отдохновения.

Климовский знакомил с приходящими: двое из них оказались бывшими коллегами отца и, взглядываясь в меня, после какого-то времени разговоров, сказали, как некогда Климовский: «Надо ж, никогда не думали, что ещё раз Льва на этом свете увидим».

Очерки жестов? Схожая манера речи? Отцовский код хранит судьба моя...

О нет, серьёзных разговоров тогда не выходило, пестро плелись речи по большей

части ни о чём, но застолье и не подразумевает интеллектуального напряжения; и, отправляясь на кухню курить со старичком (вспомнить бы, кем доводился Климовскому), обсуждали историю тяжёлой атлетики, занятия которой так увлекали меня в юности...

Но в жизни я видел Ваню в последний раз, не подозревая об этом.

За два года до того, пьянствуя одиноко, проходя ступени счастливого опьянения и мрачного самопогружения, позвонил ему, найдя телефон в записной книжке мамы: позвонил и, пьяно дыша в трубку, стал повествовать о себе, о сложно скрученной слишком тугим гнездом жизни поэта, о путанице моего пути — с верой и безверием, с полюсами провалов и взлётов, и предложил, если ему интересно, встретиться. Созвонились, когда протрезвел, договорились, и он приехал.

Стол накрыт. Климовский несколько неожиданно вписан в жизнь, которая кажется не слишком удачной; он не отказывается от выпивки, и я, не представляя, как строить разговор, сосредотачиваюсь на ней, пока он обсуждает с мамой какого-то давнишнего знакомого.

...Как-то всё переходит на духовное зрение, которое якобы открыто у монахов; Климовский, рассказывая, как он погибал, разлетаясь духовно на капли чёрной субстанции, рассказал, как жил в монастыре, как соприкасался с людьми, пребывающими сразу на нескольких уровнях.

Они видят, какие клубки змей — тщеславие, честолюбие — насколько противостоят божественному в человеке, основному.

Постепенно выясняется — Ваня считает себя церковным человеком, а что экстрасенсорика осуждается церковью, я тогда не знал; выясняется, что он очень спокойно говорит про отсутствие смерти; я остро, конечно: «Тогда... позвоните отцу, пусть примет участие в застолье...»

Он рассказывает, как можно оценить книгу, взяв её в руки: от каждой, мол, идёт определённое излучение, и руки экстрасенса ощущают его.

О себе рассказывает скупко: мазки ложатся: продолжает работать в научном институте, несмотря на крошечные деньги, плюс — исследования запредельного... Какие? Я не понял...

...Разметало нас резко — он утверждал, что мы рабы Божьи, и это прекрасно, но вся суть моя бунтовала против этого чудовищного слова — раб... Чей бы ни был.

— Я должен убедить его, Ляль, — говорил потом по телефону маме Климовский. — Я должен доказать ему.

Господи! Неужели это так важно, Ваня?

Он был потом у нас ещё несколько раз. Постепенно проступало в его речах: я гибну, потому что не слушаю его...

Он привёл пример: пьяный мужик чешет на тронувшуюся ледоколом реку, его останавливают, но он прёт и прёт, упорен и, оставшись жив, еле выбравшись, говорит: надо ж было морду набить! Он утверждал, что я нахожусь в роли этого пьяного мужика.

Почему, Вань?

...Глаза его странно мерцали — прозрачно, глубоко, он был высок, крепкотел, утверждал, что человек не должен больше семидесяти жить. Он раздражал, и нечто влекло в нём: будто и впрямь обладал знанием, какое не передать.

Когда я поздравлял его с днём рождения через год после пьяной встречи в его квартире, он, оборвав поздравления, сказал о важном, как ему казалось: «Я хочу помочь тебе человеком стать!» Меня взорвало, хоть я и не ответил ему; предпочитая письменную речь, написал письмо — резкое: но он всегда был невозмутим, невозможным казалось его обидеть, вывести из себя. А я взрывался часто.

Больше не виделись никогда, не перезванивались, и, найдя со временем контраргументы против всех его речений, включая любование и наслаждение рабством, я внутренне долго дискутировал с ним.

Потом появилось серебрящееся ощущение его смерти.

Но... всё казалось, встретимся ещё, всё казалось... Потом умерла мама, и, очутившись в крошечной, стал искать его телефоны в записных книжках, информацию в интернете. Не нашёл.

Он очевидно не хотел ничего плохого — по отношению ко мне.

Обрёл ли правду запредельного знания, истину сияющего посмертья?

Не узнать — как не узнаешь ни про кого.

Х. СКВОЗНОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Двор раскрывается, мерцающая таинственно шаровидными фонарями...

Или так — фонари: шаровые узлы перспективы — высветляют осенние потёмки двора с узорами и орнаментами нападавшей пока не слишком обильно сентябрьской

листвы, с рисунком детской площадки, скромной довольно, редко на ней гуляют с детьми, больше взрослые сидят на скамейках, дую пиво; с котельными, на стенах чьих устроились плоскостно: бледная берёзовая роща и морское побережье со ступенчатым замком.

Двор раскрывается во второй день сентября, когда дети пошли в школу, поскольку первое тяжело упало на воскресенье, и уже Миша Розенцвейг сумеречно-вечерне укоренился на скамейке возле подъезда, а сын его с женою вывезли коляску с недавно появившимся внуком...

Миша крепок, невысок, тщательно укоренён в жизни: продюсером был последние годы, до этого... менялись профессии, и поездить довелось; помнится, раз я, глядящий на фонари, как на узлы перспективы, будучи поддатым, разговорился с ним... а осталось в памяти только еврейское кладбище в Праге: где плоские глыбы плит несли вихреватые речения вечной ветхозаветности и изображения овец и рыб...

Из глубин...

Они болтают о чём-то втроём: Миша, сын его, имени которого я не знаю, жена его, а младенец спит тихо, пребывая пока в своих измерениях: механизм памяти ещё не работает, поскольку необходимо стереть предсуществование, чтобы запустить оный...

Если бы вышел Коля, он тотчас бы присоединился к Мише, закурил свою безникотиновую трубку и включился в разговор, вращающийся вокруг разных стержней: политика, техника, быт, разнообразие жизни, организующее отсутствие пустоты, которая всё равно заполняет сознание — как мы заполняем её вещами, какие считаем важными, хотя, кроме загадки смерти, ничего важного нет на свете...

Коля высок и до пятидесяти был предельно жизнерадостен, потом всё покатило под горку, и тело начинает скрипеть, и память пробуксовывать, и жизнерадостность стирается, как ластик.

Или — метафизическим ластиком некто стирает предшествующие надписи на бумаге бытия...

Коля рано, до тридцати, похоронил родителей. Вспыхивает кадр моей памяти: у отца моего, умершего ещё в СССР, сердечный приступ: папа, белея телом в темноте комнаты, растирает грудь, и я, вторгаясь ночным звонком в Колину квартиру, спрашиваю у мамы его, лица которой не восстановить, нитроглицерин... Охает она, проходим с нею длинным коридором, тускло играющим отблесками предметов коридором, вытряхивает из стеклянной колбочки маленькие таблетки...

Отслоение: отца увезли в ту же ночь, и больше я его не видел. Живым.

Отец Коли вспоминается стёрто: осторожно ступая, вероятно, болен, пересекает двор; рано похоронив их, вовремя сепарировавшийся, самостоятельный, какое-то время жил с бабушкой — с маминной стороны, властной и крупной, всегда и во всём чувствовавшей себя хозяйкой, потом и она ушла, оставив Коле дополнительную квартиру, чем избавила от забот в перенапряжённом нелепостью мире, впоследствии за развалом СССР...

Коля учился в Финансовой академии, какое-то время работал в банках, пробовал открыть автомобильный ломбард да бросил всё, стал просто жить, благо есть на что... Вторая девчонка появилась от гораздо более молодой жены — вот она поздно возвращается с работы, длинно золотистые волосы мерцают, улыбка расцветает водным бликом — а дочка родилась в Колины 45; с первой женой связь условна, а дочка первая — взрослая уже, но контакта нет, оборванные провода, с которых срываются редкие искры телефонных звонков. Зато с задорной, очень миленькой Катюшкой гоняет всюду: когда пересекаемся, вздыхает наигранно: «Ох, замучила совсем...» А то сидят на скамеечке у подъезда, едят мороженое, Катюшка болтает ногами, и, поедая сладкую, холодную плоть, они умудряются толкаться весело. Самокат стоит рядом...

Итак, если бы Коля появился в конкретике вечера второго сентября, то подсел бы моментально к Мише Розенцвейгу, стал бы болтать о том, о сём, другие бы включились: жена Коли, возвращающаяся с работы, Мишин сын, ещё кто-то...

Дом изнутри перетянут мистическими узлами, нити эти, хранящие, как ДНК, массу информации, не расшифровать.

...Галя, Галина Иванна спросила — в недрах прошлого года:

— Саш, зайдёшь на пару минут?

Возвращался, помахивая пакетом с батоном.

— Пошли, Галь...

Мы поднимались на наш шестой, старожилы, и, оказавшись в коридоре её, подивился обилию коробок, заполненных разным скарбом. А Галя шла ко мне из комнаты с сияющей, очевидно дорогой тарелкой.

— Вот, Саш. Квартиру я продала, — охнул внутренне. — Уезжаю к своим, тяжело одной. Ольга любила посуду, вот возьми на память...

Ольга — мама, которой...

Впрочем, не буду о той яме, в которую меня превратила мамина смерть. Не буду — хотя прокалывает память на миг: возвращаюсь из магазина, подхожу к дому, вижу на скамейке маму и Галю и чувствую... всё ещё хорошо.

Нить дрожит.

Галя похоронила сына: вальяжного, толстого, глаза навывкате, Лёньку, такого... замедленно-плавного жизнелюба...

Одномоментно.

Мама сказала:

— Странные цветы какие-то в квартиру Гали несли. Надо узнать.

— Узнай, — ответил, не придав значения.

На другой день:

— Саш, Лёня умер...

Облако, окутывающее каждого незримо, исчезает рано или поздно, прорехи начинают зиять со страшно обугленными краями; вспоминается, как когда-то курили на лестничной площадке, и Лёня сказал: «Поздравляю!» — имея в виду рождение моего малыша. Сейчас быстро всё полетит. Я тоже думал долго...

Промелькнуло одиннадцать лет. О Гале, уехавшей к невестке и внучке, не узнать ничего, телефонами не обменивались, возраст у неё — мамин, то есть серьёзный...

Впрочем, вечер второго сентября длится, и, промелькнув, Колина жена зашла в подъезд, растворившись в его световой бездне, а Розенцвейги ещё будут сидеть сколько-то...

Логика, проходящая мимо в аристотелевском наряде, опровергается янтарными волнами фонарей и надписями листовки на асфальте, которые не прочитать...

Думалось тревожно: кто въедет в Галину квартиру? Молодая семья, оказалось: невысокие родители и девчущка; семья, особенно не претендующая на какое-то общение; в доме, терпеливо сносящим всякую людскую начинку, общаются избранно: эти с теми, те с этими...

Если скамейка занята, то Ване, возвращающемуся с работы, негде попить пива... Впрочем, вариант найдётся — пойти на другую скамейку... Он круглый, с темным лицом, одинокий, готовый помочь, если обратятся; он остался вдвоём с отцом, после того как Ирка, мать, умерла в прошлом году, вот она-то всех знала... С коляской стояла у подъезда, словно докладывала очередной тётушке: «Плохо ест. Два печенькица и молочко — разве еда для мальчишки?» Она говорила только о быте, о еде, о машине, даче, этим жила, возвращались из магазина много позже, когда дети выросли, с такими полными сумками! — еда распирала их, будто возмущалась сумочной, тканевой несвободой.

У них есть ещё Катька: кругленькая то ж, как Ваня, но — вышла замуж, уехала, а когда навещает своих, выводит гулять маленькую собачку — скандального терьерчика...

Ирка, знавшая всё про всех, ухнула в бездну так неожиданно; Андрей, её муж, технар, иногда сидит на этой же скамейке: лысоват, усат, со всеми здороваётся, особенно не припадая ни к какому общению...

...Пока Коля возится с рыбами: заходил к нему иногда специально глянуть на аквариум.

— Дед когда-то подсадил, — рассказывал Колька.

Дед, председатель ТПП СССР, вероятно, играл в его жизни серьёзную роль. Теперь аквариум велик, внутри темнеют изогнутые коряги, и песок кажется неестественно-синеватым от работающих ламп, а рыбы экзотические: большие, с ладонь каждая, крапчатые, отливающие жемчужно...

— Гляди, гляди, — восхищается сосед, — думает, спряталась, а её отовсюду видно.

— Ага.

У них, что ли, у каждый свой характер?

Проплывают плавные рыбы-мысли, ожидают корма... хоть впечатлениями.

Мне трамваи напоминают порой аквариумы на колёсах, и чем люди, сокрытые в них, отличаются от медленно плавающих, за какими наблюдает кто-то?

А в Катькиной комнате, в клеточном дворце живёт шиншилла: серый Шушик, Катя выносила показывать, я хотел потрогать, но цапнула меня так забавно, усами вибрируя...

Что вам ещё рассказать, фонари?

Про сквозное онтологическое одиночество всех.

Да вы ведь и сами всё знаете...

Остаётся сплошная янтарная грусть, от которой не избавиться: если только смерть не является выходом в золотую подлинность...

Сергей КРИВОРОТОВ

ЗАПИСКИ ИСЧЕЗНУВШЕГО

Появлялось ли у вас когда-нибудь ощущение резкой перемены окружающего? Ну, как бы объяснить... Однажды в детстве весной я заболел корью, меня держали в комнате с закрытыми окнами несколько дней — было такое поверье, что в темноте меньше высыпаний на коже. А потом, когда болезнь прошла и мне разрешили выйти на улицу, я попал словно в другой мир. За то время, что я провалялся взаперти в полутёмном помещении, на деревьях распустились почки, всё вокруг зазеленело под солнечным шквалом весны, и даже городской с запахами бензина и асфальта воздух казался небывало свежим, наполненным чем-то необыкновенным. То ли далёкими ароматами лесов и лугов, то ли прохладной речной свежестью, словом, это было расчудесно. И такое же ощущение возникло у меня теперь, когда я смотрел на красное солнце над зеркалом реки. Но, наверное, надо по порядку. Всё началось во времена моего сотрудничества в редакции газеты.

Те годы позже определили эпохой застоя, но тогда-то, естественно, мы этого названия не знали. Работа мне нравилась, но полного удовлетворения от неё я не получал, да иначе и не могло быть. Куда ни ткнись — всё запрещённая тема. Какая уж тут радость от результатов своего труда! Приехала, допустим, зарубежная рок-группа, очень даже неплохая по меркам, конечно, соцлагеря — «Унгария», например, или польские «Червоны гитары». Случалось и такое. Билетов не достать, народу не пробиться, а ты вместо своих искренних впечатлений изволь-ка охаить её как положено, чтоб ни у кого не возникало сомнений в тлетворности этого чуждого нам западного влияния! А то и вовсе тишина на однообразных газетных полосах, как будто ничего и нет в унылой провинциальной «культурной жизни». А ты, друг наш, поезжай на денёк-другой в район да тисни восторженную статейку о сельской самодеятельности. Так и насаждалась серятина.

Наркомании и проституции, как и организованной преступности, у нас тогда просто не существовало на страницах печати, алкоголизм был не социальной болезнью, а следствием индивидуальной распущенности. Воздух наш был чист и вода прозрачна. Ладно бы ещё редактора даже согласованный заранее материал искромсают и мелким шрифтом пустят (оплата у нас производилась по газетной площади, а не построчно, с помощью такой специальной хитрой линейки). Так нет, мало того, редактор одобрит, в пробный оттиск пойдёт вещичка, но появляется обязательный цензор из отдела пропаганды и агитации обкома, который зачастую ничего ни в нашем, ни в своём деле не понимает и образования-то не то чтобы высшего гуманитарного, а и специального среднего не имеет, сам двух слов без бумажки связать не может и грамотностью своей даже элементарным школьным требованиям не отвечает, а туда же, облечён властью судить и не пущать. Да и ясное дело: кто денежки даёт, тот и музыку заказывает, переиди комсомольская газетёнка на самоокупаемость, вылетела бы в трубу на следующий же день. Так вот, не понравься, к примеру, этому цензору какая впервые читанная фамилия в рядовом, по всем резонам заштатном материалчике, и статья выбрасывается вон. А у редактора, чтоб не оставлять пустое место на страницах (разве могло у нас быть подобное!) уже наготове дежурная белиберда вроде фотоснимков с уборки томатов или с портретами швей-мотористок, крутильщиц, мотальщиц, лихо разделяющих встречный план. Какое уж тут удовлетворение!

Мы ведь понимали, что статьи с лозунгами «давай, давай!» и «ура!» не то что мало кого вдохновляли, а и мало кем читались. Газетные страницы использовались больше в бытовых целях: для обёртки там, при оклейке стен обоями, а чаще вместо дефицитной

тогда туалетной бумаги. И временами я чувствовал отвращение к своей пустопорожней работе, хотелось хоть раз сделать что-то стоящее, интересное, запоминающееся, что будут читать и перечитывать.

Так вот, именно тогда в бытность мою корреспондентом областной молодёжной газеты в руки мне попали две общие тетради, исписанные аккуратным наклонённым влево почерком. В годы застоя не мыслили мы безалкогольного застолья. Было у меня и прочих друзей, таких же холостяков, как и я, в то время любимое местечко — балкон буфета на последнем этаже девятиэтажной гостиницы. Частенько сживали мы тёплыми вечерами, глядя на россыпь городских огней, и говорили о разном. Бутылки сухого, а то и водки на столике перед нами способствовали полноте общения. Все мы были знакомы с детства и, естественно, дружба наша не ограничивалась тесными рамками застольной бытовки. Я проходил в нашей компании под псевдонимом «Журналист», тогда как бывший одноклассник Фёдор Задоров отзывался на обращение «Юрист». Надо сказать, что на юридический факультет в ту пору он так и не поступил, хотя мечтал о том со школы и дважды срезался на вступительных. В конце концов, он устроился в областном управлении внутренних дел, о работе своей никогда не распространялся, но по его уверениям, который год собирался подать документы на заочный юрфак.

В этот вечер мы сидели вдвоём, курили и смотрели на цепочки желтых огней, высвечивающих сумеречный город внизу, на красные огоньки далёкой телевышки и думали каждый о своём, разговаривать не особенно хотелось, не хватало остальных составляющих нашего круглого стола, уравнивающих наши противоположности. Все наши беседы обычно переходили в громкие споры, каждый пытался доказать или навязать свою несхожую точку зрения, и, разумеется, ничего путного из этого не выходило. Но сегодня шума не хотелось, казалось, сам воздух наполнен какой-то вялостью, истомой, передававшейся и нам. Кроме нас, на балконе за двумя соседними столиками сидели одинокий постоялец гостиницы, по виду командировочный, методично наливавший коньяком на фоне ночного города, и тихо шепчущаяся в тёмном уголке молодая пара за давно ополовиненной бутылкой шампанского.

— Знаешь, — сказал Фёдор после второй бутылки венгерского рислинга, — у меня есть для тебя интересный материалчик.

— В каком смысле? — спросил я без энтузиазма, уже тогда подумывая об уходе из газеты.

— То есть не то чтобы для какой-то там статьи, но, я думаю, тебе будет интересно. Пригодится, во всяком случае, для чего-нибудь.

Он знал, что в свободное время я пытаюсь писать для себя, я не делал из этого особого секрета, хотя и никого не знакомил с результатами подобных проб. Говоря «для чего-нибудь», он имел в виду именно мои не связанные с газетой опыты. Я и сам не знал, получится ли у меня что-то путное, только надеялся обойтись при этом без молодёжки, без её редакторов и литконсультантов из местного отделения Союза писателей.

— Уголовщина? Какая-нибудь банальная уголовщина... Драма на охоте... — полупровоспитательно предположил я, стараясь не показать интереса, а сам уже заказывал у буфетчицы ещё одну запотевшую бутылку. Подобного заявления от Юриста слышать ещё не приходилось.

— Нет, не совсем, — замялся Фёдор, прикуривая от газовой зажигалки. Огонёк выхватил его точёное лицо с правильными чертами из полумрака гостиничного балкона. Длинный прямой нос, цепкий взгляд прищуренных глаз. Словно местный Шерлок собирался ввести меня в роль своего доктора Ватсона. — В общем, так, — тихо продолжал Юрист, удостоверившись, что никто его не подслушивает. — Два года назад пропал некий гражданин, житель нашего города тридцати трёх лет отроду. Расследование, увы, ничего не дало...

— Может быть, уехал? Скрылся от семьи? А может, кто-то свёл с ним счёты? — я вспомнил, как два года назад исчез студент шестого курса медицинского института, спустя три месяца его труп обнаружили далеко за городом. При вспышке сигареты я различил, как досадливо поморщился Фёдор.

— Нет, мы перебрали все возможные версии. Скорее всего, это не убийство. Самое странное — труп так и не найден. Так вот, дело это прекращено, а тебе я давно собирался показать оставшиеся от него записи. Ценности для следствия они не представляли, но хотелось бы, чтобы ты, как спец, сделал свои выводы, да и, может, что-то пригодится для твоей работы. Хотя, как знать...

— Ты хочешь от меня официального заключения? — удивился я, метко плеснув по стаканам холодного вина.

— Нет, что ты, я же сказал: дело прекращено. Просто мне самому интересно услышать твоё мнение.

– А о чём там? Что, стихи, проза?

– Что-то вроде дневника, да ты сам посмотришь, этакие записки припудренного...

Признаться, он меня немало заинтриговал и, как пообещал, занёс тетради на следующую же день прямо на работу в мой отдел.

– Только, знаешь, – озабоченно предупредил он, передавая свёрток из рук в руки,

– ясное дело, писавший это явно был не совсем в себе, и не стоит сразу всё перечитывать, неизвестно, как бы это сказать... Не может ли этакое передаваться, ну, как зараза, понимаешь? Умственная инфекция... – закончил он смущённо, с затруднением подбирая слова. Что было на него совершенно непохоже.

– Ты чтой-то заговариваешься сегодня, Юрист, – хлопнул я его по плечу с оттенком превосходства.

– В общем, я тебя предупредил, а там смотри... – он пожал мне на прощание руку и ушёл, оставив в некотором недоумении наедине с таинственным свёртком.

Две обыкновенные общие тетради в синем переплёте, исписанные шариковой ручкой. Почерк не представлял труда для чтения, несомненно, в детстве этот человек имел пятерку по чистописанию. Я пробежал глазами первую страницу, пролистал несколько последующих и разочарованно отложил тетрадь. Это был даже не дневник, просто записки, лишённые сюжета, нечто вроде потока большого сознания. Автор явно страдал каким-то психическим заболеванием, настолько, что практически свылся с ежедневными галлюцинациями. Ну, и что? И зачем Юрист подсунил мне эти тетради? Не разыгрывай ли это, чем они могут быть интересны мне, человеку далёкому от психиатрии? Я вспомнил записки сумасшедших именитых авторов. Сразу пришли на ум Гоголь, Достоевский, Толстой, Акутагава. Там был стиль, идея, всё это писалось не просто так, а с определённой целью, обличало, отражало и тэ дэ, и тэ пэ. А здесь? Просто бредятина какая-то без начала и без конца, непонятно во имя чего написанная, пена с больной души. Но если Юрист не врёт, то он ждёт от меня какой-то помощи, да к тому же сомневается, не представляет ли чтение этого опуса угрозу для слишком внимательного или впечатлительного читателя... Впрочем... говорят, что всякое общение с сумасшедшими несёт в себе опасность, безумие заразительно... Почему Юрист не показал записки психиатрам? Хотя этого не может быть, наверняка у них есть соответствующее заключение эксперта. Надо уточнить при встрече. А пока я пересилил себя и заставил приступить к чтению эпизодов из жизни исчезнувшего.

Приводить их все не имеет смысла, я не вижу никакой в том необходимости. Хотя они довольно читабельны, повторяю, в них даже не видно личности писавшего. Достаточно привести лишь несколько отрывков...

«...Я шёл по улице, припорошённой вчерашним снегом, и пытался что-то вспомнить, что-то очень важное для меня, что только что ускользнуло из памяти. Старые одноэтажные хибары придавали району сельский вид. Эти деревянные домишки, возможно, построенные ещё до революции, всегда успокаивали взор, в отличие от многоэтажных коробок новостроек. А какой здесь простор для киношников, снимающих фильмы с использованием дореволюционного быта! Краем глаза я ухватил какой-то сдвиг, что-то там происходило, на что я не мог не обратить внимания. И ощутил смутную тревогу.

Я посмотрел вбок и даже остановился, прервав хрустящий звук шагов, несмотря на морозец, лоб под мехом шапки моментально вспотел. На противоположной стороне на коньке одноэтажной, вросшей в землю развалюхи сидел на корточках чёрный человек и пялился на меня нахальными глазами. Пока я раздумывал, не взять ли кусок кирпича из-под ног и не запустить ли в наглую рожу, чёрный человек погнёс указательный палец к губам, а затем сделал вальяжный жест рукой: иди, мол, своей дорогой, как шёл. Другой рукой при этом он держался за доски конька. Я зажмурился, отвернулся и двинулся дальше, но тут же посмотрел на подозрительную крышу – чёрный человек исчез, будто его и не было. Что же это, галлюцинация?

Подобное не могло не встревожить, но это случалось со мной не впервые, и я быстро успокоился и на этот раз.

Я уже почти привык ко всякого рода неожиданностям. Так, вчера мимо меня прошёл белый трамвай с нарисованным чёрным котом. В том, что он белый, не было ничего странного, в нашем городе большинство трамваев окрашены в различные нестандартные цвета, покрыты всевозможными рекламными надписями и изображениями от «Играйте в спринт» до «Звоните при пожаре 01». Так что и в изображении кота не было ничего чрезвычайного, но я обратил внимание на его бьющую в глаз подвижность. Представить только – на борту идущего трамвая огромный кот зловеще двигался, жмурил глаз, устрашающе выгибал чёрную спину, сыпал во все стороны голубыми искрами. Если бы не шум от самого трамвая, наверняка можно было бы услышать его гурашливое мяуканье. Жутко мне стало на какой-то миг от такой картины.

Вероятно, все подобные видения — следствие расстройства моего восприятия. Но главное, чтобы подобный хаос не воцарился бы там, внутри мозга. Пока вроде бы я контролирую свои мысли и прочее. Да и если разобраться, то все эти нереальные события не столь уж фантастичны. Что мы знаем о мире? Несомненно, наша реальность лишь его малая серенькая часть, воспринимаемая нашими ограниченными органами чувств. Мы утратили способность постигать находящееся за его зыбкой гранью, а именно там, возможно, и происходит настоящая яркая жизнь. Оттуда, вторгаясь в нашу пресловутую реальность, может прилететь пуля, явиться неожиданная болезнь, примчаться на бешеной скорости роковой автомобиль. Но оттуда же бывают радостные вести, ощущение счастья без причины, ожугание перемен. Возможно, и любовь приходит именно оттуда. И когда что-то ломает в нас привычное восприятие окружающего, то, несомненно, до нас начинают доходить и другие вещественные сигналы более широкого мира, как если бы мы начали воспринимать ультра- и инфразвуки, существующие помимо нас, или обычно невидимую глазом часть светового спектра. Сигналы эти накладываются на нашу реальность, порождая новые, кажущиеся фантастическими сочетания, будь то двигающийся чёрный кот на трамвае или сидящий на крыше чёрный человек. Когда всё можно объяснить, становится спокойнее на душе. Но ведь если рассуждать подобным образом, то при подборе каких-то паранормальных обстоятельств каждый может приобрести вновь утраченное восприятие не только настоящего, существующего в данный момент, но и прошлого и, что особенно важно, будущего. Как только я осознал это, у меня появилась уверенность, что я могу постигать ближайшее будущее других людей. И действительно, это оказалось так, в том я убедился позже, но, странно, так и не научился предвидеть, что ожидает меня самого...

...Зазвонил у меня телефон. Вроде бы, ничего особенного. Но если учесть, что аппарат у меня без проводки, просто так, сам по себе — молчаливое до сих пор украшение, от прежних хозяев квартиры презент, — то случай, понятно, из ряда вон.

Голос в трубке оказался приятным, женским, молодым. Я не очень-то удивился, звуковые колебания бегут по проводам, преобразованные в электричество, а затем совершается обратное действие, и трубка вещает различными голосами. Так что, если рассудить, вполне вероятно, додумались, как обходиться не только без проводов, но и без источника питания, направленным каким-то пучком энергии, как радио, например. Поэтому я, действительно, не удивился.

— Помогите, — сказала девушка. — Помогите! Пожалуйста, помогите!

— А что случилось-то? — спросил я сонно, время около трёх ночи, я в самом деле спал до звонка.

— Понимаете. Как бы это сказать?.. Шалят... рядом старое кладбище и... Запишите адрес.

— Да вы объясните толком, — стоять босиком на холодном полу не такое уж большое удовольствие.

— Приезжайте поскорее!

— Да, но на чём? — резонно удивился я, своих колёс у меня нет, а на такси вряд ли можно рассчитывать... И тут же себя огёрнул: что это я? О чём спрашиваю? И кто она такая? Да какое мне вообще дело? — Да вы куда звоните-то?

— А это разве не милиция?! — неподдельно изумилась ночная собеседница. — С кем я говорю, собственно?

— С вами говорит доктор эзотерических наук... — напыщенно загробным голосом изрёк я внезапно для себя самого.

В трубке раздалась панические гудки отбоя.

И вдруг я услышал металлический смех.

— Ха-ха-ха! Мне понравилась твоя шутка! — произнёс зловеющий баритон с нечеловеческими нотками и опять деланно рассмеялся.

Я бросил трубку и почувствовал, как моментально покрываюсь холодным потом. Нет, серьёзно, в голосе действительно слышалось нечто потустороннее. Такие вот дела...

... — Извините, вы не видели здесь двух таких маленьких гномиков?

Девушка остановилась и ошеломлённо покачала головой.

— А вы боитесь зелёных крокодилов? Да? Тогда я обязательно должен вас проводить...

Последовавший каскад фраз иссяк, когда мы миновали целых три квартала. Девушка устремила на меня любопытные глаза:

— Вы сумасшедший, пьяный или просто так притворяетесь?

— Сумасшедший я. Конечно, сумасшедший, в том сомнений быть не может... — за-

душевно поделился я и, заметив у неё признаки смятения, поспешил успокоить: — Но не буйный, социально я не опасен, у меня есть справка из диспансера.

— Тогда — другое дело, — сказала она с явным облегчением, так что я сразу засомневался: а у неё самой-то все дома?

Тёплая июньская ночь вела нас по узким почти безлюдным улочкам города. Под фонарями, сбиваясь в облачка, лихо плясала очумелая мошकारа, а мы шли, шли и шли дальше... Боже, как давно это было, даже имени её не сохранилось, только взгляд обращённых на меня то смеющихся, то задумчивых чёрных блестящих глаз, и больше ничего. Мы встречались потом ещё, но это было так давно... Где та девушка теперь? Какой она стала? Впрочем, хорошо, что знакомство было недолгим, иначе воспоминания остались бы совсем другие...

...Самый тягостный праздник для меня — 8 Марта, День международной солидарности женщин. Я ничего не говорю, поздравить мать или жену, у кого они есть, куда ещё ни шло. Но при чём здесь всякие девочки, молодушки не рожавшие... Да и о какой международной женской солидарности может идти речь? Как это реально возможно? Если взять конкретно двух женщин не то что разных народов, а одного, даже родственниц, да они не то что найти общий язык не смогут, а отыщут десятки причин, чтобы разругаться в пух и прах, разограться и враждовать. Скорее, любые мужчины с женщиной договорятся между собой, если, конечно, оба в нормальном состоянии. Где и когда женщины участвовали с обеих сторон в серьёзных международных переговорах? Так что правильнее будет говорить о международной солидарности мужчин. Так давайте же выпьем за нашу мужскую солидарность!..

Мой любимый самолично сочинённый тост на 8 Марта, как всегда, имел бурный успех и на этот раз. Все развеселились, то есть не приняли его всерьёз. А мне стало как-то безразлично, я снова ощутил себя посторонним в шумной компании сослуживцев. Мне не было дела до их разговоров, до их веселья, может, со стороны могло показаться, что я принял надменный вид, но мне не было ровным счётом никакого дела и до этого, как до всего прочего окружающего. Я ощутил себя чем-то вроде «внутреннего эмигранта»...

...Не помню уже, когда именно появилась этакая потребность самовыражения. И я начал торопливо записывать, когда накатывало, набегающие мысли, воспоминания, впечатления. Исписанные листки складывал в отдельную папку, так у меня появилось нечто вроде письмокопилки. Однажды меня осенило, что по мере увеличения моих записок количество неизбежно перейдёт в качество, и у меня получится нечто вроде романа. Тогда я стал писать в толстые тетради и продолжаю делать это и сейчас.

Я читал, есть такой эффект объёмных структур: расположенные особым образом группы небольших искусственных полостей, например, пчелиные соты, оказывают воздействие на биологические объекты. Так и мои записи при достижении определённого критического количества должны дать какой-то новый эффект. С некоторых пор я просто уверен в неизбежности этого...»

Спустя несколько дней мы встретились с Фёдором.

— Ну как? — спросил он с любопытством, заглядывая в глаза.

— Что как?

— Ну, записочки, которые я тебе дал. Как они тебе? Надеюсь, ты их не читал запомним? А?

— Как же я мог после такого страшного предупреждения! А вообще-то типичное творчество душевнобольных вроде: «Осень наступила, вызрела капуста, что-то изменились половые чувства...» Встречали, имеем представление.

— И это действительно всё?

— А почему ты не предоставил их для заключения психиатру?

Юрист рассеянно кивнул.

— Врачи дали заключение, что больной страдал какой-то там формой шизофрении с глюками. А что, тебе они не пригодятся?

— Ты имеешь в виду психиатров?

— Да нет же, хватит придуриваться! — раздражённо дёрнулся Юрист. — Я говорю о тетрадах. Так оставить их тебе насовсем?

— Оставь, если не жалко, обязуюсь вернуть по первому требованию, — пожал я плечами. Больше он о заметках исчезнувшего со мной не заговаривал.

Чем больше я читал эти записки, тем большую лёгкость начинал ощущать в голове. А не приведёт ли дальнейшая читка и к моему исчезновению? Эта мысль, какой бы бредовой ни казалась, заставила, в конце концов, отложить тетради подальше. В суматохе повседневных дел я вовсе забыл об их существовании. Лишь спустя несколько

лет они случайно обнаружили мною в пыли стенового шкафа, когда я в очередной раз вернулся издалека под крышу родительского дома. У меня нашлось время, и я рискнул уделить записям больше внимания, дойдя до конца.

«...Работа опротивела, огни неприятности. То, что положено, не выполняется почти никем. Начальство норовит перепихнуть всё на плечи подчинённых. Зато когда речь заходит о премиях и наградах, о заслугах и отличиях, непосредственные исполнители остаются в стороне. Со всеми практически сослуживцами отношения напряжённые, кто завидует лёгкости, с которой я управляюсь с производственными обязанностями, кто моей двухкомнатной квартире с удобствами. Я вижу их всех насквозь, кто чем живёт, кто чем дышит, кто тащит домой с работы. Пробовал делать замечания, увещевать — никакого толку, лишь возбудил ещё большую неприязнь к себе. Но я не сдался и написал о творимых безобразиях в разные инстанции. В результате — долгий и неприятный разговор с начальством, почти ультиматум с угрозой увольнения. Думал, уже не остаётся иного выхода, как судиться...

Всё же после моих писем они попритихли, получив несколько выговоров за халатность и тому подобное, но и меня вынудили держаться подальше в стороне от их делешек...

Теперь все дружно стараются устроить мне какую-то пакость. Это мафия, настоящая мафия! Недавно я убедился, что меня взяли на заметку. Причиной тому мои сигналы, и теперь нет сомнений, что те соответствующие органы, в которые я писал, установили за мной слежку. Только несколько фактов:

1. Возле моего подъезда установили бочку с квасом, причём специально таким образом, чтобы продавщица постоянно могла видеть и фиксировать время моего прихода и ухода.

2. Этажом ниже жильцы больше года назад уехали куда-то на Север, и теперь в этой пустовавшей квартире появились новые молодые люди. Несомненно, они установили снизу подслушивающие устройства и круглосуточно ведут наблюдение за моими действиями. Что ж, вряд ли я предоставляю им какой-либо материал...

3. Каждый вечер, когда я дома выключаю свет, за окном слышится заработавший двигатель легкового автомобиля, и моё окно на короткое время освещают его фары, после чего машина отъезжает. Несомненно, они следят за мной и подают таким образом сигнал-угрозу. Пришлось заклеить все оконные стёкла газетами.

4. Вчера на лавочке у моего подъезда сидели два красноносых типа и о чём-то оживлённо вполголоса спорили между собой. При моём появлении они как по команде замолчали, я сразу догадался, что, несомненно, речь шла обо мне, хотя видел их впервые. Я не растерялся и смело сел рядом на скамью. Это поставило их в тупик. Они явно не ожидали подобного с моей стороны и, видя, что я не собираюсь уходить, быстро встали и удалились. Их молчаливая согласованность действий подтвердила мои подозрения.

5. Некоторые знакомые при встрече на улице настойчиво интересуются моими делами, здоровьем и т.д., хотя я их ни о чём таком никогда не спрашивал и не спрашиваю. Я лишь усмехаюсь, им меня не провести, и выудить у меня ничего лишнего им не удастся. Они не подозревают, что я прекрасно знаю, чьё задание они выполняют!..»

Такие «доказательства» занимали в тетради исчезнувшего с добрый десяток страниц.

«...Почему же меня до сих пор не забрали? По-видимому, главная причина — то, что мой отец пока жив. До недавнего ухода на пенсию он занимал значительный пост в обкоме, меня пока не трогают из-за его сохранившихся связей. Но рано или поздно это случится, я уже не могу жить спокойно, надо что-то предпринять... И это при том, что я не чувствую за собой никакой вины! Что мне могут предъявить обвинением, кроме нескольких анекдотов, рассказанных на работе в минуту душевной слабости? Всеми виной мой проклятый язык, ведь слишком многие имеют на меня зуб за высказываемую в глаза и заочно правду-матушку...

... Всё чаще меня охватывает ощущение нереальности окружающего. Всё происходит помимо моей воли. Что я могу сделать практически? Как изменить этот столь иллюзорный мир? Лишь моё тело, уязвимая оболочка духа, связует меня с окружающим, боль, жажда, чувство голода, остальные насущные потребности — его приземлённые напоминания моему относительно свободному мозгу. Иногда мне кажется, что ещё немного, и я достигну порога превращения: ещё чуть-чуть, и я смогу раствориться во всей широте физического мира, кажется, не хватает только единственного усилия воли, апатия и усталость мешают свершить метаморфозу. Странно, но я почти уверен — произойди подобное, и моя растворённая сущность, пришедшая на смену огра-

ниченному объекту брэнного тела, сможет войти в точки соприкосновения нашего мира с иными, более объёмными, не воспринимаемыми нашими обычными чувствами.

Ведь видимый мир вокруг такое же узилище для нашего разума, как и наше тело, только на порядок выше. И если я сумею раствориться в его физических измерениях, смешаться со всей массой его материальных частиц, то уж по давню смогу преодолеть установленные рамки и диффузно проникнуть в качественно иное существование...

...Наша воля — это же небывалый инструмент, вложенный в наши руки матерью-природой, золотой ключик для чудесного переустройства внутреннего бытия, ракетоноситель для вывода нашего сознания на новый уровень бытия. И не ближе ли всех учений и религий приведёт к подобной цели буддизм с его отрешённостью от мирской суеты? Может, именно этот путь и даёт возможность заточить инструмент нашей воли до необходимой остроты, без которой не отсечь всё ненужное при последнем акте самосозидания?

Всё тлен, всё суета, людское мельтешение, бессмысленное накопительство, погоня за престижем, различными благами, дефицитами, всё миражи и самообман, как это противно! Демагогическая болтовня, лицемерие и лицедейство на трибунах — как далеко это от моего сознания, словно муравьиная суматоха под ногами. Насколько значительнее представляются рядом с этим вечное небо, многолетние деревья и укрытая одеялом травы земля, будто жгущие моего растворения в них, взывающие к единению с их душами, распахнутыми в иные миры. Странно, но, кажется, попытки запечатлеть на бумаге свои неожиданные мысли, ощущения, всё происходящее со мной, но помимо меня, приближают к возможности осуществления подобного. Наступит момент, и новое качество вырвет моё сознание из липкой паутины привычного.

Я раздобыл подборки дзэнских коанов, специальных упражнений буддистов для разума, направляющих его к выходу за пределы обычного сознания к конечному просветлению. Ежедневная работа над собой вместе с ведением этих записей, от которых я стал получать всё большее удовольствие, придают мне уверенность, что я смогу чего-то достичь на своём пути, того, что я пока лишь смутно предощущаю своей обострённой интуицией...»

— И что, у него точно имелись эти самые упражнения буддистов? — спросил я Задорова при очередной встрече. Надо сказать, мы не виделись лет семь, его временно перебрасывали в другую республику, судьба распорядилась, чтобы и я надолго покинул родной город.

— Что, надумал сам попробовать? — прищурился Фёдор, в его тёмно-каштановых волосах заметно пробивалась седина. Мы стали старше и... отчуждённее. — Да, кое-что обнаружили. В общем, ерунда какая-то... — он на минуту задумался и процитировал по памяти: — «Мы знаем звук хлопка двух ладоней, а как звучит одной ладони хлопок? Ты что же, допускаешь, что он, в самом деле, исчез, растворился или тому подобное?»

— А ты? Для чего ты дал мне эти записи, если они могут представлять какую-то опасность для читающего их?

— Видишь ли... Конечно, я не верю в подобную чушь, можно сотворить со своей психикой чёрт-те что, я допускаю возможность такого психологического самоубийства, но тело, материальное тело, куда могло подеваться? Не растворилось же оно на атомы, как писал этот ненормальный... Опасность для читающего записки сумасшедшего, конечно, всегда есть — сумасшествие заразительно. Но для этого нужна какая-то предрасположенность, а я достаточно знал тебя, чтобы не беспокоиться. И всё же... ведь ты не читал до конца? — я кивнул. — Наверное, в нас природой заложен тормоз на подобные вещи, чтобы, грубо говоря, крыша не поехала...

— Знаешь, Юрист, я почти поверил, что он ушёл из нашей жизни таким вот необычным способом. Другое дело, существуют ли иные миры и всё такое прочее. Всё это полнейшая мистика. Если у нас нет доказательств реальности, существующей помимо нашего опыта, то зачем подобные измышления? Даже если такое оказалось бы правдой, зачем уходить от не устраивающей нас действительности? Проще было бы постараться как-то изменить её согласно своим представлениям, а он даже не пытался этого сделать. Просто ущербная психика, вот и всё...

— Но какое-нибудь действие на тебя эти записи всё же оказали, ну, не своим смыслом, а минуя сознание?..

Я покраснел и кивнул.

— Да, какая-то магия в этих записях есть. Чертовщина, словом. Когда долго и внимательно их читаешь, начинаешь чувствовать, что мир вокруг как бы меняется, точнее, я ощущаю его иначе и становлюсь сам другим. Наваждение какое-то...

— Видишь, даже у тебя такое... Значит, они реально могут представлять опасность... — с удовлетворением заключил Фёдор, глядя в сторону.

— Ты действительно думаешь... если прочесть их с начала до последней страницы, можно в самом деле исчезнуть? — спросил я неожиданно шёпотом; неужели он серьёзно допускает подобное? А сам уже почему-то с тревогой подумал о своём пятилетнем сыне: а вдруг он когда-нибудь возьмёт и прочтёт? Можно ли поручиться, что из этого ничего не выйдет? Всё-таки «бережёного бог бережёт» и лучше «от греха подальше»...

Мы пришли одновременно к одной и той же мысли, как прежде поняв друг друга без лишних слов.

Тёплым сентябрьским вечером на песчаной полосе острова у самой воды Фёдор и я развели небольшой костёр. Неподалёку покачивался на волнах уткнувшийся металлическим носом в песок моторный катер, приобретённый недавно Юристом в рассрочку. Как некогда ставшие ненужными после выпускных экзаменов школьные тетради, мы бросили в огонь свёрток с записями исчезнувшего. Фёдор добавил к ним рукописные коаны и конспекты за третий курс заочного юрфака, на который он всё-таки поступил. Я повесил над пламенем котелок с чаем.

Багровое солнце заходило за чёрные силуэты заводов на далёком берегу. Огненная дорожка пролилась от него по воде в нашу сторону, дробясь на мелких речных волнах. Это был наш действительный мир, и, честное слово, в этот момент он выглядел не так уж плохо. Мы жили в нём и чувствовали, что впереди нас ждёт ещё многое...

Прежде чем крамольные бумаги превратились в пепел, я и ощутил это чувство новизны, резкой перемены в окружающем. Одновременно со сгоревшими записями от меня ушло что-то тревожное и гнетущее. Будто мы только что исполнили необходимый обоим ритуал очищения. Я помнил многое из тетрадей, но уже твёрдо знал, что ничего из написанного мне не пригодится. Этот мир мне вполне подходил, другого у меня просто не имелось, и в нём меня поджидала интересная работа, надо было постараться сделать что-то своё, так что исчезать или растворяться в нём не было совершенно никакого резона.

Солнце село, и даже внезапно задувший ветерок не смог рассеять налетевших комаров. Мы торопливо допили чай и погрузились в лодку, надо было отогнать её до темноты на платную стоянку.

Розовое небо гасло на западе, подвесной мотор долго не заводился и, наконец, взревел, катер дёрнулся и понёс нас в сторону города. На стремительно удалявшемся песке осталась кучка пепла — записки исчезнувшего, растворившиеся вслед за автором в окружающем мире.

Сергей КИРИЛЛОВ

МАЛЬЧИК

Казённый коридор оказался узким и несколько мрачноватым. Может быть, на самом деле это было так, а может, это только казалось всякому, в него входящему, потому что и само учреждение не располагало к веселью. Как-никак ОВД. Андрей Васильевич медленно шёл по проходу, изучая таблички с названиями кабинетов. «Следователь» — значилось на одной из дверей, и он тихонько постучал.

«Войдите!» — раздалось изнутри, и посетитель повернул ручку. За большим письменным столом сидела очень молодая женщина, почти девочка, ничем не напоминающая грозного представителя закона. — Проходите, пожалуйста! — пригласила она, протягивая руку за повесткой. — Я — следователь Никитина, — Комаров сел на предложенный стул и замер в ожидании. — Мы расследуем уголовное дело Мальчикова, — начала хозяйка кабинета. — Дело, в общем-то, закончено, но, прежде чем передать его в суд, мы решили встретиться с вами. Ведь это ваш ученик, да? — Комаров молча кивнул. — Мы решили просто услышать ваше мнение об этом человеке. Ведь, согласитесь, не всякий подросток попадает на скамью подсудимых, — вопросительно взглянула женщина. Андрей Васильевич поёрзал на жёстком стуле, предвидя не пятиминутный разговор, и коротко согласился. — Ну, вот и расскажите нам всё, что вы знаете о Мальчикове как о человеке», — поставила задачу Никитина.

«В общем-то, я вряд ли вас порадую, — начал Комаров, собираясь с мыслями. — Ведь вы видите в нём преступника, а я...»

«Нет, нет, нет! — энергично запротестовала следователь. — Всё наоборот: мы-то как раз и удивлены, что этот мальчик совершил преступление, и очень хотим понять, как он к этому пришёл».

«Мальчик, говорите? — Андрей Васильевич усмехнулся. — Странная игра слов: преступник — мальчик по фамилии Мальчиков. Да какой же он преступник! Вы хоть при мне постарайтесь не употреблять это слово. Я понимаю, конечно, что с точки зрения закона любой его нарушитель — преступник. Но всё-таки давайте изберём другие термины».

«Согласна, — откликнулась Никитина. — Мне и самой не нравится такое определение в этой истории».

«А человек он самый обыкновенный, — продолжал Комаров. — Шустрый, сметливый, наивный, любопытный — мальчик, одним словом».

«А вы знаете, — опять вставила Никитина, — ведь его так и зовут в кругу уличных шалопаев. Не Митя или там Димка, а именно «Мальчик». Или «Маля».

«Кличка, что ли?» — уточнил Андрей Васильевич.

«Ну, в общем, да, — согласилась Никитина. — Хотя и не хотелось бы здесь употреблять это слово. Но вы рассказывайте, рассказывайте».

«Учился он у меня всего год, — продолжал Комаров, — и очень он мне был симпатичен. Я, знаете ли, обожаю таких учеников, у которых глаза горят. Всё им могу простить, если вижу, что тяга есть к делу, глубина интересует, а не только вершки. Вы ведь понимаете, что в любой профессии можно насшибать вершушек, а настоящим специалистом не стать».

«Конечно!» — живо поддакнула собеседница.

«Так вот Митя был один из тех, кого суть интересовала, — мечтательно произнёс Андрей Васильевич. — И чтоб познать её, он ничего не жалел: ни времени, ни сил. И я с ним тоже заводился, как мальчик: вечер — не вечер, дела — не дела, как засядем в мастерской — про всё забываем!»

Лицо Комарова потеплело, на губах появилась мягкая улыбка, будто улетел он в своих мыслях из казённого кабинета в далёкий, ему одному ведомый мир его профессии.

«А как он вёл себя? Вне занятий. Вне училища», — поинтересовалась следователь.

«Тут, знаете ли, опять интересная штука, — оживился собеседник. — Он ведь городской, а домой никогда не спешил. То со мной в мастерской, то с ребятами в общагитии. А бывало, что и ночевать с ними оставался. И жил их жизнью полностью: уборка там... прочие хозяйственные работы. Меня это удивляло, и я — к его родителям. А там никого... — Комаров осекся на полуслове, словно налетел на стенку, и замолчал. На столе тикали большие часы, никто другой не решался вспугнуть установившуюся тишину».

ся тишину. — Соседи помогли, — горестно выдохнул Андрей Васильевич, отвечая на немой вопрос следователя. — Пьют его родители, оказывается, и пьют каждый день. Потому и дома их нескорю застанешь. А Митька ни разу ни словом про это. И по поведению его я ничего не замечал: общительный всегда, жизнерадостный, только в училище появлялся раньше всех; мы приходим, а он уже там».

«Курил?» — встала Никитина.

«Не! — категорически возразил Комаров. — Я с ними две недели в колхозе прожил, всех увидел — кто чем дышит. Мы ведь не запрещаем курить, и многие делали это в открытую. Митя — нет. В компании с ними, картошку пекут, дурачатся, но курить — никогда!»

«Н-да-а, — задумчиво протянула следователь, — прямо кандидат в ангелы, а не в преступники... ой, простите...»

Помолчали.

«В чём хоть его обвиняют-то? — спросил Андрей Васильевич. — А то ведь я не в курсе всех деталей».

«История, в общем, банальная, — ответила хозяйка кабинета. — Вы ведь знаете, наверное, что почти год после училища Мальчиков ничем не занимался. Работы по специальности ему не нашлось, связался с дурной компанией, бродяжничал, ну а дальше как в поговорке...»

«С кем поведёшься, от того и наберёшься...» — подхватил собеседник.

«Вот-вот!»

«Н-да, упустили мы его, — невесело подытожил Комаров. — И моя вина тут есть, — Андрей Васильевич тяжело вздохнул. — Сначала-то он работал — я знаю, — продолжил он после паузы, — и всё у него хорошо начиналось. Я и успокоился, тем более, что новый набор начался. А когда услышал, что у него всё изменилось, было уже поздно. Меня он явно стал избегать, а попробовать найти его — руки не доходили».

«Да вы не корите себя так! — остановила Комарова следователь. — У него, в конце концов, дом есть и папа с мамой».

«А-а-а, — безнадежно махнул рукой мастер. — Тоже мне — родители; название одно. Они ведь как отдали его в училище, то локтем, наверное, перекрестились. Завота отпала — кормить не надо! Удивляюсь, как он ещё до восьмого-то класса с пути не сбился? А ведь все условия налицо. Недаром его «классная» говорила ему при выпуске, чтоб он в училище шёл».

«А вы с ней знакомы?» — оживилась Никитина.

«Знаком, конечно, — подтвердил Комаров. — Она мне чуть ли не первого сентября позвонила и про Митьку поинтересовалась — как, мол, он? Я ещё удивился тогда — мальчишка как мальчишка, побольше бы таких — с чем же интерес-то связан? Ну, она и пояснила что к чему».

«А что она про него думает? Как оценивает?» — живо любопытствовала следователь.

«Да то же самое, в общем-то, — задумчиво ответил Андрей Васильевич. — Мягкость только его сильнее выделяет, податливость. Он ведь в последний год в школе тоже много пропускать стал и тоже из-за родителей. Уходил из дому и скитался где попало. А мальчишка добрый, мягкий, как пластилин, лепи из него что хочешь. Она за четыре года это лучше всех поняла, потому и посоветовала ему в ПТУ идти, чтоб от дома оторвать. Там-то уж точно ничего путёвого не слепили бы».

«Да, — согласилась Никитина, — тут вы правы; ни с родителями мальчишке не повезло, ни с компанией».

«А что за компания?» — спросил Комаров.

«Плохая компания, — ответила следователь. — Хулиганистые, распущенные, романтикой воровской бравируют, всё на грани закона, а иногда и за гранью».

«А Мальчиков?»

«И Мальчиков тоже, — со вздохом проговорила женщина. — За год так освоился в новой среде, что теперь один из её лидеров».

Снова помолчали.

«Мы его привлекаем за хулиганство, — продолжила следователь после паузы, — и хотим организовать выездную сессию суда. Прямо у вас в училище. Чтоб все видели. А вас... — Никитина помедлила. — А вас мы хотели бы сделать общественным защитником. Вы не против?»

Комаров пожал плечами:

«Не против, конечно, только в чём моя роль?»

«Выступите на суде, если потребуется, и расскажете всем то, что и мне сейчас рассказали, — вот ваша задача», — пояснила следователь.

«Ладно, — согласился мастер, — мне это нетрудно. Был бы толк».

...Заседание суда проходило через неделю. Актовый зал, где оно состоялось, был

переполнен — всем хотелось поприсутствовать на необычном мероприятии.

На импровизированной скамье сидел щупленький мальчишка лет пятнадцати на вид, хотя, как вскоре выяснилось, шёл ему уже восемнадцатый год. Пока шла официальная часть и представление участников процесса, он вёл себя довольно безучастно, показывая этим и свою наивность, и свою неопытность в таких делах. Проявлял, скорее, даже любопытство, как если бы дело касалось не его лично, а кого-то другого. Но вот стали читать материалы дела, и мальчишка сразу преобразился. Заметно было, что ему очень хочется высказать своё мнение по поводу, даже возмущение в отдельных местах, но строгий взгляд немолодого судьи всякий раз удерживал его от возгласов. Материалами дела было установлено, что обвиняемый в компании своих ровесников приставал к подросткам и вымогал у них деньги. Как правило, все попытки были успешны — одинокие жертвы не решались пойти на открытый конфликт с явно превосходящей силами группой — и карманы вымогателей быстро пополнялись мелочью. Но вот, на всеобщую беду, у очередного беззащитного не оказалось ни копейки. Напрасно Мальчиков и его окружение пытались угрожать несчастному, требуя хорошо поискать — денег не было. И тогда обвиняемый пошёл на последний шаг.

«А ну, выворачивай карманы, салага!» — грозно приказал он и боднул свою жертву головой в лицо.

Удар получился несильным, но не ожидавший его подросток потерял равновесие, попятился, оступился — и упал. И это бы не страшно, но, на беду, руки несчастного были в этот момент в карманах, подстраховаться было нечем, и, падая на спину, мальчишка ударился затылком об асфальт. Сознание он не потерял, но из его носа, разбитого при ударе головой Мальчикова, потекла кровь, и какая-то женщина тут же вызвала милицию. Виновника задержали, впоследствии выяснилось, что у пострадавшего сотрясение мозга, и дело завертелось.

Странное, на первый взгляд, дело; таких, если приглядеться, можно хоть каждый день заводить по десятку. Обычная же «бытовуха»: телесные повреждения минимальны, материальный ущерб ничтожен — именно эти детали всем своим видом и пытались подчеркнуть нетерпеливо ёрзающий на скамье подсудимый. Чувствовалось, что и в зале было немало единомышленников, которые то и дело позволяли себе короткие возгласы в поддержку обвиняемого.

Комаров был в замешательстве: защищать обвиняемого — полагалось ему по отведённой роли (его так и представили), но защищать от кого?

Начался допрос свидетелей. Их оказалось на удивление много, каждый приводил какой-то свой эпизод, и из маленьких их рассказов складывалась довольно стройная картина, показывающая всем, как постепенно и незаметно деятельность обвиняемого за гранью закона стала его повседневной нормой. И самое эту грань он перестал замечать, давно оставив её позади. Ну, подумаешь — попросил денег, ну и что? Мало ли людей друг у друга просят деньги; что, всех судить за это, что ли? Ну, подумаешь — боднул при этом головой в лицо, так что, кулаком, что ли, заехал? Кто же знал, что тот вдруг шлёпнется, ведь и боднул-то чуть — голова всё-таки, не полено какое-нибудь. И когда, наконец, судья обратился со своими вопросами к подсудимому, тот, ответив на них, неожиданно высказал суду все эти возмущённые мысли. Его шумно поддержали единомышленники из зала, раздались даже редкие аплодисменты, словно бы в ответ на речь маститого адвоката, и, услышав это, Комаров вдруг почувствовал, что внутри у него словно что-то лопнуло. Он отчётливо увидел в своём бывшем ученике, которого по-настоящему любил и жалел, готового сформировавшегося преступника! Да-да, именно преступника с полностью сложившейся психологией и уверенностью в безнаказанности, а не случайного правонарушителя. И ему расхотелось защищать Мальчикова. Наоборот, у него появилось жгучее желание — выступить в качестве главного обвинителя. Чтобы с позиции много повидавшего человека открыть всем, и особенно сочувствующим в зале, глаза на то, что перед ними действительно преступник, чтобы заставить замолчать доброхотов. Чтобы именно осудить сам факт омерзительного отношения подсудимого к окружающим. Когда ничто не принимается во внимание, кроме своего «я» и своих желаний. Когда походя, но глубоко унижается человеческое достоинство. Когда одинокие надломленные жертвы теряют способность противостоять коллективному злу. Но слова ему никто не дал, а просить его, понимая, что он не на собрании, Андрей Васильевич не стал. Зато слово сказал прокурор. Чётко, веско, аргументировано и в высшей степени профессионально.

«Ввиду большой общественной опасности преступлений, прошу суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года!» — закончил свою речь представитель закона.

В переполненном трехсотместном зале воцарилась гробовая тишина. Всех охватило мгновенное оцепенение, казалось, что собравшиеся перестали дышать. Четыре года! Вот те на! Побаловались... В мёртвой тишине кто-то обескураженно присвист-

нул, и судья предоставил слово адвокату. Довольно обиденного вида женщина что-то путано и невнятно говорила ошарашенному залу, и из всей её неубедительной и невыразительной речи до Комарова дошло только то, что обвиняемый молод и привлекается в первый раз. А значит, срок можно снизить до двух лет и меру наказания избрать условно.

Комарову показалось, что в стул ему навтыкали гвоздей! Он еле сдерживал себя, чтоб не вскочить, еле останавливал, чтобы, как школьник на уроке, не попросить слова. «Что вы делаете? Что же вы делаете? — хотелось выкрикнуть ему. — Неужели вы ничего не видите? Неужели ничего не понимаете? Давайте ему хоть десять лет условно, но на полгода отправьте за решётку. Обязательно! Чтоб он увидел, что тюрьма — это не дом отдыха. Чтобы вышибло из него всю его воровскую романтику. Неужто вы не видите, что он не чувствует себя виноватым, а обвинение в свой адрес воспринимает как некий обязательный атрибут. Дескать, так надо, так положено в суде, чтобы прокурор просил кары. Но главное — это что скажет адвокат. И неважно, что там напишут в деле, важно, что поговорим — и разойдёмся. Каждый по своим делам. Вы, дескать, новые приговоры стряпать, а я свою жизнь продолжать. И всё в ней останется как было, я же никого не убил...» Но слова Комарову никто не дал, секретарь объявила, что суд удаляется на совещание, и Андрей Васильевич понял, что он присутствовал на хорошо срежиссированном спектакле, где всё было оговорено заранее и каждый сыграл свою роль: кто хорошо, кто похуже, а кто просто помолчал статистом. Как и следовало ожидать, Мальчикову дали два года условно, и он, прямо в зале соединившись со своей компанией, весело смеясь, направился к выходу.

«Здравствуйте, Андрей Васильевич!» — бодро поприветствовал он Комарова.

«Здравствуй, Митя», — задумчиво отозвался мастер.

«Я свободен!» — снова весело улыбаясь, воскликнул Мальчиков.

«Вижу, Митя, вижу», — всё так же тихо проговорил Комаров.

«Радоваться надо, Андрей Васильевич! — возбуждённо продолжал бывший ученик. — Сейчас пойдём «обмоем».

«Нечему радоваться, Митя», — печально выдохнул учитель.

«Как это? — не понял Мальчиков. — Свобода же...»

«Свобода свободе рознь, Митя, — пояснил свою мысль Комаров, — а это свобода плохая. Но я очень хочу, чтобы она переросла для тебя в хорошую».

«Пошли, Маля! — нетерпеливо потянули подростка его компаньоны. — Нашёл, с кем базарить, «накатить» уже пора».

И под громкий хохот, больше похожий на лошадиное ржание, вся компания быстро загрохотала каблуками по лестнице, направляясь к выходу.

...А через два месяца в зале городского суда слушалось уголовное дело по обвинению Мальчикова в грабеже. Приговор — два года лишения свободы, плюс два условных по первому приговору, и на четыре года подросток отправился в колонию общего режима!

...Прошло пять лет.

История с «показательным» судом мало-помалу затянулась дымкой времени, и Комаров уже не вспоминал её с тем острым чувством несправедливости и возмущения, которые жгли его тогда, пять лет назад. Но вот однажды, по дороге на работу, он вдруг услышал:

«Здравствуйте, Андрей Васильевич!»

Комаров поднял голову и увидел перед собой высокого мужчину с импортной детской коляской. Рядом с ним, держась под руку, улыбалась изящная молодая женщина, и оба открыто смотрели на Комарова.

«Не узнаете?» — спросил мужчина, видя недоумённый взгляд, и широко улыбнулся.

«Н-не-е-ет... — неуверенно начал Андрей Васильевич и вдруг вскрикнул от удивления: — Митя?!»

«Я!» — ещё больше улыбаясь, ответил мужчина.

«Да как же... да как же ты... — застылся в словах Комаров. — Мне бы и в голову не пришло — так вымахал!»

Мальчиков громко расхохотался и успокоил:

«Многие так встречают, Андрей Васильевич, не вы один. Хотя про вас я думал иначе. Мы ведь с Алёнкой тут недалеко живём и вас часто видим. Она уже давно всё про нас с вами знает и всё ждёт, когда же вы нас остановите. Ведь столько за год в училище было пережито. Разве не так?»

«Конечно!» — согласился мастер.

«Вот и я так думаю, — согласился его ученик, — а потому решил, что вы на меня смертельно обиделись, коль не замечаете».

«За что, Митя?!» — чуть не крикнул Комаров.

«Ну, за то, что я вот такой непутёвый оказался, — пояснил Мальчиков. — Но я вас понимал и не судил за то, что забыли. Хотя, если честно, очень хотелось, чтоб помнили. И написать хотелось... оттуда ещё...»

«Так что же ты?!» — опять воскликнул Комаров.

«Да так получилось, — задумчиво проговорил мужчина. — Сначала такого желания не было, а когда появилось — засомневался: а имею ли я право? Понял: ведь я же преступник! Дважды судимый... И решил — нет. Пока не вернусь к нормальной жизни — никаких писем. Не о чём писать! Плакаться да каяться — это удел вольных грешников. А «там» надо «лямку тянуть». И думать, думать, думать, если не нравится».

Помолчали.

«Ничего я не забыл, Митя, — с нежностью проговорил Комаров. — Ни плохого, ни хорошего. Но больше хорошего, а потому часто думал: как-то ты там?»

«Всё нормально, Андрей Васильевич! — в тон ему отозвался Мальчиков. — Сейчас всё нормально. С прошлым «завязал» наглухо, Алёнка вот у меня теперь, малыш у нас...» — сильная мужская рука уверенно покрыла плечо спутницы, и молодая женщина засветилась тихой счастливой улыбкой.

«Сын?» — уточнил учитель.

«Да! — ответил ученик. — Андреем назвали, как вас...»

У Комарова перехватило дыхание; он стиснул зубы, чтобы справиться с подступившим волнением, и лишь через паузу поинтересовался:

«Сколько ему?»

«Третий месяц пошёл, — с теплотой в голосе сказал Дмитрий, — а Алёнкиной Машеньке третий годик. Но она мне, пожалуй, ещё больше дорога. Ведь это она нас случайно познакомила, а оказалось, что счастливо. Лучше моей Алёнки никого на свете нет! Так что сбьлись ваши пожелания насчёт хорошей свободы. Помните?»

«Помню, Митя, конечно, помню» — эхом отозвался учитель.

«А я ведь вас тогда не понял, Андрей Васильевич, в зале-то, — продолжал Мальчиков. — Я тогда вообще ничего не понял, весь тот суд каким-то глупым сном казался: чего, думал, пристали? Я же ничего плохого не сделал!»

«Видел я это, Митя, — подхватил Комаров, — по твоему поведению видел. И очень хотел тогда выступить совсем не как защитник. Чтобы тебе же и всем остальным глаза открыть, сон этот сбросить. Чтобы поняли все, что преступление это и действительно опасное. Не дали. А может быть, и не попал бы ты тогда на четыре года, если бы сразу всё понял?»

«Может быть, — согласился Мальчиков, — но что теперь? Из песни, говорят, слов не выкинешь. Главное, что теперь дошло, и ещё целая жизнь впереди. А уж мы её с Алёнкой проживём!..»

Красивая мужская рука снова крепко обняла женские плечи, и Комарову стало вдруг покойно и уютно на душе. Как если бы зажгли рядом большой костёр и он заполнил пространство своим теплом и светом.

«Дай вам Бог, ребята, — уж совсем по-отечески напутствовал он молодую пару, — и добра, и семейного благополучия полной мерой! И будьте всегда счастливы, как вот сейчас!»

...Прошло ещё полгода. Комаров часто вспоминал этот разговор и, проходя привычным маршрутом, всё надеялся на новую встречу. Но встреча не происходила. И вот однажды, уже зимой, он заметил впереди знакомую коляску. Но катила её совсем незнакомая женщина: сгорбленная спина, бессильно опущенные плечи, поникшая голова... Комаров подумал, что обознался — мало ли похожих колясок — и при обгоне только бросил короткий взгляд, чтобы убедиться в ошибке. Бросил — и обомлел! Это была она... Та самая изящная Алёнка, которая так счастливо улыбалась ему в мае при первой встрече. Её постаревшее на добрый десяток лет лицо казалось серым, как сумрачный промозглый декабрь, потускневшие глаза не выражали ничего, кроме пустоты и безразличия.

«Что с вами?! — охнул Комаров и в ту же секунду обратил внимание, что женщина вся в чёрном. Пронзённый смутной догадкой, ещё не отдавая себе отчёт ни в словах, ни в действиях, он машинально поправился: — Что с Митей?»

Она помолчала минутку, видимо собираясь с силой, и глухо выдохнула:

«Митя погиб».

«Как?! — вырвалось у Комарова. — Когда?»

«Его повесили... скоро 40 дней», — тихим эхом отозвалась женщина, и до учителя не сразу дошёл ужасный смысл сказанной фразы.

«Как... повесили?... — опять не нашёлся он. — Кто? Откуда известно?»

Алёнка снова замолчала, делая отчаянные усилия, чтобы овладеть собой, и Андрей Васильевич запоздало пожалел о том, что задал ей такие горькие вопросы. Но слово — не воробей... вопросы прозвучали...

«Это подельники его и дружки их, — снова тяжело выдохнув, пояснила женщина. — Они сидели все вместе, а как вышли, Митю хотели обратно на старое, а он отказался. Ни на кого, говорит, тебя, Алёнка, не променяю...»

Её вдруг прорвало, и она громко, безутешно зарыдала. Забеспокоился и заплакал малыш в коляске, Комаров засуетился, делая какие-то бестолковые движения, не зная, кому помогать, но женщина быстро овладела собой. Успокоила своего сына, промокнула глаза сама и вдруг, подняв голову, посмотрела прямо на мастера:

«Вы меня извините, Андрей Васильевич. Мне очень больно, и я больше не могу. Сходите на могилку к Мите — вы всё поймёте».

...Свежий, слегка припорошенный снегом земляной холмик на городском кладбище Комаров отыскал легко. На деревянном столбике-крестике была прикреплена тоненькая дощечка размером с тетрадный лист, предназначенная, очевидно, для монтажа на ней фотографии покойного. И фотография эта на дощечке была, но это была маленькая фотография, занимавшая едва ли четверть площади дощечки, и фотографию эту Комаров сразу же узнал. Это был снимок на память об училище, точно такой же имелся и у него самого. На чёрно-белом отпечатке был запечатлён симпатичный мальчик с правильными чертами лица и ясным открытым взглядом. Ниже снимка масляной краской были написаны его фамилия и имя. А ещё ниже, на свободном месте дощечки, Комаров заметил тонкие плохо различимые буквы. Они сделаны были, очевидно, авторучкой или чем-то подобным, но читались плохо. Андрей Васильевич пригляделся и понял: чья-то рука пыталась их соскоблить с памятника, но то ли попытка была неудачной, то ли другая рука постаралась восстановить написанное. Так или иначе — неважно, главное, что, приглядевшись, можно было различить: «Иуда предал Христа, а ты друзей. Прощения нет обоим!»

«Боже мой! — похолодел учитель, прочитав. — Даже мёртвого не оставили в покое!»

Он вытащил из кармана связку ключей и острой кромкой одного из них попытался уничтожить написанное. Но буквы не поддавались; пигмент глубоко впитался в дерево, и стало ясно, что без хорошего инструмента надпись не убрать. И тогда Комаров достал авторучку. Подумал немного, примерился и, перекрывая остатки старого текста, жирно написал поверх однажды услышанное и понравившееся:

*«Какой невыносимо тяжкой платой
За истины приходится платить...
Чтобы тебе и всем от злого мрака
Вперёд шагнуть хотя бы на полшага...»*

Выпрямился и долгим-долгим взглядом посмотрел в пространство перед собой.

«Прости меня, Митя! — наконец, произнёс мысленно, задержав взгляд на снимке. — Дай тебе Бог царствия небесного. Ты его выстрадал!»

С маленькой фотографии в ответ ему по-детски счастливо улыбался мальчик. Никем другим Комаров его и не знал.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ЗАГАДКА УЛИТКИ

*«Если черти в душе гнездились,
Значит, ангелы жили в ней...»*

С. Есенин

Раз, и ты в вагоне поезда. Два, загадываешь желание. Три, в твоих руках оказывается перо жар-птицы. Четыре, ты отпиваешь зелёный чай. Пять, за окном мелькают столбы и кивают тебе. Шесть, напротив тебя сидит он и жуёт кожуру от яблока. Семь, поезд въезжает в тоннель. Восемь, ты зажмуриваешь глаза. Девять, начинаешь считать под стук колёс. Десять... ты всё время видишь себя путешествующим в поезде Пенроуза по кругу своих сновидений.

* * *

— Дорогой, у нас будет ребёнок, — женщина поставила перед ним тарелку с кашей, обтёрла об передник ложку и положила её справа. — Хлебушек будешь? — толстый ломоть дрожащей рукой опустил её слева.

— Не надо, — взял ложку и грузно кинул назад в плоску с кашей. — Не смогу я. Ну не смогу, пойми ты. Мы с тобой вдвоём-то не можем прожить. А тут ещё... — он кивнул в сторону округлившегося живота. — Будет сироткой. Одичалый. Дворняжкой.

— Ну... — склонив голову и утирая уголком передника глаза, прошептала, — он ведь наш. Как же мы его, как кутёнка, выбросим, штоль...

— Сказал же, — тарелка юлой закрутилась по столу, разбрызгивая кашу повсюду. — Не могу я. Вытащи и выброси. Всё. Спасибо, сыт я уже, — не оборачиваясь на осевшую возле стола женщину, он вышел из кухни. Спустя пару минут раздался сначала скрип, а потом громкий хлопок входной дверью.

В квартире вдруг сразу стало тихо.

Вы когда-то видели такие дома, где нет детей? Они словно обветшалые гнёзда. Словно опустевшие скворечники. Удушающая тишина. «Чтобы было кому стакан воды принести», — говорят обычно те, кто настраивает струны своей ещё не закоростевшей души на гармонию нежности и мягкости. Для кого-то.

«Детей заводят, как и собак. Ради забавы. Ради привычки. Чтоб как у всех. Так надо».

Так думал он всякий раз, пока шёл от дома к машине. Привычно открыл и сел. Провернул ключ зажигания и, опустив руки на руль, расплакался. Он не хотел бы такой участи для своего ребёнка. Только не так.

В памяти, как слайды в проекторе, снова повыскакивали картины из детства. Пока были рядом дедушка с бабушкой, за едой и в любое время, когда они занимались делами, он занимал себя и родных расспросами. Чаще о войне, что выпала на долю родных. «Что такое судьба, ба?» — «Это, Мишунь, то, что ты хочешь изменить, но не всегда можешь». — «Это как?» — «Вот ушли мамка с папкой на войну. А он остался. Малой же. Таскается от дома к дому, от укрытия к укрытию. Кто где подкормит, кто как обогреет. Но не прибавается ни возле кого. Брошенный. Никому ненужный. И тут вдруг случайно повезёт ему встретить на своём пути шофёра, обычного такого, крепкого мужчину с грубыми мозолистыми руками, и прижимают эти руки его к себе. Жмётся мальчонка: «Папка, родненький, я знал, я знал, что ты меня найдёшь, я так долго ждал, когда ты меня найдёшь». И соединяются два брошенных сердца, и никто не будет одинок. Это и есть судьба. Но таких судеб мало. Много после войны осталось разбитых семей. Много сироток». — «И никто их не берёт к себе?» — «Кто-то и берёт. Но всех ведь не

заберёшь».

«Всех не заберёшь, но кому-то помочь можно», — кивает он на свои повторяющиеся изо дня в день воспоминания.

Доезжает под гнетущие заунывные мысли к работе. У ворот уже напарник ожидает его. Садится к нему в машину, и они едут дальше.

И снова будет дядь Миша спасать оставленных. Некоторых больных. Да и не винил он никого. Мало кто может на себя взять смелость и выхаживать того, чья жизнь висит на волоске. «Тебе тут будет хорошо. Мы будем приезжать. И игрушки все будут твои здесь. Ты не будешь один, Мишунь. Так надо». Наверное, это последнее, что он помнил о бабушке и дедушке.

* * *

Дверцы «вазика» распахнулись, и из него выпрыгнули двое в объёмных куртках и резиновых ботсах.

— А удавку мы взяли? — спросил тот, что помладше того, что постарше.

— На кой леший она нужна? Ослабла уже, вона как согнулась в три погибели, — кивнул он в сторону парка.

— Дядь Миш, а как ты дошёл до жизни такой? — вытащив из багажника мешок и палку с крючком, малой, медленно передвигая ботсами, начал двигаться к скамейке.

— Дык жалко ж их. Брошенок этих. Не я, так очокурится тут совсем сиротка, — раскрыв мешок для поимки животного, он так же осторожно ступал следом за напарником. — Пущай ещё поживёт маленько. Ох, лёгонькая какая, одни кости и хвост. Не жрамши, поди. Дышит. Туше, животинка, туше. Давай-ка вот што, и мы закруляться на сегодня будем. Устал я, и жрать охота, — он аккуратно уложил её, измызганную, с торчащими ушами и холодным носом, рядом с такими же кулками в закрытом кузове, прикрыл дверцы и, забравшись в кабину, добавил: — Последняя на сегодня, — вытащил из кармана куртки что-то наподобие блокнота с ручкой и записал в нём: «Окрас чепрачный. Глаза карие. На ошейнике написано имя «Дружок». — Хм-м... мальчик, стало быть.

— Кобель, — поправил его молодой напарник, усаживаясь на водительское место, и завёл двигатель.

Дядь Миша уже ничего не ответил. Он достал пачку, вытянул сигарету, засунул её в рот. Потом вытащил, смял и, открыв окно, выкинул.

— Обещал жене, что брошу, — будто бы оправдываясь, обронил, глядя в окно, и продолжил: — Жить я должен. Пропадут они без меня.

Напарник так и не понял, о ком сейчас дядь Миша. О своей семье или об этих псах, тех, что они вытаскивали буквально с того света. Если дядь Миша и не говорил, то он-то хорошо помнил, как впервые пришёл в контору и первое наставление, которое услышал, было: «Никого драть нельзя! Запомни это раз и навсегда. На человека и на животное можно подействовать только внушением». Они быстро сработались. Ездили по поимке только вечерами после работы. Вернее, работал ли дядь Миша где-то ещё или нет, он не знал. Да и не спрашивал.

Приезжал, они загружали вещи и накручивали круги по городу. Больше всего разъездов приходилось, конечно, на осенне-зимний период. Кто-то сильно сердобольный оставлял прямо в коробках, а в основном эти бродяжки забивались по паркам и возле подъездов. Свозили их в центр «Реабилитации животных» при ветлечебнице, где работала дядь Мишина жена. Такой вот семейный подряд. Это всё, что он знал про его семью. Были ли у них дети или нет, никогда не дознавался. Да и вообще дядь Миша был не сильно разговорчивым. Прислонит голову к окну и едет вот так, мыслями по стеклу размазывает. Вспоминает что-то, и явно это что-то его мучает. Ну не уходят люди просто так в служение другим. Не просто так становятся врачами, учителями, пожарными... Есть такая профессия — слабых защищать. Вот он и защищал. Помогал.

* * *

— Докторам хорошо, а рабочим — лучше, я б в рабочие пошёл, пусть меня научат.

— Ну, чего остановился? — женщина в белом халате сидит возле кровати и следит за тем, как он читает. Маленькие ручонки лежат поверх одеяла, держат толстенную книжку, и после каждой строчки голова опускается, и он пытается закрыть глаза. Женщина дотрагивается до плеча и мягко проводит по светлым волосикам. — Давай-ка теперь я. Устал, Мишунь?

— Нет. Просто задумался. Я бы тоже хотел быть доктором. Или пожарником, — он ищет глазами строчку, где остановился и читает дальше: — Быть шофёром хорошо, а лётчиком лучше — я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин,

завожу пропеллер. В небеса, мотор, вези, чтобы птицы пел... — он снова остановился и повернул голову к окну.

Прямо перед ним плыли облака. На этом уровне их этажа они всегда были тут в любое время. Иногда похожие на бороду старика Хоттабыча, иногда на пушинки одуванчика, а чаще на лапки белого пуделя. Он всякий раз фантазировал и сочинял сказочные истории. Так советовал делать доктор, когда заходил на осмотр. Да и, честно говоря, так нравилось ему самому. Сколько он себя помнил, а значит, вот уже 8 лет, он вечно что-то придумывал. И постоянно был здесь. В этой комнате, где стояла его кровать у стены.

Рядом был стол, напротив окно с широким подоконником и таким же широким карнизом. На который время от времени прилетали голуби и тут же становились новыми персонажами. Единственными его друзьями были книги. И потому в его фантазиях часто мелькали пираты и сокровища, где Джим Хокинс находит карту и вместе со своими друзьями отправляется на Эспаньоле в опасное приключение. Или смешной человечек с пропеллером, который гоняет воров по крышам и доводит Фрекен Бок до жужжания в обоих ушах.

Он жил в своём загадочном мире, наполненном светом и свежим воздухом. И представлял, что когда-нибудь выберется из своего подземного укрытия и попадёт на поверхность земли. Он даже завёл себе воображаемых друзей из повести, которую читал, и общался с ними, правда, когда мамы не было рядом, — водяную крысу по имени мистер Рэт, мистера Жаба и мистера Барсука. Так они и проводили все дни, пока он лежал под капельницей или спривался с болью после курса обезболивающих.

* * *

Сегодня был самый лучший день. Сегодня ярко светило солнце, и небо выглядело таким светлым, будто морская гладь. Развернув белые паруса, на воде показывался великолепный трёхмачтовый фрегат. Сквозь прорези в бортах смотрели точёные пушки, по бокам от бушприта темнели крепкие якорьки. Команда из сорока человек завершала построение на борту с боцманом, у которого на плече восседал попугай. И такой этот боцман, вот как его папка. То удочку купит, то леску натянет, то кораблик самодельный подарит. Но только не ему, а всё это остаётся подарками других ребят. Заботливый. Жалостливый у него папка. Всем готов помочь. «Ты ведь у меня тоже вырастешь, помогать будешь?» — скажет и обнимет. Прижмётся тогда мальчиковая щека к колючей щеке отца, и забудётся от отцовской любви детское сердечко. Застучит, как колёса паровоза. И снова умчится Мишка в мыслях в свои сказочные миры. Никто ему не страшен. Никого он не боялся. Как отважный мангуст Рикки-Тикки-Тави, стойко стоял перед любыми изворотливыми напастями. Только и у мальчишки был свой потаённый страх. Больше всего на свете боялся он быть брошенным, как Дружок, который остался висющим на заборе и колышущимся на ветре бумажным листком.

Не бывает нелюбимых, бывают ненужные.

Мама поднимала его иногда на кровати и, подперев подушкой спину, подсаживала к окну.

Он сидел и смотрел, как в парке внизу бегают дети и играют собаки.

Он улыбался.

Вот несётся похожий на обезьянку аффенпинчер, и даже издали видно, как забавно морщится мордочка этого домовёнка Кузи. А вот рыжий пухлячок, который из-за своих кустистых бровей скорее похож на угрюмого старика, нежели на собаку. Милые, но ужасно некрасивые сардельки на коротких лапках — эти часто лениво сидят возле своих хозяев на скамейках. Но иногда и всё чаще в осенне-зимний период, когда уже меньше детей и слабее солнце, в парках возле этих самых скамеек сидят они. Ощетинившиеся сиротки. Оставленные и забытые.

Темно и грустно.

Сегодня был бы самый лучший день, но к вечеру всё омрачил дождь. Юный мечтатель сидел возле окна и смотрел, как раскачиваются клёны-великаны. Ветер срывает последние лоскутные одеяния с каштанов и дубов. На низкорослых деревьях возле обочины дороги уже налились красные ягоды. Их много. Значит, и зима придёт скоро и будет долгой. Листья стали совсем ржавые. По парковой дорожке стекала буро-серая масса.

— Ты не хочешь прилечь уже, Мишенька?

— Немножко посижу и прилягу, мам, — он вдруг видит, как под скамейкой что-то двигается. Привычно представив, что это груда листьев, присматривается. Неожиданно отделяется сначала одна лапа, потом другая. И вот тёмный силуэт, качаясь, пробуждается. Он съёживается в унисон с собакой, которая поджимает под себя хвост. Наклоняет голову вслед за мордочкой животного. И вздрагивает вместе с собакой, кото-

рая, падая, развеивает веером листья под собой.

Кулачки сжимаются, и он пытается приподняться, ожидая, что упавший друг расшевелится снова. Но снова ничего не происходит. Только двое мужчин, резко откуда-то возникших, вытягивают длинной палкой с крючком из-под скамейки обездвиженное тело, засовывают в мешок и несут на вытянутых руках к машине.

Спать не хочется. Хочется придумать, что эта история не закончилась. И что щенок нашёл свой дом и своих родителей.

* * *

Только бы не быть одному.

— Посиди со мной немножко, — задержав за подол, он не отпускает маму. Она не противится. Давно уже привыкла, что он не заснёт без её рассказов. Как и давно привыкла к тому, что он называет её «мамой». Да и не он один. Многие детки в их Центре называют врачей «папами», а медсестёр — «мамами».

— Ну хорошо, ты прикрывай глазки, а я расскажу тебе историю про путешествие на поезде мечты. Поезд этот был не обычный, а волшебный. Всякий, кто в него садился, мигом получал то, о чём мечтал больше всего. Две стрекозки-воображельки Лана и Тата загадывали никогда не бояться дождя, который мог испортить их кружевные наряды. И платица их вмиг превращались в зонтики, а на ножках красовались лаковые туфельки. А вот хмурый дядюшка, который хотел всё время оставаться богатым и независимым, и тут же у него в руках оказывался кожаный саквояж, дополна набитый золотыми монетами. Где-то рисовали несмываемыми красками, где-то стучали на самопечатающей машинке, где-то играли на парящих в воздухе струнах, дымилась каша на невидимой плите и закручивались сливочные рожки в вафельных стаканчиках, — мама уже давно заканчивала рассказывать и, наклоняясь, целовала его в щёчку. — Спи, Мишуль, — прикрывала дверь, и он открывал глаза.

Перед ним затормозил длинный поезд, собирающий копошащихся пассажиров с перрона. Все они выглядят радостными и счастливыми. Ведь через пару минут их мечты сбудутся.

«Как мало и как глупо мечтают взрослые о чём-то таком неважном. Совершенно дурачком». Так думал маленький мальчик и представлял себе, что бы он пожелал, окажись он в этом поезде. Заполненном до последнего вагона. Вот лишь одно купе, где ещё есть свободное местечко.

Он втискивается рядом с полным мужчиной и смотрит внимательно на него. «Интересно, что же мог загадать себе он?» Видит, как перед мужчиной лежит фотография, где запечатлён явно молодой высокий человек. «М-м-м...» — мужчина улыбается, поправляет свои кудрявые волосы и проводит рукой по тому месту, где только ещё пару минут назад было упитанное пузо. Он достаёт свёрток и разворачивает его. По купе проносится запах жареного лука, и слышно поскуливание — «явно ж не от этого мужика».

Взгляд опускается на пол, где возле двери купе сидит щенок. Он виляет хвостиком и, поджимая лапки, готовится сию минуту подпрыгнуть и выхватить торчащий из бутерброда уже не пузатого Аполлона, отваливающийся краюшек котлеты. Отломок шмякнется на пол, и щенок с жадностью раздирает его, как Тузик грелку. Аполлон, не отрываясь от своего куска, чавкает и кивает головой: «Приятного!» Все сыты и все довольны.

«Что такое счастье?» Он рисовал себе, что счастье — это вот как поездка в этом поезде. Так непостоянно и так неизменно разну у многих. Счастье всегда связано с исполнением мечты.

Только мечты эти, как в сказке с Золушкой, разбивались тыковкой, когда заканчивался путь и путник прибывал к своему месту назначения.

Он тоже мечтал, чтобы его мама и папа были рядом. И чтоб когда поезд остановился, на перроне они встречали его. И всё. Больше ничего не надо. «Просто маму и папу».

Но каждую ночь он просыпался от своего удушающего крика и успокаивающего голоса над собой:

— Ну что ты, миленький, снова сон? Давай-ка, как учил нас доктор. Нашу считалочку, — и они начинают вместе считать. Раз, по узенькой дорожке голова ползёт да рожки. Два, очень медленно ползёт, на себе свой дом везёт. Три, дом из камня завитками, в этом доме зверь с рогами. Четыре, и не бык, и не коза, на рогах у ней глаза. Пять, рожки есть, а не бодает и к ладошке прилипает. Шесть, испугалась воробья, спряталась рогатая. Семь, дождь идёт, гремит ли гром — завитой укроет дом. Восемь, в домике всегда своём, даже в гости ходит в нём. Девять, жизнь свою живёт она в своём домике одна. Десять, нет забора, нет калитки, возле домика...

* * *

Тишину вдруг разрывает звонок. Она как обычно идёт к входной двери, привычно приложившись к глазку, проворачивает дверной замок.

Распахивает настежь дверь.

— Ты приготовишь чаю? — он с нежностью смотрит на неё и, не дожидаясь ответа, входит в квартиру и скидывает облепленные уже присохшей к подошве грязью ботсы на пороге. — Устал сильно. Спит? — не раздеваясь, идёт в комнату, где возле стены стоит детская кроватка. Наклоняется и целует в макушку свёрнутый в ней кулёк. В кроватке кто-то шевелится и издаёт протяжный звук, как струнка скрипки.

— Тебя ждал, — женщина сияет.

Он смотрит в глаза младенца, пытаясь в этих двух мутных кружочках распознать, какого же они будут цвета. «Да и важно ли это? Намного важнее, чтобы они всегда были счастливыми».

— А помнишь, Мишань, как, растерявшись, мы выбирали, кого взять? Как кутят из коробки, разложили перед нами. Все такие похожие, — она умильно смотрит на малютку и аккуратно поправляет чепчик на маленькой головке.

— Конечно, помню... — потом вдруг запинается, словно извиняясь за что-то, и добавляет: — А теперь знаю. Он — наш. Нужный.

— Спасибо, — улыбается ему в ответ.

Он опускает глаза в пол.

На полу стоят спущенные с антресолей коробки, в которых лежат детские игрушки: толстячок в ошейнике «Дружок» с забавной мордочкой старичка, боцман с попугом на плече, водяная крыса и барсук, две стрекозки, держащиеся друг за дружку лапками, и старенький на деревянных колёсиках поезд с облетевшей на некоторых вагончиках краской.

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

НА ИЗЛЁТЕ ЛЕТА

Памяти Ф.Г. Раневской

Шум моря зависит от того, в какую сторону ветер. Бывает, что очень сильно шумит, если ветер с юга или запада. А бывает — совсем тихо, если ветра нет или он с материка.

Саша лежал на кровати поверх покрывала, читал Евтушенко и слушал тихий, убаюкивающий ропот с близкого залива. Туда-сюда. Набежала волна. Откатила назад, шлифуя камни и песок. Лизнула туфли неосторожных отдыхающих, слишком близко подошедших к воде, на обратном пути прихватив с собой всё, что попадалось.

*Солёные брызги блестят на заборе.
Калитка уже на запоре.
И море,
дымясь и вздымаясь и дамбы долбя,
солёное солнце всосало в себя.
Любимая, спи...
Мою гушу не мучай.
Уже засыпают и горы, и степь.
И пёс наш хромучий,
лохмато-гремучий,
ложится и лижет солёную цепь.
И море — всем топотом,
и ветви — всем ропотом,
и всем своим опытом —
пёс на цепи,
а я тебе — шёпотом,
потом — полушёпотом,
потом — уже молча:
«Любимая, спи...»*

Он с удовольствием втянул в себя воздух: пахло высушенной хвоей, немного морской тиной. Посмотрел на штамп библиотеки. Стихи размещались как раз на 17-й странице. Шурочка. Милая Шурочка с прозрачно-зелёными, как море, глазами... Улыбнулся чему-то, в чём сам себе боялся признаться. Ну всё! Хватит валяться! У него же были планы на вечер!

Саша закончил заряжать плёнку и повесил на шею фотоаппарат, натянул кеды, захватил дождевик от ветра — всё же август и вечерами уже довольно свежо. Собравшись, он оглядел их далёкое от комфортабельного жилище. Свою кровать, на которой валялся с книжкой после обеда, он застелил, вещи убрал в шкаф. Закрыл окно. Погода здесь переменчивая. Может и шторм налететь. Вроде всё в порядке. Затворив дверь домика, легко сбежал по ступенькам крыльца. На скамейке, как и ожидал, Саша увидел маму, увлечённо разговаривающую с соседкой. Ещё читая книгу, из окна комнаты он различил журчание её ровного голоса. Подошёл. Поздоровался.

— Я пойду, пофотографирую.

— Конечно, пойдёшь, Саша. Ты спал. Я уже хотела тебя будить. Погода чудесная, что в доме торчать?

Мама что-то втолковывала женщине о медицине и правильном питании. Весьма дородная особа, слушающая советы доктора, удивлённо ахала и качала большим шиньоном, в народе называемом «пчелиный улей».

Он попрощался и с ходу взял третью скорость. Обернулся на бегу и помахал маме рукой. Всё это он проделал с радостным чувством свободы, какой-то клокочущей в нём и готовой вылиться через край наружу весёлой энергетикой. Наконец-то он может делать «что душевненько угодно!» Это было любимое выражение бабушки. Сейчас его душевненька как раз жаждала запечатлеть живописные окрестности Репино, побродить у моря.

Этот выпускной год выдался для него несколько напряжённым, но удачным. Экзамены в институт были позади. В этот год отменили льготы для медалистов, но

всё было преодолено — Александр стал студентом Политеха. К своему поступлению он относился довольно равнодушно, просто выполнял мамину просьбу — получить надёжную специальность. Без труда Александр сдал все экзамены на пятёрки, прошёл и уже планировал, как проведёт оставшееся до начала первого семестра время, но не тут-то было. Его сразу вычислил и взял в оборот институтский комитет комсомола. За отличное умение фотографировать, о чём говорилось в его характеристике, новоиспеченного студента направили до середины августа в поездки по колхозам, снимать, как студенты работают на полях. Когда он наконец, вернувшись и сбросив тяжелые резиновые сапоги, проявил плёнки, напечатал кучу фотографий и отнес в ректорат хронику студенческих подвигов в битве за урожай, до начала занятий оставалось ещё немного времени, а тут его матери, врачу медсанчасти тракторного завода, дали путёвку в Ленинград. Путёвка была на двоих, и мать взяла Сашу с собой. Три дня они провели в экскурсиях по городу, а на оставшиеся дни их ожидал деревянный домик в Репино на берегу Финского залива, удобства во дворе.

Воздух чист и прозрачен. Приятно было наполнять им молодые лёгкие. Он шёл по дорожке парка к морю и наслаждался. В голове ещё сменяли друг друга, как яркие вспышки, кадры залов Эрмитажа, каскады фонтанов Петергофа, экскурсии по городу, катание на пароходике по каналам Невы. Разведённые мосты. Завораживающая красота летнего Ленинграда вливалась в него новые силы, порядком истраченные на колхозных полях, дарила новые эмоции, сказочные виды. Он только и делал что останавливался, выбирал удачные ракурсы и фотографировал маму в элегантном бежевом платье с длинными рукавами, толпу на Невском, Литейном, аллее Летнего сада, трагическую красоту старых невских дворов-колодцев, где словно наваждение, морок, вот сейчас выскочит с тёмной лестницы Раскольников или блеснут вдруг в перекрестьях узких окон полные боли глаза Сони Мармеладовой, улочки и переулки, где, казалось, ещё витал дух Пушкина, Гоголя, Ивана Гончарова; Пётр Великий на вздыбленном коне был на своём посту. Саша щёлкал затвором фотоаппарата «Зенит-ЗМ» — «зеркалки», как его по-свойски называли в среде фотографов. Саша купил его себе сам, в магазине. За это решил контрольную продавщице магазина «Культовары», студентке-заочнице. Несколько готовых плёнок лежали и ждали проявки. Около недели у него останется, когда они вернутся домой. Поваляется на пляже. Прочтёт, если получится, нашумевший роман Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Та самая большеглазая Шурочка из районной библиотеки, которая в последнее время слишком часто занимала его мысли, в обход строгих правил выдавала ему журналы из читального зала на ночь и на выходной. Он такое проделывал не раз и всегда возвращал вовремя. Александр считался в библиотеке очень аккуратным и дисциплинированным читателем. Ему доверяли. И в этот раз он с нежностью вспомнил о Шурочке, и сердце учащённо забилось.

Фотография стала его страстью с 11 лет. С тех пор это увлечение ему не надоело, а наоборот, захватывало его всё больше. Он живо интересовался новинками фототехники, сам экспериментировал, часто просто отщёлкивал пленку, людей на улице, утреннюю очередь на троллейбус, необъятную ширь реки и бескрайнюю даль степей. Его фотопейзажи занимали призовые места на конкурсах, и он чувствовал себя уже опытным профессионалом. Саша прикидывал, прищурив тёмные пытливые глаза, откуда начать. Как бы снять нечто оригинальное, как для этого понадобится выстроить перспективу. Ему хотелось изобразить залив вогнутым, как линза. Нет! Лучше гладким, как тарелка! Или попробовать сделать панорамный снимок? Ради удачного кадра он был готов сейчас залезть на сосну или встать на голову. Этот радостный юноша, козликотом скачущий по дорожке, выглядел ещё угловатым, несколько непропорциональным, вытянутым. Узкая, долговязая фигура, продолговатое лицо, будто его зажали однажды легионки в тиски и потянули в противоположные стороны. Однако всё обещало, что скоро он превратится в лебедя, как это бывает у мальчишек. Остаточная подростковость скрашивалась высоким лбом, переходящим в прямой нос, как у древних греков. Недаром в классе у него было прозвище «Македонский». Общее выражение серьёзного, умного, наверное, красивого в будущем лица, с внимательным взглядом, смягчал подбородок с пикантной ямочкой, за что он был любим одноклассниками. Шапка тёмных кудрявых волос, которые ворошил сейчас балтийский ветерок, дувший с близкого взморья, довершала его внешность.

Воздух слоился в дымке лучей, посылаемых в этот душистый эфир начинающим склоняться к закату солнцем. Казалось, его можно потрогать. Кусты расцветших бордовых и жёлто-розовых георгинов в цветниках около домиков, мимо которых он почти летел, покачивали решётчатые головки. Асфальтовая дорожка блестела кварцем, тоже желая участвовать в этой картине. Александр азартно, предвкушая удовольствие от фотосъёмки, нёсся аршинными шагами по дорожке к выходу с территории, где сквозь деревья мерцала водная гладь, когда неожиданно его окликнула

женщина в небольшой соломенной шляпке-канотье и громадных тёмных очках. По инерции проскочив мимо, он боковым зрением всё же успел зафиксировать, как она с усилием поднялась со скамейки и потихоньку, в полшага, направилась прямо к нему. Ошибки быть не могло. Никто другой на дорожке в поле зрения не наблюдался. Пришлось экстренно тормознуть на полном ходу, подняв пыль, как настоящий скакун.

— М-м-молодой человек! П-подождите! Из-звинюте! Скаж-жуйте, пожалуйста, а как мне дойти до Комарово? Я что-то заблудилась...

Она немного задышалась, видимо от волнения, в мольбе, с растерянным видом протягивая к нему руки. Говорила она низковатым голосом, немного растягивая слова, чуть заикалась. Александр взгляделся внимательнее. Да это, кажется, актриса Фаина Раневская? Ну вот та, что «Муля, не нервируй меня»?

— Фаина Георгиевна, это вы?

— Вот чёрт, — ответила она. — Такие огромные очки надела, чтобы никто не узнал, и всё зря! Так вы мне подскажите, как пройти до Комарово?

— Конечно. Да я вас провожу, это минут в сорок отсюда. Пойдёмте! Ах, да. Прошу прощения. Я забыл представиться. Александр Граф, Саша, — и он наклонил голову и даже щёлкнул кедами, как заправский гусар.

— Настоящий граф? — вскричала в восторге Раневская.

— Ну, может, когда-то и был настоящим. А после революции сословия, дворянские звания отменили. Просто фамилия.

— Спасибо большое, Саша! Вы мой спаситель! Я ужасно плохо ориентируюсь. А Анна Андреевна, наверное, волнуется, что меня долго нет. Она мне хотела сегодня почитать отрывки из своей пьесы... Необычной философской пьесы... А я вот пошла погулять и заблудилась.

Видимо, она говорила об оставленной где-то подруге.

Саша повёл свою случайную знакомую вдоль берега в сторону Комарово по пешеходной дорожке, которая проложена вдоль всего побережья, от Солнечного до Чёрной речки. По ней ходили пешком и ездили на велосипедах между всеми пансионатами, которые расположены чуть дальше от берега, в глубине, за шоссе, по направлению к Дому творчества. Вдоль дороги росли громадные сосны. Толщина некоторых в обхвате доходила до метра. Оляха шуршала мелкими чёрными шишками, покачивала начинавшими краснеть гроздьями низкорослая рябина. Мелькали тёмная бархатная хвоя ели и светлая зелень берёзы. Птицы здесь водились в основном лесные. Их трудно разглядеть, но хорошо слышно. Щебет этих птах по утрам создавал очень приятный фон. На расспросы о себе Александр вкратце поведал ей, что только-только поступил в институт и в оставшиеся дни отдыхает здесь с мамой.

— Ваша матушка должна гордиться вами. Такой симпатичный и умный сын, — гудела Раневская. — Я сама в технике плохо разбираюсь. Я была на домашнем обучении. Математику не понимала и вообще не переносила обучение в учреждении, хотя отец и был попечителем гимназии. Терпеть не могла, не любила ничего делать, что меня бы сковывало, требовало соблюдения правил. Запаха класса, неудобных парт. Сразу наваливалась какая-то тоска, переходящая в страх. Любила всегда лето, вот как сейчас, — и она развела руки ладонями вверх, обернувшись к морю, к горизонту, — когда не надо было заниматься, много читала и ходила во все театры, которые приезжали к нам в город.

— А как же вы стали актрисой?

— О, молодой человек! — Раневская хохотнула. — Это долгая история. Пожалуй, сорока минут нам может и не хватить. Жизнь научила...

Она задумалась, улыбнулась чему-то с нежностью. Из её груди вырвался прерывистый вздох, почти стон...

— И моя педагог и подруга Павла Леонтьевна Вульф. Вы слышали об этой актрисе?

Саша покачал отрицательно головой.

— Странное имя — Павла! — Саша никогда не слышал, чтобы в России так кого-то называли.

— От «Паула», видимо. Она из семьи обрусевших немецких дворян.

— А может, это дань Возрождению? Это ведь итальянское имя?

Предположение Саша привело Раневскую в восторг.

— Бог мой! Возрождение! Данте, Петрарка, Боккаччо — в ваши столь юные годы? В школе вроде этого не проходят?

— Библиотекарша посоветовала, Шурочка, — и Саша неожиданно для себя покраснел.

— Понятно. Александр и Александра, — Раневская понимающе покачала головой.

— Да, так вот о Павле Леонтьевне... Она учила меня, неуклюжую, сценическому движению, правильной речи. Мне нужно было как-то избавиться от моего южного таганрогского говорка и провинциальной угловатости. Ну а артистизма у меня с избытком хватало, и я на ходу схватывала персонажей. Я страшно любила с детства передразнивать

всех, копировать горничных, дворников, извозчиков, точильщиков, старьевщиков.

И действительно, не напрягаясь, естественно, лишь немного добавляя в свое экспрессивное повествование изобразительных жестов, мимики, она будто дополняла его, раскрашивала, проигрывала всё, о чём говорила.

— Фаина Георгиевна! А как вы вообще оказались довольно далеко от Комарово?

— А как-то незаметно. Я пошла погулять и поучить роль. Пьеса одна очень интересная. Дали почитать. Видимо, потеряла ориентир. Со мной такое случается, — она благодарно и по-детски радостно выпалила: — Мне всегда везло на людей. Встретила вот вас. Вы знаете, я всегда переписываю роль от руки с печатного экземпляра в свою тетрадку. Мне так легче запоминать. И когда гуляю, заглядываю в тетрадку и учу роль, — и, чтобы подтвердить свою правдивость, полезла в карманы необъятной юбки и извлекла оттуда измятую тетрадь в клеточку, исписанную неровным почерком. — Я страшно боюсь забыть текст. Просто панически.

Саша улыбнулся, представляя, как с Раневской случается этакий конфуз и она замирает на сцене с открытым ртом.

— Сейчас в театре нет суфлёра, как раньше, и рассчитывать приходится только на свою память. А она с возрастом, увы, подводит всё чаще.

— А что вы в таком случае делаете? — Саша с интересом слушал её рассказ, который был немного похож на выступление. Она нашла слушателя, зрителя.

— Что, что... Импровизирую, разумеется.

— И никто не замечает? — иронично удивился Саша.

— Слава богу, публика не замечает. Иногда я только подаю реплику — и уже аплодисменты. Публика всегда была добра ко мне. И вы знаете, иногда неважно себя чувствую и кажется, не смогу выйти на сцену, выдержать три акта. Плечусь после второго звонка. Сажу за сценой на стуле и проговариваю про себя первые слова, чтобы не забыть. Руки мои холодны как лёд, и я завидую всем, кто стоит в кулисах и не должен сейчас выходить на сцену, — она вздохнула. — Ради кого всё это? Ради публики! Знаете, молодой человек, вот Горький говорил, что талант — это вера в себя. А вы как думаете?

— Не знаю, но наверное. Если не веришь в себя, в то, что можешь лучше других, то нечего и начинать.

— Да? Ну, это максимализм молодости, — Раневская разочарованно махнула на него рукой. — А мне кажется, что только недовольство собой, постоянная неуверенность, сомнения, копание в своём нутре, каторжная работа делают талант. Неважно, кто ты — актёр, музыкант, писатель или художник. Интуитивное нащупывание истины, как по вехам, когда пробираешься по трясине. У посредственностей напрочь отсутствуют такого рода сомнения и волнения.

Минуту подумав, Саша согласился.

— А действительно, ведь «...и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг».

— Вы любите Пушкина?

— Да. Очень.

— Я боготворю Александра Сергеевича! Вот я Анне Андреевне сегодня расскажу, какого чудного мальчика я встретила! А вы на него даже чем-то похожи, только рост высокий, — Раневская отстранилась немного и сбоку, задумчиво и с забрезжившим искренним интересом посмотрела на Сашу. — А вы не хотели бы пойти в актёры?

— Я?! — Саша засмеялся, но про себя подумал: а почему бы нет? Эта мысль казалась теперь ему не такой уж невероятной, как полчаса назад. Невозможно было не подпасть под обаяние этой великой актрисы, и ему захотелось хоть на минуту очутиться в этом её выдуманном, призрачном мире театра. — Мне кажется, что после стольких лет на сцене, прекрасных спектаклей вы уже привыкли, уверены в себе и знаете, как правильно играть.

— Милый юноша! К этому нельзя привыкнуть, да и не нужно привыкать, — она посмотрела на него глазами мудрой собаки, блестящими и печальными, немного навывахе. — Ты должен выдавить из себя страх по капле, — она вздохнула. — Я почти всегда создавала роли вопреки и всё время была жутко недовольна собой. Павла Леонтьевна меня предупреждала: «Как только понравишься себе — всё, ты уже не творец, а ничто, каботин».

— Каботин?

Видя, что Саше неизвестно это слово, она терпеливо пояснила:

— Каботин — странное слово, правда? Так когда-то называли странствующих комедиантов. А теперь это означает стремление к артистической славе, блеску, наглость, уверенность в себе у актёра, без особых на то оснований. И таких, увы, тьмы и тьмы! — и она не только объяснила, но и мимикой показала, кто такой этот каботин — надутый самовлюблённый болван. — Ну а к третьему акту тыходишь в раж и уже

играла бы и играла, но... конец.

— А как вы справляетесь с эйфорией? — Саша выразился, пожалуй, чересчур современным языком.

— С чем, простите?!

— Ну, с возбуждением после спектакля?

Раневская пожала плечами.

— Не думаете ли вы, мой юный друг, что я выпиваю, придя домой, четвертинку? Это банально. Гуляю по улицам, около реки. Иногда до утра. Смотрю, как разгружают хлеб.

— Простите?

— Я живу на Котельнической набережной, окна во двор, и рано утром слышу, как в булочную привозят тёплый хлеб и двор заполняет хлебный дух. Грузчики гремят деревянными подносами, матерятся. Иногда очень загогулисто, витиевато. А вечером, если нет спектакля, лежу на подоконнике, глазею, как толпа покидает через выход во дворе зал после сеанса, шумно переговариваясь. Знаете, был в Москве такой кинотеатр «Знамя»? Сейчас переделали в «Иллюзион». Там теперь показывают старые фильмы, часто — мировые шедевры. Вот он в моём дворе. Среди публики попадаются интересные персонажи, но чаще всего пустой трép. Как будто то, что они два часа молчали, дает им право трещать без умолку. Прорвало! — она попросила Сашу: — Давайте пройдем к самой воде. Окислимся!

— Почему «окислимся»?

— А, да это есть у меня в одной неоконченной пьесе такое выражение. Окислиться — значит надыхаться воздухом в лесу.

Они сошли с пешеходной дорожки на песчаный берег. По нему были разбросаны гранитные валуны, размером от футбольного мяча до бурого медведя. В некоторых местах они были сложены в длинные гряды, уходящие далеко в воду. Раньше это местечко называлось Куоккала, и всё это осталось ещё от финских рыбаков, сто лет назад сложивших причалы для рыбацких лодок. Песок цвета тёмного янтаря, у самой воды он приобрел коричневый оттенок. На берегу им часто попадались ракушки моллюсков, выброшенные на берег волной.

— Бедные несчастливцы! — сокрушалась Раневская. — Им не повезло пожить. — Она брала их своими руками без маникюра и бросала в набегающие волны.

— Да они уже мёртвые!

Молодой скепис Саша возмущал её.

— А может, какие-то ещё живые? — возражала она. — Вы думаете, что вы всезнайка? Так послушайте человека намного старше вас! Счастливого случая ещё никто не отменял, — немного пройдя, она увидела крохотную рыбёшку и, подняв её, забросила далеко в волны. — Вот и моя золотая рыбка уплыла. Ничего я у неё не попросила. Только живи, рыбка.

Сашу умиляла эта простота, естественность, некоторая даже детскость эмоций Раневской. Она совсем не стеснялась своих душевных порывов. Ему казалось, что такие известные актрисы, как она, ездят на машине с шофёром, никогда не ходят по улицам, а уж тем более не плутают в одиночестве по берегу залива.

— Я люблю зверьё, но больше всего собак. У них глаза человечьи, всё понимающие, — Раневская обернулась к нему. — И страдают они так же, как люди. А вот преданности такой я у людей не встречала. Вы знаете, что гениальная Марина Цветаева говорила о собаках? У собак душа — это подарок. А от людей она присутствия души требует. Люди для неё делились на тех, у которых есть душа, равновеликие ей, и тех, которые пусты, без души. Семья Цветаевых жила в Москве в Трёхпрудном переулке, и напротив в полуподвале была типография. Марина отнесла туда свою первую тетрадку стихов. Отдала то ли наборщику, то ли корректору. Сама не помнила — кому. «Вечерний альбом». Однажды к ним в дверь позвонили. Марина открыла. На пороге стоял буйноволосый, очень крупный господин. Цветаева была субтильным существом и выглядела лет на 12-14. «Здравствуй, девочка! А где я могу увидеть Марину Ивановну Цветаеву?» — «Это я», — пролепетала Марина смущённо. Волошин вдруг обрушился перед ней всей своей массой на колени, так, что страшно испугал Марину, она подумала: «Сумасшедший!» — и прогремел, воздев руки в экстазе: «Девочка, ты не знаешь, кто ты!!!» — Раневская с грустью покачала головой. — Макс Волошин имел такую душевную способность — всегда появляться вовремя. Помню, он возник на пороге у нас с Павлой Леонтьевной, когда мы буквально замерзали, голодали, и очень помог, — она улыбнулась воспоминаниям.

— Вы знали Волошина? — в изумлении воскликнул Саша. Он неплохо рисовал, и им показывали в художественной школе акварели Волошина. Для него это были великие имена, а для неё — друзья, знакомые... Удивительная женщина!

— Я знала их обоих, — печально вздохнула Раневская. — Марина, Марина... Голая душа.

Она переходила от темы к теме легко. От собак к Цветаевой, от той к Волошину. Она заговаривала, очаровывала, завораживала, будто слушатель смотрел действо. Видимо, актёры всегда что-то представляют или тренируются, проверяют, пробуют на вас, не пропало ли ещё притяжение личности. Их актёрское притяжение.

Они присели на берегу на перевернутые вверх дном деревянные лодки. Мимо пробегали стайками дети в сопровождении вожатых. В округе располагалось много пионерских лагерей, заборы которых были выкрашены в яркие цвета масляной краской.

— А на Волге в детстве мы под такими лодками прятались от дождя, — вдруг произнёс Саша, оглядывая лодку.

— Шептались, наверное, о каких-нибудь мальчишеских тайнах, вражеских бандах из соседнего двора? А? — Раневская шутливо погрозила ему пальцем.

— Откуда вы знаете?

— Я же тоже была ребёнком и выросла у моря, — легонько пихнула его локтем Фаина Георгиевна. — Целоваться под ними тоже хорошо.

Саша смутился. Хулиганистость Раневской была чрезвычайно заразительной и очень её молодила. Она фонтанировала остротами, балансировала на грани, на краю, но даже «сильные» словечки звучали в её устах безобидно, мило, как шутка, эмоция, каприз, реплика из пьесы.

Раневская злорадно усмехнулась, глядя на пионеров в панамках.

— Дети меня донимали с «Мулей».

— Я тоже люблю этот фильм, — признался Саша.

— Как? И ты, Брут?

— И я.

— В Ташкенте, давно, со мной приключилась неприятная история. Так вот, меня вели по улице в милицию, и даже там мальчишки бежали за мной и кричали: «Мулю, Мулю ведут!» Пришлось их послать в... В общем, далеко, — она махнула в сторону моря и засмеялась.

— А почему вас вели в милицию? Что вы сделали?

— Молодой человек, проживите сначала с моё, и если вы ни разу не попадёте в нашу доблестную милицию, то вы или умный, или мудрый.

— Почему «умный» или «мудрый»? — Саша, как зачарованный, слушал её. Морщил лоб, тщетно сияясь разгадать очередную её шараду, но понимал, что всё равно ошибётся.

— Всё очень просто, мой юный друг! Умный всегда выпутается, а с мудрым ничего подобного не произойдёт, — и она продекламировала вполне патетически: — «От сумы и от тюрьмы...» Помните, да? — посидев немного, они продолжили свой путь. Раневская часто с тревогой оглядывалась по сторонам. — Молодой человек! А вы меня куда ведёте? Вы знаете дорогу? А то заведёте в тёмный лес.

Было в ней что-то забавное. Естественное и непосредственное. Как в ребёнке. Несмотря на преклонный возраст, она в своей светло-серой, скорее даже серо-жемчужного цвета, парусиновой паре — широкой юбке с большими карманами и пиджаке — смотрелась в вечернем свете, как немного нескладная и сутулая гимназистка-переросток.

Саша успокаивал её.

— В тёмный лес завести вас не получится. Здесь лишь небольшая полоска сосен, ольха, дюны.

— Жаль. А я так надеялась! — Раневская, разочарованно воззрившись на дюны, заросшие осокой и шиповником, немного успокоилась.

Без интереса взглянула на тонущее в море солнце, розовеющую, переходящую в сиреневую и далее в синий оттенок гаснущую даль и на чаек, к вечеру шумно разрезавших воздух и пикирующих, казалось, прямо тебе на голову. Раневская отмахивалась от них и тут же хотела их кормить:

— А у вас хлебушка нет?

Чайки нахально расхаживали очень близко от её ног, кричали и попрошайничали. Видно было, что привыкли к людям.

— К сожалению, нет, — улыбался Саша.

— Да? Вы знаете, ко мне прилетают на окно голуби. Тоже нахальные, но у них это скорее от глупости, от бесхитростности.

Саша пожал плечами. Ну, то голуби. Сравнили. Чайки — хищники.

— Я к морю почему-то равнодушна, а ведь я родилась в Таганроге, — она задумалась, глядя на зацветший залив, зелёные, покрытые ряской, колышущиеся волны. — А лес, зелен люблю. У нас не было лесов. Степь. Но город был зелёный, — она обернулась назад и воскликнула в восхищении, глядя на корявые сосны, которые цеплялись корнями за песок, как осьминоги щупальцами: — Смотрите, какие стволы сосен

огненно-рыжие! Как здесь живописно! А я тоже пишу иногда. Только мне больше нравится писать грустную природу. Голые деревья, осень, дождь... Вы любите Репина? Были уже в усадьбе? Очень интересное место. Он прожил там последние лет тридцать жизни и умер там. Похоронен прямо в своем парке.

— Солнце заходит в море. Это оно так окрашивает сосны.

— Какой одуряюще вкусный здесь воздух! — вдохнула она. — Глоток воздуха. Не вздох, а глоток. Русский язык удивительный! Передаёт оттенки наслаждения! Хотела пойти окислиться, вот и окисляюсь.

— Это хвоя, нагретая на солнце, испаряет эфирные масла. Очень полезно для лёгких, — пояснил серьёзно Саша.

— Всё у вас имеет научное объяснение. Что полезно, а что вредно, — усмехнулась она. — Если не перестанете, годам к сорока превратитесь в зануду.

— У меня мама врач. Привык, — оправдывался Саша.

— Тогда понятно... А я всю жизнь дымила. Алёша — внук Павлы Леонтьевны, он и мне как внук — за это прозвал меня Фуфа. Я однажды чуть не спалила квартиру. А вот после кончины Павлы Леонтьевны бросила. А курила пятьдесят лет. Представляете?

— Забавное имя... — улыбнулся Саша. — А насчёт курения... Вот так сразу и бросили? И не хочется?

— Да. Вот так. Как-то не хочется. Но папиросы держу дома. На всякий случай. Я курила крепкие — «Беломорканал». А вы курите?

— Нет.

— И правильно. Видно, что вы ещё очень чистый мальчик.

— Значит, вы родились в Таганроге, там же, где и Чехов? — вспомнил Саша недавние билеты по литературе.

— Да, вот представьте. И я даже лечила зубы у его племянника, — похвасталась актриса. — А вы очень начитанный мальчик. Вы только не подумайте, что если провинция, то ничего интересного не было. Однажды у нас в концертном зале выступал сам Скрябин. Гений, гений! Вы слышали Скрябина? Его «Поэму огня» или его «Мечты»? Нет? И царь Александр Первый провёл у нас свои последние дни. Вот так-то, мой милый мальчик, — «мальчик» она часто повторяла, смаковала это слово. Будто прочитав его мысли, она вдруг рассказала: — А знаете, однажды в Москве я увидела в пролётке Станиславского, и бежала за ним, и кричала в восторге: «Мальчик мой дорогой!» А он привстал, обернулся назад и кланялся мне с пролётки.

— А почему вы его так называли? — странность её эмоций удивила Сашу.

— Потому что я бредила театром. Они представлялись нам, начинающим актерам, корифеями, небожителями!

— Но почему «мальчик»? — не унимался Саша.

— Потому что мы были молоды. Мимолетная встреча эта случилась году в шестнадцатом. И я была так молода, — грустно ответила она. — Да, так о чём мы говорили, мой молодой добровольный провожатый? — сама себя оборвала Раневская. — Ах да! Что я много лет живу над хлебом и зрелищами. Иногда это раздражает, иногда развлекает.

Саша засмеялся её остроумию и подал ей руку, помогая перейти ручеек. Очень много мелких речушек и ручейков впадало в залив. Вода в них какого-то ржавого цвета, потому что вытекали они из торфяных болот, но чистая и холодная. Их можно перейти вброд босиком или перепрыгнуть.

— Вы хотели рассказать мне о новой пьесе, которую вы разучивали, — напомнил он, пытаясь вернуть её к теме. — Как она называется? — Саша представлял, как потом расскажет об этой встрече матери, друзьям. — О чём эта пьеса?

Ему хотелось узнать от Раневской что-то новое, неизвестное ещё никому. Путь до Комарово был неблизкий, и ничего нет лучше, чем разговорить Раневскую, всенародно любимую и известную, несколько эксцентричную женщину. А кто, как не сама актриса, лучше расскажет о своей пьесе.

— Ах да. О пьесе! Это необыкновенная пьеса. Чудная история. Я в неё влюблена.

Раневская будто поискала луну на небе. Не найдя её, она вздохнула и крепко ухватила за локоть Александра. От их шагов шуршали песчинки. Навстречу попадались отдыхающие. Двое из них узнали Раневскую, поздоровались вежливо. Не подходя вплотную, восклицали что-то вроде:

— Очень любим вас... Вы наша любимая актриса... Хорошего отдыха!

Человек на отдыхе. Неприлично беспокоить. Раневская любезно раскланивалась, благодарил.

— Знаете, молодой человек... Я ведь сама не имела детей, не была замужем, — она хмыкнула, будто какой-то весёлой шутке, словно сама смеялась над своей дурацкой судьбой. — Вернее, я была всю жизнь замужем за театром.

«Разве она ни разу не любила? Кругом, наверное, было столько великих актёров и

режиссёров!» — удивился Александр молодым удивлением, когда ещё странно, что кто-то может не любить и не быть счастливым. Но спросить об этом не решился. Он посчитал этот вопрос бестактным. Раневская, мягко говоря, внешними данными не поражала, но красоту заменяло своеобразное обаяние, оригинальность мышления, юмор, несколько, правда, саркастический, с перчинкой, великолепное владение искусством слова, жеста, мимикой, разнообразие и насыщенность и даже перенасыщенность её личности. Саша подумал, что этой женщине лучше на язычок не попадаться.

Она полезла в тетрадку.

— Так вот. Эта пьеса была переделана из романа «Долгие годы» Жозефины Лоренс. Пьеса Хелен и Ноа Лири. А сценарий американки... Как бишь её... Виньи Дельмар. Винья, Ноа... У американцев странные имена, вы не находите? — пожалала она плечами.

— Хотя, наверное, наши имена им тоже кажутся странными, — милостиво простила она американцев.

— Нет. Я ни о ком из них не слышал.

— Да, в общем, банальная пьеска.

— Как? Вы же сказали, что влюблены в неё?

— Дело в том...

Вечерело, но даже в августе, как отблеск белых ночей, в этих местах долго светло, темнеет очень поздно, медленно смеркается. Определить время человеку не местному, из другой области, на глазок невозможно. Нужно было успеть к ужину, однако Раневская шла тяжело, быстро уставала и время от времени присаживалась отдохнуть на большие гранитные валуны, разбросанные по всему берегу, но предварительно просила Александра проверить, не холодные ли они.

— Вроде тёплый, — проверял он, — но не рекомендую на нём сидеть слишком долго.

Саша уже понял, что с такими остановками они будут долго добираться до Комарово.

— Задницу боюсь застудить, — объяснила она.

Ну что ж... По крайней мере честно.

В этот раз, усевшись, поёрзав и найдя наконец удобное положение, она, удовлетворённо вздохнув, на минуту замолчала, устремив глаза в закатное море.

Вся её фигура — профиль сидящей на камне женщины с выбившимися кое-где из-под шляпки прядками волос — напоминала скульптуру, но присущая ей природная живость не дала долго созерцать её в состоянии покоя.

— Дело в том, молодой человек, что пьеса эта о пожилой паре, и я, когда читаю роль, то проживаю целую жизнь, и мне кажется, что она была полной, прожитой до доньшка, до края, — заговорила она.

— А на самом деле? — не удержался всё-таки дерзкий мальчишка.

— А на самом деле... — она призадумалась, затем притворно весело продолжила, глядя на залив: — Так нескладно получалось. Если любили меня, не любила я. А кого я любила — всё наоборот. Понимаете? Так в жизни часто бывает, — Раневская пронизательно взглянула на Александра. — Но любовь меня всё-таки посетила, — она помолчала. — Даже, представьте, не однажды! — она, наконец, кряхтя, встала с камня. Прошли несколько шагов в молчании. Раневская вдруг фыркнула, будто вспомнив что-то забавное. — Вы удивитесь, молодой человек, но в молодости я даже получала приглашения на свидание. Одно было утомительно. Мой ухажёр прислал мне через службу записку: «Артистке в зелёной кофточке» — место, время и тут же угроза: «Попробуй только не притить».

Они оба засмеялись.

— И вы пошли?

Раневская отрицательно покачала головой.

— Жаль, что не сохранила это шедевр, — она вытащила из рукава платочек и вытерла глаза. — Всё-таки не так уж часто меня приглашали на свидание, — отсмеявшись, Раневская продолжила: — Так вот... Пьеса эта, о которой вы спрашивали, она о чёрствости детей к родителям. Вот вы же любите свою мамушку?

— Да. Очень, — удивился Александр перемене темы.

— Берегите её, молодой человек. Мама у нас одна. Никогда не предавайте её и не откалывайтесь от неё, — прочувствованно, с трагическими нотками в голосе произнесла Раневская. — Обещаете?

— Обещаю! — клятвенно заверил её Саша.

«При чём тут мать? Странная она, право. Пожилая уже», — заметил он про себя.

Раневская прочитала его мысли. Он понял это по выражению её глаз. Они будто говорили: «Куда же девалась моя жизнь?.. Вот и этот юноша считает меня, наверное, совсем старухой...»

— Слышите, какая-то птица поёт? — Раневская опять остановилась. Стала вертеть головой, пытаясь увидеть птицу. Саша неопределённо пожал плечами. Он не увлекал-

ся орнитологией. Дорожка, по которой они шли, петляла, то удаляясь, то приближаясь почти к самой кромке моря. — Вот что я вам скажу, Александр, — она прерывисто дышала, тяжело ступая и держась за его руку. Шутка ли — протопать от Комарово и теперь обратно! — Я рада, что вас встретила.

— И я очень рад. Мне слушать вас так интересно, — вежливо поддакнул Александр.

— Да? Спасибо, мой мальчик! Так вот о пьесе... — она думала, как начать рассказ.

— Речь в ней идёт о семье Куперов. Их дети — сволочи! — возмущённо вдруг воскликнула она трубным басом.

— Почему? — Саша был невольно очарован её манерой говорить, ему всё больше нравилась её ребячливость, смешливость и откровенность, граничившая с нахальством. Он, ещё совсем юный мальчик из провинции, конечно, робел перед ней, но Раневская, как опытная актриса, чувствовала, понимала его смущение и подбадривала, располагала его к себе, казалась простой и доступной, и скоро Саша совсем забыл, что они познакомились всего час с небольшим назад.

— А кто же они ещё? Ни один из них не хочет брать родителей к себе. Отца забирает дочь, далеко в Калифорнию, а мать, меня, — она остановилась, в сильном возмущении приложив руку к вздымавшейся груди, — ждёт вообще женский приют для престарелых!

— Почему это случилось? Где старики до этого жили?

— Дома, где же ещё? Но они задолжали банку, и дом у них отбирают. Детки за обедом у родителей узнают об этом. Что тут начинается! Отпрыски не стесняются в выражениях, будто двое стариков — это старые, отжившие своё башмаки, а не их родители. И вот эту пару, нежно любящих друг друга мужа и жену, проживших пятьдесят лет вместе, бессердечно разлучают навсегда их собственные дети! Отца, как я уже сказала, увозит к себе дочь, у которой для матери не находится места даже в чулане, — голос актрисы срывается, губы гневно кривятся. — Но Люси — так зовут мать — боится одного: чтобы отец не узнал о том, где на самом деле она проведёт остаток дней. Она умоляет сына не рассказывать отцу, что она будет находиться в приюте — «это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца». Я в принципе никогда не имела семьи, а сейчас, когда читаю роль, мне кажется, что я всё знаю и понимаю, и я прожила с этим человеком действительно 50 лет.

— А кто же будет играть отца?

— Как кто? Плятт, разумеется. Он прекрасный актёр и, что ещё более важно, прекрасный, порядочный человек, — резюмировала она. — Но иногда, — она засмеялась, — он бывает страшным хулиганом. И я тоже это в нём люблю. Я и сама мастерица на актёрские шутки и розыгрыши. Такова уж наша природа. Зашёл он как-то в моё купе, когда мы ехали на гастроли. Абсолютно голый, с мыльницей на причинном месте, — Саша поперхнулся и не знал, что сказать. Вот как, значит, развлекаются знаменитые актёры! Когда она рассказывала что-то комическое, то в её тёмных, с острым взглядом, немного навывкате глазах загорались весёлые озорные искорки. — Вам не смешно? Вы ещё скромный мальчик, а я такое несу.

Так, разговаривая, они вышли наконец к Дому творчества Комарово.

— Ну вот вы меня и привели к дому отдыха имени Анны Карениной.

— Почему Анны Карениной? — удивился Саша.

— А здесь же недалеко железная дорога. Очень удобно бросаться под поезд, — пошутила Раневская.

На лавочке, недалеко от входа, сидела грузная величественная женщина и тревожно смотрела на дорогу.

— Фаина! — воскликнула она, радостно всплеснув руками, когда они подошли ближе. — Вы где так долго пропадали? Я вся изволновалась! Вас больше трёх часов не было!

— Да я заблудилась, Анна Андреевна, немного. Но вот молодой человек мне помог и довёл меня домой. Знакомьтесь. Моего спасителя зовут Александр! Он любит Пушкина. И похож на него. Нет, правда? Похож? — теребила она подругу.

Незнакомка величественно встала со скамейки и легко потрепала Александра по волосам.

— Спасибо, молодой человек. Вы помогли сегодня самой великой Раневской.

Раневская улыбнулась:

— Вот, дорогой мой провожатый! Вам повезло сегодня познакомиться с Анной Андреевной Ахматовой.

Александр ахнул. Он сразу и не понял, что встречавшая их женщина была сама Анна Ахматова. В то время фотографии Ахматовой практически не появлялись в прессе, поэтому Александр представлял её по-прежнему тоненькой стройной девушкой, какой изобразил её Альтман в начале века и какой она ему запомнилась на известном линейном рисунке Модильяни.

*Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чаг
Изысканный бродит жираф...*

Он очень любил эти строчки поэта Гумилёва. Муж её, который написал ей эти стихи, был расстрелян, сын перенёс репрессии, и, кажется, они не общались. Лев Гумилёв был изумительным историком, и Саша слушал один раз его лекцию, когда тот приезжал в их город. В сущности, эти две одинокие, гениальные женщины столько воспоминаний в себе несут, дружили с великими актёрами, талантливыми драматургами, поэтами, писателями, определившими историю театра, литературы, — а в простой, обыденной жизни тоже, похоже, кроме себя самих и друг друга, никому не нужны, как те двое в спектакле, о котором только что рассказывала ему, присаживаясь на прибрежные валуны, Раневская.

Александр неожиданно для себя низко склонился и поцеловал Ахматовой руку. Она не смутилась, а внимательно и царственно взглянула Саше в глаза.

— Какой вы милый юноша!

— Не хочется отпускать вас, но ваша матушка, наверное, уже беспокоится. Кланяйтесь ей и передайте, что у неё чудный сын! — как можно нежнее пробасила напоследок Фаина Георгиевна и подала ему на прощанье руку. — Благодарю-ю-ю вас, мальчик мой!

Женщины направились к зданию Дома творчества, потом обернулись, послав ему воздушные поцелуи вслед и помахав руками.

Пока Александр бежал обратно, он, находясь в совершенном смятении чувств, решил, что завтра же придёт сюда пораньше и опять увидится, а может быть, и прогуляется с двумя гениальными подругами. Но утром это уже не показалось ему такой хорошей идеей. Что он скажет? Что хочет увидеть актрису Раневскую? Возможно, у неё дела, и его визит покажется не деликатным, навязчивым. Потом он долго корил себя за то, что не сделал фото этих знаменитых женщин. Это было бы, конечно, уникальное фото, оно подтвердило бы правдивость его рассказа, но в тот момент это казалось ему неудобным и могло бы разрушить возникшее между ними доверие. За всё время прогулки он так и не расчехлил свой прекрасный, новый, суперсовременный фотоаппарат, боясь «спугнуть» Раневскую.

Он ввалился, задыхаясь в домик, где застал встревоженную мать.

— Ну, слава богу! Саша! Ты где был? Я уже начала беспокоиться! — она вопросительно смотрела на него, ожидая вразумительных объяснений.

— Мама! Я видел сейчас Раневскую и Ахматову! Представляешь? Живых!

...Саша всё-таки посмотрел её в этой роли. «Милый мой! Единственный мой! Я всегда была счастлива с тобой. Очень счастлива, Барк. Каждый час. Каждую минуту. Все эти пятьдесят лет. Правда, Барк, я очень счастлива, что была твоей женой. Я всегда, всегда так гордилась тобой, мой дорогой!.. Прощай!»¹ И понял, почему Раневская говорила ему о матери и отчего её часто нескладные, несчастные, смешные героини так нравятся зрителям,растают в память, остаются в ней и цепляют нас больше, чем высокий слог и прекрасная внешность холодных театральных красавиц. Она не играла. Она — по Станиславскому — перевоплощалась, страдала по-настоящему, жила, проживала свои крохотные роли Мули, мачехи, Маргариты Львовны, аккомпаниаторши. Ей надо было в это короткое время эпизода втиснуть целую жизнь, и она этого добивалась. А уж такой материал, Люси Купер, — это просто напоследок подарок судьбы! Гораздо позже, где-то в конце 90-х, когда многое из того, о чём раньше, в советское время, умалчивали, стало известным, Саша прочитал в журнале «Искусство кино», что американский писатель Драйзер вышел из длительной депрессии и запоя, увидев её в «Мечте» Ромма.

Саша вырвался в Москву и штурмовал билетную кассу Театра Моссовета. Билетов не было. Тогда он в отчаянии позвонил Раневской домой. В тот памятный вечер она оставила ему свой московский номер.

— Фаина Георгиевна? Здравствуйте!

— Здравствуйте, а с кем я говорю? — продудел голос в трубке, не сказать чтобы дружелюбно.

— Вам звонит тот Саша, который помог вам дойти от Репино до Комарово, где вас ждала Анна Андреевна Ахматова. Моя фамилия Граф! Вы меня ещё помните? — боясь, что она, не дослушав, положит трубку, выпалил он.

— Саша? Конечно, помню!

— Я приехал в Москву, чтобы посмотреть спектакль, о котором вы мне рассказывали во время нашей прогулки у моря, а билетов нет. Завтра я уезжаю. Помогите, если...

¹ Слова из финальной сцены спектакля «Дальше — тишина», 1969 г. Постановка А. Эфроса.

— Конечно, конечно, мальчик мой! Зайдите в билетную кассу. Я позвоню. Там для вас оставят билет.

Так он попал на спектакль. Купил букет гвоздик недалеко от театра и сидел в партере.

В ту их единственную прогулку у моря Раневская рассказала ему ещё одну из бесчисленных происходивших с нею на сцене забавных театральных историй. Играя в провинциальной антрепризе, она часто сама придумывала себе, так сказать, вводные коротенькие роли. «Я прихожу к бывшей своей барыне, которая теперь, при красных, торгует пирожками. Голод не тётка, и, надеясь на благодарность, я с ходу говорю ей то, что той хочется слышать, что, мол, по городу летает аэроплан, а в нём сидят большевики и кидают сверху записки. В листовках написано: „Помогите, не знаем, что надо делать“. Барыня радуется, в зале — хохот. Я получаю свой пирожок. Барыня выходит на минуту из комнаты, а я быстро прячу стоящий рядом, на комод, будильник под пальто. Будильник вдруг звонит на мне в тот момент, когда я прощаюсь с бывшей моей хозяйкой. Я пытаюсь что-то громко рассказывать, чтобы заглушить его звон, ору что есть сил, подпрыгиваю, топаю ногами, но будильник продолжает звенеть. Поняв, что скрыть кражу не удастся, я вынимаю его из-за пазухи, кладу обратно на комод и плачу, стоя спиной к публике; зрители в зале хлопают, а я молча медленно ухожу. И знаете, мой мальчик? Во время звона будильника, моей растерянности и отчаянья застигнутой врасплох воровки зрители не смеялись. Они меня жалели. Как же это было дорого для меня как для актрисы! Это сострадание зрителя».

Александр смотрел и думал, утирая набухающие в глазах слёзы, что в конце жизни Фаине Раневской, этой недопонятой, недооцененной актрисе, несказанно повезло. Как раз попалась пьеса, которая раскрывала её трагикомическое дарование. Смотревшие в этот вечер вместе с ним финал спектакля зрители тоже совсем не смеялись. «Дальше — тишина...» — произносил диктор, и звенящая тишина стояла в зале. А потом оглушительные овации...

Когда, протиснувшись к сцене, он протянул Раневской цветы и крикнул что есть сил, пытаясь перекрыть своим голосом аплодисменты: «Фаина Георгиевна!» — та узнала его.

— Мальчик мой! Милый мой мальчик! Спасибо! Спасибо! Благодарю-ю-ю-ю-ю! — и всё махала ему гвоздиками, выходя на поклоны.

Зрители встали со своих мест. Зал рукоплескал им с Пляттом, и долго не смолкали крики «Браво! Браво!»

Он решил зайти к ней за кулисы. На лестнице, около гримёрных, он застал переполох. Раневская упала. Подбежали молодые артисты.... Саша слышал, как она им сказала своим басом: «Ну чего стоите, поднимайте, народные артистки на дороге не валяются!» Потом Саша вместе с ними напросился её провожать до дома. В знаменитую высотку на Котельнической. В арку во двор дома нужно было зайти между «Хлебом» и «зрелищами». Шумная компания поклонников, в которой вместе с Сашей была пара студентов театральных вузов и молодые актёры Театра Моссовета, довела Раневскую до двери. Она зашла в квартиру, усталая, с ворохом цветов. Обернулась к ним.

— Наконец я дома. Спасибо, молодые мои друзья! Очень устала. Сейчас спать.

Помахала рукой и скрылась в глубинах комнат.

Они тихонько захлопнули дверь.

На обратном пути некоторые из провожатых принялись ловить такси, кто-то пошёл пешком, а Саша ещё долго ехал по ночной Москве на автобусе и метро, добираясь на окраину города к знакомым, у которых он остановился, и в ушах у него звучало: «Дальше — тишина...» Какая она всё-таки гениальная актриса! А тогда, во время их прогулки, она переживала, что не умеет играть любовь, сетовала, что раньше не играла таких ролей. Не предлагали. Ерунда. Она может сыграть всё!

Послезавтра, когда он вернётся в Волгоград, на вокзале обязательно купит маме цветы.

* * *

Саша ещё не мог предположить, как причудливо развернётся его судьба: будучи студентом, он начнёт работать корреспондентом в редакции информации и спорта на волгоградском телевидении, позже и в других редакциях; поступит во ВГИК, на операторский, и будет учиться в одно время с Тарковским, Михалковым, Шукшиным и Аринбасаровой. Неужели это Раневская приворожила, околдовала его, чуть приоткрыв ему тогда дверь в этот иллюзорный параллельный мир, побороть искушение войти в который было с тех пор уже невозможно?

P.S. Рассказ имеет документальную основу. Автор выражает искреннюю благодарность г.т.н., профессору ВолгТУ Александру Алексеичу Барону и г.т.н., профессору ВолгТУ Виктору Фёдоровичу Каблову за помощь и предоставление материалов для рассказа.

Александр ЮДИН

ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

*Мы не останемся нигде
И канем вглубь веков,
Как отраженья на воде
Небес и облаков.*

Давид Самоилов

Скорая приехала быстро.

— На что жалуетесь? — поинтересовался врач с аккуратной седой бородкой, усаживаясь на стул рядом с диваном.

— Сердце, доктор, — сдавленно прошептал Владимир Иванович. — С год назад у меня случился инфаркт... а сегодня, как пришёл с работы, за грудиной прихватило, аж дышать больно. Думал, ночью отпустит, но — только хуже. Вот вызвал вас.

— Та-ак, посмотрим: кожные покровы у нас серые, дыхание прерывистое... Где работаете?

— В консалтинговой компании судебным юристом.

— Понятненько. Работёнка, полагаю, нервная. Сколько вам полных лет?

— Шестьдесят шесть.

— Почему же не на пенсии?

— Какая, к лебедям, пенсия?! Коммуналка, кредиты, внуки... Не при социализме живем.

Врач сочувственно покивал.

— Нуте-с, закатайте рукав, измерим вам давленьице... так-так... та-ак...

— Что там, доктор? Давление есть?

— Ещё как! Сто восемьдесят на сто двадцать. Предынфарктное у вас давленьице.

Придётся сделать укольчик, а потом поговорим о госпитализации. Какие у вас привычные показатели верхнего и нижнего?

— Я не слежу.

— Весьма опрометчиво, — шевельнул кустистыми бровями врач. — А инфаркт следит.

— Не пугайте, доктор, — вяло отмахнулся Владимир Иванович.

— Охнуть не успеете и — со святыми упокой, — настаивал врач. — Кувырком, как говаривал один мой пациент. Покойный.

— Чему быть, тому не миновать, — хмыкнул Владимир Иванович.

— Фаталист, значит? — с ироничным прищуром спросил врач. — Тогда зачем вызывали скорую?

— Тут вы меня подловили, — согласился Владимир Иванович и вдруг, округлив глаза, прошептал: — ...Ох, доктор.

— Что такое? Вам хуже?

— Наоборот! Пойдите-ка... Да, так и есть: больше не колет, не жмёт и не ломит.

Кажется, отпустило.

— Кажется или в самом деле отпустило?

— Правда, правда, — заверил Владимир Иванович, — совсем ничего не чувствую.

— Что ж, давайте ещё разок измерим вам давленьице... так-так... та-ак...

— Ну что там, доктор? — поторопил Владимир Иванович.

— Чудеса! — врач с треском снял манжету тонометра. — Сто сорок на девяносто. Пожалуй, обойдёмся без инъекции и госпитализации. Вот вам пилюлька — это «капотен», положите под язык и рассосите.

— Видите, — оживился Владимир Иванович, приподнимаясь на диване, — как вы благотворно на меня повлияли. Извините, что понапрасну обеспокоил.

— Лежите спокойно! — предостерег врач. — Рано трубить «в атаку». Минуток через десять ещё разок проверим давленьице — поглядим, подействовала ли таблетка. Если снизится до нормы, вот уж тогда смело ставьте свечку великомученику Пантелеймону.

— Кому-кому? — не понял Владимир Иванович.

— Святой такой. Заведует целительством недужных, покровительствует врачам и воинам.

— А! Да я, знаете, не особо верующий.

— Агностики, выходит? «И то и другое — недоказуемо», так?

— Не совсем даже так. В юриспруденции есть железное правило: бремя доказывания лежит на стороне, выдвинувшей то или иное утверждение... А вы сами-то, доктор, между прочим, верующий?

— Нам, врачам, уверовать и того сложнее. Профессия у нас слишком приземлённая. Я знаю одно: через несколько минут после остановки сердца мозг умирает. А с душой за всё время практики мне сталкиваться не доводилось. Душа понятие нематериальное, из области теологии и литературы, а не медицины.

— Значит, в жизнь после смерти тоже не верите?

Врач, уже поднявшийся было со стула, внимательно посмотрел на пациента и сел обратно.

— Как вам ответить?.. И да и нет.

— Не понимаю. Что значит «и да и нет»? Мне представляется, тут либо «да», либо «нет». Середины в таком вопросе быть не может.

— Скажите, Владимир Иванович, — вопросом на вопрос ответил доктор, — вы знакомы с общей теорией относительности?

— Очень относительно, — признался больной.

— А с квантовой теорией?

— Ну вы и спросили! — возмутился Владимир Иванович.

— Так вот, согласно теории квантовой механики фундаментальным свойством Вселенной является принцип неопределённости, а основной постулат теории относительности гласит, что абсолютного времени не существует.

— И что из того следует? — поднял брови Владимир Иванович.

— Из сего следует, что для каждого наблюдателя время течёт по-разному. Не вдаваясь в научные детали, такой эффект порождается гравитацией.

— Допустим, — пожал плечами Владимир Иванович. — А нам-то что с того?

— Ну, не будем обижать старика Эйнштейна допущением, — усмехнулся доктор, — примем как данность: время — понятие относительное. Для иллюстрации: многие люди считают отмеренный им срок жизни несправедливо коротким. Между тем, бабочка ручейника — знаете, такое малюсенькое насекомое вроде ночного мотылька с прозрачными крылышками? — живёт от силы недели две. Мгновение, по нашим человеческим меркам. Но для ручейника это полноценная, наполненная событиями жизнь, за которую он успевает найти свою вторую половинку, оставить потомство, состариться и умереть. Кстати сказать, исходя из той же классической теории относительности пространство и время могут образовывать замкнутую поверхность без границ. Понимаете, о чём я?

— Если честно, не вполне.

— Тогда вот вам ещё пример. Некоторые далёкие звёзды, расположенные от нас за сотни, тысячи и даже миллионы световых лет, на самом деле давно погасли, однако нам они продолжают светить, для нас они по-прежнему, если так можно выразиться, «живы»... Или вот ещё: уж про чёрные-то дыры вы наверняка слышали? Да? Отлично! А про эффект гравитационного замедления времени? Нет? Ладно, поясню: гравитационное поле чёрной дыры, то бишь сила её тяготения настолько чудовищна, что не выпускает наружу даже свет. Поэтому с точки зрения внешнего наблюдателя все физические процессы падающего в дыру объекта — предположим, космического корабля — идут всё медленнее и медленнее. Пока вовсе не замрут. Иначе говоря, по мере приближения космического корабля к так называемому «горизонту событий» чёрной дыры этот самый корабль — опять же, с точки зрения стороннего наблюдателя — замедляется сильнее и сильнее. И в конце концов останавливается. На самом-то деле ничего подобного не происходит. Просто внешний наблюдатель никогда не сможет увидеть, как корабль пересечёт горизонт событий и ухнет в недра чёрной дыры. Он так и останется вечно висеть на границе горизонта. Теперь понятно?

— Опять не догоняю, — нахмурился Владимир Иванович. — Про всё это я, кажется,

где-то уже слышал или читал, но... к чему все эти мудрёные примеры из астрофизики?

— Хорошо, вот вам пример из жизни. Установлено, что сон человека имеет быструю и медленную фазы. И именно в быстрой фазе мы видим цветные, наполненные многочисленными яркими событиями сновидения. Но при этом фаза быстрого сна — самая короткая и в реальности длится десять-пятнадцать минут от силы.

— Знаю-знаю! И всё одно не пойму, к чему вы ведёте?

Врач сокрушённо вздохнул и покачал головой:

— Я веду к тому, что это для нас, для живых, то есть для внешних сторонних наблюдателей, время умирания мозга после остановки дыхания — лишь короткий миг. Но для самого умирающего этот процесс может занять... вечность! Во всяком случае, промежутки времени, сравнимый со всей его прошедшей жизнью.

— Любопытная у вас теория, — помолчав, заметил Владимир Иванович и с кряхтением потянулся на диване, — в чём-то утешительная для нас, атеистов. Впрочем, сам я убеждён, что никакого посмертного существования нет, всё это басни. То есть мы, конечно, не исчезаем бесследно, это противоречило бы закону сохранения материи, просто становимся, образно говоря, землёй и травой и, в итоге, даём жизнь другим земным существам. В этом я схожусь скорее с индуистами, нежели с буддистами, с их растворением в «вечном ничто»... Ох, простите, доктор, заболтал я вас, а уже вон скоро три — светает.

— Ничего-ничего, вы интересный собеседник. Хотя мне и впрямь пора, — врач бросил озабоченный взгляд на смартфон. — Поступил новый вызов. Нуте-с, прощайте, голубчик. И берегите себя! Сердечко у вас порядком изношенное, а потому авария может случиться весьма внезапно. Избегайте чрезмерных нагрузок и, главное, следите за давлением.

— Спасибо, непременно. Завтра (точнее, уже сегодня) у нас суббота, так что махну на дачу и засяду с удочкой у озера. Лучший отдых! Полный релакс.

Врач с сомнением покачал головой, но возражать не стал.

А Владимир Иванович, проводив доктора, ощутил неожиданный прилив сил. Он привёл себя в порядок, позавтракал и ещё затемно выехал на дачу. В пять утра он уже был на месте. Не мешкая, накопал в огороде червей, взял удочку и отправился к заветному озеру.

Углубившись в лес и миновав оставшуюся в память о войне заполненную водой воронку, он вышел на извилистую, перевитую сосновыми корнями тропку и споро зашагал дальше. Сосновый лес по сторонам сменился широколиственным, потом густым ельником. Чернушек, валуёв и разных подгрудков была такая пропасть, что стоило сойти с тропы, как они, скрытые опавшей хвоей, начинали хрустеть под ногами. «Надо будет насобирать пару корзиночек для холодного соления», — мелькнула у Владимира Ивановича мысль.

Вот высокие стебли бильника скрыли его с головой; увенчанные дымчато-белыми облачками соцветий, они источали густой пряный аромат. Тут лес по левую руку отступил, и возникла сплошная непролазная стена ольшаника. Если не знать заранее, ни за что бы не углядеть начинавшуюся за одним из ольховых кустов топковатую рыбацкую стёжку, уводящую от основной тропы влево; она причудливо виляла между кочками, щетинившимися пучками острой осоки.

Местность постепенно становилась всё низменнее, всё сырее. В неглубоких овражках-мочажниках там и сям стали встречаться оконца с болотной водой, куда, почуяв человека, плюхались пугливые лягушки; под ногами захлюпало, и вскоре Владимиру Ивановичу, чтоб не набрать в ботинки воды, пришлось шагать с кочки на кочку.

Пройдя ещё с десяток шагов, он вышел на пологий берег заболоченного лесного озерца. Хотя как такового берега видно не было — мощные стебли двухметрового рогоза, начинаясь посуху, стройными рядами заходили глубоко в воду, съедая границу береговой линии. Лишь небольшой утоптаный пяточок подсохшего торфа, на который встал Владимир Иванович, был свободен от растительности.

Владимир Иванович окинул взглядом хорошо знакомый пейзаж: пышная болотная растительность плотной, непроницаемой для ветра стеной окружала топкой водоём; на заднем плане вечно зеленели вековые ели и сосны; в прохладном, подёрнутом молочной дымкой утреннего тумана воздухе над поверхностью воды зависли крупные стрекозы. В этом обособленном, замкнутом на самого себя мирке время словно затормозило обычный размеренный бег.

На лежащем посреди голого пяточка замшелом бревне в первых лучах восходящего солнца грелась дюжина серых ящерок. Завидев гостя, они прыснули в стороны; небольшая флотилия толстых изумрудно-зелёных квакш лениво отчалила от берега.

Владимир Иванович размотал удочку, наживил червя, забросил крючок в свободное от ряски водяное оконце рядом с берегом и прислонил удилице к бревну. Потом,

присев на корточки у кромки воды, тихонько разогнал ладонью ряску и заглянул в озёрную глубь.

Там всё кишело жизнью: у поверхности кверху брюшками шныряли длинноногие водяные клопы, дальше, в хаотичных лабиринтах многометровых плетей урути, кружили стайки жуков-вертянок; на самых сочных стеблях водоросли затейливыми пагодами лепились крупные раковины прудовиков; вон блеснул воздушный кокон водяного паука-серебрянки, а вот, раздвигая плети урути, поигрывая хищными жвалами, важно продефилировал высматривающий добычу плавунец.

Вдруг он заметил меж толстых корневищ аира длинную ящерку с плоским хвостом — тритона, который, казалось, внимательно наблюдал за Владимиром Ивановичем... Но тут его поплавок многообещающе повело к берегу, а после и задёргло. Владимир Иванович осторожно поднял удище и замер в ожидании. Но, не утерпев, дёрнул, леска напряглась на миг, и с крючка с плеском шлёпнулось нечто увесистое.

Владимир Иванович не расстроился — главное, клёв есть. Наживив свежего червя, он снова забросил крючок. И поплавок моментально повело к тинистому берегу. На сей раз он не спешил подсекать, хотя клевало уже беспрерывно. Наконец, когда особенно сильная поклёвка утянула поплавок под воду целиком, Владимир Иванович энергично, но не резко, потянул... и вот — на крючке, переливаясь живым серебром, бьётся златоперый карась.

Владимир Иванович сунул карася в садок, опустил в воду и принялся по новой наживлять крючок. Чувство полного умиротворения, почти блаженства, накрыло его. Владимир Иванович знал, что наступающий летний день будет долгим, бесконечно долгим...

* * *

Испробовав все доступные реанимационные мероприятия, врач утёр вспотевшее лицо и резко выдохнул.

— В три часа десять минут утра двадцать первого августа текущего года констатирую смерть пациента; возраст — шестьдесят шесть полных лет, причина смерти — острая сердечная недостаточность, вероятно — повторный инфаркт миокарда неуточнённой локализации... Кувырком, чёрт меня побери!

Доктор машинально перекрестился и навсегда закрыл Владимиру Ивановичу стекленеющие глаза.

Дмитрий ИГНАТОВ

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Автомобиль утыкается мордой в сугроб. Мелкий снег засыпает лобовое стекло, стоит только остановить дворники. Я сижу молча, прислушиваясь к равномерному урчанию мотора. А когда вот так погружаешься в собственные мысли, то часто задаёшься неожиданным странным вопросом: кто ты и где.

Конечно, я помню своё имя, понимаю, что нахожусь в своей машине и знаю, в какой точке города я её припарковал. Но я говорю о чём-то большем, чем простое запоминание сведений. Об ощущении. О самосознании. Восприятии всех этих фактов здесь и сейчас. Забавно, но большую часть времени мы не испытываем этого. Жизнь течёт вокруг нас, как фильм. Мы переходим дорогу, жмём руку знакомому, отвечаем по телефону, гладим собаку, ударяемся мизинцем о ножку стола. Но всё это — не более чем супер-натуралистичное кино. Набор ярких впечатлений. Атракцион виртуальной реальности в луна-парке с американскими горками. Ведь ни в один из этих моментов мы зачастую даже не понимаем: это я, это происходит сейчас и со мной. Не думаем об этом. С самого рождения мы вовлечены в окружающий мир, но совершенно отчуждены от самих себя.

* * *

Наверное, это начинается в тот самый миг, когда вы, покинув утробу матери, открываете свои глаза. Вы пытаетесь собрать воедино мысли внутри вашего пока что маленького мозга, чтобы ответить на эти простые вопросы. Кто я? Где я? Вы пытаетесь мучительно. Не имея возможности говорить, вы кричите. Каждый раз, погружаясь в сон без ответов и вновь пробуждаясь с этими вопросами. И в тот момент, когда вы, кажется, уже близки к нахождению себя, вам показывают первую погремушку. Такая яркая, громкая и интересная — она целиком и полностью приковывает к себе ваше внимание. В вашей жизни потом будет ещё много разных погремушек. Одни подарят родители, другие навяжет общество, третьи вы станете покупать себе сами. Всё — лишь бы не возвращаться мысленно к этому первобытному страху неизведанного. Кто я? Где я?

Как ни странно, ко мне оно впервые вернулось в школе. В месте, где вроде бы должны избавлять тебя от лишних вопросов. Где мир обязан становиться проще и понятнее. Может, дело в моём пытливом уме. А может, в чём-то ещё.

Учился я далеко от дома и каждый день был вынужден ездить на автобусе в центр города и обратно. Жизнь тогда ещё не баловала подростков обилием гаджетов с большими экранами, поэтому единственным развлечением была возможность молча смотреть в окно. И я смотрел, оставив за границами своего восприятия и разговоры в салоне автобуса, и его покачивание на неровной дороге, и даже те предметы, которые проносились перед моими глазами. Где я нахожусь? В набитом автобусе. Что со мной происходит? Я еду в школу. Точно так же как и вчера. И точно так же поеду завтра. Тогда как в настоящий момент я могу понять разницу между прошлым и будущим, если всё кажется спланированным заранее. И почему? Разве это кому-то нужно? Кому? Концепция наличия высшего разума уже тогда казалась мне нелепой. Может, людям самим удобно создавать для себя спрогнозированную последовательность действий, чтобы каждый раз не задумываться, что делать в следующий момент? Так я размышлял, будучи подростком и глядя на улицу из окна переполненного автобуса.

Тогда мне и пришла в голову идея одного эксперимента. Даже не так. Сначала возникло неосознанное желание, а уже потом мозг, проанализировав это, сконструировал подходящее рациональное объяснение.

Почему бы не нарушить привычный ход вещей? Сделать нечто, выходящее за рамки обычного. Нет. Ничего преступного или вызывающего. Ничего такого, что хоть как-то повлияет на окружающих людей. Вероятно, что это даже не будет замечено. Взять и просто выйти на случайной остановке. Не потому, что хочется прогулять уроки. Не потому, что нужно куда-то ещё. Даже не из духа противоречия. А просто так! Выйти там, где тебе не нужно. Пойти куда-нибудь по улице. Увидеть места, самые обычные места, которые ты при этом никогда не видел. Просто потому, что они никогда не были нужны.

Но пока я думал обо всём этом, силясь представить эти самые обычные, но удивительные места, автобус уже приезжал на мою остановку. И я выходил. И шёл своим привычным маршрутом.

Удивительно, что сейчас, по прошествии лет, я прекрасно помню тот день и тот момент озарения, вплоть до запаха истлевающих резиновых автобусных поручней, который надолго остаётся на руках. Но тогда я уже на следующий день забыл обо всём. И о философских вопросах, и о мысленном эксперименте. Вернее, тогда он так и остался исключительно мысленным. Растворился в потоке ежедневных событий.

Второй раз я вспомнил о нём намного позже, когда был студентом и учился в институте. Да, тогда мне тоже приходилось каждый день ездить через весь город на общественном транспорте, но старые мысли и переживания возникли вовсе не там. Я никуда не ехал. Нигде не скучал. И ни о чём не думал. Проснувшись утром, я пошёл в ванную, начал умываться, окунув лицо под струю ледяной воды, и, взглянув в зеркало, не узнал своего лица. Оно не было другим или новым, как если бы я увидел незнакомого человека. Но я вдруг понял, что совершенно не соотношу себя с ним. Не потому, что моё лицо мне не нравилось или, наоборот, нравилось. Это был не критический взгляд на себя и не внезапное откровение вроде неожиданно появившегося прыща на носу. Дело вовсе не касалось самооценки и внешности. Очевидно, в этот момент моё внутреннее ментальное представление о себе было слишком далеко от того, что я воспринимал органами чувств. Казалось, какая-то часть личности, давно сформированная внутри, неким образом прорвалась вовне и, получив временный доступ к картинке, удивилась. Состояние продлилось не больше минуты. Мимика, возможность полностью контролировать выражение лица, стекающие по лицу холодные капли — мгновенно вернули всё на места: я — это я. Но своеобразное послевкусие такого секундного помешательства осталось. Проклятые вопросы снова ярко зажглись в растерянном разуме. Кто я? Где я? Естественно, не найдя на них никакого оригинального ответа, я просто занялся делами. И они снова исчезли, как и всегда.

Воистину, наша сумасшедшая жизнь является лучшим средством от ненужных размышлений и страннных рассуждений. Нескончаемый поток дел и проблем словно специально создан для того, чтобы у человека не было возможности остановиться. Иссякает же он в действительности только тогда, когда заканчиваются силы. Это очень короткий, почти незначительный момент перед тем, как уснуть, когда сознание, наконец, отключается от насущных забот и успокаивается. Слишком ничтожный миг свободы между сном и бодрствованием, чтобы посвятить его каким-то по-настоящему важным мыслям.

Я много раз пытался поймать этот микроскопический интервал времени. Прожить сам процесс перехода. Лежал в темноте, прислушиваясь к своим ощущениям: тяжёлым векам, наступлению расслабленности в мышцах, замедлению сердцебиения. Самое главное и сложное — не возвращаться мыслями к текущим проблемам, не переставать контролировать себя здесь и сейчас, иначе засыпаешь, не замечая этого.

Возможно, именно этого мне и не стоило делать. Даже самые невинные психологические эксперименты порой оборачиваются неожиданными и даже странными последствиями. Я до сих пор не знаю, сломалось ли что-то в моей голове. Или оно было сломано всегда, а я только выявил это. Факт лишь в том, что после моих экспериментов граница сна и бодрствования вдруг размылась. И это было довольно естественно. Студенческая жизнь кипит. И сначала не спишь целыми сутками, стараясь ничего не упустить и не желая ни от чего отказываться. Потом твой организм начинает откровенно бунтовать против тебя. Ты вырубаешься часто в неподходящем месте и в неудобной позе, чтобы проснуться на незнакомой станции метро или на пустой остановке в четыре часа утра, когда весь город спит. И на следующий день валяешься в кровати, пробуждаешься уже сильно после полудня и не можешь сообразить, утро сейчас или вечер. Часы и календарь перестают существовать для тебя в такие моменты. И снова возникают те самые вопросы. Кто я? Где я? С ними остаёшься один на один в пустой комнате общаги. И если ты воскрес в ней из чёрного пустого забвения, это очень боль-

шое везение. Обрывки вчерашних дел и планов быстро возвращают в реальность. Манипулируя ими, мозг мгновенно собирает вокруг пазл окружающей действительности. Беда только в том, что это не мой случай. Примерно с пяти лет я прекрасно помню свои сны. Да, порой они очень спутанные, размытые и не такие яркие, чтобы было возможно восстановить всю хронологию. Но это не помешало мне довольно рано сделать одно удивительное открытие. Все мои сны, так или иначе, связаны друг с другом. Это далеко не случайный набор фантазий и образов, навеянных внутренними переживаниями, событиями прошедшего дня или просмотренным фильмом. Начну с того, что это всегда очень реалистичные сны. Нет, не достоверные, по меркам нашей жизни. В них часто творятся странные фантазмагорические вещи, но все они происходят не в каком-то вымышленном мире. Засыпая, я попадаю в окружение, где сочетаются элементы привычной мне реальности. Места, где я бывал. Дома, которые я видел. Улицы, по которым я ходил. Часто, расположенные за тысячи километров друг от друга, во сне они оказываются совсем близко. Перемежаются с абсолютно выдуманными объектами вроде впечатляющего размера дамб, высоких мостов или огромных труб, уходящих вдаль. Возможно, дело в бедности фантазии, но всё это собирается и склеивается воедино, образуя какой-то завораживающий город из моих воспоминаний. Я знаю расположение и назначение зданий, знаю их интерьеры. И я легко узнаю их, когда захожу внутрь. Часто вплоть до самых незначительных деталей: звуков, скрипов, шероховатостей разных поверхностей, запахов... Пространство сна словно готовится моим мозгом для того, чтобы в дальнейшем разыгрывать в нём какие-то сюжеты. Оно населяется знакомыми мне людьми. Живыми и мёртвыми. С теми, с кем я почти не общался или, напротив, провёл много времени. Большинство из них не были и даже не могли быть знакомы в реальности. Впрочем, я и сам вне зависимости от своего возраста могу представить себя во сне то ребёнком, то подростком, то уже вполне зрелым мужчиной. И каждый раз оказываюсь вовлечён в какую-то прожитую или совершенно новую для меня историю, наполненную всеми этими пространственными нестыковками и анахронизмами.

Так в одну из ночей мне приснился тот самый автобус. И я сам. Подросток, едущий через весь город в школу. И зарождение немотивированного желания выйти вдруг на неизвестной остановке. И вот я уже продвигаюсь через переполненный салон. Чувствую вибрации металлического пола на неровной дороге, слышу дребезжание, вдыхаю запах старых прорезиненных поручней. Наконец, я выхожу на неизвестной мне остановке, чтобы пойти по неизвестной улице неизвестно куда. Я улыбаюсь. То ли тёплому солнцу, то ли своему внутреннему счастью, оттого что у меня всё получилось. И просыпаюсь, потому что это самое солнце спит через окно. Кто я? Где я? Я снова проснал.

Порой мне кажется, что во сне я вижу всю свою жизнь, в которой время и пространство просто перестали работать так, как нужно. Где на годы останавливается золотисто-тёплый августовский вечер или неделями с серого неба идёт нескончаемый холодный дождь. И, тем не менее, там всё предельно понятно. Там никогда не мучают никакие неразрешимые вопросы. И вот я ложусь на знакомый диван в знакомой квартире, чтобы проснуться точно там же, не понимая, уже проснулся или ещё нет. И вопросы возникают вновь. Кто я? Где я? Признаться, временами меня даже посещала мысль, что явь и сон в моей голове однажды были перепутаны местами. И то солнечное тёплое место, где собраны все мои друзья и родственники, где все дороги места расположены на расстоянии пары кварталов и не нужно никуда спешить — это и есть самая настоящая реальность. Не зря же я возвращаюсь туда каждый раз, как только засыпаю. Не зря же я всегда помню о ней в мельчайших деталях.

Забавно, что и там мне иногда снятся тревожные кошмары, но самым страшным всё равно остаётся момент пробуждения. Стройные картины оборачиваются расплывающимися образами и состоянием внутренней пустоты. И повисают старые вопросы. Кто я? Где я?

Но я опять подставляю лицо под водяные струи, встречаюсь глазами со взглядом человека, отражающегося в зеркале. Кем бы я ни был, сейчас мне просто нужно ехать на работу.

Я снова делаю это ежедневно. Снова пересекаю город, глядя на него через стекло. Теперь то лобовое стекло автомобиля. Но по большому счёту ничего не изменилось. Я делаю привычные повороты на привычных перекрёстках. Останавливаюсь на привычных светофорах, ожидая, когда по привычному переходу проходит привычная толпа. Иногда мне кажется, что я узнаю идущих в ней людей. Не удивлюсь, если это и правда одни и те же люди. Ведь они, как и я, делают одно и то же каждый день. Зачем? Глупый вопрос. Человек должен работать. Мы участвуем в общественном движении. Заставляем функционировать экономику. Жаль, что, сидя в кабинете и занимаясь подготовкой очередного отчёта, я не ощущаю ровным счётом никакого движения. Я

не чувствую никакой деятельности. Внутри меня не остаётся никакого значимого результата. Мои глаза смотрят в экран, но в какой-то момент проваливаются сквозь него. Просачиваются мимо букв и цифр, становящихся размытыми и неважными. Мысли улетают мимо этой реальности, раз за разом устремляясь в пространство снов. Туда, где прежними остались школьные друзья. Где одновременно живы и старики, и дети. Где самые дорогие и памятные места находятся за ближайшим поворотом. Где происходят необычные вещи и удивительные путешествия. Где бесконечно долго тянется тёплый августовский вечер. И где я свободен.

Каждый раз, когда я думаю об этом, мне хочется осуществить свой старый детский эксперимент. Повернуть не туда. Что это изменит? Кто знает? Может быть — всё? Но я раз за разом еду по знакомому маршруту. Там находится моя работа. Работа, приносящая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Кажется, в вечной погоне за этим я потерял что-то более важное. Себя.

* * *

Я глушу мотор и выхожу из машины. Я долго хотел её, но теперь она мне больше не нужна, как и постоянное погашение автокредита. Несколько шагов по сугробам, и сзади остаётся узкая полоска аллеи, идущей вдоль поля. Я разжимаю руку и отпускаю в снег сумку с макбуком и рабочими документами. Они очень ценны и важны. Но не мне. Мне просто тяжело носить их каждый день, ведь они давно превратились в кандалы. Я выхожу на заснеженное поле, волоча за собой потяжелевшее пальто. Это очень модное и дорогое пальто. Того же бренда, что носят топ-менеджеры нашей компании и сам генеральный директор. Неадекватно дорогостоящее для одежды. Я сбрасываю его в снег, а заодно избавляюсь от навороченного смартфона. Это последняя вещь, связывающая меня с так называемым современным миром. У меня больше не осталось ни одной мечты, которую я пытался купить за деньги. Ни одной вещи, через которую я хотел выразить свою индивидуальность. Ни одной погрешности. В действительности они просто воровали мою свободу.

Расправив плечи, я вбираю в грудь свежего морозного воздуха и делаю шаг. Снова и снова. Это тяжело, но ото всего остального я устал ещё больше. Впереди только огромное белое пространство, через которое несётся снег. И единственное, что я теперь хочу, это упасть в него. Неподвижно лежать, ощущая, как он засыпает меня сверху. И засыпать самому. Уснуть... И, наконец, проснуться. Это единственное, что я сейчас могу сделать по-настоящему.

Яков ШАФРАН

НОВАЯ ЗВЕЗДА

*«Жить нужно не для себя и для других,
а со всеми и для всех»*
Н.Ф. Федоров, «Общее дело»

«Страх перед будущим не даёт жить в настоящем»
(Восточная мудрость)

Новосёлов проснулся, как обычно, по смартфонному будильнику. Перед тем ему приснился недолгий сон, будто он едет куда-то на белой лошади, и вдруг в глаза брызнул яркий солнечный свет... За окном брезжило пасмурное октябрьское утро. Полюбовавшись позолоченным ранней осенью, далеко видимым с девятого этажа пейзажем, он умылся и сел за старенький компьютер посмотреть утренние новости.

Во первых строках тот сообщил о неугомонном Израиле, совершившем очередные авиа- и ракетные удары по сопредельным мусульманским странам; о наконец уничтоженном грузовом судне со снарядами из Европы, направлявшимися нацистской Украине, до того как они попадут на фронт; о ещё одном «бессмертном афоризме», выданном одним весьма известным лицом; о следующем повышении ключевой ставки ЦБ; о расстреле ВСУ мирных жителей и новой ракетной бомбардировке гражданских объектов; о продолжающемся проституировании наших соседей ближнего зарубежья и оскорблении России западными странами и организациями; о том, что предсказание святой Матроны сбудется: России и Европе грозят тяжёлые испытания; об использовании изворотливыми мошенниками троян-вируса для беззащитных краж банковских данных; о разошедшейся на сцене молнии на платье у попсовой певицы Рады; о подростке в Якутии, застрелившем друга из ружья; об Агнес Баркл, впервые за долгое время пришедшей на официальное мероприятие без принца Арни; о певце Минорине, повысившем цену за выступления на полмиллиона рублей, и о продюсере Георгии Пеладзе, продающем свою знаменитую виллу за 450 млн. рублей; о показанном россиянам «скромном» деловом завтраке за 72 тысячи рублей в столичном ресторане «Севрюга»...

Новосёлов оторвал брезгливый взгляд от монитора и тоскливо огляделся кругом. «Боже мой, и это тогда, когда идут ожесточённые бои СВО и решается грядущая судьба страны, когда такое творится в мире! А тут моральный, вернее аморальный, императив¹ — как говорится, здесь немножко воюем, здесь немножко торгуем, а здесь немножко гуляем... Дисгармония какая-то!» — подумал он. День был будний, и Новосёлов, как обычно, окунулся в необходимые дела. Но родная память, по неким, одной ей ведомым законам, навеяла ему ностальгические воспоминания об очень давних временах...

В подростковые годы он хотел увидеть и узнать в своей жизни как можно больше. И, подобно массе ребят, увлекался радиосвязью и астрономией — сам с друзьями мастерил любительские телескопы и модели аэропланов и космических кораблей. Обожал научную фантастику, запоем читал все очередные номера «Техники молодёжи» и «Науки и жизни». Мечтал стать знаменитым космонавтом или учёным-физиком, а не «эффективным» менеджером, курьером доставки еды и корреспонденции или долларовым миллионером, как большинство нынешних подростков. Удивительное, романтическое время это было, и с каждым годом становилось всё чудеснее и

¹ Повеление, безусловное требование.

привлекательнее жить.

Теперь же он трудился менеджером по продаже легковых автомобилей в автосалоне. Месячная зарплата его состояла из постоянной части и сдельной оплаты. Потому, чтобы заработать для семьи из четырёх человек (хотя жена тоже работала, но надлежащее воспитание и школьное образование двух детей, а также естественное стремление быть на достойном уровне требовали известных средств) приходилось тянуть лямку двенадцать часов в день и сверхурочно.

Новосёлов тяжело вздохнул и стал собираться на службу.

* * *

Вечером, по давнишней привычке, Новосёлов вышел на балкон. Картина прекрасно видимого звёздного неба — ни облака, ни какие-либо строения не загромождали, — как всегда, подействовала благотворно и растворила вредные последствия психологических стрессов и неприятные эмоции рабочего дня. Он спокойно рассматривал знакомые созвездия, переводя, как обычно, взгляд с одной звезды на другую, различая их характерные цвета и даже оттенки.

И вдруг Новосёлов насторожился, увидев новоявленное небесное тело, бывшее размером с большую звезду. Хотел уже возвратиться за астрономическим атласом, но вспомнив, что наизусть знает местоположение звёзд и ход планет солнечной системы, огляделся — все звёзды находились там, где им было положено, никакой планеты в данной области быть не могло, да и не похоже сие новое образование ни на один космический объект. Заинтересовавшись, он долго разглядывал его, и какое-то необычное чувство, объяснение которому пока дать не умел, не покидало его чуткое сердце.

Из этого смятенного состояния Новосёлова вывел автомобильный гудок внизу во дворе. Он зашёл в комнату и, взяв любительский телескоп, используемый иногда, при наличии достаточного свободного времени, для любознательного наблюдения за Луной и околоземным пространством, направил его на «новичка». Однако, как ни настраивал фокус, тела не было видно. Вместо него шли какие-то изображения. Опустив телескоп, он вновь окинул взглядом вечернее небо — непознанный объект пребывал там же. Новосёлов несколько раз повторил те же действия — происходило снова то же самое. Тогда он решил присмотреться к этим образам.

Прильнув к окуляру, наблюдатель рассмотрел последовательно идущие кадры. Пытаясь занять более удобную позицию, Новосёлов случайно сбил прежнюю настройку, но следовали неизменные чёткие картины. Дело здесь, видимо, заключалось в другом.

А увидел Новосёлов следующее. Голографические изображения шли в форме объёмного фильма, повествующего о некой удивительной стране, красивой и образцового порядка. Он лицезрел счастливых, прекрасных людей, являвшихся равными и свободными; высокая духовность, психическое и физическое здоровье буквально излучались ими. Сконцентрировавшись, Новосёлов стал воспринимать их мысли, говорившие ему о стране, основывающейся на верховенстве Бога и на возвышенной морали; о разумной, гуманной, стране истинного народовластия, деятельности, направленной к пользе людей, на прочной базе полной общинности и коллективизма; о стране гуманитарных технологий, опережающей качества человека, его личностного роста, свободного творческого труда к общему благу. Новосёлов понял — они существовали в стабильном состоянии любви, гармоничного единения, искреннего добродушия, глубокого сострадания, реального милосердия, светлой радости и гражданской активности. Новосёлов видел картины многочисленных образовательных и культурных заведений, роботизированных предприятий, он считывал информацию о том, что всякий успех был прямым следствием служения общим интересам, а не результатом корыстолюбивых устремлений и жёсткой эксплуатации подневольной деятельности. И такой страной у них стала вся планета, представлявшая собой симфонию разновеликих долей, через всемирное, всеобщее братство «эпохи воссоединённого мира».

Новосёлов находился в безмолвном благоговении по-настоящему верующего в храме. Его сердце, под благотворным воздействием воспринимаемых сведений, то сжималось от ясного осознания большой далёкости всего данного от нынешнего земного, знакомого им и окружающего его кругом, то расширялось от захлёстывавшей любви к сему, шедшему буквально с неба, и от желания верить в реальную возможность подобной цивилизации, хотя бы впереди, хотя бы и в отдалённой перспективе. «Это моя мечта, мечта всех людей!» — подумал он. И тут услышал голос: «*Это твоя страна в будущем, новая страна!*»

На следующий день Новосёлов с работы позвонил своему другу Фомину и предложил встретиться сегодня по очень важному вопросу. Едва дождавшись окончания служебного дня, но всё же завершив дела, так чтобы завтра, как обычно, не тратить ценное время для подготовительных шагов, он выбежал из здания, на ходу с нескрываемым удовлетворением отметил хорошую погоду и чистое небо и, вскочив в подошедшую маршрутку, помчался к назначенному месту.

— Что случилось? — после приветствия спросил Фомин.

— Чудо, дружище! Не поверил бы, если бы не видел собственными глазами.

И Новосёлов вкратце поведал тому обо всём.

— Ну, ладно, поедем, посмотрим... — недоверчиво промолвил друг.

Они ехали в автобусе и молчали. Мимо проплывали дома с разными магазинами, фирмами и фирмочками на первых этажах, названия которых вновь, как в двадцатилетнем прошлом, всё чаще и чаще обозначались иностранным языком. Новосёлов с неудовольствием отмечал это про себя, но думал о естественном сомнении товарища, о том, что и он сам не принял бы за чистую монету рассказ о подобном. А Фомин помалкивал, боясь обидеть, ибо услышанное им казалось форменным сумасшествием...

Войдя в квартиру, Новосёлов, не тратя времени, взял телескоп и повёл друга на балкон. Стояли зыбкие вечерние сумерки, тёмно-синее небо, кроме самых крупных, ещё было без звёзд, но неведомое тело висело на своём месте. Он указал на него приятелю, установил аппарат и, вначале убедившись в реальности сообщённого им, пригласил к окуляру. Тот долго, не отвлекаясь, глядел в него.

— Ну, ты видел? — спросил Новосёлов, когда Фомин оторвался от объектива.

— Да-а-а... — промолвил он. — То же, о чём ты говорил... Интересно!

Они помолчали.

— На этом же можно заработать кучу денег! — вдруг сказал Фомин.

Новосёлов стал возражать, ему неприятен был меркантилизм друга:

— Нельзя наживаться на том, что приобретаем даром! «Дай Бог дать, да не дай взять!» — воскликнул он.

Но Фомин решительно заявил:

— Не желаешь, так я сам!

«Самый глухой тот, который не хочет слышать!»¹ — подумал Новосёлов и смирился...

Друзья зарегистрировали фирму, получили денежный кредит в банке и сняли подходящее помещение с небольшим залом. После чего они, купив телескоп побольше и транслятор изображения в формате 4D, дали объявление в городские газеты, на радио и местное телевидение. Заголовок рекламы гласил: «Захватывающее путешествие в будущее, не выходя из комнаты». Плату они — по настоянию Фомина — установили приличную, правда, по предложению Новосёлова, со значительными скидками для соответствующих категорий — героев, ветеранов войн, малоимущих, пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и несовершеннолетних.

И люди потянулись. Выстроилась «километровая» очередь, не исчезающая даже ночью. Наиболее ушлые, как в прошлое время у крупных универмагов: «Лейпциг», «Белград» и «Будапешт», продавали свои места, наваривая на этом большие деньги.

И вот настал вожделенный день, когда с минуты на минуту ожидалось начало первого сеанса. Новосёлов проверил оборудование, — оно прекрасно функционировало, — и выглянул в окно — огромная вереница желающих была на месте. И он открыл кассу. После того как количество проданных билетов достигло двухсот и убедившись в отсутствии хотя бы одного пустого стула в просмотровом зале, Фомин выключил верхний свет, нажал пусковую кнопку — и ничего не произошло! Он подозвал Новосёлова. Они опять всё испытали — ничего!

Среди зрителей поднялся постепенно возрастающий ропот, а потом стали звучать и отдельные выкрики... Не дожидаясь более худшего, друзья раздали вырученные деньги и, когда все вышли и дежурный охранник (а они уже успели нанять их) закрыл входную дверь, вновь включили аппаратуру. Обычным образом шла информация, выдавая знакомые им картины светлой страны. Видимо, случился аппаратный сбой, подумали приятели и, дав технике поработать ещё и удостоверившись в её правильном действии, открыли кассу.

Количество людей поуменилось. Наверное, передние, услышав возмущённый рассказ первых посетителей, разошлись, заключив о происходящем как о новом разводе. Но задние, внезапно быстро продвинувшись, не разобравшись толком, как

¹ Н.К. Рерих, «Нерушимое».

это часто бывает в очередях, решили, что они получили неожиданный подарок свыше, что им повезло, и чем чёрт не шутит, оплатили вход и вошли в зал.

Однако ситуация повторилась вновь...

Друзья раздали выручку следующим несостоявшимся зрителям и объявили остальным о поломке оборудования и об отмене, в связи с этим, ожидавшегося показа. Часть желающих ушла, но терпеливое большинство всё же осталось, надеясь на что-то.

Новосёлов дал деньги охраннику, чтобы он как бы купил билет. Тот сделал. И всё сработало... Тогда Фомин пригласил людей и, после оплаты ими, нажал на кнопку включения. Пустота!..

— «"Э-э!" — сказали мы с Петром Ивановичем»¹, — улыбнулся Новосёлов.

— То есть те, кто не заплатил за просмотр, могут видеть!.. — проговорил приятель, когда они сели обсудить случившееся.

— «*Опыт — лучший учитель*» (латинская поговорка)². Да, платный показ некими неведомыми силами был запрещён, — поддержал друга Новосёлов.

— Что же нам теперь делать? Ведь мы взяли кредит! — возопил Фомин.

— Ничего, *смелым Бог владеет*, выплатим, — успокоил его Новосёлов и предложил пришедшее ему на ум при проведении последнего неудачного сеанса: — Давай в нашей рекламе объявим и у выхода из зала повесим небольшое объявление о бесплатной трансляции и добровольном пожертвовании любой суммы для компенсации коммерческих расходов.

Так они и сделали. Вдобавок друзья открыли предварительную запись на просмотр как по телефону и в интернете, так и «живую» — очередей и ажиотажа не стало. Люди приходили в назначенное время, смотрели, делились впечатлениями и задавали соответствующие развитию каждого вопросы, среди которых был главный: «Что это? Что за страна?» Вначале приятели пытались объяснить сами, однако их лаконичный комментарий вызывал заметное сомнение у зрителей. Тогда они подводили неуверенных непосредственно к окуляру телескопа, и всякий из интересующихся слышал: «*Это твоя страна в будущем, новая страна! Она и новый мир планеты определены космической волей!*»

Среди посетителей присутствовал и старик-пенсионер, доживавший собственный век на нищенскую пенсию, и водитель, трудившийся по четырнадцать часов в день для прокормления своей маленькой семьи, и мать-одиночка, постоянно ломавшая голову, как одеть-обуть и обучить единственного сына, и студент, получавший стипендию, достаточную только для месячного проезда из дома в институт и обратно, и учительница, вынужденная, чтобы иметь более или менее достойную зарплату, надрываться на двух ставках, вечерами корпеть над тетрадками и ещё приторговывать в компании сетевого маркетинга, и молодой малоимущий инженер, решивший добросовестно отработать по специальности затраченные на него средства бюджетным отделением вуза... Все они радовались, что, если это полная правда и так будет, стоит жить и терпеть, хотя бы ради своих детей и внуков.

Но были и обеспеченные зрители, каковые, как и прочие, приходили полюбопытствовать на неслыханное чудо. Те тоже поражались виденным и уходили немного обеспокоенными за собственные нынешние и будущие накопления, которые они намеревались многократно умножить, чему и посвящали полностью время и силы, и передать своим потомкам...

Фомин поначалу грустил, однако поток людей не прекращался и добровольных пожертвований хватало на всё, в том числе для погашения кредита и для пропитания друзей. И он успокоился.

А Новосёлов не таил откровенного счастья, замечая нескрываемую радость в глазах бедных посетителей их салона. Вот и сейчас он ходил взад и вперёд, мысленно вознося благодарность небу.

— Чему ты так радуешься? — спрашивал Фомин, наблюдая ликующее лицо друга.

И действительно, тот испытывал блаженство как никогда в своей жизни, ощущал, будто тёплая волна накрывает его всего, наполняет изнутри. Это было похоже на то, как Новосёлов вобрал бы в себя думы и переживания всех живших ранее, в прошлом, в разных частях планеты, людей, горячо желавших наступления светлого будущего.

— «*Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь*»³, — улыбнулся Новосёлов.

¹ Н.В. Гоголь, «Ревизор».

² «*Experimentia est optima rerum magistra*» (лат.): опыт — лучший учитель.

³ А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

— Наши с тобой родители — пенсионеры, — отвечал он далее, — и каждый год с нетерпением ждут небольшого повышения пенсии, катастрофически недостающего на полное покрытие безудержного роста цен и тарифов, и, с глубокой ностальгией вспоминая старое, советское время, будучи убеждёнными атеистами, всё же посылают неоднократные мольбы в высшие сферы с отчаянными просьбами изменить существующее положение. Так? А сейчас многие посетители увидели заманчивую перспективу, поняли, что они не одни, не оставлены — нас ведут, грядущее всей земли светло и является царством Божьим, которое непременно наступит. Верно утверждает древняя индийская философия — человек правильно живёт, когда чувствует себя реальным защитником человечества. Ведь истинный смысл жизни в её прочном основании на делах добра и любви. И я счастлив оттого, что мы не пребываем в безысходной тоске и унынии, а выводя и других из такого состояния, вселяем в них спасительную веру, действуем не для личной выгоды, а для всеобщего блага, то есть исполняем две главные Христовы заповеди: *«Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего»*.

Когда Новосёлов говорил это, у него был вид довольного человека, обретшего внезапно полную реализацию своего многолетнего упования.

Фомин, слушая слова друга, продолжал сомневаться. Но всё же, подобно новому небесному телу, и в его душе появилась искорка светлой веры. И что удивительно, она не угасала, как бывало много раз прежде, а постепенно увеличивалась и крепла.

«Неужели порождения тьмы окончательно отпрянут от нас прочь», — подумал он.

Рустам МАВЛИХАНОВ

РУССКОЕ ЦУНАМИ

«...родилась в 189... году. Училась... вышла замуж... из 12 детей выжило семеро.

Служила... работала... внесла вклад в... Награждена памятными знаками

Министерства просвещения и медалью "350-летие династии Романовых".

Почётный гражданин нашего города», — примерно так звучали бы биографии сотен тысяч провинциальных знаменитостей, если бы воскресным утром 28 июня 1914 года в патриархальном балканском городке водитель, повернув не туда, не привёз своего шефа под пули сербского студента. Это тех выстрелов звучит до сих пор: в работе компьютерных кулеров системы предупреждения о ракетном нападении, в потрескивании металла спутника-шпиона, в sireнах воздушной тревоги на Ближнем Востоке, в гудении трансформаторной будки в вашем дворе и в лайках, что вы ставите в интернете — гетище Холодной войны, родившемся в попытке спасти государственный организм в случае, если история нас ничему не научила.

Июльский кризис стал давно ожидаемым землетрясением, до основания потрясшим Старый Свет. Никто не предполагал, что он выльется в суицид Европы. Что

стратегическая фривольность, так хорошо знакомая тем из нас, кто дожил до конца заплесневелой эпохи потребления, сыграет злую шутку. Но настоящие последствия наступили через три года: цунами, поднявшееся из глубины человечества, несколько раз обогнуло земной шар, заглянув практически в каждый дом и в каждую судьбу. Оно переписало все биографии — наши, наших отцов и матерей, наших дедов и бабушек, наших детей и внуков. Это — цунами Русской революции.

В этих очерках пойдёт речь о нескольких её пагубных, благополучно выброшенных волнами на дальние скалы. Не для того, чтобы приставить дуло к виску в ожидании неизбежного, но чтобы позаимствовать частицу той силы, что помогла им пережить всё.

СВОИ

Это был её шанс. Ничтожный, фантастический, но шанс. Какой выпадает раз в несколько жизней. Если местные ламы не врут.

Сретенск¹ — место, где встречаются железная, кровавая дорога и чистая река, городишко, зажатый меж сопок, — разгорался с окраин. Огонь медленно подступал к десятку «дворцов» провинциальных нуворишей и нелепой одинокой триумфальной арке — сюда когда-то, вечность назад, изволили припереться наследник престола. Обыватели прятались по погребам, обороняющиеся — стягивались к пристани, на которой не оказалось парохода, обещанного местным промышленником. Впрочем, он уже висел на своих воротах — между вензелей и уточек.

Окраины огрызались. Зло плевали пушки белых казаков с сопок, отчаянно стрекотал пулемёт у депо. Безнадёжно. Было бы дело где-нибудь на Волге, там ещё, может, и пощадили бы — там красных лишь ставили к стенке или топили на баржах. Но тут расправа была по-даурски суровой. Тем более над своими, над красными казаками — без пролития крови, с перерезанными сухожилиями, вниз головой: «бешеный барон» был мистиком, «предателей России» вешал как на XII аркане Таро. А семёновцы ещё и кишки выпустят.

¹ Сретенск — город в Забайкалье.

И вот теперь напротив Али сидел шанс. Ничтожный. Который можно даже не принимать во внимание. Надёжней застрелиться.

Дурак Андоверов¹! Говорили же ему: собери своих, отобьёмся, уйдём по Шилке в Китай, а там — православные направо, ваши — налево! Их же полно — тут, в Сретенске, чуть ли не вторая черта оседлости. Ссылные. Как рассказывал ей муж, там, в западной черте оседлости, у них ни денег, ни оружия отбиться от погромщиков. Вот они и старались попасть в ссылку, во «внутреннюю эмиграцию» — здесь ружьё у каждого: тайга! А в тайге — золото.

Отбились бы. Хоть как, но отбились. Но нет, упёрся, куркуль, с краснопузыми-де дела не вожу, свои люди, сочтёмся. Золотом счастья хотел, дурак. А теперь атаман будет их крестить — «или огнём, или водой». Им повезёт, если водой — хоть не заживо гореть.

Могла ли знать дочь самарского юриста, сколько огня и воды принесёт ей любовь. Муж заразил её интересом к Востоку, она выучила японский и монгольский, и когда его сослали в Сибирь — без раздумий, как в ангарскую прорубь головой, поехала с ним. Заре своей жизни навстречу. Первые три года — огонь в печурке, пара картофелин на ужин, шаль на плечах, зябнувшие пальцы, которые он отогревал своим дыханием. Потом, после конца срока, — ночные костры в экспедициях, израненные руки в бамбуковых джунглях Сахалина, амурские мари, соляные топи Барун-Торей², тигриный рык, отзывающийся вибрацией в животе, реки, закипающие нерестающейся кетой, а по утрам — синие моря полубезымянных хребтов до самого края мира.

Когда мир превратился в войну, муж сделал свой выбор: и потому, что, как исследователь и путешественник, был скорее социалистом, и потому, что сочувствовал туземцам, цинично спаиваемым местными «рачительными хозяевами» — перекупщиками пушнины. Он понимал их: самогоном платить экономней. Но не принимал.

А война загнала их в Сретенск. Место сретения жизни и смерти.

Где она встретила свой шанс. Своё зеркало. Несостоявшуюся подругу. Таковую же, как она, закинутую любовью к чёрту на кулички — или к дьяволу в печень. Аля ещё раз перечитала документ: «Анна Пакшина. Фельдшер 3-го класса медицинской службы императорского флота». Рост, вес, цвет глаз, возраст — всё совпадало. Цвет волос отличался, но сейчас тиф гуляет — все выбриты налысо. А в остальном — почти копия. Русские отличат сразу, но фотокарточка к документу не прилагается, а для японцев мы все на одно лицо. Может, «муж» Анны и отличил бы, но вон он — лежит в углу двора без головы и без мундира: очередной безвестный «китаец», каких тысячи сгинуло в русской гражданской войне.

Уроженка Барнаула, жила во Владивостоке, потом в Харбине... Допрашивать Анну было легко: в её глазах читалось настолько лютное, чуть ли не животное желание жить, что даже не пришлось бить — достаточно было направить маузер в лоб. В 1910-м, во время маньчжурского мора, работала в противочумном отряде Марии Лебедевой³. После гибели врача («надо же, в 35 лет — как нам с ней сейчас») завербовалась к японцам, славившимся жестоким карантинном, — на большую землю было не выбраться. Барон Китасато Сибасабуро⁴, глава японского отряда, взял Анну под крыло: санитары вымирили целыми госпиталями, и лишние руки были в цене. На международной конференции эпидемиологов в Мукдене (подумать только: врачи со всего мира поехали в брюхо к самой Чуме!) познакомилась с лейтенантом медицинской службы флота. Влюбилась, он стал её содержать и всюду возить с собой: Токио, Гонконг, десант на германских островах в Тихом океане, интервенция в Россию. И вот — Сретенск. Конец карьеры.

Попались они глупо: занимались любовью в вагоне, когда на станцию накатили красные. Любовь была, похоже, в японском стиле — с игровым насилием, — и кончилась по-японски:

— Прости, Рюкити, — сказала Аня, приставив к его голове наган с одним патроном, — но жизнь я люблю больше.

— Это хорошо, что любит, — прокомментировал Але муж, сравнивая женщин. — Как там... жизнью жизнь поправ? Жить — это чудно. И чудно, — добавил он, отсекая голову японцу: чтобы не опознали.

Теперь выбирать предстояло Але... Надёжней бы пулю — вот сюда, в ямку над

¹ Яков Андоверов — «патриарх» богачей Сретенска, из ссылных евреев.

² Барун-Торей и Зун-Торей — озёра в Даурии.

³ Лебедева Мария Александровна (1875-1911) — уроженка Нарыма (Томская губ.), врач, доктор медицины; после окончания Женевского университета служила доктором на Енисее; погибла в борьбе с маньчжурской чумой.

⁴ Китасато Сибасабуро (1853-1931) — японский врач, один из первооткрывателей (наряду с Йерсеном) возбудителя чумы.

ключицей, сверху вниз, в сердце — не обезобразить грудь. Остаться красивой навсегда. Но... он завещал: «Прощай, товарищ жена. Выберешься — помнишь ту ступу на перешейке между Зун и Барун Торейями, где нас лама обвенчал? Я там у деревца — оно одно, не ошибёшься — закопал свои заметки. Попытайся забрать их. Когда всё успокоится. Сильно не рискуй».

Значит, так тому и быть.

А медицину подучит. Хотя бы в память об этой, напротив, на которую пора перестать смотреть как на человека. Потому что напротив — зеркало. А у женщины нет врага ближе, чем зеркало.

— Иди, — махнула Аля.

— Куда? — трясущимися губами, сухим горлом спросила Аня.

— Туда, — Аля кивнула на дверь. — Ты же хотела жить?

— А... — исподлобья взглянула Аня. — А... а моя одежда? — кивнула она на полевую форму.

— Времени нет, — звуки пожара приближались. Кажется, бой шёл уже вокруг банковской четырёхэтажки.

Анна подскочила. Боясь поверить, на негнувшихся ногах пошла к выходу. Вот крыльцо — доска подгнила, гвоздь торчит, не наступить. Двор. Труп лошади, убитой осколком. Море её крови. Ещё тёплой... такой тёплой... такой нежной. Яркое, до одури, серое небо. Какое-то тело в углу, без головы. Как же его звали?... Запах гари. Сладкий запах гари. Не надыхаться... Проём ворот. Всё ближе. Пять шагов. Четыре. Свет! Свобода! Я жива!!!

Выстрел удачно снёс половину головы. Аля подбежала и разрядила остатки барабана в лицо. Деловито, без ненависти — не до неё, когда нужно быстро становиться Анной, фельдшером 3-го класса императорской армии... стоп, флота! Застыла на секунду: тело, в одном исподнем, быстро наливавшемся кровью, было красивым — ему бы жить и жить. Мёртвый глаз лошади блестел укоризной.

«Извини, — застыла она на мгновение. — Так... Собралась! — скомандовала себе. — Что со мной делали «красные палачи»? Чёрт, надо было раньше об этом позаботиться, пока мой жив был! А он смог бы?»

Аля — нет, уже Аня — два раза глубоко вдохнула-выдохнула и прижала ещё горячий ствол к животу. Боль чуть не согнула пополам, но — время! Забежать в дом, надеть японскую форму, достать кочергу из печки — «помнишь вечера в ссылке? шаль... боже, верни меня в ту шаль...» — приложить к бёдрам, отдышаться, к спине, отдышаться, проклятье, надо было застрелиться, что сделать с лицом, чем себя ударить? документы! — в карман... топот у ворот. Всё.

— Ух, глянь какая! — прозвучал зычный голос. Гнедая туша толкнула её на землю, копыто мелькнуло над головой. — А ну вставай, подстилка большевицкая! Втопчу! — Аля приподнялась, казак перегнулся, схватил её за ворот и ударил о стремя. Кровь хлынула из рассечённой брови. — Чё, не навалаясь под красными? — ухмыльнулся он в усы. — Ничё, под нами полежишь! Пшла!

Женщина утёрла лицо, вышла за ворота, направо. Камни впивались в босые ноги, напоминая: ты ещё жива. Но... свинцовое небо, боль от ожогов, вонь горящих домов, хлебов, плоти, рёв запертой скотины, вой молодец, которых за волосы оттащивали от семей, тёмная река, набиваемая мужиками, бабами пострашней, детьми — «всё-таки водой», — мат... её, красные, казаки, уже голые, уже вниз головой... муж? да, это он, эту руку, нелепо лежащую около иссечённого, но ещё дышащего тела, она узнала бы из тысячи, — и солнце, пробивающееся из-за туч и дыма.

— До последнего стоял, отстреливался, — кивнул усатый конвоир молодому.

— Так ведь он свой, тоже казак... наверное.. — просипел тот.

— Тьфу ты! Был бы чужой, китаёз какой, — прогнали бы в евонный Китай! А своих куды прогонишь со своей земли? Только в землю!

— Та я не о том! Может, кончить его, что ж так мучить-то? — возразил молодой.

— А пуцай полежит, подумает, как против нас идтить! — гоготнул усач.

И Аля решила: она будет жить. Она пройдёт все допросы — вон навстречу уже спешит офицер, он заберёт её, патриоты побоятся конфликтовать с японцами, — а потом переживёт и японские пытки, и выйдет с новым именем, и будет жить — это обещает золотой закатный свет, заливающий изумрудные сопки, этого требует Река, которую заставили уносить тела баб и мужиков... Жить. Хотя бы для того, чтобы вырвать глотку у этого гарцеватого гоготуна, затолкать трахею в его жену, закопать их в землю.

Потому что он тоже свой.

Потому что гражданские войны не кончаются никогда.

ТРИ ИМЕНИ АИ АЯБИ

七転八倒 — «Семь поворотов и восемь падений». Этой китайской поговоркой можно было бы охарактеризовать жизнь героини сегодняшнего очерка, служащей прекрасной иллюстрацией того, как цунами Русской революции несло на гребне волны судьбы людей.

На 347-й странице I тома «Истории войны на Тихом океане», вышедшей в 1957 году под общей редакцией Усами Сэйдзиро, в сноске значится: «Цайлэн Цай (кит. 彩冷彩), она же Аяби Ая (яп. アヤビエ アヤ), урождённая Алла Ежова (1884, Ставрополь-на-Волге, Самарская губ., Россия — не ранее 1971, Тайбэй или Манила) — русский врач и авантюристка».

Достаточно скупая информация, не правда ли? Хотя осторожность редакторов объяснима — и вы их поймёте, если дочитаете статью до конца. Ну а мы, 65 лет спустя, можем позволить себе быть смелыми и рассказать о её жизни, не опасаясь за собственную.

Итак, в 1910 году Алла Ежова вышла замуж за Владимира Семёновича Савинкова (1874-1918, погиб в бою) — геолога, эсера, первого секретаря Красной Амурской казачьей бригады. Сопровождала его в ссылке, по окончании срока — участвовала в геологических экспедициях мужа по Дальнему Востоку. В 1918-1920, после разгрома бригады, по некоторым сведениям, находилась под следствием в Сисо кэйсацу (思想警察, «полиция мысли»), по другим — училась в Бэйянском военно-медицинском училище (Пекин).

Весной 1921 года проходила «практику» с японской «медицинской» миссией в Улясутае (Внешняя Монголия) при ставке князя Хатанбаатара Магсаржава (1878-1927, Герой Монгольской Народной Республики; его устам принадлежит знаменитая на востоке Степи фраза: «Чтобы сказать “Я монгол”, твое сердце должно биться ради Монголии») во время его выступления против барона Унгерна. После истребления остатков Азиатской дивизии осталась при князе, участвовала в войне против Джа-ламы — авантюриста неизвестного происхождения (возможно, из астраханских калмыков), объявившего себя реинкарнацией джунгарского князя Амурсаны¹. Местное население (особенно мусульманское и буддийское) прозвало его харгис — «лютый».

В 1917 году Джа-лама бежал из Томска и организовал своё разбойничье государство в самом сердце Шамо — Монгольской Гоби. Тогда же Аяби, видимо, впервые выдала себя за мужчину: переодевшись им, она, с Дашийном Балдандоржем (первым начальником монгольской разведслужбы), проникла в Дамбийжалцаны байшин, крепость Джа-ламы в оазисе Шар Хулсны, и приняла участие в убийстве нойона. Но главная её роль в экспедиции по ликвидации заключалась в том, что отрезанную голову «врага всех вер» требовалось заспиртовать для отправки в Ургу. Так появилась знаменитая монгольская легенда о Цаган толгое — Белой голове.

Эти события изложены в книге Фердинанда Оссендовского «Звери, люди и боги». Любопытно, что все, знавшие Цаган Толгоя, погибли насильственной смертью. Так, в 1921-м лама предсказал Унгерну смерть от рук красных, а Оссендовскому — когда «барон напомним о себе». И действительно, Фердинанд Антоний умер после визита то ли сына, то ли племянника Унгерна. Возможно, это обстоятельство должно намекать на обстоятельства, при которых Алла Ежова пропала без вести.

В благодарность Балдандорж помог ей проникнуть в Россию и вывезти тайник покойного мужа с Торейских озёр в Даурии. Материалы заинтересовали японских учёных, были изданы ограниченным тиражом в Токио и позже отчасти послужили обоснованием «Особых манёвров Квантунской армии» — плана вторжения на Дальний Восток.

Данные «практики» позволили ей в 1924 году экстерном окончить Бэйянское училище. Алла поступила на службу в один из первых в Китае медсанбатов, полностью укомплектованный русскими сёстрами милосердия, который был организован Чжан Цзунчаном по прозвищу Генерал Собачье Мясо (1881-1932, убит) — одним из варлордов Эры милитаристов: философ Линь Юйтан назвал его «самым ярким, легендарным и бесстыжим правителем современного (1920-1930-х) Китая». По свидетельствам

¹ Амурсана (1727-1757), князь, последний правитель Джунгарского ханства. Его образ — символ утраченного Золотого века в Молочной вере алтайцев.

американских военных советников, Алла Аяби лично принимала участие в штурме Нанкина в составе бригады подполковника царской армии К.П. Нечаева (1883-1946, расстрелян), ходила в кавалерийские атаки в войне губернатора Маньчжурии Чжан Цзолиня (сюзерена Чжан Цзунчана) против пробританского генерала У Пэйфу (1878-1939, скончался после удаления зуба или отравлен японцами) — главы чилийской клики северных милитаристов.

Несмотря на японских покровителей, Алла сохраняла симпатии к левым и в меру возможностей помогала им. Так, в 1926-м она, подружившись с мисс Квай, влиятельнейшей наложницей Рябого Хуана (бывшего главы гангстеров Шанхая), возглавила отдел по снабжению санитарной службы опиатами и другими препаратами из французского сектора города и организовала утечку западных лекарств партизанам, а в 1927-м пыталась организовать покушение на нового «пахана» Большеухого Ду и на его сообщника по организации Шанхайской резни 12 апреля 1927 года — председателя Муниципального совета Международного сэттльмента, американского адвоката Стерлинга Фесседена. До последнего она всё же доберётся в период японской оккупации города.

Пожалуй, это будет её последняя акция в интересах левых — деньги и власть быстро делают из человека правого.

После капитуляции Чжан Цзунчана перед армией партии Гоминьдан (1928) она бежала в Японию. Там она стала спутницей леди Дунчжэнь («Восточного Бриллианта») — цинской принцессы, взявшей японское имя Ёсико Кавасима, и с головой окупнулась в омут интриг на просторах то ли возрождающегося, то ли гибнущего Китая. Ёсико и дала близкой подруге новое имя — Цайлэн, 彩冷, «Холодный цвет» или «Окрашенная в холод».

Ёсико обучила подругу искусству годзё-гоёку-но (манипулированию «пятью слабостями» — страхом, сладострастием, гневом, алчностью и сочувствием) и дзёмон-дзюцу (применению фраз, усыпляющих бдительность или выводящих из равновесия). Наверняка Аяби ещё не раз с благодарностью вспомнит жестокие уроки Смерть-сан.

Со временем она стала вхожа в круг всемогущих Трёх сестёр Сун, одна из которых, как гласит крылатое выражение, «любила деньги, другая любила власть, а третья — любила Китай» (一个爱钱、一个爱权、一个爱国, «и гэ ай цян, и гэ ай цюань, и гэ ай го»), служила им связующим звеном с Японией и европейцами. И она же — в 50 лет! — оставалась великодержавной наездницей, то сражаясь с князем-чингизидом Дэ в Чахаре, то сопровождая очередную экспедицию в Синьцзян. Несмотря на контакты с женой Чан Кайши (одной из сестёр Сун), она предпочитала японцев — в том числе потому, что ей импонировали паназиатские идеи Сюзэя Окава (в 1948 году она даже предпримет все усилия, чтобы доказать невменяемость своего кумира и вывести его из-под суда Токийского трибунала).

Но опять-таки: хотя она оказала помощь князю Дэ в вербовке «монгольских миротворческих сил» (входивших в армию прояпонского квази-государства Мэнцзян), одновременно поддерживала другого монгольского аристократа — красного князя Уланхуу («красный сын», кит. Уланьфу), будущего создателя коммунистической Внутренней Монголии: например, передавала ему данные о всевозможных бандах северного китайского хаоса.

Примерно в этот же период Цай завела дружбу с Борисом Панкратовым (1892-1979; он перевёл на русский «Сокровенное сказание») — русским синологом и маньчжурологом, оказавшимся «техническим» агентом родины в русской зоне города Ханькоу (ныне — Ухань). Парой лет ранее он участвовал в центрально-азиатской экспедиции Рериха, и хотя политические планы кураторов Николая Константиновича — по созданию буддийско-коммунистического государства в Сердце Азии — успеха не имели, но Москва не теряла надежды на коренной перелом в Китае. Другим контактом Аллы с Россией стал Овше Норзунов, ещё в 1901 году, с риском для жизни, сделавший одни из первых фотографий Лхасы и дворца-монастыря Потала. В 1929-м Овше Мучкинович бежал из Камышина и навсегда затерялся на просторах Степи. Есть основания полагать, что помогла ему «сменить биографию» как раз Цайлэн Цай.

Глеб Бокий высоко оценивал сведения, получаемые от агента Борте, как назвали Аллу. Любопытно, но так же ценил её и Рюкити Танака в Токио.

Разумеется, такая игра на все стороны не оставалась незамеченной, и до поры до времени и Нанкин, и Токио, и Москва, и Калган (резиденция князя Дэ) закрывали глаза, пока агент с именем любимой жены Чингиз-хана оставалась полезной. Но долго это продолжаться не могло.

После боя на мосту Марко Поло, с которого начался «Инцидент 37-7-7» (так в Японии называли широкомасштабную войну в Китае), Алла, не понаслышке знакомая с политикой «Три всё» (殺光、燒光、搶光 — убить всё, сжечь всё, ограбить всё), предпочла перебраться на юг, во Французский Индокитай.

В 1938 году она, как медик, помогла Ван Цзинвэю (1883-1944, умер своей смертью), предателю из Гоминьдана, после того как его ранили агенты Чан Кайши в Ханое, а в 1939-м предотвратила покушение на переметнувшегося к японцам Дин Моцуня (1901-1947, казнен Чан Кайши), с которым была знакома в бытность его главой Департамента исследований и статистики — тайной полиции Чан Кайши. Именно госпожа Цайлэн Цай раскрыла планы своей близкой подруги Чжэн Пинжу (1918-1940), светской львицы и социалистки, внедрённой патриотами в окружение Моцуня в качестве любовницы.

Эта история легла в основу рассказа Чжан Айлин «Вожделение» (色, 戒 — «Цветок, выйди» или «Похоть, уйди»), по которому в 2007 году Энг Ли поставил одноимённую эротическую шпионскую драму. Двадцатилетняя Айлин, правнучка Ли Хунчжана, фактического правителя Цинской империи в 1890-х годах, стала другой протееже Аллы Ежовой. Ей удалось избежать участи Чжан Пинжу, и она, став писательницей, оставила нам в наследство такие знаковые произведения, как «Широко открытые глаза», «Любовь на выжженной земле», «Кошмар в красном тереме» (обыгрывающий название классического романа XVIII века «Сон в красном тереме»), «Как распускались цветы над морем» и «Как увядали цветы над морем». В 1943 году Алла помогла Айлин шанхайскому издателю Чжоу Шоуцзюаню, приоткрыв ей путь в большой мир.

Во время Второй мировой войны Цай осела в Сайгоне, самом европейском городе «Восточноазиатской сферы взаимного процветания» — выстроенной на терроре Японской империи. Самым европейским его можно считать хотя бы потому, что во всех других колониях (британских и голландских) японцы сразу интернировали европейцев, а здесь французы относительно свободно правили до марта 1945 года. В Сайгоне, охотно принятая местным колониальным бомондом, она наладила связи с Бай Вьеном, главой преступного синдиката Бинь Сюйен.

После войны она поможет своему молодому поклоннику, капитану SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, Служба внешней документации и контрразведки) Савани установить контакт с гангстерами и фактически *включить бандитов в колониальную администрацию в качестве полиции*. Звучит фантастически, но в 1950 году Бинь Сюйен — преступная группировка! — платил в государственную казну 20 тысяч долларов налогов в сутки!

Конечно, немалые суммы шли в карман госпоже Цай. Она сдавала Бинь Сюйену свой дом в Сайгоне — под крупнейший в мире публичный дом «Зал зеркал», она организовывала безопасность агентов SDECE, когда те отправлялись в джунгли Лаоса и Тонкина за опиумом, она поставляла бензин для французских военных самолётов, которые переправляли опиум в Европу. Её личная охрана состояла из трёх сотен бойцов, имевших на вооружении даже миномёты и безоткатные орудия. Наконец, она купила пять списанных эсминцев, перестроила их в «гражданские» суда и организовала собственную пиратскую флотилию в Южно-Китайском море.

Стоит упомянуть и других протееже мадам Цайлэн. Среди них — лейтенант Иностранного легиона Борис Борисович Chanceux (Счастливец) (1930 или 1931, Киев? — не ранее 1985), сын офицера времён Гражданской войны в России (то есть её врага — за неполные тридцать лет отношение Аллы Ежовой к тем событиям кардинально изменилось). В 1952-м, после нескольких недель «нефритового безумия» в «Зале зеркал», мадам Цай «сослала» Бориса в Лаос в качестве связного к принцу Кхаммао (а на деле — убить «красного принца» Суфанувонга, председателя ЦК Фронта освобождения Лаоса и будущего президента коммунистического Лаоса; NYT охарактеризовала его как «очаровательного и умного собеседника»), однако юноша изменил «баронессе Сайгона» и ушёл в джунгли.

«Нефритовое безумие» было разработано доктором Аллой Аяби в годы войны в сотрудничестве со знаменитым поэтом и психиатром Мокити Сайто (1882-1953) и было, по сути, развитием Морита-терапии (названной по имени другого психиатра — Сёма Мориты). Она представляла собой программу «промывания мозгов»: после нескольких недель сенсорной депривации, включавшей запрет на общение и получение какой-либо информации, «пациент» подвергался интенсивной трудотерапии. В случае «Зала зеркал» — несколько недель секса с перерывами на сон и приём стимуляторов. Конечно, многие подвергнутые такой обработке не выдерживали и погибали (по разным данным — до 60%), но на выходе получались преданные синдикату Бинь Сюйен ассасины.

Хотя иногда случались и осечки, как в случае с Chanceux Борисом. Его имя всплывёт в Алжире и в связи с Конголезским кризисом 1960-1965 годов, но там его достать уже не смогут.

Другой чувствительной неприятностью для мадам Цай (или, если угодно, Мау Сак Лань — так читаются иероглифы её имени по-вьетнамски) стала измена Чинь Минь Тхе. Спокойствие французского режима на юге Вьетнама в период Первой Индокитайской войны базировалось на существовании автономных неформальных армий (до

чего пришедшие позже американцы — догматичные легитимисты по убеждениям — додуматься не смогут), среди которых был и упомянутый выше преступный синдикат Бинь Сюйен, сформировавший полицию Сайгона, и Дао Хоахао, и 50-тысячная армия синкретической религии Каодай (Cao Đài, 高臺教 — «Большой глаз»). От последней в июне 1951 года отделился 28-летний офицер Чинь Минь Тхе. Он создал свою армию «Льен Минь» для борьбы как с полукommунистическим Вьетмином, так и с французами. Это соответствовало планам Цайлэн — в хаосе, подобном китайскому хаосу 1920-х, она чувствовала себя как тигрица в лесу.

Но уже 31 июля в Шадеке (Sa Đéc) смертник-каодаист подорвал себя вместе с генералом Шарлем Шансоном (1902-1951), с которым Цай вела дела на севере. Нити вели к Тхе. В следующем году он устроил серию терактов в Сайгоне, а после Дьенбьенфу начал переговоры с агентом ЦРУ Эдвардом Лансдейлом (1908-1987). Последний прославился жуткими, основанными на местных поверьях о чудовищах, методами борьбы с коммунистами на Филиппинах (пленных подбрасывали к деревьям в таком виде, что крестьяне были убеждены: атеисты призвали в местность монстров из преисподней), а позже — вероятной ролью непосредственного организатора убийства Джона Кеннеди. Переговоры увенчались успехом, и уходящие французы оставили город войскам Тхе. Не считая конфликта с американцами после казни голодом Стерлинга Фесседена (см. выше), мадам Цай не устраивало и отношение новых хозяев страны к неформальным структурам. 3 мая 1955-го, менее чем через три месяца после триумфального вступления в город армии генерала Тхе, он был убит. Французы и премьер Южного Вьетнама Нго Динь Зьем (1901-1963) встретили известие об акции с удовлетворением.

Отношения двух союзников прекрасно описывает такой случай. Однажды Лансдейл встретился с французским генералом Гамбье. Последний пообещал спустить на американца овчарку: «Стоит мне дать знак, и она разорвёт вам глотку». Американец пообещал успеть разрядить во француза револьвер.

Эти события, но с другой точки зрения, с купюрами изложены Грэмом Грином в романе «Тихий американец» — романе столь глубоко, что образ «тихого американца», эдакого прогрессора из Стругацких, стал символом игр ЦРУ со странами третьего мира. Если, конечно, можно назвать Лансдейла «тихим».

Однако за пять дней до убийства Тхе судьба подготовила мадам Алле Цай ещё одно падение и новый поворот. Лансдейл, хоть и получил от ЦРУ 9 миллионов долларов (это 104 миллиона в ценах 2024 года), но сумел купить только секты Хоа Хао и Каодай. Бинь Сюйен, только в казну отчислявший 600 тысяч долларов в месяц, был ЦРУ не по карману. И тогда американцы решили разрубить Вьетнамский узел с присущей им грациозностью слона. Днём 28 апреля началась самая безумная битва в истории: элитные парашютисты Армии Южного Вьетнама атаковали полицию столицы Южного Вьетнама. Полиция — то есть бандиты из Бинь Сюйен — ответила миномётным обстрелом дворца премьера. В Сайгоне и лежащем за рекой Тёлоне (китайском городе) начались ожесточённые бои за каждый дом, доходившие до рукопашных схваток. Отчаянный корсиканец Антуан Савани примчался в штаб-квартиру Бинь Сюйен (полиции) в казино «Гранд Монд» и возглавил оборону, мобилизовав и других офицеров французской разведки. Однако он, трезво оценивая силы, рекомендовал своей покровительнице молчаливо «заявить» о нейтралитете, хотя тем самым уменьшал свои силы с шести батальонов до пяти.

Интересно, думала ли в тот день Аяби Ая о том, как в такой ситуации поступила бы её учитель — Ёсико?

Бинь Сюйен сопротивлялись отчаянно — и армия применила тяжёлую артиллерию. Кто-то взорвал мост в Тёлон — гангстеры навели понтонный. Савани затребовал у французской армии бронетехнику — то ли как последний козырь, то ли чтобы прикрыть отъезд своей *tinh nhân Nga*, «русской госпожи». Так или иначе, полиция капитулировала. В Сайгоне за неполный день погибло более тысячи человек, 20 тысяч остались без крова. Бай Вьен уехал в Париж, где припеваючи жил до своей смерти в 1972-м, мадам Цай пришлось налаживать отношения с премьером, а вакуум власти на уровне народа тут же заняли те, кто выпьют тонны американской крови.

Премьеру Зьему госпожа Цайлэн оказала и другую услугу. Она выписала у Сун Мэйлин с Тайваня на должность советника Вольфа Ладежинского (1899-1975), ещё одного русского (еврейского происхождения), выброшенного из России Гражданской войной — волны от неё расходились ещё долго. В период оккупации Японии Ладежинский провёл в стране аграрную реформу (с учётом опыта Столыпинской), затем — такую же на Тайване. Но в Южном Вьетнаме его ждал провал: французские плантаторы не желали расставаться с землёй.

Тем не менее знакомство с Ладежинским помогло утихомирить ненависть демократических институтов — ненависть деперсонализированную, а потому склон-

ную к непростительности и тем вызывавшую недоумение у мадам Цай, привыкшей жить по формуле авторитарных социумов: «каждая проблема имеет имя, должность, способ решения и срок протухания».

В качестве примера взаимопонимания можно привести одно из последних её вмешательств в политику: в 1959 году она поддержала проамериканский заговор против Нородома Сианука, *трижды принца и дважды короля Камбоджи* (в 1955 он неожиданно отрёкся от трона в пользу отца, что развязало ему руки в политике, снова был королём при коммунистах с 1993 года и снова стал принцем в 2004 году). Её интерес в заговоре был связан с планом создания «свободного государства» в центрально-северной Камбодже (в провинциях Сиенреап и Кампонгтхом) и на юге Лаоса. Ту часть Лаоса контролировал правый принц Бун Ум (1911-1980, умер во Франции; «Таймс» его описала тремя словами: «деньги, алкоголь и женщины»), воевавший с французами против членов своей семьи, но возглавить страну должен был Дап Чхуон (1912-1959), генерал левой антифранцузской армии Кхмер Иссарак, трупнохудой, с «немигающими, глубоко посаженными глазами». США будут рассматривать его как замену Сиануку, и в конце концов он будет убит. Не сложно понять, какую выгоду рассчитывала получить «баронесса Сайгона»: союзное «государство» на Меконге стало бы важным «аэродромом подскока» на пути в Золотой треугольник, к «Потерянной армии» гомиьндановского генерала Ли Ми.

С другой стороны, Цайлэн Цай нашла и родственную душу в принце Сиануке: он так же ловко балансировал между правыми и левыми, Китаем и США, Ханоем и Сайгоном, сочетая жестокие репрессии против своих коммунистов с трафиком оружия Вьетконгу. Наконец, 70-летняя женщина интересовалась молодыми интеллектуалами (особенно защитившими научные степени в Европе) и на этой почве даже пригласила на борг своей яхты, бросившей якорь в Сиануквиле, недавно приехавшего из Парижа доктора экономики Кхиеу Сампхана. Однако молодой человек, которого называли «одним из самых блестящих умов своего поколения», отказался от приглашения, сославшись на занятость. Такого оскорбления мадам Цай простить не могла: по её заказу полиция Пномпеня остановила доктора на улице, избивала, раздела догола и сфотографировала в таком виде. Разумеется, Кхиеу Сампхан запомнил жесточайшее унижение (тем более по азиатским меркам — не европейским!), и с этого момента началась его эволюция. Через пятнадцать лет он станет «братом №5» в иерархии Красных кхмеров.

Так Алла Цай чуть подтолкнула маховик кампучийской лютости. Она чувствовала, что теряет хватку, ведь всего за пять лет до этого Кхиеу, скорее всего, был бы убит, а двадцатью годами ранее она лично отрубила бы ему голову.

Тем не менее ей удалось диверсифицировать бизнес. Отделения фирмы «без названия» появились в Пномпене, Бангкоке, Маниле, Гонконге, Тайбэе, а флотилия имела тайные базы от бесхозных островов Спратли (над этим архипелагом, за который спорят семь стран, только недавно начал устанавливать суверенитет Китай) до рыбацкой деревушки Паттайя (да, той самой). Поэтому, когда в 1963 году президент Нго Динь Зьем был убит при активном молчании США, её дела серьёзно не пострадали.

Как результат, Ая Аяби, она же — простая русская девушка по имени Алла Ежова, она же — госпожа Цайлэн Цай, сохранила некоторое влияние в мутных волнах Второй Индокитайской войны (по какой-то причине десятилетие между войнами (1954-1964 гг.) с тысячами убитых считается мирным периодом). За ней охотился Интерпол — она на глазах полиции спускала драгоценности в фешенебельных казино Макао; её разыскивало ФБР — она обедала у Сун Мэйлин и её мужа, генералиссимуса Чан Кайши; её опасался Фердинанд Маркос, и ей завидовала «стальная бабочка» Имельда Маркос. А капитаны круизных лайнеров, идущих через Южно-Китайское море, без разговоров платили «налог на семь футов под килем» при появлении «человека от мадам Цай».

Её судьба, как и судьбы других героинь этого цикла, может показаться фантастической жителю спокойного начала XXI века. Но все они — лишь лодки, подхваченные грандиозным цунами, родившимся от выстрела в Сараево 28 июня 1914 года.

Никто не знает, когда и где умерла (и своей ли смертью?) госпожа Цайлэн. Но нити **非法毒品貿易**, налаженные ею, живы до сих пор, делая Золотой треугольник воистину золотым — богаче, чем прииски Сибири, где когда-то фортуна предоставила ей выбор.

Тот выбор, который бывает раз в несколько жизней.

ВЕЧНО МОЛОДОЙ

запомнится нам она. Её долгая, бурная жизнь мало сказалась на чертах лица, словно где-то в тайных подвалах её поместья Дигнидад хранится портрет работы Бэзила Холлурда¹. Я не люблю братья за перо, ведь дело солдата — писать историю пулями, но кончина славной падчерицы нашей Родины заставляет меня сделать исключение. И пусть её жизнь и борьба послужит пособием новым поколениям наших женщин!

«Ах, как я хотела бы быть невестой на каждой свадьбе и покойницей на каждых похоронах», — приводит её слова профессор Р.В. в эссе 1931 года, посвящённом тайным операциям русских спецслужб в Европе. Невестой она была не единожды. И вот теперь ей удалось стать покойницей, удостоенной чести быть погребённой в священной земле Чилийской Республики!

Luisa Rene Frederica Erzherzogin Kronprinzessin Reinennarزشwaldprobst von Bidder, при рождении — Торок Луиза Рената Фредерика, появилась на свет в 1892 году в результате морганатического брака. Её отец, троюродный брат принцессы Марии Аннунциаты Изабеллы Филомены Сабазии Бурбон-Сицилийской, женился, вопреки воле Гофскригштатсраута (Высшего имперского военно-государственного совета), на графине Askenázi², двоюродной племяннице Людвига II Баварского. Таким образом, Рената, будучи восьмым ребёнком своего отца и шестым — матери, приходилась четвероюродной сестрой эрцгерцогу Францу Фердинанду. Она имела мало шансов на наследование имущества, но убийство в Сараево, развязавшее Великую войну, открыло ей дороги к вершинам, которыми она воспользовалась в полной мере с притоком её активности и жизнелюбием.

В 1901 году она была отправлена в интернат для детей аристократии в Потсдаме (он показан в фильме «Mädchen in Uniform», «Девушки в униформе», на роль в котором Рене фон Биддер пробовалась в 1930 году). Упор в обучении в этом заведении делался на дисциплине и воспитании — главных добродетелях, требуемых от девушек из высшего сословия. Любопытный казус: её образование стало своего рода прорицанием о будущем «тителе», которым её «короновала» княжна Марта Лючия Маврокордат, — «Erzherzogin von Bidder zu Donnerwetter bis Schloss am Main».

В 1907 году, после выпуска, Рене Фредерика была повенчана с Алайошем Эстерхази³, братом майора французской армии Фердинанда Эстерхази — двойного агента Германии и Франции, ставшего виновником «дела Дрейфуса»⁴. От этого брака у неё родилась дочь Элен. Пара переехала в Вену, где Рената увлеклась живописью и попыталась продолжить образование в государственной художественной школе; они стали вхожи в высшее общество. В конце концов на общительность и жизненную активность молодой женщины обратила внимание австрийская контрразведка. Их поймали «на крючок», когда её супруг пустился в махинации через венское отделение банка Ротшильдов, связанные с финансированием «короля провокаторов» Евно Азефа⁵ — очередного двойного агента: главы Боевой организации партии эсеров и агента Охранного отделения Департамента полиции Российской империи.

Завербованная Эвиденцбюро («службой информации»), в 1913 году она сыграла заметную роль в хитроумной комбинации, задуманной наследником престола с целью укрепления престижа монархии: в доведении до самоубийства заместителя директора этой спецслужбы полковника Альфреда Редля⁶ — как вы можете догадаться, тоже

¹ Бэзил Холлурд — вымышленный Оскаром Уайльдом автор портрета Дориана Грэя.

² Askenázi — фамилия происходит от ашкеназов, субэтнической группы евреев Центральной и Восточной Европы.

³ Шарль Мари Фердинанд Вальсен Эстерхази (1847-1923) — французский офицер, ловелас, шпик; достоверно неизвестно, был ли он предателем, шпионом-провокатором или двойным агентом; в 1898г. бежал в Англию.

⁴ Дело Дрейфуса — дело о шпионаже в пользу Германии, расколовшее французское общество; эльзасский еврей капитан Альфред Дрейфус был ложно обвинён (в т.ч. с целью выгородить Эстерхази и тем самым — военное министерство) в предательстве и сослан в Гвиану; вся Франция и отчасти Европа в результате оказались охвачены острой борьбой между сторонниками невиновности Дрейфуса (Марсель Пруст, Клод Моне, Эдмон Ростан, Камиль Писсарро, Сара Бернар, Э. Золя (бежал в Англию), А.П. Чехов) и сторонниками его виновности (Жюль Верн, причем его сын стал его врагом, Эдгар Дега, Сезанн, Матисс); недоумение расколом высказали лишь Жюль Гед, В. Либкнехт, Л. Толстой; существование государства Израиль отчасти является отголоском того дела; сам Дрейфус (1859-1935) был похоронен с национальными почестями.

⁵ Евно Азеф (1869-1918) — организатор таких знаковых убийств, как убийство министра внутренних дел Плеве и вел. кн. Сергея Александровича; часть убийств организовал втайне от Департамента полиции, чтобы избежать раскрытия эсерами.

⁶ Альфред Редль (1864-1913) — двойной агент, завербованный русской разведкой под предлогом раскрытия его гомосексуальных связей; его раскрытие вызвало скандал и привело к падению престижа монархии; блестяще сыгран Клаусом Мариа Брандауэром в фильме 1985 г.

двойного (русско-австрийского) агента. Интересно, но в данном случае Луиза Рената оказалась агентом двора *kaiserlich und königlich*¹ внутри разведслужбы.

И, возможно, даже тройным — английской разведки, предположительно вышедшей на неё через Ротшильдов (если подтвердится роль Соединенного Королевства в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда и провоцировании Первой мировой войны). Так или иначе, в мутной воде войны и последующих революций Ренате Эстерхази удалось консолидировать имущество рода, начало чему было положено ещё в 1913 году. Тогда, в качестве благодарности за роль в деле Редля и благодаря протекции при дворе от своего непосредственного начальника Максимилиана Ронге², её первый супруг Алайош был заключён в психиатрическую лечебницу, где умер от туберкулёза.

К слову, о Максимилиане Ронге. Рене поспособствовала счастью будущего (в 1917-1919 годах) главы Эвиденцбюро, познакомив его со своей подругой Йолан Ковач, которую друзья звали Оле-Оле. Если верно говорят, что за великим мужчиной стоит женщина, то Оле-Оле — именно тот случай. Она помогла Максимилиану занять пост директора «Зондербюро государственной полиции» Австрии, а в 1938 году через Ренату передала его «заявление о лояльности» Канарису, тем самым вызволив мужа из Дахау.

Любопытный факт: все подруги Рене Эстерхази были долгожительницами. Как, например, тоже получившая суровое, спартанское воспитание (мать сшивала нитками страницы книг, где был хоть малейший намёк на любовь) Катинка Андраши де Чик-Сент-Кирай-Красна-Горка, жена Михая Кароиди³, помогавшая Рене — «крестьянке среди аристократов», по выражению «красной графини», — ориентироваться в клубке противоречий, неизбежно возникающих внутри элиты воюющей страны.

Эта поддержка была взаимной. Так, Рената помогла Оле-Оле покинуть Будапешт в дни «революции астр» в ноябре 1918 года, а Ронге помог, несмотря на её происхождение, установить контакт с Ассоциацией товарищей Белого дома⁴, свергнувшей правительство Дьюлы Пейддя при поддержке румынской армии: Рене финансировала боевиков партии в обмен на неприкосновенность собственного имущества и жизни и возможность свободно передвигаться по стране.

Вложения сторицей окупились при адмирале Хорти — регенте королевства, потерявшего выход к морю. Он настоял, чтобы предыдущий регент и последний палатин⁵ Венгрии эрцгерцог Иосиф Август устроил брак графини Эстерхази с представителем боковой ветви Габсбургов. Так в январе 1921 года она стала кронпринцессой рухнувшей монархии — эрцгерцогиней Райнненарцшвальдпробст фон Биддер.

В межвоенный период Рената пробовала силы во многих творческих ремёслах. Она была немного актрисой, немного художницей, одарённой танцовщицей, поэтессой и даже пыталась писать прозу: «О боже, что я здесь делаю?» — существует единственная строка из её неоконченного рассказа. Так сублимировалась её энергия, её либидо, умелыми руками мужчин направляемая на достижение побед в творчестве

¹ *Kaiserlich und königlich* — «Императорский и королевский», официальное обозначение австро-венгерской монархии во внутренних документах.

² Максимилиан Ронге (1874-1953) — австрийский «мастер шпионажа», возглавлял различные разведывательные и полицейские структуры Австрии в 1917-1938 гг.; с 1933 г. — директор «Специального бюро государственной полиции» (*Staatspolizeiliches Sonderbüro*); способствовал установлению режима австрофашизма; после войны жил в Вене, консультировал американскую оккупационную администрацию.

³ Катинка Андраши, *Katinka Andrássy de Csákszentkirályi és Krasznahorkai* (1892-1985) — «красная графиня»; замужество (1914) резко изменило её взгляды на свое сословие, которое она начала откровенно презирать; в 1919 г. отправилась с мужем в изгнание, дружила с левыми интеллектуалами Р. Ролланом, Б. Расселом, Мигелем де Унамуно; в 1931-м чета посетила Советскую Россию, в 1933-м она с риском для жизни вывезла из Германии документы, разоблачающие зверства SA; во время войны работала в лондонских газетах; в 1947-1949 гг. с мужем представляла Венгерскую Народную Республику в Париже; овдовев, отправилась в путешествие по Африке; похоронена в Венгрии.

Михай Кароиди (1875-1955) — первый президент Венгрии (октябрь 1918 — март 1919); в 1913-1914 выступал за отделение от Австрии и примирение с Антантой, в т.ч. с Россией, из-за чего дрался на дуэли с премьер-министром Иштваном Тисой; возглавил т.н. «революцию астр» в период коллапса государства; в марте 1919 г., в обстановке блокады и наступления войск новых независимых государств (Чехословакии), пригласил коммунистов в правительство; после падения Венгерской Советской Республики уехал в Прагу, где, с ведома правительства, устанавливал контакты с коммунистами; в годы ВМВ — в Лондоне, после — вернулся в Венгрию; после казни министра иностранных дел Ласло Райка (1949) порвал со сталинистским режимом Ракоши; умер во Франции, перезахоронен на кладбище Керепеши (будапештском Пер-Лашезе) в 1962 г.

⁴ Ассоциация товарищей Белого дома — правая группа Фридриха Иштвана (1883-1951), венгерского футболиста и фабриканта, премьера осенью 1919 г.; в Интербеллум он был депутатом парламента; умер в тюрьме.

⁵ Палатин — вице-король Венгрии, с 1848 г. — номинальная должность.

высшего порядка — в большой политике. По самым скромным подсчётам, среди её поклонников были агенты итальянской, румынской и даже японской разведок. Приведу один эпизод.

В июне 1921 года, накануне гибели в автокатастрофе второго мужа, от которого у неё осталось двое детей — Пауль и Паулина, с Рене вышел на связь резидент «Бюро технической информации», которого она знала под именем «Бор. Андраш». Во время путча бывшего императора Карла¹ против своего регента Миклоша Хорти по приказу «Техники»² Рене Фредерика укрывала сюзерена и его жену Циту дель Грацие Бурбон-Пармскую на вилле своего дальнего родственника по первому мужу графа Морица Эстерхази. Позже «Андраш» «тайно» вывез чету на канонерской лодке, ожидавшей их на Дунае. Несмотря на свою роль, кронпринцесса снова вышла сухой из воды — Хорти помиловал её, лишь отобрав часть имений.

Да, она всю жизнь искала признания и любви. И пусть любому доброму католику и патриоту от подобных проявлений любви к своим ближним становится страшно за рассудок с моралью, но времена не выбирают.

В 1920-е эрцгерцогиня, пользуясь покровительством регента, стала светской львицей. Её с восторгом принимала публика как внутри страны — в Пече, Ньиредхазе, Шопроне и Сабольч-Сатмаре, где была устроена тайная тюрьма и база «Техники», — так и за пределами: в германском Бамберге, польском Кракове и, конечно, в Вене в салоне Оле-Оле. Именно она стала той посредницей, что помогла установить контакты с Муссолини и вывести Венгрию из изоляции в 1927 году.

В благодарность регент вернул ей все имения и, сверх того, подарил дворец в Татабанья.

При этом читатель должен отдавать себе отчёт, что Луиза Рената сама оставалась далека от политики. Она была не столько Ёсико Кавасима³, игравшей свою партию в мужских играх в Китае, сколько Матой Хари, пусть и удачливой.

Несмотря на сомнения и ревность Магдолны Пургли, своей жены, Хорти доверял Рене. Он первым увидел несчастные перспективы новой мировой войны: «Мы пришли к власти достойным путём, через дверь, но я боюсь, что выбраться отсюда мы сможем только через окно», — привёл он однажды слова своей жены. В 1942 году премьер-министр Миклош Каллаи⁴, в 1920-х бывший ишпаном (наместником) Ньиредхазы и на этом посту закрывавший глаза на деятельность «Техники», поручил кронпринцессе найти выход на англичан. Ей это удалось: советник турецкого посольства в Будапеште Кемаль Торок приходился дальним родственником её отцу. Конечно, это не осталось без внимания гестапо, и при попытке пересечения швейцарской границы в июле 1944 года 50-летняя эрцгерцогиня была арестована и заключена в исправительный лагерь. Она вступила в сделку с германскими спецслужбами и помогла Скорцени похитить Миклоша — младшего сына и единственного оставшегося в живых ребёнка регента (сёстры умерли, брат — военный летчик — погиб в России), что вынудило Хорти-старшего отказаться от сепаратного мира.

Магдолна возненавидела Рене. Это отняло у последней возможность укрыться в Португалии. Тем не менее в конце войны она была на хорошем счету и у немцев, и у союзников. Выбравшись из Будапешта накануне того, как он был блокирован войсками коммунистов и румынских предателей, она нашла приют в Верхней Австрии у Оле-Оле. Там подруги благополучно дождались прихода американцев. Через Вилима Чечело, бывшего военного викария хорватских усташей, признательных Венгрии за поддержку в 1930-х вообще и за помощь в убийстве югославского короля Александра в 1934-м в частности, Рене, потерявшая все имения, была переправлена по *rattennlinien*,

¹ Карл (Каро́й) (1887-1922) — последний император Австро-Венгрии (1916-1918); попытка заключения сепаратного мира привела к фактической утрате независимости и переходу страны под управление Германии; в 1921 г. пытался вернуть престол в Венгрии, но под угрозой чешско-югославского вторжения отправился в ссылку на Мадейру; несмотря на то что он прожил всего 35 лет, его потомство является крупнейшей современной династией в Европе после Бурбонов; его жена Цита Бурбон-Пармская скончалась в 1989 г.

² «Техника» — Бюро технической информации [по вопросам политической безопасности].

³ Ёсико Кавасима (1907-1948?) — «восточная Мата Хари», дочь принца династии Цин; после Синьхайской революции вывезена в Японию, где училась в школе для девочек; в 1920-е вела богемную жизнь в Токио — среди её поклонников были и мужчины, и женщины; ген.-майор Кэндзи Дошхару (1883-1948, повешен по приговору Токийского трибунала) часто посылал ее с различными поручениями в Маньчжурию, где она, одетая в офицерскую форму и обладающая необъяснимой притягательностью для мужчин, неизменно имела успех; в частности, возглавила отряд в 5000 сабель; близко знакомая с последним императором Китая Пу И, убедила его занять престол Маньчжоу-го; вскоре начала критиковать политику Японии в Маньчжурии и была отстранена; казнена в Пекине либо скрылась и умерла в 1970-х.

⁴ Миклош Каллаи (1887-1967) — премьер с марта 1942 г. по март 1944 г.; умер в США.

«крысиным тропам»¹, в Аргентину и в итоге осела в Чили.

Она поселилась на вилле в колонии Дигнидад², отошла от политики, покровительствовала таким героям будущей революции 1973 года, как Мигель Краснов³, и лишь время от времени критиковала коммунистические правительства Эдуардо Фрея Монтальвы и других марксистов⁴.

И только хаос, до которого довёл нашу священную Родину предыдущий режим анархистов, заставил её снова взяться за перо и обрушиться на них со всей страстью своего таланта! Она призвала жён генералов устроить митинг у дома врага нации Карлоса Пратса⁵ и вынудить его подать в отставку с поста главнокомандующего вооружёнными силами. Это послужило двадцать дней спустя залогом успеха нашей революции.

*И за это народ Чили будет помнить её всегда!
Аугусто Пиночет, Президент Республики Чили.*

Примечание. Данный некролог, найденный Комиссией по установлению истины по адресу Londres, 38⁶, так и не был опубликован. Несмотря на подпись, стоящую под ним, заявленное авторство сомнительно. Предположительно, текст написан советником чилийского посольства в Бразилии Мануэлем Родригесом, «исчезнувшим» в том же году.

Appendix I. Из дневника Ренаты Эстерхази за 1920 год

Dear diary (этот Андраш, с кем судьба меня столкнула в ресторане дирижабля, сказал мне, что в Америке все женщины, маленькие и большие, так начинают дневниковые записи, а раз уж Я собираюсь принять его деловое предложение, то должна тренироваться в языке), прошла всего неделя, как Я вернулась из Парижа, поездка, нет, полёт будет правильнее, все-таки это был настоящий дирижабль, да, полёт потряс меня, и чувство отрыва от земли, и сама невероятных размеров машина этого чуда технической мысли. Кажется, Максуду удалось заразить меня своей страстью к инженерии, радио, браунинг, синематограф, и вот теперь дирижабль, салон первого класса, с рестораном, высшее общество — и Я, Рене, кто бы мог подумать!

Я не знаю, как Максуду удалось вообще, заполнить туда билеты, ещё и в оба конца, в такие места так просто не пройдёшь, помимо прочего, в билетах было написано по-английски: dress-code, то есть определённый внешний вид, соответствующий уровню публики, странно, у нас так не принято, наверное, тоже что-то американское. Конечно, всем и так понятно, что в театр не выйдешь в неглиже, но здесь что-то другое, нужно именно соответствовать, чтобы как бы притвориться своим. Хотя все эти люди наверняка и так «свои». Это грустная мысль, конечно, но Я ведь зареклась грустить, мой новый знакомый так и сказал: «Рене, май дарлинг, не грустите, в Америке нельзя грустить, там люди вокруг улыбаются и излучают счастье. Там совершенно всё по-другому. Такие талантливые (а я вижу, что вы талантливы) девушки в Нью-Йорке нарасхват. Вы будете счастливы и по-настоящему свободны. Вы можете стать актрисой!» Да-да, он так и сказал, Я могу стать актрисой! Боже, от предвкушения поездки и карьерных перспектив кружится голова, Я оторвусь от Макса, наконец-то, у меня будет

¹ Rattenlinien, «крысиные тропы» — маршруты бегства нацистов и их союзников в Южную Америку.

² Колония Дигнидад (Благотворительное и образовательное общество «Дигнидад») — вилла в Чили с территорией 170 кв. км, окруженная колючей проволокой с вышками и автоматчиками, на которую не распространялась юрисдикция чилийского правительства; место сексуального насилия над детьми и пыток противников Пиночета; закрыта в 1991 г., но даже обыск в 2005 г. обнаружил в Дигнидад самый большой частный склад оружия в Чили.

³ «Революция 1973 года» — из выражения на суде Мигеля Краснова; ультраправые режимы нередко называют перевороты, приведшие их к власти, революциями.

Мигель Краснов (род. 1946) — сын генерала вермахта Семёна Краснова, сотрудник DINA (Директората национальной разведки), участник и организатор пыток и «исчезновений» при Пиночете; с 2001 г. — в заключении.

⁴ ...коммунистические правительства Эдуардо Фрея Монтальвы и других марксистов — этот кабинет (1964-1970) считался коммунистическим только потому, что восстановил дипотношения с СССР и провел налоговую и аграрную реформы. Монтальва (1911-1982) — лидер правоцентристской ХДП, поддержал переворот 11 сентября 1973, в 1976 г. перешел в оппозицию, отравлен таллием и ипритом.

⁵ Карлос Пратс (1915-1974) — главнокомандующий вооружёнными силами Чили с 1970 г. после попытки похищения и убийства его предшественника Рене Шнайдера, организованного ЦРУ с целью воспрепятствования вступления Сальвадора Альенде на пост президента; во время El Tanquetazo, мятежа танкового полка 29 июня 1973 г., лично разоружил командиров танков; 15 сентября отправился в изгнание в Аргентину; через год убит с женой в рамках операции «Кондор».

⁶ Londres, 38 — тайный пыточный центр DINA в Сантьяго.

настоящая жизнь. Своя. Наяву. А не жалкие объедки чувств со стола «настоящих правительных людей».

Я встретила Андраша в комнате для курения на дирижабле, вернее, это он встретил меня. Нет, не так. Я сидела на оттоманке рядом с иллюминационным окошечком, куря Житан с золотым ободком из новой коллекции дамских папирос, боясь разглядывать людей вокруг и тем более мужчин, чтобы меня не сочли чересчур фривольной (Я слышала, что все эти модные толки о суфражистках и женской свободе в высших кругах считаются просто блажью). Да, Я курила и разглядывала свои ножки в шёлковых чулках с набивным узором, обутые в новые кожаные туфельки цвета спелой вишни с перепонкой вдоль ступни и каблукочком-рюмочкой. Удивительно мягкие, с выбитым клеймом Italian Handmade, Макс сказал, это значит, что они сшиты вручную (запомни, только итальянцы шьют самую лучшую обувь в мире, обещаю, что теперь ты будешь носить только такую). Думая о Максе, Я всегда выпадаю из времени. Так было и на сей раз, пока мои мысли и взгляд, задержавшийся на моих же ножках, не были перехвачены удивительным баритоном: «Пардон муа, мадам, место рядом с вами свободно? Прошу прощения, неже мне, конечно, создавать вам неудобства, смущая своей пыхтящей персоной по соседству. Но прошу вас позволить мне разместиться на другом конце диванчика, что вы на это скажете?»

Я подняла глаза. Потом опустила. Снова подняла. Он был красив, как высокое стройное дерево. Лет тридцать на вид, копна волос соломенного цвета, разбросанная по плечам, что уже, казалось, выдает в нём весьма раскрепощённого человека, избегающего условностей. Глубоко посаженные голубые глаза с детским каким-то смеющимся и дерзким выражением, чувственный пухлый рот и нос, с горбинкой и достаточно длинный, чтобы предположить и другой размер (это мне девочки в интернате рассказали способ француженок, как угадать, что там у мужчины внизу), безупречный прямой подбородок, трехдневная соломенная щетина на загорелой, чуть обветренной коже. И руки, когда Я увидела его руки, мне захотелось упасть в них лицом.

— Если вы недовольны моим присутствием, я пересяду, — сказал он негромко, — но, признаться, мне бы совершенно этого не хотелось.

От слов этих кровь хлынула к моим щекам, и Я поняла, как это — проглотить язык. И всё же.

— Нет, пожалуйста, сделайте одолжение, останьтесь. Ваше присутствие рядом совсем не тяготит

(Наглое вранье, ещё как тяготит, мне захотелось, как юной совсем девочке, чью влюблённость раскрыли насмехающиеся одноклассницы, выпрыгнуть с этого дирижабля, только бы не встретиться с ним взглядом, этим неземным златокудым божеством).

— Тогда позвольте представиться: Андраш Горский. Извольте визитку, мадам, — протянул мне золотую картоночку, которую Я положила в ридикюль, не глядя. Ни на него, ни на визитку. И тут он наклонился к моему лицу так близко, что его шёпот обжёг мне ухо: «Едва я зашёл, первое, что я увидел в этой комнате, были ваши прекрасные ножки. Простите мне моё нахальство, но я бы осыпал их поцелуями и бутонами роз. Скажите, вы часом не танцовщица?»

ВЫБОР ДОННЫ АННЫ

Анна Богдановна Добрич родилась в Новгороде Гродненской губернии в 1896 году в семье инженера-железнодорожника. С отличием окончила Варшавскую женскую гимназию, намеревалась посвятить свою жизнь... впрочем, уже неважно, о чём она мечтала. С началом войны пошла добровольцем на госпитальный поезд, служила сестрой милосердия. Во время Великого отступления 1915 года её эшелон был захвачен австрийцами, и Добрич была интернирована с остальным персоналом. Хотя её статус был гражданским, однако она неоднократно просила австрийские власти о переводе в лагерь для русских военнопленных. В конце концов её просьба была удовлетворена. О ней в период пребывания в лагере Гюнс (Кёсег, медье Ваш, Западная Венгрия) вспоминает Лавр Корнилов, которого Добрич лечила от последствий ранения.

В 1916-м Анна Богдановна вышла замуж за князя Августа Свентокшице-Могиланского, последнего представителя выморочного шляхетского рода. Поэтому в «Красную пятилетку» 1918-1923 годов — первое цунами из берегов России — она осела в относительно стабильной Восточной Европе, раздираемой на куски националистами государств-лимитрофов.

Супруг оказался типичным аристократом эпохи Интербеллума: из тех, что удовлетворяли общечеловеческую тягу к саморазрушению спортом, авиаторством,

гоночными автомобилями и африканскими сафари. Август же, будучи нищим, но гордым, как истинный шляхтич, довольствовался казино. Оставив жене дочь Марысю и долги, он застрелился.

Анна, пытаясь свести концы с концами, заводит тетрадь: «Аренда — 200. Уголь кончается, до весны ещё два месяца. Купить обувь???» Ей удаётся дожить до весны, дочь, тьфу-тьфу-тьфу, оказалась крепка здоровьем, гроссбух потихоньку превращается в дневник.

Она пишет ночами, тоже, как Кафка, преодолевая головную боль, и, чтобы заглушить чувство голода, мечтает:

«Какими будут люди через сто лет? Да такими же, и говорить они будут примерно теми же словами о том, что волнует, об общечеловеческом. И мой голос будет примерно таким же. Только, наверное, более низким и хриплым. Потому что я бы курила ещё больше. Потому что сейчас представляется, что окажусь я в той же атмосфере, не меняющейся век от века. Буду вести какой-нибудь глупый дневник (наверное, грамотность уже никуда не денется). Буду ходить в чёрном платье по моде того времени, чёрном пальто и какой-нибудь шляпе. Непременно на каблуках, чтоб слышны были шаги, когда гуляешь ночными улицами. А ещё у меня будет любимое место под каким-нибудь фонарём, где я всегда буду останавливаться, чтобы закурить. Где-то в глубине души я буду верить в любовь, но никогда не признаюсь в этом даже себе, потому что окружающая действительность снова слишком хорошо научит понимать жизнь. В которой всё — мрак. И только в редкие вечера можно будет помечтать, что всё может быть иначе.

Наверное, я так и не научусь разбираться в политике и происходящих в обществе процессах, но точно буду знать, что ничего хорошего ждать не стоит.

Но всё равно, вопреки всему буду любить эту чёртову жизнь.

И музыку.

И танцевать. И, закрыв глаза, петь.

А чудеса прогресса?

А чудеса будут где-то там, за высокими дверьми».

Но человек предполагает, а Бог — располагает. Анна научилась и петь, и разбираться в политике.

С наступлением скоротечной «эры вечного процветания», Золотых двадцатых, она стала отвоевывать место под солнцем. Начав с амплуа инженю в театре-кабаре Qui Pro Quo (северная, лесная кровь долго позволяла ей выглядеть значительно моложе своих лет), с годами она выросла в приму варшавской эстрады — сказалось знакомство с легионерами, о чём чуть ниже. Сатирик Стефан Кеджиньский сравнил её с эпатажной Анитой Бербер; Kurjer Warszawski, более доброжелательный к «девушке, танцующей джаз», после выхода фильма Георга Пабста «Ящик Пандоры» прозвал княжну Лулу — так звали главную героиню ленты, роль которой исполнила звезда эпохи — Луиза Брукс. Её расположения искали многие: архитектор Тадеуш Новаковский; певец, «долгожитель польской эстрады» Мечислав Фогт; художница София Ивановна Бодуэн де Куртенэ; граф Маврикий Замойский; генерал Владислав Сикорский; наконец, сам Юзеф Пилсудский, начальник Польши.

В 1925 году по приглашению майора Станиславы (Моники) Палеолог — одной из «львовских орлят», защищавших город от украинцев в ноябре 1918-го, — Анна Богдановна поступила на службу в медицинскую экспертную VI бригаду Женской полиции, в то же время не оставляя выступления в театре (что послужило поводом для очередной колкости Кеджиньского: дескать, днём Добрич борется за чистоту нравов, а ночью — прилагает усилия к их, нравов, падению). Там она познакомилась с музыкантом Ежи Петербургским, который посвятил ей танго «Признайся мне», «Вино любви» и (если верить свидетельству Моники) самое знаменитое своё творение — «танго самоубийц» To ostatnia niedziela.

Самый знаменитый польский театр Интербеллума познакомил Анну и со звездой немецкого кинематографа Ольгой Чеховой. Их дружба, поспособствовавшая налаживанию связей между Польшей и Германией после 1933 года, не прервалась и в будущем: в конце 1950-х кн. Свентокшице-Могилянская стала директором латиноамериканского филиала фирмы Olga-Tschechowa-Kosmetik.

В 1936 году с делегацией Польской колониальной лиги (организации, добивавшейся от великих держав выделения стране колоний) она посетила Камерун, Бельгийское Конго, Руанду-Урунди и чуть было там не осталась! Из той поездки она вынесла любовь к тропическим странам — ко всем этим бананово-лимонным Сингапурам, — отразившуюся в книге путевых очерков «Африка в моей сумке».

К этому времени стало понятно, что перемирие, подписанное 11 ноября 1918-го в Компьенском лесу, истекает. Анна пишет: «Война... вроде давно её нет, но и спокойствия нет. Постоянно возникает давящее ощущение тревоги от приближения

чего-то страшного, может, это только у меня так? Но и по друзьям, знакомым вижу, что и на них нет-нет да накатывает некая необъяснимая тревога».

Война возобновилась в 4 утра, в пятницу, 1 сентября. Имея многочисленных покровителей в высших кругах Варшавы, Анна была лично предупреждена адъютантом маршала Рыдз-Смиглы о безнадежном положении на фронтах: 6 сентября немцы заняли Калиш (в 200 километрах от столицы), Быдгощ и Пултуск (всего 50 километров). Это казалось тем более странным, что всего пару дней назад по улицам маршировали демонстранты с лозунгами «Англия нам поможет, Англия нас спасёт». (Спасать Варшаву предостояло генералу Чуме. Да, такая была у него фамилия: Walerian Czuma (он попадет в плен, будет освобожден американцами в 1945-м и остаток жизни проведёт в Англии, выращивая садик и не занимаясь политикой). В тот же день Чума открыл арсеналы и раздал оружие рабочим — несмотря на то, что в своё время воевал у Колчака. Это позволило городу продержаться ещё три недели.)

Впрочем, предупреждение адъютанта оказалось не слишком своевременным — командование Войска Польского довольно смутно представляло обстановку. Уже утром 7 сентября, в четверг, варшавяне начали бегство из города — Анна опередила их всего на пять часов, около двух полуночи навсегда покинув город своей мирской славы. Уже в обед следующего дня немцы были на окраине Воли — предместья Варшавы, пройдя за полтора дня сотню километров от Томашува. От отчаяния 8 сентября польская армия применила химическое оружие — иприт. Результат был предсказуем и ничтожен: два немецких солдата погибли, двенадцать получили отравление (если не считать катастрофы в Бари в 1943-м, это единственное применение химического оружия в Западной Европе во время Второй мировой войны), но Анну сразу накрыл ужас воспоминаний о прошлой войне — о госпитале, набитом людьми с выжженными глазами и незаживающими язвами от горчичного газа. К тому же Вторая Речь Посполитая рассыпалась так же стремительно, как первая. Если 7 сентября какие-то надежды ещё были (Франция и Англия начали совещаться в Абвиле), то 12 сентября стало ясно: Польшу бросили.

Паралич государства нарастал быстрее, чем два десятка лет назад в России или Австро-Венгрии.

Анна была умна. Сказалась и работа у Моники Палеолог, и ресторации режима полковников. Наблюдая хаос, неизбежно сопровождающий поражение, она приняла решение бежать дальше, не дожидаясь в Бресте известий от Ежи, призванного на фронт (он вскоре оказался интернирован Советами и в декабре возглавил белорусский государственный джаз-оркестр). Но куда? На востоке — большевики, там уже ждёт пуля или Сибирь. На севере — литовцы. Они ненавидят поляков за то, что те летом 1920-го отняли у них Вильну. На юге — словаки, союзники немцев. Можно было попытаться спрятаться на месте, но население Восточных Кресов — белорусы и украинцы — относилось к полякам тоже не ахти... Вторые проявят себя через четыре года, в Вольнскую резню, по старинному полуязыческому обычаю сжигая поляков в скирдах соломы. Но и от первых неизвестно, чего ожидать.

Оставалось одно место, и путь туда лежал через бутылочное горло: Венгрия, с которой Польша граничила после раздела Чехословакии в 1938-1939 годах. Направление опасное — галичане уже начали осторожно резать беженцев и осадников (польских поселенцев, ветеранов войн 1918-1921 гг., «осаженных» на землю). До венгерского Унгвара (Ужгорода) было около 550 километров. В понедельник, 11 сентября, мать с дочерью выехали на поезде, шедшем во Львов. Двести верст до Луцка кое-как преодолели за день, но там получили известие, что и на окраине Львова — немцы. Положение было отчаянным. Представьте, что вы оказались на внезапно ставшей враждебной окраине своей гибнущей страны — например, в Таджикистане в 1992-м.

Как позже вспоминала княгиня, где-то тут начался её путь, который привёл её в кафедральный собор Сан-Сальвадора в день, когда эскадроны смерти будут убивать людей на похоронах архиепископа Ромеро. А пока она, уроженка Гродненской губернии Российской империи, срочно вспоминала белорусский язык — хоть какую-то защиту от бывших сограждан.

Поезд через Ровно добрался до Бродов, и... машинист ушёл домой. За кольцо с алмазом — памятью об Африке — княжне удалось нанять подводу до Гарнополя. Потом, за жемчужную нитку, раздобыть хлеб и присоединиться к обозникам, ехавшим на юг.

Войну принято рисовать в мрачно-серых тонах, но на дворе было начало осени — мир утопал в багрянце рябин и золоте пшеничных полей, не ведавших, что жать их будут не с любовью к жизни, а со страхом смерти. Ещё никто на свете не верил, что всё это продлится дольше, чем до весны. И лишь по утрам по голым буковым лесам (в их тени не вырастает ни травинки) стелились туманы — промозглые тем более, что последние полсотни километров пришлось идти пешком.

В пятницу, 15 сентября, мать с дочерью переправились через Днестр. Их встречала радуга над скалами — и обеда от Красного Креста и княгини Марты Бибеску-Маврокордат. Впереди была тихая, спокойная гавань — Франция.

* * *

*Такое выпало время — страшное и жестокое.
Что же ты с нами делаешь, время?
Или мы тебя сделали таким?
И бывало ли по-другому?*

*(To był taki czas — straszny i okrutny.
Co nam robisz, czas?
A może sprawiliśmy, że jesteś taki?
A czy kiedykolwiek było inaczej?)*

Это стихотворение Анна Богдановна написала в начале зимы, добравшись до Парижа. Город не обманул: глядя на самодовольную беспечность буржуа, на «круассаны мирного времени», княгиня поняла, что и этот град обречён, и перебралась с дочерью в Лондон, где их пути разошлись: Марья вышла замуж за некоего Джона Хирша (он погибнет в марте 1944-го на Бирманском фронте), получила британский паспорт, вступила в Женский вспомогательный корпус, начав службу в Правительственной школе кодов и шифров в Блетчли-парк («Станция X»). А мать устроилась телефонисткой в ATS (Вспомогательную территориальную службу, женское армейское подразделение) и в этом качестве участвовала в Мадагаскарской (1942) и Тунисской (1943) кампаниях. Там она узнала, что Ежи вступил в армию Андерса, и нашла его уже в Италии.

В 1949 году они уехали из полугодной Англии в Аргентину. Там Ежи устроился капельмейстером в Национальный театр, где проработал до возвращения в Польшу в 1967-м, а Анна — в благотворительный фонд Эвы Дуарте Перон, где помогала с организацией военизированного корпуса медсестёр имени Эвы Перон, с разработкой жилищного плана Эвы Перон, открывала детские сады Эвы Перон и т.д. Но, несмотря на новую иллюзию стабильности, Могилянская покинула и эту страну — за спиной катилась волна русского цунами. Сначала ударом для Анны стала ранняя, в 33 года, смерть Эвиты — к сеньоре княгиня относилась как к дочери. Вторым потрясением для неё стала резня на площади Мая 16 июня 1955 года — очередной антиперонистский военный путч, ставший «боевым крещением» аргентинской военно-морской авиации; потрясением тем большим, что за три месяца до того Анна присутствовала на свадьбе Ирмы Карранса, мексиканской лётчицы и защитницы прав женщин, и будущего участника злодеяния Серхио Родригеса Рейндля (фамилия странно напоминает другого эпизодического героя этой серии очерков).

Осенью того же года княгиня, по приглашению сальвадорского посла в Байресе, перебралась в казавшуюся более спокойной республику. Возвращаться домой она не рискнула — к тому же Моника Палеолог в красках описывала обстоятельства своего бегства из красной Польши летом 1946 года.

С Ежи Анна рассталась ещё раньше, когда у того начался роман с балериной Исабель Мартинес, будущей любовницей и женой Хуана Перона. С бывшей соперницей она близко познакомится позднее, когда свергнутый президент будет жить в Панаме, а Исабель — танцевать в ночном клубе. В отличие от Борхеса, Анна узнала тайное имя и тайное лицо генерала и обеих его жён и потому не вернулась в Аргентину — несмотря на приглашение Исабель, — когда Хуан снова стал президентом. Она видела в Исабелите слабохарактерную, экзальтированную истеричку, слишком увлечённую — до подобию наркотической зависимости — оккультизмом. Когда после смерти мужа Исабель унаследует кресло в Розовом доме, став первой в истории планеты женщиной-президентом, княгиня верно оценит её роль: «Она — марионетка Колдуна, живущего в тёмном, покрытом паутиной углу Каса-Росады». Под Колдуном, El Brujo, она имела в виду Хосе Лопеса Регу — антикоммуниста, антихристианина, эзотерика и фашиста, организатора резни во время триумфального возвращения Хуана Перона на родину. Даже генералы, вскоре устроившие в стране «грязную войну», называли его «плебем» и «Распутиным».

Примечательно, но Борхес, так презрительно описавший Хуана и Эву Перон, с этими генералами вполне нашёл общий язык, и язык тот был любезен.

* * *

В Сальвадоре Могилянская купила скромную виллу с видом на залив Фонсека в департаменте Ла-Уньон (крайний восток страны), где её не касались политические

бури — ни правление Гражданско-военного директората, ни Футбольная война с Гондурасом, — и начала писать мемуары о людях — Пилсудском, Сикорском, не говоря о прочих. Все они уже казались очень древней историей: столько крови с тех пор утекло. Читатели — а я тоже читатель — часто думают, что автор-то понимает, о чём он пишет. Но писатели знают: в процессе они сами совершают открытия, обнаруживают скрытые связи даже в собственной жизни. Так было и с княгиней: пока писала, она заметила «незримую руку Господа, хранившую меня в те времена, когда безымянными сгинули миллионы. Он посылал, в самый последний момент, людей, слова, события... Что было бы со мной, окажись я в красной России или задержись в Варшаве на несколько дней?»

Эти размышления привели её в церковь. Она стала регулярно посещать мессы Оскара Ромеро. «Первым знамением для меня стала весть о кардинале К.В. Я спросила монсеньора Ромеро, кто он. Каково было моё изумление, когда я поняла, что это сын... Кароля, которого я почти забыла... Когда же это было?.. Полторы мировые войны назад», — поэтически отмерила время княгиня.

Вторым знамением прозвучало убийство священника-иезуита Рутилио Гранде, которому княгиня время от времени жертвовала деньги для бедняков. Стоя над телом друга, Ромеро произнёс: «Если его убили за то, что он делал, значит, моя очередь идти по тому же пути». Это не было первое подобное преступление — ещё в 1970-м нацгвардейцы арестовали и четвертовали (!) иезуита Николаса Родригеса.

Правые считали вновь назначенного архиепископа удобной фигурой: «У него голова в небесах, он не стоит ногами на земле». Однако Ромеро отреагировал на убийство друга резко: он закрыл все церкви в стране, и воскресная месса была проведена лишь в кафедральном соборе. На неё пришли 80 тысяч человек.

Сальвадор медленно, но верно сползал к гражданской войне. В последующие два года эскадронами смерти и армией были убиты ещё пять священников, которых обвиняли в разжигании классовой борьбы и пропаганде коммунизма (!). Видимо, под последним понимались такие слова: «Вера будет мёртвой, если в отношении к слабому, бедному и угнетённому выражать только сочувствие и опекать его. Истинная вера требует солидарности». Крестьян, как узнал Ромеро, совершив несколько поездок по стране, пытали за одно хранение Писания.

«Политика и Бездна имеют схожесть. Если человек всматривается в бездну, Бездна отвечает взаимностью. Если человек отворачивается от политики, Политика ревниво вламывается в его дом», — пересказывает Анна беседу с профессором философии Хосе Рамирес Авалос. К «русской княгине» тянется его дочь — Лил Милагро, и Могиланская рассказывает ей о Европе: о Варшаве, о Париже, об эпохе *джаз* — *особого нервного ощущения, которое охватывает большие города при приближении к ним линии фронта*.

Лил пишет одно из первых своих стихотворений: «Мне 19 лет, и я хочу поехать в Париж, увидеть своё отражение в Сене». Она растёт, впитывая идеи «теологии освобождения», изучает юриспруденцию в университете Эль-Сальвадора, отказывается от диплома в знак протеста. Анна пытается предупредить новую «приёмную дочь», но опаздывает: в ноябре 1976 года молодую женщину «исчезают», оказавшийся в этот момент рядом профессор Мануэль Ривера, член исполнительного совета Национальной ассоциации педагогов, погибает на месте.

В мае 1979 года армия и полиция устроили бойню в кафедральном соборе Сан-Сальвадора, преследуя людей вплоть до внутренних помещений храма. Выступая в Лёвенском университете, архиепископ описал реалии полубезвестной страны: «Менее чем за три года более 50 священников подверглись нападениям, угрозам и клевете. Шесть из них убиты и признаны мучениками; многих пытали, других изгнали из страны. Объектами преследования стали и набожные женщины». В последней фразе он, вероятно, имел в виду нападение на княгиню, когда в департаменте Морасан национальные гвардейцы остановили её автомобиль, три часа держали под палящим солнцем, а затем — видимо, надеясь на то, что сердце престарелой женщины не выдержит, — имитировали расстрел: отвели её на обочину и дали залп поверх головы.

Возможно, если бы не «аристократическое», с точки зрения сальвадорского истеблишмента, происхождение, Могиланская могла бы стать одной из десятков тысяч «пропавших без вести».

Однако запугать 83-летнюю женщину оказалось не так-то просто. Игнорируя угрозы, она помогает в составлении меморандума для папы, в котором поимённо перечисляются люди, убитые, подвергнутые пыткам и пропавшие без вести за последние два года, среди которых уже 41 священник и религиозный деятель. Она с ещё большей настойчивостью обивает пороги высоких кабинетов, пытается найти следы Лил Милагро — ей даже кажется, что если её поиски увенчаются успехом, она обретёт мир и покой, потому что имя Лил так похоже на Лулу — второе «имя» Анны,

когда ей тоже было тридцать три.

Находит. После трёх лет пыток и изнасилований, 17 октября 1979 года, Лил Милагро была убита национальной гвардией — через два дня после того, как гражданское правительство Партии национального примирения, тайно державшее её в тюрьме, было свергнуто Революционно-правительственной хунтой: освобождение Лил нанесло бы непоправимый удар по «бастиону порядка». Лил Милагро де ла Эсперанса Рамирес Уэсо Кордова — помяните имя её — было 33 года.

Останки семье не выдают. Анна пытается решить хотя бы этот вопрос, обращается к вице-президенту Торгово-промышленной палаты, члену новой хунты Марио Антонио Андино. Сразу после разговора, на выходе из его офиса, её останавливают военные и, пока «проверяют документы», убивают случайного прохожего — «коммунистического террориста». Намёк прозрачнее некуда.

23 марта 1980 года на воскресной мессе примас сальвадорской церкви призывает солдат вспомнить о том, что они христиане, и перестать убивать безоружных людей. На следующий день архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес был расстрелян во время богослужения в часовне больницы «Божественного провидения». Последняя нить, удерживавшая страну от войны, была перерезана.

Ночь перед похоронами прошла в тревожном напряжении. Никто в городе не спал, никто не знал, что будет завтра. Наутро проститься со своим святым пришли 250 тысяч человек — колоссальное число и для больших стран, не только для 4,5-миллионного Сальвадора. На сороковой минуте траурной литургии, когда выступал личный посланник папы кардинал Коррипио Аумадо, прогремел взрыв. За ним другой, третий. Гвардейцы и полицейские открыли огонь по людям. Кто смог — укрылся в соборе, понимая, что их могут прийти добивать и сюда. Анна Богдановна, вновь став сестрой милосердия — нет, Милосердия, — пыталась оказать первую помощь. Лишь через час стрельба стихла.

Её дни были сочтены. Теперь, когда всё человеческое было попорно, никаких фиктивных расстрелов быть не могло: убивали и детей, и беременных, вырезали (в буквальном смысле — ножами и мачете) целые селения — даже «аполитичные», как Эль Мосоте в декабре 1981-го. Княгиню схватили, надели мешок на голову, вывезли из Сан-Сальвадора и... посадили под домашний арест на её вилле.

«Кто ты, мой самаритянин? Чьим попечительством Спаситель уберёт меня от лютой «этих»? Чьё сердце Он смягчил?» — задавалась она вопросами.

Этим Человеком была Мария Луиса, младшая сестра майора Роберто д'Обюссона, вызывавшего оторопь даже у полуфашистских предпринимателей из среднего и высшего класса. Глубоко верующая пацифистка-католичка была потрясена преступлением брата — именно он организовал убийство архиепископа. Скоро Мария порвала с семьёй, выбравшей сторону сына, но потребовала от Роберто умерить кровожадность, не трогать последователей Ромеро.

Смелый поступок для молодой 30-летней женщины. Только после смерти Роберто (он умрёт в 1992-м в жестоких муках после долгой болезни) она признается: «В глубине (!) души я верила, что брат меня всё же не убьёт».

До последних дней Анна Богдановна сохраняла ясность мысли:

«Мне нельзя покидать виллу. Меня охраняет один из этих — заблудшая душа, которую донимают мухи. Каждое утро я чувствую запах крови от моего сторожа. Но каждое утро я вижу, как солнце встаёт над заливом. Как прячутся длинные тени островов. Море всех примет — такими, какие мы есть».

Она скончалась 25 апреля 1986 года. На похороны, несмотря на опасность расстрела, пришли крестьяне близлежащей деревни. Вода в заливе в то утро была спокойна.

На её надгробии написано: «Рано или поздно человек вынужден сделать выбор, если он хочет остаться человеком».

* * *

В заключение — несколько слов о дальнейшей судьбе дочери Анны, Марысе Свентокшице-Могиланской. Её вторым мужем стал Джордж Маккартни, офицер Особой воздушной службы. С ним она ездила по гарнизонам гибнущей империи: Иерусалим (1946-1947), Александрия (1948-1951), Кипр (1953-1958), Кения (1959-1963), Йемен (1965-1967). В Кении она разыскала Лкетингу Лепарморийо, которого неоднократно упоминала её мать в своей книге очерков, и сводного брата. Вернувшись из путешествия по Конго, примирилась с мужем. В последующие годы он служил военным атташе Соединенного Королевства в Венесуэле и Коста-Рике, умер в 1986 году. Мэри Маккартни, недавно справившая 100-летний юбилей, проживает в Рединге, Беркшир, Англия.

Данный очерк написан на основе переписки с нею.

Appendix II

Миссис Маккартни сообщила, что нашла в бумагах матери, вывезенных из Сальвадора Джозефом, листы с переписанными от руки стихами Лил. Они как будто имели особое значение для Анны — никаких других стихов она не хранила. Автору не удалось найти их переводы на английский или русский, поэтому он перевёл их самостоятельно и просит прощения у духа и имени Лил Милагро, если исказил смысл и настроение её стихотворений.

Despertar

*Yo era mansa y pacífica
Era una flor,
Pero la masedumbre no es un muro
Que cubre la miseria.
Y vi las injusticias
Y ante los ojos asombrados,
Estallaron las huelgas y las rebeldías
Del hombre proletario.
Y en vez de absurdas lástimas,
De hipocres.as compasivas,
Brotó mi indignación
Y me sentí fraternalmente unida
a mis hermanos,
Y toda huelga me dolía,
Y cada grito me golpeaba
No solo en la cabeza o los oídos
Sino en el corazón.
Cayó mi blanca masedumbre,
Muerta a los pies del hambre,
Me desnudé llorando de sus velas
Y un Nuevo traje me ciñé las carnes.
Primavera de lucha son ahora
mis brazos,
Mi enrojecida sangre es de protesta,
Mi cuerpo es verde olivo
Y un incendiario fuego me consume
Éy sin embargo,
sigo siendo como antes,
amante de la paz,
quiero luchar por ella
desesperadamente,
porque desde el principio
yo soñé con la paz.*

Проснуться

*Я была кроткой и мирной,
Цветком я была.
Но кротость — не стена,
Что скрывает страдания.
Я увидела несправедливость,
И пред изумленными глазами —
Пламя восстаний
Во имя простого человека.
И вместо абсурдной жалости,
Сострадательного лицемерия —
Во мне негодование.
И каждый удар ранил меня,
И каждый крик поражал меня —
Не только голову, уши —
Сердце.*

*Моя белая кротость пала.
Мертвые под ногами голода.
Я разделась в плаче своих свечей,
И новый костюм опоясал мне плоть.*

*Сейчас боевая весна.
 Мои руки,
 Моя красная кровь протестуют,
 Мое тело оливково-зелено,
 И огонь пожирает меня.*

*Эй, я, однако,
 Всё ещё та, что прежде,
 та, кто любит мир.
 Я хочу бороться за него —
 отчаянно, безнадежно, —
 потому что с самого начала
 я мечтала о мире.*

* * *

*Sembraremos
 a golpes si es preciso,
 araremos la tierra siempre fértil
 y en el profundo surco abierto,
 lanzaremos semillas,
 sembraremos
 Lucharemos
 hasta que el hombre se ilumine de sonrisas,
 hasta que sea su destino
 el esperado encuentro con la paz,
 lucharemos
 hasta que el hombre nazca,
 y,
 entonces
 construiremos
 para que el hombre viva,
 para que el hombre dé a sus hijos
 toda la herencia de la tierra...
 desde lo más profundo
 vendrá la arcilla
 y construiremos.*

*Мы будем сеять —
 если надо, и кулаками, —
 мы будем пахать всегда плодородную землю,
 и в глубокую открытую борозду
 мы бросим семена, мы
 будем сеять, мы будем
 бороться,
 пока человек не озарится улыбкой,
 пока долгожданная встреча с миром
 не станет его судьбой,
 мы будем бороться,
 пока не родится человек,
 а потом
 мы построим дом,
 чтобы человек мог жить,
 чтобы человек мог отдать своим детям
 все наследие своей земли...
 Из глубины
 явится глина.
 И мы будем строить.*

Заключительное стихотворение, как отметила Анна, явно перекликается со стихотворением возлюбленного Лил — Роке Дальтона:

*Когда узнаешь, что я умер, не произноси моего имени,
 а то замешкаются смерть и оцепенение.*

*Твой голос, колокол всех пяти чувств, он станет
слабым маяком, разыскиваемым моим туманом.*

*Когда узнаешь, что я умер, доверься странным звукам.
Произнеси: цветок, пчела, слеза, хлеб, ураган.*

*Не дай своим губам сорвать покров с одиннадцати букв моих.
Я хочу спать, я так любил, я заслужил безмолвие.*

*Не произноси моего имени, когда узнаешь, что я умер,
Из сумрачной земли приду я на твой голос.*

*Не произноси моего имени, не произноси моего имени,
Когда узнаешь, что я умер, не произноси моего имени.*

Роке был убит «товарищами» накануне своего сорокалетия — в тот же год, когда исчезла Лил. Неизвестно, было ли его стихотворение ответом на стихотворение любимой или она так помянула друга, но в мире, где хранятся наши имена, эти стихи навсегда останутся единой каплей в море, что примет всех.

*Mi nombre aquel
no lo pronuncies ni siquiera
en vos baja
espera
ya volveré a ser yo
cuando la muerte o cuando
el triunfo.*

*Моё имя
Не произноси моего имени,
даже вполголоса.
Погожди,
и я снова стану собой
в смерти
или
в триумфе.*

Сергей ВАРАКСИН

БОМБА

— Господа члены Государственной думы! — Столыпин обвёл глазами притихший зал. — Я не думал выступать сегодня по этому делу и не ждал запроса, который только что тут оглашен, так что он является для меня полною неожиданностью.

Он повысил голос и стал говорить, чеканя каждое слово.

— Но я считаю своею обязанностью, как начальник полиции в государстве, выступить с несколькими словами в защиту действий лиц, мне подчиненных!

Столыпин вздохнул и поправил галстук.

— Насколько мне известно, дело произошло таким образом: столичная полиция получила сведения, что на Вознесенском собирается центральный революционный комитет, который имеет сношения с военной революционной организацией. В данном случае полиция не могла поступить иначе, как войти, в силу власти, предоставленной полиции, и произвести в той квартире обыск.

Столыпин навалился на трибуну всем телом и почти прокричал в зал:

— Не забудьте, господа, что город Петербург находится на положении чрезвычайной охраны и что в этом городе происходили события чрезвычайные! Таким образом, полиция должна была, имела право и правильно сделала, что в эту квартиру вошла!

Он взял стакан с чаем, рука дрогнула, и ложка громко звякнула в застывшей тишине зала.

— Держи, держи гада!

Срезневский свернул за угол. Резал ухо визг полицейского свистка. Павел пробежал несколько шагов, нырнул в подворотню и бросился в открытую дверь подъезда. Грохот сапог оглушил двор и затих, рассыпавшись эхом в окнах.

— Ушёл, сволочь... — сказал кто-то на улице.

— Никуда не денется — ответил второй. — Оцепить двор! — скомандовал он. — Ковалёв, Филин — на ту сторону! Семёнов, со мной!

Срезневский оторвал плечи от стенки и, стараясь почти не шуметь, на цыпочках побежал вверх. На площадке четвёртого этажа он затравленно огляделся и позвонил в первую попавшуюся дверь. Внизу на лестнице гремели шаги.

— Что вам угодно? — спросила сухонькая опрятно одетая старушка, сверля глазами Срезневского. Павел быстро поставил ногу в приоткрывшуюся щель и вошёл в квартиру.

— Тихо, тихо! — сказал он, приложил к губам ствол нагана. Стук кулаков и блямка-нье звонка заставили обоих вздрогнуть.

— Благоволите открыть! — заорал кто-то осипшим злым голосом.

Старушка рванулась на крик, но Срезневский встал на пути, прижал её голову к себе и держал, сжимая всё сильнее и сильнее, пока тело не перестало сопротивляться. Тогда он медленно опустил женщину на пол, сел рядом на корточки и зачем-то потрогал пальцем яркую красную серёжку у неё в ухе.

Спустя час Срезневский осторожно открыл дверь и вышел на лестницу. На улице он осмотрелся по сторонам, поднял воротник и быстрыми шагами направился в сторону канала. Бледная луна дрожала в грязной воде Обводного. Он плюнул вниз, постоял, навалившись на чугунные перила, потом спустился с моста и свернул к Варшавскому вокзалу. С неба посыпался мелкий дождь.

У церкви Воскресения жёлтым пятном вспыхнул фонарь. и Срезневский, чертыхнувшись, шарахнулся от собственной тени. Вспомнились дуры-сёстры, с криком «ага!» выпрыгивающие из-за покрытого зелёным сукном стола, пугая Павла. Он бежал жаловаться Ольге Андреевне.

— Ну что ты, голубчик... — ласково говорила она и гладила Павла по коротко стриженной голове.

– Идиотка, – прошептал Срезневский, останавливаясь у своего дома.

Он прошёл под аркой вдоль стены и выглянул за угол. Было тихо. Дождь кончился, и мокрая трава сверкала таинственно в лунном свете. Где-то далеко завывала собака. Он постоял, раздумывая, и уже решился идти, когда скрипнула дверь.

На улицу вышли двое. Срезневский убрал голову в темноту, прислушался. Высокий закурил, и огонь спички сделал рыжими его большие усы.

– Вчера троих взяли, – произнёс он с сильным южнорусским акцентом.

Срезневский повернулся кругом, вышел из арки и побежал вверх по проспекту до Сенной. У Кокушкина моста он свернул налево, через полчаса был на Вознесенском. Дом 31, квартира 29.

– Не посмеют... – бормотал лихорадочно, как в бреду. – К матери не посмеют...

Открыла Ольга Андреевна, сказала:

– Павлик!

Кто-то кинулся на него сзади, стал крутить руки за спину. Он упал и попытался достать наган, но удар сапога с хрустом сломал ему нос. Ольга Андреевна закричала и бросилась к сыну. Её оттащили двое жандармов и посадили на стул. Срезневского рывком подняли с пола.

– Павлик, господа говорят – бомба... Какая бомба?! – сказала Ольга Андреевна и заплакала.

В девять утра позвонили в дверь. Почтальон посмотрел на всех с удивлением, непонятно кому протянул письмо.

– Распишитесь – сказал он.

11 05 07 С-Петербург – Mai 07 Munchen
Russland
S. Peterburg

Ея Превосходительству
ОльгѢ АндреевнѢ Срезневской
Вознесенскій 31. кв 29

Мюнхенъ. Bazer str. рекв. Muller
8/21-07

Дорогая Мамочка. Вчера была недѣля, какъ мы живѣмъ въ рекв. Muller и пока имъ очень довольны. Хозяйка милая, интеллигентная дама, любящая молодѣжь. На дачу къ ней въ горы, куда она звала на Троицу поѣхать не удалось, т.к. былъ проливной дождь 2 дня, холодно. Скучно безъ русскихъ газетъ. Мы ихъ покупаемъ здѣсь, но рѣдко, т.к. Нов. Вр. стоитъ 35 пф., нѣмецкія же газеты очень мало пишутъ о Россіи. Было в газѣте о раскрытіи заговора на Государя, не знаемъ, вѣрно ли это, уж очень невѣроятная вся исторія.

Давно не получали писѣмъ от Васъ. Какъ поживаете, какъ братъ, что дѣлает? Не получили ни одного письма от нѣго. Сегодня думаемъ идти смотреть скульптуру в glyptotek'у.

До четвѣрга здесь праздники.

Дмитрий ВОРОНИН

«Писательские» рассказы

ЛАУРЕАТЫ

Маленький, толстый, лысеющий поэт Застежкин и тонкий, высокий, бородатый прозаик Беленький возвращались поздно вечером домой после областного правительственного приёма по случаю открытия Дней писателя. Шли, пошатываясь, по улице, придерживая друг друга за плечи, чтобы не упасть, так как оба были в изрядном подпитии.

Вечерок в театральной ресторации провели очень даже недурно, под вино, коньячок, водочку и многочисленные закуски. Оба литератора на фуршетке были в явном ударе. Беленький выразительно читал свой рассказ о местных подземельях, в которых обитали всякого рода мутанты, способные общаться под действием продуктов из пальмового масла с мертвецами и прочей потусторонней нечистью. Застежкин же декламировал собственные стихи, безостановочно размахивая руками:

*Я – Парис, я – Пегас, я – Персей,
Я взлетел, я вскакал на Парнас,
Мне до фени Шекспир и Орфей,
Я в анналах по шее увяз.*

*Пусть железо растёт сквозь бетон,
Мне с компами, мобилами жить,
Солнце лампы стоваттовой клон,
Буду водку с китайцами пить.*

*Рифмой-стервой по моргам пройдуся,
Я по тем, кто как будто поэт.
Эх, крутни-ка мне задницей, Дусь,
Я станцюю с тобой менуэт!*

Подвыпившие чиновницы от культуры в восторге причмокивали напомаженными губками, закатывали накрашенные глазки и постоянно выкрикивали «браво», заставляя Застежкина продолжать, и его несло. На протяжении целого вечера он периодически выступал со своими шедеврами, срывая всякий раз овации у публики.

На следующее утро и тому и другому позвонили из областного правительства и предложили срочно зайти к ним пополудни. Ровно без четверти двенадцать Беленький и Застежкин столкнулись нос к носу у дверей замзавотделом по культуре Сурковой Серафимы Николаевны.

– Чегой-то нас вызвали сюда ни свет ни заря, ты не в курсе? – с опаской поинтересовался Беленький у поэта.

– Да фиг его знает! – засунул зубочистку в рот Застежкин.

– Может, лягнули вчера лишнего, ты не помнишь? – в волнении стал строить догадки Беленький.

– Не, не помню, – сплюнул на пол Застежкин, – может, и лягнули. Да чего переживать, сейчас всё и узнаем.

Войдя в кабинет и увидев приветливую улыбку Серафимы Николаевны, Беленький облегчённо вздохнул.

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши классики, – двинулась навстречу литераторам Суркова. – Как насчёт рюмочки коньячка?

– Не откажемся, – потёр от удовольствия руки Застежкин.

Выпив налитый коньяк, замзавотделом, продолжая улыбаться, предложила Беленькому и Застежкину присесть.

– В ногах правды нет. Да и дело к вам архиважное и очень волнительное. Вчера на вечере мы все слушали ваши выступления.

— И? Как вам? — приосанился Застежкин.

— О-о-о! — зажмурилась от удовольствия Суркова. — Божественно! Великолепно! Изумительно! Да русского языка не хватит перечислять все достоинства ваших шедевров творчества. Какой полёт мысленного слова, какое волшебное порхание звука! Особенно в стихосложении. Вы, Застежкин, гений! И Беленький тоже — гений. Вы два гения, и оба наши тутошние.

— Этого у нас не отнять, это всё, конечно же, так, по-другому и быть не может, — разволновался от похвал Застежкин. — Всё в нас есть и сполна. До самого края, снизу доверху под завязку. Так ведь, Беленький?

— Ага, ага, — согласно закивал прозаик, обалдевший от такого приёма.

— Ну, вот и я говорю, что пора вам, значит, и того, — подняла кверху указательный палец Суркова, — в Париж подаваться, в новые горизонты взлетать, в цивилизацию.

— Куда-куда? — вырвалось изумлённое восклицание у обоих литераторов.

— В цивилизацию, в Париж, — повторила Серафима Николаевна.

— Зачем? Чего там делать-то, в этой цивилизации? Нам и тут очень даже ничего.

— За премиями.

— За какими? — непонимающе уставились на чиновницу друзья.

— За самыми главными по литературам. Мы тут вчера после вашего выступления задержались малость и от всей нашей культуры порешили отправить вас за грамотами. Хватит уже скромнеть в своем отечестве, пора и Европы покорять, как Наполеон с Бонапартом. Ты, Беленький, поедешь за Пукером...

— За Бу... Букером?! — вытарщил глаза Беленький.

— За Пукером, за Пукером, он прозаикам вроде выдаётся, — подтвердила Суркова. — А ты, Застежкин, за Нобелевым как поэт. Я не путаю?

— Нет, Серафима Николаевна, не путаете, — вытер испарину со лба Застежкин.

— Только кто нам их так просто даст? Да и Нобелевскую премию Швеция назначает, а не Франция.

— Дадут, куда эти французишки денутся! — пренебрежительно отмахнулась Серафима Николаевна и протянула литераторам толстую пачку бумаг. — Мы тут вам такие рекомендации понаписали, особенно тебе, Застежкин, что сам Бог бы не устоял. А насчёт Швеции, так это всё мелочи, мы и в Швецию факс пошлём. Пусть приезжают в Париж и привозят премию туда, какие проблемы? Так что скатертью вам дорога.

— А деньги? — заволновался Застежкин. — У нас же с Беленьким нету. А без них нам там ну никак, — провёл он по горлу рукой, — швах дело.

— И денег дадим. И на проживание, и на дорогу, и на представительство и Рождество ихнее отметить и Новый год. Что, мы уж совсем лицом об грязь?

Целую неделю областной центр гудел новостью: Беленький с Застежкиным в Париж едут, шутка ли сказать, за самой Нобелевкой!

На вокзал провожать знаменитостей собралось чуть ли не полгорода. Начальство на перроне литераторов нахваливало и напутствовало, оркестр играл туш, а народ бросал шапки в небо.

Через четыре дня в кабинете у Сурковой раздался осторожный стук.

— Войдите.

Дверь тихо открылась, и на пороге возник Беленький. Был он какой-то помятый, взломаченный, с нездоровым блуждающим взглядом.

— Беленький?! — удивилась Серафима Николаевна. — Почему здесь? Что произошло?

— Да вот, тут, значит... так оно и вышло, — замямлил прозаик.

— Говори внятно, — покраснев, рявкнула Суркова.

— Ну, мы это, значит, сели в купе и поехали, куда нас послали, в этот Париж, будь он неладен, — взволнованно затараторил Беленький. — Ну, выпили малость на дорожку, потом ещё малость за Рождество ихнее, потом ещё за наш Новый год. Ну, так за разговорами, значит, до Берлину и доехали. А в Берлине этом Застежкин меня в кабак какой-то затащил. Пойдём, говорит, цивилизацией подышим, сосисек немецких поедим со шнапсой в запивку, пока поезд стоит. Ну и пошли, значит, шнапсы попили, сосисек поели. И тут Застежкина понесло, на стол забрался и принялся стихи свои во весь голос орать да с Санта Клаусой местных бюргерш поздравлять. Я его успокаивать пытался, а он мне в морду салатом. А тут и полицаи немецкие подскочили, туда-сюда, протокол составлять. Застежкин в драку, кричит: «На кого руку подняли, на нобелевского лауреата!» — и ну бутылки в витрину швырять. Все деньги на штрафы. Еле назад доехал.

— А сам Застежкин где? — схватила за грудки несостоявшегося лауреата Суркова.

— В Бе... Берлине остался, в дурдоме. Просит помощи и денег на обратную дорогу, чтобы Новый год дома встретить, в кругу, так сказать, ваших родных лиц и истинных почитателей его талантов, — заплакал Беленький.

КРОХОБОР

Нелегко в настоящее время жить писателю, ох, нелегко. Сами посудите, книги не выпускают, а если и выпускают, то экземпляров пятьсот, а если и не пятьсот, то гонорары не платят, мало того что не платят, так еще за свой счет приходится издавать. А какой у писателя счет, если его книжки не выпускают, а если и выпускают, то гонорары не платят, а если не платят, так где тогда денег взять? Говорят, вот у спонсоров или меценатов. А если писатель в деревне живет, то какие в деревне спонсоры и меценаты? Разве что Ашот Саркисович, который магазин открыл при дороге. Так ведь он книг не читает, а если и читает, то все больше по бухгалтерии или по законам, как от налогов увильнуть. Только писатель не бухгалтер и не юрист, тем более. Нет в нем Ашоту Саркисовичу особой надобности, разве что только руку пожать для важности — все ж чудной человек писатель, где еще такого встретишь. Да и перед своими друзьями всегда можно похвастать, мол, с писателем лично знаком, а вдруг даже и поэтом, почти Пушкиным. Черт его знает, что он там пишет. Так что поздороваться Ашот Саркисович поздоровается, а денег на книгу не даст, разве что только в долг рублей пятьсот на продукты из своего магазина.

Есть еще, правда, поселковый глава администрации, Дзагоев Иван Иванович, человек, по его собственному признанию, честный и уважаемый, к сельчанам всегда со всем почтением. Ну откуда, скажите, у честного человека могут быть деньги на всякие там книгоиздательства? Личных денег у Ивана Ивановича ни копейки, а государственные только на улучшение жизни. Сядет, бывало, с утра Иван Иванович в свой BMW X пятой модели и мотается где-то по делам до самой ночи, ему не до писателей.

Можно, конечно, и в райцентр съездить меценатов поискать. Живет там, говорят, один такой Самарин Николай Андреевич, в депутатах числится и как будто бы даже председатель местной партиячейки. Ходят слухи, что щедр и к культуре неравнодушен. Вот недавно школьникам полторы тысячи рублей в театр выделил. Может, его в меценаты?

На худой конец, можно по деревне сбор средств объявить на издательство книги. Но народ вряд ли поймет, не даст. Вот на похороны самого писателя даст, а на книгу — это уж дудки. Блажь какая-то, тут кому-то на портвейн не хватает, кому-то — на сапоги, а этому книгу подавай.

Виктор Семенович в Макеевке учителем работал, а заодно и рассказы пописывал — то ли от скуки, то ли от талантов каких, но что-то у него все же получалось и даже изредка печаталось. Писал же Виктор Семенович все больше о жизни, о деревне да о своих деревенских жителях. С юморком писал, но так, чтобы не очень обидно. Местные себя в рассказах узнавали и друг над другом подтрунивали, а Виктору Семеновичу руку тянули при встрече и о политике заговаривали.

Однажды Виктор Семенович все же умудрился найти спонсора и издал книгу деревенских рассказов. Ну, не книгу, а так, книжечку, в сотню экземпляров да на сотню страниц, но все-таки. С тех пор за Виктором Семеновичем прочно закрепилось прозвище «писатель».

— Глянь, писатель в магазин пошел, опять, видать, за тетрадками, — качали головами бабы, сидя на завалинке. — Это ж сколько денег на них тратит, сердечный! И как только Танюха, жена его, эти траты терпит.

— Вон Достоевский из магазина возвращается, — хмыкнула как-то местная фельдшерица Клавка, обращаясь к своей подруге Верке. — Смотри, как важно ходит, будто «Войну и мир» написал, не меньше, а у самого-то книжонка еле-еле, никакой представительности, скукота одна. Лучше бы как Донцова или про Марианну. Но не тянет он до них, ума, видать, не хватает. И как ему только Олег Евгенич денег-то на книгу дал, говорят, аж цельных десять тысяч отвалил, ужас какой.

— Ой, Клав, не скажи, — махнула рукой Верка, — может, Семеныч и не Достоевский, зато наш, макеевский, и один такой. Да и Таньке евоной лучше. По мне, так пусть лучше книжки сочиняет, чем как мой Митяй с бутылкой обнимается.

— Чего ж ты, Серега, у писателя часть гонорара не востребовал? — посмеивались собутыльники над местным забуддыгой, особенно узнаваемым в рассказах Виктора Семеновича. — Счас бы жил припеваючи, нос в табаке.

— Спрашивал, — огрызался Серега.

— И?

— Говорит, книжка не продавалась, всего-то сто штук, все, мол, по знакомым роздал.

— А ты и поверил, лопух. Развёл тебя писатель, ему ж Олегу Евгеничу долг возвращать.

- Так он же спонсор!
- Ну так что ж, что спонсор, не бесплатный же.

— Бросай сигареты, Виктор Семенович идет, — шухерили школьники, завидев вдалеке сутулую фигуру учителя.

Так что получается, в деревне к Виктору Семеновичу было очень даже достойное и уважительное отношение, вот только до той поры, пока не случилось следующее.

Однажды Виктора Семеновича, следовавшего в магазин за очередной пачкой бумаги, окликнул Серега.

— Семеныч, постой, дело есть, — нетвердой походкой подошел к писателю герой его рассказов.

— Серега, денег нету, только на бумагу жена выдала, — решил упредить досужие просьбы Виктор Семенович.

— Да не, — отмахнулся Серега, — сегодня не требуется, мне уже Санек Ковалев подкинул на опохмел. У меня тут другое, важное...

— Ну чего? Говори, только не долго, а то я тороплюсь.

— Да вот, Ванюшкин жалуется, что не заходишь к нему совсем, забыл старика.

— А с чего бы заходить?

— Ну как с чего? Пили ж когда-то вместе, да и так, по-соседски.

— Я ж бросил давно, а по соседству вроде как каждый раз здороваюсь.

— Ну, здороваться одно, а зайти да душевно посидеть — это совсем другое, — закатил глаза кверху Серега, многозначительно подняв указательный палец.

— Да ладно, Сергей, не тяни резину и говори по существу, чего надо? — развернулся в сторону магазина Виктор Семенович.

— А я и так по существу, — засеменял за ним Серега. — Мы вот тут с дядей Колей поговорили за портвейшком и решили, что нужно тебе об его жисти написать.

— Чего написать?

— Ну, не знаю чего, роман какой или там воспоминания, на худой край. Тебе виднее.

— Чего это мне виднее? — раздраженно остановился Виктор Семенович. — Какие воспоминания, какие романы, о чем вопрос?

— Ну, я ж тебе толкую об чем, — перешел на громкий голос и Серега. — Об дяде Коле Ванюшкине, об евоной жисти.

— А что такого в его жизни, чтоб я об этом писал?

— Ну как что? Да все! — аж задохнулся от возмущения Серега. — Дядя Коля, ведь это о-го-го, это у-у-у! Это такой человечище, такая громадина! Это, это... Да чего тут! Ну, сам знаешь. Напишешь?

— Да отстань ты!

— Не напишешь? — с угрозой подступил к Виктору Семеновичу Серега.

— Да что я должен написать? Пусть расскажет сначала о себе что-нибудь, а там посмотрим, — с опаской отошел от Сереги писатель.

— Ну, давно бы так, — беззубо заулыбался Серега. — А то чего писать, чего писать! С этого и надо было подходить.

— К чему? — удивился Виктор Семенович.

— Как к чему? К существенности, глубине масштаба, — поднял палец вверх местный пьянчужка.

— Какой еще глубине масштаба?

— Слушай, Семеныч, ты вроде как умный мужик, учителем в школе числишься, а простых вещей не понимаешь. Стелку тебе дядя Коля сегодня на двадцать ноль-ноль забил в евоной баньке, там все и перетрете. Так что приходи, не запаздывай, милости просим.

— А почему в баньке-то?

— А где ж еще? — удивился Серега. — Мы там завсегда собираемся, подальше от дяди Колиной тетки Натахи, чтоб не орала на всю деревню.

Вечером Виктор Семенович накинул на себя плащ и с порога предупредил жену:

— Я к соседу на часок.

— Зачем?

— Не знаю, звал, что-то рассказать хочет.

— Ну, иди.

Виктор Семенович вышел за калитку и, пройдя два дома, свернул в покосившиеся ворота. Не заходя в скособоченную избу, он за огородом прошел в сторону сада и уткнулся в старую, вросшую в землю баньку дяди Коли. Постучавшись три раза, отворил дверь и, нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку, шагнул внутрь.

В предбаннике при свете закопченной сороковатки на лавках за старым, отслужившим свое кухонным столом сидели три мужика: дядя Коля Ванюшкин, Серега и Илюха Кирюхин — еще один сосед по улице, кочегар деревенского магазина.

— Ну, здравствуйте всей честной компании, — пожал руки мужикам Виктор Семенович и присел на лавку. — Тут вот меня Серега зазвал к тебе, Николай Фомич, будто бы рассказать чего-то хочешь.

— Хочу, Витя, хочу, давно хочу, — тяжело вздохнул дядя Коля. — И про жизнь свою хочу тебе поведать, и про другое всякое. А то как помру, кто ж тогда тебе все обскажет? И про колхоз нашенький, и про то, как жили, как строили все, и про надои, и про центнеры, про будни то ж, про праздники. Много чего. Тут не один роман напишешь, может, целый сериал, потом спасибо скажешь.

— Так уж и роман? — улыбнулся Виктор Семенович.

— А ты не скалься, не скалься, — перебил его Ванюшкин. — У меня историй не на одну книгу наберется. Такого повидал, чего Шолохову с тихим Доном и не снилось. «Вот сам и писал бы, — подумал Виктор Семенович, пряча улыбку и собираясь выслушивать долгую историю. — Черт меня дернул прийти сюда».

Минуты две в помещении висела тишина, которую нарушил Ванюшкин.

— Вить, ну чего сидишь, доставай уже.

— Что доставать? — непонимающе обвел всех взглядом Виктор Семенович. — Ручку, что ли?

— Какую ручку? — аж подскочил Серега. — Проставу, конечно.

— Какую проставу?

— Как какую? — захлопал глазами Серега. — Обыкновенную, за истории.

— Не понял, — прислонился к стене предбанника Виктор Семенович.

— А что тут не понять? — встрял в перепалку дядя Коля. — Ты пришел сюда, чтоб слушать мои истории про жисть, так? Каждая история — бутылка. Я ж не лох какой, как Серега, чтоб за бесплатно рассказывать.

— Чего это я лох? — набычился Серега.

— А чего, нет, скажешь? — ударил кулаком по столу дядя Коля, да так, что один стакан, подпрыгнув, упал на пол. — Он про тебя написал в своей книжке? Написал. А гонорар тебе заплатил? Вот то-то. Так что сиди и молчи лучше в тряпочку.

— Какой гонорар? — у Виктора Семеновича даже челюсть отвисла.

— Обыкновенный, какой, — зло ответил дядя Коля. — Я так понимаю, ты без проставы сегодня. Значит, вечер впустую. Не уважаешь ты меня, старика, Витюша. Ну, вот что, милоч, завтра в это же время будем тебя ждать здесь же, так ты уж нас больше не подводи, а то по договору я с тебя неустойку востребую.

— Какую неустойку? — обалдело уставился на дядю Колю Виктор Семенович.

— По договору о гонораре.

— О каком гонораре, какой договор?

— Ты что, Витюша, совсем тупой на голову или прикидываешься? А еще учителем называешься. Нехорошо, Витя, ой нехорошо. Не по-людски это, не по-соседски. Договор о моей доле подпишем при свидетелях, вот при них, — кивнул на Серегу с Илюхой дядя Коля.

— Да объясните мне, наконец, в чем дело.

— А что тут объяснять-то? Ты, Витя, по моим историям напишешь роман, и по договору, как полагается, я получу шестьдесят процентов гонорара, потому как я тебе все обскажу, а твое дело только записать. Справедливо, мужики?

— Точняк, дядя Коля, точнее некуда, — закивали Серега с Илюхой.

— Ну, вот и я говорю, — продолжил Ванюшкин, — часть денег отдашь завтра вместе с проставой, часть — в конце истории, ну и остаток, как книга выйдет.

— И сколько завтра? — усмехнулся Виктор Семенович.

— Я тут все подсчитал, — надел очки дядя Коля и положил на стол тетрадный листок, исписанный цифрами. — По мне, так получается, что пять тысяч. И это, согласись, по-божески, мог бы и больше затребовать. Но мы ж как-никак соседи. Да и вот еще Сереге неустойку заплатить надобно, рублей так семьсот.

— Вы это серьезно, мужики?

— Да какие тут шутки.

— А шли бы вы знаете куда? — поднялся из-за стола Виктор Семенович.

— Так ты что, отказываешься платить? — опешил дядя Коля.

— Отказываюсь, — открыл входные двери Виктор Семенович.

— Ну и крохобор ты, Витек, — обиженно закачал головой дядя Коля, — ну и крохобор! Не ожидал я от тебя, ох, не ожидал! С виду интеллигентом прикидывался, а внутри-то мироед мироедом.

— Не, не крохобор он, — облокотился на стол Серега. — Скупердяй он, вот кто!

— Да-а, пожалуй, ты прав, — прикурил папироску дядя Коля. — Последний он скупердяй, каких свет не видывал.

Дальнейшего Виктор Семенович уже не слышал, выйдя за порог бани. А уже на следующий день бабы на завалинке провожали его осуждающими взглядами.

— Гля, гля, крохобор-то опять в магазин за бумагой пошел, небось, на дядю Колю доносы писать или судиться. Совести у человека совсем ни на грош, и гонорар не заплатил, и еще денег с дяди Коли содрать норовит. Как с таким крохобором токмо Та-нюха живет. Бьет он ее, небось, сердешную.

— А что я тебе, Верка, говорила, а? — безгловито морщилась фельдшерница Клава, обращаясь к подруге. — Не жди от этого писаки добра. Так-то оно и вышло. Все инстанции кляузами забросал, да и скупердяй такой, что свет не видывал. А ты его защищать. Деньги-то дяде Коле не выплатил, как по договору между ними прописано было. А истории дяди Колины за свои выдал и книгу выпустил. Мошенник он, навроде Мавроди, а не писатель.

— Ой, твоя правда, Клава, — виновато соглашалась Верка. — Дура я, дура, что в упор такого скупердяя не замечала. Ввек наука.

— Да-а, Серега, — сочувственно обнимали дружка собутыльники. — Кто ж знал, что на такого крохобора нарвешься. Он вон дядю Колю не пожалел, совсем-совсем без средств оставил. А еще писателем называется.

— Гад он и сволочь, — ненавидяще сжимал кулаки Серега. — Олигарх последний, морду ему набить мало.

— Ничего, Серега, жизнь его еще накажет.

И только ученики, завидев вдалеке Виктора Семеновича, как и раньше, с опаской шухерили:

— Бросай сигареты, учитель идет.

МЕСТЬ ПОЭТА

Научное судно «Моноцит» уже целый день стояло у причала, вернувшись из полугодовой экспедиции по северным морям. Радость встречи экипажа со своими родными осталась позади, и на борту шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.

Часть «научников» выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения в лабораториях института, другие писали всеразличные отчёты о проделанной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака в кают-компании, играя в карты.

— Мужики, — в дверях кают-компании показалась голова боцмана, — вас там авансировать собираются в каюте старпома.

Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав чуть ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки, подковырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи денег постепенно подходила к концу, когда к столу подошёл техник научной группы Костик Ребров.

— Распишись вот тут, — второй штурман протянул ему ведомость. Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких денег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрёхлетней жизни. — Получи, — отчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся Костику. — С почином.

— С тебя причитается, — похлопал Костика по плечу старпом, пряча в бороде улыбку.

— Обязательно, конечно, а как же, — смутившийся Костик сгрёб деньги и рванул к двери.

— А пересчитать? Вдруг обманули? — раздалось вслед.

— Не, всё верно, я доверяю, — прозвучало из коридора.

Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе деньги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по кучкам и рассовывать по карманам. «Эти — маме, — рассуждал Костик, — эти — себе на обновки, эти — Наташке на подарки, эти — на проставку ребятам, а эти — на поход в ресторан с Григорием Моисеевичем».

Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман берет его к себе в институт, или забыть о науке, экспедициях, новых друзьях и романтике.

Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошёл к каюте Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался — и в силу разницы в возрасте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали в нём незлобивого человека — высвечивалась в них какая-то озорная искорка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором наук.

Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.

— Можно? — открыл он дверь.

— Входи, — поднял голову из-за стола Григорий Моисеевич. — Чем могу служить?

— Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете... — замялся Костик.

— Ну смелее, смелее, — ободряюще улыбнулся Юнерман.

— Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, — выпалил Костик и покраснел.

— Ого! — сделал удивленное лицо Юнерман. — Вы меня приглашаете? А где же цветы?

— Я... нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть... Нет, я приглашаю, но никак... а по-другому, — Костик умолк, окончательно смутившись.

— Ну, это понятно, что по-другому, а никак, — заиграли озорные искорки в глазах Юнермана. — А то и говорить не о чем, потому что в нашей стране это совсем не так, а всё гораздо хуже, если не сказать, что совсем кажут.

Костик стоя умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так бездарно завалить всё дело! Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы не продолжал шутить и дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич серьёзно произнёс:

— Ладно, Константин, пошутили и хватит. Я согласен посетить с тобой это заведение, но с условием — обедаем каждый за свои. А спиртное за мой счёт. И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди занимайся своими делами. В час встречаемся у «Меридиана», знаешь такое кафе? — Костик кивнул. — Ну, до встречи.

Костик, всё ещё смущённый, быстро выскочил из каюты начальника экспедиции.

Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Расположившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.

— На правах старшего, заказ делаю я, возражений не принимаю. — Костик согласен кивнул. — Так, — обратился Юнерман к подошедшему официанту, — два оливье, два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского коньяка и минералку. Попозже — кофе.

— Сделаем, — записав заказ, официант ушёл.

Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.

— Ну, как тебе экспедиция? — спросил Григорий Моисеевич. — Понравилась?

— О, это такой кайф, такой адреналин! — оживился Костик. Глаза его загорелись, спина выпрямилась. — Я ничего подобного не испытывал никогда. Жалко, что протетело всё очень быстро, как один день, даже нет — как один миг. И так не хочется верить, что больше этого не повторится!

— О, да он у тебя поэт, — вдруг раздался за спиной Костика насмешливый голос. Костик покраснел и быстро повернулся назад. — Всё-всё, сдаюсь-сдаюсь, — притворно вскинул руки вверх полноватый мужичок небольшого роста, одетый в потёртые джинсы и не заправленную линияющую тельняшку. — Гриша, скажи своему юному другу, что я пошутил, а то он меня сейчас съест.

Григорий Моисеевич поморщился.

— Знакомся, это местная знаменитость, поэт Леонид Лямкин, — представил он своего знакомого. — А это Константин, наш младший научный сотрудник, — обратился Юнерман к Лямкину. — Кстати, тоже пишет стихи.

Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.

— Любопытно, любопытно, — несколько поскучнел Лямкин, подсаживаясь за столик. — Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом. Гриша, ты, я вижу, с морей и, конечно же, при деньгах. Угощаешь старого друга и поэта?

— Ну, а куда от тебя деться, — натянуто улыбнулся Юнерман. — Тем более ты уже уселся.

— Вот и хорошо, вот и ладушки, — потёр ладони Лямкин и прокричал в зал: — Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков для начала! — вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ. — За встречу! — поднял свой фужер Лямкин. — Гриша, за тебя! — и, не дождавшись остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил снова. — За поэзию! — выпил и второй фужер.

Костя молча поглощал борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямкина. Первый раз в своей жизни Косте довелось встретиться с настоящим поэтом. Весёлый, раскованный, компанейский. Вот бы ещё его стихи послушать, а может, рассказы о встречах со знаменитостями, ведь такой наверняка знаком с лучшими поэтами и писателями.

— Гриша, — налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лямкин, — а давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинными любителями искусства!

— Лёня, — укоризненно покачал головой Юнерман, — третий тост поднимают не за музу, а за...

— Да брось ты, Гриша, банальности разводить, — скорчил недовольную гримасу Лямкин и залпом выпил коньяк. — За тех, кто в море, за тех, кто не с нами... Фигня всё

это. Пить надо за себя любимых, а не за кого-то там вдали.

Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить с поэтом не стал, зная его капризный характер.

— Слушай, Лёня, ты что-нибудь новенькое написал? — перевёл он разговор на другую тему.

— Не уважаешь, Гриша, ты меня, — обиженно вытянул нижнюю губу Лямкин. — У меня ни дня без строчки, как сказал один известный мудака. Кстати, и на вашу морскую тему есть немало. Счас, только выпью чутка и выдам, — Лямкин выпил очередной фужер, крикнул, закусил и повернулся к Костику. — Слушайте, молодой человек, оцените и запоминайте, как сидели за одним столом с гением русской словесности, потом внукам похвалиться будете.

Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую вытянул вперед и начал с пафосом:

*Корабли уходили в ночь,
Далеко от родного берега,
И волна убегала прочь
За кормой к берегам Америки.*

*Спи, родная, в тиши ночной,
Приплыву я к тебе сквозь туманище,
Охраняю я твой покой,
Ведь я главный в морях капитанище.*

*И когда мы вернёмся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой
Не Америка, а родных скопище.*

— Bravo, Лямкин, bravo! — ухмыляясь, захолопал Григорий Моисеевич. — Это величина!

Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:

— И ещё из недавнего:

*Люблю себя в своем лице,
И не возможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на гаче.*

*Я есть советский гражданин,
Я патриот своих началов,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актер Качалов.*

*Мы все рождались из полей,
Из жнив, из гумен, из пшеницы.
Ты трогать Родину не смей,
Она — орел, она — жар-птица.*

*Большой державною рукой
Она карает и лелеет,
И я иду по ней ногой,
И сердце гордостью смекает.*

Костя изумлённо уставился на Лямкина. Поэт, заметив это изумление, тут же продолжил:

— А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова, слушайте!

*А вот и встал навеки миг
Во славу музе потрясенной,
Нырнул в пучину яркий блик —
Поэта стих завороченный.*

*Я будто памятник себе,
Ещё не есть, но скоро буду.*

*Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы — не забудут!*

*И пусть гремит во все концы
Известное моё творение.
И пусть читают подлецы
Одно про них стихотворение.*

*А в нём весь я, с конца в конец,
Моё нутро, моя судьбина.
Своим стихам я сам — отец,
А кто не внемлет мне — дубина.*

— Ну, Лёня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошел, аки Бог, — налил себе коньяка Юнерман. — Вот этим ты меня сразил, убил наповал!

— А, понял, Гришка, понял потаённый смысл! — светился всем лицом Лямкин. — Я знал, знал, что поймешь! На руках за такое носить надо.

— Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена, — криво улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич. — Много выпил, пока родил это?

— Не знаю, не считал. Ещё прочесть?

— Хорош-хорош, — отстранился от поэта руками Юнерман. — Дай это переварить.

— Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьёзной поэзии, — пренебрежительно скривил губы Лямкин. — А вот молодой человек хочет послушать настоящую поэзию. Ведь так? — обратился поэт к Костику.

Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:

— Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.

— В смысле — кого-нибудь? — набычился Лямкин.

— Ну, Вознесенского или Евтушенко, например, — тихо произнёс Костик две пришедшие на ум фамилии.

— Дерьмо и дерьмо! — брезгливо вытянул губу Лямкин.

— В смысле? — не понял Костик.

— В смысле — два дерьма, — ответил поэт.

— Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?

— Дерьмо и дерьмо!

— Ахматова и Цветаева? — недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.

— Ахматова и Цветаева — ещё два дерьма.

— Да вы что! Как же так? Ну, а Пастернак, Блок, Есенин?

— Ещё те вонючки, одна тошнота, — изобразил отрыжку Лямкин и обратился к кажущемуся безучастным Юнерману. — Гриша, что за идиота ты привёл? Он ни черта не понимает в поэзии!

— А Пушкин, Пушкин кто? — Костик приподнялся из-за стола.

— Дерьмо твой Пушкин!

— Всё! — ненавидяще произнёс Костик, схватил мускулистой рукой за ворот Лямкина и пинками начал подталкивать к выходу.

— Как ты смеешь! — кричал, вырываясь, Леонид Лямкин. — Ты кого пинаешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Я отомщу-у-у...

Вышвырнув поэта за порог, Костик вернулся назад к Юнерману, уверенный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере. Как же, выставил друга Григория Моисеевича! Каково было удивление Костика, когда он услышал:

— Молодец, Константин, наш человек. Быть тебе в нашей команде.

Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шел на встречу со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из салона «Тойоты» пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки книг.

— Давайте я помогу донести, — предложил свои услуги Ребров.

— Вот спасибо, — обрадовалась женщина. — Тут рядом, на второй этаж, в хранилище.

Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:

— А кого я нес-то, скажите?

— Да этого... Леонида Лямкина.

— Вот чёрт, — рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам. — Отомстил всё-таки старый графоман, заставил себя на руках носить!

Дмитрий СТРЕШНЕВ

ПОСЛЕДНИЕ СКАЗКИ СОВЕТСКОЙ ПОРЫ

1. ШАХМАТЫ

Иван Петрович Пешако работал в одном НИИ... кажется, НИИМЕХШУХ... или, по-стойте: НИИШАХМЕХ?... Впрочем, важно ли? Мало ли разных НИИ в нашем городе. А уж во всей стране!.. И звали-то нашего героя — вот незадача! — звали, кажется, вовсе не Иван Иванович, а Петр Степанович... или... ну точно! — Николай Петрович, ей-богу — Николай Петрович, как я мог забыть! Каждый день поутру, кроме суббот и воскресений, Николай Петрович добросовестно приезжал в свой упомянутый НИИ точно к 9.00... конечно, бывало, что и опаздывал — автобусы, сами знаете, как ходят — поднимался к себе на третий этаж в сектор этого... как его... в общем, неважно. А лифт, высадив его, уносился выше, где были другие сектора и отделы, и еще выше, где уже не было отделов, а мерцали в не знающих толкучки коридорах таблички на дверях и приглушенно ворковали в телефон секретарши.

Иван Петрович... — извините великодушно! — Николай Петрович любил, когда текущие дела забрасывали его на эти покрытые коврами этажи. Он и сам не мог объяснить, почему его непременно охватывало вдруг в приглушенных коридорах некоторое возвышенное чувство. К тому же, останавливаясь перед мерцающими на дверях табличками, он любил иногда (просто так, конечно) представить: что если на одной из них была бы впечатана на меди его фамилия: «Н.Н.Пешако»? Бывало, он даже представлял, зажмурясь, своих сослуживцев, заглядывающих в приемную и трепетно спрашивающих секретаршу: «Как Николай Петрович — занят?..» Многие, может быть, усмехнутся, услышав об этом ребячестве, но я спешу оговориться, что Николай Петрович Пешако и сам в конце концов усмехался и шел себе дальше по делам с пухлой папкой подмышкой, поскольку человек он был неглупый и мыслящий весьма трезво.

Пить чай Пешако ходил к Запехотину в сектор Ц. А у вас в учреждении чай разве не пьют? Ну, вот видите!.. Стало быть, Николай Петрович ходил пить чай к Запехотину. Или его фамилия была Запешкин? Запечкин? В общем, незаметный кто-то, невзрачный.

Кстати, вспомнил, в каком секторе и наш Николай Петрович работал: сектор Е, комната 2. Но это к слову.

В тот день совсем уж собрался он к Запешкину (или: Запечкину?), уже приготовил стакан с подстаканником «20 лет ВДНХ», как зазвонил-запел телефон, а в телефоне — сам Пал Иваныч Конякин, заводделом.

— Пешако? Заскочи...

Пешако это «заскочи» не нравилось. Сам он привык дела продвигать обстоятельно и всю несерьезность Конякина видел. Уж больно резов тот был, через головы так и норовил сигать да при этом выражался таким образом: мол, проскочим, раз, два и — в сторону. Пешако шараханья такого не понимал и не одобрял.

Конякин, по обыкновению своему, в кабинете метался туда-сюда.

— Какой у нас месяц — помнишь?

Пешако — человек маленький — головы высоко не задира, глядел в корень.

— Помню. Конец квартала.

— То-то!

И выяснилось: проект пора сдавать, заказчик проектом недоволен и, между прочим, не зря недоволен. Но это между нами.

— Сегодня заказчик представителя пришлет. От сектора Ф будет Офицеров, от нашего Ферязин решил тебя выставить. Я ему намекнул: некрасиво, мол... уровень... А он: Пешако, мол, проходной, — Конякин коротко ржнул. — Сам я, мол, тоже не начальником родился... Демосфеном хочет быть.

– Демократом, Пал Иваныч.

Пешако скромно смотрел, наклонив голову. Голова была круглая, аккуратная.

– Ты уж не подведи, братец, – заключил Конякин. – Защити честь отдела. Ты у нас теперь вроде как фигура центральная...

Представитель заказчика листал проект, тыкал пальцем, морщился.

– Вот тут у вас... И тут... Это вот – совсем даже...

Офицеров из сектора Ф только вздыхал, соглашался:

– Это – да... И это... Тут доделаем... Здесь доработаем.

Все по-белому норовит. Чистюля!

Пешако черное и белое враз перемешал.

– Это так, так и так. Труба отсутствует? Мы же усовершенствовали!.. Фундамент слабоват? Расчеты показывают... к тому же экономия, разве не видите?..

По всем статьям претензии к своему отделу отбил, так что представитель заказчика боялся рот раскрыть. Хоть и маясь, подписал проект. А сектору Ф, разумеется, документацию вернули на доработку. Офицеров все вороха назад понес.

Конякин, когда Пешако ему рассказал и подпись продемонстрировал, не усидел, из-за стола выскочил.

– Ты, Пешако, голова! Здорово у тебя получается. Я заскочу к Ферязину – замолвлю про тебя.

Николай Петрович Пешако на эти слова вежливо кивал, хотя догадывался: Ферязину Конякин себя прежде выставит: мол, мой был ход, известный.

Конякин же от восторга так и подпрыгивал.

– Стало быть, квартал закрыли. Теперь и премию можно будет... и соревнование... вымпел... вот сюда повесим!

Пешако вежливо радость разделил. Потом напомнил, что он человек деловой, ненавязчивый:

– Так я пойду, Пал Иваныч?

– Иди, молодец! – напоследок похвалил Конякин.

Только Пешако вышел – на него – животом вперед – наехал Турава, председатель месткома.

– Слушай, мне про тебя тут рассказывали – ты, оказывается, парень с головой.

– Что вы, я так, фигура маленькая, – отмахнулся Николай Петрович.

– Ладно, ладно! Так ты меня прикрой на собрании. Идет?

– На собрании?

– Ага.

Пешако вздохнул.

– Весу у меня мало.

Турава расстроился.

– Как же быть?

– А вы скажите, чтобы проголосовали за меня – в президиум, – предложил Николай Петрович.

– Э... – Турава задумался, потом просиял: – Мы Ладына прижмем, Чернокопытова сразу вытолкнем вперед и тебя продвинем в президиум.

– Не откажусь, – скромно потупился Пешако. – Продвигайте...

– Ну, до встречи!

Турава двинул по коридору дальше, а Николай Петрович Пешако пошел к себе в отдел.

До самого обеда он привычной рукой калькуляции расчерчивал, бумаги нужные приносил и уносил, а в голове между тем себя, Тураву и некоторых других сослуживцев туда-сюда передвигал – прикидывал: если вот этот сюда попадет, а тот туда подвинется – что выйдет? Не первый год, слава богу, Пешако в НИИМЕХШИХ (или – ШАХМЕХ?) тихо и добросовестно трудился, знал: у кого длинный ход, а у кого короткий; кто через других любит прыгать, а кто привык ломить напрямую. И – главное – понимал, что не в нем, скромном и незаметном Николае Петровиче, дело, а в том, как вся партия разложится – тогда и в его судьбе, глядишь, продвижение произойдет.

Партия между тем раскладывалась.

К Тураве в местком заглянул Слоныкин, известный любитель все поперек делать, всем дорогу перебежать, в общем, склочник.

Занегодовал:

– Пешако заказчику проект с недоделками впихнул. Должен местком разобраться или нет?

Турава Слоныкина похлопал по плечу:

– Николай Петрович у нас комплекции не крупной, фигурой особо не вышел, у

него и сил нет — руки заказчику выкручивать. Работник он смиренный, дисциплинированный, побольше бы таких. А если заказчик проект подписал, значит — возражений по нему не имеет.

Так сказал Турава, а сам подумал: «Я тебя за Пешако с потрохами съем, теперь это мой человек».

— Да чихать я хотел на Пешаку, — опять Слоныкин свой склочный характер показал. — Не в Пешаке дело. Пускай живет, прыгает! Мне принцип важен. Если один отдел проект с недоделками сдал, пускай и у других примут без доработки!

С этим, понятно, председатель месткома не согласился и требование Слоныкина гневно отверг. Так тот и удалился, пообещал только нехорошо: ну, мол, ладно, поглядим... там!

Турава на его слова внимания не обратил, поскольку очень торопился: надо было резолюцию собрания успеть согласовать с Ферязиным. А с начальством, как известно, всегда сложно: то занят, то совещание, то из таких сфер позвонят, что трепетно подумать.

Турава на часы поглядел, махнул рукой на лифт и — скоком, скоком — на шестой по лестнице, будто просто какой-нибудь Конякин. И вовремя. Ферязин как раз из кабинета нацелился, ищи его потом, у него пути не зарезервированы.

— Что тебе? Спешу...

— Я мигом, Сан Ваньч. Я резолюцию к собранию — согласовать.

— Ну давай, взгляну...

— Вот... тут и тут... как вы говорили... Здесь — видите? Смягчили, как вы указали, а вот здесь усилили.

Александр Иванович Ферязин поиграл бровями.

— Ты не части. Скажи лучше, кого в местком двигать хочешь?

У Туравы в руке оказался листок.

— Вот я тут... разграфил.

— Хм... — Ферязин задумался, щеки себе погладил, размышляя. — А это, стало быть... Пе...

— Пешако Николай Иванович, из сектора Е.

— А... Помню, помню... Пора выдвигать рядовых, но инициативных работников.

Действуй.

— Понял, Сан Ваньч. Действую.

Обратно в местком съехав, Турава позвонил Чернокопытову, сказал только одно слово:

— Зайди.

Чернокопытов — через две ступеньки на третью, углы срезая, — прибежал.

— Вызывали?

Турава поиграл бровями.

— Тебе ответственное задание есть: президиум собрания предложишь, а после резолюцию. Вот список, вот текст. Вопросы есть?

У Чернокопытова вопросов не было.

— Не в первый раз!

Турава его по сутулой рабочей спине похлопал — как погладил:

— Молодец. Действуй.

Тем временем минуты громоздились в часы и догромоздились до нужного срока — традиционного, когда собрания устраивают. Того самого, когда еще рабочему дню не конец, но работать уже перестали. А у вас в учреждении разве не так? Ну, вот видите!..

Все шахмах... или мешмаховцы? — все в зал стекались, рассаживались в привычном порядке. Пешако в первые ряды пробрался, сел под самой сценой: и на виду, и никому панорамы не заслоняет. Турава из конца в конец взад-вперед летал, суетился, последние распоряжения отдавал. Подъехал и к Пешако.

— Ну, давай как договорились.

И помчался дальше, не дожидаясь, пока Николай Петрович благонамеренно кивнет.

Поначалу вся комбинация как надо сложилась. Ладбина прижали, Чернокопытов выскочил, предложил президиум, в том числе Пешако.

Первым выступал Турава, ломил, как всегда, напрямую: мол, Конякин с его отделом за всех отдулись, квартал закрыли. Но тут неожиданно Слоныкин от отдела Ц стал на него наседать: вы, мол, от нас Конякиным прикрываетесь, а сами без суеты жить норовите, с места не сдвинешь, пока мы туда-сюда носимся. И в проблемы наши вникнуть надо, а не с бухты-барухты разгоны раздавать. Кое-кто Слоныкина в голос поддержал.

Турава от Конякина отпихнулся: да кто он мне? так, сбоку-сприпеку! — и стал смо-

треть на Пешако: дескать, пора, вступай в дело, для того тебя в президиум посадили. Николай Петрович этого взгляда совершенно не заметил и стал наливать себе воды из графина. Не прикрыл. Стало ясно: не бывать Тураве в месткоме.

Конякин понял, что дело худо, выскочил вперед — Тураву спасать, но тут Слоныкин его и срезал:

— А вы, тов. Конякин, вообще любите уваливать в сторону!

И все согласно промолчали, поскольку знали: действительно, любит в сторону свернуть в последний момент.

Такой поворот дела Ладьяна подтолкнул, и он тоже на Конякина бодро поехал:

— Я — все знают — иду прямо, не сворачиваю, а вы — все уже говорят — проект с недоделками сдали!

Пешако предложил всё как надо в протоколе зафиксировать. Слоныкин и на него по привычке из своего угла набросился. Но Николай Петрович не дал Слоныкину разлететься.

— А какой у вас, скажите, процент?

— Что? — Слоныкин не понял.

— Процент.

— Какой процент?

— Практической отдачи.

Слоныкин растерялся и ретировался, а по залу прошел одобрительный шум, потому что все знали: Слоныкин известный скандалист, вылезает, когда надо и не надо.

Пешако оживлением воспользовался, преданно поглядел на Ферязина и предложил подвести черту. Ферязин благосклонно наклонил голову.

Тут же выскочил Чернокопытов, который заранее переехал в первые ряды, и предложил заранее запасенную резолюцию — как ему и было поручено. Резолюцию же Турава приготовил отменную, обкатанную, на все случаи жизни, недаром неделю над ней сидел.

Правда, кое-кто в рядах заволновался: не понравилось, что уже все готово, где надо усилено, где надо смягчено. У вас в учреждении тоже, наверное, такие умники есть? Но Чернокопытов резонно разъяснил: мол, чтобы ваше же время не тратить, за вас и постарались.

Проголосовали.

На том собрание завершилось.

Расходились все по НИИШАХМАХу, обсуждая, и гул был оттенка одобрительного, кое-где даже трепыхался легкий смех: видно, вспоминали, как Пешако Слоныкина срезал.

Сам Николай Петрович, стоя за президиумным столом, бумаги собирал. Сбоку от него Турава тоже листки в папочку «Для доклада» укладывал. Николай Петрович, может, и видел, как он посверкивал глазом, и даже вроде донеслось оттуда что-то насчет «фрукта», но Пешако как человек скромный только горбился, бумажки аккуратно подкалывая. Потом говорили, что Турава в конце концов своим огромным животом наехал на бедного щуплого Николая Петровича, как бы желая того растоптать. Но такого быть, очевидно, не могло, поскольку к Пешако в это время — все видели — подошел сам Ферязин и выразил свое одобрение.

Еще целую неделю только и было разговоров в институте о том, как ловко Пешако собрание разыграл: прошло оно остро, но закончилось привычно, без подвоха для начальства, и сослуживцы только руками разводили: как же это, в каком воздухе незаметный Николай Петрович сумел уловить, что Турава поперек пути Ферязину начал становиться?

В общем, все прошло гладко, день кончался. Николай Петрович Пешако вернулся на свой этаж к скромному столу. Просмотрел кое-какие документы, освежил, выписал на календарь. Потом поглядел на часы: батюшки! заработался, пора домой.

По дороге, проходя мимо сектора Ц, Пешако увидел под дверью у Запехотина свет, заглянул:

— Ты что тут?

— Да вот, Николай Петрович, интересная статья попалась... «Проблемы диагональных ходов». Не успел за день дочитать.

— А... ну читай... Чай-то завтра будем пить?

— Конечно, Николай Петрович, заскакивайте.

— Зайду, зайду...

Пешако вышел в коридор, уже притемненный и пустой, с привычными линиями дверей. И тут — то ли игра бликов в сумерках, то ли просто глаза устали за целый-то день — показалось, что на дверях холодным рыбьим блеском очертились таблички. Но Николай Петрович усмехнулся, моргнул — и глупая игра света пропала. Николай Петрович привычно затопал к лифту, а его фигуру в сером немарком костюме быстро

почти смысла коридорная тень, и только когда он проходил под тлеющими вполсилы дежурными лампами, мелькала на свету его круглая стриженная голова.

2. ДУША

В ночь с 7 на 8 сентября тысяча девятьсот... а впрочем, какая разница какого года, разнорабочий магазина «Рыба-мясо» районного города Усть-Заплугаевска Семен Мухов в большом подпитии возвращался из «Пельменной-закусочной» от гастронома №3. Ноги его совершенно не делали того, что желал от них хозяин. Они то бросали Семена к стенам, то выводили на середину улицы, так что тот наконец начал подозревать, уж не оставил ли он свои ноги в «Пельменной-закусочной», прихватив по ошибке чужие.

Кроме этого, Семен Мухов воспроизводил горлом громкое мычание и иногда — звуки наподобие «Тха!.. Йи-эк!.. Мны!..» — и другие, причем представлялось ему, что он поет громким и красивым голосом:

*«Гулял, гулял, мальчишечка-а-а,
Гулял я в го-о-орогах!..»*

Таким образом Семен Мухов благополучно добрался до угла ул. Гоголя и уже подготовил силы, чтобы, как всегда, свернуть на ул. Бабеля, когда со стороны ул. Гегеля показалось позднее авто.

Что произошло в последующие несколько минут, не совсем поддается объяснению. С непонятным криком Семен Мухов бросился наперерез транспортному средству, которое двигалось по нужной стороне с необходимыми сигналами и даже, кажется, не превышая установленной скорости. Во всяком случае, любой, кто находился бы в это время поблизости, в ужасе закрыл бы глаза. А когда их вновь открыл, увидел бы нашего героя недвижно лежавшим посередине мостовой. Сам ли он упал, зацепившись ногой о другую, или задел его полунощный шофер — трудно было сказать.

Авто же исчезло.

Через некоторое время на место происшествия прибыла выкрашенная под сумерки патрульная машина. Двое милицейских вышли, осветили фонарем и принялись говорить в телефон. Говорили же они не зря: Семен Мухов сыграл в ящик.

Как водится в подобных случаях, вскорости с лиловым мерцанием подъехала скорая, забравшая тело в надлежащее место.

Так на свете стало одним Семеном Муховым меньше.

На следующий день около полудня проходящим участковым инспектором Яковом Сидоровичем Добробабой близ описанного места была случайно обнаружена грешная душа бывшего разнорабочего Семена Мухова, зацепившаяся за водосточную трубу.

Добробаба вмиг опознал находку, ибо столь мерзкая душа могла быть лишь у гражданина Мухова, и, будучи в затруднении, что с ней делать, занес душу в магазин «Рыба-мясо», где работал бывший ее владелец.

В тот момент в подсобном помещении магазина находились грузчик Егор, сторож Елизарыч и кассир Нинель Даниловна. Все они уже знали, как некрасиво кончил их бывший товарищ, и, как люди правильные, не одобряли того, что Семен, будучи в подпитии, бросился наперерез транспорту, но душу приняли довольно радушно. Грузчик Егор усадил ее на ящик, и все столпились вокруг, жадно наблюдая, что будет делать душа.

Прежде всего душа осмотрелась и моргнула.

— Мыргает, — заметил Егор.

— Мыргает, — согласился Елизарыч.

— Отчего ж не моргать! — добавила кассир Нинель Даниловна.

Тут Душа шмурыгнула носом и сказала гадким сильным голосом:

— Ну чего уставились? Души живой не видали?

Но не успела она договорить, как дверь распахнулась и на пороге появился сам заведующий магазином Александр Александрович Стрюпин в распахнутом на начальственном животе крахмальном халате, в нарукавниках, химическим карандашом «Пионер» почесывая возле уха.

— Что же это? — с укором сказал он. — Нинель Даниловна, почему не в зале? Егор, лодырничаете?

— Да вот... тут... такое дело у нас, — пробормотал за всех в ответ Елизарыч, от смущения залезая рукой в бороду.

Заинтересовавшись, Александр Александрович Стрюпин сунул карандаш в нагрудный карманчик, шагнул в подсобку, подошел к ящику и, ткнув пальцем, спросил:

— Никак душа?

— Душа, Сан Саныч, — ответил Егор.

— Чья?

- Семена нашего.
- Как же он без нее?
- Да, видать, обходится.

Помолчали.

— Ох, не к добру это, — сказал вдруг Елизарыч. — Гнал бы ты ее прочь, Сан Саныч, али в подвал запер. Дурная это душа.

— Да что же это такое! — взорвалась тут Душа. — Живую душу на улицу гонят! Что за порядки! Где участковый?

— М-да-а, — сказал раздумчивый Егор. — Душа-то не сахар. Но куда от нее денешься? Из магазина не погонишь — все равно назад влезет. В подвал не посадишь — в любую щелку вылезет. Одно слово — душа.

— Зато кормежки не просит, — заметила между прочим Нинель Даниловна.

— Так ведь запыет! — возразил Егор.

— Запыет, — подтвердил Елизарыч.

— Ну и запыю, ну и что? — огрызнулась Душа. — Имею такое право! Ты их, начальник-гражданин-заведующий, не слушай. Такие люди — кого хошь обгадят.

— Да я... я и не слушаю, — растерялся Стрюпин и сразу заторопился куда-то. — Ну, вы уж тут как-нибудь без меня разберитесь, а я пошел. Нинель Даниловна, позвольте вам тоже в зал пройти, не то покупатель волнуется. Егор, после пельмени в отдел подай. Бывайте.

— Трогай, дядя, — проводила его Душа.

Егор же хмуро спросил:

— А куда ж нам девать-то ее, Сан Саныч?

На что тот отвечал:

— Положите ее пока... куда-нибудь.

После этого Александр Александрович Стрюпин ушел в торговый зал, потом в кабинет и совсем забыл о найденной душе своего бывшего разнорабочего.

На следующий день Александр Александрович, как всегда, делал обход магазина и, обошедши зал, где проверил, на месте ли книга жалоб и предложений, заглянул, по привычке, в подсобное помещение. Все было вроде бы в порядке, и Александр Александрович вознамерился было уже вернуться к более важным делам, как увидел грузчика Егора, что бродил без дела, насупясь, между вавилонами разновсякой тары.

— Егор! Ты что же, никак выпивши? — строго сказал Стрюпин.

— И вовсе не пьяный, — отвечал на это Егор, — а даже наоборот, тверезный.

Тем не менее, он продолжал заглядывать по сторонам, будто что-то потерял.

— Что ж ты должность не справляешь? — продолжал сердиться Стрюпин. — Ходишь себе, бродишь только... Вот сейчас фургон с мяскокомбината подъедет, а у тебя — гляди — весь коридор лотками заставлен.

— Да, стало быть, такое дело... — сказал, начесывая загривок, Егор. — Такое дело... Нынче только целую осетрину — вот такую — сюда положил, и куда-то девалась вдруг, рыба чертова...

— Ты лучше, лучше смотри! Как это — «девалась»? Сбегай вон в овощной, съешь огурчика с рассолом. Куда могла деваться?

Егор с великим укором поглядел на заведующего.

— Я, Сан Саныч, пятый год в магазине, а все равно этого дела себе, кроме как по великим праздникам, на рабочем месте не позволяю.

Тут Александра Александровича вдруг как осенило:

— Постой, а Душа?... Душа-то где?

Обшарили все помещение, разделочную, весовую, но ни Души, ни осетра не обнаружили. Заглянули даже в шкаф, где пылился свернутый в удава пожарный кран, но и там ничего не оказалось, кроме лилового таракана, которого Александр Александрович в целях гигиены тотчас раздавил пальцем.

Душа явилась вечером, под закрытие, сильно навеселе, вошла к Стрюпину и села ему на стол. От нее убийственно разило вином.

— Здорово, гражданин заведующий! — сипло сказала она Александру Александровичу и мерзко подмигнула.

— Отдай осетра, — мрачно сказал тот.

— Какого оси... ситра? — удивилась сильнее, чем нужно, Душа. — Знать я ничего не знаю и селедок твоих копченых не брал... Думаешь, я — простой человек, так и выпить не имею права?... Имею полное пр-р-р-раво! И ты штоб... ни-ни!.. Не моги меня за эту склонность осуждать.

Услышав такие наглые речи, Александр Александрович, естественно, налил багровым негодованием и ударил по столу кулаком так, что Душа, сидючи на нем, даже подскочила от сотрясения.

— Цы-ыц! — зарычал заведующий страшным голосом. — Конец квартала на носу, ревизия через неделю! Отдавай осетра! Я на тебя бумагу напишу! В тюрьме сгною!

— Ха! — презрительно отвечала Душа, сплевывая на кабинетный линолеум. — Напиши! Попробуй! — потом помолчала, мутным взглядом уставясь на кривую реализации на стене, и, буркнув: — Ну, прощевай! — соскочила со стола и вышла, громко хлопнув дверью.

Александр Александрович в запальчивости хотел было чем-нибудь кинуть ей вслед, но вдруг почувствовал слабость и в изнеможении раскинулся в кресле.

«Ай-ай-ай! Вот ведь, действительно: куда на нее пожалуешься? — тоскливо подумал он. — Разве что в какие небесные инстанции! Известное дело — душа...»

Ночью Александр Александрович Стрюпин спал плохо и пугал супругу вскриками. Ему снился жуткий сон, будто Душа бежит по магазину с мясным топором и бьет им по кассовому аппарату.

Утром Душа заявила к Стрюпину немного не в себе. Потоптавшись по кабинету и пересмотрев все графики и строгие плакаты на стенах, она мрачно сказала Александру Александровичу:

— Слышь, начальник, дай рупь — опохмелиться.

Надобно сказать, что Стрюпин в этот день был зван на один небольшой сабантуй, и отвязаться от Души было пределом его желаний. Поэтому он даже собрал на лице умильные морщины и произнес приторным голосом:

— Ну что ж, голубчик ты мой, что ж тут делать. Поди, дорогуша, выпей водочки, развеселись. На вот, возьми три рубля.

Душа взяла три рубля и удалилась.

Вернулась она под вечер, часам к шести, в еще более гадком настроении, нежели утром, потому что в рюмочной «Белый медведь» встретила старого друга Васяню Несоленого, которому Семен Мухов должен был рубль, так что пришлось старого друга угостить.

Войдя в магазин, Душа направилась напрямик в кабинет, но Стрюпина не нашла, после чего стала мрачно слоняться по подсобке, пока не наткнулась на сторожа Елизарыча.

— Здорово, дед, — сказала она, остановившись перед ним, и начала раскачиваться на носках.

— Здорово, коли не шутишь, — кашляя, отвечал Елизарыч.

— Где тиран-то наш?

— Куды это? — не понял сторож.

— Начальник наш где, спрашиваю, тьма египетская, — разъяснила Душа.

Елизарыч к грубостям Души уже попривык, а потому не осерчал и охотно разъяснил, что Александр Александрович зван вечером в гости и потому ушел нынче из магазина пораньше. Это Душе совсем не понравилось.

— А к кому зван-то? — спросила она.

— Да откуда ж знать! — сказал Елизарыч и хихикнул. — Мне не докладывали.

— Дурак, — с презрением отозвалась Душа. — Впрочем, где ему быть, как не у этого, ушастого... Знаю я. И где живет, тоже знаю, сколько к нему разов телятину возил, — после таких слов Душа скорчила Елизарычу рожу и, сказав: — Ну, дед, бывай, — отчала из магазина.

К прискорбию, нужно заметить, что Душа находилась на верном пути. Александр Александрович Стрюпин действительно зван был к ушастому... то есть, кроме Души, конечно, никто бы так и не подумал называть Жана Ульяновича Мяшкина, человека вполне солидного, заведующего городским меховым ателье. В этот самый вечер Жан Ульянович отмечал свой день рождения, по какому случаю собрал у себя подобающих гостей. Были там, конечно, директора, заведующие, председатели. Были также заместители, исполняющие обязанности, помощники. Были... в общем, все гости были никак не ниже уполномоченных. По случаю дня рождения они оставили скромные пиджаки, пропахшие у кого — казенными бумагами, у кого — душными складскими запахами, и залоснились велюром, засверкали рубиновыми запонками, запахла дорогими иноземными лосьонами «О соваж» или «Брюммель». А жены их и подружки... но нет, вряд ли кто-нибудь мог бы осмелиться передать все их великолепие. Как говорится, ни в сказке сказать, ни в описи отразить... то есть, конечно: ни пером описать.

И разговоры здесь шли самые подобающие. Большие начальники говорили об окладах, начальники поменьше — о ставках, а просто уполномоченные — о зарплатах. Говорили здесь о премиальных, о квартальных, о пыльных-дымных и... да о чем только здесь ни говорили!

Как мы уже упомянули, заведующий магазином «Рыба-мясо» Александр Александрович Стрюпин тоже был здесь. Стоя возле блюда с поросенком (званный вечер был,

разумеется, подкреплен солидным фуршетом), он чокался с Виталиком (без отчества) Стреляных, ответственным из «Автосервиса», и, лукаво усмехаясь, говорил ему:

— За твое, Виталик, бесценное здоровье, — нажимая почему-то на слово «бесценное».

На что Виталик Стреляных, не менее лукаво подмигивая, отвечал:

— Ну что вы, Сан Саныч, разве такое уж бесценное?

После этого Виталик и Александр Александрович выпили: Виталик коньяку из бутылки с созвездием, Александр Александрович «Посольской», и закусили: Виталик подцепил лимону, Александр Александрович налег на зернистую икру и маслины, приговаривая:

— Эх, хороша водочка! Выпьешь — поверишь в переселение душ!.. — но сразу вспомнил о Душе и осекся.

Между тем Душа уже нажимала на нижнем этаже в лифте нужную кнопку и поехала вверх, чувствуя острую потребность выпить и сделать какую-нибудь гадость.

Выйдя из лифта, Душа побродила по площадке, припоминая квартиру, и, прочитав на одной из дверей: «Ж.У.Мяшкин», прорворчала:

— Тута он и живет, ушастый.

Она уже было подняла руку — позвонить, но внезапно передумала, сделала неопределенный жест и протиснулась в щель между дверью и косяком.

Проникнув таким образом не без труда вовнутрь, Душа очутилась в заваленной пальто и плащами полутемной прихожей, откуда видна была часть гостиной со свечами, с водками-закусками, с парами, танцующими под нечто японско-французское. Раздраженная скулежом скрипачек, Душа помотала башкой и смело шагнула к тому углу, где теснились рюмки и разновсякие угощения. Как раз в этот момент у стола стоял с бокалом шампанского в одной руке и стаканчиком наливки в другой Лев Львович Бумбановский, гость не из самых крупных, который, как безошибочно определила Душа, был уже «набрамшись». Когда Душа приблизилась, Лев Львович как раз размышлял, выпить ли сперва шампанского, а после запить наливкой, либо же прежде откусать наливки, а уже на десерт хлопнуть шампанского.

Подойдя к Бумбановскому вихляющей походкой, Душа, не раздумывая долго, взяла у него из левой руки стаканчик с наливкой и, чокнувшись им о бокал с шампанским, который продолжал оставаться у Льва Львовича в другой руке, спросила сипло:

— Как поживаешь, Пень Дурасыч?

Бумбановский поднял глаза, но во хмелю ему вместо Души показался представительный гражданин в двубортном костюме, в рубашке с люреск... люксер... в общем, с искровой нитью и при часах «Гинья».

— Простите, я, некоторым образом, Лев Львович, а с кем имею честь? — учтиво справился он.

— Семен Мухов, — кратко ответствовала Душа. — Выпьем, Лева?

— Выпьем, — кивнул Бумбановский.

Опорожнив стаканчик, Душа посмотрела вглубь комнаты. Кавалеры и дамы неслышно плыли по ковру. Сам Александр Александрович Стрюпин тоже кружился среди всех с приятной для обозрения партнершею и что-то говорил в ушко.

— Пляшут... — мрачно констатировала Душа.

— Да-с, жуируют, — поддакнул сбоку Бумбановский.

Душа важно повернулась к нему:

— Ну, как вам бал?

— Да ничего сабантуйчик, Семен...

— Тарасыч.

— ...Тарасович, — на всякий случай слегка прогнувшись в поясе из почтения, отвечал Бумбановский. — И музыка вот, некоторым образом, весьма приятно звучит, и водок одних три сорта...

— Знатный бальчик, — небрежно сказала Душа, польщенная тем, что ее называют по отчеству, протянула руку и, не глядя, налила себе первого, что подвернулось. — Широко живет Ванька. Совсем обхамел. Ох, не к добру это!

— Об ком это вы? — растерялся Бумбановский. — Уж не о Жане ли Ульяновиче?

— О ком же еще? — удивилась Душа. — О нем, о Ваньке, конечно. Весь город говорит... «Волга»-то серенькая внизу у подъезда — его, што ль?

— Его... — прошептал Бумбановский, обмирая.

— Вот я и говорю, — продолжала Душа. — Упекут его скоро за Можай... Его и других тоже с ним...

— К-кого же? — спросил Бумбановский, отчего-то икая.

— Кого?... — сказала Душа, потом задумалась и с плеча рубанула: — Да всех!

Лев Львович Бумбановский почувствовал, что ковер под ногами у него словно бы затрепыхался, а переплеты на окнах показались слишком частыми.

— Ох, точат, точат перья! — причитала Душа. — И чернила уж налиты... Бумага казенная стопой лежит, приготовлена...

Душа еще долго приговаривала бы, но тут она заметила неподалеку колбасу «сервелат», которую, будучи Семеном Муховым, весьма уважала.

— Эва, стол богатый нынче, — переменяла она тему и двинулась вдоль стола, покинув Бумбановского, ибо тот остался стоять и трепетать на прежнем месте.

Душа же, дойдя до сервелата, вдруг наткнулась на даму, с которой только что танцевал Александр Александрович Стрюпин.

— Между прочим, — сказала дама, обернувшись и продолжая разоблачать от кофюры золотой марокканский апельсин, — вы меня толкнули.

— Ах, дико извиняюсь, миль пардон, битте-дритте, — расшаркалась Душа, а когда дама вновь отвернулась, то наклонилась к ней и назидательно произнесла: — Ты, слышь-ка, со Стрюпиным не вожжайся, заметут его скоро.

— Как это — заметут? — удивилась дама, покосившись на Душу.

— Очень просто, посодют, значит. Поедет в монастырь, в отдельную келью... лет на семь, ге-ге...

— За что же?!

— А ты будто не знаешь? — удивилась Душа. — В газетах об этом каждый день трезвонят: за подлоги, как уж водится. За хищения. Использование этого... служебного места... и за прочее всякое.

— Не может быть! — взвизгнула дама, выронила чищенный апельсин и отскочила, а апельсин покотился по столу, сбивая рюмки, как кегли.

— Держи карман шире — не может быть! — возмущенно пустила вслед Душа. — Уж кому знать, как не нам. В одном, чай, котле варимся!

Дама, рыдая, убежала. На Душу уже косились со всех сторон, и сквозь музыкальные волны слышались возмущенные голоса: «Хам какой-то...», «...Напился и буянит...», «Да кто его привел?...»

Не обращая внимания на это пчелиное жужжание, Душа налила себе очередную порцию из сосуда с непонятными чужими буквами, потом поискала: чем бы закусить? — и вдруг обрадовалась:

— Пельсин-то вон лежит! Ишь, недалеко укатился.

Опрокинула рюмку и зачавкала, капая липким соком на ковер. В этот момент на нее и наскочил петухом бледный Александр Александрович Стрюпин, зашипел гусем:

— Заявился все-таки, змей! Ну прямо как чувствовал я сегодня недоброе. Звали тебя сюда? Хулиганить пришел, к женщинам приставать? Да разве для тебя места такие? Ты еще «Шумел камыш» спой, чучело! Иди, иди вон в пельменную-закусочную!

От такого града слов Душа сперва опешила, а может, просто хотела в спокойствии доест апельсин. Дожевав, она облизала пальцы, хлопнула заведующего магазином «Рыба-мясо» по вельветовому плечу и заорала:

— Ба! Сашка! Тебя-то я и искал, разбойник!

— Тише! Тише! — зашептал Александр Александрович, нахмутив брови. — Чего раскричался?

— Ну, ладно, не бойсь, — утихла Душа. — Чевой-то весело мне стало, должно с водки этой ненашенской... Может, еще дербалызнем? По маленькой?

— Нет уж, я нынче больше не пью, — отвечал на это Александр Александрович, стихнув и словно открыв для себя вдруг что-то важное, а после поспешил отойти.

Затем он, как человек сообразительный, незаметно вышел в прихожую, забрал свой плащ и покинул квартиру гостеприимного Жана Ульяновича, не забыв, впрочем, обменяться несколькими словами с той самой дамой, что была обижена Душой.

Душа же продолжала куролесить. Ей давно уже не нравилась музыка, которой так гордился хозяин, и в конце концов она решила, что довольно терпела и что пришла пора самой повеселиться.

— Шабаш! — громко заявила она. — Эй, кто там! Выключи скрипения-пыхтения энти. Теперь я лично петь желаю, — после этого Душа пригорюнилась и затянула любимую: — Гулял, гулял, мальчи-ишечка-а-а...

Конечно, такого безобразия терпеть было никак нельзя. Поэтому гости разом набросились на Душу с обвинениями и упреками. Однако мерзкая Душа не только не испугалась, но, наоборот, перед лицом разгневанного общества повела себя отвратительно нахально.

— Ишь, разорались, — огрызалась она. — Тоже... жентильмены. Вот ты, носатый, — ткнула она в начальника мехколонны Михаила Палыча Заеца, — дачу на государственные деньги строишь, а я разве что? Разве я в претензии? Потому что я понимаю: у каждого свои слабости. И гавкать на меня не моги... И ты тоже, прыщ, — говорила она уже другому уважаемому гражданину — Аркадию Гавриловичу Братцеву-Кроликову, директору комиссионного магазина. — Ты за манухактуру из-под прилавка-то

сколько берешь? За вещичку? Ей и грош цена-то вещичке ведь, а? Ну, то-то, красавец!.. Ишь, губы надул! — кричала она еще кому-то, распаяясь. — Это ты в костюме такой важный, а ежили на одну твою душу взглянуть, так она похуже меня будет!..

В общем, вышел форменный скандал. Незваная Душа всем нагрубилась, хозяйина дома, водок и закусок неблагодарно назвала «проходимцем», а об одном очень уважаемом уполномоченном высказалась совсем обидно: «Уполномоченный — упал, намоченный».

Короче говоря, безобразиям не было предела. Напоследок Душа выпила еще три рюмки, обозвала всех живоглотами и, горько плача, удалилась.

Тогда бросились искать, кто привел хулигана. Вспомнили, что видели с вышеозначенным гражданином Бумбановского, но тот уже спал, положив голову между тарелок, и свистел носом. На спящего налетели толпой, растрясали, разбудили и стали пытаться, видел ли он какого незнакомого среди гостей и откуда тот взялся.

— В... видел, — с достоинством ответил Бумбановский, подбирая слюну. — Очень достойный человек... и даже интеле... телигентный.

Однако, поняв сквозь туман, что общество на его милейшего собутыльника весьма сердито, Лев Львович начал тут же от всего отказываться и тем окончательно расследование запутал.

Расходились все в отвратительном настроении, и даже икра и маслины лишь тянули желудки, словно камни. Душа на всех нагнала такую меланхолию, что уже на улице в любом звуке: загудит ли ветер в расстроенную флейту переулков, вскрикнет ли полочный клаксон — каждому чудился отвратительный голос с подвывом: «Гулял, гулял, мальчи-ишечка-а-а!..»

После того скандального вечера дела в магазине «Рыба-мясо» пошли совсем лихие. Душа напрочь распоясалась и стала таскать, как при жизни никогда не таскала. Немудрено, конечно: ведь прежде Семена Мухова сдерживало брэнное тело, с которым — что греха таить! — иной раз нужно было бороться, а теперь, когда одна гольная душа осталась, стало не в пример легче. Стала она совращать и Егора. Шлепала с ним картами в подсобке и орала, обнявшись, похабные песни.

Однажды привезли три ящика крабов в банках — раз в сто лет такое в обычном «Рыба-мясо» бывает. Очень пришились те крабы кстати: пора было к зиме о себе в универмаге напомнить, да и в машине где поскрипывать стало, где покрякивать, а где постанывать, а в очередь в «Автосервис», как известно, одни самоубийцы записываются. Так что крабы, можно сказать, как с неба упали. И надо же — проклятая Душа мигом все разноухала, на второй день сунулся Александр Александрович Стрюпин в заветный угол — ан крабов-то уж и след простыл! У заведующего даже в глазах помутилось.

— Да имеешь ли ты совесть? — напустился он на Душу. — Это уже за все мыслимые границы заходит! Ты так при жизни не тянула!.. или — тянул?.. Тьфу-ты, еще грамматика эта на мою голову! Но суть-то одна: издевательство какое-то получается! И ревизия совсем на носу — вчера предупредили. Понимаешь ты это, голова дубовая?..

Душа, как и следовало ожидать, ничуть не смутилась.

— Чего это ты взъелся? — сказала она. — Живот, что ль, болит?

Александр Александрович чуть не лишился чувств от такого бесстыдства. Ему захотелось кричать: «Караул! Грабят!», но он только прорыдал:

— Гангстер! Ворюга!..

Душа на «ворюгу» очень обиделась.

— Что ж, выходит — тебе можно, а мне нельзя? — сказала она, засопев. — Ты вон все мясо по какой категории пускаешь? А энтот, кореш твой, мурло семибатюшное из «Блинной», может, в блины чистую говядину кладет? Видал я, как с черного хода говядину-то так и носят, так и носят кошелками!

Александр Александрович заскрипел зубами, затопал, хотел возразить, но... говядину-то и впрямь носят. И кошелками.

Тогда, застонав, заведующий вдруг стал обмякать, оседать и очутился перед своим учителем на коленях.

— Пощади... сволочь!

— Ну, ладно, — смягчилась Душа. — Я зла на тебя, Сашка, не держу. Живи, — с этими словами она осенью заведующего жестом римского цезаря, хотя и неясно, мог ли Семен Мухов что-нибудь слышать о цезарях в своей жизни, что проистекала между магазином и пельменной-закусочной от гастронома №3.

Через два дня, как и говорили Александру Александровичу, грянула ревизия. Не то чтобы особенно грянула вроде грома с ясного неба — такого уже лет десять в магазине «Рыба-мясо» не бывало, а может, и более. Но, тем не менее, случилась эта ревизия во все не к месту и, конечно же, по причине Души.

Когда на дверь магазина повесили картонку «Закрыто на учет», Александру Александровичу стало неуютно, как провинившемуся школьнику. Люди в ревизии были свои, известные, но все равно черт знает что могли подумать. Дела запущены, недоста- ча так и выглядывает отовсюду. Кошмар! Ревизия задержалась до самой ночи — сиде- ли, считали, судили-рядили.

— М-да... — в который раз качал головой главный ревизор Василий Афанасьевич Рететей и, вынудив обширный платок, промокаивал им львиное свое лицо. — Что же тут делать будем? Нехорошо в этот раз как-то выходит. Никогда вроде такого не бывало.

— Да говорю же, не я это! — прикладывал руки к пиджаку Александр Александрович Стрюпин. — Я ж объяснял уже: душа Семенова меня подводит. Сам не рад, а что с нею поделаешь?

— Хе-хе, — усмехалась ревизия. — Ну, уморил, Гоголь прямо! Да ты сам пойми: не спишешь же на какую-то душу!

Александр Александрович соглашался и сникал.

Наконец, Василий Афанасьевич посмотрел на сумеречную тьму за окном и стал записывать бумаги в громадный портфель.

— Ну, ладно, время позднее, а утро вечера мудренее. Завтра будем ходы-выходы искать. Отдыхай, Александр Александрович, и не печалься, что-нибудь да придумаем.

Но Стрюпин только рукой махнул: эх, жизнь!..

Ревизия удалась (только Василий Афанасьевич Рететей на пороге еще раз обо- ротился и погрозил пальцем, присовокупив: «Додумался же... душа!»), а заведующий магазином «Рыба-мясо» так и остался плакучей ивой горюниться над столом с наклад- ными, на которые и глядеть-то не хотелось. Вот ведь было раньше — блеск и ажур, все гладко, хоть на коньках катайся. А нынче Рететей косился, будто он, Стрюпин, сам не понимает, что в бумагах главный корень, что хоть умри, а документ чтоб без сучка был, как лакированный! Теперь, глядишь, пойдут суды-пересуды: Стрюпин, мол, зарвался; общество в страхе отшатнется, а тут в одиночку без дружеской поддержки и пропа- дешь!

Видения одно кошмарнее другого совсем замучили заведующего.

«Интересно, может Душа удавить? — мыслил он со слезами в сердце и приходил к неутешительному выводу. — Без сомнения, такая все может: оговорить, ограбить, уда- вить... Даже если не удавит, все равно придет время — и dokonает она меня. Непременно dokonает! Ах ты, горе какое, и чем я заслужил такое наказание? Что же делать-то? Что? Может — в бутылку ее загнать?..»

Удрученный горькими думами, Стрюпин все сидел и сидел в кабинете, хотя казен- ные часы на стене уже показывали полночь. Вдруг ему показалось, что у входа в мага- зин звонят.

Александр Александрович прислушался. Нет. Ничего.

Снова затрещал звонок. Александр Александрович вскочил. Звонили с улицы, от главного входа. Кто бы это мог быть? Да еще в такой час? Непонятно... Зов звонка становился все настойчивей. Александр Александрович поднялся и отправился посмо- треть: кто это так трезвонит? — а если заплутавший пьяный, то и грозно прикрикнуть.

Он прошел через сумрачный торговый зал, где перламутровые блики уличного фо- наря задумчиво бродили по кафельным стенам. Приблизившись к двери, заведующий зажег спичку, приблизил ее к темному стеклу и ахнул: свет выхватил из мрака лицо покойного разнорабочего Семена Мухова.

Заметив Стрюпина, тот прижался лицом к стеклу, и Александр Александрович ус- лышал его приглушенный голос:

— Отчини дверь!..

— Сейчас, сейчас! — суется, Александр Александрович снял задвижку и впустил Семена. Тот вошел, сняв кепку. — Батюшки! Синий-то какой! — всплеснул руками Стрюпин.

— Полежишь с мое в могиле — не так посинеешь, — строго сказал Семен. — Заг- нивать я уж начал, так-то, гражданин заведующий!

— Зачем пожаловал-то?

— Да за душой, — пояснил Семен. — Душа моя где? Здесь?

— Тут! — радостно отозвался Стрюпин.

— А то черти телу покоя не дают, душу требуют. Говорят, в ад ее, стало быть, надо тащить. А мне надлежит покойно лежать... Так что зови душу-то.

— Сию минуту!..

Александр Александрович, спотыкаясь, кинулся назад. По стенам запрыгала тень.

Душу он нашел в подсобном помещении, где она спала на ящиках, свернувшись калачиком. Стрюпин растолкал ее, сказал строго:

— Ну-ка, пошли!

— Куды это еще? — зевая, недовольно пробурчала Душа.

— Иди, иди, — вместо ответа подтолкнул ее Александр Александрович.

Миновав разделочную, они прошли по коридору и вышли в зал, где поджидал их Семен. Увидев его, Душа остановилась как вкопанная и заметно побледнела с лица.

— Душа! — грозно сказал Семен. — Подь сюда!

— И знать ничего не желаю... — начала было та, но Семен еще более грозно крикнул:

— Душа! Ко мне! — и вдобавок топнул ногой.

И когда Душа приблизилась, взял ее, небрежно скомкал и сунул в карман.

— Ну, что ж, спасибо, гражданин заведующий. Прощай, пойду я.

— До свидания, Семен. Может, стаканчик пропустишь, погреешься... Небось, ступено... там-то?..

Бывший разнорабочий задумался.

— Нет, благодарствуйте, не приму я стакан, — наконец сказал он. — И так грехов много, что ж лишний-то на себя брать? Пойду я.

— Ну, как хочешь, — согласно кивнул Александр Александрович. — Тогда прощай. Смотри, душу не оброни!

— Не, у меня крепко, — успокоил Стрюпина Семен, повернулся и вышел.

Александр Александрович долго стоял в дверях — смотрел, как темная фигура спустилась вниз по улице, перешла мостовую и, наконец, растворилась в ночи.

А недостатку все же списали. Написали так: продукты подлежат списанию, поскольку оказались с *душком*. Правда, так как потребовалась еще подпись санитарной комиссии, пришлось цифру против прежней немного округлить.

3. «ЖЕЛАЮ!..» или ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА ОЛАДЬИНА

Вы верите в нечистого? Ну — в сатану, Люцифера, Вельзевула... как его там еще? Дьявола, в общем. Я тоже не верю. А Эдик Оладьин верил.

И еще была гроза.

Розовые молнии... Стойте, а бывают ли розовые молнии? Впрочем, кто его знает, может, и бывают, если очень внимательно присмотреться.

Итак, розовые молнии метались по небу, рычал гром, и пальцы дождя отбивали по стеклам нескончаемую песню.

Эдик Оладьин сидел на чердаке своего дома №14А.

Дом был двенадцатиэтажный, добротный, хоть и блочный. Стены его, конечно, были серенькими больше, чем хотелось бы, но зато по великим праздникам на фасаде вывешивались огромные буквы: СЛА и ТР. Непонятно? Это оттого, что вы пока не знаете, какие буквы висели по тем же дням на соседнем доме. А там висели: ВА и УДУ.

На чердаке было сумрачно и душно. Покрытые плесенью балки мрачно висели над самой головой Оладьина, и на них качалась мохнатая паутина. В раскрытое тесное окошко ветер заносил с улицы вместе с каплями дождя щекотливый запах мокрой пыли.

Перед Эдиком стоял странный предмет, похожий на... да ни на что не похожий. Никто не смог бы определить предназначение этого аппарата, потому что он не годился ни для варения браги, ни для других полезных по дому дел. Это было всего лишь приспособление для вызывания... да-да, дьявола из далекой преисподней на чердак дома №14А.

Для постороннего глаза в аппарате прежде всего выделялась толстая стеклянная труба, из которой выползал змеевик и впадал в реторту с тонким носом. Нос реторты, в свою очередь, упирался в непонятный сосуд, напоминающий кастрюлю, а из кастрюли вытекало умопомрачительное множество трубок и шлангов, опутывающих прибор почище корневой системы какой-нибудь китайской магнолии. Надо всем этим были прикреплены: старый противень, труба дымовая и другая, поменьше, с клапаном — для выхода вредных паров. Кроме того (само собой!), аппарат имел рычаг для управления и колеса от детской коляски для передвижения с места на место.

Эдик Оладьин откинул со лба прядь мокрых от усердия волос и приступил к закручиванию последней гайки. Смутные мысли суетились у него в голове, и все были праздничные, прямо разноцветные. Ого-го! Теперь он запросто велит хвостатому явиться и расколет его по-крупному. Читал он в книжках, читал, как оно делается! Можно будет такое сорвать, бляха-муха!.. Правда, придется подвыгряхнуться... заложить как-то там душу. Но внутренний голос или, как говорят лекторы, эмпирический опыт, который подсказывал Оладьину, что дьявол существует, отчего-то выражал одновременно сильное сомнение относительно райских куш.

Эдик возился себе у аппарата, напевая про белые розы, а дождь снаружи бубнил

что-то свое, и оба они были очень довольны.

Вдруг над самой крышей лопнул такой оглушительный разряд грома, что Оладьину на секунду пришли на ум сразу все инструкции об осторожном обращении с газом. Вздрогнув, Эдик присел, потом оглянулся на чердачное окно — и слегка пристолбенел. Он увидел маленький золотистый шарик — не больше гусиного яйца. Шарик висел в воздухе и нерешительно колебался под дуновениями сквозняка.

У Эдика мигом пересохло во рту, но зато ладони, наоборот, стали страшно мокрыми. Мы с вами догадываемся, что странное яйцо было шаровой молнией. Эдик Оладьин тоже догадался, поскольку любил смотреть научно-популярные передачи и был наслышан о том, какие закидоны отмачивают иногда такие вот колобки. Наполнившись морозом, Эдик встал на четвереньки и пополз задним ходом, выпучившись на гадскую штуковину. По дороге, разумеется, он наткнулся сначала на старый ящик, потом на пустую бутылку 0,75 (без которых, как известно, не обходится нигде), но даже не помянул «японского городского», как это делал обычно при подобных происшествиях. Наконец он втиснулся в угол, забился в паутину и в запах плесени — и там замер. Все веселые мысли испарились, осталась только одна мысль, довольно туманная, означающая примерно, что, мол, было бы неплохо, если бы все спокойненько и без пыли обошлось.

Шар между тем словно бы раздумывал, посещать ему или не посещать унылый чердак дома №14А. Вначале создалось впечатление, что он продолжит свой роковой путь, не заглядывая в это сумрачное помещенье, но тут внезапно ветер дунул с остервенением, и электрический гад, сухо потрескивая, пожаловал внутрь.

От шара исходило сияние, как если бы вдруг зажгли свечу. Но Эдику Оладьину было не до того, чтобы подмечать такие мелочи. В голове у него от страха стало совсем пусто и жужжали какие-то мухи. Между тем паразит остановился посреди чердака и начал медленно поворачиваться вокруг себя. Эдик совсем струсил, решив, что чудовище оглядывается в поисках его, чтобы испепелить на месте — и он на всякий случай зажмурил глаза. Но прошла минута, потом другая, а ничего ужасного, кроме зуда в отсиженной ноге, не происходило. Тогда Эдик немного успокоился и снова глянул из угла.

Шар был все еще тут, только переехал вбок и висел теперь над аппаратом. Потом он начал спускаться... спускаться... пока не достиг верхней трубы. Ослепительно сверкнуло — и ужасный взрыв смешался с ударом грома за окном. Эдик неприлично взвизгнул, на голову ему посыпалась строительная труха, а весь чердак наполнился ядовитым дымом.

Дождь за окном припустил вовсю, стало еще сумрачней.

Эдик Оладьин совсем задохнулся и закашлялся, но не собирался покидать убежище, потому что страх еще сидел у него в животе. Наконец сквозняк рассеял дым, но зловредного шара не было видно. Оладьин подождал минут пять. Все было спокойно. Тогда он встал на четвереньки и начал понемногу выползать из угла, обирая с ушей паутину и мусор. Доползая до середины чердака, он остановился и сел на корточки, став похожим на большую наседку. Потом еще раз огляделся по сторонам: не выскочит ли вдруг опять какая-нибудь гадость? И наконец он встал, разминая отсиженную ногу.

Но тут его взгляд упал на аппарат. Замечательный агрегат стоял оплавленный, безвозвратно покалеченный. Оладьину стало резко понятно, куда девалась молния.

«Вот, значит, сюда, японский городской, — сказал он сам себе. — Эта зараза ударила, значит, сюда, а машина по ней в ответ звезданула...»

И в этот миг до него дошло, что наделало электрическое яйцо. Оно уничтожило его творение! Сколько недель он добывал дефицитные детали, ковырялся тут, потел, как бобик — и вот получил вместо оригинального научно-технического агрегата просто кучу барахла со свалки!

Эдику Оладьину по привычке сильно захотелось ругаться. Как пишут в романах, гнев кипящей струей наполнил его сердце. Разумеется, как всякий нормальный человек, Эдик был устроен так, что редко видел вину происшедших неприятностей в собственном рогозействе. Ни на минуту даже он не подумал, что если бы вот, например, окно было закрыто... а сразу же стал искать виновника на стороне.

— Японский городской, кто же это окно расхлебенил? — с твердой уверенностью начал он. — Какая чертова рожа? — спросил он неведомо кого. — У-у, в душу, в печень, к чертям свинячьим!..

Привычно начав, Эдик понемногу совсем распалился, стал махать руками, метаться туда-сюда, и, не зная физики, можно было подумать, что это он разбрасывал громы и молнии над городом — так сверкали его глаза и так остервенело ухал голос.

И вдруг...

— Кхе-кхе... — кашлянул кто-то за спиной у Оладьина.

Эдик подпрыгнул, оглянулся — и на его глазах метрах в трех от него из воздуха

соткался дьявол.

Дьявол был самый обычный — обросший рыжей шерстью, весь в черном шуршащем плаще; на голове нелепо торчали маленькие рожки; лакированные копыта сияли в чердачном сумраке, как импортные итальянские ботинки.

Дьявол соткался прямо между небом и землей, вернее, между полом и крышей. Он висел... точнее, он сидел в полуметре над случайно завалывшейся испорченной электрической плитой, положив ногу на ногу и сплетя на животе пальцы. Заметив изумление в глазах у Оладына, дьявол поглядел вниз, пробормотал:

— Пардон, промахнулся, — и мигом переместился вниз, сев по-человечески.

Как ни странно, но Эдик при появлении владыки ада никакого страха не почувствовал, поскольку, как мы знаем, давно готовил себя к этой встрече. И хотя радеву состоялось не совсем так, как ожидалось, житель дома №14А даже обрадовался.

Увидев, что его собеседник не собирается падать в обморок и в состоянии вести переговоры, дьявол слегка качнул острой бородкой и сказал с легким акцентом немца, долго жившего в Риге:

— Добрый день, господин Оладын.

Нечистый говорил солидно, вежливо. Если бы не хвост, шерсть и прочие неотъемлемые атрибуты, его можно было бы принять за кооперативного доктора, и вообще он даже чем-то смахивал на банковского ревизора Петра Евгеньевича Цуцкина. Но все-таки это был дьявол.

— Добрый день, гражд... ваше... ваша... светлость, — вежливо ответил Эдик на приветствие повелителя бесов.

— Я, наверное, не очень хорошо изъясняюсь по-русски, — сказал хвостатый посетитель и осклабился. — Прошу извинить.

— Да нет, что там, вполне сносно... ваше превосходительство, — успокоил его Эдик.

Нечистый снова осклабился, и Оладын со всем понтом тоже изобразил удовольствие.

— Итак, слушаю вас, — убрав улыбку, сказал дьявол.

— То есть... что?

Дьявол проявил легкое нетерпение, что выразилось в нервном шевелении сплетенных пальцев. Он переждал очередной удар грома и повторил:

— Я сказал, что готов выслушать вас. Ведь вы, кажется, хотели меня видеть, не так ли?

Под пронзительным взглядом красных глаз Эдик немного растерялся.

— Я?... Да вроде... хотел.

«Испугался!» — с презрением подумал дьявол.

Вслух же он сказал с той же дьявольской вежливостью:

— Так что желаете?

Эдик заморгал. Губы против воли стали расплываться в простецкой улыбке.

— Что я желаю? А... а вы что... мистер, вы можете любую просьбу?... — тут Оладын проглотил кусок воздуха, недоверчиво глядя на нечистого.

Тот раздраженно пощипал бородку.

— Конечно, любую, пржзл!

— Пр... что?

— Ругаюсь, — пояснил дьявол. — Ну-с?

— Все, что ни пожелаю?!

— Пржзл! Да!

— Все, что ни пожелаю!.. — пробормотал Эдик Оладын. — Все... что ни пожелаю... что ни пожелаю...

В его глазах загорелись угли. Нервно потирая руки, он блуждающим взглядом посмотрел в окно, а в голове снова закрутились мысли.

Дьявол достал сигару и закурил, пуская синие кольца.

«Плебей! — думал он. — Сейчас попросит миллион долларов и дачу в Крыму!»

Однако Эдик брал выше.

«Теперь, Эдуашка, не продешеви! — сказал он сам себе. — Часто ли такой случай выскакивает! С рогатого фраера надо слупить без стеснения... Пусть сделает главным всей земли!..»

Но тут Эдик осадил воображение, придя в замешательство. Мужчина он был все-таки умный, и его взяло сомнение, оттого что он никак не мог представить себя исполняющим затребованную было должность. Он даже закрыл глаза и потеревил себя за нос, но — увы! — тщетно. Возникло что-то вроде конторы РЭУ №5, отчего становилось только противно.

«Ну его! — подумал Оладын. — Возможно, такой должности вовсе невозможно на свете устроить!.. Тогда пусть сделает хоть... генеральным!» — холодея от смелости, решил он. Он совсем уже собрался гаркнуть: «А подать к моему третьему подъезду ка-

кую-никакую черную с никелем колымагу!» — и даже открыл рот, но тут же в страхе его захлопнул.

«Эх, мать-перемать, ге-не-раль-ный!» — произнес он про себя, потом повторил: генеральный...» — но слово было чужим и непонятным.

По правде говоря, Эдик испытывал самое глубокое почтение перед всякими должностями, значками и орденами, а уж когда в коридоре встречал замдиректора Никиту Семеновича Феохарьева, то начинал против воли мигать левым глазом. Что же касается, например, таких персон, как председатели райсоветов или секретари обкомов, то Оладьин их сроду не видел, только читал в газетах, что они где-то есть на свете.

Поэтому у Эдика внутри что-то неуютно съежилось, когда он представил себя среди таких бугров на ровном месте, как секретари, министры, помощники, уполномоченные... и еще сколько разных будет! Стремное дело! Ведь это надо уметь, что кому сказать, как взглянуть... А недовольства пойдут? Сплетни, интриги? Непрочное дело, за милую душу фраернешься!

«Эх, твою!..» — подумал Эдик и, еще чуток поразмыслив, отказался от генерального.

Что же заказать-то?

Может — предом в райсобесе?.. Ну да еще! Тоже — Дунькино счастье — в каком-нибудь утонувшем в грязи Зареченско-Сидоровском районе порядок наводить!

А что если велеть: пусть монет отвалит?.. Или «Мерс» заморский, серебристый, чтоб даже гайшники рот разинули!.. Нет, несходно, раскурочат, сволочи, по злобе, с зависти сожрут! А за тыщу-другую, за пошлый «Жигуль» какая маза шестерить? Даже хоть бы и для дьявола. М-да...

Эдику стало тоскливо, как с большого кира. Он снова перетряхнул все, что было в голове, разыскивая подходящее, грандиозное, ломовое такое, блин!

И вдруг въехал. Понял, что вообще-то у него ничего такого и нет. Ни-че-го.

Полный облом...

Поначалу Эдик даже испугался. Да нет же! Не может быть! Должен же он чего-нибудь *этого* хотеть! Ужасного! Непременно! У каждого такое есть, чтоб как засандаить — так чтоб у всех мозги размагнитились!

Неужели он так опозорится перед рогатым, не заставит его повкалывать? Можно нарочно приколоться: мол, ну-ка, парень, рули туда-то и сделай то-то...

«Желаю!.. — твердо произнес в душе Оладьин. — Желаю... чего?»

И вдруг он сказал — так просто и неожиданно для самого себя:

— Послушайте, э... как вас там... а слабо будет дождичек прекратить? Без всяких этих штучек с душой, сами понимаете... Уж больно сырость достала!

Дьявол вздрогнул и изумленно посмотрел на Оладьина. Он уже заранее заскучал, предчувствуя вечные, надоевшие просьбы: внушить любовь дочери генерала, погасить карточный долг, сделать начальником областного БХСС, наконец.

«Да не издевается ли он?!» — мелькнула мысль.

Но Оладьин смотрел на дьявола совершенно честно.

— Прекратить дождь? — нечистый пожал плечом. — Ну, если так угодно...

В ту же секунду, словно подавившись, оборвался на середине удар грома, стало тихо-тихо (только вода капала с крыш) — и вдруг сквозь разорванные тучи в мир прорвалось солнце!

Город весь осветился и вспыхнул под лучами; заблестели стены, заиграли промытые дождем стекла.

— Радуга, радуга! — заорали на улице мальчишки.

Губы у Эдика расползлись в тщеславной улыбке.

Дьявол сидел на протянувшей грязные ножки плите, будто слегка обалдевший.

— И... больше никаких просьб не будет? — нахмурившись, спросил он.

Эдик покачал головой.

— Не будет. Спасибо большое, гражданин.

Почесав за правым рогом, дьявол встал.

— Что ж, тогда до встречи.

— Чао, — ответил Эдик.

Они пожали друг другу руки и расстались. Нечистый вышел в окно, а Эдуард Оладьин — в обитую жестью дверь.

Михаил ВОСТРИКОВ

КАК СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ОТХОДОВ

Памяти академика РАН
Леониды Абрамовича Вайсберга (1944-2020)

Представляюсь, я — научный руководитель широко известной в узких профессиональных кругах и старейшей в России инсинераторостроительной компании, кандидат технических наук, автор патентов, учебников и проч., проч., проч. Естественно, все эти «проч.» у меня в своей области — инсинераторостроение. Когда-то я был генеральным директором этой своей компании, но это работа для молодых. Устал, загнался, подорвал здоровье и теперь занимаюсь только наукой и консультированием.

Про отрасль обращения с отходами и ее болячках я знаю всё. Собственно, я и есть эта отрасль в её очень важной и значимой части — инсинераторостроении. Что такое инсинератор? Потом расскажу. А пока вот вам упражнение на технику речи:

«Российское инсинераторостроение гордится своими инсинераторостроителями и инсинераторостроительницами!»

Кто сможет такое произнести быстро, с выражением и три раза подряд, как я, а-ха-ха?

Про деньги

Я тут подумал... что раз теперь, с помощью настоя из моей шаманской мексиканской травки Калея Закатечичи, я могу посещать различные времена в ОС — осознанных сновидениях... то, попросту, в них обогащаться, как все попаданцы, мне не очень интересно. Не в смысле, что мне деньги не нужны, они всем нужны. А в смысле, что мне не интересно зарабатывать деньги как цель. Собственно, я всегда так и жил. Без рябчиков и ананасов в юности, но учился, учился и учился. А потом выучился и на всё сам себе заработал.

В общем, на относительно комфортную жизнь и что оставить детям у меня есть. То есть в олигархии я не стремлюсь, мне и так хорошо. Тем более, что судьба многих олигархов печальна. А почему? А потому, что деньги сами по себе счастья не приносят, а уж деньги как цель...

И тут вот в чём дело...

Про смертные грехи

У различных религиозных конфессий есть свои рейтинги смертных грехов, это только у православных все грехи одинаково смертные, кроме непростительного. Они похожи, но у иудеев на первом месте — жадность, а у других конфессий это «отрицание Бога» — непростительные грехи. Нюанс в том, что зарабатывание денег как таковое иудеи грехом не считают. Иудею нужно есть, пить, и для этого нужны деньги. Но вот когда иудей в процессе зарабатывания денег переходит некую черту и начинает связывать свое благополучие только с деньгами, а это и есть жадность, он тем самым отрицает Бога.

И это уже никак не отомстить, и ни один священник «отрицание Бога» в любой конфессии не отпустит, даже папа римский или патриарх. Поэтому если ты бездумно назвал правоверного иудея «жадиной», он запросто может и убить, ибо ты безосновательно обвинил его в непрощаемом грехе — отрицании Бога.

Вот такая философия. И я ее поддерживаю, хотя и не иудей. Кстати, папа римский совсем недавно своей энцикликой пополнил католический список смертных грехов «загрязнением окружающей среды». То есть загрязняешь среду не по делу, значит, смертно грешишь! Вот так!

Про отходы

А чего же я хочу, получив возможность деятельно влиять на настоящее через корректировки прошлого?! А хочу я СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ОТХОДОВ! Именно так! Спасти. Человечество. От отходов. Пока оно само отходами не стало!

Именно об этом мечтал академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг, мой старший друг и учитель, светлая ему память! Так я и буду делать — и денег заработаю, и человечество спасу! Мы вместе с ним спасём!

* * *

Сегодня экологические проблемы человечества уже страшнее голода и войн. И виной всему — отходы! Полигоны, свалки, шламонакопители, терриконы, отвалы, «Черная дыра», «Красный бор», «Усольехимпром», «Фенольное озеро»... И конца этому «милому» списку нет.

Как бороться с отходами, толком не знает никто, нас просто этому не учили. И, увы, не учат. А потому, что негде и некому!

Есть большие задачи и большие деньги для их решения. Но большие деньги эффективно осваивают «эффективные менеджеры», а задачи... Задачи остаются! И снова требуют денег для их решения. Примеров тому тьма. Даже кого-то иногда сажают.

А отходов всё больше и больше!

Про экологию

Есть прекрасные люди, называющие себя экологами. Их довольно много, и у некоторых даже есть университетские дипломы, где так и написано: «эколог» или «инженер-эколог». Эти прекрасные люди изучают и отправляют «экологию». И всем говорят, что это такая наука. Но простите, какая же это наука?!

Сегодня любой ребенок в детском саду, осознав, что фантики от конфет нужно бросать в урну, а не просто на пол, уже называет себя экологом. А одна о-очень ответственная начальница от экологии так и говорит в каждом своем выступлении: «Экология — это дело каждого!»

Представляете, если бы математика, физика или любая другая наука была бы «делом каждого»? Вот и я не представляю. Напоминает незабвенное ленинское: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством!»

Кроме того, любая наука зиждется на великих именах, которые её создали и развили. А где эти великие имена в экологии? «Заслуженных экологов» множество, а великих — ни одного. Разве что Грета Тунберг, а-ха-ха!

А где кандидаты в доктора «экологических наук»? Нетути!

А значит, экология — это всё что угодно — эгрегор, движение, партия, секта, религия, фетиш, состояние души, но никак не наука! Да, экологические аспекты есть везде, в любом деле, но это аспекты, а не сама наука.

А отходов все больше и больше!

Однако что-то в этой фразе есть! Бодрящее такое, объединяющее, правильное — покатайте на языке:

«Экология — это дело каждого!»

Даже на «скрепу» тянет. Да Бог с ней, с наукой, но сам-то лозунг ничего так, круто замешан! Напоминает, по ощущениям, «Даёшь!» и Павку Корчагина. Запомню-ка я его, глядишь, и пригодятся он мне в 1975 году.

Про «зелёных»

Есть «зеленые». Они, как и все люди, тоже хотят жить в чистой среде. Но в массе своей они фанатики, и экология их фетиш, религия. В практическом смысле толку от них почти никакого, только мешают, но шума, крика и агрессии... Эх-х, их бы энергию да на доброе дело! Помню, как они приковались наручниками к батарее у

меня в кабинете и сидели так до вечера. А я их чаем поил. Потом, когда отковались, мы поговорили. Хорошие люди, кстати, и идеи у них правильные, чего приковывались-то? А потому, что, цитирую:

«Зелёные», они ведь разные. Как верующие. Есть зеленватые, салатные, все оттенки, а есть кислотные», — так говорит мой друг из Коломны, «зелёный» со стажем Дмитрий Соломевич.

А отходов всё больше и больше!

Про технологии

Есть технологии. Каждый год по новым «отходным» технологиям защищается множество кандидатских и докторских диссертаций. Ладно кандидатских, считайте, авансов молодым учёным... Докторские же защищают, т.е. «научные открытия и новые направления в науке»! И где они?! А нетути! Значит, что-то не так и с этими технологиями!

А отходов все больше и больше!

Про специалистов

Со специалистами вообще катастрофа! Ни од-но-го! Не шучу. Сегодня ни один российский университет, проверьте, не выпускает специалистов по обращению с отходами, только «экологов». И у Росприроднадзора (РПН) нет опорного профильного вуза. У всех ведомств есть, а у РПН нет, и там работает кто угодно — прокурорские, юристы, экологи, химики, физики, лирики... Все, кроме профильных дипломированных специалистов! Большим начальникам в стране даже некому подсказать, что нужно делать? Что хорошо, а что плохо? Элементарно, чем отличаются отходы от мусора, и то не знают! А уж «горение» от «сжигания» отличить... А почему так?

Да прохлопали проблему. Дождались, пока свалки в окна полезли, и сейчас мечемся как мыши под венником. Или тараканы? В общем, мечемся. Бессистемно.

Ха-а! А теперь попробуйте эти простейшие тезисы довести до наших уважаемых чиновников и не менее уважаемых представителей вузов. Крику-то будет! Да мы! Да у нас!

Да нет у вас ничего полезного! Ни-че-го!

А отходов всё больше и больше!

* * *

В 1975-76 годах, на пике развития советской власти, экологической повестки в стране не было вовсе. Кроме пророческих предостережений двух великих академиков — Аганбегяна и Моисеева. Их не услышали! Поэтому именно в эти годы была заложена проблема. Страна тогда развивалась по принципу:

«На фиг индукцию, даёшь продукцию!»

И давали! Да ещё как! А ядовитые отходы производства и потребления складывали в кучу, дескать, потом с ними разберемся. Не разобрались! А это «потом», увы, неизбежно наступило.

Мой суперплан!

И я решу эту проблему! Времени у меня теперь хватит. Даже если помру во времени здесь, юный Леня Вайсберг во времени там закончит. И я, и он знаем, как и что нужно делать! Сформулировать доктрину. Сформировать отрасль. Обучить и вырастить специалистов. Изобрести и отработать эффективные и высокодоходные технологии. И делать это постоянно!

(РЭО, ФЭО и «РТ-инвест» — к черту! Их я образовывать не буду, деньги на ветер).

И всё это «во имя будущих поколений при коммунизме»! Хорошо сказал?! Кто в 1975 году попробует этот посыл опровергнуть или саботировать? Правильно, никто, особенно если генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в своем докладе на XXV «экологическом» съезде КПСС в 1976 году все это провозгласит. Экологию, как новую скрепу человечества и национальную идею СССР! И эту часть доклада я ему напишу доходчиво и подробно, будьте уверены.

Вот и весь мой суперплан, если коротко.

Но для всего этого очень нужны деньги! Много денег! И я их заработаю, всем хватит! Открою любую книжку про попаданцев и прочитаю, как это сделать. Вариантов море!

Ах-х, да, инсинератор — это устройство для обезвреживания (уничтожения) особо опасных отходов термическим способом. Каких, не скажу, а то не уснёте. В общем, особо опасных!

Вот такая была экология

До сорока собственных лет я и знать не знал, что такое экология! А уж чтобы самому стать экологом... Но человек предполагает, а Бог располагает.

Моё знакомство с экологией началось с того, что существовавшее тогда федеральное Министерство от экологии попросту ликвидировали, и мне довелось принимать в этом деятельное участие. Это произошло сразу после знаменитой фразы верховного главнокомандующего по телевизору:

— С такими экологами мы никогда ничего не построим!

Это когда оборзевший в корягу тогдашний министр от экологии под камеры поправлял верховного, что вот здесь газопровод строить нельзя, а можно во-о-он там, левее.

Так вот, когда начали разбираться с функциями и активами одноmomentно упраздненного ведомства, выяснилось, что функций как таковых, кроме надувания щёк, у него и не было, но был один очень интересный актив — «Федеральный экологический фонд», куда от всех юридических лиц страны поступал т.н. «экологический налог», если не ошибаюсь, около 1% от оборота, который потом попросту делился промеж своих. Естественно, кокнули и этот фонд, и этот налог. Но каковы были проныры, кто это всё сумел придумать и организовать! Их так и не посадили до сих пор.

Вот такая тогда была б экология!

Всё, что осталось от Министерства от экологии передали в другое министерство. Кое-как хватило на департамент, да и то потом половину сократили за ненадобностью. Но тамошнему министру было не до экологии, да и вообще не до чего. Он выпивал. С ним выпивали и его заместители, и простые чиновники министерства. Не с ним конкретно, а вообще. В министерской столовой тогда стояла пивная стойка с двумя кранами, так что разливное пиво в обед чиновный люд пил легально.

Дальше уже надирались кто как мог. Это было просто! Прямо на выходе из министерства чиновников караулил гостеприимный узбекский ресторанчик «Киш-Миш» с умеренными ценами и отличной кухней. Зарплаты у чиновников тогда были мизерные, не как сейчас, но на выпивку хватало. Кроме того, можно было позвонить вниз, в столовую, и прямо в кабинет тебе приносили шикарную закуску, а с утра пораньше забирали грязную посуду и пустые бутылки. Могли накрыть и в кредит, если трубы горели, а денег не было.

Кстати, выпивку крепче пива никто не покупал в магазине. Её, в основном виски, всегда приносили просители. Вот даже сейчас загляните в шкаф любого чиновника в должности от начальника отдела и выше, и вы поразитесь невиданному количеству редких односолодовых сортов виски. Традиции-с, однако!

Просители просили разное и важное. Так, например, один директор министерского подведа из Иркутска жаловался на местную судмедэкспертизу, которой три года назад он сдал в аренду (естественно, без разрешения министерства и Госимущества) огромные площади, а тот директор этому за аренду не платил. Он вообще ни за что не платил, даже за свет и коммуналку. Тогда этот директор написал тому директору претензию, которую тот вернул с резолюцией: «Прочитал, рыдал и плакал, рубашку рвал и пуп царапал!» Число, печать, подпись, всё чин по чину.

И в своей жалобе этот директор просил министерство разобраться и того директора наказать. Но не на тех напал! В министерстве в то время служил один пройдоха-замминистра, который разработал универсальную формулу для ответов просителям. На абсолютно любую просьбу он никогда не отказывал и отвечал всегда одинаково: «В установленном порядке!» Что это за «установленный порядок», было уже не его заботой.

Вот такая была б экология!

* * *

Следующий министр был похож на злобного гнома. Досушие женские языки болтали, что с такой большой лысой башкой без шеи и на коротком теле он был похож на ... ну, вы поняли. Ему тоже было не до экологии, он боролся с... мухами!

Окна его кабинета выходили на слоновник зоопарка. Хотя целый день, раздвинув шторы, отсюда можно было наслаждаться редким зрелищем, как маленькие слонятки весело играют и жуют заготовленные для них веники. Но проклятые мухи, несмотря на дорожный ремонт, непроницаемые окна и автономную вентиляцию, как-то всё равно в кабинет министра просачивались. Немного. Но из-за этих мух уволили начальника АХО.

Он приходил за час до начала рабочего дня и с мухобойкой в руках полностью зачищал кабинет министра, кончая просочившихся за ночь мух. И делал это весьма

виртуозно, ибо имел большую практику. Он бесшумно подкрадывался к спокойно сидящей мухе... молниеносный выпад, удар — и всё кончено. Хотя мухи, сами знаете, о-очень чувствительны.

И вот на каком-то совещании на дорогушие импортные очки министра в золотой оправе, лежащие перед ним на столе, села большая, жирная, зеленая муха и стала нагло чистить свои крылышки, при этом мерзко жужжа и издевательски подхрюкивая. И тут... начальник АХО! Молниеносный выпад, удар — и всё кончено. Ни мухи, ни очков. Ни начальника АХО.

Ещё этот министр любил организовывать заслушивания и требовать предложения от всех и вся по любому поводу. Чиновники изводили море бумаги, весь день писали отчеты и предложения, которые затем помощник министра Тихон В. собирал, упаковывал в огромный чёрный мешок и по-тихому выбрасывал на помойку. Он же Тихон, вот и по-тихому! Зато все были при деле!

Заслушивал же этот злобный гном не своих подчинённых, ему это было неинтересно, а себя. Он собирал огромные аудитории госслужащих, и если не хватало своего актового зала, то министерство на день снимало, например, крупный кинотеатр. Министр один садился за длинный стол президиума, из-за которого его было чуть видно, и начинал зомбировать зал, нудно вещая всякую фигню по 3-4 часа. Но если ему казалось, что его не слушают, он мрачно и торжественно возвещал:

— Товарищ И., выйти к президиуму! — И. выходил. — Вы уволены! Выйти из зала! Управлению кадров — выдать И. выходные документы!

И несчастный И., понурив голову, брёл через весь зал на выход, а его товарищи отворачивались от него, боясь случайно заразиться.

Когда и этого министра сняли, то за пару часов, пока в министерство ехал новый — каратист, «злобный гном» успел подписать шесть десятков лицензий компаниям своего сына на пользование участками недр, которые предназначались для крупнейших компаний страны, коим до этого он несколько лет лишь выносил мозги и вытягивал с них различные преференции. Странно, что его не посадили, а всего лишь потом отменили эти лицензии, да и то не сразу.

Вот такая была б экология!

* * *

После министра-каратиста было уже много министров от экологии, всех и не упомнишь. Но судя по делам с экологией в стране сегодня, все они бережно чтут память и традиции тех первых — поправителя верховного, пьяницу, «злобного гнома», каратиста и др.

А я после увольнения с госслужбы купил инсинераторостроительную компанию и до сих пор в ней служу. И вот здесь уже настоящая экология! Невыдуманная проблемы с чрезвычайно опасными отходами в условиях полного отсутствия теории и практики их обезвреживания. И мы их решаем. Приходится вспоминать всё, чему учили в институте и аспирантуре — химию, физику, математику, электротехнику, материаловедение и пр. Без них хороший инсинератор не сделать.

И что, я теперь настоящий эколог?! Конечно! Я часть индустрии, а где-то и сама индустрия. Ещё я поучаствовал в написании учебника «Термическое уничтожение (обезвреживание) отходов». Жаль, негде и некому по нему преподавать. Но это же пока...

Про «Римский клуб»

Об этом мне рассказывал академик Вайсберг, но о чем-то я и сам дотумкался.

Естественно, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в 70-х не был человеком, который бы ставил себя выше по научным знаниям и общему интеллекту, чем крупнейшие академики АН СССР Абел Гезевич Аганбегян и Никита Николаевич Моисеев. Это было бы просто нелепо. Как нелепо выглядел в 2009 году «Петрикгейт» — публичная дискуссия уважаемого политического руководства партии «Единая Россия» (ЕР) с Комиссией по лженауке РАН на предмет совместного взаимовыгодного научно-технического сотрудничества руководства ЕР с уважаемым Виктором Ивановичем Петриком. Да! Это когда Николая Коперника на весь мир определили сожжённым на костре за фразу «и всё-таки она вертится», а-ха-ха!

Тем более, что у Брежнева были другие резоны и реальные поводы собой гордиться. Многие исследователи той эпохи сходятся к тому, что за всеми пятью его золотыми звездами Героя стояли весьма достойные поводы. За те его дела, уверен, ему и сейчас бы те звёзды дали без звука, другое дело, что сейчас уже нет ни Брежнева, ни его дел. Такое было время. Эпоха великих побед и достижений. А маленькие человеческие слабости есть у каждого.

Но Брежнев был серьёзным и ответственным политиком и однозначно патриотом СССР. И в этом смысле уважаемые академики в сравнении с ним были что малые дети. Так, Брежневу, конечно же, не были «до лампочки» глубокие научные доклады академиков Аганбегяна и Моисеева об экологии, и в этом смысле он много чего тогда сделал. Об этом очень интересно и подробно пишет Юрий Шевчук в своём популярном историческом очерке: *«Среди вампиров и ёжиков. Зелёное движение в России, прошлое и современность»*, Санкт-Петербург, 2016 год.

Однако Брежнев хорошо знал, что такое «Римский клуб», на основании исследований и решений которого говорили и делали свои доклады об экологии наши академики. Ведь и сам Брежнев, а с ним и весь СССР, были для этой «сотни избранных» одной из «глобальных проблем» или «трудностей человечества» планетарного масштаба, как они называли СССР. В общем, «Римский клуб» того времени — это были нормальные антисоветчики. И всё правильно они писали про экологию, но тут же: «Страны соцлагеря необходимо вскрывать, как консервную банку — с помощью острого консервного ножа». Это как, простите? И ведь вскрыли...

А теперь поставьте себя на место Брежнева как руководителя СССР. Да он бы быстрее поверил в слова ангела древнерусских богов, он же воевал, а «в окопах атеистов нет», чем в слова врагов СССР из «Римского клуба», читай — ЦРУ. Сталин бы уважаемых академиков сразу расстрелял за такие контакты, а Брежнев вот нет, не расстрелял, но и поощрять не стал, просто проигнорировал. Добрый был человек, многие отмечали.

Про скрепу

Что же касается экологии как скрепы, читай, национальной идеи, почему у нас её так до сих пор и не нашли... Ведь у Брежнева совсем не глупые люди работали. Но почему-то они Сулова вовремя не пришли, шучу!

Ведь что такое скрепа, она же национальная идея? Это когда с этой идеей согласна вся нация! Вся, до единого человека! Это коммунизм — нет! Спорт — нет! Религия — нет! Порнография... шучу. Ну, и т.д. А вот экология, просто как желание абсолютно любого человека жить по-человечески и в чистой среде — да! И этого желают не только отдельные нации, но и весь мир! Весь, до единого человека! Конечно, за исключением буйных, которым чем хуже, тем лучше, и разных придурков.

Таким образом, вопрос с экологией как скрепой (национальной идеей), это лишь вопрос точки зрения!

Вот после революции большевики смотрели на экологию только как на средство борьбы с попами и Богом... И что? Проиграли, а институт «красной профессуры», как раз и созданный Сталиным для поиска новой скрепы, с этой задачей не справился. Впрочем, как и все его последующие реинкарнации до сегодняшнего дня — Высшая школа марксизма-ленинизма, Академия общественных наук, РАНХиГС.

А потому, что не там ищут!

Вот во всех смыслах прекрасная высокопоставленная российская чиновница от экологии, которая придумала прекрасный лозунг «экология — это дело каждого!» — что она сегодня делает для его воплощения в жизнь? Правильно, проводит детский конкурс, т.е. занимается экопросвещением, нужной, но стрельбой по площадям с дальней дистанции. Может быть, когда-нибудь это и даст результат.

А вот определила бы она экологию не как «для всех» и не как заумную науку, которой нет, а просто как желание российских граждан жить по-человечески в чистой среде... Прибавила бы к экопросвещению нормальную вузовскую систему подготовки специалистов по обращению с отходами, которых сегодня в стране нет ни одного, вот и была бы в России национальная идея, да ещё и с доктриной её развития. И кто был бы против такой национальной идеи? Правильно, никого!

Ну, может, ещё и определит... чем чёрт не шутит, как говорят в народе.

Экология по-американски

А вот у американцев всё прошло именно так, как им завещал «Римский клуб».

Именно в 1976 году, именно администрация президента Форда приняла Закон о сохранении и рекуперации ресурсов (RCRA), который до сих пор является основным федеральным законом в Соединенных Штатах, регулирующим утилизацию твердых и опасных отходов:

Конгресс принял RCRA «для решения растущих проблем, с которыми сталкивается нация из-за растущего объема муниципальных и промышленных отходов». RCRA была поправкой к Закону об утилизации твердых отходов 1965 года. Закон устанавливает национальные цели для: защита здоровья человека и природной среды

от потенциальных опасностей, связанных с удалением отходов; энергосбережение и природные ресурсы; сокращение количества образующихся отходов за счет сокращения источников и переработки; поддержание стандартов гигиены окружающей среды; обеспечение экологически безопасного обращения с отходами. Программа RCRA является совместным проектом федерального уровня и штата, при этом Агентство по охране окружающей среды США (EPA) устанавливает базовые требования, которые затем принимают, адаптируют и обеспечивают соблюдение штаты. RCRA в настоящее время наиболее широко известен благодаря принятым в соответствии с ним правилам, устанавливающим стандарты обращения, хранения и утилизации опасных отходов в Соединенных Штатах. Однако он также играет неотъемлемую роль в управлении городскими и промышленными отходами, а также подземными резервуарами для хранения жидкостей.

То есть для президента Форда слово «экология» в 1975 году уже было очень знакомо. Так, он еще в 1977 году успел принять «Закон о чистой воде». И вообще, основной пакет природоохранных законов США сложился именно в эти годы.

И если сравнивать сегодняшнее природоохранное законодательство США и западных стран с нынешним российским, по сути, это одно и то же. Только мы со своим припоздали... на полвека. Поэтому у них чисто, а у нас...

Иногда эта разница буквальна. Кто ездил зимой через любой КПП в Финляндию, могли обратить внимание на ничем не объяснимый феномен. Пока стоишь в очереди на КПП на «нашей» стороне, наблюдаешь унылый грязный снег с вкраплениями всякой гадости — банок, бутылок, бумажек и т.д. Как только переешь границу, а это буквально 200-300 метров пути по прямой, всё, снег сияет девственной белизной и ни соринки...

Ну почему так-то?!

В застенках КГБ

Итак, начали! На календаре 1 апреля 1975 год.

Я сижу на стуле, пристёгнутый к нему на-руч-ни-ка-ми! Не шучу. Чувствую, мой Миша 14-ти лет смертельно напуган и уже малость всплакнул от страха. Вот ни фига себе День смеха!

Напротив, в непосредственной близости от себя, вижу какую-то морду. Морда эта красная, с красными глазами, она шипит и плюется. Понимаю, что это человек. Он в костюме с галстуком, и мне от него преобильно прилетела хорошая такая затрещина. И уже не один раз! В одной руке у него вижу знакомый листок с печатью РОНО и моим почерком, и он тычет им мне в лицо.

— Где закладки?! Тротил или гексоген?! Сколько?! Тип взрывателя?! Кто твой куратор?! Когда и где тебя завербовали?! Какое у тебя задание?! Отвечай, гад, убью! — орет он, и я вижу, что у него в другой руке пи-сто-лет!

Над столом висит портрет Дзержинского. Железный Феликс улыбается мне одними губами, мол, не бойсь, Миша, не должны мои орлы сразу же тебя на глушняк укатать, не 37-й. А взгляд такой добрый-предобрый, как у Ленина.

Это сюрреализм какой-то! В 1975 году прикованного наручниками к стулу несовершеннолетнего школьника допрашивает сотрудник КГБ (а это, конечно же, он), размахивая табельным пистолетом! Собираюсь с мыслями и как можно спокойнее, хотя какое тут на фиг спокойствие, спрашиваю его:

— Дяденька, а вы кто?

От моего вопроса человек почему-то столбенеет, прекращает орать и подходит к столу. На столе стоит графин с водой, телефон и лежат какие-то бумаги. Человек наливает стакан воды, выпивает его, выдыхает и, видимо, хочет что-то мне сказать. Но тут звонит телефон. Человек берет трубку и четко произносит:

— Власов, слушаю! — и через несколько секунд говорит в трубку: — Есть! — идет к двери, на ходу бросая мне: — Сиди тихо, я сейчас, — выходит, и я слышу, как закрывается замок снаружи. Я остаюсь один, ничего не понимая. Скованные за спиной руки болят конкретно.

Про бомбы

Кабинет с большой приемной этажом выше. На стене портрет Дзержинского, но другой, побольше, и Феликс на нём уже не улыбается. Это приёмная полковника Антона Геннадьевича Лазарева — и.о. начальника Областного управления КГБ СССР. Сам начальник, генерал-майор, сейчас в госпитале, сказываются военные раны, и, по слухам, на службу уже не выйдет. Т.е. Лазарев встанет на его место и, естественно, вскоре станет генералом.

Власов: — Товарищ полковник, капитан Власов по вашему приказанию...

Лазарев (*перебивая*): — Ты что, Власов, ё, творишь?! Ты зачем этого пионера к нам, ё, приволок, да еще, ё, пытаешь его?

Власов: — Так ведь сигнал! Бомбы! Предотвращаю теракт.

Лазарев (*стонет, но немного успокаивается*): — О-о-о, долбоящер португальский! Поедешь, ё, на остров Александры Земли Франца-Иосифа, у белых медведиц роды охранять, ё, дежурить в тулупе и с карабином Симонова.

Власов (*уставясь в пол и чуть не плача*): — За что, тащ полковник? Я же верой и правдой, столько лет...

Лазарев (*рвякая*): — За долбоклюйство, ё, за что же еще! — и продолжает уже боле-е-менее спокойно: — Ты сам-то до конца читал сочинение этого пионера?!

Власов (*воспрянув духом*): — Нет, тащ полковник, только первый лист, где про бомбы. Там заголовок: «Бомбы замедленного действия под будущими поколениями коммунистов». И первый абзац: «Эти бомбы невозможно обезвредить имеющимися средствами, нужны специалисты, которых нет, и оборудование, которое тоже пока не изобрели». Полагаю, что под детсады и школы заложили, блин.

Лазарев: — Ясно все с тобой, Власов, и твоим агентом в РОНО. Там ещё пять страниц, которые ты у меня наизусть выучишь! И все они про бомбы, только не те, про которые ты думаешь. Ладно... все потом, быстро давай ключи от своего кабинета и наручников и сгинь с глаз моих, я сам уже с пацаном разберусь. И молись, Власов, чтобы его родители жалобу на нас не накатали в ЦК. Его сочинение уже весь райком и пол-обкома читают.

* * *

Дверь открывается, и в кабинет, где я сижу и, честно говоря, грущу, входит не его беспокойный хозяин, а высокий, худощавый и подтянутый мужчина с залысинами на голове. Я напрягаюсь! Но мужчина сразу же расстегивает мне наручники, широко улыбается и начинает говорить...

А вот и скрепа!

1975 год. Город. Это день, 1 апреля, вернее, вечер, когда я, школьник, с утра написал РОНО-вское сочинение на свободную тему «Бомбы замедленного действия под будущими поколениями коммунистов», и меня... арестовало КГБ!

Кабинет первого секретаря областного комитета КПСС, депутата областного Совета, героя социалистического труда Евгения Константиновича Филатова. В кабинете находятся двое, сам Филатов и его гость, пожилой мужчина в строгом старомодном костюме с галстуком. Хозяин и гость сидят в углу кабинета. На кофейном столике карельской березы стоят вазочки с печеньем и другими сладостями. Свет в кабинете притушен, но рядом с неспешно пьющими чай и беседующими людьми горит изящный торшер.

Гость первого секретаря — Иван Поликарпович Пичугин, старый большевик, партийная кличка «Птица», 1898 года рождения, вступил в РСДРП (б) в 1915 году в партийной ячейке рабочих шпалопропиточного завода. После Гражданской войны, с перерывом на Отечественную, до самой пенсии, считай, всю жизнь, Пичугин проработал в партийных идеологических структурах, сначала под водительством Андрея Александровича Жданова, а закончил свой трудовой путь старшим референтом идеологического отдела ЦК КПСС, который лично курирует секретарь ЦК КПСС и член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Он принимал участие в написании «Краткого курса истории ВКП(б)» и других основополагающих работ эпохи социализма.

В это время Пичугину уже 77 лет, но выглядит персональный пенсионер союзного значения очень даже неплохо, хотя и ходит с палочкой. Голова светлая. Все помнит. Нынешнего первого секретаря обкома Пичугин знает сызмальства. Крепко они дружили с его погибшим на войне отцом. Пичугин давал Филатову рекомендацию в партию и всячески способствовал его продвижению. Относится к Филатову, как к сыну, и без посторонних зовет его Евгеша. Филатов отвечает Пичугину искренней сыновней любовью, заботой и всегда советуется с ним по ключевым вопросам высших раскладов в партии.

Филатов: — Ну что, все прочитал, дядя Ваня, понял, про что там?

Пичугин (*возвращая листочки с детским почерком*): — Я-то понял, Евгеша. А ты сам-то понял, про что этот пацан своё сочинение написал? Сколько ему говоришь, 14 лет?

Филатов: — Да что тут не понять-то? Скрепа это. Национальная идея! Та самая, которую мы уже всей партией без малого 60 лет ищем. Коммунизм пробовали...

Вон, как сову на глобус, его натянули, а только против него, почитай, все остальное человечество. И своих противников немеряно. Мы им коммунизм, а они нам Христа и Божью Матерь.

Пичугин: — Ого, как ты выражаешься! Прямо как мы в идеологическом отделе ЦК в своё время... А вдруг слушают? Мне-то все равно, уже пожил, а вот тебя нам еще в секретари ЦК двигать.

Филатов: — Нет, дядя Ваня, не слушают. Еще Никитка Хрущ запретил партийную номенклатуру слушать. Да и проверяю я кабинет периодически, говори спокойно.

Пичугин: — Ты вот не знаешь, а я тебе расскажу. Что там коммунизм... Спорт! И тоже ведь он у нас на скрепу не потянул. Вроде как он для людей, но не все его любят и не все им занимаются. А уж как стали нас в него выносить... Один футбол чего стоит. Знаешь ведь, народ нас чуть не рвёт, как Тузик грелку, с этим футболом.

Филатов скрежещет зубами. Он сам заядлый футбольный болельщик и тоже считает, что из 250 млн. человек, проживающих на тот момент в СССР, уж 11 человек-то можно было бы и найти хороших футболистов.

Пичугин: — А эту «экологию» мы, считай, сами и придумали и даже пытались её использовать. Ещё в тридцатых, когда шибко с попами боролись. Сотнями отправляли их на Бутовский полигон, слышал про такое, наверное? А в жизни — они нам крестный ход, а мы им демонстрацию трудящихся. Они нам иконы, а мы им портреты членов Политбюро. Они нам «Нагорную проповедь», а мы им «Моральный кодекс строителя коммунизма», — Пичугин отхлебывает из чашки остывший чай и продолжает: — И был тогда такой академик, Владимир Иванович Вернадский, геофизик, из бывших. Со своим другом, тоже академиком, Александром Петровичем Карпинским, геологом, они, почитай, всю нефть и другие полезные ископаемые у нас нашли, вернее, указали на карте, где и что искать. И ни разу не ошиблись! И за это их не только не расстреляли и не посадили на философский пароход, а всячески возвеличили. Сам Сталин в 1936 году Карпинского хоронил и шибко убивался на могиле, — Пичугин ставит пустую чашку на столик. — Они чудные, эти академики. Обычная картина мира их не устраивает, и они, через одного, к старости начинают придумывать свою. И Вернадский свою придумал. Сильно его свои же за нее били. А он уперся. Нет, говорит, все так и есть: «Вот биосфера, техносфера и ноосфера, а Бога нет!» Тут уж и мы не сплеховали. Вот, говорим, товарищи верующие, всемирно известный академик Вернадский утверждает: «Бога нет! А потому, что экология». Сам термин «экология» мы у какого-то немца-дарвиниста скоммуниздили, Гаккеля... по-моему. Также безбожник был. Он что-то про живое и неживое мороковал в журналах... ну, и сослался в одной своей статье на биосферу. Вот так мы их и поженили — экологию, Гаккеля и Вернадского. Владимир Иванович потом долго на нас булькал... ну, при чем здесь он и экология? Но Андрей Александрович Жданов ему тихонечко так объяснил, мол, так надо, будете теперь символом, дорогой товарищ Вернадский, основателем новой науки — экологии. Про то, что Бога нет! Тот плюнул, но заткнулся. «Урановым проектом» занялся. Да, только мы тогда на это своё детище однобоко, с точки зрения борьбы с попами, смотрели, которых, мать их, так и не победили. А пацан-то, видал, как всё развернул? Это, Евгеша, не просто скрепа, это суперскрепа! Вот скажи, Евгеша, найдется хоть один, что у нас, что у них за кордоном, кто против того будет, что пацан написал? Будь он коммунист или поп, спортсмен или забулдыга, русский или американец?

Филатов: — Не-е-ет, пожалуй... Таких не найдётся.

Пичугин: — Во-о-от! Короче, надо к Суслову и Брежневу ехать в ЦК. Они ребята не дураки, этот алмаз в такой бриллиант огранить могут, что ни одна сявка не вякнет! И все под мудрым водительством партии. Смекаешь?

Филатов: — Вместе поедem, дядя Ваня! Только давай сначала, не торопясь, месяцок-другой с пацаном поработаем, может, он ещё чего умного скажет. Ну и покумекать нужно, что бы нас с тобой от этой экологии в ЦК не оттерли. Они могут, сам знаешь. Ой, непростой это пацан, ой, непростой, чуёт мое сердце. Может, слышал, что давеча у нас «явление Богоматери» было в Ленинском районе? Так это он, пацан этот, пятьдесят тысяч рублей в Спортлото выиграл, а все подумали, что к нему Богоматерь приходила и номера дала. Мутная какая-то история, чертовщинкой отдаёт.

Пичугин: — А где сейчас этот пацан?

Филатов (*улыбаясь*): — Да дома сидит, отходит от ареста. Мне когда сегодня его сочинение принесли... «Теракт, теракт! — кричат. — Детсады и школы, коммунистов будущих взрывать будут!» Я как его прочитал, сразу все понял и за тобой послал, а пацана, оказывается, уже в областное КГБ забрали, умысел на теракт всю подводят, представляешь?! Это они только первую страницу его сочинения прочитали и понесли его арестовывать. Так-то, может, и хорошо. Зато сразу ко мне его сочинение принесли, теракт штука серьезная, не дай Бог! — быстро крестится, оглядываясь вокруг. — Звоню полковнику Лазареву, начальнику областного КГБ, кричу ему: «Если

хоть один волос у пацана с головы упадет, погоны с тебя сниму!» Тот проникся. Ну, и выкрутился, конечно. Он такой, Антон Геннадьевич, всегда выкручивается.

Пичугин: — И как же он выкрутился в этот раз?

Филатов: — А он зашел в допросную, выгнал опера, который пацана кошмарил, расстегнул наручники и говорит ему: «Ну вот, Миша, теперь и ты пороха понюхал! Знаешь, как пионеров-героев во время войны фрицы пытали? И они все равно ничего им не сказали. И ты ничего не сказал, молодец! Это проверка была, Миша. Вот, тебе, Миша, вымпел, а вот значок «Юный чекист», носи гордо, заслужил! А в школе и родителям скажешь правду, что это так тебя возили в «юные чекисты» принимать. Сейчас на моей «Волге» с сиреной и мигалкой поедом к тебе домой. Я сам с твоими родителями поговорю, поздравлю их с таким сыном.

Пичугин: — А-ха-ха! Ой-й, не могу! Так и сказал?! Ну Лазарев, ну молодец, опять выкрутился!

* * *

А я... до сих пор думаю, правильно ли я сделал, что в 1975 году написал школьное сочинение «Бомбы замедленного действия под будущими поколениями коммунистов», конечно, имея в виду отходы. Посадить ведь могли, но вроде пронесло.

Опять «зелёные»

Забегая вперёд... Нужно отметить, что все советские люди впоследствии встретили решения XXV «экологического» съезда КПСС с большим энтузиазмом! Ну как же... народу была явлена скрепа, объединившая в своих сокровенных чаяниях всех до единого — взрослых и детей, верующих и атеистов, ментов и бандитов. Тем более, что эти народные чаяния: «Жить как люди, а не как свиньи!» — хоп, и стали исполняться в натуре: кто работает и служит — пожалуйста, достойная зарплата и жильё! Кто хорошо учится — пожалуйста, нормальная стипендия и комната в общежитии на двоих, а то и на одного! Пенсионерам и инвалидам — пожалуйста, справедливая пенсия и пособия не «на отвали!» И даже кто ворует — пожалуйста, новая комфортабельная тюрьма «Кресты-2» в Колпино со своей дезкамерой в каждом отсеке!

Понятно, что при таком раскладе появилось множество активных, но ничему не обученных людей, желающих помочь своему любимому (не шучу!) государству в реализации всего, что связано с экологией.

Кто-то захотел учиться на «советского супергероя»... Так тогда народная молва обозвала выпускников новой престижной университетской специальности «обращение с отходами». Но скажем прямо, не всех туда взяли, слишком это сложно, химия, физика, математика, и учиться в школе нужно было на одни «пятёрки»!

Кто-то записался в эко-дружину СССР, но и там всё строго и только для физически крепких и морально устойчивых, да ещё и по рекомендации уже вступившего в эко-дружину эко-дружинника.

И вот куда пойти, скажем, совсем ещё молодой и крепкой пенсионерке, чтобы проявить, так сказать, и помочь? А некуда! Не в футбольные же фанаты, а-ха-ха?!

И стали эти молодые крепкие пенсионерки, а вместе с ними и молодые крепкие пенсионеры, инвалиды, учащиеся ПТУ, домохозяйки и другие эко-воодушевлённые граждане, самоорганизовываться. Так, например, появились самоорганизовавшиеся территориальные группы эко-общественности «За экологию Тосно!», «Домохозяйки Бердска за экологию!», «Я — эко-народ!» и множество других.

Власти всю эту самоорганизованную эко-общественность любят и шибко поддерживают — выделяют помещения, связь, предоставляют большие залы для конференций, подкармливают самозванных главарей. Вроде всё по скрепе: «Экология — это дело каждого!» Эх, знали бы власти, что из этого подкармливания получится... утопили бы всех этих главарей в ядовитых картах спецполигона «Красный бор» ещё до их рождения!

Не знали! Не утопили! Вот и огребли...

* * *

У «зелёных» тоже так было сначала, активные граждане сами себя назначали их главарями. И ведь пролазило! И беда в том, что в СССР 1975 года, когда бизнес-возможностей было мало, на общественную работу шли талантливые. Это сейчас, когда появилась масса бизнес-возможностей, общественниками становятся лишь ленивые и бездарные. Но тогда такие проныры появлялись. День за днём и шаг за шагом, понимая, что с ними считаются, что всюду уважуха к мнению общественности, главари «зелёных» втихомолочку стали пошалить:

— Здесь строить нельзя!

- А почему, собственно?
- А тут мы живём!
- А где же строить, по-вашему?
- А где хотите, а здесь не дадим!

И не давали! И в итоге страна получила тысячи безграмотных в экологическом смысле активистов, но ушлых и наглых отморожков, таких — «в каждой эко-бочке затычка». И в массе, увы, корыстных! Много их побили и пересадили за шантаж предпринимателей по тяжёлой статье УК «вымогательство»:

- Тут строить нельзя, а дадите нам денег, будет можно!
- Не хотите про себя ругательную статью в газете — давайте деньги!
- Эта ваша технология плохая, а вот та хорошая!

Принципиально неверные решения заседаний, слушаний, народных сходов и собраний, безграмотные оценки рисков, самодельные общественные экспертизы и т.д. — вот их «работа». В общем, кто во что горазд!

Чиновники, и сами безграмотные в массе, не спорили, а попросту выделяли деньги под эти решения. И, бывало, садились в тюрьму. А потому, что за эти деньги несли персональную ответственность, в отличие от главарей эко-активистов, которые ничего не несли, но брали.

Один раз за вымогательство посадили даже семидесятилетнего члена-корреспондента Академии наук с птичьей фамилией. Он требовал миллион долларов за, ни много ни мало, изменение отношения науки к мусоросжиганию! И ничему их пример Министерства от экологии не научил, а быстрее забыли... память-то девичья.

Так и пролюбили полбюджета страны на экологию! Очистные на Волге, на Байкале и др. И вернуть эти деньги уже никак! Нужно разбираться с каждым таким объектом, что там можно исправить. А то и принимать непопулярные решения — ломать всё, на хрен, и строить заново! Американцы, кстати, так и делают. И это радует, не только у нас проблемы с «зелёными». Одна несчастная больная девочка на трибуне ООН чего стоит: «Вам нечего жрать?! А нам нужен чистый воздух!» И ничего, её слушают...

«Красный бор» – всё

Предки были далеко не дураки, и среди них были очень хорошие гидротехники! Проектируя спецполигон «Красный бор» в 60-х годах прошлого столетия, они исходили не только из того, что место для полигона выбрано в районе выхода на поверхность якобы непромокаемых синих кембрийских глин. Ещё они исходили из основ гидротехники. Поэтому спецполигон был задуман не как обычная свалка, а как сложная система гидротехнических сооружений со специальной функцией — хранение чрезвычайно опасных отходов I-II класса опасности в виде солей, кислот, электролитов и любых других жидких и сыпучих отходов. Лишь бы эти отходы были тяжелее воды и при смешивании с оной расслаивались, а не образовывали ядовитых соединений и газов.

Именно поэтому в составе полигона и предусмотрены: глубокие открытые карты для хранения таких отходов; обводный канал с шандорой; площадка «самоваров» для борьбы с переливами; очистные сооружения. Это, как, простите за сравнение, хороший унитаз, в котором, из-за присутствия воды, ни дерьма не видно, ни запаха его не слышно.

Но чья-то здравая идея — надёжно укрыть в картах опасные отходы под слоем халявной снеговой и дождевой воды «с неба», которая, как известно, и особенно с весны, любую «чашку» наполнит и любую дырочку найдёт, — разбилась о суровую правду жизни. «Регламент эксплуатации» на полигоне или не видели, или потеряли, даже ещё не запустив этот самый полигон в эту самую эксплуатацию. И очень скоро спецполигон стал представлять из себя зловонную и запущенную ядовитую помойку.

В специально спроектированные и с большим трудом за большие деньги построенные карты глубиной с десятиэтажный дом много лет валили всё подряд и без всякого учёта — бочки, шины, остатки нефтепродуктов, хлорсодержащие удобрения, банки из-под краски.... А в мелкие траншеи, например, задёшево зарывали экскаватором-петушком инфицированные медотходы. Самоубийцы, блин!

Несмотря на строгий законодательный запрет на трансграничные перемещения отходов I-II классов опасности, эти отходы везли на «Красный бор» со всей страны! По договорённости (кого с кем?!). Однажды даже приняли чистый хлор, но с перепуга закопали его поглубже, прямо в герметичных металлических капсулах.

Я был лично знаком с директором — кандидатом технических наук Т., ныне покойным, и практически со всеми последующими директорами «Красного бора» и курирующими их городскими чиновниками. Увы, никто из них не был гидротехником... и смысла устройства спецполигона как многоэлементного гидротехнического объекта

не понимал. Вообще! Ямы да ямы!

Отсюда — бесконечные обваловки карт и воровство, воровство, воровство! Но эти люди, даже садясь в тюрьму и умирая, считали предков дураками! Вот как!

А знаете, с чего многочисленные директора спецполигона начинали свою трудовую деятельность, получив назначение? Всегда и все! Правильно, с укрепления военизированной охраны, дополнительной обваловки карт и поиска документов — всех — бухгалтерских, проектных, эксплуатационных...

Охрану (от кого?!), да, укрепляли, даже закупили новомодные летающие «дроны» с телекамерами. Обваловку карт, да, делали (интересно, а зачем?), частенько садясь в тюрьму за «откаты»! Крайнее, даже накрыли самую большую карту плавучими щитами, а сейчас их ещё устанавливают по периметру спецполигона. За очень дорого! Для красоты, что ли?! Воде-то по фиг все эти их щиты, она дырочку всегда найдёт...

А вот документы, нет, ни разу не находили. Да и как их найдёшь, если в конторе спецполигона то обыск, то выемка документов! А менты, они такие, бумаги забирают быстро, а отдают медленно, а иногда и вообще не отдают. В общем, документы всякий раз как в воду канули, если, конечно, можно назвать «водой» вонючее содержимое карт полигона. А как можно было его назвать?! Для ответа на этот вопрос за большие бюджетные деньги всякий раз заказывались «научные исследования», отчёты о которых, если не были случайно опубликованы, также благополучно исчезали при очередной смене директора и/или курирующего его городского чиновника.

Ещё вокруг «Красного бора» за много лет сформировались группы т.н. «общественников», возглавляемые своими авторитетными и крикливыми главарями, которые тоже получали свои дивиденды от того, что полигон был, — «правильные» голосования населения, они без «плюшек» главарям не обходятся.

Ладно, не буду утомлять читателя жуткими подробностями бесславного пути спецполигона «Красный бор». Пусть об этом напишет тот, кто практикует в изложении теги: # коррупция # насилие # мерзость # пожары # воровство # тупость чиновников # взятки # гибель людей # тюрьма и т.д. Расскажу лишь о том, как полигон рекультивировали.

* * *

Спецполигон «Красный бор», учитывая его родовое гидротехническое происхождение, ликвидировали гидротехники, вернее, мелиораторы, рука об руку с инсинераторостроителями. Это они хорошо умеют «обнулять» большие водоёмы — озёра, пруды, болота и др. Видели, как они это делают?!

Ставят на берегу, например, озера, плавно переходящего в болото, мощный насос или насосы и начинают выкачивать из того озера воду. Например, в какую-нибудь симпатичную речушку неподалёку, а то и прямо на рельеф. Но не абы как, а по правилу: «Сколько воды из того озера достали, столько инертных туда и положили»!

Прямо сразу! Выкачали, например, 10 кубических метров воды, тут же сыпят с берега 10 тонн песка, реже — глины. А то пойдет дождь, и все напрасно, опять тот же объём воды качать. Или уйдут в зиму, а весной спокойно продолжают, не переделывая!

Сначала пересекают озеро широкой, насыпанной сверху дорогой. Для этого у них есть песок, самосвалы и бульдозеры. Образуется уже два озера, поменьше. И в каждое ставят по насосу. И засыпают, засыпают... откачивают, откачивают... Ржут озеро такими дорогами на сектора, как торт, по 2 сектора, по 4, по 8... сколько нужно, одновременно откачивая их до лужи. А потом эти пустые мелкие сектора просто засыпают песком. Или даже без секторов, просто идут фронтом с одного берега на другой. И всё, нет озера!

* * *

В случае карт «Красного бора», заполненных жутким химическим коктейлем II класса опасности, ни в ближайшие овраги, ни в канализационную городскую систему, конечно, ничего уже не сливали!

Эта, к счастью, неудавшаяся экологическая диверсия, а именно — слив одного миллиона кубических метров жидких отходов II класса опасности из 65 мелких карт полигона «Красный бор» на рельеф и в городскую канализацию при их «рекультивации» землёй, камнями и палками, — уже навечно записана за покойным директором полигона Т. и его так неожиданно утонувшим на рыбалке городским начальником Г. Земля им стекловатой! Именно они давали команду и деньги на эту операцию против миллионов своих земляков, мирных советских горожан! Знает об этом РПН? Да, знает! И в его учёте до сих пор этот миллион кубов стыдливо числится. Неправильно, мол, тогда рекультивировали эти карты. А там уже дорога на месте этих карт, машины ездят! Вот так учёт... плюс-минус миллион кубов яда!

«А как же тогда смету считать на рекультивацию?!» — спросите вы и будете

совершенно правы! «Да фиг его знает!» — отвечаю я и тоже буду прав!

Воистину, город на Неве — Герой! Его Гитлер не смог погубить, и кандидатам наук Т. и Г. это тоже не удалось! Спасибо Феликсу Владимировичу Кармазинову — руководителю Горводоканала, спасителю нашему, ныне покойному, спас город от отравления! Спасибо герою-пожарному, который погиб при тушении очередного пожара на вконец загаженном спецполигоне, когда летом весь город три дня задыхался в ядовитом химическом дыму! Низкий поклон городским пожарным, что ценой жизни одного из них, но потушили, спасли городских астматиков от лютой муки!

Кстати, за ту эко-диверсию с пожаром полигон был оштрафован РПН! Да-да, аж на 20 тысяч рублей! И с виду суровая женщина, местный природоохранный прокурор, на вопрос журналистов: «А почему так мало?» — мило ответила, прямо глядя в телекамеру: «Всё по закону, таков расчёт!»

Специалисты-энтузиасты пересчитали. А ведь должны быть миллиарды! Думаю, был бы полигон частный, ему предъявили бы именно эти миллиарды рублей штрафа. А так, чиновники же, все свои, рука руку моет.

Но это опять меня не туда понесло... не буду про плохое!

* * *

К тому времени профессор Кофман уже изобрёл свои мобильные циклонно-вихревые топки (ЦВТ), похожие на турбины самолётов и предназначенные именно для экологически безопасного уничтожения жидких и высокообводненных отходов, в т.ч. и II класса опасности, с производительностью 10-15 кубометров в час. Несколько полноразмерных инсинераторов с такими ЦВТ в 40-ft «морских» контейнерах ISO привезли на площадку штатных «самоваров» полигона, и они, собственно, откачали и экологически безопасным термическим способом уничтожили ядовитую воду и илы из карт, обеспечив успешную параллельную работу мелиораторов.

Когда на тридцатиметровой глубине обнажилось заиленное дно самой большой карты и стали видны торчащие из ила разломанные велосипеды и железные конструкции неясного происхождения, туда же обрушили многочисленные постройки полигона, весь металл из которых предусмотрительно срезали и отвезли на рынок. И всё засыпали песком! Почти 30 метров глубины, это очень большой слой! Даже атомщики свои радиоактивные отходы закапывают не так глубоко. А на песок насыпали и укатали полуметровый слой земли, а уже на ней раскатали рулонную траву. Всё!

Теперь пионеры каждый год высаживают на этой поляне деревья. Много. Говорят, здесь будут делать городской парк.

А 65 мелких карт трогать уже не стали, всё равно опасных отходов в них уже нет, слили. И дорожку над ними оставили, только заасфальтировали.

Сиди тихо и слушай!

1975 год. Москва. Буфет-холл на 3 этаже основного здания Совета министров СССР. За чайным столиком, уставленным чашками чая и блюдами со сладостями, расположились с бумагами: Тарасов Александр Михайлович, 64 года, министр автомобильной промышленности СССР, депутат ВС СССР, кандидат в члены ЦК КПСС; Ломако Петр Фадеевич, 71 год, министр цветной металлургии СССР, в юности — политкомиссар отряда по борьбе с бандитизмом в Краснодарском крае, Герой социалистического труда, имеет 7 орденов Ленина.

Ломако: — Ты почитай, Александр Михайлович, почитай, что этот пионер у себя в сочинении, которое нам раздали, понаписал. Ты посмотри, какие кределябры он там на глаза наворачивает... «Судьба человечества», «высшая цель»... А на деле, ты знаешь, что у него написано? Не понял? Так он ведь чёрным по белому пишет, что нам нужно уничтожить тяжёлую и химическую промышленность, черную и цветную металлургию, которую создавал народ! Видите ли, предприятия загрязняют окружающую среду. Их, видите ли, нужно или закрыть, или «модернизировать». И лёгкую промышленность, и ещё ряд других отраслей. А ведь это удар и по Советской армии. Удар по обороне страны. И я вот тут подумал... а не является ли этот милый мальчик Миша завербованным сотрудником ЦРУ? И ответа найти так и не смог. Все, буквально все его новые идеи идут вразрез с интересами нашего государства!

Тарасов: — Тише, Петр Фадееч, тише, уши везде! Я вот что тебе расскажу. Я вчера ездил в ЦК. А там появился новый секретарь по экологии. Филатов. Женя. Евгений Константинович. Ты его должен помнить по своим предприятиям в области, где он первым секретарём в обкоме партии сидел. На крайнем пленуме его в ЦК ввели.

Ломако: — Помню, конечно. И что Филатов?

Тарасов: — Так вот. По слухам, Филатов сейчас Брежневу в доклад на съезд

огромный кусок пишет. Нашли они всё же ту скрепу, — оглядывается по сторонам. — «Экология — это дело каждого!» называется. Вот этот милый мальчик Миша и нашел. Вот оно как! А под скрепу, сам знаешь, если что не так, и нас с тобой... и всех остальных... Вжик, и нету!

Ломако: — Де-е-ела! Спасибо, что предупредил. А я уже, грешным делом, хотел к Андропову идти... Вот он бы меня и встретил! Без него-то точно всё это не обходится. А деньги-то где брать на всю эту, как её... экологию?!

Тарасов: — Расскажут на съезде, думаю. Сиди тихо и слушай. Хлопать не забывай. Первый раз, что ли? Забыл, кто при хозяине выжил? Тот, кто сидел тихо и слушал.

Ломако: — Ну да, ну да...

Так победим!

1975 год. Новёхонький авиалайнер ТУ-154 летит из Москвы в город. Спецсалон для начальства. После встречи с Брежневым все воодушевлены. Не каждый день с главой государства накоротке в бане париться у него на даче, ох-х, не каждый! Не поверит же никто, такое рассказать... Теперь у нас всё получится! Правда, Мише пришлось рассказать, что в нём сидит взрослый дяденька из 2020 года, но это никого не удивило! Подумаешь... Главное, стране польза! И партии!

«На ход ноги!» «Что бы число взлетов равнялось числу посадок!» Всё новые и новые тосты произносятся один за другим. Водка «Московская особая» из зернового спирта, двойной перегонки, с винтовой крышкой. Коньяк «КВ». Свежеотжатые соки. Минералка. Чай с лимоном... Закуска тоже мировая!

Экипаж и девчонки-стюардессы сами из города, поэтому для веселых земляков-начальников расстарались особо — свежайшая тройная уха на сливках, рыбная нарезка со слезой из стерляди, муксуна и нельмы, колбаска домашняя и финский салами, расстегайчики с мясом и куриными потрошками, свежие овощи с переливающейся перламутром зеленью, соленые груздочки и опята, м-м-м! Неплохо жили руководители-коммунисты в СССР!

«За Партию!» «За Леонида Ильича!» «Междушную!»

Крайний тост — «междушную» — дореволюционному Пичугину пришлось пояснять для своих более молодых товарищей. Оказывается, в старину, когда провожаемому гостю закидывали через спину лошади вторую ногу, и гость как бы уже сидел на лошади весь... то полную рюмку для него ставили между ушей лошади, поэтому и «междушная». Смешно! И я небезосновательно рассчитываю на продолжение доверительного разговора с участниками московской встречи в верхах. И не ошибаюсь. Дорога длинная, и поговорить нам есть о чем.

— Ну что, Миша, поговорим? — обращается ко мне Филатов, новоизбранный секретарь ЦК КПСС по экологии. — С чего работу начинать будем? Как с отходами в стране бороться будем? Леонид Ильич, он человек великий, но работать-то нам. Как ты это все видишь, чтобы нам и дело делать, и плюшки за него получать?

У Филатова галстук набок, рубашка расстегнута, лицо со здоровым румянцем от хорошего коньяка с не менее замечательной закуской... Сразу видно, человек готов к серьёзному разговору.

— На ты, на вы? — спрашиваю я. — Как будем общаться?

— На ты, конечно, мы же теперь одна команда и возраста примерно одного, — я киваю! — Зови меня просто Евгеша, — разрешает расслабленный, но, к удивлению, почти трезвый Филатов. — А «вы» я приберегу для подчиненных! А-ха-ха! — смеется он удачной шутке. Но где-то я её уже слышал...

— А меня, если хочешь, зови по партийной кличке — «Птица», — говорит Пичугин. Я как на тридцать лет помолодел после такой командировки. Спасибо тебе, Миша, за то, за то... что ты есть!

— А меня зови просто «товарищ генерал», — говорит полковник Антон Геннадьевич Лазарев и мечтательно закатывает глаза. Он в меру поддат, но, в отличие от чуть помятых соседей, до синевы выбрит, благоухает хорошим одеколоном, явно иностранного происхождения, его костюм тщательно вычищен и выглажен. И когда успел-то привести себя в идеальный порядок?

— Договорились! — отрываюсь я. — А вот давайте-ка, товарищи, вместе и порассуждаем, с чего нам начинать. На примере. Вот поручили нам с вами связать мостом Россию и Крым через остров Тузла. С чего начнем? Деньги типа есть!

— А зачем нам этот мост? — недоумевает Филатов. — Там же есть железка через Перекоп? Вози, не хочу, что хочешь. И туда, и обратно.

— Ну, а если вдруг опять фашисты на нас напали и Украину завоевали? Перекоп их, а Крым наш! Нет железки, а паромы — долго и дорого. Вот и нужно мост построить для поездов и автомобилей, — уточняю я задачу.

На меня грозно смотрят три пары строгих глаз:

– Фашисты?! Опять?! Напали?! На нас?! Ты думай, что несёшь, паря! А то ведь и не посмотрим, что несовершеннолетний...

– Я на той войне, знаешь, сколько друзей потерял?! – зверем смотрит на меня Пичугин. – Да я тебя за них, за их память... Отдавай назад дарёную будёновку, не достоин!

– Ну, это же я для примера! – примирительно врубаю я заднюю, понимая, что с примером я, видимо, переборщил. – Пусть это другой мост будет, не Крымский, но тоже очень большой.

– Типа нашего в городе? – благосклонно прощает меня опытный Филатов. – Ну, тогда ладно, но если только для примера! Не вопрос, если деньги есть, говоришь. То, как тогда в 1955-м, наймём проектировщиков, мостотресты и с двух сторон, под партийным руководством, 5 лет за 3 года! Даёшь мост, ура, товарищи!

Остальные тоже кивают. Мол, что нам стоит мост построить.

– А потом ленточку перережем, и... ну, праздник, на весь город! Для людей! Ну, и для себя тоже. За такой мост можно и вторую «Гертруду», – (на начальственном сленге того времени, «Гертруда» – это золотая медаль «Герой социалистического труда»), – на грудь поймать.

– А вот нет мостотрестов! И проектировщиков нет! Не организовали, а людей не выучили, – непреклонно усложняю я условия задачи.

– Это как так, не организовали? Как так, не выучили?! – волнуется собеседники. – Предательство?! Саботаж?! Товарищ Лазарев, виновных немедленно установить и призвать к ответственности! Вплоть до высшей меры социальной защиты общества!

– Э-э-э, а вот теперь, товарищи, давайте вспомним, как поступил в такой же ситуации великий вождь и учитель товарищ Иосиф Виссарионович Сталин? – торжественно вопрошаю я у всех троих. – Тебе, «Евгеша», и тебе, «товарищ генерал», про это рассказывали в университете марксизма-ленинизма, помните? А «Птица» так и сам «Краткий курс» писал, обязан помнить!

– Всех расстрелял, а остальных посадил? – смущенно отвечает-спрашивает за всех «Евгеша».

– Ответ неверный, поэтому... Ну, хорошо, напомню, – оглядываю я собеседников строгим взглядом. – В начале индустриализации, когда Сталин начал закупать за золото, реквизированное у низведенных властных сословий и работников культа, технологии и заводы за рубежом, он... – делаю паузу и смотрю на собеседников, может вспомнят? Не вспомнили. Поэтому продолжаю: – ...приказал организовать «Институт красных профессоров», чтобы те профессора скрепу лучше искали. И ещё, буквально пинками, а где-то и по комсомольской путевке, загнал в технические вузы тысячи молодых, но, к сожалению, безграмотных пролетариев, чтобы буржуйские чертежи перерисовали и в их технологии врубались.

– Да, было такое, – смущенно подтверждает Пичугин.

– И чертежи те сначала вышли хреновые, и с пониманием технологий было не очень, – продолжаю я. – Однако уже вторые и третьи такие же заводы и ГЭС мы строили сами, товарищи, без оплаты золотом буржуям. И это факт, который опровергнут быть не может никем и никогда! И мы с вами, как верные последователи дела Ленина-Сталина и преданные соратники товарища Брежнева, должны для начала сделать следующее: организовать всеобщее и всеохватывающее экопросвещение советских граждан и открыть в вузах и техникумах новые специальности и новые направления подготовки: в гуманитарных вузах – «экология», а в технических – «обращение с отходами». Экопросвещение граждан СССР, полагаю, это дело, с которого и начнет секретариат ЦК по экологии в лице «Евгешы», – резюмирую я. – А вот форматирование вузовских специальностей в городе я возьму на себя. Вместе с «Птицей». Почему в городе, а не в Москве? А потому, что такой у нас город, научно продвинутый, и мы в нем живем! А «товарищ генерал» будет на обеспечении и связи всемерно, так сказать. Без дипломированных специалистов нам, товарищи, ни мост не построить, ни человечество от отходов не спасти. Так победим!

– Так победим! – эхом проносится по спецсалону, когда мои земляки-руководители, встав с кресел, торжественно смыкают в тосте рюмки с коньяком.

– Так победим!

Духи вождей

Обкомовская «Волга», в которой ночью едут из аэропорта «Толмачёво» Филатов, Пичугин и Лазарев. Они уже одни, Мишу отправили домой на другой машине.

– Это дух Сталина, точно вам говорю! – восклицает Филатов. – Видали, как всё разложил? Я чуть от стыда не провалился, когда он про индустриализацию

нам напомнил. Стыдно мне было и страшно... а вдруг как тогда? Не ответил — и пожалуйста вам, на десять лет «без права переписки»! А ведь я в УМЛ отличником был. Завтра же собираю партхозактив области, приглашаю ректоров педагогического и электротехнического институтов и ставлю задачи. Правильно Миша говорит, без дипломированных специалистов с высшим образованием нам даже подсказать некому, что хорошо, а что плохо. Много ещё чего до моего отъезда в Москву сделать успеем. И отчет в Политбюро ЦК составим, завтра же. Мол, не почиваем на лаврах, а уже трудимся в поте лица!

— А только сдается мне, что это не Сталина дух, а самого Ленина! — подхватывает тему Пичугин. — Сталин что... не ответил, сразу расстрелять или посадить. А Ленин... я же помню его... вежливо так скажет: «Хочу напомнить вам, товагищ!..» И глаза при этом такие добрые-предобрые! Потом, правда, все равно или расстреляет или посадит, но чтобы в глаза такое сказать, никогда! Очень вежливый и учтивый был Владимир Ильич. Всех на вы называл! «А вы, товагищ Тгоцкий, сука и политическая проститутка», — я сам слышал. Да я с ним... с Мишей... да мы всё напишем как надо, для студентов этих. Пусть только он скажет, что писать.

— Ну а ты чего, «товарищ генерал», «с Лениным в башке и с наганом в руке», что про это всё думаешь? — обращаясь к Лазареву, спрашивает того Филатов: — Чей Миша дух, Сталина или Ленина?

Но полковник на вопрос не отвечает, ибо сладко спит, пригревшись на первом сиденье комфортного обкомовского автомобиля. Да и чего ему не спать и ломать себе голову над вопросами вселенского масштаба, когда все инструкции на выходе из подмосковной зареченской бани он вполголоса уже получил от своего непосредственного начальника председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова. И в левом кармане его пиджака беззвучно мотает пленку служебный диктофон.

Моя команда в сборе

В кабинете ректора электротехнического института за длинным столом для заседаний сидят шестеро: сам ректор, моя команда в полном составе, я... и молодой человек по имени Лёня. Сразу чувствуется, что здесь главный над всеми Филатов. Новая должность его очень красит. Он и раньше выглядел, как большой начальник, собственно, им и являясь, но сейчас, высокий, молодой, обретая в Москве некоторую дополнительную вальяжность движений и речи, в новом дорогом импортном костюме по фигуре, в изящных очках в тонкой золотой оправе, с лёгкой проседью на висках и с золотой звездой Героя Социалистического Труда на груди, он неотразим. И даже монументален, как сама советская власть.

Бывший второй, а ныне первый секретарь обкома, его приемник, всеми силами старается ему угодить, нагнать свиту, закрутить культур-мультикультурную программу, но «Евгеша» кремень — машину с водителем, и всё. Остальное нам не надоть! Он же местный, и у него в городе квартира, в которой сейчас живут старушка-мать и младшая сестра с мужем. Он всех здесь знает и в традиционных развлечениях командированных не нуждается. Его верные спутники, «Птица» и «товарищ генерал», когда он в городе, всегда с ним. Остальных Филатов от своего тела отгоняет, иногда очень жёстко. При мне наорал на девушку, секретаря какого-то райкома комсомола, которая попыталась засунуть ему в карман пиджака записочку со своим номером телефона. А девушка та была просто зачётной, ноги от шеи и с натуральной «четвёркой». Я бы на неё точно не орал!

Ректор электротехнического института — дяденька... ну, совсем не дурак. Он уже понял, что без него его женили, ну, или... избрали для великой цели. И лучше попасть под паровоз, чем начать качать права, вместо того чтобы под всю эту сурдинку укрепить материальную базу вверенного ему института и себя лично. А что к чему, начальство из Москвы объяснит, оно лучше знает. А ты сиди себе и слушай. Сиди и слушай!

Пичугин улыбается, поглядывая то на меня, то на молодого человека по имени Лёня. А полковник Лазарев сидит ровно и просто смотрит перед собой. Но он спит! Да-да, спит с открытыми глазами! Причём правой рукой он держит красивую импортную ручку и что-то постоянно помечает ей в своём блокноте, даже не заглядывая в него. То ли этому его научили в КГБ-шной школе, то ли у него врождённый талант, но я знаю, что если вдруг его сейчас попросить выступить... он встанет и начнет выступать, неважно о чём. И не поймёшь, то ли он ещё во сне, а то ли уже проснулся. Потрясающе полезный навык! Я как-то подсмотрел, а что же дядя Антон пишет в своём блокноте? Волна за волной и строка за строкой там идёт непрерывная фраза: «Не высовывайся!»

Лёня Вайсберг

И только молодой человек по имени Лёня пока ничего не понимает. Нет, он, будучи совсем неглупым молодым человеком, понимает, что большие начальники что-то от него хотят. Но вот что?! Он с большим интересом прослушал открытую лекцию странного школьника «Как спасти человечество от отходов?!», постоянно отмечая про себя по ходу изложения, что вот здесь он бы так и сказал, а здесь так бы и сформулировал, но еще бы добавил... Откуда ему сейчас знать, что эту лекцию он сам и написал, а-ха-ха!

Лёне 31 год, он родился на Урале и с «отличием» закончил Горный институт. Кандидат технических наук. Член КПСС. Перспективный научный сотрудник в крупном НПО горной промышленности. Его отец, Абрам Вайсберг, председатель городской еврейской общины. Но это никак не помешало карьере сына. Скорее, помогло. У Лёни есть жена Наталья и маленькая дочка. Кроме горного дела, Лёня увлекается изучением истории цивилизации и религии. Именно так написано в объективке, сейчас лежащей на столе перед Филатовым.

Но есть на Лёню и другая объективка, которая только у меня в голове. Вайсберг Леонид Абрамович, 1944 г.р., доктор технических наук, профессор, академик РАН, трижды лауреат государственных премий и пр., и пр., и пр. У него есть даже орден «Полярная звезда» — высшая награда Монголии. Что-то он им там построил, горноперерабатывающее.

Но при этом именно он придумал термины «техносферная безопасность» и «обращение с отходами». Именно он придумал и частенько читал студентам ту самую публичную лекцию «Как спасти человечество от отходов?!», которую сегодня впервые сам и послушал в моём исполнении. И его не нужно было уговаривать. Вставал и шёл читать, «если его ждали больше 10 человек». Но всякий раз собирались тысячи...

И вообще, «обращение с отходами» — это единственная сфера его кипучей и разносторонней деятельности, в которой он просто не успел победить и часто говорил: «Эх-х! Надо было начинать в 1975-м, тогда бы точно успели!» Во-о-от! Поэтому мы сейчас с ним именно в 1975-м. И мы начинаем! Всё, как он хотел!

Он умер нелепо и страшно, всего лишь в 76 лет. Проклятый ковид! Хоронили его 31 декабря. Кругом уже вовсю хлопало шампанское, а его несли на кладбище. Наверное, он бы пошутил по этому поводу. Как шутил над собою и окружающим его миром всю свою жизнь.

— Леонид Абрамович! Есть мнение, что основной причиной появления такого большого количества отходов является сверхпотребление, это так?

— Думаю, нет, человечеству столько не съесть!

— Леонид Абрамович, скажите, как вы относитесь к экосбору?

— Никак, тратят его другие!

Миша смотрит на Лёню, а Лёня смотрит на Мишу. В глазах у юного Лёни тысячетлетняя печаль еврейского народа, он не понимает, что его ждет. Не бойсь, Лёня, ничего плохого... я сам боюсь. Он, конечно, ещё слишком молод для такого глобального прорыва. Но тогда и время было такое, взрослые медленно — а куда торопиться, наверху все занято.

Я помню его уже гораздо старше, совсем седого. Но умный внимательный взгляд и аккуратная щетка усов, всё те же. У нас с ним было два серьезных, хорошо продуманных, но так в итоге и недоделанных толком научно-образовательных проектов федерального уровня: «Система подготовки дипломированных специалистов в области обращения с отходами» и «Международная научная Конференция WASTE (отходы и технологии их утилизации)».

С академиком всё было просто. Он звонил, и двери открывались, а люди улыбались. А вот когда его не стало... Я по инерции сунулся было к его коллегам-академикам, мол, вторая конференция уже практически готова, вы же были на первой, слова говорили, давайте проведем вторую, уже под вашей эгидой. А рефреном возьмём: «Памяти академика Вайсберга».

«Еще не остыл, какая память...» — сказал один, который был поближе. А второй, который был ещё ближе, вообще отказался со мною разговаривать, мол, некогда. И пошёл я, солнцем палимый... Ничего не поделать, такие нынче нравы у российских академиков, не впрягаются они за память коллег. Хотя при СССР именами академиков даже океанские корабли называли.

Ну вот, и закрутим мы теперь, любезный Леонид Абрамович, все наши проекты по новой, время уже нам с вами точно хватит!

* * *

— Леонид! — обращается к нему Филатов. — Можно вас так называть? — Лёня молча кивает головой, мол, конечно, можно. — Так вот, Леонид, — продолжает

«Евгеша», — меня зовут Евгений Константинович Филатов, я секретарь ЦК КПСС по экологии. Ректора электротехнического института вы знаете, Мишу послушали. А это мои ближайшие помощники и советники — старый большевик и друг моего отца Иван Поликарпович Пичугин и начальник областного управления КГБ полковник Антон Геннадьевич Лазарев, — все кивают друг-другу, мол, очень приятно. — Теперь они будут и вам помогать. Партия и правительство приняли решение, — продолжает Филатов, — оказать вам, Леонид, большую честь и в рамках партийной дисциплины поручить вам стать деканом первого в СССР вузовского факультета «Экология и обращение с отходами». Кроме того, совместить вашу будущую деканскую деятельность с заведованием выпускающей кафедры «Обращение с отходами». Кандидатура заведующего второй факультетской кафедрой «Экология» сейчас подбирается. Для начала наберете по три группы по 25 человек на 1-й курс по каждой специальности. Из 30 тысяч претендентов, а-ха-ха, не шучу, — Филатов закашливается, выпивает стакан воды и продолжает: — В перспективе у вас будет самостоятельный институт или высшая школа, а вы в нём ректор. Или это будет университет, решим. Учебные программы напишите с Мишей. Он мальчик умный, плохого не подскажет, через два года и сам придет к вам учиться. Вопросы есть?

— Не-е-ет! — слабо реагирует Лёня, и я вижу, что он собирается вот-вот завалиться в обморок. Но пока держится. А что такого? Любой бы завалился...

— Вы же пока «голый» кандидат (без дополнительных учёных званий «доцент» и «профессор»)? — вступает в разговор ректор. — Значит, пока по приказу пойдете на ВРИО, а потом, всё как положено, проведем вас по конкурсу через ученый совет и ВАК. Докторскую диссертацию защитите у нас в совете, думаю, через годик-полтора. У вас же сейчас однушка на троих? Подадите заявление в профком института на трехкомнатную, через месяц получите. Права на легковую машину есть? Нет? Тогда служебная «Волга» у вас будет с водителем.

Одной рукой я поддерживаю Лёню, практически уже без сознания пытающегося сползти со стула на пол, а другой наливаю ему в стакан воды из графина. Бледный он стал какой-то...

Институтский техникум

А в техникуме такой же бедам, как и в институте. Приёмная комиссия, которая ещё не начинала работать, уже завалена заявлениями граждан о приеме на новые специальности. Не десятки тысяч, как в институте, но тоже внушительно. И с этим нужно уже что-то делать. Как и с поиском преподавателей специальности.

Как в сказке, походи и найди то, чего нет. Ведь откуда берутся преподаватели? Правильно, выращиваются из студентов. Они сначала заканчивают институт по данной специальности, потом аспирантуру, становятся специалистами. Защищают диссертации, а потом начинают преподавать. А где взять классных преподавателей-специалистов по технологиям обращения с отходами в 1975 году? Ещё замучаешься их выращивать! Вайсберг не знает... А я знаю! Всё просто, получилось с ним, получится и с другими — будущими профессорами Кофманом и Маликовым. Правда, они ещё об этом не знают, но это ничего.

Чтобы найти преподавателей специальности, у нас есть ещё два года. Обучение в институтах и техникумах сейчас устроено так, что первые два курса — это общеобразовательные предметы, и по ним у нас всё в порядке. А «Введение в специальность» прекрасно прочитает и сам Вайсберг.

Теперь, чуть не все мальчишки и девчонки в стране хотят стать «советскими супергероями». Вот она, сила сарафанного радио в СССР. Вайсберг не знает, как выбрать из тысяч абитуриентов, у которых все пятёрки по всем экзаменам, а я знаю! Получилось в будущем, получится и в прошлом! Введем дополнительный конкурсный балл за собственный проект в области экологии, да и всё!

Наши в городе

2000 год. Ректор университета «Экология и обращение с отходами», академик АН СССР Леонид Абрамович Вайсберг цветёт, как майская роза. Именины сердца! Ну как же, в город приезжают два его ученика... да каких!

Один — на минуточку — секретарь ЦК КПСС Юрий Сергеевич Шевчук — Юра, который буквально вырос на его глазах от студента и лаборанта до заведующего кафедры «Экология», пока его, можно сказать, силой не забрал в Москву Филатов, где он и стал со временем его приемником. Второй — его бывший декан и заведующий кафедрой «Обращение с отходами», а ныне министр от экологии СССР, по слухам, уже тоже бывший, но тем не менее... И можно сказать, его ученики приезжают лично

к нему. На завтра в университетском актовом зале назначена встреча Шевчука с руководством и коллективом университета в присутствии партхозактива области и большого числа журналистов, включая иностранных.

Вайсберг опытный ректор и знает, что такие приезды всегда несут за собой множество приятных моментов как для университета в целом, так и для скромной персоны его ректора. Да что там для университета... для всей страны! А то и для всего мира! Вот завтра и узнаем, с чем таким пожаловали его бывшие ученики-москвичи. А пока... не дёргаемся и попросим жену Наташу приготовить на завтра его лучший костюм. Да, тот самый, с красным галстуком в горошек и таким же платочком в нагрудный карман пиджака. Нет, все награды он завтра надевать не будет, не первомайская демонстрация, чай! Наденет только самые дорогие — золотую звезду Героя Социалистического Труда, но её и положено носить всегда, и три значка лауреата государственной премии.

«Вэйзмир... обвешаюсь, как Брежнев, — думает Вайсберг и откладывает лауреатские значки в сторону: — Пойду только с «Гертрудой», строго, скромно и значительно!»

Он хорошо помнит, как в уже далёком 81-м эта только что полученная им «Гертруда» буквально защитила его от разъярённого ректора электротехнического института, от которого соответствующим постановлением СМ СССР отделяли новый университет и которому ещё молодой Вайсберг показывал пальчиком по списку: «Это, это, это и вот это! И еще то и во-о-он то!»

Тот Ректор-великан визжал, брызгал слюной и бубнил как заведённый: «Буй! Буй! Буй...» — ну или что-то похожее, и даже хотел драться. Но увидев на груди невысокого Вайсберга новенькую «Гертуду», сразу успокоился и, видимо, смирившись, схватился за голову и только тихо постанывал, когда писали разделительный акт. В СССР Героев не бьют, какого бы они роста ни были...

В целом, Вайсбергу уже знакомлен с программой на завтра. Сутрана кладбище. И экс-секретарь ЦК КПСС Е.К. Филатов, и старый большевик экс-завкафедрой «Экология» университета И.П. Пичугин, к сожалению, не дотянули до сегодняшнего дня. И теперь, по их же собственным завещаниям, они с миром покоятся на мемориальном участке городского кладбища «Клещиха» рядом с любимой горожанами землячкой — Фросей Бурлаковой из фильма «Приходите завтра!» Так в городе и говорят: «Наши, это через две улицы, направо от Фроси». Или: «За Фросей по левой стороне шестой квартал».

Хотя, конечно, по своему статусу, Евгений Константинович Филатов мог претендовать и на упокоение в Некрополе перед кремлёвской стеной. Но не захотел и приказал похоронить себя на родине, в городе, где родился, жил и вырос до первого секретаря обкома КПСС. А воля покойного — закон!

А вот дядя Антон Лазарев жив и сегодня, он экс-начальник КГБ СССР в звании «генерала армии запаса» и со всеми положенными его статусу привилегиями. И он настоял, чтобы его приемник В.В. Власов взял его в поездку Шевчука в город. Хочет повидаться на кладбище с покойными друзьями и соратниками — «Евгешей» и «Птицей».

А с Мишей они и так видятся, тот часто по выходным приезжает к нему на дачу в Сходню половить рыбки и поболтать. Скучно ему в Москве без семьи да в министрах. А «товарищ генерал» и не против, рассказывает ему, что да как было.

После кладбища все поедут в университет, и там до обеда будет официальное мероприятие, а после обеда уже неофициальное. Проректор по соцкультбыту... да-да, тот самый, оттяпанный ещё у электротехнического института, Аркадий Нахимович Буркис, уже неделю стоит на ушах вместе со своими сотрудниками без сна и отдыха. Шутка ли, одних журналистов и телевизионщиков больше ста человек понаехало, и всех встретить, накорми, место своё покажи. Денег-то, да, на все это дали, но КГБ и личная охрана высокого начальства лютует... туда ходить нельзя, здесь не стоять...

А вечером — приём, банкет от имени ректора, то есть самого Вайсберга. Честно говоря, нервически это как-то, устраивать приём от своего имени в присутствии таких персон, но сказали так: «Э-э-э, кто хозяин, того и пьянка! Будете в Кремле, проставитесь, а продукты и алкоголь вам завтра завезут!»

Эх, был бы жив папа Абрам, порадовался бы, какая честь оказана их семье, какая честь...

Мой кабинет

Я захожу в свой деканский кабинет. Всё на месте, как и не уезжал в Москву на министерскую должность. Мудрый Вайсберг как знал, что я вернусь, и никому мой кабинет не отдал, спасибо ему! Вот вернулся, и больше я не министр.

На стену, напротив окна, на тот же гвоздик, вешаю «Рогатого». Он давно со мною,

так и кочует из кабинета в кабинет. Почему его так назвал автор, широко известный в узких творческих кругах художник Дмитрий Глуговский, неведомо. И никакой он не «Рогатый», на голове у него что-то типа длинных розовых локаторов, а сам он на четырех лапах стоит на круглой лужайке, похожей на Полюс мира, и, чуть скосив, смотрит огромными и удивительно красивыми «человеческими» глазами. Нет, он никого не осуждает, он просто стоит и смотрит на этот мир. На нас! А мы на него!

Кабинет ректора Вайсберга

На следующий день после визита в университет руководства СССР. Вайсберг полулежит на кожаной кушетке в комнате отдыха. Рядом проректор университета по соцулькультбыту А.Н. Буркис. На столике стакан воды и пачка таблеток «аспирина».

Вайсберг (*вяло*): — Аркадий, что-то я не в форме после вчерашнего... всё как-то сумбурно было, как в тумане, особенно в конце, уже плохо помню. Напомни, пожалуйста, с чем мы, в итоге, остались?

Буркис: — Полтора ящика «КВ» и два серебряных ведёрка с чёрной икрой! Я их из-под американцев буквально выдрал. С собою забрать хотели, всё мне говорили: «For our president!» Но я же по-английски не понимаю, короче, выдрал. Всё в холодильнике!

Вайсберг: — Это ты молодец! Я тот «КВ» еще на кладбище распробовал, когда поминали наших, да, видать, немного переборщил...

Буркис (*тонко улыбается*): — Бывает...

Вайсберг: — Ты это... Аркадий, подели икру на всех, кто работал, и ещё премии по окладу оформи приказом, я подпишу.

Буркис: — Тот «КВ» вчера все распробовали, особенно женщины. Как одна американка мне сказала, кстати, тоже профессорша: «Развитие аромата уходит в древесно-бальзамическую тему с нюансами шоколада, ванили и специй, а покрытый насыщенным вкусом чёрной икры со сливочно-ореховыми нотками и с едва заметной горчинкой, он приходит...» Высокая поэзия! Я вчера у неё даже попросил записать, выучить. Вот так, «уходит-приходит», а семнадцать ящиков «КВ» за вечер махом ушли, считай, всё, что привезли. И это не считая чёрной икры, её тоже всю кончили, под ноль, все 30 ведёрок... Зато журналисты довольны... Весь мир теперь знает, как угощали на банкете у русского ректора Вайсберга! Все зарубежные издания уже сообщили... В подробностях!

Вайсберг (*хочет*): — Ты же по-английски не понимаешь! Ну а так-то, по делу, что было? А то я, считай, с обеда уже как зомби ходил... не помню ни черта!

Буркис: — Так вас же, Леонид Абрамович, второй «Гертрудой» вчера наградили! Поздравляю от души! Достойная награда за ваш труд. Всем нашим... кому орден, кому медаль дали. Мне вот «Трудовик» прилетел, как с куста, — нежно гладит новенький Орден Трудового Красного знамени на груди. — Университет расширять будем, новое направление открывать, «Проектирование обращения с отходами» называется, нам под него уже сказали список писать, что нужно. Миша вернулся из министров, говорит, надоело в Москве, по нам соскучился. И ещё у нас теперь многопартийность и... как, бишь, его... плюрализм мнений. Какая-то партия «Зеленые» будет, кроме КПСС. Но это зачем, я пока не совсем понял.

Вайсберг: — У-у-у-у! Налей-ка мне, Аркадий, грамм пятьдесят коньячка, голову включить. А то столько новостей!

Алексей НИКОЛАЕВ

ДУХ**Философия духа¹**

(1-я редакция)

§4. ТЕОРЕМЫ ДУШИ*Основы психологии в психологических теоремах***Логическая теорема 34****ТЕОРЕМА ИСТИННОГО «Я»**

Человек самоидентичен как моральная личность, которая есть истинное «я» души, имеющее основным отличительным признаком природную нравственность, раскладываемую на слагаемые нравственности, сводимые к базовой пятернице:

Совесть + добродетели + честь + любовь + личная мораль = нравственность.

Доказательство

I. Теорема 34 доказуема, кроме прочих способов, теологическим способом в логических рамках дуализма бога и человека как создателя и создания, где создатель есть отец, а создание — сын, подобный отцу в своем разумном естестве как мыслящий субъект, а вместе с тем как **исполнитель нравственного закона**, ибо:

II. Всякий мыслящий субъект, несотворенный (бог) и сотворенный (человек), будучи обладателем разума, составляющим мыслящее (разумное) естество субъекта, есть естественный исполнитель нравственного закона как абсолютной истины, естественно движущей разумом без противоречий с какими-либо законами природы, по которым создан мир и устроено человеческое общество и человеческое существо, ибо:

III. **Истина априори непротиворечива, а законы природы суть истина**, имеющая силу закона в мировой природе (в творении), составляя в абсолютном разуме законодательную основу творения и обеспечивая непротиворечивую закономерность творения как то, что придает закономерный (логический) порядок творящему мышлению абсолютного разума, где априори не может быть логических ошибок и т.н. противоречий, что апостериори явствует из наблюдаемой гармонии мироздания, но:

IV. Гармонию творения в глазах разумного наблюдателя, такого как человек, ощущают портят две вещи, имеющие отрицательный моральный смысл: это зло и беда; причем:

V. И то, и другое (и зло, и беда), в силу моральной чувствительности сознания души (см. теорему чувствующего сознания, №30), живейшим образом чувствуются душой человека и им самим в качестве причиняемого душе ущерба (вреда), ощущаемого и сознаваемого человеком столь явственно, что не может быть никаких сомнений в реальности зла и беды в сознании жертв зла и беды, из-за чего там же, в сознании жертв зла

¹ Книга «Дух» публикуется в «Невском проспекте» в следующей структуризации:

№8 НП: «Предисловие о том, что есть философия» + §1 «Дуализм духа и материи» +

Фактологическое предуведомление №1 «Спиритическая материализация» +

Фактологическое предуведомление №2 «Духовное тело» + §2 «Человеческий дух»

№9 НП: §3 «Тео-теоремы». Основы теологии в теологических теоремах 1-15.

NN10-11 НП: Фактологическое предуведомление №3 «Спиридониада»

№12 НП: Фактологическое предуведомление №4 «Спиритический черт»

NN13-16 НП: §4 «Теоремы души». Основы психологии в логических теоремах 21-40.

и беды, может легко возникать мысль, что зовущаяся богом разумная причина мира находится, по выражению знаменитого имморалиста, по ту сторону добра и зла, а это все равно что сказать, что нравственный закон не имеет силы в абсолютном разуме и в творении. Ошибочность такого умозаключения выясняется при определении нравственного закона, делаемом так:

VI. Нравственный закон является предметом фундаментальной этики и подлежит определению в этике, во-первых, как один из законов природы (читай: законов творения), а вместе с тем, во-вторых, как абсолютная истина, имеющая силу закона в абсолютном разуме и в закономерном творящем мышлении абсолютного разума; в-третьих (NB: вся логическая система фундаментальной этики упакована в этом определении), **нравственный закон есть закон тождества блага и бытия**, в силу которого бытие есть благо как то, что имеет благой смысл и благоую сущность в моральном измерении бытия, развернутом в сознании как смысловое измерение добра и зла, где добро есть сама жизнь и всё то, что обеспечивает выполнение тождества блага и бытия, а **зло есть ущерб жизни, отрицающий жизнь как благо** (базовое простое определение зла); засим, в-четвертых, в логической системе этики нравственный закон (NB: здесь логический ключ к правильной теодицее) определяется как **высший закон творения**, который, как сказал бы юрист, имеет непреодолимую силу в абсолютном разуме и (в контраст с волевым беззаконием человека) не может в принципе нарушаться и не исполняться абсолютным разумом (читай: богом-творцом) ни в качестве законодательной истины вообще, ни, тем паче, в качестве высшего закона как **закона добра**, коему подчинены все законы творения, они же законы природы.

VII. Говоря предельно просто, проще некуда (в философии), определение нравственного закона как **закона законов** (высшего закона) означает, что работа всех законов природы вместе взятых как абсолютного свода законов творения гармонично и логично, то есть без всяких законодательных противоречий (априори исключенных и невозможных в абсолютном разуме), подчиняется моральному принципу действия (читай: нравственному закону) и целенаправлена к предустановленному (закономерному) морально-положительному итогу, то есть к добру.

VIII. Законы природы (законы творения) действуют в мировой природе (в творении) во исполнение нравственного закона как закона добра с закономерным целевым результатом в виде **мирового добра**, образующего основной целевой состав творения, за вычетом, во-первых, морально-нейтральных вещей, лишенных морального смысла, а во-вторых, за вычетом зла и беды, составляющих **моральный Янус ущерба жизни**, будучи ущербом жизни, имеющим двоякий (как зло и беда) морально-отрицательный смысл и постигающим нравственных существ, таких как люди, наряду с массой несущественных (считай, морально-нейтральных) неприятностей жизни, в том числе что касается подавляющего большинства естественных болезней, обычно не представляющих собой ни зла, ни беды.

IX. Заметим отдельным пунктом, что во избежание и для минимизации путаницы и чепухи в представлениях о злах и бедах бытия и о главнейшей в людском бытии проблеме добра и зла, не худо для начала уяснить, что **золы жизни, беды жизни и болезни жизни** — это принципиально разные деструкции жизни сами по себе, хотя они могут отождествляться, например, в качестве бедственных болезней, превышающих предел терпения и переживаемых жертвами как беда, а то и как зло (см. §23 «Зло» и весь раздел 4 «Теодицея» книги «Бог»).

X. Поскольку нравственный закон есть абсолютная истина, имеющая силу закона в абсолютном разуме, постольку бог-творец есть исполнитель нравственного закона, читай: творение вершится творцом и вообще возможно (как закономерный процесс) во исполнение, но никоим образом не в нарушение нравственного закона, откуда, кроме прочего, логически вытекает тождество бога и абсолютного блага, ибо:

XI. Как исполнитель нравственного закона и разумный первоисточник всех благ в мировой природе (в творении) бог-творец сам есть благо, творящее благо и только благо, это логический факт, явствующий априори из чистой логики, но:

XII. Зло — житейский факт, явствующий апостериори в виде морально-отрицательного содержания бытия, каковое человек может ощутить и познать на себе, например, понеся невосполнимый и немалый ущерб от насилия, которое есть самоочевидное зло, с чем будут спорить только софисты, и не для них будь сказано здесь же (в пункте XII доказательств теоремы 34), что для того, чтобы составить базовое понятие о зле, логически правильное, довольно ясное, устойчивое к софистическому замутнению и годное служить сравнительной логической меркой при идентификации любых форм реального (не мнимого) зла, будет достаточно взять в соображение и уяснить **тождество насилия и зла**, в соответствии с простым определением насилия как нанесения ущерба жизни и здоровью путем **беззаконного, безнравственного и несправедливого** применения силы. Не всякое зло есть насилие, но всякое насилие

есть зло, если только речь идет не о надуманном, а о действительном насилии, отвечающем своему правильному определению. Чтобы не путать насилие с чем-нибудь другим, похожим только с виду на насилие (на зло), по сути дела не являясь таковым, надо прежде всего иметь в виду **дуализм насилия и антинасилия**, где насилие есть зло, а антинасилие есть добро как **блокада зла**, образцово-показательный социальный пример чему — антитеррор и вообще борьба с преступностью, осуществляемая, само собой разумеется, **законно, нравственно и справедливо**, но не незаконно-безнравственно-несправедливо, как сплошь и рядом бывает во всех государствах и что особенно характерно для классической политической тирании двоякого типа: авторитарной и олигархической (+ третья смешанная).

XIII. Зло представляет главную моральную апорию как то, чего, с одной стороны (абсолютной: божественной), в принципе не может ни творить, ни желать бог, однако вопреки воле бога, с другой стороны (мирской: человеческой), зло изобилует в мире людей как то, что в принципе может твориться руками человека и волею человека, в силу принципа свободы воли, естественно присущего мыслящему субъекту, а также в силу общей природной (читай: предустановленной в абсолютном и предусмотренной богом) конструкции человеческого существа, допускающей душевную поляризацию доброй и злой воли с вытекающим волевым выхлопом зла, творимого нравственным существом (человеком) в нарушение нравственного закона и против совести, все равно что наперекор богу.

XIV. Как мыслящий субъект, способный (в отличие от животных) различать добро и зло и даже чувствовать добро и зло сознанием (душой) как предметы морального мышления, человек есть нравственное существо, находящееся внутренне и внешне в моральном измерении бытия, развернутом в сознании души вместе с полем мышления (изнутри) и в морально-правовой организации общества (извне), подобно сетке координат, так что все содержание мыслимой реальности и мыслимого бытия измеряется моральной смысловой меркой добра и зла и «линейкой» моральных понятий, имея и получая либо морально-нейтральный, либо моральный смысл, поляризованный по знаку как хорошее и плохое, доброе и недоброе, счастливое и бедственное, любимое и нелюбимое, нравящееся и не нравящееся, etc.

XV. Человек есть нравственное существо уже просто как тот, кто, в силу мирового порядка вещей, поставлен внутренне и внешне в морально-правовые рамки бытия, регламентирующие бытие, и вынужден, если не по доброй воле, то под кнутом страха наказания или в расчете на пряник награды соблюдать предписания морали и права и взвешивать свои действия и помыслы на весах добра и зла по оценочной мерке моральных понятий, прежде чем что-либо сделать и спланировать в бытии; и вполне очевидно, что:

XVI. Морально-правовая регламентация человеческого бытия извне со стороны общества и государства была бы восприимчива и действительна не более, чем проповедь Христа в пустыне или в стае волков, если б человек не был нравственным существом в душе своей и не имел собственничной моральной мотивации, идущей не извне, а изнутри от нравственной природы души, которая есть то же самое, что называется нравственностью и проявляется по формуле нравственности, сводимой на корню к двум первичным слагаемым:

Совесть + добродетели = нравственность.

XVII. Поскольку добродетели суть нравственные достоинства человека и суммарно составляют собственное (личное) достоинство человека, синонимически зовущееся честью (причем подразумевается истинная честь, естественно присущая человеку как слагаемое его природной нравственности, а не выдуманная им самим и не условная вроде титулярной чести, получаемой по заслугам или без), постольку корневая двухчленная формула нравственности имеет альтернативный вид, более емкий по смыслу:

Совесть + честь = нравственность.

XVIII. Исходя из определения добродетелей как нравственных достоинств и учитывая понятийное основание чести в нравственном самосознании личности, формулируется лаконичное базовое определение чести, гласящее:

Честь есть нравственное достоинство человека, составляемое добродетелями и сознаваемое как честь.

Формульный вид определения чести:

Добродетели + сознание чести = честь.

XIX. В формуле чести обязательны оба слагаемых: нет чести без добродетелей и нет чести без сознания чести, каковое возникает вместе с правильным понятием чести и обособляет честь от добродетелей как отдельное слагаемое нравственности, отличающее своего обладателя как **человека чести** с высокоразвитым нравственным самосознанием (см. теорему чести, №36); а в силу указанного дуализма чести (как со-

знаваемого достоинства) и добродетелей (как достоинств в основе и составе чести), кратчайшая двухчленная формула нравственности разворачивается в трехчленную, отражающую более высокую нравственность:

Совесть + добродетели + честь = нравственность,

где добродетели составляют добродетельную основу чести, а собственно честь есть слагаемое нравственности, приобретаемое на основе природных добродетелей вместе с сознанием чести, входящим в структуру нравственного самосознания личности.

XX. Исходная двухчленная формула нравственности лежит в душевной основе всей структуры нравственного самосознания и прирастает оным, разворачиваясь в расширенную формулу нравственности:

Совесть + добродетели + нравственное самосознание = нравственность,

где нравственное самосознание есть самосознание моральной личности (истинного «я»), обретаемое через осознание человеком своей природной нравственности и ее составных элементов, в чьем числе упомянутое сознание чести приобретает как развитое (выше среднего) чувство собственного достоинства, входящее в понятийно-сенсорную систему нравственных чувств (таких как чувство долга, чувство родства, чувство справедливости, чувство вины, чувство стыда и проч.), составляющих личностную моральную чувствительность души и работающих как сенсоры сознания. А коренятся все нравственные чувства в совести и правильно (безошибочно, без извращений) работают на основе сверхличного морального мышления, осуществляемого совестью за порогом сознания и доходящего до мыслящего «я», преодолевая порог сознания, когда человек, например, чувствует укор совести, носящий обвинительный характер и порождающий совестливое (коренящееся в совести) чувство вины (см. теорему совести, №35).

XXI. Слагаемые природной нравственности — это фундаментальные элементы общей разумной организации души человека, где добродетели образуют личностную систему как моральные качества истинного «я», а в системе добродетелей можно и нужно выделить системное ядро, состоящее из основных, то есть наиболее продуктивных, жизненно важных и общественно значимых, добродетелей, подлежащих в фундаментальной этике теоретической систематизации, вкратце имеющей такой вид:

XXII. Ядро системы добродетелей в девятирице основных добродетелей, снабженных классификационной нумерацией с разбивкой на триады:

Триада высших добродетелей №1, №2, №3: **любовь – мужество – честность;**

Триада добродетелей №4, №5, №6: **трудолюбие – бескорыстие – мера;**

Триада добродетелей самолюбия: №№7-9: **скромность – толерантность – гордость,**

где названия триад условны, в отличие от общепринятых названий добродетелей, каковые известны каждому члену человеческого общества и должны распознаваться им в самом себе и в себе подобных как духовно-нравственные черты человеческого лица и естественные признаки истинного «я» души, кои тоже истинны, как и оно само, то есть:

XXIII. Заметим в пояснение, что добродетель №1 (добродетель любви: любовь как добродетель) — это душевная способность человека к любви, питаемой к предметам высокого порядка, достойным любви и естественно вызывающим нравственное (читай: добродетельное: работающее во благо) чувство любви, отличающее истинную (настоящую) любовь от всякого рода страстишек и любовеподобных зависимостей, вызываемых низменными предметами как моральные недуги, то есть как пороки, например: гедонизм, сладострастие, чревоугодие. Поясним, далее, что добродетель №2 — это истинное мужество: мужество как добродетель: добродетельное мужество, проявляемое как благодеяние, но не как злодеяние и не как дурная удаля. В порядке контрастного пояснения добавим, что добродетель №8 — это истинная толерантность (терпимость) как элемент здоровой нравственности и квинтэссенция воспитанности и хорошего тона, но не как лицедейское извращение, замаскированное под добродетель с недобродетельной целью и чреватое в крайних формах, ни больше ни меньше, библейским Содомом, во что было бы трудно поверить, не видя воочию завоеваний ЛГБТ-революции. И еще добавим в пояснительном пункте XXIII, что добродетель №9 — это естественная (истинная) гордость, питаемая вместе с естественным чувством собственного достоинства и уравновешенная скромностью в связанной диаде биполярных добродетелей (№7 + №9), существующих в системной паре, а при разрыве этой пары прорезается в душе диада биполярных пороков: гордыня + самоуничтожение (см. учебник «Школьная этика: нравственный закон», часть II «Этика старших классов», глава 3 НЗ «Моральная личность», статья 11 НЗ «Добродетель» + статья 12 НЗ «Порок»).

XXIV. Можно теоретически классифицировать и пронумеровать добродетели иначе и по другим вариантам разбить на диады и триады или вообще пренебречь такой систематизацией, но главное, что перечисленные **краеугольные добродетели**

№№1-9, выделенные в ядре системы добродетелей и в душевной основе всей нравственности, самоочевидны как факт и как фундаментальная данность в природе человека и в естественных признаках истинного «я», настолько фундаментальная, что человек исчезает как таковой при обнулении природных добродетелей и при появлении на их месте недужных противоположностей, искажающих человеческое лицо до неузнаваемости и зовущихся пороками, в чьем числе основные общеизвестны и антагонистически противостоят добродетелям №№1-9 как наживаемые человеком моральные недуги:

Триада злейших пороков: №№1-3: **жестокость – трусость – ложь**;

Триада пороков саморастления: №№4-6: **лень – алчность – гедонизм**;

Триада пороков самолюбия: №№7-9: **гордыня – гнев – самоуничтожение**.

XXV. Главнейшая добродетель — добродетель любви, лаконично определяемая как **душевная способность человека к любви, реализуемая в жизненных формах любви**, сводимых, исходя из основных естественных предметов любви, к базовой шестернице: **здоровое самолюбие + семейная любовь + любовь к труду + дружба + любовь к ближнему + любовь к богу**. Главенство любви в системе добродетелей выражается, в частности, в том, что во всех основных жизненных формах любви, за исключением самолюбия, раскрываются сполна все добродетели человека силою любви, словно производные любви и как будто спрятанные сокровища, извлекаемые из душевных загашников любовью. То, что люди называют любовью, выделяется в нравственном естестве души как жизненно сверхважное отдельное слагаемое нравственности и заставляет насчитывать в базовой формуле нравственности не меньше четырех слагаемых:

Совесть + добродетели + честь + любовь = нравственность.

XXVI. Слагаемые нравственности человека не являются секретом для человека и сознаются им как то, что присуще ему в его духовном и разумном естестве, и чем лучше сознаются, тем большей степенью развития характеризуется нравственное самосознание человека как сознание себя, тождественное знанию себя (см. теорему тождества знания и сознания, №33), а знание себя есть знание того, кто ты есть реально в своем живом естестве, не выдуманном тобой, а порожденном твоим создателем (богом) и познанным тобой в порядке самопознания как твоя разумная и нравственная сущность: истинное «я».

XXVII. Нравственное самосознание человека есть знание себя как истинного «я» и знание о своем духовно-нравственном естестве и о составных элементах оногo (слагаемых нравственности), каковые, хоть сознаваясь, хоть не сознаваясь, как-либо отражаются в личной морали, которая есть система ценностей и принципов поведения, принятая человеком как руководство в бытии и входящая в структуру нравственного самосознания «я» как руководящий элемент, движущий волей «я» и отражающий всю нравственность человека, заключая в себе моральную мотивацию воли и детерминируя моральное поведение человека, так что моральный облик человека выражается в поступках и помыслах, обусловленных личной моралью, откуда происходит формульная сентенция, гласящая: скажи мне, в чем твоя мораль, и я скажу, кто ты. Резюмируя пп. XVI-XXVII, ограничим развертывание базовой формулы нравственности пятерницей основных слагаемых:

Совесть + добродетели + честь + любовь + личная мораль = нравственность,

где 5-е слагаемое есть истинная мораль, но не ложная, которая, строго говоря, вообще не мораль, а какое-нибудь подобие морали, в любых своих формах не являющаяся проводником нравственного закона, тогда как всякая форма истинной морали априори есть форма действия нравственного закона как естественно данная система ценностей и норм поведения, выработанная народным бытием и свободно принимаемая личностью в душе своей без противоречия с абсолютным душевным законодателем, зовущимся совестью и диктующим нравственный закон в душах всех людей как абсолютную истину и как моральное содержание трех фундаментальных социальных форм нравственного закона: **мораль + право + религиозный завет** (сочетающий в себе мораль и право), где и то, и другое, и третье истинно и не есть ни лжемораль, ни лжеправо, ни лжезавет.

XXVIII. По формуле нравственности, описанной выше в пятернице самоочевидных и общеизвестных слагаемых, присущих человеку от природы, а не придуманных моралистами, человек — тот тот, кто имеет совесть, честь, любовь, базовые добродетели и добродетельную (истинную) мораль, которая отражает в самосознании «я» природную нравственность «я» и составляет руководящую мотивацию свободной воли «я» как действующий в форме морали нравственный закон, разумный исполнитель которого есть моральная личность и истинное «я» души, ч.т.д.; причем:

XXIX. Теорема 34 доказуема безотносительно к богу, требуя первым делом просто-напросто хорошо понимать нравственную самоидентичность человека как нравственного существа с нравственной природой, то есть как моральной личности, но вместе с этим пониманием открывается дверь в теологическое доказательство теоремы 34, проделываемое на более глубоком уровне философского мышления в логических рамках дуализма бога и человека как разумного создателя и разумного создания, кои оба — исполнители нравственного закона, а поскольку нравственный закон есть закон любви, то человек связан с богом любовью и соотносится с богом, по закону любви, как сын с отцом, достойный отца как исполнитель нравственного закона, то есть как моральная личность и истинное «я» души.

Логическая теорема 35

ТЕОРЕМА СОВЕСТИ

Совесть есть моральная ипостась человеческого разума как сверхличная способность души к моральному мышлению, действующая как абсолютный источник морального мышления и как сам абсолютный разум, осуществляющий в душе независимо от мыслящего «я» души (человека) сверхличное моральное мышление души, доводя до человека моральную истину голосом совести и качественно разнясь в абсолютных ликах совести, сводимых к базовой триаде:

- 1-й абсолютный лик совести – душевный законодатель, диктующий человеку нравственный закон;***
- 2-й абсолютный лик совести – душевный судья, контролирующий исполнение нравственного закона человеком;***
- 3-й абсолютный лик совести – душевный советчик, подсказывающий человеку безошибочные ответы на моральные вопросы человеческого бытия.***

Доказательство

I. Теорема 35 доказывается как философское пояснение к совершенно верному основоположению христианской морали, гласящему: **голос совести – голос бога.**

II. Умозаключение о тождестве голоса совести и голоса бога логически следует за усмотрением **абсолютных свойств совести** как душевного проводника абсолютного мышления, производимого абсолютным разумом в душе человека сверхличным образом помимо мыслящего «я» души и явственно отличаемого мыслящим «я» от своего собственного мышления, что объясняется естественным дуализмом сверхличного и личного мышления души, а этот дуализм логически явствует из того, что:

III. Мыслящее «я» души (личность) соотносится с душой как мыслящее производное со своей мыслящей производящей основой и как личностная форма с принимающей эту форму безличностной сущностью, а также как пользователь разума с собственно разумом, составляющим сверхличное и безличностное мыслящее естество души как то, что является непосредственным производителем мышления души, во-первых, как сверхличного мышления, обусловленного помимо воли «я» и не зависящего от «я» никоим образом, а во-вторых, как личного мышления «я», производимого разумом по воле «я» и обусловленного индивидуальными особенностями и личной мотивацией «я».

IV. Всякое мышление души, хоть личное, хоть сверхличное, осуществляется, разумеется, в самой душе, а не вне души, но производящий источник мышления души может находиться вне души и действовать в душе через некий, условно говоря, душевный вход, предусмотренный конструкцией души за порогом сознания, чему самый убедительный наглядный пример — гипноз как внешнее управление душой, осуществляемое внешним разумом как внешним (сторонним) источником мысли, исходящей извне и производящей гипнотическую работу в душе загипнотизированного субъекта помимо его воли.

VI. Гипнотическое мыслительное действие, исходящее от гипнотизера (извне), осуществляется в загипнотизированной душе (изнутри) сверхличным образом независимо от мыслящего «я» этой души как работа внешнего разума, который, находясь вне этой души, производит в ней мыслительное действие через некий душевный вход за порогом сознания.

VII. **Душевный вход для внешнего (стороннего) источника мышления** с очевидностью явствует де-факто не только из фактологии гипноза, но и из близкородственной фактологии спиритизма, когда трансовая сомнамбула (дух) медиума служит

транслятором мышления, идущего из спиритического внешнего источника от имени неких спиритических духов, образцово-показательная иллюстрация чего — аксаковский Спиридон (см. фактологическое предуведомление №3 «Спиридоиада»).

VIII. В отличие от гипнотизера, присутствующего во плоти в поусторонней обыденной реальности, спиритический внешний источник мышления находится в **потусторонней позиции** по отношению к душе медиума как т.н. потусторонняя сила, имеющая духовную природу и обособленная вне души не в абсолюте, не вне мира (иначе это был бы сам бог), а в мире, точнее, в живом мире, а еще точнее, в живом мире нашей планеты, действуя потусторонним или как будто потусторонним образом как внедушевный духовный фактор, воздействующий на душу со стороны общей духовной организации мира людей или всего живого мира нашей планеты, то есть из недр планетарного духовного целого, живой частью которого является духовное тело души, вмещающее душу человека и его самого как личностную форму души (см. ТЗ к фактологическому предуведомлению №3 «Спиридоиада»).

IX. Кроме гипноза и спиритизма, о душевном входе, через который в душе может действовать какой-либо внешний источник мышления, с очевидностью свидетельствует фактология большого творчества, имея в виду прежде всего **фактологию эврики**, а именно фактологию фундаментальных открытий, делаемых в нужное время в нужном месте и обеспечивающих планомерный ход социальной эволюции человечества как процесса творения, вершащегося как осуществление абсолютным разумом абсолютной идеи творения, в которой предустановлены фундаментальные открытия, да и вообще все истинные творческие идеи, кои не надо путать с продуктами смысловотворчества и всяческими выдумками «я» (см. опр. 21.2 «Творческая идея» в книге «Бог»).

X. Настоящая, а не псевдо-, творческая идея западает в душу человека, что называется, свыше, подобно живому зерну в плодосную почву, через душевный вход из абсолюта как из внешнего (внедушевного) источника мышления и осуществляется в виде плодов творческого мышления человеческого разума, которое как сверхличное мышление души эквивалентно абсолютному мышлению абсолютного разума и не зависит от мыслящего «я» души в своем смысловом содержании, обусловленном творческой идеей как абсолютной истиной, претворяемой в мировую реальность через душу человека как через духовный проводник абсолютного мышления, источником коего является сам бог: абсолютный разум.

XI. Абсолютный разум (бог) находится в потусторонней позиции по отношению к душе, находясь вне души по ту сторону границы, отделяющей мир людей и вообще всю мировую реальность от абсолютной реальности, соотносящейся с т.н. этим миром, или нашим миром (миром людей), как потусторонняя реальность с поусторонней реальностью; а если, кроме нашего мира, есть еще и т.н. духовный мир, населенный бесплотными живыми сущностями, то потусторонняя реальность двоична как абсолют и потусторонний мир (см. ракурс V «Потусторонняя реальность в структуре всей реальности» ТЗ к фактологическому предуведомлению №4 «Спиридоиада»).

XII. Независимо от того, двоична или единична потусторонняя реальность, следует считать двоичным душевный вход из потусторонней позиции как точку связи души с абсолютом (с богом) и как точку связи души с мировым духом, взятым в планетарном масштабе как общая духовная организация живого мира нашей планеты, ибо: по фактологии спиритизма можно уверенно умозаключить, что спиритический внедушевный источник мышления находится в мире, а не в абсолюте, иначе спиритические духи, черти-полтергейсты и фигуры типа Кэти Кинг, Иоаннды и бородача, сфотографированного Аксаковым, были бы масками бога, а это вряд ли (см. ракурс VIII «Двоичность душевного входа из потусторонней позиции» ТЗ к фактологическому предуведомлению №4 «Спиридоиада»).

XIII. Тот факт, что в режиме истинного (но не псевдо-) творчества человеческий разум, составляющий мыслящее естество души, способен безошибочно оперировать истиной и создавать реальность все равно как абсолютный разум (творец), — это есть фактическое доказательство того, что в определенных, предусмотренных конструкцией души, режимах мышления душа способна доставать мыслью и транслировать истину прямо из абсолюта, что похоже на то, как разумный пользователь ПК достает и транслирует информацию из интернета, имея доступ к сети.

XIV. Логически очевидны два разных режима мышления, в каких через душевный вход из потусторонней позиции открывается душевный доступ к абсолютной истине: это, во-первых, **творческий акт познания**, наиболее результативный при наличии большого таланта, чем наделены не все люди, а во-вторых, **моральный акт познания**, продельываемый посредством совести и доступный за счет совести всем людям с одинаковым успехом.

XV. Ввиду того что жизнь нравственного существа сильно зависит от умения отличать добро от зла и избегать зла, можно априори ожидать и апостериори доказать, что

мыслящее естество человеческой души способно к высокоточному и безошибочному моральному мышлению, каковая естественная душевная способность называется совестью и составляет тождество с разумом как способность к мышлению.

XVI. Поскольку тождество разума и совести выполняется в режиме морального мышления, постольку совесть есть моральная ипостась разума как морально мыслящий разум, который в качестве (в ипостаси) совести работает как сверхличная душевная способность к безошибочному моральному мышлению, действующая независимо от «я», транслируя в душе моральную истину из абсолюта через душевный вход из потусторонней позиции.

XVII. Если сверхличное мышление души обусловлено из абсолюта и имеет своим смысловым содержанием транслируемую отсюда же абсолютную истину, оно эквивалентно абсолютному мышлению, осуществляемому абсолютным разумом в душе через душевный вход из потусторонней позиции, а абсолютный разум — это бог.

XVIII. Так называемый голос совести, посредством чего моральная истина мысленно слышится (воспринимается) сознанием души и передается из абсолютного (потустороннего) источника мышления в сознание души через порог сознания и через душевный вход из потусторонней позиции, есть голос бога как исходящее от абсолютного разума и воспринимаемое сознанием души смысловое сообщение.

XIX. Смысловое сообщение, мысленно воспринимаемое душой как голос совести, имеет три основные разновидности, различаемые всеми людьми и даже детьми без помощи или с помощью хороших наставников как: **веление совести — укор совести — совет совести.**

XX. Во всех трех основных разновидностях голос совести есть голос разума и голос истины, имеющей моральный смысл и мысленно воспринимаемой сознанием души как сообщение (послание), идущее, что называется, из глубины души и входящее в сознание души как мысль, осознание и понимание которой не требует словесной формы: голос совести воспринимается сознанием как чистый смысл и как чистая истина, не облеченная в языковую форму, то есть не сформулированная словами, но понятная без слов и мысленно различаемая по смыслу не хуже, чем различаются ушами отчетливые физические звуки, ибо:

XXI. Истина абсолютна и содержится в абсолютном разуме не так, как она содержится в словах, а примерно так, как она без слов содержится в мышлении души и составляет смысловое содержание мышления как мыслимый чистый смысл, который не всегда можно записать буквенными символами и передать физическим голосом, а только если это позволяют логическая система языка и индивидуальная степень развития дара речи у мыслящего «я».

XXII. Голос совести наиболее явственно слышится (сознается) в качестве веления совести, двоякого в двух смыслах: повелительном и запретительном: как нравственное побуждение к поступку и как нравственное запрещение проступка, где поступок имеет морально-положительный смысл и есть благодеяние, а проступок имеет морально-отрицательный смысл и есть грех.

XXIII. Всякий человек, если нравственное здоровье души у него в пределах нормы и совесть не заглушена пороками, знает по себе апостериори тот душевный факт, что веление совести доходит до сознания души и осознается мыслящим «я» души (человеком) как **абсолютное долженствование**, которое, с подачи Канта, широко известно под термином категорический императив и воздействует на сознание души как требование нравственного закона, имеющее естественное основание в нравственном естестве души (устроенном по нравственному закону) и исходящее естественным и ближайшим образом отсюда же, из нравственного естества души, а вместе с тем **абсолютизированное** как долг, вмененный свыше, в силу тождества веления совести и воли бога как создателя души, предусмотревшего в разумном устройстве души принцип работы совести как абсолютного законодателя.

XXIV. Тождество веления совести и воли бога есть тождество нравственного долга и требования нравственного закона, диктуемого совестью в сознании души как абсолютная истина, безошибочно познаваемая посредством совести и вменяемая в долг совестью как абсолютным законодателем, все равно что абсолютным разумом, то есть богом.

XXV. Как сознаваемая истина долг, вмененный голосом совести, есть предмет знания, обеспеченного совестью и не требующего обоснований, доказательств, объяснений как точное знание, позволяющее уверенно сказать: я знаю, как я должен поступить: я знаю свой долг, где предмет знания есть долг как познанная истина и истина, познанная как долг.

XXVI. Душевная работа совести есть сверхличное моральное мышление души, логически организованное по нравственному закону и производимое разумным естеством души (разумом) как нравственным естеством души (совестью), то есть произво-

димое разумом в ипостаси совести, в чем состоит **тождество совести и разума в действии нравственного закона**, означающее, что:

XXVII. Совесть составляет разумную сверхличную основу всей нравственной природы души и личности и является основным слагаемым нравственности человека, питая на корню и формируя как таковые все прочие слагаемые нравственности как принадлежности разумного естества души, составляемого разумом, моральная ипостась коего (совесть) является скрытой за порогом сознания платформой нравственности, включая добродетели, честь, любовь, личную мораль и нравственные чувства в структуре нравственного самосознания «я», начиная с **чувства совести**, которое не есть сама совесть, в соответствии с определением, гласящим:

XXVIII. Чувство совести есть **сознание совести**, эквивалентное знанию себя как обладателя совести, который знает о существовании совести и чувствует сознанием (сознает) душевное присутствие и работу совести, так что: сознанием совести открывается или облегчается доступ мыслящего «я» души (человека) к моральной истине, оглашаемой в душе голосом совести и не слышимой, когда сознание совести подавлено пороками и вместе с тем подавлена сама совесть как то, чего порочное «я» не ощущает и не воспринимает сознанием.

XXIX. Составляя разумную основу нравственности человека, совесть работает в душе человека как **действующий нравственный закон**, по которому придается нравственная организация разумному устройству и бытию души и формируется в душе человек с безличностного нуля как моральная личность и истинное «я» души.

XXX. Три явственных лика совести как душевного законодателя, судии и советчика — это, как говорят в таких случаях, видимая верхушка айсберга, но если человек видит в душе своей эти божественные лики совести, он видит бога и видит самого себя как создание бога; и добавим в заключение:

XXXI. Тождество голоса совести и голоса бога означает, в том числе, что религиозное возрождение общества, теоретически ожидаемое вслед за эволюционно-исторической духовной ямой массового атеизма, материализма и цинизма, — как поглядишь с холодным вниманием в эту яму вокруг, — вряд ли возможно на практике без нравственной реформы общества, а та вообще возможна только через нравственную реформу системы образования путем внедрения в школе фундаментальной программы нравственного воспитания как посвящения в нравственный закон (см. статью «Моральный вопрос» в №5 «Невского проспекта»). Была бы совесть — бог никуда не денется. А если совести нет, то и бога нет. Недостаточно хорошо видит разверзнутую атеизмом яму и ошибается тот, кто думает, что нравственное оздоровление общества должно последовать не прежде, а после религиозного ренессанса. В такой очередности, пожалуй, не будет ни того, ни другого, зато уже со всей очевидностью грозит разрастись по всей планете эпидемическим (и к тому же гангстерски-политическим) образом из западного рассадника духовных вирусов классический библейский Содом, где скорее наступит рукотворный апокалипсис, чем религиозный ренессанс.

Логическая теорема 36

ТЕОРЕМА ЧЕСТИ

Честь есть нравственное достоинство человека, составляемое добродетелями и сознаваемое человеком как честь посредством сознания чести, обретаемого вместе с истинным понятием чести как развитая форма врожденного чувства собственного достоинства, присущего самосознанию личности как сверхпонятийный сенсор достоинства «я», высокочувствительный к урону чести и достоинства и полумашинально работающий в сознании души, обеспечивая самосознательную сохранность человеческого достоинства на естественном смысловом уровне, обусловленном в абсолюте нравственным законом и абсолютным родством бога и человека как отца и сына.

Доказательство

I. В общем смысле слова, достоинство — это примерно то же, что называется такими синонимами, как значимость, важность, ценность, стоимость, применительно к тому, что значимо, важно, ценно, имеет стоимость, имеет достоинство по количественной или качественной мерке достоинства, значимости, важности, ценности, стоимости; а в нравственном смысле слова, достоинство есть честь как сознаваемое достоинство и как духовно-нравственная значимость, важность, ценность, стоимость человека: личности: «я».

II. Спрашивается: откуда бы вообще могло взяться и по какой мерке истинно, а не ложно, реально, а не иллюзорно, фундаментально, а не фиктивно, и объективно, а не субъективно, может оцениваться достоинство мыслящего существа, называющегося именем человека и местоимением «я»? Задавшись таким вопросом и оглянувшись на звездное небо, чтоб иметь в виду масштабный диапазон измерения значимости всего сущего во вселенной, вы должны заглянуть за ответом в себя и первым делом взять в соображение то, что называется **чувством собственного достоинства**, ибо оно служит ближайшим, лежащим на поверхности, фактически явным, заложенным в конструкции души и личности, естественно данным душевным носителем и измерителем вашего собственного достоинства: вашей личной значимости, важности, ценности, стоимости. Бог весть, каким образом сей душевный сенсор достоинства измеряет человеческое достоинство и служит высокочувствительным блюстителем достоинства «я», чутко реагируя на малейший урон достоинства внешними посягательствами на личность и самой личностью и сполна обнаруживая свою изрядную духовную силу и функцию в страдальческой и взрывной восприимчивости «я» к ударам по достоинству, называемым оскорблением и унижением, бог весть, как вообще заложено в конструкции души и личности чувство собственного достоинства, но оно факт, да такой, что благодаря чувству собственного достоинства само существование «я» имеет цену в глазах «я» не больше достоинства «я» и даже признается ничтожным сравнительно с достоинством «я», сознаваемым как честь, которая почему-то (почему же?) дороже жизни для человека чести и безоговорочно требует от него сохранять честь ценой жизни и всех благ жизни, как будто «я», лишаясь жизни, но сохраняя честь, каким-то неведомым образом де-факто и поистине, а не гипотетически и не обманно, сохраняет себя или душу свою за рамками ЖЦЧ (жизненного цикла человека).

III. В силу нравственной природы и нравственной самоидентичности человека как моральной личности, чувство собственного достоинства подлежит определению и теоретическому описанию как нравственное чувство, входящее в структуру нравственного самосознания личности вместе с прочими нравственными чувствами, сводимыми в исчислении к базовой дюжине: **1. Чувство совести** (не путать с совестью) + **2. Чувство собственного достоинства** (не путать с честью) + **3. Чувство долга** + **4. Чувство призвания** + **5. Чувство любви** (не путать с добродетелью любви) + **6. Чувство родства** + **7. Чувство справедливости** + **8. Морально-правовое чувство свободы** (не путать со свободой и со сверхличным чувством свободы в абсолютных свойствах сознания души) + **9. Чувство обиды** (в первую очередь имея ввиду обиды чести: оскорбления и унижения) + **10. Чувство греха** + **11. Чувство вины** + **12. Чувство стыда**, — где то, что чувствуется, есть то, что сознается и воспринимается сознанием души (а не нервными клетками организма).

IV. Чувство собственного достоинства есть сознание достоинства, во-первых, в отглагольном смысле слова как сознание достоинства, а во-вторых, в смысле тождества сознания и знания (см. теорему тождества знания и сознания, №33).

V. Сознать собственное достоинство — значит иметь знание о собственном достоинстве, причем речь идет о сверхпонятийном знании, эквивалентном врожденному сознанию достоинства, присущему личности как неотъемлемое природное свойство «я», отродясь имеющееся у личности сверхпонятийным образом независимо от того, есть ли у личности понятие о личном (собственном) достоинстве.

VI. Врожденное чувство собственного достоинства работает как логический оператор смысловой мерой достоинства, заданной в абсолюте независимо от человека, априори истинной, а не ложной, и первичной относительно приобретенных человеком в бытии понятий и понятийных представлений о собственном достоинстве, хоть истинных, хоть ложных.

VII. Если рассудить исходя из дуализма врожденных и приобретенных понятий, можно предположить, что в чувстве собственного достоинства заложено за порогом сознания врожденное понятие о достоинстве, подлежащее осознанию человеком в порядке самопознания, но такое предположение логически излишне, ибо:

VIII. Вообще говоря, не всякое врожденное знание объяснимо через врожденное понятие, ввиду того что истину можно мыслить и знать сверхпонятийным образом как чистый смысл, не входящий в смысловое содержание какого-либо понятия или системы понятий, а самое достоверное знание о своем достоинстве человек получает не как о том, что он понимает исходя из понятия о достоинстве, а как о том, чему причиняется чувствительный урон под болезненными ударами, наносимыми по чувству собственного достоинства оскорблениями и унижениями, чего никто б из людей вообще не чувствовал, не сознавал и никак не понимал, не имея в душе сверхпонятийного сенсора достоинства.

IX. Чувство собственного достоинства есть сверхпонятийный сенсор достоинства как логическая способность сознания души оперировать логическим значением

(смыслом), приданным человеческому «я» в абсолюте как достоинство «я», каковое присуще личности как природное свойство личности, заложенное в конструкции души (в абсолютной идее души), а не в понятии о достоинстве, ни врожденном, ни приобретенном.

X. Человек может без и помимо всякого понятия о достоинстве чувствовать урон достоинства, попадая в унижительное положение, оцениваемое сознанием души как принижение достоинства относительно логического значения, заданного сверхпонятийным образом в абсолюте как абсолютная мера достоинства, вложенная в чувство собственного достоинства до возникновения понятия о достоинстве и составляющая смысловую основу понятия о достоинстве, формирующегося у личности вместе с формированием самой личности как весьма и весьма существенная, даже фундаментальная вполне, но вторичная деталь в механизме работы душевного сенсора, называемого чувством собственного достоинства.

XI. Возьмем в толк, далее, что абсолютная (заданная в абсолютной идее души) мера человеческого достоинства, вложенная в чувство собственного достоинства как в элемент душевной конструкции, в принципе не может быть количественной величиной типа, например, величины титулярного достоинства дворянина в классической монархии, где достоинство максимального размера принадлежит монарху и градиентно понижается в иерархии дворянских титулов от короля к герцогам, маркизам, графам и так далее, причем король считается источником дворянской чести как тот, кто волен раздавать титулы и назначать ценностную величину титулярных достоинств в таблице о рангах и в системе сословий и каст. Принципиально сходным образом (как градации величины достоинства) устроены все социальные системы титулярной чести, в чем числе мозолит глаза, во-первых, обыкновенная карьерная лестница, пронизывающая во множестве разновидностей всю структуру общества, а во-вторых, причудливо необыкновенная иерархия олигархата. Титулярное достоинство, невзирая на его естественно-историческое происхождение и соответственную социально-положительную функциональность, — это, однако, по сути дела, вообще не достоинство, а социально-полезная фикция достоинства. В базовой диалектике чести и достоинства титулярная честь подлежит классификации как условное достоинство, представляющее собой диалектическое третье, добавленное к дуализму истинного и ложного достоинства. Истинное достоинство человека неизмеримо по шкале условных мер вроде иерархии титулов и званий, не суть, заслуженных или незаслуженных (морально поразительных так же, как заслуженные награды, получаемые по чести как знаки чести, и незаслуженные награды, получаемые не по чести). Суть в том, что достоинство человека заключено не в титулах и чинах, а в духовно-нравственном естестве человека и доводится до сведения мыслящего «я» не строкой в служебном удостоверении и наградном листе, а через душевный сенсор достоинства, называемый чувством собственного достоинства.

XII. Истинная, она же абсолютная, мера человеческого достоинства не есть количественная, а есть качественная мера достоинства, заложенная в природе человека как то, в соответствии с чем достоинство человека имеет определенное природное качество и истинно в меру соответствия своему естественно данному качеству, а оно определяется нравственным законом как высшим законом человеческой природы и человеческого бытия.

XIII. Природное качество человеческого достоинства есть нравственное качество, в силу самоидентичности человека как моральной личности, чьи моральные качества, зовущиеся добродетелями, суть моральные достоинства, суммарно составляющие нравственное достоинство личности как истинную честь, а прочие какие бы то ни было достоинства человека, кроме моральных, вынесены за скобки в формуле чести нравственным законом как высшим законом человеческой природы и человеческого бытия.

XIV. Укажем вкратце лишней раз для пользы дела на простую логику, по которой нравственный закон определяется как высший закон человеческой природы и человеческого бытия. Это определение, входящее в число основных определений в системе фундаментальной этики, логически вытекает из всеобъемлющего определения, в котором упакована вся фундаментальная этика и которое гласит: нравственный закон есть закон тождества блага и бытия, читай: бытие есть благо и имеет благою сущность, в силу организации бытия по нравственному закону. Нравственный закон есть высший закон человеческого бытия и человеческой природы как закон тождества блага и бытия, читай: все другие законы, по каким организовано человеческое бытие и человеческое существо, подчинены нравственному закону как должностующие работать во исполнение нравственного закона как закона тождества блага и бытия, что доказуемо, кроме прочих способов, методом от противного, а именно так:

XV. При невыполнении тождества блага и бытия, а иными словами, при невы-

полнении морального уравнения: жизнь = благо, — отрицается жизнь как благо, где крайняя степень отрицания заключается в отождествлении жизни со злом и злой бедой и описывается моральным уравнением: жизнь = зло, где жизнь лишена всякого смысла и есть не жизнь, а трагическое отрицание жизни в жизни: жизнь-трагедия: жизнь-катастрофа: несчастная жизнь в реальном аду или реальном Содоме: трагическая и злая катастрофа жизни как жизнь в форме злой трагедии, вершащейся в нарушение нравственного закона как высшего закона бытия, который потому и высший, что нарушение его злой волей или каким-либо отрицательными закономерностями грозит обнулением бытия как блага и вообще как такового, ибо вне тождества с благом жизнь не жизнь, а злая противоположность жизни, которая не есть смерть, а есть **анти-бытие**, в морально-отрицательном смысле.

XVI. В силу примата нравственного закона над всеми законами природы, нравственность человека — это высшая природа человека, а нравственное достоинство человека (честь) — это высшее достоинство: качественно (а не количественно) высшее достоинство, читай: основное и несопоставимое по значению с любым другим достоинством достоинство человека, составляемое добродетелями как несомненными и качественно ценнейшими (высшими) достоинствами человека, выше и ценнее которых нет среди всех достоинств человека, разнящихся, в первую очередь, как моральные достоинства (добродетели) и неморальные достоинства (все прочие, кроме добродетелей).

XVII. Неморальные достоинства человека либо откровенно ничтожны относительно добродетелей, либо имеют моральную цену и благодаря ей могут равняться с добродетелями, как, например, таланты и профессиональные умения, применяемые на общее благо с сознанием долга, превалирующим над корыстной мотивацией, но: никакая природная гениальность сама по себе не относится к числу высших достоинств, в отличие от добродетелей, и не потому, что большой талант есть природный дар, доставшийся даром от рождения (добродетель тоже дар), а потому, что абсолютным источником человеческого достоинства является нравственный закон и наделяет человека истинной честью не как гения, а как исполнителя нравственного закона, то есть как моральную личность, чьи моральные качества (добродетели) необходимо и достаточно мыслить просто как главные достоинства человека, главней которых нет и которые просто как главные составляют истинную честь, в состав чего не входят неморальные природные данные человека и человеческого существа, все они вынесены нравственным законом за скобки в формуле чести: добродетели + сознание чести = честь.

XVIII. По ходу доказательства теоремы 36 логически явствует **моральное равенство людей** как принцип в нравственном устройстве души, превалирующий над социальным и любым неравенством людей и очевидный, если для вас очевидна следующая логика: поскольку абсолютная мера человеческого достоинства не количественная, а качественная, и поскольку природное качество человеческого достоинства есть нравственное качество, постольку все люди наделены одинаковым и равноценным человеческим достоинством, которое есть нравственное достоинство и не может в принципе различаться по величине с шагом в заданный градиент, как разнятся титулы, чины, звания: люди равны от природы как моральные личности, в чем заключается абсолютное, оно же моральное, равенство людей, гарантированное свыше нравственным законом и ставящее каждого человека вровень с королем как человеком и выше короля как короля, ибо королевское достоинство условно, фиктивно и ничтожно относительно истинного достоинства человека, заключенного в добродетелях, а не в чинах и титулах.

XIX. Теперь возведем доказательство теоремы 36 в начало начал, для чего процитируем финальные определения раздела 4 «Теодицея» книги «Бог»:

«24.3.4. На фоне громадины мира всякая значимость человеческого «я» стремится к логическому нулю на всех измерительных шкалах, не выходящих за пределы мира и мерящих человека как то, что занимает свое место в мире и функционирует в мире подобно винтику в гигантском механизме.»

24.3.5. Истинное достоинство человека, не выдуманное им самим, лишено основания в мире, имея основание вне мира как достоинство сына божия, измеряемое моральным смыслом абсолютного родства бога и человека как отца и сына, где отец есть моральный источник достоинства сына, а сын заимствует достоинство у отца, будучи разумным подобием отца.»

24.3.6. Моральный смысл абсолютного родства бога и человека есть абсолютный смысл любви, связывающей отца и сына в сознании и вмещающей обоим саму себя в долг, исполняемый как нравственный закон отцом перед сыном и сыном перед отцом и перед совестью, как перед отцом.»

24.3.7. Достоинство человека есть нравственное достоинство сына божия как

свободного исполнителя нравственного закона, свободно исполняя который, сын достоин отца».

Конец цитаты.

XX. В цитате вынесен за логические скобки вопрос о достоинстве бога, которое заодно с нравственным законом является абсолютным источником достоинства человека как разумного создания и подобия бога. Поставим вопрос так: как измерить достоинство бога? Самый глупый ответ на сей прелюбопытный философский вопрос из тематической области фундаментальной теологии — это уход от ответа с умным видом типа: достоинство бога не измерить — оно бесконечно. Сперва дайте внятное определение бесконечности, прежде чем приплетать бесконечность в качестве ключа к решению каких-либо логических задач. Вот так, кстати сказать, западные софисты, вместо того чтобы отвечать на философские вопросы, некогда взяли моду уходить от философских вопросов и подменили философский поиск истины софистическим смыслотворчеством под аплодисменты интеллектуалов 19-го века, имевших, в отличие от нынешних, подлинный интерес к философии, но замороженных и вконец сбитых с толку гениальной путаницей и невиданными дотоле перлами искусства софистики, в чем особенно преуспели немцы.

XXI. Логическая задача о достоинстве бога, пускай с недостаточной полнотой (что здесь не обязательно), но с достаточной логичностью (что обязательно всегда), решается исходя из двух логических фактов как исходных данных в условиях задачи, а именно: бог есть творец (1-й логический факт), а нравственный закон есть высший закон творения (2-й логический факт), из чего логически следует умозаключение: **достоинство бога как творца определяется в первую очередь нравственным законом**, а во вторую очередь — мерьте достоинство бога как творца с какой хотите точки зрения и какими хотите свойствами абсолютного разума, относительно чего вся человеческая гениальность вместе взятая, как вы понимаете, стремится к нулю. Следите за ходом мысли далее:

XXII. Нравственный закон есть закон добра и любви, следовательно: акт творения вершится богом-творцом по нравственному закону как абсолютное благодеяние мыслящего субъекта, имеющее адресатами (иначе оно лишено благого смысла и вообще бессмысленно) мыслящих субъектов, способных различать добро и зло, с каковыми адресатами бог-творец связан (по нравственному закону) нравственным родством и узами любви, посему акт творения для таких адресатов, как мы, люди, вершится как благодеяние, представляющее собой абсолютный дар живородящей любви, во-первых, как дар жизни, дарованной как благо, а вместе с тем, во-вторых, как обеспечение свыше благоприятных условий жизни, необходимых для выполнения тождества блага и бытия во исполнение нравственного закона.

XXIII. Как исполнитель закона добра и любви в творении бог-творец сам есть добро, творящее из себя добро, и сам есть любовь, дающая из себя жизнь как дар любви разумным созданиям, таким как человек. Примерно так формулируется кратчайшее определение бога как абсолютного блага и абсолютной любви, развертываемое в систему определений в логических рамках теодицеи, составляющей этический раздел фундаментальной теологии. И стало быть:

XXIV. Достоинство бога как творца есть достоинство абсолютного добра и абсолютной любви, отраженное в мире и умопостигаемое в мире разумными созданиями как (говоря яснее при помощи синонимов слова достоинство) жизненная значимость, жизненная ценность, жизненная важность, жизненная стоимость мирового добра и существующей в мире любви, в связи с чем:

XXV. Люди интуитивно и совершенно правильно понимают любовь как высшее благо бытия и как высшую мировую ценность, выше которой в мире нет, ибо в абсолютности любовь тождественна абсолютному добру и есть сам бог как источник жизни и всех благ, а в мире любовь (разумеется, истинная, а не ложная: настоящая, а не миражная) заимствует из абсолюта как из своего первоисточника свое высшее достоинство как мировой эквивалент достоинства самого бога через абсолютное тождество бога, добра и любви.

XXVI. Достоинство бога, приданное богу нравственным законом как абсолютная смысловая и ценностная сущность добра и любви, — это, надо полагать, не все достоинство бога, и пускай это лишь одна из каких-либо, качественно равноценных или неравноценных, сторон достоинства бога, но для человека это самая существенная сторона достоинства бога, с которой человек связан с богом абсолютным родством и узами любви как сын с отцом. И скажите, пожалуйста:

XXVII. Какую честь вы можете помыслить для себя выше чести быть в абсолютном родстве с богом? Никакую, не так ли? Но: как только вы это помыслили, так сразу вы обременяетесь в сознании долгом оправдать оказанную свыше честь, который может — положим, совсем не обязательно, но запросто и по множеству житейских ва-

риантов в таком мире, какой вокруг, может — привести вас на голгофу или к чему-то подобному. Такова моральная цена чести, соответственная моральной высоте чести и, образно говоря, предъявляемая к оплате в сознании долга. Если вдруг пробьет час вашей личной голгофы, вы можете, не роняя чести, сказать: «Да минует меня чаша сия». Но вы уроните честь, если не добавите вслед за тем в глубине души: «Впрочем, не как я хочу, но как ты, господи», или как, иными словами, будет угодно судьбе, если вам привычной сознавать честь помимо бога и не усматривать в руке судьбы руку бога.

XXVIII. Сохранность чести и само наличие чести обеспечиваются сознанием чести, в котором содержится долг сбережения чести, а честь сберегают ценой жизни и всех благ жизни путем исполнения нравственного закона как долга и долга как нравственного закона, а неисполнением долга честь пятнается, роняется и теряется. Урон чести соразмерен величине греха и тяжести вины и безошибочно устанавливается совестью. Совесть есть абсолютный блюститель чести, безошибочно и чувствительно сигнализирующий укором совести об уроне чести человеком и вразумляющий человека в правильном понимании дел чести и в понимании самой чести. При неправильном понимании чести неправильно формируется или вообще не формируется сознание чести, без чего чести нет. Сознание чести есть развитое сознание собственного достоинства, преобразованное в сознание чести на основе сознания совести и истинного понятия чести. Человек с сознанием чести есть человек чести.

XXIX. Сознание чести и сознание совести составляют в нравственном самосознании человека двуединство, через которое блюстителем чести в душе человека является сам бог, в силу тождества голоса совести и голоса бога; засим в нравственном самосознании человека чести превалирует долг и исполняется как дело чести и как высший закон, то есть как нравственный закон, выше которого нет закона для человека чести. И стало быть:

XXX. Тот, кто достоин бога как абсолютного отца, — это человек чести.

Логическая теорема 37

ТЕОРЕМА СЕРДЦА ДУШИ

Сердце души – это собственное чувствилище человеческой личности в сознании души, функционально двоякое, с одной стороны, как обособленная сфера сокровенных душевных переживаний мыслящего «я» души (человека), а с другой стороны, как троичный моральный сенсор «я», обеспечивающий личную моральную чувствительность человека к бытию, работая, во-первых, как сенсор любви и нелюбви, во-вторых, как сенсор добра и зла, в-третьих, как сенсор счастья и несчастья.

Доказательство

I. Само собой разумеется, но не помешает проговорить, что в общей конструкции человеческого существа, связывающей в дуальное целое физический организм и бесплотную душу, сердце души не имеет ничего общего по своей природе и функциональности с сердцем организма, и связаны эти два сердца только одинаковым набором букв в слове сердце и той ассоциацией, что стала причиной того, что в народном языке называются одним словом две совершенно разные вещи. Совпадение весьма удивительное, но к делу не относящееся. И раз уж в народном языке есть общепотребительное слово для обозначения особенного чувствилища души, подлежащего научно-философскому определению и описанию, то негоже придумывать новый искусственный термин вместо общеизвестного естественного термина, как это делают софисты без всякой надобности, кроме нужды прикрыть нищету мысли яркими модными одеждами из наукообразных заумных терминов.

II. Когда человек говорит, что он чувствует любовь сердцем, это означает, что он чувствует любовь душой, но никак не телом: не той физической частью организма, что зовется сердцем, а той бесплотной частью бесплотной души, что тоже зовется сердцем и обладает нефизической чувствительностью, функционируя как обособленное душевное чувствилище и в первую очередь как чувствилище любви.

III. В силу тождества души и сознания, сердце души есть чувствилище сознания души, являющееся основным системным элементом сенсорики сознания, представленной самосознательными чувствами, такими как базовая дюжина перечисленных выше (см. п. III теоремы 36) нравственных чувств, к чьему числу относится чувство любви, которое есть сознание любви как чувствование сознанием и сознавание, тождественное чувствованию.

IV. В качестве чувствилища любви сердце души, во-первых, выполняет сенсорную

функцию как то, посредством чего душа и мыслящее «я» души (личность: человек) испытывает любовь как чувство любви, которое, будучи сознанием любви, есть состояние сознания и состояние сердца души как производное любви и состояние любви, испытываемой сердцем души и приводящей сердце и в целом сознание души в жизненные состояния и духовные преобразования, обусловленные любовью.

V. В качестве чувствилища любви сердце души, во-вторых, является обособленной в сознании души сферой любовных переживаний и производящим их вместилищем как любящая часть души: **любящее сердце**: то, чем любит человек, и то, в чем обособлены и в чем производят свою особенную (любовную) душевную работу предметы человеческой любви как мысленные образы, наделенные притягательной и властной силой и способные брать безраздельную власть в душе над всеми мыслями и чувствами мыслящего «я» (человека).

VI. Душевная власть любви, общеизвестная своим победительным и завораживающим, сродни гипнозу, действием, сосредоточена в сердце души, словно (говоря метафорически) в огороженном замке и административном офисе с пропускной системой, куда вход регулируется **барьером душевной близости**, через каковой входи в сердце только родные и близкие, да и то не все, а только сердечно любимые.

VII. Человек говорит человеку: ты живешь в сердце моем — и подразумевает, что он носит в сердце души образ другого человека как предмет любви, который западает в сердце души и хранится там как то, что вызывает любовь человека к человеку, задействуя душевную способность к любви (добродетель любви).

VIII. Отнюдь и далеко не все что угодно может сделаться предметом любви, а только то, что достойно любви, то есть имеет жизненную ценность и значимость одного порядка с высшей жизненной ценностью и значимостью любви, а также вровень с достоинством человека, ибо не любят то, что не считают достойным себя; стало быть, только признаваемый достойным любви предмет способен запасть в сердце и овладеть сердцем души, а вместе с тем и мыслящим «я» души, притягивая к себе мысли «я», буд-то магнит или гравитационный объект.

IX. Естественными предметами любви, обусловленными природой любви, заданы естественные жизненные формы любви, фундаментально значимые в нравственной организации человеческого бытия как блага, ибо жизнь человека теряет тождество с благом и просто невозможна как благо за вычетом в жизни человека любви, разнящейся в своих жизненных формах, сводимых к базовой шестерице, перечислим еще раз: **1. Самолюбие** (не путать с эгоизмом) + **2. Семейная любовь** + **3. Любовь к труду** + **4. Дружба** + **5. Любовь к ближнему** (она же всеобщая любовь) + **6. Любовь к богу**. Три ремарки: ремарка к форме 2-й: семейная любовь имеет собственные базовые формы, включая (соответственно диаде полов) материнскую и отцовскую любовь, сыновнюю и дочернюю, братскую и сестринскую, а также любовь между мужем и женой (отцом и матерью) как семейную форму любви между мужчиной и женщиной; ремарка к форме 5-й: любовь к ближнему, иначе называемая христианской любовью, есть всеобщая любовь как любовь ко всему человечеству, персонализированная в любви человека к каждому человеку как к брату в человечестве: к ближнему (употребляя христианский термин); ремарка к форме 6-й: любовь к богу имеет нерелигиозный эквивалент в форме любви к истине, в силу тождества истины и бога в абсолюте.

X. Базовая шестерица предметов любви в базовой шестерице форм любви: **1. Свое «я»** + **2. Семья** + **3. Труд** + **4. Друзья** + **5. Человечество** + **6. Бог**, где бог есть наивысший предмет любви, дуальный как абсолютный субъект и абсолютная истина, а остальные предметы любви в базовой шестерице, за исключением труда (и призвания как труда), суть предметы любви человека к человеку, двоякие как персональные и сверхперсональные. Сверхперсональные предметы любви сводимы к базовой триаде: семья + народ + человечество. Персональные предметы любви представлены, во-первых, дуализмом своего «я» и другого «я», а во-вторых, тетрадой других «я» с разбивкой на диады: семейная диада (близкий родственник + супружеская половина) + сверхсемейная диада (друг + ближний). Человек любит человека перво-наперво в своем собственном лице, но ни для кого не секрет (благодаря совести), что, по нравственному закону, самолюбие подлежит принесению в жертву иной любви, чему человек учится в семье, где человек возведен в предмет любви в единственном числе как отдельный субъект и во множественном числе как родня, в чем состоит дуализм персональных и сверхперсональных предметов любви человека к человеку: семейная любовь персональна, имея предметом каждого члена семьи, и сверхперсональна, имея предметом всю семью. Аналогичным образом всеобщая любовь персональна, имея предметом ближнего как брата в человечестве, и сверхперсональна, имея предметом все человечество, а путем ограничения всеобщей любви национальным самосознанием получается любовь к своему народу, она же любовь к отечеству, получаемая, с дру-

гой стороны, путем расширения понятия отчего дома до масштабов отечества.

XI. Естественные предметы и формы любви априори должны помещаться в сердце души без психологических трений и образовывать гармоническое сердечное содружество, ибо они заданы нравственным законом, который есть истина, а истина непротиворечива и претворяется в жизнь без противоречий. Какие-либо конфликты между предметами или формами любви в душевной жизни означают, что кто-то или что-то занимает неподобающее место в душе по моральной ошибке «я», состоящей, например, в банальном порочном пренебрежении истинными ценностями и благами в пользу ложных и иллюзорных ценностей и благ, кои, надеаясь мнимой значимостью, имеют обыкновение вызывать нездоровую любвеподобную зависимость, как, например, наслаждения, почему гедонизм (любовь к наслаждениям, а точнее говоря, любвеподобная зависимость от наслаждений) есть порок.

XII. Сердце души — это собственное (личное) душевное чувствилище мыслящего «я» души (человеческой личности) и работает как личная способность человека чувствовать душой (а точнее, сердцем души) то содержание бытия, которое касается и задевает человека лично и воспринимается мыслящим «я», как говорится, близко к сердцу, то есть воспринимается посредством сердца и самим сердцем как собственным чувствилищем «я» в сознании души. Личный характер сердечной чувствительности образцово-показателен в любовных обидах, способных по ничтожным поводам терзать сердце души острой болью, испытываемой обиженным «я» как то, что происходит лично с ним самим и переживается лично им самим в силу сердечной чувствительности, присущей «я» (личности).

XIII. Сердце души — это моральный сенсор сознания души, чувствительный к познаваемым моральным смыслам содержания бытия, которое морально поляризовано лично для человека как хорошее и плохое, благотворное и злоторное, счастливое и бедственное, лестное и обидное, возвышающее и унижительное и так далее, причем:

XIV. Сознаваемое морально-положительное содержание бытия воспринимается сердцем (и человеком) любовным образом как то, что нравится, а признаваемое морально-отрицательное содержание бытия, напротив, отторгается сердцем (и человеком) как то, что не нравится, а это, собственно говоря, означает, что вся сердечная (глубоко личная) чувствительность человека к бытию и к тому, что происходит с ним в бытии, на корню есть чувствительность к любви и нелюбви, ставящая человека в сердечное отношение к благам бытия как к дарам любви, а к злам и бедам бытия — как к смысловым формам нелюбви.

XV. Поскольку сердце души есть, во-первых, моральный сенсор, чувствительный к моральным смыслам, воспринимаемым сознанием души, а во-вторых, оно есть собственное чувствилище «я» в сознании души, постольку, с одной стороны, сенсорная работа сердца души обусловлена в разумном естестве души сверхличным образом независимо от «я» и безошибочна на основе совести, но вместе с тем, с другой стороны, естественная моральная чувствительность сердца, совестливая в своей сверхличной душевной основе, поставлена в зависимость от личного мышления «я» и морального облика человека, откуда априори ожидаемы и апостериори наблюдаемы моральные ошибки в работе сердца души как личной способности человека к моральному чувствованию.

XVI. Как чувствилище любви сердце души есть совестливый высокочувствительный душевный проводник нравственного закона в жизнь как закона любви, по которому любовь является фундаментальным слагаемым нравственности человека, во-первых, как добродетель любви, то есть как душевная, а точнее, сердечная способность человека к любви, во-вторых, как реализация сердечной способности к любви в жизненных формах любви, в каковых любовь властно задействует всю нравственность человека и вместе с тем, в-третьих, отождествляется с совестью и говорит в душе голосом совести как голосом любви, воцаряясь в сердце души, все равно как совесть и сам бог.

XVII. Народная мудрость гласит: слушай, что говорит сердце, доверяй сердцу, сердце не обманет, сердце знает правду и так далее в том же роде, но: это верно, если имеется в виду любящее сердце: сердце, в котором царит любовь, причем истинная любовь, вразумляющая «я» моральной истиной, которая есть нравственный закон; а без любви и от сверхнормативного дефицита любви сердце души пусто, одиноко, несчастно и радо обмануться и обмануть в надежде на любовь, каковая надежда велика есть и питается человеком в сердце.

XVIII. В силу тождества добра и любви, сердечная чувствительность человека к любви есть моральная чувствительность к добру, которое в жизненных формах любви составляет благо жизни как счастье жизни, а счастье жизни — как счастье любви, ощущаемое сердцем души и переживаемое человеком как ощущаемое сердцем счастливое содержание бытия и само бытие как благо, а иначе говоря:

ХІХ. Любовь переживается и воспринимается сердцем души как живая реальность добра и как **живое благо** в его тождестве с бытием, не иллюзорное, не миражное, а совершенно реальное как то, что можно вживую испытывать сердцем души и отличать в реальности от прочих благ бытия как счастье любви, состоящее в счастливых переживаниях, приносимых в бытие любовью и не чем иным, как любовью.

ХХ. Сказать, что человек любит сердцем, — значит сказать, что человек чувствует добро сердцем, где чувствование есть сознание и сверхпонятийное разумение сердцем, оно же сверхпонятийное знание сердцем, ибо:

ХХІ. Понятие о любви есть производное любви: понятие о любви составляется опытным путем: сколько-нибудь верное понятие о любви нельзя составить, не испытав любовь: понятию о любви предшествует в бытии (на практике) сверхпонятийное сознание любви, приходящее вместе с любовью и иначе называемое чувством любви, но строго говоря, сознание любви сверхчувственно и отмежевано от всей палитры любовных чувств как качественное (духовно-нравственное) состояние души, придаваемое душе любовью.

ХХІІ. В сознании любви выполняется тождество знания и сознания и выражается в сверхпонятийном и сверхчувственном знании любви сердцем, во-первых, как того, что де-факто испытывается сердцем и называется людьми любовью, а во-вторых: познавать любовь — значит знать сердцем души моральную истину, составляющую абсолютную сущность любви и царящую в душе и в мире как нравственный закон.

Логическая теорема 38

ТЕОРЕМА ВОПЛОЩЕННОГО «Я»

Человек есть мыслящее «я» души, существующее во плоти как воплощенное «я», являющееся живой частью человеческого существа и сформированное в нем как личностная форма души, соединяющая собой душу и человеческий организм в человеческом духе, который сущностно-двоичен как дух души и дух организма и объектно-единичен как духовное тело, находящееся в физическом теле как в своей плотской форме, которая по внешнему контуру служит физическим обликом воплощенного «я», а в целом как организм является естественно-данным материальным вместилищем души, приспособленным для существования души в физическом мире в форме воплощенного «я».

Доказательство

I. Напомним четырехчленное уравнение человеческого существа, логически извлекаемое (см. теорему человеческого существа, №26) из дуализма тела и души по диалектике формы и содержания:

[Человеческое тело + человеческий дух] + [человеческая душа + человеческая личность] = человеческое существо.

Слагаемые в скобках спарены диалектикой формы и содержания по уравнениям:

Дух организма + тело организма (форма духа) = организменная часть существа;

Душа + личность (форма души) = неорганизменная (душевная) часть существа.

II. Организменная и неорганизменная части человеческого существа связаны в живое целое в человеческом духе, сущностно-двоичном как дух организма и дух души и объектно-единичном как духовное тело, которое обладает свойствами духа организма, с одной сущностной стороны, а с другой — свойствами духа души и служит общим духовным вместилищем физического тела человека и души человека (см. теорему духовного тела, №25).

III. Объектную единичность сущностно-двоичного человеческого духа можно и нужно мыслить попросту как слияние духа организма и духа души в пространственной форме человеческого существа с результатом слияния в виде монолитного духовного тела, чьи свойства сущностно поляризованы по принадлежности к организму и к душе, но оно само, духовное тело, неделимо внутри человеческого существа на два духовных тела как два пространственных объекта, хотя, судя по фактологии спиритизма (см. фактологические предуведомления №№1-2 и №4), принципиально возможно раздвоение духовного тела путем т.н. экстериоризации (выхода вовне) духа души из организма, в том числе, в виде классических ПП (прижизненных призраков).

IV. Человеческий дух, двоичный по сущностным свойствам как дух организма и дух души, наполняет и составляет собой духовное тело человека, совмещенное в пространстве с физическим телом человека как с материальной формой духа, синтезированной из материи в духовном теле и, с позволения сказать, вмонтированной в нежи-

вой физический мир как живой организм, который сам по себе есть биологическая машина, но живая сущность человеческого организма (воплощенный дух) соединена в живое целое с бесплотной душой в духовном теле и преобразована (путем живого слияния с духом души) в одушевленный дух, сущностно-двоичный как организменный, обеспечивающий жизнедеятельность организма, и как неорганиженный, не причастный к жизнедеятельности организма и обеспечивающий жизнедеятельность души в человеческом существе, но:

V. В силу живого единства духовного и физического тела в человеческом существе, жизнь души человека осуществляется во плоти, во-первых, просто как пребывание души в физическом теле как в своем жизненном вместилище, пребывая в чем душа, во-вторых, является насельником физического мира, неживого по своей физической природе, но пригодного для жизни за счет конструкции организма, делающей возможной жизнь в физической вселенной вообще и в частности разумную жизнь одушевленного человеческого существа, чье физическое тело служит для души машиной жизни в этом мире, находясь в которой душа находится в этом мире как мировой деятель и участник творения, сущий во плоти, в-третьих, не как животная сомнамбула, а как самосознательная и свободная личность, свободно управляющая собой и своим физическим телом по принципу свободы воли и обыкновенно ощущающая себя во плоти не как в темнице какой-то (если не считать отдельных дофилософствовавшихся до этого философов), а как в своем естественном физическом облике, в каком-то полагает жизнь человек как воплощенное «я».

VI. Человек есть воплощенное «я» как мыслящее «я» души, существующее в человеческом существе и имеющее физический облик, естественно-данный человеку в составе физической формы человеческого духа как внешний физический контур человеческого тела и как лицевая часть физического тела с личностными чертами: физическое лицо.

VII. Личностными чертами физического лица человека прорисован индивидуальный физический портрет воплощенного «я», во-первых, просто как особенная физиономия, чисто формально отличающаяся сочетанием физиономических элементов от физиономий других «я», а во-вторых и в-главных, как уловимое со стороны разумом отражение на физическом лице нефизических личных качеств человека, таких как добродетели, черты характера и особенности ума, отличающие человека как личность, а личность — как интеллектуальную и нравственную индивидуальность: как особенное человеческое «я»: как свое собственное «я», отличающее человека от человека как субъекта со своим «я» от субъекта со своим «я».

VIII. Вопрос: каким образом конструктор вложил в конструкцию человеческого существа принцип отражения на физическом лице «я» нефизических качеств и душевных состояний «я», передаваемых мимикой лица? Ответ: таким же, каким сплошь и рядом в творении форма выражает и отражает содержание по закону, определяемому как диалектика формы и содержания. Человеческая физиономия — материальная форма, физически выражающая и отражающая душевные свойства и переживания личности как содержание нефизического естества и разумного бытия человеческой личности.

IX. Человеческая личность («я») есть нематериальный человеческий лик души, приобретаемый душой в человеческом существе вместе с физическим лицом человека, на котором материализованы (воплощены), то есть отражены в физической форме, некоторые душевные качества личности, отличающие личность как таковую, составляя сущностное содержание нематериального естества «я», в соответствии с диалектикой формы и содержания.

X. Универсальная диалектика формы и содержания логически проста, но хитроумно пронизывает конструкции, собранные из множества противоположностей, где один и тот же элемент конструкции может соотноситься с чем-то как форма, а с чем-то как содержание (сущность), например: мыслящее «я» души (личность: человек) есть нематериальная (личностная) форма души, соотносящаяся с душой как со сверхличной сущностью, имеющей универсальное разумное естество, содержательно-индивидуализированное в форме уникального «я», которое, будучи формой души, является (см. пп. VIII-IX) нематериальным душевным содержанием, фрагментарно и портретно, прямо-таки художественно, выраженным в материальной форме (материализованным) на физическом лице «я», отражаясь в тех физических чертах лица, в каких угадываются, например, черты характера личности.

XI. Хитросплетения диалектики формы и содержания осложняются по ряду стандартных вариантов, в том числе, когда в поле зрения попадает дуализм внешней и внутренней формы — например: внешний и внутренний облик человека. К внешнему облику «я» относится прежде всего то, что вы видите, смотрясь в стеклянное зеркало или глядя на фото в своем паспорте: физическое лицо. А внутренний облик «я» — это

сумма душевных качеств «я», прежде всего моральных, составляющих внутренний облик личности как личностный облик души, ибо личность есть форма души и сама душа, принявшая форму личности.

XII. Пониманием диалектики формы и содержания облегчается понимание и теоретическое описание дуализма материи и духа в неживой и живой природе. Применительно к человеческому существу надо первым делом взять во внимание и не упустить из виду **дуализм форменного и сущностного естества**, демонстративный в конструкции всех сущих во плоти живых существ, где сущностное естество есть дух как живая сущность живого существа, а форменное естество есть живая плоть живого существа, оживляемая духом, связывающим собой материю в форме организма и превращающим в организме неживую материю в живую плоть, которая становится снова неживой, когда дух покидает организм, и форма распадается за вычетом связующей живой сущности (духа).

XIII. В живом существе человека (в человеческом существе) стандартный дуализм форменного и сущностного естества осложнен прибавкой к организму души и одушевлением живой сущности (духа) организма, что равнозначно сущностному раздвоению одушевленного духа как духа организма, воплощенного в организме, и как духа души, который сам по себе (за вычетом сознания) есть душевная сомнамбула (бессознательная ипостась души), способная, как явствует из фактологии спиритизма, к трансовому отделению от человеческого существа, чем убедительно доказывается дефакто сущностная двоичность человеческого духа как духа организма и духа души, где дух организма — это то, что делает организм живым и потому не может или может лишь частично и не главной частью покидать организм без летальных последствий, в отличие от духа души, который, надо полагать, не принимает участия в жизнедеятельности организма и не является той живой сущностью, что в любом организме, не только человеческом, связывает и оживляет собой материю физического тела как свою плотскую форму, на этом логическом основании определяясь как воплощенный дух; но:

XIV. Если в человеческом существе духовное тело души соединено с духовным телом организма по принципу живого слияния в объектно-единичное целое, являющееся духовным вместилищем физического тела, то это значит, что физическое тело человека содержится в духовном теле человека, и наоборот, духовное тело человека вместе с человеческой личностью в нем содержится в физическом теле как в физическом вместилище личности, естественно-данном ей как форменное естество человеческого существа, являющееся плотским обликом человека, в каком человек существует в физическом мире в качестве воплощенного «я», сотворенного как живая часть человеческого существа и недаром таким живейшим, вряд ли иллюзорным, образом чувствующего физическое тело организма как свою живую плоть; при том что: жизнедеятельность организма, хоть клеточная, хоть инстинктивная и хоть какая, не есть жизнедеятельность «я», а потому:

XV. Воплощенное «я» воплощено и существует во плоти принципиально не так, как воплощен и существует во плоти воплощенный дух, он же дух организма, он же живая сущность организма, которая (см. теорему живой сущности, №1) не есть личность и не есть душа, принимающая форму личности, а есть то, в чем производится сборка организма из материи и что делает физическое тело живым, претворяясь в жизнедеятельность организма и закачиваясь в организм откуда-то извне во время сна в качестве духовной энергии, называемой людьми жизненной энергией и питающей организм, подобно электричеству, а при отключении от духовного источника жизни живое тело становится неживым.

XVI. Воплощенное «я», строго говоря, вообще не воплощено, ибо (следите за мыслью пошагово):

- 1) воплощенное «я» есть личностная форма души: личность;
- 2) в силу разумности души и самоотжественности души в сознании, человеческая личность самоотжественна в сознании души как мыслящее «я» души, сущее в сознании души, а вместе с тем:
- 3) мыслящее «я» души существует и в духовном теле души как в носителе сознания, но:
- 4) в человеческом существе духовное тело души слито воедино с воплощенным духом организма и заодно с оным является, с одной стороны, духовным вместилищем физического тела, а с другой стороны, духовным вместилищем сознания и личности, читай:
- 5) личность существует в физическом теле (во плоти) как в физической форме духовного тела, состоящей из мяса и костей (грубо-анатомически говоря для ясности) не как костно-мясная форма «я» и не как, другими словами, само «я», материализованное (воплощенное) в форме организма, а как физическое вместилище «я» в физическом

мире;

б) образно говоря (для ясности), физическое вместилище «я» в физическом мире (физическое тело: организм) играет роль «космической капсулы» души для входа в физический мир и существования в нем, находясь в организме не как то, физическая форма чего есть организм, а как мыслящий субъект с бесплотным разумным естеством и со своим «я»;

7) и логически вполне очевидно, что, как и сама душа, воплощенное «я» души бесплотно в своем сущностном (душевно) естестве, но:

8) воплощенное «я» имеет физическое тело как свое естественное плотское обличие, предусмотренное конструкцией человеческого существа и вживую ощущаемое как свое, хотя заметьте:

9) если повредить или отключить нервную систему организма, например, параличом конечностей, не ощущаемые конечности воспринимаются мыслящим «я», как чужие;

10) и стало быть, воплощенное «я», говоря логически строже и точнее, не воплощено, а помещено в физическом теле, но:

11) и то, и другое («я» и плоть) — живые части человеческого существа, чьи все живые части естественно даны воплощенному «я» как части его собственного живого существа, сущего во плоти.

XVII. Еще точнее и строже говоря, воплощенное «я» как то, что оно есть само по себе в своем духовном и разумном естестве, помещено не в физическом, а в духовном теле человека как в объектно-единичном общем духовном вместилище человеческого организма и человеческой души, которое как пространственный объект есть человеческий дух, замкнутый в пространственном объеме, ограниченном внешним контуром человеческого тела и наполненным тем, из чего состоит человеческое существо, а это: дух организма + плоть организма + дух души с сознанием в нем + мыслящее «я» души, сущее в духе и сознании души как сама душа в личностной форме «я», принимаемой душой в человеческом существе, а точнее, в духовном теле человеческого существа, являющемся единым духовным вместилищем и носителем плоти, сознания и личности.

XVIII. Душа принимает форму человеческой личности с безличностного нуля с точкой старта в моменте одушевления плода, каковой момент вряд ли совпадает с моментом зачатия, но если угодно, пусть совпадает, суть не в том, а в том, что одушевленный человеческий дух сущностно-двоичен как живая сущность организма, обеспечивающая жизнедеятельность плоти, и как живая сущность души, соединенная с живой сущностью организма без отождествления с ней, так что организм не есть плотская форма (воплощение) души, а есть плотское вместилище бесплотной души, принимающей в нем форму воплощенного «я» не как, извините еще раз, костно-мясную форму физического тела, а как личностную форму сознания, развернутого в духовном теле, воплощенном в физическом теле.

XIX. Конструкция человеческого существа пирамидальна: физическое тело (внешнее вместилище в основании конструкции) + духовное тело (внутреннее вместилище в основании конструкции) + сознание + личность (целевая верхушечная часть конструкции).

XX. Принятие душой формы личности в детстве становится заметным, когда душа ребенка, во-первых, обнаруживает отличительные разумные качества личности (см. теорему качеств личности, №28), а во-вторых, обнаруживает умственную способность логически помыслить саму себя и тем самым обрести свое «я» в предмете мышления, а вслед за тем и составить первоначальное понятие о себе, с помощью наставников или без. В силу разумной природы души, все способности личности разумны и сама она прорезается, развивается и формируется в духе и сознании души как мыслящее «я» души, чье мышление производится мыслящим естеством души, называемым разумом и мыслящим, во-первых, сверхличным образом независимо от «я», а во-вторых, мыслящим по воле «я» и в соответствии с личными качествами и житейской мотивацией «я», в чем состоит дуализм личного и сверхличного мышления души.

XXI. Дуализм личного и сверхличного мышления души логически эквивалентен дуализму, с одной стороны, **своего ума** как личных умственных способностей «я», а с другой стороны, **собственно разума** как сверхличной способности души к мышлению, коренящейся в абсолюте и обладающей абсолютными свойствами, явствующими, когда человеческий разум работает как большой талант в режиме творческого мышления и как совесть в режиме морального мышления.

XXII. В силу нематериальности души (см. теоремы 21, 22 и 30: теорему нематериальности души, теорему душевной жизни и теорему чувствующего сознания), априори нематериален человеческий разум и как сверхличный производитель мышления души, и как личная способность «я» к мышлению (свой ум). Умозаключение о немате-

риальности человеческого разума доказывается и разъясняется разными логическими способами и никаким боком не противоречит тому, что апостериори несомненен тот факт, что:

XXIII. Нематериальное мыслящее естество души (разум) работает в человеческом существе при живейшем участии организменного компьютера по имени мозг, выполняющего, например, такие функции: функцию передатчика в сознание информации от телесных органов чувств, функцию преобразователя волевых команд «я» в психо-физическом механизме управления физическим телом, функцию аппарата голосовой речи, функцию материального хранилища информации и так далее (см. теорему «мозгового сознания», №39). Но даже если доказать, что душа вообще не может мыслить в человеческом существе без помощи мозга, это не будет означать, что человеческий разум находится в черепной коробке, как думают материалисты и селятся обосновать это нейробиологией. Тщетно. Содержимое черепной коробки — это деталь организма, который есть живая машина, оживляемая духом и управляемая, если не напрямую из абсолюта абсолютным разумом, то живой программщиной, загруженной из абсолюта в дух организма и в духовную организацию живого мира, частью чего является организм, создаваемый из оплодотворенной яйцеклетки с нуля (со всеми потрохами и мясом мозга в том числе) и не могущий быть мыслящим субъектом, называемым местоимением «я» и тоже создаваемым с нуля, однако не из мяса и костей, а из духовных и разумных качеств души, отличающих личность. Но:

XXIV. Следует априори ожидать, что в числе духовных и разумных качеств воплощенного «я», существующего во плоти и имеющего физический облик, предустановлена индивидуализация стандартных биологически-адаптивных свойств духовного тела души, обусловленных слиянием оногo с живой сущностью организма и похожих на инстинкты и повадки животных, откуда, кстати сказать, черпают свою мощь и иллюзорную (кажущуюся) естественность человеческие пороки, будучи, на самом деле, моральными недугами «я» и противоестественными извращениями человеческой природы, ибо:

XXV. Воплощенное «я» есть истинное «я» души (см. теорему истинного «я», №34) как моральная личность с моральным естеством, обусловленным нравственным законом, главенствующим над всей природой «я», придавая подобающий благообразный вид всем природным качествам «я» и всему естественному облику «я», в том числе физическому облику, так что у людей лучится в глазах добро; и никакая биология человеческого существа, ни в устроитве человеческого организма, ни в генетической истории антропогенеза, не роднит человека с животными больше или намного больше, чем всё живое роднит со всем живым то, что оно живое и произрастает из абсолютного источника жизни, который есть бог. Но:

XXVI. При утрате истинного «я» в результате моральной деградации личности человек, говоря прямым текстом, без метафор и аллегорий, перестает быть человеком и преобразуется в существо, которое по признаку преобладающей животной мотивации поведения в сочетании с признаком сознания подпадает под такое определение: **самосознательный зверь.**

Логическая теорема 39

ТЕОРЕМА «МОЗГОВОГО СОЗНАНИЯ»

Работа мозга и всей нервной системы человека по обеспечению чувственного восприятия физической реальности и своего организма сознанием души создает у воплощенного «я» иллюзию «мозгового сознания», состоящую в том, что человек сознает и ощущает себя в физическом теле как в самом себе, а свой разум склонен отождествлять с головным мозгом, вместе с чем сознание представляется мозговой функцией, работающей подобно лампочке, но в реальности мозговая деятельность, как и вся жизнедеятельность организма, осуществляется воплощенным духом, а в силу одушевления оногo, компьютероподобная работа мозга отчасти эквивалентна работе сознания и в этой части может условно-метафорически называться «мозговым сознанием».

Доказательство

I. Теорема «мозгового сознания» (закавычена терминологическая метафора) детально расширяет теорему чувствующего сознания (№30), где логический акцент сделан на том фактологическом обстоятельстве, что, в силу тождества души и сознания, чувствительность души есть чувствительность сознания, а в силу двуипостасности

души как духа и сознания, чувствительность сознания души есть чувствительность духовного тела души, приведенного в сознание и чувствительного к тому, что воспринимается сознанием души в сознательных состояниях души; а в бессознательных состояниях душа бесчувственна, ничего не воспринимаемая сознанием, потому ничего и не чувствуя никак (вынося за скобки чистую сомнамбулическую чувствительность, ибо чистая сомнамбула не есть душа).

II. Теперь сместим логический акцент на то, что, в силу монолитного слияния духовного тела души с воплощенным духом организма, априори ожидаемо и апостериори доказуемо, что физическая чувствительность человеческого организма одушевлена и преобразована (когда душа пребывает в сознании) в **плотскую чувствительность души**, выражающуюся в том, что душа человека и сам человек (мыслящее «я» души) чувствует свое физическое тело и воспринимает **как свои** физические ощущения тела, кои принципиально отличны от собственных чувств души, таких, например, как нравственные страдания человека вроде мук совести, вызываемых укорами совести и совестливыми мыслями «я», воздействующими на сознание души и производящими душевную боль, тогда как физическая боль происходит от физических воздействий на физическое тело, а не на сознание души, однако она вживую чувствуется душой и обладателем души (человеком); а почему, собственно?

III. Телесные ощущения организма чувствуются душой и мыслящим «я» души (человеком) потому, что духовное тело человека, оно же духовное тело человеческого существа, является единым духовным вместилищем организма и души, а значит, и единым чувствилищем организма и души, а также чувствилищем сознания, в силу тождества души и сознания и в силу двуипостасности души как духа и сознания.

IV. Духовное тело человека есть чувствилище всего человеческого существа, чья вся живая чувствительность, и организменная (плотская: физическая), и неорганизованная (душевная: психическая), есть чувствительность духа, который наполняет собой духовное тело в пространственных границах его и в этих границах пресуществляет материю физического тела в живую плоть организма, а сам пресуществляется в сознание, переходя порог сознания.

V. Как чувствилище организма духовное тело человека чувствительно к физическим воздействиям на организм, а как чувствилище души духовное тело человека чувствительно к нефизическим (духовным) воздействиям на душу и на человека как «я» души, существующее в духовном теле и чувствительное к тому, к чему чувствительно духовное тело, когда оно приведено в сознание и является сознательным чувствилищем и души, и организма.

VI. Живая чувствительность духовного тела человека есть живая чувствительность самого человека как воплощенного «я» души, сущего одновременно в сознании души, в духовном теле человеческого существа и в физическом теле организма как в плотской форме духовного тела.

VII. В силу сущностной двойности человеческого духа как духа организма и духа души, живая чувствительность человека двойна как плотская чувствительность человека, представленная телесными ощущениями организма, и как душевная чувствительность человека, представленная чувствами души, имеющими неорганизованную, нефизическую, нематериальную, духовную природу (см. теоремы 21, 22 и 30: теорему нематериальности души, теорему душевной жизни и теорему чувствующего сознания).

VIII. Будучи чувствительностью организма, плотская чувствительность человека обеспечивается телесными органами чувств, нервной сетью и мозгом, который в качестве организменного компьютера работает, в том числе, как психофизический транслятор чувственной информации от сенсорных систем организма в сознание души и тем самым делает возможным чувственное восприятие физической реальности сознанием и воплощенным «я», ощущающим себя во плоти, когда оно пребывает в сознании, а не вне сознания.

IX. Восприятие физической реальности сознанием при посредстве телесных чувств философы некогда взяли обыкновение называть чувственным сознанием. Сей весьма метафорический по своему устоявшемуся смыслу термин (употребляемый обычно материалистически как синоним восприятия физической реальности телесными органами чувств, как будто человек что-либо чувствует только ими), означает то же самое или почти то же самое, что в теореме 39 метафорически же называется «мозговым сознанием» и что не надо путать с чистой духовной сенсорикой сознания, представленной сердцем души и самосознательными чувствами «я», такими как нравственные чувства.

X. Беря во внимание традиционную базовую пятерницу телесных чувств, называемых зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом, надо соответственно различать информацию, транслируемую мозгом в сознание души как зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную и вкусовую. Мозговая трансляция в сознание лю-

бой чувственной информации (ЧИ) сводима к четырехэлементной логической схеме: 1) восприятие физической реальности сенсорикой организма → 2) шифрование ЧИ мозгом → 3) трансляция ЧИ мозгом в сознание души → 4) не мозговые операции с ЧИ в сознании. Логический самоанализ, результируемый подобной схематизацией, способен самостоятельно проделать близко к истине всякий, кто имеет голову на плечах, не покрытых шерстью, и не ленится шевелить мозгами без фанатичной веры в распространенное сверх всякой интеллигентной меры материалистическое учение о мыслящей материи. Это делается примерно так:

XI. Картинка окружающей физической реальности в поле обзора оптически отражается в глазном яблоке, а затем, о чем нынче знает каждый школьник из уроков биологии, передается по зрительному нерву в головной мозг в зашифрованном виде. Пусть нейробиологи объясняют, как именно работает мозговой компьютер, а в логических рамках теоремы 39 достаточно понимать это по аналогии с тем, как та же самая картинка физической реальности оптически отражается в видеокамере и упаковывается в видеофайл, а видеофайл распаковывается на вашем ПК с результатом в виде картинки на мониторе, зеркально воспроизводящей видимую глазным яблоком и оком видеокамеры физическую реальность. Бог весть как, но факт, что та же картинка, что воспроизводится чисто физически на мониторе ПК, может воспроизводиться и чисто психически в сознании души, а точнее, в пространственном поле мышления, развернутом, подобно экрану, в душе. Не в мозгу (NB), а в душе. Закройте глаза и мысленно воссоздайте ту картинку, что вы видите открытыми глазами: теперь (с закрытыми глазами) вы умозрительно видите то же самое, что вы видите зрительно через глазное яблоко и зрительный нерв. Хотя в обоих случаях картинка создается при помощи мозга, но умозрительно она созерцается не мозгом, а самосознательной личностью, и находится картинка как умосозерцаемый объект в поле мышления души, а не в мясе мозга. Напрасно нейробиологи материалистической закваски будут искать гипотетический монитор, спрятанный в мозговом веществе, он просто излещен в конструкции человеческого и любого живого существа, чего не скажешь об экраноподобном пространственном поле мышления, естественно-данном в духовном теле человека де-факто, причем по обе стороны порога сознания, то есть и в поле сознательного, и в поле сомнамбулического (типа сновидческого) мышления.

XII. Не в мозгу (не в физической реальности), а в душе (в психической реальности: духовной) развернут нефизический экран мышления души с умосозерцаемой картинкой физической реальности на нем, ибо умосозерцатель, называющий себя местоимением «я», находится не в мозгу, а в душе, будучи мыслящим «я» души, чье всякое мышление, в том числе умосозерцание пространственных картинок, осуществляется не мозгом, а разумом, находящимся тоже не в мозгу, а в душе как нематериальное мыслящее естество души. Но: создавая пространственные картинки и видеоряды в поле мышления души, разум оперирует той же ЧИ (чувственной информацией), что и мозг, о чем свидетельствует эксперимент, прodelьываемый путем мысленного воссоздания с закрытыми глазами той же картинки, что вы видите открытыми глазами. В режиме бодрствования сия копируемая мыслительная операция дает не столь красочный результат, как в сновидениях, но достаточно наглядно и убедительно демонстрирует сам принцип зеркального копирования физической реальности в духе один к одному, как это делает видеокамера, роль чего в конструкции человеческого существа играет зрительная система организма, где мозг служит шифровальщиком и транслятором видеоряда в пространственное поле мышления души.

XIII. Если вы пребываете в сознании, а не вне сознания, то все, что вы созерцаете хоть при открытых, хоть при закрытых глазах, вы созерцаете сознанием, но во втором случае (при закрытых глазах) зрительная система организма отключена и заменена памятью и т.н. воображением. Закрыв глаза и извлекая из памяти (не суть, мозговой памяти или не мозговой) какой-нибудь памятный пейзаж, вы воссоздаете картинку сознанием на мыслительном экране души как зеркальную копию реальности, доступную только для мысленного (умо-) созерцания и только так, как это может делать воображение в сознательных состояниях души. Созерцание того же пейзажа воочию, а не в воображении по памяти, есть сознаваемое зрительное восприятие реальности, которое за вычетом сознавания будет просто копируемым отражением и шифрованием в мозгу попадающей в видеокамеру глазного яблока реальности. А с прибавкой сознавания зрительная картинка транслируется из мозга в душу, как говорится, в режиме реального времени и воспринимается сознанием души как видимая воочию физическая реальность, стоящая перед глазами и отраженная в поле мышления, то есть воспринимаемая **одновременно зрительно и умозрительно**.

XIV. Теоретически прелюбопытно то обстоятельство, что копируемая картинка физической реальности, зашифрованная в мозгу, может мысленно воспроизводиться и созерцаться с закрытыми глазами не только сознанием, но еще и сомнамбулическим

образом в виде обыкновенных сновидений и необыкновенных галлюцинаций. При чем, что еще интересней, в воображении сновидца физическая реальность рисуется с достоверностью документального цветного кино и видеоиллюзия воспринимается сновидцем совершенно реалистично, как если бы сновидец находился в сознании и созерцал ту же картинку физическим зрением. Вопрос: где развернут мыслительный экран, на котором возникают сновидения, созерцаемые сомнамбулой? Ответ: в ней самой, в сомнамбуле, а точнее, в духовном теле человека, которое вне сознания есть чистая сомнамбула: бессознательный субъект, чье сновидческое бессознательное мышление напоминает видеозаставку на мониторе в спящем режиме работы компьютера в отсутствие оператора в лице самосознательной личности. Похоже на то, что содержание сновидений изобилует информацией, извлекаемой сомнамбулой из мозговой памяти, но она сама, человеческая сомнамбула, не есть информационный продукт мозговой деятельности, а есть дух, способный переходить порог сознания и претворяться в сознание в самом себе, каковой способности лишен животный дух неразумных существ, называемых животными и тоже видящих сны, но не имеющих души, не имея сознания.

XV. Если извлечь живую человеческую сомнамбулу из живого организма, как это может происходить с духом медиума в медиумическом трансе, то в организме останется дух организма, который тоже, как и дух души, никоим образом не есть следствие причины, находящейся в мозгу, наоборот: мозг произрастает в составе организма из оплодотворенной яйцеклетки как следствие причины, находящейся в духе организма и создающей организм из яйцеклетки как живое материализованное производное (воплощение) духа, снабженное мозговым компьютером, чья информационная и любая работа есть составной элемент жизнедеятельности воплощенного в организме духа; и стало быть:

XVI. *Работа человеческого мозга есть работа человеческого духа*, сущностно-двоичного как дух организма и дух души и объектно-единичного как духовное тело человека (точнее, человеческого существа), которое есть духовное вместилище всего человеческого существа и то место, где развернут нематериальный экран мышления души, производимого в душе не мозгом, а разумом, но мозг задействован разумом как компьютероподобный организменный инструмент мышления, обеспечивающий, кроме всего прочего, чувственное восприятие сознанием души своего организма и окружающей физической реальности, за счет чего воплощенное «я» души (человек) сознает и ощущает себя живой частью физического мира, хотя физический мир вообще-то неживой, а оно само, «я», нематериально.

XVII. Чего стоит одно только зрительное восприятие реальности сознанием: зрительная система организма связана через мозг с сознанием души таким невероятным-очевидным образом, что у мыслящего «я» души, находящегося в сознании души и имеющего нефизическую природу, создается полное ощущение, что это оно само, «я», физически видит физический мир физическим зрением, хотя, на самом деле, оно, нематериальное мыслящее «я», может само что-либо видеть лишь нематериальным мысленным образом, в чем легко убедиться, закрыв глаза и тотчас оказавшись в крошечной физической тьме, где что-либо видеть человек («я») может только мысленным (духовным) взором.

XVIII. Априори надо полагать, что духовное зрение первично относительно физического зрения, но конструкция человеческого существа такова, что, пребывая в физическом теле, душа и обладатель души (человек: «я») созерцает физический мир одновременно зрительно и умозрительно, то есть одновременно физическим зрением и сознанием, а точнее, **зрячим сознанием**, базирующимся на системе понятий об увиденных вещах и эквивалентным духовному зрению за счет тождества знания и сознания в понятийно-сенсорном сознании, работающем как логическое зеркало реальности (см. теоремы 32 и 33: теореме «лампочки сознания» и теореме тождества знания и сознания). Вопрос: не имея зрячего сознания, что может видеть душа физическим зрением? Ответ: ничего. Ибо: за вычетом зрячего сознания в душе вычитается мыслящее «я» души (самосознательная личность) и остается какая-нибудь сомнамбула: либо сновидческая, либо трансвая, либо самосозерцательная (третья). Сама по себе зрительная система организма не дает человеку вообще никакого видения реальности. Сама по себе она не дает даже чего-нибудь вроде киноподобной иллюзии реальности, какую созерцает сновидец духовным зрением сомнамбулического типа. Только сознанием человек может видеть физический мир через живую оптику глазного яблока и при этом способен по достоинству оценить работу мастера, ухитрившегося смастерить всю эту красоту мыслью из электронно-протонной пыли в пустоте пространства и времени. И только в сознании могут испортить и обесмыслить космический шедевр две вещи — зло и беда.

XIX. Слуховое, осязательное, обонятельное и вкусовое восприятие реальности

человеком, так же как и зрительное восприятие, действительно в сознании и недействительно вне сознания, ибо: в силу тождества мыслящего субъекта и сознания (см. теорему тождества субъекта и сознания, №14), мыслящий субъект, отсутствующий в сознании, отсутствует в реальности и не может воспринимать реальность, не будучи реален сам.

XX. Чувственное восприятие физической реальности сознанием есть мыслительная работа сознания, она же работа разума, имеющая предметом мышления (мыслимым объектом) то, что воспринимается организменными органами чувств и является предметом чувствования: то, что видят глаза, то, что слышат уши, то, что осязается, то, что имеет запах и вкус.

XXI. Предмет чувствования (то, что чувствуют) становится в сознании предметом мышления и осмысливаемым (читай: познаваемым) предметом, о чем в результате осмысления составляется понятие и понятийное представление, в меру истинности коего предмет чувствования (то, что чувствуют) является познанной вещью, откуда происходит философский термин чувственного познания.

XXII. Физический предмет чувствования, например, цвет неба, звук голоса, температура воздуха, запах и вкус еды, сознаваясь и становясь в сознании предметом мышления, мыслится как то, что воспринимается имеющимися сенсорами: как видимый цвет неба, слышимый звук голоса, осязаемая температура воздуха, осязаемый запах и вкус еды. Достаточно будет просто запомнить этот цвет, этот звук, эту температуру, этот запах и этот вкус, чтобы составить представление о подобных вещах, которое **сверхпонятийно** как просто запомненный опыт. А при осмыслении чувственного опыта и усмотрении в нем смысла (логического значения) с такой-то или такой-то логической точки умственного зрения (умозрения), составляется понятие и понятийное представление о чувственно (посредством физических органов чувств) воспринимаемом сознанием (понятийным и сверхпонятийным образом) реальности.

XXIII. Поговорка, гласящая: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — означает: то, о чем составляют представление как об увиденном, знают в сто раз лучше, чем то, о чем составляют представление понаслышке. Эта поговорка будет справедлива и в перефразированном виде применительно к тому, что познаваемо, воспринимаемая ушами (звуки), кожей (характер прикосновений), носом (запахи), языком (вкус пищи). Глазами не слышат, а ушами не видят, но по звуку голоса мысленно представляют обладателя голоса. Звук голоса и физический облик его обладателя можно упаковать в файл и сохранить файл на физическом носителе, что, надо полагать, и продельвает мозговой компьютер как оператор информацией, поступающей от телесных органов чувств. В качестве транслятора ЧИ (чувственной информации) мозг играет роль окна в физический мир в человеческом существе, но представления и понятия о том, что вы видите, слышите, осязаете и чувствуете носом и на язык, составляются в сознании души мыслящим естеством души: разумом, а не мозгом. Вы опознаете свое отражение в стеклянном зеркале не потому, что ваш мозг (как и мозг собаки, лающей на зеркало и не опознающей себя в нем) копирует ваш физический облик, а потому, что в вашем сознании имеется представление о самом себе, составленное путем логической самоидентификации «я», производимой не мозгом (что есть и у собаки), а разумом в сознании (чего нет у пса). Но вместе с тем логически очевидно и то, что:

XXIV. Человеческий разум работает при помощи мозга как организменного инструмента мышления, приданного воплощенному «я» вместе с физическим телом, существуя в котором воплощенное «я» чувственно воспринимает физический мир сознанием посредством мозга («мозговым сознанием», образно говоря) и продельвает мыслительные операции разумом при участии мозга как организменного компьютера, поддерживающего живейшим психофизическим образом мышление воплощенного «я», как если бы оно, «я», находилось в мозгу и являлось мыслящим «я» не души, а мозга, как думают, ребячески ведясь на иллюзию, материалисты и на всем серьезе ищут себя в мясе мозга, что было бы просто глупо, если бы не попадало в школьные учебники, где глупость есть псевдонаука. А та псевдонаука, что закладывает в голову человека со школьной скамьи ложное представление о самом себе как о говорящем куске мяса, есть оскорбление имени человека и зло.

XXV. Работа человеческого разума посредством человеческого мозга, а другими словами, **мозговая работа разума**, продельвается разумом (мыслящим естеством души) в сознательных, а не в бессознательных, состояниях души и потому может условно-метафорически называться «мозговым сознанием», в отглагольном смысле слова сознание, то есть как мыслительное действие или системное множество мыслительных действий, осуществляемых разумом в сознании души, все равно что осуществляемых самим сознанием и самой душой, при посредстве мозга как организменного инструмента мышления, приданного воплощенному «я» души вместе с организмом в человеческом существе.

XXVI. К «мозговому сознанию» особняком относится та фактология, какую поведось называть измененными состояниями сознания, имея здесь в виду прежде всего ту психофизику, что обусловлена одурманивающими веществами. Пребанальный факт «пьяного сознания», возникающего под воздействием алкоголя на мозг, убедительно доказывает, что сознательное мышление воплощенного «я» поддерживается мозгом и что состояние сознания зависит от состояния мозга и от биофизических параметров мозгового аппарата. Что касается наркотических галлюцинаций, то это больше фактология трансового сомнамбулизма, чем сознания, но тот факт, что наркотики, воздействуя на мозг, выкидывают воплощенное «я» из сознания, говорит о **мозговой поддержке сознания** в человеческом существе.

XXVII. Мозговая поддержка сознания должна обнаруживать себя, в том числе, при срабатывании эффекта «лампочки сознания» (см. теорему «лампочки сознания», №32), когда происходит переход души от сна к бодрствованию, он же переход души и воплощенного «я» души через порог сознания, вершащийся не в мозгу, а в духовном теле человека как претворение духа в сознание, но воплощенное «я» пребывает в сознании, когда организм функционирует в режиме бодрствования под управлением мозгового компьютера, который, как известно по себе каждому из нас, людей, лучше поддерживает сознание и работу разума в сознании, если организм хорошо выспался и подзарядился духовной энергией во сне, тогда как дневная усталость организма понижает сознательную дееспособность воплощенного «я», чего и следует ожидать, если мыслящее «я» души продельывает мыслительные операции в сознании и находится в сознании как таковое (мыслящее) при поддержке мозгового компьютера, переход которого в режим сна влечет за собой выход «я» из сознания с лампочным эффектом, как будто сознание выключается, подобно лампочке. В действительности, выключается не сознание, а мозговая поддержка сознания в духовном теле с автоматически вытекающим обнулением (свертыванием) сознания там же, в духовном теле, по типу формализации небытия.

XXVIII. Состояния сознания суть состояния духа, претворенного в сознание, а работа мозга есть работа духа, воплощенного в организме, следовательно: «мозговое сознание» есть мозговая работа человеческого духа, приведенного в сознание (читай: приведенного в тождество с мыслящим субъектом: вразумленного) и связывающего собой организм и сознание (душу) в живое разумное целое, где компьютероподобная часть организма (мозг) не есть разум, но работает как разум, поддерживая мыслительную работу разума.

XXIX. К фактологии «мозгового сознания» относится, в том числе, телесное самочувствие человека как ощущаемое душой производное той нервно-мозговой деятельности, что состоит в производстве телесных ощущений, кои обнуляются по двум базовым вариантам: при потере сознания душой и при паралитическом отключении нервной системы организма; следовательно, телесное самочувствие человека — продукт совместной работы мозга и сознания. Ибо: и мозг (как часть организма), и сознание находятся в духовном теле, приведенном в сознание и восприимчивом через мозг к телесным ощущениям, составляющим телесное самочувствие. Ибо: на самом деле, живой чувствительностью обладает духовное тело, а не физическое, чья нервная система мало отличалась бы (по сути) от сенсорной системы железного робота, если бы материальная машина организма не была оживлена духом.

XXX. Завершая логическую конструкцию теоремы 39, вернемся к многоговорящему, при своей обыденности, эксперименту, состоящему в мысленном воссоздании с закрытыми глазами картинки, созерцаемой открытыми глазами. Сим обыденным экспериментом доказывается факт духовного зрения как такового, то есть как природной способности мыслящего субъекта мысленно видеть окружающую физическую реальность. В данном случае духовное зрение работает в тандеме с физическим зрением, создающим видеокопию реальности, шифруемую мозгом и выводимую на мыслительный экран души, подобно тому как на экран монитора выводится видеоряд, упакованный в видеофайл. Вопрос: может ли зашифрованная (по типу файла) видеокопия физической реальности создаваться нематериальными способами без посредства мозга или видеоаппаратуры? Ответ: априори может в мышлении бога-творца, кому вряд ли нужна видеокамера и мозг для умосозерцания физического мира. Если тот же видеоряд, что делается мозгом и видеокамерой, загружать в душу прямо из абсолюта (по типу, например, загрузки оттуда же в душу творческих идей), это будет равнозначно наделению души той разновидностью духовного зрения, что заключается в способности видеть окружающую физическую реальность духовным взором без всякого посредства физического зрения. Люди, запомнившие ВТО (внетелесный опыт) типа клинической смерти, свидетельствуют как раз о такой способности развоплощенной души, ненадолго вышедшей из тела. Вопрос: может ли подобный ВТО служить экспериментальным подтверждением гипотезы о том, что душе присуще **духовное зре-**

ние, эквивалентное физическому зрению, но не работающее при нахождении души в физическом теле и работающее при выходе души из тела? Ответ: может, но только если доказан сам этот ВТО как выход из тела (не вышедшей при этом из сознания) души, а не сомнамбулы, чьи трансовые галлюцинации неотличимы от реальности для нее самой и могут сохранять свою реалистичность в памяти «я» при возвращении в сознание.

Логическая теорема 40

ТЕОРЕМА ПОРОГА СОЗНАНИЯ

Порог сознания – это сущностная граница, отделяющая сознание в духе, вмещающем сознание, от всего, что не есть оно само и что пребывает в духе вне сознания; а в силу тождества сознания и мыслящего субъекта, порогом сознания отделен мыслящий субъект в духе, вмещающем субъекта, от того, что не есть он сам и что присуще не ему самому в его духовном вмещении, диалектически поляризованном порогом сознания, с одной стороны, как сознание (мыслящий субъект), а с другой стороны – как дух, не составляющий тождества с сознанием (субъектом) и вмещающий то, что существует в духе вне сознания: вне субъекта: за порогом сознания.

Доказательство

I. Логика заглавного определения теоремы 40 проста и потому позволяет с достаточной ясностью высветить себя правильно построенным доказательством, хотя это определение (впрочем, как и определения заглавных предметов других теорем) делает предметами мышления «я» вещи, что называется, превышающие человеческое разумение. Следите за мыслью, чтобы почувствовать логику, позволяющую логически разглядеть в реальности, казалось бы, невысказанное, а разглядеть, а определить с достаточной точностью (логичностью) как то, что реально существует, а не измышлено посредством фантазии или софистическими способами, увы, ныне распространенными в порядке вещей и доведенными до совершенства западными мастерами искусства софистики, с блеском напустившими такого тумана в тематику философии, в каком философия неотличима от софистики в глазах непосвященных и принимающих посвящение в философию на европоцентристских кафедрах философских наук, сведенных к одному названию, звучащему уже смехотворно во всех ушах, в том числе в ушах и самих обладателей официального ученого звания философов. Но может случиться, когда западный декаданс философии пробьет последнее дно, эволюционный маятник качнется в другую сторону, и наконец-то, наконец, наступит ренессанс философии.

II. Порог сознания определяется как **сущностная граница**, ибо отделяет мыслящую сущность мыслящего сущего, которая есть мыслящая (разумная) сущность сознания и само сознание как самосознательная (сознающая себя) сущность, она же самосознательный субъект, он же мыслящий субъект, обладающий в сознании (а не вне сознания) способностью к мышлению (разумом) и существующий в сознании как в самом себе; а сущностная граница, определяемая как порог сознания, отделяет мыслящего субъекта (сознание) от всего, что не есть он сам и что не присуще ему самому, не относясь к числу его собственных природных свойств.

III. Вопрос: где отделен мыслящий субъект (сознание) от того, что не есть он сам (сознание) и что находится за порогом сознания (вне сознания)? Ответ: в духе. Вопрос: в каком именно духе? Ответ: применительно к богу — в абсолютном духе, а применительно к душе — в духе души, а лучше сказать, в духовном теле души.

IV. Далее (вы следите за мыслью?), всякий мыслящий субъект, будь то бог или душа человека и сам человек как мыслящее «я» души, есть живое сущее с живой сущностью, которая общим образом и общим термином, применимым ко всему живому, называется в народе и в дельной философии духом как живая противоположность материи, отсутствующая в неживых телах и присутствующая в живых телах, пресуществляя в них неживую материю в живую плоть. И нет никакой научно-философской необходимости подменять слово дух новоизобретенными терминами и отрывать диалектику духа от бога, да еще и с корнем отрывать, как взяли моду делать западные софисты (и этим безбожным путем привели философию в кондицию мыльнопузырной абракадабры и черноквадратной пустышки; впрочем, чем гуще тьма, тем ярче вспыхнет свет во тьме).

V. Живой мир нашей планеты сущностно раздвоен по диалектическому уравнению: мир животных + мир людей = живой мир. Логически более точная запись того же уравнения: **мир бессознательных (неразумных) существ + мир самосозна-**

тельных (разумных) существ = живой мир. Сущностная, она же диалектическая (в фундаментальной диалектике сущего), поляризация мира животных и мира людей задана дуализмом живого естества живых существ как бессознательного и самосознательного естества, из чего логически следует:

VI. Мир животных и мир людей разграничены порогом сознания, коль скоро животные существуют вне сознания, а человек самотождествен как самосознательный субъект, сущий в сознании души и в душе как в сознании, но не вне сознания как сомнамбула. Тут не суть, что человеческая сомнамбула не чета животной сомнамбуле, суть тут в том, что любого типа чистая и настоящая (с обнуленным самосозерцанием) сомнамбула, хоть животная, хоть человеческая, хоть спиритическая и хоть какая, есть сущностная противоположность сознания (мыслящего субъекта), отделенная от сознания в духе порогом сознания, в соответствии с заглавным определением порога сознания, сформулированным как логическая теорема под номером 40 и под заглавием: теорема порога сознания.

VII. Живая сущность, отличающая все живое от неживого, есть дух, следовательно: **сознание отделено в духе** порогом сознания от того, что не есть сознание и что находится вне сознания, притом что находится там же, где и сознание — в духе, как искони называется живая противоположность материи, делающая все живое живым (см. теорему живой сущности, №1).

VIII. Порог сознания — сущностная граница в духе, то есть: дух, вмещающий сознание, сущностно поляризован порогом сознания, с одной стороны, как вместительное сознания (мыслящего субъекта) вкупе с тем, что естественно присуще сознанию (субъекту) и относится к числу природных свойств сознания (субъекта), а с другой стороны (за порогом сознания), дух вмещает то и сам есть то, что пребывает вне сознания (вне субъекта) и соотносится с сознанием как нечто внешнее и не присущее сознанию (субъекту).

IX. Сущностная поляризация духа порогом сознания есть диалектическая поляризация, ибо порог сознания есть **диалектическая граница**, которая (по смыслу термина диалектика) разделяет противоположности, одна из которых есть сознание, а другая — нечто иное, кроме сознания, связанное в духе в **диалектическую пару** с сознанием (в диаду противоположностей), например: дуализм души и тела (физического) — частный случай разграничения порогом сознания сущностных противоположностей, существующих в человеческом духе и заданных природной конструкцией и конструкционной диалектикой человеческого существа.

X. Порог сознания разграничивает фундаментальные противоположности в диалектике сущего и логически явствует перво-наперво в диалектическом уравнении всего сущего: **бог + мир = несотворенное сущее + сотворенное сущее = творец + творение = все сущее.** Поскольку бог есть абсолютный мыслящий субъект, сущий в абсолютном сознании, которое есть он сам, и поскольку мир (творение) не есть бог (творец) и находится вне бога как то, что не есть живая несотворенная часть бога и, тем паче, не есть сам бог, постольку **мир отделен от бога порогом сознания** как то, что находится вне абсолютного сознания, которое есть бог и отделено порогом сознания от всего, что не есть бог и что не присуще богу как абсолютному сознанию, в соответствии с определением порога сознания в формулировке теоремы 40.

XI. Сущностное разграничение бога и мира порогом сознания фактологически эквивалентно диалектической поляризации абсолютного духа порогом сознания с логическим (в теории) и фактическим (в реальности) результатом в виде всеобъемлющего (объемлющего всю реальность) дуализма духа, естественно определяемого как **дуализм абсолютного и мирового духа**, где мировой дух (см. теорему мирового духа, №18: тео-теорему 13) достаточно для начала определить попросту как **эманацию абсолютного духа вовне абсолютного субъекта** (вовне бога: вовне абсолютного сознания), чтоб логически отмежевать абсолютный дух (читай: внемирный — присущий сущностному естеству бога, а не мира — дух) от всех его мировых производных, составляющих мир как сотворенную противоположность несотворенного субъекта (бога), существующего, разумееется, не в составе сотворенного сущего, то есть не в мире, а вне мира в несотворенной (внемирной: абсолютной) реальности, которая есть он сам, бог, как несотворенное (абсолютное) сущее, составляющее собой несотворенную (абсолютную) реальность и существующее в ней как в самом себе.

XII. Абсолютная реальность есть реальность абсолютного сознания и абсолютного духа, ибо: бог есть абсолютный субъект, существующий в абсолютном сознании, которое есть он сам, и в абсолютном духе, который есть духовная ипостась бога и внемирное духовное вмещательное духа, в соответствии с базовым диалектическим определением двуипостасного бога, записываемым простой логической формулой: **абсолютный субъект (1-я ипостась бога) + абсолютный дух (2-я**

ипостась бога) = бог = абсолютное сознание. Логической формулой двуипостасного бога подразумевается сущностная граница, отделяющая двуипостасного бога от мира в абсолютном духе как в абсолютной реальности сознания и соответственно определяемая как порог сознания в формулировке теоремы 40.

XIII. То несомненное логическое обстоятельство, что вечный и несотворенный бог-творец неким хитрым образом отделен от невечного мира-творения и пребывает вне мира в своей вечности, а мир существует вне бога в своем времени, для начала надо просто принять как логический факт и фактологическую данность. Чтоб уразуметь эту данность, достаточно задрать голову в безоблачную ночь и сообразить, что космическая пустота, вмещающая физический мир и ныне общеизвестная, с подачи физиков, под именем вакуума, не может заодно с миром вмещать и бога, иначе выйдет, что бог — это либо составная часть мира, занимающая свое пространственное место в вакууме, либо бог — это сам вакуум: мировое пространство: космическая пустота. Такого рода домыслы — это даже не софизмы, это просто чепуха, как вы должны интуитивно понимать помимо логических умозаключений. А на том самоочевидном логическом основании, что вакуум не есть ни вместилище бога, ни сам бог, делается столь же простое, сколь логичное и несомненное, умозаключение, что бог, чем бы он ни был де-факто (в реальности), каким-то загадочным образом (разгадай, человек) пребывает за пределами вмещающего мир мирового пространства, то есть: вне мира, то есть: во внемирной реальности, философски называемой абсолютом и подлежащей определению как абсолютное сознание. Ибо: бог-творец априори и апостериори (по факту разумности творения) есть мыслящий субъект, а всякий мыслящий субъект, несотворенный (бог) или сотворенный (душа), существует в сознании, которое есть он сам (см. теорему тождества субъекта и сознания, №14: тео-теорему 9). «Гагарин летал в космос и бога там не видел». Не очень остроумно, но в точку скаламбурил верховный атеист. Бога в космосе нет. Бог вне космоса, и космос вне бога. И оба — в духе. Но в разном духе: **бог — в абсолютном духе, а космос — в пустотном духе**, больше известном как мировое пространство и как вакуум, в терминологии физиков.

XIV. Коль скоро вселенная находится в пространственной пустоте, то можно сказать, что мир-творение отделен космической пустотой от бога-творца, но логически точнее, невзирая на высокий риск недопонимания, будет выразиться так, что мир (вместе с вакуумом как частью мира) отделен от бога порогом сознания как **границей реальностей**, отделяющей пустотный дух (с мировой реальностью в нем) от абсолютного духа (с абсолютной реальностью в нем), где абсолютный дух — ипостась бога и сам бог в ипостаси духа (святой дух, в христианской теологии), а пустотный дух — пустотная разновидность мирового духа и сама пустота, которую не надо путать с ничто, а точнее, с абсолютным ничто, это будет грубой логической ошибкой. Ведь ныне каждый школьник, с подачи физиков, знает или догадывается, что вмещающая громадину вселенной космическая пустота (вакуум) — это не ничто, а нечто: пустотное нечто: нечто, похожее с виду (по форме) на ничто: нечто, имеющее форму ничто: формализованное ничто (см. опр. 3.2 «Формализованное ничто» и весь §3 «Ничто» книги «Бог»).

XV. Даже просто на взгляд (в безоблачную ночь) мировое пространство разительно напоминает черный экран, но не плоский (двухмерный), а объемный (трехмерный): физическая вселенная синтезируется по законам природы из частиц материи, подобно тому как программируется и материализуется картинка из светящихся точек на мониторе. Материалисты айтишной закваски должны смотреть на космос как на нечто вроде голограммы с программной подоплекой, но это «взгляд одной ноги», произвольно шагнувшей из болота материализма и атеизма на добрую почву дельной философии, а второй ногой айтишные материалисты останутся, где были, если не доведут компьютерную аналогию до логического завершения, хорошо уразумев аксиому, гласящую: **если есть программа, есть и программист**. А уже единственно из этой аксиомы логически вытекает, что мировое пространство логически и де-факто (фактологически) эквивалентно пространственному полю мышления, где материализуется творящее мышление абсолютного разума, наподобие того как на экране монитора материализуется картинка, дематериализованная в уме программиста языком программирования (см. теорему поля мышления, №19: тео-теорему 14).

XVI. Абсолютный разум (взгляните вокруг) создает пейзаж в **мировом пространстве**, а человеческий разум (закройте глаза) создает и воспроизводит умозрительную копию пейзажа в **абстрактном пространстве**, которое не надо путать с мировым пространством (вакуумом) и которое развернуто как пространственный экран мышления в — можно приблизительно сказать — сознании души, коль скоро речь идет о сознательном мышлении, но логически точнее будет сказать, что пространственное поле мышления души развернуто в духовном теле души (периодически приводимом в

сознание) и противопоставлено мыслящему «я» души как экраноподобное пустотное вместилище мыслимых объектов, создаваемых разумом и выводимых на мыслительный экран души, отделенный в духовном теле души от умосозерцающего субъекта (от «я») как то, что не есть сам субъект и не есть свойство или живая часть субъекта, а есть пространственная пустота в духе, не суть, иллюзорная (поскольку абстрактная) или реальная, суть тут (в затронутой диалектике) в том, что пустотное поле мышления «я», содержащее умосозерцаемые пространственные объекты любой величины, развернуто в духовном теле души вне мыслящего «я» души и отделено от «я», подобно тому как отделен киноэкран от кинозрителя в кинозале.

XVII. Из определения порога сознания как границы в духе, отделяющей сознание и мыслящего субъекта в нем от всего того, что не есть сознание (субъект) и что не присуще ему, логически следует, что поле мышления субъекта отделено от субъекта порогом сознания и развернуто в духе вне субъекта: вне сознания: за порогом сознания. Звучит весьма парадоксально, но именно так обстоит дело в реальности, ибо:

XVIII. Самосознательный субъект и сновидец, существующие по разные стороны порога сознания (в сознании и вне сознания), мысленно созерцают одну и ту же картинку (копию пейзажа, например) на одном и том же мыслительном экране, функционирующем галлюцинаторно во сне и не галлюцинаторно в бодрствующей душе. При любой функциональной разнице, логически вполне очевидно, что во сне и наяву функционирует один и тот же мыслительный экран, следовательно, он развернут за порогом сознания: вне сознания: вне мыслящего субъекта. Следовательно:

XIX. В сознательных состояниях души мыслящее «я» души (человек) умосозерцает через порог сознания пространственные объекты в поле мышления как то, что находится в духовном теле субъекта вне субъекта (вне сознания), но доступно умозрительному восприятию сознанием через порог сознания, так же как видимая физическим зрением окружающая физическая реальность, находящаяся тоже вне сознания (вне субъекта: за порогом сознания), воспринимается сознанием души тоже **через порог сознания как через границу реальностей**, отделяющую мыслящего субъекта (сознание) от всего, что не есть он сам, субъект, самотождественный как то, что он есть, в сознании души и существующий в сознании души как в самом себе, при том что он как живая часть человеческого существа существует разом и в духовном теле души, и в физическом теле организма, «вмонтированном» в физический мир.

XX. Когда духовное тело души приведено в сознание и является вместилищем сознания, тогда поле мышления души, развернутое в духовном теле души, развернуто как будто и все равно что в сознании, ибо замыкает на себя сознательное мышление души и содержит в себе сознательно мыслимые душой объекты, воспринимаемые сознанием души (сознаваемые) и составляющие собой мыслительное содержание сознания как то, что мыслится сознанием (сознается) и что, мыслясь и осмысливаясь (понимаясь, познаваясь) сознанием, придает сознанию души зеркальный характер. Отражая мыслимую и осмысливаемую реальность, сознание души служит понятийным и сверхпонятийным зеркалом реальности и превращается из чистого самосозерцательного сознания (безликого, как у младенца, за вычетом «я», еще не сформированного) в зрячее сознание, присущее мыслящему «я» души как самосознательной личности, умосозерцающей реальность зрячим сознанием.

XXI. Зрячее сознание умосозерцает предметы мышления в поле мышления через порог сознания, отделяющий сознание души от умосозерцаемых объектов, создаваемых разумом на духовном экране мышления, развернутом в духовном теле души за порогом сознания, но доступном для умосозерцания зрячему сознанию, подобно тому как киноэкран доступен для созерцания кинозрителю, если не отделен от него какой-нибудь непрозрачной или частично прозрачной занавесью, роль чего в душе играет то, что в душевном механизме мышления затуманивает зрячее сознание и понижает умозрительную способность «я», делая душу полусомнамбулой того или иного типа и в той или иной степени. Теоретический вывод:

XXII. Душевный порог сознания принципиально двоичен как, во-первых, граница между сознательными и бессознательными состояниями души, она же граница между сознанием и чистой сомнамбулой (двойкой как сновидческая и трансовая), во-вторых, граница между зрячим сознанием, присущим самосознательной личности, и чистым самосозерцательным сознанием, лишенным «я» (безликим) и условно-метафорически называемым в этой книге третьей сомнамбулой (самосозерцательной: ненастоящей). Указанной двоичностью порога сознания удваивается и термин: 1-й порог сознания + 2-й порог сознания. Определения:

XXIII. **1-й порог сознания – это сущностная граница реальностей в духе, отделяющая сознание от всего, что не есть сознание и не присуще сознанию, и разделяющая в диалектике сущего суперпротивоположности, сводимые диадами к базовой пятернице, а именно: противоположности, разделенные**

1-м порогом сознания:

1) Абсолютная и мировая реальности: бог и мир – 2) Абсолютный дух и мировой дух – 3) Мир людей и мир животных – 4) Ипостаси души: сознание и дух души – 5) Явь и сон души: сознательные и бессознательные состояния души.

XXIV. 2-й порог сознания – это личностная граница в сознании души, отделяющая безличностное чистое самосозерцательное сознание души от зрячего сознания души, которое обретается душой вместе с личностной формой и присуще личности, умосозерцающей реальность и себя в ней зрячим сознанием через 1-й порог сознания, в меру личной способности «я» к мышлению.

XXV. Далее (вы следите за мыслью?) укажем вновь, повинуюсь возникшей в текущем контексте логической необходимости подчеркнуто-напомнить, что личная способность «я» к мышлению – это способность личности пользоваться сверхличной способностью души к мышлению, зовущейся разумом и составляющей мыслящее (разумное) естество души в сознании души, а не вне сознания. Но: сверхличная работа разума, производимая в сознании души, скрыта от человека (от «я») там же, в сознании души, ибо не сознается человеком: не воспринимается зрячим сознанием, а потому представляется человеку бессознательной сферой в душе. Отсюда происходят не в меру популярные теории о т.н. бессознательном как о производящей основе сознания и о сознании как о верхушке айсберга бессознательного. Это в корне ошибочный и просто глупый и профанский взгляд на разумное естество души, сродни скудоумному материалистическому воззрению на разум как на серое вещество мозга. Грубая логическая ошибка, представленная западными софистами правдоподобной гипотезой и даже научным открытием, уж век или полтора вдохновляет теоретиков бессознательного молоть неимоверную, но сходящую за чистую монету, чепуху о бессознательном и демонизировать бессознательное, откуда шаг до абсолютизации и обожествления этого софистического демона как бессознательного разума, управляющего вселенной. Это все равно что счесть бога сомнамбулой. Заодно с такой и всякой иной-прочей абсурдизацией бога последовало шутовское нищенское объявление о смерти бога и лжефилософское снятие вопроса о боге в интеллектуальном высшем свете Европы. Но ближе к теме теоремы: теоретики бессознательного, зачарованно глядя в бездну, глядящую в них, извлекают из этой бездны сознание и самих себя как функцию бессознательного естества души, поступая не умнее материалистов, извлекающих сознание и самих себя из мяса мозга как мозговую функцию. Если сомнамбула может де-факто переходить порог сознания (точнее, 1-й порог сознания) и превращаться в сознание, это не повод умозаключать, будто бы сознание произрастает из сомнамбулы как производное из основы или как эволюционно-приобретенная функция сомнамбулы. Это всего лишь логический обман, по типу обыкновенного обмана зрения.

XXVI. Т.н. классическая и классически безбожная (атеистическая либо нарочито безотносительная к богу, как будто его нет и он не нужен в картине реальности) философия Запада, написанная в 18-19 вв. и прославившаяся самой умной и передовой мыслью под луной, еще две тысячи лет назад превзойдена (читай: оставлена позади) пионерами истинной философии и истинной религии, которые додумались до истинного бога (основного предмета философии) и умозаключили, что человек создан богом по образу и подобию своему как мыслящий субъект, он же самосознательный субъект, но не бессознательный: не сомнамбула. А это все равно что сказать, что сознание души произрастает из абсолютного сознания, которое есть бог и которое составляет тождество с абсолютным разумом, составляющим мыслящее естество бога как самосознательное естество абсолютного субъекта. Сознание души и сама душа в тождестве с сознанием есть живое мыслящее порождение не тьмы бессознательного, заворожившей западных софистов, а абсолютного сознания, то есть бога, говоря строго логически, без всяких метафор и аллегорий. А это все равно что сказать, что человеческий разум произрастает из абсолютного разума и работает в сознании души все равно как сам абсолютный разум, то есть как приводимая в действие из абсолюта сверхличная способность души к мышлению, функционирующая сознательным, а не бессознательным образом, то есть в сознании, а не вне сознания, в силу тождества души и сознания. Но:

XXVII. Сверхличное мышление человеческого разума осуществляется в сознании души незаметно для «я», не сознаваясь мыслящим «я» души (человеком), и потому соотносится с личным мышлением человека как несознаваемое мышление с сознаваемым мышлением, где и то, и другое мышление, и сознаваемое человеком (личное), и несознаваемое человеком (сверхличное), есть сознательное мышление души как производимое в сознательных, а не бессознательных, состояниях души мыслящим естеством души (разумом). Но:

XXVIII. Поскольку то в душе, что не сознается обладателем души (человеком), синонимически называется бессознательным, постольку можно и даже нужно определить сверхличное (несознаваемое) мышление души как бессознательное (по отношению к «я» души) мышление души, осуществляемое за порогом сознания, но (NB) не за 1-м порогом сознания, отделяющим сознание от чистой сомнамбулы, и не за 2-м порогом сознания, отделяющим зрячее сознание от чистого самосозерцания, а за 3-м порогом сознания, определяемым так:

XXIX. *3-й порог сознания – это личностная граница в зрячем сознании, отделяющая личное мышление души, оно же мышление «я», сознаваемое им самим (воспринимаемое зрячим сознанием), от сверхличного мышления души, не сознаваемого мыслящим «я» (не воспринимаемого зрячим сознанием) и присущего душе как сверхличностной мыслящей сущности, чья способность к мышлению абсолютна и функционирует в сознании независимо от «я» как абсолютный разум в заданных конструкцией человеческого существа разновидностях и руслах мышления.*

XXX. Душевный порог сознания троичен при наличии в душе личности и единичен при отсутствии в душе личности (по типу души младенца), но безликая душа, лишенная личностной формы в лице мыслящего «я», не тождественна себе и представляет собой, как говорится в просторечии, ни то ни сё – третью сомнамбулу, самосозерцательную, ненастоящую: диалектическое третье между личностным сознанием (зрячим) и двойкой чистой (настоящей) сомнамбулой, сновидческой и трансовой.

XXXI. Троичный душевный порог сознания вторичен относительно 1-го порога сознания как границы реальностей, отделяющей сознание как одну реальность, где существует сознание и то, что присуще сознанию, от другой реальности, где существует то, что не есть сознание и что не присуще сознанию и находится вне сознания как в другой реальности, отделенной порогом сознания от реальности сознания. Если вы внимательно следили за мыслью, то вам не должны показаться нелогичными итоговые теоремные умозаключения:

XXXII. Реальность сознания, в которой существует всякий мыслящий субъект, и несотворенный (бог), и сотворенный, такой как лично вы, читающий (-ая) эти строки, абсолютна (внемирна) и отделена 1-м порогом сознания в абсолютном духе от этого вот окружающего вас физического мира (воспринимаемого вами зрячим сознанием через 1-й порог сознания) и от всей вселенной со всеми ее физическими и духовными потрохами. Ибо:

XXXIII. Бог есть сознание и существует вне мира в абсолютной реальности сознания, которая есть само сознание как таковое: как то, что оно есть по своей природе и сущности: как **живое-духовное-разумное-самосознательное сущее** с живым, духовным, разумным, самосознательным естеством, составляющим сущность называемого сознанием сущего, отделенного 1-м порогом сознания от всякого иного сущего, не являющегося сознанием и отличным от сознания по своей природе и сущности, типа окружающих вас физических предметов, включая ваше физическое тело, кое не чета вашей душе; ибо:

XXXIV. Душа, как и бог, есть живое-духовное-разумное-самосознательное сущее, когда душа пребывает в сознании, то есть пребывает в реальности сознания и составляет тождество с сознанием в реальности сознания, которая, в силу тождества бога и сознания, абсолютна: внемирна: находится вне мира и отделена от мира 1-м порогом сознания. И стало быть, как это ни парадоксально:

XXXV. Душа, пребывая в сознании и составляя тождество с сознанием, то есть как само сознание, отделенное в человеческом существе от всего, что не есть оно само, пребывает в абсолюте: вне мира: в боге, а точнее: в абсолютном духе, составляющем духовную ипостась бога, вместе с тем составляя духовную реальность сознания и являясь бытийным духовным вместилищем всех самосознательных субъектов, а это, во-первых, несотворенный субъект (бог), во-вторых, сотворенные субъекты, такие как душа.

Продолжение следует